ББК 63.3(2)47
Р27

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 09-01-16052д

Рецензенты:
Ю.А. Петров, С.В. Тютюкин
Ответственный редактор А.Н. Цамутали
Составитель А.Л. Хорошкевич

Рахматуллин М.А.
Р27 Екатерина II, Николай I, А.С. Пушкин в воспоминаниях современников / Отв. ред. А.Н. Цамутали, сост. А.Л. Хорошкевич. М.: Памятники исторической мысли, 2009. – 640 с.

ISBN 978-5-88451-263-4

Сборник работ известного специалиста по истории великорусского крестьянства XIX в. доктора исторических наук, многолетнего заместителя главного редактора журнала «История СССР / Отечественная история» Моргана Абдулловича Рахматуллина (1927–2006) включает работы последних 15 лет по разным аспектам взаимоотношений самодержавия и общества. В первых трех частях книги представлены портреты Екатерины Великой и Николая I в их самохарактеристиках и противоречивых оценках соотечественников и иностранцев и современника последнего – гениального поэта, писателя, историка и мыслителя Александра Сергеевича Пушкина. Четвертая часть включает опубликованные и неопубликованные рецензии автора, его раздумья о путях исторической науки, долге историка, его праве «выпрямлять» криволинейное развитие страны в прошлом. В приложении помещены фрагмент дневника 1928 г. А.Г. Рахматуллина (перевод с татарского), а также полный список работ автора.

Написанные ярким и живым языком работы М.А. Рахматуллина, честного, скромного и порядочного ученого – истинного патриота России, вызовут интерес читателей, задумывающихся над историей Отечества и его будущим, станут хорошим подспорьем для преподавателей школ, вузов и учащейся молодежи.

ББК 63.3(2)47

ISBN 978-5-88451-263-4

© Хорошкевич А.Л., составление, 2009
© Рахматуллин М.А., 1990–2006
© Яковлев В.Ю., оформление, 2009

Оглавление

От составителей 5
Памяти Моргана Абдулловича Рахматуллина (*Н.И. Павленко*) 7
Светлой памяти М.А. Рахматуллина (1927–2006) (*С.В. Тютюкин*) 10
«Я – не историк» (*А.Л. Хорошкевич*) 13

Часть первая
Императрица Екатерина Вторая

Глава I. Непоколебимая Екатерина 41
Глава II. Фавориты 96
Глава III. Интеллект власти 118

Часть вторая
император Николай I и его царствование

Предисловие 133
Глава I. Путь к трону 150
Первые годы жизни. Становление личности 150
«Мамаша родила большущего мальчика…» 151
Воспитатели и воспитанники великого князя Николая Павловича . . 153
Путь к трону 164
14 декабря 1825 года 174
«Компасом для меня служит моя совесть» 182
Глава II. Николай I на троне 215
«Очистил Отечество от следствий заразы» 215
Два мира: Россия и Европа 225
«Все должно идти постепенно...» 246
Законы и беззаконие 260
«Окончить и привести в действие...» 276
«Я этого не знаю…» 283
Глава III. Жрец самодержавия 300
Никакого всезнайства и противодействия 300
«Я иду прямо своим путем…» 306
«Россией управляет класс чиновников...» 309

Что за человек был Николай Павлович? 318
Глава IV. Царские министры, генерал-губернаторы
и губернаторы (фрагменты) 345
Вместо заключения. Император Николай I глазами современников . . . 383

Часть третья
А.С. Пушкин, самодержцы и самодержавие

«Властитель слабый и лукавый» 397
«Беру уроки чистого афеизма» 403
«Я не прошу полу-милостей» 404
«Господа, это Пушкин мой» 410
«Не ведает царь, что делает псарь!» 412
«Я не приобрел доверия власти» 420
«Нельзя ли этого поправить?» 423
«Разве такая махина, как Россия, может жить без самодержавия?» 437
«Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства...» 447

Часть четвертая
Избранные статьи 1990-х гг. – 2006 г.

Декабрист Сергей Волконский 461
Об одном мифе из истории освободительного движения в России 493
Губернаторы и губернаторство в России. 1826–1855 гг.
(Обзор литературы) 529
Алгебру гармонией поверить. К выходу в свет «Оренбургской
Пушкинской энциклопедии» 557
Отзыв о диссертации А.Б. Каменского «От Петра I до Павла I:
реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа»
[Фрагмент] 571
«Развилка» «развилке» рознь 576
Энциклопедия по истории общественной мысли России XVIII –
начала XX в. 585
Смоленск в августе 1812 года 598

Приложения

Из дневника А.Г. Рахматуллина. Деревня Наласа Арского района
в 1928 году 611
Список печатных трудов М.А. Рахматуллина
(30.V.1927– 14.X.2006) (*В.Г. Арутюнян*) 630
Список принятых сокращений 637

От составителей

После трагической гибели М.А. Рахматуллина московские и питерские коллеги во главе с академиком А.А. Фурсенко высказали пожелание издать том его трудов, включив туда монографию о крестьянском движении*. Однако составители ограничились воспроизведением работ Моргана Абдулловича, написанных в последние годы жизни на новом, совершенно особом этапе его творчества, а именно – чрезвычайно актуальных для нашего времени блистательных статей о Екатерине Великой**, ряда столь же актуальных статей и монографии о Николае I*** и А.С. Пушкине, эссе о декабристе Сергее Волконском и некоторых других работ. В приложении помещен дневник А.Г. Рахматуллина 1928 г., подготовленный к печати самим Морганом Абдулловичем (перевод с татарского).

Составители приносят благодарность Борису Моргановичу Рахматуллину за предоставление текстовых и иллюстративных материалов, рецензентам Ю.А. Петрову и С.В. Тютюкину, авторам мемориальных статей Н.И. Павленко и С.В. Тютюкину, Н.Д. Маркиной за консультации по литургическим вопросам, а также проф. И.Г. Добродомову и директору Центра военно-патриотического и гражданского воспитания (г. Москва) генерал-полковнику Р.С. Акчурину за помощь в получении копии личного дела М.А. Рахматуллина (до 1986 г.), хранящегося а Архиве ИРИ РАН.

В подготовке работ к печати участвовали В.Г. Арутюнян (составление списка работ, подготовка к печати фрагментов неизданной IV главы о Николае I), В.К. Шахбазова (подбор иллюстраций, многочисленные библиографические справки) и А.Л. Хорошкевич (вступительная статья, составление).

---

* ОИ. 2007. № 2. С. 219.

** Помимо опубликованных работ о Екатерине II в компьютерном варианте сохранилась окончательная редакция текста, напечатанного в 2003 г. в «Науке и жизни». Два фрагмента оттуда включены в настоящий сборник.

*** Судя по авторскому рукописному черновику оглавления, не сохранилась гл. 4 – о министрах и генерал-губернаторах. В связи с этим во второй части книги помещен черновик (фрагменты) этой главы, а в Приложении – обзор историографии о генерал-губернаторах 1997 г., получивший положительный отзыв В.Я. Гросула, но до печати не дошедший.

К сожалению, некоторые разделы книги (особенно во второй ее части, посвященной Николаю I) автор не успел отредактировать для печати; делать же это сейчас составителям показалось неуместным. Поэтому в ряде мест в тексте сознательно сохранены отдельные повторы, изъятие которых нарушило бы логику изложения мыслей автора. Ссылки на источники и литературу не унифицированы, т.к. в разных частях книги, написанных на протяжении последних 16 лет жизни, автор использовал разные издания одних и тех же произведений. Не полностью проведена унификация наименований архивов. Так, в работе «Об одном мифе из истории освободительного движения в России» сохранены названия архивов советского времени.

Объем сборника, намного превысивший предполагаемый в начале проекта, лишил возможности включить указатель имен, составители приносят в связи с этим извинения будущим читателям.

Памяти Моргана Абдулловича Рахматуллина

Признаюсь, я в своей жизни не встречал человека, награжденного таким обилием добродетелей. Со времени трагической гибели Моргана Абдулловича Рахматуллина истекло более двух лет, а у меня перед глазами все возникает его обаятельная улыбка, излучавшая доброту и расположение к собеседнику. По порядочности его можно поставить на одну доску с моим другом Ароном Яковлевичем Аврехом, а по скромности – с Реджинальдом Васильевичем Овчинниковым.

Отношения между нами были дружескими, доверительными, но не столь близкими, чтобы их назвать теплыми. Вероятно, здесь имела значение разница в возрасте и семейные обстоятельства Моргана Абдулловича (о которых я расскажу ниже) – на квартире у него я был единственный раз много десятилетий тому назад. Морган Абдуллович меня навещал чаще, но главным средством общения был телефон – наши беседы иногда продолжались свыше часа.

Перечисленные достоинства у Моргана Абдулловича сочетались с принципиальностью. Чтобы не быть голословным, приведу пример из личных с ним отношений. Однажды мне довелось написать положительный отзыв на статью ученика с рекомендацией к опубликованию в журнале «Отечественная история». Моргану Абдулловичу статья не понравилась, у него были какие-то замечания. После его беседы с автором я по телефону спросил, чем она закончилась. Морган Абдуллович ответил: «Ничем. По-моему, когда я высказывал свои замечания, у автора был отсутствующий взгляд, и он оставил без внимания мою критику». На том и разошлись. Статья так и осталась неопубликованной. Я был не в обиде, ибо имел представление об упрямой натуре своего ученика.

Но не за перечисленные добродетели мы ценим Моргана Абдулловича, а за то, что он, будучи историком, внес весомый вклад в историческую науку и занял определенную нишу в историографии своей монографией «Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826–1837 гг.».

Крестьянскому движению в XIX столетии посвящены десятки монографий и статей, в том числе принадлежащие таким крупным исследователям, как академики Н.М. Дружинин, И.Д. Ковальченко, Л.В. Ми-

лов, и многочисленным докторам наук, среди которых выделяются Б.Г. Литвак и П.Г. Рындзюнский.

В обилии исследований Рахматуллин обнаружил такие недостаточно разработанные или дискуссионные проблемы, как изучение повседневных форм борьбы крестьян, выражавшихся в их бегстве, «выявление роли и места в движении различных прослоек крестьянства, характеристика народных слухов и толков, как мощного фактора социальной активности крестьян, изучение влияния крестьянского движения на внутреннюю политику самодержавия». Другая исследовательская заслуга доктора исторических наук М.А. Рахматуллина состоит в том, что он в своей монографии уделил пристальное внимание изучению проблемы, находящейся в стадии разработки, – общественное сознание крестьян, «соотношение социальных, психологических и идеологических компонентов, соотношение стихийного и сознательного, объективного и субъективного в борьбе крестьян». Короче, Морган Абдуллович не ограничился изложением событийного материала, а предпринял попытку проникнуть в идейную суть различных форм крестьянского движения.

До выхода в свет монографии Морган Абдуллович ряд глав ее опубликовал статьями, часть его наблюдений оспаривалась некоторыми специалистами. Рахматуллин ответил своим критикам в монографии, обнаружив при этом не только талант полемиста, но и вдумчивость ученого, глубоко проникшего в проблему и обоснованно опровергавшего доводы своих оппонентов.

Список трудов, принадлежащих перу доктора исторических наук М.А. Рахматуллина, сравнительно невелик. Отчасти это объясняется особенностью его трудовой деятельности – в течение нескольких десятилетий он работал в журнале «Отечественная история» (до 1991 г. – «История СССР»), где сначала заведовал отделом досоветского периода истории СССР (Российской Федерации), а затем заместителем главного редактора. Характер работы требовал от Рахматуллина, во-первых, эрудиции, способности определить ценность или никчемность присылаемого в редакцию материала более чем за тысячелетнюю историю страны, во-вторых, затрат немалого времени и энергии, чтобы довести материал до надлежащих кондиций. Мне известна высокая оценка работы Рахматуллина главным редактором журнала С.В. Тютюкиным.

Существует еще одна причина, ограничивавшая творческие потенции Моргана Абдулловича. В беседах с Морганом Абдулловичем я часто упрекал его в творческом бессилии, в лености «восточного» человека, в нежелании положить свой талант на алтарь исторической науки. Морган Абдуллович на мои упреки вяло возражал: «Кому это нужно», «История обойдется без моих работ», скрывая подлинную причину, лишавшую его возможности посвятить свой талант науке.

Важная деталь, характеризующая личность Моргана Абдулловича: он ни разу не жаловался на трудности и сложности семейной жизни, в

которых ему довелось жить в течение многих лет и которые мне стали случайно известны лишь в последние месяцы перед его кончиной.

Оказалось, что его матушка в течение многих лет была прикована к постели, одновременно заболела и жена*. Разнообразные заботы бытового характера, начиная от покупки продуктов, приготовления еды, уборки помещения и кончая уходом за двумя женщинами, ложились на плечи заботливого сына и супруга.

Эта малоизвестная сторона биографии Моргана Абдулловича характеризует его как скромного и порядочного человека.

Н.И. Павленко, профессор,
доктор исторических наук
Июль 2008 г.

* Эмилия Степановна Раевская, историк по образованию, уже в 1978 г. находилась на инвалидности. Она скончалась в марте 2005 г. – *Примеч. сост.*

Светлой памяти М.А. Рахматуллина (1927–2006)

С Морганом Абдулловичем Рахматуллиным (или со студенческих времен просто Мишей) я был знаком – страшно сказать! – 53 года. В 1953–1958 гг. мы учились вместе с ним на истфаке МГУ, затем одновременно были распределены на работу в Институт истории АН СССР, а в 1995–2006 гг. вместе руководили редакцией журнала «Отечественная история». Вот об этом, последнем периоде жизни М.А. Рахматуллина я и хочу рассказать здесь более подробно: ведь для меня как главного редактора этого уважаемого журнала иметь такого заместителя, как М.А. Рахматуллин, было просто подарком судьбы, да и я, в свою очередь, надеюсь, в чем-то скрасил последние годы жизни моего стареющего университетского товарища.

Читатель может не поверить, но при всей разности характеров, научных интересов и просто человеческих судеб мы за все эти 11 лет, мирно деля с Мишей один рабочий кабинет и дважды в неделю по так называемым «присутственным» дням по несколько часов сидя там друг против друга, умудрились ни разу не то чтобы поссориться, но даже более или менее резко разойтись в оценках событий, людей или материалов, предназначенных для нашего журнала. И хотя мы не были друзьями в общепринятом смысле этого слова, т.е. не дружили семьями, не встречались во внеслужебной обстановке, не обсуждали откровенно общих знакомых, особенно женщин, и т.д., но нашим отношениям могли бы позавидовать очень и очень многие. Мы целиком и полностью доверяли один другому, уважали и ценили я его, а он – меня и счастливо избежали взаимной зависти, каких-то интриг и «подсиживания» друг друга в карьерных целях. Миша был образцово порядочным и честным человеком, очень справедливым и достаточно великодушным, не мстительным и не злопамятным, что делало его надежным и верным товарищем. Поэтому, несмотря на разницу в возрасте (он был на 8 лет старше меня) и несхожесть характеров (он был резче и в чем-то смелее меня), мы прошли эти 11 лет совместной работы в редакции «Отечественной истории» вполне достойно, нередко получая настоящее удовольствие от общения друг с другом.

Миша был очень сдержанный, во многих отношениях закрытой, даже суровой натурой. Но с теми, кому он симпатизировал, он был сов-

сем другим: так, он нередко угощал меня плодами со своего дачного участка, давал ценные медицинские советы, делился разными меткими житейскими наблюдениями. В семейной жизни он не был особенно счастлив: его жена – наша однокурсница Эмма Раевская многие годы тяжело болела, а сын так и остался холостяком. Поэтому работа на дачном участке была для Миши настоящей «отдушиной», позволяя не только активно отдохнуть, но и забыть на время о житейских горестях и неприятностях. Одевался Миша очень скромно, но всегда был подтянут, чисто выбрит, вежлив с посетителями редакции и неизменно приветлив со мной.

В профессиональном плане мы хорошо дополняли друг друга: сферой его непосредственных научных интересов был XVIII и первая половина XIX в., а моих – вторая половина XIX и начало XX в. При этом за 36 лет работы сначала в редакции «Истории СССР», а потом «Отечественной истории» он накопил огромный багаж конкретно-исторических знаний, хорошо разбирался в историографии, знал все тонкости издательского дела. Пожалуй, его любимыми темами, которыми Миша занимался, что называется, «для души», были декабристы, А.С. Пушкин, Екатерина II и Николай I. Что касается его кандидатской (1967) и докторской (1988) диссертаций, то они были посвящены крестьянскому движению в России в 1826–1856 гг. Недаром своими учителями он считал академика И.Д. Ковальченко (под руководством этого крупного ученого Миша с 1970 г. 18 лет работал в редакции журнала «История СССР», став с 1980 г. его заместителем) и П.Г. Рындзюнского. Думаю, что эти имена говорят сами за себя. Очень уважал Миша и С.С. Дмитриева, оказавшего на него в научном плане большое влияние.

На заседаниях редколлегии М.А. Рахматуллин играл одну из главных ролей. Через него проходили все материалы по истории древней и средневековой Руси. Обязанности рецензента он исполнял очень тщательно: свои отзывы на обсуждавшиеся статьи он излагал в письменной форме и на редколлегии для экономии времени просто зачитывал их. Они были всегда обоснованны, объективны и абсолютно чужды околонаучной конъюнктуре. К замечаниям, связанным с его собственными работами, Миша относился очень внимательно, терпимо и довольно легко шел на внесение изменений в собственный текст. Так было, в частности, и с моей стилистической правкой его текстов, которую он практически всегда с благодарностью принимал. В свою очередь, я старался никогда не ломать его тексты. Так было, в частности, при публикации материалов «круглого стола», посвященного обсуждению энциклопедии «Общественная мысль России XVIII – начала XX вв.», ряду авторов которой Рахматуллин адресовал тогда довольно нелицеприятные, но, на мой взгляд, вполне справедливые замечания. Очень тщательно работали мы с ним и над его последней журнальной статьей – политическим портретом императора Николая I, где Миша вполне объективно показал как сильные, так и слабые стороны этого очень часто идеализируемого ныне российского монарха. На мой взгляд, эта

статья и сегодня остается одним из лучших и наиболее глубоких психологических портретов «победителя декабристов».

Говорят, что в последние годы жизни Миша стал более мягким и внимательным по отношению к сотрудникам редакции и авторам журнала. Не берусь приписать это своему влиянию, но не исключаю, что какую-то роль в этом действительно сыграл я. А может быть, причиной тому просто стал Мишин возраст? Не будем забывать, что его жизнь трагически оборвалась в результате наезда лихача-водителя буквально за несколько месяцев до 80-летия.

В 2004 г. Миша стал жертвой грубого произвола со стороны директора ИРИ РАН Сахарова, отправившего его своим волевым решением на пенсию. Характерно, что, когда в 2000 г. Миша сам хотел уйти с поста заместителя главного редактора «Отечественной истории», Сахаров уговорил его остаться, а затем без каких-либо видимых серьезных причин утратил к нему доверие и прежнее расположение. Видимо, М.А. Рахматуллин стал казаться Сахарову слишком независимым, гордым и «неуправляемым», а таких директор ИРИ РАН, как известно, не любил. Однако на защиту Миши дружно встала научная общественность и Отделение историко-филологических наук РАН, куда я обратился с мотивированным заявлением в защиту Рахматуллина. В результате он был зачислен в штат издательства «Наука», которое выпускает наш журнал, но следы этой психологической травмы у Миши, конечно, сохранились до конца его дней.

В моей памяти и в памяти всех, кто его любил и ему симпатизировал, Морган Абдуллович Рахматуллин навсегда останется как пример многолетнего и бескорыстного служения российской исторической науке, как умный, талантливый ученый и хороший организатор науки.

С.В. Тютюкин,
доктор исторических наук

«Я – не историк»

А Вам честь и слава...

С.С. Дмитриев

Было очень мало мужественных и честных историков, которые осмелились идти против официального течения, и одним, по моему мнению, самым талантливым и честным среди них были Вы.

Ю. Кахк

Каждый из тех, кто имел счастье и честь общаться с Морганом Абдулловичем Рахматуллиным (30.05.1927 – 06.10.2006)[1], вероятно, как и я, неоднократно из его уст слышал фразу, вынесенную в заголовок, но всегда вызывавшую внутреннее сопротивление собеседника. Однако в этом утверждении Морган был весь – со своими слабыми и сильными сторонами. По здравом и запоздалом размышлении можно понять, пожалуй, будто автор этого заявления в какой-то степени был прав, если считать, что речь шла о «советском» историке. Стопроцентным советским историком он, конечно, не был. Он не лгал и не «колебался вместе с линией партии» (тогда называвшейся Коммунистической), хотя и был ее членом с 1964 г., как делало подавляющее большинство его и наших коллег. Он был исключением – и в мире тех навек испуганных интеллигентов, родственники и коллеги которых нашли свою гибель в ГУЛАГе или просто теряли возможность продолжать заниматься любимым делом, и в мире карьеристов, цинично ни во что не ставивших интересы Отечества, в любви которому они постоянно клялись, но живших ради материального процветания собственного и их семей. «Не историк» и потому, что его душевный мир был шире, богаче, чище и глубже аналогичного членов корпоративного мирка профессиональных историков, а интересы не ограничивались сферой истории, выходили далеко за ее пределы.

И конечно, Морган Абдуллович был совершенно не прав... В этом заявлении отразились природная, даже несколько гипертрофированная скромность и то особое самосознание, которое ныне кажется связан-

ным с крестьянским традиционным менталитетом, а раньше было присуще весьма значительному числу русских людей (а возможно, и татар, судьбы которых неразрывно связаны с русскими). Сошлюсь на любимую поговорку собственного деда: «Молодец среди овец, а против молодца сам овца», которую тот постоянно применял по отношению к самому себе. Случай Моргана Абдулловича не тот, когда говорят, что «уничижение паче гордости» (тоже из стародавних дореволюционных времен), а естественное состояние духа, очень отличавшегося от правильно советского или, тем более, правильно постсоветского, эгоистично устремленного к собственному успеху. Морган Абдуллович и внешне, и в отношениях с людьми казался если не инопланетянином, то иностранцем (теперь с уверенностью могу сказать – похожим на японцев с их опасением сделать неприятность соседу, начальнику, подчиненному, случайному попутчику) и высочайшим чувством ответственности не только за себя, но и за другого[2].

Проследим же жизненный путь автора публикуемого сборника, понимая, как и он, что этот путь формирует «мировидение, самосознание» (№ 78. С. 204) шествующего или бредущего по нему человека.

М.А. Рахматуллин родился 30 мая 1927 г. в пос. Мелеуз (ныне городе) Башкирской АССР. Сын рядовых татарских (казанско-татарских) интеллигентов первого поколения, посвятивших всю жизнь просвещению и обучению народа[3], он не потерял внутренней связи с душевным миром своих родителей, свято веривших в торжество разума и справедливости. Они принадлежали к той новой интеллигенции «от сохи и станка», выращивать которую вовсе не собирался основатель Советского государства[4], но на которую возлагал надежду спасения России (именуемой ныне «постсоветской») религиозный православный философ, провидец нашего сегодняшнего дня и эпохи Г.П. Федотов. Мать Хуршида Сиразеевна (01.01.1904 – 02.09.1995) преподавала в начальных классах и делала это так, что десятилетия спустя ее ученики с благодарностью вспоминали первые уроки доброты и порядочности Заслуженной учительницы Башкирской АССР (звание присуждено 20.03. 1944), награжденной медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и орденом Трудового Красного знамени. Отец Абдулла Галеевич (1896–1938) также был учителем и рано включился в просветительскую деятельность, однако уже в 1928 г., как показывает его дневник[5], не принимал многих штампов и стандартов новой властной элиты. Сложная нервная организация отца в условиях Большого террора не выдержала, и он скончался, едва миновав 40-летний рубеж.

Память об их разносторонней деятельности ученики берегли всю жизнь[6]. Родители М.А. Рахматуллина не только преподавали в мелеузской школе, но организовали там самодеятельный театр, где в 1926–1928 гг. при свете керосиновых ламп и выступали накануне базарных дней. После 1928 г., после закрытия мечетей и многочисленных церквей, выступали в мечети. Мать играла на мандолине, отец – на скрип-

ке, он же пел байты – частушки. Существовал и оркестр, как вспоминала 16.02.1989 г. одна из его участниц Л. Габдуллина. Родители пользовались высочайшим авторитетом в поселке, и ни один брак не заключался без их благословения, воспитанные ими ученики были истинными патриотами, как и их собственные дети. Старший, Казбек (14.09.1924 – 26.09.1942), ушел добровольцем на фронт и погиб 26 сентября 1942 г. за две недели до своего 17-летия[7]. Тогда же смерть настигла и одного из преданнейших учеников Хуршиды Сиразеевны, которой он в своих письмах внушал веру в неминуемую победу[8].

62 письма Казбека (оригиналы и копия, сделанная матерью) дают представление о подготовке юношей-добровольцев к будущим боям, их передвижении к фронту (Уфа–Гурьев (март – 20 мая), Илецкая защита, Плес, Саратов (26 мая), Ртищев, Москва (31 мая), Можайск (1 июня – 2 сентября) и сталинградский окоп (14 сентября), где и погиб сам Казбек). Письма рисуют человека собранного и жизнерадостного, упорного в обучении (он мечтал еще сдать экзамены за 10-й класс), творческого (вплоть до конца августа он, продолжая семейные традиции, участвовал в самодеятельности), отличника по военно-теоретическим дисциплинам (Дисциплинарному и двум другим уставам), строевой (в особенности перед парадом 1 мая) и боевой подготовке, которая началась лишь в Можайске («Мы учимся так здорово, что на фронте будем отличными бойцами» – 6 июля; «целимся» – писал он в августе), заботливого и любящего сына и брата (он использовал каждую свободную минуту, чтобы написать домой). 3 августа, за полтора месяца до гибели он, к тому времени уже командир стрелкового отделения, сам обучавший новобранцев, сообщал матери: «Отделение меня уважает. В роте меня все знают как самого веселого и голосистого».

В конце августа 1942 г. красноармейцев 1923 г.р. отправляли на фронт, вместе с ними по ошибке или по иной какой причине на фронт попал и Казбек 1924 г.р. В последнем письме от 14 сентября читаем: «За время пребывания в армии я столько видел всякой всячины, что можно написать целую книгу».

Правду об «Окопах Сталинграда» и «всякую всячину» о войне писали и В. Некрасов, в результате лишившийся Родины, и В.П. Остафьев, которого лишь смерть спасла от «патриотов», готовых ныне его за эту правду «казнить».

Жизнь самого М.А. Рахматуллина оказалась разделенной войной на две части. Школу он закончить не успел и по окончании 8-го класса пошел на трехмесячные курсы шоферов, в 15 лет от роду сел за руль: с июля 1942 г. по июнь 1944 г. работал сначала слесарем-мотористом, а потом шофером Стерлитамакской автотранспортной роты. После гибели на фронте 17-летнего старшего брата младший, едва достигший 16 лет, добровольно вступил в армию в июне 1944 г. и попал курсантом в Криворожскую авиашколу пилотов ГВФ (06.1944 – 03.1947), что и позволило ему уцелеть в годы войны. Однако М.А. Рахматуллин был задержан в армии на долгие годы – в общей сложности он провел в ней

8 лет (в 1947–1952 гг. он проходил службу электромехаником в авиационных частях Киева и Ворошилова-Уссурийского). Уволившись в запас (с медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «XXX лет Советской Армии и флота»[9]), он в 1952–1953 гг. продолжал работать шофером-механиком автобазы городской больницы в Уфе. Его жизненный опыт – семейно-деревенский, семейно-преподавательский, шоферско-армейский – сформировал натуру цельную, как монолит, не подверженную порче конъюнктурой, погоней за деньгами и должностями[10]. Он унаследовал от родителей неистребимую честность, мягкую доброжелательность, детскую доверчивость к людям и уважение к своему труду, наставникам и предшественникам[11].

По совместительству с работой автомехаником М.А. Рахматуллин в 1952–1953 гг. закончил 9-й и 10-й классы школы рабочей молодежи г. Уфы и поступил на истфак МГУ, где специализировался по истории СССР периода капитализма. Конечно, состав студентов отличался от описанного К.Н. Тарновским. Уже редки были «люди в шинелях и военных гимнастерках, еще не снявшие погоны и не отвыкшие от привычки надевать ордена в праздничные дни»[12]. Однако характеристика, данная Тарновским студентам – бывшим фронтовикам, вполне приложима к М.А. Рахматуллину. Они, как и он, «были на 5–10 лет старше своих сокурсников <…> и лучше представляли, зачем пришли, чего хотят и что нужно для того, чтобы получить больше знаний <…> они иначе подходили к предмету, стремились схватить и понять его глубже, разобраться доскональнее <…> Таких студентов не нужно было заставлять учиться, опекать, контролировать. Они ждали и требовали от преподавателей совершенно иного – капитальных знаний, доверия в ходе работы, бескомпромиссности в оценке полученных результатов. Еще ценили они масштабность и новизну замыслов своих наставников, актуальность тем»[13]. Моргану Абдулловичу повезло с преподавателями, среди которых были такие известные ученые, как энциклопедист, тонкий и глубокий знаток отечественной культуры С.С. Дмитриев[14], специалист по истории городов и крестьянства П.Г. Рындзюнский, а также тогда еще молодой исследователь аграрной истории, активно внедрявший математические методы в изучение прошлого – И.Д. Ковальченко[15]. На последних курсах Морган Абдуллович занимался историей внешней политики России под руководством С.К. Бушуева.

Дипломная работа, «интересная и содержательная» (по характеристике декана истфака И.А. Федосова от 29 апреля 1958 г.), была посвящена малоисследованной теме «Англо-русские противоречия в Средней Азии в конце XIX в. (Афганский кризис 1885 г.)», которую он разработал «вполне самостоятельно и очень глубоко»[16].

Сразу после защиты дипломной работы, даже до государственных экзаменов, 29 апреля 1958 г. Рахматуллин был распределен на работу в Институт истории АН СССР. Отныне вся его жизнь вплоть до 2005 г. была связана с этим учреждением (как бы ни менялись его наименования: первоначально – Институт истории АН СССР, после 1968 г. – Ин-

ститут истории СССР АН СССР, с 1992 г. – Институт российской истории РАН). По окончании с отличием университета М.А. Рахматуллин начал работать в Институте 1 сентября 1958 г. Его привлекли специально для подготовки к печати «Истории России» С.М. Соловьева. В условиях начавшейся – и в исторической науке – «оттепели» возник живой интерес к классическому наследию отечественной историографии. Усилиями А.А. Зимина и В.А. Александрова переиздавались труды В.О. Ключевского. Институт истории взял на себя обязанность подготовить многотомный труд Соловьева, а издательство «Мысль» – его опубликовать. В течение нескольких лет М.А. Рахматуллин был вынужден заниматься именно этим: в 1958–1960 гг. в качестве научно-технического сотрудника сектора капитализма и с сентября 1959 г. – сектора феодализма, после 1960 г. в качестве младшего научного сотрудника. Работа заключалась в уточнении научного аппарата знаменитого историка, во времена которого не было принято давать точных ссылок, и переводе их на более новые издания, если таковые имели место. Задание невольно вводило в творческую лабораторию Соловьева и знакомило с очень широким кругом источников по истории России, в том числе и архивных. М.А. Рахматуллину достались тома, посвященные концу XVI в. и почти всему XVII в., вплоть до правления Софьи (кн. V, т. 10; кн. VII, т. 13), третьей четверти XVIII в. (1749–1768; это были кн. XII, т. 23 и кн. XIV, т. 27). Каждый, кто прошел школу ученичества «под руководством» С.М. Соловьева, поневоле становился специалистом в том или ином периоде отечественного прошлого. Для многих опыт работы в этих пределах оказался определяющим при выборе собственной тематики, для М.А. такую роль сыграла подготовка томов по истории конца XVIII в., к которой он обратился на третьем этапе творческого пути.

В работе над «Историей России» М.А. Рахматуллин складывался и как историограф. В томе XII (1749–1761) ему было поручено написать и историографическое послесловие, неправильно именовавшееся в издании «комментарием». В нем он показал себя вдумчивым и внимательным исследователем творчества С.М. Соловьева.

Первый период его творчества, довольно краткий (1967–1972), точнее всего может быть назван **временем поиска собственной проблематики,** по преимуществу ограниченной историей крестьянства. Выбор отнюдь не случайный. Опыт первого исследования в сфере внешней политики обнаружил всю зыбкость возможностей в этой сфере, позже убедительно доказанную событиями 1980 г. Для историков советского времени, которые не хотели или просто органически не могли кривить душой, оставались другие прибежища – прежде всего источниковедение и история народных масс, которые вопреки очевидности выдавались за творцов прошлого, настоящего и будущего. В своей статье 1967 г. сам Рахматуллин подчеркивал, что главной социальной силой в первой четверти XIX в. было крестьянство (№ 7. С. 548)[17]. А в учебнике 2003 г. выразился еще точнее, полагая, что крестьянский

вопрос был «основным и вечно актуальным вопросом российской действительности» (№ 84. С. 793).

К истории крестьянства молодого исследователя склоняли и некоторые семейные традиции, и студенческие занятия под руководством С.С. Дмитриева (см. ниже). Поэтому параллельно с подготовкой к печати труда С.М. Соловьева (X и XIII томов) в 1958–1960 гг. Рахматуллин под руководством В.Д. Мочалова собирал материал по теме «Социально-экономический строй закавказской деревни на рубеже XIX–XX вв.»[18] и вел самостоятельно работу над темой «Крестьянская промышленность западных губерний России в первой половине XIX в.». Однако от этих тем он позднее полностью отказался, сосредоточившись на истории великорусского крестьянства. В последующие пять лет (1961–1966) работу над Соловьевской «Историей» он совмещал с написанием под руководством П.Г. Рындзюнского[19] диссертации «Крестьянское движение в России в 1826–1829 гг.», защищенной 25 мая 1967 г. (№ 8). В ней были сфокусированы многие направления дальнейших исследований этой темы. Автор охарактеризовал особенности периода, когда на смену крестьянским войнам, свойственным предшествующему периоду – времени становления капиталистических отношений в России, пришли мелкие формы локальных выступлений – повседневных, по преимуществу в виде жалоб и прошений, редко сопровождавшихся волнениями. Он поставил вопрос о влиянии декабристского восстания на движение крестьянства, рассмотрел разные его категории и степень вовлеченности в движение каждой из них – помещичьих и вообще частновладельческих, удельных и государственных (при общем, разумеется, приблизительном числе участников крестьянских волнений свыше 95 тыс. человек оброчные крестьяне составляли 49%, барщинные – 9,65, государственные – 9,8, удельные – 19%. С. 19). Укажем, кстати, что подобные статистические данные относительно крестьянских выступлений были новостью, равно как и аналогичный опыт Б.Г. Литвака[20].

Среди требований крестьянства важное место занимали прошения об освобождении от власти помещиков и переводе в казенное ведомство. Процесс расслоения крестьянства, нараставший параллельно с развитием капиталистических отношений, пусть и сравнительно робким, менял характер требований. Так, зажиточное торгово-ремесленное крестьянство, интересы которого ущемила гильдейская реформа 1824 г., поддерживало его лишь до определенного момента (с. 25–26). Особую главу диссертации автор посвятил проблеме крестьянской «идеологии», весьма слабой и несовершенной, точнее, крестьянскому самосознанию с весьма ограниченным представлением о свободе (для помещичьих – лишь личной), идеалом которой было пребывание в казенном ведомстве. И в этой связи изучал влияние городских разночинцев на крестьянское движение и связи движения декабристов с борьбой крестьянства (№ 7, 9, 31, 34).

Первый этап самостоятельной деятельности М.А. Рахматуллина проходил на фоне хрущевской оттепели, сказавшейся на исторической

науке с некоторым запозданием. Однако лишь благодаря ей местом проведения двух мировых конгрессов – исторического и экономического – был избран СССР. Московский исторический и Ленинградский экономический конгрессы сопровождались, как это ни странно, вовлечением «молодежи»[21]. Среди нее оказался и М.А. Рахматуллин. Ко второму из них он подготовил весьма фундаментальное исследование о хлебном рынке и ценах на хлеб в России в первой половине XIX в. Автор подчеркнул своеобразие российского хлебного рынка, которое заключалось в сезонности[22], что зависело от возможностей транспортировки по санному пути – зимой в это занятие было вовлечено свыше 3 млн человек, а летом лишь 800 тыс. (№ 14. С. 357)[23]. Транспортировка определяла и сезонность цен, во многом, впрочем, зависевших от местных условий, в том числе и природных, и особенностей социально-экономического развития (в потребляющих районах цены были более высокие, равно как и в районах оброчного хозяйства). При отсутствии украинского хлеба на российском рынке из-за неудобств доставки конкурировали друг с другом лишь помещики и крестьяне, но даже подобная конкуренция способствовала понижению цен на хлеб в середине 20-х годов XIX в. Работа М.А. Рахматуллина примыкала к тому новому экономико-статистическому направлению в историографии, которое особенно интенсивно разрабатывали И.Д. Ковальченко, уже подростком увлеченный математикой, а вслед за ним и Л.В. Милов.

Проведение мировых конгрессов в СССР было возможным лишь благодаря модернизационной политике ЦК КПСС во главе с Н.С. Хрущевым. «Оттепель» в исторической науке приоткрыла дверь и к знакомству с работами зарубежных коллег (причем уже не только соцлагеря). В соответствии с духом времени в секторе феодализма была создана группа иностранной научной информации из числа сотрудников, знавших иностранные языки. Сбор сведений об англоязычной литературе был поручен М.А Рахматуллину. Кроме того, члены группы должны были проверять и выходные данные работ, приведенных в библиографическом справочнике зарубежных работ по истории Руси и России (X – начало XVII в.) за 1917–1970 гг., подготовленном А.А. Зиминым. Справочник, к сожалению, пока остается неизданным.

Но вернемся к Моргану Абдулловичу. С марта 1970 г. он дополнительно к основной работе исполнял обязанности заведующего отделом феодализма журнала «История СССР», требовавшие массу времени для редакционно-организаторской работы[24]. По словам главного редактора журнала И.Д. Ковальченко, Морган Абдуллович успешно справлялся «с определением наиболее актуальных проблем, оценкой материалов портфеля, установлением контактов с научными учреждениями и учеными, с подготовкой материалов к печати. Для него характерны вдумчивое отношение к делу, самостоятельность, оперативность» (1971). Хотелось бы в этой характеристике подчеркнуть слово «самостоятельность» – качество, которое высоко ценили занимавшиеся творческим трудом выпускники университета. Продолжая сравнения М.А. Рахма-

туллина с более старшими коллегами, начатые Н.И. Павленко, стоит заметить, что в качестве редактора журнала его можно причислить к когорте таких самоотверженных подвижников науки, как Исаак Урельевич Будовниц и Александр Исаевич Юхт, вытянувших на своих плечах издание объемных «Исторических записок», выпускавшихся тем же Институтом истории АН СССР.

Длительное пребывание в армии оставило в его мироощущении неизгладимый след (он постоянно испытывал чувство некоторой инородности или инаковости в среде людей, не испытавших даже сотой доли тех трудностей, которые выпали на его долю, и легко шагавших по ступеням: школа – вуз – аспирантура – защита – престижная в советском обществе работа и достойная зарплата) и в какой-то степени определило его профессиональные интересы. Он долго не мог избавиться от фантомных воспоминаний об армии и изживал их, посвятив в 1969 г. особую статью роли солдат (отставных и отпускных, но уже не крепостных) в крестьянском движении 20-х годов XIX в., в котором зрели идеи «вольной земли», а после смерти Александра I – вольности (№ 10), а другую – в 1972 г. – воинам России в Крымской кампании, того трагического и переломного времени, когда сложились, наконец, предпосылки отмены крепостного права в России (№ 18)[25]. Военная и военно-социальная проблематика вплоть до 80-х годов не давала покоя исследователю. Плодом его размышлений на эту тему оказались и новаторски неожиданная статья «Рядом с декабристами» 1979 г. о судьбах денщиков, вольнонаемных и крепостных слуг декабристов (№ 35), и цикл работ, посвященных истории русской военной мысли и практики (№ 37, 39, 47).

Не порывал Морган Абдуллович и связей с Уфой, в 1972 г. согласившись оппонировать бывшему соотечественнику Б.С. Давлетбаеву по теме «Отмена крепостного права в Башкирии. Освобождение помещичьих крестьян и горнозаводских рабочих». В 1974 г. он в соавторстве с В.Д. Назаровым сделал доклад «Факторы и формы совместной борьбы народов России в Крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева» на Всесоюзной научной конференции в Уфе. Среди объективных факторов выступления народов авторы отметили разнообразие и этническую пестроту народов Поволжья, исповедовавших разные религии, преобладание государственных форм эксплуатации, большую роль административно-бюрократического аппарата, а в качестве субъективных факторов (скорее – форм) выделили сравнительно высокую организованность выступления благодаря наличию повстанческого центра, учитывавшего требования различных групп участников войны, знакомых с общими требованиями благодаря широкому распространению пугачевских «манифестов» (№ 25, 29).

Он успел съездить в Венгрию в 1976 г., несколько позднее – в Монголию и в самом начале 90-х годов – в Бельгию. В дальнейшем такие дальние поездки для Моргана Абдулловича стали невозможными из-за семейных обстоятельств.

Вернемся, однако, к хронологическому изложению событий. Начало **второго периода его творчества** можно датировать 1972 г. Этот этап прошел под знаком службы в редакции журнала «Отечественная история» и продолжения исследований крестьянских движений с акцентом на изучение его самосознания, с одной стороны, и правительственной политики по крестьянскому вопросу – с другой.

В творческой биографии М.А. Рахматуллина 70-х – 80-х годов основной темой стало изучение общественного сознания крестьянства – сначала только в первой четверти XIX в. При существовавшем в советское время постоянном интересе к истории декабристского движения, который отличал и самого Моргана Абдулловича, на задний план у всех исследователей естественно отходили темы, связанные с идеологией и менталитетом основной массы населения, т.е. крестьянства. Поэтому сама тема, поставленная М.А. Рахматуллиным, и представлялась новаторской. Таковой она может считаться и в наши дни.

М.А. Рахматуллин подходил к ней с разных сторон – и как теоретик, основываясь на трудах В.И. Ленина, и как исследователь, опиравшийся на огромный архивный материал (№ 13, 15, 16, 52, 54), и как историограф, подводивший итоги работ своих предшественников и современников (№ 17, 22, 25, 27, 29, 30). Особо следует остановиться на статье о проблеме общественного сознания крестьянства в трудах В.И. Ленина 1970 г. Она принадлежит к наиболее интересным в сборнике «Актуальные проблемы истории России эпохи феодализма», подготовленной в секторе истории феодализма под руководством Л.В. Черепнина, но во вступительной статье сопровождена осторожной оговоркой: «Не все в построениях Рахматуллина бесспорно. Предметом дискуссии может быть его тезис о многовековой пассивности крестьянства» (№ 13. С. 8). Между тем это положение принадлежит не вышеназванному автору, но В.И. Ленину, который отмечал: «Крепостная Россия забита и неподвижна»[26]; «Века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что во время реформы (1861 г. – *А.Х.*) они не оказались способны ни на что, кроме разрозненных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием»[27]. Проанализировав высказывания В.И. Ленина, К. Маркса и Ф. Энгельса относительно общественного сознания крестьянства, автор приходит к выводу об инертности, неустойчивости этой социальной страты феодального общества, не игравшей самостоятельной роли в общественных движениях. Для нее было свойственно обыденное сознание, способное осмыслить лишь «ближайшие, непосредственные практические интересы отдельных индивидов как представителей своего класса» (Там же. С. 401, 402). Зарождение крестьянской идеологии как системы взглядов автор относит к концу XVIII в. и связывает ее со становлением буржуазных отношений (Там же. С. 418), что представляется несколько сомнительным. Зато следующее высказывание автора – о господствующем положении религии в системе общественного сознания (Там же. С. 421) не вызывает возражений. При этом осознание крестьянством сво-

его классового единства «оставалось смутным и большей частью выражалось в чувствах и настроениях»; «сознание крестьян находилось на уровне обыденного; крестьяне боролись за свои ближайшие экономические интересы» (Там же. С. 424, 440). М.А. Рахматуллин в связи с этим цитирует В.И. Ленина: «Вся прошлая жизнь научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы»[28]. Изучение взглядов «классиков марксизма-ленинизма» и конкретный фактический материал, обобщенный в докладе на межвузовской научной конференции в Смоленске в 1972 г. (№ 16)[29], приводит М.А. Рахматуллина к выяснению корней «монархических иллюзий, надежд на царя-батюшку» (Там же. С. 435)[30], сохранившихся – добавим от себя – в девственном виде вплоть до наших дней. Но и для этого тезиса автор снова прибегает к опоре – высказыванию В.И. Ленина: «Крестьяне не знали, кто их враг. Крестьяне не видели связи помещиков и правительства»[31]. А в 1976 г. выступает со статьей относительно позиции царского правительства по отношению к крестьянству и приводит весьма выразительное заявление Николая I: «Революция на пороге России. Но она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни». Император, понимая серьезность опасности, призывает дворянство «к христианскому и законному обращению с крестьянами», в результате чего, как показывает автор, дела о злоупотреблениях дворян решались исключительно в их пользу (№ 27. С. 173, 177. Ср. ниже № 42).

Было еще одно направление его деятельности, отчасти связанное с должностью редактора, – это рецензирование. Занятие в целом неблагодарное или, говоря словами самого Моргана Абдулловича, «малоблагодарный жанр» (№ 76. С. 209), хотя и необходимое с нескольких точек зрения – информационной, чисто научной и просто человеческой. Сам Морган Абдуллович не раз жаловался на отсутствие реакции на его публикации (историческое сообщество советского периода, как, впрочем, и нынешнее, конечно, состояло из писателей и вовсе не читателей[32]), радовался даже устным отзывам и сам охотно писал рецензии и обзоры проблемных и региональных (типа новгородской 1971 г. № 20) конференций и дискуссий. Свежо и актуально звучит его отчет, написанный совместно Л.В. Даниловой (№ 33), о конференции, посвященной проблемам взаимодействия общества и природы. Может быть, в особенности потому, что сейчас мы страдаем от куриной близорукости советских и постсоветских властей, не поддержавших инициативы историков, озабоченных экологическими проблемами. Вывод авторов отчета о необходимости воспитывать нравственное и эстетическое отношение к природе, уместное еще в 1978 г., когда состоялась конференция, ныне приобретает характер императива.

Среди его рецензий и обзоров – статьи о конференциях, в некоторых из них участвовал и он сам (прежде всего, об абсолютизме в России, № 19), первых международных встречах (советских и польских историков – о политических взаимоотношениях стран Восточной Евро-

пы и Причерноморья, № 28), сборниках документов (в частности, о Крестьянской войне 1773–1775 гг., № 30).

Многосторонняя деятельность М.А. Рахматуллина не могла не повлиять на изменение его статуса. 2 апреля 1981 г. Президиумом АН СССР ему было присвоено звание старшего научного сотрудника, должность которого он занимал с 29.06.1972, а фактически исполнял с 1971 г. Тогда, в 1971 г., в представлении Рахматуллина на эту должность руководитель сектора феодализма Л.В. Черепнин, адресуясь к директору Института П.В. Волобуеву, писал: «М.А. Рахматуллин давно и заслуженно пользуется большим авторитетом среди сотрудников сектора и как интересный, оригинальный исследователь, и как откровенный, принципиальный оппонент в научных дискуссиях и обсуждениях, и как доброжелательный, скромный и требовательный к себе человек». Таким он оставался и позже, уже будучи в должности заместителя главного редактора журнала «История СССР», которую занимал с мая 1980 г.

Первоначально Морган Абдуллович ограничивался изучением крестьянского движения и самосознания лишь первой трети XIX в., что и стало темой его кандидатской диссертации. Занятия историей крестьянства этого времени, напоенного мечтами о свободе, не могли не вывести автора к двум другим проблемам – творчества певца этой свободы А.С. Пушкина и декабристов – первого поколения борцов за нее. Интерес к Пушкину, «феномену русской культуры, чье творчество по сей день является ее живительным источником» (№ 76. С. 119), в основном нашел выражение в опубликованных трудах автора лишь на третьем этапе его творчества, а на втором появилось постоянное внимание к декабристам, причем в непосредственной связи борьбы крестьянства с восстанием декабристов (№ 9, 31, 34). Но постепенно это направление работы приобрело вполне самостоятельное значение. В архивах М.А. Рахматуллин обнаружил несколько следственных дел, касавшихся жизни декабристских идей после подавления восстания 14 декабря 1825 г. и судеб их носителей. Так, «Дело о найденных у поручика Тарутинского полка Ландсберга рукописных сочинениях, не должных обращаться в публике» 1827 г. (ЦГВИА) не только дало возможность восстановить настроения русского общества после подавления восстания декабристов, ликвидировав – уже в неокапиталистическое время – один из мифов советской историографии (№ 64), но и ввести в оборот новый список Радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву», притом весьма ранний, близкий к наборному 1790 г. Он отличался, по определению Н. Смирнова-Сокольского, «свободным воспроизведением текста» и был отобран у студента Г. Зелинского (№ 38)[33]. В том же архиве хранилось следственное «Дело об отставном поручике Путяте, обличаемом в преступном сочинении бумаг, заключающих дерзкие выражения и злые его умыслы», а в ЦГАОРе – самые эти бумаги – стихи Селиверста Андреевича Путяты. Эти находки позволили публикатору уточнить биографические данные автора «злых

умыслов» и ввести в оборот ранее неизвестные стихотворения. Одно из них достойно цитирования:

Не лучше ли, друзья,
На место фонаря
.....
.....
Повесить на сей столб
Деспота царя?
Тогда бы воссиял
Луч пламенной свободы (№ 43).

К Александру Сергеевичу Пушкину Рахматуллин подходил медленно и – такое впечатление – осторожно. Первая публикация довольно поздняя, в 1992 г. – уже на третьем этапе развития историка, исполненная боли за отсутствие полного академического собрания его сочинений и переписки, касалась лишь опытов издания сочинений поэта (№ 76).

Этот **третий этап** можно назвать эпохой расцвета таланта М.А. Рахматуллина**,** когда он в основном перешел от изучения крестьянства не только к воссозданию душ подданных, но и образов правителей Российской империи. В 1992 г. в рецензии на монографию Б.Г. Литвака он подчеркнул, что в переломные периоды особое значение приобретают личности реформаторов (как то произошло в 1861 г., когда великий князь Константин Николаевич и его тетка великая княгиня Елена Павловна упорно настаивали на проведении всего комплекса реформ – судебной, земской, военной, школ, университетов, цензуры (№ 63).

Вторая половина 80-х годов, отмеченных некоторым оживлением духовной жизни общества после брежневского застоя, сопровождалась попытками популяризации истории, точнее, исторического знания[34]. Полное большими достижениями и новыми потерями[35] десятилетие открыло и самому Моргану Абдулловичу (с 1 октября 1986 г. ведущему научному сотруднику Института истории СССР), да и читателям новую грань его таланта. Наряду с прежней – крестьянской проблематикой в творчестве М.А. Рахматуллина значительное место заняли работы психолого-социального толка, подспудная подготовка к которым происходила на протяжении всей его жизни. Морган Абдуллович принял участие в издании 1987 г. «Сенатская площадь. 14 декабря 1825 г.». Автор проследил основные линии восстания, подчеркнув неподготовленность самих восставших к такому повороту событий (№ 55). Его участие в серии «История Отечества в романах, повестях, документах», основанной издательством «Молодая гвардия»[36], потребовало изменения стиля. Освободившись от элементов (к счастью, незначительных) наукообразия, он стал писать ярко, с чувством, но по-прежнему точно. Расширилась и тематика. Результатом стала серия работ о русских императорах, появившаяся уже после развала СССР. В ответ на коллективную монографию «Российские самодержцы 1801–1917 гг.» 1993 г. появились статьи М.А. Рахматуллина о Екатерине II, Николае I и А.С. Пушкине. Работы последнего периода отличаются широчайшей эрудицией (приме-

ром может служить критический отзыв на «Оренбургскую Пушкинскую энциклопедию», № 77[37] или «Интеллект власти», № 88), тонким психологизмом и изысканным русским языком, о котором давно уже забыла основная масса русских по рождению историков.

Отклонения в сторону от магистральной темы не мешало разработке истории крестьянства: с течением времени он довел рамки своего исследования практически до отмены крепостного права[38], вернее, до времени создания Комиссии по крестьянскому вопросу, которая в отличие от аналогичного Секретного комитета 1839 г. занималась разработкой генерального положения об отмене крепостничества. Эта вторая часть обширного исследования стала основой докторской диссертации на тему «Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826–1857 гг.» (№ 58), которую в 1988 г. он с блеском защитил. В 1990 г. под тем же названием вышла и его монография (№ 61)[39]. Она суммировала многие новые наблюдения и материалы, заново систематизированные и осмысленные автором. Монографию предваряла статья 1988 г. о социальных настроениях крестьянства, в какой-то степени определявших формы его выступлений. Призыв во время Крымской войны постоять за отечество крестьяне восприняли как обещание свободы. Уверенность в этом была тем более прочной, что уже в 1847 г. был издан указ о праве крестьян выкупать имение в случае продажи его с торгов (№ 58. С. 61–62). Представление о свободной земле вызвало переселение из Ново- и Старооскольского уездов в только что покоренную и «замиренную» Черкесию согласно указу от 31 декабря 1846 г. об освоении черноморского побережья «русскими людьми свободного состояния» (С. 76).

Н.И. Павленко емко и точно определил достоинства единственной монографии М.А. Рахматуллина. К этой характеристике трудно добавить что-либо существенное. Лейтмотив книги – «отсутствие спаянного *едиными* интересами крестьянства в *дореформенной* России» (№ 60. С. 3. Курсив автора. – *А.Х.*)[40]. Отсюда и социально-стратиграфический метод изучения выступлений, зависевших от социального положения крестьян – помещичьих, дифференцированных в соответствии с числом ревизских душ (С. 38– 39), финансового положения владельцев (к 1859 г. было заложено 42,8% имений и 66,5% крестьян), государственных и удельных, поводов для этих выступлений и их целей. Следует отметить, что автор блистательно применил и статистический метод[41] – отнюдь не для суммарных, а в высшей степени дифференцированных подсчетов как самих участников[42] (и их возраста[43]), так и выступлений, их динамики, в первую очередь повседневных форм, ранее остававшихся вне внимания ученых.

Правда, утверждение относительно побегов, «как одной из наиболее радикальных форм борьбы крепостного крестьянства» вызвало недоумение С.С. Дмитриева. 13–14 апреля 1991 г. он писал автору монографии: «Нужно бы объяснить, как это отказ от борьбы, уход из борьбы одной из борющихся сторон трактуется в виде радикальной формы борьбы? Можно ведь и «*непротивление злу насилием*» объявить радикальной

формой борьбы, хотя скорее тут просматривается отказ от прямой борьбы, выход из нее» (выделено С. Дмитриевым). Что ответил М.А. Рахматуллин своему студенческому наставнику, неизвестно. Думается, однако, что упрек С.С. Дмитриева не вполне правомерен. Побег крестьянина прекращал сам факт его крепостной зависимости, и потому может быть квалифицирован как радикальная форма борьбы с крепостничеством. Другой читатель, Ю. Кахк, в письме автору монографии от 31.03. 1991 г. подчеркнул правильность наблюдения М.А Рахматуллина об убийствах помещиков как «простом проявлении «конкретности» крестьянского движения, а не как наивысшей и радикальнейшей формы борьбы[44].

С течением времени, как показал М.А. Рахматуллин, у крестьян крепла уверенность в правоте своего дела. Один из «ходоков» наивно обосновывал свою веру в успех тем, что «не гонят по этапу, а везут на лошадях и платят прогоны» (с. 109). Очень интересны наблюдения М.А. Рахматуллина относительно роли общины, руководствовавшейся как демократическими, так и консервативными («куда мир, туда и я, мне от мира прочь нельзя») традициями. Ритуал «посвящения» ходоков вплоть до середины XIX в. сохранял языческие обряды с использованием земли (с. 117), как в связи с другой темой убедительно показали этнографы.

М.А. Рахматуллин указал и на изменение форм подавления крестьянских выступлений. На фоне европейских революций 1848 г. в России сократилось применение военных команд против крестьян. И несмотря на требования дворянства (в том числе и легендарного героя Отечественной войны 1812 г. Дениса Давыдова) прибегать к «строгим мерам», в конце 50-х годов начались поиски компромиссного решения крестьянского вопроса.

Во второй главе книги автор представил «честный анализ» (по определению Ю. Кахка) того, как правительственная политика, в том числе такие указы, как манифест от 16 апреля 1841 г. об освобождении от следствия по мелким уголовным делам (с. 135), порождала слухи и толки относительно полного освобождения крестьян. Эти слухи и толки не имели конкретного результата, но способствовали объединению крестьян «общностью ожидания свободы» (с. 165–166). Стоит подчеркнуть, что до таких филигранных социолого-психологических выводов не возвышался ни один из маститых предшественников М.А. Рахматуллина. Думается, и нынешним социологам неплохо было бы поучиться столь изощренной методике определения общественного мнения. Тем более, что в стране, так и не пережившей этапа буржуазно-демократических революций, сопровождавшихся формированием представлений о человеческом достоинстве, сознание большой части горожан – детей и внуков дореволюционных крестьян – осталось на уровне, предшествовавшем тому времени, когда сложилась «общность ожидания свободы». Как и у крестьянин первой трети XIX в., у них порой преобладают частные интересы, вроде защиты своего леса (Химки) или детской площадки во дворе.

Глава III посвящена деятельности самодержавия. Здесь помимо общеизвестных фактов о создании жандармерии и Третьего отделения е.и.в. канцелярии Рахматуллин анализирует циркуляры 1832 г., имевшие целью «предупредить вредные последствия... неосторожности» (подч. мной. – *А.Х.*) помещиков, однако уже через два года власть вынуждена была принимать к разбирательству жалобы на помещиков, хотя из 200–300 таких случаев наказанию подвергались от 6,9% до 21,1% в 1840 г. Еще более болезненной для дворянства мерой было взятие имений в опеку. Все эти паллиативные меры проходили на фоне репрессий против крестьян за неповиновение помещикам и властям, поджоги т.д.

Глава IV подвела итог размышлениям и наблюдениям автора о соотношении идеологии и общественной психологии, в которую превращалась первая, опускаясь в массы. Рахматуллин констатировал тот факт, что крестьянское движение не соединилось с революционным дворянским и разночинным движением, хотя и питало их (с. 216). Здесь же он еще раз подтвердил свою прежнюю оценку Крестьянской войны 1773–1775 гг. под руководством Е. Пугачева: «Крестьяне объективно могли бороться и действительно боролись за иной вариант феодализма», который и сформулировал «самый радикальный указ повстанцев... от 31 июля 1774 г.», ставивший «выполнимую задачу – создание общего сословия государственных крестьян» (с. 222).

Первые читатели и рецензент книги, эстонский коллега по крестьянскому «цеху» Ю. Кахк, отметили основные заслуги автора. С.С. Дмитриев был единственным, кто обратил внимание на использование, причем очень осторожное, пословиц и поговорок. В цитированном выше письме от 13–14 апреля 1991 г. Сергей Сергеевич писал: «Осторожно критическое отношение Ваше к пословицам и поговоркам в целом мне понятно и кажется основательным. И все-таки пословицы и поговорки суть важнейшие элементы любого языка. А язык в его историч[еском] развитии был и будет всегда для историков одним из важнейших сводов данных о прошлом (этнонимы, топонимы, поговорки и др.). Вы правы здесь только в том, что широкое обращение к пословицам и поговоркам, как правило весьма рискованно в исследованиях конкретно исторических с определенной, как правило, хронологически относительно узкой тематикой. Но в социо-культурных штудиях обычно с широкими хронологическими вехами пословицы и поговорки при научно-критическом подходе к ним необходимы и являются во многих случаях источниками весьма насущно важными и ценными» (подчеркнуто С. Дмитриевым).

Несмотря на полуупрек Ю. Кахка об отсутствии общетеоретического вывода о том, что «крестьянское движение подчиняется законам случайности (статистика) – все острые столкновения случайные события. Чем больше обыкновенной (и нелегальной) борьбы, тем более высокая вероятность (и число) открытых столкновений – и, следовательно, реальной угрозы системе».

В целом исследование М.А. Рахматуллина подняло на более высокую ступень изучение крестьянских движений, но, увы, в тот период, когда «новорусская» историография потеряла интерес ко всяким выступлением против Богом данного Святой Руси царя – вне зависимости от того, к какой династии он принадлежал или просто какую фамилию носил.

А в 1992 г. М.А. Рахматуллин упрямо продолжил исследование крестьянского вопроса, на этот раз статьей о проекте 1842 г. образцового помещичьего имения. Свои предшествующие наблюдения о политике самодержавия по крестьянскому вопросу он сформулировал так: «Одной из направляющих сил процесса гражданского раскрепощения было... само самодержавие» (№ 65. С. 164). К исходу первой четверти XIX в. стали явственны признаки надвигавшегося кризиса, и наиболее дальнозоркими они были замечены. Так, А.Х. Бенкендорф в отчете 1827 г. писал: «Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством». Предпринимались и попытки спасения существовавшей системы общественных отношений за счет некоторой их модернизации. Указ 1842 г. об «обязанных крестьянах» предусматривал реорганизацию управления имениями и перевод крестьян на оброк, что сулило повышение доходности имений на $^1/_5$ – с 9,5 до 12 тыс. руб. Судьба этого указа, как и реформы П.Д. Киселева, основательно изученной Н.М. Дружининым, была плачевна.

И на третьем этапе деятельности Морган Абдуллович не прекратил писать рецензии, отзывы и юбилейные статьи. В рецензии на книгу Павленко – биографического очерка о А.Д. Меншикове, наделавшего в начале 80-х годов много шума (№ 44), но не лишенного недостатков (в частности, из-за отсутствия характеристики источников), Рахматуллин увидел «возрождение жанра увлекательного исторического повествования о деяниях и поступках знаменитых людей», который «воспитывает вкус[45], воссоздает живую ткань истории» (№ 45. С. 128)[46]. В 1996 г. он посвятил Н.И. Павленко специальную статью по случаю его 80-летия (№ 72), подчеркивая такие его черты, как самостоятельность, а в творчестве – объективность (№ 72. С. 108, 117)[47], свойственные и самому Моргану Абдулловичу. Привлекали его и стиль и метод Н.И. Павленко, предлагавшего читателю «живой рассказ» о прошлом, не исследование, но и не беллетристику (№ 72. С. 114). Думается, и сам рецензент и поклонник Н.И. Павленко подпал под обаяние вновь возрожденного жанра и дал такие его образцы, которые можно назвать классическими. О них уже упоминалось выше.

Второй минибиографией историка была статья М.А. Рахматуллина к 80-летию Б.Г. Литвака. В ней Морган Абдуллович слишком кратко охарактеризовал «доисторический» период жизни Литвака, лишь мельком указав, что тот в 1941 г. вышел из киевского окружения, одного из самых страшных «котлов», в который попали советские войска в самом начале войны, подробности организации которого «вождем и учителем народов» стали известны лишь недавно[48]. Зато автор подробно охарак-

теризовал основные монографии юбиляра[49], волею судеб встретившего свое 80-летие на далекой чужбине (№ 78). С явным «сочувствием» – если это слово здесь подходит – М.А. Рахматуллин изложил представления автора о принципах независимого источниковедения, методы изучения материалов которого «равнодушны» к классовой позиции исследователя[50].

Условия работы в журнале в 90-е годы изменились. Историки-профессионалы стали живее реагировать на полулюбительские сочинения новых аматеров Клио. Своеобразным откликом на книгу В. Суворова «Ледокол» была статья М.И. Мельтюкова (ОИ. 1994. № 2), пытавшегося разобраться в нагромождении достоверных фактов, гипотез и домыслов. Непривычные к новому жанру и новым идеям читатели забросали редакцию письмами. В ответ на них был опубликован протокол заседания редколлегии. М.А. Рахматуллин поддержал идею В. Суворова об агрессивном характере внешней политики СССР («внутренняя суть империи должна соответствовать ее внешней политике, которая все эти годы оставалась в стратегическом плане, бесспорно, наступательной (идея мировой революции»). Одновременно он выступил против «политизированных» высказываний В. Суворова. Опираясь на собственный опыт и опыт своих сверстников, Морган Абдуллович, как и поддержавший его К.Ф. Шацилло, решительно заявил: «Нельзя, например, оставить без опровержения один из основных тезисов Суворова, в соответствии с которым, эта война не является Отечественной» (№ 70. С. 280).

Поразительна эволюция этого вполне сложившегося человека и исследователя. В зрелом возрасте М.А. Рахматуллин обнаружил способность творчески расти и развиваться, оперативнее и точнее отвечать на запросы времени. Доказательством этого является публикуемый ныне сборник. Проблема «Власть и общество в период коренной ломки социально-экономического и политического строя» приобрела особую актуальность. И автор ответил на запрос времени блистательными статьями о Екатерине II, в которых он ясно показал те требования, которые предъявляет общество в подобные переломные периоды истории к власти. М.А. Рахматуллин отнюдь не изменил своим коренным демократическим установкам, но с их позиций оценивал теперь уже не действия крестьянства, а самой власти.

Сборник «Екатерина II в воспоминаниях современников, оценках историков» 1998 г. (№ 75) отличается от серии различных сочинений, лавиной хлынувших в 90-е годы. Это не монография типа той, что создал А.Б. Каменский[51], и не собрание свидетельств современников вроде сборника А.И. Юхта «Екатерина II и ее окружение»[52]. М.А. Рахматуллин удачно соединил сочинение самой императрицы – «Нравственные идеалы», ее письма Ст. Понятовскому, воспоминания отечественных (Г.Р. Державин, А.С. Грибоедов) и иностранных деятелей, отдав предпочтение последним (гр. К.К. Рюльер, Дж. Бэкингхемпшир, гр. Л.Ф. Сегюр, Ш. Жорж де Лилль)[53] с наблюдениями исследовате-

лей – М.М. Щербатова, Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского. Сборник разделен на три части – две первые («Царствовать или умереть – вот наш клик», «И я жил под скипетром Екатерины II») – выделены по хронологическому принципу, последняя – «Да посрамит небо всех тех, кто берется управлять народами, не имея в виду истинного блага государства» посвящена общим представлениям эпохи Просвещения и самой Екатерины II об обязанностях государя (на первое место императрица ставила – «просвещать нацию», на второе уважать законы»). Из этого сборника «выросла» идея глубокой и крайне актуальной статьи 2005 г. «Интеллект власти» (№ 89).

Обобщение предшествующих штудий было включено в учебник для вузов под редакцией А.Н. Сахарова (при жизни автора два издания в 2003 г. в двух томах и в одном томе в 2006 г., № 84, 85, 94). Учебник написан очень живо и образно, хотя и не лишен, на наш взгляд, некоторых обязательных для подобного жанра компонентов, прежде всего списка источников и литературы к каждой главе и карт. М.А. Рахматуллину принадлежит раздел VI «Россия при преемниках Петра I. Царствование Екатерины II и Павла I». Продолжая давний с 1999 г. спор с А.Б. Каменским относительно преемственности петровской внутренней политики русских государей в реформировании России, М.А. Рахматуллин четко разделил некоторые ситуативные преобразования от реформ, честь которых, по его мнению, принадлежит Екатерине II. «Политика» ее предшественников и предшественниц – Петра II (не столько царь, сколько охотник), младенца Ивана Антоновича, Екатерины I, «курляндской вдовушки» Анны Иоанновны, вообще не думавших об общем благе государства, удовлетворяла лишь никчемные желания «императоров» и императриц. Елизавета Петровна, «руководимая» братьями Шуваловыми, принялась за реставрацию петровских традиций. Преобразования же Екатерины Великой упрочили абсолютистское государство, а время ее правления стало золотым веком дворянства, наивысшим торжеством крепостничества, доказавшего свою прочность во время восстания Е.И. Пугачева. Раздел VI учебника включал и тексты по истории внешней политики и культуры, образования. Он отличается более взвешенным подходом к разделам Польши, более объективной оценкой «партийно политизированной» позиции М.В. Ломоносова по варяжскому вопросу.

Рецензии М.А. Рахматуллина 90-х годов XX и начала XXI столетий посвящены либо новым темам (книга П.Н. Зырянова о монастырях и монашестве XIX – начала XX в. № 79), либо реформаторам и их противникам (В.А. Федоров о Сперанском и Аракчееве, № 77), либо ставшему снова актуальным вопросу о технологии власти (№ 89), т.е. коренным для переломного от социализма к капитализму проблемам. Среди рецензируемых работ были такие актуальные в начале 90-х годов исследования, как проблема «революции сверху», которой была посвящена книга Б.Г. Литвака (№ 64), и публикации, которые вводили в научный оборот материалы академического дела 1929–1930 гг. (№ 70),

или обобщающие работы, которые предлагали желательно и утешительно демократическую, но неточную фактически концепцию русской истории («Выбирая свою историю», № 93). Некоторые из вышеперечисленных работ настолько информативны, что выходят далеко за рамки рецензий и, скорее, могут рассматриваться как исследовательские миниатюры. Это, в частности, касается отклика на книгу П.Н. Зырянова. Еще в 1982 г. Рахматуллин обнаружил четкое понимание роли религии в политической и общественной жизни в эпоху самодержавия (№ 44. С. 128). Знакомство с книгой о монастырях и монашестве в XIX и начале XX в. позволило ему четко сформулировать свой взгляд на Православную церковь. Она «была полностью интегрирована в общую бюрократическую систему абсолютной монархии, являлась мощной идеологической опорой самодержавия» (№ 79. С. 199). Этот тезис автор иллюстрирует манифестом 19 февраля 1861 г., по просьбе Александра II написанным московским митрополитом Филаретом (Дроздовым). Манифест включал цитату из послания апостола Павла римлянам («Всякая душа должна повиноваться властям предержащим» и «воздавать всем <…> должное – урок, страх, дань, честь»)[54]. Честно отмечая усилия П.Н. Зырянова представить просветительскую роль монастырей, М.А. Рахматуллин подчеркивал, что главным стимулом их деятельности была страсть к накопительству, а культурный и нравственный уровень духовенства оставлял желать лучшего. Великий князь Александр Николаевич в 1837 г. писал отцу из Саратова: «Здешнее духовенство наше, к несчастью, не славится своей нравственностью. В здешнем крае... каждый простой раскольник умнее нашего священника». Рецензент приводит убийственные статистические данные: в 1914 г. численность монашества, послушников и слуг в 1025 монастырях составляла 94 629 человек, в численность студентов – правда, 20 годами ранее, в 1896 г. – лишь 25 166 человек (№ 79. С. 201).

Глубокой исследовательской статьей следует признать обзор сборников «14 декабря 1825 г.» (Т. 1–3, 1997, 2000, 2000), благодаря которому, как и предшествующим работам декабристской проблематики, в среде коллег-декабристоведов Морган Абдуллович завоевал авторитет «честного и оригинального ученого» (К.Г. Межова). При всей краткости отзыва о главах по истории декабристов в сборнике «Выбирая свою историю», вышедшем уже после кончины Моргана Абдулловича, он лишь подтверждает данную выше характеристику автора. Разбирая ситуации, которые рассматриваются как «развилки истории» – «объединительные совещания» 1824 г. и восстание Черниговского полка, к которому должен был присоединиться 3-й корпус и другие армейские части, чтобы взять Киев, провозгласить конституцию, произвести освобождение крестьян с землей и другие реформы, воспроизводящее в основных чертах соответствующую главу книги Н.Я. Эйдельмана[55], рецензент убедительно показывает, что ни в 1824, ни в 1826 годах нельзя всерьез говорить о «развилке», т.е. о возможности альтернативного развития событий. Против самой подобной постановки вопроса рецен-

зент не выступает, напротив, он подчеркивает, что «люди в нем (историческом процессе. – *А.Х.*) участвуют не только как исполнители (актеры), но и как создатели (сценаристы), а это, в свою очередь выбивает почву из-под ног у тех, кто по привычке повторяет, что «история не имеет сослагательного наклонения» (№ 90. С. 199). Он упрекает авторов в невключении в число «развилок» события, «действительно претендующего быть таковым» – а именно восстания 14 декабря 1825 г., и в обоснование своей точки зрения приводит не только мнения отечественных историков – Н.Я. Эйдельмана и Я.А. Гордина, но и ученых русского зарубежья. Отказываясь моделировать возможный ход событий 1826 г., автор завершает рецензию примечательными словами: «...право на существование имеют не только пессимистические, но и оптимистические прогнозы, хотя шансы на верификации первых, видимо, все-таки предпочтительнее. Впрочем, Россия была и остается столь мощным этносоциальным организмом, что в конечном счете она выдержала бы все, в том числе и декабристский эксперимент, который мог бы оказаться и более успешным, чем эксперимент, начатый в октябре 1917 г.» (Там же, подчеркнуто мной. – *А.Х.*).

М.А. Рахматуллин избежал влияния модных течений – монархизма[56], национализма и прочих, оставшись на позициях добротного «крестьянского» здравомыслия, и был одним из немногих, кто, снова говоря словами Г.П. Федотова, «спас достоинство» исторической науки не только в лихолетье советизма, но и в период так называемой «суверенной демократии», под покровом которой успешно возрождалась и возрождается взрывоопасная смесь большевизма, имперских традиций, культа личности, ксенофобии, шовинизма и сталинизма.

И последнее сравнение... Хотя судьбы белоруса Н.Н. Улащика и татарина М.А. Рахматуллина сложились по-разному, фундамент этих судеб был один – непоколебимая порядочность и чувство высочайшей ответственности перед обществом. И оба расплачивались за это, хотя и по-разному: первый – тремя отсидками в ГУЛАГе, другой – ветеран Великой Отечественной войны, удостоенный многочисленных наград, в том числе и за воинский и трудовой подвиг, и за вклад в развитие академического книгоиздания – неожиданной потерей работы в ИРИ РАН в 2004 г. Ей предшествовало принципиальное выступление в качестве члена третейской комиссии Диссертационного совета ИРИ РАН по одной из работ, защищенной в РГГУ в 1998 г. и поступившей на дополнительное рассмотрение из Высшей аттестационной комиссии в связи с отрицательными отзывами преподавателей МГУ Л.Г. Захаровой и Л.В. Милова. На заседании указанной комиссии в июне 1999 г. с мнением критиков согласился не только Н.И. Павленко, но и М.А. Рахматулин. Последний подготовил проект официального заключения от имени комиссии (т.е. собственного, А.Н. Медушевского и Ю.А. Тихонова). Двое последних при обсуждении работы под влиянием выступлений Е.В. Анисимова, Н.Ф. Демидовой, А.Г. Тартаковского изменили свою точку зрения, и положительный отзыв от их име-

ни решил судьбу вопроса. «Спорная» работа вскоре была утверждена ВАК'ом.

Менее удачно сложилась судьба одного из критиков. 8 октября 2001 г., спустя полгода после реорганизации сектора истории СССР периода средневековья и раннего нового времени, вернувшего прежнее – до 1994 г. – наименование сектора феодализма (часть сотрудников перешла в Институт всеобщей истории, двое – в Институт славяноведения, часть вышла на пенсию), М.А. Рахматуллин был переведен на должность консультанта, что усугубило трудности его жизни (в это время его супруга уже была лежачей больной). Несмотря на двукратное издание учебника по истории СССР в 2003 г. (№ 83, 84), где Морган Абдуллович представил свое видение развития России в XVIII в. отнюдь не «прямолинейного» по его мнению, он был сокращен из штата института, что грозило потерей службы и в редакции. Лишь вмешательство московских и питерских друзей и коллег, обратившихся в Отделение историко-филологических наук, привело к его зачислению в штат издательства «Наука». Психологическое состояние Моргана было тяжелейшим[57]. Он чувствовал себя вытолкнутым на обочину жизни.

В связи с этим хотелось бы еще раз обратиться к высказыванию автора публикуемых работ. В 2002 г. он упрекал историков «в невнимании к тем, кто не пытался – подобно лидерам декабристского движения – творить историю, а просто по воле случая оказался под ее безжалостным колесом» (№ 78. С. 112). Его судьба последних лет и трагическая гибель напоминает судьбы многих полубезвестных героев изысканий историка...

* * *

Завершая портрет этого ученого и человека, следует повторить главное. Его вклад в развитие отечественной историографии весом, хотя и менее известен, чем работы его коллег-аграрников. Прежде всего в силу фантастической скромности автора, его стремления всячески принижать свои заслуги и себя самого[58], фактически не вступая в корпоративное сообщество историков, сохраняя внутреннюю свободу и не идя на компромиссы, которых требует членство в корпорации, и обрекая тем самым себя на полное одиночество в среде разного рода «выпрямителей» истории. Рахматуллин вносил в историю тот дух добропорядочности и честности (от забытого слова – честь), который старательно истребляли в науке, и не только в ней, ВКП(б)/КПСС и Советская власть. Он создавал тот «воздух», без которого никакие науки – и уж тем более история, подверженная, как писал сам Морган Абдуллович, субъективному воздействию, развиваться не могут. Его трагическая гибель – огромная потеря для друзей и почитателей, части исторического сообщества и тех соотечественников, которые по-прежнему мужественно ищут в наших трудах порой горькую, но правду, а не сладко-лицемерную ложь.

Примечания

[1] Среди них был и академик РАН Б.В. Ананьич. Он писал в 2006 г.: «Я имел счастье часто общаться с М.А. Рахматуллиным, когда входил в состав редколлегии журнала. Благодарен ему за это. Мы иногда расходились с ним в мнениях, но с ним интересно было даже спорить. Он был открытым и прямым человеком, у него был гигантский опыт редакционной работы <…> и у него было чему поучиться» (Отечественная история. 2007. № 1. С. 219).

[2] *Прусс И.* Слово формирует взгляд // Знание – сила. 2008. № 12. С. 19–21.

[3] К сожалению, личный семейный архив М.А. Рахматуллина крайне скромен. Он содержит несколько газетных вырезок со статьями-воспоминаниями о его матери, дневник отца о его лекциях в Казанском крае 1928 г. в составе бригады красных агитаторов, немногочисленные фотографии его брата, погибшего во время Великой Отечественной войны, памяти которого М.А. Рахматуллин посвятил свою первую книгу. Биографические сведения о М.А. Рахматуллине почерпнуты из личного дела, хранящегося в архиве ИРИ РАН и доведенного практически лишь до 1986 г. Знакомством с ксерокопией его автор обязан любезности проф. И.Г. Добродомова и директора Центра военно-патриотического и гражданского воспитания (г. Москва), председателя татарской общины г. Москвы генерал-полковника Р.С. Акчурина, которым и приносит свою искреннюю благодарность.

[4] «...Наш лозунг «Ликвидировать неграмотность» отнюдь не следует понимать как стремление к нарождению новой интеллигенции. Ликвидировать неграмотность, – признался В.И. Ленин художнику Ю.П. Анненкову в 1921 г., – следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи читать наши декреты, приказы, воззвания» (*Анненков Ю.П.* Дневник моих встреч. Цикл трагедий / Под общ. ред. проф. Ренэ Герра. М., 2005. С. 609).

[5] Дневник, подготовленный к печати его сыном, сохранился в личном архиве М.А. Рахматуллина и впервые публикуется в Приложении в русском переводе И. Мустакимова, надеявшегося издать татарский текст в Казани в журнале «Эхо веков» (№ 1–2 за 2003 г.). О судьбе этого начинания составителям, несмотря на помощь татарских коллег, узнать не удалось.

[6] Традицию поддержал и Мелеузский районный музей, в экспозиции которого были представлены фотографии этих замечательных соотечественников и учащихся в кружках по ликвидации неграмотности и изучению нового латинского алфавита 20-х годов (Путь Октября. Мелеуз, 15.02.1975; 20.04. 1980).

[7] Путь Октября. Мелеуз, 16.02.1989. См. также: *Галин Г.* Мать воина и ученого // Путь Октября. Мелеуз, 08.03.1980.

[8] Ныне его письма хранятся в Мелеузском музее (Путь Октября. Мелеуз, 09.05. 1985. Г. Рафиков).

[9] В 1965, 1975 и 1985 гг. он был награжден еще тремя – «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

[10] В его жизни не было того, что называется «гламуром». Морган Абдуллович с увлечением ездил на сравнительно редких во второй половине XX в. легковушках, и профессионально и методично вел дачное хозяйство, выращивая, и весьма удачно, (к моей, увы, зависти), разные овощи (особенно удавались ранние огурцы и чеснок, которым он снабжал Н.И. Павленко, а тот и меня) и фрукты.

[11] С.С. Дмитриев в апреле 1991 г. благодарил своего бывшего студента не только «за добрые чувства, так полно и проникновенно воплощенные в дарственной надписи на книге», но и «за положительное суждение в защиту В.И. Семевского» (письмо от 13–14.04. 1991. Личный архив М.А. Рахматуллина, хранящийся у его сына).

[12] *Тарновский К.Н* Путь ученого // ИЗ. Т. 80. М., 1965. С. 207–244, особ. 228.

[13] Там же. С. 229.

[14] Судя по письму С.С. Дмитриева от 13–14 апреля 1991 г. («Возможно ранний интерес к теме... восходит еще к студенческим годам автора: тот, кто рано соприкоснулся с Чернышевским, естественно с годами должен был обратиться к российскому крестьянству «эпохи Чернышевского»), Морган делал под его руководством доклад или курсовую именно о Чернышевском. Письмо хранится в личном архиве МА. Рахматуллина.

[15] М.А. Рахматуллин использовал подобные методы редко и осторожно, в особенности на третьем этапе своего творчества.

[16] Характеристика на студента V курса Исторического факультета МГУ Рахматуллина М.А [за подписью декана И.А. Федосова и председателя профкома А.Т. Широкова] от 29.IV. 1958 г. // Архив ИРИ РАН. Личное дело М.А. Рахматуллина.

[17] Здесь и далее указываются номера в списке печатных работ М.А. Рахматуллина, приведенном в Приложении.

[18] Точку в закавказской проблематике поставил обзор работы бакинского межреспубликанского симпозиума «Генезис капитализма в Закавказье» в марте 1969 г. (№ 11), а также оппонирование в 1975 г. кандидатской диссертации С.А. Исаева «Аграрное движение в Чечне в 60–70-х годах XIX в.»

[19] Уже в 1972 г. М.А. Рахматуллин выступил в качестве соавтора своего бывшего руководителя (№ 17).

[20] *Литвак Б.Г.* Опыт статистического изучения крестьянского движения в России XIX в. М., 1967.

[21] Это было знамением времени в отличие от студенческого фестиваля 1957 г., от которого правильную советскую молодежь всячески охраняли.

[22] Хлеб с низовьев Волги доставлялся в центр лишь за два года с остановкой в Рыбинске, где и формировались цены на него. Именно с этим был связан расцвет города в конце XVIII – начале XIX в.

[23] История российского транспорта занимала М.А. Рахматуллина и позднее. Так, в 1973 г. для V Международной недели по экономической истории в г. Прато (Италия) им был предназначен доклад «Состояние транспорта и пути сообщения в России в XVIII в.».

[24] Лишь за 1972–1977 гг. было, говоря словами А.Л. Нарочницкого, «организовано (!), подготовлено и опубликовано более 60 статей и сообщений общим объемом 103,2 а.л, т.е более 20 а.л. в год», не считая редактирования трех крупных монографий – В.К. Яцунского, И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова, Н.А. Горской (№ 24, 26 и 32). В дальнейшем объем работы нарастал: в 1977–1979 гг. в журнале им было подготовлено 70 а.л., т.е. по 23 а.л в год.

[25] Значение этого события и последовавших за отменой крепостного права «Великих реформ» принято принижать до сих пор. Ни в советское, ни в постсоветское время 19 февраля не стало красным днем календаря, о нем не принято даже вспоминать, хотя не мешало бы повторять, что с момента отмены крепостничества не прошло и полутора сотен лет, и наши пра-пра-прадеды и даже просто пра-прадеды еще жили в условиях крепостной зависимости. Хотелось бы надеяться, что к 2011 г. изменится оценка этого собы-

тия, как более судьбоносного, хотя и менее разрушительного, нежели переворот 1917/18 г. (Ср.: *Литвак Б.Г.* Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991. См. также рецензию на эту книгу М.А. Рахматуллина: № 64).

26 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 23. С. 397–398.

27 Там же. Т. 20. С. 174

28 Там же. Т. 17. С. 211.

29 В этом докладе автор отмечал отсутствие убежденности и сознательности, неспособность крестьянства создать идею своего единства как класса, а не как массы (№ 16. С. 272), и ссылался на мысль В.И. Ленина о «роли революции 1905 г., которая создала из толпы мужиков... народ, начинающий понимать свои права, начинающий чувствовать свою силу» (*Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 141).

30 Об этом очень ярко написал и К. Маркс в приводимой МА. Рахматуллиным на с. 436 цитате: «Крестьяне «не могут представлять себя сами... Их представитель... должен являться их господином, авторитетом, стоящим над ними, неограниченной правительственной властью... ниспосылающей им свыше дождь и солнечный свет» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 8. С. 208). Как тут не вспомнить частушку советских времен: «Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это».

31 Там же. Т. 7. С. 3 71.

32 Культура библиографии, как и статистики была утрачена в 30-е годы и практически не восстановлена доныне. Библиография была опасна для бонз от науки, занимавших важные административные должности, ибо свидетельствовала о их творческом бесплодии. Статистика – свидетельство упадка экономики и культуры – была опасна для правящей партии.

33 Post faktum можно сожалеть, что автор публикации не заинтересовался студентом и его потомками, ведь генеалогия об ту пору еще именовалась «буржуазной наукой».

34 И.Д. Ковальченко провозгласил возвращение к прагматическому подходу к изучению прошлого. «Изучение истории, – писал он в 1987 г., – упорный, кропотливый труд, связанный с розыском и осмыслением источников, поиском фактов – этого «воздуха истории» (Встречи с историей. Научно-популярные очерки. М., 1987. С. 3 (подчеркнуто мной. – *А.Х.*). В 2000 г. его поддержал и М.А. Рахматуллин. Он писал: «Лучшее оружие против любых искажений истории – факты, а разного рода эпитеты и эмоциональные оценки едва ли способны принести пользу делу» (№ 78. С. 108). Поворот значительной части ученых к прагматизму, который, впрочем, всегда был свойственен Моргану Абдулловичу, оказался слегка запоздалым. На неверии советским историкам с их угодничеством и быстрой разворотливостью в связи с указаниями свыше в конце XX в. вырос такой ядовитый феномен, как Фоменко, окончательно отравивший сознание части сограждан и лишивший их стимулов политической дееспособности и даже политического разумения.

35 Спустя полгода после докторской защиты он получил обширнейший инфаркт и, в соответствии с характером, лежа в больнице, отказывался от всякой помощи коллег по сектору, стараясь никого не обременять.

36 Первой книгой подобного жанра, подготовленной Морганом Абдулловичем, была «Наука побеждать» 1984 г. (№ 47). Публикация включала роман О. Михайлова «Суворов», документы, в том числе «Науку побеждать» (ей была посвящена более ранняя научно-популярная работа – № 39), лич-

ную переписку полководца, отзывы современников о нем и два русско-турецких договора – Ясский 29 декабря 1772 г. и Кючюк-Кайнарджийский 13 января 1775 г. Все это было снабжено предисловием, комментариями, а роман – послесловием. По условиям времени, как и в 1980 г. (№ 39), составитель вынужден был уклониться от оценки польских «подвигов» Суворова, о которых в биографической справке говорилось весьма скупо: «Одержаны победы над польскими конфедератами под Двинском, при Кобрине, при Крупчице, под Брестом, под Кобылкой 7 августа – 3–5 сентября 1794 г. Взято штурмом укрепленное предместье Варшавы – Прага 24 октября 1794 г.» (№ 47. С. 586). Неполон и комментарий – в частности, отсутствует объяснение термина «Республика» в ранней редакции «Науки побеждать», буквального перевода польского словосочетания «Recz Pospolita». М.А. Рахматуллин, как и в 1980 г., сосредоточился на характеристике личности и полководческого искусства Суворова. И в приватных разговорах честно признавался, что невозможность дать полноценную картину деятельности Суворова его очень тяготит...

37 В ней, помимо всего прочего, нашла выражение постоянно жившая в нем идея «малой родины».

38 Уже в 1985 г. на чтениях памяти Л.В. Черепнина он вышел за прежние хронологические рамки (№ 52, 54). По крупицам собрав сведения о несостоявшемся, но «законном» царе-избавителе Константине Павловиче, который в народном сознании считался сторонником освобождения крестьянства от крепостной зависимости, он показал, что хотя старшего брата Николая I иногда путали с его сыном – великим князем Константином Николаевичем, образ «царя Константина» не менялся до конца 50-х годов. Новым толчком для распространения слухов о желании цесаревича освободить крестьянство послужили революционные события в Центральной и Западной Европе. Во время Крымской войны, солдаты, услышавшие, будто Константин Павлович на стороне неприятелей России, выражали готовность сложить оружие перед законным государем. Основой слуха послужил реальный факт вспомоществования на транспортные расходы крестьянам гр. Воронцова, переселяемым по условиям военного времени из-под Евпатории в д. Новая Воронцовка Херсонской губ. К концу войны слухи приобрели «революционный» оттенок – с разгоном Сената «до того времени, пока не будет подписана бумага о свободе помещичьих крестьян» (№ 54 С. 303–305), на чем, по слухам, настаивал Константин Павлович, а в действительности – Константин Николаевич (ср.: *Литвак Б.Г.* Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991. С. 22–24).

39 Она на 1 год отстала от обобщающей монографии Б.Г. Литвака «Крестьянское движение в России в 1775–1904 годах» (М., 1989). Однако подход автора к проблеме был совершенно иной – из глубины этого движения, из глубин крестьянского самосознания.

40 Упрек С.С. Дмитриева к заголовку книги «Крестьянское движение» (единств. число), вместо «крестьянских движений» (как принято в работах Б.Г. Литвака и в тексте самой монографии Рахматуллина), что якобы создает «представление о единстве, о целостности движения помещичьих крестьян в великорус[ских] губ[ерниях] в 1826–57 гг.», на наш взгляд, носит чисто формальный характер. Речь идет о феномене социальных выступлений крестьянства, для характеристики которого годится и единственное число.

41 31.03.1991 г. Ю. Кахк писал, что на с. 60 «Вы мужественно приводите цифру 0,3% крестьян», которые «участвовали в открытых выступлениях».

[42] М.А. Рахматуллин уловил начавшийся процесс расслоения крестьянства, факт которого отрицали его предшественники – П.Г. Рындзюнский, И.Д. Ковальченко, В.А. Федоров (С. 95–96).

[43] Возрастной состав лидеров – «ходоков» менялся в сторону увеличения роли молодежи (С. 99–100).

[44] Письмо Ю. Кахка 31.03. 1991 г. предшествовало написанию его рецензии. Хранится в личном архиве М.А. Рахматуллина.

[45] К сожалению, это оказалось иллюзией. Конец XX – начало XXI в. наглядно показали полное отсутствие оного у преобладающей массы читательской «публики».

[46] Можно думать, что эта книга повлияла на изменение тематики советских историков предперестроечных лет, в том числе и самого рецензента.

[47] Примером последней он приводил отношения помещиков и крестьян, которые не укладывались в прокрустово ложе советской концепции классового антагонизма

[48] Новая газета. 2009. Январь–февраль.

[49] *Литвак Б.Г.* Русская деревня в реформе 1861. Черноземный центр 1861–1895. М., 1972.

[50] *Литвак Б.Г.* Очерки источниковедения массовой документации XIX–XX вв. М., 1979.

[51] *Каменский А.Б.* Под сенью Екатерины. СПб., 1992; *Он же*. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М., 1997.

[52] Екатерина II и ее окружение / Сост. А.И. Юхт. М., 1996.

[53] Их характеристика дана в авторском вступлении, которое содержит также обзор правления императрицы.

[54] *Соловьев С.М.* Избр. труды. Записки. М., 1983. С. 236.

[55] *Эйдельман Н.Я.* Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле. М., 1975. Глава «Фантастический 1826-й». Авторы, правда, опускают его датировку событий и не пишут о «примечательном, захватывающем дух», по определению рецензента, сюжете – беседах императора, нащупывавшего «пути для компромисса» с Пестелем. Рецензент продолжает: «Тот, кто имеет хоть малейшее представление о личности Николая Павловича и его взглядах на самодержавие, лишь беспомощно разведет руками, не будучи в состоянии нарисовать картину совместного с Пестелем поиска самодержцем компромисса» (№ 80. С. 201).

[56] Как тут не привести высказывание Ю. Кахка от 31.03. 1991 г.: «Наивный монархизм – это действительно активная сила. Еще более надежно Ваше указание на то, что умно-рассудительные крестьяне не надеялись добиться своих целей только своими силами, без союза с царем».

[57] Если Н.И. Павленко вспоминает улыбку Моргана Абдулловича, то в моих ушах звучит его «мертвый» голос: «Почему Вы так давно не звонили?». Упрек прозвучал недели за две до его кончины...

[58] Этот психологический тип, довольно распространенный в XIX – начале XX в., практически исчез из нашего общества, где и в советское время торжествовал нынешний принцип «Реклама – двигатель торговли». Поскольку Рахматуллин не торговал ни совестью, ни разумом, ему этот принцип остался совершенно чужд.

А.Л. Хорошкевич

Часть первая

Императрица Екатерина Вторая

Глава I

Непоколебимая Екатерина

Так определил «отличительное качество» души императрицы австрийский фельдмаршал, принц Шарль Жорж де Линь, долгое время находившийся в ее окружении и в своих многотомных сочинениях оставивший яркую зарисовку «Портрет Екатерины II». Слово «непоколебимая» забавляло ее, пишет де Линь, «она произносила его с расстановкою, целую четверть часа, и чтоб удлинить его еще, говорила: “Итак, я отличаюсь непоколебимостью”»[1]. В предлагаемом вниманию читателя очерке автор попытается показать, насколько верно это определение, а также раскрыть наиболее существенные черты характера императрицы. Будет затронут и ряд неоднозначно решаемых в историографии вопросов времени правления Екатерины Второй, двухсотлетие со дня смерти которой исполнилось 6 ноября 1996 г.

***

Так называемый «золотой век» Екатерины II – один из интереснейших этапов российской истории – в последнее время оказался в фокусе внимания не только ученых, но и широкой прессы. Объяснений тому немало, но главное видится в том, что личность Екатерины II, ее идеи и деяния неразрывно связаны с эпохой преобразований, когда Россия в очередной

раз становилась на путь европейского Просвещения. Если «век Петра был веком не света, а рассвета», много сделавшим «во внешнем, материальном отношении преимущественно», то в свершениях второй половины XVIII в., по определению С.М. Соловьева, «ясно видны признаки возмужалости народа, развития сознания, обращения от внешнего к внутреннему, обращения внимания на самих себя, на свое»[2]. Суть происходивших перемен образно передал видный екатерининский вельможа И.И. Бецкой в словах, обращенных к императрице: «Петр Великий создал в России людей; Ваше Величество влагаете в них души»[3]. Другое отличие от петровских преобразований, особо отмечаемое рядом современников, было также не менее существенным: Екатерина II «кротко и спокойно закончила то, что Петр Великий принужден был учреждать насильственно»[4]. И в этом – одна из основ той стабильности общества, которая отличала царствование Екатерины II. Как писал Н.М. Карамзин, следствием очищения самодержавия от «примесов тиранства» были «спокойствие сердец, успехи приятностей светских, знаний, разума»[5].

Между тем в течение семи последних десятилетий история России второй половины XVIII в., история царствования Екатерины II преподносилась предвзято, вольно или невольно искажался и образ императрицы. Со страниц сочинений незадачливых литераторов, да и ряда научных изысканий предстает эдакая тщеславная, недалекая немка «низкого происхождения», хитростью и коварством завладевшая российским престолом и более озабоченная удовлетворением своих чувственных потребностей. Впрочем, преобладающе негативные характеристики Екатерины II берут свое начало с давних времен. А.И. Рибопьер, касаясь литературы непосредственно послеекатерининской поры, писал, что «Екатерина, столь могущественная, столь любимая, столь восхваленная при жизни, была непростительно поругана по смерти. Дерзкие сочинения, ядовитые памфлеты распространяли на ее счет ложь и клевету»[6]. Даже Я.Л. Барсков, один из лучших знатоков Екатерининской эпохи, ничтоже сумняшеся заявил, что «ложь была главным орудием царицы; всю жизнь, с раннего детства до глубокой старости, она пользовалась этим орудием, владея им как виртуоз, и обманывала родителей, гувернантку, мужа, любовников, подданных, иностранцев, современников и потомков»[7]. Та же нота есть и в известной пушкинской характеристике – «Тартюф в юбке и короне». Думается, что подобные суждения имеют все же в одних случаях больше эмоциональную, чем фактическую основу, а в других – сильно политизированный умысел и, как правило, исходят от недругов императрицы за рубежами страны, недовольных жестко проводимым ею внешнеполитическим курсом России, последовательным отстаиванием национальных интересов.

Свое объяснение того, что Екатерина II, как и многие другие выдающиеся исторические личности, не избежала участи посмертного поругания, дал и Н.М. Карамзин: «Следствия кончины ее заградили уста строгим судиям сей великой монархини: ибо особенно в последние го-

ды ее жизни, действительно слабейшие в правилах и исполнении, мы более осуждали, нежели хвалили Екатерину, от привычки к добру уже не чувствуя всей цены оного и тем сильнее чувствуя противное: доброе казалось нам следствием порядка вещей, а не личной Екатерининой мудрости, худое же – ее собственною виною»[8].

* * *

Будущая российская императрица Екатерина II Алексеевна, урожденная София Фредерика Августа, принцесса ангальт-цербстская, появилась на свет 21 апреля (2 мая) 1729 г. в захолустном в ту пору Штеттине (Пруссия). Отец – ничем особенным не примечательный князь Христиан-Август, преданной службой прусскому королю добившийся неплохой карьеры: командир полка, комендант Штеттина, губернатор. В 42 года он женился на 16-летней голштейн-готторпской принцессе Иоганне-Елизавете. Для взбалмошной принцессы, питавшей неуемное пристрастие к развлечениям и недальним визитам к многочисленной и в отличие от нее богатой родне, семейные заботы не стали главными. Среди пятерых ее детей дочь-первенец Фикхен (так звали все домашние Софию Фредерику) отнюдь не была ее любимицей – ждали сына. «Мое рождение не особенно радостно приветствовалось», – напишет позднее в своих «Записках» Екатерина II. Властолюбивая и строгая родительница из желания «выбить гордыню» частенько награждала дочь пощечинами за невинные детские шалости и за совсем недетское упорство характера. Маленькая Фикхен находила утешение у добродушного отца, постоянно занятого на службе и почти не вмешивавшегося в воспитание детей, но тем не менее ставшего для них примером добросовестного служения на государственном поприще. «Я никогда не встречала более честного – как в смысле принципов, так и в отношении поступков, – человека», – скажет о нем Екатерина впоследствии.

Отсутствие достаточных материальных средств не позволяло родителям нанять дорогостоящих опытных учителей и гувернанток. И здесь впервые судьба щедро улыбнулась Софии Фредерике – после смены нескольких нерадивых гувернанток ее доброй наставницей стала французская эмигрантка Елизавета Кардель (по прозвищу Бабет), которая, как писала позднее Екатерина II, «почти все знала, ничему не учившись; она знала как свои пять пальцев все комедии и трагедии и была очень забавна». Бабет, по сердечному отзыву воспитанницы, являлась «образцом добродетели и благоразумия – она имела возвышенную от природы душу, развитой ум, превосходное сердце; она была терпелива, кротка, весела, справедлива, постоянна». Пожалуй, главной заслугой Кардель, обладавшей исключительно уравновешенным характером, стало то, что она приохотила упрямую и скрытную Фикхен к чтению, в котором капризная и своенравная принцесса стала находить истинное наслаждение. Постепенно она приобщилась к серьезным тру-

дам философского содержания. Неслучайно уже в 1744 г. один из просвещенных друзей семьи, шведский граф Гюлленборг в шутку назвал Фикхен «пятнадцатилетним философом». Начитанная девочка то и дело вступала в споры по вопросам веры с пастором, преподававшим ей Катехизис. Любопытно, что, по признанию самой Екатерины II, приобретению ею «ума и достоинств» много способствовало внушенное матерью убеждение, «будто я совсем дурнушка», удерживавшее принцессу от пустых светских развлечений.

Разумеется, в семье не раз заходила речь о будущем замужестве Софии, и есть, наверное, нечто мистическое в том, что впервые мысль о короне начала «бродить» в ее голове с 7-летнего возраста. Это случилось после того, как друг и наперсник ее отца, некий Больхаген настойчиво убеждал ее в необходимости воспитания в себе благоразумия и нравственных добродетелей, чтобы быть достойной носить корону. Эту мысль укрепило предсказание случайного монаха-физиономиста, который «увидел» на ее челе «по крайней мере три короны». Возможно, такому предвидению поспособствовали внешние данные юной принцессы. «Она была отлично сложена, – пишет одна из современниц, – с младенчества отличалась благородною осанкою и была выше своих лет. Выражение лица ее не было красиво, но очень приятно, причем открытый взгляд и любезная улыбка делали всю ее фигуру весьма привлекательною».

Но дальнейшая судьба Софии, как и многих других немецких принцесс, была определена не ее личными достоинствами, а династической ситуацией в России, где бездетная императрица Елизавета Петровна сразу же после своего воцарения стала искать достойного российского престола наследника. Выбор ее пал на единственного прямого продолжателя рода Петра Великого – его внука Карла Петера Ульриха. Он был сыном старшей дочери Петра I Анны и герцога голштейн-готторпского Карла Фридриха, в 11 лет оставшимся круглым сиротой. Воспитанием принца занимались педантичные немецкие учителя, руководимые патологически жестоким гофмаршалом графом Отто фон Брюммером. Хилого от рождения герцогского отпрыска нередко держали впроголодь, за любые провинности часами принуждали стоять коленками на горохе, часто и больно секли. «Я вас так велю сечь, – заходился в крике Брюммер, – что собаки кровь лизать будут». Мальчик находил отдушину в увлечении музыкой, пристрастившись к жалостливо звучащей скрипке. Другой его страстью была игра в оловянные солдатики. Постоянные унижения, которым его изо дня в день подвергали, дали свои результаты: принц «стал вспыльчив, фальшив, любил хвастать, приучился лгать». Вырос он трусливым, скрытным, без меры капризным и много о себе мнившим человеком. Обобщенный портрет Петера Ульриха нарисовал В.О. Ключевский: «Его образ мыслей и действий производил впечатление чего-то удивительно недодуманного и недоделанного. На серьезные вещи он смотрел детским взглядом, а к детским затеям относился с серьезностью зрелого мужа. Он походил

на ребенка, вообразившего себя взрослым; на самом деле это был взрослый человек, навсегда оставшийся ребенком».

Такой вот «достойный» наследник российского трона в январе 1742 г. спешно (дабы его не перехватили шведы, королем которых он по своей родословной тоже мог стать) был доставлен в Петербург. В ноябре того же года принц против его воли был обращен в православие и назван Петром Федоровичем, что не помешало ему в душе остаться истовым лютеранином-немцем, не проявившим никакой охоты даже к сколько-нибудь сносному овладению языком своей новой родины. К тому же с учебой и воспитанием наследнику не повезло и в Петербурге. У главного его наставника академика Якова Штелина начисто отсутствовали какие-либо педагогические таланты, и он, видя поразительную неспособность и безразличие ученика, предпочел угождать постоянным капризам недоросля, а не учить его должным образом уму-разуму.

Между тем 14-летнему Петру Федоровичу подыскали уже и невесту. Выбор русским двором принцессы Софии определялся, как писал саксонский резидент Пецольд, тем, что она, будучи, хотя «из знатного, но столь малого рода», станет послушной супругой без каких-либо претензий на участие в большой политике. Свою роль сыграли при этом и элегические воспоминания Елизаветы Петровны о несостоявшемся браке со старшим братом матери Софии – Карлом Августом (незадолго до свадьбы он умер от оспы), и доставленные императрице портреты миловидной принцессы, которая уже тогда всем «нравилась с первого же взгляда» (так без ложной скромности писала о себе в своих «Записках» Екатерина II).

В конце 1743 г. принцесса София была приглашена (на русские деньги) в Петербург, куда она прибыла в сопровождении матери в феврале следующего года. Оттуда они направились в Москву, где в это время находился царский двор, и накануне дня рождения (9 февраля) Петра Федоровича прехорошенькая и приодетая (на те же деньги) невеста предстала перед императрицей и великим князем. Я. Штелин пишет об искреннем восторге Елизаветы Петровны при виде Софии, а зрелая красота, стать, величие русской царицы, в свою очередь, произвели неизгладимое впечатление на юную провинциальную принцессу. Как будто понравились друг другу и суженые. Во всяком случае, мать будущей невесты написала мужу, что «великий князь любит ее». Сама же Фикхен оценивала все более трезво: «Говоря по правде, русская корона больше мне нравилась, нежели его (жениха. – *М.Р.*) особа». И впрямь идиллия, если она и была, длилась недолго: дальнейшее общение великого князя и принцессы показало полное несходство их характеров и интересов, да и внешне они разительно отличались друг от друга – долговязый, узкоплечий, болезненный жених еще более проигрывал рядом с необыкновенно привлекательной невестой. А после перенесенной великим князем оспы лицо его настолько обезобразили свежие шрамы, что София, увидев его, не сдержалась и откровенно ужаснулась. Но главное все же было в другом: потрясающей инфан-

тильности Петра Федоровича противостояла деятельная, целеустремленная, честолюбивая натура знающей себе цену принцессы Софии Фредерики. После принятия ею православия 28 июня 1744 г. она была наречена в честь матери императрицы Елизаветы Екатериной (Алексеевной). Императрица сделала новообращенной знатные подарки – бриллиантовую запонку и ожерелье ценой в 150 тысяч рублей. На другой день состоялось и официальное обручение, принесшее Екатерине титулы великой княгини и императорского высочества.

Оценивая позже ситуацию, возникшую весной 1744 г., когда обнаружились легкомысленные попытки всегда склонной к интригам матери Софии княгини Иоганны-Елизаветы втайне от русского двора действовать в интересах прусского короля Фридриха II и когда прознавшая о том императрица Елизавета чуть было не отправила ее с дочерью обратно «к себе домой» (чему жених, как чутко уловила невеста, был бы и рад), Екатерина выразила свои чувства так: «Он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона». Да и накануне свадьбы Екатерина спокойно, с холодным расчетом сознавала: «Сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной Русской императрицей».

21 августа 1745 г. начались продолжавшиеся десять дней свадебные церемонии. Пышные балы, маскарады, фейерверки, море вина и горы угощений для простого народа на Адмиралтейской площади превзошли все ожидания. Однако семейная жизнь Екатерины началась с разочарований. Как пишет она сама, плотно поужинавший в тот вечер супруг, «улегшись подле меня, задремал и благополучно проспал до самого утра». И так продолжалось из ночи в ночь, из месяца в месяц, из года в год. Петр Федорович, как и до свадьбы, самозабвенно играл в куклы, дрессировал (вернее, истязал) свору своих собак, устраивал ежедневные смотры потешной роте из придворных кавалеров его же возраста, а по ночам с азартом обучал «ружейной экзерциции» жену, доводя ее до полного изнеможения. Тогда у него впервые обнаружилось и чрезмерное пристрастие к вину и табаку. В итоге Екатерина стала испытывать к номинальному мужу физическое отвращение, находя утешение лишь в чтении самых разнообразных по тематике серьезных книг, а также в верховой езде (бывало, что она проводила верхом на лошади до 13 часов в сутки).

По ее собственному признанию, сильное влияние на формирование ее личности оказали знаменитые «Анналы» Тацита, а новейшая (1746) работа французского просветителя Шарля Луи Монтескье «О духе законов» стала для нее настольной книгой. Она поглощена изучением сочинений французских энциклопедистов и уже тогда интеллектуально на голову переросла всех окружающих.

Между тем стареющая императрица Елизавета Петровна ждала наследника, и в его отсутствии винила Екатерину. В конце концов импе-

ратрица по подсказке доверенных лиц устроила врачебный осмотр супружеской четы, о результатах которого мы узнаем из сообщений иностранных дипломатов: «Великий князь был не способен иметь детей от препятствия, устраняемого у восточных народов обрезанием, но которое он считал неизлечимым». Известие об этом ввергло Елизавету Петровну в шок. «Пораженная сею вестью, – пишет один из очевидцев, – как громовым ударом, Елизавета, казалась онемевшею, долго не могла вымолвить слова, наконец зарыдала». Однако слезы не помешали императрице дать согласие на немедленную операцию, а на случай ее неуспеха она распорядилась подыскать подходящего «кавалера» на роль отца будущего ребенка. Им стал «красавец Серж» – 26-летний камергер Сергей Васильевич Салтыков. 20 сентября 1754 г. Екатерина родила наследника трона, нареченного Павлом Петровичем, хотя злые языки при дворе едва ли не вслух говорили, что ребенка надо было бы величать Сергеевичем. Сомневался в своем отцовстве и благополучно избавившийся к тому времени от недуга Петр Федорович: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я принять его на свой счет». Но время показало неосновательность подозрений – Павел унаследовал не только специфические черты внешности Петра Федоровича, но, что еще важнее, особенности его характера, в том числе и свойственные ему психическую неуравновешенность, раздражительность, склонность к непредсказуемым поступкам, неуемную любовь к бессмысленной муштре солдат.

Сразу же после рождения наследник был отлучен от матери и отдан под присмотр нянек, а Сергей Салтыков отправлен от влюбленной в него Екатерины в Швецию с придуманной для этой цели дипломатической миссией. Что касается великокняжеской четы, то Елизавета Петровна после рождения наследника потеряла к ней прежний интерес. Со своим племянником из-за его несносных проделок* и дурашливых кривляний она не могла пробыть «и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения». Тетушка–императрица отныне в сердцах частенько называет его то дураком, то уродом, а то и «проклятым племянником». В этой ситуации Екатерина Алексеевна, обеспечившая трону наследника, могла спокойно размыслить о своей дальнейшей судьбе.

25 декабря 1761 г. императрицы Елизаветы Петровны после долгой болезни не стало. Объявивший эту давно ожидаемую весть сенатор Трубецкой тут же провозгласил вступление на трон императора Петра III. Как пишет С.М. Соловьев, «ответом были рыдания и стоны на весь дворец <…> Большинство встретило мрачно новое царствование: знали характер нового государя и не ждали от него ничего хорошего».

---

* Он, например, просверлил дыры в стене комнаты, где тетушка императрица принимала фаворита Алексея Разумовского, и не только сам наблюдал за тем, что там происходило, но приглашал заглянуть в глазок и «дружков» из своего окружения. Можно себе представить силу гнева Елизаветы Петровны.

Что касается Екатерины, то она, если и имела намерение, как сама пишет, «спасать государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя», будучи в это время на пятом месяце беременности, практически не могла активно вмешиваться в ход событий. Возможно, для нее это было и к лучшему – за полгода своего правления Петр III сумел до такой степени настроить против себя столичное общество и дворянство в целом, что практически сам открыл супруге дорогу к власти. Причем отношение к нему не изменили ни вызвавшее всеобщее ликование упразднение ненавистной всем Тайной канцелярии с ее застенками, заполненными арестантами по одному лишь печально знаменитому выкрику «Слово и дело государево!», ни провозглашенный 18 февраля 1762 г. Манифест о вольности дворянства, освобождавший дворян от обязательной государственной службы и предоставлявший им свободу выбора места проживания, занятий, право выезда за рубеж.

Последний акт вызвал у дворянства такой приступ энтузиазма, что Сенат намеревался даже поставить царю-благодетелю памятник из чистого золота. Однако эйфория длилась недолго – все перевесили крайне непопулярные в обществе поступки императора, сильно задевавшие национальное достоинство русских людей. Так, повсеместное гневное осуждение вызывало как будто нарочито афишируемое Петром III обожание им прусского короля Фридриха II, вассалом которого он себя громогласно называл, за что и получил в народе прозвище «обезьяна Фридриха». Градус общественного недовольства особенно резко подскочил после заключения Петром III мира с Пруссией и возвращения ей без какой-либо компенсации завоеванных кровью российских солдат земель. Этим шагом практически были сведены на нет все успехи Семилетней войны. Кроме того, Петр III настроил против себя и духовенство, поскольку по его указу от 21 марта 1762 г. началась поспешная реализация принятого еще при Елизавете Петровне решения о секуляризации церковных земель с целью пополнения опустошенной многолетней войной казны. Мало того, новый царь грозился лишить духовенство привычных пышных облачений и заменить их черными пасторскими рясами, а также сбрить священникам бороды.

Не прибавляло славы императору и пагубное пристрастие его к вину. Вдобавок он крайне цинично вел себя в дни прощания с покойной императрицей, позволяя себе непристойные ужимки, шутки, громкий смех у ее гроба. Екатерина же на протяжении всех шести недель, когда тело усопшей Елизаветы Петровны было выставлено во дворце для прощания, ежедневно подолгу стояла на коленях возле катафалка, всем своим видом выражая глубокую скорбь. В результате, по словам современников, у Петра III в эти дни не было «более жестокого врага, чем он сам, потому что он не пренебрегает ничем, что могло бы ему повредить». Екатерина также признает, что у ее мужа «во всей империи не было более лютого врага, чем он сам». Тем самым почва для переворота была основательно подготовлена самим Петром III.

Затруднительно сказать, когда именно наметились конкретные очертания заговора с целью свержения императора. Пожалуй, с большой долей вероятности это можно отнести к апрелю 1762 г., когда Екатерина после родов получила физическую возможность для реальных действий. Окончательное же решение о заговоре, видимо, созрело после случившегося в начале июня семейного скандала, когда на одном из торжественных обедов Петр III в присутствии иностранных послов и около 500 гостей во всеуслышание несколько раз кряду обозвал жену дурой. Затем последовало распоряжение адъютанту арестовать супругу, отмененное только после настойчивых уговоров Петра III со стороны принца Георга Людвига Голштинского, приходившегося императорской чете дядюшкой. Но вряд ли это изменило намерение Петра III любыми способами освободиться от жены и осуществить давнее свое желание – жениться на фаворитке Елизавете Романовне Воронцовой, которая, по отзывам близких к Петру лиц, «ругалась, как солдат, косила, дурно пахла и плевалась при разговоре». Рябая, толстая, с непомерным бюстом, она была как раз того типа женщин, которые нравились Петру Федоровичу. Во время попоек он громогласно называл ее не иначе как «Романовна». Екатерине же грозило насильственное пострижение в монахини.

Времени на организацию классического заговора с длительным периодом его подготовки не оставалось, и все решалось по обстановке, едва ли не на уровне импровизации, правда, компенсируемой решительными действиями сторонников Екатерины Алексеевны. Среди них был и ее тайный воздыхатель украинский гетман К.Г. Разумовский, являвшийся одновременно командиром Измайловского полка, любимец гвардейцев. Явные симпатии выказывали ей и приближенные к Петру III обер-прокурор А.И. Глебов, генерал-фельдцейхмейстер А.Н. Вильбоа, директор полиции барон Н.А. Корф, а также генерал-аншеф М.Н. Волконский. В подготовке переворота участвовала и 18-летняя необычайно энергичная и по-девичьи верная дружбе с Екатериной княгиня Е.Р. Дашкова, обладавшая обширными связями в свете благодаря близости к Н.И. Панину и тому, что канцлер М.И. Воронцов был ее родным дядей. Именно через не вызывавшую никаких подозрений сестру фаворитки Петра III к непосредственному участию в перевороте были привлечены офицеры Преображенского полка П.Б. Пассек, Бредихин, братья Александр и Николай Рославлевы. По иным надежным каналам устанавливались связи с другими энергичными молодыми гвардейскими офицерами. Все они и проложили Екатерине сравнительно легкий путь к трону. Среди них наиболее активным и деятельным был «выдававшийся из толпы товарищей красотою, силою, молодцеватостью, общительностью» 27-летний Григорий Григорьевич Орлов, к этому времени давно уже состоявший в любовной связи с Екатериной (в апреле 1762 г. у них родился сын Алексей). Фаворита Екатерины во всем поддерживали два его не менее «молодцеватых» брата-гвардейца – Алексей и Федор. Именно трое братьев Орловых фактически являлись

главной пружиной заговора. В конной гвардии «направляли все благоразумно, смело и деятельно» будущий фаворит Екатерины II 22-летний унтер-офицер Г.А. Потемкин и его одногодок Ф.А. Хитрово. В итоге к концу июня, по словам Екатерины, ее «соумышленниками» в гвардии были до 40 офицеров и около 10 тыс. рядовых. Одним из главных вдохновителей заговора был воспитатель цесаревича Павла Н.И. Панин, преследовавший, правда, отличные от Екатерины цели: отстранение от власти Петра Федоровича и установление регентства при его воспитаннике – малолетнем царе Павле Петровиче. Екатерина знает об этом, и хотя его план для нее был абсолютно неприемлем, она, не желая раздробления сил, при разговоре с Паниным ограничилась ни к чему не обязывавшей ее фразой: «Мне милее быть матерью, чем женой повелителя».

Случаем, приблизившим падение Петра III, явилось его безрассудное решение при совершенно пустой казне начать войну с Данией и самому командовать войсками, хотя всем была известна неспособность императора к военному делу. Его интересы в этой сфере ограничивались любовью к красочным мундирам, муштрой и усвоением грубых солдатских манер, которые он считал показателем мужественности. Петр III не прислушался даже к настоятельному совету своего кумира Фридриха II не отправляться на театр военных действий до коронации. В итоге привыкшей при императрице Елизавете Петровне к вольготной столичной жизни гвардии, по прихоти царя уже наряженной в ненавистные мундиры прусского образца, приказано было срочно готовиться к совершенно не отвечавшему интересам России походу.

Непосредственным же сигналом к началу действий по захвату власти послужил невзначай происшедший арест вечером 27 июня много знавшего о заговоре капитана Пассека. Опасность раскрытия заговора велика. Алексей Орлов и гвардейский поручик Василий Бибиков в ночь на 28 июня спешно прискакали в Петергоф, где находилась Екатерина. Оставшиеся в Петербурге братья Григорий и Федор подготовили все для подобающей «царской» встречи ее в столице. В шесть часов утра 28 июня Алексей Орлов разбудил Екатерину словами: «Пора вставать: все готово для вашего провозглашения». «Как? Что?» – произносит спросонья Екатерина. «Пассек арестован», – был ответ А. Орлова. И вот все колебания отброшены, Екатерина с камер-фрейлиной садятся в карету, в которой прибыл Орлов. На запятках устраиваются В.И. Бибиков и камер-лакей Шкурин, на козлах рядом с кучером – Алексей Орлов. Верст за пять до столицы их встречает Григорий Орлов. Екатерина пересаживается в его карету со свежими лошадьми. Перед казармами Измайловского полка гвардейцы в восторге приносят присягу новой императрице. Затем карета с Екатериной и толпа солдат, возглавляемая священником с крестом, направились к Семеновскому полку, встретившему Екатерину громовым «Ура!». Сопровождаемая войсками, она едет в Казанский собор, где тотчас же начался молебен и на ектеньях «возглашали самодержавную императрицу Екатерину

Алексеевну и наследника великого князя Павла Петровича». Из собора Екатерина, уже императрица, отправилась в Зимний дворец. Здесь к двум полкам гвардии присоединились чуть припозднившиеся и страшно этим расстроенные гвардейцы Преображенского полка. К полудню к гвардейцам присоединились и армейские части.

Тем временем в Зимнем дворце уже толпятся члены Сената и Синода, другие высшие чины государства. Они без каких-либо проволочек присягают императрице по наскоро составленному Г.Н. Тепловым тексту присяги. Обнародован и Манифест о восшествии на престол Екатерины «по желанию всех наших подданных». Жители северной столицы ликуют, рекой льется за казенный счет вино из погребов частных виноторговцев. Разгоряченный вином простой народ от души веселится и ждет благодеяний от новой царицы. Но ей пока не до них: под возгласы «Ура!» срочно отменен датский поход, для привлечения на свою сторону флота в Кронштадт послан надежный человек – адмирал И.Л. Талызин, указы о перемене власти предусмотрительно направлены и в находившуюся в Померании часть русской армии.

А что же Петр III? Подозревал ли он об угрозе переворота и что происходило в его ближайшем окружении в злополучный день 28 июня? Сохранившиеся документальные свидетельства однозначно показывают, что он не допускал даже мысли о возможности переворота, будучи уверен, что пользуется любовью подданных. Отсюда его пренебрежение к ранее поступавшим туманным, правда, предостережениям, и в итоге – полная безмятежность.

Засидевшийся накануне за поздним ужином с уже ставшими обязательными горячительными напитками Петр 28 июня к полудню приезжает в Петергоф для празднования предстоящих своих именин. И обнаруживает, что Екатерины в Монплезире нет, и она неожиданно уехала в Петербург. В город были срочно посланы гонцы – Н.Ю. Трубецкой и А.И. Шувалов (один полковник Семеновского, другой – Преображенского полка), однако они не вернулись, без промедления присягнув Екатерине. Но это не придало решительности Петру, с самого начала морально раздавленному полной, на его взгляд, безысходностью ситуации. Наконец, решено было плыть в Кронштадт: по донесению коменданта крепости П.А. Девиера, там будто бы готовы к приему императора. Но пока Петр и его люди плыли в Кронштадт, туда уже успел прибыть Талызин и к радости гарнизона привел всех к присяге на верность императрице Екатерине II. В итоге подплывшая в первом часу ночи к крепости флотилия (одна галера и одна яхта) низложенного императора вынуждена была повернуть обратно к Ораниенбауму. Петр не принял совета возвращенного им из ссылки престарелого графа Б.Х. Миниха действовать «по-царски», решительно и, не медля ни часу, отправиться к войскам в Ревель и с ними двинуться на Петербург.

А в это самое время Екатерина еще раз демонстрирует свою решительность и приказывает стянуть к Петергофу до 14 тыс. войск с артиллерией. Задача захвативших трон заговорщиков сложна и одновре-

менно проста: добиться «добровольного» благопристойного отречения Петра от престола. И 29 июня генералом М.Л. Измайловым Екатерине было доставлено жалкое послание Петра III с просьбой о прощении и с отказом от своих прав на трон. Он выразил также готовность (если будет дозволено) вместе с Е.Р. Воронцовой, адъютантом А.В. Гудовичем, скрипкой и любимым мопсом отправиться на жительство в Голштинию, лишь бы ему был выделен достаточный для безбедного существования пансион. От Петра затребовали «письменное и своеручное удостоверение» об отказе от престола «добровольно и непринужденно». Петр был согласен уже на все и письменно покорно заявил «целому свету торжественно»: «От правительства Российским государством на весь век мой отрекаюсь». К полудню Петр был взят под арест, доставлен в Петергоф, а затем переведен в Ропшу – небольшой загородный дворец в 27 верстах от Петербурга, где и посажен «под крепкий караул» якобы до той поры, пока будут готовы помещения в Шлиссельбурге. Главным «караульщиком» назначили Алексея Орлова.

Итак, на весь переворот, обошедшийся без единой капли крови, потребовалось неполных два дня – 28 и 29 июня. Фридрих II позже в разговоре с французским посланником в Петербурге графом Л.-Ф. Сегюром дал такой отзыв о событиях в России: «Отсутствие мужества в Петре III погубило его: он позволил свергнуть себя с престола, как ребенка, которого отсылают спать». В сложившейся ситуации физическое устранение Петра было самым верным и бесхлопотным решением проблемы. Как по заказу, именно так и случилось – на седьмой день после переворота при не вполне выясненных до сих пор обстоятельствах Петр III был умерщвлен. Официально же народу объявили, что Петр Федорович скончался от геморроидальной колики, случившейся «по воле божественного Провидения». Естественно, современников, как впоследствии и историков, жгуче интересовал вопрос о причастности Екатерины к этой трагедии. Есть разные мнения на этот счет, но все они строятся на догадках и допущениях, и никаких фактов, уличающих Екатерину в этом преступлении, просто-напросто нет. Видимо, прав был французский посланник Беранже, когда по горячим следам событий писал: «Я не подозреваю в этой принцессе такой ужасной души, чтобы думать, что она участвовала в смерти царя, но так как тайна самая глубокая будет, вероятно, всегда скрывать от общего сведения настоящего автора этого ужасного убийства, подозрение и гнусность останутся на императрице». Более определенно высказался А.И. Герцен: «Весьма вероятно, что Екатерина не давала приказания убить Петра III. Мы знаем из Шекспира, как даются эти приказания – взглядом, намеком, молчанием». Здесь важно заметить, что все участники «нечаянного», как объяснял в своей покаянной записочке императрице А. Орлов, убийства низложенного императора не только не понесли никакого наказания, но были потом отменно награждены державной супругой убиенного деньгами и крепостными душами. Тем самым Екатерина вольно или невольно взяла этот тяжкий грех на себя. Воз-

можно, именно поэтому не меньшую тороватость, как тогда говорили, императрица проявила и по отношению к своим недавним врагам: практически ни один из них не только не был отправлен по сложившейся в российской истории традиции в ссылку, но и вообще не понес наказания. Даже метрессу Петра Елизавету Воронцову всего лишь тихо водворили в дом ее отца. Более того, впоследствии Екатерина II стала крестной матерью ее первенца. Воистину, великодушие и незлопамятность – верное оружие сильных, всегда приносящее им славу и верных почитателей.

6 июля 1762 г. в Сенате был объявлен подписанный Екатериной Манифест о восшествии на престол. 22 сентября в прохладно встретившей ее Москве состоялась торжественная коронация. Так началось 34-летнее царствование Екатерины Второй.

* * *

Екатерина II еще при жизни по делам своим снискала эпитет «Великая». Разумеется, советская историография вплоть до последнего времени принижала эту оценку, и только в наши дни отчетливо заговорили о признании ее выдающейся роли в истории России[9]. Обращаясь ко времени правления Екатерины II, историки справедливо выделяют два момента: эпоха глазами современников и конкретные результаты ее деятельности, сказавшиеся и на последующем развитии страны.

По поводу первого ограничимся искренним восклицанием 35-летнего Карамзина: «И я жил под ее скипетром! И я был щастлив ее правлением!»[10] В изданном шесть лет спустя после смерти Екатерины II «Похвальном слове» этот великий ее современник, «один из самых внутренне свободных людей своей эпохи» и всегда писавший то, что думал[11], был честен и искренен. И в представленной Александру I в 1811 г. (и положенной царем под сукно аж на сто лет!) «Записке о древней и новой России» Карамзин, последовательно излагая свой взгляд на исторический путь страны, все так же восторгался блестящими успехами правления его бабки, но вместе с тем вызывающе смело для той поры отметил и «некоторые пятна»: «нравы более развратились в палатах и хижинах», «правосудие не цвело в сие время», «в самых государственных учреждениях видим более блеска, нежели основательности», «торговали правдою и чинами» и т.п. Осуждал он и «соблазнительный» фаворитизм. С понятной гордостью россиянина Карамзин пишет о том, что «у нас были академии, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархиня», но он же с горечью отмечает отсутствие «хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни»[12].

Что касается успехов правления Екатерины, прежде всего особо подчеркнем главное: осуществленные почти во всех сферах жизни огромного государства преобразования (Екатерина по праву считается самым удачливым российским реформатором) не несли в себе ни гра-

на «революционного» начала и в своей основе в целом были направлены на всемерное укрепление абсолютистского государства, на дальнейшее упрочение господствующего положения дворянства, на законодательное закрепление неравноправного сословного деления общества, когда «правовой статус всех других сословий был подчинен интересам государства и сохранения господства дворянства»[13]. В.О. Ключевский имел все основания утверждать, что императрица «не трогала исторически сложившихся основ государственного строя»[14], придерживаясь линии социального и политического консерватизма. Более того, как доказывает современный исследователь, реальный смысл реформ в России века «просвещенного абсолютизма» состоял в прочном утверждении «“законной монархии”, которая единственно способна реализовать общественные потребности “в блаженстве и благополучии каждого”»[15]. Истинное же содержание приведенной формулы заключено в известной екатерининской Жалованной грамоте дворянству 1785 г., которая удовлетворила, по сути, практически все ранее выказываемые притязания этого сословия, поставив точку в длительном процессе законодательного оформления его прав и привилегий. Этот законодательный акт окончательно возвысил дворян над другими сословиями и слоями общества. Екатерининская эпоха поистине стала «золотым веком» для них, временем наивысшего торжества крепостничества.

Остановимся на этом ключевом для понимания сути внутренней политики императрицы вопросе чуть подробнее.

Хорошо известно, что политика Екатерины II в основном (и вечно актуальном) вопросе российской действительности – крестьянском – оставалась в целом традиционно неизменной: вопреки первоначальным заверениям императрицы о своей приверженности идеям просвещенного абсолютизма при ее правлении под крепостной гнет попали многие миллионы ранее свободных крестьян. Факт этот настолько разительно расходился с декларациями Екатерины II, что именно на него в первую очередь обратил внимание и А.С. Пушкин: «Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т.е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции»[16].

Историки давно уже (впрочем, с большей, чем позволяют факты, уверенностью) выделили основное противоречие екатерининского «века Просвещения»: императрица «хотела столько просвещения и такого света, чтобы не страшиться его “неминуемого следствия”»[17]. Но такая оценка вызывает естественные вопросы: а были ли соответствующие условия для уничтожения «рабства», созрели ли они ко времени правления Екатерины II настолько, что необходимость радикального изменения социальных отношений осознавалась обществом?

При определении Екатериной курса своей внутренней политики определяющую роль, как вытекает из известных на сегодня фактов, первоначально играли приобретенные ею книжные знания. С другой стороны, преобразовательный пыл (скажем так) императрицы на первых

порах подпитывался изначальным ее взглядом на Россию как на «еще не распаханную страну», где лучше всего и проводить всякие реформы. Именно с такими мыслями 8 августа 1762 г. Екатерина II, всего на шестой неделе своего правления, специальным указом подтвердила мартовский указ Петра III о запрете покупки промышленниками крепостных крестьян. Владельцы заводов и рудников отныне должны были довольствоваться трудом вольнонаемных рабочих, оплачиваемых по договору. Кажется, у нее вообще было намерение отменить принудительный труд и сделать так, чтобы в стране не было «позора рабства», как того требовал дух учения Монтескье. Но, увы, намерение это не настолько еще у нее окрепло, чтобы решиться на столь революционный шаг. К тому же у Екатерины не было еще и сколько-нибудь полного представления о российской действительности. С другой стороны, как заметил один из умнейших людей пушкинской эпохи князь П.А. Вяземский, когда деяния Екатерины II еще не стали «преданьем старины глубокой», она «любила реформы, но постепенные, преобразования, но не крутые», без ломки.

В результате к 1765 г. Екатерина II приходит к заключению о необходимости созыва Уложенной комиссии для приведения «в лучший порядок» существующего законодательства и для того, чтобы достоверно узнать «нужды и чувствительные недостатки нашего народа». Напомним читателю, что попытки созвать действующий законотворческий орган – Уложенную комиссию – не раз предпринимались и ранее, но все они в силу разных причин заканчивались неудачей. С учетом этого обстоятельства наделенная недюжинным умом Екатерин прибегла к небывалому в истории России новшеству: ею был собственноручно составлен особый «Наказ», представляющий собой детально расписанную программу действий Комиссии. Россия действительно виделась Екатерине наиболее подходящей для претворения в жизнь ее реформаторских замыслов. Как явствует из ее письма Вольтеру, она считала, что русский народ – это «превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает; но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные». А аксиомы эти были известны – идеи Просвещения, положенные ею в основу нового российского законодательства. Еще В.О. Ключевский специально выделил базовое условие для реализации преобразовательных планов Екатерины, в сжатом виде изложенное ею самою в «Наказе»: «Россия есть европейская держава; Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел такие удобства, каких и сам не ожидал. Заключение следовало само собой: аксиомы, представляющие последний и лучший плод европейской мысли, найдут в этом народе такие же удобства». Реализация положений «Наказа» должна была, как искренне считала Екатерина, принести благо России и открыть новую страницу в ее истории.

В литературе о «Наказе» с давних пор существует мнение о сугубо компилятивном характере этого главного екатерининского политического труда. Для обоснования подобного суждения обычно ссылаются

на ее собственные слова, сказанные Д'Аламберу: «Вы увидите, как там я на пользу моей империи обобрала президента Монтескье, не называя его». И впрямь, из 526 статей «Наказа», разбитых на 20 глав, 294 восходят к труду знаменитого французского просветителя Монтескье «О духе законов», а 108 – к сочинению итальянского ученого-юриста Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Кроме того, Екатериной широко использовались труды и других европейских мыслителей. Но дело в том, что, как показывает непредвзятый взгляд на «Наказ», это было не простое переложение на русский лад сочинений именитых авторов, а их творческое переосмысление, попытка приложения заложенных в них идей к российской действительности.

14 декабря 1766 г. появился манифест о создании проекта нового Уложения и созыве для этой цели специальной Комиссии, поскольку страна не может дальше жить по средневековому кодексу законов – Соборному Уложению 1649 г. В Комиссию был избран 571 депутат от дворян, горожан, однодворцев, казачества, государственных крестьян, нерусских народов Поволжья, Приуралья и Сибири. По одному депутату выделили центральные учреждения – Сенат, Синод, канцелярии. Лишь крепостные крестьяне, составлявшие большинство жителей страны, были лишены права выбирать своих депутатов (их интересы должны представлять помещики). Нет депутатов и от духовенства, ибо затеянное дело носило сугубо мирской характер. В итоге социальный состав Комиссии выглядел так: дворянство представлено 205 депутатами, купечество – 167. Вместе они составили 65% всех избранников, хотя за ними стояло менее 4% населения страны! Представители других сословий в Комиссии погоды явно не делали: от казачества их было 44, от однодворцев – 42, от государственных крестьян – 29, от промышленников – 7, от канцелярских чиновников и прочих – 19, от «инородцев» – 54. Из-за того, что почти никто из последних русским языком не владел, их участие в работе Комиссии ограничилось лишь эффектным (по экзотическим одеждам) присутствием на заседаниях. Всем депутатам гарантировались льготы и привилегии: они навсегда освобождались от смертной казни, пыток, телесного наказания, конфискации имущества. Полагалось им и жалованье, сверх получаемого по службе: дворянам по 400 руб., горожанам – по 122, всем прочим – по 37 руб. Естественно, иронично замечает современник событий А.Т. Болотов, «выбирали и назначали не тех, которых бы выбрать к тому надлежало и которые к тому способны, а тех, которым самим определиться в сие место хотелось, не смотря нимало, способны ли они к тому были или неспособны».

Открытие Уложенной комиссии состоялось 30 июля 1767 г. торжественным богослужением в Успенском соборе в Кремле. Первоначальным местом ее работы стала Грановитая палата (в последующем общие собрания Комиссии происходили в Петербурге). На первом же собрании депутатам зачитали с любопытством ожидаемый ими екатерининский «Наказ». И тут выяснилось, что не выходившие за пределы инте-

ресов отдельного сословия, города, уезда наказы с мест, коими должны были руководствоваться депутаты, своей приземленностью резко контрастируют с «Наказом», наполненным чудными для собравшихся суждениями о том, «что есть вольность», «равенство всех граждан», и Бог знает чем еще! Однако чрезвычайно тронутые пышным открытием работы Комиссии депутаты, не сумевшие на слух понять действительно мудреный для них «Наказ», стали думать, «что сделать для государыни, благодеющей своим подданным». Ничего путного в их головы не пришло, и потому они решили поднести ей титул «Великой, Премудрой Матери Отечества». Но дальновидная Екатерина, дабы не дразнить гусей, «скромно» приняла лишь титул «Матери Отечества», сказав, что «любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимою от них есть мое желание». Так неожиданно (а скорее всего по заранее заготовленному сценарию) решился самый неприятный и щекотливый для Екатерины вопрос о незаконности ее восшествия на трон. Отныне, после публичного подтверждения столь представительным собранием законности ее власти, положение Екатерины Алексеевны на престоле стало куда прочнее.

После относительно спокойного избрания 18 частных комиссий для сочинения законов начались рабочие будни депутатов, окончательно отрезвившие Екатерину, которая из-за портьеры скрытно наблюдала за всем происходящим в зале и при надобности посылала записочки с наставлениями порой терявшемуся председателю генерал-аншефу А.И. Бибикову. Вместо ожидаемого ею делового обмена мнениями начались бурные дебаты представителей разных сословий, когда ни одна из сторон буквально ни в чем не хотела уступать другой. Дворяне с тупым упрямством отстаивали свое монопольное право на владение крестьянами, а купечество – на занятие торговлей и промышленностью, причем едва ли не в первую очередь ставило вопрос о возвращении недавно отнятого у них права покупать крестьян к заводам. Но здесь императрица была тверда и неуступчива: «Невольные руки хуже работают, нежель вольные, и покупки фабрикантами деревень – прямо истребление земледелия», являющегося главным, по ее убеждению, источником существования человечества. Столь же истово купечество выступало и против торговой деятельности крестьян, как и в первом случае, руководствуясь исключительно своими узкосословными корыстными интересами.

Но не было единства и среди самих представителей господствующего класса: дворяне с национальных окраин желали уравняться в правах с дворянством центральных губерний, а депутаты от родовитого дворянства во главе со своим лидером – прирожденным оратором и полемистом князем М.М. Щербатовым высокомерно противопоставляли себя мелкому дворянству и выступали за решительную отмену тех положений петровской Табели о рангах, по которым дворянское звание за определенные заслуги могли получать представители других сословий. Раздавались голоса и о восстановлении архаичного института май-

оратства. Но все это были цветочки. Наибольший гнев дворян-крепостников, из которых в основном и состояли дворянские избранники, вызвали робкие призывы части их же собратьев ограничить произвол помещиков. Большинство дворянских депутатов не захотело прислушаться ни к их увещеваниям «относиться к крестьянам так, чтобы человеколюбивыми поступками предупредить беду», ни даже к рекомендации «Наказа» с «большим рассмотрением располагать свои поборы». Слова депутата от г. Козлова Г.С. Коробьина, что крестьяне являются основой благополучия государства и с их разорением «разоряется и все прочее в государстве», а потому их надо беречь, потонули в хоре голосов крепостников, возмущенных таким «наглым» призывом к изменению «освященных Богом» порядков. Последние, пользуясь своим большинством, все смелее требовали расширения помещичьего права на личность крестьянина и плоды его труда. Раздались и голоса о необходимости применения смертной казни к наиболее непокорным из них.

Вместе с тем росло и количество выступлений противоположного характера, особенно после вынесения в июле 1768 г. на общее обсуждение подготовленного в частной комиссии законопроекта о правах дворян. Так, к концу года предложенный документ был подвергнут острой критике со стороны почти 60 депутатов, в том числе и «своих», дворянских. Это не могло не обеспокоить императрицу, вовсе не желавшую продолжения прений в подобном неконструктивном духе: депутаты ни на йоту не смогли приблизиться к единому решению вопроса о дворянских правах. Некомпетентность депутатов, их неспособность подняться до понимания провозглашенных в «Наказе» идей произвели на императрицу столь угнетающее впечатление, что для их «просвещения» прибегли к необычной мере: день за днем стали громко и внятно читать все имеющиеся законы об имущественных правах с 1740 по 1766 г., а также Соборное Уложение 1649 г. и еще около 600 разнообразных указов. Трижды подряд вновь бы оглашен екатерининский «Наказ». Работа Комиссии фактически была парализована, и в конце 1768 г. с началом русско-турецкой войны ее «временно» (как оказалось, навсегда) распустили, хотя ряд частных комиссий продолжал работу вплоть до 1774 г.

Причина роспуска Комиссия состояла не только и не столько в росте выступлений против сохранения дворянских привилегий, сколько в разочаровании императрицы, столкнувшейся с явным непониманием большинством депутатов ее благих замыслов.

Не затрагивая из-за недостатка места всех тонкостей вяло текущей в литературе последнего времени полемики по этим вопросам[18], обратимся к авторитетному и почему-то не всегда учитываемому мнению С.М. Соловьева на этот счет. Подробно и обстоятельно изучив работу Комиссии об Уложении 1767 г., он четко уловил главное ее назначение: она была созвана с целью «познакомиться с умоначертанием народа, чтобы испытать почву прежде, чем сеять, испробовать, что возможно, на что будет отклик и чего еще нельзя начинать»[19]. Это заключе-

ние полностью совпадает с мнением самой императрицы относительно задач Комиссии: «Мысль – созвать нотаблей была чудесная. Если удалось мое собрание депутатов, так это от того, что я сказала: “Слушайте, вот мои начала; выскажите, чем вы недовольны, где и что у вас болит? Давайте пособлять горю; у меня нет никакой предвзятой системы; я желаю одного общего блага: в нем полагаю мое собственное. Извольте же работать, составлять проекты; постарайтесь вникнуть в свои нужды”. И вот они принялись исследовать, собирать материалы, говорили, фантазировали, спорили; а ваша покорная услужница слушала, оставаясь очень равнодушной ко всему, что не относилось до общественной пользы и общественного блага»[20]. Таким образом, созыв Комиссии имел для императрицы прежде всего интерес практический. И что же было ответом? «...От дворянства, купечества и духовенства послышался этот дружный и страшно печальный крик: *“Рабов!”*» «Такое решение вопроса о крепостном состоянии выборными русской земли в половине прошлого века,– подытоживает С. М. Соловьев, – происходило от неразвитости нравственной, политической и экономической. Владеть людьми, иметь рабов считалось высшим правом, считалось царственным положением, искупавшим всякие другие политические и общественные неудобства...» Для того чтобы основательно подорвать «представление о высокости права владеть рабами», как известно, понадобилось еще целое столетие. Тем самым для освобождения крепостных почва оказалась совершенно не подготовленной. Разочарованная и *обескураженная*, но прагматичная Екатерина вынуждена была «предоставить времени удобрение почвы посредством нравственно-политического развития народа»[21]. В результате, как она писала: «...я дала им волю чернить и вымарать все, что хотели. Они более половины тово, что написано мною было, помарали <...) и я запретила на оного инако взирать, как единственно он есть (в напечатанном виде. – *М.Р.)* <...> правила, на которых основать можно мнение, но не яко закон...» Но значение «Наказа» и в таком сильно «почерненном» виде было в том, что он «ввел единство в правила и в рассуждения не в пример более прежнего, и стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах»[22].

Об изначальной позиции императрицы по вопросу о крепостном праве (хотя она на сей счет и не сделала четко сформулированных публичных заявлений) можно судить с достаточной определенностью. Так, характеризуя степень «просвещенности» общества той поры, она в своих «Записках» однозначно заключает: «Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманно и как люди <...> я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства»[23]. Вот еще одна выдержка из тех же «Записок», дающая более ясное представление и об отношении Екатерины к крепостному состоянию крестьян, и о ее заблуждениях насчет степени готовности общества поддержать ее начинания, направленные на изменение положения, как она писала, тех,

«кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления»: «Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями; чего я только не выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества, когда в Комиссии для составления нового Уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем я когда-либо могла предполагать, ибо слишком высоко оценивала тех, которые меня ежедневно окружали, стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев <...> даже граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и в сущности самый гуманный, у которого доброта сердца граничит со слабостью <...> даже этот человек с негодованием и страстью защищал дело рабства...»[24]

Показательна в этой связи и необычно резкая реакция на екатерининский «Наказ» А. П. Сумарокова. В изложении С. М. Соловьева своеобразный диалог знаменитого писателя с императрицей передается так: «*Сумароков:* “Между крепостного и невольника разность: один привязан к земле, а другой – к помещику”. *Екатерина:* “Как это сказать можно? Отверзите очи!” *Сумароков:* “Господин должен быть судья – это правда; но иное дело быть господином, а иное – тираном, а добрые господа – все судьи слугам своим; и отдать это лучшее на совесть господам, нежели на совесть слугам”». На это следует ехидное замечание Екатерины: «Бог знает, разве по чинам качества считать»[25]. Наиболее близкий в ту пору к Екатерине Г. Орлов ушел от прямых аттестаций «Наказа» («цены не ставил моей работе», пишет она), но постоянно советовал показать его тому или иному лицу, чему активно противилась императрица. Самым же решительным и самым немногословным критиком «Наказа» оказался «первейший человек» Никита Панин: «Это аксиомы, способные разрушить стены»[26].

Что же приводило в ярость депутатов от дворян? Ну, хотя бы вот это отнюдь не декларативное положение «Наказа» о путях решения крестьянского вопроса: «Всякий человек имеет более попечения о своем собственном и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отымет»[27]. Все эти свои размышления Екатерина впоследствии подытожила в двух четких фразах, содержание которых ей так и не удалось реализовать: «...чем больше над крестьянином притеснителей, тем хуже для него и для земледелия <...>. Великий двигатель земледелия – свобода и собственность». Мысли эти есть и в более поздних заметках – «Земледелие и финансы» (ее всегда волновали эти краеугольные основы благополучия государства). Видимо, отвечая своим многочисленным критикам, она утверждала, что, «когда каждый крестьянин будет уверен, что то, что принадлежит ему, не принадлежит другому, он будет улучшать это <...> лишь бы имели они свободу и собственность». Понимание этого пришло к Екатерине

не вдруг и не по чьему-то наущению. Так, в одной из ранних своих заметок она выделяет особой строкой чрезвычайно крамольное для России середины XVIII в. утверждение: «Рабство есть политическая ошибка, которая убивает соревнование, промышленность, искусства и науки, честь и благоденствие»[28].

Ну и что же, скажут иные, императрица, понимая все это, просто спасовала перед неожиданно возникшим препятствием и опустила руки. И будут отчасти правы. Но, во-первых, ей-то слишком хорошо было известно, как легко и быстро делаются в России дворцовые перевороты. Во-вторых (и это она, вероятно, осознавала), оптимальный курс и в политике, и в экономике всегда предполагает определенный уровень национального сознания, который и делает возможным его проведение в жизнь. Естественно, в жизненной ситуации той эпохи, «казанская помещица» не могла решиться рубить сук, на котором держалась самодержавная власть. Это говорит о реалистичности государственной политики Екатерины, сознательно отделенной ею от собственных радикальных взглядов и идей. Никому из исследователей еще не удалось аргументированно опровергнуть утверждение Екатерины о том, что писала она свой «Наказ», «последуя единственно уму и сердцу своему, с ревностнейшим желанием пользы, чести и щастия, [и с желанием] довести империю до вышней степени благополучия всякого рода, людей и вещей, вообще всех и каждого особенно»[29]. *О* корректировке первоначальных представлений императрицы о границах возможных преобразований говорит и записанное с ее слов изложение разговора с Дидро*, взявшего на себя роль советника по проведению необходимых, на его взгляд, реформ в России: «Я долго с ним беседовала, но более из любопытства, чем с пользою. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами <...> я ему откровенно сказала: “Г. Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушал ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит: она гладкая, мягкая и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему, между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы”»[30].

Как видим, решение «взрывчатой антиномии» «просвещение – рабство» отнюдь не зависело от желания или нежелания Екатерины II вести страну «к такой европеизации, которая... не касалась бы рабства, даже сращивалась с ним»[31]. В России тогда еще не созрели условия для ликвидации крепостнических отношений. Как-то по другому поводу Екатерина II мудро заметила: «...нередко недостаточно быть просвещенным,

* Во время пребывания Дидро в России в 1773–1774 гг. по приглашению Екатерины II.

иметь наилучшие намерения и власть для исполнения их»[32]. Небезынтересны на этот счет и доводы Екатерины Дашковой, приведенные ею в беседе с Дидро все о том же «рабстве наших крестьян»: «Если бы самодержец разбивая несколько звеньев, связывающих крестьянина с помещиками, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы своею кровью подписалась бы под этой мерой <...> Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления»[33].

Отметим созвучие высказанных Е. Дашковой мыслей суждениям Н.А. Бердяева, который в начале XX в. на первый план выдвигал все ту же задачу воспитания народа, роста сознания, просвещения и культуры в народной массе и так же считал, что свобода немыслима без дисциплины, самоограничения и самообуздания: «Свободный человек тем и отличается от раба, что он умеет собой управлять, в то время как раб умеет лишь покоряться *или* бунтовать». Отсюда его известная формула: «Бунт есть лишь обратная сторона рабства»[34].

Екатерининский «Наказ» в ходе его обсуждения в узком кругу приближенных к императрице вельмож во многом лишился своих либеральных начал. Так, статья 260 в своем окончательном виде провозглашала: «не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных», что вполне отвечало основному смыслу приведенных Дашковой возражений Дидро. Известно и мнение Екатерины II о безболезненном для землевладельцев способе избавления от рабства с учетом услышанного ею всеобщего пожелания *«Рабов!»:* постановить, что «все крепостные будут объявлены свободными» при продаже имений, и вот через сто лет «народ свободен». Но, естественно, этого не могло произойти. В итоге Екатерина, зафиксировав, что «Комиссия Уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещися должно»[35], более и не пыталась возбуждать общественный интерес к вопросу о рабстве в России и испытывать судьбу. В дальнейшем намеченные императрицей цели в сфере государственного и общественного устройства, как можно судить по сохранившейся черновой записке, сводились к пяти основным пунктам и в целом не выходили за пределы традиционно декларируемых в «век Просвещения» установок, имеющих, пожалуй, и вневременную ценность:

«1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.

2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.

3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.

4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.

5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям»[36].

Четко были определены и средства воплощения плана в жизнь: «Спешить не нужно, но нужно трудиться без отдыха и всякий день стараться понемногу устранять препятствия по мере того, как они будут появляться; выслушивать всех терпеливо и дружелюбно, во всем выказывать чистосердечие и усердие к делу, заслужить всеобщее доверие справедливостью и непоколебимою твердостью в применении правил, которые признаны необходимыми для восстановления порядка, спокойствия, личной безопасности и законного пользования собственностью; все споры и процессы передать на рассмотрение судебных палат, оказывать покровительство всем угнетенным, не иметь ни злобы на врагов, ни пристрастия к друзьям. Если карманы пусты, то прямо так и говорить: "Я бы рад вам дать, но у меня нет ни гроша". Если же есть деньги, то не мешает при случае быть щедрым»[37]. Екатерина II была уверена, что при неукоснительном руководстве этими правилами успех будет обеспечен. В этой связи небезынтересно будет привести ответ императрицы на вопрос французского посла в России Л.Ф. Сегюра, как ей удается так спокойно царствовать? «Средства к тому самые обыкновенные,– отвечала Екатерина.– Я установила себе правила и начертала план: по ним я действую, управляю и никогда не отступаю. Воля моя, раз выраженная, остается неизменною. Таким образом все определено, каждый день походит на предыдущий. Всякий знает, на что он может рассчитывать, и не тревожится по-пустому»[38].

Не вдаваясь в детали реализации этих масштабных планов и того, насколько последовательно ей удавалось придерживаться провозглашенных принципов действия, отметим лишь, что практические результаты царствования Екатерины II были впечатляющими уже к концу второго десятилетия пребывания ее на троне. Из записки руководителя Коллегии иностранных дел А.А. Безбородко от 1781 г. следует, что за 19 лет царствования было «губерний, устроенных на новый лад» 29, городов построено 144, конвенций и трактатов заключено 30, побед одержано 78, «замечательных указов законодательных и учредительных» издано 88, указов «для всенародного облегчения»–123, итого 492 дела![39]. К этому нужно прибавить, что «Екатерина отвоевала у Польши и Турции земли с населением до 7 млн душ обоего пола, так что число жителей ее империи с 19 млн в 1762 г. возросло к 1796 г. до 36 млн, армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов, сумма государственных доходов с 16 млн руб. поднялась до 69 млн, т.е. увеличилась более чем вчетверо, успехи промышленности выразились в умножении числа фабрик с 500 до 2 тыс., успехи внешней торговли балтийской – в увеличении ввоза и вывоза с 9 млн до 44 млн руб., черноморской, Екатериною и созданной, – с 390 тыс руб. в 1776 г. до 1900 тыс. руб. в 1796 г., рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в

34 года царствования на 148 млн руб., тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 млн»[40].

Стоит привести и собственные впечатления Екатерины о состоянии страны, сложившиеся после неожиданного для ее окружения сухопутного путешествия из Петербурга в Москву и обратно водным путем – по р. Мете, оз. Ильмень, рекам Волхов и Нева в 1785 г.: «...в продолжении всего моего путешествия, около 1200 верст сухим путем и 600 верст по воде, я нашла удивительную перемену во всем крае, который частию видела прежде. Там, где были убогие деревни, мне представились прекрасные города, с кирпичными и каменными постройками; где не было и деревушек, там я встретила большие села, и вообще благосостояние и торговое движение, далеко превысившие мои ожидания. Мне говорят, что это последствия сделанных мною распоряжений, которые уже 10 лет как исполняются буквально: а я глядя на это, говорю "Очень рада"»[41]. Слова императрицы подтверждает и Л.Ф. Сегюр, сопровождавший ее в этой поездке.

Жестко и последовательно проводившаяся Екатериной II экспансионистская политика «защиты» национальных интересов Российской империи была основой для формирования именно в годы ее правления имперского сознания общества, с годами настолько прочно вошедшего в дух и плоть сограждан, что даже А.С. Пушкин, лишь на одно поколение отстоявший от «золотого века» Екатерины, всерьез упрекал ее за то, что она не сделала всего, чтобы установить «настоящую границу между Турцией и Россией» по Дунаю, и, не задумываясь, очевидно, об этической стороне вопроса, риторически восклицал: «Зачем Екатерина не совершила сего важного плана в начале Фр[анцузской] рев[олюции], когда Европа не могла обратить деятельного внимания на воинские наши предприятия, а изнуренная Турция нам упорствовать? Это избавило бы нас от будущих хлопот»[42].

На время правления Екатерины II пришлось и начало расцвета литературы, искусств и наук. Обо всем этом довольно много уже сказано и потому отметим лишь, что успехи эти были связаны с появлением на российском престоле такой незаурядной личности, способной уловить общеевропейские тенденции общественного развития, какой была Екатерина II. Однако при этом еще раз подчеркнем, что между теорией просвещенного абсолютизма, у истоков которой стояли Вольтер, Руссо и энциклопедисты, и попыткой Екатерины II реализовать ее на практике, была огромная обусловленная российской действительностью дистанция. С годами она увеличилась и по чисто политическим мотивам и в конечном счете привела к практическому отказу Екатерины от воплощения в жизнь идей Просвещения. Два решающих события встали на этом пути – восстание Пугачева и Французская революция. По справедливому замечанию историков, «просвещенный» либерализм императрицы не выдержал этого двойного испытания. Если еще в радужные 60-е годы XVIII в. и в самом начале следующего десятилетия императрица, не без оснований считая себя истинной последовательни-

цей, ученицей европейских просветителей и всячески пропагандируя их учение, не уставала повторять, что «благо народа и справедливость неразлучны друг с другом», что «свобода, душа всего, без тебя все мертво. Я хочу, чтоб повиновались законам, но не рабов...»[43], то летом 1790 г., под впечатлением происходивших во Франции революционных событий, она жестко отвергает право этого народа на свободу волеизъявления, на равенство сословий: «Что же касается до толпы и до ее мнения, то им нечего придавать большого значения»[44]. Или: «Я хочу общей цели делать счастливыми, но вовсе не своенравия, не чудачества и не тирании, которые с нею несовместимы»[45]. Подобные оценки проявились еще во время восстания Пугачева, разрушавшего, на взгляд императрицы, создаваемое ею «государственное благоденствие». Как свидетельствует документальный материал, Екатерина II особо не опасалась притязаний самозванца на трон, но целиком разделяла мнение возглавлявшего правительственные войска генерал-аншефа А.И. Бибикова: «не Пугачев важен; важно общее негодование»[46]. Отсюда ее пристрастное внимание ко всем деталям организации подавления «бунта».

* * *

Но каковы же были способы, рычаги достижения намеченных планов государственного строительства у «собирательницы русских земель», как называл Екатерину II С.М. Соловьев?[47] Они были довольно просты. Примечательно свидетельство, записанное Н.И. Гречем со слов статс-секретаря императрицы графа Н.П. Румянцева об одном из разговоров с ним Екатерины II: «Как ты думаешь, Николай Петрович, трудное ли дело управлять людьми? – Думаю, государыня, что труднее этого дела нет на свете.– И! Пустое, – возразила она, – для этого нужно наблюдать два, три правила, не больше. – Согласен, ваше величество, но эти правила составляют достояние и тайну великих и гениальных людей.– Нимало. Эти правила довольно известны. Хочешь ли, я сообщу их тебе? – Как не хотеть, ваше величество! – Слушай же: первое правило – делать так, чтоб люди думали, будто они сами именно хотят этого... – Довольно, государыня, – сказал тонкий царедворец, – если успею употребить это правило на деле, мне прочие уже не нужны». «И действительно, – заключает Греч, – Екатерина умела употреблять это правило в совершенстве. Вся Россия уверена была, что императрица во всех своих делах только исполняет желание народа»[48].

Но секрет этой несложной, по сути, установки все же был. Он раскрывается из беседы В. С. Попова, правителя канцелярии князя Г.А. Потемкина, с императрицей: «Я говорил с удивлением о том слепом повиновении, с которым воля ее повсюду была исполняема, и о том усердии и ревности, с которыми все старались ей угождать. “Это не так легко, как ты думаешь,– изволила она сказать.– Во-первых, повеления мои, конечно, не исполнялись бы с точностию, если бы не были удобны к исполнению; ты сам знаешь, с какою осмотрительностию, с какою осторожностию поступаю я в издании моих узаконений. Я разбираю

обстоятельства, советуюсь, уведываю мысли просвещенной части народа, и по тому заключаю, какое действие указ мой произвесть должен. И когда уж наперед я уверена о общем одобрении, тогда выпускаю я мое повеление и имею удовольствие[м] то, что ты называешь слепым повиновением. И вот основание власти неограниченной. Но будь уверен, что слепо не повинуются, когда приказание не приноровлено к обычаям, ко мнению народному и когда в оном последовала бы я одной моей воле, не размышляя о следствиях. Во-вторых, ты обманываешься, когда думаешь, что вокруг меня все делается только мне угодное. Напротив того, это я, которая, принуждая себя, стараюсь угождать каждому*, сообразно с заслугами, с достоинствами, со склонностями и привычками и, поверь мне, что гораздо легче делать приятное для всех, нежели чтоб все тебе угодили. Напрасно будешь сего ожидать и будешь огорчаться, но я себе сего огорчения не имею, ибо не ожидаю, чтобы все без изъятия по моему делалось. Может быть, сначала и трудно было себя к тому приучать, но теперь с удовольствием я чувствую, что, не имея прихотей, капризов и вспыльчивости, не могу я быть в тягость, и беседа моя всем нравится...»[49] И впрямь, как отмечал даже К. Массон, автор желчных, но в целом правдивых записок (и по этой причине запрещенных в России), «она царствовала над русскими менее деспотически, нежели над самой собой: никогда не видали ее ни взорвавшейся от гнева, ни погрузившейся в бездонную печаль, ни предавшейся непомерной радости. Капризы, раздражение, мелочность совсем не имели места в ее характере и еще менее в ее действиях»[50].

Поражают знание молодой великой княгиней психологии людей и упорство в достижении поставленной цели – качества, развитые ею в зрелые годы. Это подметил еще А. С. Пушкин: «Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, – писал он, – то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали»[51].

Эти еще в молодости интуитивно обретенные мудрые установки Екатерина совершенствовала всю последующую жизнь. «Вот рассуждение или, вернее, заключение, которое я сделала, как только увидала, что твердо основалась в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту: 1) нравиться великому князю, 2) нравиться императрице, 3) нравиться народу. Я хотела бы выполнить все три пункта и, если это мне не удалось, то либо [желанные] предметы не были расположены к тому, чтоб это было, или же Провидению это не было угодно; ибо по истине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать

* Как-то в шутку она попыталась предсказать, кто из ее придворных от чего умрет, о себе написала дважды: «Я – от услужливости», «Я умру от услужливости» (Записки. С. 662–663). И правда в этих словах о невероятной услужливости императрицы была, что отмечали многие современники.

как следует, искренняя привязанность, все с моей стороны постоянно к тому было употребляемо с 1744 по 1761 г. Признаюсь, что, когда я теряла надежду на успех в первом пункте, я удваивала усилия, чтобы выполнить два последние; мне казалось, что не раз успевала я во втором, а *третий удался мне во всем своем объеме, без всякого ограничения каким-либо временем* и, следовательно, я думаю, что довольно хорошо исполнила свою задачу»[52]. В этой же связи она писала о себе, что уже в детстве, усваивая уроки своих наставников, «упрямая головушка думала про себя: для того, чтобы быть чем-нибудь на сем свете, нужно иметь кое-какие необходимые качества; заглянем поглубже в душу, имеются ли у нас сии качества? Если нет, то нужно их развить»[53]. Этого решающего правила – «развить, если нет» – она, как следует из многих фактов ее жизни, придерживалась всегда.

Способы же обретения Екатериной «доверенности русских» в бытность ее еще великой княгиней были достаточно оригинальны и вполне отвечали умственному настрою и уровню просвещенности высшего света: «Приписывают это глубокому уму и долгому изучению моего положения. Совсем нет! Я этим обязана русским старушкам <...> И в торжественных собраниях и на простых сходбищах и вечеринках я подходила к старушкам, садилась подле них, спрашивала о их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы о их юных летах, о нынешней скуке, о ветрености молодых людей; сама спрашивала их совета в разных делах и потом искренне их благодарила. Я знала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур; знала, когда которая из этих барынь именинница. В этот день являлся к ней мой камердинер, поздравлял ее от моего имени и подносил цветы и плоды из ораниенбаумских оранжерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон и разнеслась по всей России. Самым простым и невинным образом составила я себе громкую славу и, когда зашла речь о занятии русского престола, очутилось на моей стороне значительное большинство»[54].

Серьезность и основательная продуманность Екатериной этих установок, изложенных ею в форме разговоров на завалинке, подтверждаются ее «Записками». С первого своего появления при дворе она «не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить, без всяких для себя последствий. Это мне долго удавалось. Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшить недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении; я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым

днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества»[55]. Когда же Екатерина поближе познакомилась с кипевшей страстями жизнью двора и борьбой различных «партий» вокруг всего и вся, когда она сносно овладела русской речью и стала лучше понимать происходящее, когда еще никому и в голову не приходила мысль увидеть ее на троне, она уже четко продумала свое поведение в свете: «Я больше чем когда-либо старалась приобрести привязанность всех вообще, от мала до велика; я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны, и поступать сообразно с этим, чтобы снискать себе всеобщее благорасположение, в чем и успела»[56]. Да еще как! Благодаря тонкой режиссуре переворот обошелся одной жертвой – смертью главного героя. Все явилось результатом верно избранной тактики, в связи с чем уместно будет привести два высказывания Екатерины: «Кто не смеет думать, смеет лишь пресмыкаться» и «Все от того зависит, чтобы в способах не ошибиться»[57]. Она все очень и очень хорошо понимала и, что еще более существенно, делала верные выводы.

А для какой же цели, кроме достижения российского престола, Екатерина жестко определила себе «правило нравиться людям», с которыми ей «приходилось жить, усваивать их образ действий, их манеру»? Эта цель, независимо ни от каких других привходящих обстоятельств, делает ей честь: «Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили»[58]. Как показало время, и в этом она преуспела. Тот же К. Массон замечает: «Я не решу, была ли она действительно великой, но она была любимой»[59].

Твердость жизненных установок Екатерины II, неуклонное стремление к реализации своих решений – именно эти черты, вероятно, имел в виду Л.Ф. Сегюр, отмечая, что «она предписала себе неизменные правила для политической и правительственной деятельности»[60]. Обогащенная, вернее, развращенная, опытом дворцовых интриг при дворе Елизаветы Петровны, 27-летняя Екатерина 30 августа 1756 г. в ответ на вопрос английского посла в России сэра Чарльза Герберта Уилльямса (с которым она в ту пору состояла в особо доверительной переписке), знает ли она, что в критической ситуации Иван IV просил у английской королевы Елизаветы убежища, твердо пишет: «Я не попрошу убежища у короля, вашего государя, так как я решила, как вы знаете, погибнуть или царствовать»[61].

Во всем этом, возможно, было и некое мистическое начало, вера в предназначение судьбы. По признанию самой Екатерины, впервые мысль о короне начала «бродить» в ее голове с 7-летнего возраста, когда друг и наперсник ее отца, некий Больхаген, завел беседы с ней о необходимости воспитания в себе благоразумия и нравственных добродетелей, чтобы быть достойной носить корону. Эта мысль, видимо,

еще более укрепилась после того, как проницательный старый каноник из Брауншвейга сказал матери Екатерины, что на челе ее дочери видит «по крайней мере три короны»[62]. Юная Екатерина настолько уверовала в это, что, приехав в Россию и встретившись с 17-летним женихом, не по летам трезво расставляет все по своим местам: «...по правде, я думаю, что русская корона больше мне нравилась, нежели его особа». Чуть позже, когда из-за несколько легкомысленного поведения матери Екатерины при дворе Елизаветы их чуть было не отправили обратно «к себе домой», чему жених, как чутко уловила его суженая, был бы и рад, она философски замечает: «Он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона»[63]. И спустя многие годы, в сентябре 1796 г., незадолго до своей кончины, как бы мысленно оглядывая свою жизнь, Екатерина II убежденно пишет: «“Царствовать или умереть» – вот наш клич. Эти слова надо бы с самого начала выгравировать на нашем щите»[64]. И это было не бравадой. Еще накануне свадьбы она с холодным спокойствием сознает: «...сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной Русской императрицей»[65].

Но в 1756 г., когда она изложила свое жизненное кредо сэру Уильямсу, до июньского переворота 1762 г., воздвигшего ее на российский престол, было еще почти шесть лет. Екатерина не могла точно знать, как пойдут дальше события. Ей оставалось только не изменять своим понятиям о счастье, а они у нее были весьма и весьма здравыми и прагматичными: «Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер. верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм: Качество и характер будут большей посылкой; Поведение – меньшей; Счастье или несчастье – заключением. Вот два разительных примера: Екатерина II, Петр III»[66].

Здесь Екатерина, по всей видимости, преднамеренно затрагивает самую больную для нее тему – свое вступление на престол, на который она не имела законных прав. «Построенный» ею силлогизм в какой-то мере призван оправдать нелегитимные действия «похитительницы престола», как ее называли зарубежные современники. В этом же ряду оправдательных мотивов – и позднейшее утверждение Екатерины, что у ее мужа «во всей империи... не было более лютого врага, чем он сам»[67]. В критических замечаниях на книгу аббата Денина, написанных ею в 1789 г., она вновь повторяет, что «Петр III не имел большего врага, чем он сам; все его действия доходили до предела безумия*

* Один только факт: на глазах до 100 мужчин и женщин высшего света, иностранных дипломатов по его приказанию были высечены его фавориты –

<...> то, что обыкновенно возбуждает жалость у людей, приводило его в гнев <...> а когда он был в гневе, он придирался ко всему, что его окружало». 60-летняя императрица спустя почти три десятилетия после переворота с еще большей уверенностью пишет, что она своим «вступлением на престол спасла империю, себя самое и своего сына от безумца, почти бешеного, который стал бы несомненно таковым, если бы он пролил или увидел бы пролитой хоть каплю крови; в этом не сомневался в то время никто из знавших его, даже из наиболее ему преданных»[68].

Секретарь французского посольства в Петербурге Клод Рюльер, очевидец событий тех июньских дней, оставивший, пожалуй, наиболее содержательные записки о перевороте 28 июня 1762 г., причины его успеха видит не только в разительно отличавшихся чертах характера Петра III и Екатерины. По его мнению, такой исход был прежде всего предопределен тем, что «партия Екатерины» выступала против попрания национального достоинства России, тогда как Петр III, российский император, вызывающе открыто заявлял о стремлении стать вассалом обожаемого им прусского короля Фридриха II и сделал в этом направлении реальные шаги. В результате «русская нация <...> видела в своем государе союзника своему врагу». Заслуживает внимание характеристика, данная им Петру III: он был «жалок», у него отсутствовали какие-либо добрые дарования, он был просто глуп[69]. Непосредственно после событий 1762 г. Екатерина пишет, что к такому исходу привел не ее «первостепенный ум», как полагали некоторые лица, а то, что «предстояло или погибнуть вместе с полоумным, или спастись с толпою, желавшею от него избавиться. Во всем этом не было других происков, как дурное поведение одного лица, которому при ином поведении никогда бы ничего не приключилось»[70].

В тех же причинах усматривал неизбежность переворота и его успеха и другой современник событий – А. Т. Болотов. Описывая «природного немца» Карла-Петера Ульриха, которого после его выходок и сама Елизавета Петровна в сердцах частенько называла «проклятым племянником»[71], Болотов проявляет редкую наблюдательность и талант тонкого аналитика (выводы его позднее без ссылок на первоисточник перекочевали в труды историков). «По особливому несчастию случилось так, – пишет Болотов,– что помянутый принц, будучи от природы не слишком хорошего характера <...> как-то не любил россиян и приехал к ним уже власно (будто.– *М.Р.)* как со врожденною к ним ненавистью и презрением; и как был он неосторожен, что не мог того сокрыть от окружающих его, то самое же и сделало его с самого приезда уже неприятным для всех наших знатнейших вельмож, и он вперил (внушил.– *М.Р.)* в них к себе не столько любви, сколько страха и

обер-шталмейстер Нарышкин, генерал-лейтенант Мельгунов и тайный советник Волков (происходило это во время приема, дававшегося императрицей по случаю какого-то праздника).

боязни. Все сие и неосторожное его поведение и произвело еще при жизни императрицы Елисаветы многих ему тайных недругов и недоброхотов, и в числе их находились и такие, которые старались уже отторгнуть его от самого назначенного ему наследства <...> Ко всему тому совокупилось еще и то, что каким-то образом случилось ему сдружиться по заочности с славившимся тогда в свете королем прусским и заразиться к нему непомерной уже любовью и не только почтением, но даже подобострастием самым <...> А сия любовь, соединясь с расстройкою его нрава и вкоренившеюся глубоко в сердце его ненавистию к россиянам, произвела то, что он при всех случаях хулил и порочил то, что ни делала и ни предпринимала императрица и ее министры». Здесь же А.Т. Болотов пишет о повсеместно бытовавшей тогда молве, что «государь вознамеревается ее (Екатерину. – *М.Р.)* совсем отринуть и постричь в монастырь, сына же своего лишить наследства»[72]. Такая угроза действительно существовала, и потому у Екатерины Алексеевны выбор был небогат и прост: либо трон, либо заточение в монастырь*.

К несомненным достоинствам вышеназванных записок К. Рюльера следует отнести то, что он не отбрасывал и непроверенные слухи и сообщения. Причем делал он это сознательно, в целях воссоздания последовательного хода взаимосвязанных событий, той реальной атмосферы, в которой они разворачивались. Его включенность в конкретную ситуацию, владение разнообразной информацией, полученной от весьма осведомленных лиц (и не только проекатерининской ориентации), позволили ему впервые поставить под сомнение непричастность Екатерины к скоропостижной смерти своего супруга: «Нельзя достоверно сказать, какое участие принимала императрица в сем приключении; но известно то, что в сей самый день, когда сие случилось, государыня садилась за стол с отменной веселостию»[73]. Читатель сам может судить о степени основательности подозрений Рюльера после ознакомления с нижеприводимыми (Рюльеру не известными) письмами Алексея Орлова из Ропши, где под крепким, хотя и полупьяным караулом пребывал по многолетней привычке полупьяный же низложенный Петр III.

1. «Матушка Милостивая Государыня, здравствовать вам мы все желаем нещетные годы. Мы теперь по отпуске сего письма и со всею камандою благополучны, только урод наш очень занемог и схватила Ево нечаеная колика, и я опасен, штоб он севоднишную ночь не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил. Первая опасность для того што он

---

* Екатерина II в своих «Записках» уточняет: «Он хотел жениться на ней (Е. Воронцовой. – *М.Р.)* <...> он приказал князю Барятинскому, своему адъютанту <...> пойти арестовать императрицу в ее покоях. Барятинский, испуганный этим приказанием и не торопясь его исполнением, встретил <...> дядю импе[ратора] <...> этот последний побежал к императору и уговорил его отменить это приказание...» (Записки. С. 695–696).

всио здор говорит и нам ето несколько весело, а другая опасность, што он дествително для нас всех опасен для тово, што он иногда так отзывается хотя впрежнем состоянии быть...»

Ответа на это письмо, помеченное вторником, который в июле 1762 г. приходился на 2-е число, не последовало. Спустя два дня – новое шутовское письмо.

2. «Матушка наша, милостивая Государыня, не знаю, што теперь начать, боясь гнева от вашего величества, штоб вы чево на нас неистоваго подумать не изволили и штоб мы не были притчиною смерти злодея вашего и всей Роси, также и закона нашего <...> он сам теперь так болен, што не думаю, штоб он дожил до вечера и почти совсем уже вбеспамятстве о чем уже и вся каманда здешняя знает и молит Бога, чтоб он скорей с наших рук убрался...»

Как и на первое письмо, реакции нет. Третье и последнее письмо, поставившее точку во всей этой истории, было вручено Екатерине прискакавшим из Ропши нарочным в шесть часов вечера 6 июля.

3. «Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу; но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка – его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором (Федор Сергеевич Барятинский. – *М.Р.);* не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил; прогневали тебя и погубили души на век»[74].

Приведем здесь мнение А.И. Герцена на этот счет, высказанное им после прочтения «Записок» княгини Е.Р. Дашковой, в которых она, как представляется, намеренно обходя подробности смерти Петра III, подсознательно не соглашается с официальной версией причины ее – от «геморроидальных колик». А.И. Герцен пишет: «Весьма вероятно, что Екатерина не давала приказания убить Петра III... Мы знаем из Шекспира, как даются эти приказания – взглядом, намеком, молчанием. Зачем Екатерина поручила надзор за слабодушным Петром III злейшим врагам его? Пассек и Баскаков хотели его убить за несколько дней до 27 июня, будто она не знала этого? И зачем же убийцы были так нагло награждены?»[75]

Но при всем том вопрос остается открытым, ибо никаких прямых фактов причастности Екатерины к убийству мужа просто-напросто нет. Французский посланник Беранже был прав, когда по горячим следам трагических событий писал: «Я не подозреваю в этой принцессе такой ужасной души, чтобы думать, что она участвовала в смерти царя, но так как тайна самая глубокая будет, вероятно, всегда скрывать от общего сведения настоящего автора этого ужасного убийства, подозрение и гнусность останутся на императрице»[76].

Нелегитимность восшествия на трон Екатерины, как это ни парадоксально, имела и свои несомненные плюсы, особенно в первые десятилетия царствования, когда она «должна была тяжким трудом, великими услугами и пожертвованиями <...> искупать то, что цари законные имеют без труда <...> эта самая необходимость и была отчасти пружиною великих и блистательных дел ее»[77]. И так считал не один Н.И. Греч (он в данном случае всего лишь констатировал мнение образованной части общества). В.О. Ключевский, говоря о программе деятельности Екатерины II, взявшей власть, а не получившей ее по закону, также отмечал неизбежную запутанность, сложность этой программы и главный упор делал на том же моменте: «Власть захваченная всегда имеет характер векселя, по которому ждут уплаты, а по настроению русского общества Екатерине предстояло оправдать разнообразные и несогласные ожидания»[78]. Вексель, как показало время, был погашен в срок и сполна.

* * *

Но перейдем к главному сюжету – личности Екатерины II, особенностям ее характера. И прежде всего коснемся ее внешности, о чем российскому читателю, не избалованному добротной научно-популярной исторической литературой, известно немногое. Сама Екатерина писала о себе так: «Говоря по правде, я никогда не считала себя очень красивой, но я нравилась – и, думаю, что это-то и было моей силой»[79]. То же она повторила и в письме к М. Гримму*: «Поверьте мне, красо-

---

* Фридрих Мельхиор Гримм, немец, с 25-летнего возраста жил в Париже. Был представлен Екатерине в сентябре 1773 г. Заочно хорошо ей известный по некоторым его публикациям и близости к энциклопедистам, Гримм при очной встрече произвел на императрицу самое благоприятное впечатление, и между ними сразу же сложились задушевные отношения, основа которых – почти полное взаимопонимание и доверие. Более того, Гримм умел предугадать и развить ее мысли и, как признавалась Екатерина, «я никому, никогда так не писала, как вам» (Письма. С. 31). Или: «Я читаю и перечитываю ваши писания и говорю: “Как он меня понимает! Боже, он почти один и понимает меня как следует”». И именно потому, что она давала в письмах к нему «полную волю руке, перу и голове» (Там же. С. 46), они заслуживают большого доверия.

Столь доверительные отношения между ними сохранялись вплоть до самой смерти Екатерины, что хорошо прослеживается по содержанию, тональности, настрою писем. Можно уверенно говорить, что у Екатерины II от Гримма не было больших секретов. Анализ (к сожалению, неполный) переписки еще в конце прошлого века дал акад. Я.К. Грот (*Грот Я.К.* Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб., 1884). Переписка, на его взгляд, «изумительна» по обширности, откровенности, богатству содержания, шутливо-непринужденному духу, за которым скрывались глубина и основательность суждений. прогнозов, предположений (см. также: *Брикнер А.Г.* Переписка Екатерины II с бароном Гриммом // Отголоски (Журнал литературно-научно-политический). СПб., 1881. № 2. С. 249–276).

та – вещь совсем не лишняя; я ее всегда очень и очень ценила и, хотя сама никогда не была очень красива, но всегда поклоняюсь красоте»[80]. В «Записках» же своих она более подробно пишет, что была «одарена <...> внешностью по меньшей мере очень интересною, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда»[81]. Когда ей исполнилось восемнадцать и придворные дамы из ее окружения все чаще стали говорить, что она со дня на день хорошеет, и Екатерина, «дольше прежнего» вглядываясь в бесстрастное зеркало, не без самолюбования признает: «...я была высока ростом и очень хорошо сложена; следовало быть немного полнее: я была довольно худа <...> волосы мои были великолепного каштанового цвета, очень густые и хорошо лежали <...> шведский посланник находил меня очень красивой...»[82]. Среди свидетельств современников одно из первых описаний внешности императрицы принадлежит счастливому любовнику великой княгини Екатерины Алексеевны, будущему польскому королю Станиславу Августу Понятовскому. Он был восхищен 25-летней Екатериной и восторженно писал об «ослепительной белизне» ее кожи, об «идеальных» руках и ногах, стройной талии, чрезвычайно легкой и благородной походке. Он же отметил и веселый ее характер (она легко переходила от самых безумных шалостей до таблиц цифр), и то, что физический труд никогда не пугал ее[83].

А вот как описал ее К. Рюльер: «Приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд, все возвещало в ней великий характер. Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, прекрасный ряд зубов, нетучный, большой и несколько раздвоенный подбородок. Волосы каштанового цвета отличной красоты, черные брови и таковые же прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттенки, и кожа ослепительной белизны. Гордость составляет отличную черту ее физиономии». Он же отмечает «замечательную в ней приятность и доброту», «очаровательную речь»[84]. Но, пожалуй, наиболее достоверный словесный портрет Екатерины II оставил английский посол в России лорд Бёкингхэмшир. В ноябре 1762 г. своей лондонской приятельнице он писал: «Наружность императрицы сильно расположила бы вас в ее пользу, но еще более понравилось бы вам ее обращение. Ее манера отличается мягкостью и достоинством, что внушает ее собеседнику чувство непринужденности и вместе с тем уважение». В заметках же для себя это впечатление он передает более развернуто: «Ее императорское величество ни мала, ни высока ростом; вид у нее величественный, и в ней чувствуется смешение достоинства и непринужденности, с первого же раза вызывающее в людях уважение к ней и дающее им чувствовать себя с нею свободно. От природы способная ко всякому умственному и физическому совершенству, она, вследствие вынужденно замкнутой ранее жизни, имела досуг развить свои дарования в большей степени, чем обыкновенно выпадает на долю государям, и приобрела умение не только пленять людей в веселом обществе, но и находить удо-

вольствие в более серьезных делах. Период стеснений, длившийся для нее несколько лет, и душевное волнение с постоянным напряжением, которым она подвергалась со времени своего вступления на престол, лишили свежести ее очаровательную внешность. Впрочем, она никогда не была красавицей. Черты ее лица далеко не так тонки и правильны, чтобы могли составить то, что считается истинной красотой; но прекрасный цвет лица, живые и умные глаза, приятно очерченный рот и роскошные, блестящие каштановые волосы создают, в общем, такую наружность, к которой очень немного лет тому назад мужчина не мог бы отнестись равнодушно, если только он не был бы человеком предубежденным или бесчувственным. Она была, да и теперь остается тем, что часто нравится и привязывает к себе более, чем красота. Сложена она чрезвычайно хорошо; шея и руки замечательно красивы, и все члены сформированы так изящно, что к ней одинаково подходит как женский, так и мужской костюм. Глаза у нее голубые и живость их смягчена томностью взора, в котором много чувствительности, но нет вялости <...> Трудно поверить, как искусно ездит она верхом, правя лошадьми – и даже горячими лошадьми – с ловкостью и смелостью грума. Она превосходно танцует, изящно исполняя серьезные и легкие танцы. По-французски она выражается с изяществом, и меня уверяют, что и по-русски она говорит так же правильно, как и на родном ей немецком языке, причем обладает и критическим знанием обоих языков. Говорит она свободно и рассуждает точно»[85].

Приведем и портретную зарисовку 50-летней Екатерины, принадлежащую перу одного из самых приятных ей собеседников – принца де Линя: «Ее внешность известна по портретам и описаниям, почти всегда довольно верным. Шестнадцать лет назад (автор писал это в 1796 г. – *М.Р.)* она была еще очень хороша. Было видно, что она была скорее мила, чем красива: глаза и приятная улыбка уменьшали ее большой лоб, но этот лоб был все! <...> в нем сказывался гений, справедливость, точность, смелость, глубина, ровность, нежность, спокойствие и твердость; ширина лба свидетельствовала о развитии памяти и воображения <...> Ее подбородок, несколько острый, не выдавался вперед, не откидывался назад и имел благородную форму. Вследствие этого овал ее лица не вырисовывался ясно, но должен был весьма нравиться, так как прямота и веселость сказывались на устах»[86]. Выработанная Екатериной II привычка высоко держать голову, ее природная горделивая осанка в сочетании с неотразимым обаянием делали ее поистине царственной, она даже казалась выше ростом, чем была. Английскому врачу Томасу Димсделю, приглашенному в 1768 г. в Россию для прививки оспы императрице и наследнику Павлу, более всего импонировало то, что в ней было «много грации и величия»[87]. То же отмечал и французский волонтер, герой взятия Очакова граф Р. Дама: «Всякий, кто приближался к ней, был, без сомнения, поражен, как и я, ее достоинством, благородством ее осанки и приятностью ее ласкового взгляда, она умела с первого начала одновременно внушать почте-

ние и ободрять, внушать благоволение и отгонять смущение»[88]. По словам графа Сегюра, она была «рождена для трона»[89]. Но время победило красоту, но не величавость. Как писал К. Массон, несмотря на все усилия «казаться молодой и здоровой», Екатерина II «к концу своей жизни сделалась почти безобразно толстой: ее ноги, всегда опухшие и часто открытые, были совершенно, как бревна, по сравнению с той ножкой, которою некогда восхищались». Для нее стало «тяжким трудом» не только «всходить и спускаться по лестнице дворца», но и одеваться для приемов. Правда, несколькими страницами ниже он же пишет следующее: «В 67 лет Екатерина еще сохранила остатки красоты. Ее волосы были всегда убраны с античной простотой и особенным вкусом: никогда корона лучше не венчала головы, чем ее голову. Она была среднего роста, но толстовата и всякая другая женщина ее телосложения не могла бы держаться так пристойно и грациозно»[90]. Отметим лишь, что еще в январе и сентябре 1789 г., будучи в бодром и здоровом состоянии, Екатерина II без шуток говорит своим приближенным: «Я уверена, что имея 60 лет, проживу еще 20 с несколькими годами»[91].

Императрица оставила множество автобиографических зарисовок и характеристик – шутливых и вполне серьезных. В их числе и сочиненная ею во время веселых и шумных празднеств и балов по случаю рождения внука Александра эпитафия самой себе (1778 г.): «Здесь лежит Екатерина Вторая, родившаяся в Штеттине 21 апреля (2 мая) 1729 г. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтоб выйти замуж за Петра III. Четырнадцати лет от роду она возымела тройное намерение – понравиться своему мужу, Елисавете и народу. Она ничего не забывала, чтоб успеть в этом. В течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много книг. Вступив на Российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастие, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы веселонравная, с душою республиканскою и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась. Она любила искусства и быть на людях»[92]. А вот уже вполне серьезный взгляд Екатерины II на себя: «...природная гордость моей души и ее закал делали для меня невыносимой мысль, что я могу быть несчастна. Я говорила себе: “Счастие и несчастие – в сердце и в душе каждого человека. Если ты переживаешь несчастие, становись выше его и сделай так, чтобы твое счастие не зависело ни от какого события”. С таким-то душевным складом я родилась, будучи при этом одарена очень большой чувствительностью <...> ум мой по природе был настолько примирительного свойства, что никогда никто не мог пробыть со мною и четверти часа, чтобы не почувствовать себя в разговоре непринужденным и не беседовать со мною так, как будто он уже давно со мною знаком. По природе снисходительная, я без труда привлекала к себе доверие всех, имевших со мною дело, потому что всякий чувствовал, что побуждениями, которым я охотнее всего следовала, были самая строгая честность и добрая воля. Я осмелюсь утверждать относительно себя,

если только мне будет позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским <...> в соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви; да простят мне это выражение, во имя искренности признания, к которому побуждает меня мое самолюбие, не прикрываясь ложной скромностью»[93]. О своем мужском складе характера и ума Екатерина пишет и близкой подруге своей матери г-же Бьельке (с которой она состояла в многолетней переписке), признаваясь, что «я могу хорошо разговаривать только с мужчинами»[94]. Действительно, и это подчеркивают почти все оставившие свои воспоминания современники, Екатерине нравилось царить в мире мужчин и это ей очень шло. Желания же ее были скромными, хотя и определяли многое, если не все в жизни: «Здоровье прежде всего; затем удача; потом радость; наконец, ничем никому не быть обязанной»[95]. Л.Ф. Сегюр специально еще отмечал, что «она была проста в домашней жизни»[96].

Более полная самохарактеристика (по словам самой Екатерины, – «приблизительный портрет») относится уже к последнему году ее жизни и содержится в письме Сенаку де-Мельяну*: «Я никогда не признавала за собой творческого ума... Мною всегда было очень легко руководить, потому что для достижения этого нужно было только представить мне мысли, несравненно лучше и основательнее моих; тогда я была послушна, как агнец. Причина этого заключается в крайнем моем желании блага государству. Я была так счастлива, что попала на добрые и истинные начала, которым я была обязана великими успехами. Я испытала и большие невзгоды, происшедшие от ошибок, в которых я не имела никакого участия, а может быть и от того, что предписанное мною исполнялось не в точности. Несмотря на мою природную гибкость, я умела быть упрямою или твердою (как угодно), когда это было нужно. Я никогда не стесняла ничьего мнения, но в случае надобности имела свое собственное. Я не люблю споров, убедившись, что каждый всегда остается при своем мнении; притом же я не умею говорить особенно громко. Я никогда не была злопамятна, потому что так поставлена Провидением, что не могла питать этого чувства к частным лицам и находила обоюдные отношения слишком неравными, если смотреть на дело справедливо. Вообще я люблю правосудие, но нахожу, что вполне строгое правосудие не есть правосудие, и что одна только справедливость соразмерна со слабостию человека. Но во всех случаях человеколюбие и снисхождение к человеческой природе предпочитала я правилам строгости, которую, как мне казалось, часто пре-

* Французский эмигрант, самоуверенно вознамерившийся писать историю России XVIII в. Верная правилу поощрять добрые начинания, Екатерина II поначалу взяла на себя труд наставника. Однако впоследствии, усмотрев в его действиях неблаговидные мотивы, она лишила его своей благосклонности, и несостоявшийся историк покинул Россию.

вратно понимают. К этому влекло меня собственное мое сердце, которое я считаю кротким и добрым <...> Нрав у меня веселый и откровенный, но на своем долгом веку я не могла не узнать, что есть желчные умы, которые не любят веселости, и не все люди могут переносить правду и искренность»[97].

По сути, та же самооценка дана и в письме Екатерины к ганноверскому доктору и философу Циммерману, когда донельзя обиженная несправедливыми, на ее взгляд, нападками на проводимый ею жесткий экспансионистский внешнеполитический курс императрица пишет: «Если век мой меня боялся, он был очень неправ: я никогда никому не хотела внушать страха; я желала быть любимою и уважаемою, насколько того заслуживаю, и больше ничего. Я всегда думала, что на меня клеветали потому, что не понимали меня. Я видала многих людей несравненно умнее себя. Никогда я ни к кому не чувствовала ни ненависти, ни зависти. Мое желание и удовольствие состояло в том, чтобы делать других счастливыми; но так как всякий может быть счастлив только по своему характеру, прихотям или понятиям, то в этом мои желания часто встречали препятствия, для меня совершенно непонятные. Конечно, в моем славолюбии не было злобы, но, может быть, я слишком далеко простирала свои виды, думая, что люди способны стать рассудительными, справедливыми и счастливыми <...> Европа напрасно опасалась моих намерений, от которых она могла бы только выиграть. Если мне платили неблагодарностью, то по крайней мере никто не скажет, чтобы я не была признательна; я часто мстила своим врагам, делая им добро или прощая им. Вообще человечество имело во мне друга, который не изменял ему ни в коем случае»[98]. И действительно, в проводимой политике она была последовательна и в рамках представлений ее времени честна. В этой связи особый смысл приобретает ее признание что она «сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости» и что только «на всякий отпор я отвечала отпором»[99]. Но при всем том надо помнить и о ее заявлении, как бы подводившем итог внешнеполитическому курсу страны: «В это столетие Россия не понесла убытков ни от какой войны и не позволит управлять собою»[100].

В переписке Екатерины II с близкими ей по духу людьми нельзя не отметить не раз и не два заявляемую ею готовность воспользоваться для «общего блага» знаниями и умением более сведущих людей без всякого ущемления своего «я». Вот лишь одно из таких свидетельств, наиболее выразительное: «Я всегда чувствовала большую склонность быть под руководством людей, знающих дело лучше моего, лишь бы только они не заставляли меня подозревать с их стороны притязательность и желание овладеть мною: в таком случае я бегу от них без оглядки»[101]. Но при этом ей были присущи такие качества, как твердость, решительность и даже мужество, что дало основание современникам, близко ее знавшим, называть императрицу «непоколебимою». Вместе с тем Екатерина в управлении сложным государственным механизмом

была весьма гибким политиком, отнюдь не на словах только демонстрируя обстоятельную взвешенность при выборе того или иного подхода: «Действовать нужно не спеша, с осторожностью и с рассудком». Она с достаточным основанием относила себя «к таким людям, которые любят всему знать причину»[102], и в соответствии с этим старалась принимать адекватные ситуации решения. В собрании «Анекдотов об императрице Екатерине Великой» приводится такой случай: «Екатерина сохраняла чрезвычайную осторожность при подписывании бумаг, особливо, если дело касалось до обвинения людей. Однажды, читая одну бумагу, она хотела уже подписать ее, но вдруг остановилась и спрятала ее. "Я не подпишу теперь этого приговора, – сказала она,– потому что чувствую себя не в совершенно спокойном расположении духа, а я испытала на себе, что в подобном состоянии я всегда делаюсь суровее! Надобно подумать и потом решить!"»[103]

Письма Екатерины к иностранным корреспондентам содержат подробные описания (в ответ на их просьбы) ее занятий, образа жизни, интересов. Хозяйке модного парижского литературного салона г-же Жоффрен она, например, пишет:

«В те дни, когда меня менее беспокоят, я чувствую более чем когда-либо рвение к труду. Я поставила себе за правило начинать всегда с самого трудного, тягостного, с самых сухих предметов; а когда это кончено, остальное кажется мне легким и приятным; это я называю приберегать себе удовольствие. Я встаю аккуратно в 6 часов утра, читаю и пишу одна до 8-ми, потом приходят мне читать разные дела; всякий, кому нужно говорить со мною, входит поочередно, один за другим; так продолжается до 11-ти часов и долее; потом я одеваюсь. По воскресеньям и праздникам иду к обедне; в другие же дни выхожу в приемную залу, где обыкновенно дожидается меня множество людей. Поговорив полчаса или 3/4 часа, я сажусь за стол; по выходе из-за стола, является Бецкий наставлять меня; он берет книгу, а я свою работу*. Чтение наше, если его не прерывают пакеты с письмами и другие помехи, длится до 5 часов с половиною; тогда или я еду в театр, или играю, или болтаю, с кем случится, до ужина, который кончается прежде 11 часов; затем я ложусь и на другой день повторяю то же самое как по нотам»[104].

О своей полной погруженности в работу пишет она и г-же Бьельке в Гамбург: «Если хотите, я занята более всякого другого, но разве это

* Иван Иванович Бецкой, внебрачный сын фельдмаршала князя И. Ю. Трубецкого, президент Академии художеств в Петербурге. Штатный чтец императрицы, он пользовался полным ее доверием. Под работой имеется в виду вязание. Это занятие, как она пишет, «дозволяет думать совсем о другом и не раздражает». К вязанию она прибегала и в перерывах между «законобесием» – так Екатерина определяла свою полную погруженность в законотворчество, когда соединение «огня и гения» приводило ее в состояние «вне себя», к тому, что она «не ела, не пила, не спала» (Письма. С. 48).

и не должно так быть? Я так много могу делать добра; все средства у меня в руках, мне только остается находить к тому случаи, что не особенно трудно. Я от природы люблю суетиться, и чем более тружусь, тем бываю веселее»[105]. Естественно, императрица прежде всего была завалена делами по управлению ее «маленьким хозяйством», как она называла свои государственные обязанности. Во время русско-турецкой войны 1787–1791 гг. она пишет Гримму: «Я с некоторых пор работаю, как лошадь и мне мало моих четырех секретарей: я вынуждена увеличить их число. Я вся обратилась в письмо, и мысли мои расплываются в чернилах. Никогда в жизни моей я столько не писала. Когда началась война, я ничего не хотела знать и слышать кроме войны, а теперь я должна пустить в ход все то, что залежалось. Чтоб к весне наверстать пропущенное, надо идти быстрыми шагами». Ранее, в 1781 г., в пору усиленных ее занятий вопросами законодательства, в одном из писем тому же адресату она признавалась, что «как истый бука, все с пером в руке составляю томы, и испуганная толщиной этих томов иногда порываюсь бросить их в огонь; но, правда, это было бы жаль, потому что оно и хорошо и очень обдуманно»[106].

Своим откровением она подтверждает мнение позднейших своих биографов о том, что «восприимчивостью и трудолюбием она превосходила многих великих деятелей в истории всех времен»[107]. И, как можно понять, такая напряженная работа, действительно, приносила ей большое удовлетворение. «Привычка сделала с нами то, что мы отдыхаем только когда голова уже окончательно на подушке, и тут еще во сне приходит нам на мысль все, что надо было бы сказать, написать или сделать»[108].

Но что труд без ума? В уме же Екатерине II не отказывали даже самые ярые ее недоброжелатели. Правда, В.О. Ключевский заметил, что «это не была самая яркая черта характера Екатерины: она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума... У нее был ум не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, *умный* ум, который знал свое место и время и не колол глаз другим, Екатерина умела быть умна кстати и в меру»[109]. Но при этом историк, как представляется, всего-навсего расшифровал вышеприведенную самооценку Екатерины в письме Сенаку де-Мельяну – в нем она сама не претендовала на обладание «творческим умом». У нее было другое бесценное качество, столь необходимое для самодержавной правительницы, тот «счастливый дар», который позволял свободно ориентироваться и в самой сложной ситуации, – «памятливость, наблюдательность, догадливость, чутье положения, уменье быстро схватить и обобщить все наличные данные, чтобы вовремя принять решение, выбрать тон, в случае надобности благоразумная мораль и умеренно согретое чувство – все эти мелкие пружины, из деятельности которых слагается ежедневная житейская работа ума, Екатерина умела приводить в движение легко и ежеминутно, когда бы это ни понадобилось <...> Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил»[110]. Сама она была увере-

на в том, что «благополучие для ума – то же, что молодость для темперамента; оно приводит в движение все страсти; блажен тот, кто не дает себя увлечь этим вихрем»[111]. Ее чрезвычайно сложно было застать врасплох – всегдашняя концентрированность, «самособранность» и живая сообразительность обеспечивали выбор оптимального варианта решения любой неожиданно возникшей проблемы или долговременного плана государственного устройства.

В.О. Ключевскому легко было оценивать личные качества императрицы уже по результатам ее царствования. Но, что характерно, примерно то же писали о ней и когда она только вступала на российский трон. Упомянутый лорд Бекингхэмшир, обладавший тонкой наблюдательностью, оставил характеристики императрицы и ряда лиц из ближайшего ее окружения, относящиеся к первым годам царствования. «По всем собранным мною сведениям,– признает он,– императрица далеко превосходит всех своих подданных по талантам, познаниям, трудолюбию»[112]. Он же провидчески пишет, что, «когда пройдет сумятица, являющаяся неизбежным последствием переворота, императрица сумеет сделать эту страну великою и могущественною – она обладает всеми нужными для этого дарованиями». Затем отмечает то, на что и другие современники обращали первоочередное внимание: «Люди, наиболее часто бывающие в ее обществе, уверяют, что ее внимание к делам невероятно велико. Она постоянно думает о благополучии и процветании своих подданных и о славе своего царствования; по всем вероятиям, ее заботою репутация и могущество России будут поставлены на такую ступень, какой никогда не достигали, если только она не будет слишком увлекаться взятыми издалека и непрактичными теориями»[113]. Как известно, от последнего императрица благоразумно воздержалась, несмотря на сильное увлечение ими в молодости.

Отмеченные особенности характера Екатерины подтверждает и другой англичанин – сэр Джордж Макартней. В своих секретных посольских депешах он пишет: «Надо признаться, что она разумеет способ управлять своими подданными. Она так близко знакома с их духом и характером, так хорошо употребляет эти сведения, что для большей части народа счастие его кажется зависящим от продолжительности ее царствования. Удивительно, какие трудности ей пришлось преодолеть»[114]. Дидро, который имел ряд продолжительных бесед с Екатериной во время его пятимесячного пребывания в России в конце 1773 – начале 1774 г., писал о ее «непостижимой твердости в мыслях», о «легкости в выражениях», о «знании быта и дел государства своего», о том, что «ни один предмет не чужд ей», что при «изумительной проницательности» она достигла того, что во всей огромной стране нет человека, который бы «так хорошо знал нацию, как она». Не раз Дидро отмечал и тот факт, что императрица «любит правду, и, хотя мне часто приходилось говорить правду, которая почти не доходит до слуха королей, она ни разу не сочла себя задетой этим»[115]. Как заметил принц де Линь, «вследствие своего верного суждения, она хорошо исполни-

ла бы всякую роль, в каком бы состоянии и при каких обстоятельствах ей не пришлось бы играть ее. Но роль императрицы наиболее шла к ее лицу <...> к возвышенности ее души и к необъятности ее гения, столь же обширного, как и ее империя»[116]. Полное единомыслие с де Линем обнаруживает в характеристике Екатерины и г-жа Бьельке, которая в 1765 г. писала, что ничуть не удивлена тем, что она «занимает один из первых тронов в Европе», ибо «уже 22 года тому назад (в 14 лет. – *М. Р.)* по самой прелестной веселости, свойственной летам <...> по самому живому и любезному уму, обнаруживался уже зародыш всех этих дарований и качеств, которые ныне возбуждают удивление Европы. А что меня больше поражало и еще более поражает теперь, это – сердце великодушное, постоянное, благородное, которое должно покорять Вашему Величеству сердца всех, имеющих счастие приближаться к вам...»[117]

Особо ценным является отзыв о Екатерине II К. Массона. Отнюдь не склонный любоваться императрицей, он тем не менее отмечает, что все «язвы и злоупотребления» в ее царствование не бросали темной тени на «личный характер этой государыни. Она казалась глубоко человечной и великодушной. Все те, кто к ней приближались, испытали это; все те, кто узнали ее близко, были восхищены чарами ее ума <...> Ее обманывали, ее обольщали, но она никогда не была под игом господства. Ее деятельность, правильность образа ее жизни, ее умеренность, ее мужество, ее постоянство, даже ее трезвость – таковы моральные качества, которые было бы слишком несправедливо приписать лицемерию»[118].

Суммируя наблюдения современников, позднейший биограф Екатерины II А. Г. Брикнер, признавая, что «познания и стремления Екатерины отличались не столько глубиною и основательностью, сколько широтою и разнообразием», отмечал вместе с тем, что она «была как бы создана для престола: в истории мы не встречаем другой женщины, столь способной к управлению делами. На всех и каждого она производила глубокое впечатление»[119]. О беседах с Екатериной во время своего пребывания в Петербурге в 1773–1774 и 1776–1777 гг. М. Гримм уже после ее смерти писал: «...императрица обладала редким талантом, в такой степени, в какой мне не удавалось его никогда встретить: талант этот заключался в том, что она всегда верно схватывала мысль своего собеседника, так что неточное или смелое выражение никогда не вводило ее в заблуждение <...> обыкновенно беседа наша, с глазу на глаз, продолжалась часа два или три, иной раз четыре, а однажды семь часов, не прерываясь ни минуты». Причем разговоры эти были на самые разнообразные темы. «Надо было видеть в такие минуты эту необычайную голову,– писал Гримм,– эту смесь гения с грацией, чтобы понять увлекавшую ее жизненность; как она своеобразно схватывала, какие острые, проницательные замечания падали в изобилии одно за другим»[120]. Сходно и впечатление упомянутого доктора Т. Димсделя от встреч с Екатериной: «Хотя бы мне следовало

ожидать многого от превосходного рассудка и ласковости ее величества, тем не менее ее чрезвычайная проницательность и основательность вопросов, ею мне сделанных <...> привели меня в удивление <...>она говорит по-русски, по-немецки и по-французски в совершенстве, читает также по-итальянски, и хотя она не знает по-английски столько, чтобы говорить на этом языке, но понимает достаточно все, что говорят»[121].

В Екатерине II привлекало и ее необыкновенное умение слушать собеседника, чему удивлялись едва ли не все лично знавшие императрицу современники. По словам де Линя, «у нее было особое искусство слушать и такая привычка владеть собой, что казалось, она слушает и тогда, когда думает совсем о другом. Она не говорила для того, чтоб только говорить, и внимательно выслушивала тех, которые с ней говорили»[122]. И в этом зачастую был не столько интерес к собеседнику, сколько желание расположить его к себе, приобрести его доверие. И не только неискушенные, но и многие опытные мужи испытали на себе неотразимое обаяние императрицы Екатерины. Даже умудренный знанием всех хитросплетений дворцовых интриг Г.Р. Державин, который, несмотря на намеки Екатерины, не мог заставить себя писать оды, наподобие «Фелицы», ибо «издалека те предметы, которые ему казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему при приближении к двору <...> низкими и недостойными Великой Екатерины», не раз подпадал под ее обаяние, и она умело этим пользовалась. «...Была она милосердна и снисходительна к слабостям людским,– писал Державин,– избавляя их от пороков и угнетения сильных не всегда строгостью законов, но особым материнским о них попечением, а особливо умела выигрывать сердца и ими управлять, как хотела. Часто случалось, что рассердится и выгонит от себя Державина*, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить; но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит, зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в исступлении сказал: “Боже мой! Кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить, но вы против моей воли делаете из меня, что хотите”. Она засмеялась и сказала: “Неужто это правда?» Умела также притворяться и обладать собою в совершенстве...”[123]. Вообще, судя по многочисленным свидетельствам современников, складывается впечатление, что Екатерина II по своим природным качествам была открытым, душевным человеком, что импонировало психологическому складу, или, пользуясь модным ныне термином, менталитету русского народа. «Ее манеры, приветливость ее нрава и ее

* Он был одним из статс-секретарей императрицы.

веселость,– пишет Р. Дама,– влияли на общество, и жизнь в Петербурге была одной из приятнейших в Европе <...> никакая другая государыня не умела соединять такие воспламеняющие выражения с такими покоряющими силами»[124]. Нельзя не сказать и о всегда добром отношении Екатерины к своим ближайшим помощникам – статс-секретарям и другим лицам из числа обслуживающего персонала. Л.Ф. Сегюр в своих «Записках» отмечает ее неподдельное уважение к личности, что она «никогда не оставляла человека, к которому питала дружбу»[125]. Когда же с годами у Екатерины чаще стало проявляться чувство раздражительности, то перед жертвами последней она обязательно извинялась при первом удобном случае («После, при волосочесании, извинялись» – записывает в своем дневнике А.В. Храповицкий[126]).

Энергичная, веселая по натуре Екатерина, вероятно, действительно редко поддавалась унынию. В письме к Бьельке, написанном ею в пору «привыкания» к трону, есть примечательные строки: «Надобно быть веселою <...> только это одно все превозмогает и переносит. Говорю это по опыту: я много переносила и превозмогала в моей жизни, однако смеялась, когда могла, и клянусь вам, что в настоящую минуту, когда у меня столько затруднений в моем звании, я охотно играю, когда представляется случай, в жмурки с моим сыном и часто без него. Мы объясняем это, говоря, что так надобно для здоровья, но <...> это по истине для того, чтобы ребячиться»[127]. Екатерине 11 шел 38-й год. Возможно, именно потому она чрезвычайно редко испытывала чувство сомнения, растерянности даже в самой неблагоприятной ситуации. Как она сама признавалась, «для людей моего характера нет в мире ничего мучительнее сомнения»[128]. В конце 1769 г. в сложной внутри- и внешнеполитической обстановке, когда недруги предвкушали скорое ее падение, она той же Бьельке пишет: «Храбрее, вперед – выражение, с которым я одинаково проводила и хорошие, и дурные годы. Вот уже мне исполнилось сорок лет, и что такое настоящее дурное положение с тем, которое прошло?»[129] То же она позже выразила в чеканной фразе: «Отважно выдерживать невзгоду – доказательство величия души; не забываться в благополучии – следствие твердости души»[130].

Думается, что определяющее стратегию войн правило выдающихся полководцев России Екатерининской эпохи – идти вперед и побеждать – было ее собственным девизом, возможно, ею же и внушенным им. В годы русско-турецкой войны 1787–1791 гг. она, поднимая дух своих военачальников, испытывавших некоторые сомнения и колебания, твердо пишет: «Поверьте, самое действенное средство одолеть врагов своих – это бить их»[131].

Но в то же время Екатерина II была лишена холодной рассудительности, являя собой пример, как она сама говорила, натуры «восторженной», «горячей головы», т.е. человека увлекающегося. Так, возражая неумеренно лестным попыткам представить ее «образцом во всех отношениях», она пишет, что «этот образец не только плох, но и непригоден для образца», так как «я <...> вся состою из порывов, бросающих

меня то туда, то сюда»[132]. Эта ее черта характера порой проявлялась и в государственных делах.

В 1767 г. императрица со всей страстью отдается работе над «Наказом», воплощение в жизнь которого, по ее убеждению, должно непременно принести благо России и открыть новую страницу в ее истории. Но после возникших трудностей с реализацией положений «Наказа» она как будто охладевает к своему детищу. В 1775 г. Екатерина увлечена составлением «Учреждения для управления губерний» и уже склонна именно в нем видеть вершину своих законотворческих усилий: «Последние мои Учреждения от 7 ноября заключают 250 печатных страниц в четвертую долю листа, но зато, клянусь вам, это мое лучшее произведение, и в сравнении с этим трудом "Наказ" мой представляется мне в сию минуту не более как пустой болтовней». Екатерина намеревается послать для оценки свое новое «превосходное произведение» Гримму, от которого у нее нет секретов, но почему-то не выполняет этого, и в ответ на неоднократные напоминания об обещанном с деланным удивлением спрашивает, зачем ему нужны эти малоинтересные Учреждения? Они очень скучны, заключает она[133]. И хотя в 1785 г. 56-летняя императрица, обнаружив в библиотеке Дидро (после его смерти) неизвестный ей весьма критический отзыв его о «Наказе», в раздражении от ущемленного самолюбия («должно быть, он сочинил это после возвращения отсюда, ибо здесь он никогда об этом мне не говорил»), пишет, что «это – настоящая болтовня, в которой нет ни знания дела, ни рассудительности, ни предусмотрения. Если бы мой "Наказ" был написан во вкусе Дидерота, он мог бы все поставить вверх дном. Я же утверждаю, что мой "Наказ" был не только хорош, но превосходен и хорошо соображен с обстоятельствами; ибо 18 лет с тех пор, как он существует, он не только ни в каком отношении не сделал вреда, но еще все хорошее. Что произошло за это время и что признается всеми, проистекло из основных начал, установленных этим "Наказом". Порицать легко, а дело делать трудно...»[134].

Спустя два года она, как человек здравомыслящий, дает весьма критическую оценку своей деятельности, в том числе и законотворческой, на примере неудавшегося строительства совершенно нового по замыслу дворцового комплекса под Петербургом, в Пелле (1786 г.). «Я открыла только два дня назад, – признается она в 1787 г.,– что я – "императорша" по профессии до сих пор ничего не довела до конца из всего, что я начала»[135]. Как бы оправдываясь и не желая, видимо, разрушать сложившееся в свете представление о ней как о неутомимой строительнице, через год она поясняет: «Не достает только времени кончать все это. Таковы мои законы, мои учреждения: все начато, ничего не кончено, все из пятого в десятое; но если я проживу два года, все приведется в конечное совершение»[136]. Но спустя чуть более двух лет Екатерина с несвойственной ей горечью заключает, что дело, оказывается, отнюдь не в нехватке времени; «никогда я так хорошо не сознавала, что я – прошедшее несовершенное, составленное из урывок»[137].

Многие упрекали Екатерину II в честолюбии и тщеславии, которыми она якобы была наделена сверх всякой меры. Если обратиться к толкованию этих слов В. Далем, то уличать ее в тщеславии нет оснований. Что же касается ее «непомерного» честолюбия, то уместно процитировать здесь В.О. Ключевского, который излагая суть одного из «двух резких и непримиримо противоречивых» суждений о царствовании Екатерины II, писал: «...вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали славолюбие, тщеславие и самовластие; великолепные учреждения заводились для того только, чтобы прослыть их основательницей... Тщеславие доводило Екатерину, от природы умную женщину, до умопомрачения, делавшего ее игрушкой в руках ловких и даже глупых льстецов, умевших пользоваться ее слабостями»[138]. Не согласившись с таким несправедливым взглядом на правление и роль Екатерины II и даже подвергнув его мягкому критическому разбору, Ключевский тем не менее в другой своей работе высказался вполне определенно: «Сердце Екатерины никогда не ложилось поперек дороги ее честолюбию»[139]. Возможно, основанием для такого заключения послужило резкое противопоставление Екатерины Петру III, который, как она писала в период подготовки переворота 1762 г., «был неизменной мушкой на очень красивом лице», а «поведение Екатерины по отношению к народу было всегда безупречно; она всегда хотела, желала и жаждала лишь счастия этого народа, и вся ее жизнь будет употреблена лишь на то, чтобы доставить русским благо и счастие»[140]. Но то был особый случай, и судить по нему обо всей последующей деятельности Екатерины было бы неправомерно. С другой стороны, нельзя подозревать ее здесь в какой-то фальши, скорее лишь в недостаточном понимании ею (еще) несовпадения субъективных желаний и объективных возможностей. Приведенные выше факты из позднейшей истории свидетельствуют о корректировке представлений императрицы и о достаточно критическом ее взгляде на все, что ею было сделано для «блага России».

Свидетельств, опровергающих подобные категоричные оценки характера Екатерины II, немало. И одно из них – документ, по какой-то причине не замечаемый историками, – собственноручно написанные «Нравственные идеалы Екатерины II»:

«Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора; отыскивайте истинное достоинство, хоть бы оно было на краю света: по большей части оно скромно и [прячется где-нибудь] в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе.

Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низостей.

Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости.

Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и щедры; ваше величие да не препятствует вам добродушно снисходить к

малым людям и ставить себя в их положение, так чтобы эта доброта никогда не умаляла ни вашей власти, ни их почтения. Выслушивайте все, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания; пусть видят, что вы мыслите и чувствуете так, как вы должны мыслить и чувствовать. Поступайте так, чтобы люди добрые вас любили, злые боялись, и все уважали.

Храните в себе великие душевные качества, которые составляют отличительную принадлежность человека честного, человека великого и героя. Страшитесь всякой искусственности. Зараза пошлости да не помрачит в вас античного вкуса к чести и доблести.

Мелочные правила и жалкие утонченности не должны иметь доступа к вашему сердцу. Двоедушие чуждо великим людям: они презирают все низости.

Молю Провидение, да напечатлеет оно эти немногие слова в моем сердце и в сердцах тех, которые их прочтут после меня»[141].

Все эти стержневые этические нормы не есть что-то нарочито придуманное (для потомства), они отвечали возвышенным представлениям «века Просвещения». О том же речь и в известном суворовском «Изображении героя», предназначенном для племянника друга полководца, но по большому счету – для всего молодого поколения той поры: «Герой, о коем идет речь, весьма смел, но без запальчивости, скор без опрометчивости, деятелен без легкомыслия, подчинен без униженности <...> победитель без тщеславия, честолюбив без кичливости, благороден без гордости, непринужден без лукавства, тверд без упрямства, скромен без притворства <...> решительный, избегающий колебаний, он предпочитает здравый рассудок остроумию; враг зависти, ненависти и мщения <...> чистосердечный, он гнушается лжи; прямодушный, он попирает криводушие <...> честь и честность составляют его достояние <...> он никогда не увлекается стечением обстоятельств, но подчиняет их себе, действуя всегда по правилам своей искусной прозорливости»[142]. Есть основание полагать, что образ своего «героя» Александр Васильевич писал с себя. Но примечательно другое – многие черты его героя совпадают с теми, что названы в «Нравственных идеалах», а некоторые из них были присущи и самой Екатерине II – «победитель без тщеславия» и «честолюбива без кичливости» и др.

После смерти Вольтера Екатерина, устроив через Гримма покупку у его племянницы и наследницы Дени Луизы обширной библиотеки философа, отсылает вместе с деньгами и подарками и письма «фернейского отшельника» к ней, но с *категорическим* запретом их публикации. «Меня обвинят в тщеславии,– поясняет она,– если я отдам в печать письма, которые полны лестных для меня отзывов». Императрица настоятельно просит не печатать и ее собственные письма к Вольтеру и не давать снимать с них копий, ибо она «недовольно хорошо пишет»[143].

В 1782 г. примечательным событием в жизни северной столицы стало открытие памятника Петру Великому, что навело особо ретивых

льстецов на мысль о сооружении такового и ей самой. Реакция Екатерины была однозначной: «Не знаю, будет ли множество Екатерин в России; но если страна эта должна обиловать только памятниками мне, то скажу наверное, что об этом я вовсе не стану заботиться и охотно предоставляю эту честь <...> Александру»[144]. Затем следует и более решительный отказ от прижизненных памятников: «Я не хочу памятника <...> с моего ведома, конечно, это не будет исполнено»[145]. И в этом не было ни двуличия, ни притворства – при жизни ей не было воздвигнуто ни одного памятника.

Напомним и об отвергнутой ею инициативе Сената (1780 г.) о «поднесении» титула «Великая». На вопрос Гримма, правда ли это, ведь «все привыкли говорить великая Екатерина», уже прославленная в Европе императрица отвечает недвусмысленно: «Оставьте глупые прозвища, которыми некоторые мальчишки захотели украсить мою седую голову и за каковую ветреность им надавали щелчков, так как они еще не родились, когда все эти глупости были торжественно отвергнуты на собрании уполномоченных всей «земли русской»[146]. И когда в последующем Гримм в письмах все же употребляет шутливое обращение де Линя «Екатерина Великий», она сурово пресекает эту вольность: «Прошу вас не называть меня более Екатерина Великий; во-первых, потому что не люблю прозвищ; во-вторых, мое имя – Екатерина Вторая»[147].

Разумеется, похвала была приятна Екатерине. В 1776 г. Гримм прислал ей газетную вырезку, где по достоинству воздавали дань ее заслугам. Расчувствовавшись, она отвечала: ваш «лоскуток газеты меня заставил прослезиться. Я желала бы, чтоб сказанное было справедливо, и если я в самом деле такова, то нельзя обладать от природы более счастливой организацией. Не знаю, кто писал этот портрет, который я считаю польщенным; хотя автор и льстец, но у него есть гений»[148]. Твердо исходя из того, что всем людям «свойственно только одно человеческое», она трезво оценивала свои возможности и на откровенную похвалу отзывалась со спокойной рассудительностью: «Автор оказывает мне много чести: у меня только добрая воля поступать хорошо. Не мне судить, достаточны ли к тому мои способности»[149]. Вместе с тем Екатерина II вполне обдуманно пишет, что «немного чести, когда похвалят в одном лишь надгробном слове: мало охотников слушать эти слова, а читать и вовсе нет»[150].

Вчитываясь в ее откровения, осмысливая многие ее далеко неординарные суждения, искренние отзывы о ней современников и сподвижников, приходишь к заключению, что Екатерина II сумела избежать искушения лестью. Когда же ей приходилось узнавать о себе и своих делах самые разноречивые мнения, она оставалась в некотором недоумении и взывала к своему «духовнику» Гримму: «Послушайте, вы судите обо мне настолько же хорошо, насколько другие худо; кому же верить? Я возьму середину: буду думать, что я занимаю не первое место, но и не последнее в каком бы то ни было из веков»[151]. Согласимся, что Екатерина II имела полное право на такое заявление.

И еще один факт. Когда Гримм прислал вышедшую в Германии книгу с явно непомерными прославлениями ее деяний, то и реакция была соответствующей: «...непозволительно хвалить таким образом без меры, если не хочешь прослыть отъявленным льстецом; вот я на старости сделалась образцом для государей, если верить автору. Ах, Боже мой. Боже мой! Какой дурной образец, если справедливо все дурное, что обо мне распространяли и прежде, и теперь! Знаете ли, что вовсе не похвалы были для меня благотворны, а именно злословие <...> такой акафист похвал, как этот, к чему он? Это только длинно и скучно читать, вот и все»[152]. Другого отношения к неумеренным похвалам у Екатерины, относившей их к проявлению «обыкновенной человеческой слабости» – безрассудства[153], не могло быть. И когда граф Сегюр, побывавший при русском дворе во второй половине 80-х гг. XVIII в., без каких-либо конкретных примеров писал, что «честолюбие ее было беспредельно, но она умела направлять его к благоразумным целям»[154], как следует из приведенных откровений императрицы, он был прав лишь во второй части своей оценки.

Пожалуй, можно утверждать, что Екатерина никогда не произносила «я» без понимания того, что за ней – вся Россия. Когда, например, после заключения мира в нелепой для обеих сторон русско-шведской войне 1790 г. князь Потемкин в искреннем порыве поздравил императрицу, как он написал, «с плодом неустрашимой твоей твердости», она без тени ложной скромности так оценила свое место в этом событии: «...хотя может показаться, что в словах много лести, я отвечала ему, что русская императрица, у которой за спиной 16 тыс. верст, войска, в продолжении целого столетия привыкшие побеждать, полководцы отличаются дарованиями, а офицеры и солдаты храбростью и верностью, не может без унижения своего достоинства не выказывать “неустрашимой твердости”»[155]. Добавим в этой связи и такой маленький, но очень важный штрих для оценки якобы «непомерного честолюбия» Екатерины. После смерти в младенческом возрасте вел. кн. Ольги опечаленная бабушка-императрица, посылая Гримму для «раздачи неимущим» 10 тыс. руб. (большие по тем временам деньги), настоятельно просит его, «не говорите, откуда эти деньги. Поэтому лучше рассылать деньги просящим <...> не говоря от кого; вы можете даже скрыть и свое имя, чтоб не могли подозревать меня»[156].

Фридрих II, имея в виду и Екатерину II, сказал, что честолюбие и слава суть потаенные пружины поступков и действий государей. К этому надо добавить и стремление Екатерины II к самоутверждению в силу особенностей ее политической судьбы и восшествия на престол, о чем она, думается, не забывала никогда. Об этом, в частности, говорит и такая почти клятвенная запись ее в особой тетради «Мысли, замечания императрицы Екатерины. Анекдоты»: «Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь; Он мне в том свидетель. Слава страны – создает мою славу. Вот мое правило; я буду счастлива, если мои мысли могут тому способствовать»[157].

Но при всем том Екатерина, как и любая знающая себе цену женщина, была весьма самолюбива. Это подметил Сегюр: «Кто постоянно счастлив и достиг славы, должен бы, кажется, сделаться равнодушным к голосу зависти и к злым, насмешливым выходкам, которыми мелкие люди действуют против знаменитостей. Но в этом отношении императрица походила на Вольтера. Малейшие насмешки оскорбляли ее самолюбие; как умная женщина, она обыкновенно отвечала на них улыбкою, но в этой улыбке была заметна некоторая принужденность»[158]. К чести Екатерины, такой чувствительной к колкостям, сама она никогда не позволяла этого по отношению к другим. По словам де Линя, она «никогда не острила». «Не правда ли,– сказала она мне однажды,– вы не слышали от меня ни одной остроты?» Но в то же время, «она любила всякую шутку», добавляет принц[159]. И в ее окружении Екатерина II в общих беседах всегда блистала добрым остроумием. «Императрица, – пишет Сегюр, – не была ни слаба, ни недоверчива, и всякий в ее царствование безопасно пользовался своим положением и саном»[160].

Примечания

1 *Линь Ш.-Ж. де*. Портрет Екатерины II // *Бильбасов В.А.* Исторические монографии. Т. 4. СПб., 1901. С. 509. Заметим, что принц был богато одаренной натурой. В молодости он получил прекрасное образование, страстно любил искусство, много путешествовал. В России побывал дважды – в начале и в конце 80-х гг. (см. о нем: *Бильбасов В.А.* Князь де Линь в России // *Бильбасов В.А.* Указ. соч. С. 381–522). Во второй свой приезд принц сопровождал Екатерину в ее путешествии в Крым, участвовал в русско-турецкой войне 1787–1791 гг. Во время пребывания в России постоянно виделся, беседовал, а после отъезда переписывался с императрицей. Состоял также в переписке с Фридрихом II, Иосифом I, Марией-Терезией, Вольтером, Руссо и другими правителями и выдающимися личностями своего времени. Сама Екатерина относила его «к числу людей самых веселых и приятных», считая его «оригинальной головой, которая мыслит глубоко, а дурачится по-детски» (Сб. РИО. Т. 23. СПб., 1878. С. 192). Стоит отметить, что де Линь был весьма независимым в суждениях человеком и имел полное право утверждать, что в своей жизни «говорил правду пяти или шести коронованным особам» (*Бильбасов В.А.* Указ. соч. С. 471). По отзывам близко его знавших современников, обладал редчайшими качествами: умный, с богатым творческим воображением, всегда в ровном настроении, непринужденно веселый, благородный и абсолютно естественный в общении со всеми, чего ожидал и от окружения. Отсюда – его примечательная запись о Екатерине II: «Во дворах, где есть престолы, не встречал еще такой простоты и прямоты ни в одной коронованной особе» (Там же. С. 474). Из имеющихся трех самостоятельных переводов этого сочинения де Линя автор предпочел перевод В.А. Бильбасова, отличающийся лучшей литературной обработкой.

2 *Соловьев С.М.* Соч. В 18 кн. Кн. XVI. М., 1995. С. 346.

3 См.: Там же. С. 242.

4 Записки графа Александра Ивановича Рибопьера // РА. 1877. Кн. 1. Вып. 4. С. 477. Автор записок – сын прибывшего в Россию с рекомендательным письмом Вольтера и обрусевшего затем швейцарца Рибопьера, названного

в России Иваном Степановичем, и дочери известного государственного деятеля А.И. Бибикова, Аграфены Александровны, фрейлины императрицы. Должность адъютанта князя Г.А. Потемкина обеспечивала не только ему, но и его сыну возможность часто бывать при дворе. Как пишет автор записок, он «при дворе провел всю жизнь». Живого и смышленого мальчика Екатерина II впервые увидела в 4-летнем возрасте (в 1785 г.) и прониклась к нему почти материнским чувством, сохранившимся до самой ее смерти. Автор записок, будучи от природы наблюдательным человеком, оставил описания интереснейших событий из жизни высшего света. К сожалению, записки не сохранились в полном виде (основную их часть по каким-то причинам он сжег).

5 *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 37–38.

6 Записки графа Александра Ивановича Рибопьера. С. 476.

7 Цит. по: *Эйдельман Н.Я.* Грань веков. М., 1982. С 23.

8 *Карамзин Н.М.* Указ. соч. С.41–42.

9 См.: *Каменский А.Б.* «Под сению Екатерины...» СПб., 1992; *Омельченко О.А.* «Законная монархия» Екатерины Второй. Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993; *Павленко Н.И.* Екатерина Великая // Родина. 1995– 1996 гг.

10 *Карамзин Н.М.* Историческое похвальное слово Екатерине Второй // *Карамзин Н.М.* Соч. Т. 1. СПб., 1848. С. 276.

11 *Эйдельман Н.Я.* Последний летописец. М., 1993. С. 160.

12 *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России. С. 41.

13 *Омельченко О.А.* Указ. соч. С. 238.

14 *Ключевский В.О.* Императрица Екатерина II (1729–1796) // *Ключевский В.О.* Исторические портреты. М., 1990. С. 284.

15 *Омельченко О.А.* Указ. соч. С. 70.

16 *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. М., 1949. Т. XI. С. 16.

17 *Эйдельман И.Я.* Грань веков. С. 17.

18 См.: *Омельченко О.А.* Указ. соч. (рецензию В.И. Морякова на эту книгу см.: ОИ. 1995. № 2. С. 210–214); *Моряков В.И.* Русское просветительство второй половины XVIII века (из истории общественно-политической мысли России). М., 1994 (рецензии А.Б. Каменского и Б.В. Носова на эту книгу см.: ОИ. 1995. № 5. С. 175–183).

19 *Соловьев С.М.* Указ. соч. Кн. XIV. М., 1994. С. 71.

20 Письма Екатерины Второй к барону Гримму // РА. 1878. Кн. 3. С. 137 (далее – Письма).

21 *Соловьев С.М.* Указ. соч. Кн. XIV. С. 95, 93.

22 Записки императрицы Екатерины Второй. Перевод с подлинника, изданного Императорской Академией наук. СПб., 1907. С. 545 (далее – Записки).

23 Там же. С. 175.

24 Там же.

25 *Соловьев С.М.* Указ. соч. Кн. XVI. С. 32. См. также: Сб. РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 82–87.

26 Записки. С. 544.

27 ПСЗ. Т. 18. № 12949.

28 Записки. С. 646, 640.

29 Там же. С. 544.

30 Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб., 1865 // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1898. С. 413.

[31] *Эйдельман Н.Я.* Грань веков. С. 17.
[32] Записки. С. 586.
[33] Дашкова Екатерина. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 80.
[34] *Бердяев Н.А.* Свободный народ // Народовластие. Еженедельный журнал. 1917. № 1. С. 2.
[35] Записки. С.627, 545.
[36] Там же. С. 647.
[37] Письма. С. 223.
[38] Записки графа Сегюра... С. 376.
[39] Письма. С. 69.
[40] *Ключевский В.О.* Указ. соч. С. 288 – 289.
[41] Письма. С. 113.
[42] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. XI. С. 15.
[43] Записки. С.627.
[44] Письма. С. 172.
[45] Записки. С. 627.
[46] См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. IX. М., 1950. С. 45.
[47] *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом // *Соловьев С.М.* Избр. труды. Записки. М., 1983. С. 154.
[48] *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 130.
[49] Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. СПб., 1904. Т. 1. С. 279–280.
[50] *Массон К.* Секретные записки о России и в частности о конце царствования Екатерины II и правлении Павла I. Т. 1. М., 1918. С. 50.
[51] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. XI. С. 15.
[52] Записки. С. 58–59. Курсив мой.– *М.Р.*
[53] Письма. С. 12.
[54] *Греч Н.И.* Указ. соч. С. 126–129.
[55] Записки. С. 228–229.
[56] Там же. С. 233–234.
[57] Там же. С. 673, 670.
[58] Там же. С. 61.
[59] *Массон К.* Указ. соч. С. 50.
[60] Записки графа Сегюра... С. 318.
[61] Переписка вел. кн. Екатерины Алексеевны и английского посла сэра Чарльза Г. Уилльямса. 1756 и 1757 гг. М., 1909. С. 108–109. В целях конспирации переписка велась как бы между лицами мужского пола.
[62] Записки. С. 10, 12, 588.
[63] Там же. С. 44, 214.
[64] Письма. С. 239.
[65] Записки. С. 236.
[66] Там же. С. 203.
[67] Там же. С. 505.
[68] Там же. С. 694–695.
[69] *Рюльер К.К.* История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Переворот 1762 года: Сочинения и переписка участников и современников. Изд. 5. М., 1911.
[70] Переписка императрицы Екатерины с Фальконетом // Сб. РИО. Т. 17. СПб., 1876. С. 44.
[71] Записки. С. 600.
[72] Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. М., 1986 [Репринт]. С. 434.

[73] *Рюльер К.К.* Указ. соч. С. 64. Екатерине II о рукописи сочинения К. Рюльера стало известно в конце мая 1768 г. из письма Д. Дидро, который справедливо считал, что оно «и лет через двести будет одним из самых любопытных исторических очерков». Обеспокоенная приводимыми автором пикантными подробностями событий, а более всего, надо полагать, его предположением о возможном участии ее в трагической судьбе Петра III, Екатерина распорядилась «постараться купить рукопись». Но выкупить ее не удалось, даже несмотря на инициированные российскими агентами угрозы парижской полиции засадить Рюльера в Бастилию и посулы ему больших денег. Не удалось уговорить его убрать и отдельные факты, обнародование которых могло повредить «славе императрицы». После длительных переговоров Рюльер дал честное слово не публиковать свое творение при жизни императрицы. Слово свое он сдержал, и впервые сочинение увидело свет в 1797 г. Оно имело такой успех, что в том же году вышло второе издание, а в 1807 и 1819 гг. – третье и четвертое.

Любопытна судьба сочинения Рюльера в России. Первая попытка П. Бартенева издать его в 1890 г. в редактируемом им журнале «Русский архив» (№ 12) окончилась неудачей – набранный текст «по цензурным условиям» был изъят из номера на стадии верстки (сохранился ее единственный экземпляр с правкой самого П. Бартенева), настолько рассказ Рюльера расходился с официальной версией событий. Только с ослаблением требований цензуры после революции 1905–1907 гг. многострадальное сочинение в 1908–1911 гг. выдержало пять изданий.

[74] Переворот 1762 года... С. 135–136, 143–144.

[75] *Герцен А.И.* Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // *Герцен А.И.* Собр. соч. В 30 т. Т. 12. М., 1957. С. 392. П.Б. Пассек и М.Е. Баскаков – офицеры л.-гв. Преображенского полка, активные участники переворота.

[76] Переворот 1762 года... С. 146–147.

[77] *Греч П.И.* Указ. соч. С. 124.

[78] *Ключевский В.О.* Указ. соч. С. 308.

[79] Цит по: *Валишевский К.* Роман одной императрицы. Екатерина Вторая по ее запискам, письмам и неизданным документам государственных архивов. М. [Б.г.] Изд. 2. С. 59.

[80] Письма. С. 188.

[81] Записки. С. 444.

[82] Там же. С. 115.

[83] См.: Екатерина II и ее окружение / Сост., вступ. статья и примеч. А.И. Юхта. М., 1996. С. 42.

[84] *Рюльер К.К.* Указ. соч. С. 11.

[85] Граф Джон Бёкингхэмшир при дворе Екатерины II (1762–1765 гг.) // РС. 1902. Т. 2. С. 440–442.

[86] *Линь Ш.-Ж. де.* Указ. соч. С. 507.

[87] Записка барона Т. Димсделя о пребывании его в России // Сб. РИО. Т. 2. СПб., 1888. С. 320.

[88] *Дама Р. де.* Записки // Старина и новизна, состоящая из сочинений и переводов. 1914. Кн. 18. С. 78.

[89] Записки графа Сегюра... С. 317–318.

[90] *Массон К.* Указ. соч. С. 38, 44.

[91] Дневник А.В. Храповицкого с 18 января 1782 по 17 сентября 1793 г. По подлинной его рукописи, с биографической статьею и объяснительным указателем Н. Барсукова. Изд. 2. М., 1901. С. 143, 180.

92 Письма. С. 41.
93 Записки. С. 444–445.
94 Сб. РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 105.
95 Записки. С. 670.
96 Записки графа Сегюра... С. 318.
97 Сб. РИО. Т. 13. СПб., 1874. С. XXII–XXIII.
98 Там же. С. XXI–XXIII.
99 Записки. С.7.
100 Письма. С. 192.
101 Там же. С. 33.
102 Там же. С. 201, 26.
103 Анекдоты об императрице Екатерине Великой, собранные П. Ш. Изд. 2. М., 1853. С. 10.
104 Сб. РИО. Т. 13. С. XV.
105 Там же. См. также несколько отличающийся перевод письма: Сб. РИО. Т. 10. С. 136.
106 См.: *Грот Я.К.* Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб., 1884. С. 438, 243.
107 *Брикнер А.Г.* История Екатерины Второй. Ч. 5. СПб., 1885. С. 737.
108 *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 245.
109 *Ключевский В.О.* Императрица Екатерина II. С. 291–292. В другом случае он же писал немного иное: «Я признаю большой блеск за ее умом, но то был ум блестящий, но не глубокий» (*Ключевский В.О.* Соч. В 9 т. Т. V. М., 1989. С. 364).
110 *Ключевский В.О.* Императрица Екатерина II. С. 292.
111 Записки. С. 639.
112 Цит. по: Сб. РИО. Т. 13. С. IV.
113 Граф Джон Бёкингхэмшир при дворе Екатерины II. С. 441, 442.
114 Цит. по: Сб. РИО. Т. 13. С. V.
115 *Дидро Д.* Собр. соч. Т. IX. Письма. М.; Л., 1940. С. 31. и др.
116 *Линь Ш.-Ж. де.* Указ. соч. С. 509–510.
117 Сб. РИО. Т. 10. С. 28.
118 *Массон К.* Указ. соч. С. 50.
119 *Брикнер А. Г.* Указ. соч. Ч. 5. С. 737, 699.
120 *Гримм Ф.М.* Историческая записка о происхождении и последствиях моей преданности императрице Екатерине II до кончины ее величества // Сб. РИО. Т. 2. СПб., 1868. С. 330–332.
121 *Димсдель Т.* Указ. соч. С. 301, 321.
122 *Линь Ш.-Ж. де.* Указ. соч. С. 507.
123 *Державин Г.Р.* Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина // *Державин Г.Р.* Соч. Л., 1987. С. 370, 372–373.
124 *Дама Р. де.* Записки. С. 78, 79.
125 Записки графа Сегюра... С. 318 и др.
126 Дневник А.В. Храповицкого... С. 41, 162 и др.
127 Сб. РИО. Т. 10. С. 103.
128 *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 76.
129 Сб. РИО. Т. 10. С. 338.
130 Записки. С. 639.
131 *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 476–477.
132 Там же. С. 763, 761; Письма. *С.* 31, 46, 50. О том же писал и Д. Дидро: «В другой раз она мне сказала: “Мы с вами не можем разобрать подробно

ии одного вопроса. У меня горячая голова, у вас тоже”» (*Дидро Д.* Указ. соч. С. 30).

133 Письма. С. 20,25,34.

134 Там же. С. 123.

135 Цит. по: *Валишевский К.* Указ. соч. С. 77.

136 Письма. С. 74.

137 Цит. по: *Валишевский К.* Указ. соч. С. 77.

138 *Ключевский В.О.* Императрица Екатерина II. С. 284.

139 *Ключевский В.О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об исюрии. М., 1968. С. 385.

140 Записки. С. 505.

141 Рукопись была обнаружена после смерти Екатерины II между страницами принадлежавшего ей экземпляра модного в ту нору романа Ф. Фенелона «Приключения Телемака». Впервые была опубликована в: РА. Год первый (1863). Изд. 2. (М., 1866. Стб. 380–382), а затем включена в состав «Записок Екатерины II» (С. 655–666).

142 Жизнь Суворова, им самим описанная, или Собрание писем и сочинений его, изданных с примечаниями Сергеем Глинкой. Ч. 2. М., 1812. С. 74–75.

143 *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 71.

144 Письма. С. 84. См. также: *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 257.

145 *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 257.

146 Там же. С. 158.

147 Письма. С. 155.

148 *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 760.

149 Там же. С. 761.

150 Письма. С. 132.

151 *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 761.

152 См. там же. С. 761–762; Письма. С. 207.

153 *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 763.

154 Записки графа Сегюра... С. 318.

155 Письма. С. 174.

156 Там же. С. 217.

157 Записки. С. 626.

158 Записки графа Сегюра... С. 408.

159 *Линь Ш.-Ж. де.* Указ. соч. С. 511–512.

160 Записки графа Сегюра... С. 320.

Глава II

Фавориты

Есть еще один сюжет, без освещения которого характеристика Екатерины II как государственного деятеля будет неполной.

Каким бы умом и талантами ни была наделена Екатерина II, без знающих и инициативных помощников, верных сподвижников государственное строительство в годы ее правления едва ли могло быть столь успешным. Она понимала это и подбору корпуса высших чинов придавала особое значение. Вот имена лишь некоторых из назначенных ею на ответственные посты, кто оставил заметный след в истории России: государственные деятели и дипломаты А.А. Безбородко, И.И. Бецкой, А.И. Бибиков. А.Р. Воронцов, А.А. Вяземский, Д.М. Голицын, братья Г.Г. и А.Г. Орловы, Н.И. Панин, Г.А. Потемкин, К.Г. Разумовский, Н.И. Салтыков; блестящие военачальники Н.В. Репнин и П.А. Румянцев, А.В. Суворов, знаменитые флотоводцы Г.А. Спиридов и Ф.Ф. Ушаков.

При этом, пожалуй, в дело подбора кадров она не привнесла ничего существенно нового, а лишь последовательно руководствовалась правилами и опытом Петра Великого, которого она почти боготворила («в присутствии императрицы нельзя было говорить ничего дурного о Петре I», – замечает де Линь[1]). Как любой абсолютный монарх, она считала, что

эффективное царствование зависит не от системы правления, а в первую очередь от управителей. Екатерина была убеждена в том, что «во всякой стране всегда есть люди, нужные для дел, и как все на свете держится людьми, то люди могут и управиться»[2]. Что касается реальной ситуации в России, она писала: «Про нас постоянно твердят, что у нас неурожай на людей; однако несмотря на это, дело делается. У Петра I были такие люди, которые и грамоты не знали, а все-таки дело шло вперед. Стало быть, неурожая на людей не бывает, их всегда многое множество; нужно только их заставить делать что нужно, и как скоро есть такой двигатель, все пойдет прекрасно».

Она ничуть не сомневалась, что «в замечательных людях никогда не бывает недостатка, так как люди зависят от обстоятельств, а обстоятельства зависят от людей. Мне никогда не приходилось отыскивать людей: но у меня всегда под рукой находились люди, которые мне служили и всегда служили хорошо. Кроме того, я по временам люблю новых людей: работа идет хорошо, когда они работают вместе и рядом с прежними». В этом она видела немалый залог успеха действий властных структур и удивительно верно использовала находившихся «под рукой» людей. Как писал де Линь, «она знала себя и умела ценить других», и при выборе нужных людей она руководствовалась «собственным их испытанием и назначала каждого на подобающее ему место»[3]. В своей кадровой политике Екатерина была последовательна: «О, как жестоко ошибаются, воображая, будто чье-либо достоинство страшит меня. Напротив, я бы желала, чтоб вокруг меня были только герои, и я всячески старалась внушить героизм всем, в ком замечала к тому малейшую способность»[4]. В этом принципиально важном вопросе Екатерина II была тверда и нередко шла наперекор общественному мнению при выборе должностных лиц: «...я люблю, когда достойному достается место по заслуге; ибо. Бог, свидетель, мы, люди темные, не питаем ни малейшего сочувствия к дуракам на высоких местах, а таких куда как много на белом свете и, мне сдается, будто их все прибавляется»[5].

В дневниковых записях Храповицкого читаем: «На прошение генерал-поручика Бороздина о принятии на службу сказано: «Мне дураков не надобно"»[6]. Причем особенно раздражала ее глупость действий чиновников. Как писала она, «глупость есть хроническая болезнь, против которой не устояла даже Франция, и знаете ли отчего? Оттого, что глупость заставляет делать именно то, чего не следует делать». В поисках эффективных мер борьбы против этого недуга Екатерина приходит в конце концов к неутешительному выводу – «лекарства от глупости еще не найдено. Рассудок и здравый смысл не то что оспа: привить нельзя»[7]. В подборе нужных людей императрица не ограничивалась одним только ей ведомым методом отбора, она умела и власть употребить, часто цитируя при этом полюбившиеся ей русские народные поговорки: «Кот из дому, мыши расплясались по столам и стульям; кот домой, и мыши попрятались в норы», «Часто надо только ногой топнуть и все придет в порядок»[8]. Но в жизни не все было так просто, и совладать с разгиль-

дяйством российским во все времена было затруднительно, ибо когда «кошки дома нет, мышкам воля, радость и счастье»[9].

Судя по реальным делам и действиям на государственном поприще избранников императрицы, нельзя не отметить, что она все же порой переоценивала их возможности. Но и в атом случае не обделенная хитростью правительница ловко использовала силу и слабость их в интересах дела, подспудно вызывая в них дух соревновательности. К примеру, она сама прямо пишет о том, как ей удавалось руководить двумя такими противоположными личностями, как Г.Г. Орлов и Н.И. Панин. «Они были совсем разных мнений и вовсе не любили друг друга, – пишет она. – И то сказать, больше сходства у воды с огнем, чем у них. И оба они столько лет были моими ближайшими советниками! И, однако, дела шли, и шли большим ходом. За то часто мне приходилось поступать, как Александру с Гордиевым узлом, и тогда противоречивые мнения приходили к согласию. Один отличался отвагою ума, другой – мягким благоразумием, а ваша покорнейшая услужница следовала между ними укороченным скоком (галопом. – *М.Г.).* и от всего этого дела великой важности принимали какую-то мягкость и изящество»[10].

И еще одна важная черта императрицы в отношениях со своими помощниками – лучше ненавязчиво подсказывать, чем приказывать. Часто лучше внушать преобразования, чем их предписывать, любила она говаривать. В.О. Ключевский, отчасти повторяя слова де Линя, пишет в этой связи: «Хорошо изучив людей, она знала, кому какое дело поручить можно, и так осторожно внушала намеченному исполнителю свою мысль, что он принимал ее за свою собственную и тем с большим рвением исполнял ее»[11].

Однако с годами, и особенно к концу царствования, строго руководствоваться названными принципами Екатерине II становилось все труднее, все меньше возможностей предоставлялось для удачного во всех отношениях выбора, все чаще на ответственные должности попадали люди случайные. Это ее настолько угнетало, что в письме Гримму в начале 90-х годов она с несвойственной ей резкостью пишет о том, что «половина тех, кто еще в живых, или дураки, или сумасшедшие; попробуйте, коли можете, пожить с такими людьми!»[12] Сказанное можно было бы объяснить присущей пожилым людям раздражительностью, но только отчасти. До лоска европеизированный любимый внук императрицы Александр за полгода до смерти бабушки в письме близкому другу, будущему члену Негласного комитета В.П. Кочубею о людях, занимавших высшие посты в окружении Екатерины II, заметил, что многих из них «не желал бы иметь у себя и лакеями»[13].

Романтические суждения молодой Екатерины о том, что «тот, кто не уважает заслуг, не имеет их сам: кто не ищет заслуг и кто их не открывает, недостоин и не способен царствовать»[14], разбивались о реальную жизнь. Отсутствие в поле зрения императрицы достойных к управлению государственными делами лиц порой приводит ее почти в отчаяние. В октябре 1791 г. в связи с кончиной Г.А. Потемкина она пишет,

что князь «своею смертью сыграл со мной злую шутку. Теперь вся тяжесть правления лежит на мне <...> Ну как же быть? Надо действовать <...> Ах, Боже мой! Опять нужно приняться и все самой делать»[15]. Правда, тут же она называет имена двух, на ее взгляд, «подающих более всего надежд» особ – Платона и Валериана Зубовых (последнему фавориту не было еще и 24 лет, а его брату не исполнилось и двадцати), с поразительной слепотой щедро наделяя первого «последовательным умом», «понятливостью», «обширными и разнообразными» знаниями и даже называя его очень «даровитым человеком». Эта явно неадекватная характеристика весьма посредственного по уровню интеллекта П. Зубова со всей очевидностью показывает, насколько императрица с возрастом стала ошибаться в людях. Великий князь Александр в письме к тому же В.П. Кочубею с горечью и болью пишет о последствиях подобных заблуждений царицы: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно: порядок, кажется, изгнан отовсюду <...> Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоющих в моих глазах медного гроша»[16].

Примерно так же писал и К. Массон в своих «Секретных записках о России», которые едва ли были в то время известны Александру. Наблюдательный критик сложившегося режима пишет, что конец царствования Екатерины II «в особенности был бедственен для народа и империи. Все пружины управления были испорчены: всякий генерал, всякий губернатор, всякий начальник департамента сделался в своей области деспотом. Чины, правосудие, безнаказанность продавались с публичного торга. До 20 олигархов под предводительством фаворита (П. Зубова. – *М.Р.),* разделили Россию, грабили или позволяли грабить финансы и состязались в грабительстве несчастных»[17]. Именно к последним годам правления Екатерины II относятся и известные резкие оценки А.С. Пушкина, сложившиеся, видимо, на основе воспоминаний современников императрицы: «Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Одобренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию пользовались кратким его царствованием <...> От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно»[18].

Близко знавшие Зубова люди оставили о нем чрезвычайно резкие отзывы: граф Ф.В. Ростопчин считает его бездарностью, прямо говоря, что «память» заменяет ему «здравомыслие» (умение с легкостью запоминать чужие мысли и откровенная наглость позволяли Зубову выдавать их за свои); А.В. Храповицкий наградил его прозвищем «дуралеюшка», а генералиссимус А.В. Суворов и вовсе именовал его не иначе, как «негодяем» и «болваном» (и это несмотря на то, что дочь его, «Суворочка». была замужем за старшим братом Платона, Николаем). По мере старения императрицы Зубов приобретал все большее могущест-

во, да такое, что будущий фельдмаршал М.И. Кутузов но утрам варил ему «особенным образом» кофе... Вынужден был считаться с его капризами и цесаревич Павел, а высокие царедворцы терпеливо сносили проказы его любимой обезьяны, скакавшей по их головам во время малых приемов во внутренних покоях Екатерины. Взращенное речами придворных льстецов высокомерие Зубова, вдруг, после смерти Потемкина, возомнившего себя великим человеком, не знало границ. К тому же, будучи уверен в безграничном расположении дряхлеющей императрицы, он чуть ли не на ее глазах не только допускал «амурные шалости», но и бесконтрольно распоряжался казенными деньгами. Впрочем, этим в тех или иных масштабах занимались и все прежние фавориты. По приблизительным подсчетам французского историка Кастора, десяток главных фаворитов Екатерины обошелся казне в сумму, превышавшую годовой бюджет страны, – 92 млн 500 тыс. руб. Реальные же потери, несомненно, были гораздо большими за счет не поддающихся учету фактов массового воровства.

Но тема фаворитизма требует более основательного разговора. Здесь же лишь заметим, что если в общем плане фаворитизм в России в иные времена мало чем отличался от своих аналогов в других странах с автократическими режимами, то в царствование Екатерины II он, по сути, приобрел функции некоего государственного механизма, что, когда в нем обнаруживались сбои, это в той или иной мере отзывалось на течении государственных дел. По отзывам же иностранных дипломатов, в стране в период смены фаворитов наблюдалось даже нечто вроде междуцарствия...

Так оно, вероятно, и было на самом деле, но укажем на одно существенное обстоятельство, дружно отмечаемое в разное время пребывавшими при дворе иностранцами, очень внимательно наблюдавшими за всем тем, что происходило в окружении императрицы. Р. Дама, как и другие его коллеги, уверенно пишет, что императрица сама всегда «точно определяла степень доверия» в решении тех или иных дел фаворитами: «Они увлекали ее за собой в решениях данного дня, но никогда не руководили ею в делах важных. Князь Потемкин более всех других фаворитов имел влияние на ее мнение, но и он знал, что на глазах императрицы нельзя пользоваться властью, которую он разделял с нею». Общий вывод французского подданного, хорошо знакомого с историей своей страны, однозначен: «Ни один из ее фаворитов не властвовал над нею в такой мере, в какой метрессы подчинили себе Людовика XIV и Людовика XV»[19]. То же удостоверяет и де Линь: «Фавориты никогда не имели ни власти, ни кредита»[20].

Специально доказывать справедливость приведенных мнений, наверное, нет нужды, для этого надо лишь обратиться к указам, распоряжениям, переписке Екатерины II с разного уровня должностными лицами за весь период ее правления – ни на их содержании, ни на их форме смена фаворитов никак не отразилась. Она действительно желала участия фаворитов в государственных делах и даже деликатно подтал-

кивала их к этому. И те из них, «которые были приучены к государственным делам самой императрицей и испытаны в тех делах, к которым предназначались, бывали ей весьма полезны», – замечает де Линь[21]. Но Екатерина II всегда определяла границы их вмешательства в предначертанный ею ход дел, особенно в сфере внешнеполитических отношений.

Не все из обласканных императрицей претендентов на место в ее окружении оправдывали ее ожидания, и тогда она без особого сожаления и всегда по-доброму расставалась с ними (даже щедро одаряя их деньгами и имуществом)* и, подобно легкомысленной девице, могла сказать, например, своим друзьям: «...я отдалилась от некоего превосходного, но весьма скучного гражданина (В.С. Васильчикова. – *М.Р.),* которого немедленно, и сама точно не знаю как, заменил величайший, забавнейший и приятнейший чудак, какого только можно встретить в нынешнем железном веке». Речь шла о Г.А. Потемкине. Вскоре Екатерина воскликнет: «Ах, что за светлая голова у этого человека!» Для восхищения был повод: «Ему более, нежели кому-нибудь, мы обязаны этим миром (Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Турцией 1774 г. – *М.Р.).* И при всей своей деятельности он чертовски забавен». Позднее она не раз с нескрываемым удовлетворением отмечала: «...он умнее меня и все, что он ни делал, было глубоко обдумано»[22]. Она считала его своим лучшим «выучеником» (напомним, князь на 10 лет моложе учительницы).

Действительно, неимоверно быстро прошедший ступени высших административных и военных должностей, делом доказавший свое соответствие им, вышколенный императрицей, он стал самой могущественной и влиятельной фигурой в свите Екатерины II, ее правой и левой рукой. Смерть светлейшего князя императрица восприняла как тяжкий удар судьбы. 13 октября, узнав о его кончине, Екатерина, ломая устоявшийся распорядок, в полтретьего ночи садится за письмо к всепонимающему Гримму, ибо не в силах справиться с постигшим ее горем: «Снова страшный удар разразился над моей головой. После обеда, часов в шесть, курьер привез горестное известие, что мой выученик, мой друг, можно сказать мой идол, князь Потемкин Таврический, умер в Молдавии, от болезни, продолжавшейся почти целый месяц. Вы не можете себе представить, как я огорчена. Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца: цели его всегда были направлены к великому <...> Им никто не управлял, но сам он удивительно умел управлять другими. Одним словом, он был государственный человек: умел дать хороший совет, умел его и выполнить. Его привязанность и усердие ко мне доходили до страсти; он всегда сердился и бранил меня, если, по его мнению, дело было сделано не так, как следо-

* Видимо, здесь сказывалось ее органическое «неприятие ненависти к своим врагам» и «всякого угнетения, какого бы рода оно ни было». Все это было, как она пишет, «всецело противно моему образу мыслей» (Записки. С. 657).

вало; с летами, благодаря опытности, он исправился от многих своих недостатков <...> в нем были качества, встречающиеся крайне редко и отличавшие его между всеми другими людьми: у него был смелый ум, смелая душа, смелое сердце. Благодаря этому, мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, князь Потемкин был великий человек, который не выполнил и половины того, что был в состоянии сделать»[23].

Спустя два месяца императрица все так же остро переживает утрату: «Я все еще продолжаю грустить. Заменить его невозможно, потому что нужно родиться таким человеком, как он, а конец нынешнего столетия не представляет гениальных людей. Станем надеяться, что у нас будут по крайней мере умелые люди; нужно время, старание, опыт»[24].

А.В. Храповицкий, фиксируя в своем дневнике события, связанные с кончиной Потемкина, записывает, что с получением очередного известия об ухудшившемся состоянии его здоровья – «слезы <...> пустили кровь», сообщение же о смерти повергло Екатерину в шок, опять «слезы и отчаяние». На другой день «жаловались, что не успевают приготовить людей. Теперь не на кого опереться». 16 октября; «Продолжение слез. Мне сказано: “Как можно Потемкина мне заменить? Все будет не то... Да и все теперь, как улитки, станут высовывать головы”. Я отрезал тем, что “все это ниже Ее Величества”. – “Так, да я стара. Он был настоящий дворянин, умный человек, меня не продавал; его не можно было купить”». Но тут же статс-секретарь с некоторой грустинкой записывает: «...я скоро увидел собственноручную Ее Величества записку, по коей заключил, что во всем опрутся на Зубова, и что самое последствие времени доказало»[25]. Замена, хотя и вовсе неравноценная, нашлась, но память о князе сохранялась прочно, о чем говорят все те же записи Храповицкого[26]. Надо полагать, что она не угасала до конца дней Екатерины, но записей у Храповицкого об этом нет – в начале сентября следующего года он оставил службу при дворе. Заметим только, что еще в феврале 1794 г. Екатерина как о решенном деле писала: «...прежде чем я отправлюсь на тот свет, я должна увидать плодородные страны, лежащие межу Борисфеном, Днестром и устьем Буга», куда «спешил князь Потемкин, когда почувствовал приближение смерти»[27].

Пожалуй, подобное же потрясение Екатерина испытала только в 1784 г., после смерти другого ее фаворита – А.Д. Ланского, которого она, согласно светской молве, по-настоящему любила. «Существо превосходнейшее», «он всегда огонь и пламя» – подобными эпитетами заполнены письма Гримму в период увлечения Ланским. Наиболее полно чувства Екатерины к нему передает письмо от 2 июля 1784 г.: «Когда я начинала это письмо, я была счастлива, и мне было весело, и дни мои проходили так быстро, что я не знала, куда они деваются. Теперь уже не то: я погружена в глубокую скорбь; моего счастья не стало. Я думала, что сама не переживу невознаградимой потери моего лучшего друга, постигшей меня неделю назад. Я надеялась, что он будет опорой моей старости: он усердно трудился над своим образованием,

делал успехи, усвоил себе мои вкусы. Это был юноша, которого я воспитывала, признательный, с мягкой душой, честный, разделявший мои огорчения, когда они случались, и радовавшийся моим радостям. Словом, я имею несчастно писать вам рыдая <...> и до такой степени болезненно расстроена в настоящее время, что не в состоянии видеть человеческого лица без того, чтобы не разрыдаться и не захлебнуться слезами. Не могу ни спать, ни есть; чтение нагоняет на меня тоску, а писать я не в силах. Не знаю, что будет со мной; знаю только, что никогда в жизни я не была так несчастна, как с тех пор, как мой лучший и дорогой друг покинул меня»[28].

В начале сентября, оценивая свое душевное состояние, Екатерина пишет, что «от слишком сильно возбужденной чувствительности я сделалась бесчувственной ко всему, кроме одного горя: это горе росло каждую минуту и находило себе новую пищу на каждом шагу, по поводу каждого слова». Но тут же, чтобы не дать нового повода для уже идущих разговоров о заброшенных делах, добавляет, что, несмотря «на весь ужас своего положения», она не «пренебрегла хотя бы последней малостью, для которой требовалось мое внимание: в самые тяжкие минуты ко мне обращались за приказаниями по всем делам, и я распоряжалась как должно и с пониманием дела». Но впечатления современников были иными. Большой деловой активности убитой горем Екатерины не зафиксировал в своих записях и Храповицкий. По словам самой императрицы, лишь осенью, когда она вернулась из Царского Села в Петербург, в первый раз после потери «друга» вышла к обедне, на люди. Но это стоило ей таких неимоверных усилий, что, как она пишет, «возвратясь к себе в комнату, я почувствовала упадок сил, и всякий другой упал бы в обморок, чего со мной отродясь еще не бывало». Чуть позже она признавалась: «Все меня огорчает, а я никогда не любила быть жалкою. Видно, от подобного состояния не умирают, так как я вот осталась жива и только шесть дней пролежала в постели»[29]. И в последующей переписке с Гриммом то и дело встречаются вкрапленные в основной сюжет писем откровения: «Скажу вам, что касается дел общественных, то все пойдет своим чередом, по-прежнему; но в моем личном существовании прежде я была очень счастлива, а теперь лишилась этого счастья. Я старалась утопить себя в чтении и письме, вот и все: v меня остается одна только крайняя чувствительность к невознаградимой утрате, которую я испытала».

Лишь в конце февраля 1785 г. наступает просвет в ее мрачном состоянии, и связано это было с появлением нового «друга, весьма способного и весьма достойного носить это имя» (речь идет об А.П. Ермолове, пробывшем «в случае» всего лишь год, и не оставившем каких-либо заметных следов ни в сердце Екатерины, ни в истории страны). До этой же поры она оставалась «существом бездушным, прозябающим, которого ничто не могло одушевить», все «было так тягуче и тоскливо», и только спустя год верному князю Потемкину разнообразными ухищрениями удалось ее «воскресить из мертвого сна»[30]. 6 июня

1786 г., т.е. через два года после смерти Ланского, Храповицкий записывает: «Во время гулянья наехали на кладбище в Царском Селе <...> Вспомнили Ланского». А на следующий день следует запись о последствиях посещения могилы «друга»: «Во весь день не было выхода»[31].

Думается, вышесказанное позволяет в полной мере судить о глубине и силе страстной натуры Екатерины. Она умела любить всем сердцем, умела быть безгранично счастливой, но и страдания ее были неподдельно тяжелы. Высоко ценя ум и преданность, она всегда стремилась окружить себя людьми, которые понимали бы ее с полуслова, которым она могла бы доверять, как самой себе. Этим, вероятно, объясняется ее давнее желание заняться подготовкой таких кадров из числа людей молодых и толковых. Как-то главный воспитатель великих князей Александра и Константина Н.И. Салтыков, один из немногих, кому императрица позволяла быть с ней откровенным, обратил ее внимание на неприличное несоответствие возраста П. Зубова (ему 24 года) и ее собственного (ей тогда шел 63-й год). В ответ услышал широко известное: «Ну что же. Я оказываю услуги государству, воспитывая даровитых молодых людей». Это было бы смешно, если бы императрица и впрямь не уверила себя в этом своем предназначении. Однако этот опыт ей не удался, за исключением, пожалуй, только одного примера с Г.А. Потемкиным. Хотя и в этом случае воспитание, пожалуй, было обоюдным, учитывая государственный ум князя. Трудно гадать, как проявил бы себя якобы подававший большие надежды Ланской, хотя искушенный Г. Орлов однажды воскликнул: «Вы увидите, какого человека она из него сделает! Тут поглощается все». Но под последним разумелись, как выясняется из слов Екатерины, знания, далеко отстоявшие от усвоения начал управления государственным механизмом: «В течение зимы он начал поглощать поэтов и поэмы; на другую зиму многих историков <...> Не предаваясь изучению [?!], мы приобретаем знаний без числа и любим водиться лишь с тем, что есть наилучшего и наиболее поучительного. Кроме того мы строим (беседки! – *М.Р.*) и садим, мы благотворительны, веселонравны, честны и мягкосердечны»[32]. Но из этого можно заключить, что готовился не государственный муж, а скорее, приятный и занимательный собеседник для скрашивания долгих зимних петербургских вечеров и летних прогулок императрицы.

Не дало желаемого результата и многолетнее «воспитание» весьма прагматичного по натуре Платона Зубова, наделенного Екатериной всеми мыслимыми государственными обязанностями и должностями. Действительная же роль его в важных текущих делах была столь ничтожна, что состоявшие на российской службе иностранцы, не вовлеченные в дворцовые интриги, беспристрастно отмечают, что не было заметно пустоты, когда Зубов исчез с занимаемого места[33]. По дневниковым записям Храповицкого также не видно большого его фактического участия в управлении страной. Показательно, что Екатерина II, питавшая пристрастие давать характеристики всем сколько-нибудь зна-

чимым лицам из своего окружения, в отношении Зубова ограничилась лишь вышеприведенной фразой.

А надо сказать, она мастерски владела умением дать словесный портрет. К примеру в 1783 г., когда скончался Г. Орлов, она писала: «В нем я теряю друга и общественного человека, которому я бесконечно обязана и который оказал мне самые существенные услуги. Меня утешают, и я сама говорю себе все, что можно сказать в подобных случаях, но ответом на эти доводы служат мои рыдания <...> Гений князя Орлова был очень обширен: в отваге, по-моему, он не имел себе равного. В минуту самую решительную ему приходило в голову именно то, что могло окончательно направить дело в ту сторону, куда он хотел его обратить, и в случае нужды он проявлял такую силу красноречия, которой никто не мог противостоять, потому что он умел колебать умы, а его ум не колебался никогда. Но при этих великих качествах, ему недоставало последовательности по отношению к предметам, которые в его глазах не стоили заботы, и лишь немногие предметы удостоивал он своей заботы или скорее труда своего, ибо занят был одним предметом (Екатерина II имеет в виду себя. – *М. Р.).* От этого он казался небрежным и неуважительным больше, нежели на самом деле. Природа избаловала его, и он был ленив ко всему, что внезапно не приходило ему в голову»[34]. «Смерть князя Орлова. – пишет далее Екатерина, – свалила меня в постель; ночью у меня сделалась такая сильная лихорадка с бредом, что <...> принуждены были пустить мне кровь»[35]. В эти же дни и Храповицкий записывает слова императрицы об Орлове и его заслугах: «Князь Орлов был гений, но кроток, как барашек <...> два дела его славные – восшествие и прекращение чумы (речь идет об эпидемии чумы в 1771 г. в Москве, ехать куда Орлов вызвался сам. – *М.Р.).* Первое не может быть сравнено с восшествием Елизаветы Петровны. Тут не было неустройства, но единодушие»[36] (как видим, Екатерина И не упускает случая указать, что взошла на трон по желанию всего народа).

Прочих фаворитов Екатерины II в рамках вопроса о пестовании государственных деятелей нет нужды и упоминать – они себя в этом плане практически никак не проявили. Да и сама правительница едва ли всерьез об атом помышляла, ибо, если судить по имеющимся ее отзывам о них, главными критериями отбора были совсем иные качества. Вот, можно сказать, типичная характеристика одного из них – А.М. Дмитриева-Мамонова (одногодок Ланского, «в случае» в 1785–1789 гг.): «Под этим Красным Кафтаном (прозвище «героя» в окружении игривой императрицы. – *М.Р.)* скрывается превосходнейшее сердце, соединенное с большим запасом честности; умны мы за четверых, обладаем неистощимой веселостью, замечательной оригинальностью во взгляде на вещи и в способе выражения, удивительною благовоспитанностью, и знаем тайну всего того, что придает блеск уму. Мы скрываем как преступление свою наклонность к поэзии; мы страстно любим музыку; способность все схватывать – у нас редкая. Бог знает, чего только мы не зна-

ем наизусть: мы декламируем, болтаем, имеем тон лучшего общества, чрезвычайно учтивы, пишем по-русски и по-французски как редко кто-нибудь у нас пишет и по слогу и по почерку. Наружность наша совершенно соответствует внутреннему достоинству: черты лица правильны – у нас чудные черные глаза с тонко нарисованными бровями, рост несколько выше среднего, осанка благородная, поступь свободная; одним словом, мы столько же основательны по характеру, сколько отличаемся ловкостью, силой и блестящей наружностью»[37]. Екатерина настолько безоглядно увлечена своим новым избранником, что теряет чувство меры и называет его Пирром, царем Эпирским: «Всякое положение, всякое движение Пирра изящно и благородно. Он светит как солнце и вокруг себя разливает сияние. И при всем том ничего изнеженного; напротив, это мужчина, лучше какого вы не придумаете. Словом, это Пирр, царь Эпирский. Все в нем гармония, ничего отрывочного. Таково действие драгоценных даров, которые природа соединила и которыми наделила красоту свою»[38].

Но любопытно, что десятью годами ранее Екатерина почти в тех же выражениях говорит о Г. Орлове (в письмах к Бьельке): «Граф Орлов <...> без преувеличения первый красавец своего времени <...> он изумительное существо: природа так необыкновенно щедра была к нему со стороны его наружности, ума, сердца и души, что в этом человеке нет ничего приобретенного: все у него хорошо, но за то природа и избаловала его, потому что ему всего труднее заставить себя учиться, и до 30 лет ничего не могло принудить его к тому. При всем том нельзя не удивляться, как много он знает: его природная проницательность так велика, что, слыша в первый раз о каком-нибудь предмете, он в минуту схватывает всю его суть и далеко оставляет за собой того, кто с ним говорит»[39]. Пожалуй, такое совпадение по существу и тональности оценок можно объяснить чрезмерной чувствительностью, впечатлительностью пылкой и увлекающейся натуры («страстная в увлечениях», замечает Сегюр[40]), тем, что, на ее взгляд, красота сама по себе «добродетель, и притом весьма привлекательная!» «Я так люблю красивые личики», – признается она в одном из своих писем Гримму[41].

Но, как известно, и с «красавцем Пирром» вышла осечка: не страшась гнева теряющей голову в приступах ревности стареющей Екатерины, «милый лжец» завел роман с одной из двадцати очаровательных фрейлин, завершившийся браком. Екатерина, после десятимесячных обманов и колебаний, брошенная Мамоновым словно заурядная любовница и тем не менее продолжавшая, как она сама признавалась, любить его, нашла в себе силы и решимость благословить брак (не удержавшись, правда, от соблазна до крови уколоть булавкой в голову невесту во время положенного по придворному этикету «налаживания» ей прически самой императрицей) и тут же без промедления выдворить молодых в Москву: как говорится, с глаз долой – из сердца вон. Примечательно, что через год после своей столь экстравагантной женитьбы Мамонов затосковал но прежней жизни (да и брак оказался несчастливым,

по поводу чего Екатерина без тени злорадства заметила Храповицкому: «Он не может быть счастлив; разница ходить с кем в саду и видеться на четверть часа, или жить вместе»[42]) и стал засыпать императрицу слезливыми посланиями, умоляя возвратить ему свою благосклонность. Но Екатерина, как и в других делах, была тверда и последовательна в своем решении и не дала ему никакой надежды. К тому же и место было уже прочно занято 22-летним «смугляком» (так называла его в письмах Екатерина) с примесью татарских кровей Платоном Зубовым.

Итак, с задачей подготовки молодых людей к управлению важными государственными делами вышла осечка, а возможно, она и не ставилась всерьез, а была лишь прикрытием, отговоркой – только бы Салтыков и другие не докучали ненужными намеками и откровениями.

И тем не менее приведенные выше характеристики не дают оснований видеть в образе Екатерины II новую Мессалину*. И в первую очередь тому мешает ее откровенно материнское отношение к фаворитам. Если, например, не знать наверняка, кто и кому давал вышеприведенные оценки, то первое, что приходит на ум, – это любящая мать рассказывает о своем единственном и бесценном чаде.

Вообще, надо заметить, что материнское начало у Екатерины II было развито весьма сильно. Возможно, это было естественной реакцией на раннее (сразу же после родов) отлучение ее от сына, и поэтому она впоследствии часто и подолгу привечала в своих покоях смышленых и симпатичных малышей – детей своих приближенных. С четырехлетнего возраста почти безотлучно находился при императрице упомянутый выше автор любопытных записок А.И. Рибопьер, были и другие, ничем особенным не выделявшиеся дети. Случалось, Екатерина со знанием дела выступала в роли повивальной бабки при родах жен великих князей и наследника, и бывало, что не отходила от рожениц буквально сутками. Несть числа ее блестящим описаниям в письмах к друзьям внешности, проказ, вкусов и характеров многочисленных своих внуков и внучек. Для каждого она находила неординарное доброе слово или порицание за шалости, за каждого из них молила Бога дать хорошее будущее. Приведем лишь одну короткую выдержку из ее письма о самом любимом ее внуке Александре. О двухлетнем малыше бабушка пишет: «Я от него без ума, и если бы можно, всю жизнь держала бы подле себя этого мальчугана. Нрав у него всегда одинаков, потому что он здоров, и этот нрав состоит в том, что он всегда весел, приветлив, предупредителен, ничего не боится и прекрасен, как амуры. Дитя это есть предмет всеобщего восхищения, и особливо моего»[43]. Не менее эмоциональными и прекрасными отзывами и о других ее «детях» заполнены многие письма разным корреспондентам.

---

* Тот же К. Массон, не упускавший случая позлословить, пишет, что любовная страсть «никогда не господствовала над нею до такой степени, чтобы сделать из нее Мессалину, но она часто позорила ее величие и ее пол» (*Массон К.* Указ. соч. С. 49).

Возвращаясь к теме фаворитизма, нельзя не коснуться вопроса о причинах его расцвета при Екатерине II. Чисто поверхностное объяснение их видится в слабости ее женской натуры*. Но надо иметь в виду, что не всегда она сама давала повод для разрыва: с Потемкиным они не могли быть всегда вместе из-за взрывного его характера, да и дела на юге страны требовали постоянного присутствия там князя; Корсаков застигнут в объятиях ближайшей подруги Екатерины, графини Брюс; Ланской умер в зените фавора; о Мамонове было сказано выше. Заложенная в ней от природы чувственность, ввиду особых обстоятельств задавленная в молодые годы (иначе с чего бы она в пору своего физического расцвета многажды проводила верхом на лошади по 13 часов в сутки или по целым дням охотилась на водоплавающую дичь, хотя и не любила это занятие?[44]), потом прорвалась с неудержимой силой. С другой стороны она, по ее собственному признанию, органически не переносила женского общества и отсутствия рядом крепкой мужской руки, мужчины, способного к сопереживанию, к ободряющей поддержке, реальной помощи, к чему Екатерина настойчиво приучала и принуждала фаворитов. Ей нужны были твердая мужская воля, логический мужской ум. Возможно, что она таким образом пыталась решать какие-то свои психологические проблемы (искала равного себе?), неизбежно возникавшие по причине постоянной и порой полной ее погруженности в государственные дела. Так, когда Потемкин был в Крыму, то в своих письмах к нему «колеблющаяся без поддержки» князя императрица и впрямь не раз пишет, что без него как без рук, и требует скорейшего его возвращения, ибо долгое отсутствие князя вызывает неустройство в государственных делах[45].

На многие «почему» в этом, прямо скажем, щекотливом вопросе фаворитизма дает ответ известная «Чистосердечная исповедь» императрицы, написанная ею для Потемкина предположительно в 1774 г. Приведем ее ключевые положения. Но прежде поясним, что брачная ночь Екатерины и Петра после свадьбы 21 августа 1745 г. в действительности не явилась таковой, и по собственному признанию новобрачной, «в атом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейшего изменения», т.е. до той поры, когда ей было уже 25 лет, что и объясняет начало «Исповеди»:

«Марья Чоглокова** видя что чрез девять лет обстоятельства остались те же, каковы были до свадьбы, и, быв от покойной государыни

---

* Известный историк П.И. Бартенев, опубликовавший составленный М.Н. Логиновым список фаворитов Екатерины, отмечал, что «современники вполне ей прощали ее увлечения, которые вызывались необыкновенными условиями самого ее сложения» (Любимцы Екатерины Второй // Русский архив. 1911. № 7. С. 319–320).

** Статс-дама имп. Елизаветы Петровны, приставленная к Екатерине в качестве надзирательницы и слывшая при дворе «за самую злую и капризную женщину» (Записки. С. 86).

часто бранена <...> не нашла иного способа <...> как <...> зделать предложение чтобы выбрали <...> Сер[гея] Салтыкова и сего более по видимой его склонности и по уговора мамы <...> По прошествии двух лет С.С. послали посланником, ибо он себя нескромно вел <...> По прошествии года и великой скорби приехал нынешний кор[оль] Поль[ский], которого <...> добрые люди заставили пустыми подробностями догадаться, что он на свете, что глаза были отменной красоты и что он их обращал <...> Сей был любезен и любим от 1755 до 1761 по тригоднишной отлучке, то-есть от 1758 и старательства кн. Гр[игория] Григорьевича, которого паки добрые люди заставили приметить, переменили образ мысли. Сей бы век остался, естьлиб сам не скучал, а сие узнала в самой день его отъезда на конгрес из Села Царского, и просто сделала заключение, что, о том узнав, уже доверки иметь не могу, мысль которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дешпераціи выбор коя какой, во время которого <...> всякая приласканья во мне слезы возбуждала, так что я думаю что от рождения своего я столько не плакала, как сии полтора года; с начала я думала что привыкну, но что далее то хуже, ибо с другой стороны месяцы по три дутся стали, признаться надобно, что никогда довольнее не была как когда осердится и в покои оставит, а ласка его мне плакать принуждала. Потом приехал некто богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласки прелестен был так, что, услыша о его приезде, уже говорить стали, что ему тут поселиться а того не знали что мы писмецом сюда призвали неприметно его <...>

Ну Госп. Богатырь после сей исповеди могу ли я надеится получить отпущение грехов своих, изволишь, видеть, что не пятнадцать, то третья доля из сих, первого по неволе да четвертого из дешпераціи, я думала на счет легкомыслия поставить никак не можно, о трех прочих естьли точно разберешь. Бог видит что не от распутства, к которой никакой склонность не имею и естьлиб я в участь получила с молода мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась*, беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви**, сказывают такой пороки людские покрыть стараются, будто сие происходит от добросердечия, но статься может, что подобное диспозиція сердца более есть порок, нежели добродетель, но напрасно я сие к те-

* В искренности этих слов едва ли уместно сомневаться, особенно памятуя о той с чисто женской горечью выраженной тоске о невыполнимом без потери престола. Так, в письме к Бьельке она пишет: «...по истине я бы очень любила своего (мужа. – *М. Р.*), если бы представлялась к тому возможность и если бы он был так добр, что желал бы этого» (Сб. РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 164). Написано это в 1767 г.

** Здесь нельзя обойтись без ремарки. В одном из своих писем к Ф. Гримму более позднего времени (1784 г.) Екатерина II простодушно вопрошает: «Как же не любить тех, кто нас любит? Если меня любят, то и я люблю» (Письма. С. 98).

бе пишу, ибо после того взлюбишь или не захочешь в армию ехать, боясь чтоб я тебя позабыла, но право не думаю, чтоб такое глупость зделала, и естьли хочешь на век мне к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду»[46].

Государыня «такое глупость» все же сделала, а вот светлейший князь, как показала жизнь, последнее пожелание ее исполнял отнюдь не по принуждению. Более того, для нее его душа всегда была нараспашку, да и она, кажется, отвечала ему тем же. В целом вся жизнь и деятельность Екатерины II были подчинены замечательной формуле: «последовательность в поступках». С исчерпывающей ясностью формула эта раскрывается в следующих словах императрицы, относящихся к последним годам ее жизни (1794 г.): «Счастье и несчастье зависят от характера человека; характер определяется нравственными правилами, а успех зависит от умения найти надлежащие средства для достижения цели. Как скоро у человека нет твердых убеждений, и он ошибся в средствах, тотчас пропадает всякая последовательность в поступках». Императрица и человек, Екатерина II твердо следовала однажды принятым правилам, и, когда после смерти ее самого верного друга и наперсника Г.А. Потемкина в свете поползли слухи о возможных переменах в делах и поступках, то она клятвенно обещала не изменять себе ни в чем: «Что касается до меня, будьте уверены, что я останусь неизменной; я всем проповедую постоянство и, конечно, сама не стану меняться». И в этом была главная отличительная черта ее 34-летнего царствования – стабильность, хотя, как писал В.О. Ключевский, из них 17 лет борьбы «внешней или внутренней» приходились «на 17 отдыха».

Постоянством отличались и ее взгляды на политическое устройство стран европейского континента. Оценивая потрясшие все европейские страны события Французской революции 1789–1793 гг., она наставляла своего единомышленника Гримма: «Вы правы, что не хотели быть в числе фанатиков, иллюминатов и философов, потому что все они, как доказывает опыт, стремятся только к разрушению. Но что они ни говори и что ни делай, все же миру не обойтись без повелителя, и уж, конечно, лучше неразумие одного человека, которое и продолжается-то недолго, чем неразумие многих. По их милости 20 млн людей приходят в бешенство от одного только слова «Свобода», а между тем у них и тени ее нет, и безумцы все бегут за ней и никак не могут поймать»[49]. Чуть ранее она заметила: «...от природы питаю большое презрение ко всем народным движениям[50].

Последнее письмо Гримму, написанное Екатериной за 16 дней до смерти, можно расценивать как политическое ее кредо, как некое завещание преемникам российского престола. Вот его центральная мысль: «Я проповедую и буду проповедовать всем государям против разрушителей престолов и общества, не взирая на всех сторонников бедственной противоположной системы, и увидим, кто одержит верх: разум или безумие коварных последователей ненавистной системы, которая сама в себе исключает и попирает ногами религию, честь и славу»[51]. В бо-

лее раннем послании Екатерина II четко показывает свое понимание главной опасности для нормальной (естественной) жизни общества и государства: «Да посрамит Небо всех тех, кто берется управлять народами, не имея в виду истинного блага государства»[52].

Свою же собственную роль в этом процессе достижения «истинного блага» в России она оценивала скромно: «Что бы я ни делала для России. – это будет только *капля в море*»[53]. В действительности дело, конечно же, обстояло не так. Приведем в этой связи мнение А.И. Рибопьера. Екатерина, пишет он, «как женщина и как Монархиня <...> вполне достойна удивления. Славу прекрасного ее царствования не мог затмить ни один из новейших Монархов. Чтоб в этом убедиться, стоит только сравнить, чем была Россия в ту минуту, когда она вступила на престол, с тем, чем стала она, когда верховная власть перешла в руки Павла I <...> Она присоединила к Империи богатейшие области на юге и западе. Как законодательница, она начертала мудрые и справедливые законы, очистив наше древнее Уложение от всего устарелого. Она почитала, охраняла и утверждала права всех народов, подчиненных ее власти. Она смягчала нравы и всюду распространяла просвещение. Вполне православная, она, однако, признала первым догматом полнейшую веротерпимость: все вероисповедания были ею чтимы, и законы, по этому случаю изданные ею, до сих пор в силе». Автор записок останавливает внимание свое и на более частных делах Екатерины II, одинаково поражавших воображение современников и восхищающих потомков: «Красивейшие здания Петербурга ею построены. Эрмитаж с богатейшими его коллекциями. Академия Художеств, Банк, гранитные набережные, гранитная облицовка Петропавловской крепости, памятник Петру Великому, решетка Летнего сада и пр. – все это дела рук ее. Если судить о Екатерине как женщине, то и тут надо признаться, что ни одна женщина не соединяла в себе столько превосходных качеств. Возвышенный ум, чувствительное и сострадательное сердце, мужественная твердость характера, увлекательная прелесть, тихий и ровный нрав, благородство, изящное обращение, внушающая и в то же время чарующая наружность»*. Справедливости ради надо отметить, что автор приведенных строк, как он сам признавал, отнюдь «не отвергал огулом все то, в чем ее упрекают, но даже в иных случаях и сам находил, что она была неправа»[54].

Согласимся, что эти суждения не расходятся со свидетельствами других современников. приведенными выше. Все они независимо друг

* Нельзя не заметить, что многие отмечаемые современниками черты характера Екатерины удивительным образом до точности совпадают с теми, что она сама выделяла у своей любимой воспитательницы «Бабет» Кардель: «Она имела возвышенную от природы душу, развитый ум, превосходное сердце, она была терпелива, кротка, весела, справедлива, постоянна» (Записки. С. 2). Неслучайно Екатерина II не раз говорила о том, что всем хорошим обязана именно Кардель.

от друга с редким единодушием наделяют Екатерину II умом, обаянием и талантами, а также такими привлекательными чертами характера, как достоинство и живость, веселость и любезность, любознательность и наблюдательность, сообразительность и развитая интуиция. Сегюр писал, что «Екатерина отличалась огромными дарованиями и тонким умом; в ней дивно соединились качества, редко встречаемые в одном лице»[55]. С.М. Соловьев вовсе не стремился абсолютизировать, как полагают комментаторы его главного труда – «Истории России с древнейших времен», личные качества Екатерины II, когда давал обобщенную характеристику: «...необыкновенная живость ее счастливой природы, чуткость ко всем вопросам, царственная общительность, стремление изучить каждого замечательного человека, исчерпать его умственное содержание, его отношения к известному вопросу, общение с живыми людьми, а не с бумагами, не с официальными докладами только – эти драгоценные качества Екатерины поддерживали ее деятельность, не давали ей ни на минуту упасть духом, и эта-то невозможность ни на минуту сойти нравственно с высоты занятого ею положения и упрочили ее власть; затруднения всегда заставали Екатерину на ее месте, в царственном положении и достойною этого положения, потому затруднения и преодолевались». Екатерине II были присущи и столь важные для политического и государственного деятеля глубина и проницательность мысли, необыкновенное трудолюбие, постоянное стремление к самосовершенствованию. Ее просвещенные современники дружно отмечают знание и использование Екатериной в планах реформ идей крупных мыслителей древнего и нового времени, видных экономистов.

Но в определении направления и содержания путей преобразований ей помогали не только приобретенные книжные знания, но и учет особенностей Российского государства. Близкое знакомство со страной, а особенно работа Уложенной комиссии 1767 г., ясно показавшая, «с кем дело имеем и о ком пещися должно», убедили ее, что «и у России есть свое прошлое, по крайней мере есть свои исторические привычки и предрассудки, с которыми надобно считаться»[57]. И если первоначально преобразовательную энергию Екатерины питал вполне определенный ее взгляд на Россию как на «еще не распаханную страну», что только такие страны «суть наилучшие»[58] для реформ, то реалии жизни быстро поубавили ее жажду к всеобщим переменам.

Как можно судить, Россия поначалу виделась Екатерине наиболее подходящей для претворения в жизнь се замыслов. Из письма Вольтеру мы знаем ее мнение, что русский народ – это «превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает; но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные»[59]. А аксиомы были известны – идеи, положенные ею в начала нового российского законодательства. Еще В.О. Ключевский специально выделил базовое условие для реализации преобразовательного плана, в сжатом виде изложенное императрицей в своем «Наказе»: «Россия есть европейская держава; Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, на-

шел такие удобства, каких и сам не ожидал. Заключение следовало само собой: аксиомы, представляющие последний и лучший плод европейской мысли, найдут в этом народе такие же удобства»[60]. Русский же народ она считала «особенным народом в целом свете: он отличен догадкою, умом, силою*. Я знаю это по двадцатилетнему опыту моего царствования. Бог дал русским особенное свойство»[61]. Но всего этого оказалось недостаточно для реализации идеалистической в общем-то мечты об «общем благе», достижения которого она желала и не только на словах.

Современники Екатерининского века подчеркивают, что в основе устремлений и действий императрицы была забота о благе России, путь к которой, в ее представлении, лежал через торжество разумных законов, просвещение общества, воспитание добрых нравов и законопослушание. Стремление к созданию такого общества нашло конкретное выражение в законодательстве и практических делах Екатерины II, об этом свидетельствуют и записи ее статс-секретарей, обширная переписка императрицы. Главное же средство и надежная гарантия успеха реформаторских начинаний виделись Екатерине II в неограниченной самодержавной власти монарха, который всегда, повсюду и во всем направляет общество на разумный путь. Но именно Екатерина II впервые четко определила «просвещенное» понимание этой основной функции самодержца – направлять не силой, угрозами, чередой наказаний, а убеждением, внедрением в сознание общества необходимости объединения усилий всех сословий в достижении общего блага, общественного спокойствия, прочной стабильности.

Но невероятно инертное российское общество через отнюдь не блиставших в массе своей умом и дальновидностью**, а главное, не же-

---

* Из сказанного вовсе не должен следовать вывод об идеальном или спекулятивном представлении Екатерины о народе как таковом. Ей же принадлежит следующее замечание: «Народ от природы безпокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые, под предлогом усердия, ищут лишь, как бы обратить в свою пользу все для них подходящее...» (Записки. С. 658).

** Чиновников, не желавших никаких перемен, особенно среднего и низшего звена, и в России XVIII в. было настолько много, что на основе исследований И.Е. Андреевского и И.И. Дитятина можно уверенно говорить о том, что общество в целом не только не принимало никакого участия в государственных делах, но и не проявляло никаких признаков стремления к этому. Если в высших правительственных сферах отдельные образованные, развитые люди понимали важность и необходимость для развития государства начал гражданственности, то на местах чиновники по уровню образованности, компетентности стояли на очень низкой ступени, многие из них не в состоянии были понять и приспособиться к любой прогрессивной, ломающей прежний уклад жизни правительственной инициативе (см.: *Андреевский И.Е.* О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864; *Дитятин И.И.* Устройство и управление городов в России. Т. 2. Городское самоуправление в России. Городское самоуправление до 1870 г. Ярославль, 1877).

лавших никаких перемен представителей власти на местах (по идее императрицы, первых и основных ее помощников) вносило свои коррективы в обширные планы и намерения Екатерины II. Для преодоления этой умственной заскорузлости, а иногда и прямого противодействия императрице надо было обладать особой твердостью. И она это ясно осознавала: «Может быть, я добра, обыкновенно кротка, но по *своему званию я* должна *крепко хотеть,* когда чего хочу...»[62]

Как показывают исторические реалии, «кротость» Екатерины II имела все же четко очерченные пределы – интересы самодержавной власти и ее опоры – дворянства. В случае же посягательства на эти интересы кротость сменялась беспощадной решимостью. Без каких-либо колебаний ею был утвержден приговор о четвертовании Емельяна Пугачева (хотя и здесь проявились природные душевные качества императрицы – по ее негласному пожеланию ему вопреки обычаю сначала отрубили голову, а затем уже конечности, избавив смертника от мучительных страданий); «бунтовщик, хуже Пугачева», А.И. Радищев, немедленно был сослан в Сибирь (легко еще отделался); без следствия и суда был заточен в Шлиссельбургскую крепость писатель, публицист, книгоиздатель, просветитель Н.И. Новиков. Тем самым в своей политике Екатерина II, особенно в последние годы правления, не только не выходила за рамки идеологии Просвещения, определенной Кантом в формуле «Рассуждайте, но повинуйтесь!», но более того, она делала упор на второй составляющей этой дефиниции. Справедливости ради надо заметить, что и в первые годы царствования просвещенчеству она предпочитала повиновение, о чем свидетельствуют известный сенатский указ от 17 января 1765 г., разрешавший помещикам по своему произволу сдавать крестьян в каторжные работы, и указ от 22 августа 1767 г., под страхом наказания запрещавший крестьянам жаловаться на своих помещиков на высочайшее имя (и это после путешествия императрицы по Волге, когда она буквально была завалена просьбами защиты от притеснителей-помещиков).

В особой тетради под заглавием «Мысли, замечания императрицы Екатерины», относящейся к 60-м годам XVIII в., молодая императрица записывает свои размышления, которые сделали бы честь и умудренному опытом правителю. В дальнейшем она руководствовалась ими в практических своих действиях. Приведем некоторые из них, наиболее ярко характеризующие прагматичный, здравый ум Екатерины:

«Когда имеешь на своей стороне истину и разум», они «возьмут верх в глазах большинства: уступают истине, но редко речам, пропитанным тщеславием», но при одном непременном условии – «власть без доверия народа ничего не значит <...> Примите за правило ваших действий и ваших постановлений благо народа и справедливость, которая с ним неразлучна. Вы не имеете и не должны иметь иных интересов. Если душа наша благородная – вот ее цель». А вот и чисто практический вывод и. если хотите, совет находящимся во власти: «Остерегайтесь <...> издать, а потом отменять свой закон; это означает вашу

нерассудительность и вашу слабость и лишает вас доверия народа».

Нельзя не сказать и об ее убежденности в том, что «самым унизительным положением мне всегда казалось – быть обманутым» (дневниковые записи А.В. Храповицкого, кстати, не раз подтверждают искренность сказанного). Вообще, можно только восхищаться ее пониманием зависимости нормального течения дел от справедливости действий и поступков правителя: «Хочу, чтобы питали ко мне доверие, полагая, что я хочу лишь того, что справедливо...» И другое жесткое и всенужнейшее условие для того, чтобы общество судило о действиях власть имущих беспристрастно: «Преступление и производство дела должны быть сделаны гласными, чтобы общество <...> могло бы распознать справедливость». Вслед за крупнейшими мыслителями древности Екатерина убежденно считала, что удовлетворить общество может только правда, какая бы горькая она ни была. К сожалению, сама она этого правила, особенно в последние годы царствования, придерживалась не всегда. Более последовательно, как представляется, ее действия соответствовали другой аксиоме: «Никогда ничего не делать без правил и без причины, не руководствоваться предрассудками, уважать веру, но никак не давать ей влияния на государственные дела, изгонять из совета все, что отзывается фанатизмом, извлекать наибольшую по возможности выгоду из всякого положения для блага общественного...»

Главный же вывод из ее размышлений, основы ее мировоззрения состояли в следующем: «Столь великая империя, как Россия, погибла бы, если бы в ней установлен был иной образ правления <...> Итак, будем молить Бога, чтобы давал Он нам всегда благоразумных правителей, которые подчинялись бы законам и издавали бы их лишь по зрелом размышлении и единственно в виду блага их подданных»[63].

Екатерина II в своих практических действиях исходила из убеждения, что «истинное величие империи состоит в том, чтобы быть великою и могущественною не в одном только месте, но во всех своих местах, всюду проявлять силу, деятельность и порядок». Последнему она придавала особое значение, не раз подчеркивая, что «мы любим порядок, добиваемся порядка, обретаем и утверждаем порядок»[64]. Как не без оснований полагала императрица, именно благодаря порядку «государство стоит на прочных основаниях и не может пасть». Сказанное о понимаемом ею «истинном величии империи» прямо относилось и к проводимому ею внешнеполитическому курсу страны. Здесь Екатерина II имела полное право считать себя «неподатливой», жестко придерживалась раз и навсегда выработанного правила: «Дела свои она поведет не иначе, как по своему разумению», и никто «на свете не заставит ее поступить иначе, чем как она поступает»[66].

Надо признать, что в последующей истории России все венценосные монархи в своем понимании особенностей страны, возможностей народа и способов действия не могут быть сравнимы с Екатериной. Никто из них не обладал в той же мере постоянным стремлением к самосовершенствованию, никто не был равным ей но уму, оптимизму и тру-

долюбию. Никому из них не были присущи свойственные Екатерине широта и разнообразие интересов и занятий, умение достигать большего результата в главном. И уж, конечно, никто из них не состоял в многолетней и обширной переписке с такими личностями, как Вольтер и Дидро. Нельзя не процитировать при этом Н.М. Карамзина, который в начале XIX столетия писал: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувств и выражений!»[67] А кто из ее преемников на троне оставил после себя мемуары, подобные ее бесценным «Запискам», написанным легким пером и с предельной откровенностью, не говоря уж о том, что Екатерина была и плодовитой сочинительницей нравоучительных водевилей, комических опер, занимательных сказок для детей, домашних учебников по истории России для своих внуков. Никто из последующих монархов и не помышлял обрекать себя на каторжный каждодневный труд по законотворчеству, написанию многотомной истории Российского государства, усердно копаясь в летописях и других древних источниках.

Двести лет назад завершилось правление императрицы, еще при жизни по праву названной Великой. Благодаря ее разумной политике Россия прочно заняла место ведущей державы мира. С тех пор во главе страны сменилось более десятка самодержцев, вождей, генсеков, президентов. И что мы имеем сегодня?! Едва ли наши соотечественники отзовутся о своем времени так же восторженно, как это делали люди Екатерининской эпохи.

Примечания

1 *Линь Ш.-Ж. де*. Портрет Екатерины II. С. 516.
2 Письма. С. 212, 219, 90.
3 *Линь Ш.-Ж. де*. Указ. соч. С. 509.
4 Письма. С. 81.
5 Там же. С.140.
6 Дневник А.В. Храповицкого... С. 67.
7 Письма. С. 181.
8 *Грот Я.К*. Указ. соч. С. 367.
9 Письма. С. 218.
10 Там же. С. 89–90.
11 *Ключевский В.О*. Императрица Екатерина II. С. 307.
12 Письма. С. 185.
13 Цит. go: *Шильдер Н.К*. Император Александр I. Т. 1. С. 113.
14 Записки. С. 630.
15 Письма. С. 199.
16 Цит. по: *Шильдер Н.К*. Указ. соч. Т. 1. С. 112–113, 114.
17 *Массон К*. Указ. соч. С. 45–46. Существует и другой вариант перевода: «Места, провосудие, безнаказаность продавались за деньги» (*Массон К*. Секретные записки о России / Пер. П. Степанова // Голос минувшего. 1916).
18 *Пушкин А.С*. Полн. собр. соч. Т. XI. М., 1949. С. 16.
19 Письма. С. 9, 104.
20 Там же. С. 198.

[21] Там же. С. 200.
[22] Дневник А.В. Храповицкого... С. 220, 221.
[23] Там же. С. 224, 240, 241.
[24] Письма. С. 211.
[25] Там же. С. 99.
[26] Там же. С. 99–100.
[27] Там же. С. 103, 104, 109, 115.
[28] Там же. С. 6.
[29] Письма. С. 77.
[30] *Массон К.* Указ. соч. С. 122.
[31] Письма. С. 89–90. Сходную характеристику см.: Записки. С. 711–712.
[32] Письма. С. 91.
[33] Дневник А.В. Храповицкого... С. 47-48.
[34] Сб. РИО. Т. 23. СПб., 1878. С. 387, 388.
[35] Письма. С. 55. См. также с. 130, 134 и др.
[36] Сб. РИО. Т. 13. СПб., 1874. С. 258–259.
[37] Записки графа Сегюра... С. 318.
[38] Письма. С. 231.
[39] Дневник А.В. Храповицкого... С. 197.
[40] Письма. С. 57.
[41] Записки. С. 192, 307.
[42] См.: Письма Екатерины II Г.А. Потемкину / Публикация подгот. Н.Я. Эйдельманом // ВИ. 1989. № 7–10, 12.
[43] *Дама Р. де*. Записки. С. 79, 83.
[44] *Линь Ш.-Ж. де*. Указ. соч. С. 514.
[45] Там же.
[46] Записки. С. 72, 713–715.
[47] Письма. С. 211.
[48] Там же. С. 200.
[49] Там же. С. 210.
[50] *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 597.
[51] Там же. С. 769.
[52] Там же. С. 768.
[53] Там же. С. 722.
[54] Записки графа Александра Ивановича Рибопьера. С. 476–477.
[55] Записки графа Сегюра... С. 318.
[56] *Соловьев С.М.* Соч. В 18 кн. Кн. XIII. М., 1994. С. 129.
[57] *Ключевский В.О.* Императрица Екатерина II. С. 339.
[58] Письма. С. 37.
[59] Цит. по: *Ключевский В.О.* Императрица Екатерина II. С. 314.
[60] Там же.
[61] Цит. по: Сб. РИО. Т. 13. С. XXIII.
[62] *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 758.
[63] Записки. С. 627, 629, 630, 631, 637, 686.
[64] Письма. С. 108.
[65] Там же. С. 109.
[66] Там же. С. 180.
[67] Цит. по: Сб. РИО. Т. 13. С. XVII.

Глава III

Интеллект власти

Я хотел бы остановиться на таком аспекте обсуждаемой темы, как интеллект самой власти, уровень которого не мог не сказываться на направлении, динамике и уровне общественного развития страны. Конкретно речь пойдет о некоторых сторонах государственной деятельности Екатерины II в сфере культуры и образования, являющихся теми оселками, на которых проверяется интеллект любого человека, в особенности того, кто наделен, по существу, неограниченной властью.

Известно, что из когорты российских монархов только двое вошли в историю страны как великие труженики. Это Петр I и Екатерина II, которых часто по праву называют великими. Екатерина прославилась прежде всего своим неустанным интеллектуальным трудом. Как писала она с юмором барону Ф.М. Гримму, «мои лакеи дают мне по два новые пера в день, которые я считаю себя вправе исписать, <...> не осмеливаясь требовать других»[1]. При этом работа была для Екатерины естественным состоянием и приносила ей радость[2].

Широта ее интересов практически не имеет границ, причем, как справедливо отмечают историки, никогда еще ни до, ни после нее «личные пристрастия монарха не совпадали так удачно с потребностями общественного

развития»[3]. Другую важную особенность личности Екатерины II, немки по происхождению, подметил родившийся в конце ее царствования князь П.А. Вяземский: она оказалась более русской, чем сами русские. «Как странна наша участь. – изумлялся князь. – Русский (имеется в виду Петр I. – *М.Р.)* силился сделать из нас немцев, немка хотела переделать нас в русских»[4].

Первым реальным шагом Екатерины II на пути «европеизации» страны после восшествия на престол, как известно, стало создание, казалось бы, ничем не примечательной Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Но определенная императрицей задача комиссии была гораздо шире обозначенной в ее скучном названии: предстояло не только установить единые принципы застройки вновь создаваемых, но и реконструкции хаотично застроенных старинных русских городов. Итог деятельности Комиссии известен: зарубежными и отечественными специалистами были разработаны и лично Екатериной утверждены более 300 архитектурных проектов в стиле классицизма, образцом и нормой для которого служило неувядаемое античное искусство. Наиболее значимые достижения в этой области – архитектурный облик неузнаваемо преображенной после сильнейшего пожара Твери, призванной стать образцом для реконструкции других провинциальных центров, а также Петербурга, который именно в екатерининское время приобрел всем нам знакомое ныне лицо неповторимого города-музея. «Я строю, буду строить, подстрекать других к постройке, стану поощрять науки, заведу спектакли», – обещала Екатерина II уже в 1766 г.[5] и свое слово сдержала.

Для реализации амбициозных планов культурного строительства были привлечены, в частности, лучшие архитекторы России и Европы. Кроме того, в продолжение своего более чем 30-летнего царствования она с помощью верных и знающих помощников усердно собирала картины и гравюры, статуи и фарфор, монеты и медали, изделия из золота, серебра, драгоценных камней. Просвещенная правительница не забывала и о духовных ценностях, предпочитая приобретать книги целыми библиотеками. Так, благодаря ее личным стараниям были куплены ценнейшие книжные собрания Вольтера, Д. Дидро, Д'Аламбера, Г.Ф. Миллера и др.

Уже на втором году царствования Екатерина II, несмотря на загруженность свалившимися на нее государственными делами, не упускала случая обогатить создаваемый ею Эрмитаж замечательной коллекцией гравюр академика Я. Штелина, причем если на момент приобретения она состояла всего из 373 листов, то к 1797 г. усилиями эрудированных и энергичных помощников была доведена до 80 тыс. превосходных гравюр. Замечательна и 7-тысячная коллекция рисунков, включающая неповторимые творения А. Дюрера, Г. Гольбейна, В. Пуссена, Я. Йорданса, которыми мы можем любоваться и поныне.

Не меньшую слабость императрица питала к произведениям живописи. В 1763 г. она приобрела первые три картины Рембрандта, поло-

жившие начало лучшему в Европе собранию полотен гениального мастера. Интуитивно распознававшая истинную ценность предлагаемых ей полотен (порой описанных лишь в каталогах), императрица не жалела средств для покупки у известных в Европе знатоков-собирателей произведений других знаменитых мастеров, в том числе в составе целых коллекций. В результате бесценные полотна Рафаэля, Тициана, Рубенса, Ван-Дейка, Джорджоне, Мурильо, Пуссена, Тинторетто и других знаменитых художников отовсюду стекались в уже тогда ставший богатейшим музеем мира Эрмитаж. Всего в царствование Екатерины II, по подсчетам специалистов, было приобретено около 1 400 картин всемирно известных мастеров.

Екатерина не скупилась на покупку и разнообразных «бриллиантовых и алмазных вещей», причем немалую роль в собирательстве подобных предметов играло обыкновенное человеческое тщеславие, которое в данном случае грех было бы осуждать. Как признается императрица в одном из писем к хозяйке модного парижского салона г-же Жоффрен, хотя к бриллиантам она была «довольно равнодушна», но все же предпочитает, чтобы после смерти о ней говорили: «Она покупала, а не проживала их»[6].

Интерес императрицы к коллекционированию дал и практический результат, притом с совершенно неожиданной стороны: организуемые с конца 1760-х годов первые в России художественные выставки и аукционы напрямую сказались на становлении русской школы живописи самых разнообразных жанров, включая исторические и бытовые сцены, пейзажи и натюрморты. Наиболее сильным по глубине содержания направлением в 1760-е годы и позже в России оказалась портретная живопись – жанр, пользовавшийся особым благоволением Екатерины. Достаточно назвать здесь имена А.П. Антропова, И.П. Аргунова, В.Л. Боровиковского, Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова. Коронационный портрет царицы кисти последнего так пришелся ей по душе что стал почти официально рекомендуемым образцом изображения крайне требовательной в этом отношении Екатерины.

С временем ее правления связан и небывалый расцвет дворянской усадьбы, без которой невозможно адекватно представить русскую культуру XVIII в.[7]. Именно в 60-е годы этого столетия после принятого в царствование Петра III 18 февраля 1762 г. манифеста о вольности дворянства начал складываться особый «мир дворянской усадьбы с его неповторимым укладом жизни, где переплетались наслаждение прелестью русской природы и хозяйственные заботы, эстетические удовольствия и интеллектуальные занятия, многолюдные празднества и тесное семейное общение»[8]. Как отмечают специалисты, для возникновения целостного усадебного ансамбля необходимо было пересечение в одной точке и в одно историческое время архитектуры и паркостроения, живописи и скульптуры, поэзии, музыки, театра... И это счастливое их соединение как раз пришлось на время царствования Екатерины II, когда такие дворянские усадьбы, как Останкино, Кусково, Архангельское

и им подобные, становились центрами культурной жизни не только ближайшей округи, но и всей России. При этом просвещению общества, смягчению его нравов способствовали и получавшие в Екатерининское время все большее признание театральные зрелища, являвшиеся не только развлечением, но и важным средством формирования общественно-политических и социальных идеалов.

Общественная роль театра была очевидна просвещенной императрице, и именно этим определялись повышенное внимание в ее царствование к театральным зрелищам и к их репертуару. Проявилось это, в частности, и в создании в 1766 г. особой театральной дирекции, во главе которой был поставлен историк, писатель, драматург, литературный переводчик И.П. Елагин, связанный дружескими отношениями с Екатериной еще в ее бытность великой княгиней. «Свой» человек на этом посту был нужен ей и потому, что именно с этого года придворные театры стали общедоступными (на представления не пускали лишь слуг в ливреях), а в 1773 г. императрица дала высочайшее «добро» на учреждение в Петербурге первого в стране публичного государственного театра.

Затем в конце 1770-х годов городские театры появились и в провинциальных центрах – Туле, Калуге, Тамбове, Воронеже, Нижнем Новгороде и даже в далеком Тобольске. 30 декабря 1780 г. после ряда неудачных попыток был открыт Большой театр в Москве (тогда – «Петровский», по названию улицы). Характерно, что контроль за театральным репертуаром со стороны властей был еще достаточно мягким (прямая цензура была введена только при Павле I) и судьбу той или иной постановки в сомнительных случаях определяли полицейские чины и Управа благочиния.

В духе классицизма приоритетной темой театральных постановок был протест против «произвола власти» и «тирании», каковых в России, по убеждению Екатерины, при ней заведомо не было и не могло быть. Первой в ряду подобных «тираноборческих» пьес стала трагедия А.П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец», имевшая, по отзывам прессы, неизменный «колоссальный успех» вплоть до 1790-х гг. Публика приходила в неописуемый восторг и от трагедии Я. Б. Княжнина «Росслав», главный герой которой, побеждая все соблазны, одерживал верх над виртуальным монархом-тираном. Поскольку Екатерина себя к ним явно не относила, то дорога на сцену подобным пьесам была широко открыта. Характерный случай произошел, например, с запретом московским главнокомандующим Я.А. Брюсом восторженно принятой публикой постановки Н.П. Николаева «Сорена и Замира», направленной против «тиранов и тиранства», о чем он и известил императрицу. После ознакомления с пьесой, Екатерина отписала Брюсу: «Запрещение трагедии «Сорена» удивило меня. Вы пишите, что в ней вооружаются против тиранов и тиранства. Но я всегда старалась и стараюсь быть матерью народа. А потому и предписываю отнюдь не запрещать представления “Сорены”»[9]. Впрочем, стоило, например,

В.В. Капнисту в комедии «Ябеда» превысить негласно установленный властями порог критики социальных пороков, как пьеса после пятой постановки была запрещена к показу и без шума изъята из продажи. Существовал негласный жесткий запрет на обсуждение (а тем более осуждение!) института крепостничества. Не будем забывать, что доминантой личности Екатерины было стремление к власти и к ее сохранению в своих руках.

И все же, самым выдающимся драматургом екатерининского времени стал Д.И. Фонвизин, комедии которого «Бригадир» и «Недоросль» пришли на смену долгое время господствовавшим на театральных подмостках пьесам Сумарокова. Именно в них тема необходимости нравственного соответствия российского дворянства своему историческому предназначению приобрела непривычно острое сатирическое звучание, пробуждая в обществе и антикрепостнические настроения. Трудно наверняка сказать почему, но Екатерина II не усмотрела ничего опасного даже в «Недоросле», герои которого, как писал В.О. Ключевский, были «вовсе не забавны, а просто *нетерпимы ни в каком благоустроенном обществе»* (выделено мной. – *М.Р.*)[10]. Возможно, отчасти это объясняется тем, что и сама императрица, на досуге сочинявшая недурные по тем временам пьесы (не без успеха шедшие на придворной сцене) с осуждением лени и невежества, как и автор «Недоросля», видела «истинное существо должности дворянина» в бескорыстном служении государству, своему Отечеству. Императрица вполне могла разделять сатирический взгляд драматурга на молодое поколение дворян с их потребительским отношением к жизни, ибо понимала, что Митрофанушки не просто смешны и никчемны, но и представляют опасность для общества, ибо по меткому замечанию того же Ключевского, мстят за себя своей «неудержимой размножаемостью»[11]. Что же касается вложенных автором в уста идеального дворянина Стародума дерзких слов: «Угнетать рабством себе подобных беззаконно», то они были очень близки неоднократным высказываниям самой императрицы, относящимся к разным годам ее правления. Вот только одно из них: «Рабство есть политическая ошибка, которая убивает соревнование, промышленность, искусства и науки, честь и благоденствие»[12].

Если оценивать театральную жизнь екатерининского времени в целом, то неоспорим тот факт, что именно тогда произошло становление профессионального общедоступного государственного театра, появилась целая плеяда профессиональных актеров, подготовленных в общеобразовательных и специальных учебных заведениях или выросших на подмостках крепостных театров крупных вельмож. В театральном репертуаре, где ведущие позиции все еще оставались за классицизмом, все громче заявлял о себе сентиментализм и пробивались первые ростки реализма. Это ощутимо усиливало общественно-политическое звучание театральных зрелищ, способствуя формированию новых настроений в обществе. Недаром отечественные театроведы пришли к выво-

ду, что «в XIX веке не было ни одного театрального явления, которое не было бы тесно связано с прошлым, XVIII веком»[13].

После крушения надежды Екатерины II на адаптацию идей европейских просветителей к российским реалиям через «Наказ» депутатам Уложенной комиссии 1767–1768 гг. выросшая на этих идеях самодержица не оставляла попыток просвещения российского общества и другими путями, в том числе через оживление журнальной публицистики. В результате в январе 1769 г. по ее личной инициативе появился еженедельник «Всякая всячина». Редактором издания значился статс-секретарь императрицы Г.В. Козицкий, но для посвященных не было тайной, кто на самом деле стоит за ним. Державная издательница ясно обозначила цель издания: «Я вижу будущее. Я вижу бесконечное племя “Всякие всячины”». Потому отнюдь не случайно на страницах журнала впервые в истории русской периодики в статье «Мне случалося жить в наемных домах...», написанной самой Екатериной, было открыто сказано о тяжелом положении крепостных крестьян и жестоком наказании дворовых за малейшие провинности. Однако концовка статьи диссонировала с ее содержанием. В ней императрица, как будто испугавшись собственной смелости, ограничилась обращением к Богу: «О всещедрый Боже! Всели человеколюбие в сердца людей твоих». Этому обращению был созвучен и призыв издателя поощрять в людях «добрый вкус и здравое суждение», «не обижать никого», а существующие пороки судить, не называя известных всем их носителей.

Уверенность Екатерины, что примеру «Всякой всячины» последуют другие издатели, оправдалась, и перед взором читателей вскоре предстали журналы «И то и се», «Ни то, ни се», «Полезное с приятным», «Поденьщина», «Смесь», «Трутень», «Адская почта». Однако императрица, верно усмотревшая в печатном слове действенное средство для формирования общественного мнения, видимо, не учла главного: в стране, население которой четко делилось на две неравные по своему социальному положению части, не могла не явиться жесткая сатира на тех, кто благоденствовал на «кровавом поте» подневольных крестьян, на «злых в своей неправедности» крепостников-помещиков. Издатели журналов, поодиночке противостоявших «Всякой всячине», все как один кардинально расходились со своей прародительницей в определении остроты критики – она должна была идти не в «улыбательном духе», как призывалось, а приковывать внимание к наиболее животрепещущим нравственным и социальным проблемам. И здесь перед журналами открывалось широкое поле для язвительного подтрунивания над не умевшей, как они отмечали, даже правильно писать по-русски «рассеянной» бабушкой. Каково было императрице читать, например, в «Адской почте» мнение ее издателя Ф.А. Эмина об «улыбательном духе» ее сатиры: «Ты таким своим нравоучением всем нравиться хочешь, но поверь мне, что придет время, в которое будешь подобно безобразному лицу, белилами и румянами некстати украшающемуся. Знай, что от всеснедающего времени ничто укрыться не может. Оно когда-нибудь пожрет и твою

слабую политику, когда твои политические белила и румяна сойдут, тогда настоящее бытие твоих мыслей всем видным сделается»[14].

В советской историографии считалось, что подобные смелые выступления журналов и их постоянные нападки на «утесняющих человечество» богатеев, особенно на страницах «Трутня», якобы вынудили императрицу закрыть последний. Однако конкретных свидетельств участия верховной власти и самой императрицы в этой акции в распоряжении исследователей нет. Нет их и в недавно опубликованном исчерпывающем перечне документов, принадлежащих перу Екатерины[15]. Скорее всего, главная причина того, что возникшие журналы закрывались, едва перешагнув годовой рубеж издания, заключалась в малочисленности круга их читателей, в основной своей массе состоявших как раз из подвергавшихся язвительной критике представителей дворянского сословия. Напомню, что даже в лучшие для журнала Н.И. Новикова «Трутень» дни его тираж достигал лишь 1 240 экземпляров. Пришедший ему на смену следующий сатирический журнал «Живописец» еще резче осуждал пороки крепостничества и едко высмеивал «диких» и «неотесанных» дворян. Именно за подобное вольномыслие, как считается в историографии (опять-таки без приведения конкретных фактов), и этот журнал был закрыт властями (подразумевается, что самой императрицей). Но вот что любопытно: «закрыт» он был только после 52-го выпуска! При этом Новиков в дальнейшем еще *пять* раз переиздавал свой «Живописец» под единой обложкой (первый раз в 1775 г., последний – в 1793 г.), в ряде материалов еще больше заостряя наиболее резкие и злободневные свои высказывания.

Что же касается традиционно существующих в историографии суждений о гонениях на Новикова, то здесь, видимо, имеет место перенос на более раннее время действительно возникшего в конце 1780-х – начале 1790-х годов между ним и императрицей конфликта, когда Екатерина объявила настоящую войну наводнившим российский книжный рынок книгам мистического, масонского и оккультного содержания, значительными для той поры тиражами выпускавшихся в тайных типографиях Новикова и его друга И.В. Лопухина. Отрицательное отношение императрицы к масонству определялось тем, что она, как и многие ее современники, не видела различий между масонами и так называемыми «иллюминатами», характеризовавшимися ею как опасные революционеры. С другой стороны, в основе конфликта лежало и явное нарушение Новиковым узаконенной и весьма прибыльной монополии Синода на выпуск книг религиозного содержания: из 313 наименований подобной литературы 166 было издано Новиковым. Как бы там ни было, но на вторую половину царствования Екатерины II приходится всплеск изданий культурно-просветительского характера. Это и ежемесячное «Собрание новостей», и «Академические известия», и «Новые ежемесячные сочинения», и ставший одним из самых интересных литературных журналов в России XVIII в. «Собеседник любителей российского слова», издававшийся Российской академией стараниями ее президента

Е.Р. Дашковой. Назову и ежемесячник «Беседующий гражданин», который издавал воспитанник Московского университета М.И. Антоновский. Именно в одном из номеров этого журнала появилась анонимная статья А.Н. Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества», содержавшая созвучные его более позднему «Путешествию из Петербурга в Москву» мысли и настроения. Нельзя не сказать и об издаваемых в начале 1790-х годов И.А. Крыловым журналах «Почта духов» и «Зритель», где великий баснописец, продолжая традиции сатирических изданий конца 1760-х – начала 1770-х годов., гневно осуждал произвол помещиков и выражал глубокое сочувствие крестьянам.

Исследователям хорошо известен факт повышенного интереса императрицы к проблемам образования, равно как и то, что интерес этот первоначально во многом определялся некритическим восприятием ею идей Дж. Локка, Ф. Фенелона, а также энциклопедистов о возможности «создания идеального человека и безупречного гражданина». Увлеченная этой утопической идеей, императрица уже в мае 1764 г. дала согласие на обнародование созданного И.И. Бецким «Генерального учреждения о воспитании обоего пола юношества», содержавшего принципы организации и деятельности воспитательно-образовательных учреждений в России. В качестве главной задачи провозглашалось воспитание «новой породы человека», достижение которой, по мысли российских неофитов, было возможно только при условии полной изоляции индивида с 5 лет до 21 года от развращенной окружающей среды и вредоносного влияния родителей. Нежизнеспособность этой идеи хорошо была видна уже наиболее наиболее зорким современникам на примере деятельности созданного в 1764 г. Смольного института благородных девиц. Как отмечал в известном своем памфлете князь М.М. Щербатов, из воспитанных в строгой изоляции от окружающей среды и своих семей «смолянок» «ни ученых, ни благонравных девиц не вышло»[16]. Видимо, понимание этого пришло и к Екатерине II, постепенно укреплявшейся в мысли о необходимости создания в России сети общеобразовательных школ, способных удовлетворить растущие потребности страны. Однако лишь в 1775 г. она в связи с разработкой «Учреждения для управления губерний» обязала учреждаемые на местах приказы общественного призрения открывать такие школы во всех губернских и уездных городах. Но инертность губернаторского корпуса и нехватка денег сильно тормозила начатое благое дело. В результате к концу 1770-х годов Екатерина пришла к выводу о решающей роли самого государства в создании единой всероссийской системы образования. Как и в других подобных случаях, она ничего не стала придумывать сама, взяв за образец успешно осуществленную в 1774 г. реформу системы просвещения в Австрии. Информацию о ней императрица получила из первых рук – от австрийского императора Иосифа II. Решимости в реализации грандиозной задачи добавила ее вера в силу образования и просвещения, хотя она, как и в пору создания «Наказа», все так же наивна: «В 60 лет, – заявляла Екатерина, – все расколы ис-

чезнут; коль скоро заведутся и утвердятся народные школы, то невежество истребится само собою; тут насилия не надобно»[17].

В сентябре 1782 г. по повелению императрицы была создана Комиссия об учреждении училищ в России, на которую возложили задачу не только организации сети школ, но и подготовки учителей, а также составления учебников. Во главе ее был поставлен сербский педагог Ф.И. Янкович де Миреево, ранее успешно осуществивший школьную реформу в Австрии. 5 августа 1786 г. императрица утвердила «Устав народных училищ» Российской империи, ставший одним из наиболее значительных законодательных актов ее царствования. Так буднично, на внешний взгляд, было положено начало созданию в России двухступенчатой системы *бесплатных, доступных всем свободным сословиям* «главных народных училищ» в губернских центрах и «малых народных училищ» в уездных городах, причем с совместным обучением мальчиков и девочек. Правда, Екатерина, вопреки своей первоначальной задумке, так и не решилась на создание сельских школ, но несомненное достоинство Устава заключалось в его сугубо светском характере, ибо антиклерикально настроенная императрица отвергла все притязания священников на роль учителей начальной школы, ссылаясь на их необразованность. Неслыханное для второй половины XVIII в. дело: Церковь во всех 113 статьях Устава не была упомянута ни разу. И еще один заложенный в Уставе педагогический принцип опережал нравы того времени: в школах запрещались телесные наказания, и даже думать было нельзя о том, чтобы по старинной привычке таскать за волосы нерадивых учеников.

Утверждению всероссийской системы общеобразовательной школы способствовало открытие в 1783 г. в Петербурге Главного народного училища, на которое была возложена задача подготовки учителей для всех училищ страны. Однако совместить задачи общеобразовательного училища с задачами центра по подготовке профессиональных учителей оказалось очень сложно, и уже в 1786 г. из состава Главного народного училища была выделена специальная Учительская семинария, в дальнейшем преобразованная в Учительский институт.

Процесс учреждения училищ в условиях российских реалий, когда власти на всех уровнях стремились содержать их «без отягощения казны», оказался нелегким и затяжным. Губернаторы, по мысли Екатерины, – первые и основные помощники во всех ее начинаниях, на ниве образования были не столь деятельны, как хотелось бы, и императрице оставалось только строго выговаривать им за «толь малые успехи в заведении народных школ». Так было даже в «Московской столице», не говоря уже о глухой провинции, где и сами родители не всегда хотели отдавать детей в школы. И все же успех начатого дела очевиден: в начале XIX в. в стране насчитывалось около 500 светских учебных заведений с 45–48 тыс. учащихся[18]. Кроме того, были еще 66 духовных семинарий и школ с 20 393 обучающимися[19]. Однако магия этих цифр блекнет при сопоставлении их с общей численностью населения Рос-

сии: одно главное народное училище (примерно 135 учеников) приходилось на 500 тыс. (в среднем) жителей губернии, одно малое училище (40 учеников и один учитель) – на 50 тыс. жителей уезда! А ведь все могло быть по-другому, решись императрица открыть путь в школы крестьянству и законодательно закрепить за государством обязанность в требуемом объеме финансировать общеобразовательные школы и жестко контролировать статьи расхода...

В заключение еще раз вернусь к «Наказу», к той его части, где Екатерина II пишет о принципе презумпции невиновности. Вот этот один из основополагающих принципов юриспруденции в ее изложении: «Человека не можно почитать виноватым прежде приговора судейского, и законы не могут его лишить защиты своей прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оные»[20]. Понятно, что здесь мы имеем дело с компиляцией суждений знаменитых юристов – Беккариа, Монтескье и других, которых Екатерина, по собственному ее признанию, беззастенчиво «обобрала» при составлении «Наказа». Но это ничуть не умаляет смелости императрицы, отважившейся предложить депутатам Уложенной комиссии вытащить Россию из болота кромешного судебного произвола. При этом важно отметить, что Екатерина II жестко связывала введение принципа презумпции невиновности в судебную практику в первую очередь с уничтожением применения пытки в России. «Употребление пытки, – писала она, – противно естественному рассуждению; само человечество вопиет против оные и требует, чтоб она была вовсе уничтожена». И продолжала: «Обвиняемый, терпящий пытку, не властен над собою в том, чтоб он мог говорить правду. Можно ли больше верить человеку, когда он бредит в горячке, нежели когда он при здравое рассудке и в добром здоровье? Чувствование боли может возрасти до такой степени что, совсем овладев душою, не оставит ей больше никакой свободы производить какое-либо ей приличное действие, кроме как в то же самое мгновение ока предпри[н]ять самый кратчайший путь, коим бы от той боли избавиться. Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали» (ст. 194).

Здесь же Екатерина определяет и способы поиска доказательств преступления, коль скоро таковое имело место. «В изыскании доказательств преступления надлежит, – наставляла она, – иметь проворство и способность; чтоб вывести из сих изысканий окончательное положение, надобно иметь точность и ясность мыслей» (ст. 179). Можно только удивляться актуальности сказанного и в наши дни, когда признание человеком своей вины, самооговор все еще остается «царицей доказательств». Современное звучание сохраняют и многие другие положения «Наказа», особенно слова Екатерины о том, что *«равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам»* (ст. 34, выделено мной. – *М.Р.).* И это не случайная сентенция. О понимании Екатериной необходимости установления верховенства законов говорят и многие другие статьи «Наказа»: «Надобно в уме себе точно и ясно представить: что есть вольность (свобода. – *М.Р.*)?

Вольность есть право все то делать; что законы дозволяют» (ст. 38). Или вот еще, не менее актуальное и поныне: «Ничего не должно запрещать законами, кроме того, что может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу» (ст. 41).

Нельзя не отметить еще одно соображение императрицы, на основании которого действовал затем в России институт присяжных заседателей. После того, как налицо будут все доказательства вины подозреваемого, заключает она, «не требуется больше ничего, как простое здравое рассуждение, которое вернейшим будет предводителем, нежели все знания судьи, приобвыкшего находить везде виновных» (ст. 179). Однако собранные со всех концов страны депутаты не прислушались к мнению Екатерины, которая почти на целый век опередила свое время в попытках построения в России правового государства.

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что Екатерина II всегда была очень самокритична. Приведу здесь ее главное, на мой взгляд, высказывание на этот счет «Что бы я ни делала для России, – это будет только *капля в море*»[21]. Императрица всегда думала в первую очередь о судьбах государства, а потом уже о себе: «Слава страны – создает мою славу. Вот мое правило; я буду счастлива, если мои мысли могут этому способствовать»[22]. Очень трезво оценивала она и свои возможности как верховной правительницы России: в ответ на лестную похвалу Гримма Екатерина отозвалась: «Послушайте, вы судите обо мне настолько же хорошо, насколько другие худо; кому же верить? Я возьму середину; буду думать, что я занимаю не первое место, но и не последнее в каком бы то ни было из веков»[23]. А в одном из своих последних писем-откровений она напишет в 1796 г.: «Я никогда не признавала за собой творческого ума <...> Мною всегда было легко руководить <...> Для достижения этого нужно было только представить мне мысли, несравненно лучше и основательнее моих <...> Причина этого заключается в крайнем моем желании блага государству <...> Я никогда не стесняла ничьего мнения, но в случае надобности имела свое собственное»[24]. Как подчеркивал очень критически оценивавший Екатерину II В.О. Ключевский, у нее был «сообразительный, *умный* ум, который знал свое место и время и не колол глаз другим». Она «умела быть умна кстати и в меру»[25].

Одними из самых ценных качеств Екатерины и как человека, и как правителя огромной империи были ее постоянное стремление к самосовершенствованию, широта и разнообразие интересов. Лучше всего это видно из ее блистательной многолетней переписки с Вольтером и Дидро. Честный во всем великий современник Екатерины II Н.М. Карамзин уже после ее смерти с понятной для каждого россиянина гордостью написал: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувств и выражений!»[26] По словам В.О. Ключевского, у Екатерины II «были две страсти, с летами

превратившиеся в привычки или ежедневные потребности, – читать и писать» и она не понимала, «как можно провести день, не измарав хотя одного листа бумаги»[27]. Причем, как справедливо замечает историк, «она писала в самых разнообразных родах: детские нравоучительные сказки, педагогические инструкции, политические памфлеты, драматические пьесы, автобиографические записки, сотрудничала в журналах, переводила из Плутарха жизнь Алкивиада и даже составила житие преп[одобного] Сергия Радонежского. Когда у нее появились внуки, она принялась для них за русские летописи <...> и составила удобочитаемые записки по русской истории в частях с синхронистическими и генеалогическими таблицами»[28].

Более 200 лет назад завершилось царствование Екатерины II. Во многом благодаря ее интеллекту, позволявшему почти во всем придерживаться разумной политики, Россия по праву заняла место великой державы. Сейчас все больше утверждается мнение, что ее величие состоит не столько в достигнутом при ней экономическом росте страны и территориальных приобретениях, а в том, что она «тщательно выстраивала новые отношения между правителем и подданными», в том, что именно при ней начался процесс укрепления гражданских основ как в системе управления, так и в обществе в целом[29]. Это неизбежно приводило к смягчению нравов в России, и именно по воле просвещенной императрицы во второй половине XVIII столетия в крепостной стране выросло, как образно выразился Н.Я. Эйдельман, поколение *непоротых* дворян[30]. По точному определению А.С. Пушкина, это «новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения»[31], у истоков которого и стояла Екатерина II. Именно в ее царствование «элита русского общества наслаждалась впервые появившимся у нее чувством свободы и личного достоинства, а сфера частной жизни, отдельной от государственной службы, расширилась неизмеримо»[32]. Намного раньше процитированного историка эту мысль выразил Н.М. Карамзин в краткой и исчерпывающей формуле: в свое царствование Екатерина II «очистила самодержавие от примесов тиранства»[33]. К сожалению, ее внук Николай Павлович, значительно уступавший по уровню интеллекта своей великой бабушке, продолжив начатый его отцом процесс милитаризации страны, быстро вернул Россию в разряд полицейских государств.

Примечания

1 Сб. ОРЯС. Т. 20, № 1. С. 41; Сб. РИО. Т. XXIII СПб., 1878. С. 27.

2 Сб. РИО. Т. 13. СПб., 1874. С. XV; *Грот Я.К.* Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб,. 1884. С. 245.

3 *Каменский А.* «Под сению Екатерины...» СПб., 1992. С. 354–355.

4 См.: *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. В 12 т. Т. IX. СПб., 1884. С. 12.

5 Сб. РИО. Т. 1. С. 281.

6 Там же. С. 275.

7 См. последнюю по времени публикацию по теме: Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI–XX вв. Исторические очерки. М., 2001.

[8] *Дедюхина В.С.* Культура дворянской усадьбы // Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 4. М., 1990. С. 220–221.

[9] См.: *Краснобаев Б.И.* Очерки русской культуры XVIII века. М., 1972. С. 254. И все же Екатерина на всякий случай постановку «Сорены» в Петербурге не разрешила.

[10] *Ключевский В.О.* «Недоросль» Фонвизина (Опыт исторического объяснения учебной пьесы) // *Ключевский В.О.* Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 349.

[11] Там же. С. 344.

[12] Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 640; см. также: С. 627, 646 и др.

[13] История русского драматического театра. В 7 т. Т. 1. М., 1977. С. 385.

[14] Адская почта. 1769. Июль. С. 77.

[15] Екатерина II. Аннотированная библиография публикаций / Сост.: И.В. Бабич, М.В. Бабич, Т.А. Лаптева. М., 2004.

[16] «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева. Факсимильное издание. М., 1984. С. 91.

[17] Дневник А.В. Храповицкого с 18 января 1782 по 17 сентября 1793 г. М., 1901. С. I.

[18] *Белявский М.Т.* Школа и образование // Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 2. М., 1987. С. 286.

[19] *Знаменский П.П.* Духовные школы в России до реформы 1808 г. Казань, 1881. С. 315.

[20] ПСЗ. Т. XVIII. СПб., 1830. № 12949, ст. 149 (далее ссылки на «Наказ» даются в тексте).

[21] *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 722.

[22] Записки. С. 626.

[23] *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 761.

[24] Сб. РИО. Т. 13. С. XXII–XXIII.

[25] *Ключевский В.О.* Императрица Екатерина II (1729–1796) // *Ключевский В.О.* Указ. соч. С. 292.

[26] Цит. по: Сб. РИО. Т. 13. С. XVII.

[27] *Ключевский В.О.* Императрица Екатерина II. С. 279.

[28] Там же. С. 279–280.

[29] *Мадариага И. де.* Россия в эпоху Екатерины Великой / Пер. с англ. Н.Л. Лужецкой. М., 2002. С. 232 и сл.

[30] См.: *Эйдельман Н.Я.* Грань веков. М., 1982. С. 20 и др.

[31] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 19 т. Т. 11. М., 1996. С. 14.

[32] *Мадариага И. де.* Указ. соч. С. 934.

[33] *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 37.

Часть вторая

Император Николай I и его царствование

Предисловие

Личность и деяния Николая I (25.06.1796 – 18.02.1855), пятнадцатого по счету российского самодержца из династии Романовых, неоднозначно оценивались современниками. Лица из ближайшего окружения, общавшиеся с ним в неформальной обстановке или в узком семейном кругу, как правило, отзывались о царе с восторгом: «вечный работник на троне», «неустрашимый рыцарь», «рыцарь духа», «живое божество» и т.п. Но для значительной части общества имя царя прочно ассоциировалось с прозвищами «кровавый», «палач», «Николай Палкин». Причем последнее определение – «Николай Палкин» – как бы заново утвердилось в общественном мнении уже после 1917 г., когда впервые в русском издании появилась под тем же названием небольшая брошюра Л.Н. Толстого. Основой для ее написания (в 1886 г.) послужил рассказ 95-летнего бывшего николаевского солдата о том, как прогоняли сквозь строй в чем-либо провинившихся нижних чинов, за что Николай I, по его словам, и был прозван в народе «Палкиным». Сама же ужасающая по своей бесчеловечности картина предусмотренного воинскими уставами «законного» наказания шпицрутенами с потрясающей силой изображена писателем в рассказе «После бала».

Многие негативные оценки личности Николая I и его царствования восходят к А.И. Герцену, не простившему монарху его расправу с декабристами и особенно казнь пятерых из них, когда многие и многие так надеялись на помилование. Случившееся стало для общества тем более страшным событием, что после публичной казни Пугачева и его сподвижников в народной памяти уже почти и забылось о смертных казнях на Руси.

Хотя Николай I и нелюбим Герценом, но он, как точный и тонкий наблюдатель, верно расставляет акценты при описании его крайне несимпатичного для стороннего наблюдателя внешнего облика: «Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая за счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное – глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза»[2]. Вот этими «зимними глазами» преимущественно и смотрел на «свою» Россию и на «своих» подданных император Николай Павлович, при котором самодержавие достигло, как писал А.Е. Пресняков, «расцвета в самых крайних проявлениях». «Во главе русского государства, – отмечает историк, – стоит цельная фигура Николая I, цельная в своем мировоззрении, в своем выдержанном, последовательном поведении. Нет сложности в этом мировоззрении, нет колебаний в этой прямолинейности. Все сведено к немногим основным представлениям о власти и государстве, об их назначении и задачах, к представлениям, которые казались простыми и отчетливыми, как параграфы воинского устава, а скреплены были идеей долга, понятой в духе воинской дисциплины, как выполнение принятого извне обязательства»[3]. Да и могло ли быть по-другому, если, как он сам признавался, «никогда не думал вступить на престол; меня воспитывали как будущего бригадного генерала»[4], для которого воинский устав – действительно превыше всего. Другой крупный исследователь николаевской эпохи М.О. Гершензон добавляет важные элементы для полноценной характеристики Николая Павловича: он «не был тем тупым и бездушным деспотом, каким его обыкновенно изображают. Отличительной чертой его характера <…> была непоколебимая верность раз усвоенным принципам, крайнее доктринерство, мешавшее ему видеть вещи в их подлинном виде <…> он выработал себе небольшое число совершенно абстрактных идей – о назначении и ответственности монарха, о целях государственной жизни <…> Доктринер по натуре, он упрямо гнул жизнь под свои формулы <…> Он считал себя ответственным за все, что делалось в государстве, хотел все знать и всем руководить <…> Он не злой человек – он только доктринер, он любит Россию и служит ее благу с удивительным самоотвержением, но он не знает России, потому что смотрит на нее сквозь призму своей доктрины <… За тридцать лет царствования он ни на шаг не продвинулся в знании жизни»[5].

Сам Николай, видимо, в глубине души это осознавал, о чем свидетельствует его признание о самом затаенном в одном из своих писем: «Странная моя судьба. Мне говорят, что я – один из самых могущественных государей, что я, стало быть, мог бы по усмотрению быть там и делать то, что мне хочется. На деле, однако, именно для меня справедливо обратное. А если меня спросят о причине этой аномалии, есть только один ответ: долг! Да, это не пустое слово для того, кто с юности приучен понимать его так, как я. Это слово имеет священный смысл, перед которым отступает всякое личное побуждение, все должно умолкнуть перед этим одним чувством и уступать ему, пока не исчезнет в могиле. Таков мой лозунг. Он жесткий, признаюсь, мне под ним мучительнее, чем могу выразить, но я создан, чтобы мучиться». Признание искреннее, но благо бы из-за своеобразно понимаемого чувства долга «мучился» сам Николай, но он с достойным лучшего применения упрямством мучил собственных подданных, независимо от их ранга и официального статуса, времени и обстоятельств.

По свидетельствам современников, Николай Павлович много времени и труда самозабвенно отдавал государственным делам. В принципе для правителя любой страны так и должно быть. Но беда в том, что верховный правитель хотел руководить всем и вся лично. И не дай Бог, если самодержец в чем-либо находил, на его взгляд, «непорядок», то тут же, не считаясь ни с чьим мнением, исправлял этот «непорядок» так, как считал нужным. Сознательно сохраняя за собой право на решение практически любого вопроса, Николай I тем самым бесцеремонно вторгался в сферу текущего управления, что по самой природе власти не является обязательной функцией верховного правителя, лишая тем самым возможности проявления другими всякой личной инициативы, самостоятельности мысли и деятельности. Всему этому он предпочитал безусловную исполнительность и беспрекословное повиновение. Проявление индивидуальных качеств кем бы то ни было он считал недопустимым и опасным «всезнайством», а потому не терпел тех, кто по праву претендовал на это и по своим природным задаткам, и по уровню знаний. С.М. Соловьев, по воспоминаниям современников, приводит тому убийственный пример: «Посещает император одно военное училище; директор представляет ему воспитанника, оказывающего необыкновенные способности, следящего за современною войною, по своим соображениям верно предсказывающего исход событий. Что же отвечает император? Радуется, осыпает ласками даровитого молодого человека, будущего слугу Отечества? Нисколько. Нахмурившись, отвечает Николай: “Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим; мне нужны вот какие!” С этими словами он берет за руку и выдвигает из толпы дюжего малого, огромный кус мяса, без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам»[6]. Можно привести не один подобный пример предпочтения императором именно «дюжих малых», а не интеллектуалов. Так, во время инспекции другого учебного заведения при входе в лазарет Николай I неожиданно, но приятно для

себя был встречен необыкновенно зычным «Здравия желаем В.И.В.!» «Молодец!» – похвалил император, и узнав, что обладатель такого дивного голоса не имеет чинов и является простым подлекарем, тут же распорядился представить его в коллежские регистраторы[7] (чин хотя и последнего класса в Табели о рангах, но давал ряд привилегий и право на обращение к нему не иначе как «Ваше благородие»).

Николай I, в силу отмеченного выше доктринерства, считал, что управление государственными делами на всех уровнях есть прямой долг самодержца, его святая обязанность. И вполне естественно, что такому принципу *самодержавного* управления соответствовала и созданная в его царствование структура центрального управления: «собственной его императорского величества канцелярии» с пятью самостоятельными отделениями. Причем особая роль в новой для России системе управления отводилась III Отделению и корпусу жандармов, как определяли современники, – «глазам» и «ушам» императора. Вся территория страны была поделена сначала на пять, а затем – для более эффективного контроля – на восемь жандармских округов с необходимым для его осуществления штатом целенаправленно натасканных сотрудников, выведенных из-под какого-либо надзора местных властей и полностью независимых от какой-либо из них. Это обстоятельство позволяло государю, минуя все другие властные структуры, быть оперативно информированным буквально обо всем, что случалось и в самом глухом уголке России. Он дотошно, с неизменным простым карандашом в руке, читал доклады многочисленных агентов и о самых ничтожных происшествиях, чтобы вовремя, а главное – *как надо* отреагировать на них. Для сколько-нибудь осмысленного усвоения содержания всех этих рапортов нужно было время, которого из-за другой огромной страсти императора к смотрам, маневрам, разводам караулов катастрофически не хватало. Потому можно доверять свидетельству фрейлины двора А.Ф. Тютчевой, что Николай Павлович в перерыве между ними «проводил за работой восемнадцать часов в сутки <…> трудился до поздней ночи, вставал на заре <…> ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга и принимал на себя больше труда и забот, чем последний поденщик из его подданных. Он чистосердечно и искренне верил, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению, все преобразовать своею волею»[8]. Тем самым Николай I самолично создавал своими действиями вокруг себя ситуацию, поощрявшую обман, лицемерие, безмолвное и тихое неисполнение его бесчисленных распоряжений и указаний. В такой ситуации на обман государя шли и самые близкие к нему лица. Так, многажды обласканный Николаем П.А. Клейнмихель как-то был спрошен им о состоянии дел на строительстве защитной дамбы у Смольного монастыря. «Готова», – был ответ его верного слуги. – «Готова? Поезжай же еще раз, посмотри и доложи мне». Граф поехал на стройку, прекрасно зная, что до завершения работ еще далеко и тут только узнал о состоявшемся накануне визите государя на строй-

ку. Делать нечего, пришлось возвращаться и объясняться с кипевшим от гнева патроном. По словам сенатора К.И. Фишера, донельзя раздраженный государь «защипал ему руку в кровь, проговаривая: “Не лги! Не лги!”». А для пущего наказания, не оставил придворного холопа обедать за царским столом, как это делалось обычно[9].

Доходило до того, что монарха обманывали даже его генералы в таком святом для него деле, как смотры гвардейских полков, когда высшие офицерские чины заменяли плохо подготовленных или просто нерасторопных штатных солдат назначенного к смотру подразделения другими, лучше обученными и молодцеватого вида нижними чинами из состава свободных от смотра полков. Корпоративная спайка высших военных чинов, негласно осуждавших эту тягостную для них страсть своего повелителя, исключала всякую утечку информации и на протяжении многих лет его царствования обман продолжался. Причем император упивался механической слаженностью действий инспектируемых частей и большего ничего и не желал, вовсе не задумываясь о техническом перевооружении армии. В то время как вооруженные силы передовых стран Европы вовсю оснащались нарезным оружием (штуцерами), на батальон русской пехоты приходилось всего лишь по 28 штуцеров, ибо на закупку большего количества не находилось денег, ибо на то не было воли императора. Когда же собственные умельцы-оружейники в январе 1849 г. переделали несколько отечественных ружей, имевших дальность поражения в 350 шагов, по образцу штуцеров (т.е. с нарезным стволом и механическим бойком), и их убойная сила возросла до 600 шагов, достигнув показателя английского штуцера, то это не вызвало у Николая I никакого интереса. Более того, после успешно проведенных при нем испытаний усовершенствованных ружей, отчего-то пребывавший не в духе царь произнес, как показывает очевидец, «пагубное слово “вздор” и никто и сам даже фельдмаршал (И.Ф. Паскевич. – *М.Р.*) не дерзнул возражать»[10]. В результате, комментирует мемуарист-генерал, «через 4 года с нашим негодным оружием русские солдаты поведены были на убой в Молдавию и Крым»[11].

Идти на обман Николая I военным чинам было тем легче, что, как пишет будущий военный министр при Александре II Д.А. Милютин, «к смотрам государя и вел. кн. Михаила Павловича готовились как на Страшный суд: все храброе воинство, от простого рядового до высшего начальника, находились постоянно в напряженном состоянии духа, ожидая день и ночь со страхом и трепетом грозы», которого они хотели избежать любым способом[12]. Каждый должен был держать ухо востро по той причине, что «высшие начальники, начиная от вел. кн. Михаила Павловича, считали своей обязанностью “ловить” подчиненных неожиданным появлением». И тому подавал пример сам император, для проверки «исправности лагерной службы» посещая те или иные воинские подразделения внезапно, в ночное время, и поднимая их по тревоге[13]. Царь находил во всем этом особое удовлетворение.

Николай I хотел держать под своим неусыпным контролем не только своеобразно пестуемую им армию, но и жизнь общества в целом. Как издавна считается в литературе, его представления об уготованной государству и государственной власти роли окончательно определились в его сознании где-то в конце 1840-х гг. Свое наиболее полное отражение они получили в составленном начальником Главного штаба е.и.в. военно-учебным заведениям (также известным по своему сомнительному поведению в самый канун 14 декабря 1825 г.) Я.И. Ростовцевым «Наставлении для образования воспитанников военно-учебных заведений». Основной тезис «Наставления» донельзя прост: государственная власть есть "*совесть общественная*", имеющая для человека тот же смысл, что и личная совесть для его жизнедеятельности. «Закон совести, закон нравственный, – в угоду царю провозглашает автор, – обязателен человеку как правило для его частной воли; закон верховной власти, закон положительный, обязателен ему как правило для его общественных отношений». Воля людей, из которых и состоит общество, согласно представлениям Ростовцева, является элементом анархическим, ибо «в общежитии неизбежна борьба различных волей», и для того, чтобы «охранить общество от разрушения и утвердить в нем порядок нравственный», необходим *доминант верховной власти*. Основа же последнего, с одной стороны, «ничем неограниченная преданность» воле Господа Бога, с другой – «покорность» данной свыше земной власти царя. Исходя из такого понимания взаимоотношения общества и государства, Николай I и «пытался свести государственную власть к личному самодержавию "отца-командира", на манер военного командования, в духе всего быта эпохи, патриархально-владельческим, крепостническим пониманием всех отношений властвования и управления»[14]. Как заметил историк Ю.В. Готье, Николай I был «фанатическим жрецом и вместе с тем своеобразным поэтом неограниченной власти государя. Всеми своими словами и действиями он проводил мысль, что государь – земной Бог, воле которого никто не дерзает перечить, или, по крайней мере, полновластный командир воинской части, связанной безответной дисциплиной»[15]. Суть отношений общества, отдельных его членов и самодержца наилучшим образом определяет резолюция Николая на одной из записок А.С. Меншикова: «Сомневаюсь, чтобы кто-либо из моих подданных осмелился действовать не в указанном мною направлении, коль скоро ему предписана моя точная воля»[16]. Отсюда понятно особое благоволение самодержца к тем, кто обнаруживал перед ним неприкрытый страх. Наиболее показательный пример тому случай, происшедший с Ф.П. Вронченко, только что севшим в кресло министра финансов после смерти Е.Ф. Канкрина.

Как известно, прием государем своих министров с докладами, в соответствии с заведенными правилами, происходил по старшинству и во многом носил ритуальный характер. Вронченко, как самый младший из них, знал, что ему докладывать последним, но тем не менее всегда яв-

лялся в приемную много загодя. Это давало повод собравшимся министрам под общий смех подтрунивать над ним, дескать, явился к докладу с ночной прогулки по Невскому проспекту (всем была известна его привычка посещать расположенные там злачные места). И в один из таких моментов в дверях вдруг возникла грозная фигура Николая Павловича с вопросом «Что за шум?». Вронченко, то ли со страху, то ли умело притворяясь, выронил из рук свой портфель, содержимое которого, состоявшее из подготовленных к докладу бумаг, разлетелось по полу. Это вызвало новый взрыв хохота, на что государь, по свидетельству очевидца, «обвел смеявшихся своими большими на выкате глазами и произнес: “Тут нет ничего смешного!”» и демонстративно пригласил Вронченко в кабинет первым. «Вот так Николай Павлович, – заключает мемуарист, – ни от кого не скрывая любил отличать тех, кто его боялся»[17].

Приведенная выше резолюция царя на записке А.С. Меншикова точно выражала общую тенденцию к военизации всего государственного аппарата, начиная с самого верха – Комитета министров, что не могло не отразиться на его составе. Так, в начале 40-х годов из 13 министров только трое имели гражданский статус, да и их Николай I терпел только потому, что не находил им равноценной замены среди военных чинов. В результате последние в конце его царствования возглавляли 41 губернию из 53. Это вполне объяснимо – императору по сердцу люди, привычные к жесткой субординации, люди, для которых по своему воспитанию, по образу мышления немыслимо даже ненароком нарушить армейскую дисциплину. Это – как раз то, что так импонировало взглядам императора, именно в армейских порядках видевшего желанный образец для устройства всего общества, в котором, как в хорошо вышколенной прусской армии, должны быть «порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, всё вытекает одно из другого, никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться; никто без законного основания не становится впереди другого; всё подчиняется одной определенной цели, всё имеет свое назначение: потому-то мне так хорошо среди этих людей <…> Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит»[18]. Как писал С.М. Соловьев, в царствование Николая I «военный человек, как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; опытность в делах – на это не обращалось никакого внимания. Фрунтовики воссели на всех правительственных местах…»[19]. И все потому, что Николай I на основе понятия о солдате-пешке и всемогущем командире, сложившемся взгляде на свой сан и свое предназначение, продолжает историк, «инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить», просвещение «перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства»[20]. Именно потому он и своих министров подбирал не по их интеллекту, не по

их деловым качествам, не по степени просвещенности, не из желания видеть в них государственных мужей, соратников, советчиков, а только лично преданных ему слуг, в лучшем случае, – проворных секретарей. По-другому и быть не могло, ибо в сознании «всероссийского корпусного командира» сложилось стойкое представление о том, что разумная идея может исходить только от него, а все остальные лишь повинуются его воле. Он не мог понять, что движение подлинной жизни должно идти не только сверху вниз, но и снизу вверх. Неслучайно представитель Баварского королевства в России Оттон де-Брэ, по своему дипломатическому статусу много лет заинтересованно наблюдавший за жизнью царского двора, отмечает, что все высшие сановники лишь «исполнители» воли Николая I, от которых царь принимал советы только «*тогда, когда он их спрашивал*»[21]. Дипломат подтверждает не раз слышанное им мнение от других лиц из окружения императора, что он по своему характеру почти не подвержен постороннему влиянию. Действительно, обладавший неуемной энергией император, продолжает мемуарист, «до такой степени преисполнен сознанием своей власти, что ему трудно представить себе, чтобы какие бы то ни было люди и события могли оказать ему сопротивление». В силу этого «быть приближенным к такому монарху равносильно отказаться от своей собственной личности от своего я <…> сообразно с этим в высших сановниках <…> можно наблюдать только различные степени проявления покорности и услужливости»[22].

Путешествовавший по России в 1839 г. француз Астольф де Кюстин, имевший возможность вплотную соприкасаться с представителями ее политической элиты, однозначно заключает: «В России <…> нет независимых характеров», а затем, правда, уточняет, что такие «характеры, конечно же были, но они не были востребованы властью, особенно в последнее десятилетие царствования Николая I»[23], которое другой современник характеризует как «эпоху, о коей мы не можем вспомнить без отвращения и ужаса, мы, современники, проведшие лучшие годы своей жизни под давлением этого правления, нелепого, жесткого и сумасбродного; правления, постоянно унижавшего и попиравшего достоинство человеческое; правления, считавшего все просвещенные мысли, все благородные порывы сердца за государственные преступления. Вся Россия подвергалась притеснениям и поборам тайной полиции; за деньги можно было совершать всякое преступление, и не было такого скверного и гнусного дела, от коего нельзя было откупиться через тайную полицию. В докладах своих государю она клеветала на людей честных и благородных и, напротив, всеми силами выгораживала воров и мошенников»[24].

Необычайно расцветшее при Николае I раболепие как нельзя более отвечало царскому убеждению: «Там, где более не повелевают, а позволяют рассуждать вместо повиновения, – там дисциплины более не существует»[25]. Подобный взгляд вытекал, видимо, из хорошо усвоенного им тезиса Н.М. Карамзина: министры, поскольку они являются ча-

стью управленческого механизма, «долженствуют быть единственно секретарями государя по разным делам». В этом особенно рельефно проявлялась порицаемая еще Александром I (в период его либеральных мечтаний) особенность самодержавной формы правления – царские повеления следуют более «по случаям, нежели по общим государственным соображениям» и, как правило, не имеют «ни связи между собой, ни единства в намерениях, ни постоянства в действиях»[26]. Более того, управление по личной воле (когда практически невозможно отделить целесообразность от прихоти) Николай I считал прямым долгом самодержца. Конкретные решения по делам любого уровня зависели от личного усмотрения и настроения государя, который мог иногда руководствоваться буквой закона, но чаще – все же личным мнением, исходя из убеждения, что «лучшая теория права есть добрая нравственность». Результат подобного подхода был предопределен, и это, в отличие от самого Николая Павловича, отлично понимали его современники. Так, по словам А.Ф. Тютчевой, он «лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели права на них указывать, ни возможности с ними бороться»[27].

За три столетия российской истории при династии Романовых царский престол занимали разные самодержцы: наделенные недюжинным умом и государственной мудростью Петр I и Екатерина II; не очень отличавшиеся этими качествами Павел I, Александр III; вовсе лишенные государственного видения Екатерина I, Анна Иоанновна и Николай II (что бы не говорили его апологеты). Были среди них и жесткие правители, как Петр I и Анна Иоанновна, Николай I, и сравнительно мягкие, как Александр I и его племянник Александр II, вошедший в историю еще и тем, что ему хватило ума не мешать проведению в стране давно назревших реформ. Но всех их роднило то, что каждый из них был неограниченным самодержцем, которому беспрекословно подчинялись министры, полиция и абсолютное большинство подданных. Порой было достаточно одного мимоходом необдуманно или с тайным умыслом брошенного слова этих всевластных правителей, чтобы изменить судьбу либо одного отдельно взятого индивида, либо страны в целом.

Император Николай I, о личности которого и его царствовании рассказывают его современники со страниц предлагаемой книги, вошел в отечественную историю главным образом тем, что начал свое почти 30-летнее правление повешением пяти декабристов и закончил его кровью же тысяч и тысяч солдат и матросов в позорно проигранной Крымской войне, развязанной прежде всего высокомерными имперскими амбициями царя. Но не только ими. В письме к жене от 17 сентября 1855 г. Ф.И. Тютчев под впечатлением падения Севастополя писал о Николае I: «Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека…»[28] Гениальный поэт, современник Николая I, переживший его почти на

20 лет, в пяти строках стихотворения, по сути являющегося своеобразной эпитафией царю, дал ему и всему его царствованию убийственную характеристику:

Не Богу ты служил, и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, –
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей[29].

Другой современник долгого царствования Николая I, по служебной своей деятельности – охранитель режима, цензор А.В. Никитенко, как он сам себя определяет, «человек долга и чести», в 1841 г., «кровью сердца» пишет о своем времени: «Проклято время, где существует выдуманная официальная необходимость моральной деятельности, без действительной в ней нужды – где общество возлагает на вас обязанности, которые само презирает». О чем это он? – напрашивается невольный вопрос. А вот о чем: «Для нас, в России, еще не настал период нравственных потребностей. Общественное устройство подавляет всякое развитие нравственных сил <…> Это самое тяжелое положение, потому что ложное. Не того нам надо. Быть солдатом, или человеком – вот наше единственное назначение <…> Я обманываю и обманываюсь произнося слова: *развитие, направление мыслей, основные идеи искусства*. Все это что-нибудь, и даже много, значит там, где существуют общественное мнение, интересы умственные и эстетические, а здесь просто швыряние слов на воздух. Слова, слова, слова! Жить в словах и для слов, с душою, жаждущею истины, с умом, стремящимся к верным и существенным результатам – это действительное, глубокое злополучие»[30]. Трудно предъявить более веский счет всему Николаевскому царствованию, и, казалось бы, вся мыслящая часть общества должна была присоединиться к этому «крику души». Но нет. Один из самых образованных представителей эпохи, барон М.А. Корф, в 1831 г. назначенный управляющим делами Комитета министров, и по своей должности часто и подолгу общавшийся с Николаем I, в сугубо официозного характера труде «Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования»[31] дает претендующее на обобщенный портрет видение его образа: «Самодержавный по праву рождения и помазанию свыше, самовластительный по необходимости, условливаемой обширностью своей державы и видами ее пользы, предоставляя одному себе – как главе исполинского тела – *последнее* решение, император Николай искал, прежде всего, чтобы такое решение было в полной мере сознательно и отчетливо принято и утверждено собственною его совестию. Муж высшего разума, в котором государственная предусмотрительность, быстрый и всеобъемлющий взгляд, увлекательный дар речи, словом, многие принадлежности гения так счастливо сочетались с железною энергией и с пламенною любовью к своему народу, этот *вечный работник на троне* любил окружать себя всеми сведениями, всеми данными, всеми мнениями. Для сего, в пред-

метах сложных и важных, когда колебалось личное его убеждение, или казался необходимым голос специальных знаний, он, не довольствуясь предварительными суждениями официальных своих Советов, созывал еще особо перед себя доверенных сановников и вместе с ними вникал в подробности дела; после чего, допуская полную свободу мнений, сам настоятельно ее требуя, принимал то, которым прояснялось или разрешалось его недоумение – нередко в отмену высказанной им или даже им предложенной мысли»[32]. Написав все это, Корф, видимо, понял, что изложенное, мягко говоря, не вполне отвечает широко бытующим в обществе представлениям об императоре Николае, и, исходя из этого, приписал: «Эта черта и этот образ действий, известны только небольшому числу самых приближенных, для прочих, для целой России, для целой Европы, должны казаться чем-то совершенно неправдоподобным, будучи совершенно противоположным тому понятию, которое они составили себе о первом, в нашу эпоху, представителе самодержавия, И однако же, так действительно было»[33]. Ой, лукавит, лукавит царедворец, точнее, откровенно вводит в заблуждение потомков, для которых и была предназначена эта своеобразная эпистола. В противном случае не было бы бесславного конца царствования «первого представителя самодержавия»: неизгладимый временем позор России в Крымской войне был определен именно «самовластным» характером его царствованием.

Генерал от артиллерии, член Военного совета П.А. Крыжановский, по своему социальному положению один из важных «винтиков» этой «самовластной» системы власти, так напишет о николаевском царствовании уже после смерти грозного правителя: «Суровое это было время, мрачное, тяжелое, подчас беспощадное. В частных собраниях опасались говорить друг с другом не только о государственных делах и мероприятиях, но даже о личных недостатках того или иного сановника, о достоинствах книги, навлекшей на себя гнев цензуры, о политических волнениях в иностранных государствах и т.п. Каким-то непонятным образом эти “либеральные” беседы доходили до сведения властей и виновные привлекались для расправы в III Отделение». Причем мемуарист, как и многие другие самостоятельно мыслящие его современники, убежден, что все эти «деяния вытекали не из смысла событий, а всецело из личных стремлений императора, сидевшего на престоле, самодержца чистой воды, не признававшего ничего выше своей воли <…> державшего всю Россию в кулаке так крепко, что она только попискивала»[34]. И это пишет человек, целиком обязанный своей карьерой критикуемому им режиму. Автор мемуаров в 15-летнем возрасте в 1845 г. поступил юнкером в артиллерийское училище, в 1850 г. был произведен в первый офицерский чин, не раз в это пятилетие во время пребывания в летних военных лагерях в числе других юнкеров и кадет приглашался в Петергоф (в Александрию), где проводила лето царская семья, «играть» с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами. Казалось, что такая «близость» ко двору должна была стать

залогом его верности системе, безоглядной преданности царю. Но этого не случилось. Возможно, на резкости его оценок сказалось чисто человеческое неприятие мемуаристом того, что «в военной среде царили строгий формализм и варварское отношение к солдатам», того, что «обращение не только с офицерами, но и с генералами было дерзкое, грубое»[35]. Но это могло быть лишь толчком к критике всего режима.

Один из первых «диссидентов» своего времени, «республиканец-князь» П.В. Долгоруков, к работам которого мы будем в последующем не раз обращаться, так обрисовывает положение России при Николае I: «Тридцатилетнее царствование <…> настоящая тридцатилетняя война против просвещения и здравого смысла – было постоянно основано на трех началах: на глубоком презрении к человечеству, на боязни, неосновательной и смешной, всех идей либеральных и благородных и на безумном, постоянно возраставшем боготворении своей личности»[36]. «Надобно было пережить эту эпоху, – пишет далее князь, – чтобы понять, что́ мы перечувствовали, что́ мы перестрадали. На книгопечатание, на свободу беседы, на свободу совести наложены были тяжкие цепи; все благороднейшие чувства и желания, какие только могут возникнуть в груди человеческой, были попраны, часто свирепым образом, и обращены в государственное преступление. Тайная полиция властвовала во всей России <…> крепостное состояние, невзирая на желание Николая Павловича уничтожить его (об этом заблуждении не только Долгорукова ниже. – *М.Р.*), было поддерживаемо <…> финансы были в расстройстве; война с Францией и Англией была глупо начата, глупо ведена; генералитет составлен большей частью из дураков; наши храбрые солдаты <…> часто лишены были необходимого, между тем как начальники их жили роскошно, приобретая эту роскошь грабежом на счет бедных солдат <…> [в результате] политики отсталой и вредной <…> во всей Европе общественное мнение восстало против России, раздраженное дерзостью и глупостью Николая Павловича, который, обратив себя в европейского обер-полицмейстера самодержавия, вздумал предписывать всем императорам и королям, каким образом они должны действовать и поступать, и <…> считал все благородные чувства государственными преступлениями»[37].

Долгорукову вторит другой современник – писатель, публицист, академик А.В. Никитенко, с 1826 по 1860 г. изо дня в день пунктуально фиксировавший в своем «Дневнике» все сколько-нибудь значимые события, дополняя их пространными комментариями-размышлениями. Так, в записи, сделанной сразу же после смерти Николая, 16 февраля 1855 г. читаем: «Господствующий порок людей нашего времени – *казаться*, а не *быть*. Всё и во всём ложь». И здесь же, пытаясь найти объяснение такому состоянию общества, он напишет, имея в виду отошедшего в мир иной императора, следующее: «Есть люди, великие величием своего положения или судьбы, а не величием своего гения и характера, Это значит они предъявляют миру обязательство без исполнения. Такие люди всю жизнь свою пародируют великих людей, бросают

современникам пыль в глаза, а потомству дают уроки ничтожества человеческого»[38]. Размышления о прошедшем царствовании не оставляют автора и дальше, и 7 октября того же года он записывает: «Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 29 лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребления и воровство выросли до чудовищных размеров. Все это плод презрения к истине и слепой варварской веры в одну материальную силу»[39]. А.В. Никитенко отмечает и тот грустный факт, что «у нас мало способных государственных людей» и задается сакраментальным вопросом – «Отчего так?» Ответ его, как представляется, точен: «Оттого, что от каждого из них требовалось одно – не искусство в исполнении дел, а повиновение и, так называемые, энергические меры, чтобы все прочие повиновались. Такая немудреная система могла ли воспитать и образовать государственных людей. Всякий, принимая на себя важную должность, думал об одном: как бы удовлетворить лично господствовавшему требованию, и умственный горизонт его невольно суживался в самую тесную рамку. Тут нечего было рассуждать и соображать, а только плыть по течению»[40].

Всё так. Но автор дневника в этом своем обобщенном взгляде на всё царствование Николая I как-то упустил из вида им же самим еще в 1832 г. отмеченное явление, подспудно, вопреки желаниям и стараниям верховной власти, набиравшее силу: «Умственная жизнь начинает быстро развиваться в нашем поколении. Но пока это еще жизнь младенца. Всё в ней незрело: только порывы к благородному и прекрасному. Понятия о важнейших задачах человечества зыбки и неопределенны: нет еще самостоятельности в умах и сердцах»[41]. Но этот факт не прошел мимо внимания А.И. Герцена, писавшего в «Былом и думах» о состоянии столичного общества на две, разделенные 35 годами жизни, даты: «Сравнивая московское общество перед 1812 годом с тем, которое я оставил в 1847 году, сердце бьется от радости. Мы сделали страшный шаг вперед. Тогда было общество недовольных, то есть отставных, удаленных, оставленных на покой; теперь есть общество *независимых* <…> Тогда общество с подобострастием толпилось в доме графа Орлова, дамы “в чужих брильянтах” (мисс Вильмот), кавалеры *не смея садиться* без разрешения; перед нами графская дворня танцевала в маскарадных платьях. Сорок лет спустя я видел то же общество, толпившееся около одной из аудиторий Московского университета; дочери дам в чужих каменьях, сыновья людей, не смевших сесть, с страстным сочувствием следили за энергической, глубокой речью Грановского, отвечая взрывами рукоплесканий на каждое слово, глубоко потрясавшее сердца смелостью и благородством»[42].

В своей работе «Движение общественной мысли в России» А.И. Герцен конкретизирует свою мысль, заложенную в только что приведенных строках: «Внутри идет огромная работа. Глухо и безмолвно, но деятельно и непрерывно повсюду растет недовольство. В эти двадцать пять лет революционные идеи отвоевали больше места, чем в течение

целого предшествовавшего столетия, хотя они еще и не проникли в народ», которому «живется все тяжелее, несправедливость крепостного состояния и грабеж государственных чиновников становится для него невыносимее».

* * *

В основу настоящего сочинения положены воспоминания современников, в необходимых случаях дополненные результатами исследований в основном отечественных историков разных поколений. Заслуживающих внимания свидетельств современников довольно много. Только в аннотированной библиографии «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» насчитывается более 250 работ мемуарного жанра, относящихся к данной теме[43]. За прошедшее от публикации указателя время исследователями было выявлено еще около трех десятков работ этого жанра.

Надо сразу заметить, что по своей информационной ценности они далеко не равнозначны, и в большинстве случаев в них, к сожалению, содержатся преимущественно отрывочного характера сообщения о тех или иных мелких деталях. Однако это обстоятельство отнюдь не умаляет их значения – наиболее близкие к реалиям представления об окружающем мире, о людях той или иной эпохи, пожалуй, можно получить именно из совокупности несущественных на первый взгляд мелочей жизни.

Дневники и воспоминания современников существенно разнятся и по характеристике личности императора – от восторженно-умилительных до обличительно-уничижительных. Однако в целом все же преобладают не подобные крайности в преподносимых фактах и суждениях, а очевидное стремление их авторов к бесхитростному изложению того, чему они были свидетелями.

Чрезвычайно разнородна и социальная принадлежность мемуаристов-современников, донесших до нас характерные черты образа Николая I – от детских лет до самой его кончины. Они представлены членами императорской фамилии и близкими к ним лицами из придворного окружения, разного ранга – от бывших кадетов до генералов – военными чинами и гражданскими чиновниками, деятелями культуры и искусства, иностранными гражданами. Все их свидетельства в своей совокупности позволяют создать адекватный образ императора и получить близкое к реальности представление об особенностях его царствования, разумеется, через их взгляд, через их оценки. Но исследователю при этом всегда приходится помнить о законе апперцепции, т.е. зависимости восприятия фактов и событий и передачи информации о них тем или иным лицом от прошлого его опыта, от суммы накопленных им знаний, от содержания его духовной жизни, и, наконец, от его психологического состояния как в момент фиксации, так и во время описания случившегося события. Говоря другими словами, следует всегда помнить о том, что впервые введший в употребление этот термин фи-

лософ Г.В. Лейбниц понимал под ним осознанное восприятие, в отличие от бессознательного, чувственного восприятия (перцепции). Именно поэтому дневники, письма и особенно воспоминания нуждаются в строго научной исторической критике. Но, как раз здесь и существует труднопреодолимое препятствие. Как известно, константная апперцепция, определяемая мировоззренческими установками личности, обыкновенно сосуществует с временной, обусловленной конкретной ситуацией и переменчивым настроением момента. Поскольку восприятие всегда избирательно, то, будучи свидетелем одних и тех же событий и фактов, разные люди, как правило, и видят, и запоминают их по-разному. Более того, один и тот же человек в зависимости от своего настроения, психического состояния весьма различно может воспринимать и оценивать одно и то же событие.

Отсюда следует, что при обращении к литературе мемуарного жанра необходимо постараться составить более или менее (лучше – более) полное представление об авторе, его взглядах и положении в обществе, попытаться выявить возможность пристрастного его отношения к описываемому событию, к оцениваемой личности и т.д. Задача эта сложна и отнюдь не всегда выполнима, поскольку практически нет способов проникновения, так сказать, в душу исторически отдаленного от нас информатора, методов выявления его внутреннего состояния и мотивов его поведения в той или иной конкретной ситуации, что, естественно, сильно затрудняет установление достоверности сообщаемых фактов. Кстати, это хорошо понимали первые публикаторы мемуаров. Например, в слове от редакции к «Воспоминаниям» статс-секретаря, директора канцелярии Министерства двора В.И. Панаева содержится такой вот довольно-таки взвешенный взгляд на произведения данного жанра: «Мы считаем мемуары современников не более как будущею работою для историка, которому предстоит одинаково изучать и эпоху по свидетельству очевидца, и в то же время оценивать свидетельство по характеру свидетельствующего лица. В истории, как и в судебном следствии, мы обязаны выслушивать показания всех, кого положение ставило в возможность быть очевидцем. Если автор мемуаров иногда не является в них тем, чем нам желательно было бы его видеть, то и в таком случае нельзя не вменить в достоинство запискам такого автора именно то, что он не напал на мысль составить себе желаемую репутацию, т.е. не обманул своих читателей, и нарисовал верный портрет самого себя и целого кружка, в котором вращался, сам почти не подозревая выводов, которые могут быть сделаны впоследствии <…> Именно это мы находим в «Воспоминаниях» Панаева <…> Автор может только *обвинять*, но самый приговор не принадлежит ему. Надо всегда помнить о необходимости относиться критически ко всем мемуарам»[44]. Но не все так мрачно, как изображено в приведенном тексте, ибо, как известно, прочно западает в память то, что представляет особенный интерес для наблюдателя. Он закрепляет в сознании обычно факты и события в зависимости от занимаемого ими места в его собст-

венной жизни, в зависимости от меры сопереживания с объектом внимания или степени его неприятия.

И еще одно обстоятельство, влияющее на достоверность рисуемой пером историка картины: хотим мы этого или нет, но в исследованиях историков, как бы они ни уверяли читателя и коллег в своей беспристрастности, путеводной нитью в прохождении лабиринтов истории служат их собственные представления о жизни, собственные чувствования и эмоции, основанная на знаниях интуиция, наконец. Тем самым можно сказать, что история – это историки, и от шкалы их личной честности и зависит степень достоверности наших представлений об истории. В случае же, когда основным источником исследования являются требующие особо строгой критической оценки дневники и воспоминания современников, создаваемых по своим специфическим канонам, значение «шкалы честности» историка повышается на порядок.

Примечания

1 Император Николай I. Историческая характеристика // РС. 1903. № 19. С. 87.
2 *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 4. М., 1956. С. 61.
3 *Пресняков А.Е.* Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1925. С. 3.
4 Дневник П.Г. Дивова // РС. 1897. Т. 89. № 3. С. 482.
5 *Гершензон М.О.* Николай I и его эпоха. М., 2001. С. 5–6.
6 *Соловьев С.М.* Мои записки для детей моих, а если возможно, для других // *Соловьев С.М.* Избр. труды. Записки. М., 1983. С. 310.
7 Рассказы Евгения Андреевича Егорова, инженер-генерал-лейтенанта // РС. 1886. Т. 49. № 2. С. 416.
8 *Тютчева А.Ф.* При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1882. Тула. 1990. С. 47.
9 *Фишер К.И.* Записки сенатора // ИВ. 1908. Т. 112. № 6. С. 844.
10 *Докудовский В.А.* Мои воспоминания // ТРУАК. 1897. Т. 13. Вып. 2. С. 193.
11 Там же.
12 *Милютин Д.А.* Воспоминания. 1816–1843. М., 1997. С. 119.
13 Там же. С. 120.
14 *Пресняков А.Е.* Указ. соч. С. 57.
15 *Готье Ю.В.* Император Николай I (Опыт характеристики) // Три века. СПб., 1913. С. 288.
16 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. Т. 1. М., 1997. С. 314.
17 *Шиман В.М.* Император Николай Павлович (Из записок и воспоминаний современника) // РА. 1902. Кн. 1. № 3. С. 469.
18 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 147.
19 *Соловьев С.М.* Избр. труды. С. 311.
20 Там же.
21 *Брэ Оттон де.* Император Николай I и его сподвижники // РС. 1902. Т. 109. № 1. С. 122.
22 Там же.
23 *Кюстин Астольф де.* Николаевская Россия. М., 1990. С. 137.
24 *Долгоруков П.[В].* Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992. С. 436–437.

[25] Цит. по: *Давыдов С.* Император Николай I. М., 1913. С. 82.
[26] Цит. по: *Пресняков А.Е.* Указ. соч. С. 46.
[27] *Тютчева А.Ф.* Указ. соч. С. 48.
[28] *Тютчев Ф.И.* Стихотворения. Письма. М., 1957. С. 426.
[29] *Тютчев Ф.И.* Лирика. М., 1965. Т. 1. С. 165.
[30] *Никитенко А.В.* Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник (1804–1877 гг.). СПб., 1905. Т. 1. С. 319.
[31] Сб. РИО. Т. 98. СПб., 1896.
[32] Там же. С. 102.
[33] Там же. С. 102–103.
[34] *Крыжановский П.А.* Штрихи из прошлого (Воспоминания из последнего десятилетия царствования Николая I // ИВ. 1915. Т. 141. № 8. С. 453, 454.
[35] Там же. С. 454.
[36] *Долгоруков П.В.* Правда о России. М., 1861. Т. 1. С. 30.
[37] Там же. С. 94–96.
[38] *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 450.
[39] Там же. С. 463.
[40] Там же. С. 464.
[41] Там же. С. 223.
[42] *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 5. М., 1956. С. 69.
[43] История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Т. 2. Ч. 1–2. М., 1977 (по указателям).
[44] ВЕ. 1867. Т. 4. С. 179–181.

Глава I

Путь к трону

Первые годы жизни. Становление личности

Естественно, приведенный выше образ царя в глазах А.И. Герцена противоречит свидетельствам других современников. К примеру, лейб-медик Саксен-Кобургского принца Леопольда барон Штокман (Стокман) так описал вел. кн. Николая Павловича во время его пребывания в Лондоне в 1816 г.: необыкновенно красив, привлекателен, строен, как молодая сосна, черты лица правильные, прекрасный открытый лоб, брови дугою, маленький рот, изящно обрисованный подбородок, характер очень живой, манеры непринужденны и изящны. Одна из знатных придворных дам, миссис Кембль, отличавшаяся особой строгостью суждений о мужчинах, будучи в восторге от молодого вел. кн. Николая, без конца восклицает: «Что за прелесть! Что за красота! Это будет первый красавец в Европе!»[1]. А вот что писал уже о только что ставшем императором Николае I адъютант будущего генерала от инфантерии П.Д. Горчакова И.П. Дубецкой: «Император Николай Павлович был тогда [в 1828 г.] 32 лет, высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не

было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью. В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии»[2]. Секретарю министра Государственных имуществ П.Д. Киселева Л.Ф. Львову в те же годы царь более всего запомнился своим «орлиным взглядом»[3]. А вот каким виделся Николай I фрейлине двора А.Ф. Тютчевой, испытывавшей к нему явную симпатию, если не сказать большего: «Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая правильность олимпийского профиля, властный взгляд, все, кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем живым Божеством»[4]. Столь же лестно отзывались о внешности Николая английская королева Виктория, жена английского посланника Блумфильда, другие титулованные особы и сонм «простых» смертных[5].

«Мамаша родила большущего мальчика...»

В среду, 25 июня (6 июля) 1796 г. в Царском Селе вел. кн. Мария Федоровна (в девичестве – София-Доротея-Августина Луиза, старшая дочь принца Фридриха-Евгения Вюртемберг-Штутгартского), супруга наследника престола Павла Петровича разрешилась от бремени третьим сыном. Императрица Екатерина II спешит поделиться со своим постоянным парижским корреспондентом немецким писателем и публицистом бароном Ф.М. Гриммом семейной радостью: «Сегодня в три часа утра мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно; длиной он – аршин без двух вершков (62,2 см. – *М.Р.*), а руки немного менее моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом»[6].

Спустя десять дней бабушка-императрица тому же Гримму сообщает подробности первых дней жизни внука: «Рыцарь Николай уже три дня кушает кашку, потому что беспрестанно просит есть. Я полагаю, что никогда осьмидневный ребенок не пользовался таким угощением, это неслыханное дело... Он смотрит на всех во все глаза, голову держит прямо и поворачивает не хуже моего»[7]. Много позже сам Николай напишет о том, что его рождение, по ходившим тогда разговорам, «доставило большое удовольствие, так как оно явилось после рождения шести сестер подряд»[8]. Екатерина II предугадывает судьбу новорожденного – третий внук, «по необыкновенной силе своей, предназначен, кажется мне, тоже царствовать, хотя у него и есть два старших брата»[9] (Александру в то время идет двадцатый год, Константину исполнилось

17 лет). Примечателен в связи с этим эпизод, случившийся чуть позже – вечером 11 (23) марта 1801 г. В этот день, оказавшийся последним в жизни Павла I, он пришел в комнату Николая, которому шел пятый год. И вдруг несмышленый еще ребенок спросил отца, почему его называют Павлом Первым. «Потому что не было другого государя, который носил бы это имя до меня», – был ответ. «Тогда меня будут называть Николаем Первым», – заключил сын. «Если ты вступишь на престол», – бесстрастно заметил на это отец[10]. Едва ли можно сомневаться в том, что это было отголоском усвоенных детским умом каких-то пересудов при дворе.

Новорожденный, по заведенному правилу, после обряда крещения передан на попечение бабушки. Но ее неожиданная смерть (6 ноября 1796г.) «невыгодным образом» сказалась на последующем воспитании вел. кн. Николая Павловича. Правда, бабушка успела сделать хороший выбор нянюшки для Николая. То была шотландка Евгения Васильевна Лайон, дочь лепного мастера, приглашенного в Россию Екатериной II в числе других художников. Она оставалась главной воспитательницей в первые семь лет жизни мальчика и, как считается, оказала сильное влияние на формирование его личности. Сама обладательница смелого, решительного, прямого и благородного характера, Евгения Лайон старалась внушить Николаю высшие понятия долга, чести, верности данному слову. Восприятию этих жизненных ценностей, надо полагать, много способствовала необыкновенная привязанность воспитанника к своей няне[11]. Неслучайно, уже будучи императором, Николай I предоставит своей бывшей няне квартиру ни где-нибудь, а в Аничковом дворце и вплоть до самой ее смерти в 1842 г. будет ее регулярно навещать, часто со всем своим семейством[12]. Не была обделена впоследствии вниманием Николая Павловича и статс-дама Ш.К. Ливен, под «ближайшим наблюдением» которой он находился до 7-летнего возраста[13]. Вдова генерала от артиллерии О.Г. Ливена, еще в 20-е годы состоявшая воспитательницей сестер Николая, при его коронации получила титул княгини, а уже в конце 1826 г. стала светлейшей княгиней. По характеристике самого Николая, она была «уважаемой и прекрасной женщиной», всегда «образцом неподкупной правдивости, справедливости и привязанности к своим обязанностям»[14].

28 января 1798 г. в семье уже императора Павла I родился еще один сын – Михаил. Павел, волею матери лишенный возможности самому растить двух своих старших отпрысков, всю отцовскую любовь перенес на младших, отдавая при этом явное предпочтение Николаю. Их сестра, Анна, будущая нидерландская королева, впоследствии вспоминала, что отец обыкновенно называл их «мои барашки, мои овечки» и ласкал «весьма нежно, чего никогда не делала их мать», предпочитавшая следить за строгим соблюдением ими жестких условностей придворного этикета, который «вообще столько любила»[15].

По издавна существующим правилам, Николай с колыбели записан в военную службу: четырехмесячным он назначен шефом лейб-гвардии

Конного полка, и первому батальону полка присвоено его имя. Тогда же за «сентябрьскую треть 1796 года» несмышленыш получил и первое жалованье, причем немалое – 1105 руб.[16]. Первые игрушки мальчика были определены выбранной жизненной стезей, связанной с армейской службой, – деревянные ружье и шпаги. В апреле 1799 г. еще не достигшего и трех лет малыша одели в первый военный мундир – «малиновый гарусный», а на шестом году жизни Николая впервые посадили на верховую лошадь. Таким образом с самых ранних лет будущий император неосознанно , но прочно впитывает специфический дух военной среды.

Воспитатели и воспитанники великого князя Николая Павловича

В 1802 г. началась учеба. И с этой поры стали вести специальный журнал, в котором воспитатели (так называемые «кавалеры») фиксировали буквально каждый шаг мальчика, подробно описывая особенности его поведения и поступков в своих ежедневных докладах императрице Марии Федоровне.

Главный надзор за воспитанием поручили генералу Матвею Ивановичу Ламсдорфу. Трудно было сделать более несуразный выбор. По отзывам современников, Ламсдорф «не обладал не только ни одною из способностей, необходимых для воспитания особы царственного дома, призванной иметь влияние на судьбы своих соотечественников и на историю своего народа, но даже был чужд и всего того, что нужно для человека, посвящающего себя воспитанию частного лица»[17]. Генерал был ярым приверженцем общепринятой в ту пору системы воспитания, основанной на приказаниях, выговорах и доходивших до жестокости наказаниях. Оттого частого контактного «знакомства» с линейкой, шомполами и розгами не избежал и Николай. Бывало и так, что Ламсдорф в ярости от упрямства Николая ударял его об стену так, что он, по позднейшему признанию царственного воспитанника, «почти лишался чувств»[18]. Примечательно, что это детское упрямство Николая, как считают некоторые современники, постепенно переросло в редкую твердость его характера. В.А. Муханов, знавший Николая Павловича с детских лет и способный взглянуть на него достаточно критически, после смерти самодержца записывает в своем дневнике: «Твердость его напоминала мужей древности, украшавшихся сим качеством»[19]. Но это будет позже, а пока Ламсдорф, с согласия и одобрения матери, усердно старался переломить характер воспитанника, идя наперекор всем его наклонностям и способностям. Впрочем, жестокость методов воспитания объяснялась не только и не столько личными качествами тех или иных воспитателей, а тем, замечает один из современников, что «время было такое: били людей по убеждению, а не из злобы»[20]. Поэтому не стоит удивляться тому, что генерал Ламсдорф многие годы таким варварским образом наставлявший обоих великих князей (Нико-

лая и Михаила), в 1817 г. был возведен Александром I в графское достоинство, стал членом Государственного совета. Безмятежно доживавший век свой в бессрочном отпуску в деревне граф не был забыт и Николаем I, в день своей коронации с особым фельдъегерем пославший старику собственный портрет – по понятиям того времени, великая честь для любого поданного. После смерти Ламсдорфа в марте 1828 г. Николай I присутствовал и на погребальном обряде.

Возвращаясь к особенностям воспитания Николая в детские годы, скажем, что, как это нередко бывает в подобных случаях, результат оказался обратным ожидаемому. Впоследствии Николай Павлович так описал свое и брата Михаила психологическое состояние в эти детские годы: «Граф Ламсдорф умел вселить в нас одно чувство – страх, и такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас *второе* в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастия сыновнего доверия к родительнице, к которой допущаемы мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было и, должно признаться, что не без успеха <…> Граф Ламсдорф и другие, ему подражая, употребляли строгость с запальчивостью, которая отнимала у нас и чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Одним словом, – страх и искание, как избегнуть от наказания, более всего занимали мой ум. В учении я видел одно принуждение, и учился без охоты»[21].

Еще бы. Как пишет биограф Николая I, барон М.А. Корф, «великие князья были постоянно *как бы в тисках*. Они не могли свободно и непринужденно ни встать, ни сесть, ни ходить, ни говорить, ни предаваться обычной детской резвости и шумливости: их на каждом шагу останавливали, исправляли, делали замечания, преследовали моралью или угрозами»[22]. Таким способом тщетно, как показало время, пытались исправить столь же самостоятельный, сколько и чрезвычайно строптивый, вспыльчивый и донельзя упрямый характер Николая. Даже М.А. Корф, один из наиболее расположенных к нему биографов, вынужден отметить, что на людях обычно малообщительный и замкнутый в себе Николай как бы перерождался во время детских игр, и заключенные в нем не одобряемые окружающими своевольные начала проявлялись во всей полноте. Страницы журнала «кавалеров» за 1802–1809 гг. буквально пестрят записями о необузданности, вспыльчивости Николая во время игр со сверстниками, которые почти всегда заканчивались громкой ссорой или даже дракой. «Что бы с ним ни случалось, падал ли он, или ушибался, или считал свои желания неисполненными, а себя обиженным, он тотчас произносил *бранные слова* (среди них и оставшееся на всю жизнь выразительно произносимое – *дуррак*! – *М.Р.*) <…> рубил своим топориком барабан, игрушки, ломал их, бил палкой или чем попало товарищей игр своих». Однажды он с

такой силой ударил прикладом детского ружья товарища своих игр Владимира Адлерберга, что у того остался шрам на всю жизнь[23]. По заключению М.А. Корфа, и в продолжение последующих лет воспитания Николай сохранял прежнюю «строптивость и стремительность характера, всю ту же настойчивость и желание следовать одной собственной своей воле, которые уже и в предыдущий период давали столько заботы его воспитателям». Более того, с возрастом эти его качества, заключает Корф, «даже еще более усиливались»[24].

Грубые манеры обоих великих князей, особенно во время военных игр, во многом объяснялись утвердившимся в их мальчишечьих умах представлением (не без влияния Ламсдорфа), что грубость – обязательное отличие всех военных. Впрочем, замечают воспитатели, и вне военных игр манеры поведения Николая «оставались не менее грубыми, заносчивыми и самонадеянными». Отсюда четко выраженное стремление первенствовать во всех играх, командовать, быть начальником или же представлять самого императора. И это при том, что по оценкам тех же воспитателей, малолетний Николай «обладает весьма ограниченными способностями», хотя и имеет «самое превосходное, любящее сердце», отличается «чрезмерной чувствительностью», проявлявшейся в «своей» среде. В большом же обществе, среди «чужих», был застенчив, до 7-летнего возраста панически боялся грозы, фейерверков и близкой стрельбы. Трусил до того, что при полковых стрельбах плакал, затыкал уши и прятался за какой-либо предмет. Но постепенно смог себя преодолеть и к 10 годам крепко пристрастился стрелять в цель из пистолета. Но до конца жизни не мог избавиться, как свидетельствует товарищ по играм и последующей государственной службе граф В.Ф. Адлерберг, – от боязни высоты, испытывая каждый раз головокружение при взгляде вниз даже с не очень большой высоты[25].

Другая черта, тоже оставшаяся на всю жизнь, – Николай Павлович «не сносил никакой шутки, казавшейся ему обидою, не хотел выносить ни малейшего неудовольствия <…> он как бы постоянно считал себя и выше, и значительнее всех остальных». Естественно, что это выработало в нем стойкую привычку признавать свои ошибки только под сильным принуждением.

Но при всем том, Николай с детства умел хранить верность дружбе. Так, еще в 5-летнем возрасте вопреки желанию матери, питавшей «отвращение к всякой фамильярности к частным лицам», подружившись (как отмечает М.А. Корф, Николай добился этого, как всегда, криком и слезами) с детьми одной из своих воспитательниц Ю.Д. Адлерберг – Владимиром, и его сестрой Юлией, он пронес эту дружбу через всю жизнь. Убедительное свидетельство тому – сердечный отзыв Николая I о них в своем духовном завещании 1844 г.: «С моего детства два лица были мне друзьями и товарищами; дружба их ко мне никогда не изменялась. Генерал-адъютанта Адлерберга любил я, как родного брата, и надеюсь по конец жизни иметь в нем неизменного и правдивого друга. Сестра его Юлия Федоровна Баранова воспитала трех

моих дочерей, как добрая и рачительная родная. Обоим им прошу назначить в мою память пенсионы, сверх получаемых, по 15 тыс. руб. серебром. В последний раз благодарю их за братскую любовь»[27]. Но вот что любопытно – фрейлина двора А.О. Смирнова-Россет так отзывается об Ю.Ф. Барановой: «Очень добрая и честная женщина, но очень ограниченная, при том слабого здоровья»[28].

Итак, любимым занятием братьев Николая и Михаила оставались только военные игры, которые они начинали едва встав с постели. Для этого в их распоряжении был большой набор оловянных и фарфоровых солдатиков, игрушечных ружей, алебард, деревянных лошадок, барабанов, труб и даже зарядных ящиков. Все попытки поздно спохватившейся матери отвратить их от этого «родового» влечения не увенчались успехом. Это, наверное, вряд ли было возможно сделать, ибо, как писал позднее сам Николай, «одни военные науки занимали меня страстно, в них одних находил я утешение и приятное занятие, сходное с расположением моего духа»[29]. На самом деле это была страсть прежде всего к парадомании, к фрунту, которая с Петра III, по словам биографа царской фамилии Н.К. Шильдера, «пустила в царственной семье глубокие и крепкие корни». Даже слывший за большого либерала (и какое-то время действительно являвшийся таковым) Александр I тоже был верным поборником вахтпарадов. О Константине Павловиче нечего и говорить: для него не было полноты ощущения жизни без плаца, без маршировавших по нему воинских команд. Пристрастие к данной стороне армейской жизни было в крови и у Николая Павловича. Страсть к парадам, смотрам, маневрам, разводам оставалась для него едва ли не главной и в тот период, когда он находился на вершине власти. Подтверждение тому мы находим в его письмах сыну Александру, в мае 1837 г. отправившемуся в ознакомительную поездку по России. До завершения путешествия в середине декабря того же года сорокалетним самодержцем и отцом было написано 23 письма, и в каждом из них на первом месте стоят сообщения об удачно (или не очень) прошедших смотрах, учениях, маневрах. Создается впечатление, что не император управляет процессом бесконечной и бессмысленной муштры, а он сам попал в прочную зависимость от него. Иначе не было бы откровенного признания сыну: «Я замучен ученьями <…> Теперь дал себе несколько дней отдыха и займусь чтением бумаг»[30]. «Ученья, смотры, парады и разводы он любил неизменно до самой смерти и производил их даже зимой», – пишет о Николае один из его современников[31]. По свидетельству ближайшего к нему человека, его друга А.Х. Бенкендорфа, он получал от них «единственное и истинное наслаждение»[32]. Братья Николай и Михаил даже придумали «семейный» термин для выражения того удовольствия, что они испытывали, когда смотр гренадерских полков проходил без сучка и задоринки, – «*пехотное наслаждение*»[33]. Поэтому и во время многочисленных поездок по стране у государя на первом плане всегда были «смотры войск, маневры, ученья – массами и отдельными частями, с пальбою и без пальбы,

со всеми при такой муштре обычными последствиями, как то: арестами, выговорами, замечаниями и тому подобными суспициями»[34].

С шести лет Николая начинают знакомить с русским и французским языками, Законом Божиим, русской историей, географией. Затем следуют арифметика, немецкий и английский языки – в результате Николай хорошо владел четырьмя языками. Как отмечала фрейлина двора А.Ф. Тютчева, Николай I вообще «обладал даром языков»[35]. Правда, хорошо усвоив разговорный русский язык, Николай так и не смог научиться грамотно и правильно писать. Этот свой недостаток он знал и не стеснялся в том признаваться. Однажды, по словам князя Н.Н. Тенишева, вел. кн. Николай Павлович, передавая офицерам полка самолично составленную очередную инструкцию (к чему он был весьма горазд), предупредил: «Не обращайте внимания, господа, на орфографию; я должен сознаться, что на эту часть при моем воспитании не обращали должного внимания» (здесь Николай явно лукавил). Конечно, замечает мемуарист, он в приватном порядке «мог поручить кому-нибудь переписать, но это не отвечало прямому и честному его характеру»[36]. В.А. Муханов, близко знавший Николая Павловича, также удостоверяет, что «на отечественном языке государь говорил и писал без затруднений и бегло, но неправильно и употреблял слова не в собственном их значении»[37]. Почти вовсе не давались Николаю латинский и греческий языки, и его нелюбовь к ним такова, что он впоследствии ничуть не задумываясь исключил их из программы обучения своих детей, ибо, как он объяснял, «терпеть не может латыни с тех еще пор, когда его мучили над нею в молодости»[38]. С 1802 г. Николая учат музыке, рисованию. Научившись недурно играть на трубе (корнет-а-пистоне), отличающимся, как известно, мягким бархатистым звучанием, после двух-трех прослушиваний он, от природы одаренный хорошим слухом и музыкальной памятью, без нот мог исполнить в домашних концертах не только простенькие и бесхитростные музыкальные пьесы, но и достаточно сложные произведения. Причем с самого раннего детства Николаю нравилось пение придворных церковных певчих. Церковное пение настолько его захватывало, что ему, как он не раз признавался своим близким, каждый раз «хотелось плакать»[39]. Любовь к церковному пению он сохранил и в зрелые годы, и, зная наизусть все церковные службы, при случае охотно подпевал своим звучным баритоном певчим на клиросе. Сам он так отзывался о своем голосе и своих певческих способностях: «В самом деле, у меня голос не дурен, и если бы я был духовного звания, то, вероятно, попал бы в придворные певчие»[40]. Надо сказать, что Николай I неплохо рисовал карандашом и акварелью (особенно ему удавались наброски вздыбленных коней). Более того, он научился требующему большого терпения, верного глаза и твердой руки искусству гравирования.

В 1809 г. обучение Николая и Михаила решено было расширить до университетских программ. Но идея направить их в Лейпцигский университет, как и мысль отдать в Царскосельский лицей, отпала по причине начавшейся Отечественной войны 1812 г. В итоге они продолжи-

ли домашнее образование. К занятиям с великими князьями теперь привлекли известных тогда профессоров: экономиста А.К. Шторха, правоведа М.А. Балугьянского, историка Ф.П. Аделунга и др. Но первые две дисциплины не увлекли Николая. Свое отношение к ним он позже выразил в инструкции М.А. Корфу, определенному им преподавать своему сыну Константину законоведение: «Не надо слишком долго останавливаться на отвлеченных предметах, которые потом или забываются, или же не находят никакого приложения в практике. Я помню, как нас мучили над этим два человека, очень добрые, может статься, и очень умные, но оба несноснейшие педанты: покойные Балугьянский и Кукольник (отец известного драматурга. – *М.Р.*). Один толковал нам на смеси всех языков, из которых не знал хорошо ни одного, о римских, немецких и Бог весть еще каких законах; другой – что-то о мнимом "естественном" праве. В прибавку к ним являлся еще Шторх, с своими усыпительными лекциями о политической экономии, которые читал нам по своей печатной французской книжке, ничем не разнообразя этой монотонии. И что же выходило? На уроках этих господ мы или дремали, или рисовали какой-нибудь вздор, иногда собственные их карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучивали кое-что в долбяжку, без плода и пользы для будущего. По-моему, лучшая теория права – добрая нравственность, а она должна быть в сердце независимо от этих отвлеченностей и иметь своим основанием – религию»[41].

У Николая очень рано проявляется интерес к строительному и особенно инженерному делу. «Математика, потом артиллерия и в особенности инженерная наука и тактика, – пишет он в своих записках, – привлекали меня исключительно; успехи по сей части оказывал я особенные, и тогда я получил охоту служить по инженерной части»[42]. И это не пустая похвальба. По свидетельству инженер-генерал-лейтенанта Е.А. Егорова, человека редкой честности и бескорыстия, Николай Павлович «питал всегда особенное влечение к инженерному и архитектурному искусствам <…> любовь его к строительному делу не покидала его до конца жизни и, надо сказать правду, он понимал в нем толк <…> он всегда входил во все технические подробности производства работ и поражал всех меткостью своих замечаний и верностью глаза»[43]. В.А. Муханов уверенно пишет, что Николай Павлович «вполне знал фортификацию, инженерное дело и фронтовое построение. Сооруженные укрепления в его царствование в Кронштадте, Севастополе, внутри империи и в Царстве Польском, где ничего не строилось без предварительного самого подробного рассмотрения и утверждения планов самим императором, свидетельствуют об основательных и обширных знаниях покойного в фортификации»[44]. И многие другие современники не раз отмечают его «образцовую подготовленность» и «совершенное знание» предмета его профессионального интереса[45]. Поэтому вовсе неслучайно его военная специализация в последующем – командование инженерными войсками.

В 17-летнем возрасте обязательные учебные занятия Николая практически заканчиваются, они теперь ведутся крайне нерегулярно, без

прежней строгости. Отныне он часто и охотно бывает на разводах, парадах, учениях, т.е. целиком предается тому, что ранее не поощрялось, в первую очередь матерью – вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Братья Николай и Михаил стали систематически посещать и многочисленные дворцовые торжества и церемонии, вкушая все прелести светской жизни.

В начале 1814 г. осуществилось, наконец, давнее желание великих князей Николая и Михаила отправиться в Действующую армию. Они пробыли за границей около года. В этой поездке Николай познакомился со своей будущей женой, принцессой Фредерикой-Луизой-Шарлоттой-Вильгельминой, дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III. Выбор невесты не был волею случая, а отвечал еще чаяниям Павла I укрепить династическим браком отношения между Россией и Пруссией.

В 1815 г. братья вновь в Действующей армии во время известных «ста дней» Наполеона, но участия в военных действиях, как и в первом случае, не принимали – на то не было благословения Александра I. Зато старшему из братьев, Николаю, сопутствовала удача в делах сердечных – на обратном пути в Берлине состоялась официальная помолвка с принцессой Шарлоттой. Очарованный ею 19-летний юноша по возвращении в Петербург пишет невесте знаменательное по содержанию письмо: «Прощайте, мой ангел, мой друг, мое единственное утешение, мое единственное *истинное* счастье, думайте обо мне так часто, как я думаю о Вас, и любите, если можете, того, кто есть и будет на всю жизнь Вашим верным Николаем». Ответное чувство Шарлотты столь же сильно, и 1(13) июля 1817 г., в день ее девятнадцатилетия, состоялась пышная свадьба. С принятием православия немецкая принцесса наречена русским именем – Александра Федоровна.

Еще до женитьбы состоялись две ознакомительные поездки Николая – по десяти с лишним губерниям России и в Англию (в 1816 – начале 1817 г.). По желанию матери, Николай во время путешествия по России вел журнал, заключающий в себе большей частью краткие (беглые) описания отдельных городов, общие обзоры состояния губерний со слов их губернаторов. Даже преданный М.А. Корф вынужден заключить, что в целом эти описания «не имеют особенного значения». Но он же отмечает наличие в заметках Николая «следов наблюдательного и любознательного ума, в особенности везде обнаруживают отлично доброе сердце и желание добра». Но в полном соответствии с любовью Николая прежде всего к внешней, показной стороне армейской службы, не отличаются большой содержательностью записи и «по части военной», как правило, содержащие замечания, как пишет М.А. Корф, «до одних неважных [частностей] военной службы, одежды, выправки, маршировки и проч. *и не касаются ни одной существенной части военного устройства, управления или морального духа и направления войска*. Даже о столь важной стороне военного дела, какова *стрельба*, – вынужден заметить Корф, – нет нигде речи, о

лазаретах же, школах и тому подобном упоминается лишь вскользь, чрезвычайно кратко»[46]. Впрочем, возможно, не совсем справедливо было бы требовать всего этого от 20-летнего юноши.

Но здесь мы вернемся чуть назад, к 24 января 1813 г., когда 16-летний Николай напишет письмо своему учителю древних языков и морали (последний предмет включал чтение и разбор нравоучительных произведений) Ф.П. Аделунгу, по сути, представляющее собой небольшое сочинение по мотивам «Похвального слова Марка Аврелию» писателя Тома. Напомним, что живший во II веке н. э. римский философ-стоик, в последние 20 лет жизни – император Римской империи, более всего известен трактатом «К самому себе»[47], содержащим рассуждения по вопросам мироздания и этики. Несмотря на то, что произведение Тома было давно переведено на русский[48], Николай предпочел иметь дело с французским изданием.

Впечатление от прочитанного таково, что он не удержался от юношеских восторгов: «Этот образчик возвышенного красноречия принес мне величайшее наслаждение, раскрыв предо мною все добродетели великого человека и показав мне в то же время, сколько блага может сотворить добродетельный государь с твердым характером»[49]. Пересказывая далее своими словами размышления Марка Аврелия, Николай останавливает внимание прежде всего на тех из них, которые отвечают его собственным жизненным ориентирам и ценностям: «“Как частица вселенной, ты обязан, Марк Аврелий (Тома эти слова вкладывает в уста воспитателя героя – Аполлония. – *М.Р.*), принимать безропотно все, что предписывает мировой порядок; отсюда рождается твердость в перенесении зол и мужество, которое есть не что иное, как покорность сильной души. Как член общества, ты должен приносить пользу человечеству: отсюда возникают обязанности друга, мужа, отца, гражданина. Переносить то, что предписывается законами естества, исполнять то, что требуется от человека по существу его природы: вот два руководящих правила в твоей жизни”. Тогда я уразумел, что называется добродетелью, и уже не боялся более сбиться с прямого пути <…> Для выполнения таких обязанностей нужно было бы, чтобы *взор государя мог обнять все, что совершается на огромных расстояниях от него, чтобы все его государство было сосредоточено в одном пункте, пред его мысленным оком. Нужно было бы, чтобы до его слуха достигали все стоны, все жалобы и вопли его подданных; чтобы его сила действовала так же быстро, как и его воля для подавления и истребления всех врагов общественного блага*. Но государь так же слаб в своей человеческой природе, как и последний из его подданных. Между правдою и тобою, Марк Аврелий, воздвигнутся горы, создадутся моря и реки; часто от этой правды ты будешь отделен только стенами твоего дворца, – и она все-таки не пробьется сквозь них. Помощь, тебе оказанная, не слишком пособит твоей слабости. Дело, доверенное чужим рукам, идет или медленно, или уторопляется, или извращается в самой своей задаче. Ничто не исполняется согласно с замыслом государя; ни-

что не доходит до него в надлежащем виде: добро преувеличивается, зло – прикрывается, преступление – оправдывается, и государь, всегда слабый или обманутый, всегда подверженный влиянию заблуждений или измены тех лиц, которые поставлены им затем, чтобы все видеть и слышать – постоянно колеблется между невозможностью знать и необходимостью действовать». Прилежно приведя эту обширную цитату из сочинения Тома, Николай, относясь к личности Марка Аврелия, как он признается, с «величайшим сочувствием», делает многозначительное признание: «Правление этого государя вполне подтверждает, что он не говорил пустых фраз, но действовал по плану, глубоко и мудро обдуманному, никогда не отклоняясь от принятого пути». Марк Аврелий, заключает Николай, как государь, «вполне достоин удивления и подражания»[50]. Последнее утверждение знаменательно: в переданном Николаем тексте практически в полном объеме определены контуры и основных принципов будущего его правления, до начала которого оставалось еще более 10 лет, и действий самодержца.

После вступления в брак, ставший кормильцем семьи Николай Павлович назначен генерал-инспектором по инженерной части и шефом лейб-гвардии Саперного батальона, что вполне отвечало его наклонностям и желаниям. И здесь, на последней должности, его неутомимость и рвение с первых дней службы поражали и видавших виды служак. Ранним утром он являлся на линейное и ружейное учения сапер, в 12 часов скачет в Петергоф, а в 4 часа дня вновь садится на коня и снова скачет 12 верст до лагеря, где остается до вечерней зори, лично руководя работами по сооружению учебных полевых укреплений, рытью траншей, установке мин, фугасов и прочее. При этом, по свидетельству сослуживцев, «до совершенства знавший свое дело» Николай, фанатично требовал того же от других и строго взыскивал за любые промахи подчиненных. Взыскивал так, что телесно наказанных солдат (обладая необыкновенной зрительной памятью, он знал поименно всех нижних чинов «своего» батальона и знал, кто на что способен) зачастую уносили на носилках в лазарет. И это объяснялось не только природной жестокостью Николая Павловича, но и его убежденностью в необходимости точного (буквального!) исполнения параграфов воинского устава, предусматривавших беспощадные наказания солдат за малейшие провинности палками, розгами, шпицрутенами[51]. При этом надо помнить, что не только в лагерях на учениях, но и в обыденной армейской жизни, как отмечает один из выпускников Михайловского инженерного училища, в это время «розги и кулаки служили общепринятым орудием солдатского образования»[52]. Николай Павлович не был и не хотел быть выключенным из этой «общепринятой» системы обучения солдат. Он так и не посчитал для себя нужным прислушаться к наставлениям генерал-адъютанта, графа П.П. Коновницына, которому в 1815 г. император Александр I поручил присмотр за своими братьями во время их пребывания в Действующей армии. Суть этих наставлений заслуженного воина, видимо, заметившего определенные на-

клонности братьев, сводилась к тому, что воинское искусство командования состоит отнюдь не в «фельдфебельской науке»: «Если придет время командовать Вам частями войск <…> старайтесь улучшить положение каждого, не требуйте от людей невозможного. Доставьте им прежде нужный и необходимый покой, а потом уж требуйте точного и строгого исполнения истинной службы. Крик и угрозы только что раздражают, а пользы Вам не принесут»[53]. Не случайность появления этого необычного в общем-то наставления была очевидна для тех, кто близко знал вел. кн. Николая, – уже в ту пору в практике его общения с подчиненными преобладали «крики и угрозы».

В июле 1818 г. Николай Павлович был назначен командиром бригады 1-й гвардейской дивизии (в составе л.-гв. Измайловского и Егерского полков), с сохранением за ним и должности генерал-инспектора. Ему шел 22-й год, и он искренне радовался этому назначению, ибо получил реальную возможность (хотя и в ограниченных пределах) *самому* командовать войсками, *самому* назначать учения и смотры. О большем в ту пору он, кажется, и не мечтал. В этой должности Николаю Павловичу преподали первые уроки подобающего офицеру поведения, положившие начало позднейшей легенде об «императоре-рыцаре».

Как-то во время очередных учений он сделал грубый по форме и несправедливый по сути выговор перед фронтом полка К.И. Бистрому – боевому генералу, командиру л.-гв. Егерского полка, имевшему множество наград и ранений. Взбешенный генерал явился к командиру Отдельного гвардейского корпуса И.В. Васильчикову и просил его передать вел. кн. Николаю Павловичу свое требование формального извинения. Васильчикову долго не удавалось убедить своего подчиненного принести требуемое извинение публично оскорбленному им генералу и лишь угроза довести до сведения императора Александра I о случившемся заставила Николая извиниться перед Бистромом, что он нехотя и сделал в присутствии офицеров полка[54]. Заметим, что, к чести Николая Павловича, в последующем (уже после восшествия на престол) он неизменно оказывал старому генералу свое подчеркнутое уважение. Но тогда полученный урок не сразу пошел впрок вел. кн. Николаю Так, спустя некоторое время за незначительные нарушения в строю он устроил оскорбительный разнос ротному командиру В.С. Норову, заключив выговор фразой: «Я вас в бараний рог согну!» Офицеры полка потребовали, чтобы бригадный командир «отдал сатисфакцию» Норову. Но поскольку дуэль с членом царствующей фамилии по определению невозможна, то офицеры подали в отставку. Конфликт удалось погасить с большим трудом.

Но ни эти неприятности и ничто другое не могли задушить чрезмерное служебное рвение Николая Павловича. Следуя «твердо влитым» в его сознание правилам воинского устава, он всю свою энергию тратил на муштровку находившихся под его началом подразделений. «Я начал взыскивать, – вспоминал он позднее, – но взыскивал один, ибо что я по долгу совести порочил, дозволялось везде, даже моими на-

чальниками. Положение было самое трудное; действовать иначе было противно моей совести и долгу; но сим я явно ставил и начальников и подчиненных против себя. Тем более, что меня не знали, и многие или не понимали или не хотели понимать»[55].

Надо признать, что строгость его как бригадного командира была отчасти оправдана тем, что в офицерском корпусе в ту пору «и без того уже расстроенный трехгодичным походом порядок совершенно разрушился <…> Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, а служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день»[56]. Дело доходило до того, что многие офицеры приезжали на ученья во фраках, небрежно (и в этом был особенный шик!) накинув на плечи шинель и надев форменную шляпу. И все это на глазах у нижних чинов! Каково было мириться с этим до мозга костей службисту Николаю, строго следовавшему параграфам воинского устава. И он не мирился, что вызывало не всегда оправданное осуждение у современников. Известный своим ядовитым пером мемуарист Ф.Ф. Вигель писал, что вел. кн. Николай «был необщителен и холоден, весь преданный чувству долга своего; в исполнении его он был слишком строг к себе и к другим. В правильных чертах его белого, бледного лица видна была какая-то неподвижность, какая-то безотчетная суровость <…> Никто не знал, никто не думал о его предназначении; но многие в неблагосклонных взорах его, как в неясно писанных страницах, как будто уже читали историю будущих зол <…> Скажем правду: он совсем не был любим»[57]. О том же пишет и другой современник, князь П.В. Долгоруков: «Николай Павлович перед вступлением своим на престол командовал гвардейским корпусом и был ненавидим офицерами. Графиня Шарлотта Карловна Ливен однажды сказала ему: “Николай, Вы делаете только глупости! Вас все ненавидят”»[58].

Относящиеся к этой же поре свидетельства других лиц выдержаны в основном в том же ключе, но добавляют и кое-что новое: «Обыкновенное его выражение имеет в себе нечто строгое и даже неприветливое. Его улыбка есть улыбка снисходительности, а не результат веселого настроения или увлечения. Привычка господствовать над этими чувствами сроднились с его существом до того, что вы не заметите в нем никакой принужденности, ничего неуместного, ничего заученного, а между тем все его слова, как и все его движения, размеренны, словно перед ним лежат музыкальные ноты. В великом князе есть что-то необычное: он говорит живо, просто, кстати; все, что он говорит, умно, ни одной пошлой шутки, ни одного забавного или непристойного слова. Ни в тоне его голоса, ни в составе его речи нет ничего, что обличало бы гордость или скрытность. Но вы чувствуете, что сердце его закрыто, что преграда недоступна и что безумно было бы надеяться проникнуть в глубь его мысли или обладать полным доверием»[59].

На другого современника наибольшее впечатление произвела доходившая до состояния галлюцинаций страстная увлеченность Николая Павловича военными играми. Так, когда во время одного из учений гвардейских частей возглавляемый им отряд, как всегда, одержал победу над «неприятелем», то он «понесся впереди всех, взлетел на холм с обнаженным мечом и пеной у рта, круто осадил взмыленного коня и торжествуя над воображаемым врагом, крикнул: “Вот они! Попраны! Раздавлены! Уничтожены!” И тут же, сняв каску, запел: “Взбранной воеводе победительная, яко избавльшеся от злых”»[60]. Н.К. Шильдер, в том числе имея в виду и подобное проявление экзальтированности в поведении Николая, замечает, что и цесаревич Константин, и император Александр I, а затем и их младшие братья «любили военное дело особенным образом, как искусство для искусства», унаследовав это качество от своего отца Павла I и сохранив его вплоть до начала Крымской войны[61].

На службе Николай Павлович пребывал в постоянном напряжении, он застегнут на все пуговицы мундира, и только дома, в семье, вспоминала императрица Александра Федоровна о тех днях, «он чувствовал себя вполне счастливым, впрочем, как и я, когда мы оставались наедине в своих комнатах»[62]. В записях В.А. Жуковского, в ту пору преподававшего Александре Федоровне русский язык (которым она так и не смогла как следует овладеть), этому признанию находится убедительное подтверждение: «Ничего не могло быть трогательнее видеть великого князя в домашнем быту. Лишь только переступал он к себе за порог, как угрюмость всегда вдруг исчезала, уступая место не улыбкам, а громкому, радостному смеху, откровенным речам и самому ласковому обхождению с окружающими <…> Счастливый юноша <…> с доброю, верною и прекрасной подругой, с которой он жил душа в душу, имея занятия, согласные с его склонностями, без забот, без ответственности, без честолюбивых помыслов, с чистой совестью, чего не доставало ему на земле?»[63]

Путь к трону

И вдруг в одночасье все переменилось. Летом 1819 г. Александр I неожиданно сообщает Николаю и его жене о намерении отказаться от трона в пользу младшего брата. «Никогда ничего подобного не приходило мне в голову даже во сне, – подчеркивает Александра Федоровна. – Нас точно громом поразило; будущее показалось нам мрачным и недоступным для счастья»[64]. Сам Николай сравнивает ощущения свое и жены с ощущением спокойно гулявшего человека, когда у того внезапно «разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот совершенное изображение нашего ужасного положения»[65]. И он не лукавил, сознавая, сколь тяжел будет для него замаячивший на горизонте крест

судьбы – царская корона, к которой «столь мало вели меня и склонность и желания мои», откровенно признается Николай Павлович в своих «Записках», написанных позднее «*для детей своих*»[66].

Следует отметить, то, что явилось ошеломляющей неожиданностью для великокняжеской четы, не было какой-то случайной, внезапно в голову пришедшей в голову Александра I идеей. Известно, что еще в молодости он имел тайное желание каким-либо способом избежать уготованной ему участи. 10 мая 1796 г. он пишет своему ближайшему другу В.П.Кочубею: «Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом <…> Я обсудил этот предмет со всех сторон <…> Мой план состоит в том, чтобы, по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастие в обществе друзей и в изучении природы». В чем же причина такого малодушия 19-летнего юноши, имевшего неплохие природные задатки и целенаправленно подготавливаемого к занятию престола своей мудрой бабкой едва ли не с отроческих лет? Ответ на этот вопрос, как представляется, содержится в том же письме Кочубею: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду <…> При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправить укоренившиеся в нем злоупотребления; это выше сил не только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения. А я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно»[67]. Беспросветный пессимизм Александра обусловлен хозяйничаньем в государственных делах последнего фаворита Платона Зубова при постаревшей и не столь уже энергичной, как прежде, Екатерине II, когда «от канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно»[68].

Но вернемся к Николаю, в жизни которого пока ничего не изменилось. Сказанное Александром I осталось лишь словами – он не делает каких-либо реальных шагов для приобщения бригадного генерала к государственным делам, хотя уже составлен (правда, втайне даже от ближайшего окружения) манифест о переходе в будущем престола Николаю в связи с добровольным отказом от царствования законного наследника цесаревича Константина. Все это время Николай предоставлен самому себе и по-прежнему занят, как он сам писал, «ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где <…> собирались ежедневно <…> знатные лица, имевшие доступ к государю. В сем шумном собрании проводили мы час, иногда и более <…> Время сие было *потерей времени*, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался»[69].

Вот и вся школа подготовки Николая к управлению государством. В мае 1826 г. видный чиновник Министерства иностранных дел П.Г. Дивов записывает в своем дневнике сказанные уже императором Николаем I слова: «Я никогда не думал вступить на престол, меня воспитывали как будущего бригадного генерала»[70]. К тому же, надо заметить, он вовсе не стремился когда-нибудь занять престол, к чему, как он сам признавался, «столь мало вели меня и склонность и желания мои; степень, на которую я никогда не готовился и, напротив, всегда со страхом взирал, глядя на тягость бремени, лежавшего на благодетеле моем» (императоре Александре I. – *М.Р.*)[71]. Хотя в этих словах, возможно, не вся правда – его «желания» на самом деле могли простираться гораздо дальше, но они тщательно скрывались им. Николай Павлович позволял себе иногда лишь чуть приоткрываться в приватных разговорах с наиболее доверенными лицами, когда последние сетовали на свою судьбу. Так, в ноябре 1823 г. (четыре года с лишним спустя после памятной беседы с братом Александром) он со значением говорит А.Ф. Орлову: «Ты – Алексей Федорович, а я – Николай Павлович, между нами разница, и ежели тебе тошна бригада, каково же мне командовать бригадою, имея под собою инженерный корпус с правом утверждать уголовные приговоры до полковника»[72]. Как видим, вел. кн. Николай Павлович в действительности хотел большего. По сдобренным значительной долей лести воспоминаниям уже упомянутого выше В.А. Муханова, высказываемая среди близких лиц боязнь Николая оказаться на троне имела под собой более чем веские основания: «Если бы, при столь многих прекрасных свойствах, которыми был одарен покойный император, он получил воспитание соответственно его великому назначению, без сомнения он был бы одним из самых великих венценосцев. К сожалению, в ту пору жизни, где образование приготавливает каждого к прохождению его поприща, никто не мог предполагать, что юный великий князь будет призван на царство. При воспитании его более всего обращено внимание на преподавание военных наук <…> за сим обучение остальных предметах, как, например, истории, географии и языках было самое поверхностное и недостаточное <…> Что же касается до наук политических, о них и не упоминалось <…> Курс экономии политической [А.К.] Шторха, посвященный великим князьям Николаю и Михаилу, и писанный для них, никогда не был ими пройден вполне <…> Когда решено было, что он будет царствовать, государь сам устрашился своего неведения и старался по возможности образовать себя чтением и беседами с людьми учеными. Но условия жизни рассеянной, преобладание военного дела, светлые радости жизни семейной отвлекали его от постоянных кабинетных занятий»[73].

В феврале 1825 г. Николай назначен командиром 1-й гвардейской дивизии, но это «продвижение по службе» ничего по существу не изменило в его жизни. Как пишет М.А. Корф. после памятного разговора 1819 г. в Красносельском лагере «ничто во внешнем образе действия императора не обнаруживало намерения привести в исполнение вы-

раженную тогда мысль. Великий князь не был приобщен ни к каким высшим правительственным соображениям, не был ознакомлен с делами государственными и вообще был совершенно удаляем от всего, что выходило из официальной его сферы – дивизионного командира в гвардейском корпусе и начальника инженерной части»[74]. Он по своему положению мог стать членом Государственного совета, но не стал. Почему? Ответ на этот вопрос отчасти дает декабрист В.И. Штейнгейль в своих «Записках о восстании». Касаясь просочившихся в общество слухов об отречении Константина и назначении наследником Николая, он приводит слова профессора Московского университета А.Ф. Мерзлякова: «Когда разнесся этот слух по Москве, случилось у меня быть Жуковскому; я его спросил: "Скажи, пожалуй, ты близкий человек[75] – чего нам ждать от этой перемены?" – "Суди сам, – отвечал Василий Андреевич, – я никогда не видел книги в [его] руках; единственное занятие – фрунт и солдаты"»[76].

Поведение Александра I, вынужденного до поры до времени сохранять тайну принятого им решения об изменении порядка наследования трона, вполне объяснимо – он не хотел давать какого-либо повода для досужих разговоров. Этого не мог не понимать и сам Николай, но вместе с тем такое положение не могло в какой-то мере не уязвлять самолюбия обнадеженного перспективой занятия престола полного энергии великого князя. И так оставалось вплоть до получения 25 ноября 1825 г. в Петербурге известия из Таганрога об опасной болезни императора (Александр I, как известно, совершал поездку по югу России, предполагая проехать весь Крым). На другой день вел. кн. Николай пригласил к себе председателя Государственного совета и Комитета министров князя П.В. Лопухина, генерального прокурора князя А.Б. Куракина, командира Гвардейского корпуса А.Л. Воинова и военного генерал-губернатора Петербурга графа М.А. Милорадовича, наделенного в связи с отъездом императора из столицы особыми полномочиями, и объявил им свои права на престол, видимо, считая это чисто формальным актом, ибо твердо знал о таковом решении брата. Но, как пишет декабрист С.П. Трубецкой, со слов весьма осведомленного бывшего адъютанта цесаревича Константина Ф.П. Опочинина, граф Милорадович «ответил наотрез, что великий князь Николай не может и не должен никак надеяться наследовать брату своему Александру в случае его смерти; что законы империи не дозволяют государю располагать по завещанию; что притом завещание Александра известно только некоторым лицам и неизвестно в народе; что отречение Константина тоже неявное и осталось не обнародованным; что Александр, если хотел, чтоб Николай наследовал после него престол, должен был обнародовать при жизни своей волю свою и согласие на нее Константина; что ни народ, ни войско не поймут отречения и припишут все измене, тем более, что ни государя самого, ни наследника по первородству нет в столице, но оба были в отсутствии; что, наконец, гвардия решительно откажется принести Николаю присягу в таких обстоятельствах, и не-

минуемым затем последствием будет возмущение. Совещание продолжалось до двух часов ночи. Великий князь доказывал свои права, но граф Милорадович их признать не хотел и отказал в своем содействии. На том и разошлись»[77]. А ведь еще перед отъездом Александра I в Таганрог князь А.Н. Голицын обратил его внимание на возможное «неудобство» от того, что «акты, изменяющие порядок престолонаследия», при продолжительном отсутствии царя в столице оставляются «необнародованными, и какая может родиться от того опасность в случае внезапного несчастия»[78].

Утром 27 ноября фельдъегерь привез известие о смерти императора Александра I, и вел. кн. Николай Павлович, поколебленный доводами Милорадовича и не обратив внимания на отсутствие обязательного в таких случаях Манифеста о восшествии на престол нового монарха, первым присягнул «законному императору Константину». В принятии такого решения Николаем могли сыграть свою роль и несомненно дошедшие до него слова Милорадовича, сказанные им в приятельском кругу: «У кого 60 000 штыков в кармане, тот может смело говорить», выразительно похлопывая при этом по своему карману. «Разные члены Совета, – дополнил Милорадович, – пробовали мне говорить и то, и другое; но сам великий князь согласился на мое предложение, и присяга была произнесена <…> Теперь от его [Константина] воли будет зависеть вновь отречься»[79]. 60 тысяч штыков для столичного гарнизона цифра, конечно же, мифическая, но что любопытно, в народных толках сказанное Милорадовичем трансформировалось в точно такое же число «замаранных» в заговоре против царя господ[80]. Как бы то ни было, за вел. кн. Николаем присягу Константину не мешкая принесли и все остальные. 28 ноября Николай извещает об этом барона И.И. Дибича: «Я принес присягу моему законному государю императору Константину Павловичу. Теперь моя совесть спокойна <…> все последовало моему примеру; гвардия, город, все присягнуло; я сам привел Совет к присяге к себе. Все спокойно и тихо»[81] (заметим, однако, что и члены Государственного совета, и сенаторы сделали это не без известных колебаний, вызванных все тем же тайным характером передачи права наследования трона Николаю).

С этого дня (27 ноября) начинается спровоцированный узким семейным кланом царствующей фамилии политический кризис, так называемое *междуцарствие*, продолжавшееся целых 17 дней. В это время между Петербургом и Варшавой, где находится Константин, беспрестанно снуют курьеры – братья уговаривают друг друга занять фактически остающийся свободным престол. И делают это в полной тайне даже от ближайшего своего окружения. Последнее обстоятельство, по мнению весьма осведомленного принца Евгения Вюртембергского, племянника императрицы Марии Федоровны, высказанному уже после смерти Николая I, «много бедствий произошло в то время от скрытности, так как ни император Николай, ни его мать, состоявшие одни только в переписке с цесаревичем Константином Павловичем, никому не говорили всей

правды и никто не знал достоверно, без всякой утайки, о чем, собственно, велись переговоры и в каком положении были дела»[82].

Возникла небывалая для России ситуация. Если ранее в ее истории, как правило, шла жесточайшая борьба за трон, часто доходившая до смертоубийств, то теперь братья словно соревнуются в отказе от прав на высшую власть. Но в поведении Константина, которому идет 46-й год, есть какая-то двусмысленность, мотивы которой до сей поры остаются не до конца разгаданными. Вместо того чтобы незамедлительно поспешить в столицу, как того требовала сложившаяся ситуация, он ограничивается письмами к матери и брату с неофициальными отказами от царствования. Члены царствующей фамилии, пишет в этой связи французский посол Лаферронэ, «играют короной России, перебрасывая ее, как мячик, один другому»[83]. Но пожалуй, в оценке сложившейся ситуации точнее был отечественный мемуарист, когда писал, что Николай в ходе «неразумных, но честных церемоний с братом своим Константином, предлагая корону друг другу, как Манилов и Чичиков стояли в дверях, уступая один другому дорогу»[84]. Николай, желая соблюсти полную законность передачи власти и отвести возможные обвинения в ее узурпации, хочет добиться от Константина личного подтверждения факта своего отречения. Но это – не очевидный факт: по позднейшему мнению Н.К. Шильдера, младший брат «отказывался от престола потому, что не верил, чтобы Константин Павлович отказался о такого лакомого куска»[85]. На чем конкретно основано это мнение нам неизвестно, но оно принадлежит весьма сведущему человеку и мы не можем его игнорировать. Сам же Николай пишет следующее в своих «Записках»: «После долгих прений, я остался при том мнении, что брату должно было объявить манифестом, что, оставаясь в решимости им уже освященной отречением, утвержденным духовной императора Александра, он повторяет оное и ныне, не принимая данной ему присяги»[86]. Константин же упорно этого не делает, хотя невозможно допустить непонимание им драматизма сложившейся ситуации, особенно после письма к нему Николая от 3 декабря: «Припадая к стопам вашим, как брат, как подданный, я молю вас о прощении, о благословении, дорогой, дорогой Константин; решайте мою судьбу, приказывайте вашему верному подданному и рассчитывайте на его беспрекословное подчинение»[87]. Не понять смысла заложенного в этих фразах крика отчаяния уже видевшего себя на троне Николая невозможно, равно как трудно допустить, что Константин, не принимая престол, вел какую-то свою скрытную игру. Потому есть основания довериться свидетельству дочери М.И. Кутузова, Дарье Михайловне Опочининой, говорившей С.П. Трубецкому, что «она уверена, что Константин не примет престола», потому что «он всегда говорил: “На престоле меня задушат, как задушили отца”»[88].

К 12 декабря стало очевидным, что «брат Константин» в Петербург не приедет и никакого официального отречения от трона человека, фактически его не занимавшего, не последует.

По случайному стечению обстоятельств, в этот же день из Таганрога был доставлен пакет на имя «Императора Константина» от начальника Главного штаба И.И. Дибича. После недолгих колебаний (вообще мало свойственных ему) все еще великий князь Николай, только на днях уверявший Константина, что он его «верный подданный», не предназначенный ему пакет вскрыл. «Пусть изобразят себе, – пишет Николай Павлович, – что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное (в пакет. – *М.Р.*) письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись через всю империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии. Тогда только почувствовал я в полной мере всю тягость своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властью, с опытностью, с решимостью – я не имел ни власти, ни права на оную; мог только действовать через других <…> без уверенности, что совету моему последуют»[89]. Последняя фраза, как показали развернувшиеся события, ничего не стоит. Буквально все остававшиеся рядом с еще не утвердившемся на высшей ступени власти Николаем Павловичем должностные лица ревностно исполняли все его приказания и распоряжения.

Следует сказать, что в оценке ситуации, обрисованной в позднейших своих «Записках» Николай не сгущал красок, ибо к тому моменту он, со слов адъютанта командующего пехотой Гвардейского корпуса К.И. Бистрома Я.И. Ростовцева, приятеля декабриста Е.П. Оболенского, в общих чертах уже знал о готовящемся «возмущении при новой присяге»[90].

Из ответного письма Николая Дибичу, написанному и отправленному в день получения его послания, совершенно очевидно следует, что без пяти минут царь при всех своих страхах перед ближайшим будущим голову не терял, и его распоряжения тверды и логичны: «Решительный курьер воротился; послезавтра поутру я – или государь, или без дыхания <…> Генерал Толь здесь, и я его пошлю в Могилев с этим известием к графу Сакену и ищу доверенного для такого же назначения в Тульчин к Ермолову <…> если где-либо что заварится и вы о том узнаете, поручаю вам сейчас ехать туда, где будет нужно ваше присутствие. На вас полагаюсь совершенно и вперед разрешаю все вами принимаемые меры. Я вам послезавтра, если жив буду, пришлю – сам еще не знаю кого – с уведомлением, как все сошло <…> Здесь у нас о сию пору непостижимо тихо; но тишина часто предшествует буре. Довольно об этом. Да исполнится воля Божия <…> я на все готов»[91].

Содержание письма ясно показывает, насколько Николай был введен в заблуждение уверенным утверждением Я.И. Ростовцева о том, что при новой присяге «военные поселения и отдельный Кавказский корпус решительно будут против» и его расплывчатыми словами о ситуации в двух армиях на юге России – о них «ничего не умею сказать»[92]. Николай Павлович озабочен прежде всего тем, чтобы преду-

предить нежелательное развитие событий в этих «опасных» регионах, и не предпринимает никаких превентивных мер в самой столице. Он, с одной стороны, интуитивно чувствует приближение «бури», но, с другой – убаюкан «непостижимой» тишиной и неоднократными уверениями отвечающего за спокойствие в столице Милорадовича о «совершенном спокойствии» здесь[93]. Однако в целом его сильно тревожит неопределенность в развитии дальнейших событий и он, проявляя явное малодушие, посвящает в свои страхи жену: «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество и, если придется умереть, – умереть с честью»[94]. И это говорится от природы крайне чувствительной и впечатлительной особе, выросшей в стерильной среде прусского королевского двора. Такое можно позволить себе в действительно угрожающей обстановке. Видимо, Николай Павлович так и полагал, иначе 13 декабря не появился бы проект указа о назначении в случае его смерти вел. кн. Михаила Павловича правителем государства до совершеннолетия Александра Николаевича[95].

В ночь на 13 декабря Николай Павлович предстал перед Государственным советом. Первая произнесенная им фраза: «Я выполняю волю брата Константина Павловича» – должна была показать членам Совета вынужденность его действий. Затем Николай «зычным голосом» зачитал в окончательном виде отшлифованный М.М. Сперанским Манифест о своем восшествии на престол, а затем огласил документы, подтверждающие законность наследования им престола: письмо вел. кн. Константина к Александру I с отречением от права наследования престола от 14 января 1822 г.; ответ Александра Константину от 2 февраля того же года; манифест Александра I от 16 августа 1823 г., устанавливающий переход права на престол к Николаю; письмо Константина к вдовствующей императрице Марии Федоровне (от 26 ноября 1825 г.), подтверждающее его добровольное отречение от престола; его же письмо Николаю от 26 ноября[96], а также ответ Константина председателю Государственного совета П.В. Лопухину от 3 декабря на все ту же злободневную тему. «Все слушали в глубоком молчании, – напишет в своих «Записках» Николай I, – и по окончании чтения глубоко мне поклонились». Причем, как он специально несколько озадаченно отметил, что особенно «отличился Н.С. Мордвинов, против меня бывший, всех первый вскочивший и ниже прочих отвесивший поклон»[97]. Это был тот самый Мордвинов, который, по слухам, склонился на сторону заговорщиков и даже намечался ими в состав Временного революционного правительства[98].

Несмотря на то, что, как утверждал С.П. Трубецкой, выражавший мнение многих и многих, что «молодые великие князья надоели»[99], корни рабской покорности были столь прочны, что вовсе нежданная перестановка фигур на вершине власти членами Совета принята спокойно, как вполне естественный акт. Был ли этим удовлетворен ставший уже императором Николай I? В общем, наверное, да, хотя дневниковая запись личного секретаря императрицы Марии Федоровны Г.И. Вилла-

мова позволяет в этом чуть усомниться. Когда «в три четверти часа пополуночи», пишет он, на царской половине дворца все стали поздравлять нового императора, то Николай сказал: «Меня не с чем поздравлять, обо мне сожалеть должно»[100]. Впрочем, это могло быть проявлением обычного для него позерства.

Заседание Совета завершилось глубокой ночью, а ранним утром 14 декабря почти не спавший Николай Павлович (как свидетельствует Александра Федоровна, «мы легли спать очень поздно, и Николай встал очень рано»[101]) обратился к собранным в Зимнем дворце генералам и командирам гвардейских частей с небольшой проникновенной речью, зачитал им Манифест о своем восшествии на престол и несколько неуверенно спросил: «Не имеет ли кто каких сомнений?» Ответом было единодушное признание его законным своим монархом. Выдержав, исходя из значительности момента, точно выверенную паузу, Николай I произнес: «После этого вы отвечаете мне головой за спокойствие столицы; а что до меня, если буду *императором* хоть один час, то покажу, что был того достоин»[102]. Затем генералитет, высший офицерский состав принесли ему присягу в Главном штабе и отправились в свои части для приведения к очередной присяге офицеров и солдат.

Обещание Николая I быть «достойным» императором в какой-то степени пугало его окружение. Как пишет в своих не предназначавшихся для публикации воспоминаниях инженер-строитель К.К. Жерве, после принесения присяги Николаю в среде военных все «разговоры, даже общие, имели какой-то отпечаток грусти и страха. Как видно было, императора Николая побаивались не на шутку: не зная почему, но по какому-то внутреннему голосу, все ожидали перемен и, как можно было полагать по грустным и напряженным разговорам – не к лучшему»[103]. Примечательно, что так же настороженно, если не сказать большего, к факту восшествия на престол Николая отнеслась теперь уже тоже вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна (правда, никак не связывая это с возможными переменами). Так, в одном из своих писем матери в феврале 1826 г. она писала: «Признаюсь, мне всегда нужно некоторое усилие над собой, чтобы назвать Николая Государем! Так я была уверена, что не проживу достаточно для того, чтобы видеть его на этом месте!» Об ее отношении к событиям междуцарствия мы узнаем из другого ее письма матери от 10 (22) февраля 1826 г.: «Вы спрашивали, знала ли я об отречении великого князя Константина. Да, я знала, что он уже давно о нем объявил, знала в свое время и то, что обнародованные теперь письма действительно им написаны[104]. Но вместе со многими я думала, что когда время придет, он не исполнит того, что говорил. Будучи уверена, что не увижу сей жестокой минуты, я мало об этом думала и не знала, что существует акт, облеченный в столь строго законную форму. Мой государь считал, что все затруднения, связанные с неизвестностью престолонаследия, им предотвращены: всю же беду вызвала поспешность Николая, которую хочу приписать

только излишнему его усердию. Он знал о существовании формального акта <…> Следовало не торопиться с приведением к присяге Константину; но, как Николай действовал стремительно, то Совет потерял голову и, казалось, будто смеются над присягами. Мне было известно, какое это произвело впечатление на многих. Некоторые говорили: “Как же мы можем давать две присяги, притом произносить вторую, не будучи освобождены от первой?” Поэтому и полк, восставший первым, ошибся, думая, что партия, благоприятствующая Николаю, хотела захватить власть над Константином, которого она считала законным государем». Здесь важно обратить внимание на то, что корреспондентка в письме передает не только свои личные впечатления, но и своего окружения.

В наступивший критический для Николая день он был внешне спокоен. Но истинное его душевное состояние выдают слова, сказанные им тогда А.Х. Бенкендорфу: «Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг»[105]. Мысль в этот и предшествующие дни для него навязчивая, и он о том же напишет П.М. Волконскому: «Четырнадцатого я буду государь или мертв»[106].

К восьми часам утра 14 декабря завершилась церемония присяги в Сенате и Синоде, пришли первые обнадеживающие известия о спокойно прошедшей присяге в ряде гвардейских полков. Казалось, все сойдет благополучно[107]. Однако находившимся в это время в столице членам тайных обществ («северянам») в условиях продолжающегося междуцарствия, как пишет декабрист М.С. Лунин, «пришла мысль, что наступил час решительный, дающий право <…> прибегнуть к силе оружия»[108]. Но эта благоприятная для вооруженного выступления ситуация явилась для заговорщиков полной неожиданностью, для удовлетворительной его организации судьба отпустила слишком мало времени. Даже пламенный К.Ф. Рылеев «был поражен нечаянностью случая» и вынужден с горечью признать: «Это обстоятельство дает нам явное понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам, мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты»[109]. Отсюда, по определению того же Лунина, «несвязность принятого предначертания для военных действий; вымыслы для возбуждения солдат, раздраженных, но не созревших для действия; отсутствие распоряжений в решительное мгновение»[110]. Показательно, что импульсивного К.Ф. Рылеева, лихорадочно искавшего в самый канун выступления план Зимнего дворца, самоуверенно осадил А. Бестужев, с явной ухмылкой сказанной фразой: «Царская фамилия не иголка, и если удастся увлечь войска, то она, конечно, не скроется»[111]. Обратим внимание на это пресловутое «если», прозвучавшее еще до начала выступления, которое практически и будет определять едва ли не все последующие действия декабристов.

В стане заговорщиков идут бесконечные споры на грани истерики[112] и все же в конце концов решено выступать. «Лучше быть взятыми на площади, – убеждал себя и своих сотоварищей Н. Бестужев, –

нежели на постели»[113]. Более категоричен И.И. Пущин, возлагавший большие надежды на якобы появившуюся возможность осуществления политических и социальных преобразований в стране. 12 декабря он напишет: «Случай удобен, ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов»[114]. С этим все молча согласились и далее вопрос быть или не быть выступлению уже не возникал – все сомнения сняты на таком вот эмоциональном уровне, без попыток здравой оценки и анализа всей совокупности реальной обстановки. Но в чем все заговорщики с самого начала проявили полное единодушие, так это в определении опорной установка выступления – «верность присяге Константину и нежелание присягать Николаю»[115]. Декабристы сознательно пошли на обман, убеждая солдат (кстати, в большинстве своем хорошо знавших порядок престолонаследия), что следует защитить права законного наследника престола цесаревича Константина от посягательств Николая.

14 декабря 1825 года

В сумрачный, ветреный день при 7 градусах мороза на Сенатскую площадь на исходе 10-го часа первой вступила часть не принявшего новой присяги Московского полка. Остальные части, на выступление которых рассчитывали декабристы, подтягивались как-то вяло и только к трем часам дня на площади перед Сенатом собралось около трех тысяч солдат, «стоявших за Константина», с тремя десятками в основном младших офицеров, их непосредственных командиров[116]. По разным причинам прибыли далеко не все части, на выступление которых накануне так надеялись лидеры заговорщиков. К тому же у собравшихся на площади войск не было ни артиллерии, ни кавалерии. Струсил и не явился на площадь определенный диктатором, отвечающим за исправное исполнение намеченных действий, князь С.П. Трубецкой. В ящике его письменного стола затерялся и заготовленный проект Манифеста с требованиями, обращенными к членам Сената.

Поскольку нас прежде всего интересует вопрос, как именно проявил себя в этот драматический день только что провозглашенный императором Николай Павлович, то чуть подробнее остановимся на событиях в правительственном лагере, предшествовавших вступлению «мятежных» войск на Сенатскую площадь. Это поможет установить, насколько отвечает истине мнение ряда современников о том. что в тот день у него «душа была в пятках», что он проявил трусость[117].

Утром 14 декабря Николай I уже после встречи с командирами гвардейских частей виделся с М.А. Милорадовичем и вновь выслушал его «новые уверения совершенного спокойствия» в столице[118]. Генерал-губернатор в этом абсолютно уверен, а потому весел и беззаботен. Об этом, в частности, пишет один из чиновников Государственного совета, случайно встретившийся с ним в то же утро: «Навстречу мне – граф

Милорадович, щегольски одетый и веселый. “Я сейчас был с рапортом у нового императора, – сказал он, – о благополучном состоянии столицы; все места присягнули уже, да и город весь, можно сказать, потому что с утра нельзя пробиться к церквам”. На вопрос же мой о войске, отвечал, что и оно присягнуло, только в конной артиллерии под Смольным что-то случилось, но это вздор»[119]. Милорадович настолько беспечен, что отправляется на завтрак к справлявшему свои именины директору театрального училища А.А. Майкову (шаг по-человечески объясним – граф был страстным театралом), по пути побывав у молоденькой танцовщицы Е.А. Телешевой, к которой, как он всех уверял, питал «чистейшую любовь» (по словам же П.А. Каратыгина, он был с ней в «коротких отношениях»[120]). Здесь и застала его весть о том, что «бунт 14 декабря начался»[121]. Впрочем, и при дворе общая атмосфера раннего утра этого дня была спокойной – поступающие отовсюду сведения не содержали в себе ничего такого, что давало бы основания для каких-либо опасений. Потому в 9 утра Николай I встретил прибывшего в Зимний дворец брата Михаила словами: «Ну, ты видишь, что все идет благополучно, войска присягают и нет никаких беспорядков». – «Дай Бог, – отвечал Михаил, – но день еще не кончился»[122]. И его опасения сбылись – не прошло и получаса, как командующий гвардейской артиллерией генерал-майор И.О. Сухозанет явился с известием, что «в гвардейской артиллерии офицеры оказали сомнение в справедливости присяги», почему они и были им арестованы. Не успел Николай I как следует переварить эту информацию, как тут же в «совершенном расстройстве» прибыл начальник штаба Гвардейского корпуса генерал-майор А.И. Нейгардт с известием, что «Московский полк в полном восстании», что «мятежники идут к Сенату». Весть эта, как признавался сам Николай, его «поразила как громом», ибо он, зная о существовании заговора, «узнал в сем первое его доказательство»[123]. Право, было от чего растеряться, сникнуть… Но сознание того, что в данной ситуации только что занявший престол Николай отстаивал не только свои уже признанные высшими чинами права на трон, но и саму идею самодержавного правления, придавало ему силы и решимость.

Это и определило четкость и решительность последующих его действий и распоряжений. Именно эти качества молодого царя в первую очередь выделяют в его действиях современники – очевидцы событий. Но это ему, видимо, давалось нелегко. Как вспоминает находившийся на Сенатской площади во время развернувшихся там событий брат известного трагика В.А. Каратыгина, Николай Павлович «был бледен, но на лице его не было заметно ни малейшей робости; он распоряжался молодцом»[124]. Другой современник, бывший офицер Преображенского полка П.С. Деменков, имевший возможность наблюдать Николая в непосредственной близости, тоже пишет о том, что он «был бледен, на лице его замечалось какое-то грустное выражение; но вместе с тем он, казалось, был величаво спокоен»[125]. Последнее бросилось в глаза и декабристу В.И. Штейнгейлю: «Его величавое, хотя

несколько мрачное спокойствие обратило тогда же всеобщее внимание»[126]. Умение держать себя в руках в трудные моменты жизни позволило Николаю при общей растерянности решительно взять подавление бунта на себя и в короткое время стянуть к Сенатской площади около 9 тыс. штыков гвардейской пехоты, 3 тыс. сабель кавалерии и 36 артиллерийских орудий. Кроме того, были вызваны из городских предместий и сосредоточены у застав в качестве резерва еще 7 тыс. пехоты и 3 тыс. кавалерии. Превосходство очевидное, но не это сыграло определяющую роль в относительно скоротечном и драматическом исходе мятежа.

Томительное, почти пятичасовое стояние в одних мундирах на холоде и ветру, без определенной цели, какого-либо боевого задания угнетающе действовало на солдат, терпеливо ожидавших, как пишет В.И. Штейнгейль, «развязки от судьбы»[127]. Судьба явилась в виде картечи, мгновенно рассеявшей их ряды.

Команда стрелять по каре восставших боевыми зарядами была дана не сразу, хотя Николай I с самого начала внутренне был готов к этому шагу. По воспоминанию генерал-лейтенанта барона К.Ф. Толя, в начале третьего часа дня[128] между ними состоялся такой диалог: «Карл Федорович, взгляните, что здесь происходит. Прекрасное начало царствования. Престол, обагренный кровью. Я собираюсь положить конец этому безобразию, приказав стрелять картечью». – «Государь! Предполагая, что это может случиться <…> я посоветовал <…> послать за ними» (зарядами картечи. – *М.Р.*). Но царь как будто все еще хочет сохранить лицо и произносит другую фразу, не согласующуюся в своей основе с первой: «Дорогой генерал, вы порекомендовали артиллерию, подумаем немного, стоит ли использовать пушку». Но затем, утратив всякую логику, вновь возвращается к ранее высказанному мнению: «Генерал, вы увидите, что в четверть часа все будет кончено»[129]. И все же Николай не решался на эту крайнюю меру и на советы многих окружающих его лиц применить ultra ratio (последний довод) – орудия гвардейской артиллерии, не вполне твердо отвечал: «Да, но я еще не совсем уверен в артиллерии»[130]. Свои доводы необходимости немедленного использования артиллерии привел и вертевшийся рядом с императором французский посол Лаферронэ: «Становится темно, и, мне кажется, государь, без пушек обойтись нельзя, потому что кабаки дадут случай развернуться бунту в городе»[131]. Слова посла о наступавшей темноте, а более – о возможности «бунта в городе» укрепили первоначальный настрой царя, особенно после того, как он пишет, мятежники «сделали по мне залп» и «пули просвистели мне через голову», а «рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями»[132].

Момент критический и надо было на что-то решаться, ибо, как полагал устрашенный своим окружением Николай, «бунт мог сообщиться черни»[133], хотя видимых оснований для подобных страхов не было и в помине.

Из желания оттянуть время для принятия ответственного решения, были предприняты атаки конногвардейцев на плотно сомкнутые колонны мятежников, но они из-за гололеда и отсутствия должного энтузиазма у нападавших, как известно, не дали ожидаемого результата. И в этой ситуации последним толчком, подвигшим императора на решительные действия, стала реплика генерал-адъютанта И.В. Васильчикова: «Ваше величество, нельзя терять ни минуты; ничего не поделаешь: нужна картечь!» Оба впоследствии (но особенно Николай) оправдывали решение «пролить кровь некоторых» ради высокой идеи: «Чтобы спасти империю»[134].

Ход дальнейших событий нашел отражение в многочисленных воспоминаниях очевидцев, в большинстве своем лишь в несущественных деталях отличающихся друг от друга. Доверимся свидетельству генерал-адъютанта А.И. Философова, 14 декабря 1825 г. в чине поручика и бригадного адъютанта 1-й артиллерийской бригады принимавшего непосредственное участие в драматических событиях этого дня.

В своем отклике на книгу М.А. Корфа «История жизни и царствования императора Николая I» он пишет: «Когда заряды были привезены, орудия заряжены и о сем государю, стоявшему у угла забора Исаакиевской церкви, донесено, е. в. послал Сухозанета объявить мятежникам, чтобы они покорились. Залп из ружей проводил генерала, который с сим ответом явился к государю без султана на шляпе. Выслушав его, государь, звонким своим голосом прокомандовал:

– Пальба орудиями по порядку; первый фланг, начинай! *Первая!*

Команда эта, повторяемая всеми начальниками, наконец, выговорена была и Бакуниным (поручик И.М. Бакунин командовал 4 орудиями 1-й легкой роты, прибывшими на Сенатскую площадь. – *М.Р.*); но слово “*Отставь!*”, прокомандованная государем, остановило *выстрел*. Чрез несколько секунд государь опять прокомандовал пальбу, и опять “*Отставь!*” остановило оную. Наконец, в третий раз е. в., убежденный в необходимости этой жестокой меры, прокомандовал опять и, сказав слово: “*Первая!*”, поскакал ко дворцу.

Третий раз повторенная Бакуниным команда оставалась без исполнения. *Пальник*, два раза слышавший отказ, не спешил выполнять команду банника: “Пли!” – Бакунин заметил это или ожидал это, он мгновенно соскочил с лошади, бросился к пальнику и сказал: “Что не стреляешь?” Ответ в полголоса: “Свои, ваше благородие”. “*Ежели бы я стоял перед дулом, то и тогда не должен бы ты был останавливаться!*” – закричал ему Бакунин.

Выстрел тотчас последовал, за ним второй, третий, так поспешно один за другим, что едва на седьмом выстреле канониры наши расслушали дробь для прекращения пальбы, с третьего выстрела раздававшуюся, и то тогда, когда мы, все офицеры, на батарее бывшие, бросились их останавливать»[135]. Огонь из четырех орудий, расположенных на расстоянии не более 100–150 шагов от карэ мятежников, длился около четверти часа, и было сделано восемь выстрелов (данные о числе

выстрелов сильно расходятся, например, И.О. Сухозанет пишет о 4 выстрелах, а дьякон Прохор Иванов – об «около двадцати»[136]), из них два – ядрами. Наиболее правдоподобная версия, по мнению исследователей, содержится в письме С.А.Хомякова своему сыну, в котором он утверждает, что «на первый выстрел, пущенный поверх голов (будто бы по приказу Николая, что, однако, не подтверждается другими, вызывающими доверие свидетельствами очевидцев. – *М.Р.*), бунтовщики отвечали криком “Да здравствует свобода!” Второй выстрел, лучше направленный (вот причина неприцельного первого выстрела. – *М.Р.*), несколько ослабил крик “ура!”, а третий смешал [ряды] бунтовщиков и обратил их в бегство, они направились по Галерной. Четвертый, пятый и шестой выстрелы, врезавшись в их беспорядочную толпу на этой узкой улице, произвели страшные опустошения, седьмой и восьмой, направленные против нескольких кучек, собравшихся на льду Невы, не достигли их, потому стреляли ядрами»[137].

Царь и лица из его ближайшего окружения впоследствии старались всячески приуменьшить число жертв на площади – назывались цифры 80, 100, редко 200 убитых. Последнюю цифру привел, например, сенатор П.Г. Дивов в своих дневниковых записях: «около 200 человек заговорщиков убито или ранено картечью»[138]. Под гипнозом этих цифр находятся и некоторые современные исследователи. Так, А.Д. Марголис полагает, что общее число убитых не превышало 200 человек, с учетом раненых – 700 человек[139]. В действительности общее число жертв с учетом и гражданских лиц было значительно больше, что, в частности, подтверждается документальным свидетельством современника событий С.Н. Корсакова, с 1817 г. служившего в Министерстве юстиции по статистическому отделению. Правда, исследователю П.Я. Канну, впервые опубликовавшему обнаруженный им в Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки документ, не удалось установить, ни того, для какой цели он создавался, ни те источники информации, которыми пользовался его автор. Однако это обстоятельство, думается, в силу профессиональных занятий С.Н. Корсакова никак не может влиять на уровень его компетентности, а потому нет оснований не доверять приводимым им данным. Вот текст этого небольшого документа, написанного на характерной для начала 2-й четверти XIX в. бумаге желтоватого цвета:

«При возмущении 14 декабря 1825 года убито народа:

генералов	1
штаб-офицеров	1
обер-офицеров разных полков	17
нижних чинов лейб-гвардии	
Московского	93
Гренадерского	69
Экипажа гвардии	103
Конного	17
во фраках и шинелях	39

женска пола	9
малолетних	19
черни	903
Итого	1271 человек»[140].

Но и приведенная цифра не может быть окончательной. В дневниковых записях английский путешественник Чарльз Эрл, посетивший Россию в конце 1825 – начале 1826 г., прямо пишет, что «навсегда останется тайной – сколько жертв вызвало это восстание, так как тела убитых были немедленнно спущены в Неву под лед»[141]. Из «Записок декабриста» Д.И.Завалишина тоже следует, что «все тела были сброшены в проруби на Неве»[142]. О том, что «тела бросали в проруби» пишет и В.И. Штейнгейль[143].

Действительно, из сообщения чиновника III Отделения М.М. Попова известно, что после расстрела 14 декабря Николай I отдал приказ обер-полицмейстеру Петербурга А.С. Шульгину к утру очистить площадь и ближайшие улицы от трупов и следов крови. В служебном рвении полиция, прорубив проруби во льду Невы, по некоторым сведениям, сплавляла под лед не только убитых, но и раненых. Кроме того, пишет М. Бестужев, когда колонна бегущих солдат достигла середины реки, лед «под тяжестью собравшихся людей и разбиваемый ядрами, не выдержал и провалился», и в образовавшейся «огромной полынье, барахтались и тонули солдаты»[144]. Сколько их было, утонувших, никто не считал.

А что же Николай I – император всероссийский? Каков он был в этот первый день своего правления? Как известно, после начала событий на Сенатской площади весь этот день Николай был на виду, в том числе какое-то время находясь впереди 1-го батальона Преображенского полка, и его мощная фигура на коне (правда, в самом начале событий он был в пешем строю) представляла отличную мишень. «Самое удивительное, – скажет он потом, – что меня не убили в этот день»[145]. И Николай твердо уверовал в то, что его судьбу направляет Божья рука. С этого времени, пишет хорошо знавший императора В.А. Муханов, «в тяжкие дни семейных и общественных и испытаний душа его искала силы в утешении веры; чтение Евангелия, теплая молитва и постоянная мысль о Боге укрепляли его»[146]. В целом оценки современниками – очевидцами поведения Николая в этот день – для него лестные, и в той или иной мере они сходны с отзывом П.А. Каратыгина: «Известно всем, что это несвоевременное представление на Руси (автор имеет в виду восстание декабристов. – *М.Р.*) имело несчастное fiasko благодаря твердости и мужеству молодого императора»[147].

Бесстрашное поведение Николая I 14 декабря многие объясняли его личным мужеством, храбростью. Для такого мнения вроде бы есть и основание – личное его признание, сделанное в этот день командиру Отдельного корпуса внутренней стражи Е.Ф. Комаровскому: «Я не трушу»[148]. Но это, вполне вероятно, могло быть произнесено вслух для укрепления своего духа. Тем более что для подобного предположения

есть основание. Много позже после происшедших событий одна из статс-дам императрицы Александры Федоровны свидетельствовала,что когда один из царских приближенных из явного стремления польстить стал говорить Николаю о его «геройском поступке» 14 декабря, о его «необыкновенной храбрости», государь довольно резко прервал собеседника, сказав: «Вы ошибаетесь; я был не так храбр, как вы думаете. Но чувство долга заставило меня перебороть себя». О руководившем его действиями в этот день чувстве долга в доверительной беседе он говорил в 1839 г. и французскому путешественнику де Кюстину[149]. И в последующем Николай I при случае всегда уверял своих собеседников, что в тот тяжелый для него понедельник 14 декабря он «исполнял лишь свой долг». Да и какое это имеет значение, что именно – личное мужество, храбрость или чувство долга – руководило действиями императора. Важно то, что самодержец, пусть и не без колебаний, но в конечном счете решился на пролитие крови, и это было страшно для самих представителей царской фамилии. «Но, великий Боже! – восклицала только-только овдовевшая императрица Елизавета Алексеевна. – Что за начало царствования, когда первый сделанный шаг – приказ стрелять картечью в подданных! Говорят, Николай это почувствовал и, уже отдав приказ, ударил себя в лоб, говоря: “Какое начало!” Дай Бог, чтобы это чувство оставило в нем глубокий след. Это может быть для него полезно»[150] (заметим в скобках, что сожаление о подобном начале царствования связано отнюдь не с сочувствием к декабристам, которых она называла «безмозглыми жалкими безумцами», а их намерения «детской игрой»).

Отдав приказ об открытии артиллерийского огня, царь не стал ждать его окончания и медленной рысью неспешно направился к Зимнему дворцу – мавр сделал свое дело. Доскакав до места, бодро соскочил с коня и зычным голосом обратился к «своему» Саперному батальону, с началом событий на площади вызванному для охраны царского семейства: «Здорово, мои саперы!» и поблагодарил их за верность долгу[151]. Грозный император, любящий муж, нежный отец, заботливый семьянин в кутерьме быстротечных событий не забыл также послать предупредить супругу о предстоящих выстрелах после принятого им решения о подавлении мятежа силой. Однако это не спасло императрицу, наблюдавшую за происходящим из окон своих комнат в Зимнем дворце, от сильного нервного потрясения, результатом которого стали навсегда сохранившиеся конвульсивные движения головы и заметно трясущиеся руки при каждом волнении[152]. И вот на дворцовых ступеньках навстречу мужу-императору появляется Александра Федоровна, которая позже опишет эту встречу так: «При звуке его голоса сердце мое забилось! Почувствовав себя в его объятиях, я заплакала, впервые за этот день. Я увидела в нем как бы совсем нового человека»[153].

Итог действиям императора в день 14 декабря подводит запись в формулярном списке императора, сделанная по его собственному прика-

зу: «14 декабря 1825 года во время возникшего в Петербурге бунта командовал главною гауптвахтою Зимнего дворца и с находившейся тогда на оной 9-ю егерскою ротою л.-гв. Финляндского полка занимал ворота, ведущие на большой двор; потом, по прибытии 1-го батальона л.-гв. Преображенского полка, лично вел оный и занял им Адмиралтейскую площадь. С прибытием же л.-гв. Конного полка, занял и Петровскую площадь. Наконец, принял начальство и над прочими собравшимися войсками гвардии <…> Когда же, при неоднократных увещаниях, толпа бунтовщиков не покорялась, то рассеял оную картечными выстрелами <…> По совершенном рассеянии злоумышленников, занял окрестности Зимнего дворца и продолжал начальствовать войсками до минования опасности и роспуска оных по квартирам»[154]. Но «по квартирам» войска из-за страха отпущены не сразу: боялись, как бы чего не случилось среди «черни». В результате, в ночь на 15 декабря, по показаниям очевидцев, три главные площади города (Дворцовая, Адмиралтейская и Сенатская) «представляли вид только что завоеванного города. На них так же пылали костры, около которых гвардейские солдаты отогревались и ели принесенную им из казарм пищу. По окраинам этих площадей протянуты были цепи застрельщиков <…> на углах стояли караулы и при них заряженные орудия. По всем направлениям площадей и смежным улицам ходили пехотные и разъезжали конные патрули»[155].

Приведенная выше запись в формулярном списке императора имеет строго служебное назначение и не должна была отражать его чувства, внутренние переживания. В выражении последних он достаточно скуп и в письмах к близким лицам. Так, например, в письме к пользовавшемуся его особым благоволением московскому генерал-губернатору князю Д.В. Голицыну от 15 декабря он, еще не остывший от перипетий предыдущего дня, ограничивается в общем-то бесстрастной фразой: «Я вступил на престол, начав с пролития крови моих подданных. Но смиряюсь перед Богом и прошу Всевышнего, да отвратит от меня и государства навсегда подобные гибельные происшествия»[156]. По-иному голос Николая звучит при объяснении своих действий 14 декабря в его обращении 20 декабря 1825 г. (1 января 1826 г.) к дипломатическому корпусу: «Это пример, который я должен дать России, и услуга моя Европе. Думаю, что оказал ей еще большую услугу, доказав, что с энергией и твердостью вполне возможно сломить дерзость революционеров и расстроить их преступные замыслы»[157]. Нам неизвестно имя того, кто составлял это обращение к изощренным в политических играх дипломатам, но не исключено, что и здесь не обошлось без М.М. Сперанского. Мы помним, что совсем недавно им был отшлифован окончательный текст Манифеста о вступлении на трон Николая I, за что благодарный император будто бы и ввел его в состав Верховного уголовного суда над декабристами, несмотря даже на то, что царем так до конца и не был снят вопрос о его «преступных» связях с декабристами. Впрочем, по мнению русского зарубежного историка и писателя Марка Алданова, то было изощренной акцией, морально губив-

шей его репутацию лидера либерального движения. Сперанский безропотным согласием на это сам способствовал своему падению в глазах прогрессивной части общества, особенно после без особого принуждения мастерски составленного им всеподданнейшего доклада о наказаниях осужденных декабристов. Тот же М. Алданов остроумно заметил по этому поводу, что Сперанский «после разгрома декабристов мог выйти из русской истории, сохранив достоинство», и тогда не было бы написанного им верноподданнического «всеподданнейшего доклада», но в таком случае, «в папке «Материалов для биографии» не было бы "Свода законов"»[158]. В этой исторической дилемме – жизненная драма умнейшего в самодержавной России человека.

Так же, как и перед дипломатами, Николай откровенен в письме брату Константину от 6 июня 1826 г.: «Если же и после этого примера найдутся неисправимые, то мы, по крайней мере, имеем право и преимущество доказывать прочим необходимость мер быстрых и строгих против всякой попытки разрушения, направленной против установленного порядка, освященного веками славы»[159].

«Компасом для меня служит моя совесть»

В литературе с давней поры продолжаются эмоциональные большей частью споры о жесткости или, наоборот, – милосердии Николая I в решении им участи декабристов, о его последующей мстительности к осужденным декабристам. В отношении последнего, кажется, не может быть двух мнений – в его царствование лишь некоторым из числа приговоренных к сибирской ссылке оказывалась царская «милость» умереть в войне с непокорными горцами на Кавказе. Никто из декабристов при его жизни даже несмотря на ходатайство (правда, несмелое) путешествовавшего по Сибири и встречавшегося там с «некоторыми из причастных к делу 14-го декабря» наследника престола вел. кн. Александра[160], так и не был амнистирован, хотя они уже не представляли в это время какой-либо опасности для власть имущих. Возможно, такая позиция императора отчасти объяснялась тем, что свою правоту он видел в том, что население страны, в подавляющем большинстве состоявшее из крепостных крестьян, отнеслось к восстанию декабристов враждебно. Один из секретных агентов III Отделения 18 июля 1826 г. (уже после казни пятерых декабристов) доносил: «О казни и вообще о наказании преступников в простом народе <…> слышны выражения: "Начали бар вешать и ссылать на каторгу, жаль, что всех не перевесили". Простой народ сильно негодует против дворянства»[161]. Основа приведенного слуха и других подобных ему толков в простонародной среде одна – «царь хотел дать крестьянам волю, да помещики не позволили». Как пишет в своих записках граф Д.Н. Толстой (его имение расположено в с. Знаменское Рязанской губ.), «возмущение» 14 декабря 1825 г. «произвело в общей массе провинциального населения по-

трясающее впечатление. Все обвиняли заговорщиков: посягательство на ограничение царской власти и на перемену образа правления казалось нам не только святотатством, но историческою аномалиею; а народ, видя, что заговорщики исключительно принадлежали к высшему сословию, прозвал дворянство изменниками, и это прибавило еще одну резкую черту к той затаенной вражде, которую он питал уже к помещикам»[162]. Основываясь на разного рода толках, он же, не называя конкретные города и села, пишет о том, что в «иных» из них «приходилось везти ссыльных декабристов вскачь и опрометью, потому что в них кидали грязью, снегом и даже каменьями и это делалось нашим простонародьем, которое вообще славится милосердием к частным преступникам»[163]. На это можно сказать лишь то, что простой народ не имел возможности узнать правду об антикрепостнической направленности движения декабристов.

Стоит привести и собственное отношение автора мемуаров – москвича – к случившемуся, ибо таких, как он, было, видимо, не так уж мало в столичной помещичьей среде. С казнью пятерых декабристов, пишет он, «с одной стороны, я не только не сочувствовал правительству, но смотрел лично на государя, как на тирана, который своему личному гневу принес столько жертв, а с другой – осознавал в нем представителя государства и отсюда мою личную обязанность служить ему, как верховному главе русского народа. Я охотно пошел бы в службу, но ни за что на свете не принял бы никакого придворного звания»[164]. Вот такой вот своеобразный «максималист» чисто российской выпечки, из-за принципиальной своей позиции не пожелавший наблюдать и за красочной церемонией коронации: «Я не хотел участвовать при встрече *деспота*! Я представлял себе пять виселиц и тех несчастных, которые на них погибли за благо русского народа»[165]. Но после этого спокойно пошел домой – обедать…

Более сложной и неоднозначной была реакция на события на Сенатской площади и на вынесенный приговор в среде провинциального дворянства. Практическое отсутствие сведений об отношении к происшедшему современников из числа провинциального дворянства, пожалуй, говорит за то, что оно в целом осталось равнодушным, за исключением тех, кто располагал более или менее достоверной информацией[166]. На это, кстати, вскользь указывает в своих воспоминаниях декабрист А. Муравьев, проследовавший в Сибирь через Тихвин, Ярославль, Вятку, Екатеринбург[167]. Некий подполковник Чебышев, характеризуя восприятие декабрьских событий дворянским сословием в целом, пишет о том, что «менее образованные люди одобряют строгую меру, принятую правительством к наказанию возмутителей, а просвещенные сожалеют о жребии, постигшем [их] за общеполезные намерения»[168]. Среди последней категории дворянства было достаточно распространено резко отрицательное отношение и к судебному фарсу над декабристами, и к самому факту казни «наиглавнейших» из них. В донесениях одного из многочисленных полицейских секретных агентов

специально отмечается, что восклицания «Какой ужас!» по поводу казней были слышны повсюду. Но на поверку оказалось, что это было некоторым преувеличением, ибо происходило в основном среди «жен, сестер, матерей, родственниц, приятельниц <…> сто двадцать одного преступника»[169]. 23 июля 1826 г. в личном письме царю петербургский генерал-губернатор П.В.Голенищев-Кутузов негодовал в связи с тем, что многие родственники осужденных декабристов «позволяют себе суждения непристойные», и в их числе в первую очередь называл С.Г. Волконскую, сестру декабриста С.Г. Волконского[170]. В числе публично не согласившихся с приговором была и З.А. Волконская (урожденная княжна Белосельская-Белозерская), жена брата С.Г. Волконского, Никиты. По донесениям агентов III Отделения, в своем московском музыкально-литературном салоне она не только «извергала злую брань» на «правительство и его слуг», но и готова была «разорвать на части правительство»[171]. В целом же, как справедливо отмечал А.И. Герцен, «высшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей. Не было почти ни одной аристократической семьи, которая не имела близких родственников в числе сосланных, и почти ни одна не осмелилась надеть траур или выказать свою скорбь»[172]. Более того, в свете была широко распространена молва, что «княгиня Волконская <…> допустила хладнокровно отправить сына в каторжную работу и даже танцевала с самим государем на другой день после приговора»[173]. Допустить или не допустить отправки сына на каторгу было, разумеется, не в ее силах. К тому же имеется и иная оценка этого факта: статс-дама двора А.Н. Волконская (урожденная Репнина) не оставила своей должности при дворе, чтобы «не раздражить императора, и надеялась, оставаясь при нем, улучить удобную минуту, чтобы испросить прощения виновного»[174]. Обнадеживало, с одной стороны, то, что по словам ее внучки Алины, «государь просил бабушку утешиться, не смешивать дела семейные с делами службы – одно другому не помешает»[175], с другой – по случаю коронации Николая I она сама получила бриллиантовые знаки ордена Св. Екатерины, а сыновья Николай и Никита награждены орденами Св. Александра Невского с алмазами и Св. Анны 1-й степени соответственно.

Но вернемся к вопросу о милосердии Николая I. Широко известны его слова, сказанные герцогу А.У. Веллингтону на переданную им просьбу английской королевы о помиловании: «Я удивлю Европу своим милосердием». И удивил: «Николай велел умертвить пятерых: Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Сергея Муравьева и Каховского, – писал А.И. Герцен. – Чтобы к смерти прибавить бесчестие, он топор заменил веревкой. Этот палач не понял, что таким образом из виселицы делается крест, перед которым преклонится не одно поколение»[176]. Более того, зная нрав Николая, его подлинное отношение к «бунтовщикам», верные сподручные молодого императора, вопреки обычаю, вторично повесили троих сорвавшихся с петель жертв царского приго-

вора. Как тут не привести его коротенькую резолюцию на донесении о тайном переходе через реку Прут, в нарушение установленного карантина, двух местных евреев-торговцев: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить»[177]. Эта кощунственная (12 раз через 1000 человек – верная смерть) резолюция относится к 1827 г. Царь «забыл», что он только-только повесил пятерых своих подданных. Причем предварительно собственноручно расписав весь церемониал казни. Вот текст собственноручной записки императора об обряде повешения пяти декабристов, направленной им графу П.В.Голенищеву-Кутузову: «В кронверке занять караул. С начала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом против знамен. Конвойным оставаться за ними щитая по два на одного. Когда все будет на месте то командовать на караул и пробить (на барабане. – *М.Р.*) одно колено похода, потом Г[осподам] генералам командующим эск[адронами] и арт[иллерией] Прочесть приговор после чего пробить 2 колено похода и командовать на плечо, тогда профосам (офицеры, исполнявшие в войсках полицейские функции. – *М.Р.*) сорвать мундир, кресты и переломить шпаги, что потом и бросить в приготовленный костер. Когда приговор исполнится, то вести их тем же порядком в кронверк, тогда взвести присужденных к смерти на вал, при коих быть священнику с крестом.

Тогда ударить тот же бой, как для гонения сквозь строй, докуда все не кончится после чего зайти по отделениям на право и пройти мимо и распустить по домам»[178].

Интересна сама история обнаружения этого документа: Л.Н. Толстой, возобновляя в 1878 г. работу над задуманным им романом «Декабристы», обратился к В.В. Стасову, являвшемуся членом Особого совета для сбора материалов по истории царствования Николая I, с просьбой помочь ему найти необходимые документальные данные для ответа на «мучивший» его вопрос: «Как решено было дело повешения 5-х, кто настаивал, были ли колебания и переговоры Николая с его приближенными»[179]. В.В.Стасову, находившемуся в приятельских отношениях с внуком бывшего петербургского генерал-губернатора, поэтом А.А. Голенищевым-Кутузовым, удалось выполнить просьбу писателя и добыть для него копию вышеприведенного документа. 8 или 9 июля 1878 г. Толстой пишет В.В. Стасову: «Не знаю, как благодарить вас, Владимир Васильевич, за сообщенный мне документ. Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос, мучивший меня <…> Я сейчас переписал документ, а писаный вашей рукой разорвал»[180].

Имеется и свидетельство хорошего знакомого Толстого князя Д.Д. Оболенского о реакции писателя на записку Николая: «…он был поражен собственноручной запиской Николая Павловича, в которой весь церемониал казни декабристов был предначертан им самим во всех подробностях <…> Мне Толстой читал снятую им копию <…>

“Это какое-то утонченное убийство”, – возмущался Л.Н. Толстой этой запиской»[181]. Заметим, что о существовании записки, до 1958 г. нигде не публиковавшейся, со слов Н.К. Шильдера, было известно П.Е. Щеголеву, который в связи с этим пишет следующее: «Существует один любопытный документ, о котором говорил нам Н.К. Шильдер. Сам Шильдер не только не привел его в своем труде о Николае I, но даже и не упомянул о нем. Это – составленный и собственноручно написанный Николаем Павловичем с многочисленными помарками обряд, по которому должна была быть совершена казнь и экзекуция над декабристами». Не нужно даже гадать, почему документ не был даже упомянут сладкоречивым биографом Николая Павловича Шильдером – он в корне менял внедряемое в сознание современников и последующих поколений представление о якобы намеренном невмешательстве императора в определение судьбы декабристов.

Причем надо помнить о том, что царь повесил пятерых декабристов не за конкретно совершенное преступное деяние, а за одно только весьма невнятное намерение цареубийства. Вот что в этой связи писал один из умнейших представителей русской интеллигенции той поры – консервативно настроенный князь Петр Андреевич Вяземский: «По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оного. Одна совесть, одно всезрящее Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные. Правительство должно обеспечить государственную безопасность от исполнения от подобных покушений, но права его не идут далее. Я защищаю жизнь против убийцы, уже подъявшего на меня нож, и защищаю ее, отъемля жизнь у противника, но если по одному сознанию намерений его спешу обеспечить свою жизнь от опасности, еще только возможной, лишением жизни его самого, то выходит, что уже убийца настоящий не он, а я»[182]. Нельзя не обратить внимания на созвучность принципиальной позиции Вяземского тому, что говорил на «суде» один из повешенных Николаем декабристов, П.И. Пестель: «Подлинно большая разница между понятием о необходимости поступка и решимостью оный осуществить». И другой, еще более весомый оправдательный его тезис: нельзя «гадательные» предположения принимать за «намерение и цель»[183].

Были, разумеется, и другие мнения представителей русской интеллигенции – от спокойно-рассудительных до гневно осуждающих. Так, писатель и критик М.А. Дмитриев писал в своих воспоминаниях о выступлении декабристов, как о несерьезной авантюре: «Что это за заговор, в котором не было двух человек, между собою согласных, не было определенной цели, не было единодушия в средствах, и вышли бунтовщики на площадь сами не зная зачем и что делать. Это была ребя-

чья вспышка людей взрослых, дерзкая шалость людей умных, но недозрелых!»[184].

Но вот мнение отца одного из будущих вождей славянофилов А.С. Хомякова: «Их преступление есть оскорбление нации» (к сожалению, автор письма так и не пояснил, в чем же конкретно в его понимании состоит это «оскорбление нации»). Здесь же он приводит обращенный к одному из московских вельмож вопрос Николая о настроениях в обществе накануне вынесения приговора, как он иронично называл декабристов, – «моим друзьям по Четырнадцатому» («Mes amis de Quatorre»): «Не боятся ли, что он будет суров?» – «Напротив, государь, боятся, что Вы будете слишком милостивы», – отвечал подобострастный чиновник и не вполне угодил сиюминутному настроению монарха: «Ни то, ни другое, я нахожусь в настоятельной необходимости *дать урок* (выделено мной. – *М.Р.*); но, надеюсь, у меня не станут оспаривать лучшее право государей – прощать и смягчать наказание»[185]. Вот это твердое «дать урок» будет и в дальнейшем определяющей нитью почти всех его поступков. Потому не стоит придавать большого значения его выспренним словам о том, что после вынесения приговора «не поддается перу, что во мне происходит; у меня какое-то лихорадочное состояние, которое я не могу определить. К этому, с одной стороны, примешивается какое-то особое чувство ужаса, а с другой – благодарности Господу Богу»[186]. В равной мере едва ли полностью можно довериться в ночь 12 (24) июля записанным словам в дневнике Александры Федоровны: «О, если б кто-нибудь знал, как колебался Николай I!». Эти колебания, если они и были, не помешали «рыцарю» Николаю Павловичу собственноручно (видимо, зрительно представляя это действо) в деталях, как было показано выше, расписать военному генерал-губернатору П.В. Голенищеву-Кутузову весь церемониал казни и экзекуции «злоумышленников», определив даже громкость и порядок барабанного боя. Все человеческое, если оно и было в глубине души Николая, в данном случае перевесили чувство мести к тем, кто покусился на незыблемость трона, на его *личные* права, а также его неконтролируемая страсть к регламентации всего и вся.

Впечатлительной Александре Федоровне, как она сама пишет, всю ночь перед казнью «мерещились мертвецы», но, однако, это не помешало ей после свершившейся казни с удовлетворением отметить, что «все прошло без каких-либо беспорядков» и откровенно лгать, что «виновные вели себя трусливо и недостойно», что «присутствовавшая при этом толпа <…> глумилась над трупами». Первая фраза безусловно навеяна словами супруга, который сразу после казни писал своей «милой матушке» Марии Федоровне: «Все совершилось тихо и в порядке, гнусные и вели себя гнусно, без всякого достоинства»[187]. Ее же душещипательная запись «Мой бедный Николай так много перестрадал за эти дни!» легко опровергается строками из его письма брату Константину от 29 января 1826 г.: «Если Богу будет угодно, я дойду до дна озера» пока «не будет найдена исходная точка всех этих происков»[188]. Тем са-

мым Николай I начиная с вечера 14 декабря был «заряжен» неутомимо искать и беспощадно искоренять корни «революционной заразы», откуда бы она ни исходила. Причем «заряжен» не силой обстоятельств, а, как он убежденно считал, – волей Провидения. 29 ноября (11 декабря) 1827 г. Николай делает брату Константину примечательное признание: «Никто не чувствует больше, чем я, потребность быть судимым со снисходительностью, но пусть же те, кто меня судит, имеют справедливость принять в соображение необычайный способ, каким я оказался перенесенным с недавно полученного поста дивизионного генерала на пост, который теперь я занимаю <…> Но я имею твердую уверенность, что Божественное покровительство, которое проявляется по отношению ко мне слишком осязательным образом, чтобы я не мог не заметить его во всем, что со мной случается, – вот моя сила, мое утешение, мое руководство во всем»[189]. В этом «Божественном покровительстве» он был убежден до конца своей жизни.

Трое суток спустя после казни декабристов Николай Павлович и Александра Федоровна в сопровождении огромной свиты, строго соблюдая всю предусмотренную дворцовым этикетом торжественность, направились в Москву для предстоящей коронации. Ничто в их поведении и облике не выдавало только что с такими «страданиями» пережитое.

22 августа 1826 г. коронация прошла без каких-либо заминок. По наблюдениям одного из современников, Николай, «сумрачный до коронования, просиял от сошедшей на него с короной Божьей благодати; он, казалось, слышал с неба голос: “*Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!*” Все «видевшие его входящим в храм до коронации, а затем выходящим после совершения ее, – замечает он, – не могли надивиться происшедшей в нем перемене. Он весь преобразился, твердо и уверенно выступал с лицом строгим, он повелительно смотрел – озаренный Святым духом»[190]. Это свидетельство современника позволяет предположить, что Николай Павлович до последнего момента в глубине души сомневался в реальной возможности происходящего. И не зря. Ибо, по мнению других современников, «восшествие на престол Николая имело вид узурпации для каждого мыслящего человека <…> в войсках вел. кн. Николай был не популярен», к тому же он был «мало приготовлен к высокому сану, на который, по обыкновенному порядку престолонаследования, он не имел никакого права. Да простят меня те, которые привыкли восхищаться железным характером и непреклонной волей императора Николая: упрямство совсем не доказывает твердость характера»[191].

После совершения обряда коронования состоялся торжественный обед в Грановитой палате, а потом, как пишет А.О. Смирнова-Россет, «не было конца балам и праздникам. Народу был устроен праздник на Ходынке, жареные быки, бараны, сласти и вино, и пиво. Бал и пляс до вечера, но тут некоторых почти до смерти раздавили»[192]. Это стало своеобразной прелюдией к ходынской трагедии 18 мая 1896 г. во вре-

мя раздачи царских подарков после коронации его тезки – Николая II.

14 декабря 1825 г. определило не только судьбу Николая Павловича, но во многом и страны в целом. Если, по словам автора знаменитой книги «Россия в 1839 году» маркиза Астольфа де Кюстина, в этот день Николай «из молчаливого, меланхоличного, каким он был в дни юности, превратился в героя»[193], то Россия надолго лишилась возможности проведения какой бы то ни было либеральной реформы, в чем она так нуждалась. Это было очевидно уже для наиболее проницательных современников. 14 декабря дало дальнейшему ходу истории «совсем иное направление», заметит граф Д.Н. Толстой[194], правда, не раскрывая, какое именно. Другой современник уточняет это заключение: «14 декабря 1825 года <…> следует приписать то нерасположение ко всякому либеральному движению, которое постоянно замечалось в распоряжениях императора Николая»[195]. «Это несчастное событие, – пишет еще один современник, – положило печать на все его 30-летнее царствование. Он постоянно старался поставить чин на место человека. Иначе нельзя было [в последующем] объяснить странных назначений как на высшие, так и на менее важные административные должности»[196].

Между тем восстания декабристов и вовсе могло не быть всего лишь при двух вполне выполнимых основных условиях. Более того, при разумном ходе вещей, при, говоря словами А.С. Пушкина, «доброй воле» предыдущего царя к проведению необходимых преобразований, отпала бы и сама необходимость тайных обществ, заговоров и пр.

Перечень стоявших перед страной задач, реализация которых поставила бы преграду на пути создания тайных обществ, приводит декабрист М.С. Лунин в своем знаменитом «Взгляде на русское тайное общество с 1816 до 1826 года»: «Тайное общество было глашатаем выгод народных, требуя, чтобы существующие законы, неизвестные даже в судилищах, где вершились по оным приговоры, были собраны, возобновлены на основаниях здравого рассудка и обнародованы; чтобы гласность заменяла обычную тайну в делах государственных, которая затрудняет движение их и укрывает от правительства и общественников злоупотребление властей; чтоб суд и расправа производились без проволочки, изустно, всенародно и без издержки; управление подчинялось бы не своенравию лиц, а правилам неизменным; чтобы дарования без различия сословий призывались содействовать общему благу <…> число войск уменьшено, срок службы военной сокращен <…> чтобы военные поселения, коих цель несбыточна, учреждение беззаконно, были уничтожены к предотвращению ужасов, там совершенных, и пролитой крови; чтобы торговля и промышленность были избавлены от учреждений самопроизвольных и обветшалых подразделений, затрудняющих их действия»[197]. Лунин приводил и другие значимые факты общественного неустройства.

Возвращаясь к тем условиям, при которых восстания декабристов можно было избежать, отметим, что о первом из них ясно говорит в своих «Записках» А.Е. Розен, волей обстоятельств вовлеченный в дви-

жение декабристов в самый последний момент. Отметив, что после получения известия о кончине Александра I «все сословия и возрасты были поражены непритворною печалью» и что именно с «таким настроением духа» войска присягнули Константину, Розен добавляет: «…чувство скорби взяло верх над всеми другими чувствами – и начальники, и войска так же грустно и *спокойно присягнули бы Николаю, если бы воля Александра I была им сообщена законным порядком»*[198] (выделено мной. – *М.Р.*). О втором условии говорили многие, но наиболее четко его изложил сам Николай I в беседе с французским послом Лаферронэ по горячим следам событий 20 декабря 1825 г.: «Я находил, нахожу и теперь, что если бы брат Константин внял моим настойчивым молениям и прибыл в Петербург, то мы избежали бы ужасающей сцены <…> и опасности, которой она повергла нас в продолжение нескольких часов»[199].

Как видим, случайное стечение обстоятельств во многом определило дальнейший ход событий и привело к попытке переменить власть посредством своеобразного военного переворота. Был еще один момент, тоже способствовавший развитию ситуации в предначертанном случайными обстоятельствами направлении. Речь идет о бытовавших в обществе представлениях о Николае Павловиче, как человеке. Именно об этом говорит в своих «Записках о моей жизни» известный журналист, издатель, публицист пушкинской эпохи Н.И. Греч, по его собственному признанию, после событий 1825 г. полностью «выветрившийся от либеральных идей»[200]. Вот его мнение: «Мы не знали вел. кн. Николая Павловича, или, лучше сказать, знали его с дурной стороны, видели в нем человека честного, строгого в исполнении своих обязанностей, но одностороннего, скрытного, взыскательного в безделицах <…> Если бы знали, что он наследник престола, если бы знали качества его души и сердца, не было бы постыдного возмущения 14 декабря, имевшего для России бедственные последствия. Ненависть к вел. кн. Николаю Павловичу была так велика, что ему предпочли бестолкового, взбалмошного Константина. Когда утром 14-го декабря на ектенье у обедни в церкви Симеона и Анны, провозгласили императора Николая, многие люди, и образованные, и простые, со страхом выбежали из церкви»[201].

Современный исследователь С.В. Мироненко, на основе анализа хронологии событий второй половины 1825 г. уверенно пишет о решающем, на его взгляд, факторе в цепочке случайностей, приведших к ситуации междуцарствия: если бы не неожиданная смерть императора в Богом забытом Таганроге, то проведение уже реально намеченных арестов десятков выявленных к тому времени участников тайных обществ неизбежно привели бы к их полному разгрому[202].

После поражения «предпринятого необдуманно и произведенного самым бестолковым образом»[203] восстания тут же начались аресты, а затем и допросы замешанных в возмущении лиц и членов тайных обществ. Причем аресты были почти повальными. В депеше шведского

посланника в Петербурге Пальмшерна от 5 (17) февраля 1826 г. своему министру иностранных дел сообщается об аудиенции у Николая I, где разговор шел и об «ужасном происшествии, которым в данную минуту заняты умы всех». Посланник, видимо, затронул тему и о беспрецедентной волне арестов. Николай I наставительно пояснил «несмышленому» представителю конституционной страны: «Явилась необходимость произвести массу арестов. Такие аресты не представляют несчастия для арестуемых, получающих вследствие этого возможность оправдаться и избавиться от дальнейших подозрений; способ этот неизбежен. В такой стране, как наша, к счастию не конституционной, аресты происходят законным образом, и если явилась бы необходимость, я приказал бы арестовать половину нации, ради того, чтобы другая половина осталась не зараженной»[204]. Нетрудно заметить, что император в послекризисной ситуации для стабилизации общей обстановки руководствовался тремя важнейшими для него постулатами: «Хватай всех, а там разберемся»; «Законность – это необходимость»; «Ради счастья одной части общества, пожертвуем другой». Николай I последователен в своих действиях: проживавших в столице лиц, предположительно замешанных в мятеже, полицейские чины разыскивали по собственноручно написанным им записочкам. Вот что пишет об одном из таких случаев Н.И. Греч: «В самый день 14-го декабря часу в первом ночи <…> раздался громкий звон колокольчика у дверей. Я вскочил с постели, накинул на себя халат и вышел в гостиную. Двери отворились, и вошел полицмейстер Чихачев, сопровождаемый отрядом Санта-Хармандада (отличавшаяся особой жестокостью жандармерия испанских королей в XV–XVIII вв. – *М.Р.*) – квартальными, жандармами, драгунами и т.п. Не извиняясь в том, что потревожил меня, он сказал мне: “Извольте отвечать на эти вопросы” и подал мне бумагу, на которой было написано: “Где живет Кюхельбекер? Где живет Каховский?” При этом имени написано было в скобках: “У Вознесенского моста, в гостинице “Неаполь”, в доме Мюссара”. Было еще несколько имен, которых не упомню. Я отвечал: “Кюхельбекер живет, сколько я знаю, неподалеку отсюда в доме Булатова. У Каховского адрес показан, но верно ли, мне неизвестно. О прочих не знаю”. – “Точно ли так?” – спросил Чихачев. – “Точно”. – “Знаете ли вы, кто написал это? Сам государь”. “Хорошо пишет!” – не удержавшись то ли съязвил, то ли позавидовал Греч[205].

Приведенный пример как нельзя лучше показывает, насколько прочно Николай усвоил один из постулатов из своего юношеского сочинения о Марке Аврелии: «Нужно, чтобы взор государя мог объять все!» и применил его в жизни. И первых из арестантов, приводимых со связанными за спиной руками в Зимний дворец к нетерпеливо ожидавшему их императору, он немедля ни минуты начинал допрашивать сам (большую часть доставляемых во дворец арестантов до образования Следственной комиссии допрашивали К.Ф. Толь и В.В. Левашев). Николай так спешил «открыть все замыслы»[206] «бунтовщиков», что проводил фактически вторую бессонную ночь, о чем сам и поведал: «Ни на ми-

нуту не ложился, а пробыл всю ночь (с 14 на 15 декабря. – *М.Р.*), как был в шарфе и шпаге, в беспрерывных допросах приводимых арестованных или в отдаче приказаний и получении донесений со всех концов»[207]. Желание получить от допрашиваемых хоть какие-то сведения столь сильно, что Николай чутко дремлет на диване «в полном мундире» и в ботфортах в ожидании очередных письменных их показаний, регулярно доставляемых К.Ф. Толем[208]. После ознакомления с ними следовали коротенькие записки коменданту Петропавловской крепости А.Я. Сукину, куда кого посадить.

При личных допросах декабристов Николай Павлович вел себя с ними до такой степени хитро, расчетливо и артистично, что подследственные, поверив в его чистосердечие, делали во время допросов даже по самым снисходительным меркам немыслимые по своей откровенности признания. Как это ему удавалось, на основе обобщения свидетельств самих допрашиваемых раскрывает историк П.Е. Щеголев: «Без отдыха, без сна он допрашивал <…> арестованных, вынуждал признания <…> подбирая маски, каждый раз новые для нового лица. Для одних он был грозным монархом, которого оскорбил его же верноподданный, для других – таким же гражданином отечества, как и арестованный, стоявший перед ним; для третьих – старым солдатом, страдающим за честь мундира; для четвертых – монархом, готовым произнести конституционные заветы; для пятых – русским, плачущим над бедствиями отчизны и страшно жаждущим исправления всех зол».

Прикидываясь почти их единомышленником, он таким образом «сумел вселить в них уверенность, что он-то и есть тот правитель, который воплотит их мечтания и облагодетельствует Россию»[209]. «Никто не обладал более императора Николая, – пишет М.А. Корф, – высоким даром действовать не только на воображение и на рассудок, но и на чувство. В этом отношении искусство его было, можно сказать, волшебное»[210]. Николай I, подчеркивает де Кюстин, «по-видимому, умеет подчинять себе души людей <…> от него исходит какое-то таинственное влияние»[211]. Впрочем, нельзя не учитывать влияния на степень откровенности при допросах и такого фактора, как «кодекс» офицера. Как пишет М.И. Пыляев, именно поэтому «виновные сознавались по первому спросу <…> лгать было стыдно»[212]. Но иногда Николай I вовсе не считал нужным прибегать к «волшебному искусству» воздействия на воображение, избирая самые грубые приемы. Так, князь С.Г. Волконский, привезенный фельдъегерем из Умани прямо в Зимний дворец, был введен в кабинет царя тоже со связанными руками и, как пишет П. Долгоруков, «из августейших уст был осыпан бранью и ругательствами самыми площадными». Это, видимо, действовало на стойкость допрашиваемых «бунтовщиков». Но в данном случае Волконский повел себя не по ожидаемому императором сценарию, своими расплывчатыми ответами стараясь всячески запутать следствие. Более того, он пытался взять вину на себя одного, например, при ответе на вопрос о происхождении «либеральных» мыслей: «Вкоренению же сих мыслей в мо-

ем уме <…> приписываю убеждению собственного моего рассудка <…> Приняв выше изъявленный образ мыслей в таких летах, где человек начинал руководствоваться своим умом, и продолжив мое к оным причастие с различными изменениями тринадцать лет – я никому не могу приписывать вину – как только себе, и ничьим внушением не руководствовался, а, может быть, должен нести ответственность о распространении оных»[213]. Примерно в таком же ключе он отвечал и при дальнейших допросах, и это обстоятельство дало основание Николаю I написать в своих «Записках»: «Сергей Волконский набитый дурак, таким нам всем давно известный, лжец и подлец в полном смысле, и здесь таким же себя показал. Не отвечая ни на что, стоял как одурелый, он собой представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека». Царь так и не понял, что Волконский его переиграл, притворившись эдаким «дурачком». Не все подследственные на это были способны и есть основание полагать, что череда признаний, раскаяний, взаимных оговоров подследственных была обусловлена главным образом тонким лицедейством царя-следователя. Читая письменные показания декабристов в ответ на задаваемые им вопросы, их письма Николаю из крепости, буквально встаешь в тупик, не зная, чему больше поражаться – отважному выражению своих взглядов или степени их безграничной открытости, откровенности, когда признания усугубляли не только их собственную участь, но и судьбу других членов тайных обществ[214]. Причем важно заметить, что они при этом отнюдь не руководствовались желанием смягчить свою личную участь. Более того, каждый по отдельности старался брать всю вину на себя, как было показано выше на примере С.Г. Волконского. Так поступил и С.П. Трубецкой. Откровенно рассказав о подробностях подготовки заговора, в своем показании он пишет: «Из сказанного видно, что я не только главный, но, может быть, единственный виновник всех бедствий оного дня и несчастной участи всех злополучных моих сотоварищей, которых я вовлек в ужаснейшее преступление и примером своим, и словами своими». К.Ф. Рылеев: «Я сам себя почитаю главнейшим виновником происшествий 14 декабря <…> если нужна казнь ради блага России, то я один ее заслуживаю»; П.Г. Каховский: «Я один причиною восстания лейб-гренадерского полка»[215] и т.д.

Вышеприведенные объяснения П.Е. Щеголева причин откровенных признаний подследственных дополняет прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка декабрист А.С. Гангеблов: «Нельзя не изумиться неутомимости и терпению Николая Павловича. Он не пренебрегал ничем: не разбирая чинов, снисходил до личного, можно сказать, беседования с арестованными, старался уловить истину в самом выражении глаз, в самой интонации слов ответчика. Успешности этих попыток много, конечно, помогала и самая наружность государя, его величавая осанка, античные черты лица, особливо его взгляд: когда Николай Павлович находился в спокойном, милостивом расположении духа, его глаза выражали обаятельную доброту и ласковость (как показывает

один из современников, император обладал особенным взглядом, "проникавшим в самую душу"[216]), но когда он был в гневе, те же глаза метали молнии»[217]. В такие минуты Николай Павлович, видимо, был настолько страшен, что даже один из самых примечательных личностей декабрист М. Бестужев-Рюмин, отнюдь не слабодушный по своей натуре, говорил ему на следствии: «Прошу у Вас о том, чтобы Вы не наводили на меня страх»[218]. И все же главное было в том, что царь-актер всегда «умел провести наблюдателей, которые простодушно верили в его искренность, благородство, смелость; а ведь только играл. И Пушкин, великий Пушкин, был побежден его игрой. Он думал в простоте души, что царь «почтил в нем вдохновение, что дух державный не жесток». А для Николая Павловича Пушкин был просто шалопаем, требующим надзора»[219]. Снисходительность же монарха к возвращенному им из ссылки поэту объясняется, как мы увидим далее, исключительно желанием и из него извлечь как можно большую выгоду.

Цель создания образа милосердного монарха безусловно преследовалась и при получивших широкую огласку назначении пенсии жене Рылеева, перед этим написавшего покаянное письмо царю из крепости, подарках к именинам его дочери и пр. Еще М. Лемке подметил тот факт, что когда «безумно любивший жену и дочь, Рылеев закончил свое признание 16 декабря словами: "Свою судьбу вручаю тебе, государь: я отец семейства", – Николай понял, на чем нужно играть с вдохновителем страшных событий Сенатской площади <…> Он послал жене тогда уже предназначенного к повешению 2000 рублей, а императрице поручил послать через несколько дней еще тысячу и – Рылеев, честный Рылеев, пишет жене: "Молись за императорский дом. Милости, оказанные нам государем и императрицею, глубоко врезались в сердце мое. Что бы со мной ни было, буду жить и умру для них"». Так расчетливо, а главное – эффективно «ломал» декабристов в новой для себя роли императора-следователя Николай Павлович. «Николай I оказался не только хорошим тюремщиком, но и хорошим следователем, с виртуозностью актера игравшим на живых струнах подсудимых, – делает вывод С.П. Мельгунов. – Немало декабристов было уловлено этими бесстыдными приемами, этим лицемерием высокого следователя. Я не говорю уже о других приемах устрашения, обмана, всей той психологической изворотливости, которая в широком масштабе была применена в первом массовом политическом процессе в России». Среди «уловленных» душ и князь Е.П. Оболенский, увидевший в Николае I облик «не страшного судьи, а отца милосердного»[220]. Вовсе немыслимое говорит о Николае I П.Г. Каховский, еще не ведавший, что он отправит его на виселицу: «Государь! Я не умею, не могу и не хочу льстить, со вчерашнего дня я полюбил Вас как человека и всем сердцем желаю любить Вас, моего монарха, отца Отечества <…> Добрый государь! Я видел слезы сострадания на глазах Ваших. Вы человек, Вы поймете меня!»[221] Как видим, умел император вовремя пустить и слезу.

Заметим здесь, что тяга к театрально эффектным жестам была присуща Николаю I и в других жизненных ситуациях, особенно в тех случаях, когда нужно было произвести должное впечатление на окружающих. Это, например, проявилось и во время его пребывания на Кавказе в сентябре 1837 г. К поездке он, как видно, основательно подготовился, что и продемонстрировал при встрече с офицерами Кавказского корпуса, задавая им совершенно конкретные вопросы, показав этим, что, по меньшей мере, регулярно читает реляции командующего. Как пишет очевидец происходившего, «войска с гордостью смотрели на мужественную красоту и царственную осанку своего государя <…> Надо отдать справедливость, Николай Павлович умел говорить от души горячее слово, которое шло прямо в душу. Выражение его лица в минуту благоволения, было чрезвычайно симпатично. Его ласковое и простое обращение могло довести неопытного и непривычного собеседника до забвения его высокого сана. Зато в минуты гнева и раздражения его наружность мгновенно менялась»[222]. Далее мемуарист пишет, что во время встреч с нижними чинами император не изменял себе и «делал театрально эффектные жесты – то целуя в голову отличившегося в стычках с горцами солдата умиленно приговаривая: "Передай это всем твоим товарищам за их доблестную службу", то видя немыслимые отступления от формы одежды "доблестных" воинов, привыкший к педантичной точности на смотрах армейских войск и особенно гвардии, государь "откровенничал": "Я очень рад, что не взял с собою вел. кн. Михаила Павловича. Он бы этого не вынес!"»[223]

Возвращаясь к вопросу о «рыцарстве» императора, скажем, что эта легенда никак не вяжется с его отношением к женам декабристов, пожелавшим разделить судьбу отправляемых в Сибирь мужей своих. Он перед ними, как известно, поставил бесчеловечное по своей сути условие: *или муж, или дети*. Николай I лично инициировал срочное рассмотрение Комитетом министров постановления «О не дозволении отправляться к ним (к ссыльным декабристам. – *М.Р.*) в Сибирь детям их благородного звания, родственникам и другим лицам» и без раздумий санкционировал его. Благодаря личной позиции императора, воссоединившиеся с мужьями-каторжанами жены практически теряли всяческие надежды когда-либо свидеться с оставленными ими детьми и родителями: решившись отправиться в Сибирь, они должны были находиться там до смерти мужа, а возможно, и до своей собственной кончины, ибо власти не давали никакой надежды на возвращение[224]. К тому же они были не только лишены всех имущественных и наследственных прав, но и вне зависимости от личного и фамильного достатка ограничены (особенно в первые годы пребывания в Сибири) минимальными денежными суммами на прожитие, причем обязаны были ежемесячно унизительно отчитываться в своих расходах перед местным начальством[225].

Не ожидавший, видимо, того, что жены декабристов пойдут на страшную для матерей жертву, и озлобленный этим, «коронованный зверь», как прозвали тогда Николая, тайно велел чинить всяческие пре-

пятствия женам декабристов уже на пути их следования в мужьям. Примечательно, что в это же самое время любящая своего супруга императрица Александра Федоровна записывает в своем дневнике: «Жены высылаемых намерены следовать за своими мужьями в Нерчинск. О, на их месте я поступила бы так же»[226].

В свете изложенного, вряд ли заслуживают доверия другого рода свидетельства, как, например, привлеченного по делу декабристов А.М. Исленьева, утверждавшего, что в ответ на жалобы содержащихся в Петропавловской крепости декабристов на несносное их содержание и плохое питание государь якобы приказал «обрести хорошее помещение, хорошо кормить и допускать родных для свидания»[227]. Чуть более месяца пробывший в крепости и освобожденный затем с оправдательным аттестатом отставной капитан л.-гв. Московского полка, возможно, имел основание отнести это царское распоряжение к себе лично, но его никоим образом нельзя применить к основной массе подследственных. Заметим, что капитан сразу же после разговора со следователями был переведен из главной гауптвахты в Петропавловскую крепость с необычной для Николая I мягкой резолюцией – «Посадить по усмотрению (коменданта Сукина. – *М.Р.*), содержа хорошо»[228].

И все же, не оспаривая в целом по праву утвердившееся в литературе мнение о том, что Николай I «на всю жизнь остался тюремщиком декабристов: следил за каждым их движением в далекой ссылке, получал донесения о подробностях их быта, решал лично – и всегда сурово – вопросы, касавшиеся судьбы их самих и их семей»[229], есть факты, не вписывающиеся в этот ряд и не позволяющие толковать поведение императора сугубо однозначно.

Речь идет о строго в секретном порядке предпринятых мерах для облегчения материального положения бедствующих семей осужденных декабристов. Это было сделано по личному распоряжению Николая I.

Трудно сказать, что именно заставило его уже 29 июля 1826 г., т.е. спустя чуть более двух недель после казни пятерых декабристов, через начальника Главного штаба И.И. Дибича распорядиться собрать сведения, содержащие «в возможной подробности положение и домашние обстоятельства ближайших родных» осужденных по делу 14 декабря. Осознание суровости приговора, христианское раскаяние в содеянном, просто человеческое сострадание или дальний политический расчет? К сожалению, нет никаких документальных данных хотя бы даже для предположительного ответа на поставленные вопросы. Можно лишь уверенно говорить, что распоряжение о сборе сведений о материальном положении семей декабристов последовало *после* поступления от ближайших родственников прошений об оказании им помощи в связи с потерей единственных кормильцев.

Как бы там ни было, но соответствующие запросы под строжайшим секретом разосланы генерал-губернаторам и гражданским губернаторам тех губерний, в которых проживали ближайшие родственники

осужденных декабристов[230]. Однако сбор необходимых данных оказался делом непростым – особенно затрудняло выполнение царского распоряжения необходимость держать все втайне. И только 20 августа 1827 г., т.е. спустя год с лишним после «высочайшего повеления» в Главный штаб поступила относительно полная записка с запрошенными данными. Дежурный генерал А.И. Потапов, к которому она поступила, отнесся к делу не формально и после внимательного ознакомления с полученными сведениями он разделил семьи декабристов на шесть разрядов по степени их благосостояния: «В первый – имеющих нужду во вспомоществовании, в числе коих некоторые сами об оном просят. Во второй – не имеющих нужды во вспомоществовании, но в содействии по некоторым домашним обстоятельствам, в числе коих, некоторые сами об оном просят. В третий – с состоянием богатым и хорошим. В четвертый – с состоянием посредственным. В пятый – живущих бедно. В шестой – таких, о родных коих вовсе не получены сведения или получены, но неверные». Вот эти-то разделенные на «разряды» списки семей декабристов и были представлены Николаю I. После внимательного ознакомления с ними он оставил против фамилий некоторых из них свои карандашные пометы и указания. Приведем характеристики материального положения тех семей, по которым есть резолюции Николая I.

А.П. Барятинский: «Мать его, титулярная советница княгиня Анна Барятинская имеет двух дочерей. Она приносила жалобу, что дочери сии, получив после осужденного брата по закону 100 душ, бросили ее без всякой помощи <…> живут в Москве, а она здесь, в Петербурге, в беднейшем положении, почему и просила в пенсион жалование покойного своего мужа». На полях против этих строк канцелярская помета: «Министру юстиции 21 октября № 1315» (ее смысл прояснится из дальнейшего изложения).

А.К. Берстель: «Имеет жену и шесть маленьких детей, в совершенной бедности и болезненном положении живущую помощью добрых людей; сверх того от одной умершей родной сестры осталось пять человек детей в крайней бедности». Собственноручная резолюция царя: «*Сыновей распределить по корпусам (*кадетским. – *М.Р.), а матери дать единовременно».*

В.А. Бечаснов: «Мать его, вдова 8 класса, с дочерью, лишенной ума, живут в Кременчуге в крайней бедности, пользуясь пристанищем и пропитанием в чужих домах. В 1825 г. всемилостивейше пожаловано ей в уважение бедного состояния в единовременное пособие 600 руб.; она имеет другого сына в службе портупей-поручиком». Резолюция царя: «*Дать единовременно 600 руб.*»

Братья А.И. и П.И. Борисовы: «Отец их, отставной 8 класса, 68 лет, имеет больную жену, двух дочерей и одного сына, без всякого состояния в самом бедном положении, поддерживается одним получаемым пенсионом в 200 руб. в год. Он в этом году утруждал г.и. просьбою о помощи». Резолюция царя: «*Дать 400 руб.*». В прошении, подан-

ном И.А. Борисовым 15 июля 1827 г., он писал, что находился в службе с 1777 г., когда поступил в Морской шляхетский кадетский корпус, в 1804 г. по состоянию здоровья вышел в отставку с 200-рублевым пенсионом. «Напрягая последние силы, – писал он, – научил сам двух старших сыновей нужным наукам, определил в службу <…> по артиллерии, надеясь иметь от них пособие при старости <…> [ныне] я остался с двумя дочерьми, сыном и немощною женою в самом плачевном и бедном положении <…> я, преклонный летами и убитый преступлением детей моих, стою уже у гроба: после меня семейство мое останется без пристанища и хлеба». Решение царя не изменилось, хотя и должно было по-христиански…

В.А. Дивов: «Имеет мать, вдову преклонных лет (ей около 50 лет. – *М.Р.*), без всякого состояния, питающуюся трудами своими и благодеяниями добрых людей». Царь не понимает, или делает вид, что не понимает и задает нелепый в данной ситуации вопрос: «*узнать нужно ли что?*»

И.И. Иванов: «Мать его 60 лет, быв вторично замужем за унтер-офицером Кормащуковым, имеет двух дочерей, одна, девица – при ней, в беднейшем положении, живут трудами рук своих, а с потерею сына лишились они и той помощи, которую получали от него на старости». Следует не очень внятная резолюция царя: «*Помочь можно*».

Братья В.К. и М.К. Кюхельбекеры: «Мать их, вдова, статская советница, преклонных лет, с дочерью девицей, не имеет ничего кроме получаемых от г.и. Марии Федоровны пенсиону по 1100 руб. в год[231]. Живет в доме другой, но и шесть человек детей[232]; в случае смерти сей замужней дочери, сестра ее, девица[233], с матерью останутся вовсе без пропитания. Девица Кюхельбекер была в Екатерининском институте 6 лет классною дамою и оставила сие звание, чтобы быть при дряхлой и слабой матери». Резолюция царя: «*я семью знаю помочь можно если вдова Глинкина не в живых*».

А.О. Корнилович: «Мать его, вдова, 50 лет, имеет одного сына на службе и трех дочерей, в числе коих одна девица; состояние весьма недостаточное, но быв еще в силах, хозяйственными распоряжениями и трудами содержала себя, а ныне по расстроенному здоровью не в состоянии обеспечить содержание свое с дочерью и ей угрожает бедность». Николай I опять неопределенно пишет: «*Помочь можно*».

Н.Ф.Лисовский: «Мать его, вдова, коллежская регистраторша, имеет еще сына на службе унтер-офицером и дочь девицу. В крайне бедном положении, живут трудами рук своих и пользовались пособием сына, с потерею же его бедность их еще увеличилась, о чем она объясняла в поданном в 1826 г. на высочайшее имя прошении». И опять почти стандартное заключение: «*Помочь можно*».

А.С. Пестов: «Отец его, коллежский советник, с многочисленным семейством в крайних обстоятельствах, имеет более 60 тыс. руб. долгов, на удовлетворение которых описывается к публичной продаже его имение, состоящее из 200 душ крестьян». Царя, видимо, смущает не-

известность происхождения довольно большого долга и он ограничивается неопределенным – «*Помочь можно после*».

В.К. Тизенгаузен: «Отец его, отставной титулярный советник, находится в бедном положении, преклонных лет и слаб здоровьем, и у него еще четыре сына, от коих со дня отдачи в Кадетский корпус не имеет уведомления, а по собранным сведениям, они все на службе. Жена преступника Тизенгаузена имеет двух малолетних сыновей и дочь, в крайнем положении. В сем году утруждала г.и. о назначении ей ежегодного содержания на воспитание детей до узаконенного возраста, а потом о принятии их в казенные заведения»[234]. Николай I напротив этих строк поставил большой знак вопроса, а рядом рукой, по всей видимости, Дибича приписано: «Высочайше повелено, как про Янтальцеву сказано».

В.И. Штейнгейль: «Жена его и девять человек детей в расстроенном положении, а теща, действительная статская советница Вонифатьева, в крайней бедности». Резолюция царя, видимо, знавшего состав семьи декабриста, отличается краткостью – «*сыновей в кадеты*».

Итак, относительно 14 из 28 включенных в «первый разряд» семей декабристов Николай I сделал конкретные письменные распоряжения.

Из четырех лиц «второго разряда» внимание императора задержалось на двух.

А.П. Арбузов: «Имеет родного брата и двух сестер с достаточным имением. Имение сие находится в неправильной тяжбе с незаконнорожденным сыном покойного родного дяди их <…> завладевшим сим родовым имением, каковая тяжба продолжается без всякого успеха с 1805 г. и вовлекла их в значительные издержки». Текст отмечен скобкой на полях, знаком NB и здесь же следует резолюция царя: «*приказать не медля кончить*». Тональность указания и известное всем публичное неприятие Николаем I внебрачных отношений, а также факт явного покушения на родовую собственность законных владельцев, чего не мог допустить верховный правитель, не оставляют сомнений, в чью пользу было решено столь затянувшееся дело.

Д.А. Щепин-Ростовский: «Мать его, вдова, капитанша, княгиня Ольга, состояния посредственного и обременена долгами <…> Означенная княгиня утруждала уже неоднократно г.и. просьбами о приказании предоставить ей во владение оставшееся после сына преступника имение, ибо некоторые однофамильцы несправедливо домогаются доказать право на наследство оного, о чем началось уже дело». На полях рукой Николая 1 написано: «*поручить решить М.П.*» и карандашная помета – «министру юстиции 21 октября № 1311».

Судя по подготовленной в январе 1828 г. справке о судьбе оставшегося имения осужденного декабриста со 140 душами крестьян, «Комитет министров положил дело о праве наследства предоставить законному его течению и решить оное немедленно <…> оказание [же] ей какого-либо денежного пособия предать на высочайшее благоволение». Основываясь на этом решении, а также «соображаясь с существующи-

ми примерами», Дибич входит с представлением «определить *негласное* ежегодное пособие княгине <…> соразмерно жалованью, которое получал сын ее, быв штабс-капитаном старой гвардии, т.е. по 780 руб. в год, как сим пользуются жены государственных преступников Берстеля, Тизенгаузена им Штейнгейля, каждая по 500 руб.». Трудно допустить, чтобы Николай I забыл о «неистовствах» Д.А. Щепина-Ростовского, нанесшего сабельные ранения бригадному командиру В.Н. Шеншину, командиру полка П.А. Фредериксу, полковнику П.К. Хвощинскому и двум унтер-офицерам, препятствовавшим выводу солдат на Сенатскую площадь, но тем не менее он дает свое согласие на предложение Дибича и в конце января 1828 г. начальник Главного штаба приказывает «прилагаемые 500 руб. отослать вдове капитанше княгине Щепиной-Ростовской», а о «доставлении ей на будущее время ежегодного подобного пособия на основании высочайшего соизволения <…> сделать надлежащее распоряжение».

К.П. Торсон: «Мать его в бедном положении». Резолюция царя: «кажется я ей дал уже» и опять канцелярская помета на полях – «санкт-петербургскому военному губернатору 21 октября № 1305».

А.В. Янтальцев (Ентальцев): «Мать его, вдова, подполковница, и жена бедного состояния». Резолюция Николая: «*можно давать не в виде пенсиона а просто ежегодно в виде вспомоществования*».

Распоряжения царя имеются, но Потапов, на которого была возложена их реализация, просит своего непосредственного начальника И.И. Дибича разъяснить, в чем именно должно заключаться «*единовременное вспомоществование*» семьям Берстеля, Корниловича, Ентальцева, Тизенгаузена, Иванова, Лисовского, Пестова. В своем ответе Дибич, вне всякого сомнения, со слов самого императора, дал точные суммы помощи: первым четверым по 500 руб., следующим двоим – по 200, а Пестову – ничего. Эти деньги в сумме 2400 руб. были получены из Кабинета е.и.в. и без задержки отправлены адресатам по месту их нахождения. Причем Потапов в каждом случае строго следит за их доставкой по назначению в соответствии с распоряжением начальника Главного штаба «О ежегодном вспомоществовании родственникам государственных преступников <…> иметь в виду и мне ежегодно докладывать».

Возникает вопрос: насколько значима была оказываемая денежная помощь семьям декабристов? Представление о реальной величине помощи дает один из пунктов «Устава артели» декабристов: «Сумма из пятисот рублей ассигнациями была принята за необходимую на полное годовое содержание»[235]. Приведем и среднегодовые цены на основные виды провизии, например, в Саратовской губ. в середине 20-х годов XIX в.: мука ржаная, пудовый куль – 4 руб. 38 коп.; мука пшеничная, четверть в 7 пуд. 10 фунтов – 4 руб.; крупа гречневая, четверть – 10 руб. 90 коп.; мясо, пуд – 2 руб. 50 коп.[236]. В столичных губерниях цены на продовольствие были выше примерно на 10–15 %. Что же касается цен на продовольственные товары в Енисейске, как показывает

живший здесь на поселении М.А. Фонвизин, в 1834 г. они были на 12–15 % дешевле, чем в Европейской России. Хлеб «пшеничной хорошей муки» – 80 коп. пуд, ржаной – 55 коп., пуд говядины – 3 руб. 50 коп. «Рыбы же всякой, особенно стерляди, было в изобилии», и она была недорога[237]. О поразившей его дешевизне в Сибири в январе 1828 г. извещал своего отца И.И. Пущин. «Мы, – пишет он, – ели превосходную уху из стерлядей или осетрины, которые здесь ничего не стоят; словом сказать, на 50 коп. мы жили и будем жить весьма роскошно. Говядина от 2 до 5 коп. фунт, хлеб превосходный и на грош два дни будешь сыт»[238]. Оставим читателю право самому судить о значимости царской помощи семьям декабристов.

Сопоставление данных о материальном и семейном положении получивших «вспомоществование» и тех, кому было отказано в нем, показывает, что положительная резолюция царя следовала при твердой уверенности его в необходимости долговременной материальной помощи, а также при наличии личного прошения лица, ее добивавшегося. Если же возникали сомнения в обоснованности обращения за помощью, то следовал негласный отказ. Так было, например, с обращением отца подпоручика Н.П. Кожевникова – провиантского чиновника 7-го класса Павла Кожевникова. Вероятно, и Николай I, и Дибич хорошо были осведомлены о возможностях «провиантских» чиновников, а потому его обращение оставлено было без ответа.

При рассмотрении прошений иногда прибегали к дополнительным разысканиям. Так, в октябре 1827 г. был направлен запрос казанскому генерал-губернатору А.Н. Бахметеву для выяснения реального материального положения проживавшей в Казани матери декабриста В.И. Дивова. Ответ губернатора не оставлял сомнений в необходимости «вспоможения» находившейся в бедности Дивовой, и ей было назначено единовременное пособие в 500 руб. ассигнациями.

В том же месяце Потапов запросил московского генерал-губернатора о возрасте и судьбе сыновей Штейнгейля. Розыск длился долго, в результате которого выяснилось, что 10-летний Николай в январе 1828 г. был принят в Горный корпус на собственный пансион вел. кн. Михаила Павловича до его определения в Артиллерийский корпус, 13-летний Всеволод в сентябре 1827 г. поступил в Морской кадетский корпус. 28 ноября 1827 г. Николай I распорядился дополнительно: «*Вдове Штейнгейлевой делать такое же вспоможение, как и Тизенгаузевой*», т.е. 500 руб. ежегодно. Но у Штейнгейля были еще два мальчика – четырех и двух лет, а так как по существующему правилу в кадетские корпуса принимались дети не моложе восьми и не старше двенадцати лет, то исполнить царскую резолюцию – «детей в кадеты» – было затруднительно, а потому принято решение определить их в корпус «по достижении ими надлежащего возраста». Примечательно, что и все три дочери Штейнгейля учились на казенный счет, а младшая из них вопреки правилу не принимать в одно светское учебное заведение более одного члена семьи была зачислена пансионеркой Николая I в

тот же Екатерининский институт, который окончила средняя из сестер. Не исключено, что это стало возможным благодаря ходатайству перед царем начальника Канцелярии III Отделения А.Н. Мордвинова, с которым Штейнгейль вместе сражался в рядах Петербургского ополчения в 1812 г. и которому он регулярно писал доверительные письма из ссылки, обращаясь с различного рода просьбами личного свойства. А может, такое внимание к семье бывшего барона объяснялось репликой Николая I, оброненной им во время допроса Штейнгейля в январе 1826 г. В ответ на слова барона о том, что он «ни мыслями, ни чувствами не участвовал в революционных замыслах; и мог ли участвовать, имея кучу детей!», государь прервал его: «Дети ничего не значат, твои дети будут мои дети!»[239] Не исключено, что на устройстве судьбы детей сказались и усилия адмирала П.И. Рикорда, о котором Штейнгейль в посвященной его памяти статье писал следующее: «Во время самого ужасного кризиса моей жизни (после ареста в 1826 г. – *М.Р.*) рука Петра Ивановича не дрогнула написать ко мне *официальную* записку: «Любезный друг, не беспокойся о детях, я буду наблюдать их»[240].

Вообще, надо сказать, отношение Николая I к Штейнгейлю – автору, пожалуй, наиболее содержательного послания к нему из Петропавловской крепости, значительная часть которого была почти дословно включена в «Свод показаний членов злоумышленного Общества о внутреннем состоянии государства», было особым. Укажем в этой связи на резолюцию императора от 27 декабря 1836 г. на докладе Бенкендорфа о просьбе Штейнгейля перевести его в Ишим или другой ближайший к центральной России город «для возможного утешения моего невинного, но не менее страждущего семейства». Для убедительности он добавил, что четверо его сыновей, «может быть, кровью запечатлеют верноподданническую благодарность». Просил также Бенкендорфа исходатайствовать ему прощение в сердце государя. Царь, видимо, растроган таким к нему обращением, что видно из его резолюции: «Согласен, давно в душе простил его и всех»[241]. Однако, как показывают факты, император в душе, возможно, и простил, но в реальной жизни этого не наблюдалось. Так, после очередной милости императора, когда Штейнгейль по его просьбе в марте 1840 г. из Ишима был переведен в Тобольск – для большего «удобства заниматься науками», он же, по ложному представлению местного начальства о его якобы негативном влиянии на управление губернией, с согласия царя определен на жительство в захудалую Тару. В дальнейшем Николаем Павловичем отклонялись все его просьбы об обратном переводе в Тобольск или Тюмень, поскольку он ранее «дозволял себе неприличные ему рассуждения и вмешательство в дела, до него не касающиеся»[242]. Не получил согласия государя и просившийся из далекого и сурового Пелыма в «место поюжнее» слабый здоровьем А.Ф. Бриген: «Начали все проситься, надобно быть осторожным в согласии». И только спустя пять лет после первой просьбы Бриген переведен в Курган, да и то лишь бла-

годаря рапорту начальника 7-го округа Корпуса жандармов Маслова с извещением о серьезной болезни ссыльного.

О том, что Николай I, вопреки его заявлениям, своего первоначального отношения к ссыльным декабристам не изменял, говорит и следующий факт. Сосланный в Сибирь, а затем переведенный на Кавказ Александр Бестужев, никогда не оставлял писательского ремесла, публикуя свои повести под псевдонимом «*Марлинский*». Произведения его, написанные, по оценке современников, «бойким», хотя и несколько «жеманным» языком, пользовались неизменным успехом у публики, но никто не осмеливался назвать подлинное имя автора. И вдруг, в изданном в 1839 г. книгопродавцем А.Ф. Смирдиным уже после смерти А. Бестужева сборнике «Сто русских литераторов» к одной из повестей, напечатанной под псевдонимом «Марлинский», был приложен портрет автора с факсимильной подписью «Александр Бестужев». Гнев самодержца неописуем: эта акция, вопреки воле правительства и в «насмешку над правосудием», сохраняла для потомства портрет и подпись «государственного преступника, умершего и политически, и физически»[243]. Немедля нарядили следствие, из которого выяснилось, что разрешение на публикацию сборника из III Отделения было дано его управляющим, статс-секретарем Н.С. Мордвиновым. По личному указанию Николая I он тут же был лишен звания статс-секретаря и уволен от службы.

То, что император Николай I до последних лет своего правления так не простил декабристов ни «в душе», а тем более в реальной жизни, говорит его резолюция на поданную в июне 1853 г. просьбу матери декабриста П.А. Муханова о разрешении сыну приехать в Москву или Московскую губернию перед близкой ее смертью: «Согласен, ежели Закревский согласится, все-таки надо будет за ним строжайше смотреть, ибо я знал его скрытный характер, не заслуживающий никакого доверия, что и доказал»[244]. Отрицательный ответ московского генерал-губернатора А.А. Закревского, конечно же, был предопределен. Но здесь стоит обратить внимание и на другое примечательное обстоятельство: Николай и на третьем десятке лет после восстания декабристов все еще испытывает страх перед ними – «надо будет строжайше за ним смотреть» …

Но вернемся к основному сюжету: дежурный генерал Потапов ежегодно обращается с секретными запросами к министру императорского двора подтвердить выполнение царских резолюций относительно семей семерых декабристов, которым, для облегчения процедуры оказания помощи, «можно давать не в виде пенсиона, а просто ежегодно в виде вспомоществования» (речь шла о женах Берстеля, Тизенгаузена, Штейгейля, Ентальцева, а также о матерях Корниловича, Дивова, Щепина-Ростовского). Причем, несмотря на то что Потапов в одном из своих рапортов счел нужным отметить, что «жена <…> Янтальцева, по собственному ее показанию, получала в Чите по 500 руб. в месяц (от родственников. – *М.Р.*), что самое показывает уже достаточное состо-

яние», распоряжение императора и в последующем оставалось в силе – Николай не любил менять однажды принятых решений, и каждый год из Кабинета е.и.в. на оказание помощи семьям декабристов без промедления отпускались 3500 руб. При этом деньги, как правило, передавались из рук в руки через полицмейстеров, приставов, а Щепиной-Ростовской – и лично Потаповым, как это имело место, например, в 1831 г. Все делалось в строго секретном порядке, и Потапов не уставал напоминать, что деньги выдавать нужно «без огласки», вся переписка велась по закрытым каналам, и круг посвященных в это дело был ограничен лицами, непосредственно им занятыми.

Каковы же мотивы, побудившие Николая I к такому *беспрецедентному* для российских государей шагу – оказанию материальной помощи и иного рода поддержки семьям своих *политических противников*? Первое, наиболее простое и понятное объяснение видится в том, что он сам к этому времени был отцом пятерых детей, и ему, как человеку верующему, не были чужды чувства сострадания, милосердия и великодушия, хотя и в известных пределах. Именно к этим чувствам взывали обращения к нему жен и матерей осужденных декабристов, в полном соответствии с самодержавной формой правления видевших в нем своего единственного защитника и спасителя. Причем важно отметить, что не только Николай Павлович, но и другие члены императорской фамилии, воспитанные в христианском духе, тоже не чурались оказывать ту или иную помощь нуждающимся семьям декабристов.

С другой стороны, вполне возможно, что Николай I не ставил знак равенства между декабристами – «государственными преступниками» и их безвинными членами семьи и ближайшими родственниками. Он, скорее всего, ничуть не сомневался в том, что реакция на 14 декабря 1825 г. и предшествующие этому дню события той части общества, которая поспешила засвидетельствовать ему свои верноподданнические чувства, и есть мнение большинства. Он, вероятно, был искренне убежден в том, что «все, – как он писал брату Константину 23 декабря 1825 г., – усердно помогают мне в этой ужасной работе; *отцы приводят ко мне своих сыновей*, все желают показать пример и, главное, хотят видеть свои семьи очищенными от подобных личностей и даже подозрений этого рода»[245]. Такие примеры действительно были, хотя далеко не многочисленные, чтобы на их основе так уверенно и однозначно судить об общественном мнении. Неслучайно царь оставлял без внимания поступавшие на его имя прошения близких родственников декабристов с попытками *мотивированно обосновать или даже оправдать* их действия и поступки.

И еще один момент, пожалуй, сыграл немаловажную роль в том, чтобы подвигнуть Николая I на оказание помощи нуждающимся семьям декабристов: четко выраженный патримониальный характер обращения в поданных ему прошениях. Все они адресованы Николаю I как высшему защитнику, что в полной мере отвечало и его собственным представлениям о долге и обязанностях самодержца – решение всех

дел по личному усмотрению, по личной воле, наконец, по настроению. Как тут опять не вспомнить карамзинскую характеристику типичной черты самовластного образа правления в России: «В монархе российском соединяются все власти, наше правление есть отеческое, патриархальное»[246]. Будучи глубоко убежденным в том, что «лучшая теория права есть добрая нравственность», Николай I и при оказании помощи семьям декабристов (равно как и в решении многих других дел, в том числе и государственного уровня) руководствовался именно этим своим правилом. В противном случае, исходя из реального положения отдельных семей декабристов, в равной мере претендовавших на получение помощи от верховного «судии», трудно объяснить, почему к одним самодержец проявлял известную благосклонность, а к другим, заслуживающим даже большего участия, ее не обнаруживал (напрашивающееся объяснение о влиянии поведения декабристов во время следствия на решение царя содержанием следственных материалов не подтверждается).

И последнее уточнение, касающееся взаимоотношений царя и оказавшихся в бедственном положении семей декабристов.

Представляется большой натяжкой расценивать решение жен декабристов следовать за своими мужьями в Сибирь не как «замечательный пример супружеской верности и самопожертвования»[247], а как своеобразную форму общественного протеста, смелый и осознанный «вызов обществу», правящему режиму, наконец. Даже в вызванных естественным чувством человеческого сострадания проводах Марии Волконской в Сибирь, к мужу, с легкой руки М.В. Нечкиной, всеми усматривается некий «элемент общественной демонстрации» против конкретных действий этого режима. Такое стремление выдать желаемое за действительное опровергается самими декабристами. Так, в письме к своей жене М.А. Фонвизин пишет 5 декабря 1826 г.: «Ежели бы я только мог увериться, что ты, расставшись со мною навек, можешь быть еще ежели не совсем счастлива, но по крайней мере, спокойна, я бы всячески препятствовал твоему великодушному намерению. Но твое сердце слишком привязано к другу твоему, и я знаю, что совершенная и вечная разлука со мною для тебя будет бедствие»[248]. Мнению, высказанному вышеназваной исследовательницей, прямо противоречит содержание как известных «Записок М.Н. Волконской», так и смысл ее письма Николаю I от 15 декабря 1826 г.: «Всемилостивейший государь! У ног Ваших благодарю Вас, государь, за уведомление о предстоящих для меня опасностях по ту сторону Иркутска. Дерзаю уведомить в.и.в., что я бесстрашно подвергаюсь всем превратностям, неразлучным с пребыванием моим в одном месте с мужем. Государь, намерение мое не есть действие минутной возвышенности чувств, но следствие обдуманного расположения мыслей, убедивших меня, что не найду успокоения, доколе не утешу супруга. Благоденствие даже моего сына побуждает меня поспешить отъездом, ибо ни на что не могу быть для него полезной в настоящем положении моего духа. Простите, государь, что ос-

мелилась писать к в. и. в. Сердце мое спешило излиться в благодарности перед Вами.

Княгиня Мария Волконская, урожденная Раевская»[249].

Невозможно заподозрить 21-летнюю дочь прославленного генерала Н.Н. Раевского, свято оберегавшего фамильную честь, в неискренности, фальши. Заметим, что 25 лет спустя после декабрьских событий 1825 г. Николай I, вспоминая о решении жен декабристов ехать в Сибирь, в частном разговоре сказал буквально следующее: «Это было проявление самопожертвования, преданности, достойное уважения тем более, что так часто можно было видеть обратное»[250].

Итак, как свидетельствуют архивные документы, примерно двум десяткам материально нуждающихся семей декабристов императором Николаем I была оказана реальная помощь. Одним из них – единовременными и ежегодными денежными пособиями, другим – содействием в устройстве малолетних детей в престижные учебные заведения, что гарантировало им в дальнейшем при личном усердии вполне благополучное продвижение по общественной лестнице, третьим – и деньгами, и устройством детей. Причем все это делалось без огласки, в строго секретном порядке, и потому царя нельзя заподозрить в стремлении рядиться в тогу правителя сурового, но справедливого и великодушного. Думается, что приведенные факты не только добавляют новые штрихи к портрету Николая Павловича, но и еще раз показывают, что рамки, в которые историки в силу тех или иных обстоятельств (в том числе и конъюнктурных) заключают какое-либо историческое явление, оказываются для него тесными.

Примечания

1 РА. 1873. Кн. 1. № 1. Стлб. CVI–CVII.
2 Из записок И.П. Дубецкого // РС. 1895. № 5.
3 РС. 1886. Т. 51. № 7. С. 25.
4 *Тютчева А.Ф.* Указ. соч. С. 46.
5 См.: РА. 1875. Кн. 1. № 2. С. 237; 1885. Кн. 1. № 3. С. 350; 1899. Кн. 3. № 6. С. 234; ИВ. 1909. № 8. С. 469 и др.
6 Сб. РИО. Т. XXIII. С. 679.
7 Там же. С. 681.
8 Воспоминания о младенческих годах императора Николая Павловича, записанные им собственноручно // Николай Первый и его время. Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков. В 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 69.
9 *Глинский Б.Б.* Царские дети и их наставники. СПб., 1912. С. 226.
10 См.: *Шильдер Н.К.* Император Николай I. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 17.
11 Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования // Сб. РИО. СПб., 1896. Т. 98, С. 15.
12 Там же. С. 11.
13 Там же.
14 Воспоминания о младенческих годах… С. 70.
15 Там же. С. 21, 35.

16 Там же. С. 17.
17 Там же. С. 26.
18 Там же, С. 27; *Карнович Е.* Император Николай I: его царствование и черты характера в рассказах, анекдотах и отзывах современников. СПб., 1897. С. 10.
19 *Муханов В.А.* Из дневных записок // РА. 1897. Кн. 2. № 5. С. 89.
20 *Скалон Д.А.* Воспоминания // РС. 1907. Т. 132. № 9. С. 524.
21 Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов. В переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 11.
22 Сб. РИО. Т. 98. С. 26.
23 Там же. С. 34, 38.
24 Там же, С. 71.
25 Там же. С. 34.
26 Там же. С. 39, 46, 53, 54.
27 Цит. по: *Блудов Д.Н.* Последние часы жизни императора Николая Павловича. М., 1992.
28 *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 198.
29 Междуцарствие 1825 года… С. 12.
30 Венчание с Россией. Переписка вел. кн. Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год. М., 1999. С. 131.
31 *Шиман В.М.* Император Николай Павлович. С. 460.
32 Из записок графа А.Х. Бенкендорфа // ИВ. 1903. Т. 91. № 3. С. 456.
33 Записки сенатора Н.П. Синельникова // ИВ. 1895. № 1. С. 63.
34 *Докудовский В.А.* Мои воспоминания // ТРУАК. 1897. Т. 12. Вып. 1. С. 41.
35 *Тютчева А.Ф.* Указ. соч. С. 35.
36 Рассказы из недавней старины. Сообщено И.С. Листовским // РА. 1878. Кн. 3. № 12. С. 520–521.
37 *Муханов В.А.* Из дневных записок // РА. 1897. Кн. 1. № 1. С. 89.
38 Из записок барона М.А. Корфа // РС. Т. 102. № 6. С. 526–527.
39 Сб. РИО. Т. 98. С. 48.
40 Из записок барона М.А.Корфа // РС. Т. 98. № 6. С. 525.
41 Там же. 1900. Т. 101. № 2. С. 348–349.
42 Междуцарствие 1825 года... С. 12.
43 *Егоров Е.А.* Рассказы Евгения Андреевича Егорова, инженер-генерал-лейтенанта // РС. 1886. Т. 49. № 2. С. 415.
44 *Муханов В.А.* Из дневных записок. С. 89.
45 *Шиман В.М.* Указ. соч. С. 459; *Бутковская А.Я.* Рассказы бабушки // ИВ. 1884. Т. 18. № 2. С. 622; *Жеденев Н.Н.* Рассказ бывшего гвардейского офицера // РС. 1890. Т. 67. № 8. С. 307 и др.
46 Сб. РИО. Т. 98. С. 91, 96.
47 В русском переводе: «Наедине с собой» / Пер. С. Роговина. М., 1914.
48 См.: *Гаврилов А.К.* Марк Аврелий в России // Марк Аврелий Антонин. Размышления. М., 1993. С.
49 Сочинение вел. кн. Николая Павловича о Марке Аврелии 24 января 1813 г. (Письмо к профессору морали Аделунгу) // РС. 1874. Т. 9. № 2. С. 253.
50 Там же. С. 256, 257.
51 *Шиман В.М.* Указ. соч. С. 459.
52 *Эвальд А.В.* Рассказы об императоре Николае I // ИВ. 1896. Т. 65. № 8. С. 340.
53 Цит. по: *Лотман Ю.М.* А.С. Пушкин. Биография писателя. Л., 1982.
54 Бумаги покойного председателя Государственного совета князя И.В. Васильчикова // РА. 1875. Кн. 1. № 3. С. 342. Примечательно, что черновик

письма князя Николаю заканчивался настоятельным советом избавиться от своего «порока – вспыльчивости».

55 Междуцарствие 1825 года... С. 15.

56 Там же. С. 15–16.

57 *Вигель Ф.Ф.* Записки. Ч. 5. М., 1892. С. 70–71.

58 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992. С. 258. Ш.К. Ливен – воспитательница дочерей Павла I, оказавшая большое влияние и на воспитание вел. кн. Михаила и Николая Павловичей, пользовалась расположением и полным доверием Марии Федоровны.

59 Цит. по: *Капустина Т.А.* Николай I // ВИ. 1993. 3 11–12. С. 13. К сожалению, отсылка цитируемого автора к Русскому архиву (1892. Т. 2. С. 12) не подтверждается.

60 *Жемчужников Л.М.* Мои воспоминания о прошлом. Л., 1971. С. 192. Это первый кондак акафиста Богородице – благодарственного песнопения, во время которого рарешается сидеть, исполняющегося на суббоней утрени пятой недели Великого поста. Создание акафиста относят к периоду ожесточенных нападений на Константинополь, сохраненный заступничеством Богородицы, авторство приписывают либо патриарху Сергию, свидетелю нападения персов в 626 г., любо Роману Сладкопевцу (прим. сост.)

61 *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 154.

62 Воспоминания императрицы Александры Федоровны // РС. 1896. Т. 88. № 10. С. 25.

63 См.: *Вигель Ф.Ф.* Указ. соч. С. 71.

64 Воспоминания императрицы Александры Федоровны. С. 54.

65 Междуцарствие 1825 года... С. 13, 14.

66 Там же. С. 11.

67 14 декабря 1825 года и его истолкователи (Герцен и Огарев против барона Корфа). М., 1994. С. 310, 311.

68 *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. XI. М., 1949. С. 16.

69 Междуцарствие 1825 года. С. 15.

70 *Дивов П.Г.* Из дневника // РС. 1897. Т. 89. № 3. С. 482.

71 Там же. С. 11.

72 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 118. См. также: *Зайнчковский А.М.* Восточная война 1853–1856 гг. в связи современной ей политической обстановкой. Т. 1. СПб., 1908. С. 35.

73 РА. 1897. Кн.1. № 1. С. 90.

74 Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1899. Т. 99. № 9. С. 498.

75 Поэт В.А. Жуковский с 1814 г. был приближен ко двору вдовствующей императрицей Марией Федоровной.

76 *Штейнгейль В.И.* Сочинения и письма, Т. 1. Записки и письма. Иркутск, 1985. С. 147.

77 См.: *Трубецкой С.П.* Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. Иркутск, 1983. С. 313–314.

78 14 декабря 1825 года и его истолкователи... С. 226.

79 Цит. по: Там же. С. 207.

80 См.: *Сыроечковский Б.Е.* Московские «слухи» 1825–1826 гг. // Каторга и ссылка. 1934. № 3. С. 81.

81 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 192.

82 *Бернгарди Т. фон.* Из дневника. Беседы с принцем Евгением Виртембергским // РС. 1893. Т. 79. № 7. С. 46.

[83] Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч.
[84] *Жемчужников Л.М.* Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971. С. 191.
[85] Заметки Н.К. Шильдера о восстании 14 декабря и императоре Николае I // Каторга и ссылка. 1925. Вып. 32 (25). С. 149.
[86] Николай Первый и его время. Т. 1. С. 90.
[87] Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 224.
[88] *Трубецкой С.П.* Замечания на книгу М.А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I-го» // 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 388.
[89] Николай Первый и его время. Т. 1. С. 92.
[90] *Ростовцев Я.И.* Отрывок из моей жизни 1825 и 1826 годов // РА. 1873. Кн. 1. Стб. 449–485.
[91] Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 241–242. Карл Федорович Толь, граф, генерал-адъютант, начальник штаба 1-й армии; Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен, граф, главнокомандующий 1-й армией; Алексей Петрович Ермолов, генерал от инфантерии, командующий Отдельным Кавказским корпусом. Ставка 1-й армии располагалась в Могилеве, 2-й – в Тульчине.
[92] Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 312.
[93] Николай Первый и его время. Т. 1. С. 95.
[94] Из дневников Александры Федоровны // Николай Первый и его время. Т. 2. М., 2000. С. 23.
[95] См.: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 581.
[96] *Корф М.А.* Восшествие на престол императора Николая I. СПб., 1857. С. 257–259.
[97] Николай Первый и его время. Т. 1. С. 94.
[98] См. об этом: *Семенова А.В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982. С. 45–49, 94–97.
[99] *Трубецкой С.П.* Материалы о жизни… Т. 1. С. 238.
[100] *Вилламов Г.И.* Воцарение императора Николая 1 (Из дневника) // РС. 1899. Т. 97. № 2. С. 316.
[101] Из дневников Александры Федоровны. С. 23.
[102] 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 263.
[103] *Жерве К.К.* Воспоминания // ИВ. 1898. Т. 72. № 6. С. 751.
[104] Речь идет о письме вел. кн. Константина Александру 1 от 14 января 1822 г. об отречении от престола и ответ государя от 2 февраля о согласии его на эту просьбу.
[105] 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 263.
[106] Цит. по: *Чулков Г.И.* Императоры. Психологические портреты. М.; Л., 1928. С. 189.
[107] Наличие большого числа работ, освещающих события этого дня, а особенно выход в свет наиболее полного собрания воспоминаний очевидцев (14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. СПб., 1999) освобождает автора от подробного их описания и дает основание сосредоточиться на фигуре самого Николая I.
[108] *Лунин М.С.* Сочинения, письма, документы. Иркутск, 1988. С. 137.
[109] Воспоминания братьев Бестужевых. Пг., 1917. С. 31.
[110] *Лунин М.С.* Указ. соч. 137.
[111] ВД. Т. 1. М.; Л., 1925. С. 188.
[112] См.: *Бестужев М.А.* Мои тюрьмы: Очерки и ответы 1869 года // Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 64–65.
[113] Воспоминания братьев Бестужевых. С. 36.

114 *Пущин И.И.* Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 84.
115 Воспоминания братьев Бестужевых. С. 35.
116 Подробнее см.: *Рахматуллин М.А.* Сенатская площадь, 14 декабря 1825 года // Встречи с историей. Научно-популярные очерки. М., 1987. С. 10–25.
117 *Давыдов Д.В.* Анекдоты о разных лицах, преимущественно об Алексее Петровиче Ермолове // *Давыдов Д.В.* Соч. М., 1962. С. 326; *Герцен А.И.* Собр. соч. В 30 т. Т. 8. М., 1956. С. 135.
118 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 326.
119 *Марченко В.Р.* Автобиографические записки государственного секретаря Василия Романовича Марченки. 1782–1838. // РС. Т. 86. № 5. С. 309.
120 *Каратыгин П.А.* Записки. Л., 1970. С. 137.
121 *Зотов Р.М.* Записки // ИВ. 1896. Т. 65. № 2. С. 44.
122 Воспоминания вел. кн. Михаила Павловича о событиях 14 декабря 1825 года // 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 363.
123 Николай Первый и его время. Т. 1. С. 95, 96.
124 *Каратыгин П.А.* Записки. С. 30.
125 *Днеменков П.С.* Четырнадцатое декабря 1825 г. на Петербургских площадях: Дворцовой, Адмиралтейской и Петровской (Записано очевидцем на третий день после происшествия) // РА. 1877. Кн. 3. № 10. С. 260.
126 *Штейнгейль В.И.* Указ. соч. С. 157.
127 Там же.
128 См.: 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 289.
129 Там же. С. 91.
130 *Деменков П.С.* Четырнадцатое декабря 1825 года. С. 263.
131 *Голенищев-Кутузов-Толстой П.М.* Четырнадцатое декабря: Из воспоминаний 80-летнего старца, служившего в военной службе более 30 лет, которая начата была в Преображенском полку в 1818 г. // РА. 1882. Кн. 3. № 6. С. 232.
132 Николай Первый и его время. Т. 1. С. 102.
133 Там же.
134 Там же.
135 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. С. 202.
136 Там же. С. 89, 109. Последняя цифра маловероятна.
137 *Хомяков С.А.* Письмо к А.С. Хомякову 3 (15) мая 1826 года // РА. 1893. Кн. 2. № 5. С. 122.
138 Из дневника П.Г. Дивова // 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. С. 227.
139 *Марголис А.Д.* К вопросу о числе жертв 14 декабря 1825 года // *Марголис А.Д.* Тюрьма и ссылка в императорской России: Исследования и архивные находки. М., 1995. С. 52.
140 *Канн П.Я.* О числе жертв 14 декабря 1825 г. // ИСССР. 1970. № 6. С. 115.
141 Из дневника Ч. Эрла // 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. С. 428.
142 *Завалишин Д.И.* Из записок декабриста // 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. С. 345.
143 Там же. С. 318. См. также показания других современников там же. С. 416, 439, 449 и др.
144 *Попов М.М.* Число жертв и последствия бунта 14 декабря 1825 года // Былое. 1907. Кн. 3. С. 193.
145 См.: Воспоминания братьев Бестужевых. С. 117.
146 *Муханов В.А.* Из дневных записок // РА. 1897. Кн. 1. № 1. С. 89.

147 *Каратыгин П.А.* Записки. С. 138. См. также: *Муханов В.А.* Из дневных записок. С. 89.
148 Записки графа Е.Ф. Комаровского. М., 1990. С. 140.
149 Из воспоминаний княгини Витгенштейн // РС. 1918. Т. 136. № 12. С. 738.
150 *Кюстин А.* Николаевская Россия. М., 1990. С. 136.
151 14 декабря 1825 года: из записок генерал-лейтенанта В.И. Фелькнера // РС. 1870. Т. 2, 38. С. 158.
152 *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. Т. 1. М., 1996. С. 163, 210; *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989; *Рот М.М.* Из воспоминаний старого кадета о государе императоре Николае Павловиче // РС. 1912. Т. 151. № 8. С. 248.
153 Из дневника 1813–1855 гг. // Николай Первый и его время. Т. 2. С. 25.
154 Цит. по: *Н.Д. [Дубровин].* Несколько слов в память импепратора Николая I // РС. 1896. Т. 86. № 6. С. 457–458.
155 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. С. 193–194.
156 КА. 1924. № 5. С. 241.
157 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 347.
158 *Алданов М.А.* Сперанский и декабристы // Мы дышали свободой… Историки Русского Зарубежья о декабристах. М., 2001. С. 114–115.
159 Там же. С. 124.
160 См.: Венчание с Россией. Переписка вел. кн. Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год. М., 1999. С. 61.
161 *Модзалевский Б.Л.* Донесение тайного агента о настроении умов в Петербурге после казни декабристов // Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925. С. 40. См. об этом подробнее статью автора этих строк «Крепостное крестьянство России и движение декабристов» (ИСССР. 1977. № 4. С. 127–151).
162 Записки графа Д.Н. Толстого // РА. 1885. Кн. 2.. С. 233–24.
163 Там же. С. 24.
164 Там же. С. 25.
165 Там же. С. 26.
166 Подробнее см.: *Пиксанов Н.* Дворянская реакция на декабризм (1825–1827 гг.) // Звенья. 1933. Т. 2.
167 *Муравьев А.М.* Записки. Пг., 1922. С. 27.
168 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 864. Л. 10 об. – 11.
169 Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925. С. 39.
170 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 864. Л. 71 об.
171 РС. 1881. № 9. С. 191.
172 *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 3. С. 460–461.
173 *Завалишин Д.И.* Воспоминания. М., 2003. С. 327.
174 *Новосильцев Т.* Княгиня М.Н. Волконская (сообщение княжны Варвары Николаевны Репниной) // РС. 1878. № 6. С. 336.
175 *Волконский С.Г.* О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пг., 1922. С. 32.
176 Там же.
177 *Герцен А.И.* Русский заговор // *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 9. С. 264.
178 *Серебровская Е.* Записка Николая I о казни декабристов // Новый мир. 1958. № 9. С. 277–278. Сохранена орфография оригинала.
179 *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 62. С. 400.
180 Там же. С. 429. Лично Толстым снятая копия с копии Стасова занимает одну сторону обычного почтового листа бумаги. В ее начале заголовок : «Автограф Николая I (орфография подлинника)».

181 По поводу казней декабристов. Заметка кн. Д.Д. Оболенского // Наша старина. Сборник. Вып. 2. Пг., 1917. С. 35–36.
182 *Щеголев П.Е.* Николай I и декабристы. Очерки // Былое. Пг., 1919. С. 33.
183 *Вяземский П.А.* Записные книжки (1813–1848). М., 1963. С. 126–127.
184 *Дмитриев М.А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 245.
185 РА. 1893. Кн. 2. № 5. С. 123. 124.
186 Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 года и император Николай I // ИВ. 1916. Т. 145. № 7. С. 105.
187 Николай Первый и его время. Т. 2. С. 28.
188 Там же. С. 29. Наиболее полное на сегодняшний день воспроизведение событий 13 июля 1826 г. см.: *Невелев Г.А.* Пушкин «об 14 декабря». Реконструкция декабристского документального текста. СПб., 1998. С. 35–69.
189 Цит. по: *Тарле Е.В.* Крымская война. М., 1944. С. 44.
190 *Жемчужников Л.М.* Мои воспоминания из прошлого. С. 191.
191 *Филипсон Г.И.* Воспоминания // РА. 1883. Кн. 3. № 5. С. 100.
192 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 163.
193 *Кюстин А. де.* Указ. соч. С. 128.
194 Записки графа Дмитрия Николаевича Толстого // РА. 1885. Кн. 2. С. 24.
195 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 312.
196 *Филипсон Г.И.* Воспоминания. С. 109.
197 *Лунин М.С.* Указ. соч. С. 117.
198 *Розен А.Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 119.
199 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 312.
200 *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М.; Л. 1930. С. 17.
201 Там же. С. 198.
202 *Мироненко С.В.* 14 декабря 1825 года. Восстания могло не быть // ОИ. 2002. № 3. С. 57–66.
203 *Долгоруков П.В.* Указ. соч. С. 391.
204 Император Николай I в донесениях шведского посланника // РС. 1903. Кн. 10. № 10. С. 207. Здесь же посланник, отвлекаясь от главной своей задачи информировать свое правительство о внутриполитической обстановке в России, не преминул отметить, что «в разговоре Николая I много изящества, он выражается корректно, ясно и с большой легкостью. Что он красавец, всем известно, – то ли иронизирует, то ли разделяет это мнение посол, – причем в манерах ведет себя с достоинством и согласно своему возрасту» (Там же. С. 208). Напомним, Николаю идет 30-й год.
205 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. С. 444–445.
206 Журнал генерал-адъютанта графа К.Ф. Толя о декабрьских событиях 1825 года. СПб., 1898. С. 30.
207 14 декабря 1825 года: из записок генерал-лейтенанта В.И. Фелькнера // РС. 1870. Т. 2. № 8. С. 158.
208 Журнал К.Ф. Толя. С. 30.
209 *Щеголев П.Е.* Петр Григорьевич Каховский. М., 1919. С. 90.
210 Записки барона М.А. Корфа // РС. 1900. Т. 101. № 2. С. 354.
211 *Кюстин А. де.* Указ. соч. С. 151.
212 *Пыляев М.И.* Замечательные чудаки и оригиналы. М., 1990. С. 42.
213 *Долгоруков П.* Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. С. 403.
214 ВД. Т. X. С. 108, 109.
215 В этой связи см.: *Поджио А.В.* Записки, письма. Иркутск. 1989. С. 98–99; *Штейнгейль В.И.* Сочинения и письма. Т. 1. Записки и письма. Иркутск,

1985. С. 165–167; Историко-психологический анализ феномена поведения декабристов на допросах см.: *Лотман Ю.М.* Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975.

216 *Белов И.Д.* Университет и корпорации (Отрывок из воспоминаний) // ИВ. 1885. Т. 20. № 5. С. 480.

217 *Гангеблов А.С.* Воспоминания декабриста. М., 1888. С. 68, 73, 120 (условно, проверить)

218 ВД. Т. IX. С. 49.

219 *Щеголев П.Е.* Декабристы. Пг., 1916. С. 101.

220 *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Изд. 2. СПб., 1909. С. 468.

221 *Мельгунов С.[П.].* Идеализм и реализм декабристов // Мы дышали свободой… Историки Русского Зарубежья о декабристах. М., 2001. С. 67.

222 *Филипсон Г.И.* Воспоминания // РА. Кн. 3. № 5. С. 254.

223 Там же.

224 См.: *Щеголев П.Е.* Жены декабристов и вопрос об их юридических правах // *Щеголев П.Е.* Исторические этюды. СПб., 1913. С. 395–441.

225 Подробнее см.: *Павлюченко Э.А.* В добровольном изгнании. О женах и сестрах декабристов. М., 1980.

226 Из дневника 1813–1855 годов // Николай Первый и его время. Т. 2. М., 2000. С. 29.

227 См.: Рассказы из недавней старины. Сообщено И.С. Листовским // РА. 1882. Кн. 1. № 2. С. 176.

228 Декабристы. Биографический справочник. С. 75.

229 *Пресняков А.Е.* Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1925. С. 106.

230 РГВИА. Ф. 35. Оп. 9. 1826 г. Д. 106. Подробнее см.: *Чернов С.Н.* Имущественное положение декабристов // КА. 1826. Т. 2 (15). С. 164– 213; *Рахматуллин М.А.* Император Николай I и семьи декабристов // ОИ. 1995. № 6. С. 3–20.

231 Пенсион она, видимо, получала после смерти в 1809 г. мужа, Карла Генриха, управляющего Каменным островом и первого директора Павловска (1781–1789 гг.).

232 Речь идет о Юстине Карловне, старшей из сестер, бывшей замужем за Григорием Андреевичем Глинкой, профессором русского языка и литературы Дерптского университета (1803–1810), с 1811 г. ставшего помощником воспитателя вел. кн. Николая и Михаила Павловичей. Семья Глинок жила в Петербурге и Павловске. Лето проводила в наследственном имении Закуп Духовищенского уезда Смоленской губ.

233 Юлия Карловна (ок. 1789 – не ранее 1845 г.) после оставления Екатерининского института была гувернанткой и компаньонкой в домах столичной знати. Обладала тонким литературным вкусом и ее мнением весьма дорожил ее брат Вильгельм.

234 В поданном 15 июня 1827 г. прошении жена Тизенгаузена (жительница Нарвы) сухо, без верноподданнического пиетета пишет, что постигшее ее несчастие столь очевидно, что она считает излишним «оное описывать, но ежедневно увеличивающаяся крайность ее положения вынуждает ее просить о назначении ей содержания и принять двух сыновей 3 и 5 лет и дочери 2 лет в казенные заведения (в Царскосельский лицей или другой кадетский корпус)». Однако ее дети по возрасту не могли быть тотчас помещены в учебные заведения, а проявлению заботы о дальнейшей их судьбе,

как это было в других случаях, Николаю скорее всего помешала официальная тональность, вынужденного обстоятельствами прошения, как пишет сама просительница.

235 *Басаргин Н.В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 155.

236 РГВИА. Ф. 35. Оп. 4/245. Д. 545.

237 *Фонвизин М.А.* Сочинения и письма. Т. 1. Дневник и письма. Иркутск, 1879. С. 141.

238 РГВИА. Ф. 36. Оп. 6/849. Св. 44. Д. 21. Л. 38.

239 *Штейнгейль В.И.* Указ. соч. С. 240, 518.

240 *Тридечный.* Замечания старого моряка // Морской сборник. 1856. № 12. Отд.IV. С. 1.

241 *Щеголев П.Е.* Из резолюций императора Николая I о декабристах // Голос минувшего. 1913. № 11. С. 194.

242 *Штейнгейль В.И.* Указ. соч. С. 139, 242–245, 519–521.

243 Из записок барона М.А. Корфа // РС. Т. 99. № 7. С. 8.

244 *Муханов П.А.* Сочинения, письма. Иркутск, 1991. С. 49–50.

245 Междуцарствие 1825 года. С. 168.

246 *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 122.

247 *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 458.

248 *Фонвизин М.А.* Сочинения и письма. Т. 1. Дневник и письма. С. 127.

249 РГВИА. Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 16, 1827 г. Д. 98. Л. 40–41 (подлинник на фр. яз.), 43 (перевод).

250 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 458.

Глава II

Николай I на троне

«Очистил Отечество от следствий заразы»

Склонность царя к игре, к маскам, определяемой конкретной ситуацией, отмечают многие современники. Более того, саксонский поверенный в делах в Петербурге характеризует Николая I как прирожденного актера: «Говорят, что Наполеон I перед всяким публичным торжеством <…> советовался с актером Тальма, и с ним в известной степени разучивал свою роль. Никакой Тальма не мог бы научить Николая I тому величию и той грации, которыми отличались вся его осанка и все его движения. Он сам был от природы совершенным артистом, и величайшие актеры могли бы еще у него поучиться. Всё казалось так просто, так естественно, но чувствовалось между тем, что всё рассчитано на эффект»[1]. В доказательство верности своего утверждения мемуарист приводит и врезавшийся в его память пример, которому он был свидетелем. На похоронах князя П.Н. Волконского, одного из самых доверенных придворных сановников, все поведение царя – целование покойника, долгое стояние на коленях перед гробом, замена собой флангового солдата при выносе гроба из церкви и т.д., было рассчитано, пишет Фицтум, на то, чтобы «произвести впечатление на всех присутствующих, в особенности же, явиться самым смиренным и самым верующим сыном православной церкви»[2]. И этому свидетельст-

ву можно верить. Неслучайно же еще в начале 1830-х годов Николай I даже вынужден был оправдываться перед светом: «Знаю, что меня считают за актера, но я человек честный и говорю, что думаю»[3]. Возможно, порой так и было. Во всяком случае, действовал он, четко сообразуясь со своими установками. Так, осмысляя услышанное на допросах декабристов, он сказал брату Михаилу: «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, Божьей милостью, я буду императором»[4]. Идеологическая установка последующих действий определена четко, но для того, чтобы окончательно утвердиться в ней, он в июне 1826 г. пишет старшему брату Константину еще более определенно: «Если и после этого примера найдутся еще неисправимые, у нас, по крайней мере, будет право и преимущество доказывать остальным необходимость быстрых и строгих мер против всякой разрушительной попытки, враждебной порядку, установленному и освященному веками»[5]. Именно под впечатлением дня 14 декабря и выяснившихся при допросах декабристов обстоятельств заговора, Николай I был обречен взять на себя роль «душителя революций»[6]. Вся его последующая политическая линия – оправдание провозглашенного в обнародованном по завершении процесса над декабристами Манифесте тезиса, что суд над ними «очистил Отечество от следствий заразы, столько лет среди его таившейся». Но в глубине души уверенности, что «очистил» все же нет, и потому одним из первых шагов в начале царствования Николая Павловича стало учреждение в день своего рождения (25 июня) 1826 г. Корпуса жандармов и преобразование указом от 3 июля Особой канцелярии МВД в III Отделение собственной е.и.в. канцелярии. Во главе его поставлен лично безмерно преданный царю А.Х. Бенкендорф – природный немец прибалтийского происхождения, предки которого переселились в Лифляндию еще в XVI в. Выбор был не случаен – царский избранник еще в 1821 г. представил Александру I подробную записку со сведениями о нелегальном «Союзе благоденствия» и с перечнем наиболее «опасных» его членов. Но донос по какой-то причине был тогда оставлен императором без внимания[7]. Вступивший же на престол Николай вполне оценил предусмотрительность Бенкендорфа, его преданность престолу. Первое впечатление от его жандармских способностей укрепилось после представленного им в апреле 1827 г. проекта устройства высшей полиции, которая «обнимала [бы] все пункты Империи»: «События 14-го декабря и страшный заговор, подготовлявший уже более 10 лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному плану, приведенному как можно быстрее в исполнение.

Тайная полиция почти немыслима, честные люди боятся ее, а бездельники легко осваиваются с ней <…> Для того, чтобы полиция была хороша и обнимала все пункты Империи, необходимо, чтобы она подчинялась системе строгой централизации, чтобы ее боялись и уважали и чтобы уважение это было внушено нравственными качествами

ее главного начальника. Он должен бы носить звание министра полиции и инспектора корпуса жандармов в столице и в провинции. Одно это звание дало бы ему возможность пользоваться мнениями честных людей, которые пожелали бы предупредить правительство о каком-нибудь заговоре или сообщить ему какие-нибудь интересные новости. Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут по крайней мере знать, куда им обратиться. К этому начальнику стекались бы сведения от всех жандармских офицеров, рассеянных во всех городах России и во всех частях войска: это дало бы возможность заместить на эти места людей честных и способных, которые часто брезгают ролью тайных шпионов, но, нося мундир, как чиновники правительства, считают долгом ревностно исполнять эту обязанность.

Чины, кресты, благодарность служат для офицера лучшим поощрением, нежели денежные награды, но для тайных агентов не имеют такого значения, и они нередко служат шпионами за и против правительства. Министру полиции придется путешествовать ежегодно, бывать время от времени на больших ярмарках, при заключении контрактов, где ему легче приобрести нужные связи и склонить на свою сторону людей, стремящихся к наживе. Его проницательность подскажет ему, что не следует особенно доверять кому бы то ни было. Даже правитель канцелярии его не должен знать всех служащих у него агентов. Личная выгода и опасение лишиться чрезвычайно доходного места будут ручательством в верности этого правителя канцелярии относительно тех дел, которые должны быть известны ему.

Гражданские и военные министры и даже частные лица встретят поддержку и помощь со стороны полиции, организованной в этом смысле.

Полиция эта должна употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха. Всякий порядочный человек сознает необходимость бдительной полиции, охраняющей спокойствие общества и предупреждающей беспорядки и преступления. Но всякий опасается полиции, опирающейся на доносы и интриги. Первая внушает честным людям безопасность, вторая же – пугает их и удаляет от престола.

Итак, первое и важнейшее впечатление, произведенное на публику этой полицией, будет зависеть от выбора министра и от организации самого министерства; судя по ним, общество составит себе понятие о самой полиции. Решив это дело в принципе, нужно будет составить проект, который по своей важности не может быть составлен поспешно, но должен быть результатом зрелого обсуждения, многих попыток и даже результатом самой практики»[8]. «Зрелого обсуждения» государь устраивать не стал^ и записка, не лишенная очевидных элементов демагогии, стала последним доводом в пользу учреждения III Отделения с.е.и.в. канцелярии, которое организовало бы тотальную слежку за мыслями и поступками всех без исключения подданных. В благодар-

ность за усердие и преданность Бенкендорф тут же введен в состав Следственной комиссии по делу декабристов. И он оправдал доверие императора: современники отзывались о деятельности Бенкендорфа на посту главного жандарма в чрезвычайно нелестных тонах, отмечая прежде всего его политику ужесточения цензуры, стремление поставить под строгий правительственный контроль образование, печать, литературу. Впрочем, он не лишен тактической изворотливости и порой из желания понизить градус общественной напряженности выступал за смягчение чрезмерно строгих мер (в том числе выступал и против суровых приговоров декабристам). Был также необъяснимо умеренным сторонником смягчения политики в отношении гонимых властью евреев, что было довольно смелым шагом в николаевской России.

Человеческие и деловые качества Бенкендорфа наиболее полно охарактеризовал граф М.А. Корф, длительное время соприкасавшийся с ним по службе. По его наблюдениям, шеф жандармов, «без знания дела, без охоты к занятиям», отличался «особенным беспамятством и вечною рассеянностью, которая многократно давала повод к разным анекдотам <…> наконец, без меры преданный женщинам, он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и всегда являлся орудием лиц, его окружавших. Сидев с ним 4 года в Комитете министров и 10 лет в Государственном совете, я ни единожды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересовать его лично <…> Должно еще прибавить, что при очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и словах, и при довольно живом светском разговоре, он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно»[9]. Сходные характеристики Бенкендорфа находим и у других лиц, близко его знавших. Жандармский офицер Э.И. Стогов: «Зная графа, мы хорошо знали всю бесполезность приемов его. Он слушал ласково просителя – ничего не понимая; прошения он никогда, конечно, не видал; но публика была очень довольна его ласковостью, терпением и утешительным словом»[10]. Даже Н.И. Греч, неумеренно его восхвалявший, вынужден называть его «бестолковым царедворцем», «добрым, но пустым» и «бестактным»[11]. Человек с «другого берега» – А.И. Герцен тоже хочет быть объективным в относящейся к 1840 г. характеристике этого человека после личной встречи с ним: «Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим. Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все <…> но и добра он не сделал, на это у него недоставало энергии, воли, сердца. Робость сказать слово в защиту гонимых стоит всякого преступления на службе такому холодному, беспощадному человеку, как Николай»[12].

Но все это ничуть не смущало Николая, которому все сказанное хорошо известно, но он сознательно закрывал глаза на все недостатки Бенкендорфа и тот пользовался неизменным его доверием, сопровождал императора во всех поездках по стране, сидя бок о бок с ним в довольно-таки тесной двухместной коляске. Их взаимоотношения были таковы, что когда Бенкендорф внезапно заболел, то Николай I посещал его дважды в день и проводил «у его постели целые часы и плакал над ним, как над другом и братом»[13]. Дело объяснимое – Николай Павлович доверял ему как никому другому, поручая и самого щекотливого свойства дела. Благодарность императора к нему такова, что огромный бюст Бенкендорфа после его смерти в 1844 г. на видном месте «украшал» личный кабинет Николая Павловича. Свое отношение к верному слуге Николай I публично выразил в короткой фразе: «В течение 11 лет он ни с кем меня не поссорил, а со многими примирил»[14]. Но вернемся к их совместно созданному детищу – III Отделению с.е.и.в. канцелярии.

Цель новой силовой структуры власти определена ясно – охрана режима, предотвращение любых попыток покушения на самодержавный строй. Сфера деятельности новообразованного органа охватывала практически все стороны жизни страны и отныне *ничто* не могло пройти мимо бдительного ока шефа жандармов и самого императора, любившего, как он сам признавался, доносы, но презиравшего доносчиков. Интерес императора к доносам, к самым мелким и часто мерзостным подробностям повседневной жизни Бенкендорф объясняет благородной целью: Николай I «стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие части управления, и убедился из внезапно открытого заговора <…> в необходимости повсеместного, более бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие»[15]. Николай I придирчиво и с редким постоянством вникает не только в сколько-нибудь значимые события и факты, но и в самые мелкие происшествия, нарушающие, как ему кажется, устанавливаемый им «на благо России» порядок. По донесениям массы «*слушающих и подслушивающих*» от Риги до Нерчинска и далее начальник III Отделения с благословения царя «судил все, отменял решения судов, вмешивался во все»[16]. Из воспоминаний чиновника Министерства юстиции, обер-секретаря Сената Н.М. Колмакова известно, что формально не наделенное судебными функциями III Отделение в реальной жизни «определяло вины лиц по делам не политического свойства, брало имущество их под свою охрану, принимало по отношению к кредиторам на себя обязанности администрации и входило нередко в рассмотрение вопроса о том, кто и как нажил себе состояние, и какой кому и в каком виде он сделал ущерб. Одним словом, круг деятельности III Отделения в области суда был весьма обширен». К чему это в конечном счете привело, говорит не лишенный наблюдательности современник: «Вообще, если русское общество относилось к чему-нибудь с единодушным порицанием, то это к Третьему Отделению и всем лицам <…>

к нему причастным». Причина тому, по автору, одна: «Это был произвол во всем широком значении этого слова»[17]. В результате в обществе стали гнушаться даже простым знакомством с лицами, носившими синий (голубой) мундир.

В череду охранительных мер органично вписывается и Цензурный устав 1826 г., сразу же охарактеризованный современниками «чугунным». Суровость его 230 (!) параграфов, по оценкам самих цензоров, такова, что «если руководствоваться буквой устава, то можно и «Отче наш» истолковать якобинским наречием»[18]. И здесь нет преувеличения. Так, утверждая к печати обычную поваренную книгу, цензор потребовал от составителя убрать слова «вольный дух», хотя дух этот относился к печному жару[19]. Подобного рода вздорные придирки цензуры (которую князь П.А. Вяземский остроумно называл «цендурой»[20]) бесчисленны, ибо цензоры боятся допустить малейший промах. Но в то же время они беспрепятственно пропускают на страницы периодической печати рассказы из «Записок охотника» И.С. Тургенева, ярким литературным словом обличающие крепостное право.

Вполне естественно, что цензурные запреты касались прежде всего сферы политической: «Запрещается всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и постановленных от него властей, но ослабляющее должное к ним почтение» (параграф 166). Надо полагать, что именно из общего духа этого параграфа устава исходили должностные лица, поместившие в газетах объявление об очередности рейсов Любекского пароходства на 1844 г. Так, читатели не без удивления узнавали, что пароход «Николай» отправится в третью субботу мая, «Александра» – во вторую, «Наследник» – в первую. На вопрос, почему третий по времени отправления пароход назван прежде второго, а второй – прежде первого, едва ли кто мог ответить верно. А ларчик открывался просто: цензура не позволила поставить имя наследника прежде императрицы, а ее – прежде государя[21].

Вот еще один образчик политического заказа в Уставе: «Цензоры, при рассматривании всякого рода произведений, обязаны всевозможное обращать внимание, чтобы в них отнюдь не вкрадывалось ничего могущего ослабить чувства преданности, верности и добровольного повиновения постановлениям высочайшей власти и законам отечественным» (167). Фантазия составителей Устава неистощима: «Запрещаются к печатанию всякие частных людей предположения о преобразовании каких-либо частей государственного управления или изменении прав и преимуществ, высочайше дарованных разным сословиям и состояниям государственным, если предположения сии не одобрены еще правительством» (169).

Таковы были установленные Уставом рамки для обсуждения внутренних проблем. Но азарт к тотальному контролю за мыслью этим не ограничивается: никакие умствования не должны были допускаться в сочинениях исторических, статистических и географических, в них во-

обще не должно было содержаться «ничего неблагоприятного монархическому правлению, никаких произвольных умствований» (177–181). Однако и этого мало – запрещались «сочинения о правах и законах, основывающихся на теории об естественном состоянии, о происхождении власти не от Бога» (190). Появился и специальный параграф о том, чтобы новой тщательной цензуре подвергались все вновь переиздаваемые книги, запрещено обозначать многоточием или какими-либо другими знаками вычеркиваемые цензорами части текста (152). Не забыта и философская наука: «Кроме учебных логических и философских книг, необходимых для юношества, прочие сочинения сего рода, наполненные бесплодными и пагубными мудрованиями новейших времен, вовсе печатаемы быть не должны» (186). Тем самым цензурная опека простиралась столь глубоко, что, по впечатлениям современников, откровенно стесняла печать на каждом шагу и «отнимала» у сочинителей всякую «охоту писать»[22] За неукоснительным соблюдением положений Устава зорко следил еще Александром I назначенный министр народного просвещения адмирал А.С. Шишков, при вступлении в должность откровенно заявивший, что «обучать грамоте весь народ принесло бы более вреда, чем пользы».

Однако вскоре в высших сферах возобладало мнение о нецелесообразности установления абсолютного контроля над литературой и в 1827 г. приступили к выработке нового устава, который и был утвержден 22 апреля 1828 г. Как пишет мемуарист академик А.В. Никитенко, он тогда «многим *казался* очень либеральным»[23], хотя таковым в действительности не был. Заблуждение происходило оттого, что общество не знало о секретных наказах цензорам, принятых Государственным советом три дня спустя после утверждения закона. Один из таких наказов, по настоянию ведомства Бенкендорфа, звучал так: «Когда бы в цензуру представлены были кем-либо книга или художественное произведение, клонящиеся к распространению безбожия, или обнаруживающие в сочинителе или художнике нарушителя обязанностей верноподданного, то о сем немедленно извещать высшее начальство для учреждения за виновным надзора или же и предания его суду по законам». С 1 января 1829 г. закон и секретные инструкции вступили в силу, но в цензурной практике главенствовали вторые, при надобности усиливаемые личным вмешательством шефа жандармов и его ближайших помощников[24]. С другой стороны, от прежнего устава он хотя и отличался смягчением ряда правил, а общая задача цензуры, по утверждениям его составителей, состояла в том, чтобы не проходили «вредные» издания, а не «забота» о направлении литературы в целом, как было провозглашено ранее, его основные положения оставляли возможность для неоднозначных толкований. Выбор цензоров, конечно же, всегда был в пользу все усиливающейся реакции, особенно после событий 1830 г. в странах Европы и в Польше. В декабре 1830 г. цензор А.В. Никитенко, не лишенный умеренно либеральных взглядов, записывает в дневнике: «Истекший год вообще принес мало утеши-

тельного для просвещения в России. Над ним тяготел унылый дух притеснения. Многие сочинения в прозе и стихах запрещались по самым ничтожным причинам <…> даже без всяких причин, под влиянием овладевшей цензорами паники… Цензурный устав совсем ниспровержен. Нам пришлось удостовериться в горькой истине, что на земле русской нет и тени законности <…> умы более и более развращаются, видя, как нарушаются законы теми самыми, которые их составляют <…> В образованной части общества все сильнее возникает дух противодействия»[25]. Спустя два года Никитенко скорбно пишет о «новом гонении на литературу», когда в сказках В.И. Даля, наполненных «милой русской болтовней о том, о сем», люди, близкие к царскому двору, нашли «какой-то страшный умысел против верховной власти», якобы завуалированный под народность[26].

В апреле 1837 г. для предотвращения появления подобного рода «умыслов» последовало циркулярное распоряжение министра народного просвещения С.С. Уварова о том, чтобы отныне каждая журнальная статья должна рассматриваться двумя цензорами. Причем они, независимо друг от друга, могли исключать из текста все, что им заблагорассудится. Но и это не все – вскоре появился и третий цензор, обязанностью которого было перечитывать всё, что было одобрено двумя другими его коллегами, т.е. проверять проверяющих[27]. И это стало новым словом в цензурной практике николаевской России.

С приходом в 1839 г. в III Отделение нового управляющего Л.В. Дубельта, на место «провинившегося» А.Н. Мордвинова, придирки его ведомства стали еще более строги и анекдотичны. Так, в конце 1842 г. на сутки по личному распоряжению Николая Павловича были посажены на гауптвахту цензоры С.С. Куторга и А.В. Никитенко за пропуск ими в журнале «Сын Отечества» статьи некоего П. Ефибовского под заглавием «Гувернантка, повесть», с чуточку ёрническим пассажем: «Я вас спрашиваю, чем дурна фигура вот хотя бы этого фельдъегеря, огромного, с блестящим, совсем новым аксельбантом? Считая себя военным и, что еще лучше, кавалеристом, господин фельдъегерь имеет полное право думать, что он интересен, когда побрякивает шпорами и крутит усы, намазанные фиксатуаром, которого розовый запах приятно обдает и его самого и танцующую с ним даму». Не оставлен был без внимания и безымянный «прапорщик строительного отряда путей сообщения, с огромными эполетами, высоким воротником и еще высшим галстуком». Как пояснил опешившим цензорам сам Бенкендорф, к которому их доставил лично Дубельт, «государь считает неприличным нападать на лица, принадлежащие к его двору (фельдъегерь) и на офицеров». Как оказалось, граф Клейнмихель накануне пожаловался Николаю I, что офицеры его ведомства сильно оскорблены этим описанием. Результат жалобы оказался ошеломляющим: последовало высочайшее повеление отныне вообще не печатать никаких материалов о ведомстве путей сообщения без предварительного их согласования с его руководителем[28].

Основываясь на множестве происходивших на его глазах подобных примеров неосновательных придирок, исключительно лояльный к существующему режиму А.В. Никитенко раздраженно записывает в дневнике: «В цензуре теперь какое-то оцепенение. Никто не знает, какого направления держаться. Цензоры боятся погибнуть за самую ничтожную строчку, вышедшую в печать за их подписью»[29]. Речь идет о 1842 годе.

Стремлением к ограждению общества от все того же пресловутого «вреда революционной заразы» было вызвано появление в августе 1827 г. царского рескрипта на имя министра народного просвещения А.С. Шишкова об ограничении возможности получения образования детьми крепостных крестьян. Последним отныне стали доступны лишь приходские школы и уездные училища, или «заведения особенного рода <…> для обучения сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусствам, важным для усовершенствования, для распространения земледельческой, ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и в сих заведениях те науки, которые не служат основанием или пособием для искусств и промыслов, были преподаваемы в такой же мере, как и в уездных училищах».

Мотивировка отлучения основной массы «верноподданных» от полноценного образования откровенно цинична: «С одной стороны, сии молодые люди <…> по большей части входя в училище уже с дурными навыками, заражают ими товарищей своих <…> с другой же, отличнейшие из них по прилежности и успехам приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию». На практике это означало упрочение сословных перегородок и говорило за то, что новым Ломоносовым при Николае I заведомо не бывать!

Такая узко сословная политика, не направленная на благо страны, была следствием того, что, как отмечает С.М. Соловьев, Николай I «инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощение: “Не рассуждать!”». Он на всю жизнь, подчеркивает историк, запомнил то, что при самом вступлении на престол враждебно встретили его люди, принадлежавшие «к самым просвещенным и даровитым»[30].

С революционными событиями 1830 г. в странах Европы, и особенно с польским восстанием 1830–1831 гг., крамольная «зараза», которую царь поклялся не допустить в Россию, опять подошла к ее порогу. Реакция Николая I быстра и он предпринимает превентивного характера меры. Так, по его повелению в Государственный совет вносится записка «О некоторых правилах для воспитания русских молодых людей и о запрещении воспитывать их за границей». Несмотря на то, что по понятиям даже того времени ее содержание было абсолютно диким с точки зрения соблюдения элементарных прав личности, в феврале 1831 г. принимается следующее постановление: под угрозой лишения возможности вступать в государственную службу, детей от 10 до 18 лет от-

ныне обучать только в России. Правило жесткое и обязательное для всех. Для того, чтобы никто в этом не усомнился, государь предупреждает: «Исключения будут зависеть единственно от меня по одним самым важным причинам». Мера его обеспокоенности сохранением пресловутых «основ русской жизни» такова, что после польских событий он, по словам его биографа Н.К. Шильдера, «все более и более склоняется на сторону абсолютизма»[31]. Причем царя особенно остро сверлит мысль о вероятном пагубном влиянии польского общества на дислоцированную в Польше части российской армии – оплот режима. Он не может сдержать своей тревоги и в декабре 1831 г. пишет командующему войсками в Польше генерал-фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу по существу паническое письмо: «Наша молодежь между их соблазна и яда вольных мыслей точно в опасном положении; молю тебя, ради Бога смотри, чтó делается, и не принимается ли зараза у нас. В сем наблюдении ныне состоит как твоя, так и всех начальников самая первая, важная, священная обязанность. Надо вам сохранить России *верную* армию; в долгой же стоянке память прежней вражды скоро может исчезнуть и замениться чувством соболезнования, потом сомнения и, наконец, желанием *подражания*. Сохрани нас от того Бог! Но, повторяю, в сем вижу крайнюю опасность»[32].

Для подобных опасений есть и конкретное основание. Во время восстания полякам досталось множество секретных документов из канцелярии в спешке бежавшего из Варшавы вел. кн. Константина. В их числе и так называемая «государственная уставная грамота» – проект конституции для России, в свое время по поручению Александра I составленный Н.Н. Новосильцевым. Поляки напечатали грамоту на французском и русском языках таким тиражом, что, когда русская армия вошла в Варшаву, она продавалась во всех книжных магазинах города. Получив об этом известие, Николай написал Паскевичу замечательные по откровенности строки: «Чертков привез мне экземпляр проекта Конституции для России, найденного у Новосильцева в бумагах; напечатание сей бумаги крайне неприятно. На 100 человек наших молодых офицеров 90 прочтут, не поймут или презрят, но 10 оставят в памяти, обсудят и главное – *не забудут*. Это пуще всего меня беспокоит. Для того столь желательно мне, как менее возможно, продержать гвардию в Варшаве. Вам <…> достать елико можно более экземпляров сей книжки и уничтожить <…> Начальникам велеть обращать самое бдительное внимание на суждения офицеров»[33].

Вот чем в реальной жизни обернулись выказываемые в среде горячих «патриотов» восторги по поводу того, что с «новым царствованием повеяло в воздухе чем-то новым, что Баба-яга назвала бы русским *духом*»[34], что «начался поворот русской жизни к ее собственным истокам»[35]. Этот сомнительный «русский дух» постепенно и неуклонно приобретал характер идеологического занавеса, все более отделяющего Россию от Европы.

«Царствование Николая I, – пишет А.Е. Пресняков, – золотой век русского национализма», историк имеет полное на то основание, ибо в николаевскую эпоху «Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу, как два различные культурно-исторических мира, принципиально разные по основам их политического, религиозного, национального быта и характера»[36]. Следствие подобного противопоставления не замедлило явиться: в начале 30-х годов обществу была представлена так называемая теория «официальной народности». Ее создание традиционно связывают с именем министра народного просвещения С.С. Уварова, автора известной триады – православие, самодержавие, народность. Формула сложилась у министра к 1833 г. и была им высокопарно, слащаво и претенциозно расшифрована в докладе Николаю I: «Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего *православия*, сколь и на похищение одного перла из венца Мономаха. *Самодержавие* составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия.

Наряду с сими двумя национальными началами находится и третье не менее важное, не менее сильное: *народность*. Вопрос о народности не имеет единства, как предыдущий, но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице истории Русского царства»[37]. Триада эта и должна была стать «последним якорем спасения» от «революционной заразы». Угроза последней для Николая не умозрительна после революции 1830 г. во Франции, общественных потрясений на родине его супруги – в Германии, и особенно польского восстания, когда он, по решению сейма, был даже лишен польской короны. Для его самолюбивой натуры последнее стало таким потрясением, что он спустя и многие годы не мог простить полякам своего унижения. Пример тому – с нескрываемым раздражением произнесенная им речь перед депутацией горожан Варшавы в 1835 г.: «Я знаю, господа, что вы хотели обратиться ко мне с речью, я даже знаю ее содержание, и именно для того, чтобы избавить вас от лжи, я желаю, чтобы она не была произнесена предо мною. Да, господа, для того, чтобы избавить вас от лжи, ибо я знаю, что чувства ваши не таковы, как вы меня хотите в том уверить.

И как мне им верить, когда вы мне говорили то же самое накануне революции? Не вы ли сами, тому пять лет, тому восемь лет, говорили мне о верности, о преданности и делали мне такие торжественные заверения преданности? Несколько дней спустя вы нарушили свои клятвы, вы совершили ужасы.

Императору Александру I, который сделал для вас более, чем русскому императору следовало, который осыпал вас благодеяниями, который покровительствовал вам более, чем своим природным подданным, который сделал из вас нацию самую цветущую и самую счастли-

вую, императору Александру I вы заплатили самой черной неблагодарностью.

Вы никогда не хотели довольствовать[ся] самым выгодным положением и кончили тем, что сами разрушили свое счастье. Я вам говорю правду, чтобы уяснить наше взаимное положение, и для того, чтобы вы хорошо знали, чего держаться, так как я вижу вас и говорю с вами в первый раз после смуты. Господа, нужны действия, а не слова. Надо, чтобы раскаяние имело источником сердце; я говорю с вами не горячась, вы видите, что я спокоен; я не злопамятен и буду вам делать добро вопреки вам самим <…> Прежде всего, надо выполнять свои обязанности и вести себя, как следует честным людям. Вам предстоит, господа, выбор между двумя путями: или упорствовать в мечтах о независимой Польше, или жить спокойно и верноподданными под моим правлением.

Если вы будете упрямо лелеять мечту отдельной, национальной, независимой Польши и все эти химеры, вы только накличете на себя большие несчастия. По повелению моему воздвигнута здесь цитадель, и я вам объявляю, что при малейшем возмущении я прикажу разгромить ваш город, я разрушу Варшаву и уж, конечно, не я отстрою ее снова.

Мне тяжело говорить это вам, очень тяжело Государю обращаться так со своими подданными, но я говорю это вам для вашей собственной пользы. От вас, господа, зависеть будет заслужить забвение происшедшего. Достигнуть этого вы можете лишь своим поведением и своею преданностью моему правительству.

Я знаю, что ведется переписка с чужими краями, что сюда присылают предосудительные сочинения и что стараются развращать умы. Но при такой границе, как ваша, наилучшая полиция в мире не может воспрепятствовать тайным сношениям. Старайтесь сами заменить полицию и устранить зло. Хорошо воспитывая своих детей и внушая им начала религии, верность Государю, вы можете пребыть на добром пути.

Среди всех смут, волнующих Европу, и среди всех учений, потрясающих общественное здание, Россия одна остается могущественною и непреклонною. Поверьте мне, господа, принадлежать России и пользоваться ее покровительством есть истинное счастье.

Если вы будете хорошо вести себя, если вы будете выполнять все свои обязанности, то моя отеческая попечительность распространится на всех вас, и, несмотря на все происшедшее, мое правительство будет всегда заботиться о вашем благосостоянии. Помните хорошенько, что я вам сказал»[38].

Речь и мысли, в ней содержащиеся, отнюдь не импровизация под настроение. Практически о том же, но более откровенно и жестко император говорил в приватной беседе с полномочным представителем Франции в России бароном П. Бургоэном: «Я имею обязанности как император российский. Я должен остерегаться повторения тех ошибок, которые породили нынешнюю кровопролитную войну. Между по-

ляками и мной может существовать лишь полнейшая недоверчивость <…> Доверие навсегда разрушено между ними и мной»[39]. Запальчивость Николая Павловича можно объяснить – поляки покусились на святое святых, на сами основы самодержавия, с оружием в руках попытавшись завоевать свою независимость от Российской империи.

Опасность при объективно существующем неравенстве сил по сути умозрительная, но слова Уварова так запали в смятенную происшедшими событиями душу императора, что он убежден в необходимости принятия превентивных мер, а потому легко воспринял идею Уварова, что именно на словах – православие, самодержавие и народность – и нужно для предупреждения возможных потрясений строить воспитание подрастающего поколения, подчинив им литературу, искусства, науку и просвещение. Николай Павлович с удовлетворением воспринял идею возложить на государство саму задачу внедрения провозглашенных постулатов в общество и стал активно проводить ее в жизнь. К тому же ему и без магической конструкции Уварова из «придуманных», как писал С.М. Соловьев[40], слов давно по душе последовательно проводимая официальным историографом Н.М. Карамзиным идея, что «самодержавие есть палладиум России», что оно (самодержавие) находится в нерасторжимом единстве с православием, а оба они вместе – с народом России. Можно быть абсолютно уверенным в том, что очень по душе были Николаю слова Карамзина, воспевавшие «старое доброе русское самодержавие»: «У нас – не Англия, мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали вышним уставом <…> В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит и любовь первых приобретает страхом последних <…> В монархе российском соединяются все власти, наше правление есть отеческое, патриархальное».

Прочное укоренение в сознании Николая I сформулированного Карамзиным тезиса облегчалось его убежденностью в том, что самодержавие, без которого нет подлинной власти, имеет божественное происхождение и он сам посажен на трон промыслом Божиим. Вовсе не случайно только что взошедший на престол Николай писал брату Константину (в 1827 г.): «Я твердо убежден в Божественном покровительстве, которое проявляется по отношению ко мне слишком ощутительным образом, чтобы я мог не замечать его во всем случающемся со мной, и вот моя сила, мое утешение, мое руководящее начало во всем»[41]. В другом письме ему же он, повторяя эту мысль, опять пишет о том, что «благословение Божие до сих пор было явно с нами, положимся же на него с доверием и твердостью»[42]. Раз так, то он пытается делать все для сохранения самодержавия и, имея в виду эту цель, прежде всего принимает меры для замедления в российском обществе «умственного движения» (А.И. Герцен), жертвой которого он едва не стал 14 декабря 1825 г. Конкретно и наиболее ощутимо это выразилось в последовательном ограничении возможности выезда россиян в «чужие» края, где они могли напитаться чуждыми для «его» России идеями.

Впервые отчетливо это проявилось в апреле 1834 г., когда срок официально разрешенного пребывания за границей российских подданных был ограничен для представителей «благородного сословия» пятью годами, для всех прочих – тремя. Следующий шаг в этом направлении был сделан в июле 1840 г. – распоряжением правительства значительно повышена пошлина при оформлении заграничных паспортов. Затем в марте 1844 г. специальным царским указом вводится и возрастной ценз для выезжающих за рубеж – отныне покидать пределы страны не могут лица моложе 25 лет. Вскоре добавилось еще одно существенное затруднение: заграничные паспорта стали выдаваться только в Петербурге, причем снова увеличен размер пошлины, которая достигла огромной для основной массы населения суммы – 700 руб.!

Надо заметить, что свое решение о введении возрастных ограничений для выезжающих за рубеж лиц Николай I вынашивал долго. Так, еще осенью 1840 г. у него состоялся примечательный разговор с только что вернувшимся из заграничной поездки бароном М.А. Корфом:

«– Много ли ты встречал в чужих краях нашей молодежи?

– Чрезвычайно мало, государь, почти никого.

– Все еще слишком много. И чему им там учиться? Не говорю уже о Франции: этот край вне всяких правил, потому что там, по моему понятию, все еще продолжается революция 1789 года»[43].

Мотив царского недовольства тем, что «все еще слишком много» выезжающих за рубежи, страны страшен откровенным стремлением Николая I отлучить своих верноподданных от «зловредного» влияния общеевропейской культуры: «Чему им там учиться? – искренне недоумевал царь, будучи убежден в том, что «наше *несовершенство* во многом лучше их *совершенства*». Впрочем, вполне допустимо, что его «убежденность» на самом деле всего лишь прикрытие: царь боялся повторного внесения в страну того «революционного духа», что «внушил злодеям и безумцам», заразившимся «в чужих краях новыми теориями», мечту о революции в России. Ради предотвращения последней он готов идти на любые измышления. При одной только мысли о возможности новых общественных потрясений в России перед Николаем I вновь и вновь встает тень событий 14 декабря 1825 г. Именно поэтому, каждый раз, «когда шло дело о заграничных отпусках», близкие к императору лица отмечают у него «проявление дурного расположение духа», которое в самом начале 50-х годов вылилось в то, что в принятии решения о разрешении выезда за рубеж любому лицу он сделался еще «строже и разборчивее, чем когда-либо»[44]. Но и это еще не было пределом.

Очередное ужесточение охранительных мер началось с получением первых же известий о революционных событиях 1848 г. в Европе. Информация о них оказалась для российского императора неожиданной и настолько оглушила и взбесила его, что он яростно напустился на попавшегося под горячую руку камердинера императрицы Ф.Б. Гримма за то, что он смел читать ей в тот момент «Фауста» Гёте: «”Гёте! Эта ваша гнусная философия, ваш гнусный Гёте, ни во что не

верующий – вот причина несчастий Германии!" А вы смеете читать эту безбожную книгу перед моими детьми и развращать их молодое воображение! Это ваши отечественные (царь в гневе своем забыл, что он сам тоже из немецких кровей. – *М.Р.*) головы – Шиллер, Гёте и подобные подлецы, которые подготовили теперешнюю кутерьму»[45]. Гнев императора понятен – он в глубине души всерьез опасается подобной «кутерьмы» в России. Не зря же на слова французского поверенного в Петербурге: «Государь, только вам нечего бояться революций», Николай отвечал: «Милый г. Мерсье, революции предопределены; я еще не освободил своих крестьян и знаю, что они недовольны своим рабством. Достаточно искры, чтобы ниспровергнуть весь нынешний порядок моей империи»[46]. Однако в своих суждениях на тему о возможности революционных потрясений в России он был непоследователен, подвержен настроению момента. В самом начале 50-х годов сурово выговаривал поверенному в делах саксонского посольства в Петербурге графу Фицтуму за своего берлинского шурина, короля Вильгельма: «Он никогда не знает, чего хочет. Это не король; он нам портит наше дело <…> почва под моими ногами минирована так же, как и под вашими. Мы все солидарны. У всех нас один враг: революция. Если станут продолжать нежничать с нею, как это делают в Берлине, то пожар вскоре сделается всеобщим. Здесь я пока ничего не боюсь. Пока я жив, никто не пошевелится. Потому что я солдат, а мой шурин никогда им не был. Таков, как вы меня видите, я служу 38 лет, потому что первые боевые шаги сделал в 1813 году», – откровенно приврал Николай[47]. Скорее всего, царь был прав в данном случае в своем признании, что «здесь я пока ничего не боюсь». Действительно, реалии жизни были таковы, что основная (подавляющая!) масса населения Российской империи к событиям в далекой Европе отнеслась с привычным равнодушием, проявив к ним лишь обывательское любопытство.

Такая безучастность объяснима, и сложившаяся в ту пору ситуация в странах Европы и в России отчасти нашла отражение в тайно распространявшейся карикатурной картинке с изображением трех бутылок с национальными напитками. Из емкости, наполненной шампанским, вместе с пробкой вылетают корона, трон, конституция, король, принцы. Легко догадаться, что это – Франция. В темном густом пиве, вытекающем из другой бутылки, барахтаются, но не тонут, короли, герцоги… Это, конечно же, Германия. Наконец, пробка с изображением двуглавого орла на третьей бутылке с русским пенником (очищенной хлебной водкой), крепко обтянута прочной бечевой. Это – Россия, народ которой находится под бдительным надзором властей и в буквальном смысле слова безмолвствует. Более того, молодые гвардейские офицеры рвутся усмирять «европейских смутьянов». Действия российского императора созвучны их желаниям – с помощью русского оружия подавлено восстание в Венгрии, спасена целостность Австрийской империи, и главное – остановлен за пределами России надвигавшийся на нее «революционный поток».

Однако радость российского императора одержанной победой омрачена не столь успешными, как рассчитывали, действиями русской армии, а более всего – глухим неприятием даже наиболее благонамеренной частью общества начатой в интересах «австрияк» кампании. К тому же Николаю стало известно, что многие русские офицеры, как оказалось, мягко говоря, не только недолюбливали своих прусских союзников-«белоштанников» (такое прозвище получили из-за особенностей формы одежды), но и выказывали явное сочувствие к венгерским мятежникам, усмирять которых они были посланы[48]. И это не могло не сказываться на душевном состоянии императора Николая Павловича. Именно к этому времени относится его любопытное письмо (от 2(14) января 1849 г.) И.Ф. Паскевичу, дающее представление о его взглядах на ситуацию в Европе после венгерских событий: «Благодарю тебя, мой дорогой Отец-командир, за письмо и добрые желания на новый год: молю Бога, чтоб сохранил тебя для блага и славы России! И прошу продолжить мне 30-летнюю верную дружбу, которую ценю от глубины благодарного сердца. Мы более других обязаны Бога благодарить за то, что спас нас от гибели, постигшей других и помог стать *стеной* против. Ты зодчий сей стены, ты ее блюститель. Как же мне, после Бога, не благодарить тебя, что дал нам за твоей защитой прожить спокойно еще год. Что́ далее – в руках Божиих; будем смиренно ждать, что он нам определит; не будем спать, ни ослабевать, ни предаваться гордости, кичливости, ни самонадеянию, ни гневу и будем молить, чтоб Бог избавил нас от ослепления. Дай Бог, чтоб дух в России, и в особенности в войсках, остался тот же, лучшего желать нельзя <…> Будущность Пруссии для меня в тумане, но одно кажется уже ясно, не быть единству Германии, ни прочим бредням; но что выйдет – непонятно <…> В Париже все еще далеко до порядка; и вряд ли будет; теперешний считаю временным и, вероятно, будет опять резня. В Италии все еще мутно. Словом, нет где спокойно отдохнуть глазу. Нам должно по-прежнему смотреть, быть осторожным и *ждать* – сколь ни тяжело»[49]. В письме к первому для него военному авторитету Николай Павлович, хотя и бодрится, но видно, что ему действительно неуютно при отсутствии ясного представления о ходе дальнейших событий на европейской арене: его мысль не успевает за происходившими переменами, за жизнью. Что же касается его обещаний не быть «самонадеянным и кичливым», то их он как раз и не исполнил, что и подтолкнуло в конечном счете к объединению двух извечных соперников – Англию и Францию против России.

Изменения в общем настрое российского императора столь заметны, что, по словам баварского посланника Оттона де Брэ, Николай I до начала венгерских событий полный прямо-таки юношеских сил и энергии, поздней осенью 1849 г. возвратился из заграничного похода «сильно постаревшим и поседевшим», а его «веселое настроение, казалось, пропало навсегда»[50]. В такой резкой перемене внутреннего настроя Николая безусловно сказалось и то, что в конце августа от апоплекси-

ческого удара в возрасте 51 года и 7 месяцев скончался его единственный остававшийся в живых брат и неразлучный товарищ детства вел. кн. Михаил, место которого в жизни Николая было совершенно исключительным. «Я потерял не только брата, – говорил он, – но и такого человека, который один мог говорить мне правду и говорил ее и еще такого, которому одному и я мог говорить всю правду»[51]. Вдумаемся: только один (!) человек из ближайшего окружения императора «мог говорить ему правду», и, в свою очередь, он сам тоже только к этому человеку испытывал полное доверие. У нас нет оснований не доверять признанию, сделанному в горькую минуту жизни, а потому остается только посочувствовать одиночеству верховного правителя и подивиться тому, как ему удавалось скрывать это от своего ближайшего окружения, к тому же, как следует из его слов, не пользовавшегося его доверием..

Болезнь и смерть брата Николай переживал настолько сильно, что у него, по свидетельству М.А. Корфа, почти все время «смертельно болела голова», но он, однако же, «не давал себе ни минуты покоя», и для того, чтобы как-то утишить боль, ему беспрестанно поливали голову одеколоном и уксусом. Результаты этого варварского метода «лечения» точно неизвестны, но Николай Павлович, как показывают современники, находился при брате почти неотлучно, оставаясь у его постели день и ночь[52]. Состояние отца после смерти своего дяди, вел. кн. Михаила, так передал наследник престола Александр: «Что всего ужаснее – это idee fixe, преследующая теперь государя, именно, что этой смертью нарушен закон природы, т.е., что Михаил Павлович обошел его в очереди, следственно и ему недолго уже остается жить»[53]. Мысль о близкой смерти посещала Николая I и раньше. Так, когда в марте 1847 г. он страдал сильными приливами крови, головокружением и «колотьем в боку», то, как пишет М.А. Корф, «издавна преследуемый мыслью, что в доме Романовых никто не бывает долговечен, государь говорил близким, что болезнь его непременно требовала бы лечь в постель, но он не ложится единственно вследствие убеждения, что если ляжет раз, то наверное уже не встанет»[54].

Но вернемся к нашему основному сюжету. В феврале 1848 г. на докладе графа А.Ф. Орлова, озабоченного проникновением в страну «вредных» идей, несмотря на принятые ранее меры, Николай I уверенно начертал: «Необходимо составить особый Комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы? Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальства, т.е. Министерства народного просвещения и которые журналы и в чем вышли из своей программы <…> Уведомить о сем кого следует и занятия Комитета начать немедля»[55]. Председателем Комитета назначен А.С. Меншиков. Выбор государя, руководствовавшегося личными симпатиями, а не деловыми качествами избранника, оказался неудачным: в спешке созданный надзорный орган действовал чуть более месяца, ог-

раничиваясь нестрогими внушениями издателям (редакторам) журналов, цензорам за те или иные мелкие упущения. Такая мягкотелость не по вкусу императору и он принимает решение учредить под непосредственным своим руководством «всегдашний безгласный надзор за действиями нашей цензуры». В результате 2 апреля 1848 г. создается Особый секретный комитет под председательством члена Государственного совета Дмитрия Петровича Бутурлина (так называемый «Бутурлинский комитет»), действия которого не были подконтрольны даже и Министерству народного просвещения. Действия Комитета, как представлялось императору, должны были стать основным барьером на пути проникновения в страну революционной крамолы. Для этого поначалу двойной надзор (до и после печати) предполагался ограничить одними периодическими изданиями, но затем было решено подобную практику распространить на все книгопечатание в целом. Царское напутствие Комитету внятное и строгое: «Как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет расправляться с виноватыми»[56].

Сведения об ужесточении цензурной политики правительства, с различного рода прибавлениями, быстро проникли в общество. В результате, как пишет А.В. Никитенко, «панический страх овладел умами. Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма <…> Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпионство еще более усложняли дело»[57]. Дело доходило до анекдотических проявлений: цензоры на всякий случай стали вычеркивать из древней истории Греции и Рима имена всех великих людей республиканского толка. Восходящей звезде исторической науки С.М. Соловьеву сделано внушение за то, что в опубликованной им в «Современнике» статье говорится об Иване Болотникове. Выговор обосновывался тем, что нарушено майское 1848 г. распоряжение Бутурлинского комитета: «Сочинения и статьи, относящиеся к смутным явлениям нашей истории, как-то: ко временам Пугачева, Стеньки Разина и т.п., и напоминающие общественные бедствия и внутренние страдания нашего отечества, ознаменованные буйством, восстанием и всякого рода нарушениями государственного порядка, при всей благонамеренности авторов и самых статей их, неуместны и оскорбительны для народного чувства, и оттого должны быть подвергаемы строжайшему цензурному рассмотрению и не и иначе быть допускаемы в печать, как с величайшей осмотрительностью, избегая печатания оных в периодических изданиях»[58].

Таким образом, после революционных событий 1848 г. в Европе российскому императору именно в цензуре стала видится панацея от всех возможных бед. Как всегда, исполнители воли самодержца шли дальше его предначертаний. В результате, как отмечает А.В. Никитенко в дневниковой записи, Бутурлин со своим Комитетом «действует так, что становится невозможным что бы то ни было писать и печа-

тать»[59]. Более откровенен в оценке Бутурлина П.В. Долгоруков и называет его за действия во главе Комитета «подлейшим мерзавцем, который исполнял должность шпиона из желания попасть в министры просвещения и непременно попал бы в министры, если бы смерть не избавила от него Россию»[60]. Ничем не оправданные строгости породили новую волну анекдотических нелепостей. Так, цензор в Москве получил выговор из Петербурга за то. что в «Москвитянине» при описании приезда в уездный город дочери городничего было сказано, что «она была большая кокетка», а в скобках пояснено – «воспитывалась в институте». Вот за это невинное по сути дела пояснение и последовал выговор цензору, ибо подобная фраза «бросает тень на учреждения, находящиеся под непосредственным покровительством государыни императрицы»[61]. В то время это было, дополняет мемуаристка, «почти обычным явлением».

Однако, в обществе раздавались не одни только осуждающие цензурный гнет тирады. Так, в своих воспоминаниях графиня А.Д. Блудова, дочь министра внутренних дел Дмитрия Николаевича Блудова, передает отзывы некоторых «ученых членов АН» относительно цензурных притеснений: «Конечно, это было неловко и неполитично, но все же мыслить и учиться нам [это] не мешало. Правда, мы меньше болтали всякого вздору, и легкая литература страдала; но зато спросите, сколько русских имен записано на страницах общей европейской науки, истинной, серьезной, в течение этого времени, и вы увидите, что оно не пропало для умственного запаса поколений, следующих за нами, не пропало для науки»[62]. Всё так, но происходило это не благодаря усилиям Николая I и его «команды», а вопреки.

Цензор А.В. Никитенко, отличавшийся, как было сказано выше, долей либерализма, передает в своем «Дневнике» обобщенный взгляд на ситуацию той поры в стране: «Варварство торжествует там свою победу над умом человеческим <…> Произвол, облеченный властью, в апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне»[63]. О вреде, наносимом государству, обществу гнетом цензуры, в своем обращении к Л.В. Дубельту писал даже издатель официозной газеты «Северная пчела» Фаддей Булгарин: «Каковы бы ни были цензурные законы, они никогда не принесут пользы, если для исполнения их не выберут людей разумных, понимающих дело, образованных, пользующихся уважением»[64]. Мнение, согласимся, при общем курсе правительства на подавление свободы мысли вообще, наивное, но оно составилось на основе наблюдения за реальным процессом ограничения печатного слова, не удовлетворявшего даже верных сторонников режима: «Нынешняя наша цензура дожила до высшей степени *смешного*. Составился целый список *запрещенных слов*: запрещается самое полезное и благонамеренное. По всей России кружат анекдоты, изображающие цензуру в смешном виде – и невольно все бестолковые ее действия относятся на счет правительства»[65]. Монарх и его ближайшее окружение не могли и не хотели понять того, что было ясно для ревностного при-

служника власти Ф. Булгарина: «Никакая власть, никакая сила, самая зоркая блюстительность не могут удержать разлива идей и самая жестокая и поносная казнь не может воспрепятствовать ввозу запрещенных книг в государство, имеющее необъятную сухопутную границу, примыкающую к государствам, где введено свободное книгопечатание. Удивительно, но справедливо, что даже из Турции, чрез страны закавказские, ввозились в Россию запрещенные книги. Вредные же идеи распространяются быстро изустно и намеками в печати. Истребить все это – невозможно»[66]. Мягкое несогласие Булгарина с действиями императора Николая вызвано тем, что он лично и его прислужники не допускали какой-либо самостоятельности суждений ни в вопросах государственного управления, ни в откровенных мелочах. Пример последнему – случившийся казус с ним самим. В 1848 г. Булгарин пишет в своей газете, что введенная в Царском Селе такса за проезд не действует, так как извозчики все равно торгуются. Фельетон прочитан государем, который незамедлительно «изволил заметить, что цензуре не следовало пропускать сей выходки». И объяснил почему: «Каждому скромному желанию лучшего, каждой уместной жалобе на неисполнение закона или установленного порядка, каждому основательному извещению о дошедшем до чьего-либо сведения злоупотреблении указаны у нас законные пути. Косвенные укоризны начальству <…> в приведенном фельетоне содержащиеся, сами по себе конечно не важны; но важно то, что они изъявлены не пред подлежащею властию, а преданы на общий приговор публики; допустив же единожды сему начало, после весьма трудно будет определить, на каких именно пределах должна останавливаться такая литературная расправа в предметах общественного устройства». В результате последовало высочайшее повеление «сделать общее по цензуре распоряжение, дабы впредь не было допустимо в печати никаких, хотя бы и косвенных, порицаний действий и распоряжений правительства и установленных властей, к какой бы степени сии последние не принадлежали»[67]. Показательно, что тогда же в устав о гражданской службе вносится специальный пункт, по которому начальству дано право без всякого разбирательства и без объяснения причин увольнять от службы заподозренных в неблагонадежности чиновников[68]. Поясним, что под «неблагонадежностью» чаще всего скрывалось недопустимое для николаевского времени инакомыслие. Все говорило за то, что Россия вступала в свой семилетний период мрачной реакции, когда страна оказалась «отделенной от остальной Европы как бы китайской стеной»[69].

Но одной цензурой дело не ограничивается: к ограничению «умственного движения» принимаются и другие меры. Так, в дополнение к университетскому уставу 1835 г., которым в университетах вводился «порядок военной службы», чинопочитание и резко ограничивалась их автономия, с 1849 г. для всех них установлен «комплект студентов» – не более 300 человек в каждом. Резолюция императора от 30 сентября 1849 г. на докладе министра народного просвещения предписывала,

чтобы «штат студентов в университетах был ограничен числом 300 в каждом, с воспрещением приема, доколе наличное число не войдет в узаконенный размер; из числа же кандидатов при приеме избирать одних отличных по *нравственному образованию*». Впрочем, далее следовало успокаивающее объяснение: «Об казенных речи нет. Приказание касается до *вольноприходящих* и до *слушателей*. В медицинский факультет принимать можно *неограниченное* число, под условием строгой нравственности. Затем с *этими* не дозволяю, чтобы общее число вольных превосходило 300 человек»[70]. Результатом такой царской «опеки» университетского образования стало то, что в 1853 г. на 50 млн населения страны приходилось всего 2900 студентов, т.е. почти столько же, сколько в одном Лейпцигском университете[71]. Каких-либо официальных объяснений причин ограничения числа студентов не последовало, в распространившихся же толках крайне непопулярный в обществе шаг ставили в прямую связь с европейскими событиями. Но вел. княгиня Елена Павловна позже дала и другое, похоже, более правдоподобное объяснение – государя крайне раздражало уклонение дворянской молодежи от военной службы[72]. И в это время, когда «во всех сословиях носятся слухи и происходят толки о том, будто правительство намерено уничтожить или по крайней мере противодействовать просвещению России», Ф. Булгарин, единственно из желания угодить власти, пишет статью о хорошо ему известном Дерптском университете (вблизи Дерпта находилось его имение Карлово), вся деятельность которого, на его взгляд, была направлена «на пользу русского просвещения», и этим Россия была целиком «обязана царям русским»[73]. Но рвение адепта николаевского режима не оценено – статья запрещена цензурою. Автор в недоумении и в октябре 1849 г. обращается за разъяснениями лично к управляющему III Отделением Л.В. Дубельту. Последний тоже, как выясняется, не в курсе и он запрашивает цензуру. Ответ более чем убедителен: в августе было повеление царя «решительно запретить в журналах и ведомостях все статьи за университеты и против них»[74]. Вот так, не желал царь ничего слышать об университетах – ни плохого, ни хорошего.

В ряду мер, вызвавших острое неудовольствие даже среди «людей самых благонамеренных», стало назначение в мае 1850 г. министром народного просвещения князя П.А. Ширинского-Шихматова. По аттестации М.А. Корфа, князь «не пользовался никаким общественным уважением, его считали за человека ограниченного, святошу, обскуранта и жалели, что <…> выбор пал на подобное <…> лицо. Выбор, говорили они, людей таких ограниченных и безгласных, каковы Вронченко и Шихматов, вполне доказывает утомление государя: эти, уже верно, не будут утруждать его новыми мыслями и предложениями; но между тем поведут свои части к несомненному упадку»[75]. Удивительно здесь не то, что послушный чиновник Корф нелестно отзывается о царском избраннике, а то, что он, хотя и мягко, но все же упрекает государя за неудачный выбор. Историку С.М. Соловьеву, современнику николаев-

ского правления, нет нужды лавировать и он пишет о Ширинском следующее: «Человек ограниченный, без образования, писатель, т.е. фразер, бездарный <…> славился своим благочестием, набожностью. Действительно, он был исполнен страха перед Богом и пред помазанником его»[76] Еще более откровенному мнению П.В. Долгорукова о новом министре и о состоянии цензуры во время его управления сферой просвещения удивляться не приходится: князь всегда отличался прямотой своих суждений. «Глупый и подлый холоп-бюрократ, он умел сделать цензуру и посмешищем, и предметом ненависти в России <…> В это время запрещено было именовать лошадей, – язвительно замечает князь, – христианскими именами. Мудрые чиновники, окружавшие мудрого министра Шихматова, подняли тогда вопрос: относится ли это запрещение исключительно к именам православного календаря или также к именам прочих христианских вероисповеданий. Предмет споров подвергся торжественному обсуждению в полном заседании Главного правления цензуры, и последнее толкование одержало верх». Долгоруков приводит и другой пример торжества цензурной глупости при Ширинском-Шихматове: после тщательного рассмотрения был наложен запрет на публикацию объявления о пропаже собаки по кличке Тиран и предложено заменить эту «непристойную» кличку благозвучным «Фиделька»[77].

Странно, но в мемуарной литературе есть и иное мнение о Шихматове, мнение, окрашенное желанием подсластить горькую пилюлю. И принадлежит это мнение лицу, прямо соприкасавшемуся с ним по роду своей деятельности, и в какой-то мере зависимому от него. Это – мнение профессора Петербургского университета, цензора, редактора журнала «Современник», академика А.В. Никитенко. Вот оно: «Князь Шихматов был добр и по природе и по убеждению христианина, справедлив, прост и доступен. Он не отличался <…> ни блестящим умом, ни даром слова. Его ум вращался в сфере практической администрации, где он и приобрел много знания и навыка. Он, собственно, не был государственным человеком – да и где же у нас государственные люди? – и пост министра застал его, так сказать, врасплох, неожиданно. Он сам сознавал свою несостоятельность в этом отношении <…> Князь Шихматов хотел честно и добросовестно выполнять свою тяжкую миссию. <…> Но он не имел достаточно ни нравственного, ни гражданского мужества, чтобы смело повернуть против ветра руль своего корабля <…> Он не имел также никакого значения или, как говорится, веса, даже в глазах своих подчиненных. На него смотрели с некоторого рода пренебрежением, которое было естественным следствием его политического бессилия, но которого он не заслуживает ни по чувствам, ни по целям своим»[78]. Нельзя не видеть явное желание автора дневника облагородить образ князя и все его вызывающие неприятие обществом действия объяснить объективными условиями. Но посмотрим, так ли это.

Приход Шихматова в Министерство народного просвещения случился, как известно, после отставки С.С. Уварова за его статью в защи-

ту университетского образования, оцененную Николаем I «неприличной». Репутация Шихматова была такова, что острословы тут же переиначили фамилию нового министра на «Шах-матова» и говорили, что с его назначением министерству и просвещению в целом «дан не только шах, но и мат». Но мало кто знал, что выбор самодержцем такой одиозной в глазах общества фигуры был определен содержанием поданной им записки на высочайшее имя о необходимости преобразования преподавания в университетах таким образом, чтобы «впредь все положения и выводы науки были основываемы не на умствованиях, а на религиозных истинах, в связи с богословием». Императору эта мысль настолько полюбилась, что автор записки был незамедлительно им принят в своем кабинете. Во время задушевной беседы Шихматов так завлекательно для царя раскрыл свои бредовые идеи, что государь в восторге обратился к присутствующему при разговоре цесаревичу: «Чего нам искать еще министра просвещения? Вот он найден!»[79] Тут же последовало и официальное назначение Ширинского-Шихматова, а вскоре явились и результаты – исходя из необходимости борьбы «против духа неверия» в университетах запрещено чтение лекций по философии и государственному праву, преподавание логики и психологии отдано на откуп профессорам, по определению С.М. Соловьева, «так называемого догматического и нравственного богословия»[80]. Довод нового министра против преподавания философии убийственно прост и грандиозно нелеп: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен»[81]. Но Николай Павлович не вдумывается в основательность «аргумента» министра, ибо все это глубоко отвечало давно лелеемой им idee fixe – Россия призвана, должна спасти себя и Европу от революционных потрясений и распространяемого западной наукой безверия. Все негласные упреки в обскурантизме отметал просто: «Говорят, что я – враг просвещения: западное развращает их, думаю, самих; совершенное просвещение должно быть основано на религии»[82]. Так при прямой поддержке царя в сфере просвещения возобладала проповедуемая новым министром вера в «Божественное писание», «Божественный промысел» – Россия отброшена в Средневековье…

В полном соответствии с царским видением основ просвещения в июне 1850 г. министр внутренних дел Л.А. Перовский «совершенно конфиденциально» извещает своего коллегу по правительству Шихматова, что в «Курских губернских ведомостях» (№ 16 и 17) за этот год помещена статья «Об ископаемых Курской губернии», знакомясь с которой, он «не мог не обратить внимания, что в ней миросоздание и образование нашей планеты и само появление на свет человека изображаются и объясняются по понятиям некоторых геологов, вовсе несогласных с космогониею Моисея в его книге Бытия»[83]. Это обращение подвигло министра народного просвещения, имеющего еще и звание ординарного академика Императорской АН, навести «Бутурлинский комитет» на мысль подчинить неофициальные части всех губернских ведомостей общей цензуре вместо практиковавшегося ранее просмотра

их одним губернским начальством. Мотивировка, с точки зрения министра, неоспорима: чтобы им было неповадно печатать материалы, «требующие или высших соображений, или особых специальных познаний»[84]. На докладе Комитета красуется резолюция царя: «Исполнить».

В том же 1850 г. в числе книг в переводе с французского были изданы басни Эзопа, ряд нравоучений которых вызвал неудовольствие отличавшегося особой бдительностью члена «Бутурлинского комитета» генерал-адъютанта Н.Н. Анненкова, не поленившегося привести их в своем послании Шихматову: «Перед монархами искусная лесть часто заглаживает большие проступки»; «Правитель журит чиновника за малейшую покражу, в то время как сам он разоряет государство своими грабежами»; «Состояние бедных и черни не делается ни лучше, ни хуже, когда государство переменяет правление». Комитет признал издание басен Эзопа «неуместным», а государь на этот раз написал: «Справедливо»[85].

Спустя год власти начали беспрецедентную кампанию по изъятию из продажи «Отечественных записок» за 1840, 1841 и 1843 гг. после помещенного в «Московских полицейских ведомостях» объявления книгопродавца С. Васильева о продаже разных книг по дешевой цене, в том числе целых комплектов и отдельных номеров названного журнала. Все недоумевали, не догадываясь о причине изъятия журналов. А ларчик открывался просто: надзорные органы всполошились по той причине, что в трех номерах журнала содержалась «наиболее замечательное по вредному направлению» статья А.И. Герцена «Дилетантизм в науке».

Напомним читателю, что цикл статей «Дилетантизм в науке» относится к разряду выдающихся философских работ Герцена и является одной из первых основательных штудий нового направления философской мысли в России – материалистической философии революционной демократии, становление которого относится к 40-м годам. Значение этой работы для понимания целей и задач нового направления философии, особенно в рамках поисков путей связи между теорией и практикой, было велико. Сразу же после появления первой статьи цикла В.Г. Белинский писал В.П. Боткину: «Скажи Герцену, что его «Дилетантизм в науке» – статья донельзя прекрасная, – я ею упивался и беспрестанно повторял: вот как надо писать для журнала <…> Статья чертовски хороша»[86]. В целом данный цикл статей Герцена среди передовой части интеллигенции пользовался спросом, но все же далеко не таким, на которое рассчитывали автор и издатель, а потому многие номера журнала оставались не распроданными и в начале 50-х годов (под «дилетантизмом в науке» Герцен разумел «любовь к науке, сопряженную с полным отсутствием понимания ее», дилетанты «не понимают науки и не понимают, чего хотят от нее»). Но несмотря на это, власти, признав номера журнала со статьей Герцена «положительно предосудительными», сочли необходимым «обратить на этот предмет строгую свою бдительность». Журналы изъяты у книгопродавца, а от

редактора журнала Краевского взята подписка, что в редакции не имеется ни одного экземпляра журнала с 1829 по 1848 г. Но это не было концом инцидента. В декабре 1852 г. министр народного просвещения «весьма секретно» известил начальников губерний: если обследование губернских и уездных публичных библиотек выявит в них наличие номеров «Отечественных записок», за 1840, 1841 и 1843 гг., то немедленно изъять их из обращения. Попечителям учебных округов тоже «весьма секретно» предписано, чтобы экземпляры «тех же книжек журнала, находящиеся в библиотеках учебных заведений, были запечатаны в особых ящиках или пачках казенной печатью, и чтобы никому не было дозволено пользоваться ими». Одно хорошо, что в данном случае журналы хотя бы не уничтожались. А вот собранные в МВД экземпляры без тени сомнения «истреблялись на точном основании последовавшего о том высочайшего повеления»,[87] т.е. попросту сжигались. На ум невольно приходит незабвенный Фамусов: «Уж коли зло пресечь: забрать все книги бы да сжечь».

В поле зрения «Бутурлинского комитета» попадало практически все, что отвечало пониманию его членами значения слова «предосудительность». Так, под их подозрением оказались нотные знаки, под которыми, по убеждению Главного управления цензуры, «могут быть сокрыты злонамеренные сочинения, написанные по известному ключу, или, что к мотивам церковным могут быть приспособлены слова простонародной песни и наоборот»[88]. Для того чтобы этого избежать, нужно до рассмотрения музыкальных сочинений на цензурных комитетах, давать их на заключение «знающим музыку лицам». Особую нелюбовь у императора и у его верных сподручников вызывали произведения народного творчества (фольклор). Государем одобрено представление Комитета 2 апреля о запрещении публиковать в губернских ведомостях материалы, описывающие народные игры, загадки, анекдоты, особенно, если «ими нарушаются добрые нравы» или же они дают повод «к легкомысленному и превратному суждению о предметах священных». В качестве предосудительного примера к последнему были приведены и опубликованные все в тех же «Курских ведомостях» загадки: «Родился – не крестился, умер – не спас, Богоносцем был» (осёл); «На свете жил и Богу служил, а умер, ни в святых, ни в грешных» (тот же осёл)[89]. По рассказу историка Н.И. Костомарова, в период его ссыльной жизни в Саратове он поместил в местных ведомостях старинные народные песни, представляющие «печальную сторону семейного быта, именно тоску и отчаяние мужей, которым опостылели их жены и которые ищут себе удовольствий и утешений вне семейной жизни». Комитет 2 апреля, видимо, узревший в этом подрыв семейных отношений, нашел, что «народные песни, предаваемые печати, должны подлежать столько же осмотрительной цензуре, как и все другие произведения словесности» и чтобы «подобные песни <…> искоренялись даже в самых его преданиях». Но на то нужно еще одобрение государя, которое и появилось на докладе Комитета: «До такой степени

скверно, что заслуживает строгого взыскания с цензора, да и губернатору выговор за небрежение. Хочу знать, кто цензор; посадить на месяц на гауптвахту»[90]. Этой царской резолюции по частному случаю оказалось достаточно, чтобы начать повсюду запрещать петь произведения народной поэзии, пишет современник[91].

Полное одобрение императора вызывали и другие нелепые придирки цензуры, возникающие на пустом месте. Так, когда в мае 1852 г. в официозной «Северной пчеле» было помещено безобидное известие из Москвы, что «в среду 2 апреля, после чувствительных семи дней, открыт привольным обедом задушевный приют и старых и молодых – Английский клуб», то негодование Комитета вызвал тот факт, что «чувствительными семью днями названы здесь четыре последних дня Страстной недели, и три первые дня Святой недели», тем самым приложен «нелепый эпитет *чувствительный*» к дням, «освященным важнейшими событиями христианской церкви, о коих не иначе говорить должно, как с благоговением». На этот раз газете с одобрения императора всего лишь поставлено на вид[92].

Не избежал царского гнева и И.С. Тургенев за статью об умершем Гоголе. Статья эта предназначалась для «С.-Петербургских ведомостей», но попечитель округа за «отзыв о Гоголе в выражениях чрез меру пышных» не пропустил ее. Тогда Тургенев отправил статью в Москву, где и опубликовал ее в «Московских ведомостях». На рапорт начальника III Отделения А.Ф. Орлова легла высочайшая резолюция: «За явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину, под присмотр»[93]. Таким образом коллежский секретарь И.С. Тургенев был отправлен в полуторагодичную ссылку и ему позволено вернуться в столицу только в ноябре 1853 г., с оставлением под «строжайшим надзором» за должную оценку Гоголя как писателя.

В эти мрачные николаевские годы от цензуры не ушли не только живые, но и давно ушедшие из жизни деятели. В июле 1850 г. на личном докладе Шихматова с сомнениями об уместности нового издания писем Екатерины Великой к Вольтеру, «заключающих в себе или выражение нескромных похвал Вольтеру и сочинениям его, или шутки и остроты в отношении к предметам, тесно связанным с нашими религиозными убеждениями», царская резолюция тверда: «Не разрешать нового издания писем к Вольтеру»[94]. Каких-либо вразумительных объяснений причин запрета, разумеется, не последовало. Однако обусловленность ужесточения цензуры именно событиями 1848 г. хорошо видна на примере неудавшейся попытки переиздания сочинений одного из основателей русского классицизма Антиоха Кантемира, впервые выпустившего в свет свои знаменитые «Сатиры» 120 лет тому назад, а также переиздания произведений популярного в народе русского баснописца И.И. Хемницера.

Последнее издание сочинений А.Д. Кантемира было осуществлено в 1847 г. без каких-либо придирок со стороны цензуры. Но теперь цензор «вдруг» нашел, что в его сочинениях полно «сарказм на духовенство, мо-

нашество и высший иерархический сан»; «шуток и острот над такими предметами, в применении к которым шутка или острота делаются более или менее непозволительною выходкою и даже кощунством»; «нескромных площадных выражений, употребление которых в обществе и литературе нашего времени принимается за нарушение приличия»[95].

В баснях Хемницера явное неприятие цензора вызвали сближение собаки с монахом, волчьего поведения с господским, и вообще, вся сатира, направленная на действия верховной власти. Но здесь цензор все же чуть засомневался в возможности безоговорочного применения в отношении переиздаваемых книг тех же правил цезуры, что и к новым книгам. Во-первых, пояснял он, исключение в них мест, не отвечающих нынешним требованиям цензуры, но уже известных читателям по ранним изданиям, принесет больше вреда, чем пользы, ибо они послужат лучшим ориентиром для определения идеологии запретов (т.е. таким образом узнать, чего боится власть). Во-вторых, «допущение пропусков и перемен в произведениях писателей, стяжавших общее уважение и заслуженный авторитет, представляется почти равносильным запрещению печатать их новыми изданиями»[96].

Свое особое мнение об основательности сомнений цензоров высказал ни в чем не сомневающийся Л.В. Дубельт: «Никакие рассуждения не могут быть достаточны, чтобы перенести в новое издание тех выражений князя Кантемира, которые в старом издании замечены цензором, все они должны быть исключены. Что же касается до Хемницера, то некоторые места старого издания могут остаться и в новом»[97]. В спор вмешался лично министр народного просвещения и в особом докладе царю пространно и велеречиво, проявляя *«рассудительное снисхождение»* к известным писателям прошлого, приводил все «за» и «против». И если в отношении Хемницера он был достаточно снисходителен, предложив исключить из предполагаемого переиздания только две басни («Лев, учредивший совет» и «Привилегия»), то к творениям Кантемира отнесся более строго, хотя прямо и не высказался против их переиздания. Государь не стал себя особо утруждать разбирательством текстов и наложил очень характерную для него резолюцию: «Согласен; но по моему мнению сочинений Кантемира ни в каком отношении нет пользы перепечатывать, *пусть себе пылятся и гниют в задних шкапах библиотек, где занимают лишнее место* (выделено мной. – *М.Р.*)»[98].

К сказанному остается добавить, что во время правления Николая Павловича, по причине все той же боязни «умственного брожения» в обществе, как хорошо известно, один за другим закрываются журналы прогрессивной ориентации: «Литературная газета» А.А. Дельвига, «Московский телеграф» Н.А. Полевого, «Европеец» И.В. Киреевского, «Телескоп» Н.И. Надеждина (после опубликования им «Философического письма» П.Я. Чаадаева).

Явная нелюбовь правительства к органам периодической печати, как к распространителям «ложных идей», со всей очевидностью прослежи-

вается на примере закрытия журнала «Европеец» в феврале 1832 г., когда первый же номер журнала, вышедший в предыдущем году в Москве, вызвал неодобрение власть предержащих. Особенно «вредной» была признана статья самого редактора журнала И.В. Киреевского под названием «Девятнадцатый век», сразу же обратившая на себя внимание Николая I, что явствует из обращения Бенкендорфа к тогдашнему министру народного просвещения К.А. Ливену: «Е. в. изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но <…> сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное <…> под словом *просвещение* он понимает *свободу* <…> *деятельность разума* означает у него *революцию*, а *искусно отысканная средина* не что иное, как *конституция* <…> Оная статья, невзирая на ее нелепость, писана в духе самом неблагонамеренном»[99].

Цензор С.Т. Аксаков, не увидевший в статье того смысла, который углядел император, и пропустивший в печать номер журнала, был подвергнут административному взысканию, а Киреевский признан человеком «неблагомыслящим» и «неблагонадежным». Не помогло и заступничество В.А. Жуковского, который сказал Николаю Павловичу, что ручается за Киреевского, и услышал в ответ: «А за тебя-то кто поручится?» Жуковский после этого сказался больным, а может быть, действительно занемог от устрашающих царских слов. Вмешалась опекавшая поэта государыня Александра Федоровна, после чего император, встретив Жуковского, проговорил: «Ну, пора мириться»[100].

Но вернемся к 50-м годам XIX в., во времена цензурного мракобесия, когда очередным шагом стало запрещение издания второго тома «Московского сборника», за которым Шихматов приглядывал особенно зорко после появления в первом томе статьи «Несколько слов о Гоголе». В мае 1852 г. в своем докладе государю он писал, что «безотчетное расточение похвал этому писателю может дать даже повод к предположению, что он имел притязание сделаться у нас каким-то преобразователем, и таким образом наводит тень сомнения на намерения и действия» правительства. Можно, конечно, поражаться неуемной фантазии пугливого министра, но беда в другом – государь, видимо, к этому времени забывший о своих восторгах (если они не были деланными) от «Ревизора», хотел верить и верил подобным бредням.

Резкое неприятие у министра вызвали также помещенные в сборнике статьи К.С. и И.С. Аксаковых, А.С. Хомякова и других, о чем он обстоятельно информировал императора, не забыв указать, что за пропуск «чуждых целям издания» статей он уже сделал строгий выговор цензору. В своей резолюции Николай написал: «Ваши замечания совершенно справедливы, впредь сборники подвергать тем же правилам цензуры, как и все другие журналы»[101]. Воодушевленный этой резолюцией царя и отрицательным отзывом Л.В. Дубельта о рукописи второго тома «Московского сборника», в марте 1853 г. Шихматов вновь во-

шел к государю с обширным докладом, в котором подробно разбирались все представленные цензуре материалы и предлагалось следующее решение: «1. Воспретить печатание 2 тома «Московского сборника»; 2. редактору Ивану Аксакову, который не оправдал доверенности правительства при издании 1-го и приготовления 2-го томов, отказать в просьбе его о продолжении этого издания, и вообще издание это прекратить совершенно; 3. сверх того, И. Аксакова лишить права быть редактором какого бы то ни было издания». Заключение царя свелось к одному слову: «Справедливо»[102].

Сильное негодование Шихматова вызвали «Записки охотника» И.С. Тургенева, в которых значительная часть рассказов, вещал министр, «имеет решительное направление к унижению помещиков, которые представляются вообще или в смешном и карикатурном или, еще чаще, в предосудительном для них виде. Распространение столь невыгодных мнений насчет помещиков, без сомнения может послужить к уменьшению уважения к дворянскому сословию со стороны читателей других состояний». Министр просил уволить цензора князя В.В. Львова, пропустившего книгу. Но у Львова нашлись могущественные заступники в лице наследника цесаревича и А.Ф. Орлова, и за первой резолюцией царя: «Отставить за небрежное исполнение своей должности», тут же последовало высочайшее повеление «не считать Львова отставленным от службы, а только уволенным», а затем и вовсе разрешено вернуться в цензурную службу. Как видим, Николай I порой был способен отказаться от своего принципа не менять однажды принятого им решения и уступать ходатайствам близких лиц. Но такое случалось редко и нивелировалось наказами другого типа: «Строго смотреть, чтобы не было славянофильских бредней и тому подобного вздора»[103].

Естественно, в условиях ужесточения нелепых по своей сути цензурных требований не могло быть и речи об открытии новых общественно-политических периодических изданий, вызываемых растущими общественными потребностями. Потому на ходатайство получившего широкое общественное признание «западника» Т.Н. Грановского о разрешении журнала «Московское обозрение» Николай Павлович ответил коротко и ясно: «И без нового довольно»[104]. Спустя почти 10 лет отказано в просьбе об издании «Охотничьего сборника» хорошо известному широкой публике С.Т. Аксакову, несмотря на безупречную его мотивировку: «Может служить не только приятным чтением для охотников <…> но в то же время быть источником полезных местных сведений и наблюдений специалистов, которые одни могут обогатить науку драгоценными практическими знаниями, часто погибающими безгласно». Но боязливого и всегда державшего нос по ветру Шихматова бросало в дрожь при одном упоминании имени Аксакова, и он решил подстраховаться, обратившись к Л.В. Дубельту с просьбой сообщить, нет ли со стороны III Отделения каких-либо препятствий тому. И тут оказалось, что С.Т. Аксаков давным-давно находится под наблюдением этого страшного учреждения, и за ним, как следовало из *секретного*

сообщения министру, были «серьезные» грехи. Во-первых, он в 1830 г. в «Московском вестнике» опубликовал статью «Рекомендация министру», «возбудившую своим неприличием неудовольствие» государя (пропустивший статью цензор по личному указанию Николая был подвергнут двухнедельному аресту). Во-вторых, будучи сам цензором, Аксаков в 1832 г. разрешил к печати сатирическую брошюру «12 спящих будочников», которую государь признал «крайне неприличною и неблагонамеренною» (за что Аксаков и был уволен из цензоров). А посему, «соображая все это, равно и другие сведения, нельзя предполагать, чтобы он, при издании помянутого сборника, руководствовался должною благонамеренностью, и потому едва ли можно ему дозволить издание какого бы то ни было журнала»[105].

А вот и вовсе анекдотические примеры бдительности цензоров: в том же 1853 г. цензор Ахматов запретил печатание учебника по арифметике, усмотрев в точках между цифрами в одной из задач какой-то умысел ее составителя. Другой цензор в статье о Сибири не пропустил слова о том, что там ездят на собаках, и потребовал, чтобы этот факт был подтвержден Министерством внутренних дел[106]. Причем цензоры все свои подобные нелепые требования сваливали на Комитет 2 апреля, видя в нем пугало, грозившее наказаниями за любое по их недосмотру пропущенное слово.

Загруженность Министерства народного просвещения чтением всей печатной продукции в связи с планомерным усилением цензуры, с одной стороны, и частые замечания «Бутурлинского комитета» на неудовлетворительную работу, – с другой, и, наконец, личное рвение министра, понудили его в апреле 1850 г. выдвинуть следующее предложение: «Бдительный надзор за духом и направлением выходящих в свете книг, в особенности повременных изданий, составляет в настоящее время одну из важнейших обязанностей вверенного мне министерства. Из сего следует, что все издаваемые у нас газеты и журналы надлежит внимательно прочитывать тотчас по появлении их в печати, делать нужные по содержанию их замечания и доводить немедленно до моего сведения о всяком отступлении от цензурных правил, дабы я мог тогда же употреблять нужные меры строгости и предупреждать подобные упущения на будущее время. Между тем, ни Министерство народного просвещения, ни Главное управление цензуры не имеют к такому постоянному наблюдению решительно никаких способов, потому что теперь в канцелярии министра состоит только несколько чиновников, занимающихся собственно административной частью цензурного ведомства. Чтобы помочь столь ощутительному недостатку, я не нашел другого средства, как возложить изъясненное выше занятие на четырех состоящих при мне чиновников особых поручений, снабдив их надлежащим для того наставлением и распределив между ними все журналы, подлежащие цензуре <…> Но как я должен был употребить для столь важного дела, требующего особенной проницательности и благоразумия, чиновников, уже состоявших при министре, без возможно-

сти выбора к тому людей истинно способных <…> то нельзя не сомневаться, чтобы распоряжение мое увенчалось полным успехом. Для отклонения на будущее время такого неудобства, я полагал необходимым иметь в ведении Главного управления цензуры по крайней мере трех чиновников, свободных от всяких других служебных занятий»[107]. Сомнения министра в «полном успехе» дела без увеличения штата надзирающих за печатной продукцией возымели действие, и государь без лишних слов удовлетворил эту просьбу, распорядившись выделить не трех, как просил министр, а четырех чиновников по особым поручениям для выполнения функций цензоров.

Тем самым в стране сложились три ветви одновременно действующей цензуры: цензура отдельных цензоров с отраслевыми цензурными комитетами и Главным управлением цензуры; Комитет 2-го апреля 1848 г. – высшее надзорное учреждение, в ведении которого вся печатная продукция и новообразованный орган из четырех чиновников по особым поручениям при министре, с тем же кругом задач, что и у Бутурлинского комитета.

Николай I до самого конца своей жизни оставался верным взятому курсу ужесточения им цензуры, и когда в конце 1854 г. новый министр народного просвещения А.С. Норов, не желая делиться своими полномочиями с другими структурами, вошел к государю с докладной запиской «о неудобствах существующего порядка высшей цензуры», то она была возвращена ему со следующей резолюцией: «Полагаю не изменять существующего порядка. Но вас назначить членом Комитета 2-го апреля, чем большая часть нынешних неудобств отстранится»[108]. Николай Павлович не хотел видеть, что характер первоначально данных Комитету 2-го апреля полномочий уже не отвечал изменявшейся ситуации и упорно держался за отжившее свой век детище. Держался до самой своей смерти. И только в апреле 1855 г. по докладу статс-секретаря М.А. Корфа функции Комитета были существенно урезаны, а в конце того же года он и вовсе прекратил свою деятельность. Стоит отметить, что апрельскому решению месяцем раньше предшествовал визит к министру А.С. Норову А.В. Никитенко, после которого последний записал в своем дневнике, что был долгий разговор о цензуре и было обоюдное понимание того, что «наступает пора положить предел этому страшному гонению мысли, этому произволу невежд, которые сделали из цензуры съезжую и обращаются с мыслями, как с ворами и с пьяницами»[109].

Близилось время гласности, немыслимой при продолжении царствования Николая I. Его личную роль в угнетении живой мысли точно определил современник николаевской эпохи историк С.М. Соловьев: «Защитники Николая толковали и толкуют, что цензурные безобразия не от него происходили, что он не знал об них, и если бы знал, то не позволил бы. Но почему же император об них не знал? Почему люди, близкие к нему и привязанные к нему, не дали ему знать об них, как о явлениях, противных его славе и пользе народа, почему позабыли свою

присягу? Дело в том, что Николай стоял спиной к литературе; это знали и подлаживались из подлости к положению господина, не имея никакого сочувствия к литературе, – провались эта дрянь, а понадобится что-нибудь прочесть от скуки, прочтем и французскую книжку; а другие, немногие, которые не так смотрели на дело, не смели подступиться к деспоту с неприятными для него представлениями, из робости, – следовательно, тоже из подлости»[110]. Характеристика ситуации, данная историком, точна, но за одним важным исключением: из изложенного выше следует, что Николай I стоял «не спиной к литературе», а лицом к лицу с ней, цензурной дубиной в руках пресекая все отступления от проводимой им политической линии.

«Все должно идти постепенно...»

В исторической литературе достаточно широко распространено мнение, что в 30-летнее царствование Николая I в центре его внимания всегда оставался крестьянский вопрос, что именно этой проблемой он был более всего озабочен. При этом обычно ссылаются на десяток волей самодержца созданных секретных комитетов по крестьянскому делу[111]. Аргумент сторонников этой точки зрения простой: «Хотя практические результаты деятельности комитетов были ничтожны, сам факт постоянного возвращения к этому вопросу доказывает: император понимал, что крепостное право если не совсем отжило, то, несомненно, отживает свой век»[112]. Но что с того, что понимал? Да понимал ли на самом деле? Еще видный шестидесятник XIX в. Н.В. Шелгунов иронизировал по этому поводу, говоря, что Николай I «начинал» освобождение крестьян едва ли не каждый год[113]. Не дал толковых объяснений своих неудачных начинаний и сам Николай, признававшийся в 1854 г. П.Д. Киселеву: «Три раза начинал я это дело, и три раза не мог продолжать: видно, это перст Божий»[114]. Но «начинал» все три раза в обстановке такой секретности, что об этом мало кто догадывался, а не то чтобы знал наверняка. Между тем в литературе, как представляется, по существу не учитывается, что позитивных результатов строго засекреченные от общественности попытки келейного рассмотрения одного из самых злободневных для всей страны вопросов заведомо не могли дать и не дали. Ныне на множестве примеров из истории хорошо известно, что именно гласность действий является одним из залогов успеха любого общественно значимого начинания. Но понимание этого тогда было достоянием одиночек, и одним из немногих исключений был декабрист И.И. Пущин, не видевший в борьбе против социальной несправедливости других средств, «кроме мнения и гласности, которые, к сожалению, до сих пор в русском обществе считаются преступными, как будто дело общее (res publica) не есть дело каждого»[115]. В результате, по справедливому заключению известного отечественного историка А.А. Кизе-

веттера, деятельность десяти секретных комитетов, один за другим по прихоти императора создававшихся на протяжении двух с лишним десятилетий, «не породила ни одного закона, осязательно отразившегося на жизненных условиях крепостной деревни»[116].

Определенные надежды на «изменение быта помещичьих крестьян» (так маскировали от широкой общественности вопрос об отмене крепостного права) поначалу еще связывались с первым по счету секретным комитетом, в последующем названным Комитетом 6 декабря 1826 г. Его члены, по занимаемому ими служебному положению – важные государственные мужи, от умеренного либерала М.М. Сперанского до ярого реакционера П.А. Толстого и неуступчивых, твердолобых консерваторов Д.Н. Блудова, Д.В. Дашкова, И.И. Дибича, А.Н. Голицына, И.В. Васильчикова. Комитет возглавлял во всем готовый угождать царю председатель Государственного совета В.П. Кочубей. Цель сего синклита высока: на основе изучения найденных в кабинете Александра I немалого числа проектов по изменению внутреннего устройства государства определить, «что́ ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить»[117]. Князь П.В. Долгоруков, уже после успешного начала реформ 60-х годов, заметил, что «мысль, руководившая учреждением “Комитета 6 декабря”, была хороша; но <…> неисполнима без введения в России порядка конституционного, а Николай слышать не хотел о перемене образа правления»[118]. Но даже при сохранении самодержавной формы правления было возможно проведение, пишет князь, «четырех важнейших реформ: уничтожение крепостного состояния, отмена телесных наказаний, введение гласного суда и отмена чинов»[119]. В действительности ничего из этого сделано не было, все ограничилось предложениями убавить число дворовых людей, запрещением раздела и продажи имений с числом менее 50 ревизских душ и учреждением института почетных граждан. Радикальным системным изменениям мешали как собственная нерешительность императора Николая, так и резко отрицательное, если не сказать враждебное, отношение вел. кн. Константина Павловича к любым нововведениям. Он был недоволен уже одним фактом создания Комитета, ибо «находил, что в России все прекрасно, все совершенно, что лучшего желать нельзя и в минуту гнева называл даже Николая Павловича *якобинцем* !!!»[120] Возможные сомнения в достоверности сообщения князя снимаются тем, что все эти подробности Долгоруков передает со слов члена Комитета Блудова. Он же рассказывал Долгорукову, что государь, отправляясь весной 1830 г. в Варшаву, повез проекты преобразований брату Константину, ибо «без совета с ним не предпринимал ничего важного»[121]. Результат был ожидаем: «Константин Павлович сильнейшим образом восстал против каких бы то ни было перемен, говоря, что “все это заморские затеи и в России менять нечего: все идет прекрасно” и “не мешало бы русские порядки ввести в чужих краях”»[122]. Надо сказать, что жесткая позиция вел. кн. Константина в крестьянском вопросе была для Николая I удобна тем, что служила для него

своеобразным прикрытием. Это подтверждается, в частности, содержанием его приватного разговора с П.Д. Киселевым, во время которого уверял, что «еще в первые годы по вступлению своему на престол остановился он на определенном плане уничтожения у нас рабства, но захотел предварительно узнать мнение Константина Павловича; тот отвечал из Варшавы, что умоляет [дать] ему умереть спокойно, не смущать его мыслью о тех ужасах, которые неминуемо постигнут Россию. "Я не мог, – заметил Николай Павлович, – не уважить это требование, ибо для всех вас я император, а для меня императором был мой брат Константин"»[123].

Но Комитет 6 декабря 1826 г. продолжал существовать, и руководством для его членов должен был служить «Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства», будто бы составленный по прямому указанию Николая I. Как бы там ни было, в нем, «по возможности без перемены», было отражено все главное из критики декабристами существовавшей системы: губительное для России сохранение крепостного права, беззаконие, творящееся в судах и прочих присутственных местах, повсеместное воровство, взяточничество, хаос в администрации, законодательстве и пр.

В литературе с давних пор живет запущенная председателем Государственного совета В.П. Кочубеем и развитая затем биографом Николая Павловича Н.К. Шильдером легенда о том, что Свод стал едва ли не настольной книгой, повседневным руководством к действию «молодого», как тогда говорили, императора. «Государь, – радовал Кочубей составителя Свода правителя дел Следственной комиссии над декабристами А.Д. Боровкова, – часто просматривает ваш любопытный Свод и черпает из него много дельного; да и я часто к нему прибегаю»[124]. Последнее утверждение оставим на совести его автора – никаких документальных свидетельств этого, не говоря уже о практических результатах «частого прибегания» к Своду столь высокого ранга чиновника просто-напросто нет. Что же касается судьбы курируемого государем Комитета 1826 г., то он тихо прекратил свое существование в 1832 г., не проведя в жизнь ни одного из рассматривавшихся на своих заседаниях проектов преобразований (за исключением, пожалуй, в результате долгих споров учрежденного сословия почетных граждан, да и то лишь после смерти вел. кн. Константина Павловича – главного противника и данного института). Более того, фактически деятельность Комитета прекратилась еще в конце 1830 г., когда на фоне тревожных событий во Франции, Бельгии и особенно восстания в Польше «вдруг» обнаружилось, что России с реформами надо обождать. Именно тогда «окончательно ошеломленный Николай Павлович, при ограниченности ума своего не понимавший необходимости и пользы предупреждать революции разумными реформами, сделался врагом всяких нововведений, всяких улучшений, и в каждом свободном, честном голосе ему стал слышаться набат революции»[125]. Так и было в реальной действительности, хотя на словах Николай Павлович хотел выглядеть в глазах обще-

ства несколько в ином свете. «Я никогда не препятствую, – убеждал он много лет спустя своего собеседника, начальника канцелярии М.С. Воронцова, – натуральному ходу вещей и, конечно, смело могу сказать, что мы осмотрительно идем вперед без крупных перемен или сильных поворотов. Этим Россия может похвалиться перед другими державами»[126]. Императору как будто не известно, что с каждым годом ухудшающееся состояние сельского хозяйства приводило к резкому росту недоимок среди крестьянства – основного в то время налогоплательщика. Так, если в 1833 г. недоимки составили 35,3 млн руб., то спустя 10 лет, в 1843 г. – 68,5 млн руб., а в 1853 г. уже и все 130,3 млн руб., что составляло почти 60% государственных доходов[127] В таких условиях правительство едва сводило концы с концами и не могло обеспечить бездефицитный бюджет. Так, если в 1825 г. дефицит бюджета составлял всего 4 млн руб., то в 1855 г. он равнялся 262 млн. Как обычно, дефицит восполнялся внутренними и внешними займами, долги по которым в 1852 г. составили 402 млн руб. И это при том, что с 1831 по 1853 г. Россия не вела ни войн (если не считать краткосрочного Венгерского похода 1849 г.), ни сделала сколько-нибудь существенных затрат на образование, науку, на совершенствование администрации и судопроизводства и т.д. Плачевное состояние государственного хозяйства определялось главным злом. «Крепостное право есть камень преткновения для всякого успеха и развития России», – писал в 1855 г. К.Д. Кавелин[128].Действующий император не мог не видеть этого, и в оправдание своей бездеятельности в решении главного вопроса времени был способен в разных вариациях только повторять и повторять сказанное французскому посланнику графу Сен-При: «Я отличал и всегда буду отличать тех, кто хочет справедливых преобразований и желает, чтобы они исходили от законной власти, от тех, кто сам бы хотел предпринять их, и Бог знает какими средствами»[129].

Кстати, решать крестьянский вопрос не жаждал и его либеральный на первых порах старший брат. «Александр, – замечает А.И. Герцен, – обдумывал двадцать пять лет план освобождения, Николай приготовлялся семнадцать лет, и что же выдумали они в полстолетия – нелепый указ 2 апреля 1842 года об обязанных крестьянах»[130]. «Нелепый» прежде всего потому, что указ, устраняя «вредное начало» принятого при Александре I закона 1803 г. о свободных хлебопашцах, гласил: «Вся без исключения земля принадлежит помещику; это вещь святая, и никто к ней прикасаться не может». Какие уж тут реформы! Но он «нелепый» и по другой причине: проведение его в жизнь отдано «единственно доброй воле и влечению собственного сердца помещика-крепостника», т.е. на волю тех помещиков, которые сами того пожелают. Причем это определяющее всю суть указа положение было принято в согласии с личной позицией Николая Павловича, решительно отвергнувшего мысль П.Д Киселева не отдавать договоры на волю помещиков, и прямо ограничить их власть инвентарями. «Я конечно, – сказал император, – самодержавный и самовластный, но на такую меру никог-

да не решусь и на то, чтоб *приказать* помещикам заключать договоры: это должно быть, опять повторю, делом доброй их воли и только опыт укажет, в какой степени *после* можно будет перейти от добровольного к обязательному»[131]. Жесткая позиция самодержца и определила главное содержание готовившегося указа, сведя все «к самым тесным, в сравнении с первоначальной мыслью, границам». Под прямым давлением Николая Комитет предложил, «отстранив основу проекта – *свободу* крестьян, ограничиться лишь некоторою переменою указа 1803 года, т.е. вместо увольнения крестьян по сему указу с землею, предоставить помещикам – но и то лишь *по собственной воле каждого* – заключать такие условия, при которых помещик удерживал бы полное право вотчинной собственности на всю землю»[132]. В результате внесенный П.Д. Киселевым обширный проект закона выродился в куцый указ, в котором намеренно избегали не только самих слов «освобождение», «свобода», но и всяких намеков на них, ибо среди помещичьих крестьян вовсю уже гуляли слухи, что в такой-то конкретно определенный день «государь станет бросать с дворцового балкона билеты, в которых объявится вольность»[133].

Характерна реакция Николая I на возникшие в связи с обсуждением готовившегося указа об обязанных крестьянах толках в крестьянской среде о предстоящем освобождении от власти помещиков. Отметив, что источник «народной молвы» заключается в «неуместных разглашениях со стороны лиц, облеченных моим доверием и обязанных самим долгом их присяги хранить государственную тайну», император пригрозил «тотчас судить виноватых по строгости законов, как за государственное преступление»[134]. Какая уж тут гласность…

В итоге указ от 2 апреля 1842 г. получился таким, каким он и должен был получиться при подобной царской позиции, и на его основе в *обязанные* крестьяне помещиками «по своему желанию» было переведено всего 24 708 ревизских душ.

В царствование Николая I появился еще один мертворожденный указ от 8 ноября 1847 г., по которому крестьяне продаваемых с торгов имений теоретически могли их выкупить и стать таким образом свободными, но по чрезвычайной бедности своей сделать этого реально не могли. По данным исследования В.И. Вешнякова, с 1848 по 1852 г, т.е. практически за весь период действия указа 8 ноября 1847 г., выкупились 964 ревизских душ 21 помещичьего имения с 5032 дес. земли[135]. Но из приведенной цифры надо исключить 135 крестьян мужского пола помещика А.А. Темишева (Тульская губ., Богородский у., с. Свиридово) которые в конечном счете так и не сумели выкупиться из помещичьего владения из-за отсутствия наличного капитала[136]. Это естественно, ибо, по мнению Особого комитета, рассматривавшего в феврале 1849 г. вопрос о последствиях указа, в доведенных до продажи с публичных торгов имениях крестьяне были разорены вместе с помещиком[137] Поэтому, несмотря на огромное число заложенных в различных кредитных учреждениях помещичьих имений (к 1856 г. в залоге нахо-

дилось 6,6 млн крепостных, т.е. 61,7% от общего их числа[138]) значительная часть которых ежегодно пускалась с молотка, выкуп крестьян «на волю» по указу 8 ноября 1847 г. принципиально не мог стать действенным способом освобождения от крепостной неволи. Главный результат указа состоял не в практических его результатах, а в том, что он взбудоражил умы, в какой-то мере заставив помещиков задуматься о том, что крепостнические отношения не вечны[139].

Помимо двух названных указов в правление Николая Павловича, который, по определению В.И. Семевского, «готов был довольствоваться маловажными мерами, из которых многие остались без результата»[140], предпринимались еще более жалкие меры для решения судеб абсолютно бесправных дворовых людей (указом Сената от 12 июня 1844 г. помещикам было дано право отпускать их без земли по обоюдному согласию), запрещения продажи крепостных на своз или поодиночке, с «раздроблением семейств» и т.п. По подсчетам историка В.И. Крутикова, всего с 1826 по 1855 г. было принято 367 законодательных актов о помещичьих крестьянах, но, к сожалению, их количество в данном случае не переросло в качество, и сколько-нибудь существенного изменения в их реальном положении они не произвели[141].

Общая особенность всех этих мер была в том, что для помещиков, являвшихся полновластными хозяевами в своих имениях, при попустительстве местных чиновников (разумеется, отнюдь не бескорыстном), на практике не составляло труда обойти все эти постановления. Поэтому говорить можно лишь о косвенном влиянии подобных мер на подготовку общественного мнения для освобождения крестьян в будущем, на выработку юридических и экономических оснований для этого. Все это достаточно четко показывает, что ни у Николая I, ни у его карманных Комитета министров и Государственного совета никогда не было и мало-мальски ясного представления о путях, способах и конкретных сроках освобождения помещичьих крестьян. Они к этому, по правде говоря, и не стремились, что и было в свое время зафиксировано одним из авторов юбилейного издания «Великая реформа»: Николай I, «несмотря на все уверения в противном, на самом деле был убежденным охранителем неприкосновенности крепостного права»[142]. Николай I, за которым было решающее слово в деле освобождения крестьян, жестко и непреклонно руководствовался четко сформулированным им положением в своей речи на общем заседании Государственного совета 30 марта 1842 г. О том исключительном значении, которое он придавал своему предстоящему выступлению, говорит, в частности, тот факт, что утром перед отправлением в Совет он обратился к Александре Федоровне за благословением, чего отродясь не делал ни по какому другому поводу: «Благослови меня, жена. Я стою перед самым значительным актом своего царствования. Сейчас я предложу в Государственном совете план, представляющий собой первый шаг к освобождению крестьян»[143]. Но, увы, весь пафос обращения к супруге не был адекватен фактическому содержанию соображений, содержащихся в

царской речи. Изложенные ниже основные положения этой речи перед 34 членами Государственного совета в представлении государя должны были стать исторической вехой в решении вопроса о крепостном праве. О том, что своему выступлению государь придавал особое значение, говорит и тот факт, что оно записывалось двумя специально выделенными для этой цели чиновниками. Затем их записи были дополнены и откорректированы статс-секретарем бароном М.А. Корфа по его личным записям. Это и дало ему основание утверждать, что «написанное представляет не только собственные *мысли* государя, но везде и собственные его выражения».

Николай I начал свою речь с главного, сказав: «Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему *теперь* было бы делом еще более гибельным. Покойный император Александр, в начале своего царствования имел намерение дать крепостным людям свободу, но потом сам отклонился от своей мысли, как совершенно еще преждевременной и невозможной в исполнении. Я тоже никогда на это не решусь, считая, что если время, когда можно будет приступить к такой мере, вообще еще далеко, то в *настоящую* эпоху всякий помысел о том был бы не что иное, как преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства. Пугачевский бунт доказал, до чего может доходить буйство черни»[144]. Кажется, яснее и четче о своей позиции не скажешь и на этом можно было бы поставить точку, но царь хочет объяснить свою позицию, когда «всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться навсегда». Причем государь попутно раскрыл причины такой понятливости «благоразумных наблюдателей» и отнес их, «*во-первых*, к собственной неосторожности помещиков, которые дают своим крепостным несвойственное состоянию последних высшее воспитание, а через то, развивая в них новый круг понятий, делают их положение еще более тягостным (как видим, царь не забыл содержания своего рескрипта на имя министра просвещения Шишкова от 19 августа 1827 г. – *М.Р.*); *во-вторых*, к тому, что некоторые помещики <…> забывая благородный долг, употребляют свою власть во зло, а дворянские предводители <…> к пресечению таких злоупотреблений не находят средств в законе, ничем почти не ограничивающем помещичьей власти». Поэтому логика последующих рассуждений самодержца вполне понятна: «Но если нынешнее положение таково, что оно не может продолжиться <…> то необходимо, по крайней мере, приготовить пути для *постепенного перехода* к другому порядку вещей <…> Не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с ним связать ненарушимое охранение вотчинной собственности на землю». Но ожидаемого по контексту «высочайшей» речи рассмотрения, хотя бы в тезисной форме, этих «путей перехода» нет, а есть решительное повторение уже сказанного им: «Все должно идти постепенно и не может и не должно быть сделано разом или вдруг»[145]. А напоследок импера-

тор не мог изменить себе, чтобы не пригрозить и не пообещать строгих кар тем, кто и дальше не будет держать рот на замке и давать пищу для разных слухов и толков: «Одно только не могу не поставить в вину Совета – именно той публичной, естественно, преувеличенной народной молвы, которой источник отношу к неуместным разглашениям со стороны лиц, облеченных моим доверием <…> и предваряю, что если бы, сверх ожидания, опять дошло до моего сведения о подобных разглашениях, то я велю тотчас судить виноватых по строгости законов, как за государственное преступление»[146]. На высказанное на следующий день робкое пожелание председателя Государственного совета И.В. Васильчикова «несколько смягчить замечание насчет сохранения впредь государственной тайны» государь категорически не согласился: «Я это сказал, и не отступлюсь от моих слов: такой урок будет не без пользы для переду»[147]. Но, как показала жизнь, угроза была пустой и возникновение каждого очередного «секретного» комитета вызывало новую волну народных толков. Обращение же к царю не отличавшегося храбростью Васильчикова было вызвано тем, что, как записал М.А. Корф, «именно в *это* заседание, о котором так хотелось прокричать по целой России, он наложил на нас обет и печать молчания»[148]. Упрек важный, говорящий о понимании частью высшего звена власти насущной необходимости подключения к решению самого животрепещущего вопроса времени широкой общественности. Император же, как следует из его речи, наоборот, пригрозил строгими карами тем, кто осмелится прибегнуть к «неуместным разглашениям».

Из приведенных высказываний Николая I можно понять, что и само время «приготовления путей» отодвигается им на неопределенный срок. Мысль в устах императора не нова, она им высказывалась еще в 1834 г., например, в известном его разговоре с П.Д. Киселевым после установления в Молдавии и Валахии фиксированных норм работы крестьян на местных помещиков-бояр: «Мы займемся этим (освобождением крестьян. – *М.Р.*) *когда-нибудь*, я знаю, что могу рассчитывать на тебя, ибо мы оба имеем те же идеи, питаем те же чувства в этом важном вопросе, которого мои министры не понимают и который их пугает. Видишь ли, – продолжал государь, указывая рукой на картоны, стоящие на полках кабинета, – здесь я со вступления моего на престол собрал все бумаги, относящиеся до процесса, который я хочу вести против рабства, *когда наступит время*, чтобы освободить крестьян по всей империи»[149]. Я неслучайно выделил курсивом весьма неопределенные слова самодержца, что мы займемся освобождением крестьян *«когда-нибудь», «когда наступит время»*. В их основе лежит старый мотив, берущий начало от его бабки, тоже ограничивавшейся осуждением «всеобщего рабства» и тоже ратовавшей за постепенность. Но разница в том, что Екатерина II имела все основания бояться своего сановного окружения, чтобы приступить к реальным шагам для ликвидации рабства. Всерьез объяснять позицию Николая I в пору его наивысшего могущества все тем же «бессилием перед крепостническими

убеждениями высших сановников», как это делают современные историки (будто при Александре II было по-другому), едва ли обоснованно. Так, объясняя причины отхода от первоначального проекта указа об обязанных крестьянах от 2 апреля 1842 г., в этом его виде являвшегося реальной попыткой освобождения крестьян с землей, С.В. Мироненко пишет: «В момент обсуждения проекта Киселева в Секретном комитете Николай I отступал всякий раз, когда сталкивался с явно выраженным сопротивлением большинства членов: он не считал возможным пойти на открытый конфликт с сановной аристократией»[150]. Оставляя в стороне утверждение о «явно выраженном сопротивлении» аристократии (скорее, то было лишь обозначением своих корпоративных желаний), скажем, что современникам был более известен другой Николай Павлович, когда, по меткой характеристике А.И. Герцена, в *нужных* случаях «его упорность доходила до безумия беременных женщин, когда они чего-нибудь хотят животом»[151]. Так вот, в данном случае в попытках решения насущной проблемы император ничего не «хотел животом», а потому для оправдания своего бездействия (а не страха перед аристократами) прибегал к совершенно несвойственному для него в иных ситуациях приему: консультировался с откровенно боявшимися его своими «сотрудниками», членами царской фамилии, советы которых тоже были предопределены, что он хорошо знал. Поэтому прав В.И. Семевский, когда писал, что во всех своих попытках разрешения тяжелейшего для него крестьянского вопроса Николай I был готов «довольствоваться весьма маловажными мерами, из которых многие оставались без всякого результата»[152]. Явно с желанием оправдать свою нерешительность он сетовал П.Д. Киселеву: «Я говорил со многими из моих сотрудников, и ни в одном не нашел прямого сочувствия; даже в семействе моем некоторые (великие князья Константин и Михаил Павловичи) были совершенно против. Несмотря на то, я учредил комитет из 7 членов для рассмотрения постановлений о крепостном праве (имеется в виду Комитет 6 декабря 1826 г. – *М.Р.*), я нашел противодействие. По отчету твоему о княжествах я видел, что ты этим делом занимался и тем самым положил основание будущему довершению этого важного преобразования; помогай мне в деле, которое я почитаю должным *передать сыну* (выделено мной. – *М.Р.*) с возможным облегчением при исполнении, и для того подумай, каким образом надлежит приступить без огласки к собранию нужных материалов и составлению *проекта* или руководства к постепенному осуществлению мысли, которая меня постоянно занимает, но которую без доброго пособия исполнить не могу»[153].

По словам П.В. Долгорукова, Николай I будто бы на смертном одре сказал сыну Александру: «У меня всегда были две мысли, два желания, и я ни одного из них не мог исполнить. Первое: освободить восточных христиан из-под турецкого ига; второе: освободить русских крестьян из-под власти помещиков. Теперь война, война тяжелая; об освобождении восточных христиан думать нечего, но, по крайней ме-

ре, обещай мне освободить русских крепостных людей»[154]. Но этот факт своеобразного напутствия наследнику не подкрепляется свидетельствами находившихся у постели умирающего императора родственниками. Лишь близкая к царской фамилии фрейлина А.О. Смирнова-Россет в одном из своих писем передает сказанное ей в апреле 1855 г. слова брата нового царя вел. кн. Константина Николаевича о перспективах решения вопроса о крепостном праве: «Ведь вы знаете, что на смертном одре государь взял слово с брата. Дай Бог кончить войну, а потом начнем другое дело»[155]. Начальник штаба Корпуса жандармов А.Е. Тимашев, ссылаясь на мнение не названных им современников, тоже говорит о «сокровенном желании» Николая I освободить крестьян с землей[156]. Ряд современных исследователей склонны безоговорочно доверять этим сообщениям о якобы имевшем место намерении императора освободить крестьян и считают, что уже «к середине 1830-х годов у Николая I созрело твердое убеждение о том, что пришло время вплотную заняться изменением положения крепостных крестьян»[157]. И если, несмотря на это, решение вопроса все время отодвигалось на неопределенное будущее, то исключительно из-за сопротивления ближайшего окружения императора. Но напомним в связи с этим, что еще А.И. Герцен в своей статье «Крещеная собственность» решительно отвергал подобный взгляд на проблему: «Они [правители] боятся дотронуться до этого вопроса, оттого что они трусы. В сущности бояться нечего; ведь это хорошо рассказывать иностранным газетам об диких Boyards moscovites (московских боярах), всегда готовых на цареубийство и грозных своим влиянием. Их совсем нет.

Весь народ, очевидно, был бы за правительство, и не один народ, а вся образованная часть дворянства.

Если закоснелые помещики и московские бояре будут противиться, им придется ограничиться ропотом. Отчего им и не позволить болтать о своем неудовольствии. Они, впрочем, столько проповедовали нам безусловную покорность перед высочайшей властью, что справедливо было бы от них потребовать пример. Да и где их права? Они владели мужиками и разоряли их по царской милости; по царской немилости они перестали бы их разорять. Люди эти не имеют партии, их сила мнимая. Зимний дворец полон выслужившимися немцами, солдатами и писарями, которых богатство, судьба и сила связана не с помещичьим правом, а с петербургским императорством»[158].

Так в чем же тогда дело при очевидном политическом бессилии помещичьего сословия? Царю Николаю не достало политической воли, обыкновенной решимости? И это в то время, когда в самом дворянстве стали едва ли не повсеместными обыденные суждения, что «крепостное состояние не может существовать навсегда», что «время кризиса, хотя еще не настало, но приближается»[159], когда А.Х. Бенкендороф, всем своим нутром преданный самодержавию и самодержцу, не уставал предупреждать, что «крепостное право есть пороховой погреб под государством». Последние слова, способные устрашить кого угодно,

содержались в известном отчете III Отделения «о внутреннем состоянии» страны за 1839 г.: «При каждом новом царствовании, при каждом важном событии при дворе или в делах государства, – говорилось в нем, – издревле и обыкновенно пробегает в народе весть о предстоящей перемене во внутреннем управлении и возбуждается мысль о свободе крестьян, вследствие этого происходят <…> в разных местах беспорядки, ропот, неудовольствие, которые угрожают хотя отдаленною, но страшною опасностью. Так и теперь по поводу бракосочетания вел. княжны Марии Николаевны в народе разнеслась весть, что крестьяне будут освобождены. Толки всегда одни и те же: царь хочет, да бояре противятся. Дело опасное, и скрывать эту опасность было бы преступлением. Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет перед сим <…> привили ему много новых идей и раздули в сердце искру, которая может когда-нибудь вспыхнуть (весь этот текст отчеркнут Николаем I карандашом, а напротив последних слов поставлен знак +. *–М.Р.*) <…> Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же <…> Мнение здравомыслящих таково: не объявляя свободы крестьянам, которая могла бы от внезапности произвести беспорядки, можно бы начать действовать в этом духе <…> Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. Тогда только мера будет спасительна, когда будет предпринята самим правительством, тихо, без шуму, без громких слов и будет соблюдена благоразумная постепенность. Но что это необходимо и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все согласны»[160].

Как видим, ведомство Бенкендорфа четко и ясно расписало сценарий последующих действий в вопросе освобождения крестьян – «благоразумная последовательность», которой строго и придерживался в последующем монарх, жирной карандашной линией отчеркнувший на полях отчета все места с подобными рекомендациями. Надо заметить, что и много ранее Бенкендорф в отчетах III Отделения специально обращал внимание императора на прочно утвердившееся в сознании помещичьих крестьян стремление обрести свободу. Так, в отчете за 1827 г. читаем, что «всякий крепостной, которому удалось своим трудом скопить несколько тысяч рублей, употребляет их прежде всего на то, чтобы купить себе свободу. Они хорошо знают, что во всей России только народ-победитель, русские крестьяне находятся в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т.д. – свободны <…> они ждут своего освободителя, как евреи своего мессию»[161]. Спустя семь лет опять читаем: «Год от года распространяется и усиливается между помещичьими крестьянами мысль о вольности. В 1834 году много было примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи, как по произведенным исследованиям оказывалось, происходили не от притеснений, не от жестокого обращения, но единственно от мысли иметь право на свободу».

Казалось, составители отчета далее должны были бы предложить и пути и способы удовлетворения надежд крестьян на свободу, но на деле мы видим иное. Оказывается, что конкретно не обозначенные «благомыслящие люди» понимают «трудность сего дела» и призывают к «крайней осмотрительности», ибо «крестьянин наш не имеет точного еще понятия о свободе и волю смешивает с своевольством. А потому, сколько, с одной стороны, признается необходимым, дабы правительство исподволь приближалось к цели освобождения крестьян от крепостного владения, столько, с другой, все уверены, что всякая неосторожность, слишком поспешная в сем деле мера должна иметь вредные последствия для общественного спокойствия»[162].

Кстати, сетования Николая Павловича на то, что он не находит поддержки в своем окружении в крестьянском вопросе не совсем основательны. Один только пример на этот счет. В 1842 г. председатель Государственного совета И.В. Васильчиков настоятельно внушает М.А. Корфу: «Лучше сделать добровольно первый шаг в видах постепенного освобождения крепостных людей, ибо иначе скоро настанет время, когда они сами потребуют себе прав»[163]. Но сколько-нибудь вразумительной команды сверху не следовало и складывается впечатление, что все надеялись на привычное «авось». Ничего путного из уст представителей высшей власти не слышно, одни пустые слова: «Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно…» А сам государь продолжал твердить свое: «Дать личную свободу народу, который привык к долголетнему рабству, опасно». Развивая эту свою мысль, Николай I говорил П.Д. Киселеву: «Я хочу отпустить крестьян с землей, но так, чтобы крестьянин не смел отлучаться из деревни без спросу барина или управляющего <…> Я начну с инвентарей; крестьянин должен работать на барина три дня и три дня на себя; для выкупа земли, которую имеет, он должен будет платить известную сумму по качеству земли, и надобно выплатить в несколько лет, земля будет ему. Я думаю, что надобно сохранить мирскую поруку, а подати должны быть поменее. Я об этом говорил Блудову (Д.Н. Блудов, председатель Департамента законов. – *М.Р.*), он поручил чиновнику составить полный план»[164]. Как известно, никакой план безымянным чиновником Блудова составлен не был, и эти благие пожелания императора, видимо, не знавшего о существовании указа 1797 г. Павла I о трехдневной барщине, в реальной жизни почти не выполнявшегося, так и остались благими пожеланиями. Причем примечателен сам повод, понудивший Николая I думать, что пришла «пора ему заняться нашими крестьянами»: «Я то и дело получаю известия, что в той или другой губернии стреляют в помещиков, в Кременчуге высекли почтенного Паскевича, потому что, как военный, он строго требовал порядка, высекли несчастного Базилевского – я отдам его под опеку, он живет в нужде, все знают, что его секли и все его презирают, а он и в ус не дует. Я не хочу разорять дворян. В 12 году они сослужили службу, жертвовали кровью и деньгами»[165] (как будто крестьяне не «жертвовали кровью»). Право

же, от верховного правителя страны должно было бы в первую очередь ожидать экономического обоснования необходимости отмены крепостного права, которое, по вышеприведенному мнению К.Д. Кавелина, «есть камень преткновения для всякого успеха и развития в России», а не слов о том, что «пора заняться нашими крестьянами» потому, что они бессовестно секут своих помещиков, а последние «и в ус не дуют».

Оправдывая позицию Николая I, что русский крестьянин еще «не имеет точного понятия о свободе», а потому ее и недостоин, ряд «просвещенных» современников говорили о «заботе» царя, чтобы преждевременным предоставлением вольности «русскому темному народу» не дать его «поработить грубому произволу, кабаку, кулакам, взяточникам и мироедам»[166]. Однако такое мнение очевидно навеяно происходившими в пореформенной деревне процессами, о которых Николай Павлович, конечно же, не имел и не мог иметь никакого представления.

Но вот что горько и удивительно, абсолютно сходных с Николаем Павловичем воззрений в 40-е годы придерживался и один из первых российских демократов В.Г. Белинский: «Россия еще дитя, – писал он, – для которого нужна нянька. В груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу – значит погубить его. Дать России в теперешнем ее состоянии конституцию – значит погубить Россию. В понятии нашего народа свобода есть *воля*, а воля – озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян»[167] (нянька – это самодержавие). Какие уж тут комментарии и какие могут быть упреки в адрес самодержца…

Для внесения ясности в вопрос о желаниях и намерениях Николая I в решении крестьянского вопроса отошлем читателя к ясно и четко публично выраженной им позиции после начала революционных событий 1848 г. в Европе, когда в России резко усилились охранительные тенденции. Как пишет чиновник высшего звена граф М.Д. Бутурлин, именно после этого Николай Павлович «призадумался, и крестьянское дело было отложено в дальний ящик»[168]. Решение твердое, а потому Николай I, принимая депутатов петербургского дворянства 21 марта этого года, твердо успокаивал помещиков: «Некоторые лица приписывали мне по сему предмету самые нелепые и безрассудные мысли и намерения. Я их отвергаю с негодованием <…> вся без исключения земля принадлежит дворянину-помещику. Это вещь святая и никто к ней прикасаться не может»[169]. Как пишет в своих воспоминаниях вел. княжна Ольга Николаевна, «папá, несмотря на все свое могущество и бесстрашие, боялся тех сдвигов», которые могли произойти в результате освобождения крестьян[170]. Специально отметим, дочь пишет, что отец-император боялся не своего окружения, а возможных непредсказуемых перемен, его пугала неопределенность будущего, невозможность сколько-нибудь удовлетворительно просчитать ход событий. Потому «всесильный» царь после 1848 г. вовсе не помышлял об освобождении

крестьян, а был озабочен лишь созданием таких условий, при которых, на фоне все учащавшихся случаев убийств помещиков своими крестьянами, можно было бы избежать дальнейшего обострения протестов последних против сохраняющегося рабства. Кроме того, крайне самолюбивый монарх, почти маниакально опасался, как бы общественность «не восприняла отмену рабства как уступку бунтовщикам, с которыми он расправился» в начале своего царствования[171]. Даже если принять на полную веру свидетельство вел. княжны Ольги Николаевны, что, когда началась Крымская война, Николай Павлович будто бы сказал наследнику: «Я не доживу до осуществления моей мечты: твоим делом будет ее закончить»[172], то и тогда не оставляет мысль, что он так и не смог подняться до полного понимания необходимости ликвидации крепостного права прежде всего для нравственного «очищения» общества, в интересах нормального развития России. Он и при самом конце жизни сохранял труднообъяснимую веру в спасительную возможность установления гуманных отношений между господами-помещиками и их бесправными крепостными крестьянами. «При существующем положении нашего гражданского устройства, – говорил он, – необходимо, чтобы помещичья власть обращена была единственно *на благо* своих крепостных; злоупотребление же сей власти влечет за собой унижение благородного звания и может привесть к пагубнейшим последствиям»[173]. В этом своем суждении Николай I исходил из последовательно отстаиваемого им на протяжении всего 30-летнего своего правления тезиса, что «*отмена крепостного права большее зло, чем само крепостное право*»[174].

Подчеркнем, что никому из историков, при всем их старании и усердии, не удалось поколебать кардинальный вывод крупнейшего исследователя истории русского крестьянства В.И. Семевского. «Таким образом, император Николай, – писал он, – при всех своих добрых намерениях в крестьянском вопросе, при ясном сознании необходимости уничтожения крепостного права, если не при нем, то, по крайней мере, в следующее царствование, и настоятельности серьезной подготовки этой меры, обнаружил такую нерешительность в этом отношении, что деятельность *девяти* “секретных”, “келейных” и “особых” комитетов не имела никаких серьезных последствий, так как из числа подготовленных ими мер две, единственно возбуждавшие надежды: закон об обязанных крестьянах и дозволение выкупаться на свободу при продаже с аукциона – не принесли почти никакой пользы»[175]. Помимо крайней нерешительности Николая Павловича в попытках разрешения давно и безнадежно зависшего вопроса освобождения крепостных, одну из главных причин того, что деятельность всех созданных им комитетов и комиссий не дала реальных плодов, тот же Семевский, а вслед за ним и другие справедливо видели в «крайней боязни гласности, столь необходимой в этом деле», в уверенности правительственных кругов в том, что оно «может быть обсуждено и подготовлено исключительно бюрократическими средствами, без содействия общества»[176].

Осознание ложности этого постулата пришло уже в самом начале царствования Александра II, когда деятельность по примеру отца созданного секретного комитета по крестьянскому вопросу под нажимом общественности приобрела гласный характер и дело освобождения крестьян наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

Законы и беззаконие

Николаю I было безопаснее приступить к преобразованиям в той сфере жизни страны, где отсутствовала прямая угроза общественных потрясений – к упорядочению законов. Мотив для этого у него был простой, но важный: «Я еще смолоду слышал о недостатках у нас по этой части, о ябеде, о лихоимстве, о несуществовании полных на все законов или о смешении их от чрезвычайного множества указов, нередко между собой противоречивых»[177]. Действительно, как мы знаем, в июле 1801 г. указом Александра I была создана очередная Комиссия составления законов, в задачу которой входила систематизация действующих законов. Работа двигалась вяло и только с включением в дело М.М. Сперанского Комиссия к исходу 1809 г. разродилась проектом части Гражданского права (семейное право). С созданием в 1810 г. Государственного совета Комиссия перешла в состав нового органа власти, одной из важнейших задач которой было создание Гражданского и Уголовного уложений[178]. Но если подготовленные ею следующие две части Гражданского уложения (имущественное и наследственное право, и о договорах) в целом были одобрены Советом, то проект Уголовного уложения отклонен. Затем и долгие споры вокруг трех частей Гражданского уложения завершились торжеством мнения оппозиции, возглавляемой крайне консервативно настроенным министром юстиции Д.П. Трощинским: «Нового уложения нельзя рассматривать без полного Свода прежних законов»[179]. Возникшая пауза в обсуждении вопроса была прервана в 1821 г., когда Государственный совет получил высочайшее указание вернуться к обсуждению проекта Гражданского уложения. Но все более и более поглощаемый мистическими настроениями монарх не проявил должной настойчивости, и вопрос вновь отложен до 1824 г. Но и тогда к его обсуждению фактически так и не приступили. И все же, наработанного в предшествующий период материала достало для издания в 1821 г. труда под названием «Основания российского права, извлеченные из существующих законов Российской империи», по мнению специалистов, «оказавшего большое влияние на некоторые части будущего Свода законов»[180] Кроме того, когда осенью 1821 г. Комиссию возглавил М.М. Сперанский, был завершен аннотированный «Полный хронологический реестр законодательных актов, со времени правления Алексея Михайловича до 1825 года». Все это, естественно, происходило на глазах вел. кн. Николая Павловича и он не мог не быть в курсе происходившего. С другой стороны, примечатель-

но и то, что именно на насущную необходимость систематизации российского законодательства обращалось внимание и в хорошо известном царю «Своде показаний членов злоумышленного общества»: «У нас указ на указ: одно разрушает, другое возобновляет и на каждый случай найдутся многие узаконения, одни с другими несогласные. От сего сильные и ябедники торжествуют, а бедность и невинность (невиновные. – *М.Р.*) страдают»[181]. Впрочем, непосредственной связи между «Сводом показаний» декабристов и решением Николая I приступить к реформе законодательства могло и не быть, ибо продолжать затягивать дело мудрено: на дворе третье десятилетие XIX столетия, а в России все еще действует свод законов, принятый еще при царе Алексее Михайловиче – Соборное уложение 1649 г.!

Главную причину неудач предыдущих попыток создать нормативное гражданское и уголовное законодательство Николай I верно усмотрел в том, что ранее «всегда обращались к сочинению новых законов, тогда как надо было сперва основать старые на новых началах». Усвоение этой истины и побудило новоявленного царя к тому, что «я, – пишет Николай, – велел собрать сперва вполне и привести в порядок те, которые уже существуют, а самое дело по его важности взял в непосредственное мое руководство»[182]. К ускоренному решению явно застарелой проблемы Николая Павловича наверняка подтолкнул все тот же М.М. Сперанский, с которым он, как показывают люди из окружения императора, «по восшествии на престол ежедневно беседовал о законах». Именно во время этих бесед и «возобновилась мысль, принадлежащая Петру Великому, составить полное собрание законов»[183]. Но составить не иначе, считал император, как *ничего не меняя в самом праве*, а лишь приведя в должный порядок, систематизировав уже существующие нормы. Точное соблюдение этой своей установки император в дальнейшем строго и неукоснительно контролировал лично, что имело своим результатом инкорпорацию законодательства, а не его кодификацию, предполагающую, в соответствии с требованиями времени, в первую очередь содержательный пересмотр имеющихся законов и отмену явно устаревших норм, а не только систематизацию законодательных актов.

Гигантской, несмотря на имеющийся задел, работой по подготовке первого в истории России полного собрания законов должно было заниматься созданное высочайшим указом от 31 января 1826 г. Второе Отделение с.е.и.в. канцелярии, хотя по существующему правилу и устоявшейся практике подготовка законопроектов – безусловная прерогатива Государственного совета. Шаг отнюдь неслучайный: этим облегчалась всё та же задача неусыпного прямого контроля за процессом со стороны самодержца. Также неслучаен тот факт, что во главе новой структуры власти поставлен верный человек – бывший учитель вел. кн. Николая М.А. Балугьянский. Вот так обыденно волей монарха посредственность поставлена над фактическим руководителем, над главным организатором затеянного дела – Михаилом Михайловичем Сперан-

ским, отличавшимся, как всем известно, исключительной работоспособностью и феноменальными знаниями и более всех прочих способным решить поставленную задачу.

Поначалу относившийся к Сперанскому с подозрением император понимал это и тем не менее строго наставлял Балугьянского: «Смотри же, чтобы он не наделал таких же проказ, как в 1810 году, ты у меня будешь за него в ответе»[184]. Однако Николай I опасался напрасно – к этому времени Сперанский уже отказался от прежних своих либеральных пристрастий и с головой погрузился в увлекшее его дело (впрочем, в литературе существует не вполне аргументированное мнение, что Сперанский остался верен прежним своим взглядам, лишь в силу обстоятельств приноровившись к изменившейся ситуации[185]). Как бы там ни было, усердие и умение Сперанского были позже должным образом оценены Николаем I, в корне изменившем свое мнение о так и не состоявшемся в царствование Александра I реформаторе: «Михайла Михайловича не все понимали и не все умели довольно ценить; сперва и я в этом более всех, может статься, против него грешил. Мне столько было наговорено о его превратных идеях, о его замыслах; клевета осмелилась коснуться его даже и по случаю истории 14-го декабря! Но потом время и опыт уничтожили во мне действие всех этих наговоров. Я нашел в нем самого верного и ревностного слугу, с огромными сведениями, с огромною опытностию, с не устававшею никогда деятельностью. Теперь все знают, чем я, чем Россия ему обязаны, и клеветники давно замолчали»[186]. Николай Павлович ценил Сперанского и за другое. Возлагая на него новые обязанности, он, в беседе с Н.М. Карамзиным, сказал о нем так: «Представьте себе <…> мое положение <…> около меня, царя русского, нет ни одного человека, за исключением Сперанского, который бы умел писать по-русски, то есть был бы в состоянии написать, например, манифест»[187].

Благодарственный отзыв царя имел под собой более чем веские основания, если исходить из того, каким образом на практике, в жизни осуществлялось «правосудие» в судебных органах страны. По словам сенатского чиновника И.В. Селиванова, «при неимении не только Свода, но даже простого [собрания] законов, уголовные палаты приводили в своих решениях такие законы, которые *никогда издаваемы не были»* (выделено мной. – *М.Р.*). Уголовные палаты часто «приводили самый текст указа, которого никогда не существовало, и приходится верить на слово, потому что проверить справедливость указаний или изобличить во лжи нечем». «Нечем» по той причине, что «высочайшие указы, по получении, подшивались один за другим, и из этого к концу года составлялась книжица страшной толщины, в которой, чтобы отыскать что-нибудь, надо было перелистывать всю книжицу от первого листа до последнего. А как таких книжиц целые десятки, то, право, откажешься от всякой проверки, махнешь рукой и скажешь: “Вероятно, ежели написано”»[188]. Бессмысленность сохранения такого «порядка» была очевидна, но для его изменения ничего существенного не дела-

лось и все попытки совершенствования неработоспособной системы гасились на низовом уровне по известной всем причине: по показанию того же Селиванова, например, одни только обер-секретари Уголовных палат наживали на этом огромные деньги – не менее 25 тыс. рублей ассигнациями. в год.

Приведенные выше слова Николая о том, что он, «по важности» задуманного дела, берет его исполнение под свое «непосредственное руководство», отнюдь не стали пустым обещанием. Он действительно со свойственной ему педантичностью вникал во все детали подготовки полного собрания законов и требовал предоставления ему еженедельных подробных отчетов о проделанной работе *каждого* из 23 чиновников II Отделения поименно[189].

Что же касается в целом намеченной Сперанским задачи совершенствования законодательства Российской империи, то здесь самодержец был последователен. Из трех неразрывно связанных этапов кодификации законов Николай I оставил два: выявить все до 1825 г. изданные после Уложения 1649 г. законы, расположив их в хронологической последовательности, а затем на этой основе издать Свод действующих законов без внесения в них каких-либо «исправлений и дополнений». Революционное же для России в области права намерение Сперанского создать новое, развивающее существующее право Уложение, отсеяв все не отвечающие духу времени устарелые нормы, заместив их другими, было отклонено Николаем I из принципиального неприятия им любых «новшеств». Поэтому, как элемент третьего этапа работы, т.е. собственно кодификации законов, можно расценивать лишь утвержденное указом императора от 15 августа 1845 г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, содержавшее ряд новых нормативов. Так, в нем впервые в практике судопроизводства в России были даны более четкие по сравнению с ранее существовавшими определения различных норм уголовного права, юридически более точные понятия преступления и видов соучастия в нем, форм вины и т.д.[190]. При подготовке Уголовного уложения Сперанский руководствовался тем, что «статьи всякого кодекса тесно связаны между собой, и почти невозможно исправить одной, не сделав изменения и во многих других; это отдельное исправление некоторых только постановлений, может быть, доколе не исправятся и другие, повлекло бы за собою еще более против нынешнего порядка неудобства, и <…> единственное исправление прочное есть исправление систематическое»[191]. Однако Сперанскому так и не удалось осуществить подлинной кодификации из-за субъективной позиции императора в этом вопросе.

Составление Полного собрания законов при твердой воле императора на то шло так споро, что 1 мая 1828 г. приступили к печатанию всех 45 томов (с приложениями и указателями всего 48 книг) в собственной типографии II Отделения с.е.и.в. канцелярии. Процесс печатания был завершен в апреле 1830 г. Грандиозный труд, по праву названный Николаем I «монументальным», включил в себя свыше 50 тыс. за-

конодательных актов с 1649 до 1825 г. (кочующая из работы в работу цифра – «свыше 31 тыс.» – плод какого-то недоразумения) И все-таки первое «Полное собрание законов Российской империи» (сокращенно – ПСЗ-I) не стало по-настоящему полным собранием. По разным причинам – плохому состоянию архивов, оперативной секретности документов по внешней политике и пр. в ПСЗ-I не вошло около 30% от общего числа принятых законов[192]. Вместе с тем в ПСЗ были включены не имеющие статус закона акты, что произошло ввиду отсутствия твердого толкования понятия «закон». Тираж ПСЗ-I составил 6 тыс. экземпляров.

На втором этапе работы началась подготовка «Свода законов», пятнадцать томов которого, объединенных в 8 книг, были изданы в 1832 г. и стали действующим юридически-правовым нормативом Российской империи. Книга 1-я содержала в основном законы об органах власти и управления и государственной службе; 2-я – уставы о повинностях; 3-я – «устав казенного управления» (уставы о податях, пошлинах, питейном сборе и пр.); 4-я – законы о сословиях; 5-я – гражданское законодательство; 6-я – «уставы государственного благоустройства» (уставы кредитных установлений, уставы торговые и о промышленности и пр.); 7-я – «уставы благочиния» (уставы о народном продовольствии, общественном призрении и др.); 8-я – законы уголовные. При издании Свода было заявлено, что подобная структура должна оставаться неизменной и впредь, даже если последуют изменения в отдельных законах. И этот принцип соблюдался вплоть до 1917 г. Правда, в 1885 г. имеющиеся тома были дополнены XVI томом, содержащим процессуальное законодательство.

Относительно содержания Свода в целом следует сказать, что при его составлении из него были исключены не действующие нормы, руководствуясь правилом – «из законов противоречащих избирать позднейшие», были также сняты очевидные противоречия и порой проведена довольно существенная редакционная обработка текстов. Однако все исправления, и особенно смысловые дополнения и разъяснения законов, осуществлялись только с ведома Николая I: ему «на просмотр» в особых тетрадях доставлялась каждая подготовленная часть Свода. При всех «сомнительных» случаях самодержец, только после соответствующих пояснений Сперанского отдавал указание внести лично им одобренные дополнения и исправления. Иной, чем в ПСЗ-I, была и структура Свода – для практической пользы она, по примеру западноевропейских буржуазных концепций, берущих свое начало от римского права, строилась по отраслевому принципу (правда, не всегда последовательно проводившемуся), с делением права на публичное и частное. Таким образом, можно сказать, что в первой половине XIX в. сложилась система российского права, в основной своей части функционировавшая вплоть до крушения империи в 1917 г.

Систематизация российского законодательства получила завершение изданием уже упоминавшегося выше «Уложения о наказаниях уго-

ловных и исправительных», составившего том XV «Свода законов». И здесь самое время сказать о жизненной трагедии М.М. Сперанского, которую он не мог не осознавать, хотя никогда и никому не признавался в том.

Как известно, в подготовленных Сперанским основных законах, в первой статье, открывающей «Свод законов Российской империи», идея самодержавия, достигшая своего апогея в царствование Николая I, впервые приобрела столь четкое и категоричное звучание: «Император Российский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Все прочие статьи Свода были призваны последовательно развивать и утверждать этот главный его постулат. И автором документа, жестко отстаивающего принцип самодержавия, стал человек, который еще совсем недавно страстно проповедовал необходимость буржуазных реформ в России, строил планы государственного строительства по западным образцам, грезил (sic!) о народном представительстве во власти, о непременном функциональном разделении последней... Кроме того, не без оснований подозревался в *соучастии* с декабристами и даже намечался декабристами в состав будущего Временного правительства. Однако какой крутой поворот судьбы – после окончания следствия над декабристами Сперанский, член Государственного совета, введен в состав Верховного уголовного суда, более того, он становится его душой и именно ему доверено составление доклада царю. Его талант сказался и здесь – доклад был «мастерски составлен, в роде лучших записок Сперанского, и написан тем прекрасным языком, которым он один в ту пору писал в России»[193]. Какой ценой ему далось это перерождение, никто не знает. Между тем, как отмечают исследователи, «Сперанский после разгрома декабристов мог выйти из русской истории, сохранив достоинство. В папке «Материалов для биографии» не было бы Свода Законов, но не было бы и Всеподданнейшего доклада»[194].

Свод разослан во все государственные учреждения, положениями которого, в соответствии с резолюцией царя, они должны были начать руководствоваться с 1 января 1835 г. Казалось, что теперь в стране должны были восторжествовать законы и законность. Но так только казалось. Посетивший Россию в составе свиты принца А. Оранского полковник Фридрих Гагерн уверенно пишет все о той же, что и раньше, почти поголовной «продажности правосудия» в России, о том, что попрежнему «без денег и влияния не найдете для себя справедливости»[195]. Это мнение подтверждает и другой авторитетный его российский современник, князь П.В. Долгоруков: в России «правосудие продается тому, кто дороже платит»[196].

Но правосудием не только торговали, его и откровенно попирали. Один из наблюдательных современников в своих воспоминаниях приводит основанное на реалиях жизни весьма расхожее в ту пору суждение: «Чудное государство Русское! Народ представил полное право

своим царям издавать законы; но чиновничья раса присоединила *условие* – исполнять их или не исполнять, смотря по обстоятельствам, что и делается в России»[197]. Вот один из типичных примеров на этот счет, относящийся к 1840-м годам. Когда, по свидетельству предводителя дворянства Сурожского уезда Черниговской губернии, могилевскому губернатору Гамалею сказали, что приказание его не может быть исполнено в соответствии с содержанием конкретной статьи действующего законодательства, то глава губернии вырвал из рук правителя канцелярии представленный ему том «Свода законов», сел на него и, ткнув себя в грудь, грозно рыкнул: «Вот вам закон!»[198]. Да что губернатор, власть которого, как точно заметил еще А.И. Герцен, «растет в прямом отношении расстояния от Петербурга»![199] Даже царский наместник и главнокомандующий войсками на Кавказе граф М.С. Воронцов, как показывают близкие к нему лица, «не знал законов, да и не хотел их знать», и когда однажды ему указали, что «отдаваемое им приказание противно закону», то он безапелляционно возразил: «Если бы здесь (на Кавказе. – *М.Р.*) нужно было только исполнять законы, государь прислал бы сюда не меня, а Полный Свод Законов»[200].

Что касается весьма патриархальных действий могилевского губернатора, то он проявлял не только самодурство, но, как можно предположить, опирался и на расширительно толкуемый им «Общий наказ гражданским губернаторам», высочайше утвержденный 3 июня 1837 г. Этот документ примечателен прежде всего тем, что процесс его составления жестко контролировался самим монархом, и это обстоятельство не могло не сказаться на его общей концепции и конкретном содержании. С одной стороны, среди многочисленных функций губернаторской власти главными объявлены охранительные, направленные на сохранение существующего режима власти. Особый упор в нем сделан также на необходимость ограждения от всяких посягательств права и привилегии «благородного сословия» и православной церкви. С другой стороны, «Наказ» как нельзя более полно отвечает неуемной страсти царствующего императора к мелочному регламентированию буквально всех сторон жизни, вплоть до того, что губернаторы обязаны были *лично* отвечать за соблюдение установленных правилами расстояний между домами и разного рода хозяйственными постройками, в том числе и туалетами. Губернаторы также должны были *лично* контролировать содержание «в надлежащей исправности» мостов и мостков, надолб в селениях, станционных столбов и пр.[201]. Эти и другие аналогичного характера положения «Наказа» в условиях российской действительности оказались столь живучими, что он в неизменном виде был включен в том «Свода законов», изданный в 1857 г., и вплоть до середины 70-х годов XIX в. служил руководством к действию губернаторов, среди которых даже по меркам времени было немало весьма оригинальных личностей, проще сказать, – самодуров. Один из них пензенский губернатор А.А. Панчулидзев, донельзя поразивший автора мемуаров – будущего генерала от инфантерии и сенатора Г.И. Филипсона.

В 1842 г. мемуарист, тогда еще полковник Генерального штаба, побывал в длительном отпуске на родине и вот его впечатления от реалий российской глубинки: «В первый раз мне случилось рассмотреть вблизи нашу провинциальную жизнь, со всей ее дикостью, пустотою и грязью. Вероятно, Пензенская губерния была не из худших в России. Губернатор более 30 лет был в этой должности. Управление его было строгое, но патриархальное. Вся губерния говорила о нем, что Александр Алексеевич, хотя, конечно…*того*…но за все 30 лет никого несчастным не сделал. "*Того*" имело много значений и в том числе следующее: когда какой-нибудь чиновник уже слишком изворуется или разопьется, к нему является жандарм с приглашением от губернатора *на чай*. Чиновнику это лестно <…> Губернатор встречает его ласково, приглашает в кабинет и там наедине колотит его своим березовым чубуком по спине и мягким частям. После этого "чаю", Александр Алексеевич предупреждает своего дорогого гостя, что впредь, если он не исправится, выгонит его из службы, и провожает его до передней. "Одним словом – отец, а не начальник!" – восторгались им обыватели. – Ни одного чиновника под суд не отдал»[202].

Филипсон раскрывает и другие неприглядные стороны жизни в глубинке, ставящие под сомнение саму возможность эффективности действия законов на местах при таких управителях. Так, по его наблюдениям, настоящим хозяином губернии был винный откупщик, на содержании которого была вся администрация. Нужные ему находившиеся во власти люди получали свое второе жалованье либо деньгами, либо натурой. Причем размер «щедрот» винного короля определялись им со знанием дела. Так, например, уездный землемер, не имевший прямого отношения к винному откупу, получал по ведру пенного вина каждый месяц, в двунадесятые праздники по штофу ликера и по бутылке рома. Чиновники же Казенной палаты, Государственных имуществ, а особенно все чины полиции вознаграждались по высшей шкале. Мемуаристу бросилось в глаза и полное расхождение законодательства с существующей практикой, например, при выборах в городские структуры власти. Всем заранее было известно, кого именно и на какой должности хочет видеть «его превосходительство» губернатор. «Храбрецов, которые бы решились противоречить воле начальника губернии, – продолжает мемуарист, – находилось мало, разве что с перепою»[203]. Прямой ущерб от этого для дворянского сословия в общем-то небольшой – только уязвленное самолюбие. За решетку за такую «провинность» не отправляли.

Гораздо худшим оставалось положение всех прочих сословий. «Чтоб знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, – пишет в "Былом и думах" А.И. Герцен, – для этого надобно быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином <…> С этими полиция не церемонится. К кому мужик или мастеровой пойдет потом жаловаться, где найдет суд? Таков беспорядок, зверство, своеволие и разврат русского суда и русской полиции, что простой человек, попавшийся под суд, боится не наказания по суду, а судопроизводства. Он ждет с нетерпением, когда

его пошлют в Сибирь – его мученичество оканчивается с началом наказания»[204]. Далее Герцен ставит в известность читателя, что несмотря на официальное уничтожение пытки в России указами Петра III, Екатерины II и Александра I, по всей стране, «от Берингова пролива до Таурогена – людей пытают; там, где опасно пытать розгами, пытают нестерпимым жаром, жаждой, соленой пищей; в Москве полиция ставила какого-то подсудимого босого, градусов в десять мороза, на чугунный пол – он занемог и умер в больнице <…> Начальство знает все это, губернаторы прикрывают, *правительствующий* Сенат мироволит, министры молчат; государь и Синод, помещики и квартальные – все согласны с Селифаном, что “отчего же мужика и не посечь, мужика иногда надобно посечь!”»[205] Естественно, что при всеобщем действии такого негласного правила страдали и невиновные. Главный «блюститель» закона, прознав о таких случаях, мог задним числом вознаградить без вины наказанных: по 200 руб. за каждый удар кнутом.

Для того, чтобы читатель мог составить представление о том, чем и как *законно* наказывали в чем-либо провинившихся людей, приведем с некоторыми сокращениями воспоминания очевидца расправы с участниками бунта в военных поселениях под Старой Руссой в 1832 г.

«Обвиняемые, сколько помню про наш округ, просидели в тюрьмах до Великого поста 1832 года, в томительном ожидании окончательного решения своей участи. Наконец участь эта была решена: одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой кобыле, а других – к прогнанию шпицрутенами.

Я живо помню эти орудия казни. Кобыла – это доска длиннее человеческого роста, дюйма в 3 толщины и в пол-аршина ширины, на одном конце доски – вырезка для шеи, а по бокам вырезки для рук, так что когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем, шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискось, под углом.

Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут, длиной аршина полтора, а на кончик кнута навязывался 6 или 8-вершковый, в карандаш толщиной, четырехгранный сыромятный ремень.

Что же касается до шпицрутенов, то <…> это палка в диаметре несколько менее вершка, в длину – сажень; это гибкий, гладкий прут из лозы. Таких прутьев для предстоящей казни бунтовщиков нарублено было бесчисленное множество, многие десятки возов.

Наступило время казни. Сколько помню, это было на первой или второй неделе Великого поста <…> Морозы стояли в те дни самые лютые. На плацу, как теперь вижу, была врыта кобыла, близ нее прохаживались два палача, парни лет 25-ти, отлично сложенные, мускулистые, широкоплечие, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними толпились родственники осужденных.

Около 9-ти часов утра прибыли на место казни осужденные к кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101 удару кнутом, другие – к 70-ти или к 50-ти, а третьи – к 25-ти ударам кнута. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время, как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому, кнут тащился между ног палача по снегу; когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правою рукою кнут, раздавался в воздухе свист, а потом удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и т.д. <…> Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам, под левый бок, и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро, затем уже их рубили, как мясо. Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень, очень медленно.

При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал ни стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать.

Под кнутом, сколько помню, ни один не умер (помирали на второй или третий день после казни); между тем каждый получал определенное приговором суда число ударов.

Но ударами кнута казнь не оканчивалась. После кнута наказанного снимали с кобылы и сажали на барабан; на спину, которая походила на высоко вздутое рубленое мясо, накидывали какой-то тулуп. Палач брал коробочку, вынимал из нее рукоятку, на которой сделаны были буквы из стальных шпилек в $^1/_2$ дюйма длины; шпильки эти изображали, помнится, букву “К” и еще какие-то буквы. Палач, держа рукоятку в левой руке, приставлял штемпель ко лбу несчастного, затем правой рукой со всего размаху ударял по другому концу рукоятки, шпильки вонзались в лоб, и таким образом получалось требуемое клеймо, таким же приемом быстро высекались буквы на обеих щеках. После отнятия клейма из ранок сочилась кровь, палач затирал кровавые буквы каким-то порошком, чуть ли не порохом, так что в каждой прорези оставался черный след. Таким образом, получался знак, который впоследствии, как я слышал, делается совершенно белым и не может уничтожиться очень долго, остается на всю жизнь.

Казнь продолжалась до сумерек, и во все это время били барабаны.

Наказание шпицрутенами происходило на другом плацу, за оврагом. На эту казнь я бегал по несколько раз в течение двух недель; холодно, устану – сбегаю домой, отогреюсь и опять прибегу. Музыка, видите ли, играла там целый день – барабан да флейта, – это и привлекало толпу ребятишек (автору воспоминаний шел тогда 9-й год. – *М.Р.*).

На этом плацу, за оврагом, два батальона солдат, всего тысячи в полторы, построены были в два параллельных друг другу круга, шеренгами лицом к лицу. Каждый из солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой – шпицрутены. Начальство находилось посередине и по списку выкликало, кому когда выходить и сколько проходить кругов, или, что то же, получить ударов. Вызывали человек по 15 осужденных, сначала тех, которым следовало каждому по 2000 ударов. Тотчас спускали у них рубашки до пояса, голову оставляли открытой. Затем каждого ставили один за другим, гуськом, таким образом: руки преступника привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, причем, очевидно, вперед бежать было невозможно, нельзя также и остановиться или попятиться назад, потому что спереди тянут за приклад два унтер-офицера. Когда осужденных устанавливали, то под звуки барабана и флейты они начинали двигаться друг за другом. Каждый солдат делал из шеренги правой ногой шаг вперед, наносил удар и опять становился на свое место. Наказываемый получал удар с обеих сторон, потому каждый раз голова его, судорожно откидываясь, поворачивалась в ту сторону, с которой следовал удар. Во время шествия кругом, по зеленой улице, слышны были только крики несчастных: “Братцы! Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте!”

Если кто при обходе кругом падал и даже не мог идти, то подъезжали сани, розвальни, которые везли солдаты, клали на них обессиленного, помертвевшего и везли вдоль шеренги; удары продолжали раздаваться до тех пор, пока несчастный ни охнуть, ни дохнуть не мог. В таком случае подходил доктор и давал нюхать спирту. Мертвых выволакивали вон, за фронт.

Начальство зорко наблюдало за солдатами, чтобы из них кто-нибудь не сжалился и не ударил бы легче, чем следовало.

При этой казни, сколько помню, женщинам не позволялось присутствовать, а, по приказанию начальства, собраны были только мужчины, в числе которых находились отцы, братья и другие родственники наказываемых. Всем зрителям довелось пережить страшные, едва ли не более мучительные часы, чем казнимым. Но мало того. Были случаи, что между осужденными и солдатами, их наказывающими, существовали близкие родственные связи: брат бичевал брата, сын истязал отца… Наказанных развозили по домам обывателей на санях, конвоируемых несколькими казаками. Надобно заметить, что так как всех 300 человек, наказанных в одном только нашем округе, в лазарете поместить было нельзя, то для них отведены были некоторые избы поселян. Сюда уже беспрепятственно ходили все родные, приносили больным съестные

припасы и водку для обмывания ран: водка предохраняла раны от гниения.

Ни одному из наказанных шпицрутенами не было назначено, как мне потом рассказывали, менее 1000 ударов; большей же частью – давали по 2, даже по 3 тысячи ударов; братьям Ларичам, как распространителям мятежа, дано по 4000 ударов каждому, оба на другой день после казни умерли. Перемерло, впрочем, много из казненных, этому способствовали: недостаток докторов, отсутствие медицинских средств, неимение хороших помещений, недостаток надлежащего ухода за больными и проч.

В народе во все время казней и всех их последствий не замечалось никакого озлобления, ни малейшего ропота против начальства, говорили только: "Господь наказывает нас за грехи"».

Подобная покорность русского мужика не может не огорчать, равно как и не поражать бессердечие, бесчеловечность императора, не раз являвшегося хладнокровным очевидцем подобных истязаний. Спрашивается, что или кто ему мешал одним простым росчерком пера отменить и навсегда их запретить? Но такая мысль его, видимо, никогда не посещала, ибо все это дозволялось установленными законами, артикулами воинского устава. Всякое нарушение законов и установленного порядка должно быть наказуемо, считал самодержец. Жестокость же наказания ничуть не обременяла его душевного спокойствия. Когда, например, осенью 1827 г. временно замещавший графа М.С. Воронцова другой граф П.П. Пален, всеподданнейшим (!!) рапортом доносивший о тайном переходе двоих евреев через р. Прут во время действующего в крае карантина, просил за это определить им смертную казнь, «сердобольный» император, то ли в издевку, то ли и впрямь не притворяясь, собственноручно распорядился: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить». А ведь не прошло еще и трех месяцев после повешения пятерых декабристов…

О «правосудии», о механизмах его осуществления при Николае I на основе хорошо ему известных фактов пишет в своих воспоминаниях бывший чиновник Министерства юстиции (впоследствии обер-секретарь Сената, председатель Киевской палаты гражданского суда) Н.М. Колмаков: «Дела уголовные и гражданские по преимуществу начинались в полиции, зависевшей вполне от губернского начальства, а потом в безобразном, неполном виде передавались в суд для принятия решения. Поступление дел прямо в суд, как следовало бы, обусловливалось весьма немногими случаями. Самого доклада или суждения в суде не было. Исключения из сего были редки. Все зиждилось на секретаре, он и был вершителем дела, он писал журналы, а прочие члены, если и являлись в суд, то только для подписи оных <…> Журналы, <…> пока не были подписаны составляемые на основании оных протоколы, изменялись несколько раз. Сегодня дело по журналу решалось так, а завтра иначе, смотря по тому, куда ветер дул, или чья сторона

брала верх, или кто из членов превозмогал других. Самое приготовление дел к докладу, которого в действительности не было, обставлено было формами, ни к чему не ведущими и не имеющими разумного смысла < …> Дела длились в судах по много лет, дополнялись часто ненужными справками, на которые даже не ссылались и не указывали тяжущиеся стороны, и все это делалось через полицию. Сия последняя просто завалена была и своими делами, и требованиями судов до невозможности. О незамедлительном исполнении указов суда полиция получала многократные понуждения, подтверждения со строгими выговорами как прямо от суда, так и от губернского начальства <…> но от этого дело не двигалось <…> Губернские чиновники особых поручений вихрем летали по городам для понуждения то полиции, то суда, подымались и губернаторы, производя строгие ревизии уездных мест, наводя неописанный страх на всех служащих в оных. Дела подновлялись новыми подтверждениями, а более запущенные прятались от взоров то в столах, шкафах, то в архивах в числе решенных, а, наконец, были и такие случаи, как, например, в Курске при ревизии сенатора Дурасова в 1850 году дела одного судебного места оказались потопленными в реке <…> Для устранения всех сих беспорядков принимались разные меры, главные из них состояли в требовании ежемесячных то перечневых, то именных ведомостей о состоянии и положении дел. Ведомости сии, обременяя суд громадным новым трудом как в составлении, так и в переписке их набело, ничего не помогали <…> Само собой разумеется, что в выговорах, удалении от должности и предании суду лиц, служащих в низших местах, в том числе и судебных, не было недостатка, это было обыкновенное и заурядное явление после каждой ревизии, делаемой в губернии то советником губернского правления, то вице-губернатором, то самим губернатором, то, наконец, сенатором. Но все это не изменяло положения вещей; беспорядки в уездных судах, не исключая и губернских мест, до того укоренились, что считались нормальным положением.

Магистраты в городах и ратуши в местечках были еще в худшем положении, чем суды. Допущение в состав сих судов заседателей из казенных крестьян, кои все поголовно были безграмотны и невежественны, делало в глазах многих суд посмешищем.

Граф В.Н. Панин, будучи министром юстиции, зайдя в суд в Петербурге, встретил там одного человека в исподнем платье, с метлой или щеткой в руках. На вопрос министра, где судья, он отвечал, что судьи нет, а на вопрос, где заседатель, отвечал: я заседатель. Граф, взглянув на него, произнес: “Вы… ты” – и ушел, не сказав ни слова. Действительно, на самом деле лица эти исполняли при судах должности сторожей, истопников и прочие, не соответствующие вовсе обязанностям судей <…> Все это указывало на необходимость в коренном преобразовании судебных мест и судопроизводства <…> Думали сначала, чтобы водворить правосудие в государстве и порядок в оном, стоит только *сократить переписку* и преобразовать полицию по отношению к су-

дебным местам <…> Император Николай Павлович в начале 1850 годов, не видя конца дела о сокращении переписки, поручил князю П.П. Гагарину написать без замедления, какие именно нужно сделать сокращения, чтобы умалить вообще переписку по всем присутственным местам, не исключая и Сената. <…> Правила сии были обнародованы. На основании их действительно сокращены разные ведомости и донесения, представляемые то туда, то сюда, из низших мест в высшие, уничтожены некоторые реестры и книги, которые без существенной пользы велись в тех местах и Сенате, и сделаны разные указания в порядке отписки, но более ничего <…> В результате оказалось, что судопроизводство от сего сокращения нимало не изменилось: бывшее запустение и бестолочь в судах остались прежние <…> Ясно, что нужны были особые обстоятельства и новая какая-нибудь свежая струя, которая могла бы дать новый оборот делу усовершенствования нашего судоустройства и судопроизводства. Полиция также по своим уставам, без избавления ее от производства следствий и устранения ее от разбора дел по маловажным поступкам, не изменила своего положения. Она была безобразна донельзя. Одним словом, суд и полиция шли параллельно, блистая, если можно так выразиться, своим неустройством <…> В прежнее время, как известно, гражданские дела разделялись на бесспорные и спорные, первые подчинялись полиции, а последние – разбору судов. Уголовные же дела, все без исключения, начинались в полиции, которая и производила по ним следствия и только по окончании отсылала оные в суд. На практике выходило так, что и по гражданским делам, под видом бесспорности, принимала к своему производству все дела. Исключение из сего допускалось только в тех случаях, когда полиция не благоволила к истцу или ответчику, смотря по обстоятельствам и по отношению ее к заинтересованным лицам. По отношению признания дела спорным или бесспорным она хотя и подчинялась суду, но вместе с тем она зависела и от губернского начальства.

Одним словом, происходило какое-то смешение властей, судебной и исполнительной, и из этого возникала нередко многосложная перекрестная и совершенно бесполезная переписка. Но так как полиция могла действовать на лицо, подпавшее ее разбору, сама, без всякого посредства, а суд не имел исполнительного органа, то полиция или вообще исполнительная власть, в понятии общества, стояла как-то выше суда.

Верховенство полиции над судом в особенности выразилось в Петербурге и вообще в столицах, где представителями полиции были: управы благочиния, обер-полицмейстеры, генерал-губернаторы, Министерство внутренних дел и, наконец, в важных случаях – III Отделение с.е.и.в. канцелярии, то есть жандармское управление. Притом МВД и III Отделение по отношению ли лиц, бывших во главе сих управлений, или про другим обстоятельствам, в понятии современников стояли как-то ближе к государю императору, чем Министерство юстиции. Это всегда и во всех случаях хотя указывало и держалось законного порядка,

но, несмотря на это, и означенные управления, при не разграничении в точности законом предметов ведомства суда от их круга обязанности, считали себя вправе прибегать то к тем, то к другим мерам и были правы по духу времени. Вот почему эти управления, не стеснясь взглядов Министерства юстиции, очень часто позволяли себе прибегать к разным исключениям из общего порядка дел судебных.

Последствием сего было *вмешательство* в дела суда, который потому и являлся каким-то слабым орудием в отправлении правосудия, а потому в глазах всех, да и на самом деле он был несамостоятельным. Всем этим мы не хотим сказать, что в прежнее время вмешательство администрации и прочих властей в дела суда имело какую-нибудь злонамеренную или корыстную или вообще недостойную цель. Нет, мы говорим, что в понятии прежней администрации и тех властей старый суд по своим формам и порядкам не представлял собой обеспечения, а потому, по их мнению, им самим и нужно было прибегать к исключительным мерам.

Меры эти были очень разнообразны: они состояли или в учреждении разных комиссий, на коих возлагали отправление разных функций суда, или в назначении следствий по делам судебным, или в командировании лиц несудебного ведомства для наблюдения за судебным делом, или в истребовании объяснений от лиц, служащих в суде, помимо властей судебного ведомства, и т.д., и т.д. Всего не перечтешь.

В подтверждение того, что в прежнее время администрация считала себя превыше юстиции, расскажу из многих еще один случай. Я, как чиновник, командированный от Министерства юстиции для занятий в МВД, представлялся бывшему тогда министру последнего учреждения, С.С. Ланскому. Разговаривая со мной, Ланской спросил меня: “Ну, что ваш граф Виктор Никитич? Все судит да рядит, – а мы все-таки будем ездить по-своему”. При этом Ланской, раскрыв два пальца правой руки и образовав из них рогульку, положил ее на один палец левой руки, а потом, поднимая и опуская ее несколько раз, делал движения наподобие конного ездока. “Вот так, вот так, – твердил, улыбаясь, добродушный министр, – мы ездим на вашей юстиции”. Анекдот сам по себе пустой, но характеризующий, что такое в прежнее время была юстиция и как на нее смотрела высшая администрация.

С своей стороны, III Отделение, при шефе жандармов графе А.Х. Бенкендорфе, графе А.Ф. Орлове и других, состоя под ближайшим управлением генерала Л.В. Дубельта, преследовало, по своим понятиям, кажущееся зло и, стремясь к добру, отправляло во многих случаях, ничем не стесняясь, функции судебных мест. Так, оно определяло вины лиц по делам не политического свойства, брало имущество их под охрану, принимало по отношению к кредиторам на себя обязанности администрации и входило нередко в рассмотрение вопросов о том, кто и как нажил себе состояние и какой кому и в каком виде он сделал ущерб»[206].

Характеризуя общее состояние правосудия в годы правления Николая I, в дополнение нарисованной Колмаковым картине, можно опереться и на мнение сенатора К.И. Фишера, отличавшегося умением смотреть в корень тех или иных явлений. «Канцелярский беспредел, – пишет он, – исстари составлял хроническую язву России. С незапамятных времен земская и уездные суды, полиция в городах, хозяйственные и казенные управления грабили с неимоверной наглостью (в ходу была саркастическая расшифровка букв “СВ” на Владимирском ордене – “смелее воруй”). При Николае I эта наглость стала принимать узаконенные формы – если раньше произвол осуществлялся нарушением законов, то теперь стали появляться законы, способствующие воровству. Если раньше произвол исходил от людей сильных, то теперь от канцелярских служителей, чиновников»[207].

Но была и другая сторона повсюду процветавшего беззакония, приводившая, в частности, к колоссальному расхищению средств, оправдываемому «государственными интересами».

Генерал-майор К.К. Жерве, в прошлом инженер-строитель, смотритель Главного штаба, в своих воспоминаниях подробно описывает один из таких каналов увода казенных средств, по существу негласно санкционированных самим главным «законником» – императором. В результате такое царское покровительство приводило к тому, что «на приобретение состояния на счет казны или не совсем правильным путем, смотрели далеко не так строго, как ныне: все пользовались, кто только мог»[208]. В чем причина такой снисходительности правительства к этому антиобщественному явлению? Оно не знало? Нет, утверждает мемуарист, оно хорошо знало это, более того, «само подавало повод, зная, что хорошо служащих и дельных людей оно вознаграждает очень скудно; правительство чувствовало, получаемым от казны содержанием нельзя жить сколько-нибудь прилично»[209]. Для того чтобы понять ситуацию, не только диктующую изыскивать способы восполнения недоданного «дельным людям» за их труд, но и закрывать правительству глаза на эти незаконные способы восстановления социальной справедливости, автор приводит показательный пример.

Известно, что после подавления восстания 1830 г. в Польше там были предприняты грандиозные инженерные работы по срочному строительству мощных крепостных сооружений. Огневая мощь возводимой под Варшавой Александровской цитадели в случае нового выступления мятежных поляков, как похвалялся Николай Павлович, могла стереть город с лица земли за 24 часа,. С учетом всех новейших достижений строились мощная Новогеоргиевская крепость и крепость в Иван-городе, модернизировались и укреплялись существующие крепости в Брест-Литовске и Замостье, предполагалось возведение крепости Жванец под Хотином. При своем очередном посещении Царства Польского Николай I осмотрел строящуюся Александровскую цитадель, побывал в Брест-Литовске, в Иван-городе, в Новогеоргиевске и остался доволен как темпами и качеством производимых работ, так и

«выполнением всех его предначертаний к назначенному времени». Как пишет мемуарист, царь «умел ценить действительный труд и знание, а также распорядительность» руководителя работ генерала И.И. Дена. Но тут во время царского визита подали донос прямо в руки государя с поименным перечнем тех инженеров, которые с ведома Дена получали сверх окладов «денежные субсидии», в общей сумме составлявшие кругленькую сумму. Озадаченный этим фактом Николай Павлович призвал к себе Дена, подал ему донос и велел его тут же прочитать. Еще более государь озадачен был ответом Дена, что в нем дело «изображено не совсем верно», ибо «на этот предмет израсходовано гораздо больше». Затем он пояснил, что за жалованье в 400–600 руб. никто выкладываться не будет: «Наши работы беспримерны – нигде, никогда и никем не производились такие громадные работы»[210]. Прямого же ущерба казне от таких доплат нет, успокоил императора Ден, ибо производимые торги на подрядные работы приносят казне от 15 до 30% прибыли, из которых на пресловутые «субсидии» инженерам идут не более 10–12%. Государю, как никому другому заинтересованному в скорейшем окончании работ, оставалось только примириться с незаконными действиями своего генерала: «В твоем ответе много правды. Я согласен. Впрочем, отдаю все на твою совесть, делай, как знаешь, лишь бы работы шли так же хорошо, как до сих пор, а о прочем не хлопочи, Я понимаю тебя вполне, и все останется между нами». Ну, кто будет осуждать императора за проявление такого вот «государственного» прагматизма. И когда при осмотре Новогеоргиевской крепости кто-то из свиты как бы вскользь заметил: «Положим, работы превосходные, да что стоят эти работы?» Николай Павлович сказал: «Что́ эти работы стоят, знают Бог, я и Иван Иванович Ден, а более никому и знать не надо»[211]. И на этом вопрос был закрыт. Государь умел поступаться принципами и законностью, когда этого требовали соображения безопасности трона.

«Окончить и привести в действие...»

Важнейшим событием в жизни страны в царствование Николая I стало строительство и открытие в 1851 г. железной дороги Петербург – Москва. И здесь надо отдать должное воле императора, решительно пресекшего явное и скрытое противодействие многих влиятельных лиц, в том числе и части влиятельных министров – Е.Ф. Канкрина и П.Д. Киселева. Николай Павлович смог верно оценить значение дороги для экономического развития России: она должна была связать промышленно развитый центр страны с ее главным на то время портовым городом.

25 января 1841 г. после утверждения проекта строительства железной дороги между двумя столицами Николай Павлович так обосновал свою позицию в этом вопросе: «Мне надо было бороться с предубеждениями и людьми; но когда сам я раз убедился, что дело полезно и

необходимо, то ничто уже не могло меня остановить. Петербургу делали одно нарекание: что он – на конце России и далек от центра империи; теперь это исчезает, через железную дорогу Петербург будет в Москве, а Москва – в Кронштадте»[212]

Между тем сопротивление строительству железной дороги было и впрямь не менее сильным, чем в случае с постройкой первой в России рельсовой дороги между Петербургом и Павловском для дачных нужд. Как пишет вел. княжна Ольга Николаевна, «враги этого предприятия были неисчислимы; между ними был даже дядя Михаил. В этом предприятии видели зарождение новой революционной ячейки, которая могла привести к нивелировке классов и другим более страшным вещам»[213]. Личный секретарь императрицы Марии Федоровны Д.А. Хилков, видимо, отражая и мнение своей покровительницы, тоже говорил, что это «ускоряет деморализацию нашего народа. Фабрики и железные дороги – рассадники всех пороков», и в подтверждение подобных опасений ссылался на «правильные» слова члена Ученого комитета МИД А.С. Стурдзы: «Нет такой хорошей и полезной вещи, которую человек не сумел бы обратить во зло»[214]. Поэтому, как пишет петербургский гражданский губернатор Н.М. Смирнов, все лето и осень 1841 г. шли споры о возможности и пользе железной дороги. «Все важнейшие лица, – пишет он, – противились основанию сей дороги, представляя, что полезнее употребить огромный капитал, требуемый оной дорогой, на другие заведения и дороги более полезные. Граф Канкрин наиболее противился; но государь решил, чтоб она была, и споры прекратились»[215]. Были и другие доводы против строительства дороги. Так, министр финансов убежденно считал, что «почти полугодовая санная дорога зимой, моря и реки – летом, вполне достаточны для развития внутренней торговли и промышленности»[216]. Но Канкрин при обсуждении проблемы строительства дороги выступил не только с этим смехотворным доводом, но проявил и профессиональный подход. Так, при рассмотрении представленных проектов столичных станций, «поражающих воображение своими масштабами и великолепием», один только Канкрин со всей прямотой решился обратить на эти амбициозные излишества внимание возглавлявшего Главный комитет по строительству железной дороги цесаревича:«Я вижу, что мы идем в подражание Англии и Америки, но сравнивать нас с этими странами все равно, что сравнивать английское сукно с солдатским»[217]. Довод подействовал и первоначальный проект грандиозного вокзала в Петербурге с тремя рядами огромных каменных пакгаузов вместимостью до 20 млн пудов товара, с несколькими примыкающими к вокзалу глубоководными причалами для пароходов и других судов был отклонен. Не менее бурным было и обсуждение вопроса о прохождении пути через Новгород, по распространенному мнению, якобы отвергнутом «ввиду краткости пути», а на самом деле из-за элементарной нехватки средств[218].

После принятия самодержцем решения о строительстве дороги его уже действительно «ничто не могло остановить», и долгие споры сна-

чала «о пользе» ее, а потом о маршруте он, по существующей легенде, будто бы прекратил одним движением руки, прочертив на карте прямую линию между двумя столицами. Так, например, такой версии придерживался поверенный в делах саксонского правительства в Петербурге Фицтум фон Экштедт. По его словам, когда император «не стесняясь никакими соображениями, обозначил этот первый русский рельсовый путь по карте прямою красною линиею», то инженеры уже «не осмелились отступить от высочайшего начертания, хотя намеченная линия пролегала через бесчисленные болота»[219]. Но вот как этот эпизод передается А.О. Смирновой-Россет: «Когда пришлось проводить дорогу через новгородские болота <…> Клейнмихель донес, что есть непреодолимые препятствия. Государь рассердился и сказал "Для меня нет непреодолимых препятствий!" взял бумагу и карандаш и нарисовал прямую линию. – "Государь, вы оставите Новгород на 60 верст в стороне". – "Это не беда – со временем осушат болота и пристроят эту линию"»[220]. В подобных представлениях современников, нашедших отражение в воспоминаниях, есть, однако, одна существенная неточность, вызванная, как думается, недостаточной их информированностью. Дело в том, что большинство членов Комитета высказывалось за то, чтобы вести дорогу на Новгород и далее на Москву. Но непосредственные проектировщики дороги П.П. Мельников и Н.О. Крафт придерживались иного мнения, считая, что в тех конкретных экономических условиях и при сложных геологических особенностях местности 80-верстный крюк будет ничем неоправданным излишеством. Николай Павлович принял точку зрения проектировщиков, и его слова «веди дорогу прямо», сказанные Мельникову, по показаниям квалифицированного современника – инженера путей сообщения В.А. Панаева, вовсе «не означали вести по прямой линии, а относились к тому, чтобы не держаться направления на Новгород»[221]. После этого уже не было сколько-нибудь серьезных препятствий для развертывания строительства дороги.

1 ноября 1850 г. в разгар строительства проехав по уже практически готовой части северного участка дороги от Петербурга до Чудова и южного – от Вышнего Волочка до д. Кольцово за Тверью, император остался весьма доволен увиденным, что и нашло отражение в его письме П.А. Клейнмихелю: «К искреннему моему удовольствию, дороги эти найдены мною, в отношении превосходного устройства, изящности отделки, исправности содержания и примерного порядка в управлении, в виде и состоянии, превосходящем мои ожидания.

Столь блистательный успех сего полезного, многосложного и трудного предприятия, совершающегося под непосредственным руководством и неусыпным наблюдением вашим, налагает на меня обязанность изъявить вам ныне вновь мою живейшую и душевную признательность за все труды, вами подъемлемые.

Ревность и усердие, с коими вы всегда приводите в исполнение все мои предначертания по важной отрасли государственного благоуст-

ройства, вам вверенной, служат мне залогом осуществления живейшего моего желания видеть соединение столиц моих железною дорогою вполне оконченным и приведенным в действие к 1-му ноября 1851 года»[222].

И здесь самое время сказать, что вызвавшее восхищение императора качеством производимых работ во многом было обусловлено не только использованием опыта Англии, но и доставляемыми из туманных островов материалами для строительства дороги, в первую очередь рельсов. В отчете Министерства путей сообщения за 25-летнее царствование Николая I признается, что выделить «необходимого количества рельсов в России оказалось совершенно невозможным, не взирая на все выгоды предложенных условий для поощрения внутренней заводской промышленности»[223]. Специально для рельсового производства образованное Общество русских горнозаводовладельцев еле-еле поставило 50 тыс. пудов рельсов[224]. Но был и прогресс – все необходимые для крепления рельсов на шпалах чугунные подушки, костыли и прочие детали, не требующие высокотехнологичного производства были сделаны на частном заводе в Петербурге. Что касается подвижного состава, то он во всем объеме изготавливался американскими специалистами. Именно поэтому «локомотивы и вагоны, соединяя в себе лучшие выборы механиков», с удовлетворением отмечали специалисты-дорожники, отличались «прочностью, легкостью хода и благовидностью отделки»[225].

Но не все было так безоблачно: как и в других хозяйственных сферах, при строительстве дороги сыграла свою роковую роль одна из главных бед России – воровство. Многие и многие современники, в том числе и сами строители дороги – инженеры путей сообщения, – были уверены в том, что на затраченные на строительство дороги средства при другом министре можно было бы довести ее до самого Черного моря. При попустительстве нечистого на руку Клейнмихеля воровство процветало на всех уровнях, в том числе и на низовом. «Сколько штаб и обер-офицеров, которые, пробыв на железной дороге или на шоссе 3 и ли 4 года, приобрели богатые имения и оставили службу!» – восклицает один из знающих современников[226]. Воровство отпущенных на строительство денежных средств становилось легко осуществимым в первую очередь по той причине, что имевшее свой немалый куш высшее начальство «допускает возможность самим офицерам снимать работы или брать подряды. Сметы оттого всегда превышают всякую меру»[227]. Причем подрядчиков со стороны, предлагавших выгодные для казны условия поставок материалов, просто-напросто не допускали к торгам путем разных ухищрений или даже прямых угроз физической расправы.

Знал ли император или хотя бы догадывался о процветавшем при строительстве дороги воровстве? Наверняка знал. Так, по свидетельству осведомленного современника, на прямой вопрос одного из послов иностранной державы о стоимости дороги, Николай Павлович уклон-

чиво ответил, что об этом достоверно знают только двое – Бог и Клейнмихель[228]. Более того, были примеры, когда самодержец закрывал глаза на злоупотребления. Так, когда некто фон Лярский, взявший большой подряд на строительные работы на железной дороге, не выполнил обговоренные условия, то ведомство путей сообщения, естественно, не сочло возможным выплатить ему положенные по контракту 950 тыс. руб. Однако поступившие по закону руководители ведомства не знали того, что этот нечистоплотный подрядчик находился в родстве с самой фрейлиной Варварой Нелидовой – постоянной пассией императора Николая Павловича. Фон Лярский, пользуясь своим положением, обращается лично к самому государю с претензиями на якобы неправомерные действия чиновников ведомства путей сообщения. И происходит чудо: претензию просителя высочайше велено рассмотреть в Комитете министров! Но и в этом правительственном органе, даже под страхом гнева всесильного покровителя просителя, не сочли возможным выплатить Лярскому более 5 тыс. руб. серебром, ибо настолько необоснованны и противозаконны были все его претензии. Дело с записью решения Комитета министров представлено на утверждение государю. Его резолюция как всегда строга, но неожиданна для непосвященных: «Выдать 950000 руб. и дать знать министру финансов для поднесения указа к подписанию»[229]. Как видим, императору Николаю Павловичу не чужды человеческие слабости и он, ради угождения своей «тайной» возлюбленной, мог поступаться своими «железными» принципами.

Открытие дороги, но только для членов императорской фамилии, состоялось 18 августа 1851 г. Причем императрица Александра Федоровна, не привыкшая вставать засветло, прибыла на станцию накануне вечером и провела ночь в специально оборудованном вагоне, состоявшем из трех изысканно убранных комнат-купе, с камином, собственной кухней, погребком-ледником. Поезд, в котором находились Николай I, цесаревич с супругой, два старших сына, вел. княжна Ольга Николаевна с супругом и обе младшие дочери императора, а также сын вел. кн. Марии Павловны с супругой отправился в путь в 4 часа утра. Машинисты были столь осторожны и искусны, что Александра Федоровна проспала этот исторический момент. По пути движения случился и небольшой казус, повеселивший высокородных пассажиров. Один из наиболее ретивых строителей железной дороги, зная пристрастие императора к единообразию и порядку, распорядился под тон одного из мостов выкрасить масляной краской и сами рельсы на мосту, находившемся на небольшом подъеме. Результат не заставил себя ждать – колеса во всю мощь пыхтящего локомотива стали пробуксовывать, пока не догадались подсыпать песочек[230].

После этой поездки Николай I пишет еще одно примечательное письмо Клейнмихелю: «Приступая восемь лет тому назад к сооружению С.-Петербургско-Московской железной дороги, поручил я вам наблюдение за исполнением моего намерения, в уверенности, что ваше

столь многократно доказанное усердие послужит мне ручательством в успехе предпринятого дела.

С душевным удовольствием вижу осуществление моих желаний, и если это предприятие еще не совсем окончено, то работы уже доведены до такой степени, что для первого опыта мог быть перевезен значительный отряд гвардейских войск, и я, со всем своим семейством, совершил по железной дороге переезд из С.-Петербурга в Москву. При этом случае я с восхищением видел огромные и истинно изумительные сооружения, соединяющие в себе все условия изящного вкуса с самою превосходною отделкой. Я не могу не признать, что единственно примерным рачением вашим совершается столь успешно это важное государственное предприятие, которое должно принести существенные и самые полезные последствия для народного благосостояния <…> Испытанное усердие ваше служит мне уверением, что, согласно моему прежнему указанию, С.-Петербурго-Московская дорога будет окончена к 1-му ноября сего года, тем самым будет открыт для общего пользования способ быстрого и удобного сообщения в Империи. Пребываю к вам всегда благосклонный. *Николай*»[231]. Этот отзыв царя не расходится с впечатлениями от дороги современников, некоторые из которых и много лет спустя после его смерти отмечали, что она «была выстроена так тщательно и роскошно, что и сегодня является образцом русского строительного искусства». Но они же отмечали то, чего упорно не хотел видеть обычно во все вникавший император: именно в ходе прокладки этой железной дороги у ее строителей «развилась в высшей степени страсть к хищению: быть при казенной постройке сделалось единственной целью служебной карьеры инженера»[232].

Дорога после прокладки второго пути на всем ее протяжении была завершена в срок – ее открытие «для публики» состоялось именно 1 ноября. В этот день одновременно из Петербурга и Москвы отправились первые пассажирские составы. Пассажиров было не так много – боязно! Как пишет современник, такой способ передвижения «так не привычен был для русской публики»[233]. Потому из Петербурга выехало первым классом 17, вторым – 63 и третьим – 112 человек. Из Москвы отправились в путь тоже 192 человека. Малочисленность пассажиров отчасти объяснялась и стоимостью билетов – 19, 13 и 7 руб. сер. в зависимости от класса вагона. Были и другие, присущие только России затруднения, – пассажир должен был прибыть на станцию за час до отправления, а свой багаж привезти и того раньше – за два часа до отправления, и при этом иметь на руках не только паспорт, но и разрешение полиции на выезд.

Появление в стране столь протяженной железной дороги, первый опыт ее эксплуатации и открывающиеся перспективы оживили в обществе дискуссию о преимуществах и недостатках нового вида сообщения. Все большее число предпринимателей проникалось идеей необходимости преодоления зависимости от сезонного и технического состо-

яния сухопутных и водных путей при перевозке растущего объема грузопотоков. Особую озабоченность и у государства, и у частных торговцев вызывала невозможность быстрой доставки хлеба в затронутые неурожаем губернии в то время, когда в других он гнил в скирдах или лежал без движения в закромах.

Однако появляющиеся проекты строительства новых железных дорог, соединяющих север страны с ее южными регионами, тонули в бюрократических тенетах власти под сильным давлением банков, связанных с иностранным капиталом. Так, усилиями банкира А. Штиглица, через которого правительство осуществляло зарубежные займы, был загублен имевший стратегическое значение проект строительства железной дороги от Москвы на Харьков и далее на Феодосию. И это несмотря на чрезвычайно выгодные для государства условия, предложенные отечественной компанией. Штиглиц и другие связанные с иностранным капиталом банкиры опасались открывавшейся возможности для правительства прибегать к внутренним займам и тем самым обходиться без их посредничества. Для предотвращения этого Штиглицем была привлечена на свою сторону мощная сила в лице графа К.В. Нессельроде и князя М.С. Воронцова[234]. Происки банкиров наподобие Штиглица облегчались тем, что граф П.А. Клейнмихель категорически «не допускал частных кампаний и хотел предоставить исключительное право постройки в России железных дорог Министерству путей сообщения». Мотивы подобной его позиции лежали на поверхности: как заметил один из современников, в последнем «он и родной племянник его [Н.А.] Огарев обрели себе Калифорнию».

Впрочем, дело было не в Клейнмихеле и его позиции. Главную сдерживающую роль в дальнейшем расширении сети железных дорог сыграло упорное нежелание Николая I привлечь к делу частный капитал – все отрасли экономики, считал он, должны быть в ведении государства и отвергал все предложения отечественных и иностранных деловых кругов развернуть железнодорожное строительство через акционерные компании. В результате к концу царствования Николая I железнодорожная сеть России, состоявшая из Николаевской, Царскосельской ж.д. и участка от Варшавы к российско-австрийской границе не превышала 900 верст. Показательно в этой связи, что последовавшее осенью 1851 г. высочайшее распоряжение о начале строительства железной дороги, связывающей Петербург с Варшавой, мотивировалось не экономическими соображениями, а необходимостью укрепления безопасности страны. «В случае внезапной войны, – говорил царь, – при теперешней общей сети железных дорог в Европе, Варшава, а оттуда и весь наш Запад могут быть наводнены неприятельскими войсками прежде, чем наши успеют дойти от Петербурга до Луги»[235].

Как же сильно ошибался император в определении направления вторжения неприятельских войск! И это в конце концов стоило ему жизни.

Что касается состояния экономики в целом и отдельных ее отраслей, то они развивались по своим законам и достигли определенных успехов. Сам император, не обладавший достаточными экономическими знаниями и опытом, особо не вмешивался в хозяйственное управление государством, и это было благом в той реальной ситуации. Сенатор К.И. Фишер в своих записках прямо пишет, что «государь не интересовался живо хозяйственными вопросами, да и не был в них компетентным судьей»[236]. Впрочем, к этому не стремился и сам Николай Павлович. По свидетельству П.Д. Киселева, при обсуждении того или иного конкретного хозяйственного вопроса он честно признавался: «Я этого не знаю, да и откуда мне знать с моим убогим образованием? В 18 лет я поступил на службу и с тех пор – прощай ученье! Я страстно люблю военную службу и предан ей душой и телом. С тех пор как я нахожусь на нынешнем посту <...> я очень мало читаю, У меня нет времени <...> Если я и знаю что-то, то обязан этому беседам с умными и знающими людьми». Он убежден, что именно такие беседы, а не чтение книг «самое лучшее и необходимое просвещение, какое только можно вообразить; если есть такая возможность, то оно положительно предпочтительнее, нежели чтение книг, по крайней мере я так думаю»[237]. Тезис, мягко говоря, спорный, но оставим его в стороне.

Насколько же государь был «сведущ» в вопросах экономики, показывает один тот факт, что в решении, например, финансовых вопросов на государственном уровне он полагал достаточным руководствоваться сугубо обывательским представлением: «Я не финансист, но здравый рассудок говорит мне, что лучшая финансовая система есть бережливость, этой системе я и буду следовать»[238]. О том, что будет «следовать бережливости» император говорил зря – ее не было и в помине, учитывая громадные затраты на содержание огромной по численности армии, на ускоренное строительство крепостей-монстров по всему периметру западной границы, на организацию никчемных парадов, бесконечных смотров, лагерных сборов, показушных маневров и т.д. К чему это в конечном счете привело, известно: после смерти Николая I на государстве висели огромные долги. Если Е.Ф. Канкрину, принявшему Министерство финансов в 1823 г., в силу своего профессионализма удавалось и при неблагоприятных внутренних и внешних условиях сохранять сбалансированный бюджет вплоть до своего ухода с должности по болезни в 1844 г., то при заместившем его бездарном Ф.П. Вронченко (фактически бывшем лишь секретарем при императоре) уже в следующем году дефицит составил 14,5 млн руб., спустя пять лет – 83 млн руб. и т.д.

Правда, надо сказать, что с трудом был сведен и бюджет 1840 г., когда на этот год пришлась затянувшаяся болезнь Канкрина и была потеряна нить управления финансовой системой. Тогда дефицит составил 21,5 млн руб.[239], и для его покрытия нужны были займы – внеш-

ние или внутренние. Тогда же вдруг стал ощущаться недостаток разменной монеты, стало очевидным и несовершенство кредитной системы. Обеспокоенный таким положением дел в финансовой системе председатель Государственного совета и Комитета министров И.В. Васильчиков подает Николаю I специальную записку, в которой в деталях обрисовал довольно-таки мрачную картину. Первая реакция императора была разумной и адекватной ситуации – он распорядился составить секретный комитет, который и изыскал бы способы преобразования финансовой системы. Комитет начал было работу, подготовил даже ряд проектов, но тут Канкрин стал поправляться и приободрившийся государь потерял интерес к его (Комитета) деятельности. На сохраняющееся же беспокойство Васильчикова в связи тяжелым финансовым положением в стране Николай I деланно недоумевал: «Откуда князя преследует вечная мысль о затруднительном положении наших финансов» и раздраженно добавлял, что судить об этом – дело «не других, а его, императора»[240]. Примечательный факт: министру просвещения С.С. Уварову и министру юстиции В.Н. Панину он запомнился в роли «главного финансиста» тем, что «постоянно урезал бюджеты их министерств до минимума»[241]. Куда шли отнятые у просвещения и юстиции деньги, можно судить по одному характерному факту: если содержание штата военно-учебных заведений (в том числе с любовью пестуемых императором десятков кадетских корпусов) в 1840-м обходилось 24 тыс. руб., то в 1854 г. – уже 316 тыс. руб., т.е. увеличение в 13 раз![242] С 1845 г. и по кончину Николая I правительство сверх бюджета израсходовало на сооружение крепостей 42,5 млн руб., на постройку дворцов и разбивку парковых ансамблей 8 млн руб., на возведение казарм и госпиталей для численно возраставшей армии – 7,5 млн руб., на строительство путей сообщения – 208 млн руб. Примерно половину бюджетных денег ежегодно съедали расходы на содержание вооруженных сил. Причем деньги в основном шли не на улучшение технического оснащения армии, не на совершенствование вооружения, а на удовлетворение главной страсти императора – на проведение бесконечных парадов, смотров, масштабных маневров. Видело ли это транжирство ближайшее окружение Николая? Да, видело, но никто не смел в чем-либо перечить самодержцу. Если и было неудовольствие, то скрытое, неявное. Так, например, при рассмотрении на заседании Государственного совета бюджета на 1848 г. петербургский генерал-губернатор А.А. Кавелин шепнул своему соседу М.А. Корфу, что, будь его воля, он бы вмиг убавил расходы на 40 млн руб. Корф изумлен, а Кавелин его просветил: «Я сейчас бы вымарал, во-первых, 4 кавалерийские дивизии, потому что такой бесчисленной кавалерии, как у нас теперь, некуда употребить <…> во-вторых, 4 дивизии пехоты, потому что и ее у нас чересчур много; в-третьих, всю жандармскую часть, как мать одних вздорных коммеражей и новую отрасль <…> взяточничества; в-четвертых, все Министерство государственных имуществ, которое только сосет казенных крестьян <…>; в-пя-

тых, санкт-петербургского генерал-губернатора, потому что в присутствии государя в столице он – совсем лишняя спица в колесе»[243]. Корф, прекрасно зная нрав государя, на все это лишь грустно заметил: жаль, что все это «нельзя ни провести, ни даже предложить». Причем, как оказалось, Кавелин, при своем назначении «к надзору за воспитанием наследника» весьма прозрачно намекал на это Николаю Павловичу, а тот сделал вид, что не понимает, о чем речь. Прием испытанный – точно так же он поступил и при разговоре с Канкриным, прикладывавшем огромные усилия для латания дыр в бюджете. Однажды, устав от борьбы за реальный бюджет, не убоялся царского гнева и сказал Николаю I: «Денег нет, а между тем два полка разъезжают по всем городам России два раза в год на тройках». – «Какие два полка?» – «Образцовые, государь»[244]. Николай I, пересилив себя, промолчал. Действительно, два отменно вымуштрованных полка по его личному распоряжению специально посылались в крупные города страны, чтобы показать пример совершенного овладения «наукой» шагистики с целью добиться того же у всего войска.

Здесь не лишним будет привести примеры конкретного вмешательства Николая Павловича в решение дел государственного уровня.

В 1849 г. в связи с непрекращающимся потоком контрабандного ввоза в страну через Финляндию дешевых западных товаров лично Николаем Павловичем было принято решение ликвидировать единственный таможенный кордон в Систербеке и вместо этого взять под охрану всю береговую линию страны фьордов, шхер и бесчисленных озер российской таможенной стражей. Эта не без чьей-то провокационной подсказки родившаяся в голове монарха мера привела всех имеющих отношение к делу лиц в ужас ввиду ее практической невыполнимости. Сначала заместивший Канкрина на посту министра финансов Ф.П. Вронченко, финляндский генерал-губернатор А.С. Меншиков и другие высшие чиновники общими словами робко говорили о «неудобствах» предполагаемой меры, желая «проволочить» дело в надежде на то, что государь откажется от него. Никто, конечно же, не мог даже допустить и мысли, чтобы уличить его в невежестве. Вопрос казался уже окончательно решенным, но помог случай.

К.И. Фишер в связи со своим назначением товарищем министра статс-секретаря великого княжества Финляндского графа А.Г Армфельда должен был представиться государю. Вот как описывает аудиенцию у царя сам Фишер: «Я был принят очаровательно ласково. Затем государь принялся рассказывать мне дело о таможенном кордоне. Это был просто великолепный доклад дела, всей его истории и настоящего положения. Государь говорил превосходно! При рассказе он коснулся положения Финляндии. «Финляндия благоденствует, – сказал он, добавляя с горькой улыбкой, – если меня не обманывают». Я прервал государя, сказав, что его не обманывают. «Слава Богу», – продолжал государь, и опять воротился к вопросу. Кончив тоном *последнего слова* , т.е. твердой воли, он сделал было шаг ко мне, когда я начал

говорить. “Государь! Цель ваша не может быть не понята, но едва ли она может быть исполнена”.

Государь вдруг покрылся сильным румянцем, приподнял голову, расширил глаза и выпустил из них пук молний так, как он один умел высыпать их из своего взора; еще одна секунда, и последовал бы страшный взрыв, но я продолжал говорить спокойно, смотря смело ему в глаза, и видел, как улеглась буря, как выступало солнце на его выразительном лице <…> я докладывал государю, что географическое положение препятствует устройству таможенного надзора в другом месте, что протяжение финляндского берега составляет 1500 верст, и прибрежье усеяно бесчисленными шхерами; что если на каждый островок поставить по одному сторожу, то потребуется целая дивизия, а страж ничего не сделает, потому что в проходах между шхерами таможенные катера будут становиться на мель там, где челнок контрабандиста плывет свободно; что Финляндия представляет воронку, обращенную широким отверстием к морю, и узким к Систербеку. “Да, – сказал государь, – географическое положение! Вот первая основательная причина, которую я слышу, а то все говорят мне вздор”[245]. Николай I как будто согласился с доводами Фишера, но все же последнее слово хотел оставить за собой: «Я буду иметь это в виду, я переведу туда дивизию».

Сходную ситуацию годом раньше пережил Г.И. Филипсон, служивший в то время в канцелярии царского наместника и главнокомандующего на Кавказе М.С. Воронцова. Он был командирован в Петербург для доклада царю об отношении наместника к вызвавшему его сомнения вопросу о переводе ставропольских государственных крестьян с их землями в казачье войско.

Филипсон прибыл в столицу в первой декаде февраля 1848 г., но знавший о его приезде государь принял его только в середине апреля. Уже осведомленный о не удовлетворявшем его мнении своего наместника, Николай I, как мог, оттягивал неприятный для него разговор. Вот что пишет Филипсон: «Я вошел в кабинет, длинную и очень просто, почти бедно меблированную комнату <…> Он был в сюртуке Семеновского полка, очень поношенном и без эполет . Увидав меня, он пошел навстречу и, подавая мне руку, сказал: “Здравствуй Филипсон. Ты верно на меня сердился, что так долго тебя не звал. Что делать! Были другие заботы. Садись”. Он сказал эти слова ласково и просто и показал на кресло близ большого стола <…> Государь высказывал соображения верные и согласные с моим личным мнением. Разговор продолжался больше четверти часа. Государь говорил просто, добро и ласково, с видом искренним. Я легко мог бы забыть, что предо мною сидит грозный император, если бы не был предупрежден его флигель-адъютантом». Действительно, когда дело дошло до изложения Филипсоном позиции Воронцова, «разговор уже не возвращался к прежнему тону. Государь мало-помалу возвышал голос с заметным раздражением. Я счел неуместной наглостью делать дальнейшие возражения, и государь продолжал свой монолог: “Что мне рассказывают, что благосостояние кре-

стьян упадет по передаче их в казачье линейное войско! На Дону военное управление не мешает народному благосостоянию. Я знаю, кому это не нравится: этим пиявкам, кровопийцам, которые сосут пот и кровь из мужиков. Не могу же я смотреть на этот вопрос глазами управляющего палатой Государственных имуществ. Я смотрю на него с государственной точки зрения. Чтó меня пугают, что придется упразднить Ставропольскую губернию! Ну, да, упразднить. Очень рад. Это у меня самая подлая губерния в России, где ни один порядочный человек не мог ужиться. Меня пугают еще бунтом крестьян; надеюсь, что там есть кому образумить дураков". Говоря последние слова, государь очень возвысил голос и в сильном раздражении ударил кулаком по столу <…> на его лице не было и тени того благосклонного радушия, с которым он начал разговор: все черты его изменились, лицо покраснело, и на глазах показались кровавые жилки». Но тут, замечает Филипсон, «вероятно, он овладел собою и, помолчав минуту, спросил меня более спокойным голосом: "Ну, а ты как думаешь о предложенной мной мере?" <…> "Я совершенно противного мнения соображениям главнокомандующего". – "Как же это так?" – "Я об этом докладывал начальнику Главного штаба [П.Е.] Коцебу и просил его доложить князю Воронцову"». После этого, как пишет мемуарист, «государь задумался и сказал тихим, спокойным голосом: "Не могу же я смотреть на этот вопрос иначе как с государственной точки зрения? Не могу же я только у всех спрашивать советов? Слава Богу, в 23 года я делал то, что мне Бог на сердце положил, а что-нибудь хорошее сделал же"»[246]. Неожиданно найдя в Филипсоне единомышленника, Николай Павлович окончательно успокоился: «Ты мне все это напиши, о чем ты говорил, и завтра мне представь». Написанное в духе соображений императора распоряжение было им без проволочки утверждено и отправлено для исполнения в Департамент военных поселений и иррегулярных войск[247]. Государя можно похвалить за то, что он прислушивался к мнению своих оппонентов, но такие случаи все же были редки и, как правило, вызваны исключительными обстоятельствами.

Приведем еще один пример «решения» Николаем I государственных дел за 16 лет до этого.

Когда в Зимнем дворце давался обед по случаю завершившейся Всероссийской промышленной выставки, то государь «изволил» беседовать с сидевшим рядом с ним владельцем суконной мануфактуры, манфактур-советником И.Н. Рыбниковым: «"Вам, господа, непременно должно стараться выдерживать соперничество в мануфактуре с иностранцами и чтобы сбыт был ваших изделий не в одной только России, а и на прочих рынках". – "Точно стараться надо, в. и. в. но еще потребно на это несколько времени, ибо иностранцы столетиями нас опередили". – "Почему наши российские негоцианты неохотно приступают к строению кораблей, чтобы иметь обширную торговлю и сношения со всеми государствами?" – "На это потребно, в. и. в., большие капиталы; а у нас не у многих они есть". – "Можно бы на акциях

или компаниями". – "На первый случай, в.и.в., и то было бы хорошо, ежели бы от нашего купечества в иностранных торговых городах были открыты торговые дома, а тогда по времени и корабли сделались бы необходимы". – "Это правда; на первый раз начать хотя открытием домов"»[248].

На этом разговор и завершился без каких-либо обещаний реальных действий. А затем Николай Павлович, обращаясь ко всем собравшимся, продемонстрировал чистейшей воды образец прожектерства: «Вот у нас Закавказский край имеет обильнейшие всякого рода произрастания, множество разных красот и виноградов, даже можно бы соперничать в вине и с Францией, но, к сожалению, все еще молчит в забвении»[249]. Позванные на обед промышленники и фабриканты из осторожности промолчали, промолчал и сидевший по правую руку от государя реально мысливший министр финансов Е.Ф. Канкрин, как и вблизи от Николая I сидевший председатель Государственного совета В.П. Кочубей, видимо, не ожидавший такой мечтательности от своего патрона. Но царь по этому поводу не расстроился и повеселил гостей «семейным представлением», описание которого оставил пораженный увиденным фабрикант Рыбников: «Обойдя всех, государь взял вел. кн. Константина Николаевича за головушку и наклонял оную ему низко, говоря: "Кланяйся, кланяйся ниже". Потом ему сказать изволил: "Ты адмирал, то полезай на мачту сам". Государь стал прямо и сказать изволил: "На мачту!" Вел. кн. Константин Николаевич стал хвататься за государевы руки, за пуговицы мундира и петли, а потом за плечо и влез на плечо государя, сесть изволил лицом к лицу государя на самый эполет; тогда его государь поцеловал и сказать изволил всем присутствующим: "Это адмирал исправный". Потом сказать изволил: "Ну, адмирал, тем же маршем с мачты долой!»[250]. На том гости и разошлись, весьма довольные патриархальными манерами своего государя.

Статс-секретарь е. и. в. барон М.А. Корф в своем дневнике приводит едва ли не единственный пример конкретного включения Николая I в решение важнейшего государственного дела. Так, в октябре 1831 г. ввиду затруднительного положения государственного казначейства министр финансов Е.Ф. Канкрин предложил в наступающем году повысить некоторые казенные сборы, в том числе и таможенные пошлины на 12,5%. Государственный совет, не особенно вникнув в суть дела, утвердил это предложение и соответствующий указ не глядя был подписан государем 11 ноября. Но по указу выходило, что новыми пошлинами облагались и ранее поступившие товары, хранившиеся на складах на момент его принятия. Естественно, это вызвало общий ропот купечества, видимо, дошедший и до государя. В результате в начале декабря на имя председателя Госсовета В.П. Кочубея поступил собственноручно написанный рескрипт Николая I, в котором говорилось следующее: «Указ 11-го ноября с. г. и приложенная к нему роспись, коими возвышается привозная пошлина на некоторые товары, и установляется добавочный таможенный сбор, были рассмотрены в комитете фи-

нансов и в Департаменте государственной экономики и, наконец, в общем собрании Совета. Ни в котором из сих мест никто из членов не заметил, что по буквальному смыслу статьи 2 примечания II к росписи, добавочный 12,5% сбор распространяется и на товары, привезенные раньше обнародования сего указа, но еще не очищенные пошлиною, на основании законом даруемой для сего 6-месячной отсрочки, и что чрез сие новому постановлению дается обратное действие. Никто, конечно, не может подумать, чтобы правительство, известное своим уважением к справедливости и доброй воле, имело намерение постановить что-либо противное присвоенным законами правам и священнейшему из всех праву собственности.

Но не дает ли повод к сему ложному заключению вкравшаяся в приложении к указу 11 ноября ошибка? Она ускользнула и от моего внимания, потому что я был вправе ожидать тщательного рассмотрения проекта Советом <…> Сия ошибка должна быть исправлена»[251].

Новым указом от 7 декабря ошибка исправлена, и остается только сказать, что профессионально, со знанием дела заготовленный рескрипт от начала до конца был написан Д.Н. Блудовым и для отсылки в Государственный совет старательно переписан государем без каких-либо изменений.

Несамостоятельность решений Николая I в делах, далеких от его пристрастий в инженерно-строительной сфере, видна и на следующем примере решения запутанного дела о статусе каспийских рыболовных промыслов. В данном случае камнем преткновения был вопрос о праве собственности на прибрежные земли и морские ловли. По содержанию указов 1802 и 1803 гг., эти земли следовало отобрать в казну, а рыболовство сделать свободным.

Однако указы не исполнялись, в связи с чем в 1831 г. последовало высочайшее повеление пересмотреть дело. «Пересматривали» целых 10 лет и дело из Сената поступило в Государственный совет только в 1842 г. И здесь мнения разошлись: 19 членов выступили за неприкосновенность права собственности, 8 – за исполнение предписания прежних указов. «Меморию» о разногласии отправили царю и на следующий же день от него получили такую резолюцию: «Права помещиков немедленно пересмотреть, с тем чтобы дело было непременно кончено к 1-му сентября. Касательно же обязанности Совета представлять о неудобствах существующих законов, нужным нахожу заметить, что решение, которое по сему последовать может, разрешает сей вопрос только для будущих случаев, представиться могущих. Но никогда не должно и не может изменить решения дела, возбудившего подобного рода представление, которое решиться должно по точному смыслу существующего *в то время закона*. Обратного действия никакой закон иметь не может»[252]. Эта резолюция не могла не смутить секретаря Государственного совета Корфа и его председателя И.В. Васильчикова. Каждая ее часть по отдельности были верны и логически обоснованы, но приложить резолюцию в целом к данному делу было невозможно,

ибо пересмотреть права собственников, с одной стороны, было нельзя, если не придерживаться указов 1802 и 1803 гг., но, с другой – решить дело по *существующему* закону означало не что иное, как оставить эти права без пересмотра. Резолюция грозила продолжить прежние споры с большей горячностью, ибо первая ее часть говорила в пользу мнения 19 членов, а вторая – остальных восьмерых. Преодолев все страхи и колебания, Васильчиков в конце концов поехал к государю, который, выслушав князя и признав (про себя) свою оплошность, сказал ему, что он сам заметил это недоразумение, но уже после отсылки резолюции. Согласился с тем, что резолюцию надо переделать, но т. к. ему некогда, то предложил удобный выход: «Пришли мне, что́ вы придумаете с Корфом, я то и напишу».

Умница Корф, явно подлаживаясь под стиль царя, изготовил подходящую резолюцию, в которой царь лишь заменил слова «касательно же» на «но касательно», и, стерев на мемории Совета прежнюю свою резолюцию, собственноручно написал новую, в редакции Корфа[253]. О неловком казусе знают трое – сам Николай Павлович и преданные ему Васильчиков и Корф, остальные члены Совета восторгаются умением самодержца верно схватывать суть дела. Как говорится, короля делает его окружение.

Догматический подход Николая I в поддержке важных начинаний явственно сказался при создании первой в России военной академии в 1832 г. Как известно, сама эта идея принадлежит состоявшему на российской службе (с 1813 г.) генералу от инфантерии Г.В. Жомини, французу по происхождению. Непосредственным же толчком послужила неудовлетворенность генерала методами комплектования Генерального штаба. Поправить дело он предлагал путем создания некоего подобия университета военных наук с неограниченным числом слушателей, из которых в Генеральный штаб зачислялись бы только успешно выдержавшие строжайшие выпускные экзамены. Но проект в данном виде не нашел поддержки в верхах, хотя было очевидно, что при квалифицированных и ответственных преподавателях и добросовестных слушателях военная академия действительно могла стать превосходной кузницей кадров не только для Генерального штаба, ни и для вооруженных сил страны в целом и тем самым способствовать быстрому повышению профессионального уровня всего офицерского корпуса. Но, как пишет генерал Г.И. Филипсон, «государь Николай Павлович, невысоко ценивший научное образование в офицере, увидел в этой мысли Жомини только одни недостатки, Ему казалось совершенно невозможным, чтобы офицер два года жил в Петербурге без всякой служебной обязанности, кроме посещения лекций академии. В его воображение тотчас рисовались картины разлива либеральных идей, возбуждаемых как самими лекциями, так и свободным от службы образом жизни молодых людей. Этого было достаточно, чтобы совершенно изменить первоначальную мысль Жомини»[254]. В результате высочайше утвержденным в 1832 г. уставом число ежегодно поступающих в Ака-

демию ограничено всего 25 слушателями. Причем кандидаты для приема обязаны были предоставить письменные удостоверения от дивизионного и корпусного командиров о полной благонадежности образа мыслей и поведения, а в самой Академии учреждались штатные должности трех или четырех штаб-офицеров «для надзора за обучаемыми». Тем самым, делает заключение мемуарист, «правительство постаралось, чтобы новое учреждение менее всего походило на университет и сколько можно подходило к тогдашнему идеалу военного воспитания, т.е. к кадетским корпусам».

Ко всему прочему, шефом Академии был назначен вел. кн. Михаил Павлович, который «цинически объявлял себя врагом всякого научного развития, смеялся над учеными и литераторами, а в Академии не только никогда не был, но и мимо не ездил». Всем была известна и другая его отличительная черта: «страстная преданность ефрейторству, которое было доведено до безобразного совершенства». Не был случаен и выбор директора Академии – в главе ее поставлен генерал-адъютант И.О. Сухозанет, доказавший свою преданность Николаю Павловичу в день 14 декабря 1825 г. Император был уверен и в его строгости, точнее – жестокости, в отношении подчиненных. Филипсон приводит тому показательный пример: когда один из кадетов в Московском кадетском корпусе, не стерпевший грязных приставаний офицера, замахнулся на него тесаком, то «государь очень разгневался и велел Сухозанету ехать в Москву и примерно наказать виновного». Как свидетельствует мемуарист, Сухозанет еще в Петербурге публично бахвалился, что «едет засечь насмерть кадета», что и исполнил: в присутствии всех кадетов провинившего «секли розгами, пока не уверились, что он умер»[255]. Можно себе представить, какие порядки были заведены во вверенном Сухозанету высшем военном учебном заведении.

Было бы несправедливо не сказать об отмечаемой современниками способности Николая Павловича быстро схватывать суть той или иной проблемы. В частности, наиболее очевидно это проявилось во время его поездки на Кавказ в 1837 г., когда он после ознакомления на месте со сложной и запутанной военно-политической ситуацией в крае сумел уловить суть непрекращающегося здесь конфликта. Вот записанное А.Х. Бенкендофом суждение императора: «Надо сказать, что до сих пор местное начальство принималось за свое дело совсем не так, как следует; вместо того, чтобы покровительствовать, оно только утесняло и раздражало; словом, мы сами создали горцев, каковы они есть, и довольно часто разбойничали не хуже их. Я много толковал об этом с [А.А.] Вельяминовым, стараясь внушить ему, что хочу не побед, а спокойствия; что и для личной его славы, и для интересов России надо стараться приголубить горцев и привязать их к русской державе, ознакомив этих дикарей с выгодами порядка, твердых законов и просвещения; что беспрестанные с ними стычки и вечная борьба только все более и более удаляет их от нас и поддерживает воинственный дух в пле-

менах, без того любящих опасности и кровопролитие. Я сам тут же написал Вельяминову новую *инструкцию* и приказал учредить в разных пунктах школы для детей горцев, как вернейшее средство к их обрусению и к смягчению их нравов»[256]. Слышать подобный отзыв, пусть и с явным европоцентристским и националистическим налетом, из уст императора тем более удивительно, что, по словам много лет проведшего на Кавказе боевого генерала Филипсона, за все время ведения военных действий в крае «в Петербурге и не подозревали, что мы имеем здесь дело с полумиллионным горным населением, никогда не знавшим над собою власти, храбрым, воинственным, и которое в своих горных заросших лесом чащобах на каждом шагу имеет сильные природные крепости. Там еще думали, что черкесы не более как возмутившиеся русские подданные, уступленные России их законным повелителем султаном по Адрианопольскому трактату»[257]. Филипсон верно подмечает и другое обстоятельство, препятствовавшее складыванию адекватного представления о происходящем на Кавказе: несмотря на то, что действия русских войск здесь не всегда были удачны, стоили много крови и не приносили видимых положительных результатов, «в реляциях являлись с большими украшениями. Это был порок, общий всем на Кавказе, от главнокомандующего до последнего офицера <…> Понятно, что где все лгут, новому человеку трудно получить верное понятие о положении края, пока не научится переводить с кавказского языка на человеческий»[258]. Видимо, Николаю I до известной степени удалось «научиться» переводить.

Примечания

1 *Фицтум фон Экштедт К.-Ф.* В виду Крымской войны. Заметки дипломата при Петербургском и Лондонском дворах. 1852–1855 гг. // РС. 1887. Т. 54. № 5. С. 378.
2 Там же. С. 379.
3 Достопримечательные записки из бумаг барона Штокмана // РА. 1873. Кн. 1. № 1. Стб. CIX.
4 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Николай I, его жизнь и его царствование. Т. 1. СПб., 1903. С. 315.
5 Междуцарствие 1825 г. в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 195–196.
6 История XIX века. Под ред. Лависса и Рамбо. Т. 3. М., 1938. С. 162.
7 Ее текст см.: *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1909. Приложение 1 (с. 575–581).
8 РС. 1900. № 12. С. 615–616.
9 Барон Модест Корф. Записки. М., 2003. С. 268, 269.
10 *Стогов Э.И.* Записки // РС. 1903. Т. 114, 35. С. 312.
11 *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. СПб., 1886. С. 327, 331, 381.
12 *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 5. М., 1956. С. 59–60.
13 Барон Модест Корф. Записки. С. 270.
14 Там же.
15 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 465–466.
16 *Герцен А.И.* Соч.: В 9 т. Т. 3. М., 1956. С. 457.

[17] *Соколова А.И.* Встречи и знакомства // ИВ. 1911. Т. 123. № 1. С. 570.
[18] Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 2. С. 35.
[19] РА. 1878. Кн. 3. № 12. С. 445.
[20] А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 246; Звенья. М.; Л., Т. 4. С. 198.
[21] Записки барона М.А. Корфа // РС. 1899. Т. 100. № 11. С. 298–299.
[22] Цензура в царствование императора Николая I // РС. 1901. № 8. С. 400, 402.
[23] *Никитенко А.В.* Записки и дневник. Т. 1. СПб., 1905. С. 194.
[24] Записки о цензуре коллежского асессора Фукса. СПб., 1862; Записки С.Н. Глинки. СПб., 1895.
[25] *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 205.
[26] Там же. С. 226.
[27] Там же. С. 288.
[28] Там же. С. 329–330, 359.
[29] Там же. С. 332.
[30] *Соловьев С.М.* Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // *Соловьев С.М.* Избр. труды. Записки. М., 1983. С. 311.
[31] *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 2. С. 396.
[32] Цит. по: Там же. С. 304.
[33] Цит. по: Там же. С. 390.
[34] Записки графини А.Д. Блудовой // РА. 1875. Кн. 1. № 6. С. 183.
[35] *Юзефович М.В.* Несколько слов об императоре Николае I // РА. 1870. № 5. Стб. 1003.
[36] *Пресняков А.Е.* Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1925. С. 15.
[37] *Уваров С.С.* Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. СПб., 1864. С. 2–3.
[38] РС. 1873. № 7. С. 679–680.
[39] Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 2. С. 351.
[40] *Соловьев С.М.* Указ. соч. С. 268.
[41] Цит. по.: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 310.
[42] Николай Первый и его время. Документы. Письма, дневники. Т. 1. М., 2000. С. 145.
[43] Из записок барона М.А. Корфа // РС. Т. 99. № 8. С. 291.
[44] Там же // РС. Т. 103. № 7. С. 47.
[45] *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 170, 234.
[46] Там же. С. 171.
[47] *Фицтум фон Экштедт К.-Ф.* Указ. соч. С. 377.
[48] *Брэ Оттон де.* Император Николай I и его сподвижники // РС. 1902. Т. 109. № 1. С. 121.
[49] РС. 1896. Т. 86. № 6. С. 517–518.
[50] *Брэ Оттон де.* Указ. соч. С. 121.
[51] Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1900. Т.102. № 5. С. 266.
[52] Там же. С. 265.
[53] Там же. С. 262.
[54] Там же // РС. 1900. Т. 101. № 2. С. 340.
[55] Там же. // РС. 1900. Т. 101. № 3. С. 572.
[56] Там же. С. 573.
[57] *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 377.
[58] *Якушкин В.Е.* Из истории русской цензуры // Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905.
[59] *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 378.

[60] *Долгоруков П.В.* Правда о России. Т. 2. М., 1861. С. 158. Д.П. Бутурлин умер в октябре 1849 г.
[61] *Соколова А.И.* Указ. соч. С. 104.
[62] Воспоминания графини А.Д. Блудовой // РА. 1873. Кн. 2. № 11. Стб. 2055.
[63] *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 315.
[64] Докладные записки и письма в III Отделение. Публикация А. Рейтблата // ВЛ. 1990. № 3. С. 112.
[65] Там же.
[66] Там же. С. 111.
[67] Цит. по: *Рейтблат А.* Видок Фиглярин (История одной литературной репутации) // ВЛ. 1990. № 3. С. 90–91.
[68] *Давыдов С.* Император Николай I. М., 1913. С. 123.
[69] История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. Т. 6. С. 61.
[70] РА. 1895. № 5. С. 28–29.
[71] В связи с этим заметим, что хотя по сравнению с 30-ми гг. XIX в., когда в шести российских университетах обучалось около 2000 студентов, заметен некоторый прогресс, но все же, даже среди отпрысков дворян, для одних которых были открыты все типы учебных заведений, только 5% получали образование в объеме всего-навсего гимназии (*Рашин А.Г.* Грамотность и народное образование в России в XIX и в начале XX века // Исторические записки. Т. 37. М., 1951. С. 53, 72). Поэтому, как думается, дело не только в политике властей в сфере просвещения, но и в том, что общество, государство не нуждались в большем числе специалистов с высшим образованием.
[72] Из записок барона М.А. Корфа // РС. Т.101. № 4. С. 44.
[73] Докладные записки и письма в III Отделение [Ф.В. Булгарина] / Публ. А. Рейтблата // ВЛ. 1990. № 3. С. 112.
[74] Там же. С. 113.
[75] Из записок барона М.А. Корфа // РС. Т.102. № 5. С. 282.
[76] *Соловьев С.М.* Указ. соч. С. 317.
[77] *Долгоруков П.В.* Правда о России. С. 159, 161.
[78] *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 422–423.
[79] Из записок барона М.А. Корфа // РС. Т. 102. № 5. С. 283.
[80] *Соловьев С.М.* Указ. соч. С. 318.
[81] *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 395.
[82] *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 172.
[83] [*Стасов В.В.*] Цензура в царствование императора Николая I // РС. 1903. Т. 10. № 9. С. 643.
[84] Там же. С. 644.
[85] Там же. С. 646.
[86] *Белинский В.Г.* Письма. СПб., 1914. Т. 2. С. 334.
[87] [*Стасов В.В.*]. Цензура в царствование императора Николая I // РС. 1903. Т. 10. № 9. С. 654–655.
[88] Там же. № 10. С. 175.
[89] Там же. № 9. С. 659, 661.
[90] Там же. РС. 1904. № 1. С. 219.
[91] *Жемчужников Л.М.* Мои воспоминания из прошлого. Л., 1974. С. 195–196.
[92] [*Стасов В.В.*]. Цензура в царствование императора Николая I // РС. Т. 10. № 9. С. 657–658.
[93] Там же. С. 661–662.
[94] Там же. № 10. С. 173–174.

95 Там же. С. 178.
96 Там же.
97 Там же. С. 180.
98 Там же. С. 183.
99 *Киреевский И.В.* Критика и эстетка. М.,1979. С. 100; *Кожухин А.Я.* Славянофильская концепция просвещения. М., 2005. С 93; *Лемке Н.* Николаевские жандармы и литература. С. 73.
100 РС. 1882. № 6. С. 196,197.
101 [*Стасов В.В.*] Цензура в царствование императора Николая I // РС. 1903. Т. 3. № 12. С. 690.
102 Там же. С. 694.
103 Там же. С. 697, 698.
104 *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 440.
105 [*Стасов В.В.*] Цензура в царствование императора Николая I // РС. № 10. С. 172–173.
106 *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 417.
107 [*Стасов В.В.*] Цензура в царствование императора Николая I // РС. № 10. С. 174.
108 Там же // РС. 1904. № 1. С. 221.
109 *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 451.
110 *Соловьев С.М.* Указ. соч. С. 332.
111 См.: *Семевский В.И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Т. II.Крестьянский вопрос в царствование императора Николая. СПб., 1888. Гл. I– II; *Мироненко С.В.* Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. С. 100–190.
112 *Мироненко С.В.* Бессилие власти // Родина. 1993. № 1. С. 157.
113 Воспоминания Н.В. Шелгунова // *Шелгунов Н.В., Шелгунова Л.П., Михайлов Л.М.* Воспоминания. Т. 1. М., 1967. С. 72.
114 *Тимашев А.Е.* Из истории раскрепощения помещичьих крестьян // РА. 1887. Кн. 2. № 6. С. 262.
115 *Пущин И.И.* Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 252.
116 *Кизеветтр А.* Девятнадцатый век в истории России. Ростов-на-Дону. 1905. С. 23.
117 Сб. РИО. 1891. Т. 74. С. XVI.
118 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 279.
119 Там же.
120 Там же.
121 Там же.
122 Там же. С. 280.
123 *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы. 1848–1896. М., 1991. С. 117–118.
124 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 31.
125 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 280.
126 *Сафонов С.В.* Разговор с императором Николаем Павловичем 28 сентября 1846 года // Архив князя Воронцова. Кн. 38. М., 1892. С. 407.
127 ВЕ. 1877. Т. V. С. 313.
128 Записка об освобождении крестьян в России // РС. 1886. Т. 49. С. 160.
129 Цит. по: *Корнилов А.А.* Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 150.
130 *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. VIII. М., 1958. С. 26.
131 Сб. РИО. Т. 98. С. 119.

132 Там же. С. 109.
133 Там же. С. 108.
134 Там же. С. 117.
135 *Вешняков В.И.* Крестьяне-собственники в России. Историко-статистический очерк. СПб., 1858. С. 59, 79–80.
136 ГАРФ. Ф. 109, IV эксп. Оп.188, 1848 г. Д. 123.
137 ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 228. Л. 37.
138 См.: *Боровой С.Я.* Кредит и банки России. М., 1958. С. 197.
139 Подробнее см.: *Рахматуллин М.А.* Законодательная практика царского самодержавия: Указ от 8 ноября 1847 года и попытки его применения // ИССР. 1982. № 2. С. 35–52.
140 *Семевский В.И.* Указ. соч. Т. 2. С. 17.
141 *Крутиков В.И.* Законодательство о помещичьих крестьянах дореформенного времени (1801–1861 гг.) // Социально-экономические проблемы российской деревни в феодально-крепостническую эпоху. Ростов-на-Дону. 1980. С. 113.
142 *Алексеев А.В.* Секретные комитеты при Николае I // Великая реформа (19 февраля 1861–1911). Т. 2: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. М., 1911. С. 208.
143 Сон юности. Воспоминания вел. княжны Ольги Николаевны. 1825–1846 // Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 286.
144 Сб. РИО. Т. 98. С. 114–115.
145 Там же. С. 116.
146 Там же. С. 117.
147 Там же. С. 122.
148 Там же. С. 117.
149 Цит. по.: *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Граф П.Д. Киселев и его время. Т. II. СПб., 1882. С. 2.
150 *Мироненко С.В.* Страницы тайной истории самодержавия (политическая история России первой половины XIX столетия). М., 1990. С. 187.
151 *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 5. М., 1956. С. 191.
152 *Семевский В.И.* Указ. соч. Т. II. С. 17.
153 *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Указ. соч. С. 208.
154 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 347.
155 Из писем А.О. Смирновой (Россет) // РА. 1897. № 8. С. 622.
156 *Тимашев А.Е.* К истории раскрепощения помещичьих крестьян // РА. 1887. Кн. 2. № 6. С. 262.
157 *Мироненко С.В.* Страницы тайной истории самодержавия. С. 112.
158 *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 7. С. 26–27.
159 РГИА. Ф. 1167 (Комитет 6 декабря 1826 г.). Оп. XVI, 1827 г. Д. 105. Л. 8–9.
160 Крестьянское движение в России в 1826–1849 гг. Сб. док. М., 1961. С. 343–345.
161 Крестьянское движение. 1827–1869. М., 1931. С. 9.
162 Там же. С. 16.
163 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817, ч. 5. Л. 40.
164 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 172.
165 Там же.
166 Митрополит Платон Киевский об императоре Николае Павловиче // РА. 1893. Кн. 1. № 4. С. 439.
167 *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. XI. М., 1956. С. 45.
168 Записки графа М.Д. Бутурлина // РА. 1898. Кн. 1. № 1. С. 157.

169 РС. 1883. Т. 38. № 9. С. 595; *Семевский В.И.* Указ. соч. Т. 2. С. 189.
170 Сон юности. С. 208.
171 *Пугачев В.В.* Кто победил 14 декабря? // *Оксман Ю.Г., Пугачев В.В.* Пушкин, декабристы и Чаадаев. Саратов, 1999. С. 213.
172 Сон юности. С. 286.
173 Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1899. Т. 99. № 10. С. 52.
174 *Эйдельман Н.Я.* Герцен против самодержавия. М., 1984. С. 10.
175 *Семевский В.И.* Указ. соч. С. 534–535.
176 Там же. С. 535.
177 Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 6. Законодательство первой половины XIX века. М., 1988. С. 63.
178 См.: *Сперанский М.М.* Обозрение исторических сведений о Своде законов. СПб., 1887. С. 19.
179 *Кассо Л.А.* К истории Свода законов гражданских // ЖМЮ. 1904. № 3. С. 83–107.
180 Декабристы. Сборник отрывков из источников. М.;Л., 1926. С. 2–3.
181 *Корф М.А.* Жизнь графа Сперанского. Т. 2. С. 300.
182 *Муханов В.А.* Из дневных записок // РА. 1897. Кн. 1. № 1. С. 90.
183 *Корф М.А.* Жизнь графа Сперанского. Т. 2. С. 306. О «проказах» Сперанского см. одну из последних публикаций: *Тютюкин С.В.* Интеллект, побежденный властью: Александр I и М.М. Сперанский // ОИ. 2005. № 4. С. 29–38.
184 См., напр.: *Сидорчук М.В.* Систематизация законодательства в России 1826–1832 гг. Автореферат. Л., 1983. С. 13.
185 *Корф М.А.* Жизнь графа Сперанского.Т. 2. С. 307–308.
186 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 266–267.
187 Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1840. Т. 98. № 6. С. 534.
188 *Селиванов И.В.* Записки дворянина-помещика, бывшего в должности преподавателя, судьи и председателя палаты // РС. 1882. Т. 33. № 3. С. 631.
189 См.: Российское законодательство X–XX веков.
190 Законодательные акты, изданные с 1825 до марта 1881 г., составили второе ПСЗ, а с марта 1881г. – третье ПСЗ.
191 Краткое обозрение хода работ и предположений по составлению нового кодекса законов о наказаниях. СПб., 1846. С. 45.
192 Подробнее об этом см.: *Филипов А.Н.* История русского права. Юрьев, 1912. С. 573; *Киняпина Н.С.* Внешняя политика России первой половины XIX века. М., 1963. С. 11; *Федоров В.А.* М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997. С. 231–232.
193 *Алданов М.* Сперанский и декабристы // Мы дышали свободой… Историки Русского Зарубежья о декабристах. М., 2001. С. 116.
194 Там же. С. 124.
195 *Гагерн Ф.Б.* Дневник путешествия по России // РС. 1886. Т. 51. № 7. С. 47.
196 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 378.
197 *Докудовский В.А.* Мои воспоминания // ТРУАК. 1892. Т. 13. Вып. 3. С. 312.
198 *Листовский И.С.* Рассказы из недавней старины // РА. 1879. Кн. 3. № 10. С. 262.
199 *Герцен А.И.* Соч.: В 9 т. Т. 4. М., 1956. С. 237.
200 *Филипсон Г.И.* Воспоминания // РА. 1884. Кн. 1. № 2. С. 379.
201 ПСЗ. Собр. 2-е. Т. XII. Отд. 1. № 10303, параграфы 83, 103; «Свод законов…» СПб., 1857. Т. 2. Ч. 1. Ст. 440, 457.
202 *Филипсон Г.И.* Воспоминания. С. 347.

203 Там же. С. 348.
204 *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 4. С. 192.
205 Там же. С. 192–193. Герцен слегка неточно цитирует слова Селифана из «Мертвых душ». Ср.: *Гоголь Н.В.* Соч. В 6 т. Т. 5. М., 1953. С. 44.
206 *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 4. С. 193.
207 Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 113. № 9. С. 810.
208 Воспоминания Константина Карловича Жерве // ИВ. 1898. Т. 73. № 8. С. 421.
209 Там же.
210 Там же. С. 422.
211 Там же. С. 422, 423.
212 Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1899. Т. 99. № 9. С. 504.
213 Сон юности... С. 257.
214 См.: *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 490.
215 Из памятных записок Н.М. Смирнова // РА. 1882. Кн. 1. № 2. С. 241.
216 *Шиман В.М.* Император Николай Павлович (Из записок и воспоминаний современника) // РА. 1902. Кн. 1. № 3. С. 466.
217 *Фишер К.И.* Записки сенатора // ИВ. 1908. Т. 112. № 5. С. 454.
218 Там же. С. 446.
219 *Фицтум фон Экштедт К.-Ф.* В виду Крымской войны... С. 379.
220 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 490.
221 Воспоминания Валериана Александровича Панаева // РС. 1901. Т. 7. № 7. С. 36.
222 Историческое обозрение путей сообщения и публичных зданий с 1825 по 1850 год // Сб. РИО. Т. 98. С. 564.
223 Там же.
224 Там же. С. 565.
225 *Муханов В.А.* Из дневных записок // РА. 1897. Кн. 2. № 5. С. 92.
226 Там же. С. 91.
227 *Эвальд А.В.* Рассказы об императоре Николае I // ИВ. 1896. Т. 65. № 7. С. 63.
228 *Муханов В.А.* Из дневных записок // РА. 1897. Кн. 1. № 31. С. 90–91.
229 Записки барона М.А. Корфа // РС. 1800. Т. 103. № 7. С. 42. Несколько отличающуюся версию случившегося см.: Воспоминания В.А. Панаева // РС. 1901. Т. ,№ 7. С. 58–59.
230 *Бутковская А.Я.* Рассказы бабушки // ИВ. 1884. Т. 18. № 12. С. 623.
231 Письмо к графу П.А. Клейнмихелю от 22 августа 1851 г. из Москвы // РА. 1895. № 4. С. 464.
232 *Соколова А.И.* Встречи и знакомства // ИВ. 1911. Т. 123. № 2. С. 569.
233 *Муханов В.А.* Из дневных записок // РА. 1897. Кн. 2. № 5. С. 92.
234 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 166.
235 *Фишер К.И.* Записки сенатора // ИВ. 1908. Т. 112. № 5. С. 433.
236 Записка графа Киселева о государе Николае Павловиче // Сон юности... М., 2000. С. 525–526.
237 *Фишер К.И.* Записки сенатора // ИВ. 1908. Т. 113. № 9. С. 817.
238 Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1840. Т. 99. № 8. С. 283.
239 Там же. С. 291.
240 *Шиман В.М.* Император Николай Павлович. (Из записок и воспоминаний современника) // РА. 1902. Кн. 1. № 3. С. 469.
241 *Фишер К.И.* Записки сенатора // РС. Т. 112. № 6. С. 830.
242 Записки барона М.А. Корфа // РС. 1900. Т. 102. № 6. С. 507.

[243] *Фишер К.И.* Записки сенатора // ИВ. 1908. Т. 112. № 5. С. 432.
[244] Там же. Т. 113. № 9. С. 795.
[245] *Филипсон Г.И.* Воспоминания // РА. 1884. Кн. 2. № 3. С. 115–116.
[246] Там же. С. 116.
[247] Там же.
[248] *Рыбников И.Н.* Император Николай и московское купечество на обеде в Зимнем дворце 13-го мая 1833 года // РА. 1891. Кн. 3. № 12. С. 565–567.
[249] Там же. С. 568.
[250] Там же. С. 569.
[251] Из дневника барона М.А. Корфа // РС. 1904. Т. 117. № 1. С. 95–96.
[252] Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1899. Т. 100. № 10. С. 35
[253] Там же. С. 35–37.
[254] *Филипсон К.И.* Указ. соч. // РА. 1883. Кн. 3. № 5. С. 149.
[255] Там же. С. 150
[256] ИВ. 1903. Т. 91. № 2. С. 467–468.
[257] *Филипсон Г.И.* Воспоминание (№200). С. 242.
[258] Там же. С. 369.

Глава III

Жрец самодержавия

Никакого всезнайства и противодействия

Николай I с памятных для него событий 14 декабря 1825 г. настолько убежден в своем восхождении на престол благодаря Божьему промыслу, что и в 1848 г., когда зашатались троны в европейских странах, твердо заявляет: «Не сам я взял то место, на котором сижу, его дал мне Бог, оно *не лучше галер*, но я защищал бы его до последней степени»[1]. Однако для защиты трона нужен надежный инструмент! Он его находит во властных структурах государства, которое по определению должно быть всесильным! Именно государство должно выражать приведенные к общему знаменателю многообразные интересы общества. Эта задача, считает император, во имя достижения «общего блага» вполне осуществима – необходим лишь мощный централизованный аппарат управления. Отсюда то исключительное положение в системе органов государственной власти, которая занимала личная канцелярия монарха с пятью ее самостоятельными отделениями, которые, отмечают историки, со временем «подмяли под себя и подменили собой всю исполнительную структуру власти в стране»[2]. Причем неусыпный и жесткий контроль за их деятельностью осуществлял сам император – избранник Бога, пытаясь «свести государственную власть к личному самодержавию “отца-командира”, на

манер военного командования, окрашенного, в духе всего быта эпохи, патриархально-владельческим, крепостническим пониманием всех отношений властвования и управления»[3].

Суть отношений общества в целом и отдельных его индивидов с самодержавием наилучшим, пожалуй, образом определяет резолюция императора на одной из записок А.С. Меншикова, содержавшей элементы некоторого сомнения во всесилии государя, как верховного правителя страны: «Сомневаюсь, чтобы кто-либо из моих подданных осмелился действовать не в указанном мною направлении, коль скоро ему предписана моя точная воля»[4]. Офицер военно-инженерной службы, по характеру своих занятий постоянно соприкасавшийся с Николаем Павловичем, уверенно пишет о том, что он «ни к чему так строго и беспощадно не относился <…> как ко всякому проявлению неповиновения или вообще протеста против какой бы то ни было власти <…> он становился суровым и беспощадным при малейшем проявлении того, что в те времена называлось либеральным духом. Суровую военную дисциплину, с ее безмолвным повиновением и безропотным подчинением младшего старшему, он неукоснительно проводил и во весь строй гражданской жизни, и в этой строгой и общей субординации видел главнейший залог благосостояния и могущества империи»[5].

Слова, адресованные А.С. Меншикову, приведенное свидетельство военного человека, как нельзя более точно отражают общую тенденцию к военизации государственного аппарата, начиная с самого верха – Комитета министров. Так, в самом начале 40-х годов, из 13 министров только трое имели гражданские чины, да и их Николай терпел лишь потому, что, как полагают современники, не находил им равноценной замены из числа военных[6]. Военизация системы управления прямо коснулась и органов власти на местах: в конце царствования Николая из 53 губерний 41 возглавляли также военные чины. Показательно и то, что ни у одного из прежних императоров не было такого количества флигель-адъютантов, свиты генерал-майоров и генерал-адъютантов, как у него. К разряду знаковых деталей придворной жизни относится и введенная в царствование Николая I практика, когда любой, носивший на плечах эполеты, мог являться на царские выходы во дворец без предварительного приглашения или разрешения. В глазах столичного общества это было большой привилегией, вызывавшей зависть у всех прочих честолюбцев из прочих сословий. Императора это ничуть не смущало, более того, он открыто делил людей на «своих» и «не своих», относя к первым только тех, кто имел офицерский чин. Барон М.А. Корф приводит в этой связи показательный случай, когда на одном из придворных балов, где оказалось больше штатских, чем военных, Николай I с явным неудовольствием обратился к окружавшей его свите из одних военных: «Что тут так мало наших?»[7] Императору по душе люди военные по той простой причине, что они привыкли к жесткой субординации и для них страшнее всего даже ненароком нарушить армейскую дисциплину. «По воцарении Николая, – пишет С.М. Соловь-

ев, – военный человек, как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался самым лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он какие-нибудь способности, знания, опытность в делах – на это не обращалось никакого внимания. Фрунтовики воссели на всех правительственных местах, и с ними воцарилось невежество, произвол, грабительство, всевозможные беспорядки»[8].

Интересам милитаризации управления отвечало и масштабное расширение в царствование Николая I как начального, так и высшего военного образования: при нем открыто *одиннадцать* новых кадетских корпусов – закрытых учебных заведений для детей дворян. В 30-е годы были созданы и особые кантонистские школы, готовившие унтер-офицеров для различных родов войск. В 1832 г. в столице открыта Аудиторская школа для подготовки военных юристов (позже преобразована в Военно-юридическое училище). В 1844 г. в Кронштадте учреждено Морское инженерное училище, готовившее специалистов для морского ведомства, а в 1852 г. в Николаеве начало действовать Училище флотских юнкеров. Основанная в 1832 г. Военная академия в 1855 г. была преобразована в Академию Генерального штаба, а офицерские классы Михайловского артиллерийского и Николаевского инженерного училищ реорганизованы в Артиллерийскую и Инженерную академии. Николай I предпринимает максимум возможного для повышения престижа военного образования. С другой стороны, все это делалось из убеждения, что образцом идеально устроенного общества является строго дисциплинированная армия. «Здесь порядок, строгая безусловная законность (царь имеет в виду четкие параграфы воинского устава. – *М.Р.*), никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого», – восторгался император, глядя на отлично вымуштрованные части прусской армии (заметим, что под «всезнайством» он разумел самостоятельность мысли или действий). И добавлял свое, сокровенное: «Я смотрю на человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит»[9]. Отсюда беспримерное увлечение властителя огромной империи внешней, показной стороной жизни, когда «смотр стал целью общественной и государственной жизни. Вся Россия 30 лет была на смотру у державного фельдфебеля. Все делалось на показ, для того, чтоб державный приехал, взглянул и сказал: “Хорошо! Всё в порядке!”»[10]. Отсюда неослабевающее внимание царя к определению покроя и цвета мундиров, форм и красочности киверов и касок, размеров эполет и аксельбантов, количества пуговиц и крючков и пр. Во время едва ли не ежедневных докладов П.А. Клейнмихеля (он в 1837–1855 гг. – председатель Особого комитета по составлению описания одежды и вооружения российской армии), приносившего с собой образцы сукон для выпушек, пуговиц и тому подобных предметов, они с истинным наслаждением часами обсуждают все эти премудрости. Его ближайший сподручный приводил с собой и бравых солдатиков, на которых они тут же примеряли новые детали обмундирования и снаряжения. Подоб-

ным забавам (иначе их не назвать) несть числа. Так, например, самим самодержцем определялись масти лошадей для кавалерийских частей (в каждой из них желательны лошади только одной масти). Впрочем, «по симметрии» подбирались не только лошади. Для достижения «однообразия и красоты фронта» Николай I лично распределял солдат по полкам: в Преображенский – с «лицами солидными, чисто русского типа», в Семеновский – «красивых», в Измайловский – «смуглых», в Павловский – «курносых» (не потому, что Павел I был курнос, а потому, что они более других подходили к «павловской шапке» круглой формы), в Литовский – отчего-то одних «рябых»[11]. Для того чтобы его подчиненные что-либо не напутали, Николай Павлович сам писал мелом на груди только что прибывших рекрутов номера тех полков, куда именно они направлялись[12].

Страсть к единообразию, к симметрии у императора в крови. Еще будучи великим князем, Николай Павлович в сентябре 1816 г. пишет командиру Северского драгунского полка (он – шеф этого полка) С.Р. Лепарскому (тому самому, что во время ссыльной жизни декабристов был добрым комендантом Нерчинских рудников и Петровского завода): «Честь имею вам объявить, что ремонтёры л.-гв. Гусарского полка приведут к вам 16 или 18 лошадей, мной выбранных для полка, опись коим получите у Михаила Павловича. Есть гнедые и вороные; под вахмистра гнедая мне очень нравится, хоть и немного слаба задом; вороные – добрые лошади. Оставьте мой эскадрон гнедым, как прежде, но предлагаю вам перевести рыжий пятый ко мне в первый дивизион; тогда старайтесь сделать третий и четвертый серыми, а третий дивизион весь на темных. Трубачей посадите на пегих лошадей»[13]. Его указания, видимо, еще только выполнялись, а он в мае 1817 г. ставит перед командиром полка новые задачи: «Теперь прошу заняться посадкой людей, выездкой лошадей <…> Наиболее наблюдать за тишиной и равенством во фронте, за правильностью аллюров <…> чтоб рысь и галоп были правильны и чтоб офицеры всегда соблюдали сами тот же аллюр, как и эскадрон; чтоб тишина и равнение были совершенны <…> Если б можно было, не расстроя полк, сделать так, чтоб все вторые эскадроны были серые, то весьма бы хорошо было, а между тем могли б вы сделать третий серым, четвертый темный, пятый серым…». Лепарский еще толком и не разобрался, какой же эскадрон посадить на серых – то ли второй, то ли третий, а может быть и пятый, юный «полководец» обрадовал его новой вестью: «Присылаю вам прекрасную коллекцию маршей на трубах»[14]. Вскоре Лепарский известил своего шефа, что «трубачи уже все на пегих, а третий эскадрон почти весь на серых лошадях». И вот когда (наконец-то!) «все блистало красотою и выправкою: люди, лошади, обмундировка, сбруя, все казалось вылитым по одному образцу», когда подобраны радующие душу обязательно бравурные «марши на трубах», Николай Павлович, по его собственному признанию, «вполне наслаждался»[15]. Поэтому не должен удивлять тот факт, что при нем так называемые *шагистика* и *ружистика* были доведены до такого искусства, до

такого совершенства, что позавидовали бы, злословили современники, и сам Павел I вместе с Аракчеевым[16].

Погруженный в такие несуразные мелочи, император и в своих министрах хотел видеть не государственных деятелей, а безгласных слуг, выступающих в роли портных, маляров (например, с военным министром А.И. Чернышевым царь решает, в какой цвет красить солдатские койки), курьеров или в лучшем случае секретарей. По-другому вряд ли и могло быть, ибо в сознании «всероссийского корпусного командира» сложилось стойкое представление, что разумная идея может исходить только от него, а все прочие должны повиноваться его воле. Николай Павлович не мог понять, что движение жизни должно идти не только по указаниям сверху, но и поддерживаться инициативой снизу. Отсюда неуемное стремление все и вся регламентировать, предписать для немедленного исполнения. Это, в свою очередь, определило его стремление окружать себя послушными и безынициативными исполнителями.

Вот лишь один из многочисленных примеров в подтверждение сказанного. При посещении одного из военных училищ ему с понятной гордостью был представлен воспитанник с неординарными задатками, способный на основе анализа разнородных фактов с высокой точностью прогнозировать последующее развитие событий. По нормальной логике император должен был радоваться тому, что есть такой даровитый слуга Отечества. Но нет, он твердо произносит обратное: «Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим; мне нужны вот такие!» и указывает на «дюжего малого, огромный кус мяса, без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам»[17]. Возразят, что это, возможно, единичный случай и сказано было сгоряча. Но вот другой пример из жизни: опекун Гатчинского воспитательного дома граф С.С. Ланской заступился перед Николаем I за незначительно провинившихся воспитанников с тем аргументом, что они – «лучшие ученики». Но государь как отрубил: «Мне не нужно ученых голов, мне нужно верноподданных»[18]. Возразить нечего, да и боязно. С другой стороны, на то и царь, чтобы быть недовольным по своему хотению или по той же причине жаловать за любой понравившийся пустячок. Так, во время инспекции другого военного учебного заведения при входе в лазарет он был приветствуем необыкновенно зычным «Здравия желаю в.и.в.!» «Молодец!» – порадовался император, а узнав, что обладатель такого чудного голоса – не имеющий чинов простой подлекарь, тут же распорядился представить его в коллежские регистраторы[19]. Причем государь и не подозревал, что люди могут играть на его слабостях, подделываясь под тот типаж, который нравился ему. Сенатор К.И. Фишер в своих записках приводит прелестный пример тому. Некий Иванов из матросов, «плут с тонкостью русского мужика», прикрывающий «свое лукавство поддельным простодушием», по мере повышения в чинах усвоил, что ему невозможно на равных состязаться с представителями белой кости, а потому нарочито «усилил грубость своих манер и под маской неотесанного чистосердечия проводил самые тонкие расчеты».

Так, в дни восхождения на престол Николая I, Иванов, как пишет мемуарист, человек «замечательной наружности по топорной оболванке своего огромного лица», командовал ластовой ротой и в день приезда молодого государя на Охтенскую судоверфь он, вместо подачи письменного рапорта, как того требовал устав, ограничился устным докладом. Дальше последовал такой диалог между удивленным императором и ротным командиром: «Отчего не подаешь рапорта? – Оттого, что писать не умею, В.В. – Отчего же не умеешь писать? – Оттого, что не учили; матросом – сколько хочешь, а грамоты не знаю». Откровенность и сам «сфинксовый тип, выражавший силу и прямизну», пишет Фишер, так государю понравились, что в следующий свой визит на верфь он поставил его за руль своего катера и Иванов с нарочитым усердием стал раскланиваться с камер-фурьером (придворный чин VI класса, смотритель за прислугой), плывшим на другом катере с прислугой. По словам мемуариста, «наивность» Иванова так забавляла государя, что он спросил его: «Разве ты его знаешь?» – «Как не знать, я был гребцом, а он рехткметом*, оба равные были; я выслужил 25 лет матросом, да вот скоро 25 лет офицером, да все еще капитан, а он блюда лизал, да, ишь, – Ваше высокоблагородие!» Государь, пишет Фишер, от души расхохотался, и вскоре Иванов был произведен в майоры[20].

То, что император Николай I был, так сказать, самодостаточен в принятии решений, подтверждается наблюдениями представителя Баварского королевства в Петербурге Оттон де-Брэ, внимательно вникавшего в детали жизни царского двора. По его уверению, все высшие сановники, в том числе и занимавшие важные государственные должности, были лишь «исполнителями» воли Николая I, от которых он был готов принимать советы лишь «*тогда, когда он их спрашивал*». Иностранный дипломат настолько поражен этим фактом, что с удивлением записывает: «Быть приближенным к такому монарху равносильно необходимости отказаться, до известной степени, от своей собственной личности, от своего я <…> *Сообразно с этим в высших сановниках* <…> *можно наблюдать только различные степени проявления покорности и услужливости*»[21]. И он далеко не одинок в подобном суждении. «В России нет больших людей, потому что нет независимых характеров», – заключал путешествовавший по стране в 1839 г. французский подданный маркиз Астольф де Кюстин[22]. Но отмечаемые иностранцами «*проявления покорности*» полностью отвечали убеждению Николая Павловича, которым он во всем неизменно руководствовался: «Там, где более не повелевают, а позволяют рассуждать вместо повиновения – там дисциплины более не существует»[23]. Подобный взгляд вытекал из, видимо, хорошо усвоенного Николаем Павловичем карамзинского тезиса: министры, по-

---

* *Рехткмет* – член команды гребцов, отвечающий за то, чтобы их весла работали в одной плоскости. Первая половина слова происходит от глагола «рехтовать» (выравнивать). У нынешних гребцов-спортсменов – «загребной». – *Прим. В.К. Шахтазовой.*

скольку они нужны, «долженствуют быть единственно секретарями государя по разным делам». Здесь особенно рельефно проявлялась осуждаемая еще Александром I (в бытность его либералом) сторона самодержавия – царские повеления следуют «более по случаям, нежели по общим государственным соображениям» и, как правило, не имеют «ни связи между собой, ни единства в намерениях, ни постоянства в действиях»[24]. Однако, несмотря ни на что, Николай I считал управление по личной воле долгом и прямой обязанностью самодержца. И не имело значения, были ли то дела государственного уровня или сугубо частного характера. В любом случае решения по ним зависели от усмотрения, точнее, – от настроения государя, который иногда мог руководствоваться буквой закона, но чаще – своим личным мнением, исходя из убеждения, что «лучшая теория права есть добрая нравственность». Однако на публике монарх усердно декларировал свою приверженность законам, законности. Когда, например, при личном обращении к государю просители обоснованно и убежденно говорили, что «довольно одного вашего слова и это дело решится в мою пользу», Николай обычно отвечал: «Это правда, что одно мое слово может все сделать. Но есть такие дела, которых я не хочу решать по своему произволу, а по закону»[25]. На деле же решение любого дела, за редкими-редкими исключениями, он оставлял за собой, вникая в мельчайшие подробности повседневного управления. В 1843 г. он жалуется управляющему делами Комитета министров, что «я с 1826 года не запомню ни одного, где бы так доставалось бедным моим глазам, как нынче; пропасть дел и в Совете, и в Комитете, и в разных временных комитетах, и прямо из самих министерств <…> [которые] необходимо приходилось все рассматривать и поправлять самому непосредственно»[26]. По мнению же государственного секретаря, через которого проходили все поступавшие на высочайшее имя дела, зная склонность императора непременно во все вникать лично, его «обременяли бесчисленным множеством мелочей», половину которых без всякого вреда делу можно было отсечь. Но Николай, не доверяя никому решение и самого пустяяного дела, не мог этого допустить.

«Я иду прямо своим путем…»

Такая загруженность императора чтением массы бумаг, многие из которых, как уже было сказано, вовсе не требовали царского внимания, породили среди современников стойкое представление, что государь много и самозабвенно занимался «*государственными делами*». Вот и не обделенная умом и наблюдательностью А.Ф. Тютчева, как фрейлина двора имевшая возможность воочию видеть жизнь и распорядок дня царя, пишет, что Николай Павлович «проводил за работой восемнадцать часов в сутки <…> трудился до поздней ночи, вставал на заре <…> ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга и принимал на себя больше труда и забот, чем последний поденщик из его

подданных. Он чистосердечно и искренне верил, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению, все преобразовать своею волею». Царь элементарно не понимал физическую невозможность этого, и в результате он, продолжает Тютчева, «лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели права на них указывать, ни возможности с ними бороться»[27]. Государь же, видя, что его повеления нередко тотчас или вообще не исполняются, что его обманывают, ему лицемерят, прибегают к пустым декларациям, стал брать на себя роль полицейскую, которая, как свидетельствуют современники, часто оканчивалась публичным fiasco, потому что от него ускользали или намеренно скрывали подробности[28]. Дело порой доходило до смешного. Так, проезжая однажды по Невскому проспекту, он увидел, что вопреки строжайшему запрету в близлежащий кабак вошли два солдата. Император тотчас выпрыгнул из саней, вбежал вслед за ними в помещение кабака и стал самолично отыскивать нарушителей порядка. Но не нашел: кабатчик, успевший их укрыть в комнате за неприметной дверью, заявил, что никого не видел. Оказалось, что одурачить монарха было легко и просто. В другой раз, из желания разом покончить с воровством чиновников, Николай Павлович стал один за другим лично просматривать их формуляры, и когда находил в них записи о приобретенных не соответствующих жалованью имениях, велел выяснять – на какие такие средства? Ответы были разные, в том числе и с откровенной издевкой: «Имение приобретено женою на подарки, полученные ею в молодости от графа Бенкендорфа»[29] (государю более чем кому-либо другому хорошо известно о женолюбии своего друга).

Имея в виду подобные безуспешные действия императора, о которых все наслышаны, путешествующие по России иностранцы с долей сочувствия отмечали: «Император русский, вмешиваясь в мелочи, часто компрометируется, но надобно войти в его положение: он приведен к убеждению, что во всей империи он – единственный честный человек», а потому поневоле «сделался полицейским»[30]. И чем меньше результатов приносили его усилия, тем более он раздражался, и это прежде всего сказывалось на людях из его ближайшего окружения. До мозга костей преданный императору министр двора П.М. Волконский (двадцатью годам старше его), как всеми считалось, любимец царя, при всех грубо обруган за то, что повар во время прогулочного плавания на пароходе слишком мало (украл продукты?) приготовил еды для завтрака. Не менее преданному главному управляющему путями сообщений П.А. Клейнмихелю царь мог до крови щипать руки, если на дорожных станциях плохо открывались оконные задвижки[31]. Что же касается тех, кто был рангом много ниже министров, то за действительное или мнимое упущение царь мог мастерски обложить их и «трехэтажным непечатным словцом». Приведем только один наиболее выразительный при-

мер тому: во время очередных артиллерийских стрельб Николай Павлович, как обычно, самолично дал команду произвести залп из всех орудий. Разумеется, на маневрах стреляли холостыми зарядами, но на этот раз одно из орудий оказалось заряженным боевым зарядом. В результате после произведенного выстрела снаряд, шипя, пронесся над самыми головами царя и его свиты. Естественно, император Николай Павлович, как и все простые смертные, инстинктивно пригнул голову и это его рассердило. Вне себя от гнева он своим «громовым голосом» подозвал командира батареи и, не снижая голоса, выругал его нецензурными словами. Ошалевший от страха батарейный командир совершенно невпопад брякнул: «Почту за особенное счастие, в.и.в.!» Тут уж от смеха не смогли удержаться ни сам Николай, ни его свита, а батарейный тем временем упал в глубокий обморок[32].

Один из мемуаристов, сам в прошлом военный человек, пишет о том, что император Николай в гневе «решительно не стеснялся никакими выражениями» и слова «старый дурак», «глупая лысая голова» и прочие, обращенные к провинившимся, на его взгляд, в чем-либо старым заслуженным генералам, были «самыми мягкими». Разгневанный каким-либо зряшным поводом государь, свидетельствуют очевидцы, не стеснялся никакими выражениями, в том числе и непечатными, обычно «кричал долго и много, все время жестикулируя и беспрестанно грозя пальцем» и зло приговаривая: «Я отправлю тебя туда, где солнце никогда не всходит»[33]. Не зря, не зря современники отмечали, что «в жилах Николая Павловича течет много крови его родителя и мгновения беспричинного бешенства затмевают его рассудок»[34].

Министры и другие высшие должностные лица нередко сами попадавшие в такие ситуации или являвшиеся очевидцами подобного «наведения порядка», старались впредь либо всячески угождать государю либо по-лакейски легко и со злорадством обманывать государя. Но и император, со своей стороны, видимо, знал им истинную цену. В противном случае он не стал за глаза называть своего наиболее приближенного военного министра А.И. Чернышева «скотиной». Не менее «лестных» эпитетов удостаивались и другие министры, среди которых, оказывается, сетовал Николай Павлович в откровенном разговоре с известным в свете острословом А.С. Меншиковым, не было ни одного «с кем можно было бы посоветоваться».

Понимал ли свое двусмысленное положение сам Николай? Пожалуй, да, понимал. Но не мог перебороть себя из своеобразно понимаемого им чувства долга. В одном из его писем содержится примечательное признание: «Странная моя судьба. Мне говорят, что я – один из самых могущественных государей в мире, и надо бы сказать, что все, что позволительно, должно бы быть для меня возможным, что я, стало быть, мог бы по усмотрению быть там и делать то, что мне хочется. На деле, однако, именно для меня справедливо обратное. А если меня спросят о причине этой аномалии, есть только один ответ: долг! Да, это не пустое слово для того, кто с юности приучен понимать его так, как я. Это сло-

во имеет священный смысл, перед которым отступает всякое личное побуждение, все должно умолкнуть перед этим одним чувством и уступать ему, пока не исчезнешь в могиле. Таков мой лозунг. Он жесткий, признаюсь, мне под ним мучительнее, чем могу выразить, но я создан, чтобы мучиться»[35]. В другом письме к матери он, определяя мотивы своих действий, пишет: «Компасом для меня служит *моя совесть* <…> Я иду прямо своим путем – так, как я его понимаю; говорю открыто и хорошее и плохое, поскольку могу; в остальном же полагаюсь на Бога»[36].

Впрочем, последнее утверждение в нужных случаях подправлял: «*На Бога надейся, а сам не плошай*!»[37] Но «не плошать» мешало, как это ни покажется странным, не всегда адекватное представление Николая о непосредственно окружающих его людях. Как считал наследник престола вел. кн. Александр, «величайшим недостатком» отца являлось то, что он был «слишком доверчив» к ним, полагая, что «все, подобно ему, стремятся к общему благу, нисколько не подозревая, как обманывают его иногда своекорыстие и неблагодарность приближенных»[38]. О не вполне адекватном восприятии им действительности однажды обмолвился и сам Николай, когда на похвальные слова о честности, бескорыстии представленного к царской награде чиновника заметил: «Сначала я никак не мог вразумить себя, чтобы можно было хвалить кого-нибудь за честность, и меня всегда взрывало, когда ставили это кому в заслугу; но после пришлось поневоле свыкнуться с этой мыслью. Горько подумать, что у нас бывает еще противное, когда и я и все мы употребляем столько усилий, чтобы искоренить это зло!» М.А. Корф, к которому и было обращено это горькое признание, не стал углубляться в вечную для России тему «искоренения зла», а напротив, как истинный царедворец, откровенно польстил государю: «Теперь (в 1839 г. – *М.Р.*), хоть в высших, по крайней мере, степенях, все чисто, как ваши намерения». Государь охотно ему поверил, но с грустью добавил: «Но что́ еще делается внизу, что́ в середине! Там точно надо еще хвалить за бескорыстие»[39]. Неизвестно, как часто приходилось императору хвалить своих чиновников «за бескорыстие», но точно известно, что результаты «искоренения зла» к концу царствования Николая оказались противоположны его благим намерениям. В первые же месяцы Крымской войны, столкнувшись с фактами повсеместного беззастенчивого воровства и злоупотреблений, «всесильный» император, обращаясь к наследнику, вынужден признать: «Мне кажется, что во всей России только ты да я не воруем»[40]. И он отнюдь не преувеличивал.

«Россией управляет класс чиновников…»

Широко известно изречение Николая I, что «Россией управляют столоначальники». Что́ это конкретно означало в реальной жизни страны, точно раскрыл способный непредвзято со стороны взглянуть на происходящее иностранец – маркиз де Кюстин. Наблюдательный француз

оказался удивительно точен в своих оценках. «Россией управляет, – писал он, – класс чиновников <…> и управляет часто наперекор воле монарха <…> Из недр своих канцелярий эти невидимые деспоты, эти пигмеи-тираны безнаказанно угнетают страну. И, как это ни звучит парадоксально, самодержец всероссийский часто замечает, что он вовсе не так всесилен, как говорят, и с удивлением, в котором он боится сам себе признаться, видит, что власть его имеет предел. Этот предел положен ему бюрократией – силой, страшной повсюду, потому что злоупотребление ею именуется любовью к порядку, но особенно страшной в России. Когда видишь, как императорский абсолютизм подменяется бюрократической тиранией, содрогаешься за участь страны»[41]. Как представляется, ни один из отечественных мемуаристов не сумел (или не захотел) с такой четкостью уловить один из главных пороков николаевского режима – всесилие бюрократии, порожденной самим самодержавием. Более того, преданные престолу современники из недальнего окружения царя пытались оправдать всесилие бюрократии тем, что «властителей нельзя судить так, как частных людей». Если последние живут среди людей, видят мир своими глазами, то коронованные особы сродни тепличным растениям: для них готовят особую почву, создают особую обстановку и мир им видится как бы через призму в искаженном, хуже того – в радужном свете. Вокруг престола тоже сплошной маскарад, участники которого не выходят за раз и навсегда установленные правила игры и «у всех подобострастные улыбки на устах. Если же кто выпадает из этого стереотипного образа, то он уже чудак или непокорный. Потому все последующее развитие идет путем ненормальным»[42]. И отнюдь неслучайно именно в николаевские времена появляется и ходит по рукам саркастическое «Письмо опытного чиновника сороковых годов младшему собрату, поступающему на службу», в своей основе достаточно точно воспроизводящее реальность тех дней: «Милостивый государь, любезный друг! Узнавши, что вы вступили на службу государю и его сиятельству, я хотел бы, чтоб вы сделались не только способным и дельным чиновником, но заставили бы всех признавать вас за такового; я хотел бы, чтоб вы быстро пошли вперед и скоро сделались бы государственным человеком. Для того, чтоб достигнуть этой цели, я вменяю себе в обязанность, как опытный чиновник, изложить вам, как новичку, все правила, по которым вы постоянно должны действовать на служебном поприще. Вот они:

1. Начните с азбуки: заучите хорошенько выражения: ваше превосходительство и ваше сиятельство; с этих слов начинайте, этими словами кончайте фразу, когда вы обращаетесь к *милостивому* начальству.

2. Кланяйтесь начальству вашему тем ниже, чем выше стоит оно в порядке чиноначалия, и давайте подчиненным для пожатия тем меньшее количество пальцев правой руки, чем ниже стоят они в порядке подчиненности.

3. Не надейтесь столько на способности свои, сколько на протекцию. Несмотря на все ваши достоинства, старайтесь укрыться под кры-

лышко этой благодетельной волшебницы; если у вас есть протекция, – вы гений, вы на все способны, вы скоро пойдете вперед, но если у вас протекции нет: вы дурак набитый, вы ровно никуда не годитесь, вы решительно ничего не знаете, вы никогда не выиграете по службе.

4. Не думайте сделаться значительным лицом, служивши постоянно в одном месте; нет, старайтесь шнырять из одного места в другое, из канцелярии губернатора в Комитет министров, из Комитета в министерство; и оттуда в Сенат и верно скоро прыгнете в вице-директора».

В последующих полутора десятках пунктах наставления начинающему государственную службу чиновнику содержатся советы отвечать всем докучливым просителям «в самых неопределенных выражениях», говорить всем, что «вы завалены работой, между тем как другие ничего не делают», но при этом «не решать ни одного дела» и «от всех отписываться». В наставлении особый упор делается на том, чтобы чиновник «никогда не старался держать сторону истины, когда вооруженная против нее ложь сильнее и прикрыта законными формами», а «всегда, держал сторону сильного», не обращая «никогда *столько* внимания на существо дела, *сколько* на лица, в нем участвующие», «никогда не делал того. что нужно делать, а делал то, что желает высшее начальство». Для этого нужно, всего-навсего «отказаться от собственного взгляда на вещи» и «усвоить себе взгляд начальников ваших, не иметь мыслей своих, развивать только мысли начальников» Опытный чиновник предупреждает своего молодого коллегу, что если у того в голове возникнет «предположение, клонящееся к усовершенствованию закона, судопроизводства или судоустройства, к упрощению порядка и хода дел», то он не старался бы «привести мысли свои в исполнение», ибо наверняка «прослывет новатором, беспокойным и бестолковым человеком». Для собственного благополучия надо «сохранить эту мысль на случай, если вас спросят об этом. Развивая новую идею людям, закоренелым в пагубном рутинизме, грубом застое и захирении, вы только затрудните их, и потому мысли вашей не дадут хода, а после вам нечего будет отвечать на циркулярное предписание, и вы прослывете дураком» и т.д.[43].

Удивительно и показательно, что многие назидательные советы «опытного чиновника» не лишены актуальности и в наше время, а уж в годы николаевского правления это несколько гротескное изображение основ «правильного» поведения чиновников вполне отвечало реальной ситуации и, самое главное, – чиновники в массе своей на практике неукоснительно *руководствовались* ими.

Приведем здесь, пожалуй, классический пример торжества безнаказанности исполнительного звена бюрократии высшего уровня: обстоятельства отставки в декабре 1842 г. с поста петербургского военного генерал-губернатора Петра Кирилловича Эссена, благополучно просидевшего в этом кресле целых 12 лет и награжденного всеми высшими российскими орденами. Как пишет близко знавший губернатора М.А. Корф, его послужной список «представлял такие блестящие

страницы, что, перейди в потомство одни эти страницы, история должна была бы поставить Эссена в ряд самых примечательных людей его века. Изумительно блестящая карьера, важные назначения, самые щедрые милости, изливавшиеся на него во все продолжение его службы, – все это намекало на необыкновенные дарования и доблести, на испытанные опытом искусство и знание дела, даже почти на некоторую гениальность. А между тем мы, современники, которым вполне известна была степень его умственной высоты, искали и находили причину этой необыкновенной карьеры единственно в счастливом стечении обстоятельств и в своевольной игре фортуны, так часто отворачивающейся от людей истинно даровитых и дельных и осыпающей своими дарами ничтожность и пустоту <…> Эссен, в сущности, был самой злой карикатурой на письменный его формуляр»[44]. И этот человек по прихоти императора в феврале 1830 г. стал военным генерал-губернатором Петербурга, а в апреле того де года и членом Государственного совета. Для общества беда была не только в отсутствии у избранника императора личных достоинств, но и в том, что этот человек, «без знания, без энергии, почти без смысла, упрямый лишь по внушениям, состоял неограниченно в руках своего <…> правителя канцелярии Оводова, человека не без ума и не без образования, но холодного мошенника, у которого все было на откупу и которого дурная слава гремела по целому Петербургу. Эссен лично ничего не делал, не от недостатка усердия, а за совершенным неумением, даже не читал никаких бумаг, а если и читал, то ничего в них не понимал; Оводов же, избалованный долговременной безответственностью, давал движение только тому, что входило в его интересы и расчеты»[45]. Все это было «сокрыто от государя, который в отношении к внешнему порядку столицы входил сам во все», но не мог с таким же тщанием вникать в то, что происходило подспудно, вне поля его зрения[46]. И все закончилось бы благополучно для 70-летнего старца, кабы не резкая перемена ситуации с приходом в управление Министерством внутренних дел Л.А. Перовского, под давлением всеобщей молвы о невероятных беспорядках в подведомственных Эссену структурах управления устроившего строгую ревизию. Выявленная картина массовых служебных злоупотреблений, хищений, взяточничества, бездеятельности была «тем ужаснее, что действие происходило в столице, в центре управления, почти окно в окно с царским кабинетом и еще в энергическое правление Николая; и после взгляда на нее, конечно, уже трудно было согласиться с теми, которые находили явившиеся незадолго перед тем «Мертвые души» Гоголя одной лишь преувеличенной карикатурой»[47]. Открывшаяся картина злоупотреблений была такова, что даже ко всему равнодушные престарелые члены Государственного совета, как пишет М.А. Корф, «были вне себя».

Журнал заседания Государственного совета с подробным изложением выявленных безобразий был представлен царю, тому царю, который на протяжении 17 лет своего правления, как считалось, прилагал огромные усилия для искоренения злоупотреблений и мог надеяться на

утешительные результаты, но вместо этого «увидел себя перед зияющей бездной всевозможных мерзостей, бездной, открывающеюся не сегодня, не вчера, а образовавшеюся постепенно, через многие годы, неведомо ему, перед самым его дворцом». Негодующая резолюция императора на мемории Совета не заставила себя ждать: «Неслыханный срам! Беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не извинительна; мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под глазами моими и мне оставаться неизвестным»[48]. Царя пуще всего бесило последнее. Казалось, грозы не миновать никому, а уж Эссену тем более. Но опять только казалось.

Как же был наказан не оправдавший доверия государя чиновник высшего звена? Приказом Николая он уволен от должности военного генерал-губернатора, но оставлен членом Государственного совета. После кратковременной немилости (несколько раз кряду не приглашался к царскому столу на обед) был принят во дворце государем и утешен им традиционными в таких случаях словами: «Я ничего не имею против тебя лично, но ты был ужасно окружен». Слова об отсутствии личной вины Эссена подкреплены делом – ему пожалован императорский шифр на эполеты и оставлено прежнее денежное содержание (6000 руб. в год). Как бы оправдываясь за свою непоследовательность, Николай «говорил многим, что винит не Эссена, а себя, за то, что так долго мог его терпеть и оставлять на таком важном посту»[49]. Могло ли послужить «дело Эссена» предостерегающим уроком для других? Ответ очевиден.

Названный выше маркиз де Кюстин обратил свое внимание и на другой краеугольный элемент созданной Николаем I системы – отсутствие в «его» России свободы. «Все здесь есть, не хватает только свободы, то есть жизни», – сочувственно и одновременно осуждающе заключает маркиз[50]. И подобного мнения придерживался не один только путешествующий по России французский подданный. Но если это писалось при жизни Николая I человеком, уверенным в своей защищенности от царского гнева государственными границами, то обласканные царем высокопоставленные отечественные военные чины отважились на это только после смерти своего «хозяина»: «В его, около 30 лет царствование, Россия покрыта была мглою и дышать было тяжело». Развивая это свое заключение, мемуарист далее обращается к «Приказу российским войскам» от 19 февраля 1855 г., в котором приводились якобы последние слова Николая: «Благодарю сильную, верную Гвардию, спасшую Россию в 1825 году, равно храбрые и верные Армию и Флот; молю Бога, чтобы сохранил в них навсегда те же доблести, тот же дух, коими при мне отличались. Покуда дух сей сохранится, спокойствие государства и вне и внутри обеспечено, и горе врагам его! Я их любил как детей своих, старался, как мог, улучшить их состояние; ежели все не успел, то не от недостатка желания, но оттого, что им лучшего не мог придумать или не мог более делать». Этим словам Николая, будто бы произнесенным им на смертном одре, автор воспоминаний не очень-

то и верит, иронично отмечая в примечании: «Не будем рассуждать о предсмертных словах Николая, о любви его к России, о молении о ней, о желании сделать ее счастливою, о том, что он воинов любил, как своих детей, et cetera. Это – дело истории, но мы повторим: тяжело было дышать в его царствование и у всех уста были замкнуты»[51]. Действительно, о какой свободе можно говорить в стране, в которой «государственный строй – это строгая военная дисциплина вместо гражданского управления, это перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства», в стране, где все было «как в казарме или лагере», где «военная дисциплина подавляет все и всех»[52]. Наблюдательный иностранец замечает и ставшие привычными для россиян факторы, поддерживающие жизнеспособность автократического николаевского режима – из всего делать страшную государственную тайну, все сколько-нибудь важное, но неприятное для властей событие всячески замалчивать и вместо очистительной правды лгать и лгать. «Лгать здесь – значит охранять престол, говорить правду – значит потрясать основы», – заключает тот же де Кюстин[53].

К чему это привело, известно: система рухнула после проигранной Крымской кампании 1853–1856 гг. Война наглядно показала, насколько Россия отстала от передовых стран Западной Европы. Это проявилось буквально во всем: в «несовершенстве путей сообщения, слабом развитии техники и промышленности», в «самом устройстве военных сил». Это – слова будущего военного министра в правительстве Александра II, Дмитрия Алексеевича Милютина. Современники, приученные громкими фразами и сообщениями о блестящих смотрах и маневрах гордиться военным могуществом страны, были морально раздавлены тем, что «тысячи людей гибли напрасно из-за неумения, неспособности военачальников, из-за неудовлетворительной подготовки войск к войне, из-за плохого вооружения их, несовершенства материальной и технической части, из-за недостатка в запасах»[54].

Постыдный разгром враз развеял миф о том, что «положение России и ее монарха никогда еще, с самого 1814 года, не было более славно и могущественно». Эта хвастливое утверждение было рефреном необыкновенно пышного празднования 25-летия «славного царствования» в 1850 г. Тогда, ослепленный хвалебными отчетами *всех без исключения* министерств государь, отдавая для прочтения один из них наследнику, написал: «Дай Бог, чтобы удалось мне тебе сдать Россию такою, какою я стремился ее поставить, – сильной, самостоятельной и добродеющей»[55].

Не удалось. Один из современников, десятки лет являвшийся сотрудником аудиторской службы и не понаслышке знавший о реальном состоянии дел в стране, уже после смерти Николая писал: «Надобно сознаться, Бог карал Россию за гордыню покойного венценосца. Он убежден был в своей силе и могуществе и не предпринимал никаких мер к лучшему устройству и снабжению военной части, и потому-то бедственная война нашла нас без усовершенствованного оружия и без

достаточного количества пороха, артиллерийских снарядов и других предметов, успех обеспечивающих. Мы мнили себя непобедимыми и горько в том разочаровались: врага мы не закидали шапками»[56]. На поверку, как писал в сентябре 1855 г. в ходившей по рукам записке «Дума русского во второй половине 1855 года» граф П.А. Валуев, оказалось: «Сверху блеск, а снизу гниль». Могущество России, как выявилось, было мнимое. Тяжелое испытание – война обнажила все изъяны действительной, а не показной России. Столь старательно выпестованная «железной волей» самодержца система не выдержала испытания, разрушив тупую веру Николая I в ее идеальность. В конечном счете это было результатом того, что стоявший во главе государства человек в течение почти 30-летнего царствования оставался, по оценкам современников, «тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни». Царь так и не смог понять, что окружающий мир находится в постоянном движении, в развитии. Зарождавшийся в Европе новый мир, «мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся ему во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он призван побороть» – выносят свой приговор наиболее здравомыслящие люди из его повседневного окружения[57]. Ради достижения этой химерической цели самодержец шел на угнетение всех и каждого, причем это «не было угнетением произвола, каприза, страсти, – уточняет А.Ф. Тютчева. – Это был самый худший вид угнетения, угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки». И вот, когда настал час испытания, «вся блестящая фантасмагория этого величественного царствования рассеялась как дым <…> В короткий срок полутора лет несчастный император увидел, как под ним рушились подмостки того иллюзорного величия, на которое он воображал, что поднял Россию»[58]. А.Ф. Тютчевой вторит и цитированный выше Д.А. Милютин, состоявший непосредственно в свите Николая в последний год его правления: «Во все 30-летнее царствование императора Николая никто вне правительственной части не смел поднять голос о делах государственных и распоряжениях правительства; даже в домашних кругах говорилось о них только разве шепотом. Всякая инициатива была подавлена; существовавшие недостатки и болячки нашего государственного организма тщательно прикрывались ширмой официальной фальши и лицемерия. Крымская война <…> открыла глаза самому правительству, которое убедилось горьким опытом в печальных результатах тогдашней правительственной системы»[59].

Сенатор К.И. Фишер искренне сокрушается, что государь «30 лет трудился и мучился для того, чтобы на смертном одре убедиться, что он ошибся. И это тяжкое возмездие понес он за одну главную ошибку,

за то, что вверился льстецам более, чем откровению правды»[60]. Сама возможность этого облегчалась, полагает Фишер, тем, что в «период преувеличенной самонадеянности» Николая в 1835–1845 гг., «сходили со сцены верные и умные помощники государевы, и заменялись эгоистами, или алчными, или бездарными. Но еще настолько сохранившими чувство собственного достоинства, что вели интриги только в своем кругу. С 1845 или 1846 г. эти вельможи, или временщики, привлекают в свое сообщничество канцелярскую грязь. А.И. Чернышев учреждает золотопромышленную компанию из себя, М.П. Позена, Брискорна и Якобсона, своих подчиненных, словом, обманывает государя сообща с канцеляриями. С этого же времени начинают навевать с Запада и проникать в Россию болезненные доктрины новейшей либеральной школы <…> боготворящей деньги <…> и преклоняющейся перед миллионерами. Предания, патриотизм, чувство чести, любовь славы, все силы, возбуждающие духовную природу человека, под влиянием которых государственные люди жертвуют достоянием и жизнью Отечеству, уступили место любостяжанию. В вопросах об улучшении администрации или финансов никому не приходило в голову искать улучшения нравственности чиновников в возвышении их политического значения; все толковали о самостоятельности, в смысле материального довольства <…> Проповедовали только возвышение окладов, как единственный рычаг, одушевлявший силы человеческие. На таком основании, вместо того, чтобы вывести чиновников из рабства, вывести честных людей из мелочного контроля <…> чтобы дать каждому известную сферу деятельности по закону <…> начали увеличивать штаты, и как увеличивать! Не повсеместно, а только “для привлечения лучших людей” в какое-нибудь привилегированное управление». «Наши министры, – заключает Фишер, – каждый старается только, как бы захватить больше денег <…> или заслужить – честолюбие нового произведения – от подчиненных репутацию *щедрого начальника*»[61].

В последние месяцы своей жизни, уединившись в отцовской Гатчине, император, угнетенный дурными вестями из Крыма, проводил здесь бессонные ночи в коленопреклоненных молитвах, а дневные часы за подзорной трубой, глядя на дымы кораблей английского флота, стоявшего у самого порога столицы державы, «*его*» державы! Директор канцелярии Министерства двора В.И. Панаев таким видел Николая в эти дни: «Как ни старался е.в. превозмочь себя, скрывать внутреннее свое терзание, оно стало обнаруживаться мрачностью взора, бледностью, даже каким-то потемнением прекрасного лица его и худобою всего тела». При таком состоянии, добавляет мемуарист, малейшая простуда могла привести к опасной болезни[62]. Так и случилось. Легкий грипп, подхваченный им во время эпидемии в Петербурге в зиму 1855 г., при явном нежелании Николая I сопротивляться болезни, перетек в воспаление легких, приведшее к смертельному исходу. Все разговоры о будто бы принятом императором яде (при содействии его личного врача Мандта) не более чем домыслы – для глубоко верующего человека, ка-

ким был Николай, такой исход был исключен. Правы те современники, которые считали, что его «сразила не только немощь телесная, сколько потрясение нравственное. Мощная натура его не выдержала удара, нанесенного душевным его силам <…> увидев Россию в отчаянном положении, император Николай не мог перенести горести такого печального исхода всех его многочисленных державных трудов. Это было слишком тяжелое разочарование, которое и свело его в могилу»[63]. Некто О. Еленский, в 1850–1859 гг. воспитанник Брестского кадетского корпуса (шефом корпуса был цесаревич Александр Николаевич), вовсе не осведомленный о придворных толках, в своих воспоминаниях пишет практически о том же: «Император Николай I умер в припадке мрачного разочарования. Машина, мудро построенная им, и которую он считал безукоризненною, в день испытания оказалась неспособной сослужить свою службу, вера всей его жизни была разбита, и он не пережил ее»[64]. Автор воспоминаний проявляет склонность и к обобщениям: в Крымской войне «в тысячный раз проявилась обычная история: ничего не было к войне приготовлено, ни хорошего оружия, ни продовольствия, ни путей сообщения. Приходилось рассчитывать исключительно на выносливость и мужество нашего солдата»[65].

В поисках истоков неудач войны, оскорблявших чувство национального достоинства, общественность невольно приходила, пишет историк А.Н. Пыпин, к выводу, что «главнейшей причиной был целый режим, основанный на безграничном бюрократизме, который все хотел вершить сам, с полным пренебрежением не только к обществу, которому нельзя было сказать живого слова (за этим смотрели во все глаза цензура и негласный комитет), но и к достоинству самой нации (бюрократизм строго поддерживал крепостное право, т.е. держал целые миллионы народа в настоящем рабстве); наконец, он держал в заблуждении и неведении настоящего положения вещей самую верховную власть известным утверждением, что “все обстоит благополучно”»[66]. Этот горький вывод прямо перекликается с тем, что было сказано современником Николая историком С.М. Соловьевым: «Вся Россия 30 лет была на смотру у державного фельдфебеля. Все делалось на показ, для того, чтоб державный приехал, взглянул и сказал: “Хорошо! Все в порядке!” Отсюда все потянулось на показ, во внешность, и внутреннее развитие остановилось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах – и здесь было все хорошо, все в порядке; а что дальше – туда никто не заглядывал, там был черный двор. Учебные заведения также смотрелись, все было чисто, вылощено, опрятно, воспитанники стояли по росту и дружно кричали “Здравия желаем в.и. величество!” Больше ничего не спрашивалось»[67]. Война безжалостно обнаружила степень «благополучия» России – плохо вооруженное, в наполовину гнилое обмундирование одетое войско, испытывавшее хроническую нехватку снарядов, пороха, провианта, которое к тому же почти в открытую разворовывалось самими интендантами. А еще отвратительные дороги, лазареты только

по названию и все остальное, что имело отношение к войне, точно так же дурно устроенное.

Во всем непреклонный, самовластный и непомерно честолюбивый Николай I, как считали современники, император во всем, что он делал, ушел из жизни 18 февраля 1855 г. Слова, сказанные им перед смертью наследнику престола, говорят о том, что к нему пришло относительное понимание истинного состояния страны: «Сдаю тебе мою команду, к сожалению, не в том порядке, как желал, оставляя много хлопот и забот». Это горькое, хотя и запоздалое признание делает честь Николаю только отчасти, ибо и на смертном одре натура все же взяла свое и перед самым концом, когда, по рассказу супруги наследника, к нему вернулась речь, «одной из последних фраз, обращенных к наследнику, была: "Держит все – держи все". Эти слова сопровождались энергичным жестом руки, обозначавшим, что держать нужно крепко»[68].

Когда-то, много-много лет назад до этой сцены, при упоминании о народах, населяющих Россию, Николай спросил старшего сына: «А чем все это держится?» Наследник дал заученный на уроках ответ: «Самодержавием и законами». – «Законами, – усмехнулся отец, – нет, самодержавием – и вот чем, вот чем, вот чем!» – и при каждом повторении этих слов махал перед носом оробевшего сына сжатым кулаком. «Так понимал он управление подвластными ему народами», – замечает приведший этот примечательный факт академик Е.В. Тарле в своей книге «Крымская война»[69].

Что за человек был Николай Павлович?

Как и все неординарные личности, он был противоречив. Во всех действиях и поступках Николая Павловича проступали, с одной стороны, его человеческое "я", с другой – самодержец, абсолютно убежденный в невозможности хоть на капельку поступиться своей властью. Современники дружно отмечают, что он имел «особенную способность внушать привязанность к себе, и когда бывал в хорошем расположении духа, обворожал своей любезностью»[70] и так обаятельно умел просить, что ему невозможно было ни в чем отказать. Но они же дружно говорили о его суровом и крутом нраве, бешеной вспыльчивости, несдержанности, внушавшим непритворный страх даже самым приближенным к нему лицам[71]. Самодержцу это, видимо, приносило удовлетворение, ибо он откровенно благоволил к тем, кто его не только боялся, но и не скрывал этого, отличая их внеочередными чинами и наградами[72].

Всем была известна и его нетерпимость к любой критике своих поступков. Когда, например, один из министров, руководствуясь здравым смыслом, вошел в Комитет министров со *своими* соображениями по поводу одного из высочайше утвержденных повелений, то уязвленный этим государь, несмотря на резонность доводов министра, со скрытой

угрозой произнес: «Чтобы называли меня дураком публично перед Комитетом, или другою коллегиею, этого, конечно, никогда не попущу»[73]. С искренним недоумением он спрашивал у председателя Государственного совета И. В. Васильчикова: «Да неужели же, когда я сам признал какую-нибудь вещь полезной или благодетельной, мне непременно надо спрашивать на нее сперва согласие Совета?»[74]

Лица, хорошо усвоившие эту черту Николая, при случае не гнушались ее использовать. Так, в жестком противостоянии Госсовета и министра финансов Е.Ф. Канкрина при определении условий перехода от ассигнаций как платежной единицы к серебряному рублю царь стал на сторону последнего только потому, что поверил запущенной хитрым немцем «утке»: Совет-де покушается на прерогативы самодержца. «Это есть величайшее оскорбление самодержавной власти, – громко сокрушался Канкрин, явно рассчитывая на то, что его слова дойдут до государя. – Совет – место *совещательное,* куда государь посылает только то, что самому ему рассудится, а тут из Совета хотят сделать место *соцарствующее*, ограничивающее монарха в его правах»[75]. Канкрин знал, как действовать наверняка, ибо ему было хорошо известно, что Николай Павлович «никогда не был прочь от того, чтобы преследовать что бы то ни было и кого бы то ни было во имя самодержавия»[76]. Николай не терпел вмешательства в государственные дела даже со стороны наследника престола вне отведенных ему полномочий, и когда однажды ненароком обнаружил в журнале Комитета министров ссылку на указание цесаревича по одному запутанному делу, то крайне раздраженный этим обстоятельством сказал А.Ф. Орлову: «Прошу его императорское высочество не мешаться в дела мои»[77]. Не шло на пользу дела и то, что Николай, при каждом удобном случае демонстрировал свою непреклонную волю и никогда не менял однажды принятых решений, в чем проявлялось еще с детских лет его крайнее упрямство. Сложно определить, случайно или нет, но именно в 1848 г., отмеченном вызывающе жесткими заявлениями императора Николая I, особенно во внешнеполитической сфере, Жуковский писал, что «убеждения *упрямого* суть мертвый капитал, никакого барыша не приносящий», что «*упрямство* есть слабость, имеющая вид силы»[78]. В любом случае, это в полной мере относилось и к Николаю, который, как и многие упрямцы, был по-немецки пунктуален, прилежен и в высшей степени организован. Сам он практически никуда и никогда не опаздывал и органически не терпел нарушения установленного им распорядка, строго требуя через министра Императорского двора П.М. Волконского от допустивших такой проступок объяснений, причем касалось это не только придворного штата, но и членов правительства[79].

А посему современники столь же единодушны во мнении, что Николай I был «фанатическим жрецом и вместе с тем своеобразным поэтом неограниченной власти государя. Всеми своими словами и действиями он проводил мысль, что государь <…> земной Бог, воле которого никто не дерзает перечить, или, по крайней мере, полновластный

командир воинской части, связанной безответной дисциплиной»[80]. Отсюда и особо отмечаемое близкими ко двору людьми его нарочито подчеркиваемое благоволение к тем, кто обнаруживал откровенную боязнь перед ним, и органическое неприятие им какого-либо инакомыслия и уж тем более противоречия. Даже при кажущемся проявлении последнего, государь, по свидетельству очевидцев, «вдруг покрывался сильным румянцем», его и без того «на выкате» глаза неимоверно расширялись и он выпускал «из них пук молний так, как он один умел высыпать из своего взора»[81].

Но остановимся и на внешности Николая Павловича. В молодости он был очень привлекателен. Выше (см. с. 150) уже приводились мнения о Николае I во время его пребывания в Лондоне в 1816 г. лейб-медика Саксен-Кобургского принца Леопольда барона Штокмана (Стокмана) и одно из знатных придворных дам, миссис Кембль, сулившей ему славу первого красавца в Европе!»[82]. Столь же лестно отзывались о внешности Николая английская королева Виктория, жена английского посланника Блумф**и**льда и другие титулованные особы[83]. Леди Блумф**е**льд прямо пишет, что «он бесспорно был самый красивый человек, которого я когда-либо видела, и его голос и обхождение были необычайно обаятельны»[84]. Не отставали в хвалебных отзывах от иностранцев и свои, отечественные наблюдатели. Бывший камер-паж Александры Федоровны в серердине 40-х годов П.М. Дараган пишет о Николае следующее: «Он был очень худощав и от этого казался еще выше. Облик и черты лица его не имели еще той округлости, законченности красоты и напоминали изображения героев на античных камеях. Осанки и манеры вел. кн. были свободны, но без малейшей кокетливости или желания нравиться»[85]. Но вот что позже заметит де Кюстин: «У императора греческий профиль, высокий, несколько вдавленный лоб, прямой и правильной формы нос, очень красивый рот, благородное овальное, несколько продолговатое лицо, военный и скорее немецкий, чем славянский, вид. Он всегда уверен, что привлекает к себе общие взоры, и никогда ни на минуту не забывает, что на него все смотрят. Мало того, невольно кажется, что он именно хочет, чтобы все взоры были обращены на него одного. Ему слишком часто повторяли, что он красив и что он с успехом может являть себя как друзьям, так и недругам России»[86]. Бывший кадет, впоследствии генерал от артиллерии Крыжановский П.А., не раз видевший Николая Павловича в военных лагерях, на отдыхе в Петергофе, Александрии, тоже оставил прелюбопытное и, пожалуй, наиболее достоверное его описание: «Огромного роста, прекрасно сложенный красавец, прекрасный ездок, он был воплощение силы, энергии и решимости. Обращение его с людьми было вообще милостивое, но пренебрежительное. Чувствовалось, отношение государя к лицу, с которым он говорил, можно сравнить с снисходительным обращением хозяина со своей собачкой: коли станет служить на задних лапках – погладит, а коли промедлит или заупрямится – больно вытянет палкой. Выражение лица было строгое, суро-

вое, смягчавшееся в добрые минуты. Глаза проницательные, как бы заглядывавшие в душу, но в гневе становились какого-то свинцового цвета и приобретали страшное выражение; нижняя челюсть дрожала и невольно приходила в голову мысль, что он, как очковая змея птичку, может заворожить и уничтожить человека. Голос у него был необыкновенный. Такого я уже не слыхал во все продолжение моей долгой жизни. Когда государь командовал, никакого усилия с его стороны не замечалось, крика было не слышно, и ухо получало мягкое, приятное впечатление, но команда эта была слышна, как выражаются, за версту»[87]. Крыжановский и много лет спустя, с внутренним содроганием специально отмечает наиболее запомнившееся, приводя пример, когда Николаю I во время смотра показалось, что по его вине нарушена линия орудийных фейерверков, то он «понесся в карьер прямо на меня и наскочил так близко, что голова лошади очутилась прямо у моего плеча. Нижняя челюсть его ходила, глаза стали свинцового цвета и впились в меня с невероятной злобой. Остановившись, он все-таки продолжал ударять коня шенкелями, отчего лошадь нервно перебирала ногами, ставя копыта совсем рядом с моим сапогом»[88].

Многие мемуаристы отмечают высокий рост Николая. Шведский военный министр В.В. Гаффнер: «Наружность его атлетическая, ростом он почти в два метра, хорошо сложен, с красивым лицом»[89]. Маркиз де Кюстин: «Император на полголовы выше обыкновенного роста»[90]. О высоком росте Николая говорит и записанное Корфом свидетельство его самого: «В доказательство обмельчания у нас народа, государь рассказывал, что прежде он был по росту 22-м в первой шеренге Преображенского полка, потом сделался 15-м, а теперь уже стоит 13-м»[91]. Впрочем, есть возможность с достаточной точностью установить подлинный рост Николая. После просмотра пьесы Н.А. Полевого «Дедушка русского флота» Николай I обратился к знаменитому артисту Василию Каратыгину, игравшему роль Петра I, со словами: «"Ты совершенный Петр Великий!" – "Нет, государь, он был выше меня: 2 аршина 14 вершков". – "А в тебе?" – "Двенадцать". Государь померился с ним. – "Все ты выше меня: во мне $10^1/_2$"»[92]. Если эти данные перевести на современную метрическую систему, то получится, что рост Николая Павловича равнялся 188,2 см.

Николай Павлович всегда стремился следить за своей фигурой, прибегая в основном к упражнениям с ружьем по утрам и ежедневным пешим прогулкам. Сохранению формы способствовала и его умеренность в еде. Но вот следование моде сказывалось на нем отрицательно. Де Кюстин в 1839 г. отмечал, что «он хорошо сложен, но немного скован; с ранней юности он взял привычку <…> туго утягивать живот ремнем; обыкновенно это позволяет ему выступать грудью вперед, однако не прибавляет ни красоты, ни здоровья; живот все равно выпирает и нависает над поясом»[93]. Эту особенность облика императора зафиксировал четыре года спустя и граф М.Д. Бутурлин: «Выдававшийся вперед живот уже портил немного его статность»[94]. Однако это впе-

чатление от внешнего облика императора в одежде несколько корректирует М.А. Корф, приводя впечатления врача Ф.Я. Кареля, временно замещавшего лейб-медика М. Мандта: «Карель не мог довольно выразить удивления своего к атлетическому, необычайному сложению его тела. “Видев его до тех пор, как все, только в мундире или сюртуке, – рассказывал нам Карель, – я всегда воображал себе, что эта высоко выдававшаяся вперед грудь – дело ваты. Ничего не бывало. Теперь, когда мне пришлось подвергать его перкуссии и аскультации, я убедился, что все это свое, самородное; нельзя себе представить форм изящнее и конструкции более Аполлон-Геркулесовской!”»[95]. Видимо, царь обладал и изрядной силой – однажды, когда от криков толпы лошади понесли сани с ним, то, как вспоминал находившийся с ним рядом Бенкендорф, «государь, став на ноги в пошевнях, схватив вожжи, и своею атлетическою силою скоро успел сдержать лошадей»[96].

Многие современники отмечают бросавшуюся в глаза характерную особенность его лица – «мало благожелательное выражение» на нем, «какую-то беспокойную суровость», когда лишь «изредка проблески доброты смягчают повелительный взгляд властелина»[97]. Более того, как фиксируют наблюдатели, «он не может улыбаться одновременно глазами и ртом», что свидетельствует, заключают они, с одной стороны, «о постоянном его страхе», с другой, – о том, что «обычное выражение строгости придает <…> суровый и непреклонный вид»[98] внешности Николая, к чему он во многих жизненных ситуациях намеренно стремился. Об этом, в частности, говорит тот факт, что другие современники при первой встрече с императором тут же очаровывались им, видя в нем море «обаяния и величия»[99]. Но вот А.И. Герцен, чьи впечатления от внешности Николая уже приводились выше, видит в этом образе не «величие» императора, а совсем другое: «Это тип военачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть – повелевать…». С годами Николай Павлович, конечно же, менялся. Так, в предпоследний год жизни Николая, омраченной горестными событиями Восточной войны, фрейлина А.Ф. Тютчева записывает в своем дневнике: «Стоя очень близко от него в церкви, я была поражена происшедшей в нем за последнее время огромной переменой. Вид у него был подавленный; страдание избороздило морщинами его лицо. Но никогда он не был так красив: надменное и жесткое выражение смягчилось; крайняя бледность, особенно выделяющая изумительную правильность черт его лица, придает ему вид античной статуи»[100]. А еще всего за два года до этого саксонский дипломат Фицтум фон Экштедт так передавал свое впечатление от первой его встречи с Николаем I: “Я очутился впервые глаз на глаз с могущественнейшим и наиболее внушавшим страх монархом. Несмотря на 56-летний возраст <…> вся его классическая фигура дышала юношескою силою. По такой модели Фидий мог бы изваять статую Зевса или Бога войны <…> Наблюдая за его, почти обнаженною от волос, головою, я заметил, что лоб был низок, мало развит и сливался в одну линию с правильным но-

сом. Задняя часть головы, где френологи полагают седалище силы воли, была необычайно развита; вся же, вообще, голова была относительно малых размеров, но покоилась на шее, достойной Геркулеса <…> Вся наружность монарха имела нечто рыцарское и внушительное; я понял теперь, как стоявший передо мною колосс одним движением руки усмирил бунт на Сенной площади во время холеры 1831 г. Великий момент этот представился моему воображению, когда я взглянул императору в глаза. Выражение этих глаз <…> нервное подергивание мускулов у углов рта имело в себе что-то болезненное и производило неприятное впечатление»[101]. Эта запись разительно отличается от сообщения англичанина-католика о своем впечатлении от Николая I, во время посещения последним в конце 1845 г. римского папы Григория XVI: «Государь выходит из кареты – в полном мундире с лентой через плечо, со всеми орденами и звездами, с лучезарным лицом, и благосклонно улыбаясь направо и налево, он твердым эластичным шагом идет по мраморным ступеням. – Молодец, да и только! “Каждый вершок в нем – царь!” – как говорит Шекспир»[102].

Немногим было известно, что Николай I, как и его старший брат Александр, стал рано лысеть, но долгое время скрывал свою лысину под париком, от которого отказался, причем в несвойственной ему манере, только после рождения внучки Александры 18 августа 1842 г. Произошло это, по описанию одного из бывших кадет, при довольно занимательной ситуации: «Однажды император приехал к нам в корпус (что бывало нередко) и вошел в спальню, где мы были выстроены при своих кроватях <…> Он сказал: “Поздравьте меня, я – дедушка, и нет надобности дедушке этого носить”. При этом он снял с головы своей накладку (парик. – *М.Р.*), подбросил ее ногой, и с этого дня накладки не носил»[103].

В быту Николай Павлович был достаточно прост и непритязателен, что, впрочем, не стало помехой для создания им одного из наиболее роскошных дворов в Европе, для возведения блистательных дворцовых ансамблей в пригороде столицы, не считаясь ни с какими затратами. Современникам, со слов лиц из ближайшего окружения Николая, он запомнился тем, что чуть ли не всегда спал, укрывшись поношенной шинелью гвардейского офицера, на набитом свежим сеном (соломой) тоненьком тюфячке, положенном на узкую железную походную кровать. «Он любил спартанскую жизнь, не знал, – как пишет Ольга Николаевна, – ни халатов, ни ночных туфель». Ел, как подтверждают все мемуаристы, с величайшим воздержанием: «по-настоящему ел только раз в день, запивая водой. Чай ему подавался в то время, когда он одевался, когда же приходил к Мама́, то ему подавали чашечку кофе с молоком. Вечером, когда все ужинали, он опять пил чай и иногда съедал соленый огурец»[104]. Ел преимущественно простые русские кушанья – котлеты с картофельным пюре, щи, каши в горшочках (особенно любил гречневую). Сам император не отрицал своей умеренности в пище: «Без еды или с едою самою скудною я могу, пожалуй, обойтись хоть

пять дней кряду, – пишет он, – но спать мне необходимо, и я свеж и готов явиться на службу только тогда, когда высплюсь по крайней мере семь или восемь часов в сутки, хоть бы и не вдруг, а с перерывами»[105]. При этом даже во время утомительных поездок по стране Николай Павлович «раз и навсегда приказал своему метрдотелю Миллеру, чтобы за обедом у него никогда не было более *трех* блюд, что и решительно исполнялось». И когда однажды Миллер не удержался от желания подать к столу нежнейшее блюдо из свежих форелей, то услышал грозное императорское замечание: «Что это такое, четвертое блюдо? Кушайте его [сами]». Царь бросил салфетку, вышел, сел в коляску и уехал, не дожидаясь всегда сидевшего рядом с ним Орлова, согласием которого Миллер предварительно заручился[106].

О воздержанности в пище еще великого князя Николая пишет и камер-паж Александры Федоровны П.М. Драган: «Был очень воздержан в пище, он никогда не ужинал, но обыкновенно при проносе соленых огурцов, пил ложки две огуречного рассола»[107]. Но в гостях не капризничал и мог с удовольствием откушать больших и сочных котлет, приготовленных домоправительницей художника А.И. Ладюрнера, к которому Николай любил запросто захаживать[108]. Тот же Эвальд отмечает, что император «не был охотник до хитрой французской кухни, а предпочитал простые русские кушанья, в особенности щи да гречневую кашу, которая, если не ежедневно, то очень часто подавалась ему в особом горшочке»[109]. Ужинал Николай редко, ограничиваясь чаем. Этому есть самое прозаическое объяснение: как его отец и бабушка, Екатерина II, Николай I страдал наследственной «тугостью на пищеварение». Заметим, что то же было и у наследника престола Александра, уже в бытность царем лечившегося от фамильного недуга усердным курением кальяна «доколе занятие это не увенчается полным успехом»[110].

Из всех видов одежды с самых ранних лет Николай по его собственному признанию предпочитал мундир, с которым он, говорят современники, «до того сроднился, что расставаться с ним так же неприятно, как если бы с него содрали кожу»[111]. Причем мундир для него был не просто одеждой, а неким символом «служивого» (государственного) человека. Надо сказать, что символический смысл мундиру придавали и сами военные люди. Так, когда на следующий день после 14 декабря 1825 г. Николай I появился перед генералитетом и офицерским составом в мундире Преображенского полка, то вот как это воспринял офицер этого полка: «И вскоре я увидел вышедшего молодого императора в родном мне преображенском мундире, которого до сего дня никогда на нем не видал (потому что он до сего дня носил всегда измайловский мундир, как шеф этого полка)»[112]. Этим актом государь как бы демонстрировал свое благоволение тому полку, батальон которого первым стал на его сторону. Став императором и получив право носить мундиры любого из полков, он этим символическим жестом стал пользоваться так часто, что менял их по 5–6 раз на дню в зависимости от обстоятельств, затягиваясь порой до полуобморочн ого состояния, –

так они по уставу были узки. Даже театры Николай Павлович всегда посещал «не иначе как в мундире», вынуждая, таким образом, и всех других следовать высочайшему примеру[113]. Почти никогда не снимал император и сапог, сетуя, что у него «всегда болят ноги, когда бывает без высоких сапог» (ботфортов)[114].

По словам современников, Николай «берег свое платье и не любил делать нового», обходясь уже притертыми, ношенными вещами[115]. Не спешил он избавляться и от старых мундиров, со споротыми эполетами, используя их как удобную домашнюю одежду вместо халата – то были «родные» измайловский и семеновский мундиры[116]. «Его любимой одеждой, – свидетельствует его дочь, Ольга Николаевна, – был военный мундир без эполет, протертый на локтях от работы за письменным столом. Когда по вечерам он приходил к мама́, он кутался в старую военную шинель <…> которой он до конца своих дней покрывал ноги»[117]. «При этом он был, – отмечает Ольга Николаевна, – щепетильно чистоплотен и менял белье всякий раз, как переодевался. Единственная роскошь, которую он себе позволял, были шелковые носки, к которым он привык с детства»[118]

Не изменял царь армейской форме и во время ежедневных прогулок по улицам Петербурга, «щеголяя» в простом офицерском мундире[119]. Символично, что, по его предсмертному желанию, солдатской шинелью, или, по другим сведениям, «старым военным плащом» было укрыто и тело усопшего императора на привычной железной походной койке[120]. Этот факт был верно оценен современниками как желание Николая Павловича и после смерти демонстрировать стойкое свое предпочтение «штатской службе военную службу»[121].

В целом для него не было большей радости видеть «войска в строю, мундир и воротник, застегнутые на все крючки-пуговицы, военную выправку и руки по швам»[122]. И в этом не было бы ничего предосудительного, если бы он, иронизируют современники, «не старался всю Россию всунуть в мундир» и не выказывал явного пренебрежения не только к партикулярной одежде, но и к тем, кто ее носил.

Николай органически не любил вошедшие тогда в моду (в виде протеста против осточертевшего всем единообразия) пуховые шляпы с широкими полями, цветастые кашне, пальто, пиджаки, «штаны штатские» на любой вкус, одно ношение которых «могло повлечь неприятности». Самодержец Николай I не был бы самим собой, если бы не хотел одеть в форменную одежду всю Россию, да так, чтобы каждый мундир соответствовал бы занимаемому положению его носителя. Это «*мундирование*» Николая стало проявляться едва ли не с самых первых дней его правления, став приоритетом среди прочих «государственных» дел. Так, с января 1826 по ноябрь 1827 г. распоряжениями царя введены особые мундиры для служащих с.е.и. в. канцелярии, для председателя и членов Государственного совета, Сената и т.д. Наконец, в феврале 1834 г. осуществляется генеральная реформа гражданских чиновничьих мундиров, отныне они сведены в единую систему с четким различени-

ем рангов служебных должностей[123]. Вслед за этим последовал указ о «перемене формы» в министерствах, по которому для чиновников вводилась соответствующая одежда на все случаи жизни и времена года – парадная, праздничная, обыкновенная, особая, дорожная, зимняя и летняя. В 1845 г. даже появилось 13-страничное «Расписание, в какие дни в какой быть форме»[124]. Один из по-новому одетых сенаторов был, наверное, не одинок в оценке своей формы: «Сенату вместо красного цвета присвоен зеленый, по-прежнему с бархатным обшлагом; оставлен прежний мундир, но к нему добавлены ботфорты со шпорами в некоторых случаях. Вид получается довольно смешной»[125].

Новшества в одежде коснулись и придворных чинов, уже в 1826 г. переодетых в темно-зеленые мундирные фраки с черным бархатным отложным воротничком. Но императорская мысль не дремала, и в начале 30-х годов все придворные наряжены в гражданские мундиры из темно-зеленого же сукна, но с красными стоячими воротниками и обшлагами того же цвета. Добавилось и более роскошное шитье с вышитыми золотом ниспадающими кистями и прочей дребеденью. Причем все это должно было носиться с соблюдением жестких правил, за нарушение которых провинившегося ждал строгий царский выговор. Так, парадные мундиры следовало носить с белыми штанами до колен, белыми чулками и башмаками с пряжками или белыми брюками с лампасами (для тех, у кого ноги не удались). Но был еще и мундирный фрак, носившийся с черными брюками. Чтó, когда и какой из нарядов надевать на официальные мероприятия, предписывалось заранее.

Не обошел своим вниманием император и студентов. У них теперь тоже своя форма – золотые петлицы на воротничках, треугольные шляпы и даже шпаги (без темляков)[126]. Наличие неохотно носившихся студентами шпаг государь проверял лично и при отсутствии оных строго с них взыскивал. По воспоминаниям бывшего студента Петербургского университета, с 1830-х годов «соблюдение формы, согласно предписанным правилам, составляло вопрос величайшей важности», и для всякого начальства не было более важной задачи, как отловить и подвергнуть аресту всех «провинившихся» по этой части. Взыскивал и за то, что студенты, в соответствии с установленным правилом, не отдавали честь генералам, мотивируя свою строгость очень просто: «Ежели я сравнял вас с офицерами, то требую от Вас того же чинопочитания»[127].

Но со студенческим небрежением установленных правил бороться трудно, т.к. они не всегда у него на виду. А вот придворным дамам приходилось туго – он лично следил за исполнением ими жестко предписанных царем правил придворного этикета. Фантазия же его в изобретении оных неистощима: из желания подчеркнуть свою приверженность русским национальным традициям Николай старательно тщится одеть дам в «русское платье», состоявшее из бархатного верхнего платья типа «сарафан» с широкими откидными рукавами и обязательно со шлейфом, по «хвосту и борту» расшитому золотым шитьем. При этом замужние дамы по примеру простолюдинок должны были носить по-

войник или кокошник, а девицы – простую повязку с белой вуалью. И на все эти и подобные царские выдумки требовалось время.

В одном из писем своему тестю, прусскому императору Фридриху-Вильгельму, Николай I отчего-то пожаловался: «Я работаю, чтобы оглушить себя, но сердце будет надрываться, пока я жив»[128]. Действительно, он вставал рано, ложился поздно, засиживаясь за чтением бесчисленного вороха бумаг, и все для того, чтобы потом сделать кому-нибудь выговор по какому-либо частному случаю. Вообще, император вел жизнь довольно-таки неприхотливую, о чем поведала в своих воспоминаниях его дочь, Ольга.

Великая княжна Ольга пишет и о том, что ее отец «не был игроком, не курил, не пил, не любил даже охоты; его единственной страстью была военная служба. Во время маневров он мог беспрерывно оставаться восемь часов подряд в седле без того, чтобы хоть закусить чем-нибудь. В тот же день вечером он появлялся свежим на балу, в то время как его свита валилась от усталости»[129]. То, что отец после маневров неизменно появлялся на балах, Ольга Николаевна объясняет тем, что он принимал их как «неприятную необходимость», хотя и «не любил их». Потому и танцевал на них в виде исключения только в кадрили. Ему, по ее словам, «больше нравились маскарады в театре», на которых он мог «появляться и говорить с кем угодно». И еще ряд важных черт отца-императора отмечает Ольга Николаевна. «Он любил двигаться, и его энергия никогда не ослабевала»[130]. “Он, – пишет княжна Ольга, – не выносил тунеядцев и лентяев. Всякие сплетни и скандалы вызывали в нем отвращение. Когда он узнавал, что какой-нибудь сановник злоупотребил его доверием, у него разливалась желчь и ему приходилось лежать. Подобным образом действовали на него неудачные смотры или парады, когда ему приходилось разносить (делать выговоры перед строем)»[131]. Великая княжна сказала правду, но достаточна ли реакция верховного правителя на «злоупотребление доверием», ограничивающаяся только «разлитием желчи», когда требовалось и власть употребить, как, например, в приведенном выше примере с генерал-губернатором Эссеном? Правду она говорит и о недостойных для царя «разносах» перед строем, не вполне понимая того, что подобная несдержанность характеризует правителя не с лучшей стороны.

Накапливавшееся раздражение Николай снимал обращением к Богу. По утрам и перед отходом ко сну подолгу и истово коленопреклоненно молился на любовно вышитом императрицей коврике, никогда не пропускал воскресные богослужения и не позволял этого членам своей семьи и придворным. Своим близким император признавался, что «когда он у обедни, то он решительно стоит перед Богом и ни о чем земном не думает»[132]. Но и в церкви жесткая натура Николая брала свое. Как пишет друг царской семьи баронесса М.П. Фредерикс, он «очень строго следил за стоянием своих детей в церкви; малолетние были все выровнены перед ним и не смели пошевелиться, он во всем и во всех любил выдержку»[133].

Показания современников опровергают широко бытующее в литературе мнение о «железном» здоровье Николая. Это не совсем так. В зрелом возрасте он был подвержен резким перепадам кровяного давления, головокружениям, «колотьям в боку», частым простудам, переходившим в «горячку». С годами все регулярнее и острее донимали его подагра, приступы остеохондроза и т.д. Но, демонстрируя крепость духа и не очень доверяя врачам, свои болезни император старался перемочь на ногах, изредка прибегая к услугам нетрадиционной медицины – к заговорам. Есть этому и другое объяснение: Николай Павлович был суеверен и считал, что если «раз ляжет, то, наверное, уже не встанет», ибо «в доме Романовых никто не бывает долговечен»[134]. По свидетельству М.А. Корфа, во время болезни государь «позволял себе ложиться только на диван, в шинели, заменявшей ему халат, и в сапогах, да еще со шпорами»[135]. Характерно, что Николай никогда не отправлялся в поездки по понедельникам, ибо на этот день пришлось 14 декабря 1825 г. Чурался он также и цифры 13 и когда замечал, что за обеденным столом – «чертова дюжина», то «для избежания влияния этого зловещего числа», приказывал пригласить еще одного гостя[136].

Чувство долга заставляло царя демонстрировать свою исключительную физическую выносливость. Он мог, например, в 9 утра вернуться в Петербург из длительной поездки, преодолев в коляске за сутки до 440 верст, и в час дня быть уже на разводе войск[137]. Поддерживать хорошую физическую форму позволяло то, что Николай I не курил и не жаловал курящих, был равнодушен к спиртному, лишь изредка позволяя себе бокал вина.

Вставал Николай I очень рано. Даже в зимние дни в 7 часов утра проходившие по набережной Невы зеваки, могли видеть государя за письменным столом в своем кабинете, за ворохом бумаг[138]. В этом был элемент нарочитости – демонстрация усердия на службе. Ровно в 9 Николай I уже принимал министров, у каждого из которых был свой день недели для доклада. После 12 дня в любую погоду он отправлялся (если не было учений или смотров) инспектировать учебные заведения, казармы и присутственные места. И никто заранее не знал, куда именно сегодня царь направит свои стопы. При обнаружении недостатков Николай Павлович в бешенстве устраивал, невзирая на чины и заслуги, разносы провинившимся и давал конкретные указания по их исправлению. Практически ничто не ускользало от зоркого взгляда монарха, причем при своей исключительной памяти (в том числе и на лица) он, как пишут очевидцы, «никогда не забывал того, что приказывал, и горе тому, <…> если при вторичном посещении находил свои замечания хотя бы не вполне исполненными»[139]. Наверное, и здесь был элемент показной монаршей требовательности для устрашения подчиненных (после инспекционных визитов, в кругу близких со смехом рассказывал, что он «никогда не видел таких варварских физиономий, какие он встретил в этих присутственных местах»[140]).

Императора часто в разное время суток можно было видеть прогуливающимся в простой офицерской шинели не только по центральным улицам Петербурга, но и по его окраинам. Делал он это, по его собственному признанию, «более для здоровья, чем для удовольствия».При этом царь не упускал случая отловить не по форме одетых офицеров и, не дорожа державным временем, лично доставить их на гауптвахту. Но странное дело: «хозяин» империи часто не видел того, что бросалось в глаза иностранцам. Так, весной 1846 г. жена британского посланника леди Блумфильд, впервые приехавшая в Россию, писала: «Меня поразили в этом странном городе недоконченность и грубость во всем. Великолепные дворцы над лавками, <…> богатые каменные лестницы, покрытые грубыми и грязными зелеными коврами, и общий вид грязи и неаккуратности, которые оскорбляют глаз <…> Вся грязь, которая накопилась за последние 5 месяцев и которую выбрасывают в каналы, <…> сильно заражает воздух <…> Никто, посмотрев на улицы, не скажет, что они покрыты льдом, ибо они почти черного цвета <…> Нельзя себе представить ничего ужаснее, как состояние мостовых – они с огромными ямами, которые угрожают опрокинуть экипаж»[141]. Представление о летнем Петербурге начала 1850-х годов дают воспоминания секретаря французского посольства Рейзета. Граф был поражен невиданным для парижанина зрелищем: «Коровы выходят летом из дворов, заслышав рожок пастуха, и целыми стадами отправляются за город на пастбище, откуда они возвращаются в тот же день вечером, что придает столичному городу деревенский вид»[142].

Кроме постоянных прогулок, для поддержания здоровья Николай многие годы в темпе повторял сложные ружейные приемы. И не зря: доктор Карель, видевший его без одежд, по изяществу форм сравнивал его с Аполлоном, по конструкции – с Геркулесом[143].

По вечерам император любил бывать в театрах, отдавая предпочтение французским труппам и итальянской опере, ценил красивые и сильные голоса, талантливую игру актеров, знал их всех по именам и по заслугам награждал. Дома Николай был не прочь перекинуться в картишки в узком кругу, радовался выигрышам и однажды на «карточные» деньги (26 рублей), как простой смертный, купил своей «птичке» (так прозвали при дворе Александру Федоровну за ее необыкновенно плавную, «воздушную» походку) шляпку, донельзя этим ее растрогав. Есть свидетельство, что Николай играл в шахматы, но неизвестно, насколько сильным он был игроком. Довольно часто посещал император маскарады, балет, испытывая к молоденьким танцовщицам, как шепотком судачили в свете, не одно только платоническое чувство. Но по-настоящему Николай отдыхал в кругу семьи, забывая там о своем величии. «Только здесь, – пишет де Кюстин, – вспоминает он, что человек имеет свои прирожденные радости и удовольствия»[154]. По словам баронессы М.П. Фредерикс, Николай «был самый нежный отец семейства, веселый, шутливый, забывающий все серьезное, чтобы провести спокойный часок среди своей возлюбленной супруги, детей, а позже и

внуков»[145]. В особенно счастливые моменты царь чувствовал себя на седьмом небе, забывая при этом о чувстве меры. Так, когда у наследника престола родился сын, в честь деда нареченный Николаем, то повелением императора в полные генералы были произведены сразу около 40 человек!

Николаю I очень повезло с женой – безропотным сентиментальным существом, склонным к созерцанию и не расположенным к активной деятельности в роли первой леди, как это было принято до нее. «Император Николай, – пишет А.Ф. Тютчева, – питал к своей жене, этому хрупкому, безответному и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным властелином которого он себя чувствует. Для него это была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться из золоченых решеток своей клетки»[146].

Еще до обручения он обещал ей оставаться «на всю жизнь Вашим верным Николаем». До поры до времени он таким и оставался, ограничиваясь тем, что на балах на сто избранных персон в Аничковом дворце «кокетничал, как молодая бабенка, со всеми…», пересказывая жене «все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами, и взглядами, не всегда прилично красноречивыми»[147]. Однако, позже «крепкие», по уверению замечательного пушкиниста П.Е. Щеголева, «мужские качества»[148] Николая взяли свое, и он стал позволять себе частые увлечения на стороне, одаривая мужским вниманием не только обворожительных красавиц-фрейлин, пригожих придворных дам, но и случайно встреченных им молоденьких привлекательных особ, не чураясь даже банальных уличных знакомств[149]. Секретарь небезызвестного светского льва князя Анатоля Демидова свидетельствовал: «Царь – самодержец в своих любовных историях, как и в остальных своих поступках: если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем, родителей, если она девушка, – о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли от своего бесчестья. – “Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?” – спросил я даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. – “Никогда! – отвечала она с выражением крайнего изумления. – Как это возможно?” – “Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам”. – “Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете; я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом”»[150].

Привлекшие внимание самодержца особы, как можно заключить из приведенного диалога, не отличались пуританскими нравами и их покорность развратила Николая до такой степени, что он был злобно памятлив на получаемые отказы и мелочно мстителен, особенно, если ему предпочитали другого. Когда, например, одна из светских красавиц, в пору своего расцвета ответившая решительным отказом на щекотливое предложение царя и отдавшая предпочтение его флигель-адъютанту, с годами осталась без средств и обратилась за помощью к Николаю, то он, увидев ее имя на прошении, вскричал с гневом: «Этой?! Никогда… и ничего!»[151].

Но, помимо этих «васильковых дурачеств», как сам Николай, с подачи поэта Ф.И. Тютчева, называл свои любовные похождения, было у него и серьезное увлечение фрейлиной своей жены обаятельной Варварой Нелидовой (по иронии судьбы, приходившейся племянницей Е.И. Нелидовой, – фаворитки отца). Долговременная связь эта (вплоть до смерти Николая) и создание фактически второй семьи, если верить светской молве, были санкционированы самой императрицей Александрой Федоровной, которая при своем пошатнувшемся здоровье, в том числе и от частых родов, была «так слаба, что кажется совершенно лишенной жизненных сил». Может быть, в знак признательности за такую отнюдь не типичную для женщин жертвенность самое большое удовольствие Николая, как свидетельствует третья дочь императорской четы, Александра, состояло в том, чтобы постоянно «делать удовольствие мама!»[152] Он действительно выполнял все ее прихоти, не останавливаясь ни перед какими материальными тратами, и со стороны все выглядело настолько благопристойно, что даже очень наблюдательный де Кюстин не обнаружил здесь ничего предосудительного. А фрейлина А.О. Смирнова-Россет описала распорядок дня императора в 1845 г. так: «В 9-м часу после гулянья он пьет кофе, потом в 10-м сходит к императрице, там занимается, в час или $1^1/_2$ опять навещает ее, всех детей, больших и малых, и гуляет. В 4 часа садится кушать, в 6-ть гуляет, в 7 пьет чай со всей семьей, опять занимается, в десятого половина сходит в собрание, ужинает, гуляет в 11-ть, около двенадцати ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати». И дальше Смирнова-Россет, которую саму не без оснований подозревали в интимных отношениях с императором, с юмором недоумевает: «Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой?»[153] Добавим к этому, что Нелидова жила в Зимнем, рядом с царской семьей, и оставалась там вплоть до своей смерти в 1897 г., пережив своего единственного возлюбленного на 42 года!

Спустя пять лет после ее смерти в вышедшей в Берлине книге П. Гримма, написанной по свежим впечатлениям современников, воссоздается образ той, которая на многие годы пленила сердце грозного монарха: «Несмотря на трех детей, которыми она одарила государя, ее лицо сохранило полный блеск молодости (автор пишет о начале 1850-х гг. – *М.Р.*). Черты ее, строго правильные, позволяли справедливо и основательно соревноваться с красивейшими женщинами во всей

России <…> Нелидова пленила Николая не только своей красотой, но и умом. Она умела управлять своим повелителем с тактом, свойственным только женщине. Делая вид, что во всем покоряется, всегда умела направить его на путь, который, по ее мнению, был лучшим <…> Она могла бы злоупотреблять своим влиянием по части интриг и кумовства, но была далека от этого, <…> и никогда не старалась выставляться на вид, не окружала себя призраками и ореолом власти; ей хорошо был известен гордый и подозрительный характер государя»[154].

Легкие «победы» на любовном фронте, равно как и непредвиденные неудачи Николая I привели к тому, что, если в начале царствования Николая I современники чаще отмечали его «утонченную вежливость и учтивость» в общении не только с дамами света, его «обворожительную любезность и добродушие»[155], то в последние годы жизни он «любил употреблять в разговоре с женщинами тон самый грязный, самый циничный»[156]. Долгие годы проведший рядом с императором директор канцелярии Министерства двора В. И. Панаев, красавица-жена которого лишь чудом избежала «благосклонности» царя, тоже пишет о том, что в начале своего правления «он не был еще так развязен с женщинами, как впоследствии»[157]. Его подлинное отношение к ним выразилось и в том, что однажды на смотрах, как пишет очевидец, он «слез с лошади <…> и отправил естественную надобность, повернувшись к вереницe экипажей, наполненных блестящими дамами, которые тотчас прикрылись зонтиками»[158]. Правда, оправданием хулиганскому поступку монарха может служить то обстоятельство, что перед фронтом отряда были развернуты знамена, таким образом «оскорбить» которые он не мог ни при каких обстоятельствах. Оценивая отношение Николая I к женщинам в целом, Герцен писал: «Я не верю, чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены; он “пребывал к ним благосклонен”, не больше»[159].

Впрочем, Николай I не отличался деликатностью обхождения и с сильной половиной человечества, не исключая и лиц из своего ближайшего окружения. Они не раз вынуждены были выслушивать разные нелестные эпитеты государя в свой адрес, среди которых самыми мягкими были «дурак», «старый дурак», «глупая лысая голова», «разиня»[160]. Министра двора П.М. Волконского, который был двадцатью годами старше Николая, мог грубо публично обругать за не совершенный им проступок. Преданнейшему П.А. Клейнмихелю Николай мог с садистским наслаждением до крови щипать руку, не только за то, что на подведомственных ему дорожных станциях плохо открывались оконные задвижки, но и за откровенную ложь, наставляя его при этом как мальчишку: «Не лги!», «Не лги!»[161]. И 58-летний министр терпеливо сносил все это, ибо, как пишет один из современников, боялся своего патрона «до безумия»[162]. Клейнмихель сам признавался, что всякий раз, когда он шел с докладом, его била лихорадка[163]. Не церемонился Николай и с другими своими министрами. Когда, например, заместивший на посту

министра финансов Е.Ф. Канкрина 65-летний Ф.П. Вронченко, по характеристике современников, «великан по росту, пигмей в сердце, принесший к подножию престола малороссийскую хитрость вместо ума и холопскую сметливость в замену просвещения»[164], вздумал было говорить «не в царских видах» о финансах, то Николай не ограничился привычной в общении с ним фразой: «Что ты смыслишь», а заорал на него: «Утри нос!»[165] Даже генерал-фельдмаршал И.Ф. Паскевич, которого Николай I неизменно уважительно называл «отцом-командиром», за три года до смерти царя отозвался о нем весьма нелицеприятно: «Он и меня <…> в состоянии в минуту вспышки запрятать на гауптвахту. Он час от часу делается раздражительнее и напоминает Павла»[166]. Не рискуя попадать в такие ситуации, министры старались либо по-лакейски угождать государю, либо по-лакейски же втихомолку обманывать его.

Если же говорить о людях рангом пониже, то за самое пустяковое упущение с их стороны царь мог своим «громовым» голосом так обложить их «трехэтажным непечатным словцом», что даже закаленные службой военные «натурально падали в обморок»[167]. Даже склонная к идеализации образа Николая I А.О. Смирнова-Россет уже после его смерти написала: «Да, наш Николенька как посмотрит, так душа в пятки уходит, а как прикрикнет, то колени подкашиваются и делается в коленках дрожь»[168]. Справедливости ради мемуаристка отмечает, что иногда государь, видимо, движимый чувством раскаяния перед несправедливо обиженными им людьми, на другой день публично извинялся[169]. Но такие случаи были крайне редки.

Генерал П.А. Крыжановский, много раз в разных жизненных ситуациях наблюдавший Николая I и, видимо, много натерпевшийся от его самодурства, оставил любопытную зарисовку «самодержца чистой воды»: «Огромного роста, прекрасно сложенный красавец, великолепный ездок, он был воплощением силы, энергии и решимости. Обращение его с людьми было вообще милостивое, но пренебрежительное. Чувствовалось, что отношение государя к лицу, с которым он говорил, можно сравнить с снисходительным обращением хозяина со своей собачкой: коли станет служить на задних лапках, – погладит, а коли промедлит или заупрямится, – больно вытянет палкой. Выражение лица было строгое, суровое, смягчавшееся в добрые минуты. Глаза проницательные, как бы заглядывавшие в душу, но в гневе становились какого-то свинцового цвета и приобретали страшное выражение; нижняя челюсть дрожала, и невольно приходила в голову мысль, что он, как очковая змея птичку, может заворожить и уничтожить человека. Голос у него был необыкновенный. Такого я уже не слыхал во все продолжение моей долгой жизни. Когда государь командовал, <…> команда эта была слышна, как выражаются, за версту»[170].

Вместе с тем Николай Павлович, как и многие жестокие натуры, отличался сентиментальностью и мог, например, пустить непритворную слезу при расставании с женой, отъезжающей за рубеж на лечение[171], или умиленно с ложечки кормить своих чуть занемогших чад. По по-

зднейшему собственному признанию царя, ему, еще маленькому, каждый раз хотелось плакать от пения церковных певчих во время храмовых служб[172], но его сдерживала детская боязнь насмешек со стороны старших. С годами сентиментальность государя, кажется, только возрастала. Так, например, после концерта в Дворянском собрании, «поднесенном ему» в 1841 г. А.Ф. Львовым, до слез растроганный царь сказал композитору: «Никогда так музыка на меня не подействовала, как сегодня: мне совестно было, я прятался за колонну, чтобы никто моих слез не видал; ты заставил меня войти в самого себя!»[173] Слезы подступали к глазам императора каждый раз при исполнении духовных песнопений не только с клироса, но и в концертном варианте оркестром и хором под руководством того же Львова. Композитор неизменно удостаивался царской благодарности: «Вот единство, которого я желал, спасибо тебе, спасибо!»[174]

Скажем здесь и о литературных пристрастиях Николая I, которые мало чем отличались от вкусов рядового обывателя. Наряду с имевшими тогда успех историческими романами Вальтера Скотта, увлекательно поэтизировавшими позабытые рыцарские времена, в круг его чтения входили богоискательские произведения Ф.Р. Шатобриана, романы Жермены де Сталь и Эжена Сю – знатока жизни парижского «дна». При чтении вслух его романа «Парижские тайны» на «вечерних собраниях» у императрицы на глаза супруга обычно наворачивались сочувственные слезы[175]. Государь, видимо, был знаком с произведениями Жорж Санд и аббата Прево, но считал их социально опасными и фривольными по духу, а потому запрещал их публикацию в России. Что касается отечественной литературы, то к ней он особого интереса, видимо, не питал, иначе не приписывал бы «Мертвые души» Н.В. Гоголя В.А. Сологубу, «Тарантас» которого, как пишет Смирнова-Россет, «очень понравился государю, он очень часто о нем говорил»[176]. Получил удовольствие император и от чтения тяжеловесного «псевдоисторического», по определению критики той поры, романа Фаддея Булгарина «Иван Выжигин», имевшего шумный успех у широкой публики. Автор удостоен награды[177]. Государя, вероятно, привлекли не художественные достоинства романа, а то, как в нем изображались злоупотребления мелких чиновников судебного ведомства и полиции. Очень понравился императору вышедший в конце 1829 г. роман М.Н. Загоскина «Юрий Милославский»[178]. Но вот Н.В. Гоголю, у которого, по словам Николая I, «есть много таланту драматического», державный сквернослов не смог простить «выражения и обороты слишком грубые и низкие»[179]. Трудно сказать, имелся ли здесь в виду и «Ревизор», на постановке которого к неудовольствию высшего чиновничества император от души хохотал, аплодировал, а потом заставлял министров ходить смотреть эту пьесу, рассчитывая таким образом отвадить их от гнусности взяточничества. Несмотря на недовольство элиты, воспринимавшей «Ревизора» как «либеральное заявление» в духе комедий Бомарше, Николай после спектакля будто бы сказал: «Всем досталось, а мне больше всех!»

Что касается А.С. Пушкина, то Николай защищал его «Онегина» от «несправедливейших и пошлейших», по его оценке, нападок Булгарина в прессе, но сам к этому гениальному произведению относился весьма сдержанно, считая, что Пушкин «сделал бы гораздо лучше, если бы не предавался исключительно этому весьма забавному роду литературы, но гораздо менее благородному, нежели его “Полтава”»[180]. И уж вовсе глубокое отвращение у Николая I вызвал «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Как явствует из письма царя жене, первая часть романа с «удачно набросанным характером» Максима Максимовича была, по его мнению, «хорошо написана», но вторую его часть с Печориным он находит просто «отвратительной». «Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер <…> Эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением <…> Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! <…> По-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора». Это письмо от 14 (28) июня 1840 г. Николай I заканчивает садистским пожеланием отправленному по его воле на Кавказ поэту: «Счастливый путь, г. Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер капитана, если вообще он способен его постичь и обрисовать…»[181]

Подобное негативное отношение Николая к поэту сложилось еще после появления его стихотворения «Смерть поэта», последние 16 строк которого – знаменитое «прибавление» – косвенно задевали и его. На докладной записке Бенкендорфа, оценившего строки «А вы, надменные потомки / Известной подлостью прославленных отцов…» как «бесстыдное вольнодумство, более чем преступное», Николай I наложил резолюцию: военному медику «посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он»[182]. Император в данном случае лишь воспроизвел свою резолюцию на докладе С.С. Уварова о «Философическом письме» П.Я. Чаадаева: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно…»[183]

С Т.Г. Шевченко Николай I расправился гораздо проще. Автор поэмы «Сон» за якобы сепаратистские настроения и оскорбление императрицы Александры Федоровны в апреле 1847 г. был арестован и приговорен к сдаче в солдаты на дикий полуостров Мангышлак. Государь знал, как больнее всего ущемить творческую личность – Шевченко запретили и писать, и рисовать. И что не менее горько, эта изощренная экзекуция была поддержана «великим демократом» В.Г. Белинским: «Мне не жаль его (Шевченко. – *М.Р.*), будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство…»[184]

Известно увлечение Николая I исторической литературой, и все же не верится утверждению Смирновой-Россет, что «государь знал все 20

томов Голикова наизусть»[185]. Чрезвычайно доволен был Николай и работой официозного историка А.И. Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны в 1812 году», охарактеризованной им, как «монументальное описание во славу императора Александра и во славу России». Царь не поскупился на награды: автору пожалован орден «Белого орла», а его дочь стала фрейлиной[186].

Современники оставили свидетельства и о художественных вкусах Николая Павловича, отдававшего предпочтение работам И.К. Айвазовского. Так, на выставке картин художника осенью 1848 г. шесть из десяти полотен были приобретены императором, в том числе и знаменитый «Девятый вал». Государь не раз посещал мастерскую Айвазовского и говорил в семейном кругу: «Что бы ни написал Айвазовский, – будет куплено мною»[187]. Известно и отношение Николая к «Сикстинской мадонне» Рафаэля. Осматривая экспозицию Дрезденской галереи в 1845 г., он сказал: «Это единственная картина, возбуждающая во мне чувство зависти относительно ее обладателя»[188]. Вкус у Николая, прямо скажем, был недурен.

Подведем итоги. Если исключить как очевидно хвалебные, так и предвзято негативные оценки Николая I и его царствования современниками, то одним из наиболее взвешенных и убедительных был отзыв военного историка и крупного государственного деятеля Д.А. Милютина, двадцать лет занимавшего пост военного министра при Александре II и на протяжении года состоявшего в свите Николая Павловича: «Говоря совершенно откровенно, и я, как большая часть современного молодого поколения, не сочувствовал тогдашнему режиму, в основании которого лежали административный произвол, полицейский гнет, строгий формализм. В большей части государственных мер, принимавшихся в царствование Николая, преобладала полицейская точка зрения, то есть забота о сохранении порядка и дисциплины. Отсюда проистекали и подавление личности, и крайнее стеснение свободы во всех проявлениях жизни, в науке, искусстве, слове, печати. Даже в деле военном, которым император занимался с таким страстным увлечением, преобладала та же забота о порядке и дисциплине: гонялись не за существенным благоустройством войска, не за приспособлением его к боевому назначению, а за внешней только стройностью, за блестящим видом на парадах, педантическим *соблюдением бесчисленных, мелочных формальностей*, притупляющих человеческий рассудок и убивающих истинный воинский дух»[189].

Заявления царя, будто ему не нужны думающие, «ученые головы», без коих и так «есть кому думать», заявления, недопустимые для интеллектуально развитой личности, дали историкам веское основание для следующей обобщенной характеристики Николая I: «Человек узких мыслей <…> Ум небольшого кругозора, всегда непреклонный, почти упрямый и никогда ни в чем не сомневающийся; монарх par excellence, смотревший на всю жизнь как на службу; человек, который знал, чего он хотел, хотя хотел иногда слишком многого; мощный властитель,

часто с не русскими мыслями и вопросами, но с размахом всегда чисто русским; непреклонный, повелительный, непомерно честолюбивый, император во всем, что он делал: самодержец в семье, в политике, в военном деле и в искусстве. В последнем он мнил себя особым знатоком, <…> но прежде всего и во всем император был военным; военный в муштровке, в манерах и вкусах, военный во всех помыслах и делах»[190].

Братья Николай и Михаил Романовы были настолько захвачены этой «игрой в солдатики», что придумали даже свое «семейное» выражение для обозначения получаемого ими от удачно проведенных военных смотров удовлетворения – «*пехотное наслаждение*»[191]. Между тем на эти царские смотры их участники шли «как на *Страшный суд*; все храброе воинство, от простого рядового до высшего начальника, находились постоянно в напряженном состоянии духа, ожидая день и ночь со страхом и трепетом грозы. Малейшее отступление от формальностей устава лагерной службы <…> могло иметь печальные последствия <…> даже для целой части войска <…> Исправность лагерной службы проверял сам государь, приезжая в лагерь внезапно в ночное время и поднимая войска по “тревоге”»[192]. Вместе с тем Николай, даже не пожелав как следует вникнуть в суть дела, отверг перспективную разработку собственных умельцев-оружейников, сумевших в 1849 г. добиться увеличения убойной силы отечественных ружей с 350 до 600 шагов! После проведенных в его присутствии испытаний император произнес, как пишет очевидец, «пагубное слово “вздор”, и никто и сам даже фельдмаршал (И.Ф. Паскевич. – *М.Р.)* не дерзнул возражать»[193]. И это в то время, когда вооруженные силы передовых стран Европы уже были оснащены нарезными штуцерами, а в русской армии их было всего по 28 единиц на целый батальон! В результате «через 4 года с нашим негодным оружием русские солдаты подведены были на убой в Молдавию и Крым», комментирует мемуарист-генерал дорого обошедшуюся России близорукость императора[194].

Дадим слово и одному из первых «диссидентов» николаевского времени князю П.В. Долгорукову, поставившему несмываемое клеймо на всем царствовании Николая I и на нем самом: «Тридцатилетнее царствование <…> настоящая тридцатилетняя война против просвещения и здравого смысла – было постоянно основано на трех началах: на глубоком презрении к человечеству, на боязни, неосновательной и смешной, всех идей либеральных и благородных и на безумном, постоянно возраставшем боготворении своей личности»[195]. И еще раз вернемся к воспоминаниям Милютина, хорошо дополняющим только что приведенные оценки «князя-республиканца», как называла Долгорукова официальная власть за его «неудобные» оценки самодержца: «Во все 30-летнее царствование императора Николая никто вне правительственной власти не смел поднять голос о делах государственных и распоряжениях правительства <…> Всякая частная инициатива была подавлена; существовавшие недостатки и болячки нашего государственного организма тщательно прикрывались ширмой официальной фальши и лицемерия»[196].

По точному определению французского писателя и политика Альфонса Ламартина, правление Николая I имело целью достигнуть «неподвижности мира» как в России, так и в Европе[197]. Еще более резка в своих оценках была графиня М.Д. Нессельроде: «Что за странный этот правитель, он вспахивает свое обширное государство и никакими плодоносными семенами его не засевает»[198]. «Не засевает» потому, что не принимает зарождавшийся в Европе новый мир, «мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма», представлявшийся ему, как замечала А.Ф. Тютчева, «во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть». И ради этого самодержец шел на угнетение всех и каждого, причем, по заключению мемуаристки, «это был самый худший вид угнетения, угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки»[199]. А ее отец, современник Николая I, переживший его почти на 20 лет, в пяти строках стихотворения, по существу являющегося своеобразной эпитафией царю, дал ему и всему его царствованию убийственную характеристику: «Ты был не царь, а лицедей»[200].

Иные скажут, ну, это все – поэтическое воображение гения русской поэзии. Но вот не менее беспощадный отзыв академика А.В. Никитенко, относящийся к октябрю 1855 г.: «Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 29 лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребления и воровство выросли до чудовищных размеров. Все это плод презрения к истине…»[201] Доминирующий над всеми остальными порок николаевского царствования Никитенко видел в том, что люди стремились «*казаться, а не быть*» на самом деле и повсюду и во всем процветали ложь и лицемерие[202]. Другой высокопоставленный современник, генерал П.А. Крыжановский очень образно называл Николая I самодержцем чистой воды, не признававшим ничего выше своей воли и державшим «всю Россию в кулаке так крепко, что она только попискивала <…> Суровое это было время, мрачное, тяжелое, подчас беспощадное. В частных собраниях опасались говорить друг с другом не только о государственных делах и мероприятиях, но даже о личных недостатках того или иного сановника, о достоинствах книги, навлекшей на себя гнев цензуры, о политических волнениях в иностранных государствах и т.п. Каким-то непонятным образом эти “либеральные” беседы доходили до сведения властей, и виновные привлекались для расправы в III Отделение»[203].

Не удержалась от критических оценок современного ей состояния России и прогнозов относительно ее будущего и Смирнова-Россет. «Мне кажется, – писала она, имея в виду вторую половину царствования Николая I, – что последние пятнадцать лет подавления произвели

действие как раз обратное тому, чего желали и что делали, следуя инстинктивным внушениям в высшей степени абсолютной натуры <…> Россия находится не только в критическом, но в кризисном состоянии. Если Европе сулят un grand cataclisme sociale et morale, то какой же катаклизм ждет Россию, у которой приданое – крепостное право?»[204]. Короче всех в свойственной ему шутовской манере определил царствование Николая I один из бывших его ближайших сподвижников – А.С. Меншиков, назвав его «мудреным»[205]. Его итогом стал позор Крымской кампании и общеевропейская изоляция России. Сбылись пророческие слова генерал-фельдмаршала Ф.В. Остен-Сакена, сказанные им сразу же после отнюдь не продиктованного собственными интересами России усмирения Венгрии в 1849 г.: «Государь <…> сильно возгордился. “То, что сделал я с Венгрией, ожидает всю Европу”, – сказал [он] мне. Я уверен, что эта кампания его погубит <…> Увидите, что это даром не пройдет. Бог наказывает гордых»[206].

В свете всего вышеизложенного нельзя не согласиться с мнением тех современников, которые считали, что Николая I «сразила не столько немощь телесная, сколько потрясение нравственное. Мощная натура его не выдержала удара, нанесенного душевным его силам <…> Увидев Россию в отчаянном положении, император Николай не мог перенести горести такого печального исхода всех его многочисленных державных трудов. Это было слишком тяжкое разочарование, которое и свело его в могилу»[207]. Целиком на совести императора была и судьба ополчения в 1855 г., когда вчерашние крестьяне «с пиками и топорами в руках и с крестами на шапках <…> почти все, не видав врага, *легли костьми* от голода, холода и болезней, от неразумия и злоупотреблений <…> Бог карал Россию за гордыню покойного венценосца. Он убежден был в своей силе и могуществе и не предпринимал никаких мер к лучшему устройству и снабжению военной части, и потому-то бедственная война нашла нас без усовершенствованного оружия и без достаточного количества пороха, артиллерийских снарядов<…> Мы мнили себя непобедимыми и горько в том разочаровались: *врага мы не закидали шапками*»[208]. Как заметил другой современник, «он бы и прожил еще много лет, да Пальмерстон и Наполеон III его сгубили»[209].

Разительные изменения во внешнем облике Николая лица из его ближайшего окружения стали отмечать уже с осени 1854 г., когда он «так похудел, как после болезни», ибо «ни одной ночи покойно не почивает, а иные напролет просиживает» в тревожном ожидании вестей с полей сражений»[210]. По рассказу его камердинера, однажды Николай во время утренней молитвы уснул на коленях перед образами и, очнувшись, с горечью сказал: «Как я устал!» Это было так не характерно для императора Николая I, никогда ранее не позволявшего себе любое проявление слабости. Теперь же, с получением «вестей о неудачах или поражениях, особенно в Крыму, где зараз погибали по 3 и 5 тысяч наших, – пишет один из современников, – он совершенно упадал духом. Часто видали, что он по вечерам, уединяясь в своем кабинете, плакал как ребе-

нок <…> Скорбь грызла его сердце»[211]. А вести из Крыма становились все более и более удручающие, надежд на изменение ситуации в лучшую сторону при трезвом взгляде на вещи уже не было. В итоге еще недавно несгибаемый прежде самодержец не стал сопротивляться поначалу легкому гриппу, переросшему затем в серьезную болезнь легких, сознательно отдав тем самым себя на волю Провидения.

Примечание

1 См.: *Хомяков А.С.* Политические письма 1848 года // ВФ. 1991. № 3. С. 111.
2 *Готье Ю.В.* Император Николай I. Опыт характеристики. М., 1913. С. 290.
3 *Пресняков А.С.* Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1925. С. 57.
4 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Николай I, его жизнь и царствование. Т. 1. СПб., 1903. С. 314.
5 *Эвальд А.В.* Рассказы об императоре Николае I // ИВ. 1896. Т.65. № 7. С. 55.
6 *Шиман В.М.* Император Николай Павлович // РА. 1902. Кн.1. № 3. С. 465.
7 Барон Модест Корф. Записки. М., 2003. С. 304.
8 *Соловьев С.М.* Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // *Соловьев С.М.* Избр. труды. Записки. М., 1983. С. 311.
9 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т.1. С. 147.
10 *Соловьев С.М.* Указ. соч. С. 311.
11 Записки сенатора Н.П. Синельникова // ИВ. 1895. № 1. С. 62.
12 Из жизни императора Николая Павловича // РС. 1905. Т.122. № 4. С. 173.
13 РС. 1896. Т.86. № 6. С. 511.
14 Там же. С. 514–515.
15 Отрывок из записок А.Х. Бенкендорфа // РА. 1865. Год 3-й. М., 1866. С. 456.
16 Воспоминания князя А.В. Мещерского. М., 1901. С. 161.
17 *Соловьев С.М.* Указ. соч. С. 310.
18 *Эвальд А.В.* Указ. соч. С. 55.
19 *Егоров Е.А.* Рассказы Евгения Андреевича Егорова, инженер-генерал-лейтенанта // РС. 1886. Т.49. № 2. С. 416.
20 Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. № 2. С. 816.
21 *Брэ О. де.* Император Николай и его сподвижники (воспоминания графа Оттона де Брэ. 1849–1852) // РС. 1902. Т.109. № 1. С. 122.
22 *Кюстин А. де.* Николаевская Россия. М., 1990. С. 137.
23 Цит. по: *Давыдов С.* Император Николай I. М., 1913. С. 82.
24 Цит. по: *Пресняков А.Е.* Указ. соч. С. 46.
25 *Костенецкий Я.И.* Рассказы об императоре Николае I // ИВ. 1903. Т. 94. № 12. С. 633.
26 См.: Барон Модест Корф. Записки. С. 223.
27 *Тютчева А.Ф.* При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1882. Тула. 1990. С. 47–48.
28 *Фишер К.И.* Записки сенатора // ИВ. 1908. Т. 112. № 5. С. 434.
29 Там же. С. 435.
30 См.: Там же.
31 *Фишер К.И.* Указ. соч. С. 434.
32 *Егоров Е.А.* Указ. соч. С. 418.
33 *Эвальд А.В.* Указ. соч. // Т.65. № 8. С. 348.
34 *Крыжановский П.А.* Штрихи из прошлого. (Воспоминания из последнего десятилетия царствования Николая I // ИВ. 1915. Т. 141. № 8. С. 455.
35 Цит. по: *Пресняков А.Е.* Указ. соч. С. 93.

[36] Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.;Л., 1926. С. 206.
[37] Там же. С. 173.
[38] Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1900. Т. 101. № 3. С. 550.
[39] Там же // РС. 1899. Т.98. № 5. С. 529.
[40] Рассказы бабушки А.Я. Бутовской // ИВ. 1888. Т.18. № 12. С. 624.
[41] *Кюстин А. де*. Указ. соч. С. 268–269.
[42] *Фишер К.И.* Указ. соч. // ИВ. 1908. Т.113. № 9. С. 814.
[43] РС. 1898. № 12. С. 543–546.
[44] Барон Модест Корф. Записки. С. 195.
[45] Там же. С. 197.
[46] Там же.
[47] Там же. С. 200.
[48] Там же. С. 202.
[49] Там же. С. 203.
[50] *Кюстин А. де*. Указ. соч. С. 177.
[51] *Докудовский В.А.* Мои воспоминания // ТРУАК. 1898. Т. 13. Вып.2. С. 147, 148.
[52] *Кюстин А. де*. Указ. соч. С. 74, 75.
[53] Там же. С. 168, 176, 177 и др.
[54] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Д.А. Милютина. 1843–1856. М., 2000. С. 428.
[55] Сб. РИО. Т.98. СПб., 1896. С. 296, 287.
[56] *Докудовский В.А.* Указ. соч. С. 154–155.
[57] *Тютчева А.Ф.* Указ. соч. С. 46–47.
[58] Там же. С. 36–37.
[59] *Милютин Д.А.* Воспоминания. 1843–1856. М., 2000. С. 423.
[60] *Фишер К.И.* Записки сенатора // ИВ. 1908. Т. 111. № 6. С. 841.
[61] Там же. С. 839, 844.
[62] *Панаев В.И.* Воспоминания // РС. 1892. Т. 76. № 12. С. 482–483.
[63] *Милютин Д.А.* Указ. соч. С. 324.
[64] *Еленский О.* Мои воспоминания о забытом корпусе // РС. 1895. Т. 84. № 11. С. 188.
[65] Там же. С. 187.
[66] *Пыпин А.Н.* Мои заметки. Саратов, 1996. С. 139.
[67] *Соловьев С.М.* Указ. соч. С. 311–312.
[68] *Тютчева А.Ф.* Указ. соч. С. 88.
[69] *Тарле Е.В.* Собр. соч. Т. VIII. М., 1959. С. 69.
[70] *Милютин Д.А.* Указ. соч. С. 326.
[71] *Эвальд А.В.* Рассказы об императоре Николае I // ИВ. 1896. № 7. С. 60.
[72] *Шиман В.М.* Указ. соч. С. 469.
[73] Из записок барона М.А. Корфа. // РС. 1900. № 2. С. 338.
[74] Там же. 1899. № 8. С. 280.
[75] Там же. № 7. С. 20.
[76] *Долгоруков П.В.* Указ. соч. С. 273.
[77] ИВ. 1908. № 9. С. 818.
[78] Сочинения В. Жуковского. Т. XI.С. 61, 62.
[79] См.: РС. 1897. № 7. С. 198.
[80] *Готье Ю.В.* Указ. соч. С. 288.
[81] *Фишер К.И.* Указ. соч. // ИВ. 1908. Т. 112. № 9. С. 794.
[82] РС. 1873. Кн. 1. № 1. Стлб. CVI–CVII.
[83] См.: РА.1875. Кн.1. № 2. С. 237; 1885. Кн. 1. № 3. С. 350; РС. 1886. Т.51. № 7. С. 25; ИВ. 1909. № 8. С. 469 и др.

[84] Из воспоминаний леди Блумфильд // РА.1899. Кн. 2. № 6. С. 234.
[85] *Драган П.М.* Воспоминания первого камер-пажа вел. кн. Александры Федоровны. 1817–1819 // РС. 1875. Т. 12. № 4. С. 793.
[86] *Кюстин А. де.* Николаевская Россия. С. 96-97.
[87] *Крыжановский П.А.* Штрихи из прошлого. С. 454-455.
[88] Там же. С. 456, 457.
[89] *Гаффнер В.В.* Три недели в России // ИВ. 1914. Т. 102. № 5. С. 278.
[90] *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году: В 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 162.
[91] Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1900. Т. 102. № 5. С. 278.
[92] Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого // ИВ. 1887. Т. 30. № 10. С. 49.
[93] *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. Т. 1. С. 162.
[94] *Бутурлин М.Д.* Записки // РА. 1897. Кн. 3. № 11. С. 327.
[95] Из записок барона М.А. Корфа // РС.1900. Т. 102. № 4. С. 28.
[96] Из записок А.Х Бенкендорфа // ИВ. 1903. Т. 91, 31. С. 65.
[97] *Кюстин А. де.* Николаевская Россия. С. 95, 96.
[98] Там же. С. 96, 97.
[99] Записки Михаила Чайковского (Мехмед Садык-паши) // РС. 1896. Т. 86. № 4. С. 172.
[100] *Тютчева А.Ф.* Указ. соч. С. 71.
[101] *Фицтум фон Экштедт К.-Ф.* В виду Крымской войны. Заметки дипломата при Петербургском и Лондонском дворах. 1852–1855. // РС. 1887. Т. 54. № 5. С. 376.
[102] *Печерин В.С.* Замогильные записки // Русское общество 30-х гг. XIX в. Люди и идеи: Мемуары современников. М., 1989. С. 266.
[103] *Жемчужников Л.М.* Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971. С. 43.
[104] Сон юности. С. 203.
[105] РС. 1900. № 3. С. 577.
[106] РС. 1880. № 3. С. 649.
[107] *Драган П.М.* Указ. соч. // РС. 1875. Т. 12, 34. С. 795.
[108] *Эвальд А.В.* Рассказы об императоре Николае I // ИВ. 1896. Т. 65. № 7. С. 68–71.
[109] Там же. № 8. С. 345.
[110] *Долгоруков П.В.* Указ. соч. С. 117.
[111] Цит. по: *Татищев С.С.* Император Николай I и иностранные дворы: Исторические очерки. СПб., 1889. С. 21.
[112] *Деменков П.С.* Четырнадцатое декабря 1825 года на петербургских площадях: Дворцовой, Адмиралтейской и Петровской (записано очевидцем на третий день после происшествия) // РА. 1877. Кн. 3. № 9 (или 11). С. 266.
[113] РС. 1883. № 5. С. 596.
[114] Немец и француз в своих записках о России в 1839 году // РА. 1886. Кн. 51. № 7. С. 27.
[115] Граф Рейзет в России в 1852–1854 гг. // РС. 1903. Т. 115. № 7. С. 221.
[116] См.: *Смирнова-Россет А.О.* Воспоминания. Дневник. М., 1989. С. 146; *Глинка М.И.* Записки. М., 1988. С. 173; Разговор С.В. Сафонова с императором Николаем Павловичем 28 сентября 1846 г. // Архив князя Воронцова. Т. 38. М., 1892. С. 384.
[117] Сон юности. С. 203.
[118] Там же.
[119] *Шелонский Н.Н.* Император Николай Первый: Черты и анекдоты из его жизни. М., 1897. С. 23.
[120] *Тютчева А.Ф.* Указ. соч. С. 87.
[121] *Тучкова-Огарева Н.А.* Воспоминания. Л., 1929. С. 475.
[122] РА. 1902. № 3. С. 464.

123 См.: *Шепелев Л.Е.* Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991.
124 *Шепелев Л.Е.* Гражданские мундиры начала николаевского царствования // Философский век: Альманах. Вып. 6. Россия в николаевское время: наука, политика, просвещение. СПб., 1998. С. 261–271; *Он же.* Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С. 145.
125 Из дневника П.Г. Дивова // РС. 1900. Т.103. № 7. С. 188.
126 ИВ. 1885. № 5. С. 485.
127 *Оже де Ранкур Н.* В двух университетах (Воспоминания 1837–1843 годов) // РС. 1896. Т. 86. № 6. С. 572.
128 Цит. по: *Пресняков А.Е.* Указ. соч. С. 94.
129 Сон юности. С. 203.
130 Там же.
131 Там же. С. 203–204.
132 РС. 1880. № 3. С. 642.
133 ИВ. 1898. № 1. С. 76.
134 РС. 1900. № 2. С. 340.
135 Там же. № 4. С. 28.
136 РА. 1878. № 12. С. 513; РС. 1875. № 12. С. 162.
137 РС. 1900. № 1. С. 56.
138 РА. 1902. № 3. С. 463.
139 *Шиман В.М.* Указ. соч. С. 464.
140 Из дневника П.Г. Дивова // РС. 1900. № 4. С. 130.
141 РА. 1899. № 6. С. 232, 233.
142 РС. 1903. № 6. С. 698.
143 Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1900. № 4. С. 28.
144 *Кюстин А. де.* Указ. соч. С. 108.
145 Из воспоминаний баронессы М.П. Фредерикс // ИВ. 1898. № 1. С. 64.
146 *Тютчева А.Ф.* Указ. соч. С. 52.
147 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 8. Е.М. Бутурлина (урожденная Комбурлей) и А.М. Крюднер – блистательные светские красавицы. Последняя – фаворитка Николая I, после непродолжительной связи уступленная им А.Х. Бенкендорфу (Там же. С. 9)
148 *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. М., 1987. С. 370.
149 См.: *Соколова А.* Император Николай I и васильковые дурачества // ИВ. 1910. № 1. С. 113.
150 См.: *Вересаев В.* Соч. В 4 т. Т. 3. М., 1990. С. 308–309.
151 *Соколова А.И.* Указ. соч. С. 109
152 Из воспоминаний баронессы М.П. Фредерикс. С. 87.
153 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 7.
154 [*Гримм П.*] Тайны Зимнего дворца. Берлин. 1902. С. 79–80.
155 См.: РА. 1893. № 7. С. 421; 1877. № 11. С. 292.
156 *Долгоруков П.В.* Указ. соч. С. 120.
157 *Панаев В.И.* Указ. соч. С. 144.
158 *Ушаков Л.А.* Корпусное воспитание при императоре Николае I // Голос минувшего. 1915. № 6. С. 130.
159 *Герцен А.И.* Указ. соч. Т. 4. С. 61.
160 ИВ. 1896. № 8. С. 348.
161 ИВ. 1908. № 6. С. 844.
162 ИВ. 1902. № 5. С. 460.
163 РС. 1901. № 7. С. 53.

164 Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1898. № 5. С. 433.
165 Там же. № 9. С. 793.
166 *Докудовский В.А.* Указ. соч. Т. 13. Вып. 1. С. 40.
167 РС. 1886. № 2. С. 416.
168 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 492.
169 Там же. С. 147.
170 *Крыжановский П.А.* Указ. соч. С. 454–455.
171 РС. 1900. № 1. С. 56.
172 Сб. РИО. Т. 98. С. 39.
173 РС. 1880. № 3. С. 646.
174 РА. 1884. № 5. С. 99; РС. 1900. № 4. С. 149.
175 РА. 1897. № 12. С. 521.
176 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 637, прим. 28.
177 РС. 1898. № 12. С. 619.
178 РА. 1882. № 6. С. 138.
179 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 11.
180 Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. Т. 3. М., 1999. С. 176.
181 Цит. по: *Гусляров Е., Карпухин О.* Лермонтов в жизни. Систематизированный свод подлинных свидетельств современников. Калининград, 1998. С. 236.
182 *Шостакович С.* Лермонтов и Николай I // Литературная газета. 1959. 13 октября.
183 Цит. по: *Тарасов Б.* Чаадаев. М., 1990. С. 309.
184 *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956. С. 440.
185 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 199. Имеются в виду сочинения И.И. Голикова «Деяния Петра Великого» (Т. 1–12. М., 1788–1789; «Дополнения к деяниям Петра Великого». Т. 1–18. М., 1790–1797).
186 РС. 1900. № 6. С. 588.
187 РС. 1878. № 9. С. 66, 71.
188 РС. 1914. № 6. С. 466.
189 *Милютин Д.А.*. Воспоминания. 1843–1856. М., 2000. С. 325–326.
190 *Врангель Н.Н.* Искусство и государь Николай Павлович. Пг., 1915. С. 3.
191 Записки сенатора Н.П. Синельникова // ИВ. 1895. № 1. С. 63.
192 *Милютин Д.А.* Воспоминания. 1816–1843. М., 1997. С. 119–120.
193 *Докудовский В.А.* Указ. соч. Т. 13. Вып. 2. С. 193.
194 Там же.
195 *Долгоруков П.В.* Правда о России. М., 1861. Т. 1. С. 30.
196 Там же. С. 423.
197 См.: История XIX века. Под ред. Лависса и Рамбо. Т.3. М., 1938. С. 162.
198 Цит. по: *Окунь С.Б.* Очерки по истории СССР. Вторая четверть XIX века. Л., 1957. С. 195.
199 *Тютчева А.Ф.* Указ. соч. С. 36.
200 *Тютчев Ф.И.* Лирика. М., 1965. Т. 1. С. 165.
201 *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 463.
202 Там же. С. 450.
203 *Крыжановский П.А.* Указ. соч. С. 454.
204 РА. 1897. № 9. С. 13.
205 См.: *Докудовский В.А.* Указ. соч. Т. 13. Вып. 2. С. 188.
206 РА. 1897. № 1. С. 58.
207 *Милютин Д.А.* Воспоминания. 1843–1856. С. 324.
208 *Докудовский В.А.* Указ. соч. Т. 12. Вып. 1. С. 52; Т. 13. Вып. 2. С. 155.
209 РС. 1896. № 6. С. 613.
210 РС. 1880. № 8. С. 795.
211 РС. 1896. № 6. С. 610.

Глава 4

Царские министры, генерал-губернаторы и губернаторы (фрагменты)*

Инженер путей сообщения Виктор Михайлович Шиман, по служебному своему положению имевший случаи видеть и слышать то, что возможно далеко не для каждого, к тому же обладавший отменной наблюдательностью, к тому же еще и склонный к обобщенному видению окружающего мира, в своих воспоминаниях приводит массу интересных – значимых и не очень – фактов, он же отмечает одно из самых главных пристрастий императора: «Военных и все военное государь отличал и любил по преимуществу…» <...>

Кто же они, министры отличавшегося крайней строгостью императора? Инициативные помощники своего царя, люди долга и государственной ответственности, радевшие за общее дело, или простые исполнители воли одного человека, его бессловесные слуги, льстецы? Как оценивали их современники? Какой след они оставили в истории своей страны? Попытаемся ответить на эти непростые вопросы. В 40-е годы, т.е. в период наивыс-

* Рукопись представляет собой черновик незаконченной главы. Ее реконструкция, расшифровка и подготовка к печати осуществлены В.Г. Арутюняном при участии С.Ю. Королевой на предварительном этапе знакомства с рукописью. Ссылки, указанные автором, опущены из-за неуверенности в правильном выборе цитат. – *Прим. сост.*

шего могущества императора Николая I, министров 13 человек. Средний возраст министров, с пятью заменившими своих предшественников, составлял 56 лет с небольшим. Самому молодому в 1840 г. было 39 лет, самому старому – 66. Шестеро из министров 40-х годов благополучно пережили Николая Павловича, а девятерых пережил он сам. Характеристику этих важных персон дадим в той последовательности, в какой они расположены в воспоминаниях В. М. Шимана. Причем главными судиями их деловых и человеческих качеств будут мнения и суждения современников.

Вот их имена:

Волконский Петр Михайлович (25.04.1776–27.08.1852) – генерал-адъютант, впоследствии светлейший князь и генерал-фельдмаршал. В августе 1826 г. назначен первым министром только что в день коронации Николая I учрежденного Министерства императорского двора и уделов и управляющим Кабинетом е.и.в. По едва ли не единодушным отзывам современников, отличался чрезвычайным трудолюбием и твердостью характера. Был педантично требователен в исполнении служебного долга, не делил окружающих на друзей и врагов, являя пример редкого беспристрастия. Бескорыстен. Вплотную с ним соприкасавшийся по делам службы М.А. Корф пишет, что многолетний опыт позволял ему «понимать и обнимать все с первого слова… Враг и в себе, и в других всякого пустословия, всякого фразерства, всего напыщенного… дорожа временем, он прямо шел к корню, к основе дела, и бумаги его отличались таким лаконизмом, которому, при нашей бюрократической плодовитости, не встречались примеры ни в каком другом комитете. Редкая из них переходила на вторую страницу. Но, по тому же самому, он требовал такой же сжатости и от других… чем короче и проще, тем лучше… человек дела и практики, Волконский был далек от всякой идеологии, но и от всякого энтузиазма. Здравого ума, логики, рассудительности… в нем пропасть, но напрасно было искать в нем огонь, воодушевление… он был холоден, как воплощенный опыт… каждую бумагу он непременно сам прочитывал всю, от начала до конца, и едва проходил день-два, как готов был уже ответ.

В обращении исключительно вежлив, но без теплоты».

Корф не преминул отметить и страстное увлечение министра двора – собирательство часов: «Как Сперанский любил цветы, как Васильчиков был страстный любитель охоты и лошадей, как Голицын окружал себя миллионом табакерок, так и Волконский имел свою страсть _ часы, карманные, столовые, стенные и пр. При нем самом всегда находилось их трое – в перстне на руке, иногда в мундирной пуговице или по одному в каждом пикетном кармане. Утром, встав, первым делом он собственноручно заводил часы всех видов и размеров, рассеянные по его комнатам числом около 30.

В свои 76 лет он продолжал работать как поденщик (умер в 1852 г.).

Современная публика его не очень жаловала за скупость, забывая, что он скупится не на свои, а на царские деньги.

Хотя никогда никакой армией не командовал и к военному делу вообще не имел отношения, но, пишет Корф, государь «снисходительно приник к последнему желанию верного своего слуги»[1]. 6 декабря 1850 г. старец был пожалован в генерал-фельдмаршалы. Снисходительность императора, а точнее – нарушение правил произведения в это звание, можно объяснить тем, что пользовавшийся благорасположением П.М. Волконского директор императорских театров А.М. Гедеонов, человек «весьма ловкий», «всегда сочувствовал желанию начальников своих* сблизиться с той или иной хорошенькой женщиной, и *деятельно* способствовал тому»[2]. Дело в том, что когда после рождения внука Николая Александровича (1843) указом Николая I «вечный» вице-канцлер К.В. Нессельроде был произведен в канцлеры, а П.М. Волконскому вместо ожидаемого им фельдмаршала пожаловано 400 тыс. руб., то он в обиде (обойден ниже его стоящим Нессельроде) пожертвовал их в пользу инвалидов. Об этом стало известно в свете, и Л.А. Перовский говорил: «Знаю, что князю хотелось быть фельдмаршалом, но знаю также и то, что этому не бывать. Государь сказал однажды Адлербергу, что только на поле чести намерен он жаловать этот высокий чин»[3]. Но спустя несколько лет все же пожаловал его фельдмаршалом, «уступив массе возможных заслуг этого человека»[4].

Как «вполне бескорыстного» человека его характеризовал и язвительный П.В. Долгоруков[5], но беда в том, что люди, имевшие на него влияние, пользуясь его доверенностью, «торговали придворными чинами». Положительно характеризует личные качества Волконского тот факт, что он еще при царствовании Александра I «сильно враждовал» со всесильным А.А. Аракчеевым, называя его «змеем» и считая наиболее вредным для России человеком. В мемуарной литературе имеется и прекрасно нарисованный статс-секретарем В.И. Панаевым портрет Волконского… <...>

Чернышев Александр Иванович (30.12.1785–08.06.1857) – генерал-адъютант, светлейший князь, генерал от кавалерии. Участвовал в кампаниях 1805 и 1807 гг. против французов. За проявленную в ряде сражений отвагу был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость» и орденом св. Георгия 4-й степени.

В 1808 г. был направлен курьером от Александра I в Париж, где приобрел расположение императора Наполеона. С 1810 по 1812 г. был военным агентом в Париже, ловко добывая сведения о военных приготовлениях Франции. Сохранился рассказ профессора Петербургского университета В.В. Шнейдера, находившегося в тесных связях с разными влиятельными лицами, в том числе и с М.М. Сперанским, падению которого невольно посодействовал А.И. Чернышев, когда последний был послан в Париж с секретным заданием, то он был «тогда…» <...>

В войне 1812 г. и Заграничных походах принимал самое деятельное участие, всюду проявляя смелость, отвагу и разумную инициативу.

---

* В числе коих был и сам император.

Стал генерал-лейтенантом в 1814 г. и находился непосредственно при Александре I во время его пребывания в Париже. Сопровождал императора в поездке в Англию и на Венском конгрессе. После возвращения в Россию состоял при Александре I генерал-адъютантом. В конце 1825 г. именно ему был поручен арест руководителя Южного общества декабристов полковника П.И. Пестеля, а затем назначен членом следственной комиссии по делу декабристов. Прославился тем, что пытался присвоить имение сосланного в Сибирь декабриста З.Г. Чернышева. В день коронации Николя I получил графское достоинство. В августе 1827 г. назначен управляющим Военным министерством. С мая 1832 г. до августа 1852 г. военный министр и председатель Военного совета. В 1848 г. вместо ожидавшегося Блудова был назначен председателем Государственного совета и Комитета министров с сохранением всех прежних должностей, хотя в то время его здоровье после перенесенного удара оставляло желать много лучшего.

По характеристике князя П.В. Долгорукова, Чернышев «в течение 40-летней холопской службы заматеревший в придворных интригах, знавший насквозь Николая Павловича, от коего неоднократно с подобострастием выслушивал слово “дурак”, умел своими происками оградить себя от происков своих врагов»[7]. Долгоруков же отзывался о нем, как о человеке «в высшей степени надменном, высокомерном, безжалостном и весьма невежливом со всеми теми, которые не могли ему быть полезными»[8]. Фигура светлейшего князя настолько омерзительна для Долгорукого, что он не оставляет его в покое и после его смерти: «Покойный военный министр был дерзок с подчиненными, подлейшим холопом при дворе, был тираном с несчастными, и в то же время взяточником-казнокрадом»[9].

Представитель Баварского королевства в России Оттон де Брэ склонен оценивать Чернышева в положительном плане. «К управлению [военным министерством. – *М.Р.*] был им призван около 24 лет назад князь Чернышев, оправдавший возложенное на него императором доверие, приучив свои подчиненных к правильной работе, подавая к тому пример своим собственным неутомимым трудолюбием и преданностью. На князя Чернышева, обладающего скорее способностью администратора, нежели полководца, возложена обязанность <…> организовать победу. Обладая превосходной памятью и точным знанием всех мелочей службы, он сумел ввести образцовый порядок в управление своим министерством»[10]. Посланник не замечает, или не знает другой личины Чернышева, о чем пишет в своих записках сенатор К.И. Фишер <...>

С назначением Чернышева председателем Государственного совета и Комитета министров после умершего Левашева вместо всеми ожидаемого Блудова, в свете пошли разного рода нелицеприятные толки, ответом на которые стала реплика государя: «В публике, – сказал он Чернышеву, – думают, что ты мне служишь; ну, пусть себе так и думают, а мы про себя знаем, что оба вместе служим одному общему, высшему монарху – благу России!»[11]. Князь постарался, чтобы эта в приватном

разговоре произнесенная реплика государя стала известна как можно более широкому кругу людей, и злые языки быстро умолкли.

А.И. Чернышева, «по преклонности лет»[12], в 1852 г. на посту военного министра сменил князь *Василий Андреевич Долгоруков* (24.02. 1804 – 06.06.1868) – генерал от кавалерии (с 1856 г.), генерал-адъютант. Николаем I он был замечен еще 14 декабря 1825 г., когда юный корнет Долгоруков стоял в Зимнем дворце во внутреннем карауле. Следующий раз проявил себя при подавлении польского восстания 1830–1831 гг., получил за проявленное усердие не только чин ротмистра, но и два ордена. Дальнейшая гладкая карьера ему была обеспечена, и уже в 1848 г. он назначен товарищем военного министра А.И. Чернышева.

Непосредственно с ним работавший в качестве своеобразного личного секретаря Д.А. Милютин, готовивший для нового военного министра все бумаги для высочайших докладов, пишет, что все было бы хорошо, если бы «начальник мой, при всей своей обходительности, не подвергал иногда испытанию мое терпение своим педантизмом и формализмом». За время работы с ним у Милютина сложилось о нем довольно критическое мнение: «В высшей степени аккуратный и пунктуальный, придавал значение мелочам, на которые не стоило терять время, и более заботился о гладкости редакции, чем о самой сущности дела. Зато нельзя было не ценить в нем всегдашней ровности в обращении и невозмутимого спокойствия»[13]. Да и мог ли князь не придавать «значения мелочам», если, по отзыву того же Милютина, при Николае I военный министр «не был самостоятельной и ответственной главой военного ведомства; это был не более как докладчик при Государе; настоящим и прямым руководителем всего управления военного был сам Царь…» <...>

Однофамилец князя П.В. Долгоруков хотя и считал его «человеком весьма добрым, бескорыстным, набожным», «вовсе не злым», с «мягким характером», «весьма вежливым в обхождении»[14] в целом, отзывался о нем достаточно резко, объясняя его назначение военным министром «в припадке самонадеянности и ослепления» Николая, «доходившем до полного безумия». Еще в августе 1852 г., когда было уже ясно, что Россия осталась лицом к лицу против двух сильнейших держав мира – Франции и Англии, продолжая считать себя «непобедимым и всемогущим», всем и всюду говорил, что «не имеет ни малейшей нужды в гениях, а лишь в исполнителях»[15]. А потому выбор пал на Долгорукова, который никогда и ни в чем не противоречил императору. Приведем более полный отзыв о князе В.А. Долгорукове, уже цитированного здесь П.В. Долгорукова: «Князь…» <...>

Канкрин Егор Францевич (Георг-Людвиг) – граф, генерал от инфантерии (16.11.1774 – 09.09.1845). М.А. Корф считал его наряду с М.М. Сперанским «гением в России <…> тоже не вполне оцененным, но стоящим выше других, как гора над равниною»[16]. И не испытывавший к министру финансов особых симпатий из-за его особой позиции в отношении строительства Московско-Петербургской железной доро-

ги В.М. Шиман, автор добротных мемуаров, отмечает, что Канкрин, «считавшийся на своем посту чуть ли не гением», пользовался «особым благоволением» императора[17].

О Е.Ф. Канкрине с редкой для него теплотой отзывается и обычно язвительный П.В. Долгоруков: «Из числа министров одним из самых способных, а может быть, и самым способным был граф Канкрин <…> Он был умным человеком, ученым знатоком финансовой части, администратором опытным и искусным; сверх того, он был хитер и проницателен и умел отстаивать русские финансы от тлетворного разрушительного влияния неспособного Николая Павловича»[18].

Мнение его современника сенатора К.И. Фишера созвучно: «Во всей его личности изображался человек, выходящий из ряда обыкновенных по уму, по сердцу и по образу жизни. Боровшись почти всю жизнь с бедностью, он не только не выходил из прежней простоты своей жизни, сделавшись министром, но не забывал и того, что на свете есть люди темные и бедные, заслуживающие уважения. Гуманность и простота проглядывали через каждое его движение <…> Наружность его – непривлекательна, но простота и скромность жизни были поразительны в русском министре <…>. Вставал он рано и тотчас принимался за работу».

Плоды его деятельности впечатляющи, в том числе и в сфере отечественной промышленности, благодаря последовательно проводимой им гибкой политике покровительства последней. По его инициативе и активном участии в 1824 г. был принят протекционистский таможенный тариф, в 1829 г. проведена реформа питейных сборов, в результате которой казенные винные монополии заменены выгодной для казны системой откупов, наконец, в 1839–1840 гг. осуществлена денежная реформа, приведшая к укреплению рубля и стабилизации общей финансовой системы страны.

В то же время в центре внимания министра – всемерное поощрение науки, образования, технического прогресса. Так, по его предложению были учреждены Мануфактурный и Коммерческий советы, основан Технологический институт в Петербурге, проведена реорганизация горного дела и создан корпус горных инженеров. Канкрин был единственным из министров, кому Николай I, когда он по состоянию здоровья просился в отставку, сказал: «Ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты да я»[19]. Граф Д.Н. Блудов, редко прибегавший к характеристикам своих коллег по власти, считал Канкрина «лучшим министром финансов в России <…> Он был, – по его словам, – ума обширного и очень находчив в финансовых операциях»[20]. И все же, думается, ему так и не удалось полностью реализовать себя на этой стезе, ибо, как он говаривал: «Я министр финансов не России, а русского императора»[21]. Но это не мешало ему «любить и знать Россию», замечает Блудов[22]. И Канкрин трудился на пользу отечества практически до самого конца жизни, хотя и говорил: «Моя жизнь была деятельная, но безотрадная». Возможно, это было

сказано утомленным постоянной напряженной работой и борьбой против всякого рода интриг, когда он, по словам Фишера, «шел как лев между лающими на него бульдогами и шавками» и когда он, видя кругом себя нераспорядительность, воровство, леность, надежду на русское «авось», в сердцах восклицал: «Что ни делай, Россия всегда будет банкротом»[23].

29 декабря 1839 г. М.А. Корф записывает в своем дневнике, что Канкрин болен, но не прекращает своей деятельности и управляет своим министерством в полном объеме. «Вчера он говорил мне, – пишет Корф, – что, чувствуя себя совершено изнуренным и в здоровье, и в силах, давно желал бы совсем оставить службу, но удерживается в том только страхом, что государь разгневается. А если государь разгневается, то, вы знаете, что мне не будет покоя и от других: меня тотчас начнут преследовать и гнать, а при 17-летнем управлении министерством найдется, конечно, немало такого, за что злому намерению можно будет придраться, и, пожалуй, вздумают еще отдать под суд»[24]. Любопытная деталь: в душе оставшийся немцем, Канкрин не принял и не понял гоголевского «Ревизора». После обязательного по распоряжению Николая I просмотра спектакля всеми министрами, Канкрин сказал: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу»[25].

Е.Ф. Канкрина после его кончины заместил Ф.П. Вронченко. Именно заместил, т. е. занял место великого финансиста, но не заменил его – для этого у него не было достаточных данных.

Вронченко Фёдор Павлович (1780 – 06.04.1852) – выходец из семьи сельского священника в Могилевской губернии, граф, действительный тайный советник. В 1801 г. окончил юридический факультет Московского университета и до начала службы в канцелярии министра финансов ничем особенным себя не проявил. На этом месте он последовательно прошел все этапы канцелярской рутины и в 1824 г. получил директорство над Особенной канцелярией Министерства финансов. В 1840 г. он уже товарищ министра и главноуправляющий корпусом горных инженеров. В том же году стал статс-секретарем е.и.в. и сенатором, а с 1845 г. – член Государственного совета.

Более года походив в управляющих министерством, с марта 1845 г. он стал полноценным министром, коим оставался вплоть до своей болезни в 1851 г.

На этом ключевом для страны посту пытался следовать курсу своего предшественника, но это ему не удавалось, в итоге бюджет имел превышение расходов над доходами: в 1845 г. – на 24 млн руб.; в 1852 г. – на 34 млн. руб. Дефицит же покрывался пагубными, в конечном счете, для экономики мерами – внешними займами и введением новых налогов. В результате государственный долг страны рос, но это никак не сказывалось на карьере Вронченко. В апреле 1844 г. он возведен в графское достоинство и награжден высшим орденом Российской империи – Св. Апостола Андрея Первозванного, которого до 1917 г. удостоилось около 900 человек. Причем любопытен сам эпизод награждения.

Какими же высокими качествами Вронченко был так угоден императору Николаю I? Сразу скажем, что Николай I всегда симпатизировал людям очень высокого роста, каковым и был наш финансист. К тому же он некрасив собой, а потому при личных контактах и на людях мог только оттенять почти всех восхищавшие внешние данные императора. Но был и фактор, сильно сближавший этих двух лиц – повышенная любовь к женскому полу. Всему Петербургу была известна неразборчивость Вронченко в выборе объектов своих вожделений, которых он преимущественно находил на ночном Невском проспекте. Как замечает А.И. Герцен, ссылаясь на реальных фактах основанный анекдот А.С. Меншикова, что все «публичные женщины Мещанской улицы испытали великую радость» от назначения Вронченко министром и «осветили свои окна, говоря: "Наш Федор Павлович стал министром!"»[26]. Но главная же причина приближения Вронченко к себе была в его исключительной послушности, в отсутствии какого-либо иного притязания, как только на роль секретаря при императоре. Как пишет сенатор К.И. Фишер, Вронченко в ту пору, когда еще только замещал Канкрина во время его отпуска, «успел уверить государя, что тот сам отличный министр финансов, и что ему нужен только секретарь, не такой упрямый, как Канкрин»[27]. И уже став министром, «сам парализовал свой вес, называя государя министром финансов, а себя секретарем. Государь, очевидно, не уважал его. Вронченко сам рассказывал подчиненным, как государь закричал ему: "Утри нос!" <….> Куда же ему после этого оспаривать виды царские? <…> И когда Вронченко вздумал говорить о финансах, государь отвечал ему: "Что ты смыслишь", или что-то в этом роде». А за что было уважать-то, если Вронченко без конца твердил: «какой я министр? Я секретарь вашего величества» и прибавлял к слову «секретарь» – «не умеющий писать»[28]. Наблюдательный сенатор дает ему такую обобщенную характеристику: «В кресла всеобъемлющего умом Канкрина сел Вронченко, великан по росту, пигмей в сердце, принесший к подножию престола малороссийскую хитрость вместо ума и холопскую сметливость в замену просвещения»[29]. Вполне может быть, что он действительно боялся этой должности. «Вронченко, когда его сделали министром финансов, – пишет А.И. Герцен, – бросился ему в ноги, уверяя его в неспособности. Николай глубокомысленно отвечал ему: "Все это вздор; я прежде не управлял государством, а вот научился же, – научишься и ты"»[30]. Но учиться, погруженный в заботы по амурной части, Вронченко, видимо, не хотел, да и не у кого, потому, по отзывам современников, в делах остался суетлив и «бестолковен» и, как всякий без связей вышедший «в люди» человек, с теми, кто занимал более низкие должности был груб, заносчив и резок. Тот же К.И. Фишер, хорошо знавший Вронченко, говорил о нем: «учтив как лакей, и груб как лакей»[31]. Баварский посланник в Петербурге Оттон де Брэ в своих воспоминаниях писал о преемнике Канкрина, что он «не обладает необходимыми способностями для исполнения тех важных обязанностей, какие на него возложены <…> не имеет ни од-

ного из тех качеств, какие необходимы в занимаемой им должности. Его познания равняются познаниям сборщика податей; главное средство, к которому он прибегает, это выпуск все новых и новых ассигнаций». Но за что же тогда держал его при себе Николай I? На этот вопрос есть ответ у дипломата: «Честность, преданность и беззаботность, с какою он приносит будущее в жертву требованиям минуты, снискали ему расположение монарха»[32]. Показательно, что желчный П.В. Долгоруков не счел нужным даже упомянуть о Вронченко – настолько он неинтересен ему ни с какой стороны.

Бенкендорф Александр Христофорович (23.06.1781 – 11.09.1844) – граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Об авторе проекта «Об устройстве внешней полиции» с обоснованием необходимости создания для эффективного контроля за состоянием общества мощного централизованного полицейского органа, стоящего над прочими структурами управления как в центре, так и на местах, было уже сказано выше, и здесь приведем оценку его самого и его деятельности, данную Николаем I в 1838 г.: «В течение 11 лет он ни с кем меня не поссорил, а примирил со многими»[33]. И с многими другими отзывами совпадающее мнение о нем князя П.В. Долгорукова <...>

Заменивший в 1844 г. после смерти Бенкендорфа на его посту «пронырливый» князь Алексей Федорович Орлов (08.10.1786 – 09.05.1861), по утверждению П.В. Долгорукова, «при Николае был самым сильным и самым влиятельным из любимцев царских»[34]. Но еще в январе 1839 г. М.А. Корф записывает в своем дневнике: «Граф Орлов есть ныне…» <...>

Таким был, на взгляд Корфа, внебрачный сын генерал-аншефа графа Ф.Г. Орлова, одного из трех братьев, возведших на престол Екатерину II.

Полную доверенность и дружбу Николая Павловича, который обращался к нему по-простецки «Алеша», приобрел 14 декабря 1825 г., когда первым из полковых командиров привел на Сенатскую площадь лейб-гвардии конный полк и двинулся в атаку против мятежников. Эту неоценимую в тех условиях услугу Николай I отметил должным образом, уже 25 декабря специальным указом возведя его в графское достоинство. Значение этой услуги понимали все. Фицтум фон Экштедт пишет об Орлове, что он «по смерти [П.М.] Волконского, был самым доверенным лицом у е.в. Он оказал своему государю при самом его вступлении на престол одну из таких услуг, которые не легко забываются. Неблагодарность, в которой так часто упрекают властителей, не имела места в благородном характере императора Николая, и кто, подобно Орлову, оказал бы ему существенную услугу, тот мог всегда рассчитывать на его милость». После назначения Орлова начальником III Отделения «власть его, – заключает мемуарист, – была сильнее власти любого первого министра: перед ним все трепетало», хотя и «с этим могущественным человеком император обращался иногда как со школьником», гневно распекая его за те или иные, как ему казалось, упущения по службе[35].

В 1836 г. был назначен членом Государственного совета, а в начале 1839 г. – попечителем наследника цесаревича Александра Николаевича. О том, что Николай I относится к Орлову, как к другу и «сообщает ему самые сокровенные свои намерения, коих граф является вместе с тем исполнителем», пишет и Оттон де Брэ[36]. Причем, по мнению де Брэ, Орлов во всех случаях «скорее хороший исполнитель, нежели советник»[37].

Главной задачей возглавляемого им III Отделения, по примеру своего предшественника, видел в ограждении России от тлетворного западноевропейского революционного влияния. По отзывам современников, был одним из самых точных передатчиков и ревностных исполнителей монаршей воли. Со своей стороны, Николай Павлович не только посвящал Орлова практически во все важные государственные планы, но и детально обсуждал их с ним. Хорошо знавшие Орлова современники в первую очередь отмечали крайний эгоизм, лень графа. Со слов того же М.А. Корфа, мы узнаем, что «граф Орлов, никогда ничем не занимавшийся, холодный себялюбец, никого уж теперь не обманывающий личиною благородства и рыцарства, <…> не понимающий решительно никакого дела, при всех этих достоинствах в такой еще степени ленив, что даже и между русскими составляет изъятие, и потому во всем, не касающемся личных его интересов и интересов его друзей, совершенно в руках и обладании своих подчиненных»[38]. О свойственной ему лени и нелюбви к труду пишет и де Брэ[39], что и побуждало его во всем полагаться на помощь «отличавшегося ловкостью, деятельностью и знанием дела» Л.В. Дубельта, имевшего большой вес и во времена Бенкендорфа. Емко охарактеризовал Дубельта А.И. Герцен в начале 1840-х гг.: «Дубельт – лицо оригинальное…» <...> Любопытный отзыв о нем оставил актер и драматург П.А. Каратыгин: «Это была замечательная личность во многих отношениях: прекрасно образованный, прозорливый, умный и отнюдь не злой души человек, он по должности, им занимаемой, и отчасти по наружности был предметом ужаса для большинства жителей Петербурга. Его худощавое лицо с длинными седыми усами, пристальный взгляд больших серых глаз имели в себе что-то волчье. Ироническая усмешка и язвительность при разговоре с допрашиваемыми пугали»[40].

Дубельт, прозванный в Петербурге «Le général Double» (лукавый генерал)[41], широко пользовался услугами доносчиков, но, видимо, по примеру Николая I, не любил их, и «в память тридцати серебреников», как он говорил, расплачивался с ними кратными цифре 3 суммами[42].

Не мог оставить без своего внимания эту личность и П.В. Долгоруков, как обычно, нашедший только к Дубельту относящиеся эпитеты в его характеристике: «Дубельт – человек ума необыкновенного, но в высшей степени жадный, корыстный и безразборчивый. Честь, совесть, душа, все это для него одни слова, пустые звуки. Лучшим средством к обогащению в России служат административные злоупотребления и отсутствие гласности, и потому Дубельт в 17-летнее свое пребывание

на пашалыке* III Отделения всегда являлся яростным защитником всех злоупотреблений и всех мерзостей среды чиновной…» <...>

Критически оценивает Орлова и сенатор К.И. Фишер: «Орлов – себялюбивый и ко всему, кроме своей особы, равнодушный; угодить государю, рассмешить его и обмануть, где и сколько можно – в том заключалась вся его политика». Орлов, ради «удовлетворения своего эгоизма», дополняет мемуарист, прибегал к любым средствам[43]. Например, он почти со всех акционерных обществ брал деньги за «покровительство» (крышу), пытался отсуживать родовые имения и пр. Верхом стяжательства стала его попытка отсудить золотые прииски золотопромышленника Мясникова. Заручившись высочайшим согласием, Орлов «возбудил иск от казны и сам сделался казенным адвокатом, как будущий владелец». Дело сопровождалось непотребными эпизодами, о которых стало известно Николаю I, но самодержец, выгораживая своего любимца, ограничился репликой, что имя Орлова «не должно быть в таком грязном деле»[44].

Как «ограниченного и бездарного пройдоху, придворного холопа, известного лишь своей хитростью, своим эгоизмом и ненасытной жаждой денег <…>, неспособного ни к какому делу серьезному, а тем менее к занятиям постоянным и требующим трудолюбия», – оценивал А.Ф. Олова язвительный П.В. Долгоруков[45]. К характеристике Орлова Долгоруков обращается и в своей книге «Правда о России», утверждая, что он «благодаря своей мелкой…» <...>

Перовский Лев Алексеевич (09.09.1792 – 09.11.1856), граф, в последующем генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Один из десяти побочных детей министра просвещения А.К. Разумовского (1748–1822), старшего сына последнего гетмана Малороссии К.Г. Разумовского. В силу последнего обстоятельства, по характеристике К.И. Фишера, «либеральный по складу ума» Перовский «опасался унижений и насмешек, и в этом опасении был необыкновенно горд и обидчив. Рыцарь без страха и упрека, с аристократическим лицом, ума приятного и оригинального. Таким оставался до самой смерти, храбрым и в поле, и на придворном паркете». В подтверждение последнего лестного для Перовского утверждения Фишер приводит и один из конкретных случаев из его жизни, связанный с распоряжением государя отдавать под военный суд мастеров, изготавливающих «неформенные эполеты». Вскоре после этого Перовский, на свою беду, приехал на вечерний прием к великой княгине Елене Павловне в «рассыпчатых матовых» эполетах. Появился на вечере и Николай I, и между ними произошел следующий диалог (в передаче Фишера):

«– А как ты смел надеть неформенные эполеты?

– Виноват, государь, это ошибка камердинера.

---

* *Пашалык* – административная область в Османской империи, управляемая пашой, соответствует более новым образованиям (санджак, вилайет, эйялет). *Прим. сост.*

Государь вспыхнул, стал выговаривать ему, что не смотрит даже, что надевает на него камердинер, и стал требовать назвать имя мастера, сделавшего эполеты.

– Государь, я не могу позволить себе складывать свою вину на мастера; виноват не тот, кто делает, а тот, кто надевает неформенную одежду.

– Я повелеваю тебе сказать мне имя его. Осмелишься ли ты ослушаться высочайше воли?» Уверенный в том, что Перовский не «осмелится», Николай I был поражен словами, что он исполнит волю императора «после снятия с него эполет и аксельбантов», потому что «роль доносчика на мастерового считает несовместимой с генеральским чином и еще более с генерал-адъютантским званием». Николай I не нашел, что ответить на это смелое и честное заявление, и молча отошел от него. «Повеление об эполетчиках совершенно забыто», – заключает мемуарист[46].

Военную службу начал в свите е. и. в. по квартирмейстерской части. Участвовал войне 1812 г. и Заграничных походах. Награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». В 1823 г. был уволен от военной службы с производством в действительные статские советники и званием камергера. После 6-летнего пребывания за границей вернулся в Россию и в 1829 г. пожалован в гофмейстеры двора, в 1831 г. стал сенатором, а в 1840 г. – членом Государственного совета. Наконец, в сентябре 1841 г. был назначен министром внутренних дел, каковым оставался до августа 1852 г. С августа 1852 по ноябрь 1856 г. – министр уделов. В графское достоинство возведен в 1849 г.

По свидетельству М.А. Корфа, Перовский после назначения министром внутренних дел особое внимание уделил наведению «законного» порядка в столице. Беря пример с императора, он стал вникать практически во все: устанавливал таксы на хлеб и мясо, самолично следил за булочниками, мясниками, аптекарями, лавочниками, за малейшие упущения подвергая их беспрестанным штрафам; расценивал скот на скотопригонной площадке, запретил продажу товаров в толстой обертке (прибавляла вес), запретил орга́ны в трактирах, выдал извозчикам номера, т. е. делал то, что должны были делать квартальные надзиратели или городовые. Делал, конечно, в основном не сам, а через негласно созданную им собственную полицию из чиновников по особым поручениями и мелких служащих, среди которых, как он думал, скептически замечает Корф, «нашел много людей честных и дельных». В результате Перовский как министр внутренних дел вскоре приобрел огромную негативную популярность. «Начальствующие, – пишет Корф, – ненавидели его за старание отнять у них хотя и противозаконный, но как бы освященный временем хлеб, а промышленники – за то, что он стеснял их промысел»[47]. Корф с удовлетворением отмечает, что Перовскому на «этом посту удалось через тайную агентуру, им созданную, открыть целые шайки мошенников, давно промышлявших своим делом под крышей полиции»[48]. По отзывам незлобствующих современников, и в жиз-

ни, и в деятельности на всех государственных постах оставался верен выбранному для своего герба девизу – «Не слыть, а быть». Статс-секретарь, директор Канцелярии Министерства двора В.И. Панаев так характеризовал Перовского: он «был…» <...>

Уваров Сергей Семенович (25.08.1786 – 04.09.1855) – граф (1846), с 1849 г. действительный тайный советник. В марте 1833 г. – октябре 1849 г. управляющий министерством, затем министр народного просвещения. С его именем связывается создание в начале 30-х годов XIX в. системы взглядов, которую историк общественной мысли А.Н. Пыпин позже назвал теорией «официальной народности», явившуюся выражением идеологии самодержавия в годы правления Николая I[49]. Развернутая характеристика этой личности, при которой произошло не только резкое усиление гнета цензуры и был наложен запрет на обсуждение крестьянского вопроса в литературе, но основан Киевский университет, введено реальное образование и возрождена практика направления молодых ученых за границу, дана С.М. Соловьевым: «Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей…» <...>

Имеется и высказывание А.И. Герцена о нем: «Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые* концы или, лучше, начала»[50].

Обычно желчный и критически настроенный в оценках николаевских министров П.В. Долгоруков об Уварове отозвался чрезвычайно лестно для него: <...>

По мнению А.В. Никитенко, «Уваров человек образованный по-европейски; он мыслит благородно и как прилично государственному человеку; говорит убедительно и приятно. Имеет познания и в некоторых предметах даже обширные <…> Он давно слывет за человека просвещенного» и «у него нельзя отнять ума, если не глубокого, то во всяком случае, сметливого»[51]. Но был достаточно тщеславен. Так, например, получивши графское достоинство, «пришел в неописуемый восторг» (с. 366). Но вот Уваров «зашатался на своем месте», и Никитенко, проявляя сочувствие к нему, «смог лучше оценить его хорошие стороны – его несомненный ум, который во время его силы часто заслонялся тщеславием и мелким самолюбием. К сожалению, он <…> не был одарен силами, необходимыми для времен бурных и опасных»[52].

Протасов Николай Александрович (27.12.1798 – 16.01.1855) – граф, генерал от кавалерии (с 1853), генерал-адъютант (с 1840).

До назначения в 1836 г. на должность обер-прокурора Св. Синода состоял сначала адъютантом при А.Х. Бенкендорфе, затем при генерал-фельдмаршале И.И. Дибиче. Из военной службы уволился в 1834 г. и был назначен членом Главного правления училищ и членом Комитета по устройству учебных заведений, с 1834 до февраля 1850 г. был

---

* *Казовый* – лучший, выставленный напоказ (Даль. Т. II. С. 150). – *Прим. сост.*

также членом Главного управления цензуры. В 1835 г. определен и.д. товарища министра народного просвещения (при С.С. Уварове). Обер-прокурорский пост занимал почти 20 лет до самой смерти, преобразовав за это время Св. Синод в некое подобие министерства, превратившееся в его руках только в исполнительный орган, как и все прочие министерства. Все глухие и открытые протесты духовенства, не желавшего полностью подчиняться представителю светской власти, разбивались о гусарскую невозмутимость бывшего полковника лейб-гвардии гусарского полка, во всех своих начинаниях опиравшегося на доверие и поддержку императора. Сам же, как свидетельствуют современники, «знал лишь одного государя» и этим все сказано. Как ни странно, но в мемуарной литературе почти нет о нем свидетельств его современников, хотя был и почетным членом Петербургской Академии наук, состоял в свите е.и.в., был членом Государственного совета (с 1853 г.).

Толь Карл Федорович (Карл Вильгельм) (09.04.1777 – 23.04. 1842) – граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Происходил из древнего немецкого дворянского рода. Прошел славный боевой путь в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах, обеспечивая разработку стратегических планов главнокомандующего. Во время Польской кампании 1830–1831 гг. был начальником Главного штаба Действующей армии под командованием И.И. Дибича.

В октябре 1833 г. без всяких на то предпосылок назначен главноуправляющим Департамента путей сообщений и публичных зданий. Случилось это после того, как Николай I высочайшему профессионализму Толя предпочел изящно отточенную личную преданность И.Ф. Паскевича, назначив последнего главнокомандующим над российскими войсками в Польше. М.А. Корф, лично его знавший почти десяток лет по Комитету министров и Государственному совету, суммируя свое мнение о нем и то, что слышал о нем из достоверных источников, так отзывался о Толе: «Все, следившие за его военным поприщем, все, видевшие его на поле сражения, единогласно называли его одним из первостепенных полководцев нашего века. При львиной личной храбрости он был отличный стратег, обладал огромными сведениями тактическими и имел весь огонь, весь гений истинного военачальника <…> Знаменитое движение на Калугу (речь идет о т.н. «Тарутинском маневре» русской армии после оставления Москвы. – *М.Р.)* было плодом его соображений; Мюрат был разбит при Чернишной по начертанному им плану <…> Вспыльчивый до бешенства в обычной жизни, он в начале дела становился вдруг ледовито-хлоднокровным, и это хладнокровие не оставляло уже его ни на минуту сражения; но с последним пушечным выстрелом возвращалась к нему опять и вся запальчивая его горячность»[53].

Не имея достаточных знаний и опыта в новой отрасли деятельности, Толь чрезмерно доверился помощникам, преследующим далеко не бескорыстные цели, и доказал на практике, что можно быть превосходным военачальником и никуда не годным администратором-хозяйственником. Его доверчивость привела к тому, что «кругом его и возле него

все воровало и мошенничало, как ни по какой другой части, а он, сам в высшей степени честный и благородный и потому не подозревавший лжи и в других, везде и перед всеми запальчиво отстаивал офицеров своего корпуса именно со стороны чистоты их правил!»[54]. Это было известно государю, который отзывался о нем после его смерти следующим образом: «Покойный граф Толь был человек честнейший, благороднейший, с самыми лучшими намерениями, но окружающие бессовестно пользовались его добродушием и поставили все вверх дном»[55].

В августе 1842 г. К.Ф. Толя на посту главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями сменил граф *Петр Андреевич Клейнмихель* (30.11.1793 – 03.02.1869) – генерал-адъютант (с 1826), генерал от инфантерии (с 1841).

Его карьерный взлет начался после назначения в марте 1812 адъютантом к всесильному графу А.А. Аракчееву. Проявил на этом месте, пишет баварский посланник Оттон де Брэ, «редкое послушание, пунктуальность и деятельность»[56]. В результате он уже в январе 1816 г. полковник и три года спустя становится начальником штаба управления военными поселениями и в 1820 г. произведен в генерал-майоры. Сохранил расположение всегда благоволившего к нему Николая Павловича и после отстранения от всех дел своего бывшего патрона Аракчеева и в мае 1832 г. получаил выгодное во всех отношениях место дежурного генерала Главного штаба е.и.в. С июня 1835 г. он уже директор Департамента военных поселений и одновременно директор Инспекторского департамента Военного министерства.

Вместе с министром императорского двора П.М. Волконским, обер-шталмейстером В.В. Долгоруковым возглавил строительную комиссию по восстановлению сгоревшего в 1837 г. Зимнего дворца. За проявленное усердие в этом деле, когда постройка была окончена за год с небольшим, в марте 1839 г. возведен в графское достоинство. Случилось так, что, как пишет М.А. Корф, «успех построения дворца обращен был в личную ему заслугу»[57], а потому, когда в ночь с 9 на 10 августа 1841 г. из-за технических просчетов обрушился потолок Георгиевского зала (не выдержали чугунные балки, на которых он покоился), то всюду стали громко говорить о личной же его ответственности за происшедшее и ожидали наказания. Но государь закрыл на это глаза – подумаешь, потолок. Тем более, что скоро все поправили.

С февраля 1842 г. член, а потом заведующий канцелярией Комитета по строительству железной дороги Петербург – Москва. Хотя, по свидетельству барона А.И. Дельвига, он «не только ничего не знал о финансовых и технических вопросах по устройству железных дорог, но и по недостатку образования не мог никогда приобрести о них никакого понятия и, сверх того, никогда не видел ни одной железной дороги. Несмотря на то, что Царскосельская железная дорога была открыта около пяти лет, он, часто бывавший у государя в Царском Селе, всегда ездил на лошадях». Но, получив новое назначение, тут же побывал на станции железной дороги и «тут в первый раз увидел парово-

зы, вагоны и рельсы». Это не саркастический выпад мемуариста против почти всеми нелюбимого Клейнмихеля. Директор департамента железных дорог сенатор К.И. Фишер, служивший вместе с Клейнмихелем, пишет, что он не имел понятия, что такое тендер паровоза, и искренне считал что это – морское судно. «Клейнмихель был совершенно чужд тех познаний, какие нужны в должностях, им занимаемых <…>. Он был груб со своими подчиненными <…>. Слава Клейнмихеля заключалась единственно в точном и скором исполнении; за всякую неточность государь "распекал" его, и он боялся его до безумия <…>. Трепет перед государем был в Клейнмихеле ужасен»[58]. Оттого, как он сам утверждал, и «любил» его государь, что тот просто-напросто боялся его[59].

Но Николай I, как пишет тот же Оттон де Брэ, «оценил в нем человека, отличавшегося неутомимой деятельностью, горячим рвением к службе <…>. Деятельный, беспощадный и неумолимый в выборе средств, он не признает трудностей и как будто хочет доказать, что на свете нет ничего невозможного. Он относится к людям, как к орудиям и машинам, не зная сострадания <…>. Его ненавидят и презирают»[60]. К.И. Фишер тоже удостоверяет, что «сознавая свою техническую неспособность, он опасался ошибок тем более, что сам не умел их видеть. В таком положении он полагал свирепостью внушить подчиненным столько страху, чтобы они сами опасались ошибки»[61]. Де Брэ не одинок в представленных суждениях. Так, по словам А.Н. Никитенко, одно время тесно общавшегося с Клейнмихелем, он – «ужас и бич для подчиненных. Генералы, и те трепещут перед ним, как овцы перед волком», он «на сцене своей службы <…> облекается в бурю, убежденный, что если хочешь повелевать, то должен быть зверем»[62]. Возможно, он таким образом вымещал на других свое чудовищное раболепие перед государем, ибо совсем другим бывал у себя дома – «любезен, учтив, гостеприимен – просто радушный хозяин. Жена его верх приветливости»[63]. Другой мемуарист, непосредственно работавший под его началом инженер путей сообщений, пишет о том, что Клейнмихель был «до крайности горяч, нетерпелив, необыкновенно энергичен, быстр в решениях и обладал характером твердым и, в особенности, независимым. Он не терпел ни малейшего вмешательства кого бы то ни было в дела, до него относящиеся»[64]. <...>

Как показывает сенатор Фишер, несколько облагораживая Клейнмихеля, «он жаждал власти из тщеславия <…>. Он тоже обманывал государя, но делал это не из предательства, а из страха, как дитя обманывает своего вспыльчивого отца, если по неосторожности изломало вещь, им любимую. Он гнал людей, неприятных государю, не из расчетов, а как раб, удаляющий от барина своего все, что может нарушить доброе расположение его духа»[65].

Но зато такое поведение сполна окупалось – уже в начале 1842 г. Никитенко записывает в своем дневнике: «Граф Клейнмихель всесилен при дворе. Он может сыпать милостями, крестами и чинами». И не

только, «охмелевший от царских милостей», он по своему ведомству издавал такие приказы, что «не знаешь, чему больше удивляться <…>, цинизму ли тона и выражений, или слепоте произвола, который идет напролом, не признавая ни причин, ни обстоятельств, ни закона». «И вот в каких руках сердце царево», – горько заключает Никитенко, не понимая, что на все была царская воля[66]. И что примечательно, Клейнмихель знал об истинном отношении к нему общества и был весьма удовлетворен этим, ибо, как заметила начальница Смольного монастыря М.П. Леонтьева, «сила Клейнмихеля при дворе будет расти по мере усиления к нему ненависти и презрения в обществе. В последнем видят залог большой преданности. Он как будто говорит: видите, я всем для вас жертвую, даже добрым именем; несу на плечах ненависть целого общества – и все это для вас и за вас»[67]. И Никитенко, соглашаясь с ней, заключает: «И в самом деле, это верно рассчитано: в эпоху угнетения можно выиграть, только обратив на себя всеобщую ненависть»[68]. Поэтому его отставка в октябре 1855 г. вызвала «общую радость» и все поздравляли «друг друга с победою, которая, за недостатком настоящих побед, – язвительно замечает Никитенко, – составляет истинное общественное торжество»[69]. Общественным откликом на это событие стали многочисленные рукописные стихотворения, широко распространившиеся во всех сословиях. Не упустила случая выразить свое отношение к концу политической жизни Клейнмихеля и ставшая уже статс-дамой А.Ф. Тютчева: «Это известие меня чрезвычайно обрадовало. Клейнмихель вызывает всеобщую ненависть, ему приписывают большую часть наших неудач, благодаря ему у нас нет ни шоссейных, ни железных дорог и в этой области администрации совершаются невероятные злоупотребления и хищения. Негодование против него было всеобщее»[70]. Как свидетельствует П.В. Долгоруков, после назначения военным министром А.И. Чернышева, в его ведомстве расцвело «воровство, доходившее до грабежа: Чернышев, Клейнмихель и Адлерберг брали подряды и поставки под чужим именем и делили между собой огромные суммы»[71]. Правда, сенатор Фишер пишет о том, что Клейнмихель «не участвовал, как Чернышев, в разных спекуляциях, и вообще был бескорыстен»[72], но здесь, видимо, какая-то ошибка, ибо М.А. Корф авторитетно пишет о бесконтрольном расходовании им казенных средств. Что касается слов Тютчевой об отсутствии железных дорог, то действительно, Клейнмихель был решительным противником частных железнодорожных компаний и выступал за исключительное право прокладки их возглавляемым им ведомством[73].

В заключение разговора о Клейнмихеле вновь вернемся к Фишеру, считавшему его «вредным государю» человеком. Вредность же его видел в том, что Клейнмихель приучил… <...>

Нессельроде Карл Васильевич (Карл-Роберт) (02.12.1780 – 11.03.1862) – граф, с марта 1828 г. вице-канцлер, с марта 1845 г. – государственный канцлер. Его происхождение настолько необычно, что об этом стоит сказать чуть подробнее: он был единственным сыном при-

нявшей протестантство еврейки из купеческой семьи во Франкфурте-на-Майне и немца-католика, не единожды в своей долгой жизни менявшего подданство. Родился в Лиссабоне (родитель был посланником в Португалии). Крещен по обряду англиканской церкви. В Россию попал уже в 16-летнем возрасте, так и не научившись в последующем правильно говорить и писать по-русски. Этому мешало и то, что он фактически чувствовал себя чужим в стране, где он жил, и национальные интересы которой должен был отстаивать как министр иностранных дел. Самый большой промах Нессельроде, находившегося под сильным влиянием австрийского канцлера К. Меттерниха, которого «считал себе наставником, учителем»[74], и покровительства благоволившего к нему Николая I, был в том, что они оба не сумели правильно разгадать прикрытые дипломатическим флером истинные цели ведущих европейских держав, что и привело к международной изоляции России, оказавшейся один на один с остальной Европой.

По характеристике П.В. Долгорукова, это был «немец происхождением и по своим понятиям, немец старого покроя; человек ума не обширного, но ума необыкновенно хитрого и тонкого, ловкий и вкрадчивый от природы <…>. Искусный пройдоха, обревший большую помощь в хитрости и ловкости своей жены-повелительницы – столь же искусной, как он, пройдохи и к тому же страшнейшей взяточницы, Нессельроде был отменно способным к ведению обыденных, мелких дипломатических переговоров. Но зато высшие государственные соображения были ему вовсе чуждыми. Поклонник Меттерниха, он считал его за идеал ума человеческого и всегда благоговейно, слепо и неразумно преклонялся перед этим самозванным божеством политики. Впрочем, ленивый от природы, он не любил ни дел, ни переговоров; его страстью были три вещи: вкусный стол, цветы и деньги. Этот австрийский министр русских иностранных дел, Нессельроде не любил русских и считал их ни к чему не способными; зато боготворил немцев, видел в них совершенство человечества»[75]. Стоит сказать о том, что сам превозносимый им канцлер Меттерних охотно и часто награждал его эпитетом «*маленький* Нессельроде»[76].

Но вот мнение о Нессельроде клеврета императора барона М.А. Корфа, высказанное им после пожалования его в канцлеры в 1845 г.: «Управляв Министерством иностранных дел более 30 лет; проведя Россию через все политические бури этого длинного периода не только здраву и невредиму, но и в сиянии славы; пользуясь общим уважением и России и в всех кабинетах Европы, столь же искусный и опытный дипломат, сколько вообще полезный государственный муж, давно уже вписавший свое имя в историю, граф Нессельроде действительно вполне заслужил эту награду»[77]. Одним из оправданий барону Корфу может служить то, что он это написал за 8 лет до Крымской войны, которая по существу была вызвана крайне неразумной политикой канцлера и его ведомства, работавших под неусыпным контролем императора, оказавшегося никудышным дипломатом. С другой стороны нельзя не учи-

тывать и некоторые черты автора комплиментов – барона М.А. Корфа, может быть, чуть предвзято, но по большому счету достоверно переданные П.В. Долгоруковым: «Барон Модест Корф, во всю жизнь свою бегавший за министерским портфелем, каким бы то ни было, <…> поймал наконец место вроде искомого им… Ныне три года, что он председательствует в департаменте законов Государственного совета. Человек довольно умный, хорошо воспитанный, хорошо образованный, до невероятности искательный, он неутомимо добивается наград, отличий и *прочего*. Покойный князь И.В. Васильчиков говаривал: “Корф, когда благодарит за полученную награду, тут же, кланяясь, испрашивает другую”. Способностей государственных он не имеет, но считает себя гением; всегда был ретроградом и ныне, на исходе седьмого десятка лет своих, еще пуще прежнего боится всяких реформ <…>»[78].

Напомним также, что в последние годы мрачного царствования Николая I Корф стал председателем Главного цензурного комитета, назначение которого было в том, чтобы подвергать еще одной цензуре и при необходимости преследовать сочинения, уже пропущенные общей цензурой. На этом посту Корф показал себя ревностным слугой императора.

Но как бы то ни было, К.В. Нессельроде, по замечанию еще его современников, был «единственный из министров, остававшихся на своей должности во все царствование Николая I, начавший править МИДом при Александре I и закончивший свою карьеру при Александре II. Одно это доказывает, что он был на своем месте»[79]. Но, при всем том, он не пользовался такими милостями Николая I, как Васильчиков, Чернышев и Волконской, и ходил в вице-канцлерах до самой старости.

Но вернемся к характеристике Нессельроде и приведем мнение о нем современника Оттона де Брэ, решительно отвергнувшего желание видеть в нем человека «блестящего ума, характера повелительного, с сильной и энергичной волей», поскольку ему удалось «снискать доверие двух, по уму и характеру, столь различных монархов, как Александр I и Николай I»[80]. Но это было бы большим заблуждением, ибо «он не обладал в сколько-нибудь значительной степени ни одним из этих качеств. Ни личные свойства, ни ум графа Нессельроде не представляют ничего выдающегося». Но чем же тогда брал граф? Очень просто: «состоя при монархе с твердым и подчас вспыльчивым характером, он <…> должен был оставаться несколько в тени и сумел это сделать в совершенстве <…>. Своей самоотверженной готовностью стушеваться и подчинить свою волю воле монарха, а равно <…> преданной службой граф Нессельроде приобрел доверие императора»[81]. Де Брэ также отмечает, что граф по характеру «спокойный и осторожный», «вежлив и доброжелателен» в отношении других, а также то искусство, с каким он сумел приспособить «к своему характеру систему “осмотрительности”» в политике.

Как и П.В. Долгоруков, де Брэ отмечает влияние на своего мужа графини Нессельроде – «по складу ума и в обхождении надменной и

повелительной, имевшей обо всем свое собственное вполне определенное мнение и подчиняющейся своим симпатиям и антипатиям»[82]. Об том можно было бы и не писать, но дело в том, что граф, «полагаясь на здравый ум» ее, «зачастую советуется с нею». Нетрудно представить, какие советы могла графиня давать супругу при таком своем характере.

Приведем мнение о Нессельроде его коллеги по дипломатическому цеху Фицтума фон Экштедта, относящееся к самому началу 50-х годов. Он тоже считает Нессельроде «приятелем Меттерниха», и убежденно утверждает, что в глазах Николая I был не более как «чиновник, которому оказывал доверие лишь настолько, насколько считал это потребным для дел». «Творческим умом он не обладал, но умел пользоваться чужими мыслями и уяснять их. Здравостию его суждений и способностью к упорной, неутомимой деятельности объясняется то, что он успел удержаться в своем положении в продолжении трех царствований. С особенной гибкостью умел он применяться и к обстоятельствам, и к расположению духа государей. Благодаря отличному знанию дел, ему удавалось обходить противоречия <…>. Решающего влияния он, по-видимому, не имел <…> на императора Николая, перед которым трепетал»[83]. Это, однако, не препятствовало ему считать, что Николай I «не был дипломатом», особенно в попытках решения «восточного» вопроса. Здесь император действительно руководствовался навязчивой, прямо-таки маниакальной идеей о Турции, как о «больном человеке», от которого надо освободить Европу. В частной беседе с австрийским графом Францем Зити Николай I говорил ему для передачи императору Францу Иосифу: «В Европе не может быть более терпимо, и он рассчитывает на то, что император австрийский, которого он любит как сына, сообща с ним положит конец гнусному порядку вещей на Босфоре и угнетению бедных христиан этими неверными бусурманами»[84]. В этих словах императора весь его характер – абсолютное неприятие не им установленных порядков и правил, неудовлетворяющих его собственное видение ситуации. Именно здесь надо видеть точку отсчета последующей общеевропейской изоляции и противостояния России, приведшей ее к поражению в войне.

Самоуверенность Николая I была такова, что он ничуть не сомневался в реализуемости его мыслей в отношении Турции. Объясняя основы подобного его ослепления, Фицтум фон Экштедт пишет <...>

А как мог противодействовать этому Нессельроде? Да никак. Он мог только «поправить, по своей привычке, очки на носу» и в узком кругу произнести: «Мой государь не дипломат!» Хотя, как утверждает один из современников, «никто более его не был проникнут убеждением, что завоевание Турции, если бы оно и удалось, было бы безумием, которое могло бы поставить на карту самое существование Русского государства»[85].

Панин Виктор Никитич (28.03.1801 – 12.04.1874) – граф, действительный тайный советник (с 1856). С апреля 1832 г. товарищ министра юстиции (при министре Д.В. Дашкове). В декабре 1839 г. стал управ-

ляющим министерством юстиции и с апреля 1841 по октябрь 1862 г. – министр.

По мнению П.В. Долгорукова, на характер и направление ума В.Н. Панина наложила неизгладимый отпечаток память о длительной опале его отца, бывшего при Александре I вице-канцлером. Результатом этой 36-летней опалы было то, что он, «столь надменный, сухой, непреклонный в отношении подчиненных, столь решительный в делах, от него зависящих, преображается перед лицом могущества и влиятельности при дворе в самого гибкого и льстивого царедворца. Это – человек широкого образования, большой энергии и ума замечательного, но с ним часто бывают затмения, и ему то и дело изменяет здравый смысл <…>. Это ожесточенный враг всякого прогресса», энергичный защитник… <...>

Не жаловал Панина и А.В. Никитенко, который, по его словам, «пылает такой ненавистью к просвещению и литературе, что беспрестанно предлагает какие-нибудь новые, стеснительные цензурные меры. Например, чтобы побудить цензоров к вящей строгости, он предлагает за всякое упущение немедленно подвергать их взысканию, а потом уже исследовать, точно ли дело стоило такого взыскания. Не значит ли это рассуждать прямо навыворот?»[86] В другом случае он пишет о том, что Панин и его сотоварищи, «кажется, помешались на том, что все революции на свете бывают от литературы»[87]. Мысль, созвучная представлениям самого государя, и отсюда все гонения на печатное слово. Стоит сказать, что Панин был ярым противником отмены телесных наказаний, полагая, что для этого не настала еще пора, ибо все еще слишком низок уровень развития и образованности народа.

К числу запоминающихся событий при его руководстве министерством надо отнести основание в 1852 г. Московского архива Министерства юстиции.

Но иное представление о нем дает отзыв его сослуживца – чиновника Министерства юстиции Н.П. Семенова: «В.Н. Панин был человеком выдающимся во всех отношениях из ряда обыкновенных людей. Он был огромного роста <…>, голос у него был внушительный бас, речь была плавная. Он обладал изумительным и чарующим красноречием, именно сжатостью выражения, красотою слова, удачным подбором эпитетов, сосредоточенностью мысли и ясностью того, о чем хотел говорить <…>. Память у него была необыкновенная. Образование классическое. Он обладал знанием обоих древних языков и ясно усвоил себе первоклассные европейские языки. Его начитанность была обширная, преимущественно в области истории и изящной литературы»[88]. Как удостоверяют лица, хорошо его знавшие, твердость в отстаивании своих взглядов в нем как-то «непротиворечиво» сочеталась с верностью престолу – воля самодержца была для него священна. Но вот что интересно, в Записках М.А. Корфа, так любившего давать характеристики высшим сановникам, не особенно их жалуя их при этом, о Панине приводятся только факты его участия – не всегда для него удачного – в обсуждении конкретных дел.

Киселев Павел Дмитриевич (08.01.1788 – 14.11.1872) – граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Успешная военная карьера Киселева не в последнюю очередь способствовала тому, что в 1836 г. он был поставлен во главе учрежденного при Николае I 5-го Отделения с.е.и. в. канцелярии и стал разработчиком плана создания Министерства государственных имуществ, которое и возглавил в январе 1838 г. Именно им в 1837–1841 гг. была подготовлена и проведена реформа управления государственными крестьянами, приведшая, с одной стороны, к некоторому смягчению остроты земельного вопроса в государственной деревне, но с другой – к мелочной чиновничьей опеке над крестьянами и усилению податного гнета, ввела массу совершенно ненужных должностей, дав тем самым возможность чиновникам жиреть за счет крестьян. «И вот в продолжение 18-ти лет можно было наблюдать странную и любопытную картину: честный министр стоял во главе воровского министерства»[89]. Распространить это начинание Киселева, которого Николай I называл «начальником своего штаба по крестьянскому делу», на помещичью деревню не пришлось, не дала этого сделать бюрократия, составляющая в России, по определению П.В. Долгорукова, «целую могущественную касту». Киселеву, по отзыву М.А. Корфа, «с обаятельным умом, с необыкновенным искусством покорять себе людей, с блестящими формами (имеются в виду его физические данные. – *М.Р.*), человеку, исполненному воображения, кипучей жизни, дальновидных государственных замыслов и отваги»[90], если у него и было желание «изменить быт» помещичьих крестьян, не удалось переломить ни нерешительность Николая I, его боязнь социальных перемен, ни умонастроения консервативно настроенного большинства дворянского сословия.

П.Д. Киселев, по оценкам и других современников, «обладал выдающимся умом, красивой внешностью, золотым сердцем»[91]. О том же пишет и П.В. Долгоруков: «Граф отличался замечательным умом, заменявшим ему знания, которых он не успел приобрести, так как начал службу очень рано[92] <…>. Последнее подтверждал в стихотворном отрывке о нем из стихотворения А. С. Пушкина «Орлов»:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего (II, 80)

«Да, граф Киселев, – делает заключение современник, коему известны эти строки поэта, – несмотря на его либеральные принципы, всегда оставался царедворцем и, как таковой, всю жизнь умел приноравливаться ко всем партиям, ко всем убеждениям»[93].

Свое собственное мнение о Киселеве сложилось у де Брэ на примере «главного участия» в принятии указа 1842 г. об обязанных крестьянах, считавшего его «убежденным противником крепостного права». На взгляд мемуариста, Киселеву для претворения в жизнь планов нововведений «недостает – как везде в России – надежных и честных подчиненных. Этим объясняется тот факт, что крестьяне относятся с недоверием ко всем нововведениям Киселева и нигде не оказывают содействия осуществлению его планов». Происходит это по той причине, что «большинство не признает его планы достаточно зрелыми и основательными», но «все признают, что граф Киселев человек умный, обладающий быстрым соображением, большим трудолюбием и честностью»[94]. Это был, пожалуй, единственный в окружении императора, не шедший на сознательный его обман, но вводивший верховного правителя в заблуждение своими не до конца продуманными нововведениями с неясными перспективами.

Адлерберг Владимир Федорович (10.11.1791 – 08.03.1884) – граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Закончил привилегированный Пажеской корпус, выпущен в лейб-гвардии Литовской полк прапорщиком, в составе которого участвовал в войне 1812 г. и заграничных походах. В 1817 г. был назначен адъютантом к вел. кн. Николаю Павловичу и по существу выполнял обязанности личного секретаря. После воцарения Николая, с декабря 1825 г., флигель-адъютант, сопровождал его в действующую армию во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. За одно это был произведен в генерал-майоры. Однако вскоре он уже генерал-адъютант и директор канцелярии начальника Главного штаба е. и. в., а затем начальник Военно-походной канцелярии, член Военного совета. В декабре 1833 г. произведен в генерал-лейтенанты. С 1841 г. управляющий, в 1843–1857 гг. – главноначальствующий над Почтовым департаментом. В 1842 г. был назначен членом Государственного совета. В 1843 г. произведен в генералы от инфантерии, в 1847 г. возведен в графское достоинство. В 1852 г. стал министром императорского двора, заместив умершего П.М. Волконского.

Мы помним, что с 1799 г. В.Ф. Адлерберг был неизменным товарищем по детским играм вел. кн. Николая. Он оставался одним из самых близких к нему лиц до самой его кончины. Неслучайно в своем завещании 1844 г. Николай I назначал Адлерберга одним из трех своих душеприказчиков, писав, что «с моего детства два лица были мне друзьями и товарищами; дружба их ко мне никогда не изменялась. Генерал-адъютанта Адлерберга любил я, как родного брата, и надеюсь по конец жизни иметь в нем неизменного и правдивого друга». Ему и его сестре Юлии, состоявшей воспитательницей при трех дочерях Николая Павловича, он просил назначить сверх получаемых по 15 тыс. рублей – так высоко ценил Николай Павлович товарища своих детских игр, терпеливо сносившего тогда все его выходки. По оценке П.В. Долгорукова, В.Ф. Адлерберг «отличается совершенным отсутствием ума, соображения и познаний: трудно встретить такую полную, совершенную,

безграничную бездарность. Дел он не понимает вовсе, занят лишь своими удовольствиями и добыванием какими бы то ни было способами денег, которые проматывает на свои удовольствия <…>. С подчиненными горд, как истинный глупец, и высокомерен, как истинный выскочка. Деньгами и подлостью через него можно все получить…»[95] По словам В.М. Шимана, граф на посту министра «был скорее наблюдателем, ибо постоянно вращаясь в придворном кругу, менее всего мог быть специалистом по почтовой части», потому почтовое ведомство во время его управления приносило одни убытки и дефицит доходил до 10 млн руб.[96]. А вот Д.Н. Милютин, сопровождавший государя в сентябре 1853 г. в его поездке в Варшаву и состоявший при возглавляемой В.Ф. Адлербергом Военно-походной канцелярии, пишет, что «нашел в нем приятного начальника, весьма обходительного, разумного и привычного к делам»[97]. Единственное значимое событие, пришедшееся на время его управления Почтовым департаментом – это введение в России по примеру передовых западноевропейских стран знаков почтовой оплаты – штемпельные конверты и почтовые марки. (Как известно, начало истории почтовой марки в России относится к 1 декабря 1845 г., «когда в Санкт-Петербурге в обращение поступили т.н. «штемпельные куверты» – конверты городской почты с круглыми штемпелями. Последний приравнивался к почтовой марке, а сами «штемпельные куверты» по их функциям – аналогичные современным маркированным конвертам. Штемпельные конверты для иногородней почты появились спустя три года – в 1848 г. Первая российская марка 10-копеечного достоинства появилась в 1858 г.) Но какова была в этом событии личная заслуга Адлерберга, источники не содержат на этот счет никаких сведений. Сколь велико было доверие и милость Николая Адлербергу, говорит тот факт, что он после смерти П.М. Волконского был назначен министром императорского двора с сохранением и своей прежней должности.

Меншиков Александр Сергеевич (11.08.1787– 19.04.1869) – светлейший князь, адмирал, генерал-адъютант. Карьера князя Меншикова, по всеобщему признанию, «столько же острого, сколько колкого и злоязычного»[98], шла по восходящей еще при Александре I – он настолько близок к императору, что всегда сопровождает его во время частых поездок монарха по России и за границу. По образным словам современника, «не выходил, как говорили, из коляски государя десять лет»[99]. Характер отношений между ними таков, что Меншиков в 1821 г. вместе с Н.Н. Новосильцевым и графом М.С. Воронцовым с ведома императора составляет проект освобождения крестьян. Но Александр I ко времени написания документа уже не прежний правитель с либеральными мечтаниями, – проект отклонен, а за князем, имевшим много ненавистников из-за своего острого языка, не щадившего ни друзей, ни врагов, надолго закрепилось звание вольнодумца и либерала. Все поступки князя в эту пору, свидетельствует мемуарист, составляли «верные признаки вольнодумства, которое было в большой моде. Менши-

кова отзывы переходили через все уста <…>. Он сделался предметом общего удивления»[100]. При всесильном А.А. Аракчееве – любимце царя – обстоятельства таковы, что князь за год до смерти Александра I лишается генерал-адъютантства и выходит в отставку и, поселившись у себя в деревне, он, благодаря случаю, почти что от нечего делать, начинает изучать морское дело.

После воцарения Николая I он возвращен на службу, вновь стал генерал-адъютантом и с февраля 1836 г. управляет Морским министерством, одновременно являясь финляндским генерал-губернатором. Князь славился своей находчивостью и остроумием и был любим не только Николаем Павловичем, но пользовался расположением всего его семейства, в кругу которого был частым и желанным гостем[101]. И не удивительно – князь в большом свете предстает как на картинке: «прекрасный, стройный, с умными и добрыми темно-синими глазами и саркастической улыбкой, кавалер александровского двора, который отличался тонкостью и изяществом приемов <…>. Удивительно, как в Меншикове тесно соединялся повеса с глубокомысленным мужем, и это было всегда так»[102]. Не один год управлявший канцелярией финляндского генерал-губернатора и близко узнавший своего патрона Фишер пишет, что в Меншикове удивительным образом сочетались «вольнодумство XVIII века, честолюбие царедворца и родовая скупость – три элемента, подавлявшие движение его благородного сердца и помрачавшие свет его необъятного ума! – Эти противники боролись в нем без устали, но в конечном результате добрые элементы часто подчинялись дурным. Рожденный с необыкновенной независимостью характера, он противился всякому понуждению, даже и тогда, когда понуждение направляло его в область собственных его наклонностей»[103].

В Меншикове соединились и другие, по отзыву современника, «странные противоречия: строгий судья ума, ищущий беспристрастных действий по службе, он часто отъявленных дураков считал за способных, или выбирал себе в поверенных людей совершенно неуважительных, которые сообщали ему втайне сведения лживые, и таким образом вводили его в поступки, противные его правилам»[104]. Надо сказать, что эти «беспристрастные действия» привели к тому, что Меншиков стал постепенно терять в глазах все более и более снижавшего свой порог восприятия лести государя, когда честно и прямо высказываемые Меншиковым мнения о тех или иных проектах «расширяли тот овраг, который стал отдалять государя от его министра, которого он еще в 1830 г. считал почти за единственно честного и способного человека», и в конечном счете привели к тому, что у Николая Павловича закрепилось за ни название “*спорщика*”»[105]. Впрочем, это не совпадает со свидетельством поверенного в делах саксонского посольства в Петербурге Фицтума фон Экштедта о том, что в конце царствования Николая I Меншиков «принадлежал к числу немногих лиц, которые пользовались полным доверием Николая I и осмеливались все высказывать ему. Делать это, конечно, нужно было осмотрительно и помимо правды подслащать шут-

кой. В этом искусстве князь Меншиков не имел себе равных»[106]. Известен отзыв Николая I о Меншикове, относящийся к июню 1854 г.: «Благородная душа, искренний друг и верный слуга»[107]. И все же, видимо, и ему не всегда удавалось все сгладить шутками-прибаутками, своими знаменитыми остротами. Не отказался он от них и после смерти своего покровителя. Как пишет генерал В.А. Докудовский, «в одной беседе, где находился и князь Меншиков, рассуждали, какой бы дать эпитет 25-летнему (30-летнему. – *М. Р.*) царствованию Николая? Сторонник покойного императора, отъявленный фрунтовик, сказал, – "*мудрого*", на что светлейший острослов тут же возразил: "Разве *мудреного*"»[108]. А ведь как точен в оценке царствования князь...

Наделенный умом, князь был разносторонне образованным, что не преминул отметить и будущий военный министр Д.А. Милютин[109]. Он обладатель тщательно подобранной библиотеки, насчитывавшей до 50 тыс. томов книг, имел блестящую память и отличные знания<...>

Самый большой его неуспех в жизни был связан с тем, что на посту главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму (1853–1855) во время Крымской войны не проявил должных качеств полководца и допустил серьезные просчеты как стратегического, так и тактического плана, позволив высадку неприятеля в Евпатории, проиграв сражения при Альме, при Балаклаве и под Инкерманом, не укрепив должным образом Севастополь со стороны суши. Уже в ходе военных действий его упрекали «в апатии и беззаботливости, недоверии ко всем подчиненным, в невнимательности к воинам <…>. Он не счел нужным устроить при себе правильно организованный штаб, а потому не было ни правильного делопроизводства, ни порядка в распоряжениях <…>. Присланный в Севастополь <…> инженер-подполковник Тотлебен, выказавший свои военные способности под Силистрией, был принят князем Меншиковым с таким пренебрежением, что в первое время оставался вовсе без дела»[110]. Д.А. Милютин в прямую вину Меншикову ставит то, что, имея численное превосходство в живой силе, он не сумел из состояния пассивной обороны под Севастополем перейти в наступление. На его взгляд, произошло это потому, что князь «не обладал ни дарованиями, ни опытностью полководца и не имел при себе ни одного доверенного лица, кто мог бы, его именем, вести дело с умением и энергией <…>. Меншиков не хотел или не умел составить себе хороший штаб»[111]. Все так, но Милютин не учитывает других обстоятельств. Дело в том, что дворцовая камарилья во главе с А.Ф. Орловым делала все для личного неуспеха Меншикова, не думая о том, что этим они прежде всего вредят России. Так, после проникновения неприятельских войск на южную сторону Севастополя, Николай I сказал своим приближенным, что фельдмаршальский жезл Меншикова у него на столе, пусть только князь вынудит союзников снять осаду города, тогда приедет его взять. Но второго Инкерманского сражения не могло быть по той причине, что люди в окружении императора, гораздо более страшившиеся того, что Меншиков исполнит желание императо-

ра, чем разгрома собственной армии, сделали все, чтобы у князя не оказалось нужного количества боеприпасов и снаряжения[112].

Но каковы бы ни были военные обстоятельства надвигавшегося краха, итог бездеятельности Меншикова, упустившего время для начала наступления, известен. «Из всех действующих лиц кровавой Севастопольской драмы, – заключает Милютин, – самая жалкая роль выпала на долю главнокомандующего князя Меншикова. С самого начала войны и особенно со времени высадки союзников в Крыму, он возбуждал общее недоверие, как в своих войсках, так и в Петербурге. При желчном характере и болезненном расстройстве, ряд испытанных неудач окончательно подорвал в нем энергию и самоуверенность»[113]. А царь до последнего дня возлагал на него надежды, тщетно уговаривая – «нельзя нам оставаться в бездействии»[114]. Князь был снят с должности и заменен М.Д. Горчаковым, когда Николай уже лежал больной и ему едва достало сил для одного из последних своих распоряжений. И тут же в обществе распространилась очередная острота князя – за неуспех всей кампании он будто бы извинялся перед императором следующей фразой: «Que voulez-vous, Sire, vous avez un ministre de la guerre qui n'a ni senti, ni inventé, ni envoyé la poudre» («Что вы хотите государь! У вас такой военный министр, который ни нюхал, ни выдумал, ни присылал пороха» – *фр.*). И это так – пороха явно было недостаточно.

Васильчиков Илларион Васильевич (1776? – 21.02.1847) – князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. С 1838 г. одновременно председатель Государственного совета и Комитета министров. Любопытны обстоятельства его назначения на эти посты.

Если это даже просто анекдот, то он показателен.

После смерти 8 апреля 1838 г. председателя Государственного совета Н. Н. Новосильцева возник вопрос о преемнике. И вот какую характеристику дал возможным кандидатам сам Николай: «Более всего озабочивает меня теперь вопрос о преемнике графу. Есть человек, душевно преданный мне и России, высоких чувств, всеми любимый и уважаемый, но от которого по слабости здоровья почти совестно потребовать такой жертвы, да едва ли и сам он согласится, – это граф (после князь) Илларион Васильевич (Васильчиков); беда еще и в том, что он глух, смертельно глух! Всех способнее в этой должности был бы, конечно, во всех отношениях Михайло Михайлович (Сперанский), но, боюсь, что к нему не имели бы полной доверенности: он мой редактор (Сперанский управлял в то время II Отделением с.е.и. в. канцелярии) и потому его стали бы подозревать в пристрастии ко мне. Граф Литта (Юлий Помпеевич (Джулио Ренато Литта-Висконти-Арезе) – граф, обер-камергер, член Государственного совета скончался в 1839 г. на 76-м году жизни) тоже человек с высокими достоинствами, которым я отдаю полную и душевную справедливость, но у него не русское имя и притом он католик. Князь Александр Николаевич (Голицын) не годится ни по способностям, ни по летам. Оставался бы еще граф Петр Александрович (Толстой), но этот тяжел, ленив и тоже не годится».

Но все же выбор сделал в пользу Васильчикова, который согласие свое объяснил Корфу так: «Я принял это звание с тяжким сознанием своей малоспособности, с уверенностью даже, что оно разрушит последние остатки слабого моего здоровья; но принял и счел противным долгу совести от него отказаться собственно в виду тех ничтожностей, которые находил вокруг себя в числе кандидатов»[115].

Согласие 62-летнего Васильчикова на занятие нежелаемой им должности, несомненно, было определено тем, что он видел в Николае «идеал, олицетворение монархического начала <…> и боготворил его». В свою очередь Николай, по словам М.А. Корфа, «уважал и любил Васильчикова как преданного друга». «Теперь 22 года, – говорил в 1839 г. Николай I, – что мы с ним знакомы и я привык любить и уважать его, сперва как начальника, а теперь как советника и друга. Это самая чистая, самая благородная, самая преданная душа»[116]. «Он был единственный человек в России, который во всякое время и по всем делам имел свободный доступ и свободное слово к своему монарху, человек, которого император Николай не только любил, но и чтил, как никого другого; один, в котором он никогда не подозревал скрытой мысли, которому доверялся вполне и без утайки, как прямодушному и благонамеренному советнику, почти как ментору; один, можно сказать, которого он считал и называл своим другом!»[117] Неслучайно Николай Павлович был особенно щедр в отношении «осчастливленного его благоволением», во всем послушного Васильчикова. М.А. Корф в своих записках перечисляет то, что Васильчиков получил за семь лет (1838–1845) пребывания председателем Государственного совета и Комитета министров: «6 декабря 1838 г. старшая дочь пожалована в фрейлины; 1 января 1839 г. он с потомством возведен в княжеское достоинство; 14 апреля 1840 г. аренда в 12 тыс. руб. серебром на 24 года; 14 апреля 1841 г. портрет государя для ношения на шее; 1 января 1843 г. пожалована во фрейлины вторая, 10-летняя дочь его» и т.д. и т п. «Кроме этих наград, государь беспрестанно, можно сказать, ежедневно, осыпал князя знаками милостивого своего внимания», – с долей зависти заключает Корф[118].

В появившемся в газетах некрологе было специально отмечено, что «князю Васильчикову, в высоком его положении, сужден был удел, редкий и для частных лиц: стяжав общее уважение, общую доверенность к своему характеру, он не имел ни одного врага»[119]. Наверное, это так, ибо даже язвительный П.В. Долгоруков, не жаловавший николаевских министров, не нашел ничего худого, что бы сказать о нем, впрочем, как и хорошего: просто обошел вниманием.

После смерти Васильчикова его обязанности председателя Государственного совета и Комитета министров стал исполнять граф *В.В. Левашов* (10.10.1783 – 23.09.1848) как старший из председателей департаментов. В таком положении он пребывал до декабря 1847 г., когда был назначен не председателем, а председательствующим Совета, с оставлением и председателем Департамента экономии. А в сентябре следующего года он умер от холеры, «не имев утешения видеть

себя настоящим председателем Государственного совета», злословили современники. «Отличительными чертами графа, при усердном и безотчетном исполнении воли царской, были: тиранический деспотизм над всем, от него зависевшим, и, несмотря на очень ограниченную способность к делу, безмерное тщеславие <…>. В публике он не пользовался ни особым доверием, ни большим уважением. Кто-то дивился, как он мог подпасть холере при своем постоянно умеренном образе жизни. “Да, – отвечал один из острословов, – надо отдать ему справедливость; он всегда был умерен – и не только в образе жизни, но во всем: в уме, в способностях, в правилах…” Замечательно, как тщеславие Левашова выразилось даже в одном из предсмертных его распоряжений. Он завещал положить себя в гроб – в новом парике, в котором не было бы ни одного седого волоса»[120]. По отзыву сенатора А.В. Кочубея, когда-то служившего под началом Левашова, офицеры не любили его за чванство и фанфаронство. Причем был не только «весьма неприятный начальник», но «пренесносный человек», «весьма плохо знал службу, а занимался мелкими эскадронными учениями <…>. Человек он был вообще не глупый, но пустой <…> был жесток с нижними чинами: многих солдат и унтер-офицеров вогнал в чахотку, беспощадно наказывая их фухтелями*». А.С. Меншиков, по словам К.И. Фишера, «очень метко называл государственным жеребцом», напыщенным «фразером без маски», по каждому случаю проявлявшим свой административный раж, как и подобает холопу[121].

И наконец, из николаевских министров нельзя не сказать и о *Дмитрии Николаевиче Блудове* (05.04.1785 – 19.02.1864), графе, действительном тайном советнике (с 1839).

Двоюродный племянник Г.Р. Державина, получивший прекрасное домашнее образование Д.Н. Блудов унаследовал от своего знаменитого родича раннюю тягу к литературному творчеству, с юношеских лет увлекаясь переводами, критическими эссе, жанром эпиграммы и пр. Заметно выделялся среди других молодых литераторов своего времени и в 1815 г. стал одним из основателей и активных членов знаменитого литературного общества «Арзамас». Дружил со своими сверстниками К.Н. Батюшковым, В.А. Жуковским.

Государственную службу начал юнкером в Коллегии иностранных дел и даже удостоился состоять при «гуманном, человеколюбивом» статс-секретаре И.А. Каподистрии, имевшем «ум высокий и блистательный вместе», «благородство душевное» и отзывчивость к «всякой благородной мысли»[122]; был советником, а затем поверенным в делах российского посольства в Лондоне.

Его карьерный взлет начался с воцарением Николая I, когда по рекомендации Н.М. Карамзина был включен в состав Верховной следст-

---

* *Фухтель* – удар по спине обнаженной шпагой, саблей плашмя (Даль. Т. IV. С. 540). – *Прим. сост.*

венной комиссии по делу декабристов и ему, хорошо владевшему пером, было поручено написать доклад этой комиссии, послуживший основой для приговора так называемого Верховного уголовного суда, что принесло ему место статс-секретаря е.и.в. По словам П.В. Долгорукова, Блудов впоследствии раскаивался в том, что имел слабость включить в свой доклад ряд оскорбительных инсинуаций, продиктованных лично Николаем I. Генерал от инфантерии Г.И. Филипсон, по отцу имевший английские корни, прямо пишет в своих воспоминаниях, что в рапорте следственной комиссии «находится множество умышленных неточностей и видно желание выставить все дело и деятелей в жалком и смешном виде. Редактором (составителем. – *М.Р.*) этого донесения был граф Блудов, который потом в свою долгую жизнь раскаивался в этом поступке»[123]. Действительно, Блудов и много лет спустя, со слезами на глазах произносил: «Да! Бывают минуты, что сделаешь то, что хотел бы искупить своею кровью! В одном только я не знаю за собой упрека, это в отношении денежном; я всегда был чужд стяжанию, и никогда руки мои не касались чужих денег»[124]. И это так – на местах и должностях, которые он на протяжении своей службы занимал, недобросовестный или, прямо скажем, вороватый сановник мог озолотиться, Блудов же остался, по понятиям своего круга, бедным, и у него при вечернем чае на столе «являлся самовар *медный*» – чрезвычайно редкое для роскошествующей столицы явление.

Д.Н. Блудов в 1826–1828 гг. был товарищем министра просвещения А.С. Шишкова, временно управлял Министерством юстиции, в 1831–1832 гг. товарищ министра, а с февраля 1832 по февраль 1839 г. – министр внутренних дел. Любопытно, что на этом посту в ноябре 1837 г. получил от педантичного государя строгий выговор за то, что послал доклад ему лично, а не обычным порядком через статс-секретаря С.А. Танеева; секретарь Блудова был посажен на гауптвахту[125]. Несколько месяцев в 1838 г. побывал и министром юстиции и, наконец, в течении более двух десятков лет (1839–1862) являлся главноуправляющим II Отделением Собственной е.и.в. канцелярии и председателем Департамента законов Государственного совета, членом которого был еще с 1832 г. Именно под его руководством II Отделение выпустило два издания Свода законов (1842 и 1857) и разрабатывало «Уложение о наказаниях» (1845). Но пожалуй, главная его заслуга состоит в том, что в 1848 г. именно он отстоял университеты, которые Николай I по наущению Чернышева, Клейнмихеля и особенно Д.П. Бутурлина, любой ценой стремившегося занять пост министра просвещения, хотел было прикрыть на неизвестный срок.

Как и любая неординарная личность, Блудов заслужил у современников неоднозначную оценку – от восхищенных до сугубо отрицательных. По мнению П.В. Долгорукова, граф Блудов «человек весьма умный, обладает обширными сведениями и отличным даром слова; среди своих многочисленных и часто утомительных служебных занятий он всегда находит время читать журналы, книги и следить за ходом мыс-

ли человеческой <…>. При его необыкновенно счастливой памяти беседа с графом Блудовым представляет истинное наслаждение: он бесспорно один из самых приятнейших собеседников в Европе»[126]. Князь отмечает также «чрезвычайную мягкость» его характера, его скромность и краткость, «доброту душевную», «приветливость в обхождении», а еще «непобедимую гордость», не позволявшую ему что-либо просить у государя для себя лично[127]. Но вот характеристика Блудова, прозвучавшая из уст другого его современника – известного публициста, славянофила А.И. Кошелева: «Характером был слаб и труслив. В те дни, когда он отправлялся к императору (Николаю I), он был весь не свой: не слушал, не понимал того, что ему говорили, вскакивал беспрестанно, смотрел ежеминутно на часы и непременно посылал поутру сверить свои часы с дворцовыми. Зато когда возвращался от императора, не получивши нагоняя, он был детски весел, не ходил, а летал по комнатам»[128]. По интонации отзыва чувствуется, что мемуаристу хочется в чем-то упрекнуть Блудова, но обидного для последнего в его словах мало – грозного императора боялись все, а уж «доброму душой» Блудову император был страшнее дьявола, оттого и трусил. Дадим слово и французскому писателю, актеру, офицеру на российской службе Ипполиту Оже, лично знавшему Блудова. <...>

Достаточно критический отзыв современников о Блудове передает А.В. Никитенко, сам лично считавший его человеком не злым и образованным: «Знающие его близко, правда, считают его поверхностным, болтливым, охотником до беспочвенных идей и до воздушных замков, которые он принимает за гениальные создания мысли <…> Я сам видел <…> проект Блудова о преобразовании университетов: это замечательный хаос. В нем, между прочим, выдаются за новые многие положения, уже давно вошедшие в закон или обычай университетов»[129]. Кажется, в этом отзыве есть некий элемент ревности человека, многие годы трудившегося на ниве просвещения и не достигшего высоких государственных постов. В другом случае тот же Никитенко пишет о том, что его радует «живость и теплота отношений [Блудова] ко всему, что касается ума, знания и поэзии»[130]. Приветствует Никитенко и назначение Блудова президентом Академии наук – «он человек просвещенный, любящий науку и литературу», на этом посту он «так хорошо знает дела академические и так верно о них судит. Ни одного вопроса, ни одной бумаги не оставил он без внимания и без своих весьма дельных замечаний или объяснений»[131].

Из перечисленных министерств три были учреждены Николаем Павловичем. В существующем составе правительства не меньшими, чем Васильчиков, милостями пользовался А.И. Чернышев, далеко не блестяще проявивший себя на этом поприще, чему страшное по своей сути свидетельство – поражение в Крымской войне, пожалуй, неизбежное при том отставании русской армии в вооружении, при недостатке самых необходимых военных припасов, обмундирования, пищевого довольствия. Между тем Чернышев за время управления министерством после-

довательно получал титул князя, потом светлейшего князя. Один из современников такую благосклонность царя предположительно объясняет так: «В сделанных упущениях государь, быть может, брал вину на себя, так как всем, что касалось до военного ведомства, фактически управлял он сам, оставляя Чернышеву лишь роль исполнителя»[132]. В ноябре 1848 г. после смерти Васильчикова он был назначен председателем Государственного совета и Комитета министров с сохранением прежних званий и должностей (до начала потрясшей основы Николаевской России войны оставалось пять лет). С тех пор, как Чернышев сел на председательское место в Государственном совете, в нем «воцарилось канцелярство, – пишет К.И. Фишер. – Хлопотали уже не о том, как решить вопрос получше, а о том, как бы спустить дело поскорее, как бы угодить приятелю или фавориту, как бы насолить врагу или опальному, а в присутствии вместо речей Е.Ф. Канкрина и Д.В. Дашкова слышались болтовня Д.Н. Блудова, софизмы В.Н. Панина или *то бе* или *не бе* Ф.П. Вронченки»[133]. При увольнении от должности по старческой своей немощи ему дан в собственность казенный дом, в котором он жил. Секрет необыкновенного благоволения императора к Чернышеву в том, что он умело подлаживался под вкусы императора. Как пишет баварский посланник Оттон де Брэ, Чернышев, «обладая превосходной памятью и *точным знанием всех мелочей службы* (военной. – *М.Р.*), он сумел навести образцовый порядок в управлении своим министерством»[134].

Показательно то, как в условиях строгого чинопочитания эти мужи воспринимали друг друга во внеслужебное время. На этот счет выразительную зарисовку оставил князь С. Н. Трубецкой, частенько бывавший в Зимнем дворце в 40-е гг. XIX в. (он директор Эрмитажа) и в ожидании прихода членов царской семьи на богослужение в малой церкви наблюдавший за сбором придворных и именитых вельмож: «По очереди появлялись в ротонде: военный министр, всемогущий князь А.И. Чернышев с громадным париком и надменным взором, маленький кудрявый князь Паскевич; всегда вежливый и обходительный, лысый старичок А.Х. Бенкендорф; уже сгорбленный, престарелый министр двора кн. П.М. Волконский в мундире дворцовых гренадер, красивый и величественный князь А.Ф. Орлов, маститый председатель Государственного совета кн. И.В. Васильчиков, фатоватый, корректно причесанный граф В.В. Левашев и невзрачный граф Клейнмихель с ехидной улыбкой на устах.

Все эти временщики беседовали вполголоса о злобах дня, многозначительно перемигивались; рукопожатия тоже имели свою цену. Так, Чернышев, герой Касселя, когда-то сопровождавший Наполеона на полях Ваграма и часто беседовавший с ним в Париже в дни его могущества, подавал нехотя два пальца победителю Эривани и Варшавы и почти не замечал Левашева или Клейнмихеля, подобострастно подходивших к нему. Но тот же Чернышев признавал, однако, кн. Васильчикова, сухо, но вежливо обходился с Бенкендорфом и Орловым, а когда входил кн. П.М. Волконский, то ему полагался особый почтительный поклон»[135].

По отзыву сенатора П.Г. Дивова, наибольшим влиянием у Николая I пользовались П.М. Волконский, А.Х. Бенкендорф, А.И. Чернышев, А.С. Меншиков. За ними шли К.В. Нессельроде, Д.В. Дашков и Д.Н. Блудов. «Нет той вещи, – добавляет Дивов, – которую эти три министра не могли бы исходатайствовать у императора для тех лиц, коим они покровительствуют, но им приходится прилагать большое старание для того, чтобы государь принимал их мнения в делах»[136].

Как же к ним действительно относился Николай I, как он их оценивал, видно из рассказа состоявшего секретарем при А.С. Меншикове 24-летнего К.И. Фишера (будущего сенатора), случайно оказавшегося, находясь в соседней комнате, свидетелем разговора своего патрона с императором после длительного отсутствия первого в столице. «Государь, – пишет Фишер, – сказал с тяжелым вздохом: “Слава Богу, что ты приехал; не можешь вообразить, в каком я положении, не с кем посоветоваться” и стал перечислять людей с прибавлением весьма некрасивых эпитетов. Каждое слово государя отзывалось во мне, как удар ножа. Как будто завеса спадала с глаз моих <…> Государь, дойдя, если не изменяет мне память, до Чернышева, назвал его скотиною <…> Из столовой слышался громкий, откровенный смех государя»[137]. Смехом и ограничивалось – все оставались на своих местах, и все сохранялось.

Из перечня министров видно, что все они – обладатели графских или княжеских титулов. Правда, титулом князя, и особенно светлейшего, он жаловал далеко не всех, а только тех, кто, на его взгляд, имел за своими плечами чрезвычайные государственные заслуги. Кроме не всегда действительно заслуженных высоких титулов, всех их сближала одна общая черта поведения – абсолютная покорность воле монарха, отсутствие малейшей тяги к проявлению деловой инициативы. Однако эта особенность министров была в них заложена не на генетическом уровне, а привита самим императором. Во все годы своего правления Николай Павлович «требовал от своих министров не самостоятельных действий, а лишь исполнения его предначертаний и приказаний. При таких условиях не могло быть выдающихся по своей инициативе министров»[138]. В результате все они «были прежде всего озабочены тем, чтобы точнее исполнить волю государя; никому не приходило в голову проводить вопреки этой воле собственные доктрины. Николай Павлович и не потерпел бы этого, но все же большое преимущество действовать с помощью людей, которые желают исполнять царскую волю и не помышляют о водворении мимо царя своей личной политики. К такой выгодной обстановке присоединялся и личный характер государя, честный, твердый, отчетливый, однако и он изменялся на императорском троне.

Посвятив 10 лет на приведение в порядок России, он во второе десятилетие стал уже запутываться, и третье десятилетие представляло уже период разложения»[139].

В какой мере стремление замкнуть все на себя вредило делу, показывает в своих воспоминаниях будущий военный министр Александра II

Д.А. Милютин. Последние 12 лет правления Николая I очевидец того, что происходило в Военном министерстве. Летом 1853 г., когда русские войска вступили в Дунайские княжества, но война еще не была объявлена и сохранялась возможность избежать ее при консолидации внутренних усилий, мобилизации лучших умов, Николай I, как и ранее, свидетельствует Милютин, предпочитал «лично руководить военными делами…» <...> не допуская до них даже наследника[140].

Картина функционирования существующей власти не будет полной без представления тех, кто возглавлял столичную администрацию, кто начальствовал в губерниях. Говорить обо всех из них, конечно же, нет никакой возможности, потому остановимся, как представляется, на типических персонажах николаевского времени, опять-таки прибегнув к свидетельствам современников.

Барон (впоследствии граф) М.А. Корф, последовательно занимавший посты управляющего делами Комитета министров, государственного секретаря, члена Государственного совета, как никто другой знал власть на всех ее уровнях, так сказать с изнанки, и в своих записках оставил блестящую зарисовку одного из представителей петербургской администрации. Дадим ему слово. <...>

А вот еще один из многих одиозных персонажей николаевского времени – генерал-губернатор харьковский, полтавский и черниговский князь Н.А. Долгорукий, по аттестации М.А. Корфа, человек «умный, но очень расточительный, и проживавший всегда больше, чем получал. В результате он растратил 43 тыс. руб. Перед своей смертью весной 1847 г. он написал два письма на имя Николая I и наказал одно письмо отправить сразу после кончины, а другое – некоторое время спустя. В первом он поручал участь своей семьи монаршему милосердию. Николай Павлович любил в таких случаях проявлять патернализм и сразу же назначил вдове солидную пенсию в 4 тыс. руб. Во втором письме князь сознавался, что истратил казенные деньги. Реакция царя естественна: “Если так поступил мой наместник, генерал-адъютант, член, по роду и положению, высшей нашей аристократии, то чего же ожидать от людей обыкновенных, и какое остается мне иметь доверие к людям равным ему, к его товарищам. Гадко, мерзко, отвратительно”»[141]. Ну, что тут можно сказать, только посочувствовать Николаю и упрекнуть его – надо было знать, кого сажать на такую должность, ибо пристрастие князя не было секретом. <...>

Примечания

1 Из записок барона (впоследствии графа) Корфа // РС. Т. 103. № 7. С. 38.

2 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992. С. 370.

3 *Панаев В.И.* Воспоминания // РС. 1892. Т. 76. № 11. С. 279.

4 Там же.

5 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 145.

[6] Там же. С. 277.
[7] Там же. С. 176.
[8] Там же. С. 179.
[9] Там же. С. 241.
[10] *Брэ О. де*. Император Николай и его сподвижники (воспоминания графа Оттона де Брэ. 1849–1852) // РС. 1902. Т.109. № 1. С. 129.
[11] Барон Модест Корф. Записки. М., 2003. С. 444.
[12] *Милютин Д.А*. Воспоминания. 1843–1856. М., 2000. С. 182.
[13] Там же. С. 227.
[14] *Долгоруков П.В*. Петербургские очерки. С. 170, 286.
[15] Там же. С. 179.
[16] Из дневника барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // РС. 1904. Т. 117. № 1. С. 89.
[17] *Шиман В.М*. Император Николай Павлович // РА. 1902. Кн. 1. № 3. С. 466.
[18] Правда о России, рассказанная кн. П.В. Долгоруковым. Т. II. М., 1961. С. 87–88.
[19] Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // РС. 1899. Т. 99. № 8. С. 282.
[20] Цит. по: *Никитенко А.В*. Моя повесть о самом себе и о том, чему «свидетель в жизни бы». Записки и дневник (1804–1877 гг.). Т. 1. СПб., 1904. С. 503–504.
[21] Там же. С. 504.
[22] Там же.
[23] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 112. № 5. С. 431.
[24] Из дневника барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // РС. 1904. Т. 118. № 6. С. 568.
[25] *Никитенко А.В*. Моя повесть о самом себе... С. 274.
[26] *Герцен А.И*. Былое и думы // Соч. В 9 т. Т. 5. М., 1956. С. 192. Рассказ об устроенной «иллюминации» в Петербурге в связи с назначением Вронченко министром см.: РС. 1875. Т. XII. № 3. С. 639; Исторические рассказы и анекдоты из жизни русских государей и замечательных людей XVIII и XIX столетий. СПб., 1885. С. 246.
[27] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 111. № 6. С. 829.
[28] Там же. С. 801.
[29] Там же. Т. 112. № 5. С. 433.
[30] *Герцен А.И*. Былое и думы // *Герцен А.И*. Соч. Т. 5. С. 192.
[31] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. № 6. С. 830.
[32] *Брэ О. де*. Император Николай и его сподвижники. С. 135.
[33] Записки барона М. А. Корфа // РС. Т. 100. № 12. С. 488.
[34] *Долгоруков П.В*. Петербургские очерки. С. 355, 323.
[35] *Фицтум фон Экштедт К.-Ф*. В виду Крымской войны. Заметки дипломата при Петербургском и Лондонском дворах. 1852–1855. // РС. 1887. Т. 54. № 5. С. 388.
[36] *Брэ О. де*. Император Николай и его сподвижники. С. 128.
[37] Там же.
[38] Цит. по: *Федорченко В*. Императорский дом. Выдающиеся сановники. Т. II. Красноярск; М., 2001. С. 173.
[39] *Брэ О. де*. Император Николай и его сподвижники. С. 128.
[40] *Каратыгин П.А*. Записки. Л., 1970.

[41] *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература 1826–1856 гг. СПб., 1909. С. 120.
[42] *Каратыгин П.П.* Бенкендорф и Дубельт // ИВ. 1887. Т. 30. № 10. С. 413.
[43] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 112. № 5. С. 432.
[44] Там же. № 6. С. 812, 813.
[45] *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 184.
[46] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 111. № 3. С. 798.
[47] Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1899. Т. 100. № 10. С. 53, 54.
[48] Там же. С. 53, 54.
[49] *Пыпин А.Н.* Характеристики литературных мнений. СПб., 1873. С. 61 и след.
[50] *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. Т.VIII. С. 126.
[51] *Никитенко А.В.* Моя повесть о самом себе... С. 222, 321.
[52] Там же. Т. I. С. 423.
[53] Барон Модест Корф. Записки. С. 175.
[54] Там же. С. 178.
[55] Там же. С. 223.
[56] *Брэ О. де.* Император Николай и его сподвижники. С. 133.
[57] Барон Модест Корф. Записки. С. 158.
[58] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 112. № 5. С. 460, 462.
[59] Воспоминания Валериана Александровича Панаева // РС. 1901. № 7. С. 53.
[60] *Брэ О. де.* Император Николай и его сподвижники. С. 134.
[61] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. Т. 112. № 5. С. 460.
[62] *Никитенко А.В.* Моя повесть о самом себе... С. 282 (за 1837 год).
[63] Там же.
[64] Воспоминания Валериана Александровича Панаева // РС. 1901. № 7. С. 52.
[65] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 112. № 5. С.432.
[66] *Никитенко А.В.* Моя повесть о самом себе... С. 320, 327, 332.
[67] Цит. по: *Никитенко А.В.* Моя повесть о самом себе... С. 344.
[68] Там же.
[69] Там же.
[70] *Тютчева А.Ф.* При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1882. Тула. 1990. С. 47–48.
[71] *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 142.
[72] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 112. № 3. С.433.
[73] *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 166.
[74] Там же. С. 163.
[75] Там же. С. 262.
[76] История XIX века / Под ред. проф. Лависса и Рамбо. Т. 3. М., 1938. С. 72.
[77] Барон Модест Корф. Записки. С. 297.
[78] *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 295–296.
[79] *Шиман В.М.* Император Николай Павлович. С. 469.
[80] *Брэ О. де.* Император Николай и его сподвижники. С. 124.
[81] Там же. С. 124–125.
[82] Там же. С. 126.
[83] *Фицтум фон Экштедт К.-Ф.* В виду Крымской войны. // РС. 1887. Т. 54. № 5. С. 369, 370.
[84] Там же. С. 386.
[85] Там же. С. 386, 389.
[86] *Никитенко А.В.* Моя повесть о самом себе... С. 507.

87 Там же. С. 506.
88 *Семенов Н.П.* Граф Виктор Никитич Панин. Характеристический очерк по рассказам, моим запискам и воспоминаниям // РА. 1887. Кн. 3. № 12.
89 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 379.
90 Записки барона М.А. Корфа // РС. 1899. Т. 99. № 9. С. 483.
91 *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 370.
92 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 383.
93 Там же. С. 383.
94 *Брэ О. де.* Император Николай и его сподвижники. С. 131.
95 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 142.
96 *Шиман В.М.* Император Николай Павлович. С. 471.
97 *Милютин Д.А.* Воспоминания. С. 210.
98 Барон Модест Корф. Записки. С. 639
99 Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 111. № 11. С. 852.
100 Там же. № 12. С. 857.
101 *Шиман В.М.* Император Николай Павлович. С. 469.
102 Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 111. № 2. С. 438, 439.
103 Там же. № 12. С. 850.
104 Там же. № 3. С. 811.
105 Там же. № 6. С. 831, 832.
106 *Фицтум фон Экштедт К.-Ф.* В виду Крымской войны // РС. 1887. Т. 12. № 1. С. 368.
107 *Милютин Д.А.* Воспоминания. С. 269.
108 *Докудовский В.А.* Мои воспоминания // ТРУАК. 1897. Т. 13. Вып. 2. С. 188.
109 *Милютин Д.А.* Воспоминания. С. 110.
110 Там же. С. 276.
111 Там же. С. 290.
112 См.: Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 111. № 9. С. 801.
113 *Милютин Д.А.* Воспоминания. С. 319–320.
114 Там же.
115 Барон Модест Корф. Записки. С. 60–61.
116 Записки барона М.А. Корфа // РС. Т. 99. № 7. С. 16.
117 Барон Модест Корф. Записки. С. 136, 372.
118 Там же. С. 299–300.
119 Там же. С. 373.
120 Записки барона М.А. Корфа // РС. 1900. Т. 101. № 3. С. 583.
121 Записки К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 114. № 10. С. 820.
122 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 261.
123 *Филипсон Г.И.* Воспоминания // РА. Кн. 3. № 5. С. 101.
124 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 157.
125 Дневник П.Г. Дивова // РС. 1900. Т. 103. № 7. С. 197–198.
126 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. С. 158.
127 Там же. С. 261, 266, 328.
128 *Кошелев А.И.* Мои воспоминания о А.С. Хомякове (1823–1860) // РА. 1879. Кн. 3. № 11.
129 *Никитенко А.В.* Моя повесть о самом себе... С. 405–406.
130 Там же. С. 466.
131 Там же. С. 467.
132 *Шиман В.М.* Император Николай Павлович. С. 466.

[133] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 114. № 10. С. 820.
[134] *Брэ О. де*. Император Николай и его сподвижники. С. 9.
[135] Вел. кн. Николай Михайлович. Генерал-адъютанты Александра I // ИВ. 1908. Т. 111. № 2. С. 399, прим.
[136] Дневник П.Г. Дивова // РС. 1900. Т. 102. № 4. С. 185.
[137] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 111. № 3. С. 808.
[138] РА. 1902. Кн. 1. № 3. С. 471.
[139] Записки сенатора К.И. Фишера // ИВ. 1908. Т. 114. № 10. С. 820.
[140] Там же. С. 818.
[141] Из записок барона Корфа // РС. 1900. Т. 101. № 2. С. 339.

[Вместо заключения]

Император Николай I глазами современников*

Почти тридцатилетнее царствование императора Николая I часто называют апогеем самодержавия. Действительно парадный фасад Российской империи никогда еще не был столь блестящим, а ее международный престиж – столь высоким, как в эпоху Николая I. Однако поражает ее внутренняя противоречивость: золотой век русской культуры, первые железные дороги, систематизация законов, оформление идеологической основы российского самодержавия, ряд важных реформ в самых различных областях жизни общества – и разгром движения декабристов, жесткое преследование инакомыслия, гнетущее засилие бюрократической рутины, венгерский поход русской армии 1849 г. и неудача в Крымской войне как своего рода итог правления Николая I. И во всем этом можно обнаружить следы его личного участия, проявления его здравого смысла и духовной ограниченности, непреклонной воли и капризного упрямства, житейского добродушия и мелочной мнительности.

---

* Данный текст представляет собой сокращенный вариант первой части итогового отчета в РГНФ 2003 г. Изъятию подверглись в основном высказывания современников, приведенные автором в предшествующих главах второй части публикуемого сборника. – *Прим. сост.*

Частная жизнь и государственная деятельность Николая I, его характер, привычки, взаимоотношения с самыми различными людьми нашли отражение не менее чем в 300 дневниках и воспоминаниях современников, использованных при работе над политическим и психологическим портретом этого венценосца. В ходе ее автор лишний раз имел возможность убедиться в том, какой поистине бесценный, с точки зрения историка, материал заложен в этих уникальных источниках. О Николае I писали государственные деятели и генералы, писатели и поэты, заезжие иностранцы и придворные дамы… Писали по-разному, но тем интереснее сопоставить эти высказывания и оценки, складывающиеся, несмотря на свою мозаичность, в достаточно целостный портрет правителя, именем которого называется целая эпоха в истории России. Немалый интерес представляют и многочисленные самооценки и довольно откровенные признания Николая I близким ему людям, которые тоже использовались в настоящей статье.

* * *

В словесном портрете Николая, принадлежащем перу побывавшего в России в 1839 г. маркиза Астольфа де Кюстина отмечен «греческий профиль, высокий, но несколько вдавленный лоб, прямой и правильной формы нос, очень красивый рот, благородное овальное, несколько продолговатое лицо». Можно подумать, что Николай маркизу лично глубоко симпатичен. Но нет, лестный отзыв разрушается замечанием, что император, оказывается, «не может улыбаться одновременно глазами и ртом», что «обычное выражение строгости» во всем облике придает ему всегда «суровый и непреклонный вид <…> Он вечно позирует и потому никогда не бывает естествен, даже когда кажется искренним <…> Император всегда в своей роли, которую он исполняет как большой актер. Масок у него много, но нет живого лица»[1].

Астольф де Кюстин точно сумел подметить одну из главных черт личности императора: его склонность к лицедейству и неискренность. Царь-лицедей проявил актерские задатки уже в первые дни своего царствования, когда во время личных допросов декабристов он «вынуждал признания, <…> подбирая маски, каждый раз новые для нового лица. Мастерски прикидываясь чуть ли не единомышленником арестованных, он таким образом «сумел вселить в них уверенность, что он-то и есть тот правитель, который воплотит их мечтания и облагодетельствует Россию»[2]. Сплошная череда немыслимых признаний, раскаяний, взаимных оговоров декабристов на допросах была обусловлена не в последнюю очередь и тонким лицедейством царя.

Но бывало и так, что Николай давал волю своим чувствам, не прибегая уже к какой-либо игре. Когда, например, С.Г. Волконский, привезенный фельдъегерем из Умани прямо в Зимний дворец, был введен в кабинет Николая I со связанными руками, то «из августейших уст был осыпан бранью и ругательствами *самыми площадными*»[3]. В большинстве же случаев, когда ему это было нужно, Николай умел обмануть

своих собеседников, которые простодушно верили в его искренность, благородство, смелость, тогда как он только играл. И даже Пушкину могло показаться, что «царь почтил в нем вдохновение, что дух державный не жесток»[4]. А для Николая Павловича Пушкин был просто шалопаем, требующим надзора. Как пишет саксонский поверенный в делах в Петербурге, Николай «был от природы совершенным артистом, и величайшие актеры могли бы еще у него поучиться. Все казалось так просто, так естественно, но чувствовалось между тем, что все рассчитано на эффект»[5].

На формировании личности Николая сказалось и несистематизированное, большей частью поверхностное общее образование. По его собственному признанию, он «в учении видел одно принуждение и учился без охоты»[6]. По обычаям того времени не избежал юный Николай и суровых телесных наказаний, впрочем, не давших ожидаемого воспитателями результата. Тем не менее Николай хорошо овладел четырьмя языками (русским, французским, немецким, английским), неплохо рисовал карандашом и акварелью, играл на трубе (видимо, на тромбоне[7]) и был также «артистом игры на барабане»[8]. «Математика, потом артиллерия и в особенности инженерная наука и тактика, – напишет позже Николай в своих записках, – привлекали меня исключительно; успехи по этой части оказывал я особенные»[9].

Сразу же после женитьбы в 1817 г. вел. кн. Николай Павлович был назначен генерал-инспектором по инженерной части, а спустя год стал командиром гвардейской бригады (с сохранением прежней должности), получив возможность командовать, назначать смотры и *взыскивать* с подчиненных за малейшую провинность и любое отклонение от буквы воинского устава. В исполнении своего служебного долга он с самого начала «был слишком строг к себе и к другим», и за это «совсем не был любим» своими сослуживцами[10]. Только дома, пишет императрица Александра Федоровна о тех днях, «он чувствовал себя вполне счастливым, впрочем, как и я, когда мы оставались наедине»[11] в роскошных апартаментах подаренного им на свадьбу Аничкова дворца.

И вдруг все разом переменилось. Летом 1819 г. Александр I в доверительном разговоре сообщает Николаю и невестке о своем намерении отказаться от трона в его пользу. Весть эта настолько их поразила, что Николай позже сравнивал свое (и жены) ощущение с ощущением спокойно гулявшего человека, когда у того «вдруг разверзается <…> под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот совершенное изображение нашего ужасного положения»[12]. Но, объявив Николаю о предуготованной ему судьбе, Александр I не делает никаких попыток начать приобщение младшего брата к государственным делам. Да и сам Николай тоже был инертен, ибо, как он сам позже признавался, его мало влекло к трону и он со страхом взирал «на тягость бремени, лежавшего на благодетеле моем» (Александре I. – *М.Р.*)[13]. Когда же утром 27 ноября было получено сообщение о смерти императора, Николай, имевший

достаточно времени для обдумывания своих дальнейших действий, первым присягнул «законному императору» Константину.

В России начался спровоцированный самой царствующей фамилией политический кризис – 17-дневное *междуцарствие*. По меткому замечанию одного из современников, великие князья Константин и Николай, «как Манилов и Чичиков, стояли в дверях, уступая один другому дорогу».

Когда окончательно стало ясно, что ждать приезда Константина бессмысленно, Николай в ночь с 13 на 14 декабря предстал перед Государственным советом и зачитал заготовленный М.М. Сперанским манифест о своем восшествии на престол. Рано утром церемония присяги новому императору без всяких эксцессов прошла в Сенате и Синоде. Стали поступать первые известия о присяге Николаю из гвардейских полков. Примечательно, что на все поздравления близких, как пишет личный секретарь императрицы Марии Федоровны, Николай I отвечал: «Меня не с чем поздравлять, обо мне сожалеть должно»[14].

События 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади достаточно известны. После подавления восстания молодому императору самое время было проявить милосердие, но он без всяких видимых признаков душевных переживаний оставил приговор суда в силе, цинично объяснив это «необходимостью дать урок» всем остальным[15]. Более того, царь собственноручно в деталях расписал для военного генерал-губернатора Петербурга П.В. Голенищева-Кутузова весь церемониал казни пятерых декабристов, не забыв даже определить порядок и громкость барабанного боя![16]

14 декабря 1825 г. определило не только личную судьбу Николая, но и России в целом, отныне лишившейся всякой надежды на какие-либо либеральные реформы, в которых она остро нуждалась. 14 декабря дало дальнейшему развитию страны «совсем иное направление», заметит граф Д.Н. Толстой-Знаменский[17]. По заключению другого современника, «14-му декабря <…> следует приписать то нерасположение ко всякому либеральному движению, которое постоянно замечалось в распоряжениях императора Николая»[18]. Не зря же после осмысления всего услышанного на допросах декабристов он заявил: «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, Божьею милостью, я буду императором»[19]. Вся последующая политическая линия царя свелась к оправданию тезиса, провозглашенного в манифесте, обнародованном по завершении процесса над декабристами: суд над ними «очистил отечество от следствий заразы».

Однако на самом деле такой уверенности у Николая Павловича не было. Потому одним из первых его шагов как императора становится учреждение Корпуса жандармов и преобразование Особой канцелярии МВД в Третье отделение собственной е.и.в. канцелярии во главе с верным А.Х. Бенкендорфом. Главная цель новых силовых структур состояла в охране режима и своевременном пресечении любой мысли об из-

менении основ самодержавного строя. Отныне ничто не могло укрыться от бдительного ока ведомства Бенкендорфа и самого императора, с карандашом в руках вчитывавшегося в донесения жандармских офицеров, которые зорко «наблюдают за внутренним управлением и независимы от его органов»[20]. Одновременно с ними в стране действовала и широкая сеть агентов тайной полиции, которая, по словам наблюдательного современника, с этой поры «властвовала во всей России», причем, если одних «держала на постоянном откупе», то других открыто «теснила и прижимала» всеми средствами[21].

В череду охранительных мер органично вписываются и цензурный устав 1826 г., названный современниками «чугунным», и подновленный устав 1827 г., чуть смягченные параграфы которого компенсировались строгими секретными инструкциями цензорам не допускать никакой «крамолы», под понятие которой подпадало все, что не отвечало представлениям власти. Ту же задачу «*держать и не пущать*» в конечном счете преследовали и царский рескрипт 1827 г. об ограничении возможностей получения образования детьми крепостных крестьян, и нелепое по своей сути постановление 1831 г. о запрете обучения детей от 10 до 18 лет за пределами России. Для замедления «умственного движения» (А.И. Герцен) в российском обществе по воле Николая в 1834 г. был ограничен выезд россиян в чужие края, а с 1844 г. лица моложе 25 лет вообще не могли уже выезжать по какой-либо личной надобности за рубеж. «Чему там учиться? – с деланным удивлением спрашивал царь. – Наше несовершенство во многом лучше их совершенства»[22]. В действительности же он боялся повторного внесения в страну «революционного духа».

После получения известия о начале революционных событий в странах Европы в 1848 г. Николай I настолько потерял контроль над собой, что напустился на камердинера императрицы Ф.Б. Гримма (немца по национальности) за то, что тот смеет читать ей «Фауста» Гете: «Гете! Эта ваша гнусная философия, ваш гнусный Гете, ни во что не верующий, – вот причина несчастий Германии! … Это ваши отечественные головы – Шиллер, Гете и подобные подлецы, которые подготовили теперешнюю кутерьму»[23]. Французский поверенный в делах в Петербурге Мерсье вспоминал: «Когда я просил императора меня принять (сразу после беспорядков в Берлине 18–19 марта 1848 г. – *М.Р.*), я нашел его очень взволнованным и сказал ему: “Государь, только вам нечего бояться революций”. – “Милый мой г. Мерсье, революции предопределены; я еще не освободил своих крестьян и знаю, что они недовольны своим рабством. Достаточно искры, чтобы ниспровергнуть весь нынешний порядок моей империи”»[24]. Характеризуя своего шурина, прусского короля Фридриха Вильгельма IV, Николай I признавал, что почва под ногами русского императора “минирована” так же, как под ногами короля Пруссии. «Мы все солидарны. – говорил он. – У всех нас один враг: революция. Если будут продолжать нежничать с нею, как это делают в Берлине, то пожар вскоре сделается всеобщим. Здесь

я пока ничего не боюсь. Пока я жив, никто не пошевелится. Потому что я солдат, а мой шурин никогда им не был <…> Да, я солдат. Это дело по мне. Другое же дело, которое возложено на меня Провидением, я исполняю его потому, что должен исполнять и потому что нет никого, кто бы меня от него избавил. Но это дело не по мне»[25]. И тем не менее Николай готов был защищать свой трон до последнего вздоха, хотя и признавал: «Не сам я взял то место, на котором сижу, его дал мне Бог. Оно *не лучше галер*, но я защищал бы его до последней степени»[26].

В качестве заслона от проникновения революционных идей в Россию Николай предлагает усилить цензуру. Царская инструкция созданному 2 апреля 1848 г. под началом Д.П. Бутурлина цензурному комитету была предельно откровенна: «Как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет *расправляться с виновными*»[27]. Определенные царской инструкцией действия комитета таковы, что даже один из цензоров, А. В. Никитенко, записывает в своем «Дневнике»: «Варварство торжествует дикую победу над умом человеческим»[28]. Но ужесточением цензуры дело не ограничилось. Предпринимались также и практические шаги по сокращению круга образованных лиц. Так, с мая 1849 г. для всех российских университетов был установлен «комплект студентов» – не более 300 человек в каждом. Причем в студенты следовало отбирать молодых людей не по уровню их знаний, а «одних отличных по нравственному образованию»[29]. Результат впечатляет: в 1853 г. на 50 млн населения страны студентов приходилось всего лишь 2900 человек, т.е. примерно столько же, сколько в одном Лейпцигском университете.

Однако императору и этого было мало: год спустя он назначил министром народного просвещения князя П.А. Ширинского-Шихматова, предлагавшего впредь «все положения и выводы науки» основывать «не на умствованиях, а на религиозных истинах, в связи с богословием»[30]. Итогом было запрещение чтения лекций в университетах по «опасным» предметам – философии и государственному праву, а преподавание логики и психологии было отдано на откуп …богословам. Во избежание все того же «умственного движения» в обществе власти один за другим закрывают журналы прогрессивной ориентации. Об открытии же новых периодических изданий не могло быть и речи. На все ходатайства об этом у императора ответ был один: «И без нового довольно»[31]. Все говорило за то, что в николаевской России последовательно строилось полицейское государство.

Николай I был твердо убежден во всесилии государства как единственного выразителя интересов общества. Для этого ему необходим был мощный централизованный аппарат управления. Отсюда то исключительное положение в системе органов власти, которое занимала личная канцелярия монарха с пятью ее отделениями, «подмявшими под себя и подменившими собой всю исполнительную структуру власти в

стране»[32]. Суть отношений общества и отдельных его членов с верховной властью была четко определена самим самодержцем: «Сомневаюсь, чтобы кто-либо из моих подданных осмелился действовать не в указанном мною направлении, коль скоро ему предписана моя точная воля»[33].

Приведенные выше слова царя четко выражали и общую тенденцию к военизации государственного аппарата, начиная с самого верха – Комитета министров. В нем в 1840-е годы лишь трое из 13 членов имели гражданские чины, да и то только потому, что по чисто профессиональным соображениям их некем было заменить из числа военных. К концу царствования 41 губернию из 53 тоже возглавляли военные. Императору по душе были люди, привычные к жесткой субординации, которых страшит одна только мысль о нарушении армейской дисциплины. Как пишет младший современник Николая I историк С.М. Соловьев, «фрунтовики воссели на всех правительственных местах, и с ними воцарилось невежество, произвол, грабительство, всевозможные беспорядки»[34]. Таким образом, в годы правления Николая I завершился начатый его отцом Павлом I откат от целенаправленного процесса становления цивилизованного общества в царствование Екатерины II, реальным показателем которого было последовательное замещение высших административных должностей лицами гражданского состояния.

Император был абсолютно убежден, в том, что образцом идеально устроенного общества является дисциплинированная армия. «Здесь порядок, строгая безусловная законность (царь имеет в виду жесткие параграфы воинского устава. – *М.Р.*), никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого, – с восторгом говорил Николай. И добавлял самое сокровенное: – Я смотрю на человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит»[35]. Разумея под «всезнайством» самостоятельность мысли или действий, Николай Павлович по природе своей просто не мог этого допустить. Отсюда его стремление окружать себя послушными и безынициативными исполнителями, беспрекословно выполняющими его «предначертания и приказания». Причем, по свидетельству хорошо осведомленного о жизни императора мемуариста, он, не доверяя никому, «с годами стал еще усерднее заниматься государственными делами почти единолично»[36]. В подобных условиях, отмечают современники, «быть приближенным к такому монарху равносильно необходимости отказаться, до известной степени, от своей собственной личности, от своего я <…> *Сообразно с этим в высших сановниках <…> можно наблюдать только различные степени проявления покорности и услужливости*»[37]. Такое раболепие как нельзя лучше соответствовало убеждениям Николая, говорившего: «Там, где более не повелевают, а позволяют рассуждать вместо повиновения, – там дисциплины более не существует»[38].

Недостаток самостоятельных и инициативных людей, естественно, приводил к тому, что царь оставлял за собой право на решение любого дела и тратил время на то, чтобы дотошно вникать и во все мелочи

повседневности, вплоть до покроя платья придворных дам и, смешно сказать, фасонов их причесок. «В результате, – пишет фрейлина А.Ф. Тютчева, – он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели права на них указывать, ни возможности с ними бороться»[39]. В этой ситуации повеления государя либо не исполнялись тотчас, либо вообще игнорировались, а часто царя и откровенно обманывали.

Николай I оказался несостоятельным и в попытках решения самой жгучей проблемы той эпохи, связанной с рабским положением крепостного крестьянства. Один за другим создаваемые им секретные комитеты для обсуждения вопроса об «изменении быта помещичьих крестьян» (так власть «целомудренно» избегала употреблять само словосочетание «отмена крепостного права») не дали и не могли дать позитивного результата без вовлечения в этот процесс широкой общественности, что по определению было невозможно при таком *самодержце,* как Николай I. Сам же он в конце концов пришел к твердому убеждению: «…Крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему *теперь* было бы делом еще более гибельным»[40].

Эти слова самодержца, положившие конец всяким *практическим* попыткам освобождения помещичьих крестьян от крепостной неволи, были сказаны Николаем I в 1842 г., в период его наивысшего могущества. Что же позитивного предлагал взамен отмены крепостного права сам царь?

Предложения императора в конечном счете сводились к тому, о чем всуе толковали уже почти целый век: «Приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей», ибо «дать личную свободу народу, который привык к долголетнему рабству, опасно»[41]. Этот мотив звучал в свое время и у Екатерины II, ограничившейся абстрактным осуждением «всеобщего рабства». Но если царица-самозванка имела основания опасаться своего сановного окружения и повременить с ликвидацией крепостничества, то что мешало решительно приступить к освобождению крестьян Николаю?. Не будем забывать и о том, что крепостное право, в понимании самого дворянства, «было поддерживаемо на основании того гнусного политического правила, что русский царь не иначе может угнетать дворянство, как предоставив дворянству право угнетать низшие сословия»[42]. Кроме того, болезненно самолюбивый монарх опасался, «как бы общественность не восприняла отмену рабства как уступку бунтовщикам»[43], с которыми он же в назидание другим беспощадно расправился в начале своего царствования в том числе и за то, что они выступали за немедленное освобождение крестьян.

Но были у Николая I и бесспорные достижения, например, подготовка и издание Полного собрания законов Российской империи. Именно по его личной инициативе и под его придирчивым контролем к маю

1828 г. М.М. Сперанским и его сотрудниками было завершено составление 45 томов (с приложениями и указателями – 48 фолиантов) Полного собрания законов, увидевших свет весной 1830 г. К 1832 г. были готовы и 15 томов Свода законов, где были собраны все действующие правовые акты Российской империи. Тем самым в первой половине XIX в. в России сложилась система российского права, основные элементы которой сохранялись вплоть до крушения империи в 1917 г. Казалось, что теперь в стране восторжествует законность. Однако современники по-прежнему пишут о сохранении в России почти поголовной «продажности правосудия», о том, что «без денег и без влияния не найдете для себя справедливости»[44].

Всесилие николаевской бюрократии, по словам отечественного мемуариста, основывалось на том. что она «составляет в России целую могущественную касту; бюрократы поддерживают друг друга, начиная с министерских дворцов в Санкт-Петербурге и кончая самыми маленькими канцеляриями в самых глухих провинциальных городах; они считают воровство своим неотъемлемым правом, своей священной собственностью, защищают эту собственность с ожесточением и считают государственными преступниками всех тех, которые требуют нового порядка вещей»[45]. Так же считали и некоторые другие отечественные мемуаристы: «Чудно́е государство Русское! Народ предоставил полное право своим царям издавать законы; но чиновничья раса присоединила *условие* – исполнять их или не исполнять, смотря по обстоятельствам, что и делается в России»[46] (автор с огромным усилием удерживается от проведения параллелей с современной действительностью).

Неслучайно даже обласканные царем высшие военные чины с горечью отмечали (правда, лишь после смерти императора), что «в его, около 30 лет, царствование Россия была покрыта мглою и дышать было тяжело <…> У всех уста были замкнуты»[47]. Естественному развитию общества мешало и органически присущее автократическому режиму (в любых его модификациях) стремление делать из всего страшную государственную тайну, замалчивать правду и лгать. Лгать здесь – значит охранять престол, говорить правду – значит потрясать основы, – такое впечатление от непосредственного знакомства с реальной действительностью в России выносили иностранцы.

В царствование Николая I был совершен настоящий прорыв в утверждении идеологии института самодержавной власти, когда в рамках традиционно связываемой с именем министра народного просвещения С. С. Уварова теории «официальной народности»[48], основанной на формуле «Православие, самодержавие, народность», Россия в 1833 г. обрела собственный национальный гимн, пришедший на смену «Молитве русских» В.А. Жуковского (который исполнялся на мелодию английского государственного гимна «God, save the King»), при торжественной встрече императора Александра I в 1816 г. в Варшаве и так понравилась ему, что «высочайше повелено было воинской музыке всегда играть этот гимн для встречи государя императора»[49].

Первое исполнение гимна оркестром и хором певчих на новые слова того же В.А. Жуковского «Русская народная песня» состоялось в Певческой капелле перед императорской четой и вел. кн. Михаилом Павловичем 23 ноября 1833 г. По словам мачехи композитора Львова, выслушав “Боже, царя храни!”, «государь сказал: “Еще”. В другой, в третий и, наконец, в четвертый раз прослушав эту музыку, государь подошел к А.Ф. Львову, обнял его и, крепко поцеловав, сказал: “Спасибо, спасибо, прелестно; ты совершенно понял меня”»[50]. В передаче другого очевидца, император поблагодарил Львова словами: «Лучше нельзя, ты совершенно понял меня»[51].

Первое публичное исполнение гимна произошло в Москве в Большом театре 11 декабря 1833 г. Московская публика встретила его, как уверяют современники, восторженно и по ее требованию он был повторен трижды. Наконец, 25 декабря, в день годовщины освобождения России от наполеоновского нашествия, гимн прозвучал в залах Зимнего дворца после Рождественской службы и благодарственного молебна в присутствии всей царской фамилии, двора, гвардии, ветеранов войны 1812 г. С этого дня гимн, или, как больше нравилось Николаю, «русская народная песня», начала свою самостоятельную жизнь и стала исполняться при любом подходящем случае (например, при появлении императора в театре), прославляя образ самодержца и его правление. В начале января 1834 г. «Песнь русских» поступает в широкую продажу в разных вариантах: для хора с оркестром, для хора с фортепьяно, для соло с фортепьяно, только для фортепьяно (но в четыре руки), в простых и подарочных изданиях. Ближе к концу царствования Николая I Жуковский напишет Львову: «Наша совместная двойная работа переживет нас [на]долго. Народная песня, раз раздавшись, получив право гражданства, останется навсегда живою, пока будет жив народ, который ее присвоил. Из всех моих стихов эти смиренные пять (на самом деле – шесть. – *М.Р.*), благодаря Вашей музыке переживут всех братий своих. Где не слышал я этого пения? В Перми, в Тобольске, у подошвы Чатыр-дага, в Стокгольме, Лондоне и Риме»[52].

В тексте гимна 1833 г. нашлось место двум главным ее составляющим – Православию и самодержавию с упором на страх врагов, силу и мощь России. Что же касается «народности», то эта часть триады вынесена убежденным монархистом Жуковским в заглавие, данное тексту гимна в первой его публикации, – «Русская народная песня»,[53] безусловно выражающая, как считал поэт, сокровенные народные чувства. Сомневаться в последнем не приходится, если обратиться к рассуждениям Жуковского на эту тему в одном из его писем, написанном как отклик на грозные события 1848 г. в странах Европы: «Народная Русская песня: «Боже, Царя храни!» <…> не есть что-то *определенное, частное*, а чудный родной голос, *все вместе* выражающий. В ней слышится совокупный гармонический привет от всех одноземцев, живших прежде, к живущим теперь <…> Когда зазвучит для тебя народное слово “*Боже! Царя храни”,* вся твоя Россия, с ее минувшими днями

славы, с ее настоящим могуществом, с ее священным будущим, явится перед тобою в лице твоего государя»[54].

Примечания

1 *Кюстин А. де.* Николаевская Россия. М., 1990. С. 96, 97, 107–108. Как замечает один из собеседников царя, «нервное подергивание мускулов у углов рта» во время чем-либо неприятного для него разговора «имело в себе что-то болезненное и производило неприятное впечатление» (РС. 1887. № 5. С. 376).

2 *Щеголев П.Е.* Петр Григорьевич Каховский. М., 1919. С. 90.

3 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992. С. 403.

4 *Щеголев П.Е.* Указ. соч. С. 101.

5 *Фицтум фон Экштедт К.-Ф.* В виду Крымской войны. Заметки дипломата при Петербургском и Лондонском дворах. 1852–1855 гг. // РС. 1887. Т. 54. № 5. С. 378–379.

6 Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов. В переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л. 1926. С. 11.

7 См.: РС. 1880. № 3. С. 641.

8 РА. 1910. № 11. С. 445.

9 Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов. С. 12.

10 Записки Ф.Ф. Вигеля. Ч. 5. М., 1892. С. 71.

11 Воспоминания императрицы Александры Федоровны // РС. 1896. № 10. С. 25.

12 Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов. С. 13, 14.

13 Там же. С. 11.

14 РС. 1899. № 2. С. 316.

15 РА.1893. № 5. С. 124.

16 См.: *Серебровская Е.* Записка Николая I о казни декабристов // Новый мир. 1958. № 9. С. 277–278.

17 Записки графа Дмитрия Николаевича Толстого // РА. 1885. № 5. С. 24.

18 Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Николай I, его жизнь и царствование. Т. 1. СПб., 1903. С. 312.

19 Цит. по: Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 315.

20 РС. 1902. № 1. С. 127.

21 *Долгоруков П.В.* Указ. соч. С. 407.

22 Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // РС. 1899. № 8. С. 281.

23 См.: *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 170, 234.

24 Там же. С. 171.

25 РС. 1887. № 5. С. 377.

26 Цит. по: *Хомяков А.С.* Политические письма 1848 года // ВФ. 1991. № 3. С. 111.

27 РС. 1900. № 3. С. 573.

28 *Никитенко А.В.* Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник (1804–1877 гг.). СПб., 1905. Т. 1. С. 315.

29 РА. 1895. № 5. С. 29.

30 Там же.

31 *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 440.

32 *Готье Ю.В.* Император Николай I. Опыт характеристики. М., 1913. С. 290.

[33] Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 314.
[34] *Соловьев С.М.* Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // *Соловьев С.М.* Избр. труды. М., 1983. С. 311.
[35] Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 147.
[36] *Шиман В.М.* Император Николай Павлович (Из записок и воспоминаний современника) // РА. 1902, № 3. С. 471.
[37] *Брэ О. де.* Император Николай I и его сподвижники // РС. 1902. Т. 109. № 1. С. 122.
[38] Цит. по: *Давыдов С.* Император Николай I. М., 1923. С. 82.
[39] *Тютчева А.Ф.* При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1882. Тула, 1990. С. 47–48.
[40] Сб. РИО. Т. 98. С. 114.
[41] Там же.
[42] *Долгоруков П.В.* Указ. соч. С. 407.
[43] *Пугачев В.В.* Кто победил 14 декабря // *Оксман Ю.Г., Пугачев В.В.* Пушкин, декабристы и Чаадаев. Саратов, 1999. С. 213.
[44] *Гагерн Ф.* Дневник путешествия по России в 1839 г. // РС. 1886. № 7. С. 47.
[45] *Долгоруков П.В.* Указ. соч. С. 378.
[46] См.: *Докудовский В.А.* Мои воспоминания // ТРУАК. 1897. Рязань. Т. 13. Вып. 3. С. 312.
[47] *Докудовский В.А.* Указ. соч. Т. 13. Вып. 2. С. 147, 148.
[48] Авторство этого, позже утвердившегося, определения принадлежит историку общественной мысли А.Н. Пыпину (см.: *Пыпин А.Н.* Характеристика литературных мнений. СПб., 1873. С. 61 и сл.
[49] *Бернштейн Н.* История национальных гимнов: Русский. Английский. Бельгийский. Сербский. Французский. Японский. Пг., 1914. С. 19.
[50] РС. 1889. № 3. С. 639.
[51] РС. 1900. № 4. С. 148.
[52] Родина. 1996. № 12. С. 97.
[53] См.: Русская народная песня (Вместо английской «God, save the King»). Слова г. Жуковского – музыка г. Львова. М., [1833].
[54] *Жуковский В.* Соч. В 12 т. Т. XI. Изд. 5. СПб., 1875. С. 313–314.

Часть третья

А.С. Пушкин, самодержцы и самодержавие

Более века назад В.О. Ключевский, завершая свою речь, прочитанную на торжественном заседании в Московском университете в связи со 100-летием со дня рождения А.С. Пушкина, сказал, что о «Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и не скажешь всего, что следует»[1]. К сожалению, это высказывание выдающегося мастера исторического слова не стало предостережением для многих исследователей творческого пути поэта. Более того, хорошо известны попытки пушкинистов не столь далекого времени представить поэта убежденным сторонником дворянской революционности (декабристов), стойким и последовательным «вольтерьянцем».

Ныне же, кажется, наметился новый поворот, и тема «А.С. Пушкин – певец Империи» все чаще звучит на страницах книг и журналов. В этой связи на первый план вновь выдвигается вопрос о взаимоотношениях поэта с Александром I и особенно с Николаем I. Впрочем, для того есть и объективное основание: несмотря на довольно большую литературу по данной теме, действительный характер этих отношений во многом остается недостаточно ясным и однозначным. Поэтому мне хотелось бы дать возможность, читателям познакомиться со взглядами поэта, что называется, «из первых рук», используя его произведения, письма и надежные, на мой взгляд, воспоминания современников.

«Властитель слабый и лукавый»

Еще в Лицее 15-летний Пушкин сочиняет глубоко патриотические стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» и «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году» (I, 60, 110)[2] с восторженным прославлением Екатерины II и ее «достойного внука» – Александра I, «царя-спасителя... России божества». И в этом нет ничего необычного: только что победоносно завершилась Отечественная война, главным героем которой в глазах общества стал «величественный, бессмертный... русский царь»[3].

Но вот Лицей окончен, и 18-летний поэт пишет оду «Вольность» с ее знаменитыми строками:

Увы! Куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела – Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть (II, 43).

Впервые здесь затронута и строго запретная в обществе тема – убийство Павла I, к которому был причастен вел. кн. Александр Павлович. Не требуют комментариев и знаменитые строки:

Тираны мира! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Между 1818 и 1820 гг. появляются стихотворения «Сказки. Noel» (II, 66), «К Чедаеву» (II, 68) и «Деревня» (II, 82), а также эпиграммы «На Струдзу» и «На Аракчеева» (II, 74, 116). В каждом из них – явная неприязнь не только лично к Александру I и к его ближайшему окружению, но и критика образа правления. В стихотворении «Сказки. Noel» Александр с ядовитым сарказмом высмеивается и как человек, и как правитель:

О радуйся, народ:
Я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал –
И делом не замучен.

Обещал царь немало («...И людям я права людей, / По царской милости моей, / Отдам из доброй воли»), но обещаний своих, как известно, не сдержал.

Особое место в творчестве Пушкина тех же лет занимают стихи «Ты и я», написанные в форме стансов (II, 120). В них царь, наместник Бога на земле, не только лишается привычного ореола, но и вызывает у читателя физическое отвращение.

В чем же причина такой резкой перемены Пушкина к своему порфироносному тезке? По мнению Л.М. Аринштейна, для поэта стало очевидным, что царствование Александра I с правовой точки зрения и

с нравственных позиций не было легитимным – его воцарение связано с убийством отца, императора Павла I[4], вольным или невольным участником которого он был. В представлении Пушкина, этот страшный грех не мог быть смыт всеми последующими благими начинаниями и действиями нового царя.

Не мог не видеть поэт (и не он один), как изменилось поведение царствующего монарха вскоре после окончания войны 1812 г. и Заграничных походов. По заключению военного историка А.А. Керсновского, патриотический подъем эпохи 1812 г. был скоро «угашен императором Александром, ставшим проявлять какую-то странную неприязнь ко всему национальному, русскому. Он как-то особенно не любил воспоминаний об Отечественной войне. <...> За все многочисленные свои путешествия он ни разу не посетил полей сражений 1812 года и не выносил, чтобы в его присутствии говорили об этих сражениях. Наоборот, подвиги Заграничного похода, в котором он играл главную роль, были оценены им в полной мере (в списке боевых отличий русской армии Бриенн и Ла Ротьер значатся, например, 8 раз, тогда как Бородино, Смоленск и Красный не упомянуты ни разу)».

О том же говорит в своей дневниковой записи 1814 г. и военный историограф императора А.И. Михайловский-Данилевский: «Непостижимо для меня, как 26 августа государь не токмо не ездил в Бородино и не служил в Москве панихиды по убиенным, но даже в сей великий день, когда все почти дворянские семьи в России оплакивают кого-либо из родных, павших в бессмертной битве на берегах Колочи, государь был на бале у графини Орловой. Император не посетил ни одного классического места войны 1812 года: Бородина, Тарутина, Малоярославца, хотя из Вены ездил на Ваграмские и Аспренские поля, а из Брюсселя – в Ватерлоо»[5].

Главное же заключалось в том, что Пушкин, как и все передовое русское общество, не мог не испытывать глубокого разочарования в царе, который вопреки своим обещаниям не отменил в России крепостное право, не дал стране конституции. И все же Пушкин остался верным правде истории. Так, уже в зрелые годы, безусловно помня о своих юношеских пристрастиях, он в повести «Метель» отдает должное Александру I: «Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу <...> Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество <...> С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!» (VIII, 83).

Пушкин остается объективным по отношению к царю и в написанном в 1825 г. в пору своей Михайловской ссылки стихотворении «19 октября»:

Ура, наш царь! Так! Выпьем за царя.
Он человек! Им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей (II, 377).

Вместе с тем спустя три-четыре года после ссылки поэт крайне нелицеприятно говорит об Александре I в стихотворении «К бюсту завоевателя».

Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и жизни арлекин (III, 206).

Наконец, уничтожающая характеристика царя в десятой главе «Евгения Онегина»:

Вл[аститель] слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами ц[арство]вал тогда (VI, 521).

Конечно, Александру I не были известны эти не публиковавшиеся при его жизни стихотворения, кроме широко ходивших в списках эпиграмм на Аракчеева, Струдзу и оды «Вольность». В противном случае не миновать бы Пушкину Сибири или Соловков. Не спасли бы никакие хлопоты друзей и почитателей и даже самой императрицы Елисаветы Алексеевны, благоволившей к нему после появления обращенных к ней «Стансов» и особенно стихотворения «К Н.Я. Плюсковой» (II, 68). Поэтому Пушкина за сочинение «возмутительных стихов» лишь перевели (считается, что сослали) на службу в Бессарабию с сохранением денежного содержания в 700 руб. и даже выдав «на руки прогонные деньги» (1000 руб. ассигнациями).

4 мая 1820 г. Александр I утверждает сочиненное от имени К.В. Нессельроде прямым начальником Пушкина И.А. Каподистрией письмо к главному попечителю колонистов южного края России генерал-лейтенанту И.Н. Инзову об отправляемом к нему на службу поэте. Вина поэта, по официальному заключению, не так страшна, но все же он опасен для общества: «Несколько поэтических пиес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства. При величайших красотах концепции и слога, это последнее произведение запечатлено опасными принципами, навеянными направлением времени или, лучше сказать, той анархической доктриной, которую по недобросовестности называют системою человеческих прав, свободы и независимости народов <...> Его покровители полагают, что его раскаяние искренне и что, удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятие и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, писателя первой величины»[6].

Можно предположить, что к высылке Пушкина из столицы побуждали и внешние обстоятельства – революция в Испании, убийство во Франции наследника престола и прочее, о чем ходили будоражившие умы толки в столичном обществе. Знакомец Пушкина Ф.Ф. Вигель – член общества «Арзамас» – писал об этой высылке: «Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые пря-

мо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен, надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как последствия показали <...> Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедовал»[7].

6 мая 1820 г. Пушкин в сопровождении дядьки Никиты Козлова отъезжает из Петербурга. Екатеринослав, Кубань, Малороссия, Кавказ, Крым и наконец 21 сентября Кишинев, где поэт поступает в распоряжение И.Н. Инзова, за три месяца до этого ставшего полномочным наместником Бессарабской обл.

В годы южной «ссылки» между «аристократическими обедами и демагогическими спорами» (XIII, 20) в числе многих других Пушкиным было написано и стихотворение с четко выраженной политической окраской – знаменитый «Кинжал» (II, 156). Не предназначавшееся для печати, оно в многочисленных списках ходило по рукам*.

По отзывам современников, это «самое революционное» пушкинское произведение, которое «при существующих обстоятельствах ни один деспотический государь не мог бы никогда забыть или простить». Приведенные слова принадлежат английскому путешественнику Томасу Рейксу, имевшему долгие доверительные разговоры с Пушкиным в 1829–1830 гг.[8]. Современный пушкинист И.В. Немировский тоже пишет, что «для всех, кто отзывался о “Кинжале”, характерно понимание стихотворения как крайне радикального и антиправительственного»[9]. Но сам поэт в письме к В.А. Жуковскому утверждает: «Я обещал Н[иколаю] М[ихайловичу] (Карамзину. – *М.Р.*) ничего не писать противу правительства (это было главным условием мягкого наказания – юг России вместо более суровых краев. – *М.Р.*) и не писал. Кинжал не против правительства писан, и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно» (XIII, 167).

Можно согласиться с предположением ряда исследователей, что слова «не против правительства писан» предназначены для перлюстраторов, к тому же именно в это время Пушкин намеревается обратиться к Александру I с просьбой разрешить ему выехать «куда-нибудь в Европу» для лечения (XIII, 166). Но безусловному принятию такой версии мешает следующее соображение. При всем несовпадении идейных позиций главных персонажей «Кинжала» (республиканец «Брут вольнолюбивый» убивает Цезаря за уничижение республики; «дева Эвменида» Шарлотта Кордэ, ярая монархистка, казнит республиканца якобинца Марата; Карл Занд расправляется с российским политическим агентом в Германии А. Коцебу) их объединяет одно – тема политического убийства. Именно это и обеспечило стихотворению в восприятии напитан-

* По словам декабриста И.Д. Якушкина, «в то время не было сколько–нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал <...> наизусть» вольнолюбивые стихотворения Пушкина, в том числе и «Кинжал» (*Якушкин И.Д.* Мемуары, статьи, документы. Иркутск, 1993. С. 112).

ной либеральными иллюзиями читающей публики крайне радикальную репутацию. Причем, как и в оде «Вольность», действия этих персонажей обращены, как отмечают пушкинисты, против «политических крайностей диктатуры Наполеона и правления Цезаря. с одной стороны, а с другой – против не ограниченной законными рамками власти народа»[10] (и в «Вольности», и в «Кинжале» – это якобинская диктатура).

Таким образом. оба произведения направлены против политических крайностей. Поэтому поэт своим утверждением «Кинжал не против правительства писан» никого нс вводит в заблуждение, но с одной существенной поправкой – не против законного правительства. Тем самым центральная идея стихотворения «Кинжал» – справедливость возмездия «уродливому палачу» (Марату) – является логическим продолжением идеи об основанном на строгой законности правовом государстве в оде «Вольность»:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит (II, 43).

Именно неукоснительное соблюдение закона как верховной властью, так и народом и есть для поэта основа и гарантия нормальных общественных отношений в правовом государстве:

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон – а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно! (II, 44).

Примечательна и дневниковая запись кн. П.И. Долгорукова от 11 января 1822 г.: «Он [Пушкин] всегда готов у наместника (И.Н. Инзова. – *М.Р.*), на улице, на площади, всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку». Неделей позже он же отмечает, что Пушкин «умен и остер, но нравственность его в самом жалком положении. Нет ни к кому ни уважения, ни почтения»[11]. «Оппозиционность» Пушкина порой заходит так далеко, что он за общим обеденным столом, как обычно, начиная «с любимого своего текста о правительстве в России», увлекшись критикой существующих порядков, обрушивает «ругательства на все сословия. Штатские чиновники – подлецы и воры, генералы – скоты большею частию, один класс земледельцев – почтенный. На дворян, русских особенно, – свидетельствует Долгоруков, – нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли»[12].

Разумеется, обо всем этом хорошо осведомлен жандармский полковник И.П. Бибиков, сильно сомневавшийся в эффективности принятой в отношении Пушкина меры: «Выиграли ли что-нибудь от того, что сослали Пушкина в Крым? Такие молодые люди, оказавшись в одиночестве в пустынях, отлученные, так сказать, от всякого мыслящего общества, лишенные всех надежд на заре жизни, они изливают желчь, вызываемую недовольством, в своих сочинениях, наводняют государство массою бунтовщических стихотворений, которые разносят пламя восстания во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии, – этой узды, необходимой для всех народов, а особенно-для русских (см. «Гаврилиаду», сочинение Пушкина)»[13].

«Беру уроки чистого афеизма»

Донесение Бибикова в соответствующие органы запоздало – Пушкин уже был в дороге, направляясь в «северную ссылку» – в Михайловское. В родовое имение поэт был сослан главным образом «благодаря» новому наместнику Бессарабской обл. графу М.С. Воронцову. Сыграло свою роль и перлюстрированное письмо поэта П.А. Вяземскому от апреля – середины мая 1824 г. «Ты хочешь знать, что я делаю, – спрашивал он друга и отвечал, – пишу пестрые строки романтической поэмы – и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил[14]. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, что не может быть существа разумного, творца и правителя, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастию более всего правдоподобная» (XIII, 92).

В конце мая 1824 г. П.А. Вяземский пишет Пушкину «секретное» письмо с советом быть «осторожным на язык и на перо. Не играй своим будущим. Теперешняя ссылка твоя лучше всякого места. Что тебе в Петербурге? <...> Ты довольно сыграл пажеских шуток с правительством; довольно подразнил его, и полно!» (XIII, 94). Однако совет запоздал. 11 июля К.В. Нессельроде извещает Воронцова, что император согласился «избавить» его от Пушкина, ибо тот «слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом вступлении его на общественное поприще. Вследствие этого е.в. в видах законного наказания, приказал еще исключить его из списков чиновников МИД за дурное поведение...»[15].

Княгиня В.Ф. Вяземская, много общавшаяся с Пушкиным в бытность его в Одессе, огорчена тем, что он вредит себе страшным своим «легкомыслием и склонностью к злословию», совершенно не понимая резко диссонирующего с общепринятыми правилами мотива поведения поэта: «Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или иного начальника <...> Единственное, чего я

жажду, это – независимости (слово неважное, да сама вещь хороша); с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее» (XIII, 528). Пока же Пушкин «добился» другого: I августа 1824 г. он отъезжает из Одессы в Михайловское с непременным условием не отклоняться от заданного маршрута.

«Я не прошу <...> полу-милостей»

9 августа Пушкин приезжает в Михайловское, где застает отца, мать, сестру Ольгу, брата Льва и няню Арину Родионовну. Видимо, нет смысла подробно говорить здесь о жизни поэта в Михайловском. Для нас важно то, что он стремится любым способом вырваться из новой неволи, искренне не понимая, почему оказался в положении ссыльного. В первой пловине ноября 1824 г. Пушкин пишет брату Льву в Петербург и просит поговорить с Жуковским и Карамзиным о своей судьбе, но на определенных условиях: «Я не прошу от правительства полумилостей; это было бы полумера, и самая жалкая. Пусть оставят меня так, пока царь не решит моей участи. Зная его твердость и, если угодно, упрямство, я бы не надеялся на перемену судьбы моей, но со мной он поступил не только строго, но и несправедливо. Не надеюсь на его снисхождение – надеюсь на справедливость его» (XIII, 121).

У Пушкина даже рождается мысль о тайном побеге за границу. Но проходит месяц за месяцем, а в его положении ничего не меняется. 23 февраля 1825 г. в письме Н.И. Гнедичу он сетует: «Сижу у моря, жду перемены погоды» (XIII, 145). И в ожидании этой перемены, т.е. «справедливости царя», Пушкин пишет злую эпиграмму «На Александра I» («Воспитанный под барабаном / Наш царь лихим был капитаном...», II, 407). Друзья ничего не знают об этой эпиграмме, но чувствуют настроение Пушкина. В апреле он получает письмо от Вяземского (оно не сохранилось), в котором содержится упрек, что друзья его «в отношении властей изверились в нем» (XIII, 167). Слова эти задели Пушкина, и в письме к Жуковскому в последней декаде апреля он подчеркивает, что держит данное Карамзину слово «ничего не писать противу правительства». И здесь же: «Если бы царь меня для излечения отпустил за границу (в Евр[опу]), то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен <...> Смело полагаясь на решение твое, посылаю тебе черновое самому Белому; кажется, подлости с моей стороны ни в поступке, ни в выражении нет» (XIII, 166–167).

Черновик пушкинского письма к Александру I явно писан через силу и не содержит в себе той теплоты и почтительности, кои требовались в данном случае: «Я почел бы своим долгом переносить мою опалу в почтительном молчании, если бы необходимость не побудила меня нарушить его. Мое здоровье было сильно расстроено в ранней юности, и до сего времени я не имел возможности лечиться. Аневризм, ко-

торым я страдаю около десяти лет, также требовал бы немедленной операции. Легко убедиться в истине моих слов. Меня укоряли, государь, в том, что я когда-то рассчитывал на великодушие вашего характера, признаюсь, что лишь к нему одному ныне прибегаю. Я умоляю в.в. разрешить мне поехать куда-нибудь в Европу, где я не был бы лишен всякой помощи» (XIII, 535).

Жуковский, увидев вымученность письма, благоразумно посоветовал матери поэта Надежде Осиповне подать прошение царю самой. Не посвященная в помыслы сына родительница просит императора разрешить ему «поехать в Ригу или какой-нибудь другой город» для лечения аневризма ноги[16]. Проблемы в выборе «другого города» у властей нет, и Пушкину позволено ехать в Псков и оставаться там вплоть «до излечения болезни». Пушкин взбешен не «отеческой снисходительностью» царя, как он саркастически оценивает оказанную ему «милость» (XIII, 186), а тем, что «друзья мои за меня хлопотали против воли моей, и, кажется, только испортили мою участь» (XIII, 206). Что означает «против воли моей», мы узнаем из письма Пушкина А.А. Дельвигу: «Зачем было заменять мое письмо, дельное и благоразумное, письмом моей матери? Не полагались ли на чувствительность...? Ошибка важная! В первом случае я бы поступил прямодушно, во втором могли только подозревать мою хитрость и неуклончивость» (там же).

Сложившаяся ситуация вынудила Пушкина в письме Вяземскому от 13–15 сентября открыто написать о неудавшейся своей уловке: «Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним доводом за освобождение – и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку! Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Они (друзья. – *М.Р.*) заботятся о жизни моей; благодарю – но черт ли в эдакой жизни. Гораздо уж лучше от не-лечения умереть в Михайловском <...> Ах, мой милый, вот тебе каламбур на мой аневризм: друзья хлопочут о моей жиле, а я об жилье. Каково?» (XIII, 226, 227).

Осознав неспособность друзей помочь ему, Пушкин решил писать государю. В черновике письма он признается, что когда «необдуманные речи, сатирические стихи [обратили на меня внимание в обществе]» и «распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен», тогда «я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении, я впал в отчаяние» и потому решил «вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне, как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость, как на средство к восстановлению чести». (Согласимся, что избранный для «восстановления чести» способ действия странный и нелогичный. Да и в Сибирь он вовсе не стремился.) Точно так же, наверное, полагало и правительство, «великодушный и мягкий образ действий» которого, продолжает Пушкин, «глубоко тронул меня и с корнем вырвал смешную клевету». Каким образом первое повлекло за собой второе, не очень ясно, но с тех пор, пишет Пушкин, «вплоть до моей ссылки, если иной раз и вырывались

у меня жалобы на установленный порядок, если иногда и предавался я юношеским разглагольствованиям, все же могу утверждать, что, как в моих писаниях, так и в разговорах, я всегда проявлял уважение к особе Вашего величества».

Здесь поэт, как было показано выше, явно лукавил. Тем не менее Пушкин рассчитывает на «великодушие» царя: «Я сказал вам всю правду с такой откровенностью, которая была бы немыслима по отношению к какому-либо другому монарху». Вероятно, желанием окончательно растопить сердце императора можно объяснить ссылку на аневризм сердца, что требует немедленной операции или продолжительного лечения. Из медицинского же свидетельства инспектора Псковской врачебной управы В. Всеволодова от 11 мая 1826 г. явствует, что «коллежский секретарь Александр Сергеевич сын Пушкин <...> имеет на нижних оконечностях, а в особенности на правой голени, повсеместное расширение кровевозвратных жил; отчего <...> Пушкин затруднен в движении вообще» (XIII, 284). Тем не менее просьба Пушкина прежняя: «...Разрешить мне пребывание в одной из наших столиц или же назначить мне какую-нибудь местность в Европе, где я [мог бы] позаботиться о своем здоровье» (XIII, 548, 549).

Письмо не было отправлено, ибо и на этот раз друзья сочли более целесообразным обращение к Александру I Н.О. Пушкиной[17]. Но все карты спутала неожиданная смерть императора в Таганроге 19 ноября 1825 г., о чем Пушкин узнает в последний день ноября, а до этого спешит закончить «Бориса Годунова» так как, по уверению Жуковского, тогда только можно будет начать новые хлопоты о разрешении вернуться из ссылки: сочинение в глазах царя «искупит» прежние его «шалости» (XIII, 237). Примерно 7 ноября Пушкин сообщает Вяземскому: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!». И тут же добавляет: «Жуковский говорит, что царь простит за трагедию – навряд [ли], мой милый. Хоть она и в хорошем духе написана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (XIII, 240).

Надежды поэта на скорое освобождение укрепила важная новость: на царствование присягнули цесаревичу Константину Павловичу. 4 декабря Пушкин пишет П.А. Катенину: «Как верный подданный, должен я конечно печалиться о смерти государя; но, как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма <...> К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше, словом, я надеюсь от него много хорошего <...> Признаюсь – мочи нет хочется к Вам» (XIII, 247). Отзыв поэта о Константине расходится с отзывами авторитетных современников, называвших отличительной чертой наследника престола непредсказуемость поведения. Впрочем, возможно, слова об уме, романтизме нового властителя предназначались перлюстраторам. В эти же дни Пушкин самовольно пытается уехать из Михайловского. 1 или 2 декабря он под именем крепостного П.А. Осиповой Алексея Хохлова направляется в Петербург. Но из-за «дурных

примет» (дважды дорогу перебежал заяц, и, кроме того, встретился поп) возвращается, и, как оказалось, к счастью.

Нежданное для всех появление на престоле Николая Павловича, события на Сенатской площади взбудоражили всю страну. Начались повальные обыски, аресты, в обществе ходили самые невероятные толки. В этой тревожной обстановке Пушкин сжигает часть своих рукописей, избавляясь, как он считает, от улик для ареста – своего и близких ему людей. Не имея достоверной информации о ситуации в Петербурге (XII, 237), он на время воздерживается от просьб о своем освобождении. Казалось бы, Пушкин должен был знать из истории своей страны о непременном помиловании новым царем лиц, попавших в опалу в предшествующее правление. Но поэту, положение которого, по его словам, «хоть кого с ума сведет» (XIII, 237), ждать невмоготу, и во второй половине января 1826 г. он спрашивает П.А. Плетнева: «...Не может ли Ж[уковский] узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение <...> Покойный имп[ератор] в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки не-религиозные – других художеств за собой не знаю» (XIII, 256).

В 20-х числах января, воспользовавшись «верным случаем», Пушкин сам пишет своему «главному ходатаю» Жуковскому: «Вероятно правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел». Однако он достаточно трезво оценивает ситуацию: «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ними друзей моих довольно». Но тут же чувство реальности ему изменяет, и он опять намерен «условливаться» с властью: «Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мной правительства etc.»

Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не подпустил чувствительную для придворного лица шпильку: «Говорят, ты написал стих на смерть Алекс[андра] предмет богатый! – Но в теченьи десяти лет его царствования, лира твоя молчала. Это лучший упрек ему, никто более тебя не имел права сказать: глас лиры, глас народа. Следств[енно] я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба» (XIII, 257, 258).

Стремление поскорее вырваться из Михайловского плена подогрел П.А. Катенин: «Самому тебе не желать возврата в Петербург странно! <...> Запретить тебе наотрез, кажется, нет довольно сильных причин. Если бы я был на месте Жуковского, я бы давно хлопотал» (XIII, 259).

И вот уже Пушкин делится с Дельвигом: «Конечно я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно особенно ныне (идет следствие над декабристами. – *М.Р.*), образ мыслей моих известен <...> но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив <...> Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренне помириться с правительством, и конечно это ни от кого, кроме его,

не зависит. В этом желании [конечно] более благоразумия, нежели гордости с моей стороны» (XIII, 259).

7 марта в письме к Жуковскому Пушкин вкратце излагает историю своей ссылки и выражает надежду на скорую перемену своей судьбы ценой ко многому обязывающего обещания: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (XIII, 265, 266). В этом нет приспособленчества к новым условиям, а есть трезвая их оценка.

В середине марта Катенин вновь подталкивает Пушкина к самостоятельным действиям: «На друзей надеяться хорошо, но самому плошать не надо; я бы на твоем месте сделал то же, что на своем, написал бы прямо к царю почтительную просьбу в благородном тоне, и тогда я уверен, что он тебе не откажет, да и не за что» (XIII, 269).

Пушкину эта идея кажется вполне реализуемой, особенно на фоне «высоких» советов неимоверно счастливого после недавней женитьбы Дельвига: «Живи, душа моя, надеждами дальними и высокими, трудись для просвещенных внуков; надежды же близкие, земные оставь на старания друзей твоих и доброй матери твоей. Они очень исполнимы, но еще не теперь. Дождись коронации, тогда можно будет просить царя, тогда можно от него ждать для тебя новой жизни. Дай Бог только, чтоб она полезна была для твоей поэзии» (XIII, 271).

Но вот спустя более месяца после письма Пушкина от 7 марта приходит ответ от «ленивого на письма» Жуковского (так он себя аттестует), ставший полной неожиданностью: «В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать [для тебя] в твою пользу. Всего благоразумнее для тебя остаться покойно в деревне, не напоминать о себе и писать, но писать для славы. Дай пройти несчастному этому времени <...> Ты ни в чем не замешан – это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством <...> Наши отроки (то есть все зреющее поколение) <...> познакомились с твоими буйными, одетыми прелестию поэзии мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый <...> Кончу началом: не просись в Петербург. Еще не время. Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы» (XIII, 271).

Все как сговорились. От Плетнева после мучительного для Пушкина месячного молчания – рубленые и тем еще более обидные фразы: «Мой совет и всех любящих тебя провести нынешнее лето в деревне. К осени Жуковский возвратится. Дел важных сбавится. Все войдет в обыкновенное течение. Тогда легче начать и Жуковскому». А затем следует главный, убийственный для друга совет: «...прежде надобно заняться чем-нибудь общим, а потом приступить к частному» (XIII, 272).

Вяземский тоже увещевает: «Сиди смирно, пиши, пиши стихи и отдавай в печать!» (XIII, 272). И, хорошо зная нрав друга, предостерегает: «Только не трать чернил и времени на рукописное» (XIII, 276), т.е. на неподцензурное.

Вероятно, в глубине души Пушкин осознавал, что без Жуковского друзья ничего не могут сделать, но он слишком устал от ожиданий. В конце мая в письме Вяземскому Пушкин впервые откровенно говорит о своем желании уехать из страны: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ. журналы или парижские театры и бордели – то мое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство <...> Незабавно умереть в Опоческом уезде» (XIII, 280).

Понимая, что до возвращения Жуковского из Карлсбада хлопотать за него некому, он решается на покаянное прошение лично царю: «В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню <...> Ныне с надеждой на великодушие в.и.в., с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к в.и.в. со всеподданнейшею моею просьбою.

Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения. В чем представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края» (XIII, 283–284).

Примечательно, что уже после отправления прошения Пушкин получает запоздалый совет Вяземского: «На твоем месте написал бы письмо к государю искреннее, убедительное: сознался бы в шалостях языка и пера <...> обещал бы держать впредь язык и перо на привязи, посвящая все время свое на одни занятия, которые могут быть признаваемы (а пуще всего сдержал бы свое слово), и просил бы дозволения ехать лечиться в Петер[бург], Москву или чужие краи» (XIII, 285).

Перемена в позиции Вяземского по времени совпадает с окончанием следствия над декабристами, что, конечно же, не случайно: Пушкин не привлечен к «делу заговорщиков». Сам Пушкин этим фактом особо не обольщается: «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем» (XIII, 286).

31 июля Вяземский извещает Пушкина, что он «видел [его] письмо в Петербурге: оно показалось мне сухо, холодно и не довольно убедительно. На твоем месте написал бы я другое», с обещанием, что «будешь писать единственно для печати и, разумеется, дав честное слово, хранить его ненарушимо. Другого для тебя спасения не вижу» (XIII, 289).

Письмо Вяземского Пушкин получил уже после окончания так называемого суда над декабристами и казни пятерых из них, а потому его ответ не мог быть другим: «Ты находишь письмо мое холодным и су-

хим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» (XIII, 291).

Но ситуация обернулась так, что вопрос о новом прошении был вовсе снят – не прошло и недели после коронации Николая I (22 августа 1826 г.), как начальник Главного штаба И.И. Дибич записывает царскую резолюцию: «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину позволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать о сем псковскому гражданскому губернатору. 28 августа»[18]. Около 5 часов утра 4 сентября Пушкин, предварительно уничтожив черновую «Михайловскую» тетрадь с автобиографическими записями и «некоторые стихотворные пиесы», выезжает в Псков и оттуда в вечер того же дня в Москву.

Начался новый этап жизни А.С. Пушкина, на всем протяжении которого его имя отныне тесно связано с именем императора Николая I.

«Господа, это Пушкин мой»

Поэт прибыл в Москву 8 сентября и тотчас же был доставлен в Кремль, в «Чудов дворец», на аудиенцию к царю. О встрече Пушкина с Николаем I известно из нескольких источников, мало отличающихся друг от друга в содержательном плане, но с заметным расхождением в трактовке одного и того же факта[19]. Так, в воспоминаниях, записанных М.А. Корфом со слов Николая I, есть такой текст: «Переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14-го декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим»[20].

В записанном же писательницей А.Г. Хомутовой ее разговоре с Пушкиным эпизод этот передан по-другому: «Император долго беседовал со мною и спросил меня: “Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14-м декабре?” – “Неизбежно, государь; все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо”. – “Ты довольно шалил, – возразил император, – надеюсь, что теперь ты образумишься, и что размолвки у нас вперед не будет. Присылай все, что напишешь, ко мне, отныне я буду твоим цензором”»[21].

О конкретном содержании почти двухчасового разговора ни один из собеседников не оставил письменных воспоминаний. Потому суждения позднейших исследователей на этот счет – только домыслы разной степени правдоподобности. И если для Николая это был по-своему важный, но все же проходной эпизод, то что касается молчания Пушкина, возможно, все объясняется его отношением к автобиографическим запискам: «Писать свои Memoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Пред-

мет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью – на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать – braver – суд людей не трудно; презирать [самого себя] суд собственный невозможно» (XIII, 244). Но в любом случае для Пушкина беседа с царем – событие переломное, после которого «должно начаться счастие»[22].

Неслучайно же, как свидетельствует Н.М. Смирнов, муж приятельницы поэта «черноокой» фрейлины А.О. Смирновой-Россет, Пушкин вышел из кабинета царя «со слезами на глазах, бодрым, веселым, счастливым. Государь <...> все ему простил, все забыл, обещал покровительство свое...»[23]. Сам поэт спустя неделю после свидания пишет П.А. Осиповой в Тригорское: «Государь принял меня самым любезным образом» (XIII, 550). Возвращение из деревенской глуши к столичной жизни к друзьям необыкновенно скоро сказалось и на здоровье поэта – все «аневризмы» тут же забыты, и ему «почти совестно чувствовать себя так хорошо» физически (XIII, 563).

После встречи с поэтом император вечером того же дня на балу подзывает к себе Д.Н. Блудова (в то время товарища министра народного просвещения): «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?». И затем громко назвал имя Пушкина[24]. В том, что для этого выбран именно Блудов, есть свой резон – он бывший «арзамасец», и сказанное обязательно станет известно Пушкину. По свидетельству другого современника, Ксенофонта Полевого, Николай Павлович после разговора с Пушкиным заявил окружающей его свите: «Господа, это Пушкин мой»[25].

Описываемый эпизод в передаче министра двора П.М. Волконского представлен несколько иначе, усилен его главный смысл: «Это не прежний Пушкин, – сказал император, – это Пушкин, раскаивающийся и искренний, – мой Пушкин, и отныне я один буду цензором его сочинений»[26]. Не в этом ли лежит причина сдержанности Пушкина в рассказе о содержании его беседы с царем? Мог ведь в порыве благодарности наговорить много лишнего, ненужного. А. Волконскому говорить неправду особой нужды нет. Да и хороший знакомец поэта М.В. Юзефович свидетельствует о том же: «И действительно, он стал новым. Когда я знал его, он был проникнут глубокою благодарностью и благоговейной преданностью к государю Николаю Павловичу»[27].

Сам Пушкин радовался другому: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная» (XIII, 305).

Такого же мнения придерживается и П.А. Вяземский. В письме из Москвы от 29 сентября 1826 г. он извещает А.И. Тургенева и В.А. Жуковского: «Пушкин здесь и на свободе <...> Государь <...> принял его у себя в кабинете, говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею <...> обещался сам быть его цензором. Вот и это хорошо!»[28] Написано это явно со слов самого Пушкина.

Но заблуждение было недолгим. В письме от 30 сентября А.Х. Бенкендорф так передает слова императора: «Сочинений ваших никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры: государь император сам будет и первым ценителем произведений ваших и цензором» (XIII, 298). И далее: «...Честь имею присовокупить, что сочинения ваши можете для представления е.в. доставлять ко мне; но впрочем от вас зависит и прямо адресовать на высочайшее имя». Последняя оговорка ничего не стоит – все шло по инстанции, чаще всего через «контору» самого Бенкендорфа. Цель же такого «благоволения» императора – исключить возможность напечатать такое, что могло бы по недосмотру пройти мимо внимания обычной цензуры, а главное – сделать Пушкина придворным пиитом[29].

Истинную цену слов императора Пушкин почувствовал скоро, получив выволочку от шефа жандармов (понимай – от царя) за чтение в кругу друзей «Бориса Годунова» без специального на то разрешения. Отныне поэт обязан представлять все свои творения на «предварительное» рассмотрение до «напечатания или распространения оных в рукописях» (XIII, 307). Поэт обескуражен, но не хочет быть неблагодарным в глазах Николая I и просит М.П. Погодина «как можно скорее остановить в моск[овской] цензуре все, что носит мое имя – такова воля высшего начальства» (там же). В письме С.А. Соболевскому он все еще без видимого неудовольствия пишет, что «освобожденный от цензуры я должен однако ж, прежде чем что-нибудь напечатать представить оное Выше; хотя бы безделицу. Мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову. Конечно я в точности исполню высшую волю» (XIII, 312).

Кстати, Бенкендорф для пущей острастки лично побеседовал с Пушкиным на эту тему, после чего доложил царю: «Пушкин после свидания со мною говорил в Английском клубе с восторгом о В[ашем] В[еличестве] и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье В[ашего] В[еличества]». И тут же добавил: «Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»[30].

«Не ведает царь, что делает псарь!»

«Направлять» перо поэта Бенкендорф принялся столь рьяно, что вскоре Пушкин оказался крепко скован цензурными запретами. В феврале 1832 г. он просит у шефа жандармов как особой милости «впредь иметь право с мелкими сочинениями своими относиться к обыкновенной цензуре» (XV, 14). Это случилось после неудавшейся попытки Пушкина обойти шефа жандармов, ссылаясь на его собственное письмо (XIV, 409) с сообщением о том, что «г[осударю] и[мператору] угодно было впредь положиться на меня в издании моих сочинений» (XIV, 234). Но ответ Бенкендорфа не оставляет сомнений в том, что Пушкину от опеки царя и его верного слуги не избавиться: «...Мне неизвестно, чтобы

е.в. разрешил Вам все Ваши сочинения печатать под одною Вашею только ответственностью <...> сообщение мое к Вам <...> относилось к одной лишь трагедии <...> Годунов, а потому Вам надлежит по-прежнему испрашивать каждый раз высочайшее позволение на напечатание Ваших сочинений» (XIV, 234–235). Так и оставалось до самой гибели поэта. И это по отношению к «певцу Империи»?

В конце октября 1835 г. Пушкин, донельзя оскорбленный сложившейся практикой, обращается к Бенкендорфу с жалобой на то, что «ни один из русск[их] писателей не притеснен более моего. Сочинения мои, одобренные государем, остановлены при их появлении – печатаются с своевольными поправками цензора, жалобы мои оставлены без внимания» (XVI, 57). Как говорится, «не ведает царь, что делает псарь», или того хуже – «псари» опираются на негласную поддержку всемогущего правителя.

Что касается обещания императора быть «первым ценителем» всего написанного поэтом, то в ранге литературного критика он, так сказать, далеко не достиг царского положения. Вернее, не он, а те, кто, зная его вкусы, готовил для него отзывы, например на «Бориса Годунова».

В данном конкретном случае исследователи обычно приводят мнение Николая I, изложенное в письме Бенкендорфа Пушкину от 14 декабря 1826 г.: «Е.в. изволил прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно написал следующее: “Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал Комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Валтера Скота”» (XIII, 313). Но вот текст замечаний на творение Пушкина сексота III Отделения завистливого Фаддея Булгарина: «Литературное достоинство гораздо ниже, нежели мы ожидали. Это не есть подражание Шекспиру, Гете или Шиллеру; ибо у сих поэтов в сочинениях, составленных из разных эпох, всегда находится связь и целое в пиесах. У Пушкина это разговоры, припоминающие разговоры Валтера Скотта. Кажется, будто это состав вырванных листов из романа Валтера Скотта»[31].

В рукописи, побывавшей в ведомстве Бенкендорфа, обозначены и места, требующие «нужного очищения». Сравнение обоих приведенных отзывов снимает необходимость доказывать несамостоятельность императорской оценки. Более того, возникает сомнение в том, что Николай I в этот раз вообще читал трагедию, ибо с чего бы это, как извещает Пушкина Бенкендорф 9 января 1831 г. после выхода в свет (в конце декабря 1830 г.) «Бориса Годунова» в его первоначальном (почти) виде, «государь сочинение Ваше <...> изволил читать с особым удовольствием» (XIV, 142). Выходит, что Николай Павлович «забыл» о своем первом отзыве?

А как царь цензуровал и оценивал сочинения Пушкина в тех случаях, когда он их читал сам, видно из следующего примера. 22 августа 1827 г. Бенкендорф возвращает Пушкину представленные им новые стихотворения, которые «государь изволил прочесть с особенным вни-

манием». Если по стихотворениям «Ангел» (III, 59), «Стансы» (III, 40) и третьей главе «Евгения Онегина» у Николая I не было никаких замечаний, то в поэме «Граф Нулин» (V, 1–13) он «своеручно» целомудренно отметил «два стиха», требующих изменений: «Порою с барином шалит» и «Коснуться хочет одеяла». «Сцену из Фауста» (1, 383–386) «позволено напечатать» за исключением вызвавших неудовольствие царя строк:

Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.

Что же касается «Песен о Стеньке Разине» (III, 23–25), то они оказались «по содержанию своему не приличны к напечатанию. Сверх того Церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева» (XIII, 335–336). Пушкин на это известие внешне никак не реагирует, но постоянная опека его явно тяготит, и он в сердцах пишет издателю М.П. Погодину: «Я не лишен прав гражданства и могу быть цензурован нашею цензурою, если хочу, – а с каждым нрав[оучительным] четверост[ишием] я к высшему цензору не полезу» (XIII, 350).

Обуздать свободолюбивую натуру Пушкина оказалось не просто... Известно, что в декабре 1826 г., уже после встречи с царем, поэт передает ссыльным декабристам с отправлявшейся к мужу в Сибирь А.Г. Муравьевой послание «Во глубине сибирских руд» с его известной заключительной строфой:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут (III, 49).

Но этот поступок был, пожалуй, следствием мгновенного порыва, вызванного пронзительно трогательным прощанием с М.Н. Волконской – первой из жен декабристов, поехавшей в ссылку к мужу.

Двусмысленность подобного поведения не могла не быть очевидной для Пушкина, месяцем раньше отнюдь не для отвода глаз писавшего Бенкендорфу: «Конечно, никто живее меня не чувствует милость и великодушие государя императора» (XIII, 308).

Управляющий III Отделением М.Я. фон Фок в ноябрьском рапорте 1827 г. со слов своих агентов свидетельствует: «Недавно был литературный обед, где шампанское и венгерское вино пробудили во всех искренность <...> в это время, когда прежде подшучивали над правительством, ныне хвалили государя откровенно и чистосердечно»[32]. Впрочем, в этом не было ничего необычного, ибо «молодого государя» хвалили почти все, с особенным удовлетворением отмечая, что «с новым царствованием повеяло в воздухе чем-то новым, что Баба-яга назвала бы русским духом». Это проявилось прежде всего в том, что в высшем свете, по «высочайшему» примеру, неумело, но со старанием заговорили по-русски[33]. Но Пушкин, ложно оценивший перспективы нового царя и его царствования после памятного разговора в Чудовом дворце, просто превозносил Николая I в своих «Стансах» («В надежде славы и

добра...»). Это было выражением искренних надежд поэта, не зря он желает царю быть похожим на Петра:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен (III, 40).

«Стансы» написаны в декабре 1826 г., но еще в августе того же года Пушкин в письме к Вяземскому выражает надежды, что при коронации царь проявит милость в отношении декабристов (XIII, 291). И все же восхваление царя воспринимается многими как откровенная лесть, от Пушкина отворачиваются даже самые верные почитатели. Появляются и эпиграммы, самая злая из которых принадлежит перу второразрядного поэта и критика А.Ф. Воейкова:

Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд;
Но только царских щей отведал
И стал придворный лизоблюд[34].

Пушкин не реагирует на выпады, он сохраняет свои оптимистические надежды, находя в словах царя «проблески просвещенной доброй воли». 16 сентября 1827 г. он делится с А.Н. Вульфом: «Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14 декабря»[35]. То же расположение духа не изменилось и в последующем, когда на критику поэт отвечает новыми стихами «Друзьям». Название не случайное, стихи являются как бы ответом тем, кто бранил его за «Стансы»:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами (III, 89–90).

Приятель поэта Н.М. Языков о стихотворении «Друзьям» отозвался очень резко: «Просто дрянь»[36], не заметив в нем рисуемый Пушкиным (правда, в несколько условной форме) образ поэта – советчика царей. Другой приятель Пушкина – П.А. Катенин публично обвинил его в лести, что вызвало их нешуточную размолвку вплоть до февраля 1833 г.

Вера, правда, не очень твердая, в добрые намерения царя нашла отражение и в «декабристских строках» десятой главы «Евгения Онегина». «Авось по манью [Николая] Семейства возвратит [Сибирь»] (VI, 522). Поэт еще не потерял надежды на амнистию, для него «каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (XIII, 291). Характерно, что в марте 1830 г. в письме к Вяземскому Пушкин, имея в виду какой-то «проект новой организации», инициатором которого был Николай I, советует другу: «Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в

смысле европейского просвещения» (XIV, 69). А в ноябрьском письме Вяземскому Пушкин, поверив слухам о намерениях Николая I, восклицает: «Каков государь? Молодец! того и гляди, что наших каторжников простят – дай Бог ему здоровье» (XIV, 122).

Возвращаясь к осужденному либеральной частью общества стихотворению «Друзьям», которым Николай I остался «совершенно доволен <...> но не желает, чтобы оно было напечатано» (XIV, 6. Расчет верный – распространение стихов в рукописи даст больший эффект), подчеркнем, что здесь, как уже не раз отмечалось в литературе, имеет место противопоставление деятельного: «бодро правившего» Николая I практически отошедшему от дел в последние годы царствования Александру I, который для Пушкина есть «враг труда» (VI, 521), «делом не замучен» (II, 68). И почему же он таков? А потому, что руководствуется «нашим царским правилом: дела не делай, от дела не бегай» (XI, 23).

С огромным удовлетворением было воспринято в обществе решение вступившего на престол Николая Павловича об отстранении от власти ненавистного А.А. Аракчеева, удаление от дел таких одиозных в глазах современников фигур, как М.Л. Магницкий и Д.П. Рунич, «старавшихся утушить» в России просвещенье (II, 861).

С другой стороны, приближен к трону еще недавно гонимый «либерал» М.М. Сперанский, вновь «в чести» в последние годы попавший в некоторую немилость Александра I – Н.М. Карамзин. Все это не могло не сказаться на позитивной оценке значительной частью общества действий нового царя. Даже 20 лет спустя, в канун неминуемого вползания страны в полосу мрачной реакции, сам «неистовый» Виссарион так подытоживал результаты николаевского правления: «В отношении к внутреннему развитию России настоящее царствование, без всякого сомнения, есть самое замечательное после царствования Петра Великого. Только в наше время правительство проникло во все стороны многосложной машины своего огромного государства <...> и сделало ощутительным благотворное влияние свое во всех стихиях народной жизни <...> Старые основы общественной жизни, которые уже заржавели от времени и могли бы только затормозить колеса великой государственной машины и остановить ее движение вперед, мудро отстраняются мало-помалу без всякого сотрясения в общественном организме <...> Вот истинное продолжение великого дела Петра!»[37]

Что же говорить о начале царствования Николая, когда в обществе со слезинкой заговорили об ожидаемом Россией «новом зиждителе», подобном Петру Великому[38]? События на Сенной площади в охваченном холерой Петербурге в июле 1831 г., когда царь, согласно легенде, усмирил мятежную толпу устрашающим своим голосом и грозной внешностью, вмиг поставив ее на колени, усилили всеобщие восторги. М.П. Погодин писал в эти дни: «Я искренне люблю нашего царя, ибо вижу в нем что-то Петровское и уверен в благородной, смелой душе его»[39].

Не отставали в славословиях «подвига царя» и другие.

По убеждению Вяземского, «тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу Владыке», а приезд царя в охваченный эпидемией город (из Царского Села) «есть точно подвиг героический».

Постоянно встречавшийся с Пушкиным в литературных кругах писатель и драматург А.С. Хомяков и вовсе «растаял»: «А каков царь! Право, редкий пример смелости и великодушия. Без лести можно его хвалить в стихах и прозе»[40].

Даже частные примеры определения в ту пору на государственные должности «людей полезных» ассоциировались в обществе с петровскими деяниями. Такова была, например, реакция общественности на назначение послом в Персию А.С. Грибоедова в 1828 г.: «Грибоедовым куплено тысячи голосов в пользу правительства. Литераторы, молодые способные чиновники и все умные люди торжествуют <...> Везде кричат: “Времена Петра!”»[41]. Таков был общий хор «умных людей», включая и голос Пушкина.

Однако главным, определяющим отношение поэта к императору Николаю было то, что именно он вернул его из ссылки, когда уже, казалось, были потеряны всякие надежды. Парадокс состоял в том, что Николаю I, лично участвовавшему в следствии над декабристами, было хорошо известно, что многие из декабристов признавались на допросах, что именно вольнолюбивые стихи Пушкина оказали влияние на формирование их мировоззрения. Потому можно вполне доверять сказанному Ф. Булгариным в записке на имя М.Я. фон Фока в ноябре 1827 г.: «Поэт Пушкин ведет себя отлично-хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании <...> что он хотел умереть».

А во время одного из застолий Пушкин сказал даже, что «меня должно прозвать или Николаевым или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь, и, что гораздо более, свободу: виват!»[42].

Аналогичного характера донесения Булгарин регулярно поставлял и тогда, когда в обществе стали известны пушкинские «Стансы», посвященные Николаю I: «За ужином, – рапортует он в августе 1827 г., – при рюмке вина вспыхнула веселость, пели куплеты, читали стихи Пушкина <...> Барон Дельвиг подобрал музыку к “Стансам” Пушкина, в коих государь сравнивается с Петром»[43].

Подобных свидетельств современников о необыкновенном расположении Пушкина к Николаю I много. Не доверять им невозможно, особенно учитывая собственные признания поэта: «Я бы предпочел подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того, кому я всем обязан, кому готов пожертвовать жизнью, и это не пустые слова» (XIV, 397). Или: «Государь осыпал меня милостями с той первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне.

Среди них есть такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения, столько он вложил в них прямоты и великодушия. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал к нему» (XV, 329). Это написано Пушкиным в июле 1834 г.

Возвышенное представление о Николае I присутствует у Пушкина и в стихотворении «Герой», написанном в имении Болдино, где поэт застрял из-за бушевавшей в центральных губерниях страны холеры. В нем проводится мысль, что истинное величие Наполеона не в его военных победах и не в достижении трона, а в милосердии, когда во время Египетского похода полководец, пренебрегая очевидной опасностью, посетил в Яффе бараки со смертельно больными чумой. Под стихотворением значится: «29 сентября 1830 – Москва», хотя оно создано в октябре в Болдино.

Отчего же Пушкин, практически никогда не выставлявший под стихотворениями дату и место их написания, на этот раз отошел от своего правила? Все объясняется просто – это тот день, когда Николай I, тоже с риском для жизни, приехал в охваченную холерой Москву, поддержав тем самым угасающий дух горожан. Хотя имя императора в стихотворении не названо, нет никаких сомнений в том, что оно адресовано ему. Это подтверждается и тем, что «Герой» был отправлен для опубликования М.П. Погодину с непременным условием: «...прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени» (XIV, 122).

Просьба понятна – Пушкин довольно натерпелся от друзей и почитателей за стихотворения «Стансы» и «Друзья», помнил он и о реакции царя на последнее из названных стихотворений. Волю поэта Погодин не нарушил и только после его смерти написал Вяземскому: «Вот вам еще стихотворение, которое Пушкин прислал мне в 1830 году из нижегородской деревни, во время холеры. Кажется, никто не знает, что оно принадлежит ему <...> В этом стихотворении самая тонкая и великая похвала нашему славному царю. Клеветники увидят, какие чувства питал к нему П[ушкин], не хотевший, однако ж, продираться со льстецами <...> Я напечатал стихи тогда в “Телескопе” (1831, № I, без подписи) и свято хранил до сих пор тайну <...> Разумеется, никому не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением <...> – 29 сентября 1830 – есть день прибытия г[осударя] и[императора] в Москву во время холеры»[44].

К так называемому николаевскому циклу относятся и три пушкинских стихотворения, непосредственно связанных с политической обстановкой 1830–1831 гг., когда империя буквально была оглушена начавшейся национально-освободительной войной в Польше. Ситуация усугублялась тем, что польским повстанцам вызывающе демонстративно симпатизировала Франция, к тому же открыто поддержанная Великобританией. А это уже говорило о складывающейся антироссийской

коалиции в Европе. Атмосфера во французской Палате депутатов накаляется до того, что там раздаются истеричные призывы к военному вмешательству.

В этих условиях Пушкин в начале лета 1831 г., хотя и в не очень явной форме, выражает поддержку царю глубоко патриотичным стихотворением памяти М.И. Кутузова («Перед гробницею святой...») (III, 267). Спустя полтора месяца он создает стержневое стихотворение польского цикла – «Клеветникам России» (III, 269–270), в котором прямо, без обиняков заявляет о поддержке царя и сурово предостерегает тех, кто хочет вмешаться извне в давний «спор славян между собой». О том же он пишет в письме к Вяземскому I июня 1831 г.: «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским» (XIV, 169). Заключает цикл стихотворение «Бородинская годовщина» (III, 273–275), появившееся после взятия русскими войсками предместья Варшавы – Праги. Как и в предыдущих двух стихотворениях, в нем прославляется могущество России и резко осуждаются те, кто кричал на Западе о военном вмешательстве в российские дела в связи с восстанием в Польше. Но есть здесь и одно существенное отличие – в «Бородинской годовщине» впервые звучит призыв к милосердию в отношении поверженных повстанцев:

Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица.

Стихи получили полное одобрение императора, и награда поэту не замедлила явиться. 3 сентября 1831 г. в письме к П.В. Нащокину Пушкин по секрету сообщает, что «царь (между нами) взял меня в службу и позволил рыться в архивах для составления Истории Петра I. Дай Бог здравия царю» (XIV, 219).

По словам графини А.Д. Блудовой, стихи Пушкина «Клеветникам России» «повторялись всеми с увлечением»[45]. Один лишь Вяземский, поддержанный А.И. Тургеневым, укорял друга за хвалу победам И.Ф. Паскевича, называя такие восторги «анахронизмом» за то, что поэт без нужды говорит «нелепости и еще против совести и более всего без пользы». Здесь же Вяземский резко охлаждает воинственный пыл друга: «Неужьли Пушкин не убедился, что нам с Европой воевать была бы смерть»[46]. Пушкин рассержен и, поддавшись эмоциям, в свою очередь в кругу друзей несправедливо укоряет его за то, что он «человек ожесточенный», «не любит» России, потому что она ему не по вкусу[47].

Еще П.Н. Милюков отмечал, что современники, и прежде всего критики Пушкина, в его стихотворениях на польскую тему не увидели главного: того, что они были «направлены непосредственно не против поляков, а именно против иностранного вмешательства в их пользу»[48]. И действительно, вот о чем ведет речь Пушкин:

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
<...>
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?

Стихи стали ответом на угрозу некоторых кругов на Западе пойти войной на Россию, ответом тем зарубежным «витиям», которые не знали общего для русских и поляков прошлого:

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага*.

Угроза вооруженной поддержки польских повстанцев, особенно со стороны Франции, была реальной, и общественное мнение в России единодушно осуждало европейских политиков. Пушкин, безоговорочно ставший на позиции русского патриота, был всего лишь наиболее ярким выразителем этого общественного мнения.

«Я не приобрел доверия власти»

Польское восстание, в оценке которого позиции царя и поэта полностью совпали, настолько примирило Пушкина с властью, что в начале лета 1831 г. он начинает хлопоты об учреждении новой литературной и политической газеты: «Заботливость истинно отеческая г.и. глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями е.в., мне давно было тягостно мое бездействие; я всегда желал служить ему по мере моих способностей <...> Если государю угодно будет употребить перо мое [для] политических статей, – пишет он Бенкендорфу, – то постараюсь с точностию и усердием исполнить волю е.в.» (XIV, 283).

Представляет особый интерес обоснование поэтом своего права на издание газеты: «...в последнее пятилетие царствования покойного государя, я имел на все сословие литераторов гораздо более влияния, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств».

Хотя Пушкин далее и пишет о том, что относительно направления политических статей власти могут не тревожиться – оно целиком «должно зависеть от правительства и в этом – издатели священной обязанностью полагают добросовестно ему повиноваться» (XIV, 253, 254), – приведенное им обоснование не могло не обеспокоить Николая I, а потому получение разрешения затягивалось. Об удовлетворении просьбы

* *Кремль* – это вступление поляков в Москву во время Смуты в 1610 г., *Прага* – предместье Варшавы, где произошли кровавые события в канун третьего раздела Польши.

Пушкин сообщает Погодину только 11 июля 1832 г. (XV, 27). Но, как следует из письма поэта к жене, газета так и не увидела свет из-за нарушения Николаем I своего слова: «Государь обещал мне Газету, а там запретил» (XVI, 51). Император явно не верил в благонадежность и «управляемость» Пушкина, и поэт это чувствовал, что следует из его письма Бенкендорфу: «Несмотря на четыре года уравновешенного поведения, я не приобрел доверия власти. С горестью вижу, что малейшие мои поступки вызывают подозрения и недоброжелательство» (XIV, 403).

С целью «приручения» поэта 31 декабря 1833 г. его пожаловали в камер-юнкеры. Этой царской милостью Пушкин, по словам брата Льва, был донельзя взбешен[49], тем более что в обществе распустили слух о его «искательстве» этого звания «интригами и лестью»[50]. Можно себе представить, как это ранило Пушкина, болезненно дорожившего своей репутацией независимого и нельстивого человека. Друзья Пушкина вспоминают, что по получении этого известия он «хотел просто идти и наговорить царю грубостей» и они «должны были отливать его водой»[51]. Кажется, нет оснований не верить этим показаниям. Но вот что пишет сам Пушкин жене 29 мая 1834 г.:

«Хлопоты по имению меня бесят; с твоего позволения, надобно будет кажется выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять» (XV, 153).

Никакой иронии в приведенных словах нет, и объяснить расхождения в оценках реакции Пушкина на свое камер-юнкерство затруднительно, особенно учитывая лишенную всяких эмоций запись в дневнике: «1834. 1 января. Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством? Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным» (XII, 318).

В марте 1834 г. Пушкин в спокойной тональности извещает ближайшего своего друга П.В. Нащокина: «Я камер-юнкер с января месяца <...> Конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах – и верно не думал уж меня кольнуть» (XV, 118).

Но вот опять факт, не вписывающийся в один ряд с только что приведенными: Пушкина положили в гроб не в камер-юнкерском мундире, как следовало бы по придворному этикету, а во фраке. И сделано было это, как свидетельствует А.И. Тургенев, «по желанию вдовы, которая знала, что он не любил мундира»[52]. Считается, что Пушкин был недоволен своим камер-юнкерством из-за того, что попал в окружение «юнцов». Однако это было не совсем так. По датам рождения 100 камер-юнкеров (из 161) выясняется, что старше Пушкина были 23 человека, 69 – моложе его, но поэт был единственным, кому это звание дано было в возрасте 34 лет[53].

Получивший низшее в иерархии придворных чинов звание и обязанный отныне бывать со своей юной женой на всех придворных балах, где с ней любил танцевать восхищавшийся Натальей Николаевной царь, поэт не мог не видеть этого. Неслучайно в свете откровенно по-

говаривали о том, что придворный чин дан Пушкину во многом для того, чтобы «иметь повод приглашать ко двору его жену»[54]. Причем толки эти были небеспочвенны, поскольку как раз в это время Николай I начинает настойчиво ухаживать за первой красавицей петербургского света[55]. Кстати говоря, царь оказался причастен и к женитьбе Пушкина. Будущая теща поэта не хотела давать согласия на брак дочери, пока правительство не признает его политически «благонадежным». Пушкин в отчаянии вынужден был обратиться к Бенкендорфу, и тот по приказу Николая I разрешил поэту передать Н.И. Гончаровой, что у правительства претензий к нему нет.

Так или иначе, но именно с этой поры отношение поэта к царю начинает меняться. А тут случилась еще одна неприятность: Николаю I доложили содержание перлюстрированного письма Пушкина к жене, в котором тот без должного пиетета высказывался о царствующей фамилии. «К наследнику, – говорилось в письме, – являться с поздравлениями и приветствиями (по случаю его совершеннолетия. – *М.Р.*) не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим теской; с моим теской я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет» (XV, 129–130).

Узнав, каким образом властям стало известно содержание его частного письма, 10 мая 1834 г. Пушкин записывает в дневнике: «Г[осударю] неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отозвался я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным, даже рабом, – но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако, какая грубая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться – и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! что ни говори, мудрено быть самодержавным» (XII, 329).

Полагая, что перлюстрации его писем продолжатся, 3 июня 1834 г. Пушкин пишет жене: «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilite de la famille) невозможно; каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя» (XV, 154).

Пушкин не забыл, что в 1824 г. ставшие известными прежнему царю строки из его частного письма дали властям основание отправить его в ссылку в Михайловское. Ныне все могло повториться. Он признается жене, что в эти дни его все чаще посещает мысль о том, чтобы «плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость; особенно когда лет 20 был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя» (XV, 150).

20 дней спустя он пишет ей о том же: «...я не должен был вступать в службу* и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами <...> Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога» (XV, 156).

Три дня спустя поэт вновь обращается к тому, что полностью владеет его помыслами: «Боже мой! Кабы заводы** были бы мои, так меня бы в П[етер]Б[ург] не заманили и московским калачом. Жил бы себе барином».

Однако он, видимо, понимал непреодолимость силы обстоятельств, что явствует из последующих слов: «На того (царя. – *М.Р.*) я перестал сердиться, потому что, toute reflexion faire [в сущности говоря], не он виноват в свинстве его окружающем. А живя в нужнике по неволе привыкаешь к г[...], и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman. Ух кабы мне удрать на чистый воздух» (XV, 159).

Настроение это не было мимолетным – спустя месяц в письме к Наталье Николаевне он пишет опять о том же: «Я сплю и вижу, чтоб к тебе приехать, да кабы мог остаться в одной из Ваших деревень под Москвою, так бы Богу свечку поставил» (XV, 180).

Такова была плата за «дружбу» с царем. Не случайно примерно в то же время появляются его стихи с мечтой об иной жизни:

Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит –
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь – как раз – умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег (III, 330).

И, как бы логически завершая эти мысли, Пушкин 25 июня подает Бенкендорфу прошение об отставке, но с просьбой не лишать «дозволения посещать архивы» (XV, 165, 328–329). Прошение последовало буквально накануне дня рождения Николая I, на торжествах по случаю которого поэт как камер-юнкер обязан был присутствовать. Но заранее извещенный о предстоящем событии, он не стал вызывать из деревни Наталью Николаевну, которую так хотели видеть во дворце, да и сам не поехал. Демонстративный отказ от участия в обязательном мероприятии приобретал характер вызова.

---

* В сентябре 1831 г. Пушкин был назначен официальным историографом с окладом 5000 руб. в год и из коллежских секретарей произведен в титулярные советники (чиновник IX класса), получив таким образом право на обращение «Ваше благородие».

** Речь идет о Полотняных заводах, имении семьи Гончаровых.

30 июня 1834 г. Бенкендорф известил Пушкина, что «е.и.в., не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить вице-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы», но тут же прибавил, что государь «не изъявил своего соизволения» на посещение архивов, так как «право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностию начальства» (XV, 171). Это было жестоким ударом. Николай I, вовсе не желавший отпускать поэта со службы при дворе и предоставлять его самому себе, знал что делал: Пушкин без архивов не мог продолжить свои исторические занятия, в которые он успел влезть с головой.

И вновь, как и в период пребывания в Михайловском, в дело включился В.А. Жуковский, однако неясно, чью сторону – царя или поэта – он тогда принял. Узнавший о вызвавшем неудовольствие царя прошении Пушкина об отставке лично от Николая I, Жуковский в письме от 2 июля передает содержание разговора с государем: «Я только спросил: “Нельзя ли как этого поправить?” – “Почему ж нельзя? – отвечал он. – Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено <...> Он может однако еще возвратить письмо свое”. Это меня истинно трогает. А ты делай, как разумеешь. Я бы на твоем месте ни минуты не усумнился, как поступать» (XV, 171).

Опять это пресловутое «я бы на твоем месте», на которое поэт поддается. На следующий день после получения письма Жуковского он уничижительно пишет Бенкендорфу: «Несколько дней тому назад я имел честь обратиться к Вашему сиятельству с просьбой о разрешении оставить службу. Так как поступок этот неблаговиден, покорнейше прошу <...> не давать хода моему прошению» (XV, 172).

Почему «неблаговиден»? Это выше обычного понимания. Между тем Жуковский, не вполне уверенный в том, что «ясно сказал то, чего мне от тебя хочется», на следующий день шлет новое письмо и вновь без всякого желания вникнуть в положение Пушкина упорно наставляет: «Я написал бы к нему прямо, со всем прямодушием, какое у меня только есть, письмо, в котором бы обвинил себя за сделанную глупость <...> с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает» (XV, 173).

Как видим, Жуковский, в сущности прикипевший к царскому двору, не сомневается в добром отношении Николая I к Пушкину. Поведение последнего он оценивает как «непристойное», «пакостное». Если же «не воспользуешься возможностью поправить то, что ты так безрассудно соблаговолил напакостить», стращает Жуковский, то не только «поступишь дурно и глупо», но и «навредишь себе на целую жизнь и заслужишь свое и друзей своих неодобрение» (XV, 173). Жуковский и дальше продолжает увещевать Пушкина: покайся, покайся, да не «так сухо, что <...> может показаться государю новой неприличностью» (XV, 175).

Пушкин, обращаясь к неуемному ходатаю, явно раздраженно вопрошает: «Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие – какое тут преступление? Какая неблагодарность? <...> Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что же мне делать? Просить прощения? хорошо; да в чем? <...> Не знаю, почему письма мои неприличны <...> Попробую написать третье» (XV, 176).

И 6 июля появляется это третье письмо Бенкендорфу с просьбой «не давать хода прошению, поданному мною столь легкомысленно», и пояснением, что пошел на такой шаг из-за «неудобства быть вынужденным предпринимать частые поездки, находясь в то же время на службе» (там же). Выглядит как будто убедительно, но сравним с тем, что он писал Жуковскому 4 июля: «Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на все. Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение мое не весело; перемена жизни почти необходима» (XV, 174).

Самое горькое в этой ситуации то, что не было нужды принуждать Пушкина к «покаянию», ибо негласное решение о его «прощении» было принято Бенкендорфом и Николаем I уже после первого же письма поэта шефу жандармов от 3 июля. В своей недатированной (предположительно от 5 июля) записке царю Бенкендорф пишет следующее: «Так как он (Пушкин. – *М.Р.*) сознается в том, что просто сделал глупость, и предпочитает казаться лучше непоследовательным, нежели неблагодарным <...> то я предполагаю, что В.В. благоугодно будет смотреть на его первое письмо (от 25 июня. – *М.Р.*) как будто его вовсе не было. Перед нами мерило человека; лучше чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе».

Резолюция Николая Павловича поистине царская: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу (архиважный намек на мотивы прежних царских неудовольствий. – *М.Р.*), не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства»[56].

22 июля Пушкин записывает в дневнике: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился со двором, – но все перемололось. – Однако это мне не пройдет» (XII, 331).

Более откровенен поэт в письме к жене от 11 июля, когда все только-только утряслось: «На днях я чуть было беды не сделал: с тем (царем. – *М.Р.*) чуть было не побранился – и трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь – другого не наживу. А долго на него сердиться не умею; хотя и он не прав» (XV, 178).

Сказанное удивительным образом совпадает с тем, что говорил Пушкин А. Мицкевичу спустя некоторое время после беседы с царем

в сентябре 1826 г.: «Слушая императора, не мог не подчиниться ему. “Как я хотел бы его ненавидеть! – говорил он. – Но что мне делать? За что мне ненавидеть его”». В связи с этим высказыванием Пушкина Мицкевич делает важное заключение: «Ему искренне хотелось ненавидеть царя, но он не знал, какими умозаключениями обосновать эту ненависть». А в результате получилось, что «его начали обвинять в том, что он предает дело свободы»[57]. Все это очень созвучно тому, что Пушкин писал по принуждению Жуковского в покаянном письме от 4 июля: «...необдуманное прошение мое <...> могло показаться безумной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто доныне был более моим благодетелем, нежели государем» (XV, 174).

Здесь возникает вопрос: а были ли у Пушкина реальные основания для таких излияний, кроме тех, что Николай I вернул его из ссылки? Да, были. Летом 1828 г. после благополучно закончившегося для Пушкина дела о распространении запрещенного цензурой отрывка из «Андрея Шенье» началось куда более опасное для него расследование по поводу написанной им «нечестивой и богохульной» поэмы «Гавриилиада» (II, 119–136). В августе поэт был вызван на допросы во Временную верховную комиссию (Николай I находился на театре военных действий). Он категорически отрицает свое авторство, приписывая его уже умершему кн. Д.П. Горчакову[58]. Видимо, в расчете на перлюстрацию письма, он пишет Вяземскому, прекрасно знавшему[59], кто автор поэмы: «До прав[ительства] дошла наконец “Гавриилиада”; приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дм[итрий] Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами. Все это не весело» (XIV, 26–27).

Узнав об отпирательстве Пушкина, император, к тому времени уже нисколько не сомневавшийся в его авторстве, дает ему шанс избежать дальнейших неприятностей. Он предписывает петербургскому главнокомандующему П.А. Толстому «призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем»[60].

Расчетливо и умно составленное письмо было зачитано лично Толстым, и Пушкин, «по довольном молчании и размышлении, спрашивал, позволено ли будет ему написать прямо государю императору, и, получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал к е.в. письмо»[61]. Вот это письмо от 2 декабря 1828 г.: «Будучи вопрошаем Правительством, я не почитал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной. – Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего Государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1817 году»[62].

Пушкин умышленно называет эту дату, а не апрель 1821 г., отнеся тем самым злополучное сочинение к поре своих «юношеских заблуждений». В глазах Николая I это должно было стать немаловажным смягчающим обстоятельством. Как бы то ни было, дело завершено в самом конце 1828 г., когда на записке статс-секретаря Н.Н. Муравьева

с просьбой «о дальнейших распоряжениях относительно к открытию сочинителя» поэмы царь наложил резолюцию: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено»[63]. Но Николай I навсегда запомнил этот эпизод, умышленное запирательство Пушкина в авторстве, его неискренность в самом начале следствия, хотя в последующем царь демонстративно дал понять, что у него нет претензий к поэту. В противном случае не появилась бы в январе 1834 г. в дневнике Пушкина запись слов, сказанных государем княгине В.Ф. Вяземской (явно для передачи Пушкину): «До сих пор он сдержал данное мне слово, и я им доволен» (XII, 486).

Николай I и после 1828 г. берет легко ранимого Пушкина под свою защиту при публичных нападках на него. Когда, например, в «Северной пчеле» весной 1830 г. была помещена явно инспирированная недругами поэта оскорбительная рецензия на очередную главу из «Евгения Онегина», Николай I написал Бенкендорфу: «В сегодняшнем номере “Пчелы” находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина; к этой статье наверное будет продолжение; поэтому предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения; и, если возможно, запретите его журнал»[64].

Помогал царь и деньгами: по его прямому указанию Пушкину выделили беспроцентную ссуду в 20 тыс. руб. сроком на 2 года для издания «Истории Пугачевского бунта», причем книгу дозволено было печатать в подведомственной Двору типографии (быстрее, дешевле и под контролем). В августе 1835 г. для погашения части долгов Пушкину по его личной просьбе (как отмечает поэт, «безо всякого права» на то; XII, 167) дано от царя еще 30 тыс. руб. в зачет будущего жалованья (т.е. ссуда на 6 лет и тоже беспроцентная). Тогда же Пушкину был предоставлен последний в его жизни четырехмесячный отпуск.

Все это делалось далеко небескорыстно. По замыслу власти, как пишет П.Е. Щеголев, «Пушкина нужно было поставить в такое положение, чтобы он сам искренне отказался писать против правительства»[65]. По правде говоря, для этого не требовалось особых усилий: поэт оказался в тисках обязательств перед Натальей Николаевной и перед императором. «Пушкин был прельщен и порабощен навсегда, в одном случае бездушной красотой, в другом – бездушной силой, – отмечает, оценивая жизнь и творчество поэта, известный мыслитель Г.П. Федотов. – С доверчивостью и беззащитностью поэта Пушкин увидел в одной идеал Мадонны, в другом – Великого Петра. И отдал себя обоим добровольно, связав себя словом, обетом верности, обрекшим его на жизнь, полную терзаний и бессмысленных унижений»[66]. И все же даже в таком положении Пушкин в отношениях с Николаем пытался придерживаться своего понимания их сути: правители должны ценить мнение независимых поэтов, прислушиваться к ним. Отнюдь не случайно во всех томах пушкинского «Современника» проблема взаимоотношения власти и литературы, тема «поэт и власть» занимает одно из центральных мест.

Мысль уехать в деревню (в том числе по причине крайне стесненных материальных обстоятельств) не покидала Пушкина. 2 мая 1835 г. он пишет мужу сестры Ольги Н.И. Павлищеву: «Думаю оставить П[етер] Б[ург] и уехать в деревню, если только этим не навлеку на себя неудовольствия» (XVI, 24). 1 июня 1835 г. Пушкин, поставленный перед необходимостью «покончить с расходами, которые вовлекают в долги и готовят мне в будущем только беспокойство и хлопоты», вновь просит разрешить ему уехать в деревню: «Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я еще обязан милостям его величества». И далее следовало то, что, по предположению Пушкина, должно было умилостивить царя: «Я был осыпан благодеяниями государя, я был бы в отчаяньи, если бы е.в. заподозрил в моем желании удалиться из Петербурга какое-либо другое побуждение, кроме совершенной необходимости. Малейшего признака неудовольствия или подозрения было бы достаточно, чтобы удержать меня в теперешнем моем положении, ибо, в конце концов, я предпочитаю быть стесненным в моих делах, чем потерять во мнении того, кто был моим благодетелем, не как монарх, не по долгу и справедливости, но по свободному чувству благожелательности возвышенной и великодушной» (XVI, 371).

Если все это не написано с единственной целью получить разрешение на длительный отпуск, то остается только поражаться простодушию Пушкина, его вере в великодушие царя. А Николай I между тем пригрозил поэту полной отставкой: «Нет препятствия ему ехать куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить сие со службой; спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок» (XVI, 288).

Больше месяца размышлял Пушкин над издевательски «правильными» словами и в конце концов вынужден был покориться силе обстоятельств: «Предаю совершенно судьбу мою в царскую волю, и желаю только, чтобы решение е.в. не было для меня знаком немилости и чтоб вход в архивы <...> не был мне запрещен» (XVI, 37).

Царь был удовлетворен такой покорностью и великодушно предложил денежную помощь: «Есть ли ему нужны деньги, государь готов ему помочь, пусть мне скажет; есть ли нужно дома побывать, то может взять отпуск на 4 месяца» (XVI, 290).

В этой фразе обращают на себя внимание слова «пусть мне скажет» – царю во что бы то ни стало хочется, чтобы поэт обратился к нему лично. Но Пушкин упорно этого не делает и по устоявшейся традиции сообщает через Бенкендорфа: «Из 60 000 моих долгов половина – долги чести» (XVI, 373). На этот раз Николай I, видимо, оценивший его откровенное признание в карточных долгах, ограничился сухой фразой: «Император отпускает ему 30 тысяч рублей с удержанием, как он того просит, его жалованья» (XVI, 292).

Осенью 1835 г. Пушкин один уезжает в Михайловское работать, но это ему не удается. Его одолевают горестные мысли: «Чем нам жить

будет? – пишет он жене. – У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000», царь же «не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты» (XVI, 48), «заставляет меня жить в П[етер] Б[урге], и не дает мне способов жить моими трудами» (XVI, 51). «Потому писать не начинал и не знаю, когда начну <...> Вот уж три дня, как я только что гуляю то пешком, то верьхом, Эдак осень мою прогуляю» (XVI, 47). Спустя две недели опять о том же: «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а все потому что не спокоен» (XVI, 50). И лишь 2 октября сообщает: «Со вчерашнего дня начал я писать (чтобы не сглазить только)» (XVI, 53).

Но жена не единственный человек, кому он жалуется на мешающие творчеству тревоги. П.А. Плетневу: «...такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем неспокоен» (XVI, 56). В том же смятенном состоянии во второй половине октября 1835 г. Пушкин до срока возвращается из отпуска в Петербург. И первое же петербургское письмо П.А. Осиповой пропитано отчаянием: «Я исхожу желчью и совершенно ошеломлен. Поверьте мне <...> хотя жизнь – и сладкая привычка, однако в ней есть горечь, делающая ее в конце концов отвратительной, а свет – мерзкая куча грязи» (XVI, 375–376). Напомним, что именно тогда семейная жизнь Пушкина впервые была омрачена сплетнями о романе Натальи Николаевны с Дантесом. Кстати, очень важный для определения душевного состояния Пушкина этого времени факт: именно на ноябрь 1835 г., как доказывается в работе Я.Л. Левкович[67], приходится стихотворение-исповедь «Не дай мне Бог сойти с ума» (III, 322–323), лейтмотив которого – страстное желание обретения свободы духа.

Опустим здесь довольно хорошо известные подробности событий, происходивших в последний год жизни поэта. Они получили достаточно полное и правдивое освещение в книге Р.Г. Скрынникова[68]. Здесь же остановимся на сакраментальных словах Пушкина, будто бы произнесенных им на смертном одре. В ответ на вопрос Жуковского: «Что сказать от тебя царю?» якобы последовал ответ: «Скажи государю, что мне жаль умереть, был бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгого, долгого царствования, что я ему желаю счастия в его сыне, счастия в его России»[69]. П.Е. Щеголев, чей труд и сегодня не потерял исключительного научного значения, тщательно сличив все редакции письма Жуковского к отцу Пушкина, где и содержится эта фраза, письма А.И. Тургенева, П.А. Вяземского, написанные в трагические последуэльные дни, а также записки лечивших Пушкина врачей, пришел к труднооспоримому выводу, что это всего лишь легенда[70]. Непредвзятое сопоставление всех имеющихся фактов говорит за то, что истине больше отвечает дневниковая запись А.И. Тургенева: «Пушкин сложил руки и благодарил Бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю его благодарность»[71]. Благодарность за переданное через доктора Арендта обещание позаботиться о семье поэта.

Мотивы же действий Жуковского объяснялись его стремлением «охранить моральные и материальные интересы семьи Пушкина», а сам «житийный» характер описания последних часов жизни поэта – желанием показать, что он «умер глубоким христианином, в примирении, любви и просветлении»[72]. Это было важно, поскольку Жуковский обратился к царю с просьбой о помощи семье Пушкина и о разрешении написать в связи со смертью поэта нечто подобное тому, что он писал после смерти Карамзина. Результат этого мифотворчества Жуковского известен. Император 30 января собственноручной карандашной запиской распорядился:

«1. Заплатить долги.

2. Заложенное имение отца очистить от долга.

3. Вдове пенсион и дочери по замужество.

4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу.

5. Сочинение издать на казенный щет в пользу вдовы и детей.

6. Единовременно 10 т.»[73].

Существенную (если не главную) роль в определении царем действительно больших «милостей» семье Пушкина, конечно же, как справедливо отмечает П.Е. Щеголев, играл расчет «на добрую славу о его великодушии и щедрости»[74].

Но другую важную для «ходатая и благотворителя русских писателей» просьбу монарх отклонил. Заключалась же она в следующем: «Для себя же, государь, я прошу той же милости, какою я уже воспользовался при кончине Карамзина: позвольте мне так же, как и тогда написать указы о том, что Вы повелеть изволите для Пушкина».

Однако царь был тверд в своем решении: «Ты видишь, что я делаю все, что можно для Пушкина и для семейства его, и на все согласен, но в одном только не могу согласиться с тобою: это – в том, чтобы ты написал указы, как о Карамзине. Есть разница: ты видишь, что мы насилу довели его до смерти христианской, а Карамзин умирал как ангел»[75].

В приведенных словах императора скрыта неправда, к сожалению, вследствие некритического восприятия сказанного прочно утвердившаяся в литературе. Эта неправда в том, что Пушкина вовсе не требовалось «насилу доводить до смерти христианской»[76]. В то время исповедь и причащение умирающего были естественным актом, точно так же, как и крещение или венчание. Сопоставление свидетельств домашнего врача семьи Пушкиных И.Т. Спасского, В.А. Жуковского, А.И. Тургенева, К.К. Данзаса ясно показывает, что Пушкин изъявил готовность исповедаться и причаститься, как только узнал от Арендта (во время его первого посещения) о смертельном характере своей раны. Тут же послали за священником из ближайшей (по желанию самого умирающего) Конюшенной церкви. И дело исключительно только случая, что отец Петр пришел к Пушкину вскоре после второго визита Арендта с запиской царя, содержавшей совет «исполнить долг христианский»

(как будто Пушкин противился этому, что не зафиксировано ни одним документальным свидетельством).

Случайное совпадение по времени двух эпизодов и позволило Николаю I заявить: «Насилу довели...» Кстати, на этот счет есть и почему-то не учитываемое пушкинистами свидетельство современника – ординарного профессора Дерптского университета А.Ф. Воейкова, долгое время бывшего в довольно близких отношениях с Пушкиным. В письме от 4 февраля 1837 г. из Петербурга в Варшаву некоему А.Я. Стороженко Воейков, приведя текст записки Николая I с пожеланием «призвать духовника» и кончить «дни свои как истинный христианин», уверенно пишет: «Но Пушкин уже сам потребовал священника и приобщился св. Тайн прежде, чем получил <...> рескрипт государя»[77]. А государь между тем с нарочитым оттенком удивления говорил министру юстиции Д.В. Дашкову: «Какой чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина»[78]. Друзьям Пушкина и, прежде всего Жуковскому, не удалось «убедить государя в том, что потеря Пушкина – великая национальная потеря и что Пушкин был искренний приверженец существующего строя и государя и, как таковой, достоин великих милостей»[79].

Подлинное отношение Николая I к Пушкину выразилось в том, что гроб с телом поэта после отпевания, на котором, по словам Вяземского, вместо друзей, истинных его почитателей, «очутился целый корпус жандармов»[80], был тайком, в сопровождении одного А.И. Тургенева отправлен для погребения при монастыре Святые Горы Опочецкого уезда. Из «Дневника» цензора А.В. Никитенко мы узнаем кощунственные обстоятельства последнего пути поэта: «Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом. – Что это такое? – спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. – А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит – и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи – как собаку»[81].

Автор «Дневника» здесь же пишет: «Мера запрещения относительно того, чтобы о Пушкине ничего не писать, продолжается».

Запреты носили официальный характер. Министр народного просвещения С.С. Уваров явно с ведома царя предписывает попечителю Московского учебного округа С.Г. Строганову следить за соблюдением «надлежащей умеренности и тона приличия» в могущих появиться статьях памяти Пушкина и «не дозволять печатание без вашего предварительного одобрения»[82]. Н.И. Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за увидевшие свет в «Северной пчеле» (№ 24) слова: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности»[83]. Как писали современники, цензура сделала все для того, чтобы не пропустить в печать «слов сочувствия к Пушкину».

Лишь одна газета – «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”», редактором которой был А.А. Краевский, откликнулась замечательными по силе чувства и мысли словами: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща! <...> Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава! Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!» (1837, № 5).

А.А. Краевский на следующий же день был вызван для объяснений к попечителю Санкт-Петербургского учебного округа М.А. Дондукову-Корсакову, который в резких тонах передал «крайнее неудовольствие» С.С. Уварова: «...что за выражения! “Солнце поэзии!!” Помилуйте, за что такая честь? <...> Какое это такое поприще? <...> Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! <...> Писать стишки не значит еще проходить великое поприще!»[84].

Министр не только старался угодить царю (в его словах явственно слышатся характерные для самодержца интонации), но и не мог забыть ядовитое стихотворение Пушкина о себе «На выздоровление Лукулла» (III, 404–405), появившееся в печати в декабре 1835 г.

Царь не оставлял Пушкина в покое до самых его похорон. Управляющий III Отделением А.Н. Мордвинов специальным посланием уведомил псковского губернатора о «воле государя императора», чтобы «вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина»[85].

Не жаловал Николай I умершего поэта и в письмах к своим близким. Их содержание показывает, что он, наконец-то, с явным облегчением снял с себя маску. Со слов К.В. Нессельроде, барон Геккерен 30 января 1837 г. писал голландскому министру иностранных дел Верстолку:

«...Император, сообщая эту роковую весть (о смерти Пушкина. – *М.Р.*) императрице, выразил уверенность, что барон Геккерен (Дантес. – *М.Р.*) был не в состоянии поступить иначе»[86].

В свою очередь, императрица так передала слова супруга своей близкой приятельнице С.А. Бобринской: «Пушкин вел себя непростительно, он написал наглые письма Геккерну, не оставя ему возможности избежать дуэли»[87].

Императорская чета не скрывала своего отношения к Дантесу, находя его действия безупречными. 4 февраля Николай I пишет письмо сестре Марии Павловне в Германию, в котором сводит обстоятельства дуэли к простой банальности: «Событием дня является трагическая смерть пресловутого (trop fameus) Пушкина, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он, в числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной <...> Пушкин <...> оскорбил своего противника столь недостойным образом, что никакой иной исход дела был невозможен»[88].

Еще более откровенен император в письме к И.Ф. Паскевичу, одному из самых близких лиц в своем окружении: «Он умер от раны за

дерзкую и глупую картель*, им же писанную». Генерал-фельдмаршал в ответном письме, верно уловив настроение монарха, в тон ему заключает: «Жаль Пушкина как литератора <...> но человек он был дурной». Николай I с ним соглашается: «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю»[89].

Наконец-то с лицемерием покончено. Все стало на свои места. Между двумя царскими характеристиками Пушкина – «умнейший человека России» (1826) и «дурной» (1837) – поставлен знак равенства. Если до 1834 г. у Николая I еще оставалась надежда «приручить» поэта (удовлетворенный его поведением в период польского восстания, он говорил В.Ф. Вяземской, что «доволен» Пушкиным), то в дальнейшем оснований для этого оставалось все меньше и меньше. Пушкин после навязанного ему камер-юнкерства откровенно манкировал новыми обязанностями, то и дело нарушая придворный этикет и вызывая тем самым явное или скрытое раздражение царя, видевшего во всем его поведении протест против власти, против установленного им режима.

Не оправдал поэт царских надежд и как придворный историограф: для создания официозной истории Петра Великого он не мог принести в жертву свою внутреннюю свободу, свои убеждения. Основательные занятия Пушкина историей Петровской эпохи привели его к выводам, явно не отвечавшим представлениям венценосного потомка великого реформатора: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом» (X, 256).

Постепенно живой интерес Пушкина к деяниям самодержца угасает. В октябре 1836 г. в черновике письма к П.Я. Чаадаеву он признается: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя» (XVI, 372). В.А. Жуковский после смерти Пушкина во второй редакции письма к Бенкендорфу отмечал: «...Я уже не один раз слышал <...> от многих, что Пушкин в государе любил одного Николая, а не русского императора и что ему для России надобно совсем иное»[90].

Изменения в позиции Пушкина констатировали и наблюдательные иностранные дипломаты. Вюртембергский посол в Петербурге кн. Гогенлоэ в своей апрельской 1837 г. «Заметке о Пушкине» писал: «Назначением в камер-юнкеры Пушкин почитал себя оскорбленным <...> С этой минуты взгляды его снова приняли прежнее направление, и поэт снова перешел к принципам оппозиции»[91]. Практически то же самое повторил в своей депеше чиновник нидерландского посольства И.К. Геверс[92]. Однако, думается, оба дипломата оперировали политическими категориями стран Западной Европы, не приложимыми к России того

---

* *Картель* – письменный вызов на дуэль. В VI гл. «Евгения Онегина» читаем: «То был приятный, багородный, / короткий вызов иль картель».

времени. Вот высказанное в феврале 1837 г. мнение Вяземского: «...Что значат в России названия – политический деятель, либерал, сторонник оппозиции? Все это пустые звуки, слова без всякого значения, взятые недоброжелателями и полицией из иностранных словарей, понятия, которые у нас совершенно не применимы»[93].

Утверждение Вяземского подтверждают слова «всеподданнейшего» отчета ведомства Бенкендорфа за 1837 г., в котором содержится и сообщение о смерти Пушкина, представляющее собой по существу итоговую оценку и III Отделением, и самим царем личности поэта: «В начале сего года умер, от полученной на поединке раны, знаменитый наш стихотворец Пушкин. Пушкин соединял в себе два отдельных существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он однако же до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев: он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества»[94].

Однако, по словам Вяземского, «шутки, некоторая независимость характера и мнений еще не либерализм и не систематическая оппозиция». Поэтому, как можно заключить, Пушкин не был ни либералом, ни оппозиционером в истинном значении этих определений. «Какой он был политический деятель! Он прежде всего, – утверждает Вяземский, – был поэт, и только поэт»[95]. Но, подчеркнем, поэт, который хорошо видел несовершенство современного ему общественного устройства России. Последнее подтверждают строки из его так и не отправленного письма к Чаадаеву: «...нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние» (XVI, 393). Это ли не оценка поэтом результатов трех царствований, пришедшихся на его недолгую жизнь?

Глубину трагедии Пушкина-поэта, Пушкина-человека показал В.А. Жуковский после того, как с «сжимающимся сердцем» прочел все письма Бенкендорфа к Пушкину. В черновике своего послания шефу жандармов от 25 февраля – 8 марта 1837 г. Жуковский в несвойственных ему резких тонах жестко выговаривает фактически второму человеку в государстве: «Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, в которую государь так великодушно его присвоил, его положение не переменилось; он все был как будто буйный мальчик, которому опасно дать волю, под строгим, непрестанным надзором <...> прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было то же и то же»[96].

Каждый шаг Пушкина, продолжает Жуковский, «истолковывался предубежденно», и вся его жизнь была обложена сплошными запретами: он получает выговоры за «перемену мест» без предварительного согласования с властями, за чтение друзьям своего «Бориса Годунова»

без специального на то разрешения, ему не позволяют побывать за границей, переехать жить в деревню и т.д. и т.п.

«Государь император назвал себя его цензором, – пишет Жуковский. – Милость великая <...> Но скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение. Легко ли было беспокоить ему государя всякою мелочью, написанною для помещения в каком-нибудь журнале?»[97]

К сожалению, и сам Жуковский, гневно описывавший отравлявшую жизнь Пушкина обстановку, в немалой степени способствовал ее созданию: его постоянные упреки другу в неблагодарности государю и настойчивые увещевания неизвестно за что повиниться перед ним ослабляли волю Пушкина, приводили к непоследовательности его намерений, а главное – действий. И еще одно: раскрывая суть жизненной трагедии Пушкина, Жуковский, по убеждению П.Е. Щеголева, «не мог не видеть, что Бенкендорф был лишь исполнителем воли Николая Павловича», он сознавал это, но «не имел сил признаться в том, что, будь Николай Павлович действительно расположен к Пушкину, таким «отеческим заботам» не было бы места»[98].

О подлинном отношении Николая I к Пушкину много лет спустя после смерти их обоих поведал император Александр II в разговоре с сыном поэта – Александром. Вот что говорит об этом племянник А.С. Пушкина – Анатолий Львович – сын его брата Льва, чрезвычайно бережно относившийся к памяти своего дяди: «Стараясь добиться разрешения на издание в 1871 г. “История Пугачевского бунта” с портретом Пугачева, редактор 6 тома Г.Н. Геннади обратился за помощью к старшему сыну поэта <...> А.А. Пушкину, но тот ничего не добился <...> и ограничился сообщением, что е.в. император Александр II вообще отрицательно относится к распространению наследия Пушкина и портрета народного возмутителя Емельяна Пугачева среди верноподданных крестьян. Заинтересованный узнать, наконец, правду о своем дяде, я обратился к двоюродному брату с просьбой правдиво рассказать мне о старине. После долгого с ним препирательства и размышлений по этому поводу в конфиденциальной беседе он сообщил мне мнение Александра II о Пушкине. Хотя прошло много лет после смерти поэта, для Александра II Пушкин и Лермонтов (о котором также упомянул император) продолжали быть неугодными пиитами и даже опасными для трона. Вот что сказал государь: передаю дословно, по пунктам.

1. Поэзия Пушкина отрицательно действовала на молодежь, особенно на студенчество России, и в первую очередь студенчество столицы.

2. В шестидесятых годах отставка двух министров просвещения, Ковалевского и Путятина, не предотвратила закрытия Петербургского университета и ареста основных виновников студенческих волнений. Странным казалось, что арестованные студенты и в Петропавловской крепости продолжали декламировать стихи Пушкина о вольности и свободе.

3. Под влиянием Жуковского мы чувствовали симпатию к А.С. Пушкину, но после стихотворения “Вольность” мнение наше изменилось. Будучи наследником престола, я имел встречи с Пушкиным, но каждая встреча отдаляла поэта от двора. Казалось, что поэт не скрывает своего пренебрежительного отношения и ко двору, и к окружавшим поэта верноподданным государя. Никто не может отрицать, что поэзия Пушкина плохо действовала на поведение молодежи.

4. Смерть поэта не ослабила отрицательного воздействия на молодежь. Это влияние продолжается и ныне на учащихся и даже на военную молодежь.

5. Пушкин и Лермонтов были неизменными противниками трона и самодержавия и в этом направлении действовали на верноподданных России.

6. Двор не мог предотвратить гибель поэтов, ибо они были слишком сильными противниками самодержавия и неограниченной монархии <...>

7. Мнение наше тождественно с мнениями защитников трона и глав русского государства – Александра Благословленного и в Бозе почившего родителя нашего, Николая Павловича.

8 Что касается издания произведений поэта, мы повелели ограничить их тираж и запретить, как особо вредное, распространение портретов возмутителя народа Пугачева <...>

9. Мы сожалеем о гибели поэтов Пушкина и Лермонтова: они могли быть украшением двора и воспеть самодержца»[99].

К сказанному вряд ли можно что-то добавить. Разве только возразить Александру II в том, что Пушкин был «неизменным противником» самодержавия и трона как таковых (ниже мы затронем эту тему). Что же касается его сожаления о том, что он мог быть «украшением двора и воспеть самодержца», то действительно, после стихотворений «Стансы» и «Друзьям» 1820-х годов Пушкин больше ничего подобного не писал. Более того, П.Е. Щеголев, подвергнув тщательному анализу дневники поэта за 1833–1835 гг., приходит к следующему выводу: «В 1833–1834 году Пушкин проявил критическое отношение к Николаю и как монарху, и как к человеку и трезво посмотрел на державца полумира. Положительное и восторженное отношение к Николаю сменилось отрицательным. На месте великого государя оказался прапорщик, а на месте человека-героя оказался мелкий человек, ограниченный и узкий, злобнопамятливый»[100]. Приведем в этой связи одну только майскую 1834 г. запись Пушкина в дневнике: «Кто-то сказал о государе: “В нем много от прапорщика, и немного от Петра Великого”» (XII, 330). Отсутствие комментария к записанному, неопределенное «кто-то сказал» позволяют уверенно предположить, что это мнение самого Пушкина.

Имя Пушкина неразрывно связано со становлением политического сознания в России, когда начиная с 1820-х годов, вся либерально настроенная часть общества читала и с упоением декламировала его воль-

нолюбивые стихи. И это наложило отпечаток на всю последующую жизнь Пушкина. По словам Г.П. Федотова, «до самой смерти поэт несет последствия юношеских увлечений. Дважды изгнанник, вечный поднадзорный, он оставался в глазах правительства всегда опасным, всегда духовно связанным с ненавистным декабризмом. И как бы ни изменились его взгляды в 30-е годы, на предсмертном памятнике он все же высек слова о свободе, им восславленной»[101]. Ни на одном этапе своей жизни Пушкин не был сторонником реакции. Для правительства он не переставал быть певцом «вольности», замечает Н.О. Лернер[102]. Собственные же политические пристрастия зрелого Пушкина его ближайший друг и коллега по цеху литераторов П.А. Вяземский определил как «свободный консерватизм».

«Разве такая махина, как Россия, может жить без самодержавия?»

В одной из статей пушкинского цикла Г.П. Федотов писал: «Как не выкинешь слова из песни, так не выкинешь политики из жизни и песен Пушкина»[103]. Разумеется, поэт не был политиком, но как гражданин своей страны он живо откликался на актуальные политические события, не имея, правда, ни малейшего намерения представить законченную систему своих политических взглядов. Однако их основательность и глубина поражали многих его современников, в том числе и В.А. Жуковского. По утверждению А.О. Россета, на одном из вечеров в блистательной компании Жуковского, Вяземского, А.И. Тургенева и других светил общества Пушкин, как обычно, «говорил до того умно, что Василий Андреевич ему сказал: “Ну, Пушкин, ты так умен, что с тобою говорить невозможно”»[104]. Справедливость мнения своего брата подтверждает и А.О. Смирнова-Россет, по свидетельству которой в подобных горячих спорах «кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово»[105]. «Слушая его рассуждения об иностранной или внутренней политике его страны, – писал Адам Мицкевич, – можно было принять его за человека, поседевшего в трудах на общественном поприще и ежедневно читающего отчеты всех парламентов»[106].

Неудивительно поэтому, что в стихотворных, прозаических и публицистических произведениях Пушкина с одинаковым успехом можно обнаружить высказывания как в пользу, так и против самых разных консервативных и либеральных точек зрения. Неоднозначность его представлений и суждений, их переменчивость естественны для широкой и вольнолюбивой натуры Пушкина-поэта. Вместе с тем в его эволюционировавшем мировосприятии оставалось неизменным отношение к политическому строю России, к институту российской государственности. Последовательное и резкое неприятие им демократических институтов (XII, 66, 104; XVI, 261) было оборотной стороной его отчетливо

выраженного сословного сознания (III, 261–263: XI, 161–162; XII, 334–335; xiV, 442–443; XVI, 421).

Наиболее яркий тому пример – реакция поэта на пошлые выпады Фаддея Булгарина в печати в декабре 1830 г. по поводу происхождения рода Пушкиных. Пушкин тут же отозвался на это стихотворением «Моя родословная» (III, 261–263). В нем он без всякой кичливости выражает гордость, что его род принадлежит к древнейшим ветвям российского дворянства. Объясняясь с Бенкендорфом в связи с бесцензурным хождением по рукам этого стихотворения, Пушкин писал: «Признаюсь, я дорожу тем, что называют предрассудками; дорожу тем, чтобы быть столь же хорошим дворянином <...> наконец, я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них» (XIV, 443).

Показательно, что Николай I, которому было известно о миновавших цензуру пушкинских стихах, в данном случае встал на сторону поэта: «Столь низкие и подлые оскорбления, как те, которыми его угостили, бесчестят того, кто их произносит, а не того, к кому они обращены. Единственное оружие против них презрение. Вот как я поступил бы на его месте. Что касается стихов, то я нахожу, что в них много остроумия, но более всего желчи. Для чести его пера и особенно его ума будет лучше, если он не станет распространять их» (там же).

Тему превосходства дворянского сословия над другими Пушкин затронул и в статье «Опровержение на критики»: «Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству». Поэт сожалеет о том, что «имя дворянина, час от часу более униженное, стало наконец в притчу и посмеяние разночинцам, вышедшим во дворяне, и даже досужим балагурам!» (XI, 161–162). В декабре 1830 г. Пушкин записывает в своем дневнике разговор с вел. кн. Михаилом Павловичем о дворянстве. В ответ на высказанное собеседником неудовольствие относительно введения в стране института почетного гражданства Пушкин заметил, что «или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе, как по собственной воле государя. Если во дворянство можно будет поступать из других состояний, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством» (XII, 335). С другой стороны, Пушкин искренне сокрушается об уничтожении «старинного дворянства» вследствие не контролируемого государством процесса дробления имений, в конечном счете приводящего к падению его былого веса и значения в обществе (XII, 206).

Что касается отношения Пушкина к самодержавной форме правления, то, прослеживая перипетии жизненного пути поэта и знакомясь с его обширным творческим наследием, нельзя не видеть, что он мог пускать критические стрелы в того или иного самодержца, мог обижаться или сердиться на царских особ, но никогда не осуждал сам институт самодержавия. Более того, именно самодержавный образ правле-

ния в России он принимал как некую историческую данность. Впервые эта мысль у 23-летнего Пушкина прозвучала в «Заметках по русской истории XVIII века». Упоминая о событиях, связанных с восшествием на престол Анны Иоанновны, а также других попытках высшей знати ограничить самодержавную власть, Пушкин с удовлетворением отмечает: «Аристократия после его (Петра I. – *М.Р.*) неоднократно замышляла ограничить самодержавие: к счастию, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож и образ правления остался неприкосновенным» (XI, 14). Почему «к счастию», проясняется из статьи «Путешествие из Москвы в Петербург»: «Не могу не заметить, что со времен возведения на престол [Дома] Романовых, от Мих[аила] Ф[едоровича] до Ник[олая] I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда неохотно. Вот что составляет силу нашего самодержавия» (XI, 223).

Этого взгляда Пушкин придерживался и в конце своей жизни. В черновике письма Чаадаеву от 19 октября 1836 г. он наставляет автора «Философического письма»: «Надо было прибавить (не в качестве уступки, но как правду), что правительство все еще единственный Европеец в России [и это несмотря на все то, что в нем есть давящего, грубого, циничного]. И сколь бы грубо [и цинично] оно ни было, от него зависело бы стать во сто крат хуже» (XVI, 422).

В разговоре с одним из братьев Киселевых, Николаем Дмитриевичем, Пушкин, прочитав ему строки «Россия вспрянет ото сна / И на обломках самовластья / Напишут наши имена» (II, 68), в авторстве которых не признался, оценил их как «крамольные»: «Сумасшедшие, разве такая махина, как Россия, может быть без самодержавия?»[107] Заметим, что так мыслили многие его современники.

Имея в виду события 14 декабря 1825 г., Пушкин очень надеется, что «люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой – необъятную силу правительства, основанную на силе вещей» (XI, 43). С точки зрения поэта, молодые дворяне, за которыми будущее России, должны иметь точно определенную цель – «искренне и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве» (XI, 47). Их необходимо удержать от «преступных заблуждений», «злонамеренных усилий», от «более или менее кровавых и безумных» заговорщических замыслов (XI, 43). Не составляет труда догадаться, кого имеет в виду поэт. Причем Пушкин осуждает не только самих заговорщиков, но и ситуацию кануна «последних происшествий», когда «либеральные идеи [стали] необходимой вывеской хорошего воспитания», и литературу, «превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и возмутительные песни» (там же). При этом Пушкин как будто упускает из виду, что его собственные вольнолюбивые произведения оказывали и

продолжают оказывать влияние на молодежь, усиливая ее тягу к «либеральным идеям».

В искренности Пушкина тоже не приходится сомневаться, ибо он четко разграничивал невольное агитационное воздействие своего творчества и конкретное участие в антиправительственных действиях. Неслучайно поэт в письмах своим друзьям начала 1826 г. не раз подчеркивал: «Вероятно правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел» (XIII, 257).

«Конечно я ни в чем не замешан, – уверяет он А.А. Дельвига, – образ мыслей моих известен <...> никогда не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив» (XIII, 259).

И это – не вскользь брошенная фраза. Много времени спустя, в «Капитанской дочке» Пушкин заявит себя твердым сторонником ненасильственных действий.

Это решающее для мировоззрения поэта положение в наиболее законченном виде было сформулировано им в «Путешествии из Москвы в Петербург»: «...не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (XI, 258).

Да и мог ли человек, на основе точных документальных свидетельств написавший «Историю Пугачевского бунта», показавший все его ужасы и полное пренебрежение вовлеченных в него сил и человеческой жизни, по-другому относиться к любым революционным общественным движениям? Именно отсюда следуют его идущие от сердца слова: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» (VIII, 384).

Надо полагать, что результатом историко-политических размышлений поэта являются следующие строки чернового автографа стихотворения «Из Пиндемонти»:

При звучных именах Равенства и Свободы
Как будто опьянев, беснуются народы (III, 1029).

Мысль не случайная, она присутствует еще в «Борисе Годунове»:

...бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.
Ей нравится бесстыдная отвага. <...>
Всегда народ к смятенью тайно склонен (VII, 46, 87).

Явным сторонником просвещенного самодержавия Пушкин выступает в статье-памфлете «Путешествие из Москвы в Петербург» (XI, 243–267) и в статье «Александр Радищев» (XII, 30, 40). Само опубликование

книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» Пушкин без обиняков называет «преступлением, ничем не извиняемым, действием сумасшедшего», хотя и «действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью» (XII, 32, 33). Для Пушкина непостижимо, как это «мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!» (XI, 32). Страстный полемический задор Пушкина, уместный разве что в споре с современником, говорит о том, что выдающийся мыслитель екатерининской эпохи очень задел поэта. В радищевской книге, этой, по определению поэта, «возмутительной сатире», наполненной «безумными заблуждениями» (XII, 33), «дерзость мыслей и выражений выходит изо всех пределов» (XI, 263). Более того, «Путешествие», по оценке Пушкина, есть «сатирическое воззвание к возмущению», и его автор «как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием» вместо того, чтобы «указать на благо, которое она в состоянии сотворить» (XII, 36).

В одной из убийственных пушкинских характеристик Радищева как бы содержится и осуждение его идейных последователей – декабристов: «Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему <...> слепое пристрастие к новизне: частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему» (XII, 36). Примечательно само созвучие этой цитаты началу пушкинской записки «О народном просвещении» (о ней речь пойдет далее), в которой он определяет фатальную ошибку декабристов. «Последние происшествия обнаружили много печальных истин, – пишет он. – Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий» (XI, 43).

В этом же ключе надо расценивать и реакцию Пушкина на запрещение журнала «Московский телеграф» Н.А. Полевого: «...достоин был участи своей; мудрено с большой наглостию проповедовать якобинизм перед носом правительства» (XII, 324). Трудно добавить что-либо еще к сказанному поэтом для развенчания идей и замыслов декабристов. Сам же Пушкин, как известно, отличался постоянным стремлением «в просвещении стать с веком наравне» и хотел «основательной образованности» в каждом из литераторов – и не только. Для него здесь пример – Н.М. Карамзин. 30 ноября 1825 г. он пишет А.А. Бестужеву: «...радуюсь и твоим занятиям <...> ты – да, кажется, Вяземский – один из наших литераторов – учатся; все прочие разучаются. Жаль! высокий пример Карамзина должен был их образумить» (XIII, 244).

Но, по Пушкину, не одно влияние поверхностно усвоенного «чужеземного идеологизма пагубно для отечества» (XI, 43). Он полностью разделяет цитируемое им центральное положение царского манифеста от 13 июля 1826 г.: «Не просвещению, но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний

должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель» (XI, 43–44). И от себя добавляет существенно уточняющие смысл приведенного текста слова: «Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия» (XI, 44).

В поэтических строках поэта тоже не чувствуется никаких симпатий к политическим взглядам тех декабристов, которых он знал, с которыми дружил:

У них свои бывали сходки
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки <...>
Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука
[Все это было только] скука,
Безделье молодых умов
Забавы взрослых шалунов <...>
Наш Ца[рь] дремал» (VI, 523, 525–526).

Но царь «дремал» не по глупости или незнанию факта существования тайных обществ с «преступными замыслами», а потому, как пишет Пушкин, что «окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины». А далее Пушкин, выделив знаком «NB», заключает: «Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве» (XII, 322).

Вот так. А его друг П.А. Вяземский примерно в это же время думает и считает совершенно иначе: «По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оного. Одна совесть, одно всезрящее Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные. Правительство должно обеспечить государственную безопасность от исполнения подобных покушений, но права его не идут далее. Я защищаю жизнь против убийцы, уже подъявшего на меня нож, и защищаю ее, отъемля жизнь у противника, но если по одному сознанию намерений его спешу обеспечить свою жизнь от опасности, еще только возможной, лишением жизни его самого, то выходит, что уже убийца настоящий не он, а я»[108].

Столь разительное расхождение в мыслях двух умнейших представителей той эпохи, явно никогда не обнаруживавших сколько-нибудь

существенных различий во взглядах, объясняется тем, что Пушкин в данном случае брал за критерий «правосудия» фактор политический, а его негласный оппонент – нравственные нормы. Но важно отметить другое: Пушкин вообще не приводит каких-либо оправданий для действий декабристов, И, возвращаясь к приведенным выше строкам из X главы «Евгения Онегина», следует сказать, что сам поэт не раз сиживал с будущими декабристами «за чашею вина», шутил, сыпал остротами, но политических взглядов их не разделял. И это было хорошо известно его друзьям. Так, В.А. Жуковский в упоминавшемся черновике письма к Бенкендорфу после смерти поэта (в черновике мысли и слова еще не приглажены, они более искренни) пишет: «Пушкин <...> в последние свои годы решительно был утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия <...> по своему внутреннему убеждению, основанному на фактах исторических (этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чаадаеву*) <...> Политические убеждения Пушкина <...> были известны мне и всем его ближним из наших частых непринужденных разговоров <...> Мнения политические Пушкина были в совершенной противоположности с системой буйных демагогов (имеются в виду декабристы. – *М.Р.*). И они были таковыми уже прежде 1830 года»[109].

Именно в этом была причина того, что друзья Пушкина, члены тайных обществ, не посвящали его в свои планы, не говорили ему ничего конкретного о своих намерениях, а вовсе не в том, что опасались его несдержанного языка или сохраняли поэта-гения для России**.

Пушкин передал это стихотворение А.Г. Муравьевой, отъезжавшей из Москвы к мужу на каторгу в начале января 1827 г.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

---

* Имеются в виду следующие строки: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков такой, какой нам Бог ее дал» (XVI, 393).

** Видимо, имеются в виду предположения М.В. Нечкиной. – *Прим. сост.*

Известен стихотворный ответ А. Одоевского на послание Пушкина:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей.
И радостно вздохнут народы.

Другой из современников, чьим свидетельством об отношении Пушкина к самодержавию невозможно пренебречь, – это Н.В. Гоголь, близко знавший поэта, лично общавшийся с ним и находившийся под его дружеской опекой. В своей книге «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь восторгается тем, как «умно определял Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, – говорил он, – чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполненьем закона недалеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха – автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигли Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит»[110].

Точность переданного Гоголем мнения Пушкина о «плодах новейшего просвещения» в Соединенных Штатах подтверждает сам поэт в статье «Джон Теннер»: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавлено неумолимым эгоизмом и страстию к довольству <...>» (XII, 104).

«Государство без полномощного монарха, – цитирует далее Гоголь слова Пушкина, – то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды не пойдет концерт. А кажется он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом

месте, какой-нибудь шершавый звук <...> При нем и мастерская скрыпка не смеет слишком разгуляться на счет других; блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласья!»

И Гоголь восклицает: «Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значенье великих истин!»

Ясно, что в приведенных суждениях Пушкин выступает адептом просвещенного абсолютизма, будучи убежден в «спасительной пользе самодержавия» (XII, 306). Причем безусловной приверженностью поэта идее самодержавия объясняется и его стремление придать образу самодержца сакральный характер. Избавившись от своего ярко выраженного юношеского политического романтизма, впрочем, как полагают пушкинисты, никогда не поднимавшегося до воспевания радикальных республиканских идей, он убежденно считает, что «народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению <...> царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими отношениями с государем. Скоро в своих мятежах он (народ. – *М.Р.*) будет требовать появления его, как необходимого обряда. Доныне государь, обладающий даром слова, говорил один: но может найтиться в толпе голос для возражения. Таковые разговоры неприличны, а прения площадные превращаются тотчас в рев и вой голодного зверя» (XII, 199).

Заметим, что это написано Пушкиным сразу же после подавления «холерных бунтов» в военных поселениях Новгородской губ. и личного участия в том Николая I, когда им были приняты «депутаты мятежников» для выслушивания их претензий.

Приведенный пример «обожествления» образа царя в глазах «черни» отнюдь не единственный. 22 декабря 1834 г. Пушкин записывает в дневнике содержание доверительного и «долгого разговора» с вел. кн. Михаилом Павловичем, который был весьма откровенен с поэтом: «Вообрази, какую глупость напечатали в Сев[ерной] Пч[еле]: дело идет о пребывании г[осуда]ря в Москве. Пч[ела] говорит: “Г[осударь] и[мператор], обошед соборы, возвратился во дворец и с высоты Красного крыльца низко (низко!) поклонился народу”. Этого не довольно: журналист дурак продолжает: “Как восхитительно было видеть вел[икого] г[осуда]ря, преклоняющего священную главу перед гражданами московскими!” – Не забудь, что это читают лавочники». Пушкин, солидарный с ним во взгляде на характер отношений царя и народа, отнюдь не в угоду мнению великого князя (дневниковая запись!) заключает: «В[еликий] кн[язь] прав, а журналист конечно глуп» (XII, 334).

В политических суждениях поэта ощущается явное влияние Карамзина, «духом, направлением, принципами» которого, по определению В.Г. Белинского, он навсегда «проникнулся»[111]. Отнюдь неслучайно «История государства Российского» вызвала нескрываемое восхищение Пушкина: это «есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» (XII, 305: XI, 57).

На этом можно было бы поставить точку, если бы не одно «но». 5 июля 1836 г. поэт завершает уже цитировавшееся стихотворение «Из

Пиндемонти» (III, 420), в котором, по оценке пушкинистов, «сформулировано идеальное поэтическое и человеческое кредо Пушкина, выстраданное всею жизнью». В нем, как справедливо отмечается в литературе, он «провозглашает свободу и ценность человеческой жизни, высшие права человека и поэта по сравнению с ценностью «мирской власти» и исходящих от нее прав»[112]. Короче – свобода есть символ независимости:

Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там, <...>
Вот счастье! Вот права...

Примечательно, что Пушкин здесь не приемлет ни одну из известных ему форм государственного правления: «Зависеть от властей, зависеть от народа – Не все ли нам равно? Бог с ними» (важно заметить, что приведенные строки в первоначальном варианте звучали по-иному: «Зависеть от царя, зависеть от народа / Равно мне тягостно: Бог с ними»; III, 1031). Поэт прежде всего ценит внутреннюю свободу человека, его независимость. Конкретное понимание слова «свобода» Пушкин дает в статье «Путешествие из Москвы в Петербург»: «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль! Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом» (XI, 264).

Но с обретением человеком свободы в России не все так просто. Осознавая себя «сеятелем свободы», Пушкин одновременно видит бесплодность своих усилий:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды; <...>
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь (II, 269).

На российской почве свобода – несбыточная мечта:

Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран (XI, 296).

Если вспомнить, что еще в юношеские годы Пушкин превыше всего ставил независимость художника, его внутреннюю свободу, то в годы зрелости эта тема в его творчестве приобретает особую остроту. Многолетнее общение поэта с царями, лицемерными царедворцами, «жадною толпою стоящими у трона» (М.Ю. Лермонтов), лишало его

необходимого душевного спокойствия и порой вынуждало приноравливаться к обстоятельствам. Именно поэтому стихотворение «Из Пиндемонти», считает один из пушкинистов дооктябрьского периода, это прежде всего горькое выражение собственного состояния поэта, обусловленного «той душевной и моральной «тошнотой», до которой довели Пушкина условия русской жизни вообще и его личные обстоятельства и отношения (ко двору, к Бенкендорфу, цензуре и т.д.) в частности. Эта «тошнота» была, в свою очередь, элементом общего – психологического – «отщепенчества» Пушкина»[113]. Приведенному мнению вторит современный исследователь: «Этот многообразно зависимый человек – зависимый от семейных дрязг и денежных стеснений, от царя, двора, большого света <...> в тоскливой мечте хочет подняться и над властью, и над народом <...> над всякой зависимостью»[114].

Надо, наверное, учитывать и то, что Пушкин, при написании строк «Не дорого ценю я громкие права», не мог не помнить о десятилетней годовщине трагедии 13 июля 1826 г., о пятерых казненных декабристах, которых он всех хорошо знал, а с кем-то и дружил. Один из крупнейших пушкинистов Н.В. Измайлов, характеризуя тогдашнее душевное состояние Пушкина, писал: «Не будет преувеличением сказать, что Пушкин в 1836 г. чувствовал себя в большем одиночестве, чем за десять лет до того, после разгрома декабристов <...> тогда, в 1826 г., он живо ощущал восторженное сочувствие общества, широкого круга читателей; теперь «общество» было враждебно, а сочувствие читателей он перестал ощущать и не мог вызвать его ни последними сборниками своих сочинений, ни “Пугачевым”, ни “Современником”»[115].

Но и в 1820-х годах, когда Пушкин «ощущал восторженное сочувствие общества», едва ли он испытывал душевный комфорт. Так, когда в октябре 1827 г. впервые после ссылки поэт появился в Петербурге и стал вести, как сам признавался в письме к П.А. Осиповой, «довольно пустую» жизнь и «горел желанием так или иначе изменить ее» (XIV, 384), литератор и друг Е.А. Баратынского Н.В. Путята, часто видевшийся с поэтом в 1826–1827 гг., отмечает, что тот «порой бывал мрачен; в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили»[116].

«Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства...»

В укор Пушкину и в доказательство его безусловного «верноподданничества» часто ставят написанную им записку «О народном воспитании», как бы забывая, что как российский подданный он не мог не выполнить «монаршее повеление». Бенкендорф 30 сентября 1826 г. пишет Пушкину: «Е.И.В. благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании

юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения».

При этом шеф жандармов не упускает случая уколоть поэта: «Предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания» (XIII, 298).

Вряд ли ядовитый по своей сути намек на поэта и его друзей был включен в текст письма без ведома императора, устроившего ему таким образом своеобразный экзамен на благонадежность. Пушкин поначалу озадачен: «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете». Потому лишь 15 ноября, после повторного напоминания Бенкендорфа, он завершает работу. Записка представлена царю, и оказалось, что она не во всем отвечает вкусам державного заказчика. А этого следовало ожидать, ибо Пушкин знал, что делал. По свидетельству А. Вульфа, поэт говорил: «Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро»[117].

Прежде всего отметим, что содержание записки намного шире определенного царем – речь идет не о воспитании одного юношества, а о «народном воспитании» в целом. Тем самым Пушкин проявил здесь в большей мере, чем царь, государственный подход. Результат не замедлил сказаться: после ознакомления с запиской Николай оставил на полях рукописи 28 вопросительных знаков, в том числе четыре двойных, три тройных, а одно место пометил знаком «!?»[118]. (правда, надо сказать, что в ряде случаев Николай I верно подметил вызванные поспешностью неточности формулировок). Н.Я. Эйдельман, детально вникнув в заочный «диалог« царя с Пушкиным, пришел к выводу, что пушкинские строки не устраивали монарха в первую очередь своим «подтекстом, общим духом, ясным ощущением, что собеседник – “не свой”»[119].

Николай I по своей внутренней сути не мог принять основную мысль записки, заключавшуюся в том, что «одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия». Причем, по Пушкину, просвещение благотворно сказывается не только на умах, но и на нравах людей. Именно с развитием просвещения повышается и нравственный уровень всего общества. Эта центральная идея автора записки и вызвала наибольшее неудовольствие царя. Непосредственная оценка императором записки содержится в письме Бенкендорфа Пушкину от 23 декабря 1826 г.: «Г[осударь] и[мператор] с удовольствием изволил читать рассуждения Ваши о народном воспитании», но «при сем заметить изволилб что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служать исключительным основанем совершенсву, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей».

Заметим, что в записке нет ни самого слова «гений», ни того контекста, который давал бы повод для его употребления, и потому полной загадкой является причина его появления.

Но если не просвещение, то что же тогда? Неколебимой уверенности царя можно только позавидовать: «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонамеренное воспитание» (XIII, 314–315).

В том, что основа прогресса не просвещение, а «прилежное служение», Николай I был убежден бесповоротно: «Ученье и ученость я уважаю и ставлю высоко; но еще выше я ставлю нравственность. Без нее ученье не только бесполезно, но даже, может быть, и вредно, а основа нравственности – святая вера <...> Вот мой взгляд на просвещение».

Поэтому естественно, что в январе 1850 г., когда царь назначал министром народного просвещения одиозного в глазах общества кн. П.А. Ширинского-Шихматова, он напутствовал его словами: «Закон Божий есть единственное твердое основание всякому полезному учению»[120].

Здесь стоит упомянуть о цензурном уставе 1826 г., вступившем в действие после восстания декабристов и направленном, как и множество других запретов, против какого-либо порицания монархической власти. Будущий министр С.С. Уваров, тогда еще только сенатор, неудобство устава видел в том, что «мы неминуемо лишиться должны чтения древних историков, ибо пункт 180 запрещает всякое историческое сочинение, в коем обнаруживается неблагоприятное расположение к монархическому правлению из чего следует, что Фукидид, Ксенофонт, Тацит и большая часть древних греческих и римских историков останется навсегда под печатью цензуры»[121].

В приведенном Уваровым перечне имен нет знаменитых ораторов и политических деятелей республиканцев, ибо даже само упоминание о них заведомо неприемлемо для власти. Между тем в записке Пушкина четко проводится мысль о необходимости точного следования историческим фактам в изложении истории древних республик и республиканских идей: «Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны» (XI, 46–47).

Невозможность принятия заказчиком-царем этих соображений, высказанных в прямой связи с еще не отшумевшими событиями декабря 1825 г., для Пушкина вполне очевидна. Но он знал, на что шел, как думается, сознательно прикрываясь обещанной Бенкендорфом полной свободой в том, «как представить мысли и соображения». Неслучайно, видимо, записка была охарактеризована последним достаточно осторожно как «заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу»[122].

Действительно, многие положения записки не могли не удовлетворить Николая, что и дало основание исследователям говорить о ее едва ли не сугубо верноподданническом содержании. На самом же деле, если исходить из ее в целом критического духа, это было не так. Например, никак не вяжутся с официальным пониманием безусловной преданности власти резко обличительные слова записки, что «в России все продажно» (XI, 45). Допустим, что это хорошо известный императору прискорбный факт, но должно ли ему об этом слышать из уст не наделенного никакими ревизорскими полномочиями своего подданного? Наверняка не могли понравиться царю суждения Пушкина о том, что просвещение должно быть научным и глубоким, и особенно приводимый им в этой связи пример заочно приговоренного к смертной казни по делу декабристов Н.И. Тургенева: «...Воспитывавшийся в Геттинг[енском] унив[ерситете], несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностию и умеренностию – следствием просвещения истинного и положительных познаний» (там же).

Если исходить из отзыва самодержца, то экзамен на проверку благонадежности поэтом в целом как будто выдержан, но веры ему по-прежнему нет. Неслучайно, например, когда в 1828 г., с началом войны с Турцией, Вяземский и Пушкин, то ли из патриотических побуждений, то ли из желания сменить обстановку обратились с просьбой определить их в действующую армию, тут же получили отказ. Причина выясняется из письма к Бенкендорфу вел. кн. Константина, к советам которого в затруднительных случаях прибегал и сам Николай I: «Поверьте мне, любезный генерал, что, в виду прежнего их поведения, как бы они ни старались выказать теперь свою преданность службе е.в., они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-либо положиться»[123].

Это и являлось главным в отношении верховной власти, прежде всего императора Николая I, к Пушкину – ему не верили, ему не доверяли, он был и оставался чужим. Сам же поэт, освобожденный из ссылки Николаем I в 1826 г., когда он практически потерял на это надежду, из чувства благодарности старался в пределах возможного сохранять лояльность к нему, не желая давать ни малейшего повода к обвинению его в нарушении дворянской чести и данного им царю слова «сделаться другим». Тем более что Николай I не упускал случая напоминать, что он «не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано» (XIII, 329).

Не мною замечено, что гению, в отличие от обыкновенного человека, трудно, вернее, невозможно не быть самим собой. В результате все попытки Пушкина, связанного обещанием царю перемениться, оказались бесплодными. Это было выше его сил. Отсюда все муки последних лет жизни поэта. Он, как писал Ф.М. Достоевский, «был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в себе все свои задатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне»[124]. Войдя 8 сентября 1826 г. в кабинет царя в Чудовом дворце, хотя и ссыльным, но

внутренне свободным человеком, пишет Н.О. Лернер, Пушкин вышел оттуда «свободным поднадзорным»[125]. В таком положении он и оставался последние 10 лет жизни! Тем не менее царь и его ближайшее окружение, инстинктивно не воспринимавшие Пушкина как «своего», так и не смогли сделать его придворным пиитом. «Традиционное для российской бюрократии неуважение к таланту» губительно сказалось на судьбе Пушкина, и жизнью гения просто-напросто «пренебрегли»[126].

Да и мог ли самовлюбленный и жесткий властитель, человек с ограниченным кругозором, каким был Николай I, оценить величие пушкинского дара! «...Я солдат, – не без любования собой заявлял он. – Это дело по мне. Другое же дело, которое возложено на меня Провидением – <...> это дело не по мне»[127].

Слова эти были произнесены почти на исходе царствования, летом 1852 г. Но и в самом начале своего правления Николай признавался, что к трону «никогда не готовился»[128]. В отличие от своих великих предшественников, Петра I и Екатерины II, Николай I оказался феноменально «необучаем». Академик Е.В. Тарле, возможно несколько резко характеризуя этого императора, писал, что его отличала «глубокая, поистине непроходимая, всесторонняя, если можно так выразиться, невежественность»[129]. О Николае, еще великом князе, свидетельствовал В.А. Жуковский: «Никогда не видел книги в [его] руках; единственное занятие – фрунт и солдаты»[130].

Император, по словам его министра П.Д. Киселева, подчеркивал, что, по его мнению, «беседы с умными и знающими людьми», а не чтение книг – «самое лучшее и необходимое просвещение»[131].

Между Пушкиным и самодержцем была огромная дистанция в уровне образованности, духовного развития, миропонимания в целом, В силу этого они не могли друг друга понять и, как показала жизнь, не понимали. Николай I, с его показным благородством, всячески демонстрировал свою приязнь к Пушкину. В действительности же, контролируя каждый его шаг, всегда и во всем подавлял его творческую личность. Недостаточно подготовленный к государственному правлению, он ничтоже сумняшеся пытался вершить буквально все дела великой империи. Столь же самонадеянно поучал он и гениального Пушкина, «по-отечески» наставляя его на путь истинный. Царская задача облегчалась жизненным поведением поэта, который в своих поступках, по словам А.П. Керн, «всегда был добр и великодушен»[132]. и в то же время импульсивен. «Мой нрав – неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вместе с тем, слабый», – сетовал он в письме В.П. Зубкову, к свояченице которого неудачно сватался в 1826 г. (XIII, 562).

Перед Николаем I Пушкин испытывал какую-то робость, что, впрочем, вполне объяснимо, поскольку он, как было показано выше, наделял личность царя элементами сакральности. А.О. Смирнова-Россет с оттенком недоумения пишет о том, что Пушкин, в 1829 г. часто бывавший в доме Карамзиных, «всегда смущался, когда к ним приходил император» на чашку чая[133]. Однажды, гуляя по Царскому селу, Пушкин встретил

Николая Павловича, который, подозвав поэта, «потолковал с ним о том, о сем очень ласково». И Пушкина, по его собственному признанию, охватил верноподданнический трепет. Удрученный этим, он признался Россет: «Черт возьми, почувствовал подлость во всех жилах»[134].

В.В. Вересаев утверждает, что «самый великий человек – все-таки человек с плотью и кровью, со всеми его человеческими слабостями и пороками», что «нельзя класть резкую, принципиальную качественно-разграничительную черту между «великим» человеком и обыкновенным». При этом он, конечно же, не отрицает того, что «одаренность в одной области накладывает своеобразный, необычайный отпечаток и на некоторые другие области душевной жизни человека. Но совершенно неверно, будто весь строй души великого человека во всех его проявлениях носит какой-то величественный, несвойственный другим людям отпечаток»[135]. Очень хорошо знавшая поэта А.П. Керн в связи с этим отмечала: «Пушкин... несмотря на всю гениальность <...> не всегда был благоразумен»[136].

Наконец, нельзя не сказать и о другой стороне жизненной трагедии Пушкина, о которой уже после смерти поэта писал один из ближайших его друзей П.А. Вяземский: «Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой исстрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения!»[137]

Нравственная деликатность и скромность Пушкина были таковы, что даже Е.А. Баратынский, длительное время бывший с Пушкиным накоротке, тоже только после его смерти в результате ознакомления с рукописным наследием поэта сумел оценить масштаб его величия. В письме к одному из приятелей он с нескрываемым удивлением писал: «Можешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей! Пушкин – мыслитель!»[138]

И если это стало откровением для друзей поэта, то что уж говорить о самодержце, озабоченном навязчивым стремлением подавить источник вольномыслия Пушкина путем всякого рода ограничений и запретов, с одной стороны, и «приручения» его – с другой. Императору не дано было понять глубокий философский смысл пушкинских строк из стихотворения «Друзьям»:

«Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу.
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу».

Примечания

[1] *Ключевский В.О.* Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 426.

[2] Здесь и далее пушкинские тексты даются по: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. 1–19 (в 23 кн.) М., 1994–1997. Римской цифрой обозначен номер тома, арабской – страница.

[3] Показательно, что в 1819 г. при подготовке сборника своих стихотворений Пушкин снял из «Воспоминаний в Царском Селе» хвалебные упоминания Александра и посвященную ему строфу. Можно с уверенностью сказать, что это было напрямую связано с изменениями во взглядах поэта на личность царя и его роль в войне 1812 г.

[4] См.: *Ариштейн Л.М.* Пушкин. Непричесанная биография. Изд. 2. М., 1999. С. 148. и сл.

[5] *Керсновский А.А.* История русской армии. Т. 2. От взятия Парижа до покорения Средней Азии. 1814–1881. М., 1993. С. 11.

[6] *Поливанов Л.* Александр Сергеевич Пушкин: Материалы для его биографии: 1817–1825 // РС. 1887. № 11. С. 241.

[7] Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 1. М., 1985. С. 224.

[8] *Черейский Л.А.* Он решительный либерал // Нева. 1981. №2. С. 217–218.

[9] *Немировский И.В.* Идейная проблематика стихотворения Пушкина «Кинжал» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV. Л., 1991. С. 195.

[10] Там же. С. 200.

[11] Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. 1799–1826 / Сост. М.А. Цявловский. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 297, 298.

[12] Там же. С. 316.

[13] *Модзалевский Б.Л.* Пушкин под тайным надзором. СПб., 1922. С. 9–10. («Гавриилиада» написана в апреле 1821 г.)

[14] Личность «англичанина-философа» установлена. Это домашний врач семьи Воронцовых Уильям Хатчинсон (см. о нем: *Ариштейн Л.М.* Одесский собеседник Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1975. М., 1979. С. 58–70).

[15] См.: *Модзалевский Б.Л.* К истории ссылки Пушкина в Михайловское // *Модзалевский Б.Л.* Пушкин. Л., 1929. С. 78–90.

[16] Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. С. 530.

[17] Советские архивы. 1977. № 2. С. 82–86.

[18] *Анненков П.[В.].* Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 321; *Модзалевский Б.Л.* Пушкин. С. 348.

[19] Их обзор и толкование см.: *Эйдельман Н.Я.* Пушкин: Из биографии и творчества. 1826–1837. М., 1987. С. 18–50.

[20] *Корф М.А.* Записки // РС. Т. 101. 1900. № 3. С. 574.

[21] РА. 1867. № 7. Стб. 1068.

[22] Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 19.

[23] Из памятных заметок Н.М. Смирнова // РА. 1882. №2. С. 231.

[24] Из воспоминаний о Пушкине // РА. 1865. Стб. 1248–1249.

[25] Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 67.

[26] *Эйдельман Н.Я.* Указ. соч. С. 426. См. также: РА. 1888. № 7. С. 307.

[27] *Лорер Н.И.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 205.

[28] Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Пг., 1921. С. 42.

[29] См.: *Сухомлинов М.И.* Император Николай Павлович – критик и цензор сочинений Пушкина // ИВ. 1884. Т. 15. № 1. С. 55–87.

[30] Старина и новизна. Кн. 6. СПб., 1903. С. 6.

[31] Видок Фиглярин: письма и агентурные записки Ф.А. Булгарина в III Отделение. М., 1998. С. 92.

[32] *Модзалевский Б.Л.* Пушкин под тайным надзором. Изд. 3. Л., 1925. С. 73.

[33] Воспоминания графини А.Д. Блудовой // РА. 1875. № 6. С. 183.

[34] Цит. по: *Милюков П.Н.* Живой Пушкин (1837–1937). Историко-биографический очерк. М., 1997. С. 158.

[35] Любовные похождения и военные походы А.Н. Вульфа. Дневник 1827–1842. Тверь, 1999. С. 29.
[36] ИВ. 1883. № 12. С. 527.
[37] *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 10. М., 1956. С. 366.
[38] См.: *Вяземский П.А.* Записные книжки (1813–1848). М., 1963. С. 125.
[39] Письма М.П. Погодина к С.П. Шевыреву (1830–1833). М., 1963. С. 125.
[40] См.: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М. Погодина. Т. 3. СПб., 1890. С. 213.
[41] *Медведев М.М.* Грибоедов под следствием и надзором // Литературное наследство. Т. 60. Кн. I. М., 1956. С. 486.
[42] Видок Фиглярин: письма и агентурные записки... С. 228.
[43] Там же. С. 206.
[44] Пушкин. Письма. Т. 2. М.; Л., 1928. С. 474–475.
[45] Записки графини А.Д. Блудовой // РА. 1874. № 3. Стб. 738.
[46] *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. Т. IX. СПб., 1893. С. 158.
[47] См.: Дневник Н.А. Муханова // РА. 1897. № 7. С. 657; Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С 221.
[48] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 208–209.
[49] Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 57.
[50] См.: *Абрамович С.Л.* Пушкин в 1833 году. М., 1994. С. 571.
[51] См.: *Модзалевский Б.Л.* Пушкин. С. 341–342; *Бартенев П.И.* О Пушкине. Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М., 1992. С. 358–359.
[52] Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники. М., 1988. С. 595.
[53] *Рейсер С.А.* Три строки дневника Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985. С. 150.
[54] Из памятных записок Н.М. Смирнова // РА. 1882. № 2. С. 239; см. также: Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 281.
[55] В эту пору поэт пишет П.В. Нащокину, что царь, «как офицеришка», волочится за Натальей Николаевной. Доходило до того, что по утрам он по многу раз проезжал мимо ее окон, а вечером на балу спрашивал, «отчего у нее всегда шторы опущены» (Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 233).
[56] Старина и новизна. Кн. 6. 1903. С. 10–11.
[57] *Мицкевич А.* Собр. соч. В 5 т. Т. 4. М., 1954. С. 388, 389.
[58] См.: Дела III Отделения с.е.и.в. канцелярии об А.С. Пушкине. СПб., 1906. С. 313–369. Об авторстве Пушкина, как уже указывалось, жандармский полковник И.П. Бибиков доносил еще в начале 1826 г.
[59] П.А. Вяземский 10 декабря 1822 г. писал А.И. Тургеневу: «Пушкин прислал мне одну свою прекрасную шалость», и приводил особенно понравившиеся ему строки поэмы (Остафьевский архив князей Вяземских. Кн. II. Переписка кн. П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1820–1823. СПб., 1899. С. 287).
[60] Старина и новизна. Кн. 5. СПб., 1902. С. 5.
[61] Дела III Отделения... С. 343.
[62] Цит. по: *Гурьянов В.П.* Письмо Пушкина о «Гавриилиаде» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л., 1978. С. 285. Существующее в литературе мнение о поддельности письма автору не кажется неопровержимым.
[63] Старина и новизна. Кн. 15. СПб., 1911. С. 188.
[64] Там же. Кн. 6. 1903. С. 7–9.
[65] *Щеголев П.Е.* Пушкин и Николай I // *Щеголев П.Е.* Пушкин. Исследования, статьи и материалы. Т. 2. Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931. С. 80.

66 *Федотов Г.П.* Певец Империи и свободы // *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. СПб., 1992. С. 160.
67 *Левкович Я.Л.* Стихотворение Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. М., 1982. С. 176–192.
68 *Скрынников Р.Г.* Дуэль Пушкина. СПб., 1999. С. 235–316. См. также: *Абрамович С.Л.* Пушкин. Последний год. Хроника. Январь 1836 – январь 1837. М., 1991.
69 Современник. Литературный журнал А.С. Пушкина. Т. V. СПб., 1837. С. VIII–IX. Ср.: *Жуковский В.А.* Соч. В 6 т. Изд. 8. Т. 6. СПб., 1885. С. 13–14; РА. 1864. Стб. 986.
70 *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. М., 1987. С. 138–172. См. также: *Левкович Я.Л.* В.А. Жуковский и последняя дуэль Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIII. Л., 1989. С. 146–156.
71 Из дневника А.И. Тургенева // *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 248.
72 *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 139.
73 Там же. С. 191.
74 Там же. С. 186.
75 Там же. С. 147.
76 *Левкович Я.Л.* В.А. Жуковский и последняя дуэль Пушкина. С. 151.
77 Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. VI. СПб.. 1908. С. 109.
78 РА. 1888. № 7. С. 298. Ср.: РА. 1906. №12. С. 619.
79 *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 184.
80 Последний год жизни Пушкина. С. 532.
81 *Никитенко А.В.* Дневник. В 3 т. Т. 1. 1826–1857. М., 1955. С. 197.
82 РС. 1903. № 6. С. 646–647.
83 *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 196.
84 РС. 1880. № 7. С. 536–537.
85 *Модзалевский Б.Л.* Смерть Пушкина // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. VI. С. 1 10.
86 Цит. по: *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 274.
87 *Герштейн Э.* Вокруг гибели Пушкина. По новым материалам // Новый мир. 1962. № 2. С. 214.
88 *Муза Е.В., Сеземан Д.В.* Неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.; Л., 1963. С. 39.
89 РА. 1897. № 1. С. 19.
90 *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 216.
91 Цит. по: *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 329.
92 Там же. С. 537.
93 Цит. по: Последний год жизни Пушкина. С. 533.
94 ГАРФ. Ф. 109. Ill Отд. 1837–1839 гг. Оп. 223(85). Д. 3. Л. 89 об. – 90.
95 Последний год жизни Пушкина. С. 534.
96 Цит. по: *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 212.
97 Там же. С. 213.
98 Там же. С. 204.
99 *Мацкевич М.Н.* Из неизданных воспоминаний о Пушкине его племянника // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977. С. 31–32.
100 *Щеголев П.Е.* Пушкин. Исследования, статьи, материалы. Т. 2. С. 140.
101 *Федотов Г.П.* Указ. соч. С. 141.

[102] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 6 т. / Под ред. С.А. Венгерова. Т. III. СПб., 1909. С. 350.
[103] *Федотов Г.П.* Указ. соч. С. 141.
[104] Из рассказов А.О. Россета про Пушкина // РА. 1882. № 2. С. 245.
[105] *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 25.
[106] *Мицкевич А.* Указ. соч. Т. 4. С. 96.
[107] Там же. С. 511.
[108] *Вяземский П.А.* Записные книжки. С. 126–127.
[109] Цит. по: *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 216–217.
[110] *Гоголь Н.В.* Выбранные места из переписки с друзьями. М., 1993. С. 62.
[111] *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1955. С. 525.
[112] *Старк В.П.* Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны...» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. Л., 1982. С. 202.
[113] *Овсянико-Куликовский Д.Н.* А.С. Пушкин // *Овсянико-Куликовский Д.Н.* Собр. соч. Т. IV. СПб., 1909. С. 166.
[114] *Сквозников В.Д.* Державность миропонимания Пушкина // Вестник РГНФ. 1999. № 1. С. 200.
[115] *Измайлов Н.В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1976. С. 249.
[116] Из записной книжки Путяты Н.В. // РА. 1899. № 6. С. 350–351.
[117] Любовные похождения и военные походы А.Н. Вульфа. С. 28.
[118] См.: *Сухомлинов М.И.* Император Николай Павлович – критик и цензор сочинений Пушкина. С. 84–85.
[119] *Эйдельман Н.Я.* Пушкин. Из биографии и творчества. С. 118.
[120] Цит. по: *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902. С. 226–227.
[121] *Гиллельсон М.И.* Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 года // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. С. 211.
[122] Выписки из писем графа А.Х. Бенкендорфа к императору Николаю I о Пушкине. СПб., 1908. С. 4.
[123] Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. С. 70, 448; РА. 1884. № 6. С. 319.
[124] *Достоевский Ф.М.* Собр. соч. В 10 т. Т. 10. М., 1958. С. 454.
[125] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 6 т. / Под ред. С.А. Венгерова. Т. III. С. 337.
[126] *Абрамович С.Л.* Предыстория последней дуэли Пушкина: январь 1836 – январь 1837. СПб., 1994. С. 199.
[127] *Фицтум фон Экштедт К.Ф.* В виду Крымской войны. Заметки дипломата при Петербургском и Лондонском дворах. 1852–1855 // РС. 1887. № 5. С. 377.
[128] Междуцарствие 1825 года. С. 11.
[129] *Тарле Е.В.* Соч. В 12 т. Т. VIII. М., 1959. С. 65.
[130] *Штейнгейль В.И.* Сочинения и письма. Т. 1. Записки и письма. Иркутск, 1985. С. 147.
[131] РС. 1899. № 6. С. 530.
[132] *Керн А.П.* Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. С. 45.
[133] *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 179.
[134] См.: *Вересаев В.* Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников // *Вересаев В.* Соч. В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 518.
[135] Там же. С. 14, 15.
[136] *Керн А.П.* Указ. соч. С. 75.
[137] Последний год жизни Пушкина. С. 528.
[138] *Тургенев И.С.* Соч. В 12 т. Изд. 2-е, испр. и доп. Т. 12. М., 1986. С. 345.

Часть четвертая

Избранные статьи 1990-х – 2006 г.

Декабрист Сергей Волконский*

I

Декабрист Сергей Григорьевич Волконский – хрестоматийная историческая фигура, известная каждому из школьной программы. Хрестоматийно известны основные факты его биографии: он был аристократом, князем, Рюриковичем, состоял в родстве со многими знаменитыми русскими фамилиями и даже с русскими царями. Сознательная жизнь Волконского началась как военный подвиг: герой Отечественной войны и Заграничных походов, в 24 года он стал генералом, его портрет – в Военной галерее Зимнего дворца.

Вслед за военным последовал гражданский подвиг: в 1819 г. он вступил в заговор декабристов, был активным участником Южного общества, в 1826 г. его осудили на 20 лет каторги и бессрочное поселение. В сибирский период жизни Волконский известен прежде всего как «муж своей жены»: княгиня Мария Николаевна Волконская, отказавшись от знатности, богатства, даже от собственного сына, одной из первых последовала за ним в Сибирь.

В этой хрестоматийности – главная причина того, что личность князя Волконского редко становится предметом специального внимания историков. О нем почти нет отдельных

---

* Рукопись из личного архива автора. Дата не установлена. – *Прим сост*.

исследований. Имя его всегда упоминается историками с уважением, однако особого интереса не вызывает.

Между тем, документы – переписка, мемуары самого Волконского, воспоминания современников, официальные документы рисуют совершенно другого Волконского. Ранние этапы его биографии – это не только высокое служение Отечеству, это еще и развратная жизнь светского повесы-кавалергарда. Биография Волконского-декабриста – это не только гражданский подвиг и желание «принести себя в жертву». Это еще и слежка за своими товарищами по заговору, вскрытие их переписки. Арестованный в январе 1826 г., Волконский заслужил в глазах императора Николая I репутацию «набитого дурака», «лжеца» и «подлеца».

В 2000 г. в Киеве проходила очередная конференция «Декабристские чтения», посвященная 180-летию восстания декабристов. Конференция эта едва не оказалась сорванной, когда один из ее участников позволил себе усомниться в супружеской верности Марии Волконской. Вообще же версия о нелюбви княгини к своему мужу, о ее многолетнем романе с одним из его товарищей по каторге и ссылке разделяется целым рядом исследователей[1].

В задачу данной статьи не входит написание подробной и обстоятельной биографии князя Сергея Волконского. Задача ее другая: на основании как опубликованных, так и архивных документов определить место этого человека в движении декабристов. Возможно, статья эта позволит также скорректировать хрестоматийные представления о Волконском, пробудит исследовательский интерес к одной из самых ярких личностей Александровской эпохи.

II

Князь Сергей Григорьевич Волконский родился в 1788 г. – по возрасту он был одним из самых старших среди деятелей тайных обществ. По происхождению же Волконский был и одним из самых знатных среди них – в жилах его текла кровь Рюриковичей и Гедиминовичей.

В формулярном списке «о службе и достоинстве» Сергея Волконского, в графе о происхождении, записано лаконично: «Из Черниговских князей»[2]. Предки декабриста – печально знаменитые в русской истории Ольговичи, как называли их летописи, – правили в Чернигове и были инициаторами и участниками множества междоусобных войн на Древней Руси. Сам декабрист принадлежал к XXVI колену рода Рюриковичей[3].

По материнской линии Сергей Волконский принадлежал к роду князей Репниных. Прапрадедом декабриста был один из «птенцов гнезда Петрова», фельдмаршал А.И. Репнин, а дедом – Н.В. Репнин, тоже фельдмаршал, дипломат и военный, подписавший в 1774 г. Кючук-Кайнарджийский мирный договор с Турцией. Бабушка Сергея Волконско-

го по материнской линии, – урожденная княжна Куракина – вела свой род от великого князя Литовского Гедимина.

Отличительную черту многих близких родственников Сергея Волконского можно определить одним словом – «странность».

Историкам хорошо известен князь Григорий Семенович Волконский (1742–1824) – отец декабриста. Князь был сподвижником П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, своего тестя Н.В. Репнина. Согласно послужному списку, он участвовал во всех войнах конца XVIII в., особенно отличился в сражении под Мачином в 1791 г., где получил тяжелую рану в голову. Григорий Волконский был кавалером высших российских орденов: Св. Апостола Андрея, Св. Александра Невского, Св. Георгия 2 класса и Св. Анны 1 степени, получил чин генерала от кавалерии[4]. В 1803–1816 гг. Григорий Волконский – генерал-губернатор в Оренбурге, затем – член Государственного Совета.

В вышедшей в 1898 г. книге М.И. Пыляева «Замечательные чудаки и оригиналы» князь Григорий Волконский описан как один из самых ярких русских «чудаков». Волконский был известен, например, тем, что рано вставал и первым делом отправлялся «по всем комнатам и прикладывался к каждому образу», а к вечеру «ежедневно у него служили всенощную, при которой обязан был присутствовать дежурный офицер», тем, что «выезжал к войскам во всех орденах и, по окончании ученья, в одной рубашке ложился где-нибудь под кустом и кричал проходившим солдатам: «Молодцы, ребята, молодцы!» Он «любил ходить в худой одежде, сердился, когда его не узнавали, выезжал в город, лежа на телеге или на дровнях». По мнению Пыляева, Волконский следовал особенностям поведения своего друга и покровителя А.В. Суворова – «корчил Суворова»[5].

«Чудачествами» Григорий Волконский был хорошо известен и жителям Оренбурга: «в большой карете цугом выезжал он на базар, закупал провизию; позади кареты, по бокам ливрейных лакеев, висели гуси и окорока, которые он раздавал бедным», «посреди улицы... вылезал из кареты, становился на колени, иногда в грязь, в лужу, и творил молитву», «на улицах Оренбурга встречали военного губернатора гуляющим в халате поверх нижнего белья, а на халате все ордена; в таком виде он иногда заходил далеко, а возвращался на какой-нибудь крестьянской телеге». В честь именин любимой дочери Софьи он устраивал на оренбургских улицах грандиозные фейерверки, силой пытался заставить местных жителей полюбить старинную итальянскую музыку[6].

Феномен мирового – и в том числе русского – «чудачества» уже давно обратил на себя внимание историков и культурологов.

Так, Пыляев определял этот феномен как «произвольное или вынужденное оригинальничанье, в большинстве обусловленное избытком жизнедеятельности и в меньшинстве – наоборот: жизненною неудовлетворенностью». Пыляев подмечал, что «в простом сословии, близком к природе, редко встречаются чудаки». «Причуды» начинаются «с обра-

зованием» – «и чем оно выше у народа, тем чаще и разнообразнее являются чудаки»[7].

Известный драматург, режиссер и теоретик театра Н.Н. Евреинов видел в «чудачестве» проявление «чувства театральности», которое «является чем-то естественным, природным, прирожденным человеческой психике». А Ю.М. Лотман подходил к вопросу конкретно-исторически: пытаясь понять русских «чудаков» конца XVIII века, он утверждал, что подобным «странным» образом они пытались «найти *свою* судьбу, выйти из строя, реализовать свою собственную личность». По его мнению, созданное Петром I «регулярное государство» «нуждалось в исполнителях, а не в инициаторах и ценило исполнительность выше, чем инициативу», однако со времен Екатерины II у лучших людей эпохи появляется «жажда выразить себя, проявить во всей полноте личность»[9].

При всем разнообразии этих объяснений они не противоречат друг другу. Действительно, желание проявить себя, «выйти из строя», доказать свою самость – прежде всего с помощью неких театрально-эпатажных форм жизни – присуще человеку во все времена. Вполне понятно, что чем больше развит человек и чем больше государство стремится низвести его на степень «винтика», тем сильнее сопротивление и тем вычурнее становятся «чудачества».

К этому следует только добавить, что у образованных аристократов конца XVIII – начала XIX в. «оригинальничанье» никогда не выходило за известные рамки, не перерастало в политический радикализм. В служебной сфере эти люди были вполне адекватными исполнителями воли монарха. Именно таким, скорее всего, и был отец декабриста – «странный» человек, но при этом исполнительный и удачливый генерал, вельможа и крупный чиновник.

«Странностям» и «чудачествам» Григория Волконского успешно противостояла его жена Александра Николаевна, урожденная княжна Репнина (1756–1834). Основываясь на материалах семейного архива, ее правнук, С.М. Волконский, утверждал: «Дочь фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина, статс-дама, обер-гофмейстерина трех императриц, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины первой степени княгиня Александра Николаевна была характера сухого; для нее формы жизни играли существенную роль; придворная дама до мозга костей, она заменила чувства и побуждения соображениями долга и дисциплины», «этикет и дисциплина, вот внутренние, а может быть, лучше сказать, – внешние двигатели ее поступков». Обладая житейской опытностью, практичностью, редким даром ладить с царями, она пыталась привить эти качества своим детям – сыновьям Николаю, Никите и Сергею и дочери Софье. Правда, удавалось ей это далеко не всегда.

Вполне состоявшейся – по меркам того времени – можно считать жизнь только лишь одного, старшего из ее сыновей, Николая Григорьевича (1778–1845). «Будучи по фамилии князем Волконским», он в 1801 г. получил Высочайшее повеление «называться князем Репни-

ным» – «чтобы не погиб знаменитый род»[11]. Как и его отец, князь Репнин всю жизнь прослужил в военной службе: участвовал практически во всех войнах начала XIX века, в 1813–1814 гг. исполнял должность военного губернатора Саксонии. С 1816 по 1835 г. он – Малороссийский военный губернатор. Правда, в отличие от отца, он не был замечен в «странностях» и «чудачествах».

Николай Репнин слыл в обществе либералом, славился гуманностью (ему, например, принадлежала инициатива в истории с выкупом из крепостной зависимости актера М.С. Щепкина), пользовался уважением современников. Он был признанным авторитетом и для младшего поколения семьи Волконских. «Брата я почитаю себе вторым отцом, и ему известны все мои мысли и все мои чувства», – писал Сергей Волконский в 1826 г., уже после своего осуждения[12].

Зато отцовские «странности» в полной мере унаследовала Софья Григорьевна (1785–1868), сестра декабриста – та самая, в честь которой в Оренбурге пылали фейерверки. В 1802 г. она вышла замуж за близкого родственника, одного из самых влиятельных военных Александровской эпохи, князя Петра Михайловича Волконского. С 1813 по 1823 г. П.М. Волконский – начальник Главного штаба русской армии, в ноябре 1825 г. на его руках император Александр I скончался в Таганроге. При Николае I П.М. Волконский был назначен министром императорского двора и уделов, стал генерал-фельдмаршалом. Естественно, что ни при одном из «венценосных братьев» Софья Волконская ни в чем не знала нужды.

Однако среди современников Софья Волконская славилась прежде всего крайней скупостью. Согласно материалам семейного архива, «ходила она грузным шагом, и так как она всегда носила с собой мешок, в котором были какие-то ключи, какие-то инструменты, то ее приближение издали возвещалось металлическим лязгом. Скупость ее к концу жизни достигла чудовищных размеров и дошла до болезненных проявлений клептомании: куски сахару, спички, апельсины, карандаши поглощались ее мешком, когда она бывала в гостях, с ловкостью, достойной фокусника». «В своем доме на Мойке она сдавала квартиру своему сыну. Сын уехал в отлучку, – она воспользовалась этим и сама вселилась в его комнаты. Таким образом она ухитрилась в собственном доме прожить целую зиму в квартире, за которую получала». При этом она была способна и на неожиданную щедрость: «бранила горничную за то, что та извела спичку, чтобы зажечь свечу, когда могла зажечь ее о другую свечку, а вместе с тем, не задумываясь, делала бедной родственнице подарок в двадцать тысяч».

Софья Волконская была одержима страстью к путешествиям; на омнибусе проехала всю Европу. «Однажды ее там на омнибусе арестовали, потому что заметили, что в чулках у нее просвечивали бриллианты; она подняла гвалт, грозилась, что будет писать папе римскому, королеве нидерландской... Она действительно состояла в переписке со всей коронованной и литературной Европой». «Впоследствии, когда

появились железные дороги, она ездила в третьем классе и уверяла, что это «ради изучения нравов».

«Однажды, уезжая из Италии в Россию, Софья Григорьевна поручила своему брату Николаю сундук с некоторыми ее вещами, которые она с собою не брала, и просила сохранить до ее возвращения. Сундук этот, в течение многих месяцев переезжавший с места на место... пришел в такую ветхость, что, наконец, надо было его вскрыть: в нем оказались дрова»[13].

«Странным» с точки зрения светских норм было и поведение Никиты Григорьевича (1781–1841) – среднего из трех братьев Волконских. Войну и заграничные походы он провел при «особе» императора, отличился в «битве народов» под Лейпцигом и в сражении за Париж, был награжден несколькими орденами и золотой шпагой «За храбрость»[14].

Однако через несколько лет после войны Никита Волконский, генерал-майор Свиты и обер-егермейстер, бросил карьеру. Он предпочел раствориться в лучах славы собственной жены – княгини Зинаиды Александровны, урожденной Белосельской-Белозерской (1792–1862) – поэтессы и художницы, певицы и хозяйки знаменитого московского литературного салона, «царице муз и красоты», воспетой Пушкиным и Баратынским[15]. Зинаида Волконская не была верна мужу: в свете говорили о ее многочисленных любовных связях, в том числе и с самим императором Александром I. Но, несмотря на это, Никита Волконский всюду следовал за своей женой. С 1820 г. он числился «в бессрочном отпуске»[16], а в конце 1820-х годов вслед за ней навсегда покинул Россию и уехал в Италию. Отношения с членами своей семьи он, судя по всему, не поддерживал.

Очевидно, в Италии Никита Волконский принял католичество. Он умер в итальянском городе Ассизе; через несколько лет Зинаида Волконская перезахоронила его прах в одном из католических храмов в Риме[17].

III

Первые этапы биографии князя Сергея Волконского, младшего ребенка в семье, очень похожи на биографии его отца и старших братьев.

В 1796 г., в возрасте 8 лет, он был записан сержантом в армию. Однако он считался в отпуску «до окончания курса наук» и реально начал служить с 1805 г. Первый его чин на действительной службе – чин поручика в Кавалергардском полку, самом привилегированном полку русской гвардии. Сергей Волконский принял участие в войне с Францией 1806–1807 гг.; его боевым крещением оказалось сражение под Пултусском. «С первого дня привык к запаху неприятельского пороха, к свисту ядер, картечи и пуль, к блеску атакующих штыков и лезвий белого оружия, привык ко всему тому, что встречается в боевой жизни, так что впоследствии ни опасности, ни труды меня не тяготили», – вспоминал

он впоследствии[18]. За участие в этом сражении он получил свой первый орден – орден Св. Владимира 4 степени с бантом.

Потом его послужной список пополнился делами при Янкове и Гоффе, при Ланцберге и Прейсиш-Эйлау, «генеральными сражениями» под Вельзбергом и Фриландом. Участвовал в русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг.; штурмовал Шумлу и Рущук, осаждал Силистрию. Некоторое время состоял адъютантом у М.И. Кутузова, главнокомандующего Дунайской армией. С сентября 1811 г. Волконский – флигель-адъютант императора[19].

С самого начала Отечественной войны 1812 г. он – активный участник и один из организаторов партизанского движения. Первый период войны он прошел в составе «летучего корпуса» генерал-лейтенанта Ф.Ф. Винценгероде – первого партизанского отряда в России.

Этот отряд был впоследствии незаслуженно забыт. В общественном мнении и историографии генерал Винценгероде должен был уступить лавры создателя первого партизанского отряда Д.В. Давыдову. Однако не так давно был опубликован датированный июлем 1812 г. и адресованный Винценгероде приказ военного министра М.Б. Барклая де Толли о создании «летучего корпуса». Цель создания этого корпуса состояла в «истреблении» «всех неприятельских партий», в том, чтобы «брать пленных и узнавать, кто именно и в каком числе неприятель идет, открывая об нем сколько можно». Отряд должен был «действовать в тылу французской армии на коммуникационную его линию»[20]. При Винценгероде ротмистр Волконский исполнял должность дежурного офицера.

Несколько месяцев спустя, уже после оставления французами Москвы, Сергей Волконский был назначен командиром самостоятельного партизанского соединения, с которым «открыл... коммуникацию между главною армиею и корпусом генерала от кавалерии Витгенштейна». Войска генерала П.Х. Витгенштейна прикрывали направление неприятельской армии на Петербург, но после оставления французами Москвы исчезла и угроза занятия столицы империи[21]. Действия Витгенштейна надо было теперь скоординировать с действиями основных сил – и Волконский успешно справился со своей задачей. Кроме того, за несколько недель отдельных действий отряд Волконского захватил в плен «одного генерала, 17 штаб- и обер-офицеров и около 700 или 800 нижних чинов»[22].

После того как Отечественная война завершилась и начались Заграничные походы русской армии, отряд Волконского вновь соединился с корпусом Винценгероде и стал действовать вместе с главными русскими силами. Волконский отличился в боях под Калишем и Люценом, при переправе через Эльбу, в «битве народов» под Лейпцигом, в штурме Касселя и Суассона. Начав войну ротмистром, он закончил ее генерал-майором и кавалером четырех русских и пяти иностранных орденов, владельцем наградного золотого оружия и двух медалей в память 1812 года.

Современники вспоминали: вернувшись с войны в столицу, Сергей Волконский не снимал в публичных местах плаща. При этом он «скромно» говорил: «солнце прячет в облака лучи свои» – грудь его горела орденами[23]. «Приехав одним из первых воротившихся из армии при блистательной карьере служебной, ибо из чина ротмистра гвардейского немного свыше двух лет я был уже генералом с лентой и весь увешанный крестами, и могу без хвастовства сказать, с явными заслугами, в высшем обществе я был принят радушно, скажу даже отлично», – писал он в мемуарах[24].

Петербургский свет восхищался им, родители гордились. Отец уважительно называл его в письмах «герой наш князь Сергей Григорьевич»[25]. В Военной галерее Зимнего дворца вскоре появился портрет Волконского кисти Дж. Доу. Перед молодым генералом открывались головокружительные карьерные возможности.

Но служебная карьера Сергея Волконского не ограничивалась только лишь участием в боевых действиях. В военной биографии Волконского есть немало странностей. Незадолго до окончания войны он, генерал-майор русской службы, самовольно покидает армию и отправляется в Петербург. После возвращения армии в столицу он опять-таки самовольно, не беря никакого отпуска и не выходя в отставку, отправляется за границу, как он сам пишет, «туристом»[26]. Он становится свидетелем открытия Венского конгресса, посещает Париж, затем отправляется в Лондон. Однако вряд ли он мог, находясь на действительной службе, так свободно перемещаться по Европе. Видимо, при этом он выполнял некие секретные задания русского командования. О том, какого рода были эти задания, тоже сохранились сведения. Самый странный эпизод его заграничного путешествия относится к марту 1815 г., ко времени знаменитых наполеоновских «Ста дней».

Известие о возвращении Наполеона во Францию застает Волконского в Лондоне. Согласно его мемуарам, узнав о том, что «чертова кукла» «высадилась во Франции», он тут же просил русского посла в Лондоне графа Ливена выдать ему паспорт для проезда во Францию. Посол отказал, заявив, что генералу русской службы нечего делать в занятой неприятелем стране, и доложил об этой странной просьбе императору Александру. Император же приказал Ливену выпустить Волконского в Париж[27].

В занятом Наполеоном Париже Волконский провел всего несколько дней – 18 марта 1815 г. он туда приехал, а 31 марта уже вернулся в Лондон. Эти даты устанавливаются из его письма к П.Д. Киселеву, отправленного из Лондона 31 марта[28].

О том, чем занимался Волконский в Париже во время «Ста дней», известно немного. Сам он очень осторожно упоминает в своих записках о том, что во второй раз в Париже он был уже не как «турист», а как «служебное лицо», и что он был в своей поездке снабжен деньгами, полученными от его шурина, князя П.М. Волконского, тогда начальника Главного штаба русской армии[29]. Известно также, что его

пребывание во вражеской столице не прошло незамеченным для русского общества; стали раздаваться голоса даже о том, что он перешел на сторону Наполеона. В письме к своему другу П.Д. Киселеву он вынужден был оправдываться: «Я не считаюсь с мнением тех, которые судят меня, не имея на то права и не выслушав моего оправдания», «за меня в качестве адвокатов все русские, которые находились вместе со мною в Париже»[30].

В источниках имеются сведения о том, что главным заданием, которое Волконский выполнял в Париже, была эвакуация русских офицеров, не успевших выехать на родину и оставшихся как бы в плену у Наполеона. В «Записках» Волконский называет четырех человек – троих обер-офицеров и знаменитого впоследствии придворного врача Николая Арендта, оставшегося во Франции при больных и раненых русских военных и не успевшего поэтому покинуть город[31].

Следует заметить, что эти люди вряд ли случайно задержались в Париже – иначе русское командование не стало бы посылать в занятый неприятелем город русского генерал-майора, близкого родственника начальника Главного штаба. Скорее всего, они тоже выполняли во французской столице специальные задания – и в случае разоблачения им грозили большие неприятности.

Иными словами, после окончания войны генерал Волконский приобрел опыт выполнения «секретных поручений» «тайными методами». И этот опыт оказался впоследствии бесценным для декабриста Волконского.

IV

Несмотря на блестящую военную карьеру, Сергей Волконский «остался в памяти семейной как человек не от мира сего»[32]. Частное поведение Волконского предвоенных, военных и послевоенных лет казалось современникам не менее, если не более «странным», чем поведение его отца. При этом для самого Волконского такое поведение было весьма органичным: в его позднейших мемуарах описанию этих «странностей» отводится едва ли не больше места, чем описанию знаменитых сражений.

В повседневной жизни Сергей Волконский реализовывал совершенно определенный тип поведения, названный современниками «гусарским». Этот тип поведения тоже попал в «классификацию» Пыляева: «отличительную черту характера, дух и тон кавалерийских офицеров – все равно, была ли это молодежь или старики – составляли удальство и молодечество. Девизом и руководством в жизни были три стародавние поговорки: «двум смертям не бывать, одной не миновать», «последняя копейка ребром», «жизнь копейка – голова ничего!». Эти люди и в войне, и в мире искали опасностей, чтоб отличиться бесстрашием и удальством»[33]. Согласно Пыляеву, особенно отличались «удальством» офицеры-кавалергарды.

И если «чудачества» Григория Волконского были, в общем, мирными и неопасными для окружающих, то «утехи» его младшего сына представляли значительную социальную опасность. Сергей Волконский – вполне в духе Пыляева – признавался в мемуарах, что для него самого и того социального круга, к которому он принадлежал, были характерны «общая склонность к пьянству, к разгульной жизни, к молодечеству, склонность к противоестественным утехам», «картёж... и беззазорное блядовство».

Образ жизни молодого бесшабашного офицера был, согласно тем же мемуарам, следующим: «Ежедневные манежные учения, частые эскадронные, изредка полковые смотры, вахтпарады, маленький отдых бессемейной жизни; гулянье по набережной или по бульвару от 3-х до 4-х часов; общей ватагой обед в трактире, всегда орошенный через край вином, не выходя, однако ж, из приличия; также ватагой или порознь по борделям, опять ватагой в театр...». Образ мыслей не многим отличался от образа жизни: «Шулерничать не было считаемо за порок, хотя в правилах чести были мы очень щекотливы. Еще другое странное было мнение – это что любовник, приобретенный за деньги, за плату, не подлое лицо», «книги забытые не сходили с полок».

Волконский вспоминал, как в годы жизни в Петербурге он и другой будущий декабрист, М.С. Лунин (попавший, кстати, в число пыляевских «чудаков»), «жили на Черной речке вместе. Кроме нами занимаемой избы на берегу Черной речки против нашего помещения была палатка, при которой были два живые на цепи медведя, а у нас девять собак. Сожительство этих животных, пугавших всех прохожих и проезжих, немало беспокоило их и пугало их тем более, что одна из собак была приучена по слову, тихо ей сказанному: «Бонапарт» – кинуться на прохожего и сорвать с него шапку или шляпу. Мы этим часто забавлялись, к крайнему неудовольствию прохожих, а наши медведи пугали проезжих».

Следует заметить, что, согласно Пыляеву, Черная речка была излюбленным местом кавалергардских «потех» – и петербургские обыватели старались обходить эту местность стороной[34].

«В один день мы вздумали среди бела дня пускать фейерверк. В соседстве нашем жил граф Виктор Павлович Кочубей (министр внутренних дел. – *О.К.*), и с ним жила тетка его, Наталья Кирилловна Загряжская, весьма умная женщина, которая пугалась и наших собак и медведей. Пугаясь фейерверка и беспокоясь, она прислала нам сказать, что фейерверки только пускаются, когда смеркнется, а мы отвечали ее посланному, что нам любо пускать их среди белого дня и что каждый у себя имеет право делать что хочет».

Весть о заключении Тильзитского мира застала Волконского в военном лагере – и весть эта, по его собственным словам, «не была по сердцу любящим славу России». Неприятные эмоции решили заглушить водкой: «Вспоминаю я, что я, живши на бивуаке, пригласивши к себе знакомого мне товарища из свиты Беннигсена, молодого барона

Шпрингпортена, с горя (по русской привычке), не имея других питий, как водку, выпили вдвоем три полуштофа гданьской сладкой водки, и так мы опьянели, что, плюя на бивуачный огонь, удивлялись, почему он не гаснул».

В ходе же русско-турецкой войны Волконский и его полковой товарищ П.П. Валуев «были поставлены на квартиру к боярину Ролетти.

У него было два сына, записные дураки, и две премиленькие дочери. За этими мы стали приволакиваться, но неудачно для нас, а мы, высмотрев, что они не так строги к каким-то молдаванам, высторожили это и привели отца и братьев на данное ночное свидание. Просто скажу о сем теперь – подлая шутка, и мы так насолили нашему хозяину, что в следующем годе, прибыв опять в армию и во время зимовых квартир, одного просил Ролетти, чтоб меня не ставили к нему на квартиру». В 1810 г. за свое поведение Волконский был выслан из Дунайской армии.

Начало войны Сергей Волконский встретил в Вильно – в окрестности которой была собрана большая часть русских военных сил. Армия жила в напряженном ожидании боевых действий: «Родина была близка сердцу цареву, и та же Родина чутко говорила, хоть негласно, войску», «в войсках от генерала до солдата всякий ждал с нетерпением начала военных действий»[35].

Однако сам Волконский жил в то время не только ожиданием великих битв за Родину. Согласно дневнику его приятеля, Н.Д. Дурново, 18 апреля 1812 г. он, «совершая прогулку», «отправился к князю Сергею Волконскому и князю Лопухину», которые жили на одной квартире. «Польская девушка нас развлекала в течение нескольких часов». Впрочем, Дурново утверждает, что он сам «остался верен своим принципам и не притронулся к ней»[36].

Упоминаемый в дневнике князь П.П. Лопухин – один из самых близких друзей молодого Сергея Волконского, впоследствии генерал-майор, активный масон и участник Союза благоденствия. Сам же автор записи, Н.Д. Дурново, будет в 1825 г. идейным противником декабристов, и ночью с 14 на 15 декабря именно он арестует поэта-декабриста К.Ф. Рылеева.

Ни Отечественная война, ни Заграничные походы, ни даже получение генеральского чина не заставили Волконского отказаться от «буйного» поведения. Приехав после окончания войны во Францию, он сделал огромные долги – и уехал, не расплатившись с парижскими кредиторами и торговцами. Французы обращались с просьбой вернуть долг и в российское Министерство иностранных дел, и лично к императору Александру I. Волконского разыскивали в России и за границей, он всячески уклонялся от уплаты – и все это порождало большую официальную переписку.

В результате долги сына вынуждена была заплатить его мать. И Волконский, генерал-майор и герой войны, не без некоторой гордости сообщал в 1819 г. армейскому начальству, что уплату его долгов «приняла на свое попечение» его «матушка», «Двора Их Император-

ских Величеств статс-дама княгиня Александра Николаевна Волконская». Впоследствии мать продолжала исправно платить его долги[39].

В конце 1810-х годов столь блестяще начатая военная карьера Сергея Волконского резко затормозилась. До самого своего ареста в 1826 г. он не был произведен в следующий чин, его обходили и при раздаче должностей. Согласно послужному списку, с 1816 по 1818 г. Сергей Волконский – командир 1-й бригады 2-й уланской дивизии. Когда же в августе 1818 г. эту бригаду расформировывают, то новой бригады князю не дают – он «назначен состоять при дивизионном начальнике оной же дивизии»[40]. В ноябре 1819 г. его шурин, П.М. Волконский, просит государя назначить его «шефом Кирасирского полка», но получает «решительный отказ»[41].

Причина карьерных неудач князя, по мнению большинства исследователей, заключается в том, что уже тогда он начал обнаруживать признаки «вольнодумства». Н.Ф. Караш и А.З. Тихановская видят причину императорского «неудовольствия» в другом: в том, что Волконскому «не простили пребывания во Франции во время возвращения Наполеона с о. Эльбы». Также «не простили» Волконскому тот факт, что в Париже – уже после реставрации Бурбонов – он пытался заступиться за полковника Лабедуайера, первым перешедшего со своим полком на сторону Наполеона и приговоренного за это к смертной казни[42].

Однако «вольнодумство» Волконский обнаружил позже, события же во Франции, свидетелем и участником которых он был, состоялись намного раньше. Представляется, что в данном случае причину царского гнева на генерала следует искать в другом, Сергей Волконский был хорошо известен и Александру I, и его приближенным: царь называл своего флигель-адъютанта «мсье Серж» – «в отличие от других членов» семьи Волконских[43] – и внимательно следил за его службой. Однако «гусарство» и «проказы» «мсье Сержа» и его друзей императору явно не нравились: Волконский описывает в мемуарах, как после одной из «проказ» государь не хотел здороваться с ним и его однополчанами-кавалергардами, как «был весьма сух» с ним после его высылки из Молдавской армии[44].

Очевидно, император ждал, что после войны генерал-майор остепенится; этого не произошло. «В старые годы не только что юный корнет проказничал, но были кавалеристы, которые не покидали шалости даже в генеральских чинах», – совершенно справедливо замечает Пыляев[45]. Скорее всего, следствием именно этого и стали карьерные неудачи князя.

V

В самом конце того же 1819 г. жизнь Сергея Волконского круто переменилась: он вступил в Союз благоденствия. Обидевшись на императора за собственные служебные неудачи, он не стал принимать долж-

ность «состоящего» при дивизионном начальнике и уехал в бессрочный отпуск, намереваясь еще раз побывать за границей.

Случайно оказавшись в Киеве на ежегодной зимней контрактовой ярмарке, он встретил там своего старого приятеля Михаила Федоровича Орлова. Орлов, генерал-майор и начальник штаба 4-го пехотного корпуса, уже давно состоял в тайном обществе, и его киевская квартира была местом встреч людей либеральных убеждений и просто недовольных существующим положением вещей.

То, что Волконский увидел и услышал на квартире Орлова, поразило воображение «гвардейского шалуна». Оказалось, что существует «иная колея действий и убеждений», нежели та, по которой он до этого времени шел: «Я понял, что преданность отечеству должна меня вывести из душного и бесцветного быта ревнителя шагистики и угоднического царедворничества», «с этого времени началась для меня новая жизнь, я вступил в нее с гордым чувством убеждения и долга уже не верноподданного, а гражданина и с твердым намерением исполнить во что бы то ни стало мой долг исключительно по любви к отечеству»[46].

Через несколько месяцев после посещения квартиры Орлова Волконский попал в Тульчин, в штаб 2-й армии. Там произошло его знакомство с Павлом Пестелем. «Общие мечты, общие убеждения скоро сблизили меня с этим человеком и породили между нами тесную дружескую связь, которая имела исходом вступление мое в основанное еще за несколько лет перед этим тайное общество», – писал Волконский в мемуарах[47]. Формально же Волконского принял в тайное общество генерал-майор М.И. Фонвизин[48].

В своих показаниях на следствии Сергей Волконский утверждал, что первые либеральные идеи зародились у него в 1813 г., когда он проходил в составе русской армии по Германии и общался «с разными частными лицами тех мест, где находился»[49]. Потом эти мысли укрепились в нем в 1814 и 1815 гг., когда он побывал в Лондоне и Париже. На этот раз в кругу его общения оказались мадам де Сталь, Бенжамен Констан, члены английской оппозиции.

Конечно, князь был прав: в послевоенной Европе либеральные идеи были столь широко распространены, что мало кто из молодых русских офицеров не сочувствовал им. Сочувствие этим идеям сквозит, например, в послевоенных письмах Волконского к его другу П.Д. Киселеву. В письме от 31 марта 1815 г., описывая наполеоновские «Сто дней», он замечает: «Доктрина, которую проповедует Бонапарт, это – доктрина учредительного собрания; пусть только он сдержит то, что он обещает, и он утвержден навеки на своем троне», «Бонапарт, ставший во главе якобинской партии, гораздо сильнее, чем это предполагают; только после того, как хорошо приготовятся, можно начинать войну, которую против него вести с упорством, потому что – вы увидите, что если война будет, то она должна сделаться народной войной»[50].

Однако от общих рассуждений о Бурбонах, Бонапарте и судьбах мировой истории весьма далеко до революционного образа мыслей и тем более образа действий. Кроме того, как видно из этого же письма, главным «либералом» для будущего декабриста был в 1815 г. император Александр I: «Либеральные идеи, которые он провозглашает и которые он стремится утвердить в своих государствах, должны заставить уважать и любить его как государя и как человека»[51]. И нет документов, свидетельствующих о том, что к 1819 г. мнение Волконского о «либерализме» русского монарха изменилось.

Скорее всего, в заговор Волконского привели не либеральные идеи.

К началу 1820-х годов «гусарское поведение», которым Волконский очень дорожил на первых этапах своей карьеры, стало массовым – и из «чудачества» превратилось в поведенческий штамп, едва ли не в норму. В тайном же обществе Волконский обретал иной способ, говоря словами Ю.М. Лотмана, «найти *свою* судьбу, выйти из строя, реализовать свою собственную личность». Способ этот, гораздо более опасный, чем «удаль и молодечество» был гораздо более достойным истинного сына Отечества. «Вступление мое в члены тайного общества было принято радушно прочими членами, и я с тех пор стал ревностным членом оного, и скажу по совести, что я в собственных моих глазах понял, что вступил на благородную стезю деятельности гражданской», – напишет Волконский в мемуарах[52].

С начала 1820 г. в Волконском происходит разительная перемена. Он перестает быть «шалуном» и «повесой», отказывается от идеи заграничного путешествия и, получив в 1821 г. под свою команду 1-ю бригаду 18-й пехотной дивизии 2-й армии, безропотно принимает новое назначение. Князь уезжает на место службы – в глухой украинский город Умань. Теперь самолюбие Волконского не задевает даже тот очевидный факт, что назначение командовать пехотной бригадой – явное карьерное понижение. Служба в кавалерии и, соответственно, в уланах была гораздо более престижной, чем в пехоте. И в 1823 г., согласно мемуарам Волконского, император Александр I уже выражал «удовольствие» по поводу того, что «мсье Серж» «остепенился», «сошел с дурного пути»[53].

В личной жизни Сергея Волконского тоже происходят перемены. «Блядовство» и традиционное светское женолюбие уступают место серьезным чувствам. В 1824 г. Волконский делает предложение Марии Николаевне Раевской, дочери прославленного генерала, героя 1812 года. «Ходатайствовать» за него перед родителями невесты Волконский попросил Михаила Орлова, уже женатого к тому времени на старшей дочери Раевского, Екатерине. При этом князь, по его собственным словам, «положительно высказал Орлову, что если известные ему мои сношения и участие в тайном обществе помеха к получению руки той, у которой я просил согласия на это, то, хотя скрепясь сердцем, я лучше откажусь от этого счастья, нежели изменю политическим моим убеждениям и долгу к пользе отечества»[54]. Генерал Раевский несколько месяцев думал, но в конце концов согласился на брак.

Свадьба состоялась 11 января 1825 г. в Киеве; посаженым отцом жениха был его брат Николай Репнин, шафером – Павел Пестель. Впоследствии Репнин будет утверждать: за час до венчания Волконский внезапно уехал – и «был в отлучке не более четверти часа». «Я спросил его, – писал Репнин, – куда? – Он: надобно съездить к Пестелю. – Я: что за вздор, я пошлю за ним, ведь шафер у посаженого отца адъютант в день свадьбы. – Он: нет, братец, непременно должно съездить. Сейчас буду назад». Репнин был уверен: в день свадьбы его брат, под нажимом Пестеля, «учинил подписку» в верности идеям «шайки Южного союза»[55].

Впрочем, современные исследователи не склонны верить в существование подобной подписки: Пестелю, конечно, вполне хватило бы и честного слова своего друга. Не заслуживает доверия и легенда, согласно которой Раевский добился от своего зятя прямо противоположной подписки – о том, что тот выйдет из тайного общества[56]. Видимо, для Волконского действительно легче было бы отказаться от личного счастья, чем пожертвовать с таким трудом обретенной собственной самостью.

VI

Вступив в заговор, генерал-майор Сергей Волконский, которому к тому времени уже исполнился 31 год, полностью попал под обаяние и под власть адъютанта главнокомандующего 2-й армией П.Х. Витгенштейна 26-летнего ротмистра Павла Пестеля. В момент знакомства с Волконским Пестель – руководитель Тульчинской управы Союза благоденствия, а с 1821 г. он – признанный лидер Южного общества, председатель руководившей обществом Директории. Вместе с Пестелем Волконский начинает готовить военную революцию в России.

Между тем, активно участвуя в заговоре, Волконский не имел никаких «личных видов». Если бы революция победила, то сам князь от нее ничего бы не выиграл. В новой российской республике он, конечно, никогда не достиг бы верховной власти, не был бы ни военным диктатором, ни демократическим президентом. Он мог рассчитывать на военную карьеру: стать полным генералом, главнокомандующим, генерал-губернатором или, например, военным министром. Однако всех этих должностей он мог достичь и без всякого заговора и связанного с ним смертельного риска, просто терпеливо служа в военной службе.

Более того, если бы революция победила, Волконский бы многое потерял. Князь был крупным помещиком: на момент ареста в 1826 г. он был владельцем 10 тысяч десятин земли в Таврической губернии; не меньшее, если не большее количество земли числилось за ним в Нижегородской и Ярославской губерниях. В его нижегородском и ярославском имениях проживало более двух тысяч крепостных «душ»[57]. Крупными состояниями владели и его мать и братья. Согласно же «Рус-

ской Правде» Пестеля, в обязанность новой власти входило отобрать у помещиков, имеющих больше 10 тысяч десятин, «половину земли без всякого возмездия». Кроме того, после революции все крестьяне, в том числе и принадлежавшие участникам заговора, стали бы свободными.

Все это Волконского не останавливало. И хотя никаких политических текстов, написанных до 1826 г. рукой князя, не сохранилось, можно смело говорить о том, что его взгляды оказались весьма радикальными. В тайном обществе Волконский был известен как однозначный и жесткий сторонник «Русской Правды» (в том числе и ее аграрного проекта), коренных реформ и республики. При его активном содействии «Русская Правда» была утверждена Южным обществом в качестве программы. Несмотря на личную симпатию к императору Александру I, которая с годами не прошла, Волконский разделял и «намерения при начатии революции... покуситься на жизнь Государя императора и всех особ августейшей фамилии»[59].

В отличие от многих других главных участников заговора, князь Волконский не страдал «комплексом Наполеона» и не мыслил себя самостоятельным политическим лидером. Вступив в заговор, он сразу же признал Пестеля своим безусловным и единственным начальником. И оказался одним из самых близких и преданных друзей председателя Директории – несмотря даже на то, что Пестель был намного младше его и по возрасту, и по чину, имел гораздо более скромный военный опыт. Декабрист Н.В. Басаргин утверждал на следствии, что Пестель «завладел» Волконским «по преимуществу своих способностей».

В 1826 г. Следственная комиссия без труда выяснила, чем занимался Волконский в заговоре. Князь вел переговоры о совместных действиях с Северным обществом (в конце 1823, в начале 1824 и в октябре 1824 г.) и с Польским патриотическим обществом (1825). Правда, переговоры эти закончились неудачей: ни с Северным, ни с Польским патриотическим обществами южным заговорщикам договориться так и не удалось.

В 1824 г., по поручению Пестеля, Волконский ездил на Кавказ, пытаясь узнать, существует ли тайное общество в корпусе генерала А.П. Ермолова. На Кавказе он познакомился с известным бретером капитаном А.И. Якубовичем, незадолго перед тем переведенным из гвардии в действующую армию. Якубович убедил князя в том, что общество действительно существует – и Волконский даже написал о своей поездке письменный отчет в южную Директорию. Но, как выяснилось впоследствии, полученная от Якубовича информация оказалась блефом.

Князь, совместно с В.Л. Давыдовым, возглавлял Каменскую управу Южного общества – но управа эта отличалась своей бездеятельностью. Волконский участвовал в большинстве совещаний руководителей заговора – но все эти совещания не имели никакою практического значения. На следствии князь признавался: большинство участников Южно-

го общества были уверены, что именно он имеет «наибольшие способы» начать революцию в России[61]. Действительно, под командой Волконского находилась реальная военная сила – и сила немалая. Летом 1825 г., когда командир 19-й пехотной дивизии генерал-лейтенант П.Д. Корнилов уехал в длительный отпуск, Волконский стал исполнять обязанности дивизионного генерала – и исполнял их вплоть до своего ареста в начале января 1826 г.[62]. Но в декабре 1825 г. эта дивизия осталась на своих квартирах.

Однако у Волконского в тайном обществе был круг обязанностей, в выполнении которых он оказался гораздо более удачливым. На эту его деятельность Следственная комиссия особого внимания не обратила – но именно она главным образом и определяла роль князя в заговоре декабристов.

В «Записках» князя есть фрагмент, который всегда ставит в тупик комментаторов: «В числе сотоварищей моих по флигель-адъютантству был Александр Христофорович Бенкендорф, и с этого времени были мы сперва довольно знакомы, а впоследствии – в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какие [услуги] оказывает жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатайства может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления, пригласил нас, многих его товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, людей добромыслящих, и меня в их числе. Проект был представлен, но не утвержден. Эту мысль Ал[ександр] Хр[истофорович] осуществил при восшествии на престол Николая, в полном убеждении, в том я уверен, что действия оной будут для охранения от притеснений, для охранения вовремя от заблуждений. Чистая его душа, светлый его ум имели это в виду, и потом, как изгнанник, я должен сказать, что во все время моей ссылки голубой мундир не был для нас лицами преследователей, а людьми, охраняющими и нас, и всех от преследования»[63].

События, которые здесь описаны, предположительно можно отнести к 1811 г. – именно тогда Сергей Волконский стал флигель-адъютантом императора Александра I. Сведений о том, какой именно проект подавал Бенкендорф царю в начале 1810-х годов, не сохранилось. Известен более поздний проект Бенкендорфа о создании тайной полиции – проект, относящийся к 1821 г. Однако вряд ли в данном случае Волконский путает даты: с начала 1821 г. он служил в Умани, и в этот период не мог лично общаться со служившим в столице Бенкендорфом.

Историки по-разному пытались прокомментировать этот фрагмент мемуаров Волконского. Так, например, М. Лемке в книге «Николаевские жандармы и литература» утверждал, что причина столь восторженного отзыва – в том, что Бенкендорф оказывал своему другу-каторжнику «мелкие услуги», в то время как мог сделать «крупные непри-

ятности»[64]. Современные же комментаторы этого фрагмента делают иной вывод: Волконский, попав на каторгу, сохранил воспоминания о Бенкендорфе – своем сослуживце по партизанскому отряду, храбром офицере, и не знал, «какие изменения претерпела позиция его боевого товарища»[65].

Однако с подобными утверждениями согласиться сложно: почти вся сознательная, в том числе и декабристская, жизнь Сергея Волконского эти утверждения опровергает. Князь Волконский был и остался убежденным сторонником не только тайной полиции вообще, но и методов ее работы в частности. Этому немало способствовал, с одной стороны, опыт участия в партизанских действиях, которые, конечно, были невозможны без «тайных» методов работы. Способствовали этому и «секретные поручения» русского командования, которые Волконскому доводилось исполнять.

В тайном обществе у Волконского был достаточно четко определенный круг обязанностей. Он был при Пестеле чем-то вроде начальника тайной полиции, обеспечивающим, прежде всего, внутреннюю безопасность заговора.

В 1826 г. участь Волконского намного утяжелил тот факт, что, как сказано в приговоре, он «употреблял поддельную печать полевого аудиториата»[66]. С этим пунктом в приговоре было труднее всего смириться его родным и друзьям. «Что меня больше всего мучило, это то, что я прочитала в напечатанном приговоре, будто мой муж подделал фальшивую печать, с целью вскрытия правительственных бумаг», – писала в мемуарах княгиня М.Н. Волконская[67]. Марию Волконскую можно понять: все же заговор – дело пусть и преступное, но благородное; цель заговора – своеобразным образом понятое благо России. А генерал, князь, потомок Рюрика, подделывающий казенные печати – это в сознании современников никак не вязалось с образом благородного заговорщика.

Однако в 1824 г. Волконский действительно пользовался поддельной печатью, вскрывая переписку армейских должностных лиц. «Сия печать... председателя Полевого аудиториата сделана была мною в 1824 году», – показывал князь на следствии. Печать эта была использована по крайней мере один раз: в том же году Волконский вскрыл письмо начальника Полевого аудиториата 2-й армии генерала Волкова к П.Д. Киселеву, тогда генерал-майору и начальнику армейского штаба. В письме он хотел найти сведения, касающиеся М.Ф. Орлова, только что снятого с должности командира 16-й пехотной дивизии, и его подчиненного, майора В.Ф. Раевского. «Дело» Орлова и Раевского, участников заговора, занимавшихся, в частности, пропагандой революционных идей среди солдат и попавших под суд, могло привести к раскрытию всего тайного общества.

Следил Сергей Волконский не только за правительственной перепиской. В том же 1824 г. князь вскрыл письмо своих товарищей по заговору, руководителей Васильковской управы С.И. Муравьева-Апостола и М.П. Бестужева-Рюмина, к членам Польского патриотического об-

щества. Муравьев и Бестужев, по поручению Директории Южного общества, начали переговоры с поляками о совместных действиях в случае начала революции.

В сентябре 1824 г. Муравьев и Бестужев, горевшие жаждой немедленной революционной деятельности, написали полякам письмо с просьбой устранить, в случае начала русской революции, цесаревича Константина Павловича. И попытались передать письмо полякам через Волконского. «Сие письмо было мною взято, но с тем, чтобы его не вручать», – показывал Волконский[69]. «Князь Волконский, прочитав сию бумагу и посоветовавшись с Василием Давыдовым, на место того, чтобы отдать сию бумагу... представил оную Директории Южного края. Директория истребила сию бумагу, прекратила сношения Бестужева с поляками и передала таковые мне и князю Волконскому», – утверждал на следствии Пестель[70].

Естественно, что личные отношения Волконского с Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым оказались разорванными. На следствии Волконский показывал, что «на слова начальников Васильковской управы с некоторого времени перестал иметь веру»[71].

В конце 1825 – начале 1826 г. Сергей Муравьев поднял восстание Черниговского полка. Для того, чтобы иметь хотя бы минимальные шансы на победу, руководителю мятежа была нужна поддержка других воинских частей, тех, где служили участники заговора. Однако к генералу Волконскому, командовавшему 19-й пехотной дивизией, он даже и не пытался обратиться за помощью.

В целях тайного общества Сергей Волконский использовал и свои родственные и дружеские связи с армейским начальством, с высшими военными и гражданскими деятелями империи. А связей этих было немало: вряд ли кто-нибудь другой из заговорщиков мог похвастаться столь представительным «кругом общения». С начальником штаба 2-й армии генерал-майором Киселевым Волконский дружил еще с юности; дружба, как уже говорилось выше, связывала Волконского с генерал-лейтенантом А.Х. Бенкендорфом – тогда начальником штаба Гвардейского корпуса. «Ментором» и покровителем заговорщика был его шурин П.М. Волконский[72]. «Близкое знакомство» соединяло Волконского с генерал-лейтенантом И.О. Виттом, начальником южных военных поселений, в 1825 г. известным доносчиком на декабристов[73]. Волконский был прекрасно известен и всем членам императорской фамилии.

Согласно мемуарам князя, в 1823 г., во время Высочайшего смотра 2-й армии, он получил от императора Александра I «предостерегательный намек» – о том, что «многое о тайном обществе было известно». Довольный состоянием бригады Волконского, Александр похвалил князя за «труды». При этом монарх добавил, что «мсье Сержу» будет «гораздо выгоднее» продолжать заниматься своей бригадой, чем «заниматься управлением» Российской империи[74].

Летом 1825 г., когда появились первые доносы на южных заговорщиков и над тайным обществом нависла угроза раскрытия, подобное

«предостережение» Волконский получил и от одного из своих ближайших друзей – начальника армейского штаба П.Д. Киселева. Киселев сказал тогда Волконскому: «напрасно ты запутался в худое дело, советую тебе вынуть булавку из игры»[75].

В ноябре 1825 г. Волконский узнал о тяжелой болезни и последовавшей затем смерти императора Александра I на несколько дней раньше, чем высшие чины во 2-й армии и столицах. Уже 13 ноября 1825 г., за 6 дней до смерти императора, он знал, что положение Александра I почти безнадежное; узнал же он об этом от проезжавших через Умань в Петербург курьеров из Таганрога. Следует заметить, что, конечно, курьеры не имели право эту информацию разглашать. Однако шурин Сергея Волконского, П.М. Волконский, к тому времени уже снятый с поста начальника Главного штаба, но не потерявший доверия императора, был одним из тех, кто сопровождал Александра I в его последнее путешествие, присутствовал при его болезни и смерти. Видимо, именно этим и следует объяснить странную «разговорчивость» секретных курьеров.

15 ноября Волконский сообщил эти сведения П.Д. Киселеву – и впоследствии по этому поводу было даже устроено специальное расследование[76]. Когда же царь умер, Волконский сообщил Киселеву, что послал «чиновника, при дивизи[онном] штабе находящегося, молодого человека расторопного и скромного, под видом осмотра учебных команд в 37-м полку объехать всю дистанцию между Торговицею и Богополем и, буде что узнает замечательного, о том мне приехать с извещением»[77]. Фрагмент письма Волконского красноречиво свидетельствует: в армии у князя была и собственная секретная агентура.

Естественно, что этой информацией Волконский делился со своим непосредственным начальником по тайному обществу – с Пестелем. Учитывая эти сведения, Пестель летом 1825 г. приходит к выводу о необходимости скорейшего начала революции. Во второй половине ноября председатель Директории начинает подготовку к решительным действиям: пытается договориться о совместном выступлении с С.И. Муравьевым-Апостолом, отдает приказ до времени спрятать «Русскую Правду»[79]. В эти же тревожные дни для переписки с Пестелем Волконский составляет особый шифр[80]. Точно не известно, был ли этот шифр использован.

29 ноября 1825 г. Пестель вместе с Волконским составляет хорошо известный в историографии план «1 генваря» – план немедленного революционного выступления Южного общества.

Согласно этому плану, восстание начинал Вятский полк, которым командовал Пестель. Придя 1 января 1826 г. в армейский штаб в Тульчине, вятцы должны были прежде всего арестовать армейское начальство. Затем должен был быть отдан приказ по армии о немедленном выступлении и движении на Петербург. Естественно, что в этом плане Волконскому отводилась одна из центральных ролей. 19-я пехотная дивизия становилась ударной силой будущего похода. Не лишено ос-

нований и предположение С.Н. Чернова, что Волконскому вообще могло быть предложено общее командование мятежной армией[83].

Однако план этот осуществлен не был: за две недели до предполагаемого выступления Пестель был арестован. К самостоятельным же действиям в заговоре Волконский готов не был – и поэтому отказался от плана поднять на восстание собственную дивизию и силой освободить из-под ареста председателя южной Директории. 7 января 1826 г. Сергей Волконский был арестован.

VII

14 января того же года князя Волконского привезли в Петербург и привели на допрос к новому императору, Николаю I. «Сергей Волконский набитый дурак, таким нам всем давно известный, лжец и подлец в полном смысле, и здесь таким же себя показал. Не отвечая ни на что, стоял как одурелый, он собой представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека», – так по итогам этого допроса характеризовал князя император.

Конечно, Николай I был очень раздражен событиями конца 1825 – начала 1826 г. – и это раздражение осталось в нем даже по прошествии многих лет. Однако в царских словах была и определенная доля истины. С самого начала и до самого конца следствия Волконский удачно играл роль «дурака» и солдафона.

Согласно М.И. Пыляеву, в своеобразный «кодекс» русского «военного повесы» входила откровенность на допросе: «Виновные сознавались по первому спросу... лгать было стыдно»[86]. Внешне князь на следствии вел себя вполне согласно этому кодексу. «Представить имею честь чистосердечные и без всякого затмения истины сделанные мною ответы», «готов на всякие дополнительные сведения и желал бы оградить себя от нарекания в запирательстве – и заслужить доверия о моих показаниях, желая тем оказать чувство меры моей вины» – такими или подобными словами начинаются большинство ответов Волконского на письменные вопросы следствия.

При этом Волконский хотел взять на себя как можно больше вины. «Вкоренению же сих (либеральных. – *Сост.*) мыслей в моем уме... приписываю убеждению собственного моего рассудка... Приняв вышеизъявленный образ мыслей в таких летах, где человек начинал руководствоваться своим умом, и продолжив мое к оным причастие с различными изменениями тринадцать лет – я никому не могу приписывать вину – как только себе, и ничьим внушениям не руководствовался, а, может быть, должен нести ответственность о распространении оных» – такими словами Волконский отвечал на трафаретный вопрос о происхождении собственных «либеральных» мыслей[88].

Однако взять на себя все Волконский не мог: он не был в Южном обществе главным действующим лицом, о многом, особенно касаю-

щемся ранних периодов существования заговора, просто не знал. И многие его показания – это искусно замаскированная под «откровенность» издевка над Следственной комиссией.

Так, на одном из первых допросов, 25 января 1826 г., у Волконского как у председателя Каменской управы спросили о природе надежд заговорщиков на военные поселения, якобы подготовленные к революционному выступлению.

На этот вопрос Волконский дал следующий ответ: «Из сих запросных пунктов узнаю я, что я был один из управляющих Каменской отдельной управы, также могу уверить, что я не получал ни от кого поручения действовать на поселенные войска»[89].

Спросили у Волконского и о том, удалось ли ему обнаружить на Кавказе тайное общество. В ответ он отвечал, в частности, что с Кавказа вывез составленную Якубовичем «карту объяснений на одном листе Кавказского и Закубанского края, с означением старой и новой линии и с краткой ведомостью о всех народах, в оном крае обитающих», а также «общую карту» Грузии с «некоторыми топографическими поправками». Из ответа на этот же вопрос следствие узнало, что «на французском диалекте» князь «собственно же ручно (sic!)» написал «некоторые... замечания на счет Кавказского края и мысли... о лучшем способе к приведению в образованность сих народов»[90].

На том же допросе 25 января следователи интересовались: «В чем заключались главные черты конституции под именем «Русской Правды», написанной Пестелем?..» На это князь без тени сомнения отвечал, что «сочинение под именем “Русской Правды”» не было ему «никогда сообщаемо, ни письменно, для сохранения или передачи, ни чтением или изустным объяснением...»[91]. На следующем допросе, в феврале 1826 г., он подтвердит свои слова: «не имею сведение ни о смысле сочинения “Русской Правды” – ни кто сочинитель оной»[92].

Следователи удивились и не поверили князю: они располагали множеством показаний о дружбе и общности мыслей Пестеля и Волконского. И в начале марта 1826 г. заключенный вновь получил вопрос о содержании «Русской Правды».

Только на третий раз Волконский, наконец, «упомнил» суть пестелевских идей. В его изложении они выглядели следующим образом: «главные черты оных были, чтоб при начатии революции вооруженною силою, в Петербурге и Южною управою в одно время, начать тем, что в столице учредить временное правление и обнародовать отречение высочайших особ от престола, созвании представителей для определения о роде правления, и, наконец, как теперь, так и впоследствии, чтоб разговорами и влиянием членов общества объяснять, что лучший образец правления – Соединенные Американские Штаты, с тою отменою, чтобы и частное управление было одинаковое по областям, а не разделялось бы на различные роды по провинциям...

Ежели в вышеозначенных мною пояснений заключалось то» что известно было комитету под сочинением «Русской Правды», то о том я

был известен; но как я полагал, что сие сочинение заключало в себе полный свод в подробности того, что означалось в вопросных пунктах, т.е. Конституцией наименованной «Русской Правды» (sic!), я вправе был утверждать, что сие сочинение мне неизвестно»[93].

Естественно, что это изложение имело мало общего с «Русской Правдой». Пестель, в частности, вовсе не собирался после победы революции созывать никаких «представителей для определения о роде правления», не собирался придавать постреволюционной России форму правления, подобную Североамериканским Штатам.

Все эти многословные показания, написанные, к тому же, с огромным количеством орфографических ошибок, производили на следователей тяжелое впечатление. Они пытались взять князя «на испуг»: 27 января ему была объявлена «Высочайшая резолюция, что ежели он в ответах своих не покажет истинную и полную правду, то будет закован». И Волконский «обещал открыть все с искренностию и по совести»[94]. Если, конечно, память не подведет его – поскольку «мудрено вдруг припомнить обстоятельства, в течение пяти лет случившихся, при ежегодных в оных изменениях[95].

Однако на последующие вопросные пункты он снова отвечает многословно, невнятно, неграмотно – и не вполне о том, о чем его спрашивают. При этом следует заметить, что ни написанные Волконским до 1826 г. тексты, ни его сибирские письма, ни мемуары впечатления бездарной графомании не производят. Современникам, знавшим Волконского, он запомнился как человек ясного ума и хорошей памяти.

VIII

Жизнь Сергея Волконского после приговора – тема отдельного исследования. Позволю себе здесь лишь несколько замечаний, дополняющих представление о личности и характере декабриста.

В июле 1826 г. генерал-майор Сергей Волконский, лишенный чинов, орденов и дворянства, был осужден на 20 лет каторжных работ (в августе того же года каторжный срок был сокращен до 15 лет, затем – до 10 лет) с последующим поселением в Сибири. Ни мать, придворная дама, ни многочисленные влиятельные родственники ничего не смогли сделать для облегчения его участи. Практически до самого конца следствия они не знали, сохранит ли император жизнь генералу-преступнику.

Согласно дневнику Алины Волконской, племянницы декабриста и дочери его сестры Софьи, 13 июля, в день объявления приговора, мать Сергея Волконского «много плакала... почти не спала». Она даже собиралась было поехать в Сибирь вслед за сыном. Но, по словам внука декабриста С.М. Волконского, «это был истерический порыв, а может быть, простое излияние слов. Съездить навестить сына в крепости было много легче, нежели ехать в Сибирь; однако старая княгиня от это-

го воздержалась. Она писала сыну, что боится за свои силы, да и его не хочет подвергать такому потрясению». К тому же, согласно дневнику Алины, вдовствующая императрица «упрашивала» мать декабриста «беречь себя».

Среди «утешителей» старой княгини оказалась не только вдовствующая императрица Мария Федоровна, но и император Николай I. «Государь просил бабушку утешиться, не смешивать дела семейные с делами службы – одно другому не помешает», – читаем в дневнике Алины[96].

Конечно, родные были потрясены жестоким приговором Сергею Волконскому. Однако все они исполнили Высочайшее повеление – и быстро утешились. Тем более, что по случаю коронации Александра Николаевна Волконская, урожденная княжна Репнина, получила бриллиантовые знаки ордена Святой Екатерины[97]. Получили награды и ее сыновья: князь Репнин стал кавалером ордена Святого Александра Невского с алмазами, а находящийся в «бессрочном отпуске» Никита Волконский – кавалером ордена Святой Анны 1-й степени[98].

В свете долго циркулировали слухи о том, что «княгиня Волконская... допустила хладнокровно отправить сына в каторжную работу и даже танцевала с самим государем на другой день после приговора»[99]. Впрочем, были и другие суждения: статс-дама «решилась не покидать своей должности при дворе, чтоб оставшись, испросить прощения виновного»[100].

Единственной из всей большой семьи Волконских, кто позволил себе публично не согласиться с приговором, оказалась княгиня Зинаида. Согласно агентурным данным, поступившим в III Отделение летом 1826 г., в с своем московском салоне она «извергала» «злую брань» на «правительство и его слуг» – и просто была готова «разорвать на части правительство»[101]. Прямо из ее салона отправилась в Сибирь Мария Волконская – и ее проводы приняли характер демонстративного выражения нелояльности к власти. За Зинаидой Волконской был установлен секретный полицейский надзор, который, впрочем, не распространялся на ее мужа Никиту. В конце 1820-х годов княгиню Зинаиду просто вынудили покинуть Россию.

Сам Сергей Волконский воспринял приговор спокойно. По словам его будущего товарища по сибирскому изгнанию, А.Е. Розена, в момент совершения обряда гражданской казни князь был «особенно бодр и разговорчив»[102]. Видимо, бывший генерал тогда плохо себе представлял, что его ждет в будущем. Через 10 дней после оглашения приговора он уже был отправлен к месту отбытия наказания. И полностью он осознал все произошедшее, только прибыв на каторгу: сначала в Николаевский солеваренный завод, в потом – в Благодатский рудник, входивший в состав Нерчинского горного завода.

Условия, в которых оказался Волконский на каторге, были поистине тяжелейшими. Причем для декабристов – молодых, здоровых мужчин, бывших офицеров – тяжелы были не сами работы в руднике. Про-

сто быт осужденных был организован таким образом, чтобы полностью уничтожить их человеческое достоинство. По словам С.Н. Чернова, местные тюремные власти, получившие от императора общие указания о содержании арестантов, вышивали «жестокие узоры по начальнической канве»[103].

Согласно документам, попавшие в Благодатский рудник государственные преступники находились под постоянным надзором; им было воспрещено общаться не только друг с другом, но и вообще с кем бы то ни было, кроме тюремных надзирателей. У них отобрали почти все вещи, деньги и книги, привезенные из Петербурга – не разрешали иметь у себя даже Библию. Осужденных «употребляли в работы» наравне с другими каторжниками, и при этом строго смотрели, «чтобы они вели себя скромно, были послушны поставленным над ним надзирателям и не отклонялись бы от работ под предлогом болезни». Рудный пристав вел специальный секретный дневник, где «замечал... со всею подробностью, каким образом преступники производили работу, что говорили при производстве оной, ...какой показал характер, был ли послушен к постановленным над ним властям и каково состояние его здоровья». Дважды в день, перед и после «употребления в работы», производился «должный обыск» преступников. От казармы к руднику и обратно они передвигались с особым конвоем – «надежным» унтер-офицером и двумя рядовыми. Покидать камеру осужденные могли только в сопровождении часового с примкнутым штыком[104].

«Со времени моего прибытия в сие место я без изъятия подвержен работам, определенным в рудниках, провожу дни в тягостных упражнениях, а часы отдохновения проходят в тесном жилище, и всегда нахожусь под крепчайшим надзором, меры которого строже, нежели во время моего заточения в крепости и по сему ты можешь представить себе, какие сношу нужды и в каком стесненном во всех отношениях нахожусь положении»; «физические труды не могут привести меня в уныние, но сердечные скорби, конечно, скоро разрушат бренное мое тело», – писал Волконский жене из Благодатского рудника[105].

Каторжная жизнь сразу же подорвала здоровье и психику бывшего князя: у Волконского началась глубокая депрессия, сопровождавшаяся острым нервным расстройством. «Бодрость» и «разговорчивость» его быстро прошли, не возникало и желания выделиться из общей массы каторжников. «При производстве работ был послушен, характер показывал тихий, ничего противного не говорил, часто бывает задумчив и печален» – так характеризовало каторжника тюремное начальство[106].

«Машенька, посети меня прежде, чем я опущусь в могилу, дай взглянуть на тебя еще хоть один раз, дай излить в сердце твое все чувства души моей»[107]. Эти строки из его письма красноречиво свидетельствуют: именно надежда на скорый приезд жены в Сибирь позволила Волконскому выжить в первые страшные месяцы каторги.

Имя Марии Волконской знакомо сегодня каждому школьнику. Она стала женой Волконского в 19 лет, до свадьбы практически не знала будущего мужа и согласилась на брак только по настоянию отца. После свадьбы Волконские почти не жили вместе: дела службы и тайного общества заставляли князя надолго оставлять жену.

В январе 1826 г., за 5 дней до ареста Волконского, его жена родила сына Николая. Роды были трудными, и родные, опасаясь за ее здоровье, долго скрывали от нее правду о том положении, в котором вдруг очутился ее муж. Однако, узнав правду, Мария Волконская решила разделить с мужем каторгу и ссылку. И, несмотря на протесты отца и матери, в ноябре 1826 г. была уже в Благодатском руднике.

Когда она приехала, ему стало лучше – но лишь на некоторое время. Вскоре после приезда Мария Волконская сообщала родным мужа, что «он нервен и бессилен до крайности», «его нервы последнее время совершенно расстроены, и улучшение, которому я так радовалась, было лишь кратковременным», он изъявляет «полную покорность» и «сосредоточенность в себе», «чувство религиозного раскаяния»[108].

По словам С.Н. Чернова, «мучительные переживания несчастного Волконского приобретают религиозный оттенок. Он мог бы искать утешения в религии, в беседе со священником, в церковной службе. Но как раз здесь он ничего, по-видимому, не может получить»[109]. Должность тюремного священника в Благодатском руднике была, скорее всего, просто не предусмотрена.

К сентябрю 1827 г. болезнь Волконского усилилась, на нее обратило внимание тюремное начальство. Он был найден «более всех похудевшим и довольно слабым». При переводе на новое место каторги, в Читинский острог, ему было позволено взять с собой в дорогу две бутылки вина и бутылку водки. Спиртное в пути должно было заменить лекарство, поскольку при переезде «не встретится... на случай надобности в лекарствах никакой помощи медицинской»[110].

29 сентября 1827 г. Волконский вместе со своими товарищами прибывает на новое место каторги, в Читинский острог. Режим содержания заключенных на новом месте был гораздо более гуманным. Тюремное же начальство оказалось гораздо более «либеральным»: узникам были дозволены даже ежедневные встречи с женами. Здоровье заключенного быстро восстановилось, а вместе с ним восстановились и прежние привычки и черты характера. «На здоровье его я не могу жаловаться... что же касается его настроения, то трудно, можно сказать – почти невозможно встретить в ком-либо такую ясность духа, как у него», – писала М.Н. Волконская его родне[111]. Во дворе острога был небольшой огород – и Волконский впервые увлекся «огородничеством».

В Петровском заводе, новой тюрьме, куда декабристов перевели из Читы в сентябре 1830 г., каторги как таковой вообще не было: преступников не заставляли ходить на работы, те из них, у кого были семьи, могли жить в остроге вместе с женами. У Волконских в Петровском заводе родилось двое детей – сын Михаил и дочь Елена.

В Петровском заводе Волконский по-прежнему занимался «сельским хозяйством». И еще до того, как истек его каторжный срок, по Сибири стала распространяться слава о необыкновенных овощах и фруктах, которые он выращивал в своих парниках[112].

В 1835 г. Сергей Волконский освобождается от каторжных работ. Весной 1837 г. семья переезжает в село Урик Иркутской губернии. Мария Волконская добивается для себя разрешения жить в Иркутске, чтобы иметь возможность обучать сына Михаила в Иркутской гимназии. В 1845 г. получает позволение жить в Иркутске и сам Волконский, однако этим правом он практически не пользуется. Он по-прежнему живет в Урике, лишь изредка навещая семью в Иркутске. У него теперь совсем иная жизнь – жизнь «хлебопашца» и купца.

Очевидно, что по мере того, как нормализовался быт государственных преступников на каторге и поселении, отношения в семье Волконских ухудшались.

Современники и историки едины в том, что, разделив изгнание мужа, Мария Волконская совершила «подвиг любви бескорыстной»[113]. Бросив родителей, бросив ребенка, который через два года умер, «она решилась исполнить тот долг свой, ту обязанность, которая требовала более жертвы, более самоотвержения», – писал декабрист Розен[114].

Зинаида Волконская посвятила своей родственнице известное стихотворение в прозе, в котором, в частности, были следующие строки:

«О ты, пришедшая отдохнуть в моем жилище, ты, которую я знала в течение только трех дней и назвала своим другом!.. У тебя глаза, волосы, цвет лица как у девы, рожденной на берегах Ганга, и, подобно ей, жизнь твоя запечатлена долгом и жертвою»[115].

А оставшийся неизвестным современник – свидетель отъезда Марии Волконской в Сибирь из московского салона Зинаиды Волконской, заметил, что и сама будущая изгнанница видела в себе «божество, ангела-хранителя и утешителя» для своего мужа. И обрекла себя на жертву во имя мужа “как Христос для людей”»[116].

Но, как метко подмечал ее внук, С.М. Волконский, «куда, собственно, ехала княгиня, на что себя обрекала, этого не знал никто, меньше всех она сама. И тем не менее ехала с каким-то восторгом... И только в Нерчинске, за восемь тысяч верст от родного дома, она увидела, куда она приехала и на *что* (выделено в тексте. – *Сост.*) себя обрекла. И окружавшая пустыня понемногу овладела ее душой»[117].

Выяснение деталей личной жизни Марии Волконской в Сибири – дело столь же неблагодарное, сколь и бесперспективное. Исследовательские мнения по этому поводу разделились, и вряд ли выяснение истины в этом вопросе столь уж важно для историка движения декабристов. Однако побывавший в 1855 г. в Сибири сын декабриста Якушкина Евгений отмечал, что брак Волконских, «вследствие характеров совершенно различных, должен был впоследствии доставить много горя Волконскому и привести к той драме, которая разыгрывается теперь в их семействе».

«Много ходит невыгодных для Марии Николаевны слухов про ее жизнь в Сибири, – отмечает Евгений Якушкин, – говорят, что даже сын и дочь ее – дети не Волконского... Вся привязанность детей сосредотачивалась на матери, а мать смотрела с каким-то пренебрежением на мужа, что, конечно, имело влияние и на отношение к нему детей».

В 1850-м г. встал вопрос о замужестве 15-летней дочери Волконских Елены. Ее жених – сибирский чиновник Д. В. Молчанов – не нравился Волконскому; он высказался решительно против этого брака. Но «Мария Николаевна... сказала приятелям мужа, что ежели он не согласится, то она объяснит ему, что он не имеет никакого права запрещать, потому что не он отец ее дочери. Хотя до этого дело не дошло, но старик, наконец, уступил»[118]. Судьба Елены Волконской оказалась, в итоге, сломанной: за финансовые злоупотребления Молчанов попал под следствие, потом тяжело заболел и вскоре умер.

Образ жизни Сергея Волконского на поселении совершенно не соответствовал образу жизни его жены. После окончания каторжного срока он получил большой участок земли – и все силы отдал обработке этого участка. Современник вспоминает: «Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь со своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал целыми днями на работах в поле, а зимой его любимым времяпрепровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородных крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства»[119].

Волконская же «была дама совсем светская, любила общество и развлечения и сумела сделать из своего дома главный центр иркутской общественной жизни». И в окружавшем Волконскую светском обществе ее муж очень быстро приобрел репутацию «чудака» и «оригинала»: «знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки». «В салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенной ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами», «вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован»[120].

К концу своего пребывания в Сибири ссыльнопоселенец Сергей Волконский собственным трудом собрал приличное состояние – и снова сумел «найти *свою* судьбу, выйти из строя, реализовать свою собственную личность».

В августе 1855 г., когда в Сибирь доходит известие о смерти Николая I, Мария Волконская уезжает из Иркутска. Уезжает, поскольку, видимо, совместное существование супругов дальше становится просто

невозможным. Через несколько дней после ее отъезда новый император, Александр II, издал манифест, в котором объявил помилование оставшимся в живых декабристам. В сентябре 1856 г., бросив «землепашество», Сибирь покидает и Сергей Волконский.

Умер Сергей Волконский 28 ноября 1865 г., на два года пережив свою жену. До последних дней жизни он, по словам его сына Михаила, сохранил «необыкновенную память, остроумную речь, горячее отношение к вопросам внутренней и внешней политики и участие во всем, близком ему»[121].

IX

Декабрист Сергей Григорьевич Волконский прожил долгую жизнь. Жизнь эта была, конечно, нелегкой – зато она никогда не была обыденной и скучной. Вообще, как представляется, доминанта его личности – это нежелание вписываться в какие бы то ни было рамки, будь то рамки общественные, сословные, служебные, конспиративные или рамки, определяющие жизнь политического преступника, сибирского ссыльнопоселенца.

Однополчане Волконского, офицеры-кавалергарды, участвовавшие вместе с ним в гусарских «забавах», впоследствии остепенились и вышли в чины – но имена большинства из них не сохранились в истории. Многие из его товарищей-декабристов ограничили свою деятельность лишь разговорами «между Лафитом и Клико», впоследствии избежали наказания – и тоже были забыты. Большинство же из тех, кто все же попал в Сибирь, оказались сломленными суровым приговором – и либо сошли в Сибири с ума, либо умерли, либо просто не нашли в себе силы по-прежнему активно строить свою послекаторжную жизнь.

Волконский же оказался среди тех немногих участников заговора, которые, пройдя каторгу и ссылку, сумели не сломаться. Если судить по мемуарам, которые бывший каторжник писал до самого последнего дня, свою собственную жизнь он считал вполне состоявшейся. «Избранный мною путь, – писал он, – довел меня в Верховный уголовный суд, и в каторжную работу, и к ссылочной жизни тридцатилетней, но все это не изменило вновь принятых мною убеждений, и на совести моей не лежит никакого гнета упрека»[122].

Герой войны и светский «повеса», князь и каторжник, генерал и «хлебопашец» Сергей Волконский всегда оставался верен самому себе. Остался он верен и своей любимой пословице, которую еще в 1815 г. сообщал своему другу Киселеву – «каков в колыбели, таков и в могиле»[123].

Примечания

[1] См., напр.: *Попова О.И.* История жизни М.Н. Волконской // Звенья. М.; Л., 1934. С. 23.

[2] ВД. Т. X. С. 98.
[3] *Волконская Е.Г.* Род князей Волконских. СПб., 1900. С. 756.
[4] РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 75.
[5] *Пыляев М.И.* Замечательные чудаки и оригиналы. М., 1990. С. 33.
[6] *Волконский С.М.* О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пг., 1922. С. 16–18; Кавалеры ордена святого Георгия Победоносца I и II степеней. Биографический словарь. СПб., 2002. С. 229.
[7] *Пыляев М.И.* Указ. соч. С. 451, 5.
[8] *Евреинов Н.Н.* Демон театральности. М.; СПб., 2002. С. 58. Ср.: Там же. С. 208–216.
[9] *Лотман Ю.М.* Век богатырей // *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994. С. 254–255.
[10] *Волконский С.М.* О декабристах. С. 19–20.
[11] РГВИА. Ф.489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 689 об.; *Новосильцев Г.* Княгиня М.Н. Волконская, (сообщение княжны Варвары Николаевны Репниной) // РС. 1878. № VI. С. 336.
[12] *Модзалевский Б.* Декабрист Волконский в каторжной работе на Благодатском руднике // Бунт декабристов. Юбилейный сборник. 1825–1925. Л., 1926. С. 351.
[13] *Волконский С.М. О* декабристах. С. 90–91, 93.
[14] РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 759.
[15] См. о ней, напр.: *Файнштейн М.Ш.* Зинаида Волконская // *Файнштейн М.Ш.* Писательницы пушкинской поры. Л., 1929. С. 64–83.
[16] РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 759 об.
[17] *Волконская Е.Г.* Род князей Волконских. С. 717.
[18] *Волконский С.Г.* Записки. Иркутск, 1991. С. 104.
[19] Послужной список С. Г. Волконского см.: ВД. Т. X. М., 1953. С. 98–103.
[20] *Троицкий Н.А.* Первый армейский партизанский отряд в России 1812 года // Военно-исторические исследования в Поволжье. Саратов, 1977. Вып. 2. С. 68–69.
[21] ВД. Т. X. С. 101.
[22] *Волконский С.Г.* Записки. С. 230–231.
[23] Из записок А. Г. Хомутовой // РА. 1867. № 1–2. С. 1056–1057.
[24] *Волконский С.Г.* Записки. С. 304–305.
[25] *Волконский С.М.* О декабристах. С. 15.
[26] Там же. С. 319.
[27] Там же. С. 323.
[28] Письма С.Г. Волконского к П.Д. Киселеву // Каторга и ссылка. 1933. № 2 (99). С. 107.
[29] *Волконский С.Г.* Записки. С. 332, 333.
[30] Письма С.Г. Волконского к П.Д. Киселеву. С. 111.
[31] *Волконский С.Г.* Записки. С. 333.
[32] Там же. С. 98–99.
[33] *Пыляев М.И.* Указ. соч. С. 39.
[34] Там же. С. 43.
[35] *Волконский С.Г.* Записки. С. 127, 129–131, 136, 145, 174, 188, 190.
[36] *Дурново Н.Д.* Дневник 1812 г. // 1812 год. Военные дневники. М., 1990. С. 67.
[37] РГВИА. Ф. 395. Оп. 65/320. 2 отд., 1 ст., 181. Д. 350; Ф. 36. Оп. 1. Д. 617.

[38] Там же. Ф. 36. Оп. 1. Д. 617. Л. 10.
[39] Там же. Д. 723.
[40] ВД. Т. X. С. 100.
[41] Сборник ИРИО. СПб., 1891. Т. 78. С. 210.
[42] *Караш Н.Ф., Тихановская А.З.* Декабрист Сергей Григорьевич Волконский и его «Записки» // *Волконский С.Г.* Записки. С. 13.
[43] *Волконский С.Г.* Записки. С. 326.
[44] Там же. С. 176, 177.
[45] *Пыляев М.И.* Указ. соч. С. 60.
[46] *Волконский С.Г.* Записки. С. 359.
[47] Там же. С. 364.
[48] ВД. Т. X. С. 104.
[49] Там же. С. 108.
[50] Письма С. Г. Волконского к П.Д. Киселеву. С. 108–109.
[51] Там же. С. 108.
[52] *Волконский С.Г.* Записки. С. 365.
[53] Там же. С. 383.
[54] Там же. С. 368.
[55] *Муллин В.* Неизвестный документ о свадьбе Сергея Волконского // Русская филология. Сборник научных студенческих работ. Тарту, 1971. С. 87–93.
[56] *Караш Н.Ф., Тихановская А.З.* Декабрист Сергей Григорьевич Волконский и его «Записки» // *Волконский С.Г.* Записки. С. 34.
[57] *Козаченко А.* К вопросу об имущественном положении декабриста кн. С.Г. Волконского // КА. 1936. № 4(77). С. 211–214; *Он же.* Декабрист кн. С.Г. Волконський, як поміщик // Записки історично-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук. Київ, 1928. Кн. XVII (1928). С. 277–314.
[58] ВД. М., 1958. Т. VII. С. 216.
[59] Там же. Т. X. С. 156.
[60] Там же. М., 1969. Т. XII. С. 298.
[61] Там же. С. 118.
[62] Там же. С. 134–135, 149, 153.
[63] *Волконский С.Г.* Записки. С. 178–179.
[64] *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература. СПб., 1909. С. 26.
[65] *Волконский С.Г.* Записки. С. 440.
[66] ВД. Т.X. С. 179.
[67] *Волконская М.Н.* Записки. М., 1977. С. 28.
[68] ВД. Т. X. С. 144.
[69] Там же. С. 132.
[70] ВД. М.; Л., 1927. Т. IV. С. 116.
[71] Там же. Т. X. С. 118.
[72] Письма С.Г. Волконского к П.Д. Киселеву. С. 109.
[73] *Волконский С.Г.* Записки. С. 388.
[74] Там же. С. 383.
[75] ВД. М., 1954. Т. XI. С. 60.
[76] Там же. М., 2001. Т. XIX. С. 443–448.
[77] Там же. С. 447.
[78] Там же. М., 1950. Т. IX. С. 112–113.
[79] Там же. С. 272.
[80] Там же. Т. X. С. 134, 142.
[81] Там же. С. 143.

82 Там же. Т. IV. С. 171; Т. XI. С. 365.
83 *Чернов С.Н.* Декабрист П.Ив. Пестель. Опыт личной характеристики / РО СПБФИРИ РАН. Ф. 302. Оп. 1. Д. 1. С. 60.
84 ВД. М., 1954. Т. XI. С. 59.
85 Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 71.
86 *Пыляев М.И.* Указ. соч. С. 42.
87 ВД. Т. X. С. 114, 140.
88 Там же. С. 108, 109.
89 Там же. С. 110, 118.
90 Там же. С. 111–123.
91 Там же. С. 111, 121.
92 Там же. С. 142.
93 Там же. С. 149, 155.
94 Там же. С. 16, 252.
95 Там же. С. 140.
96 *Волконский С.И.* О декабристах. С. 32.
97 Там же.
98 РГВИА. Ф. 395. Оп. 15/370. 1 отд., 1826. Д. 1. Л. 3.
99 *Завалишин Д.И.* Воспоминания. М., 2003. С. 327.
100 *Новосильцев Т.* Указ. соч. С. 338.
101 РС. 1881. Сентябрь. С. 191.
102 *Розен А.Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 173.
103 *Чернов С.Н.* Декабристы в Благодатске // Декабристы на каторге и в ссылке. М., 1925. С. 86.
104 Там же. С. 86–88.
105 *Модзалевский Б.Л.* Указ. соч. С. 346, 351.
106 *Чернов С.Н.* Указ. соч. С. 120.
107 *Модзалевский Б.Л.* Указ. соч. С. 351.
108 *Чернов С.Н.* Указ. соч. С. 117, 120.
109 Там же. С. 121.
110 Там же. С. 122.
111 *Гершензон М.О.* Письма М.Н. Волконской из Сибири // Русские пропилеи. М., 1915. Т. 1. С. 44.
112 Там же. С. 99.
113 *Некрасов Н.А.* Соч. М., 1959. Т. 2. С. 216.
114 *Розен А.Е.* Указ. соч. С. 230.
115 *Веневитинов М.А.* Проводы Марии Волконский в Сибирь // РС. 1875. № 4. С. 825.
116 Там же. С. 822.
117 *Волконский С.М.* О декабристах. С. 51–52.
118 *Якушкин Е.И.* // Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. М., 1926. С. 51–52.
119 *Белоголовый Н.А.* Из воспоминаний сибиряка о декабристах // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 367–368.
120 Там же. С. 367.
121 *Волконский М.С.* Послесловие к «Запискам» С.Г. Волконского // *Волконский С.Г.* Записки. СПб., 1901. С. 510–511.
122 *Волконский С.Г.* Воспоминания. С. 359.
123 Письма С.Г. Волконского к П.Д. Киселеву. С. 109.

Об одном мифе из истории освободительного движения в России*

Следственное дело, о котором здесь пойдет речь, возникло в самом начале 1827 г. Оно дало основание ряду историков для конструирования искаженных представлений об общественных процессах в стране непосредственно после выступления декабристов. Думается, небезынтересно проследить, как на, казалось бы, частном примере в советской историографии утверждалась и насыщалась практическим» материалом концепция преемственности освободительного движения в России, выдвинутая нашим великим соотечественником А. И. Герценом. При этом важно изложить события с той степенью подробности, которая максимально оградит от неоднозначного толкования фактов и удержит от соблазна воспользоваться надуманными схемами и идеологизированными построениями. С другой стороны, к этому побуждает и противоречивое, а порой и просто неверное освещение этих событий в имеющейся литературе[1].

* * *

В понедельник 14 декабря 1826 г. майор Фрей, командир 3-го батальона Тарутинского пехотного полка, дислоцировавшегося в районе г. Валки Харьковской губ., обнаружил у

---

* Опубл.: ОИ. 1992. №1. С. 86–110. – *Прим. сост.*

поручика этого полка Ландсберга сочинения, заключавшие «в себе предосудительные и противные общему порядку выражения» (л. 98, 103, 107). Произошло это не вследствие целенаправленных действий охранительных учреждений[2], а при совершенно случайных обстоятельствах, вынудивших Ландсберга самому предложить своему непосредственному начальнику посмотреть тетрадку с рукописями, о содержании которых он имел в то время смутное представление (как он показал впоследствии, «не знавши хорошо смысла оных [сочинений], не полагал их так вредными» (л. 99–100).

1 января 1827 г. Фрей передал рукописи бригадному командиру полковнику Вансовичу. Свою медлительность он объяснил тем, что все это время «делал секретнейший розыск, не сочинил ли их сам Ландсберг или кто другой во вверенном ему батальоне». В результате он выяснил, что «сочинения писаны рукою помещика Пащинского и офицеры ничего о том не знают» (л. 95). Вансович, получив листки со «зловредными» сочинениями, тоже не спешит действовать и только 6 января направляет их... харьковскому гражданскому губернатору А.Г. Муратову, вопреки строжайшей инструкции не известив о случившемся вышестоящие воинские инстанции (он сделал это лишь 28 января, спустя месяц после доклада Фрея). Расчет его прост: сам прогрессивно настроенный[3], он хочет уберечь Ландсберга, а возможно, и других своих офицеров от скорого на расправу военного суда. И это ему удалось. Пересылку оказавшихся у Ландсберга сочинений Муратову он позже мотивировал вполне правдоподобно: так как «по первоначально секретно отобранным сведениям оказалось, что сии сочинения получены Ландсбергом от помещика Пащинского, писаны его рукою, то дабы по горячим следам можно было изыскать виновного» (л. 44).

Муратов же 15 января специальным рапортом на имя А. Х. Бенкендорфа обстоятельно доложил о том, что Вансович препроводил к нему «оказавшиеся у поручика Ландсберга рукописные сочинения, не долженствующие обращаться в публике, для распоряжения о произведении следствия с депутатом, со стороны военной. Сочинения сии под названиями: 1. Послание к Ар[акчее]ву; 2. Рылеев в темнице; 3. К друзьям; 4. Стихи в честь блаженной памяти г. и. Елизаветы Алексеевны, из коих особенно 2-е и 3-е содержания противного общему порядку» (названные сочинения см. на л. 5–13). Далее Муратов пояснял, чтобы «сколь возможно секретнейше дознать, каким образом и откуда сии предосудительные сочинения показались первоначально, я... нужным признал, не производя обыкновенным порядком и формального следствия, отобрать показания лично в моем присутствии от тех, в чьих руках сочинения сии были. По сим показаниям обнаружилось, что поручику Ландсбергу действительно даны были оные… от коллежского регистратора Пащинского и переписаны его рукою из любопытства. Пащинский же получил рукописи сии от служащего в Валковском уездном суде губернского регистратора Николая Михайловского; сему же доставил их в августе месяце 1826 г. окончивший курс наук в Харьков-

ском университете студент Иван Снесарев, находящийся теперь на службе в Грузии, а Снесареву, как по дальнейшему изысканию оказалось, служащий в канцелярии моей губернский секретарь Тонкошкур, объяснивший, что он, услыша о сих сочинения, что они любопытны и не читав их отдал Снесареву для списания, получив сам их от студента Харьковского университета Гибнера. Гибнер же объяснил, что оные получены им были в июне 1826 г. от вольнослушавшего в университете студента Петра Балабухи, который теперь... находится в... Киеве, в доме отца его купца Семена Балабухи» (л. 1–2)[4].

Исполняющий обязанности ректора Харьковского университета И.Я. Кронеберг, каким-то образом узнав об этом деле, спешно провел собственное исследование и уже 9 января сообщил о его результатах попечителю Харьковского учебного округа А.А. Перовскому. Упоминая о показаниях студента Гибнера, Кронеберг пишет, что тот «два из названных сочинения – «Рылеев в темнице» и «Прощание с морем»[5] для прочтения получил от вольнослушателя Балабухи, но оных не списывал и не разглашал и еще в июне 1826 г. Балабухе же возвратил по получении от Тонкошкурова... Вансович в своем отношении замечает, – продолжает ректор, – что какой-то студент таковые сочинения получил от брата своего из С.-Петербурга, но это совершенно несправедливо: место, из которого студенты наши получали какие-либо подобного рода сочинения есть военное Чугуевское поселение, ибо я, истребляя подобные сочинения, не оставляю узнавать, откуда оне были получены, и всегда слышал, что или от офицера Сеянова (написавшего, как было слышно, и пасквиль под названием «Булевар» в 1822 г.), или от разжалованного в солдаты Дорохова (имеющего переписку с Александром Пушкиным и покровительствуемого самим Вансовичем, который позволяет ему жить очень часто в Харькове), или из домов, в коих вышеупомянутые Сеянов и Дорохов бывают.

Вансович, любящий сам очень часто отпускать острые словца насчет правительства и проч., затеял сие, ничего, впрочем, не стоящее дело, по неудовольствиям на университет, к коим возбужден был Бердяевой[6].

Вообще студенты наши теперь очень далеки от занятий подобного рода сочинениями, и если бы не поселенные офицеры, то таковых сочинений вовсе бы в Харькове не было» (л. 69–71).

1 февраля начальник Главного штаба И.И. Дибич в секретном отношении к киевскому военному генерал-губернатору П.Ф. Желтухину уведомляет его об обстоятельствах открывшегося дела и передает волю императора: вникнуть подробно в дух, существующий между учащими и учащимися тамошнего университета», разведать, «в каком отношении находятся они к военному поселению и не кроется ли равномерно и в самом поселении неблагонамеренного расположения к распространению пагубного образа мыслей», открыть «источник сего зла и настоящих виновных» и «изыскать в точности, кто сочинил и выпустил злонамеренные сочинения…» (л. 14–15). Как видим, власти достаточно

сильно обеспокоены и задача, поставленная перед Желтухиным, обширна и многотрудна. Для ее выполнения Желтухин был наделен широкими полномочиями: ему предоставлено право требовать «от всех мест и лиц сведения, объяснения и те дела, кои могут иметь прикосновенность к производимому следствию, устранять на время производства оного тех чиновников, которые могли бы препятствовать раскрытию истины...» (л. 16). Но расследование дела застопорилось из-за болезни Желтухина, и только 26 апреля 1827 г. следствие возглавил С.С. Стрекалов, наделенный еще более широкими полномочиями – от местных органов власти требовалось «точное и деятельнейшее исполнение» всех его распоряжений (л. 18)[7]. В результате уже к 14 августа 1827 г. Стрекалов закончил подробнейшее «исследование сего предмета» как по Харьковскому университету, так и по Чугуевскому военному поселению, обратив при этом особое внимание, «не скрывается ли еще подобного рода неблагонамеренных сочинений» (л. 29). Столь успешный ход следствия обеспечен был не только усердием и профессионализмом Стрекалова, но и тем, что к началу его работы официальные органы власти уже располагали подробнейшими показаниями, как увидит далее читатель, главного действующего лица – В.Г. Розалион-Сошальского[8].

Сведения об этом деле Бенкендорф получил в конце января 1827 г. из рапорта Муратова. Однако из документов выясняется ранее не привлекавший внимание исследователей факт: еще в начале декабря 1826 г. шефу жандармов было что-то известно о В.Г. Розалион-Сошальском. Это устанавливается по содержанию специального запроса о нем петербургского генерал-губернатора П.В. Голенищева-Кутузова, результаты которого были доложены Бенкендорфу 11 декабря: «Приехавшие к брату своему Арсений и Владимир живут на его иждивении и весьма скромно, большей частью находятся в своей квартире и занимаются чтением книг»[9]. 23 декабря Бенкендорф обращается к начальнику Главного штаба гвардии А.И. Нейдгардту с просьбой объясниться предварительно с ним, если он получит просьбу В. Розалион-Сошальского зачислить его на военную службу в один из гвардейских полков. А 26 февраля последовало отношение шефа жандармов Голенищеву-Кутузову «приказать захватить... бумаги студента Владимира Сошальского... не дав ему времени ничего из них скрыть», и доставить ему, а его самого привезти к нему «в закрытом экипаже на следующий день»[10].

27 февраля (уже после получения рапорта Муратова и приложенных к нему изъятых у Ландсберга рукописей) в присутствии Бенкендорфа состоялся первый допрос Розалион-Сошальского, только что определенного юнкером в лейб-гвардии артиллерию[11]. Допрашиваемый «чистосердечно признался», что «Рылеев в темнице», «к несчастию моему, есть произведение моего ума», сочиненное после 14 декабря 1825 г. «без всякого постороннего воздействия». Определенной же цели он при этом никакой не преследовал, это – «дело ветреного безрассудства». На вопрос о том, кому отдал сочинение, ответил уклончиво: «Точно сказать не могу, ибо все сие было делано... в совершенном забытии себя и по-

следствий, долженствующих произойти от таковых поступков». На вопрос о Балабухе последовал расплывчатый ответ: разлучился с ним в связи с отъездом своим в Петербург в октябре 1826 г. Дав слово быть откровенным, утверждал, что «не имел никакой цели при сочинении пьес, кроме стяжания имени стихотворца». Однако тут же сам себя опроверг, заявив, что большей частью скрывал свое авторство и стихи его расходились даже «под эгидою имени Пушкина». От прямого ответа на вторично заданный вопрос, кому передавал стихи, вновь уклонился. На вопрос о том, кто из чугуевских офицеров ему близко знаком, кому «сообщал и взаимно от них получат *либеральные* (курсив мой. – *М.Р.)* стихи и сочинения» ответил категорично: «Не только коротких, но и никаких знакомых из числа чугуевских офицеров не имеет». На этом первый допрос завершился. Но уже вечером того же дня, находясь под арестом в помещении канцелярии Корпуса жандармов и, видимо, тщательно обдумав свое положение и возможные последствия (еще свежи были впечатления от расправы с декабристами), Розалион-Сошальский представил письменные показания, в которых уже нет и намека на желание что-либо скрыть от следователей[12]. Он писал, что «Рылеева в темнице» и другие свои стихи давал Балабухе, ему же отдал и все списываемые в разные времена стихи «между коими... не оставалось ни одного из собственных моею рукою писанных, кои я при отъезде моем сжег при нем. Ему стихи свои сообщал я более под чужими именами». Здесь же он свидетельствовал, что рукопись сочинения «Рылеев в темнице» была и у Н.П. Богаевского, живущего ныне в Опошнянском у. Полтавской губ., читал ее и студент Г.Е. Зеленский. В оправдание своих действий привел веский аргумент: «Что же касается до сочинений вольных Пушкина или выданных под его именем, то их у редкого студента тамошнего университета не находится».

В отношении лиц, проходящих по делу, утверждал, что о поручике Ландсберге никогда не слышал, с Пащинским учился в гимназии, но с тех пор около шести лет не видел его, что Михайловского вовсе не знает, что Тонкошкурова знал в бытность его студентом в университете и видел потом в Харькове, но коротко знаком с ним не был. Подтвердил, что студентов Гибнера и Балабуху знал и давал им свои сочинения читать и списывать.

Основываясь на полученных от Розалион-Сошальского сведениях, Бенкендорф уже 28 февраля представляет всеподданнейший доклад (по I экспедиции), в котором конспективно излагает основные факты, акцентируя внимание на чистосердечном характере признания подследственного[13]. Николай I «всемилостивейше соизволяет, дабы сей поступок Сошальского не был предан суждению по законам, кои подвергнули бы его строгому наказанию»[14]. На такой исход бесспорно оказала влияние и личная встреча старшего брата Владимира, Ивана Григорьевича, с управляющим III Отделения М.Я. фон Фоком, под началом которого он когда-то служил и пользовался его «всегдашним благорасположением»[15].

Вместе с тем 2 марта от подследственного потребовали дать сведения и о других его сочинениях. Сошальский вновь исчерпывающе отвечает на все поставленные вопросы. Более того, боясь что-нибудь не упустить, он 4 марта пишет следующее признание: «Припомнил я, что студент... Зеленский, когда я ему показал свою пиесу «На смерть Милорадовича», читал мне два небольших стихотворения. Я ничего не помню в них резкого насчет правительства или известных лиц, но, кажется, что он в них грезил о свободе. Обе сии пиесы очень невелики и даже, дабы не сделаться клеветником, не с уверенностью говорю о содержании оных. Хотя таковая неуверенность делает сие обстоятельство совершенно незначущим, но сообщаю его для того чтобы в случае показания Зеленского не было расхождения»[16]. Вот так. Но наш «революционер» (как его без всякой иронии называет Г.Я. Сергиенко[17]) на этом не останавливается и выдает новое признание, хотя, заметим, его уже *никто не принуждает:* «Желая истребить весь сон вредный, выброшенный из головы моей на свет, я сообщаю еще некоторые обстоятельства, могущие служить к сему. Имея довольно хорошее знакомство с студентом Харьковского же университета Николаем Николаевым Новиковым, я часто давал ему разные пиесы в стихах, между коими, кажется, сообщил статью «Рылеев в темнице», хотя с вероятностью сказать не могу». Как бы искупая эту неуверенность, он спешит дать сведения о возможном местопребывании Новикова: «Он или живет у бабки своей в Пензенской губернии или служит у тамошнего военного губернатора Бахметева». Но и этого ему кажется мало для своего спасения, и он спешит добавить: «Видел также я свою пиесу «На смерть Милорадовича» у бывшего студента Дмитрия Петрова сына Бутовского, который жительствует в Полтавской губернии» (л. 82). Вот теперь названы все, кому он когда-либо давал читать или списывать рукописи сочинений разных авторов, а также и свои собственные.

Старание Розалион-Сошальского угодить, помочь следствию, его полное и судя по всему, чистосердечное раскаяние объяснялись тривиально: рушились надежды не лишенного способностей юноши на традиционную для семьи военную карьеру[18].

Из его показаний выделим два наиболее существенных для понимания сути расследуемого дела момента. Первый: сочинение «Рылеев в темнице» написано им вскоре после 14 декабря 1825 г. (до 13 июля 1826 г.– дня казни декабристов, так как автор не знает, какое орудие казни – «плаха или пуля» – будет) без «всякого постороннего» влияния (т.е. без влияния какого-то конкретного лица). Но, как он писал в своем памфлете, декабрьские события позволили ему «восчувствовать высокую красоту намерений Рылеева» и в сердце его «отдался тот же сладкий глас, который и Рылеева вызвал на страшное и гибельное поприще для ратования за права человека». Авторов же прочих сочинений, «находящихся при деле», он не знает: «“Послание к Аракчееву” выдается сочинением Пушкина или Рылеева, “К друзьям” известно под

именем какого-то Раевского*, “Императрије Елизавете Алексеевне” также выдается сочинением Пушкина». Второй момент: в ответах на вопрос о других своих сочинениях показал, что им написаны «Продолжение оды Висковатова», исполненное в «сатирическом виде, или, как говорится, наизнанку; «К друзьям», но «сия пиеса не та, что имеется при деле»; «На смерть Милорадовича» – небольшая пиеса, в которой он представляет, «будто находится в обществе, где рассуждают о происшествии 14 декабря», бранят Рылеева и его соучастников, наконец, переходя к общежитию всех, жалуются на несправедливости судов, испытанных ими в обыкновенных домашних обстоятельствах. Из этого он при конце пиесы выводит неосновательность их прежних суждений с присовокуплением насмешек»[19].

К сожалению, о характере и содержании перечисленных произведений сказать что-либо конкретное нельзя – они не сохранились. Возможны некоторые предположения лишь в отношении «Продолжения оды Висковатова»[20] в честь императора Николая Павловича, ибо она, как верно подмечает М.А. Цявловский, легко пародируется. До нас дошло только одно сочинение – «Рылеев в темнице»[21], написанное в форме предсмертного обращения К.Ф. Рылеева к потомкам[22]. Обращает на себя внимание прежде всего несамостоятельность произведения в литературном отношении (в самом названии уже есть аналогия со стихотворением В.Ф. Раевского «Певец в темнице», написанным им в 1822 г. в Тираспольской крепости). Стоит сказать и о том, что порой текст просто-напросто маловразумителен, непонятен и не всегда по вине переписчика, хотя и это имеет место. Произведение это и в идейном плане явно несовершенное, эмоции в нем преобладают над разумом, нет стройности и законченности в суждениях автора. Все это не позволяет оценить документ как «программный», отстаивающий «идеи коренных социальных преобразований»[23]. Однако не стоит впадать в другую крайность и ограничивать его оценку категоричным приговором: «Произведение во всех отношениях слабое, эклектическое и несерьезное. Трудно даже сказать, чего в нем больше – наивных суждений или откровенной демагогии»[24]. Нельзя отказать автору в попытке осмыслить существующие политические реалии с позиции того духа вольномыслия, который в 20-е годы XIX в. проник едва ли не во все сферы общественной жизни. Устами предельно героизированного Рылеева автор памфлета гневно обличает «самовластное правление», «пороки, сопутствующие деспотизму, невежеству и рабству», и наивно пытается убедить самодержца «в необходимости покориться великому народу, источнику и хранилищу власти». Рассыпанные по всему тексту так называемые слова-сигналы – «самовластное правление», «деспотизм», «рабство», «тиран», «тяжкие оковы», «луч свободы», «неправосудие» и т.д. – типичны для политической фразеологии русской гражданской поэзии

* Указание на «какого-то Раевского» говорит о том, что он ничего не знает о декабристе В.Ф. Раевском и его судьбе.

той поры[25]. Они ориентируют читателя на размышления о несовершенстве существующего режима, хотя, разумеется, и не способны побудить к немедленным практическим действиям. Показательно и вкрапление в текст отдельных строк из вольнолюбивых дум Рылеева. Автор предвосхитил реакцию большинства дворянского общества на выступление декабристов: «обрекут мое (Рылеева. – *М.Р.)* имя проклятию, с поруганием будут произносить его; воззовут (возведут? – *М.Р.)* на меня мрачнейшее из преступлений – измену, гибель родной страны». Здесь он оказался провидцем: выступление декабристов «не вызвало в дворянстве московском, провинциальном и усадебном поддержки, не говоря уже – активной, но даже и пассивной. Дворянство проявило тут свое политическое бессилие, больше того – такую же в сущности чуждость движению декабристов, как и... обывательские круги...»[26] Конечно, были и проявления сочувствия декабристам, но такие случаи «единичны, исключительны», в целом «подавляет изобилие фактов диаметрально противоположных. Со страниц писем, дневников, воспоминаний веет презрением и ненавистью к декабристам...»[27] Это особенно характерно для петербургской знати. Отмечая, что «голоса в пользу декабристов были редки в этой среде», исследователь вносит и существенное уточнение: «Чаще всего они подавались не за их взгляды, а за смягчение их участи. Большинство же голосов дворянского общества сливалось в один негодующий, враждебный вопль»[28].

Напомним, что и А.И. Герцен в «Былом и думах», говоря о том же времени, отмечал «быстрое нравственное падение» общества, когда толпами «являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже – бескорыстно»[29]. И вновь вернемся к Н. Пиксанову и приведем его итоговое заключение: в отношении к декабристам: «Реакция правительства сливалась с реакцией общества. Можно больше сказать, реакция общества шла дальше, чем реакция правительства... Если бы общество реагировало на восстание 14 декабря иначе, активно-сочувственно, то правительство иначе держалось бы в своем следствии и суде над декабристами. Но Николай с 15 декабря стал получать обильные выражения преданности, и это сразу укрепило его в суровой реакции» [30]. Автор памфлета подметил и характерное для декабристов полное неприятие народных выступлений – «сольет воспоминание мое с воспоминанием о гнусном изверге – бунтовщике Пугачеве». Следует сказать, что образ Рылеева в изображении Розалион-Сошальского, как это отметил еще М.А. Цявловский, совершенно не совпадает с тем Рылеевым, каким он предстает из писем к жене, Е.П. Оболенскому, Николаю I после 14 декабря[31]. Эти письма наполнены глубокими религиозными чувствами, осознанием своей вины за случившееся, в них звучит искренний призыв молиться «за государя» и не роптать на него. В своем сочинении В. Розалион-Сошальский скорее отразил мысли, владевшие Рылеевым до декабрьских событий, почерпнув их из его произведений первой половины 20-х годов XIX в., а также, видимо, отчасти из появлявшихся в различных периодических изданиях – «Север-

ном архиве», «Сыне Отечества», «Новостях литературы», «Полярной звезде», «Украинском журнале» – отзывах на поэмы поэта за подписью А. Бестужева, П. Вяземского и др.[32].

Коротко скажем об остальных трех обнаруженных у поручика Ландсберга рукописях стихотворений, «революционный характер» которых, по словам Г.Я. Сергиенко, сразу же будто бы «признали жандармы III Отделения», ибо «то были действительно важные документы революционной пропаганды»[33]. Следует отвергнуть как совершенно необоснованную попытку наделить «революционным содержанием»[34] стихотворение А.С. Пушкина «К Н.Я. Плюсковой»[35]. игнорирующую к тому же изменение наиболее смелых строк оригинала: вместо «Земных богов я не *хвалил»* и *«Свободу* лишь учася славить» – «Земных богов я не *слыхал»* и *«Природу* лишь учася славить». Квалифицировать стихотворение Рылеева «К временщику»[36] при всей его смелости и отчаянной дерзости при том, что оно, по словам Н. Бестужева, нанесло «первый удар самовластию»[37], как революционное по содержанию, также неправомерно. На это не решался ни один из профессиональных литературоведов, основательно изучавших творчество Рылеева. Не меняет дела и точное обозначение в рукописи адресата – «Послание к Ар.....ву»: его имя никогда не составляло секрета для читающей публики, почти единодушно поносившей ненавистного временщика (достаточно вспомнить известные эпиграммы Пушкина «Всей России притеснитель...» и «Холоп венчаного солдата...», адекватно отразившие отношение общества к этой фигуре).

В поэтическом послании «К друзьям»[38], написанном в Тираспольской крепости в марте 1822 г., В.Ф. Раевский обращается к оставшимся на свободе М Ф. Орлову, А.С. Пушкину, И.П. Липранди, К.А. Охотникову и и др. В этом *стихотворении* прежде всего привлекают не художественные достоинства, а гражданский пафос, горячая убежденность в своей правоте и невиновности, открытое презрение к «наемной лжи перед судом», твердость в расчете на свое «терпение мраморное» («Нигде себе не изменил») и безыскусно искреннее повествование о положении узника. Заключительные строфы послания со страстным призывом к друзьям спешить «на поле славы боевое / Зовет Вас долг – добро святое», чтобы пробудить «народный сон и гидру дремлющей свободы», как будто дают основание отнести его к разряду декабристских произведений, наполненных революционным содержанием. Однако подобному заключению противоречит содержание стихотворения в целом, направленное в первую очередь на расрытие внутренних переживаний автора, его неравного противоборства с нечистоплотными обвинителями, а в политическом плане – идеализирующее домосковскую Русь с ее «республиканскими» традициями. Вопреки уверениям Г.Я. Сергиенко в том, что «написанное под влиянием революционной (?! – *М.Р.)* поэзии Пушкина» стихотворение «К друзьям», в котором Раевский якобы «призывал друзей свергнуть царский деспотизм и вооруженной рукой добывать свободу для народа»[39], привлекло «особое внимание властей»[40], мы ви-

дим полное отсутствие интереса официальных лиц к этому произведению, к вопросу о том, какими путями оно попало к харьковским студентам. Все внимание было сосредоточено на сочинении «Рылеев в темнице». И дело, думается, не только в том, что после выступления декабристов и процесса над ними не допускалось даже упоминание имени «страшного злодея». Широким кругам общества мало что говорило имя В.Ф. Раевского, а следователей, едва ли точно осведомленных о вяло текущем следствии по его делу, могли сбивать с толку откровенные и пространные воздыхания автора послания о недоступных ему теперь плотских наслаждениях «в объятьях дев, как май прекрасных, / И на прелестнейших грудях / Волшебниц милых, сладострастных» там, где «Вакх чрез край вам вина льет», и т.п.

7 марта 1827 г. Бенкендорф просит поспешить с приготовлением бумаг для решения участи Сошальского. На следующий день все его показания отсылаются возглавлявшему на первом этапе следствие П.Ф. Желтухину[41]. 12 марта шеф жандармов получает уведомление дежурного генерала А. И. Потапова о том, что «Г. и. повелеть соизволил: определенного на службу лейб-гвардии в 1 артиллерийскую бригаду фейерверкером 4 класса из студентов В. Розалион-Сошальского перевесть и отправить немедленно на службу в Финляндский корпус». Он был определен в 45-й егерский полк[42]. 9 июня 1828 г. Розалион-Сошальский по его личной просьбе, опять-таки активно поддержанной Бенкендорфом, переведен в Действующую армию в Северский конно-егерский полк юнкером[43]. В составе этого полка в 1828–1829 гг. он участвовал в боевых операциях под Шумлой, Силистрией, крепостью Журжа. 3 декабря 1830 г. главнокомандующий 1-й армией генерал-фельдмаршал гр. Ф.В. Остен-Сакен в рапорте военному министру А.И. Чернышеву писал, что юнкер В. Розалион-Сошальский, зачисленный на службу по предоставленному университетским студентам праву, «по засвидетельствованию ближайшего начальства, при хорошем поведении и усердии удостаивается к производству в офицеры». Особенно похвальный отзыв о нем был дан полковым командиром и начальником дивизии. Но ходатайства гр. Остен-Сакена оказалось недостаточно, и в феврале 1831 г. следует запрос Чернышева к кн. Михаилу Павловичу: не было ли к переводу юнкера Розалион-Сошальского из гвардейской артиллерии в армию, кроме сочинения предосудительных стихов, каких-либо других причин? В мае того же года получен отрицательный ответ, и 19 июня 1831 г. последовало высочайшее согласие на производство В. Розалион-Сошальского в офицерский чин[44]. (Дальнейшая его судьба по имеющимся документам не прослеживается.) Таков портрет одного из «преемников декабристов».

Остановимся и на личности другого, по словам Г.Я. Сергиенко, «активного пропагандиста» идей декабристов – поручика Ландсберга.

По данным формулярного списка, ему в 1827 г.– 25 лет, в службе – с 1816 г. Он из брауншвейгских дворян, холост. В боях и походах не участвовал. К повышению в звании не аттестовывался ввиду того, что

«по службе малознающ и потому ротою командовать не может», хотя «способности ума» имеет хорошие, «пьянству и игре не предан, в хозяйстве – хорош» (л. 109). Познакомился Ландсберг с Пащинским, как он показал, в конце ноября 1826 г., что подтвердил и Пащинский (л. 97–101). Если даже согласиться с бытующим в литературе утверждением об активной деятельности в Харькове тайного кружка антиправительственной направленности, в число членов которого зачисляют и того и другого, то трудно представить большую легкомысленность и безответственность кружковцев – в день передачи «крамольных» рукописей эти лица встретились лишь во второй раз. С другими же причастными к делу лицами Ландсберг никогда не общался и не был знаком и, как следует из сопоставления сведений различных документов, едва ли знал об их существовании. Следствию не составило большого труда в том убедиться, и потому вынесенное в отношении Ландсберга решение не должно удивлять своей мягкостью: ему было зачтено как наказание содержание под арестом на гауптвахте с 18 февраля по 2 сентября 1827 г. Показательно, что Николай I, вопреки обыкновению, не счел возможным согласиться с мнением командующего отрядом поселенных войск в Харьковской губ. ген. Кнаппа, а также Стрекалова о переводе Ландсберга в Отдельный Кавказский корпус, «дабы он загладил свою *неосмотрительность»* (курсив мой. – *М.Р.)* и соизволил «всемилостивейше» его простить по молодости лет (л. 24, 96)[45].

Руфин Иванович Дорохов, никогда и ни в каких «злоумышленных обществах» не состоявший, но, по ничем не подтвержденному мнению Кронеберга, являвшийся одним из распространителей сочинений, обнаруженных у Ландсберга, внимание следствия не привлек ввиду его полной непричастности к открывшемуся делу. Однако все же по «высочайшему повелению» 4 февраля 1827 г. он с фельдъегерем (л. 38) был отправлен «на службу в полки Отдельного Кавказского корпуса» по «особому делу, а по какому именно, г.-а. П.А. Клейнмихель не пояснил»[46]. «Особым» же делом в начале 1827 г. в Харьковской губ., где дислоцировался Тарутинский пехотный полк, было только дело поручика Ландсберга. Для принятия императором такого неожиданного решения было, видимо, достаточно простого упоминания его имени в одном ряду с именем А. Пушкина в рапорте Кронеберга.

К следствию не привлекался и другой из числа упомянутых в том же рапорте Кронеберга чугуевских офицеров – некий Сиянов (Сеянов). Но уже по совершенно иным мотивам. Поскольку в имеющейся литературе имя его просто обходится молчанием из-за отсутствия каких-либо достоверных биографических сведений[47], а Г.Я. Сергиенко без колебаний включил его в общий список «нового поколения» борцов против самодержавия, то уделим ему чуть больше внимания, обратившись к официальным документам, отразившим этапы прохождения им военной службы[48].

Петр Гаврилов Сиянов – из мелкопоместных дворян Вологодской губ., в 1822 г. имел за собой 16 душ крестьян, доставшихся ему по на-

следству от родителей. В 1828 г. ему 33 года. Он – кавалер ордена св. Анны III степени (награжден в июле 1825 г.), холост, в штрафах не был, к суду не привлекался. Участвовал кампании 1815 г., побывал в составе русской армии в Польше, Силезии, Саксонии, Баварии, Франции. Службу начал корнетом (29 июня 1812 г.) в Московском казачьем гр. М.А. Дмитриева-Мамонова полку. По расформировании последнего в марте 1815 г. определен в Таганрогский (позднее переименован в Белгородский) уланский полк. 21 июня произведен в поручики, а в сентябре того же года назначен бригадным адъютантом 3-й уланской дивизии. В январе 1820 г. ему присвоено звание штабс-ротмистра, а полгода спустя он переведен штабс-капитаном в Пермский пехотный полк (причину этой внезапной перемены установить не удалось). Но уже в январе 1823 г. он вновь возвращен в Борисоглебский уланский полк и назначен старшим адъютантом 2-й уланской дивизии. 28 декабря 1826 г. высочайшим приказом переводится старшим адъютантом в Главный штаб военных поселений. 3 февраля 1828 г. по болезни увольняется из армии «майором с мундиром». Однако спустя два года с небольшим капитан Сиянов появляется... в Корпусе жандармов. Но и здесь он долго не задержался – в январе 1831 г. был переведен в Кирасирский принца Альберта Прусского полк и назначен адъютантом в Главный штаб Действующей армии. На новом месте проявил себя как отличный служака и уже в феврале того же года за отличие в сражениях против «польских мятежников» произведен в майоры и награжден Владимиром IV степени с бантом. Затем получил и Анну III степени с бантом и золотую шпагу с надписью «За храбрость». До этого в 1830 г., т.е. в период службы в Корпусе жандармов, он был всемилостивейше пожалован 500 руб., а также удостоился «высочайшего благоволения» – честь, оказываемая немногим, как правило, за особые заслуги. Имел также польский знак «За военное достоинство» III степени. 3 августа 1831 г. по собственному желанию был уволен от должности старшего адъютанта и по представлению И. Ф. Паскевича-Эриванского 27 августа прикомандирован к управлению варшавского военного губернатора для «употребления по особым поручениям». Все эти годы, как отмечается в послужном списке, в штрафах и под судом не был. На это обстоятельство стоит обратить особое внимание в свете рассматриваемого сюжета. О благоволении Николая I к Сиянову на всем протяжении службы свидетельствует следующий факт. Когда по утвержденному в 1831 г. штату при канцелярии варшавского военного губернатора была ликвидирована должность чиновника по особым поручениям, то в явное нарушение воинского устава (случай исключительный) *высочайше* было повелено майора Сиянова отчислить по кавалерии и формально назначить плац-майором Александровской цитадели, фактически же он продолжал исполнять обязанности офицера по особым поручениям.

Послужной список майора Сиянова, особенно факт его пребывания в Корпусе жандармов, внезапный перевод 28 декабря 1826 г. «по высочайшему повелению» из Харькова в Петербург на должность старше-

го адъютанта в Главный штаб военных поселений, многолетнее расположение к нему Николая I, полное отсутствие интереса к личности Сиянова со стороны следствия и других охранительных инстанций по ходу разбирательства дела Ландсберга позволяют понять, почему возглавляемое Бенкендорфом ведомство заинтересовалось В. Розалион-Сошальским задолго до получения рапорта Муратова об открывшемся деле с перечнем причастных к нему лиц. Судя по всему, тайным осведомителем III Отделения был именно ротмистр Сиянов.

Несколько слов об упомянутых в рапортах Кронеберга и Муратова и показаниях Розалион-Сошальского Иване Пащинском, Николае Михайловском, Тонкошкурове, Иване Снегиреве, Иване Гибнере, через которых рукописи «предосудительных» сочинений попали к поручику Ландсбергу (л. 3, 70). Все эти лица также не привлекались к следствию. Ни на каком этапе расследования, ни на одном уровне административной власти не возникало и тени сомнения в их политической благонадежности. Проявленный ими интерес к ходившим по рукам сочинениям был без всяких сомнений квалифицирован официальными властями как сугубо обывательский – «из любопытства», в чем, видимо, нетрудно было убедиться Муратову после «отеческой» беседы с названными лицами, во время которой они, по словам губернатора, чистосердечно рассказали о том, как попали к ним рукописи, и искренне раскаялись в своей неосмотрительности. Конечно, такую снисходительность можно было бы при желании попытаться объяснить тем, что в числе названных лиц как передаточное звено фигурировал и чиновник собственной канцелярии губернатора – губернский секретарь Тонкошкуров. Но, как мы знаем по делу над декабристами, при наличии серьезных подозрений подобные обстоятельства не препятствовали расследованию с применением более эффективных методов дознания. Ничего похожего в данном конкретном случае не было, и в последующей официальной секретной переписке представителей местной власти с центром, в рапортах на высочайшее имя руководителя следствия все они упоминаются походя, им не предъявляется обвинение в совершении злонамеренных действий с умыслом и без оного. И еще один немаловажный факт – никто из них не понес ни административного, ни уголовного наказания.

Тем временем власти разыскали и бывшего своекоштного студента Балабуху, от которого Гибнер получил упомянутые сочинения в июне 1826 г. (сделать это было несложно, его отец – «именитый гражданин» Киева). В своем рапорте от 30 января 1827 г. киевский гражданский губернатор писал, что по его поручению вице-губернатор,«призвав к себе сего Балабуху под предлогом особой надобности, отобрал от него надлежащее показание» о рукописных сочинениях. Затем был произведен негласный обыск в доме его отца (л. 37)[49], но «означенных сочинений» между опечатанными бумагами не оказалось, однако были обнаружены другие, «из коих некоторые писаны весьма вольно... и могут иметь иногда вредоносное влияние». В представленном губернатором

«Списке сочинениям, отысканным между бумагами, принадлежащими Петру Балабухе» (л. 91), перечислены рукописные – поэма в двух частях «Войнаровский» Рылеева, его же «Исповедь Наливайки», «Бахчисарайский фонтан» А. Пушкина, «Краткое руководство к разумению книг Ветхого и Нового завета» и неидентифицированное нами печатное «О переменах в правлении народа римского».

Балабуху обязали подпиской о невыезде из Киева и сохранении тайны. Он признался, что сочинение «Рылеев в темнице» получил от Розалион-Сошальского и давал читать студентам Ивану Гибнеру, Павлу Белевцеву (уже умершему), а также окончившему курс студенту этико-политического отделения Семену Стишинскому. Познакомил он с этим сочинением в январе 1827 г. и своего дальнего родственника – воспитанника Нежинской гимназии Андрея Божка, когда тот был в Киеве на каникулах. Балабуха указал местожительство названных им лиц и подробно изложил обстоятельства ознакомления их с «зловредным сочинением». Свой интерес к нему объяснил «врожденным всякому человеку любопытством, не зная совершенно, что бы могло в нем заключаться. Но, когда оно мною было прочитано, я увидел,– излагал он в своих показаниях, – что писавший его был в великом заблуждении, и считая его не иначе, как за пустую игру слов (здесь он, скорое всего, был искренен. – *М.Р.*), оставил без всякого внимания; что же касается до того, что оно было дано мною другим, то это сделано было для того, дабы показать, сколь человеческий ум бывает в заблуждении, не имея совершенно в виду никакой неблаговидной цели, ибо я знал, что оно написано против здравого рассудка. Как ни к чему не нужное сочинение сожжено мною. Сочинитель же оного мне вовсе неизвестен» (л. 90). Но лично допрошенный черниговским губернатором в начале февраля 1827 г. Андрей Божко, подтвердив, что Балабуха показывал ему «Рылеева в темнице», признался, что тот, «возбуждая его любопытство, почти настоятельно предложил ему оное для прочтения». Однако Божко, «заметив в сем сочинении мысли, сколько противные нравственности, столько же вредные для правительства и совершенно несходственные с образом его воспитания и правил, не мог далее продолжать чтение» и на другой же день (18 января) вернул его владельцу. На настойчивый вопрос, не списывал ли он копии и не давал ли кому читать, ответил отрицательно. От кого достал Балабуха «оное сочинение» и кто его автор, допрашиваемый «с клятвенным уверением» отозвался «совершенным о том неведением», но добавил, что хотя он и желал узнать имя сочинителя, но «не успел в том». Балабуха же уверял его, что сочинение писано самим Рылеевым во время содержания в крепости, но он не поверил тому, тогда Балабуха заметил, что оно вышло из Харьковского университета и имени настоящего сочинителя не открыл (л. 92–93). «Аккуратнейший» секретный обыск в номере, где проживал Божко, не дал результата – не только «зловредных», но и никаких «подозрительных или непохвальных бумаг» найдено не было. При этом лица, производившие обыск и допрос, специально отметили, что

«касательно сего обстоятельства никто в гимназии ничего не знает». На последующей судьбе гимназиста этот эпизод никак не сказался. Все обошлось без последствий и для Балабухи, вскоре после этого поступившего на государственную службу[50].

Между тем 14 августа 1827 г. Стрекалов, завершивший расследование, рапортовал Николаю I, что «подробное сего предмета исследование как по Харьковскому университету, так и по Чугуевскому поселению... сходно показанию, данному В. Розалион-Сошальским» (л. 29). Но, как он пишет, «оставалось еще за всем тем при обозрении признания Сошальского разыскать, не окажется ли еще в руках как и у выбывших из Харьковского университета, так и у еще находящихся студентов, у коих были сочинения его и переходившие между ними от одного к другому, а именно, кроме Балабухи, по показаниям Сошальского, у Бутовского, Богаевского, Зеленского, Стишинского, Новикова и Рожнова» (л. 30). Относительно всех этих лиц Стрекалов «без промедления сносился» с губернаторами тех губерний, в которых они проживали, а также с ректором Харьковского университета, чтобы они «секретнейшим образом» употребили все средства к изысканию, «не найдутся ли между их бумагами какие-либо зловредные сочинения или стихи, и ежели таковые найдутся, то представили бы оные ко мне со взятыми от них объяснениями, в какое время и от кого оные получены или не сами ли занимались подобными сочинениями» (л. 30). Ниже приводим полученные им данные, в достоверности которых сомневаться не приходится – после событий декабря 1825 г. местные охранительные органы были особенно усердны в выполнении своих обязанностей.

У проживавшего в сл. Васильевке Лебединского у. Харьковской губ. помещика Зеньковского повета Полтавской губ. Николая Богаевского не только никаких «зловредных сочинений и стихов», но и никаких «бумаг» вообще не оказалось. Однако он подтвердил, что «Рылеева в темнице» читал у Балабухи, но «ни для себя, ни для кого другого не переписывал». Среди других стихотворений, которые ему довелось читать в университете, получая от других, назвал «Послание друзьям», «Герою», «Деревня» и «На смерть Милорадовнча»[51]. Получал же он их «с год тому назад» (показания давал 31 мая 1827 г.) от студента Сошальского и, «найдя их неприличными и дерзкими, по получении через несколько дней сжег, не передавая от себя никому для переписки» (л. 31, 59, 61). Этим объяснением власти вполне удовлетворились. От Богаевского была взята подписка о сохранении всего в тайне и о невыезде из имения до полного выяснения обстоятельств дела (л. 62). Ничего не дал и тщательный негласный обыск в квартире Семена Григорьевича Стишинского в Харькове[52]. Он показал, что Балабуха в июле 1826 г. давал ему для прочтения «рукописное сочинение» (имеется в виду «Рылеев в темнице»), которое по прочтении, до отъезда Балабухи домой, вернул ему. Твердо заявил: не списывал, не передавал, никому не говорил, сам сочинением стихов и прозы не занимался и ныне не занимается (л. 31, 53, 55). Опровергнуть это утверждение власти не

могли, не имея на то фактических оснований, но все же у него была взята подписка о невыезде и о сохранении «в тайне всего случившегося» (л. 56).

17 мая 1827 г. получили сведения и о Дмитрии Петрове Бутовском. От его отца, проживавшего в Кременчугском повете Полтавской губ. на хуторе Пелеховщина, коллежского регистратора Петра Кирьяковича узнали, что сын вернулся домой после окончания университетского курса в сентябре 1826 г. 13 мая 1827 г. он уехал в Киев для устройства на службу в штат канцелярии киевского генерал-губернатора. В Киеве он был отыскан, допрошен, а вещам его «учинен тщательный обыск»[53]. Найденные у него «некоторые сомнительные сочинения», а также его показания киевский полицмейстер С Дуров представил киевскому гражданскому губернатору (л. 63). К сожалению, в архивном деле самих «изъятых бумаг» нет (за исключением списка одного из стихотворений Д.В. Давыдова[54]), но сохранилась «Опись рукописным сочинениям, найденным между бумагами студента Бутовского, полученным им от Сошальского и самим Бутовским с печатных сочинений и рукописей списанных». Вот она:

«1. Войнаровский, сочинение Рылеева, списанное Бутовским с печатного, на 44 четвертинках.

2. Тетрадка на шести четвертинках, в коей разных названий сочинений Пушкина с отметками Бутовского на оных, откуда оные им списаны и получены.

3. При оной тетрадке стишки Давыдова, о коих Бутовский упомянул в первом показании своем, что списал оные со слов диктованных Сошальским.

4. Тетрадка на семи четвертинках, копии с разных пьес сочинения Пушкина, из коих семь списаны Бутовским из печатных его сочинений, а послание «Энгельгардту» списано им же с рукописи, полученной им от Сошальского.

5. На одной осьмушке листа шесть стихов, о коих Бутовский отметил на оном же, что не помнит достоверно, откуда и когда оные списал.

6. Отрывок из сочинения «Коран»[55], переведенный Бутовским в стихах, на двух четвертинках.

7. Отрывок из сочинения Пушкина под названием, как уверяет Бутовский, «Наполеон»[56], в двух куплетах на одной четвертинке.

8. Рукопись Ивана Бутовского о восшествии на престол императрицы Екатерины II на четверговых 26 листах, из коих 9 белые.

9. Недоконченный список с той же рукописи, писанный Бутовским на 11 чевертинках.

10. Рукопись того же Бутовского под названием, «Княжна Тараканова» на 13 четвертинках» (л. 64).

Относительно других бумаг и книг Бутовский показал, что при отъезде в Киев взял из дома «в числе многих печатных книг и рукописные разные сочинения стихами и прозою, писанные еще в бытность его в

Харькове... Некоторые дома уже, в Пелеховщине, им сочиненные». Кроме названных выше в описи двух пушкинских стихотворений у него в разное время были также пушкинские «Послание цензору», «Муза» и «Эпилог»[57], а также известное послание Дениса Давыдова «Бурцеву». Первые три, как показал Бутовский, он списал «с лоскутков, даванных Сошальским, а последнее – со слов, диктованных Сошальским, но когда и в какое время... не помнит, ведает только, что в бытность их обоих в университете; более же, кроме выписанных, никаких других сочинений от Сошальского не получал и не имеет, сам в зловредных сочинениях не обращается да и кто таковыми занимается, совершенно не знает» (л. 65).

На этом неприятности для Бутовского, обязанного подпиской о временном невыезде из Киева, тоже благополучно закончились, ибо содержание обнаруженных у него сочинений не выходило за пределы дозволенного[58], не было ничего предосудительного и в образе его жизни.

В июле 1827 г. в Нижнем Новгороде разыскали и Николая Новикова. По сообщению нижегородского гражданского губернатора Храповицкого, «стихи и сочинения... его здешним полицмейстером секретнейшим образом от него отобраны и требуемый допрос с подтверждением, чтобы он в глубочайшей тайне хранил сие случившееся с ним происшествие, лично мной сделан». Далее следует опись «препровождаемых» Стрекалову «стихов и сочинений на четырех полустраницах с собственноручною припискою Новикова о получении их от Григория (так в тексте. – *М.Р.*)[59] Бутовского; в осми связанных тетрадях из 79 страниц с означением тех, кои получены от Сошальского; в двух связанных тетрадях из 15 страниц; из 14 не связанных же полулистах» (л. 66). Но бумаг в деле нет, сохранился лишь подлинник объяснений Новикова, где он пишет, что «с Сошальским был знаком в продолжение моего трехлетнего в Харьковском университете пребывания, но его сочинения я не получал от него (показательно, что Стрекалов и другие официальные лица не обратили внимания на расхождение этого утверждения с показанием, правда, с оговоркой кажется», Розалион-Сошальского о том, что сочинение “Рылеев в темнице” давал и Новикову. – *М.Р.*), а получил только разных авторов сочинения, которые отмечаю собственною моею рукою, а прочие же стихотворения, отобранные у меня… были мною списаны из книг или из разных тетрадей, братых мною у разных университетских товарищей, коих фамилии я по давности времени (прошло всего лишь около 10 месяцев! – *М.Р.*) не упомнил[60], выключая стихотворение “К друзьям”, которое было мною списано из тетради Бутовского» (л. 67).

Как и прочие, причастные к делу Ландсберга лица, Новиков также был оставлен «под бдительным присмотром местного начальства» (л. 34).

Немного дал следствию и внезапный визит Кронеберга на квартиру студента Ивана Егорьева Зеленского. Зеленский заявил, что «сочинений Сошальского у него нет», и, «хотя с ним и был знаком, но ничего

от него не получал и не видел», и что «других зловредных сочинений у него также не находится». О найденных у него «бумагах и стихах» сказал, что оду «На восшествие на престол императора Павла I»[61] получил от Ивана Иванова «из духовного звания», французские стихи «выписал из сочинений Ламартина»[62], «рукопись на синей бумаге без заглавия получил он, принимая вещи покойного своего родственника Миргородского в декабре 1824 г.» (л. 37)[63]. И в этом случае власти не сочли нужным обратить внимание на расхождение в показаниях Зеленского и Розалион-Сошальского: последний утверждал, что давал читать Зеленскому свое творение «Рылеев в темнице». Объяснение может быть только одно – Стрекалов, располагавший всей информацией о ходе разысканий, был твердо убежден в отсутствии какой-либо организованной группы с «преступными намерениями» и каких-либо целенаправленных действий со стороны всех лиц. подозреваемых в распространении с тайным умыслом «зловредных» сочинений. И в этой связи показательно, что Стрекалов нисколько не препятствовал выдаче Зеленскому аттестата об окончании университетского курса – он в том же 1827 г. получил степень действительного студента по юридическому отделению[64].

О постепенном падении интереса к делу Ландсберга со стороны властей свидетельствует и тот факт, что не было предпринято никаких мер для установления местонахождения выбывшего из университета еще в 1823 г. студента Рожнова, названного в показаниях Розалион-Сошальского; о нем следствие просто забыло. Не искали и окончившего в 1826 г. университет и, по некоторым сведениям, находившегося «на службе в Грузии» (л. 72) Ивана Снесарева, через которого обнаруженные у Ландсберга рукописи в августе 1826 г. попали к служившему в Банковском уездном суде губернскому регистратору Михайловскому. Не искали по вполне понятным причинам – хлопотно, а главное – бессмысленно, ибо Стрекалову, возглавлявшему следствие, за «все время пребывания в Харькове» (л. 32), т.е. к концу расследования, стало ясно, что никакого «студенческого кружка, возникшего в начале 1826 г.» (читай – после восстания декабристов), объединявшего «около 20 человек – студентов Харьковского университета, чиновников, офицеров», как пытается уверить нас Г.Я. Сергиенко[65], в действительности не существовало. По той же причине Стрекалов не стал повторно допрашивать второкурсника медицинского факультета Ивана Гибнера, вполне удовлетворившись информацией Муратова о ранее «отобранном от него секретном показании, что сочинения “Рылеев в темнице” и “Прощание с морем” для прочтения получил от... Балабухи, но оных не списывал и не разглашал и еще в июне 1826 г. Балабухе же возвратил по получении от Тонкошкурова» (л. 3). В отношении Пащинского, Михайловского и Тонкошкурова Стрекалов также не прибегал к дополнительным разысканиям, целиком положившись на объяснения того же Муратова. Заметим, что Стрекалов – один из активных участников следствия над декабристами, мог в интересах дела применить более

эффективные методы (повторные допросы, очные ставки и т.п.). Но в них не было нужды. 14 августа, по завершении следствия, во всеподданнейшем рапорте Стрекалов подводит общий итог: «1. Во все время пребывания моего в г. Харькове не имел я ни одного случая заметить какого-либо разврата или своевольства между студентами и по единогласному отзыву всех жителей, большая с некоторого времени замечена между ними перемена как в пристойности, так и в обхождении… 2. Касательно образа мыслей господ офицеров Чугуевского военного поселения... должно сказать, что по большому их занятию службою мало имеют времени к другому упражнению... Тайных же каких-либо связей со студентами не замечено, и сколько я об оном не разведывал, кажется, и не существует, и поручик Ландсберг по неопытности имел неосторожность иметь у себя зловредные сочинения: то раскаяние его по сему предмету и личный мой допрос утверждают мнение, что он действительно все сие учинил без всякого намерения» (л. 32–33). Думается, что комментарии к этому тексту излишни. Уж в чем-чем, а в обоснованности мнения одного из самых верных лиц из окружения Николая I сомневаться не приходится. На не вполне корректной отсылке к статье М.А. Цявловского основанное утверждение Г.Я. Сергиенко о том, что якобы в рапорте Стрекалова «указано на причастность к делу распространения революционных произведений 18 человек»[66], опровергается подлинным текстом документа. Ничего подобного там нет.

Итак, кара за содеянное не была суровой и на последующей судьбе лиц, причастных к делу поручика Ландсберга, по сути никак не сказалась. Причины такой снисходительности в условиях надвигавшейся реакции времени правления Николая I просты и очевидны. Первая и главная из них – отсутствие каких-либо организационных начал, хоть сколько-нибудь осознанных планов и намерений в действиях привлекавшихся к следствию лиц, как точно заметил А.И. Герцен, по «бедности сил, неясности целей»[67]. Вся их вина состояла в переписывании «не долженствующих обращаться в публике» произведений (многие из которых были опубликованы в те же годы или чуть ранее), сочинении оных в подражание Рылееву, Пушкину. Другая причина, думается, заключалась в том, что официальные органы власти не желали сколько-нибудь суровыми наказаниями привлекать внимание общественности к столь несерьезному, по их собственному мнению, случайно возникшему делу. Определенную роль сыграла и предельная откровенность показаний главного подследственного – В. Розалион-Сошальского и его чистосердечное раскаяние. Наконец, не обошлось и без влияния фактора «личные связи» (например, в случае с М.Я. фон Фоком, пользовавшимся большим доверием Бенкендорфа).

Первым из исследователей проявил интерес к материалам этого дела академик Н.К. Шильдер, в личном архиве которого сохранились некоторые документы, а также обширные выписки из них[68]. Он, как можно предположить, намеревался основательно заняться этим делом, но не успел – он скончался в 1902 г. Собранные же им материалы позже

были использованы крупнейшим литературоведом М. А.Цявловским при написании статьи под характерным названием «Эпигоны декабристов»[69]. К сожалению, эту статью отличает от других работ М.А. Цявловского печать поспешности – автор по существу ограничился публикацией обнаруженных у Ландсберга рукописей, сопроводив их беглыми комментариями и изложив суть дела.

В 1925 г., в столетнюю годовщину восстания декабристов, украинский историк В. Мияковский в небольшой заметке дополнил публикацию своего предшественника новыми архивными находками из фонда киевского военного генерал-губернатора: описанием обстоятельств розыска и допроса трех причастных к делу лиц – бывших студентов Харьковского университета Балабухи и Бутовского, а также воспитанника Нежинской гимназии Божко. Автор заметки воздержался от каких-либо политических оценок содержания дела[70]. Упоминание о деле Ландсберга с кратким изложением содержания памфлета «Рылеев в темнице» как свидетельстве «горячего сочувствия» идеям декабристов находим в статье Н. Пиксанова 1933 г.[71]. Вновь к этому сюжету исследователи обращаются лишь в 125-летнюю годовщину движения декабристов. Так, упоминание о событиях тех дней находим в сборнике литературных и публицистических произведений декабристов и идейно близких к ним деятелей той эпохи[72]. Но Вл. Орлов в биографической справке о Розалион-Сошальском неточен буквально во всем. Так, он пишет, что рукописную тетрадь со стихами «зловредного содержания» обнаружил Вансович; по его утверждению, Ландсберг на допросах показал, что получил тетрадь от студентов Харьковского университета и что якобы первым пустил в обращение запретные сочинения «знакомец» А. Пушкина Руфин Дорохов. Надуманным является утверждение Вл. Орлова о том, что Розалион-Сошальский, ошибочно названный сыном екатеринославского помещика[73], за «откровенное раскаяние» был определен на службу в гвардейскую артиллерию. К области чистой фантазии автора публикации относится и его версия о существовании связи Розалион-Сошальского с южными декабристами. «Среди лиц,– пишет он, – которые в 1825 г. пользовались книгами из библиотеки, собранными декабристами из Тульчинской управы, упоминается некий Сошальский; нужно думать, что это был именно Владимир Розалион-Сошальский»[74]. В действительности же книгами этой библиотеки мог пользоваться родной брат Владимира – Александр, поручик свиты е.и.в., именно в те годы квартирмейстер при штабе 2-й армии, располагавшейся в Тульчине[75].

Очередное упоминание о деле Ландсберга и его «политическую» оценку мы встречаем в работах С.Б. Окуня и И.А. Федосова в связи с характеристикой общественно-политических настроений в стране после восстания декабристов[76]. И здесь происходит, пожалуй, обычная для советской историографии той поры метаморфоза. Без специального изучения вопроса и не привлекая никаких новых фактических данных, основываясь лишь на упомянутой публикации М.А. Цявловского,

эти уже именитые тогда авторы (не сговариваясь) отходят от его оценки дела Ландсберга как проявления оппозиционных настроений в обществе и считают возможным говорить о привлеченных к следствию лицах как о верных продолжателях дела декабристов. Эту точку зрения полтора десятилетия спустя постарался «развить» украинский историк Г.Я. Сергиенко. В цикле своих работ, посвященных изучению общественно-политического движения на Украине второй четверти XIX в., он неоднократно возвращается к рассмотрению данного дела и постепенно «объединяет» названных в следственном деле лиц (вовсе не анализируя степень и характер причастности их к конкретным событиям и действиям) в тайный революционный кружок, возникший якобы «под непосредственным влиянием восстания декабристов и освободительных идей декабристов». Члены этого кружка волей автора стали заниматься активной пропагандой идей декабристов среди студенчества, чиновников, офицеров, что будто бы «свидетельствовало о пробуждении, начале собирания сил в годы реакции». Эти, по его определению, представители «нового поколения борцов освободительного движения» переходили «к новым формам борьбы против самодержавия в условиях жестокой николаевской реакции». Была у них и четкая ближайшая цель – «уяснение и пропаганда идей, унаследованных от декабристов», и перспектива – «с помощью революционной пропаганды готовились новые силы для предстоящего штурма самодержавно-крепостнического строя в России» (ни больше, ни меньше!). Близость же этого «штурма» обусловливалась тем, что «молодежь Харькова находилась под могучим влиянием революционных произведений (А. Пушкина, К. Рылеева. – *М.Р.*), которые вдохновляли их на продолжение борьбы, начатой декабристами». Но и на этом автор не останавливается: «Несмотря на суровые (выше была показана степень их суровости. – *М.Р.)* репрессивные меры, принятые царским правительством против революционно настроенных студентов, чиновников и офицеров в Харькове, политическая пропаганда на Украине не прекращалась. На смену репрессированным приходили новые люди и продолжали борьбу. Харьков и далее оставался главным центром революционной пропаганды»[77]. Каково же основание для столь ответственного заявления? Вот оно: ровно через месяц (14 сентября) харьковский гражданский губернатор уведомлял III Отделение, что по сведениям, собранным жандармским полковником Волковым, в Харькове появились и «ходят по рукам» «революционные рукописи» под названием «Могила* Рылеева», «Прощание с морем», стихотворения «К друзьям», «Послание к Аракчееву», которые «вышли из Харьковского университета», и далее следует отсылка на соответствующие листы архивного дела[78] с указанием, что «жандармам не удалось напасть на след новых пропагандистов»[79]. И немудрено, ибо таковых просто-напросто не существовало.

* В архивном деле, которое было использовано и Г.Я. Сергиенко, четко написано – «гроб» (ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп., 1826 г. Д. 126. Л. 57).

Здесь Г.Я. Сергиенко, стремясь, с одной стороны, во чтобы то ни стало превратить Харьков в «главный центр революционной пропаганды», а с другой – воочию показать преемственность и непрерывность процесса развития революционно-освободительного движения в стране, явно попал впросак – содержание архивного дела показывает иное. Действительно, в сентябре 1827 г. Бенкендорф получил известие о том, что, по сообщению жандармских чинов из Воронежа, в Харькове «ходят по рукам» названные выше сочинения. Но тут же идет другая запись, позволяющая поставить точку над «и»: слухи «рассеяны от чиновника Чулкова, служащего по особым поручениям при харьковском губернаторе, который (Чулков. – *М.Р.)* в самое то время приезжал из Харькова в Воронеж»[80]. То есть титулярный советник Чулков, выполнявший ряд поручений губернатора по расследованию дела Ландсберга в весенне-летние месяцы в Харькове[81], в сентябре рассказал об этом ряду лиц в Воронеже – и все! Исследователь же, будучи во власти своей схемы, «не замечает» то, что в нее не укладывается и, напротив, «находит» на архивных листах то, чего там просто нет. Еще один тому пример. Так, со ссылкой на конкретные листы дела Г.Я. Сергиенко пишет, что Рожнов «на допросе заявил, что сочинения К.Ф. Рылеева, А.С. Пушкина и В.Ф. Раевского, найденные у поручика Ландсберга, ему известны и они распространены среди студентов университета. Этим он подтвердил,– продолжает автор,– что среди студенчества велась пропаганда, организаторами которой были Розалион-Сошальский и его товарищи»[82]. Но дело в том, что местонахождение бывшего студента Рожнова, окончившего университет в 1823 г., было неизвестно, а следствие не приняло никаких мер к его розыску, следовательно, он не мог давать показаний.

Г.Я. Сергиенко «определяет» и точный регион «деятельности пропагандистов». При этом он, как и в других случаях, поступает крайне произвольно, уверяя, что таковая деятельность «имела место в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Киевской губерниях, а также нашла отзвук в Петербурге, Казани, Пензе, Нижнем Новгороде, на Кавказе»[83]. И, что поразительно, все это со ссылками на архивные дела из фонда III Отделения, которые совершенно не дают для этого оснований. В определении названных губерний и городов, где будто бы велась активная пропаганда декабристских идей, автор, видимо, исходил из того, что там проживали фигурировавшие в следственном деле студенты после окончания курса обучения. Никаких же конкретных свидетельств о том, что они занимались какой-либо пропагандой, в его распоряжении нет. Равно как нет и фактов о том, что «слухи про аресты (напомним, что под арест были взяты лишь двое – Розалион-Сошальский и Ландсберг, содержавшийся на гауптвахте. – *М.Р.*), обыски и следствие бывших студентов и офицеров разошлись по всей стране»[84], Проведенные нами тщательные разыскания в архивных фондах соответствующих охранительных учреждений на предмет выявления подобных сведений не дали положительного результата. Сам же автор,

по понятным причинам, никаких ориентиров и конкретных ссылок на этот счет не дает.

Все эти и аналогичные им «научные» построения создали благоприятную почву для появления в печати публикаций, предназначенных уже для массового читателя, с откровенно спекулятивными и весьма непрофессиональными суждениями. Так, в одном из выпусков «Прометея» (органа издательства «Молодая гвардия», выходящего 200-тысячным тиражом) вышла заметка Леонида Фризмана[85], по сути повторившая выводы ученых предшественников автора. В ней также ничего не говорится о реальном содержании «революционных» действий привлеченных к следствию лиц, без чего, естественно, невозможно адекватно вписать данный эпизод в общую канву общественной жизни страны рассматриваемого периода. Как следует из содержания названных выше работ, источниковую базу составил ограниченный круг документов, вне которого остался основной массив материалов, в деталях отразивший ход следствия. Материалы эти отложились в делах секретной части Канцелярии дежурного генерала Главного штаба[86]. Это – подлинники обнаруженных у поручика Ландсберга «зловредных» сочинений, перечень изъятых при обысках произведений, показания подследственных с их собственноручными подписями, переписка должностных лиц разного уровня, обстоятельные рапорты возглавлявших следствие лиц о его ходе и результатах и т.д. Очевидное нежелание исследователей искать эти и другие важнейшие документы в архивохранилищах оставляло простор для необоснованных утверждений, произвольных построений, неаргументированных выводов и заключений. Хотя, следует заметить, что и имевшиеся документальные материалы, привлекавшиеся и Г.Я. Сергиенко (особенно из фондов III Отделения, впервые введенные в широкий научный оборот именно им), позволяют достаточно точно оценить содержательную сторону дела поручика Ландсберга или, как его иногда называют, дела студентов Харьковского университета.

В ходе архивных поисков автору настоящей работы удалось привлечь и данные ряда сохранившихся формулярных (послужных) списков некоторых подследственных или «прикосновенных» к следствию лиц, а также другие документальные свидетельства, помогающие полнее раскрыть подлинное содержание этого дела.

Как мы видели, представителей «нового поколения борцов», переходивших «к новым формам борьбы против самодержавия в условиях жестокой николаевской реакции», Стрекалов и его помощники не обнаружили. На основе имеющегося документального материала не устанавливается и факт «активной пропаганды идей декабристов в последекабристский период, т.е. между январем 1826 г. и февралем 1827 г., когда началось расследование о «зловредных» сочинениях, обнаруженных у Ландсберга. При этом никто из названных выше исследователей даже не пытался поставить вопрос – где и какую информацию об идеях декабристов, о целях их выступления могли получить харьковские студенты? В официальной прессе, как хорошо известно, суть движения де-

кабристов раскрывалась в намеренно искаженном виде. В окружении же студентов, как выясняется, не было людей, которые могли бы сообщить им достоверные сведения. Да и сами лидеры декабристского движения, как мы знаем, даже не всех его участников посвящали в свои истинные намерения и планы. Более того, не выдерживает никакой критики и краеугольное положение тех искусственных построений, которые относят становление «революционного кружка» к периоду после выступления декабристов: В. Розалион-Сошальский и его однокашники по университету, как и многие другие студенты, обменивавшиеся между собой уже давно опубликованными или ходившими в рукописях произведениями разных авторов, закончили курс обучения летом 1826 г., а некоторые из них и ранее (стоит обратить внимание на то, что под последним по порядку расположения стихотворением А. Пушкина в рукописной тетради, обнаруженной у Ландсберга обозначена точная дата – «ноября 7 дня 1825 года (Харьков)»/л. 13/). Таким образом, 1827 г. вообще не может быть годом, когда члены «тайного кружка студентов Харьковского университета, чиновников и офицеров», как уверяет Г.Я. Сергиенко, «распространяли революционные идеи» декабристов[87]. Если учитывать, что на этико-политическом (юридическом) и словесном отделениях, где они учились, срок обучения составлял три года[88], то они пришлись на 1823/24, 1324/25, 1825/26-й академические годы, когда среди студенчества независимо от всякого стороннего идеологического влияния «господствовала страсть к стихотворству, которая носила эпидемический характер»[89].

В начале 20-х годов XIX в. сочинительство стихов становится модным, немало дилетантов пробавляются сочинением альбомных стишков или же различного рода традиционных посланий к друзьям. Последний вид «творчества» именно в эти годы приобрел особую популярность. Но в этом любительском сочинительстве было и нечто такое, что способствовало переходу от обывательских интересов к романтически возвышенным чувствам и представлениям, к сочувственному восприятию патриотической лирики Рылеева, вольнолюбивых стихотворений Пушкина, его метких, социально заостренных эпиграмм. А.И. Герцен в своей работе «К развитию революционных идей в России» писал, что литература «у народа, лишенного свободы», единственная возможность приобщиться к общественному протесту и именно поэтому столь активно востребовались свободолюбивые стихи. С понятной увлеченностью он отмечал: «Нет ни одной благовоспитанной барышни, которая не знала бы их наизусть, ни одного офицера, который не носил бы их в своей полевой сумке, ни одного поповича, который не снял бы с них дюжину копий. В последние годы пыл этот значительно охладел, ибо они уже сделали свое дело: целое поколение подверглось влиянию этой пылкой юношеской пропаганды»[90] (добавим: но не влиянию мало кому доподлинно известных идей декабристов). Нет никаких оснований усомниться в справедливости оценки одного из первых историков общественного движения – А.Н. Пыпина, незаслуженно забы-

того в советской историографии: «Стихотворения Пушкина ходили по рукам, переписывались, читались наизусть... Не было живого человека, который не знал бы его стихов»,– говорили современники, и этому можно поверить, потому что и тридцать лет спустя эти стихотворения еще ходили по рукам в тетрадках и усердно переписывались, когда потерялась и их современность»[91]. То же, как мы знаем, подтвердили в своих показаниях декабристы. Сошлемся здесь лишь на свидетельство В.И. Штейнгейля из его письма Николаю I: «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой, кто не цитировал басни Дениса Давыдова,.Голова и ноги»! Может быть, в числе тех, кои имеют счастие окружать особу Вашу, есть таковые»[92]. На умы молодежи, общества сильное влияние оказывал и Рылеев, приобретший широкую известность после появления в печати его стихотворения «К временщику». По мнению М.В. Довнар-Запольского, его поэзия служила «показателем настроений не одного Рылеева: в ней, как в фокусе, сошлось настроение целого круга людей, выразительным певцом которого явился Рылеев»[93]. В произведениях Рылеева, его поэтических обращениях к старине, в которой он искал истоки народной свободы, А.Н. Пыпин не без оснований прежде всего выделял патриотические настроения, «отражение нетерпеливого либерализма его тогдашнего круга». По его же заключению, «люди либерального круга составляли значительную долю в тогдашнем обществе, и их мнения, защищаемые искренне и бескорыстно, оказывали свое влияние»[94]. Надо сказать, что увлечение проблемами отечественной истории, «под знаком которого, начиная с 1820-х годов, складывается умственная жизнь русской дворянской интеллигенции»[95],– характерная черта развития либеральной струи в общественной мысли александровской эпохи. Доверимся здесь и небезызвестному Н.И. Гречу, свидетельствовавшему, что в 20-е годы XIX в. «молодые люди... возымели ревностное желание доставить торжество либеральным идеям, под которым разумеется владычество законов, водворение правды, бескорыстия и честности в судах и в управлении, искоренение вековых злоупотреблений, подтачивающих древо русского величия и благоденствия народного»[96]. Все это весьма созвучно контексту «Рылеева в темнице» Розалион-Сошальского. Больше того, говоря о тех же 20-х годах, Греч продолжает: «В то время жалобы на правительство возглашались громко. Все желали перемены… предавались всяким предположениям и мечтаниям. Если бы сослать всех тех, которые слышали о сумасбродных замыслах и планах того времени, не нашлось бы места в Сибири... Эти вольные разговоры, пение не революционных, а сатирических песен и т.п. было дело очень обыкновенное, и никто не обращал на то внимания». Затем он тут же рисует типичную, на его взгляд, картину, когда собравшиеся на пирушку человек 15 (и Фаддей Булгарин с ними) «после шампанского, давай читать стихи, а там и петь рылеевские песни. Не все были либералы, а все слушали с удовольствием и искрение смеялись»[97]. Ценная характеристика общест-

венных настроений той поры из уст человека, отнюдь не принадлежавшего к оппозиционным или близким к ним кругам. Однако на основе приведенных фактов его также можно зачислить в ряды активных участников освободительного движения – пел рылеевские песни в компании «соратников», возможно, даже в соавторстве с А.А. Бестужевым написанное знаменитое «Ах, тошно мне и в родной стороне» или собственно рылеевское – «Ты скажи, говори, / Как в России цари правят. / Ты скажи поскорей, как в России царей давят». Естественно, при таких условиях «тайное общество, которому впоследствии приписывали и распространение возмутительных стихотворений, было здесь не причем», замечает А.Н. Пыпин, оно вызывалось «общим настроением образованных людей»[98]. О том же писал и Д.Н. Свербеев, характеризуя настроение общества в 1826 г.: «С возвращением наших войск из Франции и в особенности в 1818 году с возвращением корпуса, который оставался там... либеральные движения овладели многими»[99]. Нельзя умолчать и о том, что сильное влияние на общественное настроение в стране оказала опубликованная в русских газетах[100] речь Александра I при открытии сейма в Варшаве в марте 1818 г., пробудившая у просвещенной части общества смутные надежды на конституцию, на скорое освобождение крестьян[101].

Ясно, что поступки и поведение лиц, привлеченных по делу поручика Ландсберга, не выходили за рамки либеральных идей и не дают никакого повода для наполнения их иным, «революционным» содержанием. Приведем в этой связи и заслуживающую внимание оценку III Отделением общественного мнения в России в 1827 г., на которую не могло не повлиять и дело Ландсберга: «Молодежь, т.е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляет в массе самую гангренозную часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающиеся в разные формы, и чаще всего прикрывающиеся маской русского патриотизма... Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции... и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения. В этом развращенном слое общества мы снова находим идеи Рылеева... Конечно, в массе есть и прекрасные молодые люди, но, по крайней мере, три четверти из них – либералы»[102]. Для нашего сюжета ценно последнее указание.

Историк В.А. Дьяков, рецензируя основной труд Г.Я. Сергиенко, посвященный рассмотрению общественно-политического движения на Украине после восстания декабристов, оценивает его как «добротную научную монографию», в которой в значительной мере на новом материале «дана разносторонняя картина общественно-политического движения на Украине на протяжении рассматриваемого двадцатипятилетия»[103]. Одобряет он в целом и подход автора «к теме и его основные выводы» как «обоснованные и не вызывающие сколько-нибудь серьезных возражений». Но рецензент вынужден все же говорить и о недо-

статочной четкости и непоследовательности автора в «разграничении между революционным и оппозиционным или антиправительственным движением, между подлинными революционерами и теми, кто мечтал о преобразованиях...» И в качестве примера такой нечеткости ссылается на оценку автором рассмотренного нами дела. Он пишет: «В.Г. Розалион-Сошальский, поручик Ландсберг и их соратники (?! – *М.Р.*) по распространению идей декабризма (рецензент здесь по существу впадает в тот же грех, что и критикуемый им Сергиенко. – *М.Р.)* вполне заслуженно привлекли внимание автора монографии. Но все ли они являлись революционерами или последователями революционных идей? Далеко не все –это совершенно очевидно из материала, приводимого... в книге, где их действия квалифицируются, как революционная пропаганда» (с. 32, 58 и др.), хотя зачастую речь идет не более чем о каком-то проявлении оппозиционных настроений». Как видим, рецензент, разделяя позиции автора книги в главном, склонен считать революционными пропагандистами только ряд лиц, привлеченных по делу Ландсберга, хотя конкретно их и не называет. Поэтому логична и его итоговая оценка книги (в которой, кстати, революционные цвета преобладают и в характеристике Кирилло-Мефодиевского общества[104]) – «широко задуманная и добросовестно сделанная», без таких работ «невозможно глубокое знакомство с историей Украины». Оставляем читателю возможность самому составить мнение о справедливости сего утверждения.

Не отстали от В.А. Дьякова и украинские историки. Рецензенты А.К. Буцик и В.Г. Сарбей также высоко оценивают труд Г.Я. Сергиенко, в котором благодаря «систематизации большого фактического материала» автор сумел «по-новому показать деятельность передовых для своего времени людей Украины», боровшихся «против крепостнического режима». Как они утверждают, «в книге хорошо показаны непрерывность и преемственность в развитии революционных традиций, зачинателями которых выступили декабристы. Подвиг дворянских революционеров, по мысли автора, способствовал широкому развертыванию революционной пропаганды во второй половине 20-х гг. XIX в. в Харькове, которую осуществляли преподаватели (?? – *М. Р.)* и студенты местного университета. Вывод исследователя о том, что после восстания декабристов Харьковский университет стал одним из центров общественно-политического движения на Украине (с. 46, 55, 58) полностью обоснован и убедителен»[105].

Но подобные рецензии, в которых комплиментарность заменяет научный анализ книги,– обычное дело для недавней поры и не в них суть. Удручает другое – на основе выводов, не подвергнутых сколько-нибудь серьезной источниковедческой экспертизе, предпринимаются попытки широких обобщений, проведения сравнительного анализа социального состава участников освободительного движения и на этой основе реконструируется его внутренняя периодизация и пр. В этом плане весьма показательна опубликованная в 1979 г. книга В.А. Дьяко-

ва[106]. В той части, которая касается рассматриваемого нами сюжета, он полностью доверился сообщаемым Г.Я. Сергиенко сведениям (забыв о сомнениях, высказанных в рецензии) и его искусственным построениям, а также данным ныне устарелого биобиблиографического словаря[107]. Игнорируя пояснение составителей о том, что в словарь внесены те лица, которые имели «малое касательство к революционному движению», в том числе «только заподозренные в принадлежности к революционной группе»[108], автор книги без каких-либо оговорок признает его «весьма ценной сводкой фактов», более того – «базой для статистических подсчетов»[109], касающихся социального состава участников освободительного движения на различных его этапах, его динамики и т.п.

Между тем включение в словарь едва ли не всех зафиксированных в официальных документах лиц, подозревавшихся в каких-либо противоправных действиях или поступках, было очевидно оправдано лишь в начальной стадии подготовки подобного словаря, данные которого в дальнейшем по логике должны были быть переосмыслены, дополнены или сокращены. Однако этого сделано не было, и слепо доверять его содержанию, по меньшей мере, неосмотрительно. Приведу конкретный пример. Так, в словарь со ссылкой на всеподданнейшие доклады и указанную выше статью М.А. Цявловского включены восемь человек из числа привлекавшихся к расследованию по делу Ландсберга. Это – Балабуха, Богаевский, Гибнер, Ландсберг, Пашинский, Розалион-Сошальский, Снесарев, Тонкошкуров. Все они, разумеется, вошли в таблицы В.А. Дьякова, долженствующие демонстрировать численный и социальный состав освободительного движения, хотя в самом словаре четко обозначена причина, на основании которой они привлекли внимание охраните.оных органов,– за хранение свободомысленных или запрещенных сочинений. О составе этих сочинении говорилось выше; они, как правило, не имели ничего общего с литературой пропагандистского толка. Но В.А. Дьяков, касаясь событий, связанных с делом Ландсберга, целиком принимает трактовку и оценку, сделанные в работе Сергиенко, и приходит к выводу, что «продолжателями дела декабристов считали себя студент Харьковского университета. В.Г. Розалион-Сошальский и несколько его товарищей из студенческой среды и военнослужащих. Они осуждали (не указано, как и где. – *М.Р.)* расправу царизма над декабристами, знали и распространяли стихи К.Ф. Рылеева и свои собственные произведения, в которых так или иначе пропагандировали идеи декабризма»[110]. А чтобы у читателя книги не осталось никаких сомнений на этот счет, следует завершающий аккорд: «Освободительная борьба на Украине развивалась как органическая часть общероссийского освободительного движения. На ее территории в 20-х годах XIX в. получили значительное распространение идеи декабризма...»[111]. Это утверждение целиком совпадает с ранее сделанным безапелляционным выводом Г.Я. Сергиенко: «Харьковский кружок стал составной частью освободительного движения передовых сил России после восстания декабристов. Он возник под

непосредственным воздействием революционных традиций и расширил пропаганду освободительных идей»[112]. Но что особенно характерно, оба автора не раскрывают, какие же именно идеи декабризма «получили значительное распространение», не приводя, впрочем, и фактов, свидетельствующих о «значительном» их распространении и «расширении пропаганды».

Непосредственное обращение к документальному материалу по данному конкретному сюжету и сопоставление его с имеющимися в литературе трактовками и суждениями ясно показывает, что исследователи встали на путь внедрения в науку и отстаивания надуманных схем и построений. Заметим, что в рассмотренном случае несостоятельны ссылки на сложное время, ибо едва ли можно серьезно рассуждать о каком-либо идеологическом или ином давлении на историков-профессионалов. занимавшихся разработкой проблем освободительного движения. Их профессиональный долг диктовал главное – не говорить того, на что не уполномочивают источники, и уж тем более не фальсифицировать факты и события.

М.А. Цявловский, в пору становления советской исторической науки, когда в историографии еще не возобладал гипертрофированно классовый подход в оценке социальных явлений в обществе, был ближе к истине, квалифицируя дело Ландсберга как проявление оппозиционных настроений. В 1979 г. Г.Я. Сергиенко определил его точку зрения как «тенденциозное» мнение «буржуазного (?) историка» указав, что «политическую пропаганду следует рассматривать не как эпигонство декабристов, а как показатель новой деятельности и стремление к единению прогрессивных сил»[113]. Решительно отвергая это декларативное утверждение автора, все же следует сказать, что употребленное М.А. Цявловским в данном случае понятие «эпигоны декабристов» неточно, ибо само эпигонство предполагает лишенное творческой оригинальности следование за предшественниками. В нашем же случае декабристы и их так называемые эпигоны – современники, взгляды и представления которых формировались примерно в одно время и в одних и тех же социальных условиях.

Все изложенное выше дает основание поставить более общий вопрос – не назрела ли необходимость в новом, более трезвом взгляде на результаты многолетнего идеологизированного изучения и других аналогичных конкретно-исторических фактов из истории освободительного движения в России второй четверти XIX в.? Не пришло ли время для отказа от продолжающих сохраняться ложных стереотипов и в этой области исторических знаний и, в частности, для переоценки деятельности «кружков» братьев Критских, Сунгурова и др., для обращения к оценкам деятельности этих кружков в трудах М.К. Лемке, Б.М. Эйхенбаума и др.[114], упрекаемых в 50-е годы в «недооценке революционности кружков»[115]. Причем важно обратить внимание на два существенны:, обстоятельства. Во-первых, при выявлении места и роли в общественной жизни той поры этих и других организаций исследователи закры-

вают глаза на то, что сам факт их существования был неизвестен абсолютному большинству их современников. Именно поэтому практическое воздействие этих организационно не оформившихся и идейно не определившихся оппозиционных структур на умы было ничтожно мало и по глубине, и по масштабам. Исследователи, много лет спустя получившие сведения о них из секретных документов, отложившихся в фондах охранительных учреждений, ничтоже сумняшеся приписывают свои знания обществу (во всяком случае, образованной его части) рассматриваемого времени. Во-вторых, история подобных кружков – во многом плод деятельности и воображения чиновников III Отделения, оценки которых в последующем принимаются исследователями на веру без каких-либо коррективов и даже с четко просматривающейся тенденцией к большей их радикализации.

Что же касается решительных действий властей по выявлению всех обстоятельств, связанных с делом Ландсберга, личного контроля самодержца за ходом расследования (впрочем, сие было обычной практикой тех лет), то это объясняется отнюдь не какой-то реальной угрозой режиму или, как пытаются изобразить, значительностью этого дела. После восстания декабристов правительство с помощью только что созданного III Отделения бдительно следит за настроениями в обществе, особенно в среде офицерского корпуса, студенчества, мелкого чиновничества и др. Переживший сильнейший испуг в дни воцарения, Николай I с первых дней своего правления предусмотрительно и не без успеха предпринимает меры для подавления в зародыше всякого инакомыслия – основы возможных социальных коллизий и потрясений.

Примечания

[1] Существенно уточнить ход и обстоятельства расследования дела, его реальное содержание позволяет впервые вводимое в научный оборот «Дело о найденных у поручика Тарутинского пехотного полка Ландсберга рукописных сочинений, не долженствующих обращаться в публике» (ЦГВИА СССР Ф. 1. Оп. 1. Т. 3, 1827 г. Д. 6501. Далее все ссылки на листы этого дела даны в тексте).

[2] Именно на это намекает Г.Я. Сергиенко, говоря, что «царскому правительству в начале 1827 г. «удалось раскрыть деятельность тайного кружка» (*Сергиенко Г.Я.* Общественно-политическое движение на Украине после восстания декабристов (Вторая четверть XIX в.): Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1974. С. 18 (далее – Автореферат).

[3] Считать так позволяет содержащееся в рапорте И.Я. Кронеберга (см. ниже) указание на то, что Вансович сам любил «очень часто отпускать острые словца насчет правительства», покровительствовал служившему в составе его бригады Руфину Дорохову, а также последующая карьера Вансовича – к началу 1830 г. он уже отстранен от должности и числится по армии. В январе 1830 г. последовало высочайшее повеление «переименовать» его «в коллежские советники и причислить к герольдии» (ЦГВИА СССР. Ф. 395. Оп. 19/ 387. 1830 г. 1 отд. Д. 9).

[4] См. также: ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 7–8; *Цявловский М.А.* Эпигоны декабристов // Голос минувшего. Журнал истории и истории литературы. 1917. № 7–8. С. 76.

[5] Здесь либо явная контаминация, либо Гибнер в самом деле получал от Балабухи и стихотворение А. Пушкина «К морю», впервые появившееся в печати в октябре 1825 г. с цензурными купюрами. Однако по рукам ходили полные списки стихотворения.

[6] Этот туманный намек расшифровать не удалось. Судя по тому, что он не привлек внимания следствия, за ним не было ничего существенного.

[7] Генерал-адъютант С.С. Стрекалов пользовался полным доверием Николая I. Так, мы видим его в числе тех немногих лиц, коим было позволено беспрепятственно проходить в Петропавловскую крепость к декабристам (см. секретную записку И.И. Дибича коменданту крепости А.Я. Сукину от 19 апреля 1826 г. – ЦГВИА СССР. Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 18. Д. 209. Л. 2). В октябре 1828 г. по личной рекомендации царя назначен на должность тифлисского военного губернатора (Там же. Ф. 35. Оп. 3/244. Св. 153. Д. 2012. Л. 6). И еще примечательный штрих: одна из его дочерей – крестница императора.

[8] Хотя В. Розалион-Сошальский в формулярном списке и указал, что «недвижимого имущества» не имеет (ЦГВИА СССР. Ф. 395. Оп. 85. 2 отд. 3 стол. 1830 г. Д. 890), но это не соответствовало действительности. По формулярному списку его младшего брата Михаила (юнкера Нежинского конноегерского полка) от 30 сентября 1830 г. под опекою матери в Купянском у. состояло 200 душ крепостных и 10 000 дес. земли (Там же. 1830 г. Д. 870). В 1843 г. другой брат, Александр, показал, что в общем с матерью и другими наследниками «состоит родового имения» в сл. Юрьевке 100 душ крестьян и 4000 дес. земли и в общем же владении с ними 7000 приобретенной» (Там же. Оп. 34. 1 отд. 3 стол. 1843 г. Д. 683. См. также: Оп. 21. 1 отд. 2 стол. 1832 г. Д. 207).

[9] ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 2.

[10] Там же. Л. 5, 9.

[11] Там же. Л. 16.

[12] Там же. Л. 21–22.

[13] Там же. Оп. 221 (86) 1827 г. Д. 2. Л. 7–10.

[14] ЦГВИА СССР. Ф. 36. Оп. 5/848. Св. 30. 1827 г. Д. 14. Л. 6.

[15] ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 12–13.

[16] Там же. Л. 32.

[17] *Сергиенко Г.Я.* Пропаганда идей декабристов среди харьковских студентов (1826–1827 гг.) // Украинский исторический журнал. 1970. № 8. С. 83.

[18] В артиллерию пошел, писал он, вслед за своими двумя братьями, а также потому, что имел «свободнейший доступ к бригадному ее командиру флигель-адъютанту полковнику Нестеровскому, к которому имел рекомендательное письмо моего брата, некогда бывшего под его начальством... и был представлен им генерал-адъютанту Сухозанету» (ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 22).

[19] ЦГАОР СССР. Ф. 109. 1 эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 38.

[20] Забавным выглядит утверждение Г.Я. Сергиенко, что «продолжение оды Висковатова» Розалнон-Сошальский опубликовал в журналах «Сын Отечества» и «Новости литературные» (так у автора, надо – «Новости литературы») (см.: *Сергиенко Г.Я.* Общественно-политическое движение на Украине после восстания декабристов 1826–1850. Киев, 1971. С. 49. В действительности в них опубликовано стихотворение самого С. Висковатова.

[21] См.: *Цявловский М.А.* Указ. соч. С. 81–84; Декабристы. Поэзия, драматургия, публицистика, литературная критика. М.; Л., 1951. С 567–568.

[22] Это сочинение Розалион-Сошальского не имеет ничего общего по содержанию с предсмертным письмом К. Рылеева жене от 13 июля 1826 г., религиозно-сентиментальным, с упованиями на милость Божью и царя, с комплексом своей вины. Оно довольно широко распространилось по стране во множестве списков (см., напр.: Письма В.И. Туманского. Чернигов, 1891. С. 74–75). В.И. Маслов (Литературная деятельность К.Ф. Рылеева. Киев, 1912. С. 105) приводит сообщение М.Я. фон Фока Бенкендорфу от 14 августа, что письмо Рылеева «со старанием» распространяется на станциях по пути следования декабристов в Сибирь. Возможно, с ним был знаком и В. Розалион-Сошальский, имевший связи в Петербурге, что и могло подать идею написать памфлет «Рылеев в темнице».

[23] *Сергиенко Г.Я.* Общественно-политическое движение на Украине... С. 292.

[24] Декабристы. Поэзия, драматургия, публицистика... С. 604.

[25] См. об этом: *Гофман В.* Литературное дело Рылеева // *Рылеев К.Ф.* Полн. собр. стихотворений / Библиотека поэта. Большая серия. Л., 1934; *Гуковский Г.А.* Пушкин и русские романтики. М., 1965; *Гинзбург Л.* Русская поэзия 1820–1830-х годов // Поэты 1820–1830-х годов / Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Л., 1972.

[26] *Пиксанов Н.К.* Дворянская реакция на декабризм. 1825–1827 // Звенья. М.; Л. 1933. С. 145.

[27] Там же. С. 151.

[28] Там же. С. 163.

[29] *Герцен А.И.* Соч. В 9 т. Т. 4. М., 1956. С. 57.

[30] *Пиксанов Н.К.* Указ. соч. С 164, 165.

[31] См.: *Рылеев К.Ф.* Полн. собр. соч. М.; Л.: Academia, 1934. С. 517–521 и примечания к ним.

[32] В.И. Маслов насчитывает около двух десятков таких отзывов (*Маслов В.И.* Указ. соч. С. 5).

[33] *Сергиенко Г.Я.* Пропаганда идей декабристов... С. 79.

[34] *Он же.* Общественно-политическое движение на Украине... С. 298; *Он же.* Автореферат. С. 18; *Он же.* Декабристы и их революционные традиции на Украине. Киев, 1976. С. 155.

[35] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 10 т. М., 1962. Т. 1. С. 340. Написанное в 1818 г. впервые опубликовано в «Соревнователе просвещения и благотворения» в 1819 г. (№ 10). Об обстоятельствах появления стихов см.: *Пущин И.И.* Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 37, 50; *Шебунин А.И.* Пушкин и «Общество Елизаветы» // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.; Л., 1936. С. 53–90. Г.Я. Сергиенко характеризует его как «прекрасное революционное стихотворение» (*Сергиенко Г.Я.* Общественно-политическое движение на Украине… С. 49).

[36] *Рылеев К.Ф.* Полн. собр. соч. С. 89–90. Примеч. С. 523–534. Это – первое «гражданское» произведение Рылеева, напечатано в 1820 г. а журнале «Невский зритель» (Т. VI. Кн. X. Стихотворения. С. 26–28). Текст обнаруженного у Ландсберга списка грешит неточностями, имеются и пропуски, разночтения с авторским оригиналом.

[37] Воспоминания братьев Бестужевых. Пг., 1917. С. 11.

[38] Название оригинала – «К друзьям в Кишинев» (*Раевский В.Ф.* Полн. собр. стихотворений / Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Л., 1967. С. 151–

155. Примеч. С. 240–241. Текст, найденный у Ландсберга, в основном идентичен оригиналу.

39 *Сергиенко Г.Я.* Автореферат. С. 16.

40 *Он же*. Пропаганда идей декабристов... С. 78.

41 ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 42. 52; ЦГВИА. Ф. 36. Оп. 5/848. Св. 30. 1827 г. Д. 14. Л. 6.

42 Там же; ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 54.

43 «Высочайшее соизволение» было получено 23 апреля 1828 г. (ЦГВИА СССР. Ф. 36. Оп. 5/848. Св. 30, 1827 г. Д. 14. Л. 10, 12).

44 Там же. Ф. 395. Оп. 85. 2 отд. 3 стол. 1830 г. Д. 890.

45 Ср. утверждение Г.Я. Сергиенко о том, что он был отправлен в Действующую армию на Кавказ (*Сергиенко Г.Я.* Общественно-политическое движение на Украине... С. 54).

46 ЦГВИА СССР. Ф. 801. Оп. 93/39. 3 стол. 1 отд. 1828 г. Св. 686. Д. 11.

47 Например, М.А. Цявловский писал, что о Сиянове «ничего неизвестно, кроме того, что он в августе 1827 г. жил в Петербурге, состоя в чине ротмистра старшим адъютантом Главного штаба по военному поселению» (Указ. соч. С. 79).

48 ЦГВИА СССР.. Ф. 395. Оп. 83. 2 отд. 1828 г. Д. 500; Оп. 22. 1833 г. 1 отд. 2 стол. Д. 1088.

49 Ср. утверждение Г.Я. Сергиенко о том, что «28 января 1827 г. в дом Балабухи ворвались жандармы, учинили обыск, а потом допрос» (*Сергиенко Г.Я.* Общественно-политическое движение на Украине... С. 50–51).

50 ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 51; *Мияковский В.* Отклики в Харькове и Киеве на смерть Рылеева (дело Ландсберга и Балабухи 1827 года») // Украина. 1925. Кн. 6.

51 Под первым стихотворением имеется в виду послание «К друзьям в Кишинев» В.Ф. Раевского; второе не идентифицируется; третье, по всей вероятности, пушкинское «Деревня», написанное в 1819 г. и распространявшееся в списках; последнее – не дошедшее до нас творение В. Розалион-Сошальского.

52 Своекоштный студент С. Стишинский окончил юридическое отделение университета и в 1827 г. получил кандидатскую степень (*Багалей Д.И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 2. Харьков, 1904. С. 877).

53 Драматизируя ситуацию, Г.Я. Сергиенко пишет, что полицмейстер и стряпчие «ворвались в квартиру Бутовского». На документы, конечно, ссылок нет (см: *Сергиенко Г.Я.* Общественно-политическое движение на Украине... С. 53).

54 На л. 116 архивного дела содержится рукописная копия нигде ранее не публиковавшегося варианта известного стихотворения «Решительный вечер» под измененным названием – «К любезной». Как устанавливается, вариант ближе всего к первой редакции стихотворения, опубликованного в авторском издании 1832 г., а затем с незначительными изменениями воспроизведенного в «Русской балерине» (1837. Т. 56. С 472). Предположительно, оно датируется 1818 г.

55 Переводы из Корана, подражания Корану – весьма распространены и популярны после выхода первых пушкинских «Подражаний» в 1826 г. Для них, как правило, выбирались те суры, которые позволяли обратиться к злободневным темам современной общественной жизни – о социальном неравенстве, о торжестве справедливости, о грядущем наступлении утопического «золотого века» и т.д.

[56] Первое стихотворение написано в 1819 г., второе – после смерти Наполеона (1821). Впервые были напечатаны в сборнике «Стихотворения Александра Пушкина» (СПб., 1826) с большими цензурными купюрами.

[57] Первое стихотворение при жизни поэта не публиковалось, но широко распространялось в списках. Написано в 1822 г. и не содержит ничего предосудительного. Второе напечатано в «Сыне Отечества» в 1821 г. (№ 23) и в сборнике стихотворений 1826 г. Третье под таким названием в творческом наследии поэта не значится.

[58] Как докладывал С. Дуров, «прочие же тетради писанные, числом 123, 48 печатных книги, несколько рукописных лоскутков… да сверх того 30 собственных его сочинений в стихах и прозе, а восемь – им выписанные из книг разных авторов, не заключающие в себе ничего подозреваемого или противного нравственности», были ему возвращены «за росписью» (*Мияковский В.* Указ. соч. С. 68).

[59] То, что Новиков запамятовал настоящее имя (Дмитрий) Бутовского, отнюдь не свидетельствует о тесном или длительном характере их общения.

[60] Даже если Новиков и лукавил, то на это официальные власти не обратили внимания и не настаивали на том, чтобы он постарался вспомнить, – в том не было нужды.

[61] Текст стихотворения в деле отсутствует, личность «Ивана Иванова» следствие не стало устанавливать.

[62] Альфонс Мари Луи де Ламартин – французский политический деятель, историк, поэт-романтик. См. о нем: Писатели Франции / Сост. В.Г. Эткинд. М., 1964; *Обломиевский Д.Д.* Французский романтизм: Очерки. М., 1947.

[63] «Рукопись на синей бумаге» – не привлекший внимание следователей список нескольких глав «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Радищева. Подробнее см.: *Рахматуллин М.А.* Неизвестный список «Путешествия из Петербурга в Москву» // ВИ. 1986. № 6. С. 168–170.

[64] *Багалей Д.И.* Указ. соч. Т. 2. С 877, 984.

[65] *Сергиенко Г.Я.* Автореферат. С. 16; *Он же*. Декабристы и их революционные традиции... С. 158 и др.

[66] *Сергиенко Г.Я.* Общественно-политическое движение на Украине... С. 54.

[67] *Герцен А.И.* Собр. соч. В 9 т. Т. 4. М., 1956. С. 146.

[68] См.: Отчет Императорской публичной библиотеки за 1903 г. Пг., 1910. Приложение: Опись бумаг Н.К. Шильдера, поступивших в Императорскую публичную библиотеку. С. 64.

[69] *Цявловский М.А.* Указ. соч. Отметим, что в названном выше труде Д.И. Багалея (Т. 2. С. 984) содержится упоминание об обыске у студента Зеленского и перечень найденных у него бумаг.

[70] *Мияковский В.* Указ. соч.

[71] *Пиксанов Н.* Указ. соч. С. 137–138.

[72] Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. С. 603–604. Для последнего утверждения основанием, видимо, послужила неудачно построенная фраза из показаний В. Розалион-Сошальского: «Кроме сих стихов он еще написал небольшую пьесу в альбом студенту... Рожнову, которому, однако же, прочих сочинений не сообщал; да они даже написаны после отъезда его в имение, состоящее в Екатеринославской губернии». Слово «его» относится здесь к Рожнову, а не к Розалион-Сошальскому, как посчитал Вл. Орлов.

[73] Декабристы. Поэзия, драматургия... С. 603–604.

[74] Там же.

[75] ЦГВИА СССР. Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 25. Д. 438. Л. 16–18. По документам прослеживаются и его житейские связи с декабристами: из рапорта от 23 июля 1826 г. генерал-квартирмейстеру 2-й армии генерал-майору Хоментовскому узнаем, что из причитавшегося поручику И.Б. Аврамову (осужден по VII разряду) жалованья за январскую треть 1825 г. был вычтен долг его (82 руб.) поручику А.Г. Розалион-Сошальскому (ЦГВИА СССР. Ф. 14057. Оп. 14/185а. Св. 37. Д. 11. Л. 19). Известен своими бесхитростными воспоминаниями о русско-турецкой войне (Записки русского офицера, бывшего в плену у турок в 1828 и 1829 годах // Военный сборник. 1858. Т. 3. № 5. С. 173–220; № 6. С. 351– 386; Т. 4. № 7. С. 17–34) и Харьковском университете в годы своей учебы там в 1814–1816 гг. (Харьковские губернские ведомости. 1869. № 43–44).

[76] *Окунь С.Б.* Очерки истории СССР. Вторая четверть XIX в. Л., 1957. С. 313–314; *Федосов И.А.* Революционное движение в России во второй четверти XIX в. Революционные организации и кружки. М., 1953. С. 38–39. См. также неведомо на чем основанное утверждение Л.А. Мандрыкиной о том, что В. Розалион-Сошальский был привлечен к следствию «за написание стихов, посвященных Рылееву», а также о том, что «офицер Сиянов» и «приятель Пушкина, Р.И. Дорохов, распространяли стихи Рылеева среди студентов» (*Мандрыкина Л.А.* После 14 декабря 1825 г. (Агитаторы конца 20-х – начала 30-х годов) // Декабристы и их время. Материалы и сообщения. М.; Л., 1951. С. 231).

[77] *Сергиенко Г.Я.* Автореферат. С. 17, 18; *Он же.* Пропаганда идей декабристов. С. 84; *Он же.* Общественно-политическое движение на Украине... С. 49, 54–55.

[78] *Он же.* Общественно-политическое движение на Украине... С. 55.

[79] *Он же.* Пропаганда идей декабристов.. С. 84.

[80] ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 58.

[81] В частности, Чулков был направлен в сл. Васильевка Лебедянского у. для «отобрания секретнейшим образом» у Н.П. Богаевского «зловредных сочинений и стихов» (ЦГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 3, 1827 г. Д. 6501. Л. 41).

[82] *Сергиенко Г.Я.* Пропаганда идей декабристов... С. 82. Ср.: ЦГАОР СССР. Ф. 109. I эксп. 1826 г. Д. 126. Л. 29 об., 32, 41, к которым он отсылает доверчивого читателя и где этого просто-напросто нет.

[83] *Он же.* Декабристы и их революционные традиции... С. 158.

[84] *Он же.* Общественно-политическое движение на Украине... С. 53.

[85] *Фризман Л.* Обычное дело // Прометей. Вып. 13. М., 1983. С. 332–337.

[86] См. сноску 1. Традиционную трактовку дела Ландсберга с существенными фактическими неточностями воспроизводят П.Я. Лещенко (*Лещенко П.Я.* Из литературной жизни Харькова в начале XIX века / Труды Харьковского гос. пед. ин-та. Сер. филологии. Т. 31. 1958. С. 203–213 (на укр. яз.) и И.Я. Лосиевский (*Лосиевский И.Я.* К истории создания первого нелегального очерка о К.Ф. Рылееве // Освободительное движение в России. Вып. 12. Саратов, 1989. С. 11–21), хотя соображения последнего о возможном влиянии на содержание сочинения «Рылеев в темнице» бывшего сослуживца Рылеева по армейской службе А.И. Коссовского заслуживают внимания.

[87] *Сергиенко Г.Я.* Автореферат. С. 5 (то же он повторяет и в других своих работах).

[88] *Багалей Д.И.* Указ. соч. Т. 2. С. 857.

[89] Там же. Т. 1. С. 754.

[90] *Герцен А.И.* О развитии революционных идей в России // *Герцен А.И.* Собр. соч. В 30 т. Т. 7. М., 1956. С. 198.

[91] *Пыпин А.Н.* Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1900. С. 425.
[92] ВД. Т. XIV. М., 1976. С. 190. См. также совпадающие свидетельства декабристов В.А. Дивова, П.А. Бестужева (Там же. С. 307, 326).
[93] *Довнар-Запольский М.В.* Идеалы декабристов, М., 1907. С. 288–289.
[94] *Пыпин А.И.* Указ. соч. С. 459.
[95] *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 41.
[96] *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М.; Л.: Academia, 1930. С. 434: см. также с. 431.
[97] Там же. С. 517.
[98] *Пыпин А.Н.* Указ. соч. С. 425.
[99] Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799–1826). Т. 2. М., 1899. С. 393.
[100] Московские ведомости. 1818. № 29; Северная почта. 1818. № 26.
[101] См.: *Шильдер Н.К.* Император Александр I. Его жизнь и царствование. Т. IV. СПб., 1898. С. 92–98; *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 157 и сл.
[102] Граф А.Х. Бенкендорф о России в 1827–1830 гг. Ежегодные отчеты III Отделения и корпуса жандармов // КА. 1929. Т. 6. С. 149–150.
[103] ИССР. 1972. № 6. С. 174–176. Автор небольшой рецензии на эту же книгу Н.Н. Лысенко, помещенной в украинском журнале «Архіви Україна», не вдаваясь в детали, также считает, что в соответствующей главе Г.Я. Сергиенко «глубоко раскрывает проникновение революционных взглядов декабристов во все более широкие круги дворянской и разночинной молодежи» (1971. № 6. С. 97).
[104] Ср. с содержанием недавно опубликованного трехтомного сборника документов «Кирилло-Мефодиевское общество» (Киев, 1990. На укр. яз.).
[105] Украинский исторический журнал. 1972. № 2. С. 145, 146.
[106] *Дьяков В.А.* Освободительное движение в России. 1825–1861 гг. М., 1979.
[107] Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 1. От предшественников декабристов до конца «Народной воли». Ч. 1 (до 50-х гг. XIX в.) / Сост. А.А. Шилов и М.Г. Карнаухова. М., 1927.
[108] Там же. С. XXI.
[109] *Дьяков В.А.* Освободительное движение в России. С. 41, 42.
[110] Там же. С. 90.
[111] Там же. С. 173.
[112] *Сергиенко Г.Я.* Декабристы и их революционные традиции... С. 158.
[113] *Он же.* Пропаганда идей декабристов... С. 78; *Он же.* Автореферат. С. 19.
[114] См., напр.: *Лемке М.К.* Тайное общество братьев Критских // Былое. 1906. № 6; *Эйхенбаум Л.А.* Тайное общество Сунгурова // Заветы. 1913. № 3, 5.
[115] *Мандрыкина Л.А.* Отзвуки восстания декабристов в народных массах (конец 20-х годов XIX в.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1958. С. 6.

Губернаторы и губернаторство в России. 1826–1855 гг. (Обзор литературы)*

Обращение к обозначенной в заголовке теме во многом обусловлено повысившимся в последнее десятилетие вниманием широкой общественности к вопросам управления, поисками и на самых высоких политических уровнях наиболее рациональной системы местного управления, наиболее целесообразного распределения властных полномочий между центральными и местными органами власти. Естественно, получить сколько-нибудь удовлетворительные ответы на неизбежно возникающие вопросы по ходу создания новой системы невозможно без учета исторического опыта строительства и эволюции управленческих структур в дореволюционной России.

Хронологические рамки предлагаемого обзора ограничены царствованием Николая I, на время правления которого пришлись наиболее значимые после екатерининского «Учреждения о губерниях» 1775 г. и так называемых министерских реформ 1802–1811 гг. преобразования в сфере административного устройства страны. В комплексе этих преобразований особое место занимает по личной инициативе Николая I принятый «Общий на-

* Рукопись из личного архива автора. Подготовлена для публикации в ОИ в 1997 г. – *Прим. сост.*

каз гражданским губернаторам» от 3 июня 1837 г.[1]. Именно в нем наиболее последовательно были реализованы заложенные в министерских реформах начала XIX в. принципы организации управления на началах твердой регламентации полномочий всех звеньев аппарата, а также прав и обязанностей его конкретных представителей. Пожалуй, едва ли не общим местом в дореволюционной отечественной литературе является мнение, что именно в этом Наказе окончательно и четко было определено место губернаторской должности в двояком ее значении – как носителя функций непосредственного управления губернией и высшего местного надзора за органами управления. Для адекватного представления о месте и значении николаевского Наказа гражданским губернаторам в системе законодательных мер правительства в административно-правовой сфере деятельности стоит напомнить, что он почти в первозданном виде вошел в «Свод законов Российской империи» 1857 г., действовавший и в последующие десятилетия[2].

Стремление Николая I к объективно оправданному в тех конкретно-исторических условиях жесткому упорядочению существовавшей государственной системы нашло отражение и в осуществленной в годы его правления кодификации законов. Важность этого мероприятия не подлежит сомнению, если учесть, что изданные при считавшимся действующим Соборном Уложения 1649 г. многочисленные законы, указы, уставы и прочие юридические нормативные акты, часто противоречившие друг другу, не были систематизированы и потому создавали в правовом пространстве России подлинный хаос. Задача ликвидации сложившегося положения была возложена на учрежденные в 1826 г. II Отделения с.е.и.в. канцелярии, а фактически – на М.М. Сперанского. Реальный результат целого этапа работы не замедлил сказаться: к 1830 г. было подготовлено и издано 45 томов «Полного собрания законов Российской империи», вобравших в себя все законодательные акты с 1649 по 1825 г. Тогда же была начата публикация второго собрания ПСЗ, в который были включены законы, изданные уже при Николае I. Не менее значимым явлением в те же годы стало составление и издание систематического Свода законов, 15 томов которого содержали все акты действующего законодательства. Выработанные в них более четкие формулировки и более точные, чем в применявшихся законах, определения сводили к минимуму возможность неоднозначного или расширительного их толкования.

Хотя, справедливости ради, стоит привести и мнение части специалистов, считавших, что в первоначальном виде «Свод законов» представлял «какую-то вакханалию законодательства, вторгавшегося своими подробными велениями в такие области, где, казалось бы, немыслима никакая регламентация, а тем более законодательная»[3]. Но это стремление к всеохватной регламентации жизни общества уже, кажется, общая черта российской государственности на всех этапах ее истории.

* * *

Первое монографическое исследование по теме обзора увидело свет в 1864 г. Это небольшое по объему сочинение известного в тот период правоведа И.Е. Андреевского[4]. Появление работы имело важное значение в условиях начала практической реализации намеченных реформ: содержание книги определялось необходимостью тщательного изучения истории отечественного законодательства в области управления для определения главных ориентиров дальнейшего направления его развития. Именно эту задачу и поставил перед собой автор, специально отметив в предисловии, что «изучение всех начал и сторон бывшего до сих пор местного управления в России имеет глубокий теоретический и современный интерес». Имея в виду только что принятое «Положение о земских учреждениях» (1 января 1864 г.), он увлеченно, вполне в духе ожидаемых перемен к лучшей жизни, отмечает, что оно должно внести новые элементы в губернское управление, видоизменить суть должности губернатора, преобразовать его «в иной, новый тип местного администратора». Каковы же результаты исследования? Основной вывод к тому времени уже не отличался большой оригинальностью и состоял в том, что должность губернатора находится в исторической связи о должностями воеводы и наместника. По его мнению, это «три однородные должности, принадлежащие трем разным периодам истории». Каждая из них, заключает исследователь, абстрагируясь от петровских заимствований западных образцов, находилась в тесной связи со всем, как местным, так и общегосударственным управлением. Причем, избрав предметом рассмотрения только эту, изменявшуюся по названию административную должность, Андреевский счел достаточным ограничиться лишь указанием на тесную связь ее с другими структурами управления, особо не вдаваясь в конкретные условия и детали их сложного сосуществования. Анализ каждой из названных трех должностей он преимущественно ограничил рассмотрением определяемого законодательством официального круга их обязанностей и прав по военному, финансовому, хозяйственному управлению, деятельности в области обеспечения благосостояния граждан и их безопасности, по части судебной и пр. Тем самым весь труд является собственно добросовестным разысканием рассеянных по многочисленным изданиям постановлений и указов, определявших права и обязанности органов местного управления и первой попыткой их систематизации.

Такой подход к решению проблемы характеризуется отстраненностью от конкретного рассмотрения того, как именно проявлялась деятельность воевод, наместников и губернаторов в реальной действительности и находит у автора свое веское обоснование: со времени утверждения в России единовластия общество, молчаливо соглашаясь с правилами игры власти, не только не принимало никакого участия в государственных делах, но не проявляло и видимых признаков стремления к участию в них. И именно потому верховная власть смогла сосредото-

чить в своем ведении не только органы местного административного управления, но и осуществлять свой собственный надзор над их деятельностью. Отсюда вытекает одно из ключевых положений работы: с созданием в стране института губернаторства предпринимавшиеся попытки «провести во все управление государственные начала, отделить от администрации суд, поставить управителей на надлежащие основания государственной ответственности – встретили неодолимые препятствия в самых условиях общественной жизни... Заключая в себе сильный процент начала рабства и крепости, общество не в состоянии было принять какое-либо участие в государственных делах... Последствием такого положения явилось желание правительства взять все заботы относительно развития общества на себя, устроить жизнь общества по-своему и, не обращая внимания на равнодушие общества, вести его к счастию и развитию во что бы то ни стало». И заключительный вывод, предопределенный обрисованной ситуацией: «Губернаторы... выражая в круге своих обязанностей это стремление правительства доставить обществу такое искусственное развитие и благосостояние могут выполнять возложенные на них обязанности только формально, неудовлетворительно»[5]. Да и могло ли быть иначе, если к середине XIX в. начавшееся со времени правления Екатерины II активное устроение губернаторского управления мало-по-малу достигло того, что все ветви губернской администрации сосредоточились в руках начальника губернии, когда он имел в своем ведении всю правительственную часть в губернии, надзор за присутственными местами, всю полицию, бóльшую часть финансового управления, уголовного суда и более чем пристрастное наблюдение за действиями гражданского судопроизводства.

Основной вывод автора был достаточно смел даже для поры расцвета гласности: «несмотря на разграничения, сделанные в законах, и формально – в структуре управления между функциями местной администрации, полиции и судебными органами, в распределении прав и обязанностей, как бы уже по обычаю они соединялись в руках губернатора, как всесильного начальника губернии». Следовательно, ни о каком разделении властей в реальной жизни и речи быть не могло.

В том же 1864 г. появившаяся книга А.В. Лохвицкого[6] также была вызвана к жизни повышенным интересом в обществе периода реформ к вопросам внутренней политики, особенно когда стало проводиться в жизнь «Положение о земских учреждениях», когда была обнародована судебная реформа, заметно расширявшая значение земских собраний, когда появились и другие законодательные акты, имевшие прямое отношение к судьбе местных органов управления. Поэтому труд Лохвицкого, призванный удовлетворить потребности широкой общественности, представляет собой, скорее, развернутый общеисторический очерк, вводящий читателя в суть в какой-то мере внезапно возникших перед обществом новых проблем управления. Очерковый характер издания определяется и самой структурой книги. Так, одна из глав ее посвящена истории губерний от времени их возникновения до екатерининского

«Положения о губерниях» 1775 г. В другой главе содержатся достаточно подробные сведения об органах управления губерниями, о развитии их функций и, что немаловажно – в сравнении с системой местного управления в западноевропейских странах. Отдельное место отведено характеристике губернии как территории с не очень убедительными суждениями о «наиболее целесообразном объеме территории и количестве населения». О степени содержательности этой части книги дает представление такое, например, слабо аргументированное заключение автора: «в наше время едва ли можно полагать нормальное число людей менее 4 миллиона»[7]. Что же касается определенной Екатериной II начальной численности губерний России, то автор без достаточных на то оснований восхищается «мудростью императрицы», считавшей, что «дабы губерния порядочно могла быть управляема, полагается в оной от 300 до 400 000 душ» (мужского пола, следовательно, от 600 до 800 тыс. жителей всего). Любопытно, что здесь же приводится и перечень губерний с обозначением числа жителей в них и, как оказалось, жизнь начисто опровергла немецкой пунктуальности расчеты императрицы. И потому прав был, пожалуй, А.Д. Градовский, когда позднее, на основе последовательного рассмотрения эволюции административного устройства России делал вывод о том, что «деление империи на губернии и области представляется искусственным, механическим»[8].

В книге специальное внимание уделено характеристике земских учреждений в сравнении с аналогичными структурами стран Запада. Причем автор рассматривает дворянство «как правительственный и земский класс», уверенно провозглашая выдающуюся роль его в жизни страны. Именно это свое заключение он проецирует на детально разбираемое им «Положение о губернских и земских учреждениях», с концентрацией внимания на главном, на его взгляд, вопросе децентрализации власти. Наконец, в главе, отведенной представлению всей системы губернских правительственных учреждений, автор осуществляет постатейное разъяснение содержания «Учреждения о губерниях» 1775 г. и приводит сведения о последующих важнейших изменениях тех или иных статей его. В целом книга давала достаточно полное и объективное представление о предмете и была способна поддержать интерес к теме. На большее, пожалуй, не рассчитывал и сам автор, отказавшийся и от строгой критики сложившейся системы местного управления, и от показа практики ее функционирования, а также от каких-либо рекомендаций по ее усовершенствованию, разделяя, как можно понять из контекста работы, довольно распространенное мнение, что «одноличная власть губернатора осталась самой популярной в народе из всех губернских властей»[9].

Бесспорно заметным явлением для своего времени был выход в свет (после значительного перерыва) книги чиновника особых поручений при министре внутренних дел Е. Анучина[10]. Особый вес работе придавало то обстоятельство, что в ней впервые были широко использованы дела, непосредственно относящиеся к устройству административно-по-

лицейских учреждений, выявленные» для нужд образованного в 1870 г. Особого совещания при Комиссии о губернских и уездных учреждениях. Причем подробному анализу подверглись не только уже состоявшиеся преобразования, но и все сколько-нибудь значимые проекты неосуществленных реформ (в том числе и из богатейшей коллекции документов, находившихся на рассмотрении Комитета от 26 декабря 1826 г., в работе которого, как известно, деятельное участие принимал и Сперанский). Здесь важно подчеркнуть последовательно реализованное в книге авторское кредо – «относиться совершенно безразлично ко всем мнениям по рассматриваемому вопросу, как бы противоположны они не были»[11].

Хотя Е. Анучину, конечно же, было известно, что возникновение губерний восходит к Петровскому времени, исходной точкой своего труда он, в соответствии о мнением упомянутого выше Особого Совещания, принял екатерининское «Учреждение о губерниях», положившее «прочное основание административному разделению России». Согласно программе работы Комиссии о губернских и уездных учреждениях, свое историческое обозрение Е. Анучин разделил на три отдела: губернские административно-полицейские учреждения; уездные административно-полицейские учреждения; наружная полиция. О том, что из себя представляла обозначенная им «наружная полиция» становится ясно из последующего деления ее на сельскую полицию, полицейские команды и городскую полицию. По всем названным сюжетам исследователь, на основе впервые в таком объеме вводимого в научный оборот архивного материала, а также широкого использования законодательных актов из ПСЗ и литературы (правда, весьма скудной), дает основательное и ясное понятие об истории местных учреждений и в конечном счете приходит к главному своему выводу – начиная с Петра I и до конца 60-х годов XIX в. основы всех преобразований местных учреждений заимствовались из опыта западноевропейских стран в этой области. Активное же вмешательство правительства в данную сферу управления преследовало, с одной стороны, цель развития местных правительственных учреждений за счет ограничения функций центральных властных структур, с другой – введения в них коллегиальной формы управления. При этом предполагалось и постепенное освобождение всей судебной и хозяйственной части из-под непосредственного влияния администрации. Естественно, все это было невозможно без «насаждения элементов самоуправления», под которыми автор в историческом плане имел в виду ландраты Петра I, попытки создания сословных учреждений при Екатерине II и т.п. Но все это, по автору, большей частью осталось благими нереализованными намерениями.

Основные трудности решения этих задач, причины незавершенности реформаторских начинаний были, как считает Е. Анучин, приложением к реальной российской действительности не единых целостных систем, а лишь отдельных элементов из законодательства различных государств, нередко даже без отмены ранее действовавших зако-

нов, ни в малой степени не согласующихся с новоучрежденными. Вследствие этого происходило неорганичное соединение разных начал в местных и центральных учреждениях без взаимного их согласования между собой (наиболее показательный пример тому никем не отмененные положения «Учреждения о губерниях» 1775 г. и новые юридические акты, принятые в связи с учреждением министерств).

Большие затруднения в реализации реформаторских начинаний создавали попытки разрешения второстепенных вопросов, не затрагивая при этом основных, к тому же делалось это без должной теоретической основы. Немалый ущерб приносила и разобщенность в действиях центральных и местных учреждений, неравномерное распределение денежных средств между ними, стремление каждого из них к расширению круга своих прерогатив и объема власти и, как следствие всего этого, хронический антагонизм, противостояние.

Ощутимый урон приносило и чисто формальное применение коллегиального начала, без придания коллегиям должной самостоятельности, базирующейся на твердой правовой основе. В качестве примечательного примера автор ссылается на резкое падение значения Губернского правления.

К сожалению, как выясняется из ознакомления с последующей литературой, результаты исследования Е. Анучина редко-редко учитывались специалистами и далеко не все его оценки и наблюдения привлекли должное внимание других авторов.

Следующим, кто более или менее основательно затронул вопросы губернского управления, был представитель провинциальной интеллигенции – ярославский профессор И.И. Дитятин[12]. В своей объемной книге, вышедшей уже на излете реформаторских возможностей государства, он дал высокопрофессионально исполненный исторический очерк развития городского устройства и управления, другими словами, историю общегородских выборных учреждений, определил систему их организации и функции от царствования Павла I до введения Городового положения 1870 г. Автор подробно и обстоятельно рассматривает отношение к различным городским учреждениям не только губернаторов, но и стоявших над ними генерал-губернаторов, чья деятельность в трудах других исследователей как бы оставалась в тени. Что же касается главного содержания книги – вопросов самоуправления, то в работе дается конкретное, основанное на фактическом материале, подтверждение тезиса труда И.Е. Андреевского о неспособности, инертности, нежелании общества участвовать в «государственных начинаниях». Из фондов архива МВД и Ярославского губернского архива И. Дитятин почерпнул массу трудноооспоримых фактов о том, что даже те лица, «в руках которых до конца 60-х гг. XIX в. находилось так называемое городское самоуправление, по уровню образованности, компетентности стояли на очень и очень низкой ступени... огромное большинство их не в состоянии было даже приспособиться к рутинному бюрократическому порядку вещей. Оно его не понимало и не в состоянии бы-

ло понять» [13]. Любая инициатива по вопросам совершенствования и укрепления органов городского самоуправления исходила только от правительственных структур, ибо только в правительственных сферах, заключал И. Дитятин, обнаруживались люди образованные, люди развитые, понимающие всю важность и необходимость для нормального развития городского самоуправления начал гражданственности. Основываясь на многочисленных, документально подтвержденных фактах, автор делает крайне прискорбный для «великой державы» вывод: «Даже лучшие представители общества... в тех случаях, когда к ним обращались за мнением по различным вопросам о самоуправлении, относились к делу как люди, видимо, очень мало в нем понимающие»[14]. Поэтому вполне закономерным и естественным выступает в таких условиях легкость и бесконтрольность сосредоточения всей реальной власти в губерниях в руках губернаторов, в большей своей части столь же малообразованных, сколь и своенравных.

Выпуск третий первого тома труда В.В. Ивановского был посвящен истории местных учреждений, хотя автора в большей мере занимает их современная организация[15]. Исходя из фактов, почерпнутых из литературы, и законодательного материала, содержащегося в ПСЗ, В. Ивановский решительно формулирует свой основной тезис, определивший его отношение к предыстории вопроса и приоритетное внимание к современности: «Весь период от смерти Екатерины II и до вступления на престол Александра II не предоставлял благоприятных условий для развития местного управления» и «вообще развитие административного строя в России идет как бы спорадически»[16].

На протяжении длительного периода административная жизнь, считал он, течет по раз выбранному руслу, не отступая от укоренившейся рутины. Предпринимавшиеся же время от времени меры, направленные к совершенствованию существовавших порядков, на его взгляд, были половинчатыми и уже по одному тому не были способны действительно улучшить ситуацию. Именно так обстояло дело и с преобразованиями Петра I, и с реформами Екатерины II, да и Александра I.

Точно так же он оценивает и предпринятые в первой половине XIX в. конкретные шаги в направлении реформирования местного управления, считая их случайными, паллиативными и в силу этого не способными радикально изменить сложившуюся систему. И только царствование Александра II представляется ему «выдающейся эпохой в отношении развития местных установлений и местного управления»[17].

Как-то так сложилось, что примечательный своей фактической наполненностью, документально и логически обоснованными оценками и взвешенной критикой исторический очерк Н.Ф. Дубровина о российской действительности начала XIX в. редко-редко привлекает внимание исследователей, а уж при разработке рассматриваемой темы и вовсе выпадает из поля их зрения[18]. Между тем автор на основе большого корпуса документального материала, мемуарных свидетельств современников и, пожалуй, в наиболее полном объеме привлеченной лите-

ратуры мастерски воссоздает картину жизни страны. И хотя труд Дубровина формально выпадает из хронологических рамок настоящего обзора, но не сказать о нем нельзя, ибо он во многом определил позднейшие принципиально важные подходы к освещению темы. Так, специальные разделы очерка отведены раскрытию законодательной практики правительства, выявлению корней поразившего страну с начала нового столетия «всеобщего лихоимства», показу безобразного состояния суда и унизительному положению судей, описанию нищенских условий быта и службы низшего звена чиновничества – различного рода секретарей, повытчиков, приказных, подьячих. Вывод же из его наблюдений мрачен и откровенен: «Бедному человеку жить покойно было почти невозможно, а богатый мог делать все, что ему угодно» и «в тогдашней жизни не существовало ни суда общества, ни стыда, ни ответственности перед законом». Именно тогда (в начале XIX в.) современники, в соответствии с реалиями жизни, стали так определять суть законов и правосудия: «Закон – дышло, которое, куда захочешь, туда и повернешь»[19].

Специальный раздел очерков Н. Дубровин отвел и анализу практической деятельности губернской администрации – от губернатора и прокурора до стряпчего в уезде, предельно обнаженно раскрыв весь их набор злоупотреблений и самоуправства. Итог его исследования краток и ясен – губернатор направлял дела как хотел, ни губернский предводитель, ни дворянское собрание, которые хоть в какой-те мере могли противостоять этому произволу, не получали от губернского правления не только издаваемых для «всенародного известия» указов, но даже и тех, которые приобретали силу закона. Во всех звеньях аппарата местного управления по настоящему заботились только о двух вещах – сохранении сложившегося громоздкого бюрократического порядка в делопроизводстве и извлечении из этого максимально возможных материальных выгод. Ни о каком-либо стремлении к «общему благу» не могло быть и речи.

Что касается собственно корпуса губернаторов, то Н. Дубровин впервые в литературе на конкретных примерах показал безудержный размах злоупотреблений этих «блюстителей» закона. По всей стране в первое десятилетие XIX в. он среди губернаторов обнаружил лишь четверых, «заслуживающих уважение и благодарность современников, приносящих пользу Отечеству»: пермского, вятского, казанского и нижегородского. Тем самым мысль Н.М. Карамзина о 50 «хороших» губернаторах, способных кардинально изменить жизнь страны, изначально была чистейшей воды утопией. Реальная ситуация была иной. «Деньги, протекция и покровительство знатных лиц, – пишет Н. Дубровин, – сильнее правительственной власти, сильнее закона»[20].

Конкретную картину деятельности губернаторов автор показывает главным образом на материалах сенаторских ревизий, результатом которых было единодушное мнение ревизовавших лиц об отсутствии должного надзора как едва ли не единственной причины процветания

злоупотреблений. Прокуроры, наделенные этим правом по закону, вместо неукоснительного выполнения своей основной надзорной функции, тоже своевольничали, более того, из корыстных побужденний ябедничали на губернаторов, умножая тем расстройство в управлении. Многие прокуроры, как показано в очерке, имели значительные выгоды и от своей умышленной не деятельности, собирая таким способом значительные состояния.

Н. Дубровин, пожалуй, смело для своего времени делал заключительный вывод о порочности вообще всей системы губернской администрации, о несбывшихся надеждах если не на уничтожение, то ограничение злоупотреблений с восшествием на престол Александра I, об общей беззащитности и общества и отдельной личности, об отсутствии эффективной правительственной власти на местах. Кажется, ни до него, ни после, никто из дореволюционных исследователей не решался на такие резкие обличения и на такие негативные оценки системы местного управления в России в «благословенные» годы правления Александра I.

Суть губернаторской должности, как органа надзора по действующему законодательству, специально рассматривается известным правоведом В.М. Гессеном[21]. Предварив свой анализ небольшим вступлением с характеристикой принципов екатерининского законодательства, заложившего, по мнению автора, основы надзора как такового, далее он подвергает довольно беглому рассмотрению все последующее законотворчество в этой области и особое внимание уделяет комментированию николаевского «Общего наказа губернаторам» от 1837 г. В результате он выявляет одну бесспорную, на его взгляд, общую тенденцию, присущую времени правления Николая I, – усилить функции губернаторского надзора и сократить функции губернаторского управления. Именно в этом направлении В. Гессен видит целесообразность и возможность дальнейшего развития и реформирования губернаторской должности. Однако последующий анализ до- и пореформенного законодательства и практических результатов действия принятых установлений укрепляет исследователя в том мнении, что высшим органом активного управления на местах по-прежнему остается губернатор и только губернатор «о своем губернском правлении может сказать: губернское правление – это я»[22]. В необъяснимом о точки зрения здравого смысла совмещении в одних руках функций надзора и активного управления автор видит главное препятствие развития местного самоуправления: «Пока губернатор не будет освобожден от несвойственных ему функций активного управления, рознь между администрацией и самоуправлением... представляется неизбежным и неустранимым злом»[23].

В обширном трехтомном исследовании барона С.А. Корфа[24] первый том целиком посвящен очерку исторического развития власти надзора и административной юстиции в России, начиная от царствования Екатерины II и по начало XX в. (поясню, что «административная юстиция»

означает не что иное, как систему специальных органов по контролю за соблюдением законности в сфере государственного управления; как особая система сложилась во второй половине XIX в. в качестве необходимого элемента буржуазного правового государства). Автор в одной из глав дает последовательную историю губернских административно-судебных учреждений и законодательных изменений местных органов административной юстиции. Научное значение труда С. Корфа уже определялось новизной исследования и практическим отсутствием предшественников.

Труд основан на обширном круге как опубликованных, так и архивных (главным образом из фондов Государственного совета) источников. Автор впервые тщательно собрал и систематизировал практически весь матерная по происхождению и развитию административной юстиции в России. К числу несомненных достоинств работы надо отнести и стремление автора к объективности, несмотря на всю злободневность проблемы. Дело в том, что в первое десятилетие XX в., как никогда ранее, на первый план выдвинулась потребность в организованной защите личных и общественных прав граждан от массового нарушения их со стороны администрации, и в этих условиях повышенных государственно-правовых запросов общества естественно было бы соскользнуть на позиции субъективизма, исходя из своих политических или иных пристрастий. С бароном Корфом этого не случилось и ему удалось создать первый обобщающий труд на основе объективного анализа законодательного материала в строго хронологической последовательности. Можно, наверное, поспорить с автором по поводу правомерности отнесения начала развития власти надзора только ко времени царствования Екатерины II. Для прояснения сути сомнения скажем, что автор различает следующие виды надзора: политический надзор за целесообразностью деятельности высших органов управления; активный надзор высших инстанций администрации за низшими с правом исправления допущенных последними нарушений законов; пассивный надзор как высших, так и специальных органов надзора за законностью деятельности администрации с правом приостановки и отмены незаконных распоряжений; дисциплинарный надзор за должностными лицами в порядке их служебного подчинения. Однако хорошо известно, что применение надзора через Сенат, фискальные учреждения и прокуратуру именно в отмеченных направлениях было установлено и регламентировано еще Петром I. Автор аргументирует свой взгляд тем, что до Екатерины II требуемый государственными интересами уровень надзора был простонапросто невозможен в силу неразвитости соответствующих структур надзора и несовершенства самого механизма надзора. Объяснение же последнему он видел в том, что сама администрация империи получила вполне законченное оформление только после екатерининского «Учреждения о губерниях» 1775 г. Потому, все что было ранее в процессе зарождения и развития власти надзора, оставалось для него, как он пишет, «темной» в силу полной неизученности вопроса.

Строго различая надзор активный и пассивный, С. Корф тщательно прослеживает линии их развития и взаимодействия, причем пассивный вид надзора считает принципиально более близким к задачам административной юстиции. Но вопреки этому пассивный надзор так и не сыграл определяющей роли в становлении административной юстиции. Причину этого автор видит в том, что прокуратура, при Екатерине II наделенная функциями пассивного надзора, законодательно не была обеспечена независимостью от высшей губернской администрации. В результате прокуроры оказались фактически бессильны противостоять власти губернатора и осуществлять формально вверенный им контроль за законностью действий административных учреждений всех уровней. На практике чаще всего они вынуждены были придерживаться «системы невмешательства»[25]. В итоге активный надзор губернаторов к 60-м годам XIX в. окончательно поглотил пассивный надзор прокуратуры.

Труд С. Корфа по истории власти надзора несомненно был заметным вкладом в небогатую в ту пору историографию государственного и административного права. Он привлекает строгой документальностью, обстоятельностью анализа и обоснованностью выводов. Но он же четко показывает, что изучение развития власти надзора и административной юстиции должно основываться на базе исследования не одного только законодательства, но и административной практики. Только из всестороннего анализа последней можно будет точно установить наиболее целесообразное соотношение форм активного и пассивного надзора. Но эта задача для С. Корфа, предметом изучения которого являлся не отдельно взятый период, а вся история административной юстиции в целом, была просто непосильна. В результате общественность получила добротный очерк истории одного лишь законодательства по проблеме организации надзора и административной юстиции. Это был, так сказать, первый шаг в изучении темы. Второй же шаг в этом направлении, как представляется, так и не был сделан. Конкретная реализация законодательных мер правительства в сфере контроля над деятельностью административных учреждений (в том числе и на губернском уровне) осталась за пределами внимания и последующих исследователей.

Здесь следует сказать и о более ранней работе С. Корфа, посвященной обозрению исторического развития губернаторской должности в России от времени правления Петра I до Александра II[26]. На основе анализа имевшегося в его распоряжении довольно обширного круга законодательных материалов и проектов неосуществленных реформ автор впервые в литературе приходит к твердому выводу о том, что в царствование «реформатора» Александра I старания правительства к улучшению устройства местного управления носили всего лишь подготовительный характер, ни один из имевшихся планов не получил применения на практике и воплотиться им в форму законов было суждено только в следующее царствование при более решительном в действиях Николае I.

С.А. Корф, как и его предшественники, особое место (по значимости) отводит все тому же Наказу губернаторам 1837 г. Но исследователь также первым обратил внимание на следующий примечательный факт: несмотря на то, что ко времени издания Наказа в обществе и в некоторых кругах высшей власти уже достаточно четко осознавалась необходимость последовательного отделения функций надзора от административных и судебных, именно в нем было фактически закреплено их смешение[27]. Действительно, Наказ четко разделял функции губернатора на три равнозначимые части – он был представителем высшей власти и как таковой наделялся правом председательствовать в губернском правлении; он же являлся блюстителем порядка и законов, и для эффективного осуществления этой своей обязанности ему было дано право ревизий; наконец, губернатор – и местный администратор, под началом которого находились многочисленные комитеты, комиссии, распоряжение финансами, сбор налогов и пр. В целом С. Корф разделял мнение И.Е. Андреевского, что в Наказе был систематизирован весь разнообразный круг дел, подведомственных губернаторам по узаконениям прошлых царствований.

Обозревая фазы эволюции функций губернаторской должности, С. Корф несколько схематически рисует такую картину: в царствование Петра I губернатор являлся только администратором, с падением значения Сената при его преемниках к нему переходят и обязанности надзора. Екатерина II вновь попыталась отделить функцию надзора, предоставив ее наместнику, но то участие, которое принимал последний в делах управления, вновь привело к возрастанию его власти и к полному смешению этих двух совершенно различных и несовместимых функций. Наказ 1837 г. предоставил всю полноту надзора губернатору, но не освободил его от управления губернией.

Опубликованная в то же первое десятилетие XX в. двухтомная книга Н.И. Лазаревского была составлена из систематического курса лекций, прочитанных им на Высших женских курсах, и потому главная ее задача – служить пособием для слушательниц, в целом весьма далеких по своим интересам и увлечениям от скучных проблем истории государства и права[28]. Может быть поэтому Н. Лазаревский стремится изъясняться предельно просто, ясно и четко, но без ущерба содержанию предмета. В удовлетворительном решении этой достаточно сложной для данной темы дихотомии а состоит, пожалуй, несомненное достоинство его лекций и книги соответственно.

Во втором томе работы специальное место отведено истории местных учреждений, определению прав и обязанностей должностных лиц губернского управления в динамике (преимущественное внимание уделено второй половине XIX в. и современности). Широко используя работы своих предшественников, а в ряде сложных случаев проведя и собственный анализ важнейших законодательных актов, автор приходит к однозначному выводу о наличии в них логически несовместимых и противоречивых положений. Особенно это проявилось, на его взгляд,

в непоследовательной трактовке в законах персоны губернатора как должностного лица: то как личного представителя самодержца, то как чиновника МВД, то как главы исполнительного органа управления, то как органа политического надзора, административной юстиции и пр. Но недоумение ученого такой противоречивой трактовкой должности губернатора снимается довольно просто – никакими законами не было официально отменено определение губернатора как «хозяина губернии», данное еще в екатерининском «Наставлении губернаторам» 1764 г.

В целом же опубликованные лекции Н. Лазаревского представляют собой весьма квалифицированный, насыщенный и сравнительным материалом по ведущим странам Запада, обзор-анализ не только действующего законодательства, но содержат в себе и достаточно полные сведения об историческом прошлом.

Заслуживает быть отмеченной и работа И.М. Страховского, ввиду своей злободневности публиковавшаяся в трех номерах «Журнала министерства юстиции»[29], и самим автором отнесенная к сфере «прикладной «политики управления»; имеющей целью «выяснение главных оснований губернского устройства»[30]. Глухо звучавший в трудах других авторов той поры мотив о несовершенстве «губернского устройства» России здесь впервые приобрел громкое звучание. И. Страховский, на основе данных своих предшественников и собственных изысканий, приходит к твердому заключению: «На исходе двухвекового своего существования правительственная «губерния» находится в состоянии полного расстройства»[31]. Главные недостатки губернской структуры управления на всем его историческом протяженна заключались, по мнению исследователя, в нецелесообразном распределении обязанностей управления и в общем объективном условии – «нет людей», не из кого было выбирать, т.к. «за немногими случайными исключениями, строй провинциальной службы вообще не вырабатывает необходимых деятелей для сколько-нибудь самостоятельных степеней для службы в подведомственных губернатору учреждениях», т.е. людей, умевших «промышлять государевым делом»[32]. Этот свой вывод автор распространяет и на весь предшествующий период существования института губернаторства. Трудно сказать, в какой мере И. Страховский прав в своем заключении, ибо он, к сожалению, большей частью ограничивается констатацией этого факта и не опирается на систематизированный фактический материал. Оставляет он открытым и вопрос о причинах, приведших общество в такое состояние. Хотя одну из причин этого он и называет: «Все классы населения, одинаково устраняемые в течение долгого времени от всякого участия в государственной деятельности, потеряли драгоценный инстинкт государственности...»[33]

Наконец, в полный голос надо сказать о работах выдающегося ученого А.Д. Градовского, явно недооцененного в советской историографии. Из большого творческого наследия его в настоящем обзоре преимущественно речь пойдет о фундаментальном труде «Начала русского государственного права. Ч. III. Органы местного управления»[34], име-

ющем самое непосредственное отношение к нашей теме. Работа эта была завершена и издана самим автором в 1883 г. (в 1881 г. издание работы было осуществлено стараниями его студентов).

Для понимания многогранного творчества А. Градовского важно знать, что начало научной и общественной деятельности его падает на середину XIX в., на пору так называемых «великих» реформ. Молодой Градовский, захваченный потоком бурных событий, со свойственным ему увлечением спешит честно служить общему национальному делу обновления России своим талантом. Научная, преподавательская, общественная, публицистическая деятельность – вот сфера его интересов, где он последовательно и убежденно утверждает свои идеи и идеалы.

Среди бесспорно талантливо исполненных научных работ А. Градовского «Начала русского государственного права» занимают центральное место. Именно в этом капитальном труде в наибольшей мере обнаруживаются свойственные и другим его работам глубина мысли и обширная эрудиция человека, в равной мере хорошо знающего как историю, как теорию, так и практику российского и иностранного государственного права. Значение этого труда становится особенно очевидным, если принять во внимание, что до выхода его в свет в юридической литературе имелись всего две не доведенные до конца работы – названного выше И.Е. Андреевского и А.В. Романовича-Славатинского (работа последнего «Исторический очерк губернского управления» представляет собой краткий конспект его лекций в Киевском университете и ничем особенным не примечательна, чтобы здесь вести о ней речь подробно). По словам ученика Градовского Н.М. Коркунова, он свой труд неслучайно назвал «Началами» – он «действительно выясняет в ней основные начала русской государственной жизни» и «ставит вопрос нашего государственного устройства и государственного управления на ту почву, на какую ставит их современное состояние юридической науки на Западе... он первый в своей книге, не ограничиваясь историческими разъяснениями отдельных институтов, дал им теоретическое освещение, осмыслил их как *юридические* институты, а не только как исторические факты вообще»[35]. Говоря по-другому, Градовский постарался юридически точно определить структуру и компетенцию различных органов власти как верховного, так и местного управления, объяснить общие условия их развития, уяснить юридическое положение, административные обязанности, ответственность и права должностных лиц и в первую очередь губернаторов. Всему этому были предпосланы впервые в таком четко оформленном виде логически жестко увязанные соображения о значении разделения властей, об обязательном отделении суда и управления от законотворческой деятельности, о твердом подчинении суда и управления закону, как гарантии, с одной стороны, их законности, а с другой – неприкосновенности прав личности и равенства граждан перед законом.

Что же касается суждений А. Градовского о сути преобразований местного управления в царствование Николая I, то они выверенно точ-

ны и корректны – несмотря на обилие всякого рода постановлений, направленных на его улучшение, совершенствование, «общие условия государственной администрации были таковы, что самые полезные начинания не могли привести ни к какому положительному результату»[36]. Обозначенные же им «общие условия», как поясняется в специальной статье «Реформа губернаторской должности», заключались в том, что все законодательство видело «в губернаторской должности не средство *управления*, но средство *надзора*, и чем больше развивалось наше законодательство, тем сильнее и ярче выступала эта основная его мысль»[37]. Правда, как замечает в этой же статье А. Градовский, законодательство как будто присоединяло к функциям надзора и задачи непосредственного управления, но при каждом удобном случае охотно шло на сокращение этих обязанностей. Для доказательства этого тезиса он обращается к Наказу 1837 г., подробный разбор которого дал ученому основание утверждать, что в соответствии со статьями этого акта губернатор являлся первым и главным представителем верховной власти в губернии, защитником ее интересов и его надзору были подчинены все губернские учреждения. Более того, Наказ подтвердил положение губернатора как «хозяина» губернии и все учреждения, ведавшие вопросами местного хозяйства, были поставлены под его личное руководство и наблюдение. Под его же началом были местная полиция, обеспечение интересов государственной казны, отправление правосудия. «Таким образом, – делает вывод А. Градовский, – не было почти ни одной отрасли управления, которая бы не была подчинена или надзору, или прямому начальствованию начальника губернии»[38].

Труды А. Градовского, заключавшие в себе фундаментальное исследование сложнейших вопросов государственного строительства, и по сути дела являвшиеся первой попыткой научной систематизации всей структуры местного управления, принципов взаимодействия между собой различных его институтов и учреждений, не только существенно облегчили последующие научные изыскания, но и определили направление исследований. Неслучайно, все упомянутые выше работы, вышедшие в свет позже, в значительной мере отражают их влияние, хотя более поздние авторы, как представляется, еще не до конца осознавали значение сделанного этим выдающимся ученым. Думается, что его «Начала русского государственного права», несмотря на появление в дальнейшем ряда крупных работ, так и не были превзойдены и по составу решаемых проблем, и по силе аргументации выдвинутых положений, и по убедительности выводов, сделанных на основе сравнительного анализа материала по другим странам в широком хронологическом диапазоне. К сожалению, не в полной мере была услышана, развита страстно проповедуемая и твердо отстаиваемая им непреложная истина, сохраняющая свое вневременное значение – никакие общественные институты не могут развиться, ни даже пустить сколько-нибудь прочных корней, если каждой конкретной личности законами не будут гарантированы элементарные общечеловеческие права.

В 1905 г. вышла в свет книга И.А. Блинова, в которой он последовательно проследил изменение юридического положения губернаторов в течение почти двухсотлетнего их существования и отчасти дал представление об их действительном положении на основе привлеченного конкретно-исторического материала[39]. Акцентированное внимание к должности и персоне губернатора автор объяснял большой заинтересованностью общества «прежде всего в удовлетворительной постановке должностного лица», стоявшего во главе той административной единицы, с которой граждане практически каждодневно (прямо или опосредованно) имели дело по всем вопросам обыденной жизни. Отсюда ясно, как он считал, сколь важен для общества вопрос о юридическом положении губернатора, т.е. вопрос о составе и пределах его полномочий, а также о надзоре за законностью его управления. Поэтому И. Блинов преимущественное внимание сосредоточил на раскрытии деятельности губернатора как представителя высшей центральной власти и на вытекающих из этого факта его обязанностях по надзору за всем местным управлением, а также на характере его взаимоотношений с другими губернскими учреждениями и должностными лицами.

Кроме того, автор не обошел вниманием административную и судебную деятельность губернаторов. Как и его предшественники, И. Блинов все эти сюжеты преимущественно рассматривает на законодательном материале, хотя и чаще, чем другие авторы, опираясь на несистематизированные конкретные факты, как бы иллюстрирующие реальное положение дел на местах. Всем набором данных он стремится подтвердить уже звучавшую в историографии темы мысль, что пределы власти губернатора в действительности простирались гораздо далее определенных противоречивым законодательством границ. Особо это касалось отношения губернаторов к хилым от рождения структурам местного самоуправления – здесь безраздельно царила пресловутая губернская опека, на деле оборачивающаяся полнейшим произволом. Этому много способствовало едва ли не намеренное попустительство со стороны верховной власти. То же, по мнению автора, можно сказать и о судебной деятельности губернаторов: хотя Учреждение о губерниях 1775 г. и провозгласило отделение суда от администрации, но в действительности этого не случилось, особенно в сфере уголовного судопроизводства, где слово и мнение губернатора всегда были решающими. Все это, как и некоторые другие, менее существенные стороны административно-хозяйственной деятельности губернатора, достаточно подробно показаны в книге.

Особое внимание автор уделяет проблеме надзора за деятельностью губернаторов. Он исходит из того, что именно надзор должен был являться условием, обеспечивающим соблюдение законности в местном управлении, залогом правильной организации последнего. В результате подробного рассмотрения законодательного материала по организации надзора над губернаторами и его проецирования на почерпнутые из литературы конкретные факты из их повседневной деятель-

ности И. Блинов обосновывает свое понимание проблемы. На его взгляд, основными недостатками организации надзора за губернаторами в рассматриваемый период были, во-первых, отсутствие единого, наделенного достаточными полномочиями учреждения (Сенат с понижением общей его роли в конце XVIII в., а особенно после учреждения министерств в начале XIX в., уже не отвечал этим требованиям). Во-вторых, имевшие место неопределенность и несогласованность прав по надзору Сената, министерств и генерал-губернаторов. Наконец, в-третьих, отсутствие на местах «вспомогательного органа», способного (тайно?) осуществлять результативное наблюдение и контроль за повседневной деятельностью губернаторов. Губернские прокуроры, на которых по закону и возлагались эти задачи, на практике, как правило, не отвечали своему прямому назначению.

Общие выводы И. Блинова выходят за пределы лишь собственно юридических представлений (чем отличались и труды многих его предшественников) и заслуживают того, чтобы воспроизвести их здесь с необходимой полнотой. Прежде всего, проведенный сравнительный анализ деятельности и прав губернаторов начала XVIII в. и начала XX в. показывает наличие между ними больше общего, чем отличий. Совокупность всех реформ в сфере местного управления не изменила сути института губернаторства и юридическое положение самого губернатора. Они на всем протяжении этого длительного периода оставались в первую очередь доверенным лицом императора в губерниях, и все главнейшие дела местного управления должны были решаться (и решались) при непосредственном их участии. Но реальная деятельность губернаторов далеко не в полной мере соответствовала установлениям закона – многие обязанности, особенно касающиеся полиции, вопросов благосостояния и пр., губернаторами совершенно не исполнялись, при выполнении же других, например, по надзору за органами самоуправления и политической полицией, губернаторы постоянно обнаруживали не пресекаемую высшими властями склонность к изрядному превышению своих прерогатив. Последнее объяснялось в том числе и тем, что губернаторство было и оставалось тем органом, посредством и с помощью которого личность целиком поглощалась государством.

Крайне неудовлетворительным, заключает автор, был и оставался надзор за собственной деятельностью губернаторов. Созданная Петром I стройная система органов надзора за действиями губернаторов и местных управлений в дальнейшем была нарушена политикой Екатерины II, понизившей значение Сената, а также министерской реформой ее внука.

При всей трезвости оценок автор, в той части работы, где прогнозировал направление эволюции института губернаторства, – в сторону либерализации – проявил мечтательность. Губернаторы и губернаторство, в том виде, в каком они были им обрисованы в книге, благополучно дожили вплоть до марта 1917 г.

Вопросы местного управления подробно рассматриваются и в одной из глав капитального двухтомного труда ученика А.Д. Градовского

Н.М. Коркунова[40]. Детально останавливаясь на особенностях административного деления России, структуре и функциях местных учреждений, прослеживая их историческую эволюцию, Н. Коркунов, так же, как и его учитель, приходит к выводу, что «существующее у нас общее административное деление на губернии и уезды представляется искусственно установленным, по соображениям административного удобства»[41]. Возможные сомнения в обоснованности этого утверждения в отношении уездов он отклоняет доводом, что существующие уезды не представляют даже преемственной исторической связи с уездами Московского государства – они произвольно меняли свои границы и постоянно росли в числе. Другая негативная особенность действовавшей в России системы местного управления – «необособленность» различных ветвей власти. Установленное «Учреждением о губерниях» 1775 г. разделение ее властей – судебной и административной, – а предметов их деятельности сохранялось и во всем последующем законотворчестве, и на практике.

Что же касается раскрытия конкретных функций представителей губернского управления разного уровня, то здесь он довольствуется уже введенными в научный оборот данными из работ Андреевского, Лохвицкого, Градовского, лишь изредка (в особо спорных случаях) прибегая к собственному толкованию отдельных законодательных актов. Твердо придерживаясь той позиции, что по закону «власть губернатора вообще только исполнительная»[42], отрицательно оценивал все то, что в их деятельности выходило за пределы полномочий «сберегателя законов», т.е. не считал рациональной сложившуюся систему управления губерниями через хозяев-губернаторов. Как и в большинстве рассмотренных в обзоре работ, в труде Н. Коркунова мало уделяется внимания практике функционирования органов местного управления.

Несколько слов стоит сказать и о небольшой книжице Н.Н. Туркестанова, содержащей списочный состав генерал-губернаторов, военных губернаторов а губернаторов по 46 губерниям с 1797 по 1862 г. (последняя дата выдержана не по всем губерниям) с обозначением фамилии, имени и отчества, года вступления в должность[43]. Однако пользоваться данными этой работы надо, видимо, с известной долей осторожности, ибо выборочная проверка показала их неточность.

Таким образом, если попытаться в целом оценить дореволюционную литературу по теме обзора, то напрашивается однозначный вывод – преимущественное внимание в ней уделялось изучению законодательства, определявшего юридические права а обязанности должностных лиц губернского уровня управления, и за пределами внимания авторов имеющихся работ оставалось исследование конкретной их деятельности, изучение служебных взаимоотношений «хозяев» губерний – губернаторов с другими представителями губернских управленческих структур, а также роль верховной власти в их регулировании. И все же было бы неправомерно, как это делает современный исследователь М.М. Шумилов, вслед за В.М. Гессеном утверждать, что их труды в

конечном счете сводились к «простому пересказу Свода законов»[44]. Это, конечно же, не так.

Проведенный юристами-правоведами скрупулезный анализ законодательства, определявший статус губернаторской должности, его полномочия по отношению к местным учреждениям в разные исторические периоды, практически снимает необходимость повторного, столь же детального обращения к этим сюжетам, ибо можно быть уверенным в достоверности большей части их наблюдений и выводов. Именно коллективными усилиями дореволюционных государствоведов, принадлежавших к так называемой школе государственников, была создана теория государственного управления с особенным вниманием к такому кардинальному вопросу, как единство управления и его децентрализация. В своих добросовестно исполненных доследованиях они, как представляется, достаточно четко показали скрытый от непосвященного наблюдателя механизм действия бюрократической машины, законами определенный и обычаями откорректированный сложный характер взаимоотношений начальника и подчиненного ему аппарата, подтвердив на основе анализа заложенных в законодательстве принципов справедливость импульсивно откровенного признания Николая I, что «Россией управляют столоначальники». Однако ни один из авторов так и не сделал прямо-таки напрашивающегося из содержания их работ заключения о том, что при самодержавной форме правления каждый считал себя великим или малым в зависимости от личного расположения императора, от степени близости к нему. Так, ощущение независимости губернаторам от вышестоящих чиновников, уверенность в поддержке их действий как хозяев губерний придавала возможность (пусть и редкая) личного общения с монархом. Впрочем, в любом случае при оценке сделанного дореволюционными исследователями в области истории государственных учреждений России безусловно надо отказаться от ставшей уже штампом фразы с негативным наполнением – изучение осуществлялось с «формально-юридических позиций», причем внятно не раскрывая, что последнее означает фактически. Такой именно оценкой по сути дела ограничивались и П.А. Зайончковский и Н.П. Ерошкин, больше и дольше других разрабатывавшие тему. Не отставали от них советские исследователи следующего поколения.

Не мной замечено, что политической истории России, достаточно интенсивно изучавшейся в дореволюционное время, в советской литературе уделялось явно недостаточное внимание. Здесь по теме обзора можно, пожалуй, назвать лишь труды уже упомянутых ученых – П.А. Зайончковского и Н.П. Ерошкина.

В наиболее известной книге Петра Андреевича[45] специальные главы отведены показу имущественного положения, сословной принадлежности, образовательного уровня, а также условий службы российского чиновничества всех уровней, анализу состояния губернской администрации накануне Крымской войны и более детально – в последующий период. Красной нитью через содержание этих глав, как и кни-

ги в целом, проходит более всего занимавший автора тезис о сплошной коррумпированности всех звеньев губернской администрации. Последовательно и целенаправленно приводятся многочисленные и разнообразные примеры казнокрадства и взяточничества, губернаторского произвола. В этом своем мрачном повествовании автор, как можно понять, буквально руководствовался ленинским определением существа власти губернатора: «Губернатор в русской провинции был настоящим сатрапом, от милости которого зависело существование любого учреждения и даже любого липа во вверенной губернии»[40]. И все же, при описании этой стороны «деятельности» губернаторов он, пожалуй, мало что нового добавил к тому, что было известно из названной выше работы Н.Ф. Дубровина я других авторов. Такой односторонний взгляд на проблему не позволил П.А. Зайончковскому даже попытаться раскрыть суть отнюдь не лишенного объективного смысла утверждения одного из бывших губернаторов: «В сложной административной машине старого строя губернаторы были теми ста (или около того) винтами, на которых он держался»[47]. Не только «держался»; добавим от себя, но и достигал определенных успехов, позволявших России оставаться на уровне великой державы.

В книге П.А. Зайончковского содержался и новый (определяемый им как перспективный) подход к изучению темы – он впервые на основе сохранившихся формулярных (послужных) списков осуществил анализ состава бюрократии (в том числе и губернаторского корпуса) по сословному, имущественному, образовательному, вероисповедальному и возрастному признакам на две даты – 1853 г. (канун Крымской войны) и 1903 г. (конец экономического кризиса). Проведенный анализ показал, что губернаторы в подавляющем своем большинстве назначались из гвардейских полковников, слабо, как он априорно считает, разбиравшихся в делах гражданского ведомства. Это дало исследователю формальное основание без всестороннего рассмотрения практической деятельности губернаторов для решительного заключения, что многие и многие из них «не были сведущими в области управления губернией и не соответствовали той роли, которую на них возлагал занимавший пост»[48]. Для такого вывода, вытекающего, как можно предположить, из его общего представления о гнилости всей бюрократической системы самодержавия, не было сделано главное – полученные данные, характеризующие состав губернаторов по определяющим их индивидуальность параметрам, не наложены на результаты практической их деятельности и не выявлена связь (или отсутствие оной) между эффективностью (ила неэффективностью) последней с сочетанием индивидуальных качеств. Возможно, что это представлялось автору излишним, ибо ему, конечно, было известно содержание официального документа, характеризующего деловые и моральные качества губернаторов. Это – мнение и.о. товарища министра ВД Н.А. Милютина о губернаторах конца 50-х годов XIX в.: «Можно утвердительно и по строгой совести сказать, что в числе 45 губернаторов, за исключением сибирских и кав-

казских, 24 должны быть сменены без малейшего замедления, из них 12 как всем известные мошенники, а 12 по сомнительной честности, из остальных 21 десять могли бы быть терпимы по необходимости, девять довольно хороши и только два могут быть названы «образцовыми» – самарский – Грот и калужский – Арцимович»[49]. Как видим, по сравнению с данными Н. Дубровина на начало века число «хороших» губернаторов увеличилось, но все же вопрос нуждается в более пристальном конкретном анализе.

Новый шаг в использовании формулярных списков при характеристике российского чиновничества был сделан С.В. Мироненко[50]. Он впервые (вместе с И.Н. Киселевым) применил в обработке показателей этого особого вида официально-документальных источников компьютерную технику. Применение ЭВМ прежде всего значительно расширило возможности извлечения из них скрытой информации. Если, скажем, при использовании традиционных методов исследователь может продуктивно оперировать пятью–семью признаками, оставляя за пределами анализа существенно большее их число, то ЭВМ позволяет работать со всеми заложенными в машину данными и, что не менее важно – в любых, определенных программой исследования сочетаниях и комбинациях. В качестве опыта компьютерной обработки данных формулярных списков автором были выбраны послужные списки чиновников, относящихся к правящей бюрократии России кануна восстания декабристов. Из 684 чиновников, отнесенных им к этой категории бюрократии, формулярные списки были обнаружены у 442, что составляет почти 65% общего их числа, т.е. выборка весьма представительна. Что касается собственно губернаторов, то на эту дату сохранились 37 формулярных списков из 50.

Возможно, что иные задачи, стоявшие перед С. Мироненко, так же как и П.А. Зайончковскому, не позволили ему на конкретном историческом материале проследить сопряженность полученных личностных характеристик губернаторов с практикой их административно-хозяйственной деятельности и ограничиться лишь общим заключением об отсутствии в рассматриваемый период в данной среде чиновничества стремления к каким-либо радикальным преобразованиям. Однако подобный общий вывод, который, кстати, мог быть сделан и без помощи ЭВМ, все же нуждается в конкретизации.

В работах Н.П. Ерошкина[51], посвященных изучению политических институтов дореволюционной России, главное внимание уделено установлению основных тенденций эволюции российской государственности на протяжении более чем полувека. Естественно, центральное место автор отводит характеристике всех управленческих структур государства и российской правящей бюрократии в целом. К сожалению, приверженность автора к жестким идеологизированным схемам и построениям обусловила предвзятость некоторых его оценок. Как и П.А. Зайончковский, он так и не смог (да и вряд ли это было возможно при тотальном контроле за мыслью) отойти от господствовавшего

в то время ограниченного представления о государстве и его аппарате (лишь как об органе классового господства и насилия). Но несмотря на это, работы Н. Ерошкина имеют большую ценность как вполне отвечающий своему назначению справочник по истории государственных учреждений дореволюционной России – в них в систематизированном виде в динамике представлена их структура, состав, функции.

Несколько слов нельзя не сказать и о работе И.А. Емельянова[52], поскольку, хотим мы этого или нет, она является историографическим фактом. Главное «достоинство» книги состоит в том, что автор является неприкрытым адептом тенденциозного, сугубо классового подхода в своих попытках раскрытия темы. Проявляется это как в постановочной части работы, цель которой – «показать крепостническую сущность царской администрации», так и в ее итоговых результатах. Так, читатель узнает, что «русское самодержавие на протяжении всего XIX в. ...упорно держалось за обветшалые, но удобные ему формы государственных органов... решительно противостояло всему прогрессивному». И все. Как будто не было административных реформ начала века, реформ, последовавших после отмены крепостного права... Разумеется, говорить о научном значении этого сочинения не приходится.

В великолепно выполненной источниковедческой работе Б.Г. Литвака[53] одно из центральных мест отведено характеристике такого сложного источника, как губернаторские годовые отчеты, синтезировавшие все сколько-нибудь важные стороны жизни губернии. Именно в них суммировалась исходящая от учреждений низового уровня первичная информация, служившая для центральных учреждений действующей бюрократической системы тем рабочим материалом, на основе которого принимались и реактивные корректирующие решения, и долгосрочные программы.

Исходя из важности этого вида источника, исследователи всегда проявляли интерес прежде всего к проблеме достоверности содержащихся в них сведений, и разной степени интенсивности дискуссии на эту тему велись не один десяток лет. Работа Б. Литвака как бы подводит этим спорам итог. Исследователь, подробно и обстоятельно разобрав позиции своих наиболее авторитетных предшественников, а главное – заново глубоко проанализировав ключевые принципы составления отчетов, в том числе впервые в литературе вопроса пунктуально проследив процесс выработки их формуляра, предложил наиболее рациональную методику определения степени достоверности содержащихся в губернаторских отчетах данных. Причем, как выясняется, последнее практически невозможно установить без знания истории складывания формуляра этого вида документов. Именно поэтому в первую очередь отметим его доказанное положение, что «программу общего отчета о состоянии губернии и управления» определял формуляр, утвержденный «Общим наказом губернаторам» от 1837 г., сохранившийся без каких-либо существенных изменений вплоть до 1870 г. Наиболее же характерной особенностью формуляра 1837 г. «был отход от

членения текстовой части согласно компетенции отдельных структурных частей МВД»[54]. Это ни мало, ни много свидетельствовало об изменении ранее существовавшего взгляда на «отчеты-донесения» только как на некий сырьевой материал для министерских отчетов, и тем самым вводило этот источник в ряд наиболее значимых по истории местного управления. Правда, как справедливо отмечает Б. Литвак, последующее чрезмерное клиширование (в 1842 и 1853 г.) текстовой части отчетов в целях удобного для чиновника единообразия заметно обесценивало его информативную ценность. Эта нерациональная унификация, препятствовавшая выражение собственных представлений губернаторов, и не позволила автору согласиться с распространенным ранее мнением, что «характер отчетов во многом зависел от личности губернатора»[55]. Что же касается нейтрального вопроса о достоверности губернаторских отчетов, то исследователь на основе тщательного анализа всего процесса их составления приходит к вполне определенному выводу: «Вся практика подготовки и проверки губернаторских отчетов... безусловно свидетельствует о том, что как раз те сведения, которые вызывают особый интерес современных историков, менее всего подвергались проверке в канцелярии губернатора. И дело вовсе не в злом умысле чиновников: они проверяли те сведения, за верность которых несли личную ответственность»[56]. Мера же ответственности губернаторов известна – «губернаторы для основательности в своих действиях и пользы вверенного управления должны стараться иметь самые точные и по возможности подробные сведения о состоянии губернии во всех отношениях»[57]. И далее в этом примечательном документе следует пространный перечень конкретных объектов внимания губернаторов, по которым они, «для основательности» своей деятельности должны были «стараться», но не обязаны были иметь точные сведения. Это определяющее, но расплывчатое «должны стараться» и анализ процесса создания отчетов дали Б. Литваку основание установить жесткую градацию достоверности содержащихся в них сведений – от «с наиболее вероятной достоверностью» до «сомнительной», по своим «объективным качествам не поддающимся проверке»[58]. В целом же, новые возможности источниковедческого изучения губернаторских отчетов автор видит в последовательной оценке их как системы документов. Тесная же связь массовой документации «со средой» своего возникновения требует системного подхода при ее изучении.

Для раскрытия содержания административной практики всего управленческого аппарата самодержавной России сущностное значение имеет вывод Б. Литвака о полном соответствии подвергнутого им анализу источника, в конечном своем виде приобретшего форму губернаторских отчетов, примечательному замечанию К. Маркса: «Так как бюрократия делает свои «формальные» цели своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт с «реальными» целями. Она вынуждена потому выдавать формальное за содержание, а содержание – за нечто формальное. Государственные задачи превращаются в канцелярские

задачи или канцелярские задачи – в государственные. Бюрократия есть круг, из которого никто не может выскочить. Ее иерархия есть *иерархия знания*. Верхи полагаются на низшие круги во всем, что касается знания частностей, низшие же круги доверяют верхам во всем, что касается понимания всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят друг друга в заблуждение»[59]. Более того, как полагал Е.В. Тарле, при сложившейся бюрократической системе вмешательство монарха в конкретные дела управления нижестоящих структур через своих доверенных лиц – губернаторов, имеет своим следствием снижение результативности усилий ответственных за тот или иной участок работы чиновников[60].

Оценивая в целом научную значимость частично здесь рассмотренной книги Б. Литвака, нельзя не заявить о том, что следующее столь же содержательное обращение к теме возможно лишь на новом витке знаний.

В том же ряду источниковедческих работ, посвященных представлению и анализу важнейших источников по теме обзора, следует назвать и объемную статью Э.С. Паиной «Сенаторские ревизии и их архивные материалы (XIX – начало XX в.)»[61]. Сенаторские ревизии, как известно, являлись одной из достаточно эффективных форм чрезвычайного надзора за губернаторским управлением и свое начало берут от петровского указа Сенату от 4 апреля 1722 г. В этом указе с присущей Петру I четкостью была сформулирована их цель: «Для смотрения всяких дел в губерниях и провинциях, чтобы во всяких делах была правда, посылать каждый год из сенатских членов по одному, да при нем из каждой коллегии по одному человеку»[62]. Однако в продолжение всего XVIII в. сенаторские ревизии как-то не привились и на практике оставались единичным явлением. И только в период короткого, но чрезвычайно динамичного правления Павла I этот институт контроля получил свою вторую жизнь и окончательно утвердился в первой половине XIX в. По неполным подсчетам И. Блинова, в этот период было осуществлено более восьми десятков ревизий российских губерний и отдельных городов[63]. Э. Паина новую волну сенаторских ревизий объясняет тем, что правительство считало их «наиболее надежным способом узнать истину и одним из лучших средств надзора за губернской администрацией»[64]. Отчасти справедливость этого мнения подтверждается фактом наложения Комитетом министров из губернаторов около 200 серьезных взысканий за 1825–1855 гг.

Автор статьи подробно (с учетом уже сделанного до нее) рассматривает, в каких именно случаях правительство прибегало к ревизиям сенаторов, механизм их подготовки и проведения, особенности и порядок сбора необходимого для качественной оценки деятельности местных учреждений и самих губернаторов материала, их состав. В итоге деятельности института сенаторских ревизий за весь период его существования в различных архивных фондах отложился огромный комплекс документов по конкретной социально-экономической истории России,

состоянию и особенностям функционирования аппарата управления на местах. Ценность этих материалов, как верно отмечает автор, развивая бегло высказанную ее предшественниками мысль, в первую очередь заключается в том, что во многих случаях они получались из первых рук, минуя разветвленную сеть бюрократических рогаток. Уже один этот факт говорит в пользу большей их достоверности по сравнению с официальной документацией. Несомненным достоинством работы Э.С. Паиной является то, что в ней почти с исчерпывающей полнотой представлена вся литература, посвященная сенаторским ревизиям, и объективно оцениваются достижения и промахи ее предшественников.

На обстоятельность проделанной исследователем работы косвенно указывает и то, что с момента публикации статьи историография не пополнилась новыми исследованиями в этой области.

И буквально два слова о статье В.А. Иванова, в которой дается характеристика газетным публикациям о деятельности губернаторов и генерал-губернаторов Московской и Калужской губерний в 50–60-е годы XIX в.[65]. На основе приводимых фактов есть все основания согласиться с мнением автора о том, что сведения газетных публикаций дают лишь самое общее представление о деятельности верхушки губернского чиновничества с некоторым стремлением выставить ее в облагораживающем свете.

Вот, пожалуй, и вся литература, имеющая отношение к теме обзора[66]. Главный вывод из него может быть сформулирован так: в историографии темы нет работы, в которой институт губернаторства в России был бы подвергнут всестороннему (системному) анализу, работы, в которой в тесной взаимосвязи были бы исследованы принципы организации и практической деятельности властных структур губернского уровня, на конкретно-исторической основе была бы выявлена социальная эффективность и практическая результативность функционирования основного звена существовавшей административной системы управления государством. Сложность решения этой задачи усугубляется двойственным характером власти губернаторов. С одной стороны, он являлся официальным представителем высшей правительственной власти в лице самодержца, его главное доверенное лицо, с другой – он же в значительной мере находящийся под контролем Сената чиновник-исполнитель органов МВД с административно-полицейскими функциями. В реальной же действительности, как доказывается в рассмотренных здесь работах, губернатор – по сути дела, всевластный «хозяин» губернии.

Это своеобразие длительный отрезок времени сохранявшейся ситуации, минусы и плюсы которой из имеющейся литературы просматриваются пока не очень отчетливо, повышает значимость определения разумных границ между функциями центральных и местных структур управления, т.е установления безболезненно допустимых пределов централизации и децентрализации власти.

Примечания

[1] ПСЗ. Собр. 2-е. Т. XII. Отд. 1. № 10303, § 1–346.
[2] Свод законов Российской империи, повелением государя Николая Первого составленный. СПб., 1857. Т. 2. Ч. 1. Ст. 357 и след.
[3] *Страховский И.М.* Губернское устройство // ЖМЮ. 1913. № 7. С. 29.
[4] *Андреевский И.Е.* О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864.
[5] Там же. С. 151–152.
[6] *Лохвицкий А.В.* Губерния, ее земские и правительственные учреждения. Ч. 1. СПб., 1864. Обещанная автором вторая часть книги с заявкой подробно рассмотреть функции и отношения губернских властей на всех его уровнях так и не увидела свет.
[7] Там же. С. 83.
[8] *Градовский А.Д.* Собр. соч. Т. IX. М., 1904. С. 185.
[9] *Лохвицкий А.В.* Указ. соч. С. 215.
[10] *Анучин Е.* Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России, с Учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени. СПб., 1872.
[11] Там же. С. 1.
[12] *Дитятин И.И.* Устройство и управление городов в России. Т. 2. Городское самоуправление в России. Городское самоуправление до 1870 г. Ярославль, 1877.
[13] Там же. С. 363.
[14] Там же. С. 366.
[15] *Ивановский В.В.* Русское государственное право. Казань, 1895.
[16] Там же. С. 58.
[17] Там же. С. 72.
[18] *Дубровин Н.Ф.* Русская жизнь в начале XIX в. // РА. СПб.
[19] Там же. 1899. № 4. С. 72, 74.
[20] Там же. 1899. № 6. С. 501.
[21] *Гессен В.М.* Вопросы местного управления. СПб., 1904.
[22] Там же. С. 53.
[23] Там же. С. 61.
[24] *Корф С.А.* Административная юстиция в России. Т. 1. СПб., 1910.
[25] Там же. С. 46.
[26] *Корф С.А.* Очерк исторического развития губернаторской должности в России // Вестник права. 1901. № 9.
[27] Там же. С. 145, 146.
[28] *Лазаревский Н.И.* Лекции по русскому государственному праву. Т. 1–2. СПб., 1908–1910.
[29] *Страховский И.М.* Губернское устройство // ЖМЮ. СПб., 1913. № 7, 8, 9.
[30] Там же. № 9. С. 136.
[31] Там же. С. 122.
[32] Там же. С. 158, 166.
[33] Там же. С. 160.
[34] *Градовский А.Д.* Собр. соч. Т. IX. С. 1–406.
[35] Памяти А.Д. Градовского. СПб., 1889. С. 24.
[36] *Градовский А.Д.* Собр. соч. Т. IX. С. 138.
[37] Там же. С. 590.
[38] Там же. С. 140.
[39] *Блинов И.А.* Губернаторы. Исторический очерк. СПб., 1905. Некоторые части очерков публиковались ранее в более расширенном варианте. См., напри-

мер, «Надзор за деятельностью губернаторов (Историко-юридический очерк)» // Вестник права. 1902. № 7. С. 37–77).

40 *Коркунов Н.М.* Русское государственное право. Т. 1–2. СПб., 1908–1909.

41 Там же. Т. 1. С. 425.

42 Там же. Т. 2. С. 444.

43 *Туркестанов Н.Н.* Губернаторские списки. 1797–1851. М., 1894.

44 *Шумилов М.М.* Местное управление и центральная власть в России в 50-х – начале 80-х годов XIX века. М., 1991. С. 6. Ср.: *Гессен В.М.* Вопросы местного управления. СПб., 1904. С. 29.

45 *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. М., 1978.

46 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 280.

47 Цит. по: *Роббинс Р.* Наместник и слуга // Отечественная история. 1993. № 1. С. 202.

48 *Зайончковский П.А.* Указ. соч. С. 151.

49 Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в царствование имп. Александра II. Берлин, 1861. Т. 2. С. 462.

50 *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.

51 *Ерошкин Н.П.* Крепостническое самодержавие и его политические институты (первая половина XIX века). М., 1981; *Он же.* История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983; *Он же.* Местные государственные учреждения дореволюционной России (1800–1860 гг.). М., 1985 и др.

52 *Емельянов И.А.* Высшие органы государственной власти и управления России в дореформенный период. Казань, 1962.

53 *Литвак Б.Г.* Очерки источниковедения массовой документации XIX – начала XX в. М., 1979.

54 Там же. С. 146.

55 Ср.: *Дятлова Н.П.* Отчеты губернаторов как исторический источник // Проблемы архивоведения и источниковедения. Л., 1964. С. 147.

56 *Литвак Б.Г.* Указ. соч. С. 181–182.

57 Свод законов Российской империи. Свод губернских учреждений. СПб., 1892. §294 (Основание: Наказ от 3 июня 1837 г. §28. № 10303).

58 *Литвак Б.Г.* Указ. соч. С. 185.

59 *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 1. С. 271–272.

60 *Тарле Е.В.* Крымская война. М.; Л., 1950. Изд. 2. Т. 1. С. 76–77.

61 В сб. ст.: Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX – начала XX в. Л., 1967. С. 147–175.

62 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. VI, №3931.

63 *Блинов Ив.* Отношения Сената к местным учреждениям в XIX веке. СПб., 1911. С. 273–277. Приложения. Список сенаторских ревизий XIX века.

64 *Паина Э.С.* Сенаторские ревизии и их архивные материалы (XIX– начало XX в.). // Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX – начала XX в. Сб. статей.Л., 1967.С. 147.

65 *Иванов В.А.* Российские губернаторы в освещении подцензурной периодики // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1991. С. 199–218.

66 Названная выше книга М.М. Шумилова посвящена главным образом пореформенному периоду и 50-е годы рассматриваются в ней на основе материалов из названной здесь монографии П.А. Зайончковского.

Алгебру гармонией поверить...

К выходу в свет «Оренбургской Пушкинской энциклопедии»*

Вканун 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и к 165-летию его поездки по местам сражений пугачевских повстанческих отрядов российская Пушкиниана пополнилась новым изданием**. Выполнено оно историком Р.В. Овчинниковым, хорошо известным читателям рядом своих работ «пугачевского» цикла, а также исследованиями архивных источников пушкинской «Истории Пугачева», и писателем, историком литературы Л.Н. Большаковым. Издание относится к жанру «Летопись жизни и творчества Пушкина», берущему начало с конца 80-х годов XIX в.[1].

Еще в начале нашего столетия замечательный пушкинист Н.О. Лернер, оценивая сделанное в этой области, высказал мысль, не утратившую своей актуальности по сей день: «Всякий изучавший Пушкина мог лично убедиться, как бедна, в сущности, эта с виду далеко не бедная литература, не исчерпывающая и малой доли вопросов, подчас жгучих и вечно современных, рождающихся при изучении Пушкина... Чем с большей обстоятельностью мы будем изучать Пушкина, тем лучше: сплошь да рядом то, что сначала кажется нам

---

* Опубл.: ОИ. 1998. № 6. С. 81–89. – *Прим. сост.*

** Оренбургская пушкинская энциклопедия / Сост. Р.В. Овчинников, Л.Н. Большаков. Уфа, 1998 – *Прим. сост.*

мелочью в биографии великого человека, при ближайшем изучении дает нам ценный материал для правильного суждения о его жизни, о процессе его творчества, об окружающей его обстановке и т.п.»[2].

Хотя со времени этого высказывания Н. Лернера и происходит постоянное пополнение литературы о жизни и творчестве поэта[3], но прав был видный историк и увлеченный пушкинист Н.Я. Эйдельман в своем убеждении о неисчерпаемости одного «пушкинского произведения... где фрагменты и главы – это лицейские и южные шалости, эпиграммы, записанные в кабинете петербургского губернатора, Михайловские рощи и «Борис Годунов», свобода, Арзрум, Болдино, холера, оренбургские тракты, Гончарова, Черная речка. Пушкинская биография. Жизнь, прожитая им самим...»[4]

«Оренбургская Пушкинская энциклопедия» (ОПЭ), не имеющая прямых аналогов в справочной литературе о Пушкине, как раз и посвящена «оренбургским трактам». В основе ее, по определению самих авторов-составителей, лежит «персонифицированный комментарий ко всем именам и названиям, значащимся в главном историческом труде гения России» (с. 5), или «реалиям» его «Истории Пугачева». Но сразу же подчеркнем – только в пределах Оренбургской губернии по административному делению России на 1773–1775 гг. В тех же границах губерния оставалась и в 1833 г., во время пребывания в крае Пушкина. Огромный же регион страны – Казанская, Нижегородская, Астраханская, Воронежская, Тобольская губернии, с разной степенью интенсивности тоже охваченные в те годы пожаром восстания, описанного Пушкиным, – остался за рамками ОПЭ. Правда, большая подвижность повстанческих отрядов, обычно старавшихся избегать длительного позиционного противостояния правительственным войскам, вынуждала составителей следовать за своими героями в персональных статьях о них и за пределы Оренбургской губернии. Именно благодаря этому обстоятельству читатель может получить более общее представление о самом мощном социальном протесте народных масс в России XVIII в. и как бы взглянуть на него глазами Пушкина.

Составители ОПЭ, сознавая некоторое несоответствие названия своего труда его содержанию, замечают, что энциклопедия «могла бы с полным основанием именоваться Пушкинско-Пугачевской» (с. 5). Но вряд ли это что-либо изменило бы по существу. Запутывают читателя подзаголовки издания, цель которых – уточнить тематику энциклопедии. Так, подзаголовок «Путешествие – 1833» ориентирует на ознакомление со всей поездкой Пушкина. В обращении «К читателю» есть и более развернутая заявка: «ОПЭ одновременно включает в себя и другие статьи: ...о маршруте оренбургской поездки (с указанием всех пунктов на каждом из ее этапов)... о первых изданиях «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки», театральных» графических воплощениях сюжетов произведений, исследователей «оренбургской» темы в российской науке...» (с. 5). Но разве этот перечень тем привязан только к Оренбургской губернии? Нелогичность попытки пространственного

ограничения путешествия Пушкина 1833 г. территорией одной губернии нагляднее всего проступает в статьях ОПЭ, отражающих весь маршрут этой поездки поэта: «Петербург – Москва», «Москва – Нижний Новгород», «Нижний Новгород – Казань» и т.д. с указанием дорог, населенных пунктов и проч., находившихся за пределами Оренбуржья[5]. Не вполне согласуется с авторской установкой и включение в ОПЭ статьи «Смышляевка (или Нижняя Пудовка)» – о селе во время восстания Пугачева вовсе не существовавшем (основано в 1791 г.) Видимо, наличие этой статьи в энциклопедии объясняется тем, что Смышляевка упомянута в дорожной записной книжке Пушкина. В таком случае требовалась хотя бы оговорка, а лучше – отдельная статья о самой записной книжке, некоторые пометы в которой неоднозначно толкуются исследователями[6].

Но основное возражение, конечно, вызывают не подобные частности, а принцип отбора материала. Поездка 1833 г. в «места, где произошли главные события эпохи», была предпринята Пушкиным с совершенно конкретной целью – прояснить те далекие события, «поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь поверяя их дряхлеющую память исторической критикою»* [7]. Оренбург для Пушкина был, как сам он пишет, лишь «последней целью... путешествия» (т. 15, с. 80).

То, что в ОПЭ главным образом отражены события, связанные с поездкой Пушкина в пределах Оренбургской губернии, вероятно, во многом определено многолетним пристрастным интересом одного из составителей – Л.Н. Большакова – к истории этого региона. Именно ему, как следует из имеющейся в ОПЭ справки «об авторах-составителях» (с. 51), принадлежит сама идея создания подобных «персонально-региональных энциклопедий». Он же возглавил и организационную работу по реализации этой программы. Но такой «местнический» подход к исследованию темы, на мой взгляд, логически абсолютно не оправдан ни по отношению к цельному по замыслу и исполнению историческому труду Пушкина, ни к его более чем трехтысячеверстному путешествию по территории нескольких губерний, предпринятому с одной определенной целью. В самом деле, даже гипотетически немыслимо представить дальнейшее дробление на части пушкинского труда и возможность появления других таких же «местных» пушкинских энциклопедий – Казанской, Астраханской. Воронежской... В пределах этих и других губерний также были «места, где произошли главные события эпохи», и некоторые из них Пушкин тоже посетил. Были там и «престарелые очевидцы», от которых он узнавал детали и подробности событий, и только на совокупной основе всех полученных сведений он и смог создать свою «Историю Пугачева». Но, как говорится, что сделано, то сделано.

---

* Далее при ссылках на это издание в тексте указываются лишь том и страницы. – *Прим. сост.*

Надо отдать должное авторам-составителям ОПЭ: работа в очерченных ими рамках проделана немалая. В энциклопедии содержится около восьмисот статей, объем и содержание каждой из которых определялись либо значимостью события, либо социальным положением той или иной личности, либо стратегической важностью объекта или же просто состоянием источников. Документально обоснованные комментарии даны практически ко всем «оренбургским» именам и названиям, содержащимся в пушкинских текстах. Автор этих строк заметил лишь два очевидных пропуска. Так, нет статьи об «Оренбургского уезда деревни Яланкуль татарине Абдусаляме (Абдусалиме) Бакиреве (т. 9, с. 298–299, 599), а «Толкачевы хутора» (т. 9, с. 182, 212, 353, 599) лишь мельком упомянуты в статье о В.Я. Плотникове, хотя интерес поэта к ним не случаен – как известно, именно здесь Пугачев впервые предстал перед казаками под именем Петра III.

Думается, это лишь досадные исключения, которые ни в коей мере не ставят под сомнение результаты кропотливого труда, проделанного составителями по выявлению данных в различных опубликованных изданиях, но главным образом в фондах четырех центральных архивохранилищ и одного областного (Оренбургского). Тщательность, с какой составители ОПЭ изучали архивные фонды в поисках данных о названных Пушкиным лицах, населенных пунктах и прочих объектах, вместе с тем убедительно подтверждает точность и достоверность исторических реалий, зафиксированных Пушкиным в самой «Истории Пугачева» и в подготовительных к ней материалах. Именно эти два существенно важных момента, пожалуй, в первую очередь следует отметить при оценке ОПЭ.

Замечу, что составители попытались даже несколько усложнить свою задачу, посчитав, что и не названное Пушкиным, но «явствующее из контекста» имя «уже самим этим фактом заслуживает специальной статьи» (с. 5). К счастью, видимые результаты реализации» этой задачи (домысливать за Пушкина?) в ОПЭ обнаруживаются в единичных случаях.

При ознакомлении с содержанием ОПЭ обращает на себя внимание некоторая непоследовательность авторов уже при составлении словника своего справочника: им так и не удалось строго выдержать установку включать в ОПЭ «имена и названия... в основном оренбургские». Имеющаяся в приведенной фразе оговорка «в основном» не случайна: без свидетельств о встречах Пушкина с казанцами К.Ф. Фуксом и его женой А.А. Фукс, с проживавшими под Симбирском братьями Александром, Николаем и Петром Михайловичами Языковыми (первые двое, как известно, – давние задушевные приятеля поэта) ОПЭ в содержательном плане многое бы потеряла. Но тогда возникает закономерный вопрос: почему нет персональной статьи о поэте Е.А. Баратынском, тесно общавшимся с Пушкиным во время его пребывания в той же Казани 5–8 сентября? Тем более что после их казанских встреч в литературной среде поговаривали о намерении двух поэтов совместно писать «Историю Пугачева».

Можно назвать и другие имена, которые имеют полное основание быть представленными в ОПЭ. Так, в персональных статьях приводятся развернутые оценки «Капитанской дочки» Н.В. Гоголем, В.Г. Белинским, В.А. Соллогубом и М.И. Цветаевой. Но даже не упомянут В.Ф. Одоевский, мнением которого Пушкин особенно дорожил и специально интересовался, «доволен ли» он прочитанным? «Капитанскую дочь», – писал Одоевский автору, – я читал два раза сряду... Савельич чудо! Это лицо самое трагическое, т.е. которого больше всех жаль в повести. Пугачев чудесен, он нарисован мастерски... О подробностях не говорю, об интересе тоже – я не мог ни на минуту оставить книги, читая ее даже не как художник, но стараясь быть просто читателем, добравшимся до повести» (т. 16, с. 195-196).[e] Известны отзывы о романе и братьев Виельгорских («Пушкин окончил очаровательный роман»), П.А. Вяземского, В.К. Кюхельбекера, А.И. Тургенева, Н.И. Греча и других. Но о них также почему-то не сказано в ОПЭ. Не назван при этом и Денис Давыдов, подсказавший Пушкину пословицу «Береги платье снову, а честь смолоду», которую он впоследствии не только включил в сцену проводов Петруши Гринева на службу (т. 8, с. 282), но в усеченном виде – «Береги честь смолоду» – взял эпиграфом к «Капитанской дочке». С Денисом Давыдовым связан и другой интересный факт, наверняка известный составителям ОПЭ. Во время приезда его в январе 1836 г. в Петербург Пушкин подарил ему «Историю Пугачева», сопроводив стихотворением «Д.В. Давыдову» («Тебе певцу, тебе герою!»). В четырех последних строках этого стихотворения поэт дал и лаконичную характеристику своему герою, к которой советские исследователи почти не прислушались: «Вот мой Пугач: при первом взгляде / Он виден – плут, казак прямой; / В передовом твоем отряде / Урядник был бы он лихой» (т. 3, с. 415). Отсутствует в ОПЭ и любопытное мнение о «Капитанской дочке» П.Я. Чаадаева, изложенное им в письме А.И. Тургеневу: «Пусть я безумец, но надеюсь, что Пушкин примет мое искреннее приветствие с тем очаровательным изданием, его побочным ребенком, которое на днях дало мне минуту отдыха от гнетущего меня уныния. Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровали меня в нем его полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в настоящее время, столь трудно достижимые в наш век...»[8]

Можно привести и другие примеры высказываний известных современников Пушкина об «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке», которые нельзя было обойти в ОПЭ. Включенные в имеющиеся в ней статьи «История Пугачевского бунта», «Капитанская дочка», они, несомненно, обогатили бы их. Но, к сожалению, первая статья ограничивается простым воспроизведением части библиографического описания прижизненного издания книги по Н.П. Смирнову-Сокольскому[9]. Она не содержит совершенно необходимой, на мой взгляд, информации о том, как восприняли «Историю Пугачевского бунта» в обществе в целом. Оставлены без внимания даже бесценные свидетельства самого Пушкина: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже – не поку-

пают» (т. 12, с. 337); «История Пугачевского бунта», не имев в публике никакого успеха, вероятно, не будет иметь и нового издания» (т. 9, с. 379). Так оно и случилось – из трехтысячного тиража книги при жизни поэта было продано всего 1250 экземпляров. И основная причина тому – не малодоступная для широкой читательской публики цена книги (20 руб.), а ее невостребованность. В этой связи представляется, нельзя было не сказать и о «стараниях» близкого к императору министра просвещения и президента Академии наук С.С. Уварова, который всюду, где мог, высказывал об «Истории» свое (только ли?) мнение. «Уваров большой подлец, – записал Пушкин в «Дневнике» в феврале 1835 г. – Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении» (т. 12, с. 337).

Удивляет отсутствие в ОПЭ персональной статьи о Николае I. Ее составителям, конечно, хорошо известно, что если бы не воля императора, разрешившего поэту поездку в бунтовавший в правление его бабки край (и здесь не имеет принципиального значения мотивировка Пушкиным необходимости этой поездки), если бы не выделенная по его указанию беспроцентная ссуда в 20 тыс. руб. сроком на два года, то написание и издание «Истории» были бы под большим вопросом. Наконец, в такой статье составители могли бы наконец-то разъяснить рядовому читателю коллизию с названием труда – то «История Пугачева», то «История Пугачевского бунта» – и сказать, что последнее принадлежит самому императору. Прочитав рукопись и сделав замечания (о некоторых из них сообщается в статье «Разин С.А.»)[10], Николай I подчеркнул, что Пугачев не мог иметь своей истории и потому надо изменить название. И, по справедливому заключению Н.Я. Эйдельмана, «оно, как это ни парадоксально, более соответствовало содержанию книги: здесь... пример, когда цензурное вмешательство объективно сделало текст острее… Возможно, это следует принять во внимание, размышляя о точном, «настоящем» заглавии работы»[11].

Особого разговора заслуживает вопрос об отражении в ОПЭ сведений о тех лицах, из бесед с которыми Пушкин черпал отсутствующие в официальных документах подробности событий, столь важные для воссоздания подлинной картины восстания. «Поверять мертвые документы словами еще живых... очевидцев» было одной из главных целей поездки Пушкина по пугачевским местам, поэтому о каждом из них, независимо от их местожительства, целесообразно было дать самостоятельную статью, к чему обязывал и подзаголовок книги «Путешествие – 1833». В данном случае тоже трудно понять логику составителей при отборе лиц, удостоившихся персональных статей. Так, в ОПЭ казанскому старожилу В.П. Бабину, рассказы которого Пушкин включил в «Историю Пугачева» отведена статья, а священник соборной церкви в Уральске (Оренбургской губ.) А.И. Червяков, информацией которого поэт также воспользовался при написании своего труда, лишь упомянут в статье «Уральск». Или другой пример: есть статья о Шувалове – симбирском старожиле, состоявшем форейтором у Пуга-

чева, рассказы которого слушал Пушкин, но, например, Марфа Пичугина, спевшая Пушкину песню о предводителе повстанцев, только упомянута в статье о другом объекте (равно как и отставные казаки Галин, Усманов, И.Е. Яковлев, сообщившие Пушкину семейные предания о тех временах). Примеры подобного рода можно продолжить.

Между тем включить в ОПЭ персональные статьи о таких лицах ныне не составило бы труда, ибо сведения почти о каждом из них приведены в справочнике Л.А. Черейского «Пушкин и его окружение» (изд. 2, доп. и пер. Л., 1989). Причем надо отметить, что данные об одних и тех же лицах у Черейского за редкими исключениями полнее и подкреплены более основательным научно-справочным аппаратом.

Увы, составители ОПЭ порой словно забывают, что назначение их энциклопедии быть прежде всего Пушкинской, и только потом Оренбургской. Складывается даже впечатление, что в ОПЭ к самому автору «Истории Пугачевского бунта» проявлен гораздо меньший интерес, чем к не раз уже описанным в обширной литературе событиям пугачевщины.

Путевые впечатления Пушкина, его переживания, размышления, непрекращавшаяся работа в «коляске» – все это практически оставлено без должного внимания. Как отмечал один из ближайших друзей поэта П.А. Плетнев, «немногие хорошо знали Пушкина, не писателя – человека... Лучшие движения сердца своего считал он домашним делом, и потому не любил доказывать их. Он хранил их для тесного круга друзей...»[12]

Документальная основа для раскрытия личностно-психологического аспекта темы есть. Кроме воспоминаний В. Даля, братьев Языковых и др., встречавшихся с Пушкиным в 1833 г. во время путешествия, уникальный источник – письма поэта к жене с дороги[13]. Справедливости ради заметим: составители ОПЭ понимают, что они «являются ценнейшим источником воссоздания реалий, обстоятельств поездки, чувств, которые владели Пушкиным» (с. 313–314), и даже приводят небольшие выдержки из них в отдельных статьях. Но этого явно недостаточно: на мой взгляд, каждое письмо заслуживало публикации в ОПЭ в полном объеме с соответствующими содержанию ОПЭ комментариями (несмотря на то, что уже есть их публикации), ибо именно в своей совокупности они дают наиболее верное представление о душевном настрое поэта.

Приведем для примера начало письма из Болдина от 2 октября, когда Пушкин, обеспокоенный тем, что не получал писем от жены аж с 9 сентября (т. 15, с. 79), пишет следующее: «Милый друг мой, я в Болдине со вчерашнего дня – думал найти от тебя письма, а не нашел ни одного. Что с вами? здорова ли ты? здоровы ли дети? Сердце замирает, как подумаешь. Подъезжая к Болдину, у меня были самые мрачные предчувствия, так что, не нашед о тебе никакого известия, я почти обрадовался – так боялся я недоброй вести» (т. 15, с. 83). Каково же было его душевное состояние, если он «почти рад» тому, что нет письма! Правда, в одном из предыдущих своих писем он замечает:

«...я мнителен, как отец мой» (т. 15, с. 82), но черта эта только усугубляла его беспокойство. В первом письме из Оренбурга от 19 сентября есть строки, вовсе не вяжущиеся с утвердившимся у нас восприятием облика поэта: «На силу доехал, дорога прескучная, погода холодная <...> мне тоска по тебе. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел. Взялся за гуж, не говори, что не дюж – то есть: уехал писать, так пиши роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит – я и в коляске сочиняю, что же будет в постеле?» (т. 15, с. 81).

А что же «женка»? А она в редких своих письмах так увлеченно, видимо, щебечет о своих успехах в свете, на балах (возможно, буквально поняв только последнюю часть просьбы мужа: «Пиши мне часто и о всяком вздоре, до тебя касающемся» – т. 15, с. 81), что Пушкин едва ли не в каждом письме выговаривает ей: «Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай... Я пишу, я в хлопотах...» (т. 15, с. 87), «...кокетство ни к чему доброму не ведет... Радоваться своими победами тебе нечего» (т. 15, с. 93). Заботы о семье, тревога за молодую жену, разные хозяйственные неурядицы в Болдинском имении, жалобы крестьян на вороватого управителя и проч. (т. 15, с. 91–92) – все это составляло психологический фон в период написания «болдинского» варианта «Истории Пугачева», и Пушкину нужны были душевные усилия, чтобы отрешиться от этих обстоятельств, ибо начатый им труд требовал полной самоотдачи. Но в ОПЭ об этом почти ничего нет.

В соответствии с одним из подзаголовков издания – «Исследователи и интерпретаторы» – энциклопедия содержит информацию о тех, кто изучал историю создания и в меру своей компетентности толковал содержание «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки», а также о тех, кто пытался переложить их на язык музыки, театральных постановок, живописи и т.д. Но и здесь недостаточная (или наоборот?) продуманность состава персоналий порой приводит к парадоксальной ситуации. Так, многие и многие статьи энциклопедии в подтверждение приводимых в них фактов содержат ссылки на трехтомный труд одного из крупнейших отечественных историков – Н.Ф. Дубровина[14], но сведений о нем, а также оценки его фундаментальной работы в ОПЭ нет. Можно только догадываться, почему его не жаловали в советской историографии: за так называемый буржуазный объективизм в освещении и оценке событий пугачевщины. Отсутствуют статьи и о достаточно часто используемой в ОПЭ документальной публикации «Пугачевщина»[15], а также о ряде позднейших исследований и их авторах. В их числе – известные своими работами о «Капитанской дочке» Г.П. Макогоненко, Д.П. Якубович, Б.В. Томашевский, Ю.М. Лотман. А вот, скажем, о мало кому ведомом грузинском литературоведе А.И. Чхеидзе, в 1952 г. защитившей диссертацию на тему «“История Пугачева” А.С. Пушкина», персональная статья имеется (хотя из нее нельзя уяснить, за что же именно она удостоилась такой чести).

С другой стороны, вряд ли оправдано включение в энциклопедию статьи «Карамзин Н.М.». Как утверждают составители, «уроки маститого историка оказались полезными в работе над “Историей Пугачева”» (с. 182). Но какие «уроки», в чем полезными? Ответа нет. Отведена статья и одному из правнуков Пушкина – некоему Клименко С.Е., учившемуся в 1943–1944 гг. в военном училище в Оренбурге, но не имевшему ровно никакого отношения к исследованиям об оренбургской поездке прадеда. Есть статья о родившемся в Оренбуржье Мусе Джалиле, «любившем поэзию и прозу А.С. Пушкина». И слава Богу, что любил. Но к чему о нем в ОПЭ? И это не единичные примеры (см. с. 101, 107, 208, 239, 241, 245, 283–284, 349–350, 353–354, 359, 447–448, 463, 490).

Нельзя не сказать и о намерении составителей определить прототипы «Капитанской дочки» (поясню, что речь идет не о реальных действующих лицах повести – Хлопуше, Белобородове и других). Учитывая, что, согласно общепринятому представлению, «прототип» – это реальное лицо», послужившее прообразом при создании какого-либо литературного героя, типа или характера, читатель ОПЭ, пожелавший узнать о прототипах главных персонажей «Капитанской дочки», непременно будет искать статьи о запомнившихся ему детства Петруше, Гриневе, Швабрине, Миронове и членах его семьи, Савельиче и др. Но ему придется довольствоваться лишь предположениями типа: «Данные об Оболяеве (пугачевец. – *М.Р.*) были, видимо, использованы автором «Капитанской дочки»... при изображении хозяина степного умета» (с. 281). Такие же или чуть более уверенные догадки сделаны относительно других, в основном «проходных», персонажей или сюжетов повести (см. с. 303, 323, 332, 404, 411–412, 461, 485, 486). Думается, что в данном случае настоятельно требовалась общая статья «Прототипы «Капитанской дочки», в которой целесообразно было собрать все имеющиеся суждения на этот счет, разбросанные по весьма немногочисленным работам, и без околичностей признать, что в литературе вопрос этот так и не получил внятного решения. Легко, например, определить прототип отважного коменданта Белогорской крепости Миронова – реальный Григорий Миронович Елагин, комендант Татищевской крепости, имел все его качества, и даже звали его в быту Григорием Мироновым. Но очень сложно методом прямого сопоставления искать прототип – П. Гринева. Здесь, возможно, стоило прислушаться к мнению Станислава Рассадина, заметившего, что слишком много своего, личного дарит герою его гениальный творец»[16]. Это же отмечала Марина Цветаева, к авторитету которой обращаются составители ОПЭ по другому случаю (с. 465). Касаясь сцены расставания Гринева «с этим ужасным человеком» (Пугачевым), она пишет: «Да и пиитом-то Пушкин Гринева, вопреки всякой вероятности, сделал, чтобы теснее отождествить себя с ним»[17]. Впрочем, все это уже может и не иметь значения, если исходить из определяющей позиции составителей ОПЭ: «В романе, не стесненном нормами и требованиями научного исследования, а поданном в жанре мемуарных записок вымышленного персонажа – дворяни-

на Петра Андреевича Гринева, Пушкин создал цельный и законченный образ Пугачева, более близкий к реальному предводителю народного восстания» (с. 342). И только. Стало быть, один только Пугачев и есть более или мене реальный персонаж, а все остальные вымышлены, плод поэтического воображения. Зачем тогда огород городить?

В прямой связи с задачей определения прототипов «Капитанской дочки» нельзя не коснуться центрального сюжета второй главы романа «Вожатый». Составители придерживаются высказанной еще в 1926 г.[18] точки зрения: Пушкин использовал аксаковский очерк «Буран», в 1834 г. опубликованный в альманахе «Денница» (именно потому в ОПЭ и включена статья «Аксаков С.Т.»). Но после появления в 1987 г. исследования Л.А. Степанова, доказывающего, что сюжетные ситуации и детали описания бурана у Пушкина имеют значительно большее сходство с одним из исторических повествований А.О. Корниловича[19], прежней уверенности в «аксаковских» корнях уже просто не может быть.

Статьи энциклопедии предваряет «Календарь оренбургской поездки А.С. Пушкина», заимствованный из названной книги Ю.Л. Славянского. Но со времени выхода ее в свет прошло почти два десятилетия, и ныне календарь мог быть расширен и уточнен с учетом, например, упоминавшейся «Хроники» 1833 г. С.Л. Абрамович. Приводимые ею данные, основанные на выверенных документальных свидетельствах, восполняют пропущенные (из-за отсутствия сведений) в «Календаре» Ю.Л. Славянского дни: 12–13, 16–20 октября, 5, 15–19 ноября. В «Хронике» уточняется и датировка ряда событий, в том числе и остававшийся спорным (ср., напр., с. 10 и 16 ОПЭ) день возвращения поэта в Петербург. Вместо неопределенного «20 или 21 ноября» теперь можно считать твердо установленной первую дату. Основание для этого – письмо Надежды Осиповны Пушкиной дочери, где сообщается, что они (с отцом) приехали в Петербург вечером 22-го, а Александр возвратился из своего путешествия за два дня до того[20].

Изданию предпослано небольшое обращение «К читателю», в котором изложена история замысла первого исторического труда А.С. Пушкина, рассказано о скрупулезной работе его с литературой и архивными источниками, что и дало ему впоследствии основание ответить своему первому критику В.Б. Броневскому: «Я прочел со вниманием все, что было напечатано о Пугачеве, и сверх того 18 толстых томов in folio разных рукописей, указов, донесений и проч.» (т. 9, с. 389). Отмечая высокую требовательность поэта-историка к самому себе при написании «Истории Пугачева», авторы предисловия справедливо подчеркивают, что именно неудовлетворенность составом использованных исторических источников явилась толчком к решению посетить края, ставшие главной ареной повстанческого движения. В предисловии приводится и пушкинская оценка событий тех далеких лет в представленных Николаю I «Замечаниях о бунте» (последние, конечно же, заслуживают самостоятельной статьи в ОПЭ): «Весь черный народ был за

Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства» (т. 9, с. 375). Если бы авторы-составители ОПЭ ограничились цитированной фразой, то на этом можно было бы поставить точку. Но они идут дальше и упрекают Пушкина в том, что, «находясь на позициях либерального дворянства, он не мог оценить исторической прогрессивности Пугачевского движения, его страшила разрушительная стихия народных выступлений, он не видел в них радикального способа разрешения коренных социальных противоречий ни в Екатерининское время, ни в современной ему действительности» (с. 6).

Казалось бы, бесплодные споры в советской историографии вокруг вопроса о «прогрессивном значении» восстания Пугачева остались далеко позади, но приведенная цитата говорит о явном рецидиве застарелой болезни. Это тем более неожиданно, что материал ряда статей ОПЭ однозначно свидетельствует о том, что «крестьянская война – трагедия, с которой одна часть населения связывала несбыточные надежды, другим же были уготованы безмерные страдания»[21]. Если говорить о последствиях восстания в чисто экономическом плане, то и по статьям ОПЭ можно судить о масштабах разрушения заводов, рудников и другом хозяйственном уроне. Только на восстановление разрушенного, как отмечается в тех же статьях, потребовался не один год. А сколько времени ушло на достижение прежних объемов производства? А невосполнимые людские потери с обеих сторон? Даже неполные сведения об этом, приведенные в ОПЭ, подтверждают общий вывод о пугачевском бунте, сделанный современным исследователем: «Борьба за лучшую долю оказалась во власти стихии и превратилась в кровавую мясорубку, стоившую огромных жертв и нанесшую огромный ущерб российскому хозяйству»[22].

В свете сказанного уже не представляется случайным отсутствие в двух статьях ОПЭ «Капитанская дочка» и «Пропущенная глава» оценки часто и не очень кстати ныне употребляемой известной фразы Пушкина, прозвучавшей из уст его героя Гринева: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бес[с]мысленный и беспощадный». Для точного понимания смысла предостережения следовало привести эту фразу в контексте повести, и тогда многое стало бы на свое место. Вот этот отрывок.

«Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что дадено было им разбойниками. Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных. Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт – бес[с]мысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не

знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» (т. 8, с. 383–384).

В литературе существуют разные толкования содержания этого текста – от признания его данью цензурным условиям и даже воспроизведением охранительной точки зрения (Ю.Г. Оксман) до утверждения о том, что Пушкин не мог верить в «окончательную победу крестьянской революции в тех условиях, в которых он жил»[23]. Надо ли доказывать, что ни то, ни другое не следует из пушкинского текста. Пожалуй, был прав Ю.М. Лотман, который писал, что для Пушкина «правильный путь состоит не в том» чтобы из одного лагеря современности перейти в другой, а в том, чтобы подняться над «жестоким веком», сохранив в себе гуманность, человеческое достоинство и уважение к жизни других людей»[24]. Относительно же путей достижения общественного прогресса поэт в другом месте высказался весьма недвусмысленно: «...не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...» (т. 11, с. 258). Он написал это, убедившись на основе архивных документов, свидетельств современников и очевидцев событий пугачевщины в том, что повстанцы и правительственные войска едва ли не состязались в чудовищных жестокостях и в полном пренебрежении к человеческой жизни, будь то жизнь младенца, немощного старца, женщины. А мы все – «не мог оценить исторической прогрессивности»!

И, наконец, об одном, по меньшей мере, спорном моменте. Не представляется оправданным объединение в ОПЭ двух совершенно различных и по жанру, и по идеологическому содержанию пушкинских произведений – «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки». Их сближает только общая фактическая основа. При всей исторической точности отражения событий в «Капитанской дочке» отчетливо проявляются столь милые русскому человеку черты народной волшебной сказки, чуда или, скажем, своеобразной социальной утопии[25]. Наличие в романе элементов сказки и легенды отмечается рядом авторов, доказывающих, что он в своем художественном построении «явно ориентирован на русский фольклор»[26]. Кроме того, если Пушкин в «Истории Пугачева» «остается историком в полном смысле слова: вопросы современности ощущаются лишь в глубинном подтексте исследования», то в «Капитанской дочке» «история и современность связаны в единый нерасторжимый узел»[27]. А это требовало от авторов энциклопедии иных методических подходов в работе над содержательным наполнением соответствующих статей.

Несколько слов о культуре издания. На ее общем уровне безусловно сказалось отсутствие профессионального издательского редактора. Как отмечено в справке об авторах-составителях, «общее редактирование» осуществлялось Л.Н. Большаковым. Однако каждый должен заниматься своим прямым делом. Пренебрежение этим правилом дало соответству-

ющий результат: и нерациональное оформление справочного аппарата (данные об одной и той же работе каждый раз указываются в полном виде заново без соблюдения издательских ГОСТов), и отсутствие в подавляющем большинстве случаев точных дат рождения и смерти даже самых известных лиц (названы только годы), и текстуальные повторы (с. 191, и 328, 357 и 358 и др.), и противоречия (с. 18 и 432). Нельзя не отметить и досадную путаницу в определении степени родства Юрловых: Петр Иванович – не дядя Аполлона, а родной брат. Они были на обеде у А.М. Языкова (где главный гость – Пушкин) вместе с малолетним сыном Петра Ивановича Владимиром (к сожалению, вовсе не упомянутым в ОПЭ, хотя он оставил свои воспоминания о поэте). Почему-то самостоятельные статьи «Бердские ворота (они же Сакмарские)» и «Сакмарские ворота (они же Бердские)». Возможно, сказанное кому-то покажется мелочью, но энциклопедии не имеют права на ошибку.

Итак, оценивая новый труд, пополнивший Пушкиниану, необходимо разграничивать замысел составителей ОПЭ и его исполнение. С научной точки зрения неправомерно было вычленять из цельного произведения, посвященного описанию событий пугачевщины на всей территории, охваченной пожаром восстания, какую-то отдельную часть, в данном случае – Оренбургскую губернию, поскольку в планах Пушкина – это лишь один из пунктов его маршрута в «места, где произошли главные события», им описанные (именно потому составители не раз вынуждены отступать от своего принципа).

Что же касается главной задачи – дать «персонифицированный комментарий ко всем именам и названиям» в «Истории Пугачева» в пределах Оренбургской губернии, то здесь едва ли могут быть предъявлены какие-либо серьезные претензии, труд проделан большой и скрупулезный, чему прежде всего способствовали многолетние продуктивные научные изыскания по «пушкинско-пугачевской» тематике Р.В. Овчинникова, основательное знание им соответствующих архивных источников. Все это, в соединении с организационной хваткой его соавтора, пожалуй, позволяло создать энциклопедию по пушкинской «Истории Пугачевского бунта» в полном ее объеме. Пока же сделанное в основной своей части служит обнадеживающим заделом для такого издания в будущем.

Примечания

[1] См. опубликованную к 50-летию со дня гибели поэта «Хронологическую канву для биографии Пушкина» в книге «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Несколько статей и материалов Я. Грота с присоединением и других материалов (СПб., 1887. С. 233–249; Изд. 2, доп. СПб., 1899. С. 191–218).

[2] *Лернер Н.О.* Труды и дни Пушкина. Изд. 2, испр. и доп. СПб., 1910. С. 1.

[3] Среди них назовем лишь последние работы, в которых читатель найдет данные о предыдущих изданиях этого жанра: *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Изд. 2, доп. и перераб. М., 1989; *Абрамович С.Л.* Пушкин. Последний год. Хроника, январь 1836 – январь 1837. М., 1991; *Она же.* Пушкин в 1833 году. Хроника. М., 1994.

[4] *Эйдельман Н.Я.* Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 7.

[5] Данные для названных статей взяты из книги казанского краеведа Ю.Л. Славянского «Поездка А.С. Пушкина в Поволжье и на Урал: Научно-популярный этюд» (Казань, 1980).

[6] См., напр.: *Носков А.И.* Симбирская запись Пушкина для «Истории Пугачева» // Временник Пушкинской комиссии. 1977 г. Л., 1980. С. 129–135.

[7] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 19 т. М., 1994–1997. Т. 9. С. 389.

[8] *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма. Т. 2. М., 1991. С. 116.

[9] *Смирнов-Сокольский Н.П.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962 С. 346–347.

[10] Отношение поэта к замечаниям автора выявляется из его записи в дневнике от 28 февраля 1834 г.: «Государь позволил мне печатать Пугачева; мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными)» (т. 12. с. 320).

[11] *Эйдельман Н.* Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1962. С. 145.

[12] *Плетнев П.А.* Сочинения и переписка. В 3 т. Т. 3. СПб., 1885. С. 743.

[13] Составители ОПЭ ограничиваются перечнем 11 писем, написанных Пушкиным после выезда из Петербурга и во второй день после прибытия в Болдино. Но путешествие еще не завершилось, поэт пробудет в Болдинском имении вплоть до 9 ноября и напишет жене еще пять писем. От жены он получил, по имеющимся данным, не более шести.

[14] *Дубровин Н.Ф.* Пугачев и его сообщники. Эпизод из царствования Екатерины II. Т. 1–3. СПб., 1884.

[15] Пугачевщина. Т. I–III. М.; Л., 1926–1931.

[16] *Рассадин Ст.* Сатиры смелый властелин: Книга о Фонвизине. М., 1985. С. 48.

[17] *Цветаева М.* Соч. В 2 т. Т. 2. М. 1980. С. 377–378.

[18] *Поляков А.С.* Картина бурана у Пушкина и С.А. Аксакова // Пушкин в мировой литературе. 1926. С. 277–288.

[19] *Степанов Л.А.* Пушкин и А. Корнилович (Из литературных источников «Капитанской дочки» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 21. Л., 1987. С. 147–158.

[20] См.: *Абрамович С.Л.* Пушкин в 1833 году. С. 490.

[21] *Павленко Н.И.* Екатерина Великая // Родина. 1996. № 12. С. 53.

[22] Там же. 1997. № 1. С. 56.

[23] *Томашевский Б.В.* Пушкин. Кн. 2. М.; Л., 1961. С. 189.

[24] *Лотман Ю.М.* Пушкин: Биография писателя; статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 227.

[25] *Смирнов И.П.* От сказки к роману // ТОДРЛ. Т. 27. 1973. С. 304–320. См. также: *Шкловский В.Б.* Тетива. О несходстве сходного. М., 1970. С. 217 и след.

[26] См., напр.: *Бурсов Б.* Судьба Пушкина. Л., 1989. С. 495, 496.

[27] *Петрунина Н.Н.* У истоков «Капитанской дочки» // *Петрунина Н.Н., Фридлендер Г.М.* Над страницами Пушкина. Л., 1974. С. 123. См. также главу «Пушкин в работе над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка» в кн.: *Оксман Ю.Г.* От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника». Исследования и материалы. Саратов, 1959.

Отзыв о диссертации А.Б. Каменского «От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века: Опыт целостного анализа» [Фрагмент]*

Генеральный вывод диссертанта определен в заключении: «Начавшийся в 1690-х годах процесс преобразования шел практически непрерывно вплоть до 1796 г., т.е. в течение целого столетия... прослеживается определенная преемственность в направленности преобразований... Вместе с тем интенсивность, характер реформ, их направленность на ту или иную сферу, степень их радикализма были естественно, различны на разных этапах» (с. 713). Этот вывод, в своей основе восходящий к С.М. Соловьеву, равноценен высказываниям типа «Волга впадает в Каспийское море» и не содержит ничего оригинального. Кто же будет возражать, что на протяжении столетия в обществе происходили изменения, отраженные в законодательстве?

На мой взгляд, продемонстрированная самим диссертантом банальность вывода опре-

* Рукописный вариант отзыва о диссертации хранится в личном архиве М.А. Рахматуллина и дословно совпадает с первоначальным вариантом текста официального отзыва от членов третейской комиссии Диссертационного совета ИРИ РАН (см. с. 31 настоящего издания). Он содержит наиболее методически важные замечания критика, которые представляют интерес для более широкого круга читателей вне связи с конкретной диссертацией и казусом применения административного ресурса в сфере науки. – *Прим. сост.*

деляется широтой хронологических рамок и вследствие этого невозможностью для историка (подчеркиваю – для историка!) осмыслить и обобщить огромный фактический материал, колоссального объема литературу, посвященную России за более чем столетний период. Такую задачу преимущественно в теоретической плоскости мог бы решить автор социологического или политологического исследования. Как представляется, диссертант не сделал главного – не осуществил строгой классификации законодательных актов, деления – несмотря на наличие в работе специальной главы, посвященной представлению имеющихся толкований понятия «реформа», – вызванных сиюминутными или повседневными потребностями, имеющими временный характер, касающихся отдельных личностей, отдельных явлений, и реформ, отраженных в законодательных актах, имевших принципиальное значение, определявших развитие прогресса на длительное время. Если бы диссертант пошел по этому пути, то он вряд ли стал бы без разбора перечислять все известные указы[1] и ставить в один ряд «Табель о рангах» с указами о внедрении западно-европейского платья, или «Учреждение о губерниях» с указом 1765 г. о запрещении построек, Указ 1730 г. об отмене петровского майората и под тем же годом указ Анны Иоанновны о борьбе с бродяжничеством и нищими и т.д. В общем диссертант в постановочной части своей 765-страничной (?!) работы не задумался над кардинальным для темы вопросом – а что есть реформа и реформы? Здесь он попросту присоединился к предложенной Т. Колтоном весьма спорной классификации: реформы бывают радикальные, умеренные и минимальные (с. 51–52). Под последними и имеется в виду повседневная деятельность властных структур.

Для историка вопрос важен прежде всего в методологическом аспекте. Ясный и четкий ответ на него позволил бы автору отказаться от приведенного выше вывода о непрерывности реформ. Как недавно справедливо заметил историк О.А. Омельченко при обсуждении монографии питерских историков «Власть и реформы в России», «когда обсуждение не выходит за рамки бытового обихода, то и вопрос этот вроде бы глупый: все все понимают. Но когда начинается историческое изучение, привязка к факту, даже к событию, к закону и т.д., тогда ясность исчезает. Каков критерий отнесения события или явления к реформе?.. Любое изменение или изменение, затрагивающее нечто принципиальное? Но тогда, что есть «принципиальное»? Каков временной объем реформ? Если изменение произошло вследствие некоего властного решения, но на протяжении полста, а то и ста лет, – это как, реформа, характеризующая политику власти, или это собственный ход жизни, составляющий фон и основу исторического движения общества?» Ожидаемого ответа на эти уже поставленные в литературе принципиально важные вопросы в работе, претендующей на целостный анализ реформ XVIII в. в России, к сожалению, нет.

Другой, по определению диссертанта, «важнейший вывод... заключается в том, что на протяжении по крайней мере столетия (1694–1796) процесс преобразований в России носил прямолинейный поступатель-

ный характер» (*подчеркнуто А.Б. Каменским*) и «если иметь в виду, что направление развития было определено петровскими реформами, модернизационный, европеизирующий характер которых... сомнений не вызывает, то можно a priori утверждать, что и реформы последующего времени продолжали процесс модернизации» (с. 719).

Эти выводы, как убежден автор, «сделаны на основе рассмотренного в данной работе материала» (Там же). Позволим себе в этом усомниться, исходя из абстрактного содержания самого понятия «европеизация» и из четко просматриваемого в работе стремления «выпрямить» исторический процесс, подвести все явления и события под некую, но столь же абстрактную общую линию? Да и была ли «эта общая линия», вопрошают серьезные исследователи. Уже названный нами О.А. Омельченко справедливо задается вопросом: «Ну, неужели так все полезно (а именно это предполагает модернизационный, поступательный характер реформ (по мнению авторов отзыва) было в реформаторских делах власти в истории России? Неужели не было в предпринимаемых реформах, даже в осуществленных, большей или меньшей части утопии – в виде ли «общего блага», «цивилизации», «законной монархии» (хотя бы в тех идеалах, что известны в XVIII в.)? Неужели не было самой обыкновенной дури преобразовательства? Легальные для современников, такие искривления остаются тем не менее реальными фактами истории реформаторства. Без них эта история вряд ли будет полной. Но возможно, тогда и «общая линия» несколько покривеет»[2].

Как можно заключить из ознакомления с работой А.Б. Каменского, он закрывает глаза на эти неудобные проблемы и не хочет «покривления» прямолинейного характера процесса преобразований в России. Еще одно общего характера замечание. Как известно, история реформ включает в себя и рассмотрение хода их реализации. Но этой равнозначной составляющей темы диссертант на страницах своей работы уделяет куда меньшее внимание без дополнительной мотивировки. Между тем со слов современников мы знаем, как относились в России к законам – «закон, что дышло, куда захочешь, туда и вышло». А если вспомнить и известное высказывание – «несовершенство законов компенсируется их неисполнением» – возникшее на основе оценки реалий жизни, то надобность освещения действия тех или иных административных актов на практике особенно очевидна.

И еще об одном важном для подлинно исследовательской работы аспекте... Точно так же, как в диссертации не делается различия между нормативными и сугубо административными законодательными актами, так в историографии автор не делает различий между фундаментальными и чисто компилятивными работами и просто не на должном профессиональном уровне выполненными статьями. Наиболее показательный пример – историографический обзор, посвященный работам о времени Петра Великого. В одном ряду на однопорядковом уровне с монографиями Н.И. Павленко, Е.В. Анисимова названа и оценивается научно-популярная компилятивная работа В.И. Буганова и по случаю написанная статья Я.Е. Водарского. В историографических очерках,

предпосланных другим разделам диссертации тоже нередки примеры обращения к литературе, по словам самого автора «не являющейся научным исследованием» (с. 239). Тогда возникает естественный вопрос: зачем? Тем более, что они «наполнены острополемическими и часто недоказанными утверждениями» (Там же). Но основной недостаток этих историографических очерков не в этом, а в том, что они таковыми не являются. Это, скорее, аннотированная библиография.

Что касается содержания диссертации, то ее можно (и следовало бы) разделить на две части. Первая охватывает время от Петра I до Екатерины Великой, вторая – время Екатерины и Павла I. Ознакомление с текстом первой части, тема которой ранее не была предметом его специального интереса, убеждает в том, что мы имеем перед собой неплохо исполненную компиляцию. Так, в параграфе «Хроника петровских реформ» нет ни элементов исследования, ни свежей мысли, ни одного неизвестного ранее факта. Текст изложен по типу предназначенного для учебника, впрочем, с замечаниями о своем согласии или несогласии[3] с мнением автора, из работ которого он заимствует тот или иной материал. Порой диссертант поддается влиянию очередной использованной книги, что приводит к противоречиям. Так, на с. 191 он пишет о вполне реальной возможности в петровское время отделения Сибири, Поволжья, Украины, а на с. 202 утверждает обратное, будто «реформы спаяли Россию в единое и неделимое целое». Чему верить бедному читателю?

Автор, конечно, вправе иметь свое суждение даже в том случае, когда он не занимался столетием, о котором пишет, но оно (суждение) должно быть аргументировано. Этого в большинстве случаев нет. Обратимся к параграфу «Системный кризис и реформы в России и Турции» (за ученым словосочетанием «системный кризис», многократно повторенным автором, скрывается, как давно установлено его предшественниками, время создания во второй половине XVII в. предпосылок для петровских реформ). Но больше недоумения вызывает сравнение России с Турцией, даже несмотря на попытки автора методологически обосновать правомерность этого. А почему не с Японией, в истории которой тоже можно найти внешне сходные явления? Одной отваги диссертанта для сравнения истории России с историей Турции на основе знаний, почерпнутых из 4–5 отечественных источников, для серьезного разговора о сходстве или отличии истории двух стран явно недостаточно.

Нельзя не остановиться и на одном из наблюдений, заимствованном у предшественников[4] и изложенном в заключительном параграфе «Итоги петровских реформ». На с. 205 своего труда дисссертант задается риторическим вопросом, «существовала ли в исторической реальности первой четверти XVIII в. возможность ликвидации крепостного права», и отвечает на него положительно: «В это время существовала реальная, хотя (это необходимо подчеркнуть) и чисто теоретическая[5] возможность отмены крепостного права и, следовательно, направления реформ в иное русло». На с. 714–715 вывод сформулирован в более категоричной форме: «...как доказывается в настоящем исследовании[6], на этом этапе (по крайней мере теоретически)[7] существовала историче-

ская альтернатива: в условиях коренной реорганизации всех социально-политических структур и институтов преобразователь имел реальную возможность реформировать и эту сферу, не опасаясь сколько-нибудь серьезного сопротивления со стороны еще не оформившегося в самостоятельную силу дворянства». Эта мысль была высказана в конце 30-х годов в статье историка-любителя В.Б. Вилинбахова, но опубликована в журнале «Наука и жизнь» лишь в конце 80-х (с хвалебным предисловием Е.В. Анисимова). В ней он жестко упрекал Петра I за насаждение крепостнической, а не капиталистической мануфактуры. Эту же мысль повторил Я.Е. Водарский в 1993 г.[8]. Видимо, А.Б. Каменский солидарен с ними, доказательств же никаких (за исключением «не оформившегося в самостоятельную силу дворянства»), хотя само по себе утверждение – продукт непонимания исторического процесса.

Поясню: во-первых, ни у Петра I, ни у его современников (в том числе и главных идеологов) нет и намека на осуждение крепостного права. Это наиболее весомое свидетельство незрелости общества и неготовности его даже к постановке вопроса о «пользе или вреде» крепостного права. Во-вторых, абсолютный монарх, при всей полноте своей власти, в решении кардинальных проблем не может действовать вопреки законам, вопреки социально-экономической действительности. Напомню диссертанту безусловно известный ему факт: «дружный и страшно печальный», – по словам С. Соловьева, – крик депутатов Уложенной комиссии («от дворянства, купечества и духовенства»): «Рабов!» в ответ на попытку Екатерины II затронуть больной для дворянства вопрос о праве владения крестьянами. Императрица осуждала крепостное право и готова была его отменить, но действовала в противоположном направлении. Против крепостного права были настроены Александр I, Николай I. Результат известен: со времени воцарения Екатерины II до отмены крепостного права прошло еще целое столетие.

Примечания

[1] Но, кажется, автор не учитывает неполноту ПСЗ-I. Это было точно установлено историками российского законодательства: в него за первую четверть XVIII в. вошла лишь треть указов и других правовых актов, за вторую четверть – не более пятой части. Полнее представлено законодательство Екатерины II и Павла I. Не вошли акты, представлявшие гос[ударственную] тайну. К тому же Сперанский отсекал «второстепенные», на его взгляд, части текста указов или приложения. Все это требовало от диссертанта обращения непосредственно к фондам Сената. Однако этого не было сделано.

[2] *Омельченко О.А.* [Рец.:] Власть и реформы в России // Отечественная история. 1992. № 2. С. 18.

[3] Причем полемика чаще всего бездоказательна, что характерно и для других разделов работы.

[4] В данном конкретном случае он не делает на них ссылок.

[5] Смысл этой оговорки в контексте всего параграфа «Итоги» абсолютно неясен.

[6] В том-то и дело, что не доказывается, а декларируется.

[7] Ср. выше – сн. 5.

[8] *Водарский Я.Е.* Петр I // ВИ. 1993. № 6.

«Развилка» «развилке» рознь*

«Эта книга, – пишут авторы «Вместо предисловия», – собрание очерков, повествующих об исторических развилках, когда история нашего Отечества могла получить существенно иное продолжение, и о том спектре альтернатив, который держали в уме участники событий» (с. 12). Чуть выше они уточняют, что «в любом сообществе людей постоянно идет... сложная борьба между разными проектами будущего», что «история представляет собой длинную цепочку развилок» (с. 11). Ясно, что под этими, оставляющими возможность неоднозначного толкования, «развилками» понимаются альтернативы исторического развития, о чем и пишет в предисловии к книге А.Л. Юрганов. Правда, 2 его тезиса не могут не вызывать некоторого недоумения. Тезис первый: «Всякая косность мысли оборачивается догмой, *хуже того – идеологией* (выделено мной. – *М.Р.),* которая по природе своей не терпит разномыслия, сомнений, рефлексий» (с. 5). Почему «хуже того – идеологией», если данное понятие, вынужден напомнить, происходит от сложения двух политически «безгрешных» греческих слов *idea* и *logos* и означает структурированную систему взглядов, представлений и моральных ценно-

* Опубл.: ОИ. 2006. № 6. С. 199–204. – *Прим. сост.*

стей. Можно догадываться, что у Юрганова такая сугубо негативная трактовка идеологии сложилась под впечатлением от результатов многолетнего господства обязательной для всех советской идеологической системы, но, как говорится, мухи и котлеты должны быть отдельно. Тезис второй: в современной ситуации, пишет Юрганов, «возникает потребность в провоцирующей *книге*, смысл которой – поколебать уверенность в том, что возможно лишь одно объяснение прошлого. Нет, говорят историки (авторы книги? – *М.Р.),* объяснений может быть больше» (с. 5). Так в чем же состоит «провокационность» книги «Выбирая свою историю», если помнить о точном содержательном наполнении слова «провокация», всегда несущем в себе отрицательный этический заряд?

Нельзя не видеть, что проблема альтернативности исторического процесса подводит нас к осознанию того факта, что люди в нем участвуют не только как исполнители (актеры), но и как создатели (сценаристы), а это, в свою очередь, выбивает почву из-под ног у тех, кто по привычке повторяет, что «история не имеет сослагательного наклонения». Добавим, что неприятие идеи альтернативности истории имеет и нравственный дефект, на что обращал внимание Н.Я. Эйдельман в одной из своих последних книг: «Странное, с виду бесполезное, а на самом деле весьма и весьма важное занятие – разгадывать, разыгрывать несбывшиеся исторические варианты, – писал он. – Много лет нас учили, что историку негоже рассуждать, «что было б, если бы...». Подозреваем, что наставники таким способом прежде всего стремились убедить нас, что «все действительное разумно», а прочее – «от лукавого»: опасные сомнения в единственности того, что произошло. Скажем, коллективизация, тирания, террор...»[1]. В заключение этого небольшого вступления скажу, что книга «Выбирая свою историю» по своей задумке отвечает новому творческому направлению в изучении истории и, прежде всего, помогает удержаться от соблазна «спрямленного» представления о реальном ходе событий.

Далее я остановлюсь на двух проанализированных в книге «развилках», связанных с движением декабристов. Авторы раздела «Мыслящие восстали», говоря об известных петербургских «объединительных совещаниях» 1824 г., определяют их как «важнейшую веху, развилку, от которой зависело будущее движения... Если бы удалось объединить общества (Северное и Южное. – *М.Р.*), установить дату выступления (на чем настаивал П.И. Пестель), выработать единый план «военной революции» и действий после захвата власти, то тогда резко возрастали шансы на успех восстания и начало радикальных реформ» (с. 265). На первый взгляд, сказанное звучит вроде бы убедительно, но доказать саму возможность такого объединения при существовавшей на тот момент реальной расстановке сил авторам главы не удалось. Более того, приводимые в ней факторы, затрудняющие объединение, но по отдельности при определенных усилиях, пожалуй, преодолимые, в своей совокупности делали этот акт заведомо неосуществимым. Решающим

здесь был не давным-давно установленный исследователями факт отсутствия существенных программных расхождений между Северным и Южным обществами, которые при бескорыстном и искреннем желании обеих сторон можно было преодолеть и договориться, а разные представления «о конкретном плане действий по захвату власти и введению нового строя» (с. 266).

Радикальный план Пестеля с цареубийством и последующим введением диктаторского правления заговорщиков, которые собирались удерживать власть «с помощью военной силы до тех пор (месяцы, год, два или десятилетия? – *М.Р.),* пока революционные преобразования не станут необратимыми» (с. 267), был, как утверждал Н. Муравьев, изначально «противен моему рассудку и образу мыслей». Действительно, предложенный Пестелем план ни по одному пункту не стыковался с вялыми (не подберу другого слова) намерениями северян сначала распространить в народе конституцию (непонятно, как), потом произвести «возмущение в войске (опять вопрос: как, каким способом, во всем войске или только в его части?), обнародовать текст конституции и приступить к выборам разного уровня власти на местах и в центре (надо полагать, при полном попустительстве властей, в распоряжении которых оставались все силовые структуры), а в случае «великих успехов – и Народного веча». И именно это виртуальное «Народное вече» и «должно было договориться [!!] с царем, решить вопрос о форме правления и принять или отвергнуть муравьевский конституционный проект» (с. 266).

Как справедливо замечает О.И. Киянская в своем монографическом исследовании о Пестеле на основе обстоятельного и взвешенного анализа ситуации 1824 г., «этот план был неисполним в принципе»[2]. Степень непродуманности и других подобных химерических мечтаний северян была такова, что глубоко симпатизирующие их «более демократическим» планам (почему «более», если этого самого демократизма у южан вообще не было и в помине, – загадка) авторы очерка сами же с изумлением восклицают: «Трудно поверить, что работавшие долгие годы в Генеральном штабе Н.М. Муравьев и С.П. Трубецкой могли так по-любительски планировать будущее “дело”» (с. 267). А тут еще Пестель как военный до мозга костей человек в приватном разговоре с донельзя наивным патриотом и активным идеалистом К.Ф. Рылеевым искренне восхитился воинскими и гражданскими подвигами Наполеона и на этом основании тут же был заподозрен в личной корысти, склонности к узурпаторству и т.п. грехах (впрочем, Пестель действительно мог думать, что он призван стать русским Наполеоном).

Авторы подробно пишут и об отношении к Пестелю Трубецкого и Муравьева, которые тоже подозревали полковника в «личных видах, честолюбии и властолюбии» (с. 268). «В итоге, – делают они вывод, – личные амбиции и борьба характеров сорвали переход всего заговора на более высокую ступень зрелости и уменьшили его шансы на успех 14 декабря 1825 г.». Авторы очерка осознают, что петербургские сове-

щания весны 1824 г. «закончились, вместо объединения, скорее, отчуждением двух тайных обществ» (с. 269, 289) и сам вопрос объединения был отложен на 1826 г. без всякой веры в возможность его реализации. Пестель был настолько удручен случившимся, что признается в охлаждении «к цели нашей», в 1824 и 1825 гг. не раз говорит близким людям о своем желании покинуть Общество и уехать за границу. Более того, в ноябре 1825 г., по воспоминаниям Н. Лорера, Пестель вдруг заговаривает с ним о необходимости «принесть государю свою повинную голову» с тем, чтобы он (государь) пресек дальнейшую деятельность Общества «дарованием России тех уложений и прав, каких мы добиваемся». Что же касается Муравьева, то он, получив после смерти деда большое наследство, практически сосредоточился на собственных хозяйственных делах.

Обо всем этом подробно повествуется на страницах книги «Выбирая свою историю», но *авторы* очерка, вопреки логике, считают, что в 1824 г. все же была налицо упущенная «развилка» в истории страны, утверждая, что «если бы тогда, на петербургских совещаниях 1824 г. они (северяне и южане. – *М.Р.)* сумели объединиться, события могли бы принять совсем другой оборот» (с. 291). Но как же могло состояться это объединение, если для этого не было никаких *реальных* предпосылок, о чем свидетельствует практически весь приводимый на страницах книги фактический материал? Петербургские совещания стали не местом поиска взаимоприемлемых путей решения спорных вопросов, а поводом для нового столкновения амбиций и демонстрации нежелания поступиться личными пристрастиями, причем планы действий с обеих сторон оставались крайне не продуманными. Если исходить из точного значения понятия «альтернатива» как выбор между двумя взаимоисключающими реальными возможностями, то приходится признать, что одной из намеченных авторами «развилок» истории России в 1824 г. просто-напросто не существовало.

Обратимся к другой «развилке», которую авторы очерка определяют как «одну из самых удачных попыток» заглянуть в «воображаемое будущее». Речь идет о содержании главы «Фантастический 1826-й» из книги блистательного историка-писателя Н.Я. Эйдельмана «Апостол Сергей»[3]. Они настолько верят нарисованной Эйдельманом фантастической картине, что, не привлекая вообще какой-либо доказательной базы и никак не обосновывая корректности чарующих исключительно позитивным исходом построений писателя, ограничиваются изложением своими словами основного, как им кажется, содержания главы из книги Эйдельмана. Вот этот текст: «В ней (главе. – *М.Р.)* автор со всем блеском своего таланта и эрудицией историка дает краткий очерк “альтернативной истории” победы Черниговского полка, к которому присоединяется весь 3-й корпус армии и другие части. К 7 января взят Киев, «временное правление армии» провозглашает Конституцию, освобождение крестьян с землей, облегчение солдатской службы и отмену военных поселений. Корпус во главе с Бестужевым-Рюминым идет на

Москву, поляки восстают, арестовывают наместника Константина и провозглашают независимость. Крестьяне захватывают земли и жгут усадьбы. Николай I в Петербурге совещается с несколькими преданными вельможами, а в порту готов корабль, который увезет его с семьей в Пруссию. В феврале объединенные силы нескольких корпусов берут Москву, Николай бежит, а императрицей Московское временное правление провозглашает вдову Александра I Елизавету Алексеевну. В феврале–марте в Петербурге власть берет в свои руки Директорат (от тайных обществ – Пестель и Орлов, от Сената и Государственного совета – Сперанский, Мордвинов). После смерти тяжело больной Елизаветы Алексеевны объявляется республика. Нарастают внутренние и внешние конфликты, в верхах идут яростные споры о немедленных выборах или диктатуре армии. Могло произойти много неожиданного, но и в случае реставрации уже невозможно повернуть вспять – восстановить крепостное право, отменить конституцию. Мудрый историк завершает свой рассказ словами: "Не было. Могло быть"» (с. 291–292).

Изложенное в основном адекватно передает ход событий «по Эйдельману», но без имеющейся у него на удивление точной хронологии событий, а также без самого примечательного, на мой взгляд, захватывающего дух сюжета. Вот это место текста: «Январь... Гвардия ненадежна... Николай I ночью во дворце снова (значит, уже не первый раз! – *М.Р.) беседует с Пестелем, нащупывая пути для компромисса»* (выделено мной. – *М.Р.).* Тот, кто имеет хотя бы некоторое представление о личности Николая Павловича и его взглядах на самодержавие, лишь беспомощно разведет руками, будучи не в состоянии нарисовать картину совместного с Пестелем поиска самодержцем «компромисса». Мало того, сидящий в крепости вождь заговорщиков не идет ни на какие соглашения и «требует собрать Синод и Сенат... объявить всеобщую амнистию и созыв Великого собора, то есть Учредительного собрания».

Нет сколько-нибудь вразумительных ответов и на другие неизбежно возникающие вопросы, ряд которых недавно был озвучен в обзорной статье А.П. Ковалевой[4]. Для этого обратимся к тексту книги Н. Эйдельмана[5]. «Три дня нового года», пишет он, уходят на то. чтобы к восставшему Черниговскому полку присоединились 11 полков пехоты, 8-я дивизия и Артиллерийская бригада. В итоге: «3 января. Весь 3-й корпус и другие части – не менее 60 000 человек – на стороне мятежников». Неминуемо возникающий вопрос о том, как это вдруг командиры частей, ранее и не помышлявшие о том, чтобы поддерживать восставший полк, оказались на его стороне, не ставится вообще. «3 января захвачен штаб армии. Главнокомандующий старик Витгенштейн под арестом, начальник штаба армии Киселев под домашним арестом, но ему предлагается возглавить революционную армию... Киселев пока не решается». Здесь вспоминаются пушкинские строки из стихотворения «Орлову»: «На генерала Киселева / Не положу своих надежд, / Он очень мил, о том ни слова, / Он враг коварства и невежд; / За шум-

ным, медленным обедом / Я рад сидеть его соседом, / До ночи слушать рад его; / Но он придворный: обещанья / Ему не стоят ничего»[6]. Добавить к данной характеристике нечего, и можно лишь посочувствовать писателю, опрометчиво навязавшему повстанцам столь ненадежного руководителя. В главе «Фантастический 1826-й» пишется и о состоявшемся после взятия Киева «громадном митинге на Софийской площади», об «ошеломляющем влиянии на умы *миллионов* людей» (выделено мной. – *М.Р.*) слухов о падении Киева и т.д. Ну, а далее речь идет об «объявлении временного правления армии» (почему всей армии, а не какого-то конкретного органа, конкретных персоналий?). Но вот появляются и реальные личности: «Главнокомандующим особой революционной армией избирается Сергей Муравьев-Апостол (Киселев уже забыт. – *М.Р.).* Командующим 3 корпуса – Михаил Бестужев-Рюмин» (не сказано, *кем* они избраны. – *М.Р.).*

«Январь. Корпус Бестужева-Рюмина стремительно движется к Москве», и вот уже в феврале 1826 г. город «звонит во все колокола. Три революционных корпуса (уже три! откуда взялись еще два, где соединились, кто во главе их, неизвестно. – *М.Р.)* шествуют по городу. Взятие Москвы решает дело». Почему именно это решает дело, если Петербург и его окрестности наводнены верными правительству войсками, только что без всяких эксцессов подавившими мятеж на Сенатской площади? Ответа нет. Однако самое любопытное состоит в том, что в следующих главах Эйдельман воспроизводит реальную картину происходившего на юге России, которая ни на минуту не дает беспристрастному читателю усомниться в невозможности осуществления только что представленного ему сценария. Приведем основные детали: «Бестужев-Рюмин не может поехать в соседние полки и, с трудом избежав плена, возвращается»,«Артамон Муравьев не хочет поднимать ахтырских гусар», «соединенные славяне ничего не знают, ждут», «Тамбовский, Пензенский, Саратовский полки – везде члены тайного общества, везде бывшие семеновские солдаты, но ничего не знают, ждут», «несколько офицеров размышляют о бегстве... кто-то меняет мундир на тулуп».

Результат однозначен: «2 января. С каждым часом дух падает. Позже вспомнят: Матвей Иванович: «Я был очень печален, потому что я предчувствовал, чем все это кончится». Бестужев-Рюмин: “Настроение начало падать... после четырех дней перехода, подобного похоронной процессии... Проклятая пустота. За шесть дней – ни одного другого полка на горизонте”» и т.д. Где же здесь «развилка», где упущенные реальные альтернативы? Их нет, с самого начала понимание безысходности ситуации, предопределенность неудачного исхода дела. Глава потому и называется «Фантастический 1826-й», что все «повествование – чистая фантастика», – приходит к выводу и автор вышеназванной статьи Ковалева[8].

Таким образом, реальное существование двух обозначенных в книге «развилок», связанных с движением декабристов, остается недока-

занным. Между тем по какой-то причине авторы очерка не включают в число «развилок» событие, действительно претендующее быть таковой. Это восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., план которого вскользь характеризуется ими как «весьма перспективный» и со ссылкой на известную книгу Я.А. Гордина «Мятеж реформаторов» говорится об «ошеломляющих, но упущенных возможностях» (с. 290). Приводятся и якобы сказанные наблюдавшим из окна за происходящим на площади М.М. Сперанским горькие слова: «И эта штука не удалась!» Из этого косвенно можно заключить, что авторы не исключают день 14 декабря из числа исторических «развилок».

Напомню слова А.И. Герцена о том, что «попытка 14 декабря вовсе не была так безумна как ее представляют»[9]. Такого же мнения придерживался и Эйдельман, еще в 1973 г. в книге «Герцен против самодержавия» писавший: «Не совсем ясными и доказательными представляются суждения некоторых историков и литераторов о том, что декабристы были обречены на стопроцентный неуспех. Действительно, слабости этого движения, отсутствие массовой основы определяли большую вероятность неудачи; и эта вероятность 14 декабря «сработала». Однако могла ведь осуществиться и меньшая вероятность: кто-то из декабристов (Якубович, например) мог бы, конечно, убить Николая I, восставшие лейб-гренадеры без труда могли бы овладеть дворцом. Об этих возможностях, как вполне реальных, вспоминал позже сам царь. Тогда могла бы образоваться ситуация, при которой власть в Петербурге перешла бы к восставшим. Историки очень не любят разговоров на темы «что было бы, если бы...», чем, кстати, отличаются от социологов, исследователей общественного мнения, которых интересуют и несбывшиеся, но возможные варианты событий. В случае хотя бы временного захвата столицы 14 декабря были бы изданы важные декреты – о Конституции, крестьянской свободе, что, конечно, имело бы значительное влияние на историю»[10]. Замечу, о такой возможности в кратком виде Эйдельман заявил несколькими годами ранее, что свидетельствует о долгих его размышлениях на эту тему. Так, в работе о М.С. Лунине историк утверждал, что если бы все шло по принятому накануне плану, то восставшие «взяли бы власть, сразу издали бы два закона – о конституции и отмене рабства, – а там пусть будут междоусобицы, диктатуры – истории не повернуть, все по-другому пойдет»[11].

Щедрый по самым разным случаям на интервью Я.А. Гордин в одном из них со ссылкой на свою книгу «События и люди 14 декабря» убежденно утверждает, что «в канун восстания у заговорщиков было куда больше шансов на победу, чем у Николая I. В некотором смысле декабристы сами себя разгромили. Не пресловутой нерешительностью и дворянской ограниченностью, которая не мешала им без колебания пускать в ход оружие, когда в нем была необходимость, а ожесточенной борьбой внутри тайного общества», когда «идеологические разногласия легли на разность человеческих характеров, судеб, честолюбий, устремлений», когда «события определялись не безликими за-

конами истории, а человеческими страстями»[12]. Однако еще ранее о возможности успеха, но лишь до того момента, пока лишенное руководства выступление не превратилось в «стоячий бунт», писали историки Русского зарубежья. Они исходили из того, что многие обстоятельства складывались в пользу заговорщиков – затянувшееся междуцарствие, сомнения солдатской массы в законности переприсяги, явная нелюбовь гвардии к Николаю. В этой обстановке достаточно было вбросить в среду солдат лозунг уменьшения срока службы, способный поднять их на борьбу. Но этого не было сделано. Восставшие не захватили Зимний дворец и Петропавловскую крепость, что было вполне осуществимо. Они не арестовали и не убили царя, хотя до этого годами не только говорили о цареубийстве, но и с азартом планировали этот акт. Два объяснения подобной нерешительности дает один из известных представителей зарубежного декабристоведения М.О. Цетлин. Первое: «Монархические традиции и чувства, любовь к царю, неразрывная связь его образа с образом родины воспитывались с детства, питались всей атмосферой». Второе: «Большинство вождей восстания не верили в его успех, и это создавало чувство обреченности, парализовало решимость и волю»[13]. Оба эти довода могут быть приняты для объяснения неуспеха восстания, но главной причиной неудачи было, пожалуй, то. что и на этот раз Его величество случай оказался не на стороне восставших.

Чисто гипотетическая ситуация, связанная с возможной победой декабристов в Петербурге или на Украине, также вызывает самую разную реакцию. Пессимисты-консерваторы считают, что такой исход их выступления погрузил бы Россию в состояние хаоса, анархии и гражданской войны, чреватых чуть ли не гибелью страны, особенно с учетом тогдашней международной обстановки. Согласно другой версии того же, в сущности, толка, успех декабристов привел бы к созданию в России военно-полицейского, прототалитарного государства, социально-политический строй которого соответствовал бы модели Пестеля, что в конечном счете тоже привело бы Россию к гибели, если не в прямом смысле этого слова, то, по крайней мере, оправдало бы известную поговорку: из огня да в полымя. При этом говорят о хозяйственной и административной неопытности декабристов, неизбежных трениях между представителями разных течений в их среде, попытках интервенции со стороны других членов Священного союза и т.д. Оппонирующая сторона научного сообщества выдвигает свои контраргументы: при определении политики революционного правительства верх взяли бы не ультрарадикальные взгляды Пестеля, а более умеренная платформа северян; не исключено, что был бы достигнут некий компромисс если не с самим Николаем I (он действительно вряд ли пошел бы на уступки), то с другими членами императорской фамилии, высшей бюрократией и частью генералитета; был бы объявлен некий переходный период, что позволило бы смягчить последствия перехода России к новому строю и т.д.

Разумеется, мы не можем моделировать в некой научной пробирке социально-политический и социокультурный строй «демократической» России, но право на существование имеют не только пессимистические, но и оптимистические прогнозы, хотя шансы на верификацию первых, видимо, все-таки предпочтительнее. Впрочем, Россия была и является столь мощным этносоциальным организмом, что в конечном счете она выдержала бы все, в том числе и декабристский эксперимент, который мог бы оказаться и более успешным, чем эксперимент, начатый в октябре 1917 г.

На этом и поставим точку, помня о мудром изречении: «История – это спор без конца».

Примечания

1 *Эйдельман Н.* Первый декабрист. М., 1990. С. 70.
2 *Киянская О.* Пестель. М., 2005. С. 114.
3 *Эйдельман Н.* Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле. М., 1975.
4 *Ковалева А.П.* Сослагательное наклонение в деле декабристов. Обзор современных публикаций по альтернативной истории событий 1825–1826 гг. // 14 декабря 1825 года. Вып. VII. 1825–2005. СПб., 2005. С. 558–559.
5 *Эйдельман Н.* Апостол Сергей. С. 255–264.
6 *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 17 т. Т. 2. М., 1949. С. 80.
7 *Эйдельман Н.* Апостол Сергей. С. 265 и след.
8 *Ковалева А.П.* Указ. соч. С. 557.
9 *Герцен А.И.* Собр. соч. В 30 т. Т. 6. М., 1955. С. 216.
10 *Эйдельман Н.Я.* Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Вольная печать. Изд. 2, испр. М., 1984. С. 272.
11 *Эйдельман Н.Я.* Лунин. М., 1970. С. 72.
12 *Гордин Я.* Дороги, которые мы выбираем, или Бег по кругу. СПб., 2006. С. 27.
13 *Цетлин М.* 14 декабря // Мы дышали свободой... Историки Русского зарубежья о декабристах. М., 2001. С. 138.

Энциклопедия по истории общественной мысли России XVIII – начала XX в.*

В условиях повышенного спроса в современном обществе на информацию выход в свет однотомной энциклопедии по истории общественной мысли России XVIII – начала XX вв. действительно позволит читателю хотя бы пунктирно проследить процесс ее развития на основе анализа как личных убеждений и мировоззренческих представлений лучших умов России, так и целых социальных слоев, государственных институтов, идейных течений и политических партий. Напомним, что создать широкую, охватывающую период в несколько столетий панораму отечественной общественной мысли не смог даже такой выдающийся ее представитель, как Г.В. Плеханов, отдавший капитальному труду «История русской общественной мысли» несколько лет своей жизни и успевший довести его лишь до событий конца XVIII в. При этом он не определил предмет своего исследования, а самой интересной в историософском смысле частью его труда стало введение, а не основные его разделы. Поэтому можно только приветствовать появление обсуждаемой сегодня энциклопедии.

---

* Выступление на «круглом столе», посвященном обсуждению энциклопедии «Общественная мысль России XVIII – начала XX в.». Опубл.: ОИ. 2006. № 4. С. 104–111. – *Прим. сост.*

Начну с того, что, к сожалению, в новой энциклопедии тоже отсутствует определение такого ключевого для подобного издания понятия, как «общественная мысль». Между тем сразу же возникает вопрос: всякая ли мысль общественного или государственного деятеля, писателя, ученого, философа – пусть даже вполне оригинальная, яркая, глубокая – может считаться частью мысли общественной? Или для этого нужно стать если «не властителем дум», то по крайней мере человеком, мысли которого известны обществу (или его более или менее значительному сегменту), так или иначе восприняты им, получили его поддержку, нашли продолжение и развитие? Отсюда возникают и проблемы с отбором персоналий, достойных считаться подлинным субъектом процесса генезиса и развития общественной мысли, а также с отбором тех фактов из их биографий, которые соответствуют профилю данного издания. Мне показалось, что авторы биографических статей, видимо, все же не получили четких рекомендаций относительно тех акцентов, которые должны быть сделаны в их материалах, хотя в редакционном предисловии к тому справедливо указаны критерии подхода к оценке того или иного деятеля: весомость его вклада в общественную мысль, глубина, широта и значимость его воздействия на умонастроения данной эпохи, политику государства, общественные инициативы, политические программы и действия (с. 1).

Этот существенный недостаток можно обнаружить не только в статьях о российских императорах и министрах, где подробно рассказывается об их деяниях независимо от того, имеют они отношение к истории общественной мысли или нет, но и в других материалах тома. В ряде случаев мы сталкиваемся с таким феноменом, как «отложенное» по разным причинам воздействие идей того или иного деятеля на общество, узнающее о них лишь много лет спустя, после смерти их авторов. Обратимся, например, к статье о М.М. Щербатове (автор С.Г. Калинина) и к его самому известному труду – памфлету «О повреждении нравов в России», в первую очередь давшему основание считать Щербатова непримиримым критиком нравственных устоев современного ему общества и выразителем мнения определенной части дворянской (и не только) общественности второй половины XVIII столетия. При этом как бы забывается, что написанное в 1786 или 1787 г. сочинение князя впервые увидело свет лишь в июле 1858 г. в издании герценовской Вольной русской типографии и только после этого действительно стало достоянием общественности. Умолчание об этом неоспоримом факте вольно или невольно искажает исторические реалии: ведь памфлет не был известен современникам Щербатова, был написан, как говорится, «в стол» и в силу этого не мог оказать никакого воздействия на умонастроения эпохи. Но тут же возникает и другой вопрос: достаточен ли сам факт появления на свет, допустим, того или иного политического трактата для отнесения его к категории памятников *общественной мысли* или для этого он должен стать известен не только родственникам или друзьям автора, но и более широкому кругу (и какому

именно?) читателей? А если при этом практически не просматривается влияние подобного памятника на политику власть имущих или на формирование общественного мнения, общественных настроений, то как такие произведения нужно оценить? Добавим, что аналогичные вопросы можно поставить в отношении А.Н. Радищева и даже М.М. Сперанского, с мыслями которых российское общество познакомилось в основном уже после их смерти. При этом хорошо известно, что тому же Сперанскому удалось провести в жизнь лишь ничтожную часть задуманных преобразований. Примерно то же можно сказать и о П.А Валуеве, М.Т. Лорис-Меликове, П.Д. Киселеве, Н.Х. Бунге и других.

В этой связи, кстати, вызывает недоумение отсутствие в данной тематической энциклопедии таких ключевых для понимания процесса развития общественной мысли вообще и особенно в России статей, как *«общество»* (наличие статьи *«Гражданское общество»* ни в коей мере не является компенсацией) и *«общественное мнение»*. Дело в том, что в раскрытии их содержания применительно к периоду до 1860-х годов в литературе имеет место полная неопределенность. Кто из исследователей может наверняка сказать, что нужно понимать под «обществом» в XVIII – первой половине XIX в. – придворную элиту, столичный свет, все «благородное» сословие или только его часть за исключением заскорузлого в своем большинстве провинциального дворянства, которое в условиях крайне ограниченного рынка средств массовой информации не имело возможности сколько-нибудь активно участвовать в общественной жизни страны? О крестьянстве, ремесленниках, рабочих мануфактур и фабрик указанного времени и говорить не приходится. То же самое относится и к понятию «общественное мнение». Остается неясным, кто его формирует, как оно влияет на умы граждан (подданных) и на политику власти. Совершенно очевидно, что все эти вопросы нуждаются в серьезном и объективном исследовании.

Более подробно мне хотелось бы остановиться на нескольких статьях, относящихся к истории общественной мысли второй четверти XIX в., т.е. ко времени правления Николая I. Этой темой я занимаюсь довольно давно и считаю ее чрезвычайно важной для понимания процесса модернизации российского общества, который составляет главную ось всего исторического процесса России XIX в. В качестве предмета разговора я выбрал статьи о Николае I, А.С. Пушкине, Н.В. Гоголе и ряде других деятелей той эпохи.

Вряд ли нужно специально обосновывать выбор этих персоналий. Ведь Николай I, время правления которого часто называют «апогеем самодержавия», был уверен, что держит в руках все нити управления страной и способен давать указания не только министрам и генералам, но и писателям, ученым, философам и т.д. Литераторы были в николаевской России больше, чем писателями и поэтами, а литература и литературные журналы частично заменяли тогда и парламент, и политические партии. Что касается А. С. Пушкина, то о нем часто справедливо говорят: *«Это наше все»*. И действительно, мировоззренческая

эволюция этого гения от его юношеского радикализма до либерального консерватизма в зрелые годы отразила широкий диапазон взглядов всей дворянской интеллигенции 1810–1830-х гг. Если же взять, например, таких министров, как Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев и С.С. Уваров, то они действительно во многом способствовали укреплению экономического и идеологического фундамента российского самодержавия. Напомню в этой связи слова небезызвестного М.А. Корфа, считавшего Канкрина, наряду со Сперанским, гением, хотя и не вполне оцененным, но стоящим «выше других, как гора над равниною»[1]. Характерно, что обычно очень язвительный в своих суждениях о высших чиновниках князь П.В. Долгоруков писал, что Канкрин был самым способным из николаевских министров. «Он был умным человеком, ученым знатоком финансовой части, администратором опытным и искусным»[2]. Да и сам Николай I в ответ на просьбу Канкрина об отставке по болезни однажды сказал ему: «Ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты да я»[3]. Замечу, однако, что если роль Уварова, считающегося (вместе с Николаем I) создателем знаменитой идеологической триады «православие – самодержавие – народность», органично вписывается в тематику энциклопедии, то для читателя остается неясным, какое отношение к общественной мысли имеет блестящий финансист-практик Канкрин. Лишь попутно, вскользь мы узнаем, что в своих работах министр финансов «указывал на преимущества частной собственности, критиковал идеи социализма и коммунизма» и что необходимым условием экономического прогресса он считал сильную государственную власть. Автор статьи В.Л. Степанов пишет также, что по политическим взглядам Канкрин – консерватор, сторонник сохранения основ самодержавного строя, что экономическую свободу он ставил выше политической и, «признавая несовершенство многих современных общественно-политических институтов, выступал за их постепенное и осторожное реформирование» (с. 189). Вот, пожалуй, и все, что можно напрямую связать с тематикой энциклопедии, однако этого, на мой взгляд, явно недостаточно для того, чтобы предметно судить о степени вовлеченности Канкрина в процесс развития общественной мысли в России в николаевскую эпоху, о его реальном месте в нем.

В статье «Николай I» (автор Д.И. Олейников) отмечены почти все важнейшие вехи его биографии, включая и хронику семейной жизни. О самом же развитии общественной мысли в России и о месте Николая I в этом процессе из несистематизированных и «вольным ветром» рассыпанных по тексту статьи хорошо известных по литературе суждений можно почерпнуть сравнительно немного. «Большое влияние на императора, – пишет Олейников, – оказали беседы с Н.М. Карамзиным, утверждавшим, что “всякая новость в государственном порядке есть зло, к которому следует прибегать только по необходимости”». Далее говорится о том, что новый самодержец с самого начала «стремился оградить страну от чуждых ей идей, решительно пресекал лю-

бые попытки распространения “ложных учений”», «отрицая западный путь развития, несущий в себе зерна революционной «заразы», выступал апологетом самодержавия, опиравшегося, по его убеждению, на глубокие национальные традиции русского народа», «стремился к установлению государственного контроля над образованием» (как будто этого не было до него), препятствовал созданию новых частных изданий» (журналов), «для надзора за цензурой в апреле 1848 г. учрежден особый комитет» (впрочем, автор делает реверанс Николаю, указывая, что до этого «чугунный» цензурный устав 1826 г. «был заменен им более терпимым цензурным уставом 1828 г.», причем ни слова не говорится о тогда же одобренных императором секретных наказах цензорам, сильно ужесточавших цензуру). Разумеется, в статье сказано и об идеологической базе режима – о так называемой теории «официальной народности», но сказано весьма и весьма невнятно. Между тем современники считали «уваровский девиз лозунгом всего царствования»[4]. Из поля зрения автора статьи, пожалуй, ускользает самое главное: официальное утверждение идеологии николаевского режима стало знаковым событием в общественно-политической жизни страны, резко ограничившим возможность проявления всякого инакомыслия. Ничего не сказано в статье и о созданном в 1833 г. по личному указанию и наставлениям Николая I российском гимне «Боже, Царя храни!», завершившем набор государственной символики (герб, флаг, гимн).

К большому сожалению, автор не делает даже попыток каким-то образом обобщить приведенные им факты, отвечающие тематике энциклопедии, и предложить читателю их систематизированную оценку. Более того, Олейников упускает из виду ряд имеющих непосредственное отношение к истории общественной мысли фактов, дающих исследователю возможность для такой систематизации. Так, ни слова не говорится о появившемся в августе 1827 г. царском рескрипте на имя министра народного просвещения А.С. Шишкова об ограничении возможности получения образования детьми крепостных крестьян (с циничной, по своей сути, мотивировкой: дабы они не приучались «к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию»). Не сказано и о последовавшем в феврале 1831 г. обязательном для всех постановлении Государственного совета (принятом по собственноручной записке Николая I) о том, чтобы детей в возрасте от 10 до 18 лет обучать отныне только в России. «Исключения, – грозно предупреждает царь, – будут зависеть единственно от меня по одним самым важным причинам»[5]. Дальше – больше: в июле 1840 г. царским указом вводится и возрастной ценз для выезжающих за рубеж – отныне этого права лишались лица моложе 25 лет. Для принятия подобных ограничительных мер мотив у царя поистине страшный и в то же время смехотворный: «И чему им там учиться?», ведь если «посмотришь, порассудишь и убедишься, что *наше несовершенство* во многом лучше их *совершенства*»[6]. Царь, как писал один из его современников, на дух не принимал утверждавшийся в Европе новый мир, «мир индивидуальной сво-

боды и свободного индивидуализма», представлявшийся ему «во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть»[7].

Для более полного определения места и роли Николая I в удушении «умственного движения» (А.И. Герцен) в стране нельзя было не привести его уникальное напутствие знаменитому Бутурлинскому комитету: «Как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет *расправляться с виноватыми*»[8] (курсив мой. – *М.Р.).* И царь действительно расправлялся, да так, что, как пишет А.В. Никитенко, «ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Становится невозможным что бы то ни было писать и печатать. Варварство торжествует там свою победу над умом человеческим»[9]. Император прекрасно знал, что делал, ибо «у народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести»[10]. Не миловал Николай I и неугодных ему литераторов. Так, если в отношении С.Т. Аксакова и И.С. Тургенева он ограничивался административными взысканиями, а П.Я. Чаадаева приказал военным медикам обследовать на предмет психического здоровья, то Т.Г. Шевченко он не только отдал в солдаты, но и заслал за тридевять земель на гиблый Мангышлак, запретив ему писать и рисовать, а М.Ю. Лермонтова со злобным напутствием отправил на охваченный войной Кавказ. Не удержался Николай и от публичных упреков в адрес еще недавно привечаемого им после просмотра «Ревизора» Н.В. Гоголя за часто употребляемые писателем «выражения и обороты слишком грубые и низкие»'[1]. Но и этого казалось мало «душителю революций»[12]. «Торжество варварства» еще более усилилось после назначения в мае 1850 г. министром народного просвещения П.А. Ширинского-Шихматова, даже среди «людей самых благонамеренных» слывшего «за человека ограниченного, святошу, обскуранта», «бездарного фразера»[13]. Выбор самодержцем такой одиозной в глазах общества фигуры определялся содержанием поданной последним на высочайшее имя записки о необходимости изменить преподавание в университетах таким образом, чтобы «впредь все положения и выводы науки были основываемы не на умствованиях, а на религиозных истинах, в связи с богословием»[14]. Понятно поэтому, почему в университетах было запрещено чтение лекций по философии и государственному праву, а преподавание логики и психологии отдано на откуп богословам. Все доходившие до ушей императора анонимные упреки в обскурантизме он отметал в привычном для себя стиле: «Говорят, что я – враг просвещения: западное развращает их, думаю, самих; совершенное просвещение должно быть основано на религии»[15].

Нет ничего удивительного в том, что один из николаевских генералов дал такую итоговую характеристику его царствованию: «Суровое это было время, мрачное, тяжелое, подчас беспощадное. В частных со-

браниях опасались говорить друг с другом не только о государственных делах и мероприятиях, но даже о личных недостатках того или иного сановника, о достоинствах книги, навлекшей на себя гнев цензуры, о политических волнениях в иностранных государствах и т.п. Каким-то непонятным образом эти «либеральные» беседы доходили до сведения властей, и виновные привлекались для расправы в III Отделение». По убеждению мемуариста, это вытекало «всецело из личных стремлений императора, сидевшего на престоле, самодержца чистой воды, не признававшего ничего выше своей воли» и «державшего всю Россию в кулаке так крепко, что она только попискивала»[16].

И все же, несмотря на «тяжкие цепи», наложенные «на книгопечатание, на свободу беседы, на свободу совести», и несмотря на «властвование тайной полиции»[17], было ясно, что, по донесениям агентов III Отделения, «никакая власть, никакая сила, самая зоркая блюстительность не могут удержать разлива идей»[18]. Так и случилось. А.И. Герцен в сочинении «О развитии революционных идей в России» писал, что «внутри государства совершалась великая работа, – работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная; всюду росло недовольство, революционные идеи за эти 25 лет распространились шире, чем за все предшествующее столетие»[19]. И происходило это, заметим, вопреки воле и конкретным действиям «всемогущего» императора. Обо всем этом, видимо, и следовало в первую очередь вести речь в статье о Николае I.

Статью о Пушкине (автор – Л.Г. Березовая) не отличают какие-либо новые оригинальные наблюдения и суждения, хотя в ней прилежно воспроизводится почти все то, что уже является общим местом в отечественной Пушкиниане (главным образом советской поры). В этом нет ничего предосудительного, ибо в справочных изданиях, как правило, аккумулируются уже добытые наукой знания. Однако достаточно часто встречающиеся в тексте штампы вроде «пушкинский тип мировоззрения», «огромный массив исторических размышлений поэта», «интеллектуальное взросление» Пушкина и т.п., как мне представляется, никак не украшают статью. Есть и более обширные фразы, призванные быть ключевыми, но, к сожалению, требующие содержательной расшифровки: «Высвеченные гением Пушкина «вечные» темы российской истории, созданные им образы исторических героев приобрели статус национальных мифов, что делает их незаменимыми в национальном сознании, ибо каждый народ обретает историческое сознание путем формирования собственных исторических мифов, адаптируя их в культуре и идеологии». Или: «Происхождение пушкинского вольнолюбия – пылкость и искренность чувств, любовь к жизни, сознание чести, достоинства мысли, таланта и ума. Оно не имеет ничего общего с политической идеей прав «по закону» и вообще с любой идеологией». Не могу не привести и еще один пассаж: «Загадка Пушкина состоит в простоте живой и искренней человеческой жизни, самодостаточности ее, в цельности творчества». Все это, к сожалению, отдает, на мой взгляд,

неким наукообразием, не приближая к решению центральной задачи статьи – показать место Пушкина и его творчества в процессе развития общественной мысли в России.

Что касается более конкретных впечатлений от прочитанного, то обращает на себя внимание то, что из поля зрения автора совершенно выпала полемика Пушкина с Радищевым по поводу книги «Путешествие из Петербурга в Москву». В рамках тематики обсуждаемого издания эта полемика примечательна прежде всего тем, что именно тогда поэт обосновывал необходимость оценок общественных явлений и фактов прошлой истории в сравнительно-историческом измерении. Я уже не говорю о том, что зрелый Пушкин фактически осудил здесь Радищева – факт мало известный широкому читателю[20]. Практически ничего не говорится и о том, что на ранней вольнолюбивой поэзии Пушкина (ода «Вольность», стихотворения «Деревня», «Кинжал» и др.) выросло целое поколение молодежи. Напомню в этой связи показание декабриста И.Д. Якушкина о том, что «в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии который не знал [бы их] наизусть»[21]. Об этом же давали показания на следствии и многие другие декабристы, что не может не быть известно автору статьи. Приведу и незамеченное ею бесценное свидетельство В.А. Жуковского. В письме Пушкину от 12 апреля 1826 г. он без обиняков писал, что «в бумагах каждого из действовавших (имеются в виду привлеченные к следствию декабристы. – *М.Р.*) находятся стихи твои. Наши отроки (то есть все зреющее поколение) познакомились с твоими буйными, одетыми прелестию поэзии мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый»[22]. Автор статьи справедливо пишет, что со временем общественно-политические взгляды поэта во многом изменились, но при этом важно было отметить, что в глазах общества он оставался прежним Пушкиным-вольнодумцем, певцом «вольности»[23]. Именно поэтому Пушкин, подчеркивал выдающийся мыслитель Г.П. Федотов, был для правительства «всегда опасным, всегда духовно связанным с ненавистным декабризмом. И как бы ни изменились его взгляды в 30-е годы, на предсмертном памятнике он высек все же слова о свободе, им восславленной»[24].

Сопоставляя взгляды Пушкина и Карамзина на события русской истории, Березовая правомерно находит у них некоторые различия, но ни слова не говорит о крупном разладе, возникшем между ними на политической почве. Да, Пушкин искренне считал, что «История государства Российского» «есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека»[25]. Но вместе с тем он написал и известную эпиграмму на этот труд: «В его «Истории» изящность, простота / Доказывают нам без всякого пристрастья / Необходимость самовластья / И прелести кнута»[26]. Хлесткость и нарочитую несправедливость последней строки отметил еще Б. В. Томашевский[27]. Карамзин, разумеется, никогда не писал о «прелести кнута», и автор эпиграммы это прекрасно знал, но, по словам Н.Я. Эйдельмана, он «сознательно доводит до некоторого абсурда исторический фатализм» историка[28]. Эпиграм-

ма родилась не вдруг – ее появлению предшествовал спор на политические темы между поэтом и историком. «Однажды, – пишет Пушкин, – начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Кара[мзин] вспыхнул и назвал меня клеветником. Я замолчал, уважая гнев прекрасной души»[29]. Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не завершил этот очный спор эпиграммой, где «прелести кнута», конечно же, выступают как аналог «предпочтения рабства свободе».

Как мне кажется, специального анализа требовало содержание второго тома «Современника», целиком посвященного много занимавшей поэта в последние годы его жизни не потерявшей своей актуальности проблеме отношения власти к литературе, взаимоотношениям писателя и самодержца. По вполне обоснованному мнению исследователей, Пушкин на целенаправленно подобранных им для этого тома материалах «ненавязчиво предлагал читателю свое понимание отношений, которые должны складываться между монархом и писателем: правители обязаны ценить и прислушиваться к мнению независимых литераторов»[30].

Из поля зрения автора статьи выпал и важный для оценки взглядов поэта в контексте существовавших в его эпоху религиозных представлений сюжет: Пушкин и религия. Как известно, в решении Александра I о ссылке поэта в Михайловское большую роль сыграло его перлюстрированное письмо П.А. Вяземскому от апреля–мая 1824 г., где он писал, что «берет уроки чистого афеизма» у англичанина-философа[31], «единственного умного афея, которого я еще встретил». Ладно бы Пушкин ограничился этими словами, но он прибавляет, что считает «более всего правдоподобным» его суждение о том, «что не может быть существа разумного, творца и правителя, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души»[32]. А в 1828 г. началось расследование по поводу написанной Пушкиным в апреле 1821 г. «нечестивой и богохульной» поэмы «Гавриилиада». Поначалу открещивавшийся от авторства поэт под давлением обстоятельств все же признал его и, надеясь на смягчение своей участи, сознательно отодвинул дату написания «Гавриилиады» с 1821 – на 1817 г. – время своих «юношеских» увлечений. За это «чистосердечное» признание Николай I формально простил поэта, но припомнил его «богохульство» на смертном одре, когда с целью извращения светлого образа поэта упорно пытался утвердить в свете мнение о его нежелании «исполнить долг христианский» и всюду твердил, что «мы насилу довели его до смерти христианской»[33]. На самом же деле, по достоверным свидетельствам современников, Пушкин «сам потребовал священника и приобщился св. Тайн»[34], что в ту эпоху, кстати, было естественным актом. И напоследок об одной кажущейся мелочи: в списке литературы следовало бы назвать замечательные выпуски Пушкинского дома «Пушкин. Исследования и материалы», а также работы С.Л. Абрамович, в то же время исключив из него несостоятельное в научном отношении сочинение Ю. Дружникова.

Переходя к статье «Гоголь Н.В.» (автор В.А. Воропаев), сразу же скажу, что ее содержание отличается крайней односторонностью. Автор статьи полностью сосредоточил свое внимание на официально не поощряемых в недавнем прошлом аспектах творчества писателя – его религиозных взглядах и построениях. Для этой цели он приводит соответствующие обширные цитаты и делает заключения о «глубокой воцерковленности сознания» Гоголя, о его абсолютной убежденности в том, что «единственным условием духовного возрождения России» станет «воцерковление русской жизни» и что для него «понятие христианства выше цивилизации». Воропаев подчеркивает, что Гоголь «в своей концепции мирового исторического развития придавал определяющее значение Божественному промыслу», что именно в «успехах прогресса и цивилизации» он видел «губительность для человечества (прежде всего для христианского мира)». Разумеется, автор упоминает и некоторые художественные произведения Гоголя и даже приводит известные слова Белинского о том, что он был «главою литературы, главою поэтов». Но все это находится на втором плане. В результате в статье практически «пропал» Гоголь-писатель, а есть только человек, шедший «трудным путем очищения, восстановления в себе образа Божия, воцерковления своих писаний».

Соглашусь, что был и такой Гоголь (особенно в последние годы жизни), но вот что в первую очередь увидел в нем один из современных ему *православных священников:* «Странная судьба наших поэтов-философов и философов-поэтов, они как будто не уживаются на нашей земле. С Пушкиным мы лишились великого поэта, с Гоголем – *великого писателя*»[35] (курсив мой. – *М.Р.*). Автор же статьи и полтора века спустя после смерти Гоголя не приметил того главного в нем, что было ясно этому современнику. Да и для читателей-современников всех прочих сословий Гоголь прежде всего представлял собою выдающееся явление на литературном поприще[36], а не малопонятного «воцерковленного» человека, «настоящим призванием» которого, по автору, оказывается, «было монашество». Приведу и слова французского поэта и критика Сент-Бёва, опровергающие абсолютизированное мнение автора о глубокой «воцерковленности писаний» Гоголя: «Разговор его (Гоголя с Сент-Бёвом. – *М.Р.*), полный силы, отличающийся точностью и богатством наблюдений над нравами и фактами действительной жизни, дал мне возможность схватить на лету, предвкусить, так сказать, всю оригинальность и *реализм* его сочинении»[37] (курсив мой. – *М.Р.).*

Нельзя не заметить и того, что автор статьи не сказал ни единого слова об «одном из глубочайших», по оценке Белинского, созданий писателя – знаменитой повести «Шинель», с ее типическим образом забитого и униженного «маленького человека» Акакия Акакиевича Башмачкина – жертвы самодурства «значительных лиц». Между тем именно эта повесть определила гуманистическую направленность литературы, причем не только в 1840-х годах, но и последующего времени. Умолчание этого факта тем непростительнее, что сама проблема вли-

яния Гоголя-писателя на коллег по литературному цеху, а следовательно, и на их читателей, на мой взгляд, входит в тематику энциклопедии. Гоголь был настоящим художником слова – сочного, меткого, глубоко народного, запоминающегося, блестящим юмористом и тонким лириком, которому одинаково доступны все прозаические жанры. Созданные им литературные образы составили целую галерею человеческих типов, характеризующих общество николаевского времени лучше, чем целые тома исторических документов. И не только «николаевского». Вспомним о прочно утвердившемся со времени выхода в свет «Мертвых душ» точном и емком определении, согласно которому «в каждом из нас сидит Ноздрев, Манилов, Собакевич и прочие фигуры его романа». Ведь именно поэтому и «Мертвые души», и «Ревизор», и многие другие произведения писателя во все предшествующие времена оставались и по сию пору остаются востребованными обществом, тогда как мало кто, кроме узких специалистов, знает (и хочет ли знать?) о его религиозных исканиях, хотя, повторюсь, и без них Гоголь – это уже и не Гоголь.

В статье сказано несколько слов и о книге «Выбранные места из переписки с друзьями», где Гоголь, как утверждает автор, «выступил в роли государственного человека, стремившегося к наилучшему устройству страны». Если это так, то отчего же, по свидетельству современника, мнению которого вполне можно доверять, «эту переписку никто не понял», отчего «она подняла такой гвалт на всю Русь»?[38] Сам же Гоголь, как известно, тоже считал, что «еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков», как его «Выбранные места из переписки с друзьями». Причем, как подчеркивает писатель, «предметом толков и критик стала не книга, но автор». Главным, на его взгляд, являлось здесь то, что «не было двух человек, совершенно сходных между собой в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям <…> Всякий выражал более самого себя, чем меня или мою книгу»[39]. Между тем, явно упрощая, на мой взгляд, ситуацию, Воропаев ограничивается традиционной ссылкой на вызвавшее «особый резонанс письмо Белинского к Гоголю» и туманным заключением, что суть их спора «сводилась к религиозному прогнозу» (?). Разве об этом идет речь в 32 главах этого, все еще беспристрастно не оцененного в нашей историографии произведения великого писателя, по-прежнему несущего на себе клеймо «зловредной книги», запальчиво и не вполне справедливо поставленное Белинским в его зальцбургском письме Гоголю от 15 июля 1847 г.

Наконец, last but not least: из поля зрения автора статьи совершенно выпала та злободневная для николаевской эпохи сторона творчества Гоголя, точно и кратко обозначенная весьма сведущим современником, назвавшим Гоголя «обличителем наших общественных язв»[40].

Не могу не выразить своего удивления (и сожаления) по поводу отсутствия в энциклопедии статьи о М.Ю. Лермонтове, по словам того же Белинского, призванного стать «полным представителем настояще-

го», поскольку его поэзия есть «выражение современности», «живой орган идей века»[41]. Ранняя гибель поэта не дала ему возможности сказать свое слово по многим животрепещущим проблемам той эпохи, но в его творчестве, по мнению литературоведов, «постоянно присутствует часто скрытый от нас, но вполне доступный современникам социально-исторический контекст времени». Обращение к произведениям поэта, к обобщающим и проблемным статьям «Лермонтовской энциклопедии» (М., 1981) убеждает, что возможности для выявления этого «социально-исторического контекста времени» и определения в нем места гения нашей поэзии имелись. Впрочем, право на помещение статьи о Лермонтове в энциклопедии давало всего одно его стихотворение «Смерть поэта» со знаменитой строкой «Свободы, Гения и Славы палачи!», надолго духовно встряхнувшее всю читающую публику, о чем, видимо, и запамятовали уважаемые составители.

Примечания

1 *Корф М.А.* Из дневника барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // РС. 1904. Т. 117. № 1. С. 89.

2 Правда о России, рассказанная князем П.В. Долгоруковым. Т. II. М., 1861. С. 87.

3 *Корф М.А.* Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // РС. 1899. Т. 99. № 8. С. 282.

4 Записки графини А.Д. Блудовой // Русский архив. 1875. Кн. 1. № 6. С. 183.

5 Дочь тогдашнего министра внутренних дел Д.Н. Блудова, выражая не только свое мнение, с удовлетворением отметит, что «с новым царствованием повеяло в воздухе чем-то новым, что Баба-яга назвала бы *русским духом*» (см. там же).

6 *Корф М.А.* Из записок барона М.А. Корфа // РС. Т. 99. № 8. С. 291.

7 *Тютчева А.Ф.* При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1855–1882. Тула. 1990. С. 36.

8 Корф М.А. Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1900. Т. 101, № 3. С. 573.

9 *Никитенко А.В.* Записки и дневник.Т. 1. СПб., 1905. С. 377, 378, 315.

10 *Герцен А.И.* Собр. соч. В 30 т. Т. VII. М., 1956. С. 198.

11 *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 11.

12 История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. Т. 3. М., 1938. С. 162.

13 *Корф М.А.* Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1900. Т. 102, № 5. С. 282; *Соловьев С.М.* Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // *Соловьев С.М.* Избр. труды. Записки. М., 1983. С. 317.

14 *Корф М.А.* Из записок барона М.А. Корфа // РС. 1900. Т. 102. № 5. С. 283.

15 *Смирнова-РоссетА.О.* Указ. соч. С. 172.

16 *Крыжановский П.А.* Штрихи из прошлого (Воспоминания из последнего десятилетия царствования Николая I) // ИВ. 1915. Т. 141. № 8. С. 453, 454.

17 Правда о России... Т. 1. М., 1861. С. 30.

18 Докладные записки и письма в III Отделение / Публ. А. Рейтблата // ВЛ. 1990. № 3. С. 111.

19 *Герцен А.И.* Указ. соч. Т. VII. С. 211.

20 См. статью: *Тартаковский А.Г.* А.С. Пушкин и А.Н. Радищев. Заметки источниковеда // Отечественная история. 1999. № 1, 2.

21 *Якушкин И.Д.* Мемуары, статьи, документы. Иркутск, 1993. С. 112.

[22] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 17 т. Т. XIII. М.; Л., 1949. С. 271.
[23] См.: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 6 т. / Под ред. С.А. Венгерова. Т. III. СПб., 1909. С. 350.
[24] *Федотов Г.П.* Певец империи и свободы // *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. СПб., 1992. С. 14.
[25] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 17 т. Т. XIII. С. 306.
[26] Там же. Т. XVII. М.; Л., 1959. С. 16.
[27] *Томашевский Б.В.* Эпиграммы Пушкина на Карамзина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. М.; Л. 1956. С. 208–215.
[28] *Эйдельман Н.Я.* Карамзин и Пушкин. Из истории взаимоотношений // Пушкин. Исследования, материалы. Т. XII. Л., 1986. С. 234.
[29] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 17 т. Т. XII. С. 306.
[30] *Краснобородько Т.И.* Тема «литература и власть» на страницах второго тома пушкинского «Современника» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIII. Л., 1989. С. 131.
[31] Пикантность ситуации заключалась в том, что этим «англичанином-философом» был домашний врач семьи Воронцовых Уильям Хатчинсон (см. о нем: *Ариштейн Л.М.* Одесский собеседник Пушкина // Временник пушкинской комиссии. 1975. М., 1979. С. 58–70).
[32] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 17 т. Т. XIII. С. 92. Напомню читателю, сам поэт был уверен, что «сослан за строку глупого письма»: царь «сослал меня за две строчки не-религиозные» (см.: Там же. С. 124, 256);
[33] *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. М., 1987. С. 147.
[34] Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. VI. СПб., 1908. С. 109.
[35] *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 69.
[36] Там же. С. 33.
[37] См.: *Урусов А.И.* Статьи его, письма его, воспоминания о нем. Т. 1. М., 1907. С. 292.
[38] *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 45.
[39] *Гоголь Н.В.* Авторская исповедь // *Гоголь Н.В.* Собр. соч. В 6 т. Т. 6. М., 1953. С. 199, 202.
[40] *Никитенко А.В.* Указ. соч. Т. I. С. 292.
[41] *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 13. Л., 1948. С. 139.

Смоленск в августе 1812 года*

«Русский император между тем более месяца уже жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничто не было готово для войны, которой все ожидали и для приготовления к которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой из всех тех, которые предлагались, должен быть принят, только еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания. Чем дольше жил император в Вильне, тем менее и менее готовились к войне, уставши ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне».

Лев Толстой. «Война и мир».

Вторжение в Россию «великой армии» Наполеона, насчитывавшей 491,9 тыс. пехоты, 96,6 тыс. кавалерии, 1242 стволов полевой и 130 осадной артиллерии, русская армия встретила, как известно, разделенной натрое: крупнейшую 1-ю Западную армию (более 120 тыс. человек и 550 пушек) возглавляет сам во-

---

* Первоначальный вариант статьи, опубликованной под названием «Поражение, ставшее победой» (Любимая Россия. 2006. № 2(3). С. 62–67). – *Прим. сост.*

енный министр М.Б. Барклай де Толли; почти в три раза уступавшую ей по численности и артиллерийской мощи 2-ю Западную армию (около 45 тыс. человек и 180–200 пушек) – П.И. Багратион; 3-ю Западную армию (около 45 тыс. и 170 орудий) – А.П. Тормасов. Государь находился в составе сильнейшей армии, но не в качестве главнокомандующего, что было бы естественно, а, как сказано в приказе, просто при армии. Как уверяли «патриоты», – для ее воодушевления. Но на деле все было наоборот: определяемая сонмом его бездарных ближайших советников крайняя нерешительность императора в выборе плана дальнейших действий, или, говоря попросту, ничегонеделание, вызванное в том числе и Бог знает на чем основанной уверенностью в том, что Наполеон дальше Минска в глубь России не пойдет, подавляла энергию действий 1-й армии. Наконец, государь, из желания не стеснять и дальше власть главнокомандующего, 7 июля (здесь и далее все даты по новому стилю) через Смоленск и Москву отбывает из армии в Петербург. Но поскольку немец-главнокомандующий не внушает доверия, для наблюдения за его действиями при нем оставлены лютый его недруг Л.Л. Беннигсен, спесиво не переносивший Барклая цесаревич Константин Павлович и целый рой генерал-адъютантов царя, подло интригующих против него. Но Барклай отнюдь не труслив, в своих решениях тверд и вопреки общему неприятию в войсках и обществе даже самой мысли об отступательной войне не изменяет с самого начала избранному им «скифскому» плану. Он не в пример другим ясно осознает огромное превосходство сил противника, и потому выступает за осторожность и намерен поелику возможно избегать «решительных» сражений. «Положено было, – скажет он позже, – открыть кампанию отступлением и, завлекши неприятеля в недра самого отечества <...> истощив силы его <...> нанести ему удар решительнейший».

План этот до поры до времени разделялся и Александром I. Так, накануне своего отъезда из армии 5 июля 1812 г. он предписывает Барклаю «выиграть время и вести войну сколь можно продолжительную». Еще раньше царь в сообща с военным министром избранную стратегию войны посвящает адмирала П.В. Чичагова: «Согласно системе войны, на которой мы остановились, было порешено не вступать в дела с превосходными силами, а вести затяжную войну». Такое решение он логично обосновывал тем, что «ввиду превосходства сил и методов Наполеона вести скоротечную войну, это единственный шанс на успех». Как видим, на начальном этапе войны Александр I ради сохранения армии был целиком за «скифский» план Барклая де Толли. И еще неизвестно, удалось бы победить «великую армию» в 1812 г., если бы возобладало мнение многочисленных приверженцев немедленных военно-наступательных действий, или война за освобождение страны затянулась бы на долгие годы. Вот откуда точное предписание Александра I Барклаю при отъезде из армии: «Поручаю вам свою армию; не забудьте, что у меня второй нет; эта мысль не должна покидать вас». Из письма Барклая царю от 30 июля следует, что он верно понял слова го-

сударя: «Высочайшая воля ваша есть, государь, продлить сколько можно более кампанию, не подвергая опасности обе армии».

События меж тем шли своим чередом и 3 августа 1-я и 2-я Западные армии, почти за 40 дней прошагав более 700 км с эпизодически возникавшими кровавыми стычками с противником, соединились под Смоленском, расположенном в 500 км от западных границ страны и в 300 км от Москвы.

Несмотря на ощутимые потери в войсках (около 35 тыс. человек убитыми, ранеными и больными), считается, что это событие, завершившее первый этап войны, стало крупным стратегическим успехом русского командования, ибо сохранены обе армии и сорван план Наполеона уничтожения их в одном-двух решающих сражениях поочередно. Однако при этом не учитывается, что «охота» Наполеона за двумя «зайцами» одновременно изначально была стратегической ошибкой великого полководца, видимо, не знавшего о справедливости мудрой русской народной пословицы: «Погонишься за двумя зайцами – ни одного не поймаешь».

Соединение двух армий у большинства лиц из императорской Главной квартиры (по отзыву Барклая, «настоящего вертепа интриг и кабалы»), охваченных шапкозакидательскими настроениями, возбудило надежду на то, что вот ужо мы перейдем в наступление. Иллюзии штабных невежд азартно разделяет и боевой генерал Багратион, в своей среде непрестанно твердивший: «Если мы не перейдем в наступление, я сниму с себя мундир; ведь мы французов шапками закидаем». Ради осуществления единственно исповедуемого им принципа – «искать и бить!», презиравший всякого рода заумные «теории» и «методики» ведения войны Багратион, несмотря на в целом достаточно строго соблюдаемый в русской армии принцип старшинства чина, формально подчиняется Барклаю. Но подчинение это на деле было чисто символическим – князь органически не терпит коллегу (как пишет глубоко почитавший Багратиона поэт-гусар Д.В. Давыдов, «князь со свойственной всем азиатцам неудержимою пылкостью питал какое-то озлобление против Барклая») и накопившееся в душе недовольство выльет в письме к А.А. Аракчееву: «Воля государя моего, я никак вместе с министром (Барклаем. – *М.Р.)* не могу. Ради Бога, пошлите меня куда-нибудь хотя полком командовать, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена, так что русскому жить невозможно, и толку никакого нет. Я думал, истинно служу государю и отечеству, а на поверку выходит, что служу Барклаю. Признаюсь, не хочу». О «службе Барклаю», конечно, сказано сгоряча, ради красного словца, ибо последний в свою очередь сетовал в письме к Александру I: «Два главнокомандующие двух соединившихся армий равно зависели от вашего императорского величества и равно уполномочены были властию, принадлежащей сему сану. Каждый имел право непосредственно доносить вашему императорскому величеству и располагать по своему мнению вверенною армиею». А что же царь? Как пишет выдающийся воен-

ный теоретик К. Клаузевиц, служивший в ту пору штабным офицером в составе 1-й армии, «император остановился на полумере», в силу своей природной нерешительности оставив все, как ранее сложилось. Слова Александра, обращенные к Барклаю при отъезде царя из армии: «Я передал в ваши руки, генерал, спасение России», как будто подтверждающие мнение о первенствующей его роли в командовании войсками, были произнесены монархом келейно и не оформлены в виде приказа. Поэтому до приезда в войска Кутузова Барклай фактически оставался всего лишь главнокомандующим одной из трех армий. Его приказы имели силу только в 1-й армии, и он не мог принимать *самостоятельных* решений о совместных действиях со 2-й армией.

Последствия фактического отказа царя от *официального* назначения единого главнокомандующего сказались при первом же крупном боевом «деле», как тогда говорили, русских войск с грозным противником под Смоленском.

После соединения армий в Смоленске генерал-квартирмейстер 1-й армии К.Ф. Толь, отражая общие настроения в войсках, спешит представить Барклаю план перехода к наступлению, основной замысел которого сводился к тому, чтобы ударом на Рудню прорвать центр армии Наполеона, раздробить на части французское войско и в последующем уничтожить их по отдельности. Отношение Барклая к до примитивности «простому» плану Толя, мягко говоря, сдержанное, он уклоняется от принятия единоличного решения и 6 августа собирает военный совет. На совете ведомые цесаревичем Константином воинственно настроенные члены (не исключено, что уже осведомленные об изменении к тому времени позиции Александра I и о его новом мнении, что соединение обеих армий положило предел отступлению) потребовали немедленного перехода в наступление. Барклай вынужден уступить их настояниям, но с одним непременным условием – войскам не удаляться от Смоленска на расстояние более трех дневных переходов. Проект диспозиции поручено составить двум начальникам штабов: 1-й армии – А.П. Ермолову и 2-й армии – Э.Ф. Сен-При. Наступательный азарт у всех так велик, что диспозиция предстоящего сражения уже готова к вечеру того же дня и volens nolens подписана Барклаем. По ней, войскам предписывалось действовать в направлении Рудни по правому берегу Днепра. Один обсервационный (наблюдательный) отряд на всякий случай направлялся к Поречью и Инкову, другой – к Красному. Впереди главных сил должны были действовать подвижные казачьи отряды генерала М.И. Платова, вводя в заблуждение противника. Заметим, однако, что планы эти строились при отсутствии сколько-нибудь надежных разведывательных данных о действительном расположении сил противника, что не могло не сказаться на развитии последующих событий.

Продвижение русских войск в намеченный диспозицией район действий началось на другой день после военного совета. И сразу же случилась первая незадача: едва обе армии совершили один переход в на-

правлении к Рудне для «решительного прорыва» центральной группировки войск Наполеона, как 8 августа последовал приказ Барклая 1-ю армию выдвинуть к Поречью, а 2-ю – к Приказ-Выдре. Основанием для фактического отказа от первоначального наступательного плана послужили ложные (как потом выяснилось) сведения о сосредоточении войск Наполеона у Поречья и о его намерении (якобы!) обойти правый фланг русских войск. В итоге в ожидании мнимого наступления французов в данном направлении обе армии с 8 по 14 августа волей вводимых в заблуждение путаными и невнятными сведениями о противнике и его намерениях командиров совершали напрасные утомительные передвижения, теряя драгоценное время. После бесплодных «хождений» по полям и перелескам расположение русских войск к 14 августа было таково, что они обеспечивали защиту Смоленска с северо-запада, но оставляли без должного прикрытия .юго-западный и южный подходы к городу.

Между тем Наполеон, оставив на Рудненской дороге прикрытие, в составе пяти пехотных и трех кавалерийских корпусов, а также гвардии переправился на левый берег Днепра у Хомино и Рассасны. Всего намеченная для удара на Смоленск группировка французских войск насчитывала около 185 тыс. человек.

Утром 14 августа 15-тысячная кавалерия Мюрата беспрепятственно прошла Ляды и лавиной двинулась на г. Красный, защищаемый 27-й пехотной дивизией генерала Д.П. Неверовского, состоявшей в основном из молодых солдат рекрутского призыва 1812 г., и приданными ей кавалерийскими и артиллерийскими командами Е.И. Оленина и Лесли (всего около 7,2 тыс. человек с 14 орудиями). Бой начался в середине дня, и превосходящим силам французов удалось быстро рассеять конницу Оленина и разгромить батальон егерей. За какие-то полчаса та же участь постигла харьковских драгун, предпринявших отчаянную контратаку против трех французских полков. Оборонявшиеся лишились почти всех своих орудий, частью захваченных противником. Казалось, дивизия Неверовского, которой с фронта угрожала пехота Нея, а в тыл заходила конница Мюрата, была обречена. Но в этой драматической ситуации Неверовский предпринял смелый и неожиданный для французов маневр – построил остатки дивизии в два ощетинившихся штыками плотных каре и стал медленно отходить к Корытне. Молодые бойцы дивизии в течение 7 часов мужественно отражали каждые четверть часа повторявшиеся атаки конницы Мюрата. Поздним вечером 14 августа бойцы дивизии Неверовского, на протяжении 22 км пути от Красного отразив до 40 атак противника, вышли к Корытне, где соединились с охранявшим переправу через р. Ивань 50-м егерским полком Н.Г. Назимова. На этом рубеже французская конница была остановлена одновременным артиллерийским и ружейным залпом воодушевленных счастливым исходом «дела» русских войск. «Неустрашимость и храбрость русского солдата, – докладывал Неверовский, – явилась во всем блеске». Как пишет участник боев за Красный Д.В. Душенкевич, французы, ко-

торые «должны были не далее пятой версты от Красного положить всех нас непременно», вместо этого «получили урок, весьма не новый, оторопевший всех – от первого маршала до последнего солдата, – то есть “качество войска преимущественнее количества”». Ценой жизни 1500 убитых, 800 раненых солдат и офицеров дивизии удалось на сутки задержать продвижение французских войск к Смоленску. Планировавшийся Наполеоном внезапный захват города был сорван. И кем? Впервые принявшими бой молодыми солдатами, чему никак не мог поверить полководец, выразивший недовольство брошенным своему любимцу Мюрату упреком: «Я ожидал всей дивизии русских, а не семи отбитых у них орудий». Упорное сопротивление противника сорвало план Наполеона вынудить русское командование после внезапного захвата им Смоленска с тыла принять сражение с перевернутым фронтом.

Нежданное появление главных сил Наполеона в непосредственной близости от Смоленска у Красного сделало очевидным необходимость спешной переброски войск к городу для его обороны. И здесь выявилось, что предшествующие «слепые» действия Барклая сыграли положительную роль, ибо именно благодаря тому, что войска не отдалились от Смоленска, сохранилась возможность относительно скорой переброски их к городу, когда точно стало известно о подходе Наполеона к нему с юга. Но для этого 1-й армии необходимо было за два дня преодолеть 40 км, а 2-й за полтора – 30. Своевременно поддержать дивизию Неверовского смог лишь корпус Н.Н. Раевского, успевший к тому времени отойти от Смоленска только на 12 км. Корпус вернулся в Смоленск в ночь с 14 на 15 августа и соединился с остатками 27-й дивизии Неверовского в 6 км к западу от города. Теперь в распоряжении Раевского около 15 тыс. человек при 76 орудиях. Задача одна – удерживать крепость до прихода основных частей 2-й армии. Все, что может Багратион в данной ситуации, – это укрепить дух Раевского запиской: «Друг мой! Я не иду, а бегу; желал бы иметь крылья, чтобы соединиться с тобой...»

А тут еще выяснилось, что город, насчитывавший 12 400 жителей, не вполне готов к обороне. Убаюканный заверениями военных, что противник не дойдет де до этих пределов, губернатор К.И. Аш не озаботился созданием необходимых запасов продовольствия для неожиданно оказавшихся у стен города двух армий. Как и в иные трудные для страны времена, спешно приступили к формированию отрядов ополченцев. За короткое время из городских жителей и крестьян губернии удалось собрать 12 тыс. человек. Их вооружили главным образом холодным оружием (вилами, топорами) и призвали нападать «на уединенные части неприятельских войск, где оных увидите». Ополченцы в последующем принимали непосредственное участие и в отражении атак противника на город.

Между тем в 17 часов 15 августа конница Мюрата и пехота Нея подошли к предместьям Смоленска с юго-запада. Крепость еще с времен Бориса Годунова была обнесена каменной стеной высотой до 4 м

и протяженностью около 5 км с глубоким рвом впереди. Ров на всем своем протяжении простреливается артиллерийским и ружейным огнем с 17 башен. Однако оборону города серьезно затрудняли его разросшиеся предместья с хаотично разбросанными деревянными постройками.

Около семи утра 16 августа французы предприняли первую попытку овладения городом, начав свои действия артиллерийским обстрелом позиций русских войск. Затем под прикрытием массированного огня в атаку ринулась конница Э. Груши, поддержанная пехотинцами маршала Нея. «Два раза храбрые войска Нея, – напишет позже Наполеон, – достигали контрэскарпа цитадели и два раза, не поддержанные свежими войсками, были оттесняемы удачно направленными русскими резервами». К 9 часам в Смоленск прибыл сам полководец, лично убедившийся в невозможности овладения крепостью без предварительной подготовки к штурму. По его приказу подтянута артиллерия и в полдень 150 орудий начали обстрел крепостных стен тяжелыми ядрами. Но стены оказались крепкими, и французам не удалось пробить ни одну брешь. Вечером того же дня Ней предпринял еще одну попытку взять город, но снова был отбит с ощутимыми потерями, главным образом хорошо организованным огнем артиллерии. Впрочем, на начальном этапе приступа к Смоленску действия французов, как отмечают очевидцы и позднейшие исследователи, не отличались должной активностью. В частности, по оценке Н.Н. Раевского, отстоять Смоленск удалось именно благодаря «слабости атак Наполеона, который не воспользовался случаем решить участь русской армии и всей войны». Пассивность Наполеона объяснялась его желанием предоставить русским возможность собрать воедино свои силы, чтобы затем разом разбить их в генеральном сражении.

К вечеру 16 августа к Смоленску наконец-то подошли части 2-й армии Багратиона, а поздно ночью подоспели и подразделения 1-й армии. Теперь 185 тыс. французов противостояло 110 тыс. русских войск, все еще охваченных наступательным порывом и стремлением схватиться «с французом» в настоящем «деле». Такое желание особенно горячо выказывал Багратион, в запальчивости писавший Аракчееву: «Я клянусь вам моей честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он мог бы потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удерживал их с 15 тысячами более 35 часов и бил их; но он (т.е. Барклай де Толли. – *М.Р.)* не хотел оставаться и 14 часов». О том же князь в середине августа напишет и П. В. Чичагову, добавляя: «Я кричу – вперед, а он (Барклай. – *М.Р.)* – назад». Между тем «предательские», как оценивали современники, действия Барклая, отдавшего приказ об отступлении по Московской дороге, последовательны и объяснимы: при таком превосходстве сил он не мог, не хотел рисковать армией. «С уничтожением армии, – говорил он, – Россия погибла; напротив, сохранив ее, всегда можно надеяться на лучшее».

Как это ни было обидно и горько Багратиону, ему категорически запрещено ввязываться в бой и его 2-й армии приказано начать отступление по еще свободному Московскому тракту. По получении приказа, неукротимый Багратион известил Барклая, что он завтра двинется к Дорогобужу для того, «чтобы дать неприятелю сильный отпор и уничтожить все его покушения на дорогу Московскую» и просил «не отступать от Смоленска и всеми силами удерживать вашу позицию». А «всех сил» в Смоленске на 17 августа было всего-то 20 тыс. пехоты при 180 орудиях против почти 185 тыс. французов с 300 орудиями!

Ранним утром 17 августа французы, на правом фланге которых действовали Мюрат и Понятовский, в центре – Даву, на левом фланге – Ней, овладели окраинами горящих предместий, но вскоре были оттуда выбиты. Далее действия противостоящих сторон ограничивались ленивой артиллерийской перестрелкой, перемежавшейся отдельными стычками. И так продолжалось вплоть до получения Наполеоном неожиданного для него известия о движении русских по Московской дороге. Его попытка бросить корпус отличавшегося безрассудной храбростью Жюно наперерез русским войскам не увенчалась успехом, ибо французы, уверенные в том, что на этот раз русским не удастся избежать генерального сражения, даже не озаботились наведением переправ через Днепр. Не оправдался и их расчет на помощь местных жителей в поисках брода. Французам ничего не оставалось, как попытаться взять Смоленск штурмом, чтобы затем действовать во фланг русским.

В три часа дня 17 августа Наполеон прибег к уже однажды под Тулоном (в 1793 г.) принесшему ему генеральские эполеты и славу действу: на город обрушен массированный огонь из 300 артиллерийских стволов. Под прикрытием этого огня французы вплотную подошли к крепостным стенам, но были отброшены с большими для них потерями. Видимо, не ожидавший такого исхода Ней так и не решился на штурм Королевского бастиона. Маршал Даву атаковал Малаховские ворота, и поначалу ему даже сопутствовал успех, но и его атаки затем были отбиты подоспевшей 4-й пехотной дивизией принца Евг. Виртембергского. Повторные больше азартные, чем умелые атаки французов тоже не дали результата, и они так и не смогли штурмом овладеть охваченным пожарами от артиллерийского огня городом. Показательно, что с самого момента вторжения в Россию противник именно под Смоленском понес самые большие потери: 20 тыс. человек за два дня боев (из них 1300 пленными). Причем в первые ряды французских войск поставлены польские легионеры, которых, как пишет один из участников сражения, в плен не брали, и они становились «жертвами мщения и презрения», а также «союзные» саксонцы и виртембергцы. Потери русских вполовину меньше – 9,6 тыс. человек, преимущественно храбро сражавшиеся необученные ополченцы. Цель «защищения развалин смоленских стен», как ее формулировал Барклай, состояла в том, чтобы, «занимая тем неприятеля, приостановить исполнение намерения его достигнуть Ельни и Дорогобужа и тем предоставить кн. Багратио-

ну нужное время прибыть беспрепятственно в последний город». Опасность продолжения обороны Смоленска таилась в том, что Наполеон, сковав здесь главные силы русских войск, мог переправиться через Днепр, выйти в тыл и отбросить их на северо-восток от Московской дороги, где не было ни баз, ни дорог.

В ночь с 17 на 18 августа части 1-й армии в соответствии с замыслом Барклая отошли на север по Пореченской дороге и расположились в 3 км от Смоленска. Затем по его приказу стали отходить и части, непосредственно защищавшие город. К утру 18 августа город, кроме Петербургского предместья, был оставлен русскими войсками. Вместе с ними из города ушла и большая часть населения, у которого вид подожженных вражеским артиллерийским огнем жилищ разжигал ненависть к неприятелю. Последними стены крепости покинули егеря 17-й дивизии, взорвав за собой постоянный мост через Днепр и разрушив две понтонные переправы.

Смоленск был оставлен вопреки воле государя и всего народа. Гневным отзывам в обществе и в среде военных в связи с этим «позорным» событием несть числа. Вот наиболее характерные выдержки из писем Багратиона этих дней Ф.В. Ростопчину: «Войска 2-й армии отважно сражались у Смоленска, но подлец, мерзавец, тварь Барклай отдал даром преславную позицию». Или: «Ваш министр, может, и хороший по министерству, но генерал не то, что плохой, но дрянной <...> нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества...». Передержки в оценках личных качеств и действий Барклая очевидны, но московский генерал-губернатор их не оспаривает и, смягчая, пишет царю, что Барклай, «как нарочно, делал глупость за глупостью под Смоленском», исподволь внушая Александру I мысль о необходимости назначения единого главнокомандующего. Ростопчин не знает, что еще за день до оставления Смоленска специально учрежденный Александром I Чрезвычайный комитет из высших сановников империи предложил возложить верховное военное звание на М.И. Кутузова. Мнение комитета утверждено царем. К этому его подвигло донесение Барклая от 30 июля, к которому была приложена копия его письма к Багратиону от 29 июля, из которого следовало, что маневрирование войсками под Рудней было связано с уже созревшим к тому времени планом Барклая оставить Смоленск и ради сохранения армии отступать к Москве. А это теперь решительно противоречило изменившемуся высочайшему мнению о необходимости именно у Смоленска остановить отступление, так как с вторжением неприятеля в пределы коренных русских земель «возникала угроза национальным интересам страны, чреватая внутренним брожением», чего так опасались все правители. Отказ царя от прежней поддержки им «скифского» плана ясно вытекает из его писем Барклаю от 28 и 30 июля. Если в первом письме царь пишет только о надежде на то, что обе армии после соединения активными боевыми действиями остановят дальнейшее продвижение противника, то во втором он выражает в том полную уверенность: «Я с нетерпением ожидаю извес-

тия о ваших наступательных движениях, которые <...> почитаю теперь уже начатыми <...> ожидаю в скором времени услышать отступление неприятеля и славу подвигов ваших». Но вместо этого царь видит проявление независимости в определении стратегии военных действий. Александр I напрочь «забыл» свои слова, сказанные им в конце июня: «Однажды вынужденный начать эту войну, я твердо решился продолжать ее годы, хотя бы мне пришлось драться на берегах Волги». Точно также «забыл» о том, что в беседах с великой княгиней Екатериной Павловной в начале войны они «допускали даже возможность потери обеих столиц». Точно так же он не «помнил» о том, что самолично писал Барклаю «о плане кампании, который мы приняли» и который имел целью «завлечь неприятеля в глубь страны».

Итак, 18 августа французские войска вошли в Смоленск, с боями заняли Петербургское предместье, как сетует бывший адъютант Наполеона Поль Сегюр, «не имея, кроме себя, иных свидетелей своей славы. Спектакль без зрителей, победа почти без плодов, кровавая слава, дым которой окружал нас, был, казалось, единственным нашим приобретением». Но относительно «единственного приобретения» Сегюр явно соврал: город отдан на разграбление. Вот свидетельство самого Наполеона: «Трудно было избавить от грабежа город, взятый, можно сказать, на копье и брошенный жителями; все, что в нем оставалось, сделалось добычею моих воинов». Вот так.

Пока французы заняты грабежами, Барклай из-за опасения разделения французами сил 1-й и 2-й армий оставляет войска у Петербургского предместья на весь день. Лишь в исходе дня армия Багратиона направилась к Соловьевой переправе и 19 августа благополучно перешла Днепр у д. Лубино и остановилась, не доходя Дорогобужа.

Вечером 18 августа из-под Смоленска двумя раздельными колоннами туда же, к Соловьевой переправе, скрытно стала отходить и 1-я армия. Причем ночью войска двух ее корпусов во главе с Н.А. Тучковым 1-м (в колонне находился и штаб Барклая), сбились с дороги и вышли к находившемуся в 1,5 км от только что оставленного ими Петербургского предместья селу Гедеоновка. В это же время к нему со стороны Смоленска подходил корпус Нея. Ничуть не подозревавший, что находится в непосредственной близости от разрозненных частей 1-й русской армии и не понимавший странных «маневров» русских, а поэтому опасавшийся ловушек маршал действовал осторожно, после короткого боя позволив им оторваться от насчитывавших 70-тыс. штыков французских сил. Впрочем, угроза разгрома колонны превосходящими силами французов сохранялась вплоть до боя 19 августа на Валутиной горе вблизи Московского тракта. Именно здесь 3-тысячный отряд генерала П.А. Тучкова 3-го, при поддержке кавалерийского корпуса В.В. Орлова-Денисова в двух упорных кровопролитных боях на целый день задержал войска Нея, обеспечив тем самым возможность главным силам 1-й армии 20 августа перейти на другой берег Днепра, как и планировалось, у Соловьевой переправы. Русская армия вновь ускользнула

от Наполеона, уже предвкушавшего неминуемый ее разгром. На этом Смоленская эпопея завершилась. И хотя русские армии сохранены, стратегическая ситуация, при отсутствии ясной альтернативы не принимаемому обществом и отвергаемому генералитетом, а теперь уже и царем «скифскому» плану, оставалась такой же туманной, как и до начала сражения за Смоленск.

Падение Смоленска было несомненным успехом Наполеона: русские войска теперь до самой Москвы не имели другого сколько-нибудь значительного опорного пункта. Неслучайно Кутузов, узнав об оставлении города, произнес: «Ключ к Москве взят». Однако успех этот дался французам немалой ценой: после Смоленска Наполеон располагал не более 135–140 тыс. боеспособных войск. И снова, как и в Витебске, перед ним стал вопрос: что дальше? Поначалу он тверд в своем намерении остаться на зиму в Смоленске, и даже сказал об этом Даву: «Теперь моя линия отлично защищена. Остановимся здесь. За этой твердыней я могу собрать свои войска, дать им отдых, дождаться подкреплений и <...> снова создать непобедимую армию. И тогда, если мир не придет искать нас на зимних квартирах, мы пойдем и завоюем его в Москве». Но настроение императора переменчиво, и он вдруг решает, что, на его взгляд, сильно изнуренная при отступлении русская армия отныне «может лишь присутствовать при падении ее городов, но не защищать их», а потому надо идти дальше. К этому императора подвигло и оставленное Александром I без ответа предложение заключить мир, направленное им сразу же после оставления русскими войсками Смоленска.

В заключение скажем о том, что Барклай де Толли с самого начала войны и до прихода Кутузова последовательно проводил стратегическую линию «достижения *решающего перевеса сил* над противником путем изматывания его в ходе арьергардных боев, поддержания в боеспособном состоянии действующей армии и подготовки в центре страны резервов, в результате чего только и можно будет начать наступление». В то время никому не дано было знать, когда именно наступит этот день, но для Барклая было ясно, что соединение 1-й и 2-й армий под Смоленском не изменило соотношение сил противостоящих сторон, и он все так же уклонялся от больших сражений, продолжая тактику отступления. Как он писал прославленному партизану А.Н. Сеславину во время отступления армии, «все, что я ни делаю и буду делать, есть последствия обдуманного плана и великих соображений, есть плод многолетних трудов».

Оправданность и целесообразность действий Барклая, ради сохранения армии уклонявшегося от наступательных боев от самого Немана до Смоленска и после, подтверждается тем, что назначенный 20 августа главнокомандующим М.И. Кутузов по той же причине должен был придерживаться избранной его предшественником линии – отступать после Бородина и даже оставить Москву до достижения решающего перевеса русского войска над наполеоновским. Этого, как известно, удалось добиться лишь в начале октября 1812 г. в Тарутинском лагере.

Приложения

Деревня Наласа Арского района в 1928 году

Публикуемое ниже описание д. Наласа принадлежит моему отцу, Рахматуллину Абдулла Галеевичу, коренному жителю села Мелеуз (ныне город, Башкортостан). Он родился в 1896 г. в семье крестьянина-середняка. В 10-летнем возрасте после смерти главы семьи остался на попечении старшего брата. В детстве служил на побегушках у разных торговцев, пилил дрова по найму. По мере взросления вместе с братом плотничал, клал печи, но не забывал и учиться – где обычным методом, где экстерном. Упорство в овладении знаниями, как говорится, вывело его «в люди»: учительствовал в начальной татаро-башкирской школе, преподавал математику в старших классах Мелеузовской русской средней школы, а затем был назначен ее директором. Заочно учился в Башкирском педагогическом институте на математическом отделении.

У отца была и другая страсть – в силу своего общительного характера, душевной щедрости и неуемного желания делиться с другими тем, что сам знает и умеет, он стал активным общественником, добровольно взвалив на себя весь груз огромной культпросветработы в Мелеузе и его ближайшей округе. Был замечен и 1 августа 1928 г. в числе других активистов-общественников Республики был направлен для повышения квалификации на 2-месячные центральные курсы «Рабпроса Средне-Волжских национальностей» (так в документе) в Казань (курсы располагались во Дворце труда по ул. Комлева). В целях поощрения дальнейшей работы по реализации задач так называемой культурной революции, расширения общего кругозора курсантов в последнюю неделю курсов для них была организована ознакомительная поездка в Москву.

На протяжении всего этого времени отец вел «Дневник», ежедневно записывая свои впечатления от виденного. Работа собственно курсов в «Дневнике» отражена мало, и преимущественное внимание в

нем уделено интересным для него событиям и встречам, «красивым видам» местной природы, архитектуре.

Записи, занимающие 38 стр. обычной школьной общей тетради в клеточку, велись на татарском языке арабской графикой, с вкраплением в текст слов на русском для более точной передачи смысла тех или иных фраз. Почерк ровный, четкий, плотный, хорошо читаемый.

«Дневник», дающий представление об отношении к реалиям жизни одного из представителей первого поколения провинциальной национальной интеллигенции в начале второго десятилетия строительства Советского государства, бесспорно, заслуживает публикации в полном объеме: такого рода свидетельств современников не так уж много, и каждый новый факт о том времени сам по себе представляет общественный и исследовательский интерес. Причем стоит отметить, что отец никогда не состоял ни в одной партии и, по словам его друзей, сказанным уже после его кончины в 1938 г., не имел никакого желания стать «партийцем». Отличался независимостью суждений (насколько это было возможно в ту пору), имел острый язык, не раз приносивший ему неприятности по службе и в отношениях с власть имущими.

В подготовке «Дневника» к публикации есть свои трудности. Главная из них – сложность, а порой и невозможность идентификации его «действующих лиц», т.к. людей, которые могли бы что-либо прояснить, давно уже нет в живых. В пору, когда «Дневник» обнаружился среди бумаг моей мамы, несомненно способной помочь расшифровать «темные» места текста, она тоже уже успела покинуть этот мир (в 1995 г.).

Родом же Рахматуллина Хуршида Сиразеевна (в девичестве – Сагитова) как раз и была из д. Наласа. Ее родители – Сиразей Сагитович Бакиров и Майсара Сабитовна в 1903 г. переехали в с. Мелеуз, откуда «бабушка Маисара», как она названа в «Дневнике», вскоре после смерти мужа в 1918 г. вернулась на свою родину, где у ее родителей (Бакиревых Сагита и Ямили) было еще 12 сыновей. К своей теще Майсаре, пользуясь счастливым случаем, и поехал повидать ее автор описания.

Выражаю искреннюю признательность за квалифицированный перевод текста на русский язык Ильясу Альфредовичу Мустакимову.

* * *

Часть дневника. С августа по октябрь 1928 года
Габдулла Рахматуллин

[С. 2] ***3 августа 1928 г., Казань***

До обеда организационное собрание курсов. После обеда 1 час лек[ция] и 3 часа самостоят, работы. Лекцию читал Медведев; тема: «Эконом. политика».

Вечером – большой театр, встреча пролетарского писателя М. Горького. Полн[ый] театр публики*.

Из писателей и поэтов: Кутуҗ, Такташ, Ишмуратов, Рами Исмагил и другие. Под звуки музыки поднимается занавес и в окружении 3–4 человек появляется Горький. В президиуме есть и Ф. Сайфи. «Кызыл Татарстан» Г. Нигмати. Каждый раз при упоминании имени Горького, народ возбужденно начинает аплодировать. Он улыбается, разводит руками, смущается. Выходят пионеры с барабаном. Мальчик [по фамилии] Ахтямов выступил с приветственным словом. Из рабочих выступил Надеин**. Горький пожал им руки. Горький и сам выступил с речью. Голос у него низкий, старческий. [Меня] замучил насморк.

4 августа

Встал в 7 часов. Из-за сильного насморка очень болит голова. После утреннего чая – работа над [домашним] заданием. Около 10 часов сходил в аптеку и купил лекарство. Салаху, Бадаеву отправил открытки. В час – обед. После обеда поспал. В три часа был чай. В 4 часа на пароходе отправились на экскурсию в Свияжск. На пароходе осматривал окрестности. Правый берег Волги очень высокий, поросший густым лесом. **[С. 3]** В 8 часов добрались до Свияжска. После чая немного погулял по улицe, вернулся в дом и сделал эту запись. Товарищи ходят по улицe и поют хором. Я начинаю скучать.

Вспоминается семья. Не хочу присоединяться ни к одному из товарищей. Товарищи не подходят мне по темпераменту.

5 августа

Свияжск. Встал в 7 часов. (Поскольку не было постели, под голову пришлось положить пиджак и, одев кожан, лечь на пол). Толком так и не выспался. Болит голова и ребра. Видел несвязные сны. В $8^1/_2$ пили чай. После чая немного поиграл в шахматы. Товарищи посещали церкви. День пасмурный, ветреный, неуютный, мрачный. Насморк начал проходить. В 10 часов пошли осматривать город. Город расположен на горе, по форме напоминающей каравай на столе. В окрестностях города – реки, горы, леса, болота. Город построен в 1551 году Иваном Грозным для завоевания Казани. Есть очень старинные дома. Их формы тоже очень старые. Больше всего в городе церквей (на 300 домов по 15-20 церквей). Сходили в музей старинных религиозных принадлежностей; он расположен в церкви, построенной в 1551 году. Внутри церкви все разрисовано так, **[С. 4]** что некуда ткнуть пальцем. Изумительное художество. Здесь с превосходным мастерством изображены история сотворения мира и другие религиозные легенды. Неисчислимое количество крестов. Зашли в церковь Ивана Грозного. Она также построена в 1551 году. Говорят, здесь молился Иван Грозный. Хотя она и деревянная, тем не менее совершенно не гнилая; она, как и прочие церкви, окружена кирпичной оградой; здесь живут около 160 монашек.

---

* С начала до этого места текст на русском языке. – *Здесь и далее примеч. авт.*

** Фамилия читается неразборчиво.

В час дня вернулись на обед. В 3 часа направились из Свияжска на железнодорожную станцию (12 верст), чтобы вернуться в Казань. Хотя и шли пешком, было очень хорошо. Мы с Ниязом, оставив в версте позади своих товарищей, дошли первыми. Прогулка по открытому полю подняла настроение. Татары на полях мечут стога. Одеты очень по-старинному: в войлочные шляпы, камзолы, камасыз бурек*. Когда все добрались до станции, устроили чаепитие. В 8 часов сели на поезд и поехали в Казань. Добрались до Казани в 10 часов.

6 августа

Встал в 7 часов. Хорошо выспался. После того, как умылся, читал. В $8^1/_2$ – чай. Сегодня ничего важного.

[С. 5] ***7 августа***

Будничные дела.

8 августа

Будничные дела. После прогулки по городу с Бикметевым** до 12 часов читал «Без черемухи».

9 августа

Будничные дела. После обеда побывали на кожевенном заводе. На заводе работает 750 рабочих.

10 августа

Будничные дела. Сделал доклад по теме «Национальный вопрос». [Доклад] нашли удовлетворительным. До 12 часов читал «Без черемухи».

11 августа

До обеда будничные дела. В 3.30 всем курсом на трамвае приехали на пароходную пристань, чтобы ехать в Моркваши. В 5 часов сели на пароход и поехали вверх по Волге. На пароходе было весело: поскольку была суббота, было много людей, которые ехали на пикник, экскурсию или на охоту. На пароходе ехала гармонь-двухрядка и струнный оркестр из 7–8 человек, **[С. 6]** которые исполняли разные мелодии. Некоторые мелодии исполняются и нашим оркестром. В 7 часов мы доехали до Моркваш. Моркваши – плохонькая русская деревня. Близ деревенской окраины – большой сосновый и березовый лес, в котором у Татпроса здесь есть дома, предназначенные для культурной работы и отдыха в летний период. Поскольку эти дома расположены на вершине горы, оттуда открывается красивый вид на Волгу. Вообще, здесь красивые виды. И все же из-за того, что в природе начинается осень, на душе не очень радостно. Те из нас, кто не меланхолики, по-разному буйствовали: пели, гуляли, устраивали разные игры и т.д. Я не разделял их радости и не мог участвовать в их развлечениях. [Поэтому] я играл в шахматы с одним товарищем-вотяком. Накормили супом, напоили чаем. После ужина слушал игру на пианино. Один казанский па-

---

* Вид головного убора, шапка. Точный перевод на русский язык найти не удалось.

** Возможно, «Бикметьевым».

рень очень красиво (в 2 руки) исполнил «Жницу», «Казанское полотенце», «Наласа»* и другие мелодии. Вспоминаются всякие пустяки, портится настроение. Удивляешься, что есть люди, которые могут ни о чем не думать. Время 10. Ложусь спать.

[С. 7] ***12 августа***

Встал в $8^1/_2$. Клопы ли замучили – толком выспаться не смог. После утреннего чаепития до часа дня играл в крокет. Немного прогулялся по полям. Рожь почти всю убрали. Хлеба́ здесь не очень. Почва беловато-красная. Созрела и гречиха, поспевает овес. Значит, скоро «кончится жатва – кончится лето». Поле окружено красивыми лесами. Однако одному идти в лес почему-то неуютно, и в лес я ходить не стал. Вернувшись, немного почитал «Безнен юл»** и «Прожектор», потом немного поспал. В 3 часа был обед. После обеда играл в шахматы с товарищем [по фамилии] Васильев, которому поставил мат (до этого я еще никому не ставил мат). Затем еще немного поиграл в крокет. С одним товарищем немного погуляли по природе. Затем спустились к Волге. Вечером привезший нас пароход, немного постояв, поплыл в [сторону] Свияжска. После ужина написал это.

13 августа

Встал в 4.20. Умывшись, спустились к пристани. До прибытия парохода гуляли на горе. В 7 часов отплыли в Казань. До Казани добрались в 8.15. Полно будничных хлопот. Вечером с Бикметевым пошли к озеру Кабан. Поверхность озера грязная***. [Есть] катающиеся на лодках. Мужчины и женщины, не смущаясь, купаются. По возвращении **[С. 8]** до 12 часов читал «Мой спутник», «На плотах» Горького.

14 августа

Встал в 7 часов. День ясный, теплый, безветренный (как «бабьим летом»). Красиво звонят церковные колокола. Умылся и вышел прогуляться на бульвар. Полно будничных дел. Сыграл в шахматы со считающимся хорошим игроком Смирновым и поставил ему мат. Хотелось кричать «ура».

15 августа

Встал в семь. Будничные дела. После ужина вернулся с мандолиной. Сходили на кино «Сорви-голова». После чая до 12 часов играли в преферанс.

16 августа

Будничные дела. Сегодня состоялся вечер открытия****. Народу было очень мало. Было неинтересно. Скучаю.

17 августа

Будничные дела. После ужина поставил мат Гердту.

---

* Известные татарские мелодии.

** «Безнен юл» («Наш путь») – общественно-политический и литературно-художественный журнал. Ныне выходит под названием «Казан утлары» («Огни Казани»).

*** Чтение последнего слова сомнительно.

**** Предложение не совсем понятно.

18 августа

Будничные дела. Сделал доклад на тему «Лицо учителя». После ужина поехал было ночевать в Новую Татарскую слободу – оказалось, что [и] они уехали на жатву. Пришлось **[С. 9]** вернуться. До 12 часов читал книги, играл на мандолине.

19 августа

Воскресенье. Встал в 8 часов. После чаепития сходил на ближайший рынок. В 11 часов пошли в музей. Этнография татар: нары, подушки, особенности одежды – например, штаны удобны для того, чтобы садиться [на лошадь] – все это указывает на то, что татары кочевой народ. Посетили Кремль. Взобрались на построенную по приказу Ивана Грозного Спасскую церковь (160 ступеней). Обошли всю крепость. Экскурсовод много рассказывал. Возвращаясь, зашли в зоосад. Есть разные животные, но зоосад не очень богат. После обеда, в 5 часов, пошел к Гумеру. Гумер встретил очень тепло. Показал свою работу*, альбомы. Играли в шахматы, пили чай. Опять долго говорили. В 7.30 – ужин. Сегодня сходили в цирк. Цирк большой, из представлений больше всего мне понравились трапеция и лошади.

20 августа

После ужина пошли в Русский оперный театр на 25-летие партии. После доклада началась концертная часть. Из известных в татарском мире исполнителей пела Асия Измайлова. **[С. 10]** Исполнила песню (собственную)** «Шам Шариф». Голос [у нее] очень красивый и задушевный. Ее песни:

1) Шам Шәрифкәй

2) Агыйделкәйләрне ай кичкәндә бер ж;ырладым ишкәк ишкәндә Бер жырларсын, туган, бер жыларсын уткән гомерен, исенә тешкәндә.

В президиуме сидел Шариф Камал.

24 августа

Получил письмо от Хусаина. Болит голова. В шесть часов пошли на экскурсию в Т[кацкую]/фабр[ику]*** Наблюдали, какие процессы производятся при переработке волокна в сукно. Оказывается, очень сложные. Всего на заводе работает 2500 человек. В основном женщины. Пыль, шум. В течение 2–3 часов заложило уши, перехватило дыхание. Отсюда можно представить условия труда рабочего: в течение 8 часов не знает ни минуты покоя, плохой воздух, шум. Крестьянин работает на свежем воздухе по своему усмотрению. В 10 часов пошли в кино. Несбыточная фантазия под названием «Сорви-голова».

25 августа

Состоялся вечер по случаю отъезда Стриевской. Присоединившись к кураю, сыграл марш «Башкир и Салават». Один раз танцевал вальс. Скучно.

---

* Возможно, «свои работы».

** В татарском тексте читаю «(узенеке)». Возможно иное чтение слова.

*** Так в тексте.

26 августа

После утреннего чаепития на моторе поехали на ферму. Ехали полчаса. Весело. Оказывается, озеро Кабан **[С. 11]** очень большое и глубокое. Есть места глубиной до 28 саженей. Весной в озеро течет вода из Волги. Поэтому вода здесь, несмотря на то, что это озеро, не очень грязная. Наверное из-за воскресного дня много катающихся на лодках. Ферма – это старая архиерейская дача. Много церквей. Говорят, здесь похоронено 2–3 татарских «святых», поэтому мусульмане приходят сюда для поклонения. И сегодня здесь сидели 4–5 женщин, читая Коран и другие религиозные книги и перебирая четки.

Сады на ферме большие и хорошие, однако растения уже начали принимать осенний вид. При взгляде на них начинаешь хандрить. Лето прошло.

27 августа

Будничные дела. Сейчас на гимнастику я не хожу: не велит доктор. После ужина мы с Сибагуллиным* прогулялись через «уголок неверия». Сенной базар**. Вспоминали Тукая. Оказывается, он умер в номерах «Булгар».

29 августа

Кружится голова. Не перестает болеть и грудь. Настроение плохое. Вечер. Две девушки (пришедшие к Назирову и Бикметеву) очень шумели, не давая читать. Поэтому я решил над ними подшутить. Сказав им «Разрешите вам пожелать всего хорошего, я раздеваюсь», сделал вид, что начинаю раздеваться. Не прошло и минуты, как они ушли. Товарищи были весьма озадачены.

30 августа

Сегодня осмотрел доктор. Нашел совершенно неожиданную болезнь, о которой я и не думал: болезнь горла (гамак авыруы). Не разрешил петь и громко разговаривать. Категорически **[С. 12]** рекомендовал беречься простуды. Сказал, что боли в животе остались от брюшного тифа, и излечить их не удастся. По словам доктора, боли в груди тоже остались от тифа. Удивился остроте зрения.

31 августа

Вечером – концерт в оперном театре. Публика – многочисленные и шумные татары. Однако то, что это татары, выдает только язык: видимо, обыватели не ходят на подобные вечера. Видел Такташа. У него длинные волосы, зачесанные набок, сам он – очень светлый человек, похож на русского. В 9 начался концерт.

Первый номер. Татарская симфония в исполнении 25 человек под руководством Сайдаша. Красиво, однако слишком европеизированно – местами мелодия совершенно теряет мотив татарской музыки.

---

* Возможно. «Сибагатуллин».

** «Уголок неверия» (дословный перевод татарского «кофер почмагы») – угол на Сенном базаре («Печен базары»), где собирались противники реформ и любых нововведений в татарском обществе конца XIX – начала XX в.

2. Песни [в исполнении] Маннапова. Голос красивый и задушевный. Однако почему-то публика не больно восхищается. Одна из исполненных им песен:

Сандугачкай, кайда барасыҗ,
Бармыйсынмы безнев. илләрге.
әгәр барсан, безнен, илләргә,
Сәлам* диген безнен, ж;арларга**.

3. Ахат*** Хисамов. Этот человек в период революции работал в Стерли[тамаке]. Хороший артист. Пел арии из разных опер. Из-за того, что мелодии европеизированы, в них нет татарской задушевности****. Поэтому песни Ахата не трогают душу.

4. Губайдуллин. Очень искусный 16–17-летний скрипач. Владеет высокой техникой. Играл красивые мелодии. Большинство мелодий – его собственные. Публике понравилось.

5. Рахимов. Учащийся Московской консерватории, гобоист[5*]. Играет красиво, но скорее европейское. Мелодии в большинстве его собственного сочинения.

6. Хилалов. Лучший игрок на мандолине в татарском мире. До этого я еще не встречал столь искусного игрока на мандолине. Изумительно...

[Нижняя строка рукописи почти не читается, т.к. плохо отпечаталась на ксероксе]

[С. 13] 3–4 раза вызывали на бис. Его игрой невозможно наслушаться.

7. Газиз Альмухамедов[6*]. Оказывается, знаменитых людей здесь приглашают на сцену в числе последних. Как только объявили его имя, зал зааплодировал, зашумел; началась овация.

В его облике, если сравнивать с тем временем, когда мы общались, изменений немного. Остепенился, стал важным. На нем простая и сшитая с недостаточным вкусом одежда, не совсем хорошо сидящая. Поэтому он напоминает деревенского жителя. Исполнил разные арии и народные песни (по-башкирски и по-татарски). Потому ли, что театр большой, качество звучания его голоса ниже, чем раньше. Его пение очень красивое и задушевное. Из-за того, что исполняемые им песни в основном народные, они задевают самые тонкие струны души, особенно песня о трагедии голодного года[7*] (сочиненная какой-то поэтессой). Очень красиво поет также арии из оперы «Эшче», песню «Кәккук». Красиво, красиво. И все же в мелодиях исполняемых им пе-

---

* В тексте: «сәләм».
** В тексте: «жарләргә».
*** В тексте: «әхәд».
**** В тексте: «татар моны юк».
5* В тексте написано по-русски: «кабоист».
6* В тексте: «Элмехәмәтәв».
7* Очевидно, имеется в виду голод 1921–1922 гг. в Поволжье.

сен встречаются европеизированные эпизоды. 5–6 раз приглашали на бис. Вообще Газиз понравился Казани, его здесь ценят. В 1918 году, когда он представлялся в афишах «Знаменитым певцом из Башкортостана», мы смеялись. Сейчас он действительно добился известности во всем татаро-башкирском мире. Передо мной предстала картина того, как лет 10 назад – до того, как он начал петь – мы привезли вдрызг пьяного Газиза и Джиргана*. Теперь уж, наверное, он далек от этих дел. Впрочем, теперь, наверное, он пьет по-культурному: он очень любил водку.

..... [Нижнее предложение плохо читается].

[С. 14] После выступления он, кланяясь, уходит со сцены. У него до сих пор осталась привычка держать в руках лист бумаги. Поет он с таким видом, будто переживает все это на самом деле.

8. Асия Измайлова. Как только публика услышала ее имя, начались аплодисменты, поднялся шум. У нее красивый и задушевный голос. Когда она поет, перед слушателем предстает образ глубоко опечаленного человека. Наверное, поэтому песни в ее исполнении звучат красиво и лирично. Наиболее понравившиеся мне песни в ее исполнении: «Шам Шәриф», «Зөһрәкәй». Ее 5-6 раз приглашали на бис. Сказала, что у нее болит горло. Ее продолжительные поклоны в разные стороны не очень смотрятся. Надо бы вести себя проще. Когда она произносит некоторые звуки, то некрасиво кривит рот.

9. Будайли. Оказался очень веселым (потешным) человеком. Сразу по его выходе публика начинает смеяться. Очень интересно спел по-казахски. Критикуя молодых поэтов, выступил с сатирическим рассказом: «какая лирика, какая задушевность может быть в гудке заводов, шуме трамваев и авто?» Оказывается, он сторонник Тукая.

10. Отрывок балета из пьесы «Тахир–Зухра». Довольно интересно. Затем татарские парни и девушки исполнили танец. Но в наших краях такого танца нет.

1 сентября

Получил фотокарточки из дома. При взгляде на карточку кажется, что дети и Хуршида скучают и переживают. Особенно дети, – кажется, будто они сироты. Сфотографировались в саду.

[Нижняя строка не читается, т.к. размыта и не полностью вышла на ксероксе].

[С. 15] ***2 сентября***

Воскресенье. МЖД**. Молодежь собирается на парад. Я пошел в Ново-Татарскую слободу. Захотелось пройти по тихой улице (я уже устал от казанской суеты). Пошел по улице, параллельной улице Тукая. Везде татары. Комнатные цветы в окнах, оконные занавески – все

* В тексте: «Жиргәннән Гадизне исәрәк хелдв төяп кайтулар куз алдына килеп бастылар».

** Аббревиатура написана по-русски.

указывает на татарскость. Прохожих мало. [Все] напоминает деревню: беззаботно играющая на улице детвора, виднеется домашняя птица. Здесь хорошо, здесь по-деревенски. Эх, деревня! В деревне хорошо... Навстречу попались кривоногие женщины, милые-милые старушки. У прохожих мужчин все разговоры только о торговле: «Цена того-то обязательно вырастет, то-то подешевеет». До чего же не люблю эту торговлю.

3 сентября

Получил письмо от Двойника*. Приглашает приехать. Не отпускают.

4 сентября

Будничные дела. Вечером играл в бильярд.

6 сентября

Вставил золотые зубы. Очень болят десны. Вечер прошел за преферансом.

8 сентября

День дождливый – осень. Купил билет в Арск. Пришлось сделать доклад на консультации. [Можно] сделать доклад и на конференции]**. В 9.30 вечера прибыл на вокзал. Народу много, негде сесть. В 10.40 поезд тронулся. В вагоне много людей. Напротив меня три симпатичные молодые женщины. Наверное, приезжали поступать в вуз. **[С. 16]** Кажется, не смогли сдать экзамен. Возвращаются. Одна деревенская русская женщина везла яблоки, помидоры. Кажется, русские женщины находят во всем этом какую-то пользу: разговаривают всегда о яблоках, помидорах – какие есть сорта, почем, как хранить зимой и т.п. [В вагоне] есть и мужчины, но они не разговаривают. Мои русские соседки начали смежать веки – бедняжки хотят спать. Едучи полусонным, во 2-м часу доехал до Арска. Арск оказался неприветливой станцией. Народ в большинстве своем в «камасыз бурек». Много народу ест и пьет в буфете. В 3 часа отправился в село Наласа, наняв одного русского. Проехали город Арск, деревню Верези (Бирәзә). Что удивительно: когда проезжали Верези, ни одна собака не выскочила нас облаять. Перед утренним намазом добрался до деревни Наласа. Бабушкин дом нашелся очень легко: оказалось, что я как раз сошел на том переулке. В 2-этажном доме горел свет. Я спросил (оказалось, это дом старика Миннебая. Этот старик потом – днем – попросил передать поклон бабушке Майсаре. Он рассказал, что когда откуда-то вез бабушку, она уронила одно из двух яиц и плакала, прося вернуться и взять еще одно. Бабушке тогда было 5 лет), мне показали дом напротив. Когда я постучал в окно, бабушка, проснувшись, выглянула в окно, не узнала, разбудила другую женщину. Когда эта женщина вышла, я объяснил, кто я такой. Она разбудила мужа. Бабушка уже встала, я подошел к ней. Кажется, узнавать меня она не собирается. Я спросил: «Узнаёшь?»

---

* Слово «Двойник» написано по-русски.

** Предложение не совсем понятное.

Присмотревшись, она воскликнула: «Господи, **[С. 17]** да не зятёк ли это Габдулла?» После этого мы поздоровались. Пытается заплакать, но слезы не выходят. Она многое пережила*, но держит себя хорошо. Начала терять слух, но еще слышит. Поговорили за чаем, в каждом втором слове вспоминала время, когда она жила в наших краях. Соскучилась. Очень обрадовалась гостинцам. После чаепития убрала их в свой сундук. Мне шепотом сказала: «По-другому нельзя». Я сходил в баню и прилег отдохнуть, после чего пошел осматривать деревню.

Деревня Наласа

Деревня делится на две части маленькой речкой, которую можно перешагнуть, вытекающей из глубокой ямы (здесь речкой я назвал ручей, текущий с верхнего конца деревни). По берегам ручья (до конца деревни) растут крупные деревья вроде плакучих ив, тополей, сосен и осин. Поэтому здешние дома, расположенные среди деревьев, напоминают коллективные дачи. Все указывает на то, что весной здесь бывает очень красиво. Поют птицы, спускаются к речке дети и молодежь. Непрерывно встречаются спускающиеся за водой женщины. У них на ногах белые суконные чулки и лапти, сшитые по-татарски и заправленные в штаны рубашки, поверх рубашки у каждой передник, на голове поверх повязанного белого платка накинут красный «французский» платок. Среди женщин встречаются очень красивые. **[С. 18]** Из-за того ли, что я одет по-европейски, они не прячутся и оглядываются на меня, пока не потеряют из виду. Здешние женщины не кривоногие и светлолицые, как в Казани, но хорошего телосложения, с пышущими здоровьем лицами. Хотя, конечно, встречаются и некрасивые. Я повернул от ручья обратно и пошел по той же улице. Дома по-деревенски очень красивые, обшитые досками. Ни на улице, ни во дворах не найдешь и признаков мусора. Близ домов наметаны стога. Во многих домах стригут овец, остриженных гонят на пастбище. Мужчины работают во дворе, придерживают овец, которых остригают (вчера был дождь, поэтому они не вышли в поле. Почти на каждом мужчине – белый фартук). В каждом дворе есть сделанная из коры в виде лодочки детская коляска – для того, чтобы вывозить маленьких детей в поле (вон один крестьянин взял грабли и косу, его жена тянет коляску с ребенком. Коляска покрыта белым пологом. У нее в руке узелок. Они идут в поле. Прямо как в (журнале] «Азат хатын»). На этой улице есть одна мечеть. Как выйдешь из деревни, начинается кладбище. За ним я присел на траву. Напротив – красивый пойменный луг (надо полагать, заболоченный)**. Чуть дальше – размокший стожок сена. Правее, на склоне горы, поле только начавшей прорастать ржи. День тихий. Солнце припекает спину. Дети, напевая, идут за лошадьми. Женщины,

* В тексте: «Яхты борчылган, ләкин узен узе яхшы йөртә».

** Перевод приблизительный. В тексте: «(әчелек булырга кирәк)».

пересмеиваясь, гонят остриженных овец в стадо. Как посмотришь на снопы, кажется, что на дворе апрель. Вот какие деревни имел в виду Тукай в своих стихах: «Тысячу раз красивые и пригожие!» И это действительно так...

(С. 19] Деревни в наших краях по сравнению с этой деревней кажутся кучей мусора.

Посидев минут 15, я решил вернутся на улицу, где жила бабушка, для чего стал обходить кладбище. Ширина кладбища – около ста, длина – около 200 саженей. Кладбище огорожено половыми досками. Как мне сказали, ограде 20 лет. Несмотря на это, ни одной украденной или упавшей доски. Внутри ограды в форме рощи* растут сосны, березы, осины. Трава внутри кладбища представляет собой сплошной ягодник. Короче, кладбище очень красивое. Поэтому это кладбище вовсе не производит того впечатления, которое производят другие кладбища, – здесь даже забываешь, что это кладбище. Среди растущих здесь деревьев – особенно сосен – есть очень большие**. [Недавно] 1–2 такие сосны (состарившиеся) спилили и топили ими мечеть. Наряду с крупными деревьями есть и молодняк***. Конечно, и здесь были годы голода, годы безвластия. Несмотря на это, не найдешь ни одного пня от спиленного дерева! Смотря на все это, приходишь к выводу, насколько аккуратные, дисциплинированные, хорошие хозяйственники татары из деревни Наласа, и народ из наших краев в сравнении с ними кажется каким-то безнравственным, низким, в общем, испорченным людом.

Обошедши кладбище, я как раз вышел на улицу, где стоит дом бабушки. На этой улице тот же вид, та же чистота, та же панорама. Двое русских красят крышу дома в ярко-зеленый цвет. В этой части деревни это единственный крытый железом дом.

К вечеру погода испортилась. Пошел дождь.

[С. 20] ***10 сентября***

Болит голова. День пасмурный, холодный, ветреный. Грустно, Из-за дождя меня не везут в Серду**** – дорога очень испортилась. Хандрю. До того скучно – можно с ума сойти. Часам к 12 погода немного улучшилась. Мы с бабушкой отправились в Серпу. Зашли к ее «японским родственникам»[5*]. Я сходил к Салимджану.

11 сентября

Деревня Серда похожа на Наласу. О ней писать не буду. В час отправились обратно. Идет дождь. По возвращении зашли на чай к младшему брату деда. Хандрю – не знаю, что и делать. Пообедав (часов

---

* Такое выражение использовано в тексте, слово «роща» написано по-русски.

** В тексте «агачларнын; егермешәр йөклеләре бардыр» (есть деревья... в двадцать возов).

*** Слово «молодняк» написано по-русски.

**** Серда – деревня в Арском или Аткинском районе РТ.

5* В тексте: «Япон аталарына төштек». Видимо, имеется в виду деревенское прозвище родственников «бабушки».

около 5), с сыном Джамалетдина отправились на станцию. Все вышли провожать. Дождь не прекращается, холодно, ветер, грязь, – по доброй воле ни за что не отправишься в дорогу. Когда светало, мальчик довез меня до станции и повернул обратно.

Вокзал полон молодежи, одетой в камасыз бурек. Эти ребята едут на набор. Из-за того, что поезд отправлялся только в 6 часов утра, мне пришлось приютиться у татар, живущих в землянке близ станции. У них от безвыходности ночуют такие же как я, ожидающие свой поезд.

[С. 21] Этот домик напомнил сказочный разбойничий дом: низенький, маленький, вкопанный в землю, с набитой меж дощатых стен землей. Стены землянки были оклеены бумагой, но сейчас она свисает большими пестрыми клочьями, за бумагой перемещается огромное количество тараканов и пауков, что производит постоянное шуршание. Вдоль одной стены находятся нары, но поскольку они очень узкие, то если вытянуть ноги, они сгибаются в коленях и свисают вниз. Несмотря на это, пока не заняли и это место, пришлось лечь здесь. С одного моего боку расположился направляющийся в Казань старик в белом фартуке, с другой стороны, ругаясь во сне, храпит пьяный татарин. Больше места никому не осталось. Я выпросил у хозяина подобие подушки (постелить под себя ничего нет). Таким образом, в беспокойной полудреме я провел ночь. В Казань я вернулся 12-го в 9 часов утра.

14 сентября

Пошли в Дом культуры на вечер Толстого.

[С. 22] Кутуй сделал доклад о художественной стороне произведений Толстого, Г. Нигмати – об общественной стороне его творчества. Доклад Кутуя был хорошим. После докладов состоялся концерт из двух частей. Ничего нового. Сегодняшний концерт намного хуже прошлого. Измайлова спела песню «Шахта». Ее песня:

I. «Аклы кулмәк кигәнем юк, берне кими хәлем юк»
Эле мин бар, сөйгәнем юк, берне сөйми хәлем юк»

II. «Аклы кулмәк ник тектерден, жәйге көндә кимәгәч».

Пел и Газиз.

16 сентября

Пошел в гости к Газизу. Вел себя не очень высокомерно. Но пока я не представился, будто «не узнавал» (?). Накормил альбой*. Просидел у него $2^1/_2$ часа. Мне не понравилось.

17 сентября

Сходил в клинику, направили на рентген. Предлагают сделать операцию «на нос», говорят, может вернется обоняние. Сказали, что и «на горло» надо сделать прижигание. Сейчас уже времени осталось мало, наверное, операцию сделать не получится, **[С. 23]** как-то не так. Сказали, что может быть придется и лечь в больницу. В таком случае Моск-

* Слово читается плохо. Альба – татарское национальное блюдо: сладкая мучная каша на масле.

ва отпадает и хочется скорее вернуться домой. Сходил на вечер Толстого (русский). Увидел там Гарифа Фахретдинова. Встреча с ним доставила мне большое удовольствие: он не изменился, по-товарищески простой. Каждое его второе слово: Мелеуз, Мелеуз, – скучает по Мелеузу.

После докладов была постановка «От ней все качества»*.

18 сентября

Вечером пошел в гости к Гарифу. 3–4 часа разговаривали, пили чаи. С большой тоской вспоминает 18-й год – время, когда он работал в Мелеузе.

Сыграли в «66». В шахматы он играть не умеет (?).

21 сентября

В 5 часов поехал в Ново-Татарскую слободу, где и заночевал. Слушал радио. Суп, чай. Посидели, поговорили. Желтых туфель не было.

22 сентября

В 5 часов закончилось последнее занятие. С одной стороны, **[С. 24]** вроде и жаль, что курсы окончились, с другой стороны, от этого испытываешь радость. Настроение, будто окончил какое-то образовательное учреждение. Вечером последний раз сыграл в бильярд.

23 сентября

Воскресенье. У всех праздничное настроение. Сходил на ярмарку «Ташаяк». Красиво. Поскольку предстояло ехать в Москву, не стал ничего покупать. После обеда пошел к Зие. Были очень рады. Живут очень хорошо. У них свой дом, есть сад, около 25 яблонь. Зия сказал, что в урожайные годы они собирают до 70–80 пудов яблок. Поели, попили чай. Посидели, поговорили. Подарил мне краски (их производит своя артель). По пути зашел к Гарифу. После ужина отправился к Гумеру. Долго разговаривали. Он подарил мне книги и маленький снимок.

В 9 открылся прощальный вечер. Я станцевал один скучный вальс, краковяк. Других танцоров не было.

[С. 25] ***24 сентября***

День пасмурный. Сегодня в 3 часа уезжаем в Москву. В душе есть какое-то волнение. В 2 часа прибыли на вокзал, в 3,5 сели на поезд и отправились. Будто и не хотелось уезжать из Казани. Вроде как жаль. С другой стороны тянет домой.

Поскольку был взят один вагон на всю нашу группу, ехать было не очень тяжело. В пути играли в преферанс, шахматы.

25 сентября

В $6^1/_2$ прибыли в Москву. Из одного конца вокзала другой конец едва виден. Море народу. По выходе из вокзала завладевает удивление: эти выстроившиеся друг за другом трамваи, езда разнообразных автомобилей, автобусов, трехколесных**, издаваемые всеми ими разнооб-

---

* Название постановки написано по-русски.

** Видимо, имеются в виду мотоциклы.

разные звуки, ездящие туда-сюда извозчики. Если привезти сюда деревенского жителя, он очень изумится.

Когда мы погрузили свои вещи на подводу, а сами собрались идти на трамвай, обнаружилось, что заблудились три наших товарища. Мы едва их нашли (Будина, Ниязова, Сибагатуллина).

[С. 26] Поехали на трамвае. Кругом море народу – не описать пером.

Нас привезли на экскурсионную базу. Сразу бросился в глаза дефицит квартир: прошло не менее часа, прежде чем нас разместили. После ужина пошли осматривать Москву.

Лубянка, Китайгородская стена. Свердловская площадь. Большой театр, Красная площадь, на ней Мавзолей, памятник Минину – Пожарскому, знаменитое «Лобное место», Спасская башня. Кремлевская стена, через нее видно здание СНК, на одном его углу, на крыше вышки красный флаг, подсвеченный откуда-то снизу, отчего он кажется величавым, таинственным, внушительным, важным, гордым*.

26 сентября

Пошли на экскурсию в Музей революции. Музей Ленина. Посетили Цекпрос, снялись на фото (экскурсии описаны в конце тетради). Сходили в КУТВ**. У студентов проходило партсобрание. Состав очень интересен: большинство из них составляют китайцы, японцы, корейцы, монголы и еще множество подобных восточных наций. В президиуме, помимо остальных, сидел один негр и одна женщина-китаянка.

[С. 27] Встретил Зуфара Сафиханова. Попили с ним чай, побеседовали.

27 сентября

Пошли на завод «Серп и молот». На заводе работает 5 тысяч человек.

Выпускает листовое железо, арматуру, гвозди, винты, запчасти для машин, колеса для паровозов и вагонов и др. Вместо серы используется металлолом. До этого мне еще не приходилось видеть металлургический завод, оказалось очень интересно.

Положение рабочего по сравнению с крестьянским много тяжелее. До этого я думал: «Что ему, рабочему, отработает восемь часов и больше ни о чем не заботится». Оказалось, что это не правильное мнение. Здесь об этом не пишу.

Посетили Музей Дарвина. С музеем ознакомил профессор Коц. Коц – немец. Он сам организовал этот музей и работает в нем уже 25 лет; большая научная величина; мировая известность*** в изучении шимпанзе (4 года содержал одну шимпанзе, обучается всему, кроме человеческой речи и счета, отметил профессор). Все поведение, манера разговора, жесты этого человека напоминают алхимика Клода

---

* Эпитеты флага написаны по-русски.

** Коммунистический университет трудящихся Востока.

*** Слова «мировая известность» написаны по-русски.

Фрилла из «Собора Парижской Богоматери». Наряду со всей серьезностью, важностью, величавостью **[С. 28]** он вставляет в серьезное объяснение какой-нибудь забавный факт или шутку (как он объясняет, это пед[агогический] подход, чтобы слушатели не утомились). Например, он интересно охарактеризовал обычай женщин краситься и одевать платья выше колен, когда рассказывал о дикарях. Много в нем и других забавных моментов (так, на одном пальце он носит два перстня). Музей состоит из 3 частей. В первой части доказывается теория эволюции Дарвина. Во второй части – причины эволюции (человек как результат развития водного животного. Ближайшие родственники человека – шимпанзе, горилла, орангутанг, вообще обезьяны).

В третьей части музея – различная окраска животных – приспособление – привлекательность. Есть мнение, что красота самцов (красивая окраска у них) служит для привлечения симпатии самок, однако, по словам профессора, это слабая теория. Есть завезенный из Японии петух с хвостом длиной в сажень. Как было сказано, встречаются и петухи с длиной хвоста до 2 саженей. Ох уж это разнообразие изумительных разноцветных птиц, особенно райских и колибри; среди последних встречаются птицы величиной с кончик пальца. Белые вороны, галки – мутация. В общем, все здесь увиденное не опишешь.

И сам профессор, и музей оставили неизгладимое впечатление.

[С. 29] Сегодня раздавали билеты в театры. Мне единственному достался билет в Большой театр. Хорошо, что в театр я пошел один: надоело ходить с группой, словно детдомовские ребятишки.

В 5 часов пошли в мавзолей. Тысячи людей стоят в очереди. Простояв $^3/_4$ часа, зашли внутрь. Ленин – в зеленом френче, на груди – орден, лежит в гробу, который находится под стеклом. Было ли так изначально: его борода и усы – рыжие. Говорят, что скорее всего они изменились. Сам он кажется меньше, чем на картинах. Одна его рука сжата в кулак, другая раскрыта, лежит пониже груди. В его лице нет ничего, что внушало бы страх. Внутри мавзолея – таинственная тишина. Кругом стоят часовые. Таким образом, пришлось «увидеть» и Ленина.

Вечером пошел в театр. Опера «Садко». В оркестре и на сцене – сотни человек. Декорация, вообще панорама красивы: лунный вечер, от луны величиной с серп падает свет, деревья, вода. Вдали, выстроившись друг за другом плывут шесть лебедей; похожее на настоящее плавание на корабле; прибытие **[С. 30]** на парусном судне – неотличимое от действительности: поразительно! Если говорить об игре – слова понять невозможно: сплошные песни, музыка. (Да и как писать, находясь в Большом театре). В будущем году было бы неплохо свозить Хуршиду в эти края – Волга, Казань, Москва.

Явление: По бушующему морю плывет парусный корабль (удивляешься, как это делают). Под водой проплывают огромные рыбы. Садко у морского царя. Эти явления очень красивы и удивительны. Закончилось в 11,25. Вернулся пешком.

28 сентября

Посетили Дворец Труда. Здесь 600 комнат, 4-этажный, при взгляде изнутри из одного конца [здания] другой конец едва виден. Форма [здания) – *

Оттуда отправились в Третьяковскую галерею. Здесь увидел много всего (об этом написано дальше). После обеда пошли в зоопарк. Удалось увидеть всех животных, которых я видел в книгах. Этот парк сегодня стоит на 3 месте в мире. 1–2 места занимает Германия.

[С. 31] Вечером пошли в театр Вахтангова. Был поставлен «Разгром». Игра хорошая, но театр не превосходит провинциальные.

29 сентября

После чая сходили в ЦКпрос. До часа ходил по рынку.

Сходили в Дом Кр Ар. Очень богатый. Увидели много всего. В 7 часов пришли в ЦДРП. Здесь пройдет закрытие курсов и прощальный вечер. Завтра отправляемся в обратный путь.

Вечер закрытия курсов был открыт Кучинским, затем слово было дано Морозову. За ним выступила Стриевская: курсанты в будущем должны поддерживать с нами связь. Необходимо стараться повышать полученные здесь знания, особенно важно не быть политически неграмотным. Надо быть чуткими к массам. Затем выступали курсанты. Выступил и я. Винц – заместитель [начальника] орготдела (кажется, этот тоже еврей) отметил, что пр[оф]работник должен обладать высоким авторитетом.

Кучинский (замзав культотделом) – сказал, что необходимо **[С. 32]** уметь быть организатором. Хороший организатор сам работает мало, собирает других вокруг себя, может направить их работу. Отметил, что культработу необходимо систематизировать,

Бухарин – секретарь ЦК: связь, писать в центральную печать.

После официальной части – концерт. Из-за того, что здесь были привлечены большие силы, несмотря на обстановку концерт прошел хорошо. Очень хорошо выступили гусляр**, артистка, подражавшая разговору и песням детей***, артистка Академ. театра Третьякова, исполнившая народные песни и частушки и сыгравший на скрипке профессор консерватории.

После концерта состоялось чаепитие. За чаем немного попели и после чая, в 12,5 разошлись.

30 сентября

Пришлось встать в 6 часов: доспать в комнате не дали. Немного о комнате. Поскольку все мы, 23 человека, не поместились в одну комнату, мы с Чакминым поселились **[С. 33]** выше, в 12 номере. В этой комнате [с нами жили] рабочие, приехавшие на экскурсию из Брянска с текстильной фабрики. Эти рабочие оказались плохими [соседями], не

---

* В тетради приводится схема.

** Чтение сомнительное.

*** Скорее всего, Рина Зеленая.

имеющими никакого уважения ни к окружающим, ни к себе. Беспрестанный шум, разговоры. Несмотря на запрет, прокурили всю комнату, встав в 4 часа, начинают шуметь. Их полит. рассуждения плохи, на все смотрят со злокритикой*, то есть замечают лишь недостатки, закрывая глаза на достижения. Не имеют согласия между собой – их общение состоит из споров и ругани. Каждый мнит себя многознающим, нет и следа вежливости. Со своим руководителем тоже обращаются грубо и придирчиво. Сказали, что среди них есть [рабочие] с 37-летним стажем. (Поговорил с их руководителем. Партийный. Полностью подтвердил мое впечатление). Несмотря на это, кл. сознание, идеал, выдер., твердое убежд.** нет. Я не ожидал этого от рабочих. Если все рабочие таковы, начнешь скучать по Платонам Каратаевым.

Несмотря на то, что их зарплата выше, чем у московских рабочих, **[С. 34]** они изъявляют недовольство. Считают, что 7-часовой рабочий день ничего не дает рабочему. Как они говорят, «время сокращается, но работа уплотняется». Говорят, чем работать так (т.е. плотно), лучше иметь 9-часовой рабочий день и более свободный график.

После чая сходили на Сухаревский рынок.

В 5 часов прибыли на вокзал. Прощание с товарищами было интересным. В 7,5 поезд тронулся. До свидания, Москва.

2 октября

Проснулся, когда поезд подходил к Сызранскому мосту (в 5 утра). Мост стоит на 12 быках; проехали его минут за 15.

[С. 351]

[Написанное о Третьяковской галерее кем-то вырвано.]

Музей Ленина

Аттестат – по логике 4, по остальным предметам. Руководитель говорит, что он получил по ней 4 не потому, что слабее других предметов знал, а вывели 4 за левое его толкование.

Его вещи, когда он жил в шалаше: котелок, чайник***, топор, белье, одеяло, 2 ложки, плохонький ножик, одна тарелка, два стакана, вёсла, коса, грабли (скрывались с Зиновьевым под видом косарей).

Ручка, которой Ленин подписал первый декрет****, пальто, в котором был Ленин во время покушения Каплан.

В районе левой лопатки на пальто видны следы 2 пуль. Пальто старенькое, зеленого драпа, пуговицы в 2 ряда.

Что особенно бросается в глаза: подарки, подаренные Ленину при жизни разными организациями и отдельными людьми. Среди их бесчисленного множества **[С. 36]** есть и уникальные. Например: один аг-

---

* Слово написано по-русски.

** Сокращения написаны по-русски.

*** Чтение сомнительно.

**** Далее идет текст на русском языке.

роном подарил портрет Ленина, выполненный только из семян (конопли, мака, дыни и т.п.). Много подарков от заводских рабочих. Среди них – сделанное рабочими Ижевского завода ружье величиной с ладонь*, стреляющее пулями. Здесь всего и не опишешь.

Венки, присланные после смерти Ленина разными организациями; они составлены не только из цветов, но многие из разных вещей, например, ткацкая фабрика составила их из своей продукции, металлургический [завод] – из своей. Поражает даже их количество. В общем, этот музей настолько богат, что для хорошего с ним ознакомления нужно много времени. Одним словом, дана характеристика Ленина с детства до его смерти.

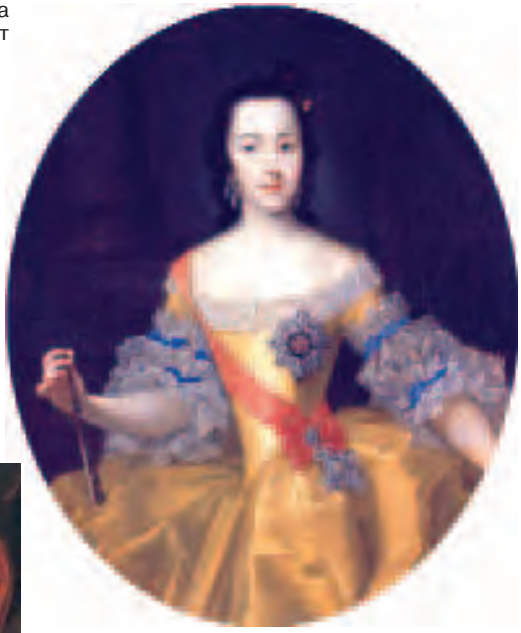
Его одежда. Сшитые из солдатского сукна френч и брюки – сукно износилось, пуговицы разные: на френче есть и большие, и маленькие. Одна из его рубашек сшита из самого простого, голубого сатина, его шапка – малахай из черного барана – изношена и сплющилась, драповое пальто тоже изношено, **[С. 37]** воротник – из каракуля или хорошего черного барана. Словом, выходит, что он одевался не лучше самого простого рабочего. [Экскурсовод] сказал, что иностранцы не верят, что это одежда Ленина.

Музей революции. Самое бросившееся в глаза – камера № 26 в Шлиссельбургской крепости, где 20 лет отсидела Вера Фигнер. Все, что там было: лампа, соломенная подушка, матрац, умывальник, один стул – сохранились в том же виде. Днем в камере, если не зажигать свет, очень темно. Приходится признать отсидевшего в этой камере 20 лет человека железным, потому что кажется, что в ней не просидишь и 20 дней. При входе в камеру поставлено чучело человека, одетое в форму жандарма. Выглядит совсем как живой человек. (В этой камере сидит Клименко, подперев рукой подбородок и глубоко задумавшись. Этот человек, не выдержав, повесился в этой камере.)

Как сказали. Вера Ф[игнер] жива и сейчас, ей 68 лет, живет в Москве, занимается писательством («Запечатленный труд» В. Фигнер). Здесь также [С. 38] есть материалы из эпохи Разина, Пугачева, народников, Перовской, декабристов и других.

* Чтение слова сомнительно (в тексте: «учкә зурлыгында»).

Великая кн. Екатерина Алексеевна
(16-ти лет). Худ. Г.Х. Гроот



Екатерина II. Худ. С. Рокотов.1763

А.В. Суворов.
С французской лубочной картинки

Коронационный портрет
Екатерины II. Худ. С. Торелли

Император Павел I с семьей. Худ. Ж. фон Кугельген. 1800

Портрет Павла I.
Худ. С.П. Щукин. 1786

Портрет вел. кн. Елены Павловны,
принцессы вюртембергской.
Неизв. худ. 1824

Цесаревич Константин Павлович
Неизв. худ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ ПАВЕЛЪ ПЕРВЫЙ

Императоръ и Самодержецъ

Всероссійскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

Указ Павла I о трехдневной
барщине. 1797

Император Николай I награждает
М.М. Сперанского за составление
свода законов. Худ. А. Кившенко

Николай I с цесаревичем Александром
в мастерской художника в 1854 г.
Худ. Б. Виллевальде. 1884

Французы в Смоленске в 1812 г. С рис. Х.Фабер дю Фора

Николай I вымогает деньги
у своих подданных евреев.
Карикатура А. Домье

Николай I на строительных работах.
Худ. М.А. Зичи

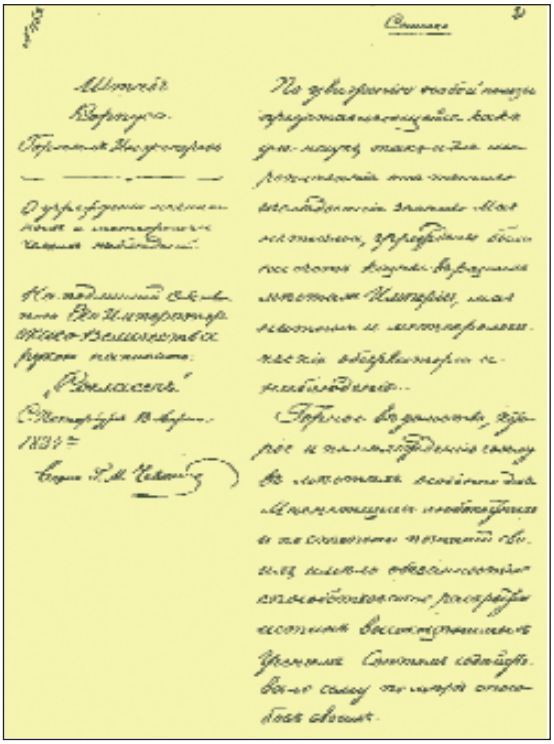
Карандашные пометы Николая I на рукописи
А. Пушкина « Путешествие в Арзурум»

Супруга Николая I в тиаре.
Худ. К. Робертсон

Императрица
Александра Федоровна.
Худ. К. Робертсон

Страница из журнала «Русский Архив». 1884

Статут знака Отличия беспорочной службы. 1827



Записка Николаю I об учреждении магнитных и метеорологических наблюдений. 1834

Князь Г. Потемкин.
Неизв. худ. 1847

А. фон Бенкендорф.
Худ. Дж. Доу

М.М. Сперанский.
Неизв. худ. 1812

Граф М.С. Воронцов.
Худ. Т. Лоуренс

И.Ф. Паскевич, граф.
Неизв. худ. 1856

И.И. Дибич.
Неизв. худ.

В.П. Кочубей.
Худ. Ф. Жерар

П.Д. Киселев (1788–1872).
Неизв. худ.

Н.Н. Новосильцев.
Неизв. худ.

Граф М.С. Воронцов.
Неизв. худ.

П.А. Толстой.
Худ. Дж. Доу

Д.Н. Блудов.
Неизв. худ.

А.О. Смирнова-Россет.
Неизв. худ.

М.А. Корф.
Неизв. худ.

Е.П. Нарышкина.
Рис. Н.А. Бестужева. 1832

П.А. Плетнев.
Неизв. худ. 1850-е

А.В. Розен. Рис. Н.А. Бестужева.
Июль 1832

С.С. Уваров. Худ. О. Кипренский.
1815

Ф.К. Нессельроде (1786– 1868).
Худ. С. Маршалкевич

К.В. Нессельроде. Худ. Ф. Крюгер
1840-е

Пушкин в Царском селе. Худ. И. Репин. 1911

И.И. Пущин. Литограф Е. Орловской. 1836

А.С. Пушкин. Рис. Л. Левченко

Пушкин и Медный всадник.
Худ. В. Ф. Стожаров. 1946

К.Ф. Рылеев.
Неизв. худ.

К.Г. Игельстром. Рис. Н. Бестужева.
1832/33

А.А. Дельвиг.
Худ. В.П. Лангер. 1830

С.И. Муравьев-Апостол.
Неизв. худ.

А.М. Муравьев.
Худ. Н.М. Муравьев. 1836 г.

Жена декабриста Ф.П. Трапезникова
Рис. Н. Бестужева. 1842

М.Н. Волконская.
Неизв. худ.

В.Ф. Вяземская. Худ. А. Молинари.
1810-е

Г.Р. Державин. Неизв. худ. 1780-е

И.В. Васильчиков.
Худ. Дж. Доу

И.В. Киреевский. Рис. П.П. Соколова.
Конец 1840-х – начало 1850-х

Литературный обед в книжной лавке
А.Ф. Смирдина. Эскиз К. Брюллова к
титульному листу альманаха «Новоселье»

Хуршида Сиразеевна Рахматуллина
с матерью, мужем и сыном
Казбеком. 12.06.1925

Хуршида Сиразеевна с матерью,
сестрой и сыновьями Казбеком
и Морганом. 18.08.1927

Габдулла Галиевич Рахматуллин.
1928

Семейство Рахматуллиных.
28.09.1929

Шахматный турнир в Аксаково 21–28 июля 1935 г. 29.07.1935

Братья. Слева направо: Морган, двоюродный брат Ильгиз, Казбек. 06.07.1938

Хуршида Сиразеевна с сыном Морганом. 27.07.1940

Хуршида Сиразеевна. 1939

Хуршида Сиразеевна с сыновьями. 20.11.1940

Повестка

Товарищ Рахматуллин Мухаметгали Абдулович
(фамилия, имя и отчество)

Вы зачислены кандидатом для поступления в 5-ю Московскую военно-артиллерийскую спецшколу и Вам надлежит явиться для прохождения мандатной и медицинской комиссий по месту расположения школы в гор. Ишим, Омской области, ул. Сталина, дом, № 1 ~~на станцию~~ 14 10 числа августа мес. 1943 г. Данная повестка служит документом для получения пропуска в органах милиции, а также дает право на освобождение кандидата от сельско-хозяйственных работ, специальных работ и т. п. для явки в спецшколу.

ОСНОВАНИЕ: инструкция по приказу Наркома просвещения РСФСР от 18 апреля 1943 года за № 2078.

Нач-к 5-й Московской военно-артиллерийской спецшколы (Зотов).

Зак. 777

Повестка кандидату М.А. Рахматуллину для поступления в 5-ю Московскую военно-артиллерийскую школу. 14.08.1943

За праздничным столом. 01.11.1946. Четвертая справа – Х.С. Рахматуллина

На службе в Ворошиловграде.
12.11.1947

Морган Абдуллович Рахматуллин.
г. Ворошиловград, Острая Могила.
25.04.1948

«Служу Советскому
Союзу!» Август 1948

Сослуживцы. В центре в форме М.А. Рахматуллин.
Рубеж 1940-х – 1950-х гг.

В увольнении (г. Ворошилов-Уссурийский).
07.04.1952

На дежурстве в последний месяц службы. 02.07.1952

В общежитии МГУ
на Стромынке, 32.
Зима 1955–1956

Первый год на гражданке.
Пос. Мелеуз. 1953

Хуршида Сиразеевна
в последние годы жизни.
Начало 1990-х

Морган Абдуллович Рахматуллин на своем 75-летии

Казбеку почти 10 лет. 18.07.34

В 5-м классе
09.03.1936

г. Уфа, проездом на фронт.
17 лет 5 месяцев. 24.02.1942

Добровольцы из Мелеуза проездом на фронт.
Стоят: Шапошников Юлий, Еремеев (эвакуированный из Москвы), Казбек Рахматуллин; сидят: Подшивалов, Каншин Николай (умер 15.12.1975).
24.02.1942

Последняя фотография.
На подступах к Сталинграду
14.09.1942

Список печатных работ М.А. Рахматуллина*

1. *Подгот. к печати:* Т. 10 // *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. V. М., 1961. С. 373–694.
2. *Подгот. к печати:* Т. 13 // *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. VII. М., 1962. С. 7–362.
3. *Подгот. к печати:* Т. 17 // *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1963. С. 7–342; *сост. указ.:* Там же. С. 671–696. Соавт.: М.Ф. Кишкина-Иваненко, Н.В. Синицына.
4. *Подгот. к печати:* Т. 23 // *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. XII. М., 1964. С. 7–301; *коммент.:* Там же. С. 661–679.
5. Заседание ученого совета Института истории АН СССР: [о заседании, посвящ. 150-летию Лейпцигского сражения. Окт. 1963 г.] // Новая и новейшая история. 1964. № 1. С. 185–186.
6. *Подгот. к печати:* Т. 27 // *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. XIV. М., 1965. С. 7–274.
7. К вопросу о влиянии разночинных элементов города на крестьянское движение в 20-е годы XIX в. // Города феодальной России: сб. ст. памяти Н.В. Устюгова. М., 1966. С. 547–558.
8. Крестьянское движение в России в 1826–1829 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук / АН СССР. Ин-т истории. М., 1967. [2], 31, [3] с.
9. К вопросу о связи движения декабристов с борьбой крестьянства // Тезисы докладов и сообщений XI сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы: (Одесса, нояб. 1969 г.). [Ч. 2]. М., 1969. С. 218–222.
10. Солдаты в крестьянском движении 20-х годов XIX в. // Вопросы военной истории России: XVIII и первая половина XIX веков. М., 1969. С. 351–358.
11. Межреспубликанский симпозиум историков «Генезис капитализма в Закавказье»: [Баку, март 1969 г.] // ИСССР. 1969. № 6. С. 245–250.
12. Крестьянское движение в России в 20-х годах XIX в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1965 г. М., 1970. С. 321–332.
13. Проблема общественного сознания крестьянства в трудах В.И. Ленина // Актуальные проблемы истории России эпохи феодализма: сб. ст. М., 1970. С. 398–441.

---

* Составлен В.Г. Арутюняном.

14. Хлебный рынок и цены в России в первой половине XIX в. // Проблемы генезиса капитализма: к Междунар. конгр. экономич. истории в Ленинграде в 1970 г.: сб. ст. М., 1970. С. 334–412.
15. К вопросу о влиянии расслоения крестьянства на характер его борьбы: (20-е годы XIX в.) // ИСССР. 1970. № 4. С. 154–167.
16. К вопросу об уровне общественного сознания крестьянства в России // Вопросы аграрной истории Центра и Северо-Запада РСФСР: материалы межвуз. науч. конф. Смоленск, 1972. С. 158–170.
17. Некоторые итоги изучения Крестьянской войны в России 1773–1775 гг.: (к выходу в свет завершающего тома трехтомника «Крестьянская война в России в 1773–1775 годах. Восстание Пугачева». Л., изд-во ЛГУ, т. I, 1961, т. II, 1966, т. III, 1970) // ИСССР. 1972. № 2. С. 71–88. Соавт.: П.Г. Рындзюнский.
18. Воины России в Крымской кампании // ВИ. 1972. № 8. С. 94–118.
19. К дискуссии об абсолютизме в России: [Ин-т истории СССР АН СССР, окт.–нояб. 1971 г.] // ИСССР. 1972. № 4. С. 65–88.
20. Новгород Великий. Археология, история, искусство. Конференция в Новгороде: [1971 г.] // ИСССР. 1972. № 5. С. 242–247. Соавт.: В.Д. Назаров.
21. [Рец. на кн.: *Валеев Р.К.* Революционное движение в Среднем Поволжье: (июль – сентябрь 1917 г.). Казань, 1972 // ИСССР. 1973. № 4. С. 177–178. Псевд.: М.А. Борискин.
22. Крестьянская война в России 1773–1775 годов // ИСССР. 1973. № 6. С. 35–53.
23. Юго-Восточная Европа в эпоху феодализма. Всесоюзный симпозиум в Кишиневе: [май 1973 г.] // ИСССР. 1973. № 6. С. 213–216. Псевд.: М.А. Борискин.
24. *Ред.: Яцунский В.К.* Социально-экономическая история России XVIII–XIX вв.: избр. тр. М.: Наука, 1973. 302, [2] с.
25. Факторы и формы совместной борьбы народов России в ходе Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева // Участие народов в Крестьянской войне 1773–1775 гг.: тез. докл. на Всесоюз. науч. конф.: (Уфа, 3–5 июня 1974 г.). Уфа, 1974. С. 17–19. Соавт.: В.Д. Назаров.
26. *Ред.: Ковальченко И.Д., Милов Л.В.* Всероссийский аграрный рынок. XVIII – начало XX века: опыт количественного анализа. М.: Наука, 1974. 413, [3] с., 1 л. карт.
27. Подъем крестьянского движения и реакция самодержавия после восстания декабристов // Из истории экономической и общественной жизни России: сб. ст. к 90-летию акад. Н.М. Дружинина. М., 1976. С. 168–182.
28. Встреча советских и польских историков: [о симп. по проблеме «Политические взаимоотношения стран Восточной Европы и Причерноморья с конца XV до начала XVIII в.». Сухуми, окт. 1975 г.] // ИСССР. 1976. № 4. С. 230–233.
29. Факторы и формы совместной борьбы народов России в Крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева: (к постановке проблемы) // Народы в Крестьянской войне 1773–1775 гг. Уфа, 1977. С. 31–49. Соавт.: В.Д. Назаров.
30. Новые сборники документов о Крестьянской войне 1773–1775 годов в России // ИСССР. 1977. № 1. С. 164–183. Соавт.: В.Д. Назаров.
31. Крепостное крестьянство России и движение декабристов // ИСССР. 1977. № 4. С. 127–151.

32. *Ред.: Горская Н.А.* Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в.: о сущности и формах феодально-крепостнических отношений. М.: Наука, 1977. 365, [3] с.
33. Проблемы взаимодействия общества и природы. Всесоюзная конференция в Москве: [янв. 1978 г.] // ИССР. 1978. № 5. С. 212–216. Соавт.: Л.В. Данилова.
34. К вопросу о связях борьбы крестьянства с движением декабристов // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1969. Киев, 1979. С. 192–204.
35. Рядом с декабристами: [о судьбе денщиков, вольнонаемных и крепостных слуг декабристов] // ИССР. 1979. № 1. С. 173–192.
36. *Ред.:* Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. М.: Наука, 1979. 415, [1] с.
37. А.В. Суворов и русское военное искусство второй половины XVIII века. М.: Знание, 1980. 64 с. (В помощь лектору).
38. Неизвестный список «Путешествия из Петербурга в Москву» // ВИ. 1980. № 6. С. 168–170.
39. Генералиссимус А.В. Суворов. Его искусство побеждать // ИССР. 1980. № 5. С. 64–90.
40. Первая Всесоюзная нумизматическая конференция: [Таллин, апр. 1980 г.] // ИССР. 1980. № 6. С. 205–206. Соавт.: Н.А. Соболева.
41. Научная конференция в Туле: [о конф., посвящ. 600-летию Куликовской битвы. Сент. 1980 г.] // ИССР. 1981. № 2. С. 232–237.
42. *Ред.:* Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях. М.: Наука, 1981. 415, [1] с.
43. Законодательная практика царского самодержавия: Указ от 8 ноября 1847 года и попытки его применения // ИССР. 1982. № 2. С. 35–52.
44. Страничка прошлого: (к биографии С.А. Путяты) // ВЛ. 1982. № 7. С. 180–195.
45. [Рец. на кн.: *Павленко Н.И.* А.Д. Меншиков. М., 1981] // ВИ. 1982. № 10. С. 125–128.
46. XXVI съезд КПСС и проблемы аграрной истории СССР. Социально-политическое развитие деревни: XIX сессия Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории // ИССР. 1983. № 4. С. 207– 212.
47. *Сост., предисл., послесл. к роману О.Н. Михайлова «Суворов», вступ. ст. к публ. документов, коммент.:* Наука побеждать. М.: Мол. гвардия, 1984. 605, [3] с. (История Отечества в романах, повестях, документах. Век XVIII).
48. Актуальные проблемы изучения истории СССР // ИССР. 1984. № 2. С. 3–19. Без подписи. Соавт.: И.Е. Зеленин.
49. Возрастной состав вожаков крестьянского движения в России: (1826–1857 гг.) // ИССР. 1984. № 6. С. 139–149.
50. *Ред.: Тарасов Ю.М.* Русская крестьянская колонизация Южного Урала: вторая половина XVIII – первая половина XIX в. М.: Наука, 1984. 175, [1] с.
51. Легенда о Константине в народных толках и слухах 1825–1858 гг. // Феодализм в России: юбилейные чтения, посвящ. 80-летию со дня рождения акад. Л.В. Черепнина: тез. докл. и сообщ.: Москва, 30 окт. – 1 нояб. 1985 г. М., 1985. С. 191–195.
52. *Ред.:* Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях: сб. ст. М.: Наука, 1985. 342, [2] с.

53. [Рец. на кн.: *Краснобаев Б.И.* Русская культура второй половины XVII – начала XIX в. М., 1983] // ИССР. 1986. № 3. С. 170–174.
54. Легенда о Константине в народных толках и слухах 1825–1858 гг. // Феодализм в России: сб. ст. и воспоминаний, посвященный памяти акад. Л.В. Черепнина. М., 1987. С. 298–308.
55. Сенатская площадь, 14 декабря 1825 года // Встречи с историей: науч.-попул. очерки. [Вып. 1]. М., 1987. С. 10–25.
56. [Рец. на кн.: Восстание декабристов: Документы. Т. XVI: Журналы и докладные записки следственного комитета. М., 1986] // ИССР. 1987. № 1. С. 184–189.
57. Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826–1857 годах: автореф. дис. … д-ра ист. наук / АН СССР. Ин-т истории СССР. М., 1988. 41 с.
58. Социальное настроение крепостного крестьянства и классовая борьба (1826–1857 гг.) // ИССР. 1988. № 3. С. 54–79.
59. [Рец. на кн.: Декабристы: биогр. справ. М., 1988] // ИССР. 1989. № 3. С. 165–169.
60. Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826–1857 гг. / отв. ред. И.Д. Ковальченко; АН СССР. Ин-т истории СССР. М.: Наука, 1990. 300, [4] с.
Рец.: Кахк Ю.Ю. // ВИ. 1992. № 2/3. С. 178–180.
61. *Подгот. к печати:* История России с древнейших времен. Т. 10 // *Соловьев С.М.* Соч.: в 18 кн. Кн. V. М., 1990. С. 357–668. Соавт.: В.С. Шульгин.
62. *Подгот. к печати:* История России с древнейших времен. Т. 13 // *Соловьев С.М.* Соч.: в 18 кн. Кн. VII. М., 1991. С. 7–352. Соавт.: В.С. Шульгин.
63. Об одном мифе из истории освободительного движения в России: [о следств. деле поручика Ландсберга 1827 г. и его оценке в совет. историографии] // ИССР. 1992. № 1. С. 87–110.
64. «Переворот 1861» и «революция сверху»: [рец. на кн.: *Литвак Б.Г.* Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991] // Свободная мысль. 1992. № 3. С. 122–125.
65. Указ «Об обязанных крестьянах» и проект образцового помещичьего имения // Реформы в России XVI–XIX вв.: сб. науч. тр. М., 1992. С. 164–182.
66. *Подгот. к печати:* История России с древнейших времен. Т. 17 // *Соловьев С.М.* Соч.: в 18 кн. Кн. IX. М., 1993. С. 7–334. Соавт.: И.В. Волкова.
67. *Подгот. к печати, коммент.:* История России с древнейших времен. Т. 23, 24 // *Соловьев С.М.* Соч.: в 18 кн. Кн. XII. М., 1993. С. 7–646.
68. С заседания редколлегии: [выступление по поводу ст. М.И. Мельтюхова «Споры вокруг 1941 года: опыт критического осмысления одной дискуссии» (ОИ. 1994. № 3. О кн. В. Суворова «Ледокол»)] // ОИ. 1994. № 4/5. С. 280.
69. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова: [рец. на кн.: Академическое дело 1929–1930 гг. Вып. 1: Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993] // ОИ. 1994. № 6. С. 174–183.
70. *Подгот. к печати:* История России с древнейших времен. Т. 27 // *Соловьев С.М.* Соч.: в 18 кн. Кн. XIV. М., 1994. С. 7–262.
71. Император Николай I и семьи декабристов // ОИ. 1995. № 6. С. 3–20.
72. К 80-летию со дня рождения Николая Ивановича Павленко // ОИ. 1996. № 2. С. 107–119.

73. Непоколебимая Екатерина // ОИ. 1996. № 6. С. 19–47; 1997. № 1. С. 13–26.
74. *Сост., вступ. ст., коммент., аннот. указ. имен:* Екатерина II в воспоминаниях современников, оценках историков. М.: Терра – Кн. клуб, 1998. 407, [9] с. (Тайны истории в романах, повестях и документах. Век XVIII).
75. Хотели как лучше?: [рец. на кн.: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 19 т., 23 кн. М., 1995–1997] // Литературное обозрение. 1998. № 5/6. С. 116–119.
76. Алгебру гармонией поверить…: к выходу в свет «Оренбургской Пушкинской энциклопедии» [(Оренбург, 1997)] // ОИ. 1998. № 6. С. 81–89.
77. [Рец. на кн.: *Федоров В.А.* М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997] // ОИ. 1999. № 1. С. 152–156.
78. К 80-летию Бориса Григорьевича Литвака // ОИ. 1999. № 2. С. 204–209.
79. [Рец. на кн.: *Зырянов П.Н.* Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М., 1999] // ОИ. 2000. № 5. С. 198–202.
80. Новое периодическое издание по истории движения декабристов состоялось: [рец. на кн.: 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. Вып. I–III. СПб., 1997–2000] // ОИ. 2000. № 6. С. 102–115.
80а. Кого считать декабристом?: (историографические заметки) // Империя и либералы. СПб., 2001. С. 230–242.
81. Император Николай I и его царствование // Наука и жизнь. 2002. № 1. С. 96–106; № 2. С. 64–72; № 3. С. 90–99.
82. А.С. Пушкин, российские самодержцы и самодержавие // ОИ. 2002. № 5. С. 17–32; № 6. С. 3–26.
83. Россия при преемниках Петра I. Царствование Екатерины II и Павла I // История России: в 2 т. Т. 1: С древнейших времен до конца XVIII века. М.: АСТ: Астрель, 2003. С. 628–937.
84. То же. М.: АСТ: Астрель: Ермак, 2003. С. 628–937.
85. Императрица Екатерина Вторая // Наука и жизнь. 2003. № 2. С. 80–89; № 3. С. 86–97; № 4. С. 84–95.
86. Рыцарь без страха и упрека: [о М.А. Милорадовиче] // Любимая Россия. 2003. Спец. вып. С. 28–29.
87. Император Николай I // Историк и художник. 2004. № 1. С. 139–160.
88. Император Николай I глазами современников // ОИ. 2004. № 6. С. 74–98.
89. Интеллект власти: императрица Екатерина II // ОИ. 2005. № 4. С. 21–29.
90. Петр II — царь или охотник?: (по поводу картины В.А. Серова) // Историк и художник. 2005. № 3(5). С. 129–148.
91. Россия при преемниках Петра I. Царствование Екатерины II и Павла I // История России с древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. М., 2006. С. 444–658.
92. [Рец. на кн.: Нестор. СПб., 2005. № 1(7): Технология власти. Источники, исследования, историография] // ОИ. 2006. № 1. С. 206–207. Соавт.: С.В. Тютюкин.
93. Поражение, ставшее победой: [о сражении при Смоленске 5 авг. 1812 г.] // Любимая Россия. 2006. № 2(3). С. 62–69.
94. [Рец. на кн.: Общественная мысль России XVIII – начала XX вв.: энцикл. М., 2005] // ОИ. 2006. № 4. С. 104–111.
95. «Развилка» «развилке» рознь: [рец. на кн.: *Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П.* Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2005] // ОИ. 2006. № 6. С. 199–204.

96. Россия при преемниках Петра I. Царствование Екатерины II и Павла I // История России с древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. М., 2008. С. 444–658.
97. То же // История России: в 2 т. Т. 1: С древнейших времен до конца XVIII века. М.; Владимир, 2009. С. 628–937.

Публикации о М.А. Рахматуллине

98. К 70-летию М.А. Рахматуллина // ОИ. 1997. № 3. С. 214–215.
99. Рахматуллин М.А. // *Чернобаев А.А.* Историки России: кто есть кто в изучении отечественной истории: биобиблиогр. слов. Саратов, 1998. С. 298.
100. То же. 2-е изд., испр. и доп. 2000. С. 431–432.
101. То же // *Чернобаев А.А.* Историки России XX века: биобиблиогр. слов. Т. 2. Саратов, 2005. С. 248.
102. Памяти М.А. Рахматуллина // ОИ. 2007. № 2. С. 218– 220.

Список принятых сокращений

I. Учреждения

ГАРФ (ЦГАОР СССР)	– Государственный архив Российской Федерации (Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР)
РГВИА (ЦГВИА СССР)	– Российский государственный военно-исторический архив (Центральный государственный военно-исторический архив СССР)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
РО СПбИИ РАН (РО СПбФИРИ РАН)	– Рукописный отдел Санкт-Петербургского института истории РАН (Рукописный отдел Санкт-Петербургского филиала института российской истории РАН)

II. Литература

ВД	– Восстание декабристов. Документы и материалы. Серия
ВЕ	– Вестник Европы
ВИ	– Вопросы истории
ВЛ	– Вопросы литературы
ВФ	– Вопросы философии
Даль	– Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955
ЖМЮ	– Журнал министерства юстиции
Записки	– Записки императрицы Екатерины Второй. Перевод с подлинника, изданного императорской академией наук. СПб., 1907
ИВ	– Исторический вестник
ИЗ	– Исторические записки
ИСССР	– История СССР (ныне «Отечественная история»)
КА	– Красный архив

ОИ	– Отечественная история (бывш. «История СССР»)
Письма	– Письма Екатерины II к барону Гримму // РА. 1878. Кн. 3
ПСЗ	– Полное сбрание законов
РА	– Русский ахив
РС	– Русская старина
Сб. ОРЯС	– Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
Сб. РИО	– Сборник Русского имераторского общества
ТОДРЛ	– Труды отделения древнерусской литературы Института истории литературы (Пушкинский дом)
ТРУАК	– Труды Рязанской ученой археографической комиссии

III. Термины

в.в., В.В.	– Ваше величество
е.в.	– его (ее) величество
е.и.в.	– его (ее) императорское величество
вел. кн.	– великий князь, великая княгиня
вол.	– волость
дес.	– десятина
д.м.п.	– душ мужского пола
и.д.	– исполняющий должность
и.о.	– исполняющий обязанности
кн.	– князь, княгиня
л-гв.	– лейб-гвардия
л-гр.	– лейб-гренадеры
с.е.и.в.	– собственная его императорского величества [канцелярия]
у.	– уезд

Научное издание

Морган Абдуллович РАХМАТУЛЛИН

ЕКАТЕРИНА II, НИКОЛАЙ I, А.С. ПУШКИН в воспоминаниях современников

Корректор *Г.Н. Рынькова*
Художественное оформление *В.Ю. Яковлев*

Издательство «Памятники исторической мысли»
115597 Россия Москва, ул. Воронежская, 38–334
ЛР № 063460 от 08.07.99

Подписано в печать 20.12.2009. Формат 60×90 1/16
Гарнитура Гарамонд. Печать офсетная
Уч.-изд. л. 42,3. Печ. л. 41,5
Тираж 800 экз. Заказ №